This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
$B 81 417

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.
Class 836
G857
v.10-11

*Полное собраніе сочиненій*

# Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

*Изданіе К. Т. Мартынова.*

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

# СОЧИНЕНІЙ

## Дм. Вас. Григоровича.

---

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1890.

# ПОВѢСТИ, ОЧЕРКИ,

# ОТРЫВКИ

и

СТАТЬИ О ХУДОЖЕСТВѢ.

## 1863—1889 гг.

Д. В. Григоровича.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА И. Г. МАРТЫНОВА.
1890.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

APR 1 4 19

Въ типографіи В. Безобразова и Комп. (Вас. Остр., 8 л., № 45).

76.3337
6.
1890
v.10-11
Мрчл.

# Оглавленіе.

Стр.

1884. Алексѣй Чемезовъ. Недолгое счастье. Повѣсть . . . 1

1885. Карьеристъ. Очеркъ . . . . . 68

1885. Акробаты благотворительности. Повѣсть . . . . . 76

1887. Сонъ Карелина. Отрывокъ изъ романа «Петербургъ прошлаго времени» . . . . . 203

1889. Не пó хорошу милъ,—пó милу хорошъ. . . . . 234

1863. Картины англійскихъ живописцевъ на выставкахъ 1862 года въ Лондонѣ . . . . . 295

1867. Художественное образованіе въ приложеніи къ промышленности на всемірной Парижской выставкѣ 1867 года . . . . . 364

170610

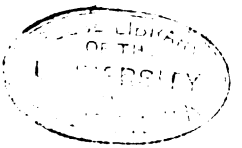
# ПОВѢСТИ, ОЧЕРКИ,

# ОТРЫВКИ

и

СТАТЬИ О ХУДОЖЕСТВѢ.

1863 — 1889 гг.



# АЛЕКСѢЙ ЧЕМЕЗОВЪ

## (НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ).

---

### I.

Въ первой половинѣ сентября, два чиновника,—Ефремовъ и Сципѣровъ, возвращаясь домой изъ департамента, проходили по средней, главной аллеѣ Лѣтняго сада.

Садъ казался совершенно пустымъ. Чиновники, не стѣсняясь, громко разговаривали, разсѣянно поглядывая на деревья; ихъ мало, повидимому, занимало дѣйствіе осени, которая между тѣмъ на всемъ уже сильно чувствовалась.

Деревья стояли наполовину обнаженными; верхушки ихъ, совсѣмъ голыя, уныло чернѣли на сѣромъ небѣ съ двигающимися дождевыми тучами. Въ нижней части оставалась еще кое-гдѣ зелень; но и ее повсюду донималъ желтый листъ, смотрѣвшій, въ свою очередь, сморщеннымъ, раскислымъ, мѣстами тронутымъ точно ржавчиной; онъ отпадалъ безжизненно при малѣйшемъ колебаніи воздуха. Вокругъ все было тускло, сыро, непривѣтливо. Единственнымъ свѣтлымъ пятномъ выставлялось со стороны Царицына луга мокрое шоссе; выдѣляясь бѣловатой, грязно-серебристой полосой, оно рѣзко било въ глаза между стволами старыхъ липъ, почернѣвшихъ отъ дождей; по шоссе тащился, сильно надавливая щебенку, возъ, навьюченный домашнимъ скарбомъ запоздавшаго дачника. Дальнѣйшіе предметы принимали неопредѣленный обликъ, уходили въ сырую, липкую мглу, не-

пріятно проникавшую въ бакенбарды и осыпавшую одежду влажной пылью.

Словомъ, наступала та пора, когда жизнь снова переливаетъ въ городъ, когда окрестность глохнетъ и вымираетъ, дачи уныло посматриваютъ своими заколоченными ставнями на клумбы съ повалившимися и почернѣвшими георгинами,—когда коренной житель Петербургской стороны, вставъ утромъ и взглянувъ въ окно, дребезжащее отъ мелкаго дождя и вѣтра, обращается къ женѣ и говоритъ ей: „Ну, душенька, дождались: пошла теперь эта кислота!...“

Но возвратимся къ Ефремову и Сципе́рову, продолжающимъ отпечатывать подошвы на сырой дорогѣ Лѣтняго сада.

— Скажи мнѣ намилость, что же дешево въ Петербургѣ?— Все дорого! говорилъ Ефремовъ, очевидно, продолжая начатый разговоръ, — видишь: хожу до сихъ поръ въ какой покрышкѣ! прибавилъ онъ, сымая плетенную изъ цвѣтной соломы шляпу, причемъ на головѣ его дыбомъ поднялась туча сухихъ волосъ цвѣта перца съ солью,—собирался вчера купить картузъ:—семь рублей! Приступу ни къ чему нѣтъ! Все дорого! Что у насъ дешево?...

— Ну, теперь пошелъ!.. Пошелъ,—благо попалъ опять на любимую точку, перебилъ Сципе́ровъ,—человѣкъ также съ просѣдью, но завистливаго, сухощаво-желчнаго вида и постоянно кусавшій ногти, даже когда стоялъ во время доклада за стуломъ директора.

Наружность Ефремова представляла совершенно противоположный типъ, и внѣшность вполнѣ отвѣчала характеру.

Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, рослый, тучный, съ лицомъ круглымъ какъ полный мѣсяцъ, но, вопреки сходству, отражавшимъ не меланхолію, а веселость, свѣжесть и здоровье. Ребенкомъ онъ былъ, безъ сомнѣнія, то, что называютъ: кровь съ молокомъ. Къ выраженію веселости прибавляли въ значительной степени: вздернутый коротенькій носъ, разсѣченный на кончикѣ, большіе сѣрые глаза на выкатѣ какъ у лягушки и безпечная, размашистая походка, сообщавшая его животу безпокойное колебаніе изъ стороны въ сторону. Двигая на ходу толстыми руками, Ефремовъ никогда, повидимому, не довольствовался числомъ пріятныхъ собесѣдниковъ, но всегда какъ бы порывался впередъ и выпучивалъ глаза, стараясь пріискать новаго

весельчака. Когда таковой показывался, лицо Ефремова вдвойнѣ начинало сіять отъ удовольствія, одышка усиливалась отъ нетерпѣнія, голосъ хрипѣлъ, какъ труба старой шарманки передъ началомъ аріи, и толстыя его губы заблаговременно складывались подушечкой, приготовляясь къ сочнымъ поцѣлуямъ; онъ цѣловалъ обыкновенно въ засосъ, крѣпко нажимая въ обѣ щеки, неизбѣжно влѣплялъ всегда три поцѣлуя,—мало озабочиваясь тѣмъ, нравилось иль нѣтъ такое выразительное изъявленіе радостныхъ чувствъ.

— Толкуй, потѣшайся! продолжалъ Сопиперовъ,—какъ ни дешевы, по твоему, эти статскіе и дѣйствительные, нѣтъ однакожъ города въ цѣломъ свѣтѣ, гдѣ бы они имѣли столько значенія!.. Да, любезнѣйшій, сколько ни вертись, сила въ нихъ и ни въ комъ другомъ;—сила такъ сказать: роевая, стихійная! За что ни возьмись, куда ни сунься, вездѣ ихъ найдешь: сверху, снизу, съ боковъ...

— Даже носомъ тянешь вмѣстѣ съ воздухомъ! слышишь: гарью пахнетъ! смѣясь перебилъ Ефремовъ, опахивая шляпой лицо, раскраснѣвшееся какъ въ іюлѣ.

Онъ самодовольно тряхнулъ крутыми плечами, вынулъ изъ бокового кармана лопнувшую кожаную сигарочницу съ вылѣзающими отовсюду толстыми папиросами и, подавая одну изъ нихъ товарищу, спросилъ:

— Хочешь исходящую?...

— Спасибо; только что курилъ, отвѣчалъ тотъ, раздраженно кусая ногти.

Ефремовъ втянулъ въ себя цѣлое облако дыма, подержалъ его между выпученными щеками, плотно сжавъ губы, и продолжалъ, выпуская дымъ подъ носъ маленькими струйками:

— На всѣ твои доводы скажу, братецъ, слѣдующее: кому какъ! Для меня, напримѣръ, чинъ дѣйствительнаго—то же, что петля на шею... Постой, Семенъ Семеновичъ, не перебивай, дай сказать:—именно петля! Надняхъ еще директоръ говоритъ мнѣ: „Воля ваша, Петръ Никаноровичъ, такъ невозможно; вы, говоритъ, одиннадцать лѣтъ сидите безъ производства; что-жъ, наконецъ, другіе скажутъ?...“—„Христомъ Богомъ, говорю, оставьте меня, ваше превосходительство, на прежнемъ положеніи; отъ этого, говорю, зависитъ судьба семейства!“ — „Съ вами, говоритъ, ничего, видно, не подѣлаешь, — оставайтесь, коли такая

охота!...“ И въ самомъ дѣлѣ, вникни: теперь я секретарь; мѣсто штатное; кромѣ жалованья по окладу, получаю изъ остаточныхъ суммъ добавочныя, квартирныя, выдаютъ на воспитаніе дѣтей. Произведутъ въ дѣйствительные, съ того дня: тю-тю секретарство! Скажутъ: „Нѣтъ, братъ, шутишь, не по чину; ступай къ тётенькѣ!“—Куда, спросятъ, дѣвать новаго генерала?“—„Валяй его въ заштатные!“ Съ протекціей причислятъ тебя къ какой нибудь комиссіи... для сокращенія комиссій... Простись тогда, душка Петръ Никаноровичъ, съ окладомъ и другими блезирами изъ остаточныхъ!—„Нѣтъ, скажутъ, здѣсь не полагается!“ Вотъ тебѣ и выгода вся отъ вашего превосходительства!

— Я касался не только по служебнымъ отношеніямъ; я главнымъ образомъ говорилъ о значеніи чина въ общественномъ смыслѣ...

— Въ общественномъ! Скажите, какая невидаль!

— Глумись! Глумись!... Фактъ тотъ однакожъ, что дѣйствительный представляетъ нѣчто въ самомъ дѣлѣ дѣйствительносуществующее, тогда какъ безъ этого предоставляется развѣ только право на существованіе...

— Существую однакожъ, видишь!.. произнесъ Ефремовъ, выпучиваясь на ходу и похлопывая по животу, который загудѣлъ при этомъ, какъ пустая бочка,—съ однимъ развѣ можно согласиться; очень ужъ лестно: до дѣйствительнаго живешь такъ себѣ, хлѣбъ жуешь, какъ мы теперь грѣшные;—ну, а какъ произведутъ,—съ того самаго дня начнешь считать себя умнѣе другихъ! „Мелюзга, значитъ, всѣ остальные!...“ Что-жъ, наконецъ, скажи наивность: неужто въ самомъ дѣлѣ тебѣ такъ ужъ этого хочется? спросилъ онъ, насмѣшливо поглядывая на товарища. Знаешь что? подхватилъ онъ, не дождавшись отвѣта, прибѣгни къ извѣстному способу, вѣрнѣе нѣтъ: насаливай всѣмъ и каждому!

— Хорошъ способъ, нечего сказать...

— А что-жъ—дуренъ? Повторяю: нѣтъ его вѣрнѣе! Когда надоѣшь до тошноты,—такъ надоѣшь, что не будутъ знать, что съ тобою дѣлать,—непремѣнно произведутъ... чтобы скорѣе отдѣлаться; безъ особой протекціи позаботятся даже перевести въ другое вѣдомство... Такъ сдѣлалъ Худосокинъ; такъ сдѣлали Чирковъ и Вафлинъ: всѣ теперь дѣйствительные!

Сципе́ровъ не обижался выходками Ефремова, потому что

никто этого не дѣлалъ въ департаментѣ, по привычкѣ считать Ефремова малымъ хотя и распущеннымъ, но въ сущности добрякомъ и забавникомъ. Глядя, однакожъ, съ какимъ увлеченіемъ кусалъ онъ ногти, можно было думать, разговоръ съ сослуживцемъ задѣвалъ чувствительное мѣсто его тайныхъ побужденій. Грызть ногти было потребностью, выражавшей внутреннее состояніе его духа, безпокойно и постоянно съѣдаемаго завистью. Виною всему былъ младшій братъ Сопиперова, сдѣлавшій неожиданно видную карьеру. Послѣднее произошло слѣдующимъ образомъ: тогдашній министръ, подписывая бумаги, имѣлъ привычку оканчивать подпись красивымъ завиткомъ. Сдѣлавъ, однажды, такой завитокъ и какъ бы полюбовавшись имъ, министръ обратился съ пріятной улыбкой къ директору и сказалъ: „quelle belle plume!..“ Перо въ тотъ разъ чинилъ регистраторъ Сопиперовъ младшій. Его немедленно приставили спеціально къ такой должности. Когда министръ поѣхалъ дѣлать обзоръ по Россіи,—Сопиперовъ находился уже въ числѣ сопровождающихъ. Зимою, послѣ того какъ онъ у камердинера министра окрестилъ сына, — его еще замѣтнѣе выдвинули; вскорѣ онъ сдѣлался необходимымъ лицомъ; ему давали разныя домашнія порученія; жена министра посылала его въ кондитерскую за буль-де-гомами для дѣтей. Два года спустя, министръ поручилъ ему осмотрѣть и обревизовать контору собственнаго имѣнія. Съ тѣхъ поръ и пошло, и пошло—чѣмъ дальше, тѣмъ успѣшнѣе. Теперь Сопиперовъ младшій былъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и дѣятельно хлопоталъ о придворномъ званіи, которое, по его мнѣнію, должно было окончательно установить его въ избранномъ обществѣ. Сопиперовъ старшій, испытавъ безполезность прибѣгать къ протекціи брата, ненасытность котораго сравнивалъ всегда съ аравійскимъ пескомъ: „сколько въ него не лей,—все мало“,—пускался летать на собственныхъ крыльяхъ; онъ пробовалъ втираться въ разныя благотворительныя общества, имѣя передъ глазами разительные примѣры скораго выдвиганія на этомъ выгодномъ поприщѣ; пробовалъ даже сдѣлаться членомъ комитета сиротскаго училища, учрежденнаго спеціально съ цѣлью доставлять членамъ случай ходить съ докладомъ къ вліятельнымъ сановникамъ и черезъ нихъ пробиваться къ высшимъ должностямъ, — ничего не помогало. Онъ, очевидно, или не нравился дамамъ-попечительницамъ, или просто не умѣлъ, какъ слѣдуетъ, угождать и поддѣлываться,

что — мимоходомъ сказать — совсѣмъ происходило противъ его воли.

Его вообще не долюбливали въ департаментѣ. Одинъ Ефремовъ сходился съ нимъ чаще другихъ и то потому больше, что рѣшительно не понималъ, чтобы можно было кого нибудь особенно любить или не любить.

Въ глазахъ Ефремова, — какъ самъ онъ выражался: „всѣ одинаково не стоили кошачьяго хвоста передъ добрымъ кускомъ кулебяки съ сижкомъ и визигой, благородной бутылкой вина и честной сигаркой!“ Ефремовъ принадлежалъ къ числу чиновниковъ случайныхъ, попавшихъ на службу потому, что въ данную минуту не оказалось другаго поприща къ существованію, и оставшихся на мѣстѣ частью по привычливости нрава, частью по лѣни. Сѣлъ, такъ ужъ скучно какъ-то передвигаться. Онъ опредѣлился въ департаментъ по выходѣ изъ университета, вскорѣ женился, — женился, какъ самъ говорилъ: „не зная для какого лысаго бѣса“, — и прижилъ, тѣмъ не менѣе, цѣлую ораву дѣтей. Но семья и департаментъ никогда собственно не были прямою цѣлью его жизни; то и другое осуществляло горькую необходимость. Цѣлью жизни Ефремова были: закуска, трактиръ, веселая компанія.

Всѣмъ возможнымъ статскимъ и другимъ совѣтникамъ предпочиталъ онъ кружокъ мелкихъ актеровъ, художниковъ и другихъ незатѣйливыхъ, но безцеремонныхъ и разбитныхъ, веселыхъ малыхъ. Онъ никогда не колебался между необходимостью заказать новое пальто или отдать послѣднія деньги за членскій билетъ въ купеческій клубъ — гдѣ по его словамъ: „готовили осетрину съ оливками и грибной подливкой, какъ нигдѣ во всей вселенной!“ Отправляя въ департаментѣ служебныя обязанности, онъ неожиданно подходилъ то къ тому, то къ другому изъ товарищей и, чмокая сластолюбивыми губами, сообщалъ, таинственно припадая къ уху: „Приходи-ка, батенька, сегодня въ Малый Ярославецъ; сегодня борщъ съ потрохами и ватрушки!!...“ Или вдругъ отрывался отъ дѣловой бумаги, дѣлая такое замѣчаніе: „Вчера, господа, мнѣ подали у Палкина бифштексъ; повѣрите ли, вотъ: подушка! страсть просто!...“ Онъ обижался, когда въ такихъ случаяхъ начинали надъ нимъ подшучивать, — хотя, надо сказать, никогда ни на комъ не срывалъ сердца; онъ отходилъ только съ разочарованнымъ видомъ и задумчиво принимался читать какой нибудь докладъ.

Къ нему, впрочемъ, всѣ относились снисходительно; многіе даже любили его за всегдашнюю податливость и веселость. Безъ него не обходилась ни одна пирушка, ни одна свадьба, ни даже похороны, если только послѣднія оканчивались поминкой. Въ трактирахъ онъ состоялъ на пріятельской ногѣ не только съ хозяевами, но зналъ всѣхъ конторщиковъ и половыхъ и называлъ послѣднихъ обыкновенно уменьшительными именами: „Васенька, Петрушечка, Калистратушка... отрѣжьте-ка, голубчикъ, вотъ отсюда съ жиркомъ, пожалуйста...“

Само начальство снисходительно на него смотрѣло, „человѣкъ семейный, не умѣвшій сдѣлать себѣ никакого положенія; дѣтей куча. По службѣ исправенъ. Внѣшній видъ могъ бы быть, конечно, благопріятнѣе; но семья! тѣсныя обстоятельства;—трудно требовать!“—разсуждало начальство, не столько, конечно, руководясь въ этомъ случаѣ сердобольнымъ увлеченіемъ, сколько взглядомъ, почерпнутымъ изъ привычки заботливо и постоянно оберегать собственные интересы. Внѣ должности Ефремовъ терпѣть не могъ говорить о службѣ и департаментѣ. Онъ отзывался о послѣднемъ даже непочтительно.

— Ну ужъ, Петръ Никаноровичъ, сказалъ, встрѣтясь съ нимъ въ ресторанѣ, заѣзжій господинъ, приходившій по дѣламъ въ департаментъ, — три дня сряду прихожу къ вамъ въ два часа,—ни души; во всемъ департаментѣ только одни сторожа...

— Напрасно жалуетесь; теперь очень хорошо, возразилъ Ефремовъ.

— Ну ужъ хорошо, — нечего сказать!...

— Вы бы лучше лѣтомъ пришли...

— А что?

— Тогда совсѣмъ никого не бываетъ.

Господинъ пожалъ плечами, искоса поглядывая на Петра Никаноровича, но Петръ Никаноровичъ, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ съ увлеченіемъ уплетать ветчину, заливая ее дри-мадерой, захваченной по дорогѣ въ погребѣ Шитта. Онъ жалѣлъ только, что въ эту минуту не находилось добраго товарища, чтобы разсказать скоромный анекдотъ, отъ котораго чесался языкъ, и затѣмъ увлечь его къ нѣмцамъ въ общество *„Пальма“*, гдѣ въ этотъ вечеръ должны были играть двѣ цитристки, только что пріѣхавшія изъ Риги. Плевать хотѣлъ онъ на тѣхъ, кто совался говорить „по дружбѣ“, что съ его

способностями онъ могъ бы сдѣлать карьеру и пойти куда какъ далеко, вмѣсто того, — что-жъ? — „весь пошелъ только въ животъ!“

— Ну и пошелъ въ животъ, за то видишь: круглый! не чета твоему! заключалъ Ефремовъ, раздувая щеки, выбритыя всегда какъ у актера.

Продолжая бесѣдовать, Ефремовъ и Соципёровъ незамѣтно подходили къ той части аллеи, гдѣ начинаются бюсты и статуи, когда послѣдній, неожиданно остановивъ товарища, указалъ ему на одну изъ боковыхъ аллей сада.

— Ба! да это никакъ нашъ Чемезовъ? сказалъ Ефремовъ, пристально всматриваясь,—три дня въ департаментъ не ходитъ, больнымъ сказывается, а самъ, голубчикъ, изволитъ прогуливаться въ Лѣтнемъ саду... Гм! Пришелъ должно быть тоску разогнать. Еще въ апрѣлѣ жена умерла, теперь сентябрь, — и все, сдается мнѣ, забыть не можетъ! Чудеса, право! Сто разъ говорилъ ему: оставьте, пренебрегите, воротить назадъ невозможно, — не беретъ! Даже похудѣлъ... ей Богу! Надо пойти поговорить съ нимъ...

— Оставь его. Пожалуй на пароходъ опоздаемъ...

— Еще перваго свистка не было. Нѣтъ, надо пойти, поговорить; хотя и не нашего прихода,—все же, братецъ, товарищъ... заключилъ Ефремовъ, увлекая Соципёрова въ боковую аллею, по которой, шагахъ въ двадцати и спиною къ нимъ, медленно выступалъ человѣкъ маленькаго роста.

Услышавъ за собою шаги, онъ обернулся и, казалось, очень непріятно былъ пораженъ неожиданной встрѣчей. Онъ овладѣлъ однако-жъ собой; въ углахъ рта оставалось только подергиванье, свойственное нервнымъ людямъ, когда они чѣмъ нибудь недовольны.

Какъ всѣ мужчины мелкаго сложенія, Чемезовъ казался гораздо моложе своихъ лѣтъ. Стоя за его спиной, можно было биться объ закладъ, что передъ вами молодой человѣкъ, еслибъ не выдавала сильная просѣдь на коротко обстриженномъ затылкѣ. Лицо не оставляло уже сомнѣнія, что передъ вами человѣкъ, перевалившій за сорокъ и, кромѣ того, болѣзненный, нуждающійся въ нравственномъ спокойствіи. Подтвержденіемъ этому служили сѣроватый цвѣтъ кожи, коричневый обводъ вокругъ глазъ, множество преждевременныхъ морщинокъ на вискахъ и на

щекахъ. Нѣкоторые внѣшніе признаки прибавляли къ такому впечатлѣнію: судорожное движеніе въ коротенькихъ, какъ бы съеженныхъ чертахъ, низкій, упрямый, настойчивый лобъ, маленькія уши, крѣпко прижатыя къ головѣ, черные глаза съ желтизною въ зрачкахъ, замѣтно старавшіеся избѣгать прямаго взгляда, — все это съ перваго разу отдаляло мысль отъ характера открытаго, готоваго иногда распахнуться и проявить веселость. Выраженіе внутренняго, сосредоточеннаго чувства казалось застывшимъ на лицѣ его. Въ самой походкѣ его было что-то сдержанное; склоняя на ходу лѣвое плечо нѣсколько на бокъ, онъ постоянно какъ бы отъ чего-то отстранялся. Одни считали Чемезова гордецомъ, другіе человѣкомъ крайне щепетильнымъ, обидчивымъ, старавшимся избѣгать возможности непріятныхъ столкновеній. Вѣрнѣе всего было то, что наружность его почему-то менѣе напоминала чиновника, чѣмъ въ Ефремовѣ и Сопине́ровѣ, — даромъ что первый былъ похожъ на отставнаго стараго актера, второй — на человѣка неопредѣленнаго званія, — всего скорѣе служащаго по сыскной части.

— Батенька, какими судьбами! Мы думали, вы больны, Алексѣй Иванычъ! воскликнулъ Ефремовъ, протягивая руку.

Чемезовъ неторопливо подалъ руку обоимъ сослуживцамъ.

— Мнѣ дѣйствительно нездоровилось; сегодня вышелъ въ первый разъ, произнесъ онъ; мнѣ на домъ не приносили никакихъ бумагъ; у насъ нѣтъ ничего новаго? добавилъ онъ, очевидно, съ тѣмъ, чтобы сказать что нибудь.

— Какія, батенька, новости, все та же канитель!

— Баклановъ умеръ! проговорилъ Сопине́ровъ.

— Ахъ, да, я и забылъ: умеръ; — завтра хоронятъ! подтвердилъ Ефремовъ.

— Вѣроятно это очень огорчило директора, равнодушно сказалъ Чемезовъ, — онъ и Баклановъ были друзьями съ дѣтства...

— Отмѣнно огорчился! смѣясь возразилъ Ефремовъ; — вчера приходитъ экзекуторъ, докладываетъ ему: „генералъ Баклановъ, говоритъ, скоропостижно скончался сегодня ночью, ваше превосходительство“. Онъ, душка, глазкомъ не мигнулъ; сказалъ только: „Распорядитесь скорѣе, чтобы заняли его квартиру; она какъ разъ, говоритъ, подъ моимъ кабинетомъ; скоро зима; квартира останется нетопленною, — въ кабинетѣ совсѣмъ замерзнешь!“ Да, эти душки директоры оберегаютъ-таки себя, нечего сказать!...

Не то, что вы, напримѣръ, Алексѣй Иванычъ, заключилъ Ефремовъ, перемѣняя шутливый тонъ на сердобольный. — Эхъ, голубчикъ, перестаньте! На себя только посмотрите...

— Да, Алексѣй Иванычъ; съ весны, вы, дѣйствительно, очень перемѣнились... счелъ долгомъ вставить Сопинéровъ.

Чемезовъ не стѣсняясь начиналъ уже выказывать знаки нетерпѣнія. Но Ефремовъ принадлежалъ къ числу говоруновъ и трудно было удержать его, когда языкъ приходилъ въ движеніе. Онъ продолжалъ утѣшать, совѣтовалъ о необходимости забыть, пренебречь, развлечься.

— Книжки, Алексѣй Иванычъ, которыя вы сочиняете,—это, повѣрьте, теперь для васъ всего хуже! — только мысль сосредоточиваетъ; именно сосредоточиваетъ! Департаментъ подбавляетъ также не мало унынія... Прежде всего, вѣрьте мнѣ: развлеченіе! Дома, напримѣръ, ни за что не обѣдайте: больше какъ-то напоминаетъ! — ходите въ рестораны, въ трактиры; запишитесь въ клубъ, вечеромъ идите въ театръ, благо есть у васъ на что покупать билеты... Не всякій ли день, наконецъ, видимъ мы людей въ вашемъ положеніи! Быть вдовцомъ! подхватилъ Ефремовъ, неожиданно развеселясь,—быть вдовцомъ! Помилуйте, да это самое милое, любезное положеніе; для такой цѣли можно, пожалуй, второй разъ жениться, ей Богу!...

Въ эту минуту со стороны Невы послышался пароходный свистокъ. Ефремовъ поднялъ носъ, потянулъ воздухъ какъ лягавая собака и, торопливо пожавъ руку Чемезову, зашагалъ къ рѣшеткѣ. Увидѣвъ подоспѣвшаго Сопинéрова, кусающаго ногти, онъ спросилъ только: „Вкусно ли?“ и когда тотъ фыркнулъ что-то подъ носъ, разразился смѣхомъ, отъ котораго запрыгалъ его животъ и побагровѣли щеки.

Встрѣча съ сослуживцами непріятно подѣйствовала на Чемезова. Онъ находился въ томъ, болѣе или менѣе всѣмъ знакомомъ, состояніи духа, когда вдругъ отпадаетъ охота говорить и думаешь о томъ только, какъ бы избавиться отъ докучливости. Съ такой цѣлью сказывался онъ три дня больнымъ и, какъ только наступалъ вечеръ, отправлялся въ Лѣтній садъ. Тамъ рѣдко теперь можно было кого нибудь встрѣтить.

Чемезовъ былъ большой домосѣдъ; но послѣ кончины жены, домашняя жизнь ему опостыла. Бывали дни,—какъ сегодня, напримѣръ,—когда одинъ видъ квартиры дѣлался невыносимымъ,

хотѣлось уйти куда нибудь подальше. Съ мыслію о потерѣ жены онъ мало-по-малу начиналъ свыкаться; но вмѣстѣ съ нею неизбѣжно всегда соединялись воспоминанія всего лучшаго, всего свѣтлаго, пережитаго въ жизни. Когда они приходили на умъ, онъ ничего не дѣлалъ, чтобы отстранить ихъ,—хотя самъ каждый разъ чувствовалъ себя подъ гнетомъ мучительной тоски. Страдая больше всего одиночествомъ, Чемезовъ, въ такіе дни, нетерпѣливо всегда желалъ уединенія.

Такъ и теперь было. Отдѣлавшись отъ докучливой встрѣчи, онъ отошелъ въ глухую часть сада и сѣлъ на скамью. Горечь воспоминаній, казалось, еще сильнѣе имъ овладѣла. Выраженіе ѣдкой грусти пробѣгало иногда по лицу его; грудь подымалась, подавляя вздохи.

Недавно еще просидѣлъ онъ такимъ образомъ до поздней ночи. На этотъ разъ, вѣроятно, произошло бы то же самое, еслибъ не помѣшалъ дождикъ. Чемезовъ приподнялся съ мѣста и медленно направился къ выходу.

Начинало смеркаться. Сумерки ускорялись наволокомъ тучъ, набѣгавшихъ отъ взморья. Въ воздухѣ замѣтно стало больше движенія; садъ глухо шумѣлъ, двигая обезлиственными вершинами. Густой туманъ наполнялъ аллеи; стволы деревьевъ показывались въ немъ мѣстами какъ бы стоявшими въ воздухѣ; мѣстами стволы смутно представлялись углубленными, темными пятнами. Дорожки и лужайки между ними пропадали въ десяти шагахъ; во всю глубину сада просвѣчивала только сквозь туманъ продольная, болѣе свѣтлая, волнистая полоса, обозначавшая главную аллею. Дождь усиливался, и слышно было, какъ капли били въ сухіе листья, летѣвшіе во всѣ стороны.

## II.

Еслибъ Ефремовъ и Соципе́ровъ, вмѣсто того чтобы встрѣтить Чемезова гуляющимъ въ саду, могли застать его сидящимъ на скамьѣ и узнать о настоящихъ его чувствахъ, — оба, безъ сомнѣнья, поспѣшили бы сообщить объ этомъ какъ курьезную новость. Всякое извѣстіе о Чемезовѣ было находкой въ департаментѣ. Любопытство главнымъ образомъ возбуждалось исключительностью положенія, въ которое Чемезовъ поставилъ себя между

товарищами. Прослуживъ съ ними восемнадцать лѣтъ, онъ, въ теченіе этого времени, ни съ кѣмъ рѣшительно не сошелся, держалъ себя постоянно въ сторонѣ, особнякомъ, никогда шагу даже не сдѣлалъ, чтобы съ кѣмъ нибудь сблизиться. Когда въ его присутствіи затѣвалась веселая компанія, онъ особенно всегда какъ-то съеживался, — точно улизнуть хотѣлъ, и кончалъ всегда тѣмъ, что отказывался участвовать. На пирушкахъ, руководимыхъ Ефремовымъ, онъ ни разу не былъ. Вышло какъ-то такъ, что всѣ говорили ему: „вы“, между тѣмъ какъ это противорѣчило общей привычкѣ; ужъ это одно было чѣмъ-то охлаждающимъ при ежедневныхъ отношеніяхъ. Онъ былъ одинаково учтивъ, даже услужливъ, но въ обращеніи его чувствовалась всегда сдержанность, отбивавшая охоту къ панибратству. Въ департаментѣ онъ никогда ни о чемъ не разговаривалъ, какъ о дѣлахъ службы. „Съеженный человѣкъ! Фуфыра! весь на пуговкахъ! никогда не распахнется, — точно нѣмка родила!“ часто повѣствовалъ Ефремовъ. Въ послѣднемъ онъ не ошибался. Мать Чемезова, дѣйствительно, была нѣмка.

По адресной книгѣ департамента хорошо было извѣстно мѣстожительство Чемезова: никто однако-жъ никогда къ нему не заглядывалъ; да и нельзя было: онъ никого никогда не звалъ къ себѣ. О женитьбѣ его, происходившей пятнадцать лѣтъ тому назадъ, узнали случайно отъ Ефремова, прикладывавшаго печать къ форменному разрѣшенію. Никого даже не позвалъ онъ тогда на свадьбу, никого не угостилъ.

— „Свинтусъ! — ничего больше!!“ — повторялъ Ефремовъ нѣсколько дней сряду. Съ тѣхъ самыхъ поръ прозвалъ онъ его „таинственнымъ монахомъ“ и, какъ бы не удовлетворившись этимъ, назвалъ еще „Фотіемъ“; оба эти прозвища до сихъ поръ шопотомъ произносились иногда въ департаментѣ. Никогда также никто не видалъ жены Чемезова, не встрѣчалъ его гуляющимъ съ ней подъ руку; когда шелъ, то всегда въ одиночку. Съ похоронами жены было то же самое: ни приглашенія, ни угощенія! Узнали объ этомъ послѣ того, какъ онъ три недѣли носу не показывалъ въ департаментѣ.

Такое постоянство въ отчужденіи и упорная несообщительность придали Чемезову въ глазахъ товарищей таинственность, которая, болѣе или менѣе, подстрекала общее любопытство. Стоило заговорить о немъ, — у всѣхъ были ушки на макушкѣ.

Таинственность Чемезова дѣйствительно трудно было проникнуть, потому что все въ ней основывалось на свойствахъ довольно своеобразнаго, сложнаго характера. Въ немъ заключались какъ бы два отдѣльныя существа, противоположныя другъ другу по духу, хотя жившія, повидимому, въ ладу между собою. Одному принадлежало горячее, любящее сердце, нервный темпераментъ, тѣсно всегда связанный со способностью сильно принимать впечатлѣнія; въ удѣлъ другому достались по большей части мизантропическія свойства: скрытность, замкнутость, крайняя несообщительность, самолюбивая щекотливость, — рѣдко впрочемъ выказываемая потому, что ее удерживалъ умъ, хотя можетъ быть и неспособный изобрѣсти порохъ, — но, во всякомъ случаѣ, разсудительный и спокойный. Одна изъ этихъ долей характера дана была природой, — другую образовали обстоятельства жизни.

Чемезову было семь лѣтъ, когда скончался отецъ, — мелкій уѣздный чиновникъ, женатый на прусской колонисткѣ. Бывъ единственнымъ ребенкомъ у матери и страстно къ ней привязанный, онъ былъ свидѣтелемъ, какъ, годъ спустя, мать вступила во второй бракъ; второй отецъ былъ тотъ самый человѣкъ, котораго онъ, сколько себя помнилъ, всегда не любилъ и боялся. Поселившись съ нимъ подъ одной кровлей, онъ возненавидѣлъ его окончательно, и вмѣстѣ съ тѣмъ, подъ вліяніемъ страха, принужденъ былъ постоянно скрывать передъ всѣми настоящія свои чувства.

У матери пошли дѣти; быть можетъ онъ преувеличивалъ ея охлажденіе къ себѣ, но ясно однакожъ чувствовалъ, какъ, мало-по-малу, лишался ея прежней привязанности. Но и здѣсь надо было думать про-себя и не высказываться. Всѣ эти впечатлѣнія, начавшія его дѣтство и болѣзненно отразившіяся на характерѣ въ моментъ его развитія, были однако-жъ слабы передъ тѣми, когда, по прошествіи четырехъ лѣтъ, скончалась мать и онъ увидѣлъ себя круглымъ сиротою въ рукахъ вотчима; послѣдній еще при жизни покойницы не стѣснялся выказывать ему непріязненныя чувства. Участь мальчика облегчалась тѣмъ только, что онъ былъ въ гимназіи и цѣлую недѣлю не находился дома.

Около этого времени съ вотчимомъ произошелъ, какъ говорится: „казусъ“. Замѣшанный въ какую-то темную исторію, онъ лишился мѣста и отказался платить за пасынка.

Докончивъ курсъ на казенный счетъ, благодаря участію директора, Чемезовъ, восемнадцати лѣтъ, безъ всякихъ средствъ, безъ пристанища, потому что вотчимъ вскорѣ послѣ „казуса“ уѣхалъ въ отдаленную губернію, — предоставленъ былъ самому себѣ. Онъ положительно не зналъ, что̀ съ собою дѣлать. Врожденная несообщительность удерживала его отъ сближенія съ товарищами, горечь и недовѣрчивость, успѣвшія основаться въ его сердцѣ, мѣшали выйти изъ тяжелаго положенія.

Чтобы не умеретъ съ голоду, онъ началъ давать уроки дѣтямъ лавочника, который согласился снабжать его въ обмѣнъ угломъ и харчами. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Чемезовъ давалъ уроки въ семействахъ разныхъ мѣщанъ и купцовъ. Занятіе было не по душѣ; школа была суровая. Она, правда, пріучила его къ терпѣнію, къ выносливости, — но вмѣстѣ съ тѣмъ развила желчь и прибавила замкнутости. Утѣшительная сторона была та, что онъ увидѣлъ возможность существовать своими средствами. Это обстоятельство ободрило его; онъ рѣшился провести еще годъ такимъ образомъ, скопить нѣсколько денегъ, уѣхать въ Петербургъ и поступить въ университетъ. Онъ мечталъ объ этомъ еще въ гимназіи.

Двадцати лѣтъ Чемезовъ пріѣхалъ въ Петербургъ, съ шестьюдесятью рублями въ карманѣ, и принялся усердно ходить на лекціи.

Все, что пришлось испытать ему, какъ бѣдному студенту, брошенному на собственный произволъ, лишенному всякой матеріальной и нравственной поддержки, — не могло, конечно, внести примиренія въ его взглядахъ на жизнь. Одно къ одному, пришло вскорѣ и разочарованіе. Въ лекціяхъ не нашелъ онъ того одушевленія, какого ожидалъ; къ удивленію, онѣ показались ему холодными, неувлекательными. Онъ продолжалъ, однакожъ, аккуратно посѣщать ихъ; но уже цѣлью его была не наука, о которой такъ горячо мечталъ онъ прежде; цѣль ограничилась тѣмъ, чтобы не оставаться лишняго года на курсѣ и, по выходѣ, отыскать какое нибудь поприще и основаться на немъ. Невыносимая тягость матеріальныхъ условій понуждала его къ этому.

Тотъ, кто не испытывалъ питаться по цѣлымъ мѣсяцамъ однимъ ячменнымъ кофеемъ съ сухарями, не посѣщалъ извѣстнаго рода кухмистерскихъ, гдѣ каждый кусокъ становится по-

перегъ горла и принуждаешь себя ѣсть потому, что желудокъ корчитъ отъ голоду, кто не жилъ въ грязныхъ углахъ, подкидывая вмѣсто тюфяка собственное платье, кто, вмѣсто шубы, не ограничивался въ сильные морозы пледомъ, служившимъ ночью одѣяломъ, кто не чинилъ заплатъ на своемъ пальто, не зналъ часто, какъ вымыть бѣлье, потому что все, что было по этой части, покрывало тѣло, кто не пережилъ все это годами, не имѣя передъ собою вѣрной, опредѣленной цѣли,—тотъ никогда не пойметъ, какими запасами прекрасныхъ силъ владѣетъ молодость,—никогда не пойметъ, сколько нужно энергіи, силы воли, высокой нравственной подкладки, чтобы, при такихъ условіяхъ, не сбиться съ пути, не упасть духомъ и, вопреки всему, продолжать учиться, посѣщать лекціи, составлять записки и т. д.

Уроки по полтиннику, иногда по рублю, продолжали и здѣсь выручать Чемезова. Два лѣта сряду приглашали его въ качествѣ репетитора въ отъѣзъ съ семействомъ. Этотъ періодъ его существованія былъ очень знаменателенъ. Тутъ въ первый разъ, болѣе чѣмъ когда нибудь, выказалось его влеченіе къ литературѣ; чтеніе всегда было любимымъ его занятіемъ; оно превратилось теперь въ запой своего рода. Быть литераторомъ!... Онъ не смѣлъ мечтать объ этомъ, хотя такая мысль начинала мерещиться ему еще въ гимназіи. Доказательствомъ могла служить тщательно сберегаемая тетрадка стихотвореній, написанныхъ за годъ до пріѣзда въ Петербургъ; были еще: драма изъ итальянской жизни *„Замокъ Морвено“* и повѣсть *„Отверженный“*; но послѣднія представляли скорѣе наброски, чѣмъ оконченныя произведенія.

Литературныя занятія, казалось ему, вполнѣ отвѣчали его вкусамъ, его характеру, склонному къ уединенію и мечтательности. Настроивъ себя такимъ образомъ, другой, на его мѣстѣ, тутъ же бросилъ бы лекціи и, въ пылу возбужденія, послушался бы своего влеченія; но у Чемезова, при всей горячности сердца, былъ умъ спокойный и разсудительный, напуганный обстоятельствами жизни, привыкшій сдерживать внутреннія порывы. Прежде чѣмъ пуститься очертя голову, — ему хотѣлось добиться пристанища, опредѣлиться куда нибудь на мѣсто, которое дало бы возможность осуществить любимую мечту. Мысль обезпеченья, независимости была прямымъ слѣдствіемъ горькихъ испытаній въ жизни.

способностями онъ могъ бы сдѣлать карьеру и пойти куда какъ далеко, вмѣсто того, — что-жъ? — „весь пошелъ только въ животъ!“

— Ну и пошелъ въ животъ, за то видишь: круглый! не чета твоему! заключалъ Ефремовъ, раздувая щеки, выбритыя всегда какъ у актера.

Продолжая бесѣдовать, Ефремовъ и Сципе́ровъ незамѣтно подходили къ той части аллеи, гдѣ начинаются бюсты и статуи, когда послѣдній, неожиданно остановивъ товарища, указалъ ему на одну изъ боковыхъ аллей сада.

— Ба! да это никакъ нашъ Чемезовъ? сказалъ Ефремовъ, пристально всматриваясь,—три дня въ департаментъ не ходитъ, больнымъ сказывается, а самъ, голубчикъ, изволитъ прогуливаться въ Лѣтнемъ саду... Гм! Пришелъ должно быть тоску разогнать. Еще въ апрѣлѣ жена умерла, теперь сентябрь, — и все, сдается мнѣ, забыть не можетъ! Чудеса, право! Сто разъ говорилъ ему: оставьте, пренебрегите, воротить назадъ невозможно, — не беретъ! Даже похудѣлъ... ей Богу! Надо пойти поговорить съ нимъ...

— Оставь его. Пожалуй на пароходъ опоздаемъ...

— Еще перваго свистка не было. Нѣтъ, надо пойти, поговорить; хотя и не нашего прихода,—все же, братецъ, товарищъ... заключилъ Ефремовъ, увлекая Сципе́рова въ боковую аллею, по которой, шагахъ въ двадцати и спиною къ нимъ, медленно выступалъ человѣкъ маленькаго роста.

Услышавъ за собою шаги, онъ обернулся и, казалось, очень непріятно былъ пораженъ неожиданной встрѣчей. Онъ овладѣлъ однако-жъ собой; въ углахъ рта оставалось только подергиванье, свойственное нервнымъ людямъ, когда они чѣмъ нибудь недовольны.

Какъ всѣ мужчины мелкаго сложенія, Чемезовъ казался гораздо моложе своихъ лѣтъ. Стоя за его спиной, можно было биться объ закладъ, что передъ вами молодой человѣкъ, еслибъ не выдавала сильная просѣдь на коротко обстриженномъ затылкѣ. Лицо не оставляло уже сомнѣнія, что передъ вами человѣкъ, перевалившій за сорокъ и, кромѣ того, болѣзненный, нуждающійся въ нравственномъ спокойствіи. Подтвержденіемъ этому служили сѣроватый цвѣтъ кожи, коричневый обводъ вокругъ глазъ, множество преждевременныхъ морщинокъ на вискахъ и на

щекахъ. Нѣкоторые внѣшніе признаки прибавляли къ такому впечатлѣнію: судорожное движеніе въ коротенькихъ, какъ бы съеженныхъ чертахъ, низкій, упрямый, настойчивый лобъ, маленькія уши, крѣпко прижатыя къ головѣ, черные глаза съ желтизною въ зрачкахъ, замѣтно старавшіеся избѣгать прямаго взгляда, — все это съ перваго разу отдаляло мысль отъ характера открытаго, готоваго иногда распахнуться и проявить веселость. Выраженіе внутренняго, сосредоточеннаго чувства казалось застывшимъ на лицѣ его. Въ самой походкѣ его было что-то сдержанное; склоняя на ходу лѣвое плечо нѣсколько на бокъ, онъ постоянно какъ бы отъ чего-то отстранялся. Одни считали Чемезова гордецомъ, другіе человѣкомъ крайне щепетильнымъ, обидчивымъ, старавшимся избѣгать возможности непріятныхъ столкновеній. Вѣрнѣе всего было то, что наружность его почему-то менѣе напоминала чиновника, чѣмъ въ Ефремовѣ и Сципе́ровѣ, — даромъ что первый былъ похожъ на отставнаго стараго актера, второй — на человѣка неопредѣленнаго званія, — всего скорѣе служащаго по сыскной части.

— Батенька, какими судьбами! Мы думали, вы больны, Алексѣй Иванычъ! воскликнулъ Ефремовъ, протягивая руку.

Чемезовъ неторопливо подалъ руку обоимъ сослуживцамъ.

— Мнѣ дѣйствительно нездоровилось; сегодня вышелъ въ первый разъ, произнесъ онъ; мнѣ на домъ не приносили никакихъ бумагъ; у насъ нѣтъ ничего новаго? добавилъ онъ, очевидно, съ тѣмъ, чтобы сказать что нибудь.

— Какія, батенька, новости, все та же канитель!

— Баклановъ умеръ! проговорилъ Сципе́ровъ.

— Ахъ, да, я и забылъ: умеръ; — завтра хоронятъ! подтвердилъ Ефремовъ.

— Вѣроятно это очень огорчило директора, равнодушно сказалъ Чемезовъ, — онъ и Баклановъ были друзьями съ дѣтства...

— Отмѣнно огорчился! смѣясь возразилъ Ефремовъ; — вчера приходитъ экзекуторъ, докладываетъ ему: „генералъ Баклановъ, говоритъ, скоропостижно скончался сегодня ночью, ваше превосходительство“. Онъ, душка, глазкомъ не мигнулъ; сказалъ только: „Распорядитесь скорѣе, чтобы заняли его квартиру; она какъ разъ, говоритъ, подъ моимъ кабинетомъ; скоро зима; квартира останется нетопленною, — въ кабинетѣ совсѣмъ замерзнешь!“ Да, эти душки директоры оберегаютъ-таки себя, нечего сказать!...

Не то, что вы, напримѣръ, Алексѣй Иванычъ, заключилъ Ефремовъ, перемѣняя шутливый тонъ на сердобольный. — Эхъ, голубчикъ, перестаньте! На себя только посмотрите...

— Да, Алексѣй Иванычъ; съ весны, вы, дѣйствительно, очень перемѣнились... счелъ долгомъ вставить Сципе́ровъ.

Чемезовъ не стѣсняясь начиналъ уже выказывать знаки нетерпѣнія. Но Ефремовъ принадлежалъ къ числу говоруновъ и трудно было удержать его, когда языкъ приходилъ въ движеніе. Онъ продолжалъ утѣшать, совѣтовалъ о необходимости забыть, пренебречь, развлечься.

— Книжки, Алексѣй Иванычъ, которыя вы сочиняете,—это, повѣрьте, теперь для васъ всего хуже! — только мысль сосредоточиваетъ; именно сосредоточиваетъ! Департаментъ подбавляетъ также не мало уныніи... Прежде всего, вѣрьте мнѣ: развлеченіе! Дома, напримѣръ, ни за что не обѣдайте: больше какъ-то напоминаетъ! — ходите въ рестораны, въ трактиры; запишитесь въ клубъ, вечеромъ идите въ театръ, благо есть у васъ на что покупать билеты... Не всякій ли день, наконецъ, видимъ мы людей въ вашемъ положеніи! Быть вдовцомъ! подхватилъ Ефремовъ, неожиданно развеселясь,—быть вдовцомъ! Помилуйте, да это самое милое, любезное положеніе; для такой цѣли можно, пожалуй, второй разъ жениться, ей Богу!...

Въ эту минуту со стороны Невы послышался пароходный свистокъ. Ефремовъ поднялъ носъ, потянулъ воздухъ какъ лягавая собака и, торопливо пожавъ руку Чемезову, зашагалъ къ рѣшеткѣ. Увидѣвъ подоспѣвшаго Сципе́рова, кусающаго ногти, онъ спросилъ только: „Вкусно ли?“ и когда тотъ фыркнулъ что-то подъ носъ, разразился смѣхомъ, отъ котораго запрыгалъ его животъ и побагровѣли щеки.

Встрѣча съ сослуживцами непріятно подѣйствовала на Чемезова. Онъ находился въ томъ, болѣе или менѣе всѣмъ знакомомъ, состояніи духа, когда вдругъ отпадаетъ охота говорить и думаешь о томъ только, какъ бы избавиться отъ докучливости. Съ такой цѣлью сказывался онъ три дня больнымъ и, какъ только наступалъ вечеръ, отправлялся въ Лѣтній садъ. Тамъ рѣдко теперь можно было кого нибудь встрѣтить.

Чемезовъ былъ большой домосѣдъ; но послѣ кончины жены, домашняя жизнь ему опостыла. Бывали дни,—какъ сегодня, напримѣръ,—когда одинъ видъ квартиры дѣлался невыносимымъ,

хотѣлось уйти куда нибудь подальше. Съ мыслію о потерѣ жены онъ мало-по-малу начиналъ свыкаться; но вмѣстѣ съ нею неизбѣжно всегда соединялись воспоминанія всего лучшаго, всего свѣтлаго, пережитаго въ жизни. Когда они приходили на умъ, онъ ничего не дѣлалъ, чтобы отстранить ихъ,—хотя самъ каждый разъ чувствовалъ себя подъ гнетомъ мучительной тоски. Страдая больше всего одиночествомъ, Чемезовъ, въ такіе дни, нетерпѣливо всегда желалъ уединенія.

Такъ и теперь было. Отдѣлавшись отъ докучливой встрѣчи, онъ отошелъ въ глухую часть сада и сѣлъ на скамью. Горечь воспоминаній, казалось, еще сильнѣе имъ овладѣла. Выраженіе ѣдкой грусти пробѣгало иногда по лицу его; грудь подымалась, подавляя вздохи.

Недавно еще просидѣлъ онъ такимъ образомъ до поздней ночи. На этотъ разъ, вѣроятно, произошло бы то же самое, еслибъ не помѣшалъ дождикъ. Чемезовъ приподнялся съ мѣста и медленно направился къ выходу.

Начинало смеркаться. Сумерки ускорялись наволокомъ тучъ, набѣгавшихъ отъ взморья. Въ воздухѣ замѣтно стало больше движенія; садъ глухо шумѣлъ, двигая обезлиственными вершинами. Густой туманъ наполнялъ аллеи; стволы деревьевъ показывались въ немъ мѣстами какъ бы стоявшими въ воздухѣ; мѣстами стволы смутно представлялись углубленными, темными пятнами. Дорожки и лужайки между ними пропадали въ десяти шагахъ; во всю глубину сада просвѣчивала только сквозь туманъ продольная, болѣе свѣтлая, волнистая полоса, обозначавшая главную аллею. Дождь усиливался, и слышно было, какъ капли били въ сухіе листья, летѣвшіе во всѣ стороны.

## II.

Еслибъ Ефремовъ и Сципе́ровъ, вмѣсто того чтобы встрѣтить Чемезова гуляющимъ въ саду, могли застать его сидящимъ на скамьѣ и узнать о настоящихъ его чувствахъ, — оба, безъ сомнѣнья, поспѣшили бы сообщить объ этомъ какъ курьезную новость. Всякое извѣстіе о Чемезовѣ было находкой въ департаментѣ. Любопытство главнымъ образомъ возбуждалось исключительностью положенія, въ которое Чемезовъ поставилъ себя между

товарищами. Прослуживъ съ ними восемнадцать лѣтъ, онъ, въ теченіе этого времени, ни съ кѣмъ рѣшительно не сошелся, держалъ себя постоянно въ сторонѣ, особнякомъ, никогда шагу даже не сдѣлалъ, чтобы съ кѣмъ нибудь сблизиться. Когда въ его присутствіи затѣвалась веселая компанія, онъ особенно всегда какъ-то съеживался, — точно улизнуть хотѣлъ, и кончалъ всегда тѣмъ, что отказывался участвовать. На пирушкахъ, руководимыхъ Ефремовымъ, онъ ни разу не былъ. Вышло какъ-то такъ, что всѣ говорили ему: „вы“, между тѣмъ какъ это противорѣчило общей привычкѣ; ужъ это одно было чѣмъ-то охлаждающимъ при ежедневныхъ отношеніяхъ. Онъ былъ одинаково учтивъ, даже услужливъ, но въ обращеніи его чувствовалась всегда сдержанность, отбивавшая охоту къ панибратству. Въ департаментѣ онъ никогда ни о чемъ не разговаривалъ, какъ о дѣлахъ службы. „Съеженный человѣкъ! Фуфыра! весь на пуговкахъ! никогда не распахнется, — точно нѣмка родила!“ часто повѣствовалъ Ефремовъ. Въ послѣднемъ онъ не ошибался. Мать Чемезова, дѣйствительно, была нѣмка.

По адресной книгѣ департамента хорошо было извѣстно мѣстожительство Чемезова: никто однако-жъ никогда къ нему не заглядывалъ; да и нельзя было: онъ никого никогда не звалъ къ себѣ. О женитьбѣ его, происходившей пятнадцать лѣтъ тому назадъ, узнали случайно отъ Ефремова, прикладывавшаго печать къ форменному разрѣшенію. Никого даже не позвалъ онъ тогда на свадьбу, никого не угостилъ.

— „Свинтусъ! — ничего больше!!“ — повторялъ Ефремовъ нѣсколько дней сряду. Съ тѣхъ самыхъ поръ прозвалъ онъ его „таинственнымъ монахомъ“ и, какъ бы не удовлетворившись этимъ, назвалъ еще „Фотіемъ“; оба эти прозвища до сихъ поръ шопотомъ произносились иногда въ департаментѣ. Никогда также никто на видалъ жены Чемезова, не встрѣчалъ его гуляющимъ съ ней подъ руку; когда шелъ, то всегда въ одиночку. Съ похоронами жены было то же самое: ни приглашенія, ни угощенія! Узнали объ этомъ послѣ того, какъ онъ три недѣли носу не показывалъ въ департаментѣ.

Такое постоянство въ отчужденіи и упорная несообщительность придали Чемезову въ глазахъ товарищей таинственность, которая, болѣе или менѣе, подстрекала общее любопытство. Стоило заговорить о немъ, — у всѣхъ были ушки на макушкѣ.

Таинственность Чемезова дѣйствительно трудно было проникнуть, потому что все въ ней основывалось на свойствахъ довольно своеобразнаго, сложнаго характера. Въ немъ заключались какъ бы два отдѣльныя существа, противоположныя другъ другу по духу, хотя жившія, повидимому, въ ладу между собою. Одному принадлежало горячее, любящее сердце, нервный темпераментъ, тѣсно всегда связанный со способностью сильно принимать впечатлѣнія; въ удѣлъ другому достались по большей части мизантропическія свойства: скрытность, замкнутость, крайняя несообщительность, самолюбивая щекотливость, — рѣдко впрочемъ выказываемая потому, что ее удерживалъ умъ, хотя можетъ быть и неспособный изобрѣсти порохъ, — но, во всякомъ случаѣ, разсудительный и спокойный. Одна изъ этихъ долей характера дана была природой, — другую образовали обстоятельства жизни.

Чемезову было семь лѣтъ, когда скончался отецъ, — мелкій уѣздный чиновникъ, женатый на прусской колонисткѣ. Бывъ единственнымъ ребенкомъ у матери и страстно къ ней привязанный, онъ былъ свидѣтелемъ, какъ, годъ спустя, мать вступила во второй бракъ; второй отецъ былъ тотъ самый человѣкъ, котораго онъ, сколько себя помнилъ, всегда не любилъ и боялся. Поселившись съ нимъ подъ одной кровлей, онъ возненавидѣлъ его окончательно, и вмѣстѣ съ тѣмъ, подъ вліяніемъ страха, принужденъ былъ постоянно скрывать передъ всѣми настоящія свои чувства.

У матери пошли дѣти; быть можетъ онъ преувеличивалъ ея охлажденіе къ себѣ, но ясно однакожъ чувствовалъ, какъ, мало-по-малу, лишался ея прежней привязанности. Но и здѣсь надо было думать про-себя и не высказываться. Всѣ эти впечатлѣнія, начавшія его дѣтство и болѣзненно отразившіяся на характерѣ въ моментъ его развитія, были однако-жъ слабы передъ тѣми, когда, по прошествіи четырехъ лѣтъ, скончалась мать и онъ увидѣлъ себя круглымъ сиротою въ рукахъ вотчима; послѣдній еще при жизни покойницы не стѣснялся выказывать ему непріязненныя чувства. Участь мальчика облегчалась тѣмъ только, что онъ былъ въ гимназіи и цѣлую недѣлю не находился дома.

Около этого времени съ вотчимомъ произошелъ, какъ говорится: „казусъ“. Замѣшанный въ какую-то темную исторію, онъ лишился мѣста и отказался платить за пасынка.

Докончивъ курсъ на казенный счетъ, благодаря участію директора, Чемезовъ, восемнадцати лѣтъ, безъ всякихъ средствъ, безъ пристанища, потому что вотчимъ вскорѣ послѣ „казуса“ уѣхалъ въ отдаленную губернію, — предоставленъ былъ самому себѣ. Онъ положительно не зналъ, что̀ съ собою дѣлать. Врожденная несообщительность удерживала его отъ сближенія съ товарищами, горечь и недовѣрчивость, успѣвшія основаться въ его сердцѣ, мѣшали выйти изъ тяжелаго положенія.

Чтобы не умереть съ голоду, онъ началъ давать уроки дѣтямъ лавочника, который согласился снабжать его въ обмѣнъ угломъ и харчами. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Чемезовъ давалъ уроки въ семействахъ разныхъ мѣщанъ и купцовъ. Занятіе было не по душѣ; школа была суровая. Она, правда, пріучила его къ терпѣнію, къ выносливости, — но вмѣстѣ съ тѣмъ развила желчь и прибавила замкнутости. Утѣшительная сторона была та, что онъ увидѣлъ возможность существовать своими средствами. Это обстоятельство ободрило его; онъ рѣшился провести еще годъ такимъ образомъ, скопить нѣсколько денегъ, уѣхать въ Петербургъ и поступить въ университетъ. Онъ мечталъ объ этомъ еще въ гимназіи.

Двадцати лѣтъ Чемезовъ пріѣхалъ въ Петербургъ, съ шестьюдесятью рублями въ карманѣ, и принялся усердно ходить на лекціи.

Все, что пришлось испытать ему, какъ бѣдному студенту, брошенному на собственный произволъ, лишенному всякой матеріальной и нравственной поддержки, — не могло, конечно, внести примиренія въ его взглядахъ на жизнь. Одно къ одному, пришло вскорѣ и разочарованіе. Въ лекціяхъ не нашелъ онъ того одушевленія, какого ожидалъ; къ удивленію, онѣ показались ему холодными, неувлекательными. Онъ продолжалъ, однакожъ, аккуратно посѣщать ихъ; но уже цѣлью его была не наука, о которой такъ горячо мечталъ онъ прежде; цѣль ограничилась тѣмъ, чтобы не оставаться лишняго года на курсѣ и, по выходѣ, отыскать какое нибудь поприще и основаться на немъ. Невыносимая тягость матеріальныхъ условій понуждала его къ этому.

Тотъ, кто не испытывалъ питаться по цѣлымъ мѣсяцамъ однимъ ячменнымъ кофеемъ съ сухарями, не посѣщалъ извѣстнаго рода кухмистерскихъ, гдѣ каждый кусокъ становится по-

перегъ горла и принуждаешь себя ѣсть потому, что желудокъ корчитъ отъ голоду, кто не жилъ въ грязныхъ углахъ, подкидывая вмѣсто тюфяка собственное платье, кто, вмѣсто шубы, не ограничивался въ сильные морозы пледомъ, служившимъ ночью одѣяломъ, кто не чинилъ заплатъ на своемъ пальто, не зналъ часто, какъ вымыть бѣлье, потому что все, что было по этой части, покрывало тѣло, кто не пережилъ все это годами, не имѣя передъ собою вѣрной, опредѣленной цѣли,—тотъ никогда не пойметъ, какими запасами прекрасныхъ силъ владѣетъ молодость,—никогда не пойметъ, сколько нужно энергіи, силы воли, высокой нравственной подкладки, чтобы, при такихъ условіяхъ, не сбиться съ пути, не упасть духомъ и, вопреки всему, продолжать учиться, посѣщать лекціи, составлять записки и т. д.

Уроки по полтиннику, иногда по рублю, продолжали и здѣсь выручать Чемезова. Два лѣта сряду приглашали его въ качествѣ репетитора въ отъѣзъ съ семействомъ. Этотъ періодъ его существованія былъ очень знаменателенъ. Тутъ въ первый разъ, болѣе чѣмъ когда нибудь, выказалось его влеченіе къ литературѣ; чтеніе всегда было любимымъ его занятіемъ; оно превратилось теперь въ запой своего рода. Быть литераторомъ!... Онъ не смѣлъ мечтать объ этомъ, хотя такая мысль начинала мерещиться ему еще въ гимназіи. Доказательствомъ могла служить тщательно сберегаемая тетрадка стихотвореній, написанныхъ за годъ до пріѣзда въ Петербургъ; были еще: драма изъ итальянской жизни „*Замокъ Морвено*“ и повѣсть „*Отверженный*“; но послѣднія представляли скорѣе наброски, чѣмъ оконченныя произведенія.

Литературныя занятія, казалось ему, вполнѣ отвѣчали его вкусамъ, его характеру, склонному къ уединенію и мечтательности. Настроивъ себя такимъ образомъ, другой, на его мѣстѣ, тутъ же бросилъ бы лекціи и, въ пылу возбужденія, послушался бы своего влеченія; но у Чемезова, при всей горячности сердца, былъ умъ спокойный и разсудительный, напуганный обстоятельствами жизни, привыкшій сдерживать внутреннія порывы. Прежде чѣмъ пуститься очертя голову, — ему хотѣлось добиться пристанища, опредѣлиться куда нибудь на мѣсто, которое дало бы возможность осуществить любимую мечту. Мысль обезпеченья, независимости была прямымъ слѣдствіемъ горькихъ испытаній въ жизни.

Хлопоты, забѣганье впередъ, просьбы, ягозливость, умѣнье поддѣлываться и трогать сердца вліятельныхъ особъ, — все это, если бы даже и было въ характерѣ Чемезова,—не привело бы, можетъ быть, къ желанному результату. Случай лучше выручилъ. Старый сенаторъ, которому онъ четыре мѣсяца переписывалъ бумаги, опредѣлилъ его въ одно изъ министерствъ. Тамъ приписали его чиновникомъ четырнадцатаго класса въ одинъ изъ департаментовъ и, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, — вѣрнѣе безъ всякихъ соображеній, причислили къ комитету, спеціально предназначенному для ученыхъ цѣлей.

## III.

Въ департаментѣ, равно какъ и въ подвѣдомственномъ ему комитетѣ для ученыхъ занятій, свободнаго времени дѣвать было некуда. Большая часть чиновниковъ занималась преимущественно гуляньемъ попарно въ залахъ и корридорахъ и курила папиросы съ такимъ остервенѣніемъ, что у всѣхъ почти указательный палецъ желтѣлъ какъ янтарь.

Первымъ дѣломъ Чемезова было заняться пересмотромъ повѣсти „*Отверженный*“. Ему помнилось, въ ней, не смотря на очевидно слабыя стороны, были мѣста, писанныя когда-то съ увлеченіемъ. Онъ прилежно сѣлъ за работу. Тутъ убѣдился онъ, что пришлось все передѣлать отъ начала до конца. Но, странное дѣло, никакъ не предполагалъ онъ, чтобы такъ трудно давалась работа. Все, кажется, ясно представляется воображенію, такъ вотъ передъ собою и видишь,—рукой схватить хочется; начнешь писать — выходитъ совсѣмъ не то, иногда даже совсѣмъ ничего не выходитъ! Онъ одновременно обдумывалъ сюжетъ, или, какъ говорится, „мотивъ“ другой повѣсти: „*Разбитая жизнь*“, но стѣснялся начинать, не зная рѣшительно какъ приступить къ женскому характеру. Ему невольно приходилъ на память анекдотъ, разсказанный Ефремовымъ, съ которымъ онъ тогда только что познакомился: начальникъ, распекая подчиненнаго, замѣшавшагося въ исторію съ женщинами, сказалъ ему: „Вы, милостивый государь, слава Богу, не ребенокъ; вамъ пора бы знать женщинъ! Вы развѣ женщинъ не знаете?...“ — „Помилуйте, ваше превосходительство, смиренно возразилъ подчиненный, — получая всего триста рублей въ годъ жалованья, могу ли я знать ихъ!...“

Чемезовъ могъ бы то же отвѣтить: у него былъ только другой поводъ; не столько стѣсняли его матерьяльныя средства въ этомъ отношеніи, сколько недостатокъ общественности, враждебная робость и, главное, наконецъ, — мѣшала привычка внутренно съеживаться, уходить въ себя, какъ улита, отъ малѣйшаго прикосновенія къ ея раковинѣ.

Начитавшись романовъ, гдѣ преимущественно описывались женщины, и трудолюбиво дѣлая отмѣтки тамъ, гдѣ черты женскаго характера отвѣчали характеру его героини (мѣстами черты и душевныя движенія были такъ близки въ тому, что онъ желалъ выразить, что, казалось ему, онъ самъ сочинилъ ихъ),—Чемезовъ наконецъ побѣдилъ трудность.

Повѣсть „*Разбитая жизнь*“, переписанная бисернымъ почеркомъ, которымъ отличался Чемезовъ, лежала на столѣ. Все это прекрасно; но предстояло теперь дѣло также не послѣдней важности; оставалось — шутка сказать! — устроить рукопись, помѣстить ее въ одномъ изъ журналовъ. Чемезовъ никого не зналъ изъ лицъ литературнаго круга. Послѣ долгихъ колебаній рѣшился онъ наконецъ отправиться въ редакцію ближайшаго журнала. Онъ, къ тому же, казался ему почему-то скромнѣе другихъ.

Прикоснувшись къ звонку редакціи, Чемезовымъ овладѣло ощущеніе, совершенно обратное тому, какое испытываютъ лица, одержимыя зубною болью, при входѣ къ дантисту; зубная боль, говорятъ, мгновенно проходитъ. Чемезовъ почувствовалъ усиленное волненіе; даже пальцы похолодѣли и защемило подъ ложечкой.

— Мнѣ хотѣлось бы видѣть господина редактора...

— Дома нѣтъ! отрѣзалъ лакей.

Въ эту самую минуту изъ боковой двери показался толстый господинъ, надѣвавшій перчатку.

— Что вамъ угодно? обратился онъ къ Чемезову.

— Вы господинъ редакторъ?...

— Да, но извините, пожалуйста, мнѣ теперь некогда; я сейчасъ долженъ уйти...

— Я принесъ рукопись... Мнѣ бы хотѣлось...

— Очень хорошо-съ, оставьте ее здѣсь. Зайдите недѣли черезъ три... или нѣтъ, лучше черезъ мѣсяцъ.

— Черезъ мѣсяцъ?! невольно вырвалось у Чемезова.

— Васъ, кажется, это удивляетъ?... проговорилъ редакторъ,

надѣвая шляпу,—нельзя же такъ: взять да и напечатать! Согласитесь сами... Надо сначала прочесть, посмотрѣть... Мое почтенье! заключилъ онъ, торопливо выходя на лѣстницу.

Чемезовъ оставилъ рукопись, надписавъ на ней свой адресъ. Но прошелъ мѣсяцъ и не было отвѣта.

Думая, что рукопись не успѣли еще прочесть, находя также неловкимъ налегать и торопить для перваго раза, Чемезовъ принялся съ новымъ усердіемъ за окончательную обдѣлку и переписку первой своей повѣсти: „*Отверженный*“.

Онъ понесъ въ другую редакцію.

На этотъ разъ встрѣтилъ его господинъ, коротко обстриженный подъ гребенку, съ тощимъ лицомъ, усыпаннымъ веснушками, и носикомъ съ пуговку, украшеннымъ pince-nez; послѣдній никакъ не хотѣлъ держаться, поминутно соскакивалъ и снова нетерпѣливо насаживался своимъ владѣльцемъ.

— Вы — господинъ редакторъ? спросилъ онъ.

— Нѣтъ... я секретарь редкціи, — но это совершенно все равно-съ, поспѣшилъ онъ прибавить.

Чемезовъ смиренно подалъ рукопись. Названіе повѣсти, повидимому, не понравилось секретарю; онъ кисло улыбнулся.

— Прекрасно переписано, сказалъ онъ, перевертывая листы,— сами переписывали?...

— Самъ-съ.

— Прелестно! Легко будетъ читать. Раньше недѣли невозможно... Заходите черезъ недѣлю, въ будущую субботу около этого часа, вы получите отвѣтъ.

Въ назначенный день и часъ Чемезовъ отправился къ секретарю редакціи.

— Здравствуйте, сухо проговорилъ секретарь и, порывшись въ грудѣ взъерошеныхъ бумагъ, подалъ ему рукопись, прибавивъ:

— Редакторъ поручилъ передать обратно... Извините пожалуйста, я теперь очень занятъ...

— Я желалъ бы знать, однако-жъ... оторопѣвшимъ голосомъ началъ Чемезовъ.

— Ахъ Боже мой! чего же вы хотите? Повѣсть ваша не годится!—Редакторъ говоритъ: въ ней нѣтъ тѣни наблюдательности съ живой жизни, раздраженно перебилъ секретарь, — это мнѣніе редактора, а не мое; я вашей повѣсти не читалъ. Редак-

торъ утверждаетъ, что въ цѣломъ повѣсть отзывается чѣмъ-то мертвымъ, сочиненнымъ...

— Помилуйте, я тутъ почти ничего не сочинялъ, писалъ прямо съ натуры... воскликнулъ Чемезовъ, задѣтый за живое.

— Можетъ быть; только,—какъ видите,—ничего изъ этого не вышло, рѣзко отвѣтилъ секретарь.

Чемезовъ вышелъ на улицу, крѣпко сжимая челюсти. На лицѣ его, всегда мутно-блѣднаго цвѣта, показалось нѣсколько красныхъ пятенъ. Онъ меньше чувствовалъ раздраженія, чѣмъ какого-то пристыженнаго чувства. Самолюбіе было сильно задѣто, но, главнымъ образомъ, его огорчали зарождавшееся сомнѣніе въ самомъ себѣ, обманутыя надежды, безполезность труда, потребовавшаго столькихъ напряженныхъ усилій. „Быть не можетъ, чтобы была тутъ одна „мертвечина“, какъ онъ выразился; я писалъ припоминая собственныя впечатлѣнія; все это было пережито и перечувствовано!“... разсуждалъ онъ самъ съ собою.

Немного успокоившись, онъ на другой день понесъ „*Отверженнаго*“ въ редакцію журнала: „*Созерцатель*“.

Спустя мѣсяцъ, тамъ также отказались печатать повѣсть. Поводомъ служили тѣ же причины: „Нѣтъ живаго лица; натяжка отъ начала до конца, вездѣ сочиненіе, риторика!“...

О другой повѣсти: „*Разбитая жизнь*“ до сихъ поръ между тѣмъ не было ни слуху, ни духу. Дни проходили за днями, недѣли за недѣлями, — повѣсть не появлялась въ печати. Чемезовъ послалъ письмо, но не получилъ отвѣта. Онъ снова написалъ, — результатъ былъ тотъ же. Онъ рѣшился, наконецъ, самъ отправиться.

Его встрѣтилъ тотъ же лакей и, не давъ проговорить слова объявилъ, что редактора не было дома.

— Я пришелъ узнать насчетъ моей рукописи; я нѣсколько разъ писалъ, но не получалъ отвѣта; мнѣ непремѣнно надо знать... началъ Чемезовъ, возвышая голосъ.

— Кто тамъ?.. отозвался кто-то изъ сосѣдней комнаты и на порогѣ распахнувшейся двери показалась знакомая толстая фигура редактора.

— А, это вы?... Сейчасъ! произнесъ онъ, также быстро исчезая за дверью. „Ефимъ! Ефимъ!!“... подхватилъ его голосъ изъ глубины сосѣдней комнаты.

Лакей побѣжалъ, оставивъ въ передней недоумѣвающаго

Чемезова. Минуту спустя лакей вернулся съ толстой тетрадью въ рукахъ.

— Ваша?

— Моя...

— Извольте взять... возвратить приказано.

— Но мнѣ хотѣлось бы поговорить съ господиномъ редакторомъ, спросить у него...

— Заняты; никого сегодня не принимаютъ, лаконически возразилъ лакей, отворяя дверь на лѣстницу.

Не смотря на то, что Чемезовъ былъ сильно озадаченъ, онъ не упалъ однако-жъ духомъ, какъ въ тотъ разъ, когда получилъ отказъ въ печатаніи повѣсти: *„Отверженный“*.

Первое произведеніе дѣйствительно могло быть неудачно: опытности недоставало! Вторая повѣсть, безспорно, была основательнѣе задумана и лучше обработана; въ нее, — мимо соблюденія литературныхъ условій, пріобрѣтенныхъ нѣкоторымъ опытомъ, положены были, наконецъ, всѣ чувства, — и тѣ, которыя тревожили его дѣтство, и тѣ, которыя волновали въ Петербургѣ. Работая по ночамъ надъ повѣстью: *„Разбитая жизнь“*, недаромъ отрывался онъ отъ рукописи, чтобы успокоиться отъ волненія и утирать щеки, увлажненныя слезами. Внутренній голосъ поддерживалъ въ немъ вѣру въ этотъ послѣдній трудъ. Толстый редакторъ, безъ сомнѣнія, завладѣлъ только рукописью и не заглянулъ въ нее, — а если и далъ себѣ трудъ читать, то такъ, зря, черезъ страницу. Мнѣніе его, наконецъ, не можетъ еще считаться конечнымъ приговоромъ.

Успокоивъ себя такимъ образомъ, Чемезовъ подумалъ прибѣгнуть къ новому журналу, издававшемуся подъ редакціей литераторовъ болѣе или менѣе извѣстныхъ. Главнымъ редакторомъ былъ писатель съ громкимъ именемъ; каждое произведеніе его встрѣчалось съ восторгомъ и Чемезовъ былъ въ числѣ самыхъ горячихъ его почитателей.

„Здѣсь, по крайней мѣрѣ, будешь имѣть дѣло съ авторитетомъ; узнаешь правду, получишь настоящую оцѣнку...“ думалъ Чемезовъ.

Въ редакціи его встрѣтили очень привѣтливо; рукопись принялъ молодой человѣкъ и просилъ прійти за отвѣтомъ черезъ два дня въ два часа.

Въ этотъ день въ министерствѣ происходило какое-то экстрен-

ное засѣданіе; въ немъ участвовало все начальство департамента и учебнаго комитета, такъ что Чемезову ничего не стоило урваться на полчаса; большая часть чиновниковъ и безъ того разбѣжалась.

Молодой человѣкъ, принявшій рукопись, ввелъ Чемезова въ просторный кабинетъ, уставленный кожаною мебелью, обвѣшанный по стѣнамъ фотографіями разныхъ знаменитостей; столы и этажерки завалены были газетами и книгами. За большимъ столомъ стоялъ, прислонившись къ спинкѣ кресла, высокій, бѣлый какъ лунь господинъ, въ которомъ, по многочисленнымъ портретамъ, Чемезовъ тотчасъ же узналъ знаменитаго писателя; онъ живо объяснялся съ другимъ господиномъ, маленькаго роста и толстымъ.

— Извините, пожалуйста, сказалъ писатель, указывая Чемезову на стулъ,—я сейчасъ, сію минуту къ вашимъ услугамъ.

Чемезовъ сѣлъ на край стула, поглядывая на редактора:

— „Такъ вотъ онъ! вотъ эта знаменитая личность, сдѣлавшая себѣ такое славное имя! И какая прелестная, симпатичная наружность!...“ повторялъ онъ, ощущая внутренно приливъ сладостнаго волненія.

Простившись съ собесѣдникомъ, писатель-редакторъ обратилъ къ посѣтителю добродушное лицо и сказалъ, очевидно стараясь придать голосу какъ можно больше мягкости:

— Вы пришли... узнать насчетъ вашей рукописи... вотъ она... Къ сожалѣнію, мы не можемъ ее напечатать...

Чемезовъ открылъ ротъ, желая сдѣлать вопросъ, но точно кость стала поперегъ горла и онъ не могъ выговорить слова.

— Не можемъ напечатать, продолжалъ редакторъ, видимо чувствуя неловкость,—у васъ, по всему видно,—много воображенія... Пишете вы очень правильно,—правильнѣе, чѣмъ многіе изъ насъ... Но... но этого еще недостаточно. Надо, чтобы произведеніе удовлетворяло прежде всего въ художественномъ отношеніи... Товарищи мои и я, мы не нашли этихъ условій въ вашей повѣсти...

— Я старался изобразить то, что самъ испыталъ...

— Да, но этого недостаточно, проговорилъ редакторъ, отыскивая мягкія выраженія,—надо прочувствовать...

— Прочувствовалъ! невольно вырвалось у Чемезова, причемъ

онъ приложилъ убѣдительнымъ жестомъ руку къ груди. На глазахъ его навертывались слезы.

Редакторъ едва могъ скрыть улыбку и продолжалъ:

— Да, но и этого недостаточно; надо, чтобы чувства и впечатлѣнія сообщались дѣйствующимъ лицамъ, складывались въ живые образы. Въ вашей повѣсти, къ сожалѣнію, нѣтъ этого... въ ней, странно сказать: чувствуется на всемъ отпечатокъ чего-то старческаго...

— Мнѣ самому всего двадцать четыре года, съ грустью проговорилъ Чемезовъ.

— Вотъ въ этомъ-то и странность! подхватилъ редакторъ, добродушно улыбаясь,—сами вы такъ еще молоды, а пишете, между тѣмъ, какъ... старичокъ... Вы, кромѣ этой повѣсти, писали еще что нибудь?

— Писалъ...

— Печатали?

— Нѣтъ...

— Почему-жъ?

— Отказывали въ редакціяхъ...

— Сами теперь видите...

— Я думалъ совсѣмъ посвятить себя литературѣ; такое занятіе всегда меня увлекало, проговорилъ сквозь слезы Чемезовъ, я такъ надѣялся, такъ трудился...

— И продолжайте трудиться, только... неужели нѣтъ другаго выхода кромѣ литературы?.. Нельзя развѣ употребить вашъ трудъ на другое...

При этомъ Чемезовъ поднялся съ мѣста, молча принялъ рукопись, поклонился, вышелъ изъ кабинета и направился обратно въ ученый комитетъ своего департамента.

Въ департаментѣ никто не замѣтилъ убитаго выраженія на лицѣ Чемезова, никогда, впрочемъ, не отличавшагося особенною веселостью. Давно успѣли всѣ привыкнуть къ его неразговорчивости, склонности забираться въ дальніе углы, упорно держаться особнякомъ, какъ „Иванъ Феклистовичъ Бука“, по выраженію Ефремова. Съ окончаніемъ служебнаго часа, онъ пошелъ прямо домой, — въ маленькую комнату, нанимаемую въ семействѣ театральнаго музыканта, въ Офицерской улицѣ, и весь остатокъ дня ничего не ѣлъ и никуда не выходилъ. Ночь провелъ онъ безъ сна, лежа на кровати съ заложенными за шею руками. На

другое утро было воскресенье. Съ головною болью, въ припадкѣ нервнаго возбужденія, сѣлъ онъ за письменный столъ, и подъ вліяніемъ всего передуманнаго и перечувствованнаго ночью, набросалъ, самъ не зная для чего, но въ одинъ присѣстъ, очеркъ своего дѣтства, всю исторію, какъ его мать вторично вышла замужъ, какъ остался онъ круглымъ сиротой, какъ попалъ подъ опеку вотчима и остановился на поступленіи своемъ въ гимназію. Онъ писалъ на этотъ разъ, вовсе не думая о литературныхъ условіяхъ, но единственно желая удовлетворить внутренней потребности высказать подавлявшія чувства.

Нѣсколько дней спустя, обратился къ нему случайно въ комитетѣ редакторъ дѣтскаго журнала: „*Незабудочка*“, желавшій навести справку о томъ, въ какомъ положеніи его дѣло и есть-ли надежда на принятіе для народныхъ школъ послѣдней его книжки: *Соха и плугъ. — Разсказы для молодыхъ крестьянъ*“. Редакторъ сильно жаловался на стѣсненія цензуры вообще и въ особенности на трудность пріобрѣтать статьи, спеціально предназначаемыя для дѣтскаго возраста. Крупные литераторы ничего для дѣтей не пишутъ, средніе дороги, мелкіе такъ небрежны, что Боже упаси! Просто хоть отказывайся отъ изданія „*Незабудочки*“.

Возвратясь домой, Чемезовъ переписалъ обычнымъ бисернымъ почеркомъ разсказъ о своемъ дѣтствѣ и послалъ его къ редактору „*Незабудочки*“, надписавъ на рукописи только адресъ, но скрывъ свое имя.

Предоставляю вамъ судить, какъ онъ изумился и вмѣстѣ съ тѣмъ обрадовался, когда неожиданно получилъ книжку „*Незабудочки*“ и нашелъ въ ней свой разсказъ, цѣликомъ напечатанный! Редакторъ прибавилъ отъ себя только названіе „*Сироточка*“ и ничего больше. Книжка сопровождалась письмомъ. Редакторъ благодарилъ, ото всего сердца, неизвѣстнаго автора, убѣждалъ не скрывать своего имени, — спрашивалъ о гонорарѣ и горячо убѣждалъ „не отказать впередъ въ просвѣщенномъ сотрудничествѣ“. У Чемезова точно крылья вдругъ выросли; мудренаго нѣтъ: ему только минуло тогда двадцать четыре года и это была первая его радость, первая удача въ жизни.

Восторженная встрѣча редактора „*Незабудочки*“ окончательно его ободрила. Радостно взволнованный, онъ высвободился изъ его объятій, чтобы испытать горячее пожатіе руки жены его и за-

тѣмъ существенное пожатіе руки свояченицы,—главной заправительницы *„Незабудочки“*. Редакція исключительно состояла здѣсь изъ женщинъ и, сколько можно было замѣтить, преимущественно изъ тоскующихъ вдовицъ и дѣвушекъ, напоминавшихъ цвѣты, которые забываются на клумбахъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Единственнымъ представителемъ мужскаго пола былъ только самъ редакторъ,—маленькій человѣкъ, крайне суетливаго, озабоченнаго вида, но впрочемъ привѣтливый и добродушный. Онъ тутъ же предложилъ Чемезову по двадцати рублей съ листа и поручилъ сдѣлать къ слѣдующей книжкѣ *„Маленькое сокращеніе Робинзона Крузо“*.

— Гонораръ останется обязательно тотъ же, заключилъ маленькій редакторъ, — оригинальное-ли произведеніе, передѣлки-ли, — все равно; какъ тутъ, такъ и тамъ, ваше перо будетъ у насъ одинаково цѣниться...

За сокращеніемъ Робинзона Крузо послѣдовалъ сокращенный *„Переходъ Суворова черезъ Чортовъ мостъ“*, для ремесленныхъ училищъ перваго возраста, и затѣмъ „сокращеніе“ того же предмета для дѣтей втораго возраста.

За сокращеніями слѣдовали иногда „передѣлки“. Разнообразіе главнымъ образомъ состояло въ пригонкѣ одного и того же сюжета къ разнымъ возрастамъ. Маленькій редакторъ былъ въ восторгѣ отъ новаго сотрудника. Сотрудникъ, съ своей стороны, былъ также очень доволенъ. Трудолюбіе было въ его природѣ; родъ занятій отвѣчалъ его вкусамъ, скромному, невзыскательному характеру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, улучшалъ его матеріальныя средства; послѣднее было весьма важно для Чемезова, постоянно мечтавшаго о независимости, о возможности быть всѣмъ самому себѣ обязаннымъ. Мечта эта зародилась въ немъ еще при выходѣ изъ гимназіи, подъ гнетомъ тогдашнихъ невыносимо-тяжелыхъ условій.

Чемезовъ получалъ триста рублей жалованья; благодаря *„Незабудочкѣ“*, ему теперь на худой конецъ приходилось въ мѣсяцъ до шестидесяти рублей, иногда даже до восьмидесяти. Такъ прошло два года. Въ концѣ этого времени у Чемезова образовалась даже маленькая экономія. — *„Незабудочка“* существовала положительно его трудами; подписка на нее улучшалась. Время отъ времени изъ провинціи получались въ редакцію письма, выражавшія благодарность за ту или другую статью. Восторженно читая эти письма сотруднику, маленькій, добродушный редакторъ

не могъ равнодушно смотрѣть на холодность, съ какою Чемезовъ выслушивалъ обыкновенно эти посланія; отъ него часто слова нельзя было добиться; онъ ограничивался тѣмъ только, что стыдливо краснѣлъ. При всемъ своемъ желаніи, редакторъ до сихъ поръ не могъ свести его съ семействомъ, не могъ сойтись съ нимъ по душѣ, какъ бы хотѣлось. Дамы редакціи также на это жаловались.

— Милый, но дикій молодой человѣкъ! говорили онѣ.

Въ ученомъ комитетѣ пронюхали между тѣмъ насчетъ „приватныхъ“ занятій сослуживца; слухъ пошелъ дальше и вскорѣ стало извѣстно во всемъ департаментѣ, что въ стѣнахъ его скромно процвѣтаетъ сочинитель. Ефремовъ началъ было подтрунивать и приглашать Соципѣрова послѣдовать его примѣру, но оба сочли вскорѣ болѣе благоразумнымъ оставить Чемезова въ покоѣ.

Директоръ выписывалъ для дѣтей „*Незабудочку*“ и жена его нѣсколько разъ отзывалась съ величайшей похвалой мужу о нравственномъ направленіи этого почтеннаго изданія. Онъ не зналъ, что Чемезовъ, подписывавшій подъ статьями (таково было настоятельное требованіе редактора, увѣрившаго сотрудника, что въ сферѣ педагогики имя его начинало дѣлаться извѣстнымъ), былъ тотъ самый маленькій, невидный Чемезовъ, служившій подъ его начальствомъ. Онъ призвалъ его въ кабинетъ, похвалилъ и при первомъ случаѣ представилъ къ слѣдующему чину.

Дѣйствительно-ли повѣрилъ Чемезовъ въ нѣкоторую извѣстность своего имени въ сферѣ педагогики, или просто захотѣлось ему попробовать самостоятельности,—но только онъ вскорѣ предпринялъ новый трудъ, не разсчитывая уже помѣстить его въ „*Незабудочкѣ*“. Напрасно, чуть не со слезами на глазахъ уговаривалъ маленькій редакторъ,—Чемезовъ настоялъ на своемъ и, отчасти благодаря скопленнымъ деньгамъ, отчасти кредиту въ типографіи, издалъ „*Сокращенное путешествіе по святымъ мѣстамъ, для дѣтей отъ десяти до четырнадцатилѣтняго возраста*“.

Директоръ позвалъ однажды Чемезова въ кабинетъ.

— Скажите, Чемезовъ, — это ваша книга? спросилъ онъ, указывая на „Сокращенное путешествіе“.

— Моя, ваше превосходительство, робко отвѣчалъ Чемезовъ, оторопѣвъ отъ неожиданности.

Скромность, отличавшая подчиненнаго, всегда нравилась ди-

ректору; онъ всегда любилъ видѣть въ немъ молодаго человѣка аккуратнаго, приличнаго; качества эти, особенно достойныя похвалы со стороны сочинителя, обратили на себя особенное вниманіе начальника.

— Отчего же не представите вы книгу вашу въ комитетъ? спросилъ онъ.

— Думалъ, ваше превосходительство... но какъ-то не рѣшался...

— Прекрасно; будьте всегда такъ скромны, молодой человѣкъ; скромность служитъ... гм! лучшимъ украшеніемъ... Хорошо-съ, я за васъ представлю вашу книжку.

Въ тотъ же мѣсяцъ книжка была единогласно одобрена комитетомъ и принята для учебныхъ заведеній.

Успѣхъ неожиданный! Чемезовъ не успѣлъ очнуться, какъ уже потребовалось второе изданіе, за которымъ послѣдовало третье. Онъ рѣшительно терялъ голову. Чувство не то смущенія, не то радости попеременно овладѣвали имъ при видѣ столькихъ денегъ. Но уже въ головѣ его зарождались планы новыхъ изданій. Онъ мало-по-малу пришелъ въ себя и успокоился.

Онъ нанялъ въ Средней Подъяческой квартиру изъ трехъ комнатъ, взялъ старуху-кухарку и дѣятельно принялся за работу.

Единственнымъ развлеченіемъ было угловое окно квартиры, выходившее на дворъ, отгороженный со стороны улицы старой деревянной рѣшеткой. Въ лѣвой части двора, подъ самымъ окномъ Чемезова, находился садикъ изъ трехъ акацій, куста бузины и полуобвалившейся бесѣдки; за ними скрывалась сырая стѣна сосѣдняго дома съ черепками битой посуды у фундамента. Зимою, когда все это заваливало снѣгомъ, смотрѣть, конечно, было не на что; но въ лѣтнюю пору дворъ съ садикомъ имѣлъ свою пріятность. Чемезовъ, по крайней мѣрѣ, когда уставалъ, охотно усаживался подъ вечеръ у окна со стаканомъ чая. Обдумывая новыя книжки по части педагогики и мечтая о будущемъ, онъ иногда просиживалъ здѣсь до поздней ночи.

## IV.

Противъ дома, гдѣ жилъ Чемезовъ, по ту сторону улицы, наискосокъ отъ сада, находился большой домъ, вмѣщавшій въ

нижней его части красильное заведеніе, мелочную лавочку и модный магазинъ. На вывѣскѣ послѣдняго обозначалось золотыми буквами: „Madame Vera. *Моды и платья*“. По вечерамъ, когда магазинъ запирался и оставались тѣ изъ работницъ, которыя въ немъ постоянно жили и ночевали,—онѣ обыкновенно перебѣгали улицу и входили въ садикъ. Такихъ дѣвушекъ было четыре: три большія, одна подростокъ.

При всей своей скромности, Чемезовъ успѣлъ однако-жъ замѣтить одну изъ нихъ. Предметомъ его любопытства была блондинка лѣтъ семнадцати, съ круглымъ, миловиднымъ лицомъ и большими сѣрыми глазами; она была маленькаго роста, не худощавая и не толстая, и безъ признака румянца,—какъ это часто встрѣчается на лицахъ работницъ, просиживающихъ по двѣнадцати часовъ въ тѣсныхъ комнатахъ безъ воздуха.

Чемезовъ сталъ самъ себѣ удивляться. До сихъ поръ женщины, какъ уже сказано, — мало его занимали. Неожиданный успѣхъ его книжки и затѣмъ усиленная работа окончательно отвлекли его въ послѣднее время отъ соблазновъ и развлеченій. Теперь неожиданно повѣяло на него чѣмъ-то совершенно новымъ. Его невольно притягивало къ окну, какъ только раздавались въ саду знакомые голоса; ему непремѣнно хотѣлось лишній разъ взглянуть на эту миловидную дѣвушку. Она, — надо сказать въ ея оправданіе, — не прибѣгала для этого ни къ какимъ ухищреніямъ; нельзя было, конечно, не замѣтить господина, такъ часто подходившаго къ окну; но, повидимому, она не была любопытна; всего вѣрнѣе, онъ не дѣлалъ на нее никакого впечатлѣнія. По праздникамъ, вечеромъ, Чемезовъ пересталъ вдругъ совершать обычную прогулку въ скверъ подлѣ церкви Николы Морскаго. Въ такіе дни подруги дѣвушки отпускались къ роднымъ; она оставалась одна и всегда приходила въ садъ съ какой нибудь работой. Чемезовъ, трудившійся тогда надъ руководствомъ: *„для первоначальнаго ознакомленія съ географіей“*, тотчасъ же бросалъ перо и подходилъ къ окну. Блондинка замѣтила его наконецъ, но продолжала не давать повода къ ближайшему знакомству. Разъ они встрѣтились на улицѣ; Чемезовъ остановился, хотѣлъ что-то сказать; но встрѣча была слишкомъ неожиданна, онъ не нашелся и, покраснѣвъ, прошелъ мимо. Въ другой разъ они столкнулись у калитки сада.

— Вы, кажется, часто прогуливаетесь здѣсь въ саду... проговорилъ онъ, глотая слова.

Дѣвушка посмотрѣла на него своими сѣрыми глазами, улыбнулась, сказала: „да“ и вошла въ садъ.

Первымъ движеніемъ Чемезова было послѣдовать за нею,— но робость оказалась сильнѣе желанія; онъ прошелъ дальше, обогнулъ двѣ улицы — послѣ чего вернулся домой, крайне недовольный собою.

Увидавъ однажды старую свою кухарку, сидѣвшую подлѣ бесѣдки рядомъ съ блондинкой и долго о чемъ-то съ нею бесѣдующую, — онъ, какъ только кухарка вернулась, принялся разспрашивать ее о новой знакомкѣ. Кухарка сообщила, что не впервые разговариваетъ съ этой дѣвушкой, что она круглая сирота, отданная въ ученье теткой, — шлиссельбургской мѣщанкой, давно пропавшей безъ вѣсти, что дѣвушка ласковая такая, словоохотливая и что жаль ее — жаль, потому что какъ только кончится ученье и выйдетъ изъ магазана на свою волю, — такъ тутъ и пропадетъ.

— Пропадетъ, какъ всѣ пропадаютъ, батюшка Алексѣй Иванычъ, заключила старуха, — подвернется эта какой ни-на-есть шалыганъ, прости Господи, — много ихъ въ Петербургѣ! — ну и пропадетъ, отецъ мой!..

Слова старухи сильно подѣйствовали на Чемезова. Онъ спалъ ночь безпокойнѣе обыкновеннаго. Дѣйствительно, не трудно было пропасть въ Петербургѣ! Чувство сожалѣнія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, что-то похожее на испугъ и ревность волновало его. Онъ припоминалъ миловидное лицо дѣвушки, доброе выраженіе ея глазъ и съ ужасомъ рисовалъ въ воображеніи возможность ея паденія, возможность для нея трагической судьбы, такъ часто выпадающей на долю молодымъ, хорошенькимъ дѣвушкамъ, одиноко брошеннымъ въ водоворотъ столичной жизни.

— Знаешь что, Марѳа, сказалъ онъ на другое утро, ты бы когда нибудь позвала ее къ себѣ чай пить...

— Извольте, батюшка, хоть сегодня; сегодня какъ разъ праздникъ; она придетъ въ садъ одна; сами увидите, какая она, право, хорошая; только, скажу вамъ, она насчетъ этого баловства... вы не думайте...

— Что ты! что ты! воскликнулъ Чемезовъ, отмахиваясь обѣими руками.

Онъ никогда не помнилъ себя такимъ веселымъ, какъ въ этотъ день. Онъ немного только оторопѣлъ къ вечеру, когда увидѣлъ

блондинку, выходившую изъ сада и направлявшуюся къ дверямъ его черной лѣстницы. Еще нѣсколько минутъ, — онъ зналъ, — она уже сидѣла за сосѣдней стѣной. Робко отворивъ дверь кухни и сдѣлавъ какъ бы удивленный видъ, Чемезовъ вошелъ. Дѣвушка сначала очень удивилась; она никакъ не ожидала, чтобы Марѳа была въ услуженія у того самаго господина, котораго часто встрѣчала въ саду и видѣла иногда гуляющимъ на улицѣ, мимо оконъ магазина. Но скромный видъ молодаго человѣка тутъ же ее успокоилъ. Не зная рѣшительно съ чего начать, Чемезовъ ограничился нѣсколькими общими словами, сказалъ, что знаетъ ее давно и радъ съ нею познакомиться, спросилъ, любитъ ли она читать, — и ободренный своей находчивостью, — поспѣшно отправился въ кабинетъ и вынесъ нѣсколько книгъ; въ числѣ ихъ пестрѣли два розовые нумера *„Незабудочки“*.

Этимъ вечеромъ положено было начало другимъ такимъ же вечерамъ.

Машенька (такъ звали блондинку) и Чемезовъ, мало-по-малу, перестали дичиться другъ друга. Однажды онъ такъ одушевился, что пригласилъ ее съ Марѳой въ кабинетъ и тамъ взялъ съ нея слово провести цѣлый вечеръ слѣдующаго праздника въ Александровскомъ паркѣ.

— И Марѳу возьмемъ съ собою, поспѣшилъ онъ прибавить.

Но на слѣдующій праздникъ Марѳа, какъ на зло, хлебнула лишнее и у нея сильно болѣла голова. Какъ быть? Машенька долго не соглашалась идти вдвоемъ; наконецъ рѣшилась и они отправились. Сначала разговоръ не клеился; оба чувствовали неловкость и не находили словъ. Обстоятельство это крайне удивило Чемезова; приготовляясь къ прогулкѣ съ дѣвушкой, онъ не только наканунѣ, но въ самый день не могъ понять, откуда вдругъ бралось у него столько краснорѣчія. Тутъ, какъ нарочно, слова не вязались и мысли разбѣгались, какъ испуганные зайцы.

Шагъ за шагомъ, они незамѣтно отдалились отъ шумной части парка и усѣлись на скамейкѣ. Начался понемногу тотъ первый разговоръ, безъ свидѣтелей, котораго онъ ждалъ съ такимъ нетерпѣніемъ. Въ первыя минуты она казалась очень смущенной; что-то даже похожее на испугъ промелькнуло въ ея чертахъ; мало-по-малу все это прошло; она перестала стыдиться и посмотрѣла ему прямо въ лицо своими большими, добрыми

глазами. Небывалая передъ тѣмъ сладость ощущенья овладѣла Чемезовымъ. Онъ во всю жизнь не испытывалъ ничего подобнаго.

Не смотря на то, что воображеніе его было возбуждено, оно и теперь не уносило его за тридевять земель, за предѣлы дѣйствительности; разсудокъ говорилъ ему, что передъ нимъ не идеальное какое нибудь существо, но простая, молоденькая работница, съ грѣхомъ пополамъ знакомая съ грамотой; онъ успѣлъ узнать только, что она не глупа и тихаго, кроткаго нрава. Но онъ знакомился въ первый разъ съ прелестью находиться близко и наединѣ съ женщиной, которая сильно нравится; онъ чувствовалъ къ ней влеченье, вопреки всему, что могъ говорить разсудокъ. Не каждый ли день встрѣчалъ онъ на улицѣ множество женскихъ лицъ; почему же ни одно изъ нихъ не дѣйствовало на него такъ притягательно, не было ему такъ сочувственно, какъ лицо этой дѣвушки? Ея миловидныя черты, ея сѣрые, добрые глаза врѣзались въ его памяти съ перваго дня, какъ увидалъ ихъ. Отъ ихъ взгляда, какъ бы сами собою, размягчались черствыя, нелюдимыя черты, заслужившія ему прозвище *„буки“* въ кругу его товарищей. Съ ними онъ дичился; съ нею его влекло къ откровенности. И прежде приходили минуты, когда потребность привязаться къ женскому сердцу, любить и быть любимымъ давали себя внутренно чувствовать; но это были только намеки, отдаленные, чуть слышные голоса передъ тѣмъ, что теперь наполняло его душу. Одушевляясь постепенно, онъ передалъ ей всю исторію своей жизни, всѣ огорченія дѣтства, всѣ испытанія юности. Теперь, благодаря Богу, все измѣнилось къ лучшему; въ теперешнемъ его положеніи не было ничего общаго съ пережитымъ; онъ освободился отъ горя и бѣдности; но счастья, настоящаго счастья все-таки у него не было. Оно видно, не далось ему, потому что такъ жить, какъ онъ, безъ привязанности, безъ любви, — нельзя считать себя счастливымъ!...

Онъ это впрочемъ такъ только, въ увлеченіи, разсказывалъ. На самомъ дѣлѣ онъ уже теперь былъ счастливъ, — счастливъ тѣмъ, что любилъ и... онъ не смѣлъ сказать объ этомъ утвердительно, — но такъ казалось ему, — встрѣчалъ отвѣтное чувство. Иначе къ чему было ей соглашаться на отдаленныя прогулки вдвоемъ, къ чему было бы такъ терпѣливо выслушивать его длинныя объясненія и разсказы?

Съ того вечера они замѣтно уже искали случая встрѣчаться.

Разъ осенью, въ праздникъ, Марѳа отпросилась на Митрофаніевское кладбище. Давно смеркалось, но она все не возвращалась. Чемезовъ, поджидавшій ее съ тѣмъ, чтобы напиться чаю и сѣсть за работу, часто подходилъ къ окну. Выраженіе удивленья и радости показалось вдругъ на лицѣ его; онъ никакъ не ожидалъ увидѣть сегодня Машеньку: весь день не переставая лилъ дождикъ. Закрывшись платкомъ, она скоро, скоро пробѣжала мимо садика и, не подозрѣвая отсутствія Марѳы, прямо направилась къ знакомой двери на черную лѣстницу. Чемезовъ сломя голову бросился въ кухню, отомкнулъ дверной крючекъ и, притаившись за половинкой двери, сталъ прислушиваться къ частымъ шагамъ, поднимавшимся по лѣстницѣ. Сердце его билось такъ громко, что слышались его удары. Машенька вошла въ кухню, увидѣла Чемезова, узнала, что онъ одинъ въ квартирѣ, и не убѣжала...

Съ того вечера они стали видѣться каждый день. Свиданья ихъ скрывались самымъ тщательнымъ образомъ; всѣ мѣры предосторожности были приняты. Машенька являлась не иначе, какъ въ сумерки; она всегда куталась и внимательно осматривалась, прежде чѣмъ перейти улицу и вступить во дворъ. Даже Марѳа ничего не подозрѣвала. Чемезовъ обыкновенно уговаривалъ ее лечь спать, послѣ чего запиралъ на ключъ кухню. Машенька приходила теперь всегда по парадной лѣстницѣ, зная очень хорошо, что тамъ за дверью стоитъ Алексѣй Ивановичъ и нетерпѣливо ее поджидаетъ.

Думая окончательно уберечь Машу отъ возможности встрѣчъ съ знакомыми лицами, отчасти самъ желая избавиться отъ глазъ любопытныхъ, Чемезовъ поспѣшилъ перемѣнить квартиру; онъ нанялъ неподалеку на Екатерининскомъ каналѣ. Переѣздъ представлялъ также удобный случай отказать Марѳѣ; въ послѣднее время лишнія рюмочки смѣнились совершенно уже лишнимъ штофикомъ и держать ее стало положительно невыносимо.

Къ тому же времени подошелъ срокъ концу обученья для Машеньки.

„*Madame Vera*“, хозяйка магазина, сначала никакъ не хотѣла разстаться съ нею; она теряла въ ней самую прилежную работницу. Но съ другой стороны не было возможности держать ее противъ воли. При прощаніи, въ досадѣ, она не разспрашивала даже ее, зачѣмъ? куда? зная по опыту, что если ужъ дѣ-

вушка такъ настоятельно оставляетъ насиженное мѣсто, — значитъ, гдѣ нибудь ужъ завелся *„обже“*, какъ она выражалась.

Машенька связала свой узелокъ и поселилась у Чемезова.

Ему пришлось перейти одно неловкое испытаніе: пришлось передать дворнику паспортъ Маши для прописки и тѣмъ, слѣдовательно, заявить всему дому о своей связи, подвергнуть ее и себя любопытству жильцовъ; онъ прежде не подумалъ объ этомъ. Но опасенія оказались вскорѣ лишними; никто особенно не пялилъ глазъ и не обращалъ на нихъ вниманія. Машенька, къ тому же, была большая домосѣдка.

Житье ихъ вдвоемъ началось съ того, что она сильно возстала противъ найма новой кухарки; напрасно увѣщевалъ ее Чемезовъ, — она утверждала, что кухарка лишнее только стѣсненіе, лишній расходъ, что она отлично сама справится и выучилась у „мадамы“ варить супъ, какого онъ вѣрно никогда не пробовалъ. Машенька просила дать ей всего три дня на испытаніе.

— Зачѣмъ же? Слава Богу, у насъ есть чѣмъ нанять прислужницу, доказывалъ Чемезовъ, не открывая глазъ отъ ея оживленнаго, миловиднаго лица, — и охота же тебѣ, въ самомъ дѣлѣ, пачкаться? Можешь, если есть желаніе, найти себѣ другое занятіе.

— Нѣтъ, ужъ ты только не мѣшай мнѣ; дай сдѣлать... увидишь, какъ все будетъ хорошо! повторяла она, ласкаясь какъ котенокъ.

По прошествіи нѣсколькихъ дней нельзя было узнать квартиры Чемезова; вездѣ показались чистота и порядокъ. Особенная заботливость приложена была къ кабинету; нигдѣ слѣда пылинки-книжки аккуратно были вездѣ разставлены, даже вымыта чернильница и перья уложены рядышкомъ, въ пріятной симметріи. Кухня была также неузнаваема; принадлежности маленькаго хозяйства, вымытыя, вылощенныя, выставлялись по стѣнамъ правильно уложенными въ рядъ.

Дни испытанія вытягивались въ цѣлыя недѣли. Когда онъ заикался о наймѣ кухарки, — она подскакивала и зажимала ему ротъ. Дѣятельность ея была изумительна; съ утра отправлялась она на рынокъ, потомъ начиналась уборка квартиры; одновре, менно съ этимъ разводился огонь, готовилось кушанье, стирались и гладились разныя тряпочки; она день-деньской суетилась, полоскалась и при всемъ томъ находила время приводить въ

порядокъ бѣлье Чемезова и приступить, для себя собственно, къ шитью платья изъ сѣраго мериноса, который ухитрилась купить за полцѣны.

— Такъ будетъ лучше, какъ сама сошью, говорила она, радостно улыбаясь,—будутъ стоить только мериносъ, подкладка и пуговицы!... прибавляла она восторженно.

И все это, надо замѣтить, дѣлалось у нея какъ-то безъ всякой трескотни и погрома и всегда весело. Самую эту веселость слѣдовало приписать особому роду: она никогда не выражалась восклицаніями или громкимъ смѣхомъ; ихъ замѣняли ямочки, появившіяся на щекахъ, улыбка и радостный блескъ, свѣтившійся въ ея большихъ, добрыхъ глазахъ. Чемезовъ не могъ ею налюбоваться. Даже въ мечтахъ никогда не грезилось ему столько счастья. Встрѣчая ее часто съ раскраснѣвшимся лицомъ, вокругъ котораго отъ суеты разлетались пухомъ ея прекрасные бѣлокурые волосы, онъ, въ первое время, снова приступалъ, упрашивая нанять прислугу, увѣряя, что безъ этого она тѣмъ, наконецъ, кончитъ, что совсѣмъ замучается; но вскорѣ убѣдился, что чѣмъ больше надумывала она себѣ хлопотъ, чѣмъ больше было у нея на рукахъ дѣла, тѣмъ становилась она всегда веселѣе, — словомъ, тѣмъ казалась счастливѣе.

Время отъ времени, ложное положеніе, въ которомъ оба они находились, вызывало задумчивость на лицѣ Чемезова; оно, видимо, его безпокоило. Но онъ припоминалъ свою прежнюю жизнь, сравнивалъ ее съ теперешней и говорилъ себѣ, что надо же чѣмъ нибудь жертвовать въ обмѣнъ на чувства, соединявшія его съ любимой дѣвушкой. Привязанность ихъ другъ къ другу укрѣплялась тѣмъ сильнѣе, что ничто ее не развлекало. Стѣсняясь мыслію о сожительствѣ, Чемезовъ хранилъ свою связь въ величайшей тайнѣ отъ сослуживцевъ. Живя своей особой замкнутой жизнью и никогда не приглашая ихъ къ себѣ, онъ теперь подавно не дѣлалъ этого. Она, съ своей стороны, не хотѣла даже слышать о знакомствѣ съ кѣмъ бы то ни было. Она утверждала, что некогда ей возиться съ гостями, и, наконецъ, рѣшительно не будетъ умѣть, какъ разговаривать со всѣми этими господами.

— Тебѣ можетъ быть хочется... Мнѣ ихъ не нужно; мнѣ и безъ нихъ хорошо! заключала она обыкновенно.

Съ каждымъ днемъ Чемезовъ открывалъ въ ней новыя качества. Въ умѣ его опрокидывались навзничь всѣ читанныя и

слышанныя имъ педагогическія теоріи и взгляды по вопросу о женскомъ развитіи и воспитаніи. Говорятъ, яблочко отъ яблони недалеко падаетъ; ничего не могло быть несправедливѣе такой поговорки. Маша была у него передъ глазами. Что видѣла она съ дѣтства? По большей части грубость и дурные примѣры. И все это, тѣмъ не менѣе, не имѣло на нее и тѣни вліянія, нисколько не привилось къ ней, не пустило хотя бы самаго слабаго ростка. Она осталась съ чистой дѣтской душой, отзывавшейся на все честное и доброе. Ничего не было для нея милѣе ея угла съ его мелочными хозяйственными заботами; лишь бы только ее не трогали, не мѣшали ей, — она тутъ только чувствовала себя на своей почвѣ, всегда была весела и вполнѣ довольна.

Простодушныя, наивныя натуры, способныя сохраниться во всей умственной и душевной чистотѣ, вопреки самымъ неблагопріятнымъ условіямъ жизни, — встрѣчаются чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Ихъ можно сравнить съ тѣми растеніями, которыя прячутся отъ солнца, не тянутся въ высоту, но уходятъ въ глубь, и тамъ, встрѣтивъ сродный имъ грунтъ, развиваются и даютъ плоды свои.

Улицы съ ихъ шумомъ и городскія увеселенія не нравились Машѣ; но благополучіе ея не знало мѣры, когда въ праздникъ отправлялась она вмѣстѣ съ Чемезовымъ за городъ. Въ такихъ случаяхъ она обыкновенно всегда запаздывала. Алексѣй Иванычъ давно былъ готовъ, давно дожидался стоя въ шляпѣ; но она тутъ-то именно вдругъ и припоминала о необходимости запереть такой-то ящикъ, припрятать такую-то вещь и выходила не прежде, когда убѣждалась, что все въ порядкѣ.

Садясь въ вагонъ, она принимала вдругъ строгій, степенный видъ, опускала глаза и церемонно молчала. Очутившись на свободѣ съ своимъ Алешей, — она также скоро оживлялась и не было конца ея разспросамъ и веселости.

Въ началѣ первой весны, Чемезовъ, находясь въ департаментѣ, уловилъ удобную минуту, незамѣтно прошелъ въ кабинетъ директора и попросилъ у него разрѣшенія жениться.

— Раненько задумали!... сказалъ директоръ.

Зная Чемезова за молодаго человѣка трудолюбиваго и солиднаго, — онъ дальше не разспрашивалъ и тутъ же прибавилъ:

— А, впрочемъ, — благословляю!...

Ефремовъ, который долженъ былъ приложить печать къ разрѣшенію, привязался было съ разспросами, напрашиваясь на свадьбу: но Чемезовъ отвѣтилъ, что свадьба будетъ происходить въ Ропшѣ, гдѣ проживетъ онъ послѣ вѣнчанія нѣсколько дней,— и такимъ образомъ отдѣлался.

Съ женитьбой не произошло никакихъ особенныхъ перемѣнъ въ образѣ жизни Чемезовыхъ. Возвратясь изъ церкви, Маша неожиданно только зарыдала, упавъ на грудь мужа,—послѣ чего также весело и дѣятельно принялась за свои хозяйственныя хлопоты.

Единственная перемѣна, которую можно было замѣтить, состояла въ томъ, что благосостояніе ихъ видимо улучшилось.

*„Руководство для первоначальнаго ознакомленія съ географіей“* принесло неожиданные результаты. Другія *„сокращенія“* и *„руководства“*, постепенно выпускаемыя въ свѣтъ,—разбирались нарасхватъ.

Такъ проходили годы. Счастье ихъ не только не прерывалось, но упрочивалось отъ времени. Лѣтомъ Чемезовы перебирались теперь обыкновенно на дачу на Черную рѣчку или на Карповку. Не смотря на то, что хозяйственныхъ хлопотъ было здѣсь больше чѣмъ въ городѣ, а съ другой стороны, въ денежномъ положеніи Чемезова не могло быть вопроса о расходѣ на прислугу,—жена его все-таки противилась нанимать кухарку. Вмѣсто нея она взяла двѣнадцатилѣтнюю дѣвочку,—дочь прачки; Чемезова думала пріучить ее къ хозяйству и со временемъ найти въ ней усердную помощницу. Зная въ совершенствѣ жену, Алексѣй Иванычъ ничего не говорилъ, хотя предвидѣлъ, что дѣвочка эта послужитъ только источникомъ новыхъ заботъ и хлопотъ. Дѣйствительно, такъ и вышло. Началось съ того, что Марья Ивановна привезла изъ города кусокъ полотна и въ тотъ же вечеръ принялась кроить и рѣзать, приготовляя бѣлье для дѣвочки.

Глядя, какъ она съ ней возилась, обмывала, чесала, обучала тому и другому и постепенно къ ней привязывалась, Чемезовъ убѣждался больше и больше, что Марьѣ Ивановнѣ на роду было написано сдѣлаться можетъ быть лучшей еще матерью, чѣмъ была она хозяйкой. Но проходили годы,—дѣтей у нихъ не являлось.

Лѣта мало измѣнили Марью Ивановну; она нѣсколько пополнѣла, но казалась вообще даже свѣжѣе, чѣмъ была въ первой молодости. На характеръ лѣта не произвели никакого дѣй-

ствія. Живя разъ на дачѣ, она купила цыплятъ; въ числѣ ихъ находился одинъ съ перешибленной ногой; онъ сдѣлался ея любимцемъ. Она держала его особо отъ другихъ, кормила на убой и звала всегда мужа посмотрѣть, какъ цыпленокъ бросается со всѣхъ ногъ, когда она его подзываетъ. Къ осени цыпленокъ превратился въ толстую курицу, бѣгавшую за Марьей Ивановной какъ собачонка. Пришлось переѣзжать съ дачи. Все уже было уложено и подводы стояли готовыя на дворѣ. Алексѣй Иванычъ, расхаживая въ пальто и шляпѣ, не могъ понять, что дѣлаетъ жена, стоя у окна и барабаня пальцами по стекламъ; онъ нѣсколько разъ позвалъ ее, но она не откликнулась. Подойдя къ ней, онъ только всплеснулъ руками: прислонивъ лицо къ оконному стеклу, Марья Ивановна разливалась-плакала! Ей жаль было разстаться съ курицей. Но птичникъ немыслимъ былъ въ городѣ и, скрѣпя сердце, надо было разстаться.

Она утѣшилась тогда только, когда Алексѣй Иванычъ купилъ ей собачку.

Благосостояніе ихъ продолжало между тѣмъ расти съ каждымъ годомъ. Чемезовы могли считать себя теперь вполнѣ обезпеченными. По службѣ также шло довольно удачно. Чемезовъ былъ теперь старшимъ столоначальникомъ и при первой вакансіи долженъ былъ занять должность начальника отдѣленія. Мрачный взглядъ на жизнь, горечь прежнихъ испытаній, мизантропическія побужденія,—все это въ немъ постепенно улеглось, сгладилось подъ вліяніемъ счастливой жизни, любви и преданности. Если онъ продолжалъ держать себя попрежнему, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ сослуживцевъ, то это происходило скорѣе отъ привычки согласоваться съ природными наклонностями. Его и въ молодости склоняло всегда къ тихой, трудолюбивой жизни. Наконецъ онъ попросту боялся нарушить строй домашняго очага, подъ защитой котораго прожилъ столько лѣтъ въ постоянномъ счастіи.

Привязанность нѣжно-любимой женщины, ея чувства къ нему, заботливость, не охлаждавшіяся, но развивавшіяся съ годами,—достаточно наполняли его существованіе. Обаятельная доброта сердца, врожденныя честныя побужденія Марьи Ивановны сдѣлали то, чего, быть можетъ, не могло бы сдѣлать самое внимательное, изысканное образованіе.

Иногда Алексѣй Иванычъ приступалъ къ ней съ какой ни-

будь книжкой, совѣтовалъ почитать то и другое; Марья Ивановна не отказывалась, но за хлопотами книжка большею частью оставалась открытою на второй страницѣ. Чемезовъ начиналъ упрекать.

— Много будешь знать, скоро состарѣешься, смѣясь возражала Марья Ивановна,—я тебя знаю; съ меня этого довольно!...

Алексѣй Иванычъ, тѣмъ не менѣе,—по привычкѣ, вѣроятно, заниматься постоянно учебниками и сидѣть по уши въ педагогикѣ, — не разставался съ мыслію объ ея образованіи. Упорно преслѣдуя свою цѣль, онъ не пропускалъ удобнаго случая: водилъ ее по всѣмъ выставкамъ, концертамъ, театрамъ. Марью Ивановну часто клонило ко сну, но Боже упаси, чтобы она показала это мужу; въ угоду ему, она охотно на все соглашалась и всегда казалась очень довольной. Обманутый этимъ, Алексѣй Иванычъ увеличивалъ свое стараніе. Зная ея экономность, но вмѣстѣ съ тѣмъ желая сдѣлать ей сюрпризъ, онъ тайкомъ абонировался на два стула въ итальянской оперѣ, какъ только узналъ объ открытіи новой подписки.

Заботливость Алексѣя Иваныча отплачивалась ему всегда сторицей.

Въ теченіе пятнадцати лѣтъ, прожитыхъ вмѣстѣ, ни разу не испыталъ онъ ссоры, разладицы, даже повода къ чему нибудь подобному. Весь ея міръ начинался и оканчивался ея Алексѣемъ Иванычемъ; внѣ этого, для нея ничего не существовало; когда ему было хорошо и покойно,—добрые ея глаза сіяли радостью и ничего не желала она больше. Онъ былъ для нея постояннымъ предметомъ любви и удивленія. Лучше, умнѣе, честнѣе Алексѣя Иваныча — ничего не могло быть на свѣтѣ.

Такая любовь и преданность, надо сказать, были вполнѣ взаимны. Сердце Чемезова ни разу не измѣнило. Онъ никогда не думалъ о ней иначе, какъ съ чувствомъ глубокой нѣжности и признательности. Часто, сидя подлѣ нея, онъ бралъ ея руки и горячо начиналъ цѣловать ихъ.

— Э, полно, Алексѣй Иванычъ, говорила она, удивленно глядя на него своими добрыми глазами, — какое счастье я тебѣ принесла!... Ты такой ученый! такой умный! Что я передъ тобою?... Такъ, простая, незначущая бабёночка!...

И вдругъ — вдругъ этой бабёночки не стало!...

Она вернулась домой, чувствуя сильный ознобъ. На другой

день открылся тифъ. Три дня спустя добрые глаза ея навсегда закрылись... Она лежала въ гробу такая бѣленькая, съ вытянутыми ножками, обутыми въ бѣлые башмаки; бѣлокурые ея волосы, гладко причесанные, вокругъ осыпаны были цвѣтами. На губахъ все еще оставалась улыбка; но она горько противорѣчила остальной части лица, совершенно неподвижной,—точно отлитой изъ воску.

Чемезовъ ничего этого не видѣлъ. Онъ или сидѣлъ въ дальней комнатѣ, какъ громомъ пораженный, или начиналъ бросаться въ безпамятствѣ, наполняя квартиру криками отчаянья. На минуту очнулся онъ и какъ бы пришелъ въ себя на кладбищѣ, когда уже гробъ опустили и могилу стали засыпать землею, смѣшанною со снѣгомъ; но тутъ же упалъ онъ лицомъ въ снѣгъ и сталъ опять биться какъ помѣшанный.

Близъ стоявшіе подумали, что онъ окончательно лишится разсудка.

Первые дни директоръ нѣсколько разъ присылалъ курьера справиться объ его здоровьѣ.

## V.

Недѣли черезъ три онъ появился, однакожъ, въ департаментѣ. Прошелъ еще мѣсяцъ и уже насчетъ Чемезова установилось мнѣніе, что онъ взглянулъ, наконецъ, на свое положеніе „окомъ благоразумнаго человѣка“. Одинъ Ефремовъ подвертывался съ утѣшеніями, и то потому больше, что хотѣлъ показать себя въ глазахъ несообщительнаго товарища человѣкомъ, способнымъ не на однѣ пирушки и балагурство. Чемезовъ отдѣлывался обыкновенно пожатіемъ руки, но чаще всего отмалчивался. Онъ вообще слова ни съ кѣмъ не сказалъ о понесенной имъ утратѣ. Никто этому не удивлялся, зная его всегдашнюю сдержанность. Въ лицѣ его также никто не замѣтилъ особенной перемѣны; осунулось только немножко и какъ бы постарѣло; нельзя же безъ этого: человѣку стукнуло наконецъ сорокъ два года!

Прошло лѣто; наступила осень. При встрѣчѣ съ Алексѣемъ Иванычемъ рѣдкій могъ уже усумниться, чтобы горе окончательно въ немъ не изгладилось.

Иногда даже Чемезову казалось, какъ будто стало понемногу

отлегать отъ сердца. Припоминая прошлое, онъ начиналъ чувствовать себя спокойнѣе. Воспоминанія мало-по-малу утрачивали свою ѣдкость. Ихъ точно заволакивало туманомъ; они, казалось, смягчались въ немъ и ослабѣвали. Онъ приводилъ въ порядокъ бумаги, приступалъ къ брошенной работѣ и, одновременно съ этимъ, думалъ непремѣнно переѣхать на другую квартиру; сомнѣнія не было, что съ перемѣной мѣста спокойствіе окончательно возстановится.

Такъ проходили дни, иногда цѣлыя недѣли.

Вдругъ, — точно изъ-за угла вѣтромъ приносило,—обхватывало его опять чувствомъ смертельной грусти. Вмѣстѣ съ нею мгновенно отлетало спокойствіе, давая мѣсто мрачнымъ, тревожнымъ мыслямъ. Онъ неожиданно впадалъ въ то состояніе духа, какъ тогда въ Лѣтнемъ саду, при встрѣчѣ съ двумя сослуживцами. Чемезовъ сказывался больнымъ и не ходилъ на службу. Мысль кого нибудь видѣть, съ кѣмъ нибудь встрѣтиться, была ему невыносима. Въ такія минуты потеря жены казалась ему чувствительнѣе даже, чѣмъ въ первые дни послѣ ея кончины. Онъ не понималъ, какъ могъ на минуту думать объ облегченіи своего горя. Квартира дѣлалась ему тогда особенно дорога; онъ возмущался, думая, что въ ней могли поселиться чужіе люди.

Безъ всякаго насилія воображенія, воспоминанія приходили сами собою, наплывали одно за другимъ. Они принимали иногда поразительную ясность. Онъ часто какъ бы прислушивался къ голосу жены, слѣдилъ за его звукомъ, вызывая въ памяти каждую черту лица покойницы. Губы его судорожно двигались, когда передъ нимъ, точно живые, начинали свѣтиться ея добрые глаза. Припоминая ея кротость, ея ровный, безотвѣтный нравъ, ея заботливость, такъ нѣжно сосредоточенную на немъ одномъ,— онъ жадно хватался за самыя мелкія воспоминанія, сближавшія его съ нею. Такъ неожиданно пришло ему на память, какъ въ его отсутствіе она опрокинула чернильницу на бумаги и, желая скрыть оплошность, вымыла въ замѣшательствѣ листъ и тѣмъ окончательно стерла все написанное. Столько лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ! — но онъ вспомнилъ выраженіе смущенія на ея миловидномъ лицѣ, вспомнилъ, какъ тогда разсердился, какъ она вдругъ заплакала—и горько сталъ упрекать себя. Забывая, что теперь ничего уже не вернешь, ничего не поправишь,—онъ продолжалъ каяться, припоминая, какъ былъ иногда грубъ, при-

дирался, выказывалъ передъ ней дурное расположеніе духа, въ отвѣтъ на добрые, ласковые взгляды, на кроткую улыбку.

Въ такія черныя минуты потеря жены представлялась ему такимъ ужасающимъ фактомъ, сердце наполнялось такою невыносимою скорбью, что не разъ приходило ему въ голову покончить съ собою. Онъ не сомнѣвался въ томъ, что рано или поздно — не переживетъ своего горя.

Такъ многіе думаютъ,—даже искренно думаютъ; но всѣ почти обманываются!

Подъ впечатлѣніемъ душевно-тревожнаго чувства, мысленно переносишь себя, иногда одиноко, на берегъ необъятнаго моря и тамъ говоришь себѣ: „Что, если это случится со мною? Что, если вдругъ постигнетъ меня такое несчастье?... Я тутъ же въ прахъ разсыплюсь, на мѣстѣ умру, исчезну“... Но подымается волна горя, во сто разъ болѣе могучаго противъ того, какого ожидаешь, прокатывается она съ грохотомъ надъ головою... „Ну, думаешь, все кончено! Все!!...“ Осматриваешься вокругъ, ощупываешься—и съ удивленіемъ видишь себя сидящимъ на томъ берегу, совершенно невредимымъ и цѣлымъ!...

Нѣтъ, человѣкъ живучъ! Не менѣе, надо думать, былъ живучъ и Чемезовъ, даромъ что казался на видъ такимъ маленькимъ и тщедушнымъ.

Черные дни не переставали посѣщать его; но уже въ нихъ начиналъ открываться новый оттѣнокъ; ихъ возбуждали теперь не столько воспоминанія, сколько новое чувство, передъ которымъ безсильно было время. Одиночество давило Чемезова. Дома, на службѣ, на улицѣ,— оно неотступно его преслѣдовало. Занятія, начинавшія въ первое время развлекать его,— совсѣмъ ему опостылы; за что онъ ни брался, все изъ рукъ вываливалось. Привычка, говорятъ, вторая натура. Въ Чемезовѣ она сильнѣе должна была высказаться. Не считая, что тихая домашняя жизнь согласовалась съ его характеромъ, отвѣчала его природнымъ вкусамъ и наклонностямъ,—рѣдкому выпало на долю такъ счастливо ею пользоваться. Она развила въ немъ потребности и привычки, лишеніе которыхъ тягостно чувствовалось каждую минуту. Онъ точно былъ выброшенъ въ пустыню, на необитаемый глухой островъ, вокругъ котораго жизнь вдругъ умолкла, отошла въ сторону, какъ море отходитъ отъ берега. Иногда онъ радъ былъ

очутиться въ департаментѣ, услышать живые голоса, увидѣть людей.

Время отъ времени ему приходило даже на умъ, не послушаться ли въ самомъ дѣлѣ совѣта сослуживцевъ, не благоразумнѣе ли будетъ стараться развлечь себя; но онъ тутъ же отворачивался, пугаясь смѣлости своихъ замысловъ. Единственно, что могъ онъ, — это снова развѣ начать ходить въ театръ, какъ бывало при покойницѣ. Тутъ вспомнилъ онъ о двухъ билетахъ, взятыхъ имъ на итальянскую оперу и лежавшихъ запертыми въ столовомъ ящикѣ. Не весело было, конечно, но что же дѣлать! Надо же было, наконецъ, побѣдить чѣмъ нибудь эту мучительную тоску, не дававшую покоя. Узнавъ изъ афишъ, что даютъ „Фауста“, онъ отправился. Но какъ ни привлекательна была музыка, какъ ни хорошо она на него дѣйствовала, онъ не могъ дослушать конца представленія. Видъ пустаго мѣста рядомъ съ его стуломъ, того самаго мѣста, гдѣ должна была сидѣть Марья Ивановна, пробуждалъ въ немъ слишкомъ тяжелыя воспоминанія. Въ той сценѣ, когда Маргарита является въ саду при лунномъ свѣтѣ, когда чистая ея душа такъ простосердечно отдается въ обманъ коварству и въ то же время раздаются звуки вальса, напоминающіе равнодушную, смѣющуюся и веселящуюся толпу,— Чемезовъ не могъ досидѣть и поспѣшно вышелъ изъ креселъ.

Проходя мимо кассы, вспомнилъ онъ, что изъ двухъ билетовъ одинъ былъ лишній; онъ остановился и, передавъ его кассиру, просилъ продать при первой возможности. Свой билетъ онъ у себя оставилъ, подумавъ, что, какъ ни тягостно чувство, испытанное въ театрѣ, оно всетаки легче тоски, приступавшей особенно сильно, когда онъ по вечерамъ оставался одинъ дома.

Пропустивъ два представленія, онъ снова отправился въ оперу.

Подходя къ своему стулу, увидѣлъ онъ, что сосѣднее мѣсто занято; на немъ сидѣла дама. Обстоятельство это въ первую минуту непріятно на него подѣйствовало! Онъ торопливо взялъ бинокль и началъ смотрѣть на сцену. Но любопытство взяло свое; онъ искоса взглянулъ на сосѣдку. Чемезовъ, какъ извѣстно, не былъ знатокъ въ женщинахъ; насколько могъ онъ судить по бѣглому взгляду, — сосѣдка принадлежала скорѣе къ числу привлекательныхъ. Она была очень скромно одѣта: черная атласная шляпка, съ чернымъ перомъ, скромно уложеннымъ по

борту; такого же цвѣта и той же матеріи платье обтягивало ея плечи; оно застегивалось вплоть до воротничка, отъ котораго спускалась на плоскую грудь цѣпочка часовъ, запрятанныхъ за пуговицы лифа. Въ антрактѣ представился случай разсмотрѣть ее ближе; и надо сказать, второй этотъ осмотръ сдѣлался самъ собою, безъ всякаго старанія со стороны Чемезова.

Сосѣдка показалась ему не первой молодости, лѣтъ двадцати-двухъ — двадцати-трехъ, — можетъ быть нѣсколько даже старше. На продолговатомъ, нѣсколько заостренномъ лицѣ выступалъ узенькій носъ съ горбочкомъ по серединѣ и подвижными ноздрями: онъ отдѣлялъ два черные глаза, быстрота которыхъ безпокоила должно быть самую владѣлицу, потому что, вопреки стараніямъ опускать ихъ, они слишкомъ часто выказывали неповиновеніе и бѣгали какъ мышенки. Надъ глазами выгибались черныя брови, почти сроставшіяся у переносицы; верхняя губа оттѣнялась пушкомъ, какъ у большей части сильныхъ брюнетокъ. Могло статься, что брови были преувеличенно широки и черны, губы краснѣе, чѣмъ бываетъ обыкновенно, и кожа на лицѣ, тусклой своей бѣлизной, напоминала употребленіе кольдъ-крема и пудры, — но Чемезовъ ничего этого не примѣтилъ. Столько лѣтъ занимаясь, между другими работами, женскимъ вопросомъ, — онъ въ практическомъ смыслѣ былъ менѣе опытенъ въ женскихъ дѣлахъ, чѣмъ теперешній пятнадцатилѣтній гимназистъ; покойница въ этомъ отношеніи ничему его не научила; для поддержки своего миловиднаго лица она обыкновенно никогда ничего не употребляла кромѣ воды и мыла.

Чемезовъ не могъ не примѣтить, что всѣ движенія сосѣдки отличались необычайной скромностью: въ нихъ присутствовала даже какая-то стыдливость. Обращая случайно глаза на проходящихъ, она мгновенно ихъ потупляла; когда кто нибудь изъ зрителей пробирался къ ней, проходя по ряду стульевъ, — она спѣшила скромно подобрать нижнія складки платья, какъ бы оберегаясь отъ мужскаго прикосновенія.

Выходя изъ театра, Чемезовъ мало о ней думалъ; но когда думалъ, то говорилъ себѣ, что присутствіе такой скромной особы на стулѣ, предназначенномъ для жены, — было все-таки менѣе непріятно, чѣмъ еслибъ занялъ его другой кто нибудь. Онъ, вѣроятно, забылъ бы о ней, но въ слѣдующее представленіе снова встрѣтилъ ее на томъ же мѣстѣ. Скромность сосѣдки остано-

вила его вниманіе точно такъ же, какъ при первой встрѣчѣ. Въ антрактѣ она привстала, желая дать пройти какому-то господину, и зацѣпила кружевомъ рукава за гвоздикъ, случайно высунувшійся изъ обивки стула; господинъ прошелъ мимо, ничего не замѣтивъ. Видя ея долгія и безполезныя старанія высвободить кружево, Чемезовъ рѣшился наконецъ прійти ей на помощь.

Она замѣтила, какъ онъ при этомъ покраснѣлъ, церемонно поблагодарила и, тотчасъ же опустивъ глаза, продолжала сидѣть на своемъ стулѣ.

Въ концѣ втораго дѣйствія она, однако-жъ, побѣдила себя и, неожиданно обратясь къ Чемезову, спросила, не можетъ ли онъ разъяснить ей значеніе тѣхъ послѣднихъ словъ, которыя сейчасъ, въ финальной аріи, произнесъ Мазини; ей, по всему замѣтно, очень было стыдно обращаться къ незнакомому мужчинѣ; но любознательность, повидимому, превозмогала застѣнчивость.

Чемезовъ отвѣчалъ, что, къ сожалѣнію, также незнакомъ съ итальянскимъ языкомъ и довольствуется тѣмъ, что слушаетъ музыку и можетъ ею наслаждаться.

— Для меня музыка также первое удовольствіе!... сказала сосѣдка дѣтски-наивнымъ голосомъ, не отвѣчавшимъ ея быстрому взгляду, тотчасъ же впрочемъ скрывшемуся подъ опущенными рѣсницами.

— Сколько я замѣчаю, вы часто бываете въ оперѣ... проговорилъ Чемезовъ и, самъ не зная отчего, снова вдругъ покраснѣлъ.

— Да, я бываю всякій разъ, какъ только возможно... когда позволяетъ время...

— Вы развѣ спеціально чѣмъ нибудь заняты?...

— Да, отвѣчала она съ замѣтнымъ принужденіемъ и замолкла.

Чемезовъ стѣснялся продолжать разговоръ. Оба, поклонившись церемонно другъ другу, покинули театръ и разошлись въ разныя стороны.

Всякій разъ, какъ приходилъ день абонемента, Чемезовъ увѣренъ былъ, что вечеромъ найдетъ подлѣ себя скромную сосѣдку. Они встрѣчались теперь уже какъ знакомые.

Начавъ, мало-по-малу, обмѣниваться впечатлѣніями о достоинствѣ музыки, объ искусствѣ исполнителей, они попеременно переходили къ другимъ интересамъ, коснулись жизненныхъ вопросовъ и подъ конецъ, всякій разъ, когда занавѣсъ опускалась

въ послѣдній разъ, оба выражали сожалѣніе о необходимости прервать интересную бесѣду.

Не смотря на поверхностный обмѣнъ мыслей и скромность сосѣдки, — она не могла скрыть своего ума; Чемезову по крайней мѣрѣ никогда не случалось встрѣчать такой умной собесѣдницы; его удивляло также, какъ, сравнительно съ ея молодостью, успѣла она пріобрѣсти столько знанія, столько практичности во взглядѣ на нѣкоторые жизненные вопросы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, умѣла сохранить такую простоту и скромность. Охотно употребляя въ своихъ книжкахъ слово: *„культурность“*, онъ въ первый разъ объяснялъ себѣ настоящимъ образомъ его значеніе, когда думалъ о собесѣдницѣ. То, что она разсказывала о себѣ самой, окончательно располагало Чемезова въ ея пользу.

Подобно ему, — она была круглою сиротой; было даже сходство въ ихъ происхожденіи; но только ея отецъ былъ нѣмецъ, а мать русская. Оставался у нея дяденька въ Ригѣ, но уже многіе годы не было о немъ никакихъ извѣстій: умеръ должно быть! Три года тому назадъ, вышла она изъ консерваторіи и существовала уроками музыки; если она позволяла себѣ часто бывать въ театрѣ, то это потому, во-первыхъ, что была необыкновенно экономна, а во-вторыхъ, выше всего на свѣтѣ обожала музыку, предпочитала ее всѣмъ другимъ удовольствіямъ, увлекающимъ обыкновенно молодыхъ дѣвушекъ. Узнавъ объ образѣ занятій Чемезова и спросивъ его имя, — она выразила вдругъ необыкновенную радость. Какъ! это было то самое имя, которое встрѣчалось такъ часто на дѣтскихъ книжкахъ, на разныхъ руководствахъ для образованія юношества?... Боже мой, кто же изъ лицъ, сколько нибудь соприкосновенныхъ дѣтямъ, не знакомъ съ этимъ именемъ!!. Она вдвойнѣ благодарила случай, который ихъ познакомилъ. Она давно искала работы въ свободное время; зная порядочно французскій и нѣмецкій языки, ей легко было заняться переводами; она нѣсколько разъ даже приступала; но къ кому обратиться за совѣтомъ? Кому отдать результатъ трудовъ? Положеніе бѣдной дѣвушки въ такихъ случаяхъ, дѣйствительно, достойно всякаго сожалѣнія!

Прислушиваясь къ разсказамъ Амаліи Карловны (такъ звали сосѣдку), Чемезовъ иногда даже какъ будто задумывался; можно было предполагать, мысли его отвлекались посторонними сообра-

женіями; но это не было продолжительно; онъ снова начиналъ прислушиваться съ удвоеннымъ вниманіемъ.

Сочувствуя положенію бѣдной дѣвушки, жившей трудомъ, онъ предложилъ ей свои услуги. Ему ничего не стоило присылать ей работу и онъ спросилъ ея адресъ.

Глаза ея, оживившіеся въ началѣ разговора, тотчасъ же опустились. Послѣ минутнаго молчанія, и очевидно стѣсняясь, она сообщила, что занимаетъ скромную меблированную комнату въ отдаленномъ кварталѣ и тутъ же, неожиданно опять оживившись, объявила о невозможности допустить Алексѣя Ивановича отправляться въ такую даль, отыскивать ее, подыматься по лѣстницамъ... Нѣтъ, — она ни за что этого не хотѣла! Не ему, нѣтъ, — скорѣй ей, да, ей скорѣе слѣдовало являться къ нему, — человѣку столь извѣстному и такъ сердечно ей сочувствующему!

Два дня спустя, — въ квартирѣ Чемезова раздался звонокъ. Онъ сидѣлъ въ халатѣ и работалъ. При мысли, что звонитъ Амалія Карловна, — кровь бросилась ему въ голову; онъ стремительно выбѣжалъ въ сосѣднюю комнату и суетливо началъ одѣваться. Въ прихожей между тѣмъ явственно слышался знакомый женскій голосъ, освѣдомлявшійся о томъ, дома ли Алексѣй Иванычъ. Чемезовъ при этомъ совсѣмъ засуетился и, какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, не находилъ подъ рукою самыхъ необходимыхъ принадлежностей туалета; оправившись, наконецъ, онъ вышелъ въ кабинетъ и сталъ извиняться, что такъ долго заставилъ ждать себя. Онъ переминался и неловкость проглядывала въ каждомъ его словѣ. Она первая ободрилась.

На заостренномъ лицѣ ея показалось даже выраженіе восторга при взглядѣ на кабинетъ „извѣстнаго ученаго“, какъ она выразилась. Въ этомъ восторгѣ проглядывало что-то дѣтское. Чемезовъ нашелъ ее моложе противъ того, какою представлялась она ему въ театрѣ. Розовый бантикъ подъ бѣлымъ воротничкомъ, гладко причесанные волосы вмѣсто падавшихъ на лобъ завитковъ, которыми украшала она себя по вечерамъ, гладко обтянутый корсажъ, — придавали ей наружность институтки. Молодость и простодушіе еще замѣтнѣе выказались на восхищенномъ лицѣ, когда узнала она, что Чемезовъ былъ настолько добръ, что не забылъ ея просьбы и, не смотря на многосложныя ученыя занятія, приготовилъ для нея работу.

Работа заключалась въ переводѣ съ французскаго языка на

русскій очерка „*млекопитающихъ*“, которымъ должна была заключиться: „*Сокращенная исторія царства животныхъ*“, приготовляемая Чемезовымъ для втораго гимназическаго курса.

— Благодарю васъ, — отъ всего сердца благодарю!... восторженно проговорила Амалія Карловна, пожимая его руку и пристально устремляя на него глаза, одушевленные признательностью, — но тутъ много спеціальныхъ словъ, прибавила она, — вы позволите мнѣ иногда безпокоить васъ... приходить къ вамъ за совѣтомъ?...

— Помилуйте, — очень радъ!... отозвался Чемезовъ, провожая ее до лѣстницы.

Заперевъ за собою дверь, онъ долго ходилъ взадъ и впередъ по кабинету, наконецъ, позвалъ кухарку, велѣлъ подавать чай и, раздѣвшись, сѣлъ за работу.

Не смотря на многолѣтній опытъ въ занятіяхъ такого рода, не смотря на привычку приводить перо въ повиновеніе воли, — Чемезовъ въ этотъ вечеръ написалъ очень мало. Тоска, оставившая его на время, — стала овладѣвать имъ съ удвоенной силой. Онъ легъ и заснулъ; но на другое утро и весь слѣдующій день не могъ отвязаться отъ ноющаго чувства. Онъ снова ходилъ какъ въ туманѣ. Въ департаментѣ ему трудно было даже составить и написать нѣсколько простыхъ отношеній. Куда уйти? Гдѣ спрятаться отъ тоски?... Волей-неволей надо было возвращаться домой.

Часъ спустя, въ квартирѣ раздался звонокъ. Звукъ этотъ въ первую секунду лихорадочно прошелъ по нервамъ Чемезова; онъ обрадовался, однако-жъ, увидавъ Амалію Карловну. Она очень извинялась. Но бѣда въ томъ: у нея не было лексикона! Въ иныхъ мѣстахъ перевода она рѣшительно не находилась; зная снисходительность Алексѣя Иваныча, разсчитывая на безконечную доброту его сердца, она рѣшилась снова его безпокоить.

Чемезовъ готовъ былъ помочь ей съ величайшей охотой. Они усѣлись къ столу. Въ это время кухарка подала чай. Амалія Карловна вызвалась хозяйничать.

Чемезовъ припомнилъ покойную жену и задумался; но воспоминаніе это только промелькнуло; онъ снова обратился къ Амаліи Карловнѣ, которая, ничего, казалось, не замѣчая, заботливо разспрашивала о его вкусахъ и, граціозно изгибая станъ, привѣтливо улыбаясь, накладывала сахаръ и рѣзала тоненькіе ломтики лимона.

Чай былъ только перерывомъ занятій; они снова приступили къ переводу и просидѣли довольно поздно.

Изобиліе спеціальныхъ терминовъ въ очеркѣ „*О млекопитающихъ*“, съ одной стороны, неимѣніе лексикона у Амаліи Карловны, съ другой,— заставляли ее часто посѣщать квартиру Чемезова.

Оба не стѣснялись теперь другъ передъ другомъ. Онъ успѣлъ совсѣмъ освоиться; она скоро успѣла изучить всѣ его привычки.

— Отчего, скажите, Алексѣй Иванычъ, бываете вы иной разъ такой грустный? спросила она какъ-то совершенно неожиданно, — я часто гляжу на васъ и сама съ собой разсуждаю: что бы такое придумать, чтобъ разсѣять ваши мрачныя мысли...

— Не разъ уже разсказывалъ я вамъ мою исторію, проговорилъ вздыхая Чемезовъ, — мало въ ней радостнаго, какъ сами знаете! подхватилъ онъ глухимъ голосомъ, принимаясь расхаживать по комнатѣ съ опущенною головою, — я скучаю, Амалія Карловна, жестоко скучаю! Иной разъ нападаетъ такая тоска, что, право, умереть бы, кажется, легче!...

— Вы бы женились...

— Э! помилуйте, кто пойдетъ за меня! И состарѣлся я... да и вообще ничего во мнѣ нѣтъ такого...

— А я такъ думаю, — всякая пойдетъ за васъ... да еще какъ: за счастье почтетъ...

При этомъ, голова Чемезова опустилась еще ниже и шаги его замѣтно ускорились. Минуты двѣ прошли въ молчаніи. Лицо его и всѣ движенія изображали сильное внутреннее волненіе. Амалія Карловна сидѣла въ то время на диванѣ; черные ея глаза нетерпѣливо слѣдили за Чемезовымъ. Онъ неожиданно остановился передъ нею и, не смѣя поднять глазъ, произнесъ голосомъ, прерывавшимся на каждомъ словѣ:

— Вы... напримѣръ... пошли бы вы... за меня...

— Съ величайшимъ удовольствіемъ!!... отвѣчала она, быстро вставая и протягивая ему обѣ руки.

На другой день послѣ этого объясненія, многимъ изъ сослуживцевъ Чемезова бросилась въ глаза рѣзкая перемѣна не только въ его лицѣ, но во всей его наружности, — даже въ способѣ ходить и держать себя съ товарищами. Такое превращеніе могло объясняться производствомъ въ слѣдующій чинъ или полученіемъ новаго знака отличія, — но сколько извѣстно, ничего этого не

случилось. Фактъ тотъ, что между прежнимъ Алексѣемъ Иванычемъ и теперешнимъ не было ничего общаго. Лицо его смотрѣло оживленно, сдержанно, щепетильная походка смягчалась небывалой развязностью движеній; онъ ходилъ скоро и глядѣлъ прямо передъ собою, точно спѣшилъ къ цѣли,—словомъ, весь казался какимъ-то возбужденнымъ, наэлектризованнымъ.

— Смотри пожалуйста — нашъ таинственный монахъ; — а, каковъ нынче?! нашептывалъ Ефремовъ, подмигивая то тому, то другому. Этакъ, пожалуй, и свѣта-преставленіе скоро будетъ!!...

Зная нелюдимость и несообщительность Чемезова и не желая наскочить на неблагопріятный отвѣтъ, никто однако не рѣшился сунуться къ нему съ разспросами. Каждый наблюдалъ втихомолку небывалую суетливость его движеній, нетерпѣніе, съ какимъ перевертывалъ онъ листы и тутъ же принимался за другое дѣло, поспѣшность, съ какою ухватился онъ за шляпу и почти бѣгомъ пустился въ швейцарскую, какъ только пробило четыре часа.

Въ эти дни Чемезовымъ дѣйствительно овладѣла точно лихорадка.

Съ непрактичностью, которая его отличала, непрактичностью, успѣвшей развиться отъ многолѣтней, почти замкнутой жизни съ Марьей Ивановной, ему приходилось теперь бѣгать съ утра до вечера за разными покупками, хлопотать у священниковъ насчетъ вѣнчальныхъ документовъ, устроивать квартиру. Онъ думалъ нанять новую, но отказался отъ такой мысли, такъ какъ это отняло бы слишкомъ много времени. Главнымъ, настоятельнымъ желаніемъ его было, чтобы все это только кончилось, прошло какъ можно скорѣе. Усиленная озабоченность предметами совершенно новыми, неожиданными, отнимала у него возможность привести въ порядокъ собственныя мысли. Чемозовъ не былъ влюбленъ, — онъ это чувствовалъ; онъ чувствовалъ даже, что между нимъ и Амаліей Карловной не было еще настоящаго, внутренняго, нравственнаго сліянія; кое-что ему даже не совсѣмъ нравилось, — было по крайней мѣрѣ не по сердцу; но онъ отклонялъ такія мысли, старался не думать объ этомъ, старался, напротивъ, убѣждать себя, что съ нею все-таки придетъ конецъ тоски, жизнь вступитъ въ свою колею, наступитъ спокойствіе, образуется наконецъ домашній очагъ, который, если и не будетъ тѣмъ, чѣмъ былъ прежде, — то во всякомъ случаѣ оживитъ, осмыслитъ его существованіе. Онъ хлопоталъ изо всѣхъ силъ,

чтобы только скорѣе, скорѣе достигнуть цѣли. Онъ желалъ также этого для Амаліи Карловны. Она со своей стороны не менѣе также суетилась и торопила день свадьбы.

Встрѣтивъ крайнюю необходимость видѣть невѣсту, — Чемезовъ разъ вечеромъ отправился къ ней по адресу. Но дома ея не было. Прислужница объявила, что Амалія Карловна ушла въ театръ. Такое извѣстіе удивило его; наканунѣ она подтверждала, что весь слѣдующій вечеръ займется приготовленіемъ свадебнаго платья и не тронется съ мѣста. Осматриваясь кругомъ, онъ пораженъ былъ самымъ непріятнымъ образомъ неряшливымъ видомъ, въ какомъ содержались меблированныя комнаты. Онѣ раздѣлялись темнымъ, нескончаемымъ корридоромъ, освѣщеннымъ вонючей керосиновой лампой; копоть отъ нея распространялась чернымъ пятномъ по стѣнѣ съ грязными обоями. По серединѣ корридора прогуливался, какъ у себя дома, какой-то небритый усатый господинъ въ туфляхъ и халатѣ. „Невѣжа! И бѣдная Амалія Карловна должна была все это выносить и видѣть!!...“ подумалъ Чемезовъ, спускаясь по лѣстницѣ.

На другой день онъ разсказалъ ей о своемъ неудачномъ посѣщеніи. Она вспыхнула, торопливо заговорила, назвавъ прислужницу безтолковой бабой, постоянно все путавшей. Ей въ голову не приходило выходить куда нибудь — и тѣмъ менѣе въ театръ; до театра ли теперь? Она отправилась всего на четверть часа съ тѣмъ, чтобы купить иголокъ и бѣлаго шелку, которыхъ недоставало для окончанія платья...

Вопросъ о шаферахъ начиналъ также безпокоить Чемезова. Когда онъ вѣнчался съ Марьей Ивановной, свидѣтелями были: управляющій домомъ, гдѣ нанималъ онъ квартиру, два писаря и еще неизвѣстное какое-то лицо, подставленное услужливымъ дьякономъ; теперь, очевидно, нельзя было такъ; требовалось другое. На Амалію Карловну нельзя было разсчитывать; у нея никого рѣшительно не было, т. е. были знакомые, но она ихъ не желала. Онъ подумалъ о маленькомъ суетливомъ редакторѣ *„Незабудочки“*, — но вспомнилъ, что не видалъ его очень давно, и счелъ неловкимъ обратиться къ нему съ такой просьбой. Оставались сослуживцы. Также не совсѣмъ было ловко: онъ держалъ себя съ ними такъ отдаленно, такъ старательно избѣгалъ всегда тѣснаго сближенія съ ихъ обществомъ. Но они всетаки были ближе; большая часть состояла даже несомнѣнно скорѣе изъ доб-

рныхъ людей. Онъ рѣшился наконецъ прямо обратиться къ Ефремову, какъ ближайшему изъ нихъ, и просить его взять на себя и устроить дѣло.

Войдя въ департаментъ, Чемезовъ крайне удивился, когда Ефремовъ встрѣтилъ его такими словами:

— Вы женитесь, Алексѣй Иванычъ, — отъ души поздравляю!...

— Какъ вы объ этомъ узнали?...

— Соципѣровъ передалъ; ему сказалъ фотографъ Хохловъ; онъ доводится, кажется, двоюроднымъ братомъ вашей невѣстѣ...

— У нея нѣтъ никакихъ двоюродныхъ братьевъ... возразилъ Чемезовъ.

— Такъ говорили. Но впрочемъ все равно, — радъ, душевно радъ! подхватилъ Ефремовъ, узнавъ причину обращенія къ нему Чемезова, — когда такъ, позвольте же, батенька, какъ слѣдуетъ, по христіанскому нашему русскому обычаю, начать съ того, чтобы расцѣловать васъ... Разъ... два... три... Не говорилъ ли я вамъ: надо развлечься! — Ну и прекрасно!... Все, батенька, устрою вамъ, все! дражайшій Алексѣй Иванычъ! И шаферовъ пригласимъ, и все такое... Сегодня же зайду въ „Малый Ярославецъ", переговорю насчетъ особой комнаты; тамъ есть одна красная: видъ чудный! Впереди Большая Морская, справа арка главнаго штаба, — словомъ: ве-ли-ко-лѣпно!... Закуска, обѣдъ, все будетъ какъ слѣдуетъ; предупредите только заблаговременно насчетъ дня свадьбы; дальше вамъ, дорогой другъ, нечего безпокоиться; такъ, батенька, накормимъ, что всѣ перелопаются!...

— Пожалуйста, нельзя ли только, чтобы все это было какъ можно скромнѣе... замѣтилъ Чемезовъ.

— Вы говорите насчетъ расходовъ?

— Вовсе нѣтъ; насчетъ того, чтобы не было слишкомъ большой компаніи... я не привыкъ къ этому; да вообще это не въ моемъ характерѣ...

— Знаю, знаю... Никого кромѣ своихъ! Будьте только благонадежны, не думайте объ этомъ; у меня такъ: сказано — сдѣлано!...

На этомъ они разстались.

— Послушай, Петръ Никифоровичъ, замѣтилъ столоначальникъ Сельдереевъ послѣ того, какъ Ефремовъ передалъ нѣкоторымъ изъ товарищей разговоръ свой съ Чемезовымъ, — воля твоя, тутъ что-то не такъ... Съ его стороны, по крайней мѣрѣ, согласись самъ, есть чему удивиться...

— Удивиться нечему, возразилъ Соципѣровъ; стоило взглянуть десять дней тому назадъ, когда онъ вошелъ въ департаментъ; мнѣ тогда же бросилось въ глаза и я сказалъ себѣ...

— Думаешь, тутъ что нибудь того... не ладно? перебилъ Ефремовъ, пробарабанивъ по лбу.

— Думаю...

— Ну и думай, Богъ съ тобой! А мы пока честнымъ пиркомъ да и за свадебку, или вѣрнѣе такъ: справимъ сначала свадьбу, а потомъ приступимъ, благословясь, къ честному пирку! заключилъ Ефремовъ, похлопывая ладонями по животу.

## VI.

Насталъ наконецъ торжественный день. Чемезовъ, въ бѣломъ галстукѣ, во фракѣ съ двумя орденами въ петлицѣ, ходилъ скорыми шагами по комнатамъ въ ожиданіи невѣсты. Онъ былъ въ кабинетѣ, когда она неожиданно явилась въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ померанца, въ бѣломъ платьѣ съ длиннымъ шумѣвшимъ шлейфомъ. Запахъ тончайшихъ духовъ мгновенно распространился по всей комнатѣ.

Поздоровавшись съ Алексѣемъ Иванычемъ, она съ первыхъ словъ положила ему ладони на плеча, прищурила черные глаза и произнесла, заманчиво улыбаясь:

— Алексѣй Иванычъ, вы на меня не разсердитесь?... скажите, что нѣтъ...

— Нѣтъ.

— Я пригласила въ церковь и на обѣдъ одного моего знакомаго...

— Вы говорили: не хотите вашихъ знакомыхъ...

— Да; но этотъ очень хорошій... Онъ даже мнѣ нѣсколько съ родни... по маменькѣ...

Амалія Карловна неожиданно поцѣловала жениха въ щеку.

— Представьте: я совсѣмъ объ немъ забыла! подхватила она оживленно, — три года не видались... Иду вчера по Гостиному двору,— вдругъ онъ! я тутъ же ему все разсказала и пригласила...

— Кто же онъ?

— Ахъ, очень хорошій... онъ занимается фотографіей... Хохловъ его фамилія... маменькина фамилія... Но я вижу, вы не

веселы, Алексѣй Иванычъ... Я замѣчаю, вы какъ будто чѣмъ-то недовольны?... продолжала она слезливо, хотя губы ея не переставали улыбаться, — подумаютъ, право, вы женитесь противъ воли... по принужденію... Въ эти послѣдніе два дня я просто не узнаю васъ; никогда не видала васъ такимъ мрачнымъ, разстроеннымъ... Что съ вами?... Да улыбнитесь же!...

Чемезовъ сдѣлалъ усиліе, чтобы улыбнуться, но вмѣсто улыбки вышла кислая фигура.

Амалія Карловна отвернулась, хотѣла удержаться, но не могла и засмѣялась.

Алексѣй Иванычъ ничего не сказалъ, но по лицу его замѣтно пробѣжала тѣнь неудовольствія. Смѣхъ этотъ не столько обижалъ его самого, сколько казался ему неумѣстнымъ въ тѣ минуты, когда надо было думать ѣхать къ вѣнцу.

Замѣчаніе Амаліи Карловны было, тѣмъ не менѣе, совершенно справедливо: въ послѣдніе дни Чемезовъ казался дѣйствительно задумчивѣе, мрачнѣе обыкновеннаго. Ему самому трудно было опредѣлить настоящее состояніе своихъ чувствъ. Надежда на счастье и сомнѣнія, смертельная тоска и радость отъ нея освободиться смѣнялись поперемѣнно. — „Не увлекся ли я? повторялъ онъ себѣ время отъ времени; найду ли то, чего ожидаю?... Ея ревность къ труду очевидно не больше, какъ вспышка. Не по характеру... Можетъ быть молодость также мѣшаетъ... Но та... та была еще моложе и было всетаки счастіе!... Возвращу ли себѣ привязанность, безъ которой жить такъ тягостно... И, наконецъ, есть ли въ ней настоящее чувство?... Связываетъ, однако-жъ, свою судьбу съ моею,— недаромъ стало быть!... И всетаки спрашиваю себя: не поторопился ли я?...“

Мысли эти, начинавшія тревожить его, никогда не приходили одиноко; онѣ неизбѣжно всегда связывались съ воспоминаніями о покойницѣ. Не то сожалѣніе, не то раскаяніе овладѣвали имъ въ такія минуты. Но все опять уступало мѣсто внутренней борьбѣ между сомнѣніями и надеждой на счастіе, смертельной тоской и радостью отъ нея избавиться.

Смѣхъ едва успѣлъ умолкнуть на губахъ Амаліи Карловны, когда въ передней раздался звонокъ. Лакей, присланный Ефремовымъ, побѣжалъ отворять; минуту спустя онъ подалъ Чемезову записку.

Амалія Карловна поспѣшно встала съ дивана.

— Не мнѣ ли? спросила она.

— Нѣтъ, отвѣтилъ онъ, срывая конвертъ.

Въ запискѣ четкимъ почеркомъ было обозначено: „Остерегайтесь. Васъ обманываютъ“. И только.

— Это ложь! Клевета! Гнусная клевета! вскричала Амалія Карловна, бѣгло взглянувъ на записку.

Лицо ея неожиданно измѣнилось; губы ея и брови искривились; носъ побѣлѣлъ и заострился; глаза сверкнули такимъ блескомъ, что Чемезовъ невольно попятился.

— Это враги мои! подхватила она, придавая также неожиданно слезливое выраженіе лицу и голосу,—чего хотятъ они отъ меня?... Что я имъ сдѣлала? Я даже знаю, кто тотъ негодяй, который послалъ это анонимное письмо... Сейчасъ же все объясню вамъ...

Но объясненію не суждено было осуществиться. Въ прихожей раздался новый звонокъ, и одинъ за другимъ вошли расшаркиваясь Ефремовъ, Соципѣровъ и еще два чиновника: надворный совѣтникъ Бабковъ и губернскій секретарь Сельдереевъ.

— Я кое-кого еще пригласилъ, суетливо заговорилъ Ефремовъ, едва переводя духъ отъ одышки,—но они будутъ ждать въ церкви; оттуда уже всѣ вмѣстѣ,—огуломъ, такъ сказать,—отправимся въ „Малый Ярославецъ“. Тамъ все готово!.. Позвольте, сударыня, имѣть честь представиться...

Тутъ онъ остановился передъ Амаліей Карловной, успѣвшей совершенно оправиться, развелъ руками, какъ актеръ, вызванный на сцену, отвѣсилъ низкій поклонъ и началъ поочередно представлять сослуживцевъ, которымъ Чемезовъ успѣлъ уже разсѣянно пожать руки.

Роль распорядителя очевидно увлекала Ефремова; озабоченное выраженіе на его кругломъ лицѣ приводило на память церемоніймейстера, представляющаго пословъ; его толстая, осанистая фигура могла бы дополнить впечатлѣніе, еслибъ окончательное сходство не нарушалось, къ сожалѣнію, небрежностью туалетной обстановки; бѣлый галстухъ былъ далеко не первой свѣжести, на обшлагахъ затрепаннаго фрака виднѣлись слѣды пятенъ отъ разныхъ соусовъ, старыя панталоны, приподнятыя разросшимся животомъ, открывали выше щиколки плохо вичищенные сапоги, прическа была „au naturel“—изъ сѣрыхъ сухихъ и взъерошенныхъ завитковъ, разлетавшихся во всѣ стороны. Въ этомъ видѣ

онъ представлялъ совершенную противоположность съ надворнымъ совѣтникомъ Бабковымъ, — кругленькимъ и гладенькимъ, какъ огурчикъ, человѣкомъ, съ крестомъ на шеѣ, вылощенной накладкой на черепѣ, гладкомъ какъ чайникъ, крашеными бакенбардами и съ головы до ногъ опрысканнымъ о-де-колонью. Сельдереевъ не былъ такъ надушенъ и не имѣлъ креста на шеѣ,—но бралъ ростомъ и молодостью; ростъ впрочемъ придавалъ ему чахоточный видъ, а молодость выражалась менѣе чертами лица, чѣмъ узенькими лаковыми ботинками, которыя такъ стѣсняли ноги, что, казалось, выжимали слезы изъ глазъ владѣльца, прикрытыхъ золотыми очками. Съеженная, завистливая наружность Соципе́рова уже извѣстна; прибавить можно только, что онъ не грызъ ногтей потому, что мѣшали перчатки.

Каждый разъ, какъ Ефремовъ подводилъ Амаліи Карловнѣ котораго нибудь изъ шаферовъ,—она окидывала его пытливымъ взглядомъ, застѣнчиво потомъ опускала рѣсницы и церемонно кланялась.

— Пора однакожъ, господа; все готово: шафера на лицо, священникъ у амвона, кареты у подъѣзда! заговорилъ Ефремовъ, пробуя надѣть перчатку, которая никакъ не влѣзала,—полноте же вамъ смущаться, дражайшій Алексѣй Ивановичъ! чувства ваши я понимаю... вполнѣ! но теперь не до философскихъ размышленій, — надо дѣйствовать!...

Онъ припалъ правымъ плечомъ и согнулъ калачикомъ руку, чтобы подать ее невѣстѣ, но опомнился и поспѣшилъ выставить впередъ Бабкова, который повелъ Амалію Карловну къ выходной двери. Ефремовъ, желая вѣроятно ободрить Чемезова, подхватилъ его за талію, но тотъ осторожно отвелъ его руку, взялъ шляпу и въ сопровожденіи остальныхъ лицъ вышелъ изъ кабинета. Но Ефремовъ слишкомъ занятъ былъ своей ролью, чтобы останавливаться передъ такими мелочами. Онъ торопливо протискался впередъ, ворвался въ прихожую и, увидавъ невѣсту въ шубѣ, настоятельно сталъ требовать, чтобы она прикрыла голову оренбургскимъ платкомъ и надѣла мѣховые сапожки.

— Не выпущу безъ этого, говорилъ онъ, обматывая себѣ шею шерстянымъ шарфомъ, сильно подточеннымъ молью,—ни за что не выпущу; помилосердуйте: двадцать градусовъ и вѣтеръ въ придачу; такъ прямо изъ Шлиссельбурга и поджариваетъ!... брр!...

Морозило дѣйствительно сильно; но небо было покрыто и обѣщало къ вечеру оттепель.

Въ церкви Чемезова непріятно поразило скопище любопытныхъ. Ефремовъ увѣрялъ, никого не будетъ кромѣ шаферовъ и двухъ-трехъ близкихъ знакомыхъ; вмѣсто того встрѣтилось множество сослуживцевъ и еще больше совершенно незнакомыхъ лицъ. Изъ числа послѣднихъ Ефремовъ представилъ жениху пріятеля своего Фукса, молодаго человѣка, рябаго какъ кукушка, съ рыжими волосами, и тутъ же мимоходомъ подвелъ другаго пріятеля, Фанфарова, рослаго, кудряваго господина съ черными бакенбардами въ видѣ котлетокъ. Амалія Карловна, со своей стороны, робко подвела фотографа Хохлова,—писанаго красавца съ подточенными усиками, спаньолкой, прической à la „чортъ меня побери“ и пестрымъ галстучнымъ бантомъ такого же эффектнаго характера.

Чемезовъ ограничился поклонами. Ему было не до любезностей. Видя себя предметомъ всеобщаго любопытства, онъ въ первыя минуты совсѣмъ растерялся.

Къ счастью, обрядъ вѣнчанія произошелъ очень скоро.

Начались поздравленія. Чемезовъ былъ такъ взволнованъ, что не находилъ словъ въ отвѣтъ на привѣтствія. Въ то время, какъ Амалія Карловна пожимала всѣмъ руки, казалась такою веселой и всѣмъ улыбалась,— онъ готовъ былъ убѣжать и скрыться куда нибудь подальше. Передъ нимъ, какъ точка свѣта въ темнотѣ, ясно мелькала одна мысль: „Скорѣе бы все это только кончилось... скорѣе бы освободиться!...“ Но дѣлать было нечего, надо было овладѣть собою; предстоялъ еще обѣдъ въ Маломъ Ярославцѣ!

Тутъ, надо сказать, Ефремовъ въ самомъ дѣлѣ отличился. Комната оказалась та самая, которую онъ такъ краснорѣчиво расхваливалъ. Столъ былъ сервированъ на славу. Свѣтъ двухъ большихъ канделябръ и средней люстры ослѣпительно игралъ на граняхъ стекла, разливался по серебру, бутылкамъ и салфеткамъ, сложеннымъ калачемъ на тарелкахъ. Съ боку у стѣны находился другой столъ, покрытый всевозможными водками и закусками. Подлѣ открывалась дверь въ комнату, также освѣщенную.

Ефремовъ стоялъ у входной двери и съ торжествующимъ видомъ вводилъ гостей.

Убѣдившись, что всѣ на лицо, онъ сдѣлалъ самодовольный,

выразительный жестъ по направленію къ большому столу и произнесъ: „Ну, что, дражайшій Алексѣй Иванычъ, какова механика!..“ и тотчасъ же приступилъ къ распредѣленію молодыхъ и гостей:

— На почетномъ мѣстѣ, здѣсь, садится Амалія Карловна, лицомъ къ ней — молодой! подлѣ молодой, съ правой руки — ея шаферъ Бабковъ; съ лѣвой — Сельдереевъ; подлѣ молодаго, справа — Соципѣровъ, слѣва — я!... Пожалуйте!... заключилъ онъ, подавая руку Амаліи Карловнѣ и подводя ее къ закускѣ; онъ тутъ же, однако-жъ, ловко уступилъ свою даму фотографу Хохлову и приступилъ къ водкѣ.

Столъ былъ тотчасъ же окруженъ.

Чемезовъ напрямикъ отказался отъ закуски; у него началась жестокая головная боль.

— Что-жъ ты, Сельдереевъ? такой тоненькій, а пролѣзть не можешь! кричалъ Ефремовъ, набивая ротъ, — Фанфàровъ, рекомендую; селедки — просто сахаръ, икра — медъ, фаршированные раки — конфекты, осетрина — мое почтенье!!.. Такой осетрины, замѣть себѣ, Бабковъ, ты нигдѣ не найдешь, поѣзжай хоть въ самую Астрахань!

— Вамъ свѣжей икры, Амалія Карловна? внимательно освѣдомился Хохловъ.

— Да, но я больше люблю эту сухую икру... не знаю только, какъ ее назвать...

— Паюсная, сударыня!... Паюсная!!... воскликнулъ Ефремовъ съ выраженіемъ упрека въ голосѣ.

Но супъ былъ поданъ и всѣ поспѣшили къ своимъ мѣстамъ.

Обѣдъ обѣщалъ большое веселье. Ефремовъ, глотая пирожки какъ пилюли и заливая ихъ раковымъ супомъ, немедленно приступилъ къ своимъ шуточкамъ; Фанфàровъ и рыженькій Фуксъ усердно его поддерживали. Амалія Карловна не переставала смѣяться, прислушиваясь къ шептанью Хохлова и Сельдереева, которые въ перегонку сообщали ей, вѣроятно, очень забавныя вещи. Бабковъ и Соципѣровъ пока мало говорили, но, все равно, сердце радовалось при видѣ, какъ они ѣли. Здѣсь, очевидно, не было мѣста для унынія,— и съ этой стороны Чемезовъ могъ считаться лишнимъ. Онъ самъ, повидимому, хорошо это чувствовалъ. Къ счастью еще, мало къ нему обращались. Зная его угрюмую несообщительность, сослуживцы оставляли его „разводить меланхолію“, какъ выразился Ефремовъ. Соципѣровъ, никогда осо-

бенно не сочувствовавшій Чемезову и взявшій на себя роль шафера только по настоятельной просьбѣ Ефремова, едва перекинулся съ нимъ двумя-тремя словами. Остальные, кромѣ Амаліи Карловны,— еще меньше о немъ заботились; вниманіе ея больше, впрочемъ, ограничивалось взглядами. Встрѣчая всякій разъ его нахмуренное, мрачное лицо, глаза ея теряли свою пріятность и брови соединялись у переносицы, но это продолжалось нѣсколько секундъ. Увлекаемая любезностью сосѣдей, она снова смѣялась и кокетливо прищуривала глазки. Вообще, надо сказать, она менѣе напоминала теперь институтку, но скорѣе даму бойкаго свойства. Каждый разъ какъ кто нибудь говорилъ съ нею, она возражала съ увѣренностью, рѣсницы ея не опускались, глаза смѣло смотрѣли впередъ или заманчиво прищуривались въ отвѣтъ на любезности.

Обѣдъ между тѣмъ шелъ своимъ чередомъ. Блюда и вина смѣнялись, разговоры оживлялись, веселье возрастало. У Фанфарова, послѣ второй рюмки хереса, открылся безподобный басъ и онъ гремѣлъ неумолкаемо; ему вторилъ писклявый дискантъ рыженькаго Фукса, вступавшаго въ споръ съ Хохловымъ. Ефремовъ успѣлъ уже разсказать свой знаменитый анекдотъ о чиновникѣ съ разслабленнымъ желудкомъ, который вдругъ испугался козла, и спохватился прервать его, когда уже было поздно. Фуксъ и Хохловъ все больше и больше горячились. Фанфаровъ, очевидно начинавшій придираться къ Бабкову, непочтительно заговорилъ вдругъ о чиновникахъ, назвавъ ихъ „канцелярскими крысами“. Бабкову, конечно, не въ первый разъ приходилось слышать такое выраженіе, но тутъ онъ почему-то вдругъ обидѣлся. По всей вѣроятности онъ обидѣлся бы еще больше, еслибъ могъ замѣтить, что всякій разъ, какъ наклонялъ раскраснѣвшееся лицо, Амалія Карловна, сидѣвшая рядомъ, указывала Хохлову глазами на его паричокъ, расходившійся звѣздой на макушкѣ; но Фанфаровъ неожиданно какъ-то перешелъ къ ресторану Доминика и началъ его расхваливать,— чѣмъ, съ другой стороны, задѣлъ за живое Ефремова.

— Дудки! вскричалъ Ефремовъ, чепуха!... Чѣмъ вздоръ говорить, лучше лей! лей, да сосѣдямъ подливай!... Соципѣровъ, налей еще себѣ дрей-мадерки и передавай дальше... Дорогая наша красавица молодая, вы совсѣмъ околдовали вашихъ сосѣдей; они только любуются на ваши глазки и ничего въ ротъ не берутъ!...

Хохловъ, Фуксъ, — вы опять заспорили!... А, наконецъ-то, вотъ она, вотъ наша голубушка! восторженно провозгласилъ онъ при видѣ блюда съ индѣйкой, которое вносилъ половой,— давай его сюда, Ефимушка, сюда ставь, передо мной, я самъ ее разрѣжу... Хотѣлъ заказать парочку фазановъ, но ихъ не нашлось, шепнулъ онъ мимоходомъ подъ ухо Чемезову, который даже не поблагодарилъ его за такое намѣреніе, — ну-тка, Фанфàровъ, закричалъ онъ, поди-ка къ своему Доминику, посмотри, съумѣетъ-ли онъ такъ зажарить!... Нѣтъ: — тю-тю, молода еще, въ Саксоніи не была! Кожица-то сама отстаетъ... даже, смотри, пузырики по ней бѣгаютъ... Господа, кому что угодно: съ одного бока яблоки,— съ другаго каштаны...

На минуту всѣ занялись индѣйкой.

Но подали еще вина, наконецъ полилось шампанское и въ поднявшемся шумѣ раздались голоса Ефремова и Фанфàрова, провозглашавшіе тосты.

— За здоровье молодыхъ! кричалъ Ефремовъ, выкатывая глаза и подымаясь со стула.

— За здоровье молодыхъ! ревѣлъ Фанфàровъ, потрясая бокаломъ.

— За здоровье молодыхъ! кричали не менѣе усердно остальные, подходя поочередно къ Амаліи Карловнѣ и Чемезову, который, какъ волкъ, окруженный собаками, бросалъ во всѣ стороны растерянные взгляды.

Социнéровъ воспользовался минутой, когда поздравленія были въ полномъ разгарѣ, мигнулъ Ефремову и отвелъ его къ окну.

— Помнишь, что я говорилъ насчетъ... шепнулъ онъ, указывая глазами на Чемезова.

— Ну...

— Теперь я въ этомъ не сомнѣваюсь...

— Въ чемъ?...

Социнéровъ прилежилъ палецъ ко лбу и хотѣлъ продолжать, но Ефремовъ не дослушалъ; въ эту минуту подавали дутый малиновый пирогъ, прозванный почему-то Ефремовымъ „пустой надеждой“, — и онъ снова поспѣшилъ къ столу.

Фанфàровъ, у котораго одна бакенбарда скосилась на сторону, приставалъ между тѣмъ теперь къ молодому; онъ убѣждалъ Чемезова покинуть мрачный видъ, увѣряя, что веселость, съ его стороны, — въ нѣкоторомъ родѣ теперь даже обязательна.

— Справедливо! заголосилъ Ефремовъ. Вы, дражайшій Алексѣй Иванычъ, должны теперь сіять, блаженствовать! И вмѣсто того, что же мы видимъ? Видимъ печальное, разстроенное лицо!... На всѣхъ сошлюсь: похожъ ли, господа, нашъ дорогой Алексѣй Иванычъ на молодаго?... Глядя на нее, сердце: тукъ-тукъ — такъ и подпрыгиваетъ... Вы, между тѣмъ, хоть бы улыбнулись, словцомъ подарили... Но погодите, почтеннѣйшій, это вамъ даромъ не пройдетъ! Амалія Карловна растормошитъ васъ... Самъ начну теперь къ вамъ навѣдываться, самъ наблюдать стану... всѣ мы наблюдать будемъ... Не такъ ли, господа? Фу Боже мой! да оживитесь же, оживитесь!... заключилъ онъ, похлопывая Чемезова ладонью по спинѣ.

Чемезовъ отодвинулъ стулъ и поднялся съ мѣста. Ефремовъ объявилъ, что обѣдъ конченъ, всталъ вмѣстѣ съ Чемезовымъ и велѣлъ подавать кофе и ликеры.

Амалія Карловна поспѣшно подошла къ мужу.

— Что съ вами?... спросила она, стараясь вызвать на лицѣ выраженіе участія и безпокойства.

Но усилія ея были совершенно лишнія. Уже въ послѣдніе дни сомнѣнія начинали въ немъ устанавливаться. То, что произошло утромъ: неожиданное родство съ Хохловымъ, путаница ея объясненій, анонимное предостереженіе, какіе-то враги, о которыхъ прежде помину не было, раскрыли ему глаза. Но въ это утро его чувства и мысли были слишкомъ взволнованы; онъ ходилъ какъ въ туманѣ, терялся, готовъ былъ, казалось, рѣшиться на смѣлый шагъ, — но тутъ же откладывалъ такое намѣреніе, падалъ духомъ и въ послѣднюю минуту отступилъ въ страхѣ передъ неминуемыми трагическими сценами и скандаломъ. Теперь онъ вполнѣ очнулся, понялъ, куда завлекла его тоска и безумное желаніе отъ нея освободиться, понялъ вполнѣ глубину своего несчастья. Горечь обманутыхъ чувствъ и надеждъ смѣнилась въ его сердцѣ негодованіемъ. Онъ не могъ выносить теперь вида этой женщины. Какъ только она подошла, онъ отвелъ глаза въ сторону и, не отвѣтивъ на ея вопросъ, скорѣе отошелъ къ окну.

Амалія Карловна хотѣла объясниться, — но въ это время загородили ей путь Фуксъ, Хохловъ и Сельдереевъ, — одинъ съ чашкою кофе, другой съ коробкой конфектъ, третій съ перчатками, которыя она забыла на столѣ.

Амалія Карловна, не мѣшаетъ замѣтить, въ продолженіе обѣда

стыдилась за своего мужа; онъ могъ молчать и быть разстроеннымъ сколько угодно, но не теперь, когда то и другое ставило ее въ такое неловкое положеніе передъ чужими. Съ ея стороны сдѣлана была, кажется, достаточная уступка тѣмъ, что она подошла къ нему, хотѣла дальше за нимъ послѣдовать, вопреки его грубому обращенію; — но дальше, послѣ того, какъ онъ отвернулся и отошелъ къ окну, что же оставалось ей дѣлать? Оставалось показать видъ, что она нисколько не обижается его дикими выходками. „Это послужитъ ему урокомъ“, подумала она, принимая снова веселый видъ.

— Сюда, красавица, сюда, на диванчикъ, милости просимъ! Тутъ, драгоцѣнная, вамъ будетъ удобнѣе, кричалъ между тѣмъ Ефремовъ изъ ближайшаго угла.

Амалія Карловна приняла чашку изъ рукъ Фукса и, улыбаясь направо и налѣво своимъ кавалерамъ, направилась къ дивану.

— Сюда, золотая... сюда... подхватилъ съ увлеченіемъ Ефремовъ, между тѣмъ какъ Фуксъ услужливо подкладывалъ подушку, Хохловъ высматривалъ для себя удобное мѣсто, Фанфа̀ровъ раскрывалъ фортепіано, Бабко̀въ дѣлалъ усилія, чтобы встать изъза стола, и глупо улыбался, а Соципе́ровъ смотрѣлъ задумчиво на остатокъ пирожнаго. Чемезовъ воспользовался этой минутой и незамѣтно прошелъ въ сосѣднюю комнату.

— Вотъ такъ, золотая, — я говорилъ, здѣсь будетъ удобнѣе, хлопоталъ Ефремовъ, окончательно разнѣживаясь, — и ножки ваши сахарныя вытянуть можете... а гдѣ же Розенкранцъ? (такъ звалъ онъ въ минуты увлеченья Прохора, другаго полового) — знаю, должно быть также гдѣ нибудь на свадьбѣ...

Амалія Карловна расположилась на диванѣ, принявъ граціозную позу, Хохловъ улегся Гамлетомъ у ея ногъ, Фуксъ усѣлся въ головахъ, Бабковъ и Соципе́ровъ, — одинъ сантиментально, но другой настоятельно, потребовали себѣ мѣста подлѣ молодой! Ефремовъ собирался къ нимъ присоединиться, но въ эту самую минуту Фанфа̀ровъ брякнулъ по клавишамъ и заигралъ „камаринскую“.

— Не могу, драгоцѣнная Амалія Карловна, — это выше силъ моихъ!... Играй громче! воскликнулъ Ефремовъ, бросаясь раздвигать стулья между столомъ и входной дверью...

Онъ закинулъ назадъ голову, подобралъ фалды и, колыхаясь

какъ бочка, пущенная на воду, принялся выплясывать „русскую“, мелко семеня ногами и приговаривая:

— Вотъ какъ мы съ нашей сѣдинкой!... Вотъ какъ!... Смотрите, Алексѣй Иванычъ, какъ надо веселиться! Произведутъ въ дѣйствительные, — нельзя будетъ... не по чину!... Громче, Фанфаровъ!!... Надо же, наконецъ, развеселить молодаго!.. Это просто ни на что не похоже!! вотъ какъ мы, Алексѣй Иванычъ!... Но гдѣ же онъ?... проговорилъ Ефремовъ, оглядываясь вокругъ и неожиданно останавливаясь.

— Гдѣ же въ самомъ дѣлѣ Алексѣй Иванычъ?... освѣдомилась Амалія Карловна, отталкивая Фукса, который начиналъ цѣловать ей руки, не замѣчая раздраженныхъ взглядовъ Хохлова.

— Гдѣ онъ?... спросили остальные.

— Эй, люди!... Ефимъ! Кто тамъ?... засуетился Ефремовъ, подходя къ двери.

Вошедшій половой объяснилъ, что господинъ, о которомъ спрашиваютъ, изволили уйти.

При этомъ извѣстіи всѣ встали со своихъ мѣстъ.

— Ушли, подтверждалъ половой; вскорѣ какъ изъ-за стола встали, уйти изволили; вышли вѣроятно въ эту комнату, оттуда въ корридоръ, спросили шубу и ушли...

— Вотъ такъ штука! проговорилъ Ефремовъ, обводя присутствующихъ недоумѣвающими глазами, — что-жъ это значитъ?... Какъ объяснить?... Все могло случиться, но этого... этого, признаюсь...

— Боже мой!... Боже мой!!... воскликнула Амалія Карловна, закрывая лицо руками и снова опускаясь на диванъ.

Всѣ бросились къ ней и начали ее успокоивать.

Одинъ Ефремовъ не трогался съ мѣста; выпучивъ глаза, онъ стоялъ какъ громомъ пораженный.

## VII.

Чемезовъ, между тѣмъ, направлялся скорыми шагами по Большой Морской.

Сумрачное небо, обѣщавшее утромъ оттепель, отчасти только оправдало ожиданія. Морозъ дѣйствительно убавился, но холодное утро смѣнилось туманнымъ вечеромъ; къ ночи туманъ такъ сгу-

стился, что фонари просвѣчивали какъ сквозь сѣрую, мокрую тафту. Усиленный шумъ каретъ, движеніе на улицахъ — показывали, что представленіе въ театрахъ только что кончилось. Въ ресторанѣ Бореля окна бель-этажа горѣли огнями; насколько позволялъ туманъ, можно было различать зажженныя люстры; тамъ, вѣроятно, не успѣли кончить большаго обѣда или приготовлялись къ заказному ужину. Толпа зѣвакъ тѣснилась на тротуарѣ. Въ другихъ мѣстахъ тротуаръ былъ почти свободенъ. Торопливо проходили пѣшеходы съ поднятымъ воротникомъ, опущеннымъ подлѣ рта изморозью. Проходили иногда женщины, замедлявшія шагъ передъ фонарями: мелькала эксцентрическая шляпка, изъ-подъ которой смотрѣло набѣленное лицо и выглядывали два бойкіе глаза.

Чѣмъ дальше оставалась за спиною Большая Морская, — тѣмъ замѣтнѣе умолкалъ шумъ и рѣже встрѣчались пѣшеходы.

Улицы, наполненныя туманомъ, уходили въ непроглядную ночь и кромѣ тусклыхъ фонарей рѣдко гдѣ встрѣчались освѣщенныя окна.

Чемезовъ продолжалъ идти, не замѣчая, что многіе, при встрѣчѣ съ нимъ, сторонились, иногда останавливались и смотрѣли ему вслѣдъ. Каждый, болѣе или менѣе, выводилъ заключеніе, что встрѣтилъ пьянаго или скорѣе несчастнаго игрока, готоваго броситься въ ближайшую прорубь; во всякомъ случаѣ, никто не думалъ видѣть въ немъ господина, спокойно возвращающагося съ вечеринки въ бѣломъ жилетѣ и галстухѣ.

Онъ шелъ съ распахнутой шубой, низко опущенной головой, открывавшей сзади голую шею, и руки его дрожали. Но дрожь происходила менѣе отъ мороза, чѣмъ отъ внутренняго лихорадочнаго озноба, который прошелъ въ него еще на лѣстницѣ „Малаго Ярославца“. При всемъ томъ, онъ казался менѣе взволнованнымъ, чѣмъ видѣли его въ концѣ обѣда. Судорожныя подергиванія въ лицѣ прекратились; глаза не бросали растерянныхъ взглядовъ; они, напротивъ, скорѣе пристально куда-то всматривались. Чемезовымъ точно постепенно овладѣвала преимущественно одна мысль, отклонявшая всѣ остальныя. Сосредоточиваясь на ней болѣе и болѣе, онъ почти безсознательно повернулъ на Екатерининскій каналъ и остановился передъ воротами дома, гдѣ нанималъ квартиру во второмъ этажѣ, окнами прямо противъ фонаря.

Заспанный дворникъ, тяжело переваливаясь въ лохматой шубѣ и валенкахъ, отворилъ ему калитку. Чемезовъ шагнулъ черезъ

порогъ подъ ворота. Темнота была страшная. Огни на дворѣ были погашены; жильцы, — по большей части люди мирные, — давно спали. Чемезовъ машинально вынулъ изъ кармана шубы ключъ отъ квартиры и съ тѣмъ же напряженнымъ, неподвижнымъ взглядомъ, устремленнымъ въ темноту, началъ подыматься по лѣстницѣ.

Достигнувъ втораго поворота, онъ неожиданно остановился и быстро откинулся назадъ; ему, очевидно, хотѣлось ухватиться за что нибудь руками; но пальцы судорожно ощупывали позади спины иней, покрывавшій гладкую стѣну. Шуба его скосилась съ плеча, шляпа чуть не упала къ ногамъ. Но онъ неподвижно стоялъ на прежнемъ мѣстѣ; у него не хватало силы оторвать глаза отъ бѣловатаго туманнаго пятна, которое какъ бы вдругъ выступило изъ мрака лѣстницы... Съ каждой секундой пятно это увеличивалось и свѣтлѣло... Туманъ слегка вытягивался и начиналъ тихо колебаться, отдѣляя отъ себя словно складки бѣлаго платья... Нѣсколько выше стало выясняться лицо... Оно пока едва примѣтно складывалось, заслоняясь проходившими мимо тонкими волнами тумана... Но волны эти отходили, точно сдуваемыя вѣткомъ, и лицо каждый разъ дѣлалось яснѣе... Въ немъ, — почудилось Чемезову, — обрисовались знакомыя, когда-то нѣжно-любимыя черты...

Въ одинъ мигъ все исчезло; мракъ и тишина снова окутали лѣстницу.

Чемезовъ не помнилъ, какъ отворилъ дверь квартиры, какъ вошелъ въ нее; не отдавая себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, — онъ заперъ дверь и заложилъ ее на желѣзный крюкъ. При первомъ шагѣ, — онъ замеръ на мѣстѣ.

Бѣлое туманное пятно снова показалось... Не успѣлъ онъ опомниться, какъ оно разрослось, заколебалось и въ немъ, сначала смутно, потомъ все яснѣе и яснѣе проступили тѣ же знакомыя черты... Ближе... ближе... Чемезовъ почувствовалъ на лицѣ своемъ чье-то дыханіе... мимо слуха прошелъ шелестъ... точно далеко кто-то проходилъ легкими стопами по сухимъ листьямъ...

Холодъ пробѣжалъ по его волосамъ; онъ хотѣлъ крикнуть, но дыханіе остановилось въ его груди. Онъ бросился въ уголъ, плотно прижался лицомъ къ стѣнѣ и закрылъ глаза; но сквозь сомкнутыя вѣки знакомыя черты просвѣчивали еще явственнѣе; онъ видѣлъ ихъ выраженіе, видѣлъ кроткій взглядъ, чувствовалъ, какъ онъ проникалъ ему прямо въ душу...

Объятый ужасомъ, Чемезовъ бросился въ сосѣднюю комнату.

Она была свѣтлѣе другихъ; въ нижней части опущенныхъ оконныхъ занавѣсъ проходилъ огонь отъ уличнаго фонаря. Въ полумракѣ блистало зеркало, опутанное вокругъ лентами, отдѣлялся столъ съ туалетными принадлежностями, обрисовывались нижняя часть висѣвшихъ женскихъ капотовъ и женскія новыя туфли; ближе къ свѣту бѣлѣла большая кровать съ высокимъ кисейнымъ пологомъ, верхняя часть котораго пропадала подъ потолкомъ. Чемезовъ отвернулся, — но въ ту же секунду изъ противоположнаго угла отдѣлилось туманное пятно... и въ немъ снова показался образъ покойницы... Теперь онъ былъ совершенно уже ясенъ; вокругъ распространялся голубоватый фосфорическій свѣтъ, сообщавшійся ближайшимъ предметамъ... Она смотрѣла теперь сверху, — склонивъ къ нему голову; но на этотъ разъ, почудилось ему, — въ неподвижныхъ ея глазахъ было уже другое выраженіе... Она смотрѣла на него какъ бы съ укоромъ и глубокой печалью... И взглядъ этотъ какъ холодное лезвіе прошелъ въ его сердце...

Онъ отчаянно схватилъ себя за голову, бросился къ двери, но никакъ не могъ найти ручки. Онъ бѣшено началъ тогда метаться по комнатѣ, опрокидывая стулья, хватая въ забытьи предметы, попадавшіеся подъ руки, сорвалъ пологъ надъ кроватью, сорвалъ капоты, началъ топтать ихъ ногами, наконецъ, остановился, крикнулъ: „Прости меня! Прости!!...“ и, зарыдавъ, упалъ лицомъ на полъ.

Нѣсколько времени спустя, на лѣстницѣ, которая вела въ квартиру Чемезова, послышались голоса и шаги, торопливо стучавшіе по ступенькамъ. Посреди шума явственно раздавался хриплый голосъ дворника, увѣрявшаго, что баринъ давно вернулся домой и нельзя же не знать ему этого, когда онъ самъ отворялъ ему калитку. Дворникъ зналъ также, что баринъ, передъ тѣмъ какъ ѣхать къ вѣнцу, отпустилъ кухарку, сказавъ ей, вѣроятно, что вернется поздно домой, и кухарка до сихъ поръ не возвращалась; кухарки не было дома, — это точно, — но баринъ, — баринъ давно возвратился.

Амалія Карловна, бѣжавшая скорѣе другихъ, остановилась наконецъ передъ дверью и позвонила.

Прошла минута, — никто не отзывался.

Старанія дворника и за нимъ Фанфарова, Хохлова и Фукса (Соципѣровъ и Бабковъ, предвидя скандалъ, поспѣшили скрыться,

какъ только всѣ вышли изъ трактира), — привели къ тому же результату.

Ефремовъ, едва переводя духъ отъ одышки, хрипѣвшей въ его горлѣ, — принялся звонить въ свою очередь; за дверью никто даже не пошевелился.

Амалія Карловна, производя отчаянные жесты, сѣла на подоконникъ и заплакала.

Тогда присутствующіе бросились къ двери и общими силами принялись колотить въ нее кулаками; но дворникъ поспѣшилъ остановить такое усердіе.

— Позвольте, господа, вы этакъ, помилуйте, всѣхъ жильцовъ разбудите!... сказалъ онъ, становясь передъ дверью съ распахнутой шубой, — у насъ никогда такого шуму въ домѣ не бывало... Что за притча? прибавилъ онъ, снова наклоняясь къ замочной скважинѣ, въ надеждѣ увидать хоть что нибудь.

— Нельзя-ли, братецъ, по черной лѣстницѣ какъ нибудь?... проговорили въ одинъ голосъ Ефремовъ и Фанфаровъ, сходившіеся, какъ видно, не только въ пирушкахъ, но и въ мыслякъ.

— Никакъ невозможно, — тамъ дверь заперта, возразилъ дворникъ, кухарка взяла ключъ съ собой; сказала: придетъ, сама отворитъ; но онъ зналъ: — кухарки до сихъ поръ не было... Дѣлать нечего, надо, стало быть, позвать городоваго.

— Какъ, полицію?... вскричала Амалія Карловна, вскакивая опять на ноги.

— А то какъ же?...

Въ то время какъ дворникъ, ворча и бранясь, отправлялся за полиціей, — мужчины, оставшіеся на лѣстницѣ, снова усадили Амалію Карловну на подоконникъ и начали утѣшать ее. Она не знала, куда дѣваться отъ сраму, обливалась слезами, бросалась то къ тому, то къ другому, не обращая уже вниманія на шляпку, которая совсѣмъ съѣхала на сторону.

Съ появленіемъ двухъ городовыхъ и дежурнаго полицейскаго офицера, всѣ тотчасъ же притихли. Ефремовъ назвалъ по имени каждаго изъ присутствующихъ и послѣдовательно разсказалъ все дѣло, какъ оно было.

Дворникъ не замедлилъ появиться съ фонаремъ и ломомъ.

Когда дверь была открыта, Амалія Карловна ворвалась первая, но тутъ же отступила, испуганная темнотою. Въ прихожей отыскали свѣчки. Въ то время какъ вошедшіе сымали шубы,

Амадія Карловна бойко выхватила одну изъ зажженныхъ свѣчей и, поправляя на ходу шляпку, поспѣшила войти въ квартиру. Никто не успѣлъ еще разоблачиться какъ слѣдуетъ, когда изъ дальней комнаты послышался раздирающій крикъ.

Всѣ туда бросились.

Войдя въ спальню, присутствующіе увидѣли прежде всего Амалію Карловну, распростертую на кушеткѣ и бившуюся въ истерическомъ припадкѣ. Нѣсколько дальше, на полу, лицомъ къ потолку, лежалъ Чемезовъ съ перерѣзаннымъ горломъ.

. . . . . .

Извѣстіе о трагической смерти Чемезова быстро разнеслось, на другой день, не только по департаменту, но и по министерству. Предположеніямъ конца не было. Какъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ, каждый дѣлалъ свой выводъ, выражая неудовольствіе, когда не соглашались съ его мнѣніемъ.

Одни приписывали самоубійство огорченіямъ по службѣ, находя, что Чемезову, прослужившему безпорочно восемнадцать лѣтъ, давно бы слѣдовало быть статскимъ совѣтникомъ; другіе находили такой родъ смерти неизбѣжнымъ для мизантропа, — человѣка характера крайне угрюмаго и несообщительнаго; третьи руководились больше романтическими соображеніями, и, хитро прищуривая лѣвымъ глазомъ, повторяли на каждомъ шагу: — „Où est la femme?“ — какъ бы радуясь тому, что напали на счастливое слово; четвертые смѣло и рѣшительно, не терпя даже возраженій, утверждали, что тутъ дѣло совсѣмъ не такъ просто, какъ кажется; всѣмъ извѣстныя теперь нелюдимость и мизантропія этого чиновника служили, по ихъ мнѣнію, только маской, скрывавшей участіе его въ тайномъ обществѣ; вышла неудача, попали на слѣдъ; выхода другаго не было; одно оставалось: наложить на себя руки!...

Надо сказать, однакожъ,— лица, присутствовавшія на свадебномъ обѣдѣ, менѣе всего принимали участіе въ этихъ разговорахъ. Всѣ они замѣтно даже какъ бы притихли противъ обыкновеннаго. Въ первое время видно было даже стараніе избѣгать другъ друга. Встрѣчаясь на службѣ или на улицѣ, они молча пожимали руку, изрѣдка развѣ позволяя себѣ намекнуть о случившемся. Такъ, напримѣръ, не раньше какъ спустя два мѣсяца, Фукъ рѣшился шепнуть Сельдереву, что встрѣтилъ въ пассажѣ Амалію Карловну,—всю въ черномъ, правда,—но идущую подъ

руку съ фотографомъ Хохловымъ. Сельдереевъ, съ своей стороны, счелъ надобнымъ принять нѣкоторыя предосторожности, — оглянулся направо и налѣво, — прежде чѣмъ сообщилъ объ этомъ Ефремову, котораго встрѣтилъ въ трактирѣ Палкина, доѣдающаго одиноко порцію кулебяки. Выслушавъ сообщеніе, Ефремовъ только отвернулся и плюнулъ. Онъ точно взялъ зарокъ отмалчиваться каждый разъ, какъ рѣчь касалась Чемезова. Веселость его мгновенно пропадала; круто выступающіе сѣрые зрачки притупленно смотрѣли въ бокъ, кончикъ раздвоеннаго носа не приходилъ въ движеніе. Въ рѣдкихъ развѣ случаяхъ, когда не было уже никакой возможности отдѣлаться, онъ говорилъ, значительно шевеля густыми сѣрыми бровями:

— Да, батенька, — исторія, скажу вамъ!... Гм! и на этомъ обыкновенно останавливался.

Болѣе другихъ, впрочемъ, сторонились и избѣгали встрѣчъ Бабковъ и Соципе́ровъ.

Бабковъ до сихъ поръ сидѣлъ какъ пристыженный въ своемъ отдѣленіи. Онъ простить себѣ не могъ, какимъ образомъ, при солидности его лѣтъ, при семьѣ изъ восьмерыхъ дѣтей, въ числѣ которыхъ три мальчика посѣщали гимназію и старшій за отличіе переведенъ въ высшій классъ, — какимъ образомъ, наконецъ, при его чинѣ и Владимірѣ въ петлицѣ, — могъ онъ согласиться на просьбы этого шута Ефремова и сдѣлаться участникомъ въ такой исторіи.

Социне́рова больше всего пугала огласка. Онъ кусалъ ногти до крови при мысли, что скандалъ, въ которомъ случайно былъ замѣшанъ, — можетъ бросить на него тѣнь въ глазахъ начальства и повредить ему при производствѣ.

Съ наступленіемъ новаго года онъ совершенно, однакожъ, успокоился. Его произвели, и уже къ Рождеству успѣлъ онъ отпустить себѣ тѣ пушистыя, впередъ зачесанныя бакенбарды, какими преимущественно любятъ украшать себя въ Петербургѣ — статскіе совѣтники и въ Берлинѣ — кельнеры.

---

# КАРЬЕРИСТЪ.

(ОЧЕРКЪ).

---

Я познакомился съ нимъ въ гимназіи, гдѣ мы вмѣстѣ учились. Тогда еще сталъ онъ обращать на себя вниманіе товарищей. Ничѣмъ не отличаясь, повидимому, отъ другихъ мальчиковъ, маленькій Ягозинъ (такъ его звали) всегда, между тѣмъ, былъ отличаемъ начальниками. Въ концѣ перваго года онъ такъ подружился съ сыномъ директора, что былъ принятъ у послѣдняго наравнѣ съ сыномъ,—ставился даже въ примѣръ ему. Директорша была безъ памяти отъ маленькаго Ягозина.

Помню, разъ, въ началѣ лѣта, нѣсколькихъ воспитанниковъ взяли на дачу. Мы разбѣжались немедленно по лѣсу и начали объѣдаться земляникой. Ягозинъ не съѣлъ ягодки; тщательно выбирая кусточки съ лучшими ягодами, онъ составилъ изъ нихъ маленькій букетъ, перевязалъ его красиво ниточкой и, тайно ускользнувъ отъ насъ, вернулся на дачу и преподнесъ свой букетъ директоршѣ; мы узнали объ этомъ послѣ, во время обѣда, отъ самой начальницы.

Шестнадцати лѣтъ можно было его видѣть, въ день именинъ директора, сидящимъ за роялемъ рядомъ съ его дочерью и разыгрывающимъ въ четыре руки какую-то сонату, нарочно сочиненную для этого торжественнаго случая.

Откуда взялись вдругъ музыкальныя способности? Гдѣ выучился онъ играть? Гдѣ, наконецъ, нашелъ для этого время?... все это оставалось совершенно покрыто мракомъ.

Вечеромъ, въ тотъ же день, во время бала, онъ танцовалъ съ такою ловкостью, съ такимъ юношескимъ увлеченіемъ вскрикивалъ: — „*Les dames en avant, s'il vous plait*“, — что рѣшительно обворожилъ всѣхъ присутствовавшихъ.

Мы перешли затѣмъ въ университетъ и провели тамъ съ грѣхомъ пополамъ четыре года. Учились мы посредственно.

Послѣ выпуснаго экзамена всѣ разбрелись въ разныя стороны; Ягозинъ остался въ Петербургѣ и былъ немедленно кѣмъ-то опредѣленъ на дѣйствительную службу.

Тутъ на нѣкоторое время я потерялъ его изъ виду. Но прошло три-четыре года, я узналъ, — онъ сдѣлался необходимымъ лицомъ у новой своей начальницы: состоялъ, должно быть, по особымъ порученіямъ. Мимо службы онъ занималъ еще мѣсто секретаря двухъ дамскихъ благотворительныхъ комитетовъ; одного, — „имѣющаго цѣлью снабженіе даровымъ мыломъ бѣдныхъ трубочистовъ“, другаго „по снабженію нюхательнымъ табакомъ бѣдныхъ слѣпыхъ старухъ“; сверхъ того, онъ управлялъ танцами чуть ли не на всѣхъ балахъ столицы.

Встрѣтясь съ нимъ въ этотъ періодъ его жизни, я выразилъ наивно удивленіе: какимъ образомъ ухитрился онъ, чтобы проникнуть такъ скоро въ большой свѣтъ.

— Любезный другъ! возразилъ онъ, прищуриваясь и посматривая куда-то своими сѣрыми глазками (что доказывало, что въ эту минуту онъ вовсе обо мнѣ не думалъ), любезный другъ! надо провинчиваться въ люди, *il faut se pousser au monde!...* прибавилъ онъ и быстро пустился догонять какого-то важнаго сановника, проходившаго по другой сторонѣ улицы.

Не знаю, въ чемъ собственно заключались служебныя обязанности Ягозина; я встрѣчалъ его всюду, на всѣхъ пунктахъ, гдѣ только въ урочный часъ показывается „высшее дворянство“, какъ печаталось когда-то въ афишахъ увеселительныхъ садовъ: на Дворцовой набережной, на мосткахъ Лѣтняго сада, въ соборахъ при торжественныхъ молебствіяхъ (больше впрочемъ на виду при выходѣ изъ церкви), въ ложахъ театра во время антрактовъ, въ креслахъ во время представленія, на вечерахъ играющимъ вмѣстѣ со старушками, на балахъ танцующимъ всегда въ видной парѣ. Тамъ имѣлъ онъ почтительный, какой-то наклоненный видъ; здѣсь, во время танцевъ, лицо его отражало юношескую восторженность... Подпрыгивая и перевертываясь съ

замѣчательною ловкостью, онъ и здѣсь впрочемъ, въ танцахъ, находилъ возможность придавать лицу что-то солидное, сдержанное и почтительное, когда проносился мимо особъ существеннаго вѣса; словомъ, онъ былъ вездѣ, поспѣвалъ всюду, являлся во всѣхъ видахъ, такъ что меня нимало бы не удивило, если-бъ сказали, что, подобно знаменитому Пинетти, онъ въ одну и ту же минуту выѣхалъ изъ всѣхъ заставъ Петербурга.

Его физическая подвижность, сама по себѣ уже весьма замѣчательная, была ничтожна передъ способностью передвигаться нравственно.

Дѣйствуетъ ли такъ сырой климатъ Петербурга, или скрываются другія болѣе сложныя причины, но вы замѣтили, вѣроятно, что въ большинствѣ петербургскихъ жителей присутствуетъ что-то разварное и раскислое, преобладаетъ какая-то разслабленность и черносливность, хотя тутъ же надо сказать — и вы вѣроятно также это замѣтили — свойства эти нисколько не мѣшаютъ служить съ успѣхомъ и приносить пользу себѣ и отечеству.

Не смотря на то, что Ягозинъ былъ кровнымъ дѣтищемъ Петербурга, дышалъ со дня рожденія воздухомъ Невскаго проспекта и сосалъ молоко охтенской кормилицы, онъ весь тѣмъ не менѣе состоялъ изъ одной быстроты и прыткости. Встрѣчаются иногда нѣмцы такого темперамента, — особенно часто между берлинскими маклерами, коммиссіонерами всякаго рода и старшими кельнерами: приземистые, бѣлокурые съ бѣловатыми рѣсницами на красной кожѣ, а между тѣмъ такъ вотъ и прыгаютъ, какъ стрекоза, готовые, кажется, вскочить въ зрачки, прежде чѣмъ вскочутъ вамъ въ карманъ.

Противъ такихъ нѣмцевъ Ягозинъ тѣмъ отличался, что могъ сдерживать свою быстроту по желанію; въ крайнихъ случаяхъ могъ даже сосредоточить ее въ своихъ сѣрыхъ, — чисто уже славянскихъ глазахъ; они выражали тогда попеременно все, что подходило къ случаю: юношескую, почти дѣтскую откровенность, пониманіе самаго тонкаго, неуловимаго намека, безпредѣльное повиновеніе, преданность, восторженное благоговѣніе передъ старшими, стремительное желаніе исполнить трудное порученіе... Но всего не перечесть, что могли выражать глаза Ягозина. Онъ, конечно, много надъ собою работалъ, чтобы пріобрѣсти такія способности; но надо быть справедливымъ: много также дано было ему самой природой.

Быстрое повышеніе Ягозина удивляло многихъ; меня удивляло другое: я не понималъ, когда находилъ онъ время для исполненія служебныхъ обязанностей. Оставивъ скоро за собою всѣхъ своихъ товарищей по службѣ, онъ, помнится, тогда еще составилъ себѣ репутацію молодаго человѣка съ большимъ тактомъ и замѣчательными практическими способностями. Лица, которыя приписывали его успѣхи одной юркости, которыя называли его „Петербургскимъ Леотаромъ, съ тою разницей, что Леотаръ упражнялся въ циркѣ и надо было тратить деньги, чтобы его видѣть, тогда какъ Ягозинымъ можно было любоваться всюду и притомъ даромъ“—такія лица, я увѣренъ, говорили только изъ зависти.

Прошло еще три-четыре года. Ягозинъ занималъ уже видное мѣсто при одной высокопоставленной особѣ. Форма службы Ягозина нисколько не измѣнилась; онъ и прежде, замѣтьте, не столько служилъ собственно, какъ это дѣлали его товарищи, сколько всегда состоялъ при комъ нибудь и всегда скорѣе въ качествѣ приближеннаго, домашняго человѣка, чѣмъ чиновника.

Но здѣсь, главнымъ образомъ, отражалось на Ягозинѣ высокое вліятельное положеніе его начальника.

— И вотъ, говорилъ Ягозинъ при каждомъ новомъ повышеніи,—и говорилъ всегда голосомъ невинности съ оттѣнкомъ чего-то скорбнаго противъ людскаго недоброжелательства,—вотъ непремѣнно скажутъ, что я тутъ интриговалъ, добивался!... А я... я и не зналъ даже! Все это вышло совершенно случайно; я тутъ столько же виноватъ, сколько... сколько какой нибудь Воскресенскій мостъ...

Разъ какъ-то, въ этотъ самый періодъ его карьеры, отправилъ я къ нему общаго нашего товарища по университету,—человѣка въ высшей степени смиреннаго, хотя и вышедшаго изъ университета первымъ кандидатомъ съ золотой медалью; но протекціи у него не было, онъ попалъ съ перваго шага на службу въ провинцію, и тамъ, какъ это нерѣдко случается, завязъ и засорился. Обстоятельства заставили его искать мѣста въ Петербургѣ. Опредѣленіе зависѣло отъ начальника Ягозина, т. е. какъ зависѣло? — сказать слово—и дѣло сдѣлано. Я совѣтовалъ ему обратиться прежде къ Ягозину:—и товарищъ дѣтства, и человѣкъ вліятельный.

— Ну что? спросилъ я, когда онъ вернулся ко мнѣ на другой день.

— Сомнѣваюсь въ успѣхѣ! отвѣчалъ онъ, тяжело опускаясь въ кресло.

— Какъ? отчего?...

— Начать съ того, я, кажется, попалъ не вовремя. Хотя Ягозинъ принялъ меня ласково, но я не могъ не замѣтить въ его пріемѣ присутствіе чего-то... Точно его обезпокоили... Его, вѣроятно, ждали, или онъ ждалъ кого нибудь, или просто былъ очень занятъ, какъ всѣ здѣсь у васъ въ Петербургѣ, и я помѣшалъ ему... Онъ обѣщалъ однакожъ. Но все это вообще было какъ-то странно... очень странно!... прибавилъ товарищъ, заботливо пожимая губами.

— Что-жъ онъ сказалъ?

— Стали мы уже прощаться, онъ и говоритъ мнѣ: „Я, любезный другъ, скажу тебѣ откровенно, какъ старому товарищу; ты пожалуйста не сердись... Но есть такое обстоятельство... Оно, если хочешь, ничтожно, но всетаки оно не совсѣмъ ладно... Оно можетъ, при твоемъ представленіи, неблагопріятно повліять на начальника...

„— Что-жъ такое?... спрашиваю.

„— Ты знаешь, говоритъ онъ, въ этихъ случаяхъ весьма важно первое впечатлѣніе... Откровенно скажу тебѣ: боюсь за твой ростъ...

„Я удивился.

„— Какъ, ростъ? спрашиваю.

„— Да, любезный другъ, долженъ предупредить тебя: онъ, т. е. начальникъ, имѣетъ предубѣжденіе противъ людей высокаго роста... Что-жъ дѣлать! у этихъ лицъ есть также свои слабости. Потомъ, говоритъ, есть еще другое обстоятельство...

„— Что? спрашиваю.

„— Да вотъ, говоритъ, этотъ басъ...

„— Какой басъ? спрашиваю, ничего уже не понимая.

„— У тебя, говоритъ, такой густой басъ;—этого онъ также не выноситъ; громкій голосъ дѣйствуетъ на него раздражительно. Оно, если хочешь, весьма понятно; самъ посуди: съ утра до вечера комитеты, аудіенціи, засѣданія, совѣщанія, доклады, представленія... поневолѣ нервы раздражатся!... Но, пожалуй, и это бы еще ничего, если бы...

„— Развѣ еще что? Боже мой!... спрашиваю.

„— Извини, прошу тебя, говоритъ онъ,—но надо смотрѣть

на вещи настоящимъ образомъ; у всякаго человѣка есть свои слабости... ну, а этимъ лицамъ онѣ и подавно извинительны. Я желаю тебѣ добра, и потому только рѣшаюсь предупредить тебя: я замѣтилъ, когда ты начинаешь объясняться, ты поминутно дѣлаешь нервныя движенія, дергаешь головою и даже махаешь руками...

„— Да, говорю, правда... ну, такъ что-жъ?...

„— Ничего, рѣшительно ничего, поспѣшно возразилъ Ягозинъ:—только вотъ этого-то онъ особенно не выноситъ... Состоя, понимаешь, темперамента сыраго, онъ любитъ прежде всего спокойствіе. Предупреждаю тебя: когда будешь ему представляться,—войди тихо; не начинай говорить, прежде чѣмъ тебя не спросятъ; спросятъ—отвѣчай, понижая голосъ насколько возможно;—отвѣчай коротко, сжато; словомъ, говори какъ можно меньше; больше слушай и старайся стоять спокойнѣе, даже, если можешь, съ опущенными глазами... Что-жъ дѣлать! говоритъ, и тутъ началъ похлопывать меня по плечу.—Что-жъ дѣлать, не намъ, говоритъ, передѣлывать свѣтъ; надо, братецъ, говоритъ, — жить со свѣтомъ!!..“

— Сомнѣваюсь въ успѣхѣ! заключилъ товарищъ.

И дѣйствительно, онъ былъ правъ. Ему не удалось даже представиться; съ того самаго дня не было даже возможности добиться вторичнаго свиданія съ Ягозинымъ.

Вскорѣ весь служебный людъ столицы заговорилъ о новомъ назначеніи Ягозина.

Разсматривая это назначеніе съ точки зрѣнія обыкновенной логики, — оно, по своей спеціальности, не имѣло ничего общаго съ прежней служебной дѣятельностью Ягозина, діаметрально даже съ нею расходилось. Но здѣсь руководствомъ служили другія, болѣе основательныя соображенія: прежде всего здѣсь нуженъ былъ человѣкъ надежный, вѣрный и преданный. Къ тому же, лицо, занимавшее прежде мѣсто, давно надоѣло, прискучило; въ его управленіи найдены были нѣкоторыя запущенія; говорилось даже о злоупотребленіяхъ. Лицо это, конечно, было немедленно повышено, ему дали аренду, оставили полный окладъ прежняго содержанія и перевели въ другое вѣдомство. Ягозинъ занялъ его мѣсто.

Со свойственною ему ловкостью, онъ окружилъ себя спеціа-

листами, и здѣсь точно также, — благодаря своимъ помощникамъ, — не замедлилъ обратить на себя вниманіе начальства.

Два года спустя, вспомнивъ обо мнѣ случайно, онъ пригласилъ меня къ себѣ на свадьбу: онъ женился на свояченицѣ новаго своего начальника, дѣвицѣ красивой и богатой, но имѣвшей несчастье обставить себя въ глазахъ свѣта какой-то таинственной, романической исторіей.

Ягозинъ, переѣхавъ въ домъ жены, отдѣлалъ его съ большимъ вкусомъ и началъ давать обѣды, получившіе въ скоромъ времени извѣстность.

Мимо гастрономическихъ качествъ и рѣдкости винъ, обѣды эти отличались еще внимательнымъ подборомъ гостей, въ силу тѣхъ пріятныхъ или полезныхъ отношеній, которыя могли послѣдовать какъ для гостей, такъ и для хозяина дома.

Если вы были нужны Ягозину, вы непремѣнно встрѣтили бы у него за обѣдомъ только тѣхъ лицъ, которыя, по его соображеніямъ, были вамъ нужны или пріятны особеннымъ образомъ. Если вы вовсе не были нужны хозяину или даже были ему непріятны, но, по соображеніямъ его, могли доставить удовольствіе лицу, которое было ему нужно, вы также непремѣнно приглашались.

Въ Петербургѣ, гдѣ каждому болѣе или менѣе всегда что-нибудь очень нужно, — всѣ ѣздили на обѣды Ягозина съ большимъ увлеченіемъ. Выходя отъ него, часто бранили его съ такимъ же увлеченіемъ, находя, напримѣръ, что онъ ничего больше, какъ выскочка, и спаржа его несравненно тоньше, чѣмъ вчера у княгини Зинзивѣевой; но Ягозинъ пріобрѣлъ съ лѣтами философскую складку ума и мало обращалъ вниманія на такія мелкія пересуды. Замѣтивъ успѣхъ своихъ обѣдовъ, онъ сдѣлался строже въ выборѣ своихъ гостей; разумѣется, это только прибавило къ числу желающихъ получать приглашеніе.

Въ этотъ періодъ времени Ягозинъ уже давно пересталъ танцовать; быстрота была въ немъ все та же, не смотря на нѣкоторую округленность живота; но она скорѣе перешла и установилась въ его нравственной природѣ. Къ тому же танцы не шли уже къ звѣздѣ, камергерскому ключу и лентѣ, которую, со свойственнымъ ему тактомъ, носилъ онъ скромно подъ жилетомъ. Въ свѣтѣ отдавался онъ висту; на балахъ предпочиталъ бесѣду, умѣя ее разнообразить до виртуозности; онъ могъ начать съ

игриваго скабрезнаго анекдота, перейти къ глубокому въ практическомъ смыслѣ замѣчанію и кончить даже поэтическою мыслью. Все зависѣло отъ собесѣдника.

— М-г Ягозинъ, сказала ему на балѣ подлѣ меня графиня Ливенская, указывая на вальсирующую молодежь, — что вы на это скажете?...

— Да, графиня, возразилъ онъ, подавляя вздохъ и съ чувствомъ разслабленной нѣжности въ голосѣ, — да, и мы когда-то съ вами такъ танцовали; теперь смотрю и восхищаюсь этой маленькой волшебницей, которую зовутъ вашей дочкой...

— Vous êtes toujours charmant! проговорила старая графиня, думая сейчасъ же пригласить Ягозина присѣсть на видное мѣсто и приступить съ умнымъ человѣкомъ къ пріятной бесѣдѣ. Но умный человѣкъ быстро юркнулъ въ толпу, гибко, какъ вьюнъ, скользнулъ между тѣсными рядами, зрителей, — и вдругъ... вдругъ остановился, придавъ своему лицу выраженіе смиренной кротости и глубокаго благоговѣнія... Я посмотрѣлъ въ ту сторону: изъ дверей выступала сановитая вліятельная особа...

Такимъ видѣлъ я Ягозина въ послѣдній разъ передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга.

# АКРОБАТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

(ПОВѢСТЬ).

...«Служеніе общественной пользѣ! Благотворительность! То и другое святое дѣло, если только руководятъ имъ искреннее чувство и убѣжденіе...»

Аббатъ Ламенэ.

«Глядишь, сѣютъ рожь, а выходитъ ложь».

Русская поговорка.

## I.

Въ одной изъ улицъ Петербурга находится большое каменное зданіе, сооруженное въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія; вы отсюда уже видите характеръ архитектуры: наверху неизбѣжный треугольный фронтонъ; ниже рядъ толстыхъ колоннъ, заслоняющихъ свѣтъ въ средней части бель-этажа; еще ниже — совсѣмъ уже ни на что ненужный выступъ съ пятью арками; въ средней аркѣ помѣщается подъѣздъ. Къ нему, въ послѣднее время, придѣлали крытый желѣзомъ намётъ на чугунныхъ столбахъ.

Многіе годы домъ окрашивался краской цвѣта крутаго желтка; цвѣтъ былъ тогда въ модѣ. Но съ тѣхъ поръ произошли значительныя перемѣны: нравы умягчились, вмѣстѣ съ ними умягчился вкусъ и домъ перекрасили въ одноцвѣтный жидко-сѣромолочный цвѣтъ, не выключая колоннъ и фронтона. Не измѣнилось одно только: мостовая. Извѣстно, что въ нашихъ городахъ вообще экипажи не столько катятся, сколько подскакиваютъ, и возницы не столько правятъ возжами, сколько дергаютъ; но здѣсь уже просто, какъ говорится, вышибало изъ сидѣнья и часто ломались оси.

При домѣ находился однакоже экзекуторъ; по жалованье получалъ онъ маленькое, дѣтей имѣлъ кучу и по необходимости посвящалъ бо́льшую часть времени собственнымъ двумъ дачамъ на Черной рѣчкѣ; къ дачамъ прилегалъ хозяйственно устроенный огородъ, снабжавшій окрестныхъ жителей прекрасной и даже недорогой клубникой. Служебныя его обязанности, главнымъ образомъ, сосредоточивались на квартирѣ начальника, который помѣщался въ бель-этажѣ,— и съ этой стороны, надо отдать справедливость экзекутору, онъ былъ безупреченъ: камины и печи никогда не дымили, полы натирались до зеркальности, мебель и ковры всегда тщательно выбивались, дверныя ручки и ключи поворачивались какъ въ маслѣ,— все блистало чистотою и показывало примѣрное усердіе. Послѣднее качество заслуживало тѣмъ больше вниманія, что экзекуторъ никогда почти не встрѣчалъ начальника, ни разу не удостоился отъ него похвалы.

Начальникъ былъ человѣкъ превосходный, съ мягкой душой и великодушнымъ сердцемъ; но онъ стоялъ на такой высотѣ, откуда можно было видѣть только крупные предметы. Постоянно озабоченный самыми сложными и разнообразными вопросами, постоянно устремляя взоръ на дальніе горизонты, онъ проходилъ обыкновенно мимо, изрѣдка кивая головою, часто даже не отдавая себѣ отчета въ томъ, кому кивалъ и кто ему кланялся. Онъ врядъ ли даже подозрѣвалъ о существованіи экзекутора. Еще труднѣе было ему замѣтить неисправность мостовой, такъ какъ на всѣхъ его экипажахъ шины постоянно перетягивались толстымъ обводомъ изъ гуттаперчи.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ, часу въ десятомъ утра, парадная дверь описаннаго зданія внезапно отворилась; на порогѣ ея показался швейцаръ. Онъ былъ пока запросто: парадная форма и перевязь замѣнялись длинополымъ синимъ сюртукомъ и бѣлымъ галстухомъ; но галунъ на фуражкѣ и гербовыя пуговицы на сюртукѣ достаточно указывали его званіе. Изъ-за швейцара просунулся бочкомъ румяный, какъ амуръ, курьеръ, съ бляхой на груди, крутыми завитками на головѣ и толстымъ туловищемъ на коротенькихъ ножкахъ.

Курьеръ закурилъ папироску; швейцаръ попросилъ у него огня; но, въ ту же минуту, изъ-за угла показалась крытая коляска и прямо покатила къ подъѣзду.

— Воскресенскій! — шепнулъ курьеръ, поспѣшно бросая папиросу и затаптывая ее подошвой.

— Вижу! — отозвался швейцаръ, повторяя то же движеніе.

Не давъ экипажу окончательно остановиться, оба съ озабоченными лицами ринулись впередъ, отстегнули фартукъ коляски и принялись бережно, почтительно высаживать длиннаго согбеннаго господина, который, какъ только сталъ на ноги и выпрямился, оказался совсѣмъ еще не дряхлымъ человѣкомъ, — лѣтъ пятидесяти, не больше,—но уже значительно посѣдѣвшимъ. Волосы его не столько, впрочемъ, были бѣлы, сколько отличались мутно-зеленоватымъ отливомъ; золотыя очки, низко сидѣвшія на переносицѣ, открывали пару выпуклыхъ близорукихъ бѣловатыхъ зрачковъ, которые мигали и щурились, какъ глаза совы, неожиданно выставленной на солнце. Не смотря на іюль мѣсяцъ, онъ былъ въ тепломъ ватномъ пальто и резиновыхъ калошахъ, надѣтыхъ на огромныя плоскія ступни съ наростами подлѣ большаго пальца въ видѣ луковицъ. Малокровіе, заставлявшее его зябнуть въ то время, какъ другіе не знали куда дѣваться отъ жары, достаточно, впрочемъ, подтверждалось мутно-золотушнымъ цвѣтомъ худощаваго лица, обтянутаго дряблой, разслабленной кожей. Въ цѣломъ, пріѣзжій имѣлъ видъ чего-то мягкаго, разварнаго, замшеваго и унылаго, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, было въ немъ также что-то вкрадчивое, подползающее, невольно, со стороны, внушавшее чувство осторожности.

— Афанасьевъ, — медленно проговорилъ онъ, обратясь къ курьеру, — возьми портфель изъ коляски; возьмешь также заодно ящикъ, завернутый въ бумагу; но только осторожнѣй; не толкни какъ нибудь; то и другое снесешь въ пріемную...

— Слушаю, ваше превосходительство!

Пока курьеръ хлопоталъ въ колискѣ, пріѣзжій, сопровождаемый швейцаромъ, продолжавшимъ бережливо поддерживать его подъ локоть, успѣлъ пройти въ прихожую, — просторную, высокую комнату на сводахъ; вся нижняя часть стѣнъ въ промежуткахъ, остававшихся свободными отъ дверей и оконъ, была обита лакированнымъ деревомъ съ безчисленнымъ множествомъ вѣшалокъ; подъ выступающимъ карнизомъ выдвигался рядъ стульевъ съ прямыми спинками; передъ однимъ изъ оконъ находился столъ съ чернильницей и толстыми книгами, гдѣ расписывались пріѣзжающіе и отмѣчались адресы. Прихожая освѣщалась, съ одной стороны, окнами на улицу, съ другой — широкой парадной лѣстницей.

— Позвольте васъ почистить, ваше превосходительство. Вы изволили запылиться, озабоченно произнесъ швейцаръ, подбѣгая со щеткой, которая какъ бы скрывалась наготовѣ въ его рукавѣ и вдругъ оттуда выскочила. — Теперь сухо, ваше превосходительство; изволили съ дачи пріѣхать — мудрено ли запылиться?— добавилъ онъ съ подобострастной фамильярностью служителей, обращающихся къ важнымъ лицамъ, давно знакомымъ и близко стоящимъ къ высшему начальству.

Отдавая себя въ руки швейцара, г. Воскресенскій ограничился тѣмъ, что поправилъ очки и снялъ шляпу, которую живо подхватилъ другой курьеръ, выскочившій изъ боковой двери.

Въ вицмундирѣ, изъ-подъ борта котораго скромно выглядывалъ уголъ звѣзды, г. Воскресенскій показался еще худощавѣе и тщедушнѣе; унылое лицо его замѣтно однакоже выказало здѣсь больше живости, самыя движенія стали бодрѣе; даже кончики фалдъ на вицмундирѣ какъ бы сами собой затрепетали, напоминая перо рыбы, неожиданно опущенной въ воду. Онъ, очевидно, чувствовалъ себя здѣсь на своей почвѣ.

Лицо г. Воскресенскаго, освобожденное отъ шляпы, близко напоминало старую лисицу. Всѣ черты стягивались къ заостренному холодному хрящику носа, который, казалось, не столько вдыхалъ воздухъ, сколько постоянно что-то обнюхивалъ; къ сходству прибавляли также большія уши, торчавшія навылетъ и кончавшіяся остряками на верхней части. Впечатлѣніе смягчалось нѣсколько сѣдиною волосъ, спускавшихся вдоль щекъ жидкими плоскими прядями; въ нихъ точно также было что-то разслабленное, какъ бы страдавшее отъ недостатка питанія на ихъ почвѣ. То же самое можно было сказать о глазахъ съ ихъ бѣловатыми выпуклыми зрачками, окаймленными красными опухшими вѣками; они также казались утомленными и разслабленными, также смотрѣли внизъ, отвѣчая на видъ тихому голосу и мягкимъ движеніямъ ихъ владѣльца.

— Никого еще нѣтъ?— спросилъ онъ, указывая глазами на парадную лѣстницу.

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство! — отвѣчали въ одно время и съ одинаковой поспѣшностью швейцаръ и курьеръ.

— Кто сегодня дежурный?

— Господинъ Стрекозинъ.

Г. Воскресенскій направился къ парадной лѣстницѣ, откры-

вавшейся свѣтлымъ пятномъ между двумя колоннами, отполированными подъ мраморъ; освѣщаясь справа окнами втораго этажа, лѣстница послѣ первой площадки дѣлилась на двѣ части, подымавшіяся параллельно одна другой; онѣ проводили на верхнюю площадку, украшенную такими же колоннами, какъ при входѣ; ковровая полоса краснаго цвѣта, перехваченная у каждой ступени мѣднымъ вылощеннымъ прутомъ, занимала середину лѣстницы и прекращалась у входа въ большую свѣтлую залу, украшенную лѣпной работой.

Войдя въ нее, г. Воскресенскій тотчасъ же взялъ влѣво, отыскалъ ручку незамѣтной двери и отворилъ ее такъ же спокойно, какъ у себя дома; миновавъ большую столовую, онъ перешелъ въ буфетную, обставленную высокими шкапами; сквозь стёкла виднѣлись серебро и всякаго рода посуда.

Боковая часть стѣны забрана была изразцами и тутъ же выставлялась плита, подлѣ которой стоялъ кухонный мужикъ въ красной рубашкѣ и бѣломъ передникѣ; противъ плиты, передъ окномъ, раскидывался длинный липовый столъ; на немъ красовался серебряный подносъ, уснащенный чайнымъ приборомъ, корзиной съ хлѣбомъ, масломъ и яйцами, глядѣвшими изъ-подъ салфетки съ вытканнымъ гербомъ на углу. Передъ подносомъ хлопоталъ величественнаго вида буфетчикъ во фракѣ, бѣломъ галстухѣ и вязаныхъ перчаткахъ; обстриженъ онъ былъ подъ гребенку; лицо его, круглое, какъ пузырь, и выбритое подъ атласъ, сіяло важностью и довольствомъ.

Оно проявило всѣ признаки радостнаго оживленія, какъ только въ дверяхъ показался г. Воскресенскій.

— Ахъ, ваше превосходительство, какъ рано изволили пожаловать! — воскликнулъ онъ, раскланиваясь.

— Что, какъ его сіятельство, всталъ? — проговорилъ г. Воскресенскій, снисходительно кивая головою.

— Только что перешли въ уборную; не прикажете ли чаю, ваше превосходительство?

— Нѣтъ, спасибо... А что подѣлываетъ мой крестникъ, какъ учится? — освѣдомился неожиданно г. Воскресенскій, выказывая участіе, котораго, впрочемъ, не чувствовалъ.

— Благодарю васъ покорно; перешелъ во второй классъ гимназіи... Все васъ надо благодарить, ваше превосходительство...

— Ну, полно, полно...

— Помилуйте, какъ же! Не вы ли изволили опредѣлить его на казенный счетъ? Намъ никогда бы этого не добиться, потому, какъ вамъ извѣстно, его сіятельство въ это не входятъ...

— Очень радъ, очень радъ, перебилъ г. Воскресенскій, — я всегда радъ, когда могу сдѣлать доброе дѣло...

— Всѣмъ намъ это очень хорошо извѣстно... Мы это чувствуемъ, — произнесъ буфетчикъ, перемѣняя нѣсколько свободный тонъ на почтительный и даже расчувствованный.

Въ эту минуту изъ отдаленныхъ комнатъ послышался звонокъ.

Буфетчикъ ухватился обѣими руками за подносъ и съ торопливой заботливостью спросилъ, проходя мимо:

— Прикажете сейчасъ доложить?

— Пожалуй... впрочемъ, я не тороплюсь... Во всякомъ случаѣ, я буду тамъ въ пріемной, заключилъ г. Воскресенскій, выходя изъ буфетной.

Минуту спустя онъ снова очутился у входа въ бѣлую залу. Отсюда открывалась цѣлая перспектива парадныхъ комнатъ, которыя оканчивались пріемной. Войдя въ нее, онъ подошелъ къ столу, на которомъ уже лежалъ его портфель и свертокъ, обернутый бумагой и припечатанный сургучомъ. Сорвавъ печати, г. Воскресенскій выложилъ на столъ деревянный рѣзной сигарный ящикъ съ застежками изъ кованнаго желѣза и еще дамскій несессеръ, украшенный инкрустаціями изъ цвѣтнаго дерева. Не отдавая большаго вниманія этимъ предметамъ, онъ равнодушнымъ взглядомъ окинулъ стѣны пріемной и, заложивъ руку за фалды вицмундира, принялся медленно расхаживать по всей амфиладѣ парадныхъ комнатъ, обставленныхъ тяжеловѣсною мебелью тридцатыхъ годовъ; она была обита штофомъ разнаго цвѣта, согласно съ цвѣтомъ стѣнъ. Тамъ, гдѣ не было ковровъ, паркетъ вездѣ лоснился, отражая блескъ оконъ и зеркалъ, расположенныхъ въ простѣнкахъ.

Не смотря на смертную скуку, распространяемую этими комнатами, — скуку, которую не только не выкупали, но еще усиливали размѣры архитектурныхъ линій, вышина стѣнъ и оконъ, пестрота большихъ казенныхъ фарфоровыхъ вазъ въ углахъ, массивные канделябры и часы на каминахъ, — онѣ, тѣмъ не менѣе, производили внушительное дѣйствіе; невольное чувство заставляло осматриваться, понижать голосъ и не стучать каблуками.

По привычкѣ, вѣроятно, проходить эти залы, г. Воскресен-

скій не ощущалъ, повидимому, ничего подобнаго. Онъ, правда, не столько шагалъ, сколько скользилъ на мягкихъ своихъ подошвахъ, но плоскія его ступни съ выдающимися луковицами у большаго пальца двигались смѣло, упирались въ ковры и паркетъ съ примѣтной самоувѣренностью. Постарѣлый видъ сапоговъ, вицмундиръ съ истертымъ бархатнымъ воротникомъ, галстухъ, небрежно повязанный, подтверждали также его безцеремонное отношеніе ко всему окружающему.

Если улыбка самодовольствія показывалась иногда на блѣдныхъ губахъ его, если самый взглядъ измѣнялъ обычному тусклому выраженію, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Онъ былъ здѣсь наединѣ съ самимъ собою; ему, наконецъ, не къ чему было стѣсняться, не зачѣмъ было себя насиловать: смиренный взглядъ, мягкія движенія, тихій голосъ давно уже сдѣлали свое дѣло, давно упрочили ему извѣстность человѣка въ высшей степени благомѣреннаго, снисходительнаго, услужливаго, не считая репутаціи человѣка высокой нравственности и глубокаго благочестія, пріобрѣтенной имъ въ кругу знатныхъ благотворительныхъ старухъ, гдѣ онъ преимущественно вращался.

Общественное положеніе г. Воскресенскаго было дѣломъ рукъ его; онъ могъ имъ гордиться. Твердая поступь, равнодушіе къ окружающей обстановкѣ, самодовольная улыбка выражали здѣсь сознаніе удовлетвореннаго тщеславія, увѣренность достигнутой цѣли

Приговоръ тщеславнымъ людямъ такъ же вообще несправедливъ, какъ приговоръ самому тщеславію, считающемуся предосудительнымъ чувствомъ. Здѣсь, какъ и вездѣ, все основано на оттѣнкахъ; отличіе оттѣнковъ основывается, въ свою очередь, на руководящемъ двигателѣ, на поводѣ или мотивѣ, какъ теперь выражаются. Однимъ тщеславіе помогаетъ исполнять великія общественныя задачи; другимъ служитъ орудіемъ для достиженія личныхъ цѣлей. Тамъ, гдѣ первые прорываются ядромъ, вылетѣвшимъ изъ пушки, и пролетаютъ со свистомъ большое пространство, другіе тихо, незамѣтно проскользаютъ и, какъ холера, дѣйствуютъ въ болѣе тѣсномъ горизонтѣ. Но, во всякомъ случаѣ, какъ тамъ, такъ и здѣсь, требуется расходъ извѣстной силы, требуется присутствіе внутренняго подъема, излишекъ чего-то такого, что вообще не сплошь и рядомъ встрѣчается въ людяхъ; нуженъ особый темпераментъ, нужно больше фосфора въ костяхъ, больше желѣза въ крови. Противъ даровъ природы ничего не подѣлаешь. Они такъ могу-

щественны, что, доставшись случайно посредственности, выдвигаютъ ее часто скорѣе истинныхъ способностей и даже таланта. Въ данномъ случаѣ, посредственные люди дѣйствуютъ почти одинаково. Наметивъ себѣ извѣстную цѣль, они сначала бываютъ осмотрительны, какъ кошки, выносливы, какъ ломовая лошадь, терпѣливы, какъ башмакъ, готовы подставлять спину подъ удары. Сила воли, направленная на одну точку, тѣмъ не менѣе, продолжаетъ дѣлать свое дѣло: она долбитъ и просверливаетъ, не останавливаясь ни передъ какими препятствіями. Пробиваясь постепенно въ глубь съ тѣмъ же упорствомъ, какъ червь точитъ дубъ, они, чѣмъ дальше, тѣмъ меньше стѣсняются въ способахъ дѣйствій, — въ случаѣ надобности, готовы вырѣзать бирюльки изъ костей родной матери. Наконецъ, дубъ просверленъ во всю длину, свѣтъ показался, — цѣль достигнута! Постоянная борьба противъ препятствій, необходимость пролѣзать сквозь гнилушки, встрѣча съ другими червяками, которыхъ надо было загрызть, чтобы прочистить себѣ дорогу, — все это, конечно, не прошло имъ даромъ, уходило ихъ физически, часто износило до ворса; но, взамѣнъ этого, все это настолько же помогло имъ укрѣпиться духомъ, закалило въ нихъ настойчивость и усилило жадность, развило смѣлость и, вмѣстѣ съ нею, непреодолимое желаніе вымостить на плечахъ другихъ пройденныя испытанія. Дальнѣйшія дѣйствія зависятъ уже отъ личнаго характера. Одни, вооружившись внезапно дерзостью и нахальствомъ, плотно врѣзываютъ свои каблуки на ступенькахъ, по мѣрѣ того, какъ выше восходятъ; другіе продолжаютъ подвигаться на замшевыхъ подошвахъ, тщательно скрывая, подъ видомъ кротости, преданности и смиренія, настоящія свои чувства. У первыхъ самодовольство выражается явно, сіяетъ въ глазахъ и румянитъ щеки; у вторыхъ оно проявляется едва замѣтно, въ смиренной улыбкѣ, мягкихъ движеніяхъ, тихомъ, вкрадчивомъ голосѣ. Послѣдніе всегда опаснѣе; это тѣ самыя лица, о которыхъ говорятъ обыкновенно: „не клади пальца въ ротъ — откуситъ!“

## II.

Такъ какъ представился теперь удобный случай, не лишнимъ было бы короче познакомить читателя съ г. Воскресенскимъ.

Онъ былъ изъ духовнаго званія. Благодаря сердобольной помѣщицѣ того села, гдѣ жилъ его отецъ, онъ миновалъ семинарію и поступилъ въ уѣздное училище. Учился онъ плохо; его, безъ сомнѣнія, клали бы на скамью и сѣкли каждую субботу, еслибъ не выручали, съ одной стороны, крайне тщедушный видъ, но, главнымъ образомъ, хорошія отмѣтки въ благонравіи. Этимъ почти и ограничиваются свѣдѣнія о его дѣтствѣ. Неизвѣстно даже, кончилъ ли онъ или нѣтъ курсъ ученья. Несомнѣнно только, что девятнадцати лѣтъ онъ находился въ провинціи и пробивался своими средствами, переписывая по найму бумаги въ канцеляріи гражданскаго губернатора.

Губернаторъ былъ старъ и брюзгливъ, дѣтей не было, — супруга его тосковала. Подобно бо́льшей части тоскующихъ женъ, губернаторша сначала ѣздила по монастырямъ, но вскорѣ утомилась и предпочла искать удовлетворенія на почвѣ благотворительности; послѣднее, къ тому же, выставляло ее на видъ независимо отъ положенія мужа, — чего страстно добиваются многія, даже счастливыя жены, — и способствовало распространенію ея популярности въ губерніи.

Въ рвеніи своемъ она рѣдко обращала вниманіе на то, что безпрестанно отымала у мужа полезныхъ дѣятелей его канцеляріи; стоило опредѣлить кого-нибудь, — смотришь, онъ уже бѣгаетъ по дѣламъ губернаторши. „Ты, душенька, опять лишила насъ чуть ли не лучшаго писца!... Не помню, какъ его зовутъ, но только у него прекрасный почеркъ и правитель канцеляріи весьма имъ дорожилъ“... — А, знаю, — Воскресенскій, блѣдный такой... Найдешь себѣ другаго!... Онъ мнѣ очень нуженъ“, — возразила, не стѣсняясь, губернаторша.

Воскресенскій оказался дѣйствительно полезнымъ. Не считая хорошаго почерка, онъ отличался примѣрнымъ усердіемъ и аккуратностью. Куда бы ни шла губернаторша, онъ всегда былъ у нея на глазахъ; когда давались ему порученія, они исполнялись съ точностью и быстротою, которыя могли бы обратить на него вниманіе самого Аракчеева. Вскорѣ открылись еще другія качества. Благодаря ему, губернаторша стала вдругъ яснѣе видѣть въ дѣлахъ благотворительности, руководимыхъ ею; она узнала, гдѣ кроются злоупотребленія, провѣдала о томъ, кто болѣе или менѣе надеженъ, кого слѣдовало удалить, кого оставить пока подъ присмотромъ. Воскресенскій никогда, собственно, не наговаривалъ; смиренно дер-

жась въ сторонѣ, онъ ждалъ всегда настоятельныхъ вопросовъ, видимо стѣснялся тѣмъ, что долженъ былъ высказать; чаще всего онъ сожалѣлъ, старался даже оправдывать; въ концѣ концовъ выходило такъ, однакожъ, что лицо, о которомъ говорилось, всегда было кругомъ виновато. Онъ не замедлилъ выказать такую же дѣятельность при исполненіи личныхъ порученій по дому губернаторши и ея хозяйству: покупалъ, заказывалъ, чинилъ, подкрашивалъ и подклеивалъ, — словомъ, гораздъ былъ на всѣ руки. Послѣднее невольно приблизило его къ губернатору. Желая вознаградить чѣмъ нибудь усердіе молодаго человѣка, онъ далъ ему одно изъ тѣхъ мѣстъ, которое, обезпечивая его въ матеріальномъ отношеніи, не мѣшало ему, вмѣстѣ съ тѣмъ, заниматься женинными порученіями.

Мало-по-малу Воскресенскій,—котораго больше звали теперь Иваномъ Иванычемъ,—сдѣлался у губернатора чѣмъ-то въ родѣ „домашняго человѣка“. Способъ этотъ переходить къ частнымъ порученіямъ начальника и здѣсь преимущественно выказывать преданность и усердіе сдѣлался для Воскресенскаго правиломъ всей его жизни. Онъ съ первыхъ шаговъ понялъ, что такимъ способомъ всего успѣшнѣе проходятъ въ люди. Откуда взялось вдругъ тщеславіе у бѣднаго провинціальнаго писаря? Гдѣ заразился онъ желаніемъ выскочить изъ скромнаго своего положенія? Отвѣчать на это такъ же трудно, какъ указать вообще на источникъ человѣческихъ свойствъ и способностей; фактъ тотъ, что чѣмъ больше они прирождены у человѣка, тѣмъ всегда надежнѣе ихъ развитіе и, впослѣдствіи, упорнѣе ихъ дѣйствіе.

„Дорогой другъ,—неоднократно писала губернаторша брату, занимавшему въ Петербургѣ важный административный постъ,—мы только и слышимъ отъ васъ жалобы: людей нѣтъ! *Une vraie disette!*... Охотно вѣримъ. Въ Петербургѣ ихъ точно труднѣе найти; всему виною, конечно, испорченность нравовъ; но люди есть! Ихъ только надо искать въ глуши, въ нашей доброй провинціи, сохранившей пока еще—*Dieu merci!*—свои чистыя патріархальныя преданія. Мы уже не разъ писали тебѣ, что на этотъ счетъ не можемъ жаловаться; между прочимъ, мы нашли истинно драгоцѣннаго человѣка, — *une perle!* Способности, усердіе, честность, преданность—*rien n'y manque!*“

Бывая въ Петербургѣ, губернаторша расхваливала всякій разъ своего *protegé* съ такимъ увлеченіемъ, что братъ полюбопытство-

валъ, наконецъ, взглянуть на „сокровище“. Особеннаго желанія у него не было; оно вырвалось вскользь, мимоходомъ, скорѣе чтобы сдѣлать удовольствіе сестрѣ. Но этого уже было достаточно. Мѣсяцъ спустя, Воскресенскій явился въ Петербургъ къ сановнику съ письмомъ отъ сестры и зятя.

Сановникъ былъ нѣсколько озадаченъ неожиданнымъ появленіемъ „сокровища“. Онъ совершенно забылъ о его существованіи и въ первое время рѣшительно не зналъ, что съ нимъ дѣлать и куда его дѣть.

На каждое открывшееся мѣсто были десятки кандидатовъ, не считая тѣхъ, о комъ настоятельно просили лица, которымъ отказать не только было трудно, но самому не было разсчета. Въ Петербургѣ оставалось тогда одно свободное мѣсто: исаакіевская площадь, но и ту уже думали занять садомъ. Въ желаніи скорѣе угодить сестрѣ, сановникъ поспѣшилъ отрекомендовать „сокровище“ одной знатной дамѣ, игравшей въ Петербургѣ ту же роль по части благотворительности, какою сестра его забавлялась въ провинціи.

Ивану Иванычу на роду, видно, было написано испытывать покровительство прекраснаго пола. Онъ самъ, впрочемъ, охотнѣе склонялся въ эту сторону; здѣсь почва была мягче и легче было ее обрабатывать.

Онъ и здѣсь точно также успѣлъ вскорѣ показать себя и сдѣлаться необходимымъ. Подходы были все тѣ же: смиреніе и преданность; къ нимъ присоединилась еще практичность, бывшая у него въ зародышѣ; но Петербургъ ее спрыснулъ и она развилась съ замѣчательной быстротою.

До появленія Воскресенскаго, пріюты, дешевыя столовыя, благотворительныя лотереи, богадѣльни и комитеты, находившіеся подъ покровительствомъ знатной дамы, шли изъ рукъ вонъ плохо. Горе заключалось не въ недостаткѣ дѣятелей: ихъ было сколько угодно; всѣ дамы, имѣвшія поводъ быть недовольными мужьями, осиротѣвшія вдовы, застарѣлыя тоскующія дѣвицы, всѣ наперерывъ стремились помогать общеполезному и благотворительному дѣлу; къ нимъ примыкалъ цѣлый легіонъ живой, воспріимчивой молодежи: но, сколько могъ замѣтить Иванъ Иванычъ, женскій полъ больше суетился и путалъ, молодые люди больше искали случая зацѣпить крестикъ или украситься камеръ-юнкерскимъ мундиромъ.

„*C'est désespérant!!*“ — повторяла знатная дама, признаваясь, что начинаетъ уже, наконецъ, падать духомъ.

Духъ этотъ возстановилъ Воскресенскій, указавъ ей, смиренно и безъ шуму, на злоупотребленія и способы ихъ исправить. Безъ малѣйшаго намека съ его стороны, но по самому ходу дѣла и для выгоды послѣдняго, знатная дама нашла необходимымъ сдѣлать, какъ говорится, положеніе своему помощнику, т. е. опредѣлила его на службу и выхлопотала ему теплое мѣсто. Она не ошиблась въ разсчетѣ. Желая доказать свою признательность, Воскресенскій явился къ ней съ проектомъ о дозволеніи носить красныя панталоны лицамъ купеческаго званія въ обмѣнъ за пособія (въ проектѣ сказано было: посильныя пособія) въ пользу общества, имѣвшаго цѣлью *распространеніе нравственныхъ правилъ въ низменныхъ классахъ петербургскаго населенія и преимущественно между ломовыми извозчиками.*

Проектъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Онъ давалъ дѣйствительно такія выгоды и преимущества, которыя легко могли подорвать существованіе множества другихъ благотворительныхъ и общеполезныхъ учрежденій. Предсѣдательницы самыхъ враждебныхъ лагерей, на этотъ разъ, соединились и единодушно возстали. Каждая, тѣмъ не менѣе, какъ только прошла буря, поспѣшила сблизиться съ составителемъ знаменитаго проекта. Онъ сдѣлался вскорѣ между дамами предметомъ зависти; каждая старалась притянуть его на свою сторону. Угождая всѣмъ, по мѣрѣ возможности, онъ, въ то же время, старался быть полезнымъ на службѣ. Чины и кресты шли своимъ чередомъ; онъ добивался того и другаго, но служба собственно не составляла прямой его цѣли: она была только средствомъ для пріобрѣтенія извѣстнаго положенія; послѣднее было необходимо, потому что давало возможность существеннѣе приносить пользу вліятельнымъ благотворительницамъ, которыя, въ свою очередь, существеннѣе помогали дѣлать карьеру. Въ дамскихъ кружкахъ популярность Ивана Иваныча росла съ каждымъ годомъ. Никакое новое общество, — если только оно возникало подъ знаменемъ милосердія, пользы и добра ближнему, — не могло обойтись безъ Воскресенскаго; участіе его служило гарантіей процвѣтанію. Многія общества возникли потому только, что основная мысль, проектъ и, наконецъ, самый уставъ принадлежали Ивану Иванычу.

Всѣмъ было, напримѣръ, очень хорошо извѣстно, что баро-

нессѣ Букъ, трудившейся спеціально надъ устройствомъ карьеры безчисленныхъ ея родственниковъ и занимавшейся благотворительностью только для удобства свѣтскихъ сношеній, никогда не удалось бы устроить *общество для снабженія дешевыми игрушками дѣтей болгарскихъ семействъ, лишившихся родителей во время послѣдней войны*, еслибъ такой мысли не внушилъ ей Иванъ Иванычъ и не нашелъ денегъ для приведенія ея въ исполненіе. Никогда княгинѣ Зинзивѣевой не устроить бы *комиссіи для предварительныхъ мѣръ противъ распространенія золотухи и родимчика между дѣтьми бѣднаго сельскаго населенія*, еслибъ не придумалъ этого Воскресенскій и также не нашелъ для этого денегъ.

Деньги доставлялись жертвователями; но жертвователей доставлялъ Иванъ Иванычъ, и, въ этомъ отношеніи, ему уже положительно цѣны не было. Всѣмъ извѣстно, съ какой трудностью достаются деньги; легче, кажется, взять пучокъ пуху и перекинуть его черезъ большую рѣку, чѣмъ заставить кого-нибудь добровольно вынуть бумажникъ и — здорово живешь — предложить крупный кушъ. Въ этомъ Иванъ Иванычъ не встрѣчалъ, повидимому, большаго затрудненія. Жертвователи какъ бы сами собою къ нему напрашивались.

Нельзя сказать, чтобы онъ обладалъ выдающимся краснорѣчіемъ. Когда онъ говорилъ въ комитетахъ, половины его рѣчи обыкновенно не было слышно; другая половина не представляла ничего особенно цицероновскаго; чаще всего было смертельно скучно. Когда же онъ говорилъ съ кѣмъ нибудь изъ нужныхъ ему людей съ глазу на глазъ, выходили совсѣмъ другіе результаты; онъ точно владѣлъ тогда чарующей силой убѣдительности. По мѣрѣ того, какъ онъ подвигался на служебномъ поприщѣ и, съ другой стороны, росло его вліяніе въ дамскихъ комитетахъ и на поприщѣ благотворительности, число жертвователей замѣтно возрастало. Къ нему постепенно стали являться купцы всѣхъ разрядовъ, промышленники, дѣятели всякаго рода, даже банкиры, — словомъ, всѣ тѣ, кто, не довольствуясь имѣть деньги, искалъ еще чего нибудь изъ благъ земныхъ.

Здѣсь, кстати, надо замѣтить, что Иванъ Иванычъ самъ по себѣ былъ безкорыстенъ. Руководителемъ его сближеній съ богатыми людьми, безцеремоннымъ обираніемъ у нихъ денегъ служила только тщеславная цѣль возвышенія и проникновенія путемъ бла-

готворительности, общественной пользы, добрыхъ намѣреній, любви къ человѣчеству. У него, какъ у всякаго истиннаго мастера, вскорѣ образовались ученики; изъ нихъ возникла цѣлая школа новыхъ дѣятелей, нерѣдко злоупотреблявшихъ своимъ положеніемъ. Самъ же Иванъ Иванычъ оставался съ этой стороны безупречнымъ. Онъ довольствовался своимъ жалованьемъ и жилъ весьма скромно. Но самое это безкорыстіе незамѣтно помогало ему приближаться къ намѣченной цѣли; оно трогало женскія сердца, увеличивало число поклонниковъ и всѣмъ имъ служило оружіемъ для защиты Ивана Иваныча противъ враговъ и завистниковъ.

Начальство Воскресенскаго посматривало иногда недоброжелательно на его успѣхи.

— Воля ваша, Воскресенскій слишкомъ уже, кажется, злоупотребляетъ вашей снисходительностью!—говорили начальнику,— день-деньской трется между юбками и не выходитъ изъ дамскихъ благотворительныхъ засѣданій и комитетовъ...

— Что-жъ дѣлать?

— Какъ что? Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, служить и, въ то же время, заниматься десятками дѣлъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ служебнымъ обязанностямъ; положимъ, ему тамъ выгоднѣе; его гложетъ тщеславіе, онъ ищетъ популярности и находитъ ее... но это не резонъ. Вопросъ такъ ставится: „Любишь, душенька, получать жалованье и казенную квартиру?“—„Люблю!“ —„Въ такомъ случаѣ одно изъ двухъ: выбирай службу или благотворительность!...“

— Но онъ мнѣ нуженъ, — возражалъ начальникъ.

— Въ чемъ же?

— Находчивъ! — ворчливо заключалъ начальникъ, вертясь на своемъ креслѣ и какъ бы желая отъ него оторваться, но не имѣя на это силы.

И онъ былъ правъ. Въ критическіе моменты не разъ выручала его находчивость Воскресенскаго. Въ цѣломъ министерствѣ не было человѣка, болѣе способнаго отыскать съ такою быстротою какую угодно справку, сочинить за одинъ присѣстъ докладную записку о чемъ угодно и кому угодно.

И, наконецъ, еслибъ вздумалось кому нибудь существенно придраться къ Ивану Иванычу и пожелать сдвинуть его съ мѣста, теперь не такъ уже легко было это сдѣлать.

Съ одной стороны, пришлось бы поднять на ноги чуть ли

не половину женскаго населенія столицы, съ другой — пришлось бы воевать съ графиней Можайской, которая, сама по себѣ, опаснѣе была всѣхъ остальныхъ. Съ нѣкоторыхъ поръ она явно покровительствовала Ивану Иванычу. Покровительство выразилось тѣмъ, что Воскресенскій вскорѣ оставилъ занимаемое имъ мѣсто и нашелъ другое, болѣе видное, подъ начальствомъ брата графини.

Онъ былъ представленъ графинѣ въ началѣ своей благотворительной дѣятельности, вскорѣ послѣ шума, надѣланнаго проектомъ *о красныхъ панталонахъ*. Графиня остановила на немъ проницательные глаза и сказала: „Прекрасно; смотрите, только не пересаливайте!“... Слова эти врѣзались ему въ память; онъ, въ самомъ дѣлѣ, сталъ съ тѣхъ поръ осторожнѣе. Ближайшему знакомству помогли,—какъ было въ его молодости при губернаторшѣ,—услуги, доказавшія графинѣ его преданность.

Графиня осталась въ дѣвушкахъ и пережила свою шестидесятилѣтнюю весну. Въ женскомъ персоналѣ знатнаго общества не было существа болѣе своеобразнаго; избѣгая лицъ своего пола, она исключительно почти вращалась въ кругу мужчинъ, выбирая тѣхъ, кто былъ умнѣе и сильнѣе. Не стѣсняясь никакимъ положеніемъ, она каждому рѣзко и смѣло высказывала въ глаза всю правду; ее слушали, потому что каждый за себя опасался. Къ рѣзкости ума присоединялась проницательность, часто приносившая пользу тому, кто умѣлъ ей понравиться. Крайне деспотическая и тщеславная, она, въ то же время, презирала интригу, и, въ общей сложности, въ ней было больше склонности къ добру, чѣмъ могло казаться съ перваго взгляда. Но добро, которое она могла дѣлать съ ея состояніемъ, мало-по-малу стало ограничиваться совѣтами и пожеланіями; съ лѣтами въ ней развилась скупость и страсть къ деньгамъ. Слыша неоднократно отъ баронессы Букъ, насколько Воскресенскій распространенъ былъ въ кругу денежныхъ людей и самъ былъ свѣдущъ въ финансовыхъ операціяхъ, графиня пожелала короче съ нимъ познакомиться. Двѣ-три удачныя покупки и перепродажи цѣнныхъ бумагъ пріобрѣли ему ея расположеніе. Со свойственной ему осторожностью, онъ, надо замѣтить, никогда лично не дѣйствовалъ; онъ обращался къ тѣмъ, кто былъ надежнѣе и ловчѣе, шепталъ только на ухо, для кого предстояло дѣйствовать, и дѣло всегда увѣнчивалось успѣхомъ. Такъ постепенно вошелъ онъ въ довѣріе графини и подъ конецъ сдѣлался ея совѣтчикомъ.

Случай окончательно помогъ ему въ этомъ.

Графиня уѣзжала за границу заказывать приданное для племянницы. Наканунѣ отъѣзда она пригласила Ивана Иваныча.

— У меня къ вамъ просьба...

— Приказывайте, ваше сіятельство, — наклоняя голову и смиренно опуская глаза, проговорилъ Иванъ Иванычъ.

— Вы знаете, я завтра уѣзжаю; у меня накопилось двадцать восемъ тысячъ; я не хотѣла бы брать ихъ съ собою: опасно и, притомъ, если возьму, непремѣнно истрачу... Мы, женщины, только это и умѣемъ дѣлать...

„Знаю, голубушка, какъ ты это умѣешь; меня еще, пожалуй, научишь“...—подумалъ Воскресенскій, продолжая сохранять почтительную позу.

— Прошу васъ, Иванъ Иванычъ, возьмите отъ меня эти деньги и сберегите ихъ до моего возвращенія... или сдѣлайте изъ нихъ что-нибудь...

— До глубины души тронутъ довѣріемъ вашего сіятельства, но не скрою отъ васъ: вы изволите возлагать на меня трудную обязанность... Чужія деньги... это... это... И вообще...—продолжалъ Воскресенскій, принимая строго-озабоченный видъ,—вообще денежныя дѣла у насъ теперь такъ шатки, такъ невѣрны... биржа въ постоянномъ колебаніи...

— Все это можетъ быть, только, вы знаете, я не люблю отказовъ...

— Если вы непремѣнно этого желаете... не смѣю противиться...

Воскресенскій принялъ пакетъ, сосчиталъ деньги и, уложивъ ихъ въ карманъ, явился на другой день провожать графиню.

Но графиня передъ отъѣздомъ разсчитала расходныя свои деньги до такой степени въ обрѣзъ, что, спустя двѣ недѣли, принуждена была написать Воскресенскому о высылкѣ еще трехъ тысячъ. За этимъ письмомъ Воскресенскій получилъ другое съ такимъ же требованіемъ.

Возвратясь въ Петербургъ уже къ осени, графиня немедленно попросила къ себѣ Воскресенскаго.

— Мнѣ совѣстно смотрѣть на васъ, Иванъ Иванычъ, сказала она, пристально, тѣмъ не менѣе, глазами авгура посматривая на собесѣдника, казавшагося печальнымъ и разстроеннымъ,— право, совѣстно... Я, впрочемъ, говорила вамъ: мы, женщины,

умѣемъ только мотать... И ужъ этотъ Парижъ! Это просто ужасно!...

— Да, графиня, да... это ужасно,—произнесъ Иванъ Иванычъ съ выраженіемъ сосредоточенной грусти.

— Не тяните, пожалуйста, говорите прямо: что вы сдѣлали?

— Немного, графиня... я едва...

— Я это предчувствовала! — перебила графиня, сдвигая брови.

— Я имѣлъ честь докладывать вамъ передъ отъѣздомъ о томъ, какъ вообще шатки наши денежныя дѣла, какъ мало можно теперь полагаться на биржу...

— Ахъ какъ тянетъ, какъ тянетъ!—воскликнула графиня, судорожно перебирая сухими пальцами,—ну!...

Воскресенскій поднялъ глаза, едва примѣтно улыбнулся и произнесъ, подавая пакетъ:

— Здѣсь все, что удалось мнѣ сохранить и сдѣлать изъ вашихъ денегъ...

Въ пакетѣ оказалась тридцать одна тысяча.

Съ этого дня къ Воскресенскому перешло управленіе по всѣмъ дѣламъ не только графини, но и графа.

Послѣднее было легче, такъ какъ графъ, въ противоположность сестрѣ, меньше жилъ на землѣ, чѣмъ витался на высотахъ, куда занесли его отчасти особенныя обстоятельства, отчасти куда онъ самъ себя вознесъ, искренно вѣруя въ величіе своего призванія. Чѣмъ очевиднѣе доказывала служебная карьера, что графъ, получивъ въ наслѣдство отъ матери ея доброе сердце и мягкій нравъ, не унаслѣдовалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ отца его блестящихъ способностей, тѣмъ упорнѣе было его стремленіе къ разрѣшенію высшихъ вопросовъ, клонившихся ко благу отечества и преуспѣванію его силъ извнѣ и во внутреннемъ строѣ.

Не проходило года безъ того, чтобъ графъ не подавалъ какого нибудь проекта, имѣвшаго ближайшею цѣлью спасти ту или другую часть государства. Но потому ли, что въ проектахъ приводились по большей части идеальныя мысли, не отвѣчавшія сухимъ условіямъ практическаго вѣка, потому ли, что въ самомъ способѣ изложенія мыслей заключалось меньше ясности, чѣмъ красоты слога, проекты графа оставались безъ всякаго примѣненія и всегда складывались въ архивъ.

Ошибочно было бы думать, что лица, пользующіяся высо-

кимъ почетомъ въ свѣтѣ, пользуются тѣмъ же почетомъ въ кругу служебныхъ дѣятелей; имъ здѣсь точно также кланяются и выказываютъ знаки вниманія, но только до той минуты, пока они не начнутъ излагать своихъ соображеній; какъ только дѣло доходитъ до соображеній, почтительное выраженіе на лицахъ мгновенно смѣняется тоскою и унынiемъ, взглядъ слушателя становится разсѣяннымъ и начинаетъ какъ бы искать чего-то на сторонѣ, на губахъ появляется та же снисходительная улыбка, съ какою прислушиваются обыкновенно къ невинному дѣтскому лепету. Словомъ, положеніе здѣсь совсѣмъ не то, что въ свѣтѣ.

Странно было то также, что умственный взоръ графа, задумчиво всегда устремлявшійся къ дальнимъ горизонтамъ, приводилъ его чаще всего къ самимъ мелочнымъ вопросамъ жизни. Умъ у него былъ изобрѣтательный, но свойства ума приводили къ изобрѣтеніямъ, которыя начинались всегда какъ-то съ хвоста, доходили до туловища и никогда не кончались головою; они никогда не стояли плотно на ногахъ, но больше ходили на рукахъ, а ноги были кверху; въ основѣ преобладала всегда добрая мысль, но ее всегда портилъ оттѣнокъ чего-то недодѣланнаго и дѣтскаго. Вдругъ неожиданно возникла мысль: облегчить тяжесть ломовыхъ лошадей или содѣйствовать къ уничтоженію таракановъ и клоповъ въ избахъ бѣдныхъ поселянъ. Онъ самъ очень хорошо сознавалъ, что все это была мелочь; но серьезныя его предложенія не встрѣчали сочувствія и не принимались; умъ, между тѣмъ, постоянно возбуждавшійся желаніемъ добра и пользы отечеству, настоятельно требовалъ дѣятельности.

Въ этотъ самый періодъ разочарованія, Воскресенскій особенно пришелся по вкусу графа. Не прошло года, графъ сидѣлъ въ благотворительности, какъ птица сидитъ въ клѣткѣ. Онъ нашелъ въ ней утѣшенія, которыхъ тщетно искалъ въ государственной службѣ; она открыла передъ нимъ новые горизонты, давала новую пищу не только головѣ, но и сердцу. Въ тотъ же годъ основано было нѣсколько новыхъ комиссій для различнаго рода содѣйствій и развитія. Покровительство графа вскорѣ распространилось и на другія общеполезныя благотворительныя учрежденія, школы, училища, богадѣльни. Дамы покровительницы и предсѣдательницы, подстрекаемыя Иваномъ Ивановичемъ, всюду встрѣчали графа съ распростертыми объятіями. Портретъ его, изданный по подпискѣ между служащими, которымъ Воскресенскій шепнулъ на ухо, не

замедлилъ украсить на видномъ мѣстѣ стѣны множества заведеній. Графъ былъ, наконецъ, оцѣненъ и, главное, понятъ. Въ усердіи своемъ онъ, прежде всего, обратилъ зоркій взоръ на экономовъ; имъ въ первое время житья не стало. Графъ неожиданно налеталъ во время обѣда, и Боже сохрани, если сиротская каша отзывалась тухлымъ! „Вонъ, сейчасъ вонъ! Вонъ безъ разсужденій!“ Взамѣнъ этого онъ не зналъ, какъ обласкать и куда посадить великодушныхъ людей, являвшихся къ нему съ пожертвованіями на общественную пользу. Онъ награждалъ ихъ широкою рукой, охотно всегда удовлетворяя ихъ просьбамъ, которыя подносились обыкновенно Воскресенскимъ при докладѣ.

Увлеченіе графа въ пользу благотворительности не приносило малѣйшаго вреда административной машинѣ, находившейся подъ его управленіемъ. Дѣла шли своимъ чередомъ. Машина, заведенная его предшественникомъ, продолжала неустанно работать, выпуская ежедневно сотни нумеровъ бумаги, исписанной самымъ отборнымъ почеркомъ. Съ этой стороны графъ былъ совершенно покоенъ. Его несравненно больше озабочивалъ новый проектъ. Иниціатива проекта принадлежала Ивану Ивановичу, но обработка деталей всецѣло принадлежала графу. Уже само названіе: *О всеобщемъ, всестороннемъ распространеніи благотворительности въ Россійскомъ государствѣ*, достаточно указывало на важность проекта.

Суть его заключалась въ устройствѣ обширнаго *центральнаго образцоваго учрежденія*, управленію котораго должны были подчиниться всѣ общеполезныя и благотворительныя общества не только обѣихъ столицъ, но самыхъ отдаленныхъ угловъ провинціи. Центромъ учрежденія былъ образцовый пріютъ для взрослыхъ и малолѣтнихъ неимущаго населенія. Вокругъ группировались три разряда школъ и мастерскихъ по степенямъ возраста, музеумъ для образованія изящнаго вкуса, складъ и магазины для сбыта предметовъ производства, но съ тѣмъ, чтобы выручаемыя деньги шли частью на покрытіе расходовъ, частью служили основаніемъ эмеритальной кассы для тѣхъ изъ воспитанниковъ, которые выкажутъ особое благонравіе. Въ нижнемъ этажѣ помѣщались службы, кухня, столовая и складъ для бѣлья и одежды; одинъ изъ флигелей втораго этажа на солнечной сторонѣ предназначался для пріема грудныхъ дѣтей и кормилицъ, другой для классныхъ комнатъ и спаленъ мужскаго дѣтскаго отдѣленія. Средній дворъ предполагалось покрыть стекляннымъ куполомъ для защиты дѣтей и

ихъ воспитателей отъ дурной погоды во всякое время года. Здѣсь устроивался дѣтскій садъ, имѣвшій двоякую цѣль: въ серединѣ помѣщались всѣ новѣйшія приспособленія, игры, гимнастика, содѣйствующія физическому развитію; по стѣнамъ развѣшивались картины и печатныя правила такого содержанія, которое непосредственно должно было улучшать нравственныя чувства питомцевъ. Уголъ зданія оканчивался церковью и помѣщеніемъ для причта; противоположный уголъ отдавался канцеляріи; рядомъ была зала совѣта. Отсюда уже „живительными благотворительными лучами“,—такъ сказано было въ проектѣ,—должны были расходиться во всѣ стороны распоряженія и предписанія, которыми предполагалось руководить дѣйствіями всѣхъ остальныхъ благотворительныхъ обществъ имперіи.

Расходъ по исполненію проекта отвѣчалъ величавости его размѣровъ. Но деньги стали являться какъ бы по волшебству. Особенно великодушно выказали себя въ настоящемъ случаѣ купцы хлѣбородныхъ губерній, сибиряки и евреи. Между послѣдними нашлись такіе, которые не удовольствовались единовременнымъ вкладомъ, но обязались еще поддерживать новое учрежденіе ежегодными взносами. Одинъ купецъ, обращавшійся письменно къ Ивану Ивановичу по какому-то дѣлу, сразу пожертвовалъ пятьдесятъ тысячъ.

Иванъ Ивановичъ, знавшій по опыту, что всякое чувство,—не включая великодушія,—требуетъ для своего проявленія извѣстной степени возбужденія, исподволь подготовлялъ для такихъ случаевъ особыхъ спеціалистовъ. Въ числѣ ихъ, какъ самый способный, считался нѣкто Блиновъ, человѣкъ мелкаго купеческаго состоянія, но съ юности одержимый страстью къ вицмундирной формѣ, чинамъ и знакамъ отличія. Поощряя Блинова, выводя его въ люди, Иванъ Ивановичъ не столько вознаграждалъ его заслуги, сколько воодушевлялся желаніемъ выставить Блинова, какъ живой примѣръ того, куда можетъ привести истинное усердіе человѣка простаго званія. Появленіе Блинова въ кругу купечества производило магическое дѣйствіе. Стоило ему, по методѣ Ивана Ивановича, отвести въ сторону любаго, шепнуть нѣсколько словъ, смотришь: тамъ, гдѣ ничѣмъ въ мірѣ нельзя было выманить алтына, тысячи вылетали, какъ стая испуганныхъ воробьевъ. Искусство Блинова часто приводило къ тому, что купецъ пожертвуетъ, да еще въ придачу задастъ на свой счетъ роскошный завтракъ или обѣдъ

при открытіи учрежденія, или соберетъ подписку для поднесенія ему же, Блинову, цѣннаго подарка или жетона съ его шифромъ, выведеннымъ брилліантами. Разъ даже жертвователями предложена была стипендія имени Блинова. Словомъ, денегъ нашлось въ достаточномъ количествѣ. Городъ, — великодушный, какъ всегда, когда умѣютъ подойти къ нему близко, начавъ издалека, на что Иванъ Иванычъ былъ такой мастеръ, — пожертвовалъ съ своей стороны землю на Выборгской.

Затѣмъ образовались два совѣта: одинъ — *строительный*, другой — *наблюдательно-административный*, уже подъ предсѣдательствомъ графа.

Въ скоромъ времени послѣдовала закладка, сопровождавшаяся, какъ водится, завтракомъ, на которомъ сказано было нѣсколько короткихъ, но глубоко-прочувствованныхъ рѣчей.

Благодаря неусыпной дѣятельности Ивана Иваныча, которому, во всемъ этомъ, какъ самъ онъ говорилъ, ничего не нужно было, „кромѣ того, чтобы удостоиться быть выбраннымъ въ церковные старосты“, зданіе черезъ годъ стояло уже подъ крышей. Спустя еще годъ, оно было совершенно готово. Оставалось только покончить съ украшеніями церкви; они, главнымъ образомъ, и задерживали открытіе. Но въ этомъ нельзя было винить Воскресенскаго. Вина всецѣло падала на архитектора, человѣка прекраснаго во всѣхъ отношеніяхъ, но, къ сожалѣнію, стараго и, притомъ, задавшагося несчастной мыслью выстроить церковь въ греко-византійскомъ стилѣ, требовавшемъ весьма кропотливой детальной раскраски.

Переговорить объ этомъ обстоятельствѣ имѣлось, между прочимъ, въ виду у Ивана Иваныча, когда онъ утромъ ѣхалъ къ графу съ докладомъ.

## III.

— Ваше превосходительство, его сіятельство просятъ васъ пожаловать въ уборную! почтительно проговорилъ камердинеръ, отворяя обѣ половинки двери въ кабинетъ графа.

Воскресенскій взялъ безъ торопливости со стола портфель и сигарный ящикъ и направился черезъ кабинетъ къ маленькой лакированной двери; она провела его въ просторную комнату, оби-

тую ситцемъ, на образецъ палатки; мягкій синій коверъ покрывалъ полъ; свѣтъ въ нижней части оконъ смягчался голубою тафтою; большія складныя ширмы, обитыя тѣмъ же ситцемъ, какъ стѣны и потолокъ, заслоняли кровать и туалетныя принадлежности, распускавшія запахъ одеколона.

Въ большихъ стеганныхъ креслахъ, передъ столомъ съ знакомымъ чайнымъ приборомъ, сидѣлъ графъ. Ему было шестьдесятъ лѣтъ, но онъ прекрасно еще сохранился; статный, свѣжій, въ высшей степени представительный, онъ въ молодости осуществлялъ типъ красавца-мужчины. Лучшимъ украшеніемъ его круглаго, гладко выбритаго лица была однакоже, безспорно, его добрая, сіяющая улыбка; она справедливо заслужила ему прозвище *именинника*. Графъ не могъ только сохранить волосъ; они замѣнялись чернымъ парикомъ, приправленнымъ на старый фасонъ съ завитками у висковъ и хохликомъ на маковкѣ. Графъ былъ въ бѣломъ галстухѣ, едва отдѣлявшемся на его бѣлой полной шеѣ, и въ длинномъ до пятъ коричневомъ сюртукѣ, представлявшемъ нѣчто среднее между пальто и халатомъ.

— Здравствуйте, Иванъ Иванычъ! Какая сегодня погода?

Въ прежнее время Иванъ Иванычъ непремѣнно бы отвѣтилъ: „Какая будетъ угодна вашему сіятельству“, но теперь сказалъ только, что погода прекрасная.

— Садитесь, проговорилъ графъ, пожимая кончикъ руки Воскресенскаго двумя полными бѣлыми пальцами съ короткими квадратными ногтями.

При всемъ довѣріи и уваженіи къ вошедшему, графъ никогда не могъ преодолѣть себя и жать полною ладонью руку Воскресенскаго; влажная и холодная во всякое время, она дѣйствительно дѣлала такое впечатлѣніе, какъ будто въ ладонь вскакивала лягушка.

— Что это у васъ? спросилъ графъ, указывая глазами на сигарный ящикъ.

— Дѣти старшаго отдѣленія сиротскаго пріюта просятъ ваше сіятельство осчастливить ихъ принятіемъ ихъ посильнаго труда, произнесъ Воскресенскій, улыбаясь невинности дѣтской затѣи.— Представить себѣ нельзя, съ какимъ усердіемъ, съ какимъ увлеченіемъ они работали!

— Неужели они сами это сдѣлали? сказалъ графъ, разсматривая ящикъ.

— Сами, ваше сіятельство; сами составили рисунокъ, сами рѣзали, сами выпиливали шарньеры, сами дѣлали замокъ...

— Искусно! проговорилъ графъ, — даже стиль есть...

— Самая затѣя, самая мысль преподнести ихъ трудъ вашему сіятельству принадлежитъ имъ...

— Ну, ужъ признайтесь, мысль вы подали...

— Могу увѣрить васъ...

— Не отказывайтесь, знаю, что вы!...

Несмотря на мягкость нрава, графъ, надо замѣтить, былъ сильно упрямъ, — свойство, которому онъ присвоилъ значеніе твердости характера, — въ чемъ не отличался, впрочемъ, отъ множества смертныхъ, обманывающихъ себя точно также, принимая синицу за ястреба.

Увидѣвъ толстый портфель въ рукахъ Воскресенскаго, графъ произнесъ съ испуганнымъ видомъ: „уфъ!“ — и погрузился въ глубину кресла. Иванъ Иванычъ поспѣшилъ его успокоить, сказавъ, что такъ какъ сегодня пріемный день, онъ ни за что бы не рѣшился обременять графа особенно труднымъ докладомъ; онъ умышленно явился рано, съ тѣмъ, чтобы облегчить графу, насколько возможно, хлопотливое утро. Ему необходимо было, однакоже, воспользоваться свободнымъ временемъ, чтобы поговорить насчетъ постройки *образцоваго центральнаго пріюта*.

— Да, да. Ну, что, какъ тамъ у насъ идетъ? Двигается ли, наконецъ? спросилъ графъ, снова оживляясь и озабоченно надвигая брови.

— Все идетъ прекрасно, ваше сіятельство, одно задерживаетъ: церковь! Зиновьевъ вполнѣ достойный, вполнѣ прекрасный человѣкъ... даже съ талантомъ... Одна бѣда съ нимъ: крайне копотливъ! Затѣялъ тогда этотъ византійскій стилъ...

— Не говорите; стиль этотъ прекрасенъ для православнаго храма!

— Чего же лучше, ваше сіятельство! воскликнулъ Иванъ Иванычъ, — только съ нимъ соединяется множество украшеній. Позолота и раскраска требуютъ много времени... Къ тому же, прибавилъ онъ вкрадчиво, — надо взять въ разсчетъ лѣта Зиновьева...

— Лѣта не мѣшаютъ дѣлу, перебилъ графъ. — Скажите ему, чтобъ онъ ко мнѣ явился.

— Я уже предупредилъ его; онъ сегодня будетъ у вашего сіятельства.

— Надо, однакоже, почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ... надо объ этомъ серьезно подумать... Такъ невозможно!...

— Очень затруднительно, ваше сіятельство, — сказалъ Воскресенскій, дѣлая безнадежный жестъ.

— Затрудненій не должно быть въ такомъ важномъ дѣлѣ! оживляясь, заговорилъ графъ. — Я очень цѣню Зиновьева; жаль было бы его лишиться: почтенный человѣкъ! Много трудился, много работалъ! Надо будетъ какъ нибудь его урезонить, уговорить... Можно будетъ, наконецъ, дать ему помощниковъ... Это лучше всего!... Есть ли у васъ кто-нибудь на примѣтѣ, Иванъ Иванычъ?

При такомъ вопросѣ Воскресенскій только улыбнулся.

— Стоитъ только пожелать вашему сіятельству... — проговорилъ онъ съ видомъ покорности.

Графъ покачалъ головою.

— У васъ есть еще что-нибудь? спросилъ онъ, какъ только Иванъ Иванычъ снова взялся за портфель.

— Да; я хотѣлъ представить вамъ небольшую докладную записку насчетъ молодаго графа...

— Ахъ, да, ну что, какъ онъ теперь? Занимается ли у васъ сколько нибудь?

Дѣло шло о единственномъ сынѣ графа, девятнадцатилѣтнемъ юношѣ, посланномъ отцу въ наказаніе за невѣдомыя прегрѣшенія.

Со дня его рожденія, причинившаго кончину матери, до десятилѣтняго возраста, ребенокъ безпокоилъ отца нескончаемыми болѣзнями, не смотря на тщательный уходъ швейцарскихъ и англійскихъ боннъ и нянюшекъ. Съ десятилѣтняго возраста, когда пришлось отдать графчика въ мужскія руки, гувернеры не переставали надоѣдать графу сообщеніями о томъ, что сынъ его имѣетъ положительное отвращеніе къ занятіямъ; виною всему, по ихъ мнѣнію, было болѣзненное дѣтство, остановившее нормальное развитіе умственныхъ способностей. Пріисканъ былъ нѣмецъ, патентованный педагогъ. Мальчику минулъ тогда пятнадцатый годъ и онъ началъ какъ будто подавать надежды. Разъ какъ-то, проспавъ позже обыкновеннаго, педагогъ нигдѣ не могъ найти своего воспитанника. Онъ былъ остороженъ и не поднялъ тревоги; испугъ его превратился въ негодованіе, когда воспитанникъ, возвратясь

уже къ обѣду, спокойно объявилъ, что воспользовался его сномъ, чтобы съѣздить на скачки вмѣстѣ съ двоюродными братьями. Графчикъ прибавилъ, что если педагогъ пожалуется отцу, пѣсня его будетъ спѣта — ему откажутъ; если же онъ согласится дать ему полную свободу дѣйствій, молодой человѣкъ обѣщалъ показать такія чудеса прилежанія, послѣ которыхъ для отца и тётки сдѣлается обязательнымъ устроить карьеру педагога. Наставникъ вспыхнулъ и на другой же день отказался отъ должности.

Графъ-отецъ, поглощенный своими проектами, принужденный проводить дни въ комитетахъ, комиссіяхъ и совѣщаніяхъ, положительно не имѣлъ времени заниматься сыномъ. Ему не разъ случалось подниматься въ спальную молодаго графа и крестить рядъ подушекъ, прикрытыхъ одѣяломъ, въ то время, какъ тотъ, который долженъ былъ лежать въ постели, находился за тридевять земель отъ своего ложа. Графъ-отецъ очнулся настоящимъ образомъ тогда только, когда пришлось платить за сына первый долгъ. Слѣдуя совѣту сестры, онъ опредѣлилъ его на службу; но и здѣсь опять ничего не вышло. Графчикъ успѣлъ уже попасть въ тотъ заколдованный кругъ золотой молодежи, географія котораго извѣстна: къ сѣверу ресторанъ Дюссо; къ югу ресторанъ Бореля; къ западу Большой театръ и балетъ; къ востоку загородный ресторанъ Дорота съ кокотками и цыганками. Служба была здѣсь другаго рода, также, повидимому, не легкая. Доказательствомъ могла служить заблаговременно истощенная фигурка графчика; когда онъ стоялъ на ногахъ, казалось всегда, что онъ держится только на однихъ панталонахъ; особенно поражало лицо его, состоявшее изъ мелкихъ незамѣтныхъ чертъ, покрытыхъ зеленоватой блѣдностью и морщинками, какъ у ребенка, одержимаго собачьей старостью. Лицо это окончательно принимало жалкій видъ, когда графчикъ входилъ здороваться съ тётушкой, встрѣчавшей его всегда однимъ и тѣмъ же вопросомъ: „Здоровы ли твои кокотки?“ Слова эти повергали всегда юношу въ крайнее смущеніе.

Рѣшительно уже не зная, что дѣлать съ сыномъ, графъ-отецъ рѣшился переговорить съ Воскресенскимъ, какъ человѣкомъ вполнѣ преданнымъ, вѣрнымъ и притомъ практическимъ. Иванъ Иванычъ предложилъ перевести молодаго человѣка на службу въ другой департаментъ и подъ личное его наблюденіе. Онъ ни въ чемъ не ручался, но обѣщалъ приложить стараніе и надѣялся.

Вотъ объ этомъ-то молодомъ человѣкѣ пришлось теперь вести рѣчь.

— Признаюсь, всякій разъ, какъ дѣло касается моего сына, я могу вамъ откровенно сказать: мною невольно овладѣваетъ безпокойство, — произнесъ графъ.

— Молодъ еще, ваше сіятельство, молодъ! Въ этомъ вся бѣда, смѣю васъ увѣрить. Молодому человѣку, прежде всего, слѣдуетъ дать занятіе, которое было бы ему сочувственно.

— Я самъ такъ думалъ. Вы прекрасно это сказали, Иванъ Иванычъ; именно: сочувственно!

— Я придумалъ назначеніе для молодаго графа...

— Ба! — радостно воскликнулъ графъ.

— Если вамъ угодно будетъ выслушать эту докладную записку...

— Очень радъ, мой милый, очень радъ.

Графъ скрестилъ свои бѣлые пальцы и уложилъ руки на грудь.

Иванъ Иванычъ кашлянулъ въ свою мокрую ладонь и прочелъ внушительнымъ голосомъ: „Съ присоединеніемъ кавказскихъ областей къ общему строю Россійскаго государства, ежедневно открываются въ этомъ краѣ новыя неисчислимыя природныя богатства. Въ числѣ таковыхъ нельзя упускать изъ вида обширныхъ лѣсовъ пробковаго дерева, драгоцѣннаго особенно въ томъ отношеніи, что оно произростаетъ въ странѣ винодѣлія, встрѣчающей главное препятствіе для перевоза вина въ Россію — въ недостаткѣ пробки. Развивая у себя дома эту полезную отрасль и тѣмъ способствуя кавказскимъ винодѣламъ сбывать вина во всѣ части государства, достигаются двѣ цѣли: 1) сокращается крайне убыточный расходъ мѣстныхъ производителей, вынужденныхъ затрачивать значительныя суммы для добыванія пробки изъ-за границы; 2) возможность наложить тогда усиленный тарифъ на ввозъ заграничной пробки и тѣмъ усилить государственные доходы. Посему полезно было бы, для начала, командировать довѣренное лицо, хотя бы на югъ Франціи, спеціально съ цѣлью изученія на мѣстѣ пробочнаго производства и, по доставленіи имъ необходимыхъ о томъ свѣдѣній, командировать его, снабдивъ надлежащими инструкціями, на Кавказъ, для водворенія уже въ этой части Россіи новой, столь полезной отрасли...“

— И вы думаете послать сына? — спросилъ удивленный графъ.

— Всенепремѣнно, ваше сіятельство, если только вамъ угодно будетъ на это согласиться, прибавилъ скромно Иванъ Иванычъ.

— И вы полагаете, онъ будетъ способенъ?

— Не сомнѣваюсь. Молодому графу будутъ даны всевозможныя инструкціи и указанія. Ручаюсь вамъ, такая поѣздка будетъ ему столько же полезна въ нравственномъ, сколько въ умственномъ отношеніи; молодой человѣкъ освѣжится, провѣтрится; она разовьетъ въ немъ сознаніе труда и пользы...

— Мысль прекрасная, — разсѣянно проговорилъ графъ. — Дѣйствительно, куда ни посмотришь, у насъ вездѣ непочатый край! Тотъ грекъ... какъ бишь его?... забылъ его имя... правду сказалъ: стоитъ только у насъ плюнуть на землю, чтобы выросла пальма... Что же касается сына, подхватилъ онъ, — мнѣ приходитъ такая мысль: не повредитъ ли эта поѣздка, — если только она состоится, — не повредитъ ли она другому кому-нибудь? Обдумайте это хорошенько: другой, можетъ быть, былъ бы полезнѣе...

— Другаго мы можемъ потомъ послать на Кавказъ уже для водворенія производства, возразилъ, всегда находчивый, Иванъ Иванычъ. — Наконецъ, ваше сіятельство, у меня все это уже обдумано... У меня нѣтъ праздныхъ молодыхъ людей: каждый при своемъ дѣлѣ.

— Хорошо, мы объ этомъ еще поговоримъ; надо подумать. Куда же вы, Иванъ Иванычъ? подхватилъ онъ, увидя, что собесѣдникъ приподнимается съ мѣста. — Развѣ у васъ есть еще какое-нибудь дѣло?

— Ничего особеннаго, ваше сіятельство, въ настоящую минуту. До пріема я хотѣлъ только зайти къ графинѣ. Послѣ сейчасъ же надо будетъ отправиться къ купцу Галкину; огромное состояніе: надо захватить, пока еще не скончался...

— Какъ такъ?

— Говорятъ, умираетъ; лучшее время для пожертвованія; невозможно упустить случая...

Графъ не возражалъ, зная, насколько практичность Ивана Иваныча была плодотворна для цѣлей добра и пользы.

Послѣ его ухода онъ долго еще сидѣлъ въ креслѣ и попеременно то задумывался, когда вспоминалъ о сынѣ, то снова начиналъ улыбаться, когда припоминалъ о новыхъ природныхъ богатствахъ, открывавшихся на почвѣ отечества.

## IV.

Иванъ Иванычъ, между тѣмъ, направлялся на половину графини. Онъ на секунду остановился только въ пріемной, чтобы захватить мозаическій рабочій несессеръ.

Лакей, дежурившій у двери графини, сказалъ ему, что графиня не одна; къ ней только что пріѣхала г-жа Шилохвостова.

Сдѣлавъ нетерпѣливый жестъ, Иванъ Иванычъ передалъ несессеръ лакею, прося сохранить до отъѣзда гостьи, и велѣлъ доложить о себѣ. Минуту спустя, его просили войти.

Наружность графини невольно останавливала вниманіе. Лицо ея, смуглое, какъ у цыганки, освѣщалось блескомъ маленькихъ черныхъ глазъ, бросавшихъ искры изъ-подъ густыхъ, черныхъ, какъ смоль, бровей. Ни одной сѣдинки не было въ ея волосахъ, круто зачесанныхъ и прикрытыхъ оренбургской косынкой; длинная, какъ доска, и такая же почти плоская, какъ доска, со стороны спины и груди, она держалась прямо, какъ стрѣла, готовая тотчасъ сорваться съ тетивы и вылетѣть. Маленькая ея головка гордо поворачивалась на длинной крученой шеѣ, по которой проходили синеватыя вены. Ея смѣлый, энергическій видъ не даромъ внушалъ безпокойство тѣмъ, кто къ ней приближался.

Иванъ Иванычъ засталъ ее сидѣвшею на диванѣ съ вязаньемъ въ рукахъ; спицы судорожно двигались между ея пальцами, такими же сухими, какъ у отшельника.

Безпорядокъ на большомъ столѣ, передъ диваномъ, свидѣтельствовалъ, что здѣсь точно также всѣмъ управляли нетерпѣливыя, судорожныя движенія. Ворохи бумагъ съ надписью: *отчетъ и докладъ*, клубки съ шерстью, брошюры и книжки духовнаго содержанія, свертки разной величины, просфоры, планы часовенъ, нумера газеты: *Душеспасительный Вѣстникъ*, *Правила нравственности*, издаваемыя съ нѣкоторыхъ поръ для народа подъ руководствомъ Воскресенскаго, — все это хаотически перепутывалось, оставляя только въ серединѣ небольшое мѣсто для чернильницы и письменныхъ принадлежностей.

Наискосокъ, въ креслахъ, сидѣлъ дама коротенькаго вида, но такого объема въ ширину, что одна только часть ея тѣла умѣщалась на стулѣ; другая часть поневолѣ должна была оста-

ваться на отвѣсѣ. Госпожа Шилохвостова была въ лиловомъ платьѣ и шляпкѣ такого же цвѣта, украшенной расплюснутой птицей. Подъ шляпкой выставлялись крутыя калмыцкія щеки, коротенькое остріе раздвоеннаго на концѣ носа и выше выскакивали два зрачка, въ которыхъ подвижность усиливалась какимъ-то пожирающимъ выраженіемъ. Лицо было сильно набѣлено, щеки и губы подкрашены, брови подведены, отъ шеи и ушей сыпалась пудра.

При видѣ Ивана Иваныча графиня кивнула головою и указала на стулъ. Госпожа Шилохвостова ограничилась легкимъ наклоненіемъ шляпки.

— Мое почтеніе-съ, холодно проговорилъ онъ, умышленно дѣлая удареніе на послѣднемъ звукѣ.

Воскресенскій основательно не долюбливалъ г-жу Шилохвостову и справедливо называлъ ее *занозой*. Она поминутно становилась ему поперегъ дороги; одержимая бѣсомъ юркости, она просовывала кончикъ носа всюду, гдѣ ее не спрашивали, пролѣзала во всѣ благотворительные комитеты, сплетничала, интриговала, отбивала жертвователей, вербовала въ свой кружокъ подчиненныхъ мужа, заставляла ихъ ѣздить къ купцамъ и явно протежировала тѣмъ изъ нихъ, кто чаще доставлялъ ей случай хвастать собранными ею деньгами въ пользу вдовъ и сиротъ. Неизвѣстно, какая мысль руководила госпожей Шилохвостовой, но въ послѣднее время графиня сдѣлалась цѣлью ея ухищреній. Иванъ Иванычъ насторожилъ вниманіе; онъ зналъ, что къ графинѣ не такъ-то легко было подойти; но, съ другой стороны, графиня имѣла также свои причуды; не смотря на ея умъ, она была чувствительна къ лести, тщеславна, способна къ увлеченіямъ всякаго рода. Наблюдая ходы своей соперницы, онъ не безъ основанія къ ней присматривался.

Такъ, напримѣръ, зимою графиня подошла какъ-то къ окну и сказала: „Какъ холодно сегодня, и посмотрите, однако-жъ, сколько воробьевъ на улицѣ!“ Госпожа Шилохвостова, стоявшая подлѣ, вдругъ жадно ухватила руку графини, глаза ея прищурились отъ накопившихся слезъ и тутъ же, обратясь къ присутствующимъ, она громко и восторженно стала увѣрять, что графиня сейчасъ высказала сожалѣніе о бѣдныхъ беззащитныхъ воробьяхъ, вынужденныхъ искать пищи въ такой ужасный холодъ; она никого не пропускала безъ того, чтобы не повторить разсказа

и всякій разъ съ новымъ варіантомъ. „Скажите, повторяла она,—скажите, чье сердце, кромѣ ея, можетъ совмѣстить въ себѣ столько добра и милосердія? Ее даже сокрушаютъ бѣдствія несчастныхъ птичекъ!“ Сутки спустя, по городу ходила уже цѣлая поэма, въ которой главными лицами были стаи замерзающихъ воробьевъ и графиня, старавшаяся обогрѣть ихъ на груди своей.

Вскорѣ послѣ воробьиной исторіи графиня лишилась сестры; она вышла въ глубокомъ траурѣ поклониться праху покойницы. Госпожа Шилохвостова, присутствовавшая на церемоніи и стоявшая какъ можно ближе къ гробу съ заплаканными глазами, не пропускала ни одного движенія графини; едва окончилась служба, она поспѣшила передать свои впечатлѣнія. „Я стояла противъ графини, повѣствовала она, прикладывая платокъ къ глазамъ,— одно глубокое религіозное чувство можетъ такъ поддерживать духъ и энергію!... Она подошла къ гробу: на лицѣ ни одной слезинки, ни одного движенія! Вся она была тамъ! тамъ!“... и вдругъ, какъ бы передумавъ, тутъ же прибавила, обратясь къ двоюродной сестрѣ графини: „Я стояла подлѣ, она подошла... Я въ жизни не видала ничего подобнаго: вся она была одна слеза, одно рыданіе!“...

Всѣ эти разсказы доходили, разными путями, куда слѣдуетъ, возбуждая, съ одной стороны, смѣхъ, но, съ другой стороны, вселяя нѣкоторое безпокойство въ душу Ивана Иваныча.

Въ настоящее утро госпожа Шилохвостова явилась съ новой выдумкой: рисункомъ для ковра, который, какъ увѣряла она, страстно рвался вышить пріютъ молодыхъ арестантокъ; движимыя единодушнымъ трогательнымъ чувствомъ признательности къ графинѣ, онѣ желали покрыть этимъ ковромъ полъ часовни, гдѣ была погребена ея сестрица. Г-жа Шилохвостова являлась уже четвертый разъ съ тѣмъ же предметомъ; въ первый разъ требовалось узнать, нравится ли вообще рисунокъ ковра въ цѣломъ и деталяхъ; во второй разъ надо было освѣдомиться, какой цвѣтъ лучше подходитъ къ фону главной средней розассѣ; въ третій—узнать, что помѣстить въ розассѣ: гербъ графовъ Можайскихъ, или же ограничиться только вензелемъ. Показывая рисунокъ въ четвертый разъ, г-жа Шилохвостова желала окончательно выяснить и утвердить цвѣтъ бордюра: сдѣлать ли его синимъ,—преобладающимъ цвѣтомъ въ гербѣ,—или же оставить чернымъ, какъ прежде предполагалось.

— Иванъ Иванычъ вошелъ весьма кстати, сказала графиня,—онъ скажетъ намъ свое мнѣніе.

— Къ сожалѣнію, я не свѣдущъ въ дѣлахъ такого рода, скромно возразилъ Воскресенскій.

— Ну, такъ остановитесь окончательно на синемъ бортѣ, продолжала графиня,—черный бортъ ужъ что-то слишкомъ мраченъ. Смерть призываетъ насъ къ другой, лучшей жизни; не знаю, откуда взяли окружать ее тратуромъ... И такъ, до свиданія, *chère* Анна Матвѣвна, завершила она неожиданно и протянула собесѣдницѣ руку.

Госпожа Шилохвостова страстно обхватила протянутые къ ней пальцы обѣими ладонями и поднялась съ мѣста, причемъ кресло крякнуло, какъ бы радуясь освобожденію отъ удручающаго давленія. Кивнувъ головою Ивану Иванычу, она прошла три шага, снова повернулась лицомъ къ графинѣ, произвела новый расплывчатый реверансъ и вышла.

Иванъ Иванычъ надѣялся, что ему скажутъ: „Фу, какая несносная! Какъ надоѣла!“—но надежды его не оправдались. Обратясь къ нему, графиня спросила только:

— Что новаго?

— Ничего рѣшительно, ваше сіятельство, отвѣтилъ тономъ сожалѣнія Иванъ Иванычъ,—застой совершенный; я былъ сейчасъ у графа и явился къ вамъ единственно съ тѣмъ, чтобы освѣдомиться о вашемъ здоровьѣ... Позволилъ себѣ также принести вамъ маленькую бездѣлицу.

— Что такое?

— Старшее отдѣленіе сиротскаго пріюта проситъ васъ осчастливить его принятіемъ знака усердія и высокой признательности... Дѣти сложились,—даже трогательно было видѣть ихъ единодушіе!—и сдѣлали вамъ баульчикъ для укладки шерсти.

— Гдѣ же онъ? Это очень интересно...

Иванъ Иванычъ бросился къ двери и, минуту спустя, поднесъ ящикъ, деликатно поддерживая его обѣими ладонями.

— Очень мило, сказала она,—очень благодарна! Эти дѣти меня рѣшительно балуютъ; надо мнѣ также побаловать ихъ чѣмъ нибудь. Я пошлю имъ конфектъ.

— Бога ради, ваше сіятельство, не посылайте! оживленно заговорилъ Воскресенскій.— Простите мнѣ великодушно, но этого ни подъ какимъ видомъ не надо дѣлать; послѣдствія были бы

самыя вредныя. Всѣ старанія мои направлены къ тому именно, чтобы держать дѣтей въ обстановкѣ той среды, изъ которой они вышли; единственною ихъ роскошью должны быть религіозное и нравственное питаніе; конфекты — произведеніе роскоши; они ее напоминаютъ; они разовьютъ въ дѣтяхъ желанія и вкусы, несоотвѣтствующіе ихъ положенію...

— Опасность, мнѣ кажется, преувеличена... Но, съ извѣстной точки зрѣнія, вы, можетъ быть, правы! Дѣтямъ людей низшихъ классовъ, дѣйствительно, опасно развивать вкусы; мы видимъ, къ сожалѣнію, къ чему приводитъ насъ баловство въ низменныхъ слояхъ общества!... Мнѣ, всетаки, хотѣлось бы чѣмъ нибудь поблагодарить дѣтей за ихъ подарокъ.

— Я велю раздать имъ книжечки нашихъ *правилъ о благонравіи;* увѣряю васъ, они будутъ очень довольны.

— Нѣтъ, книжечки эти ужъ много разъ имъ давали...

— Дѣйствительно... Тогда, если позволите, я прикажу раздать имъ булочекъ...

— Прекрасно, сказала графиня. — Смотрите только, чтобы всѣмъ досталось; никто бы обдѣленъ не былъ.

— Самъ буду наблюдать, ваше сіятельство; каждому будетъ по булочкѣ.

— Благодарю васъ; вы добрый и хорошій человѣкъ, Иванъ Иванычъ!

При этихъ словахъ, высказанныхъ въ первый разъ съ такимъ убѣжденіемъ, Воскресенскій приподнялся съ мѣста, устремилъ на собесѣдницу бѣловатые зрачки, стараясь придать имъ растроганный видъ, и произнесъ колеблющимся голосомъ:

— Мнѣ... мнѣ надо благодарить васъ... Вся цѣль моя заслужить благорасположеніе ваше! Мнѣ, собственно, какъ вамъ хорошо извѣстно, ничего не надо... Я ничего не ищу; задача моей жизни — дѣлать добро по мѣрѣ силъ моихъ и приносить пользу...

— Знаю, знаю... начала было графиня, но взглянула украдкой на часы, бросила на столъ вязанье и прибавила, поспѣшно вставая съ дивана: — я съ вами заговорилась!... Мнѣ надо еще переодѣться и поспѣть на станцію петергофской дороги... Прощайте! Надѣюсь, до скораго свиданія!...

Склонивъ голову и опустивъ глаза къ полу, Воскресенскій сохранилъ такое положеніе до той минуты, пока графиня не вышла изъ комнаты.

## V.

Пріемная, между тѣмъ, начинала проявлять нѣкоторое оживленіе. Дверь графскаго кабинета была еще закрыта, но уже подлѣ нея стоялъ толстенькій курьеръ; другой курьеръ занялъ мѣсто у входа въ пріемную. Передъ однимъ изъ зеркалъ охорашивался дежурный чиновникъ Стрекозинъ, весь вылощенный, съ проборомъ, такъ старательно прохваченнымъ отъ лба до затылка, что гребень въ нѣкоторыхъ мѣстахъ задѣлъ даже кожу. При малѣйшемъ шорохѣ онъ ловко перевертывался на каблукѣ, придавая своему красному лицу выраженіе любезности и привѣтливости, обязательное для чиновниковъ, состоящихъ на дежурствѣ у начальника.

Вскорѣ появился третій курьеръ вмѣстѣ съ лакеемъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ; оба принялись устанавливать передъ окномъ ломберный столъ. Узнавъ, что сюда приказано поставить для осмотра его сіятельства церковную утварь, предназначаемую для церкви новаго центральнаго пріюта, Стрекозинъ торопливо вставилъ въ правый глазъ стеклышко; такая предусмотрительность не была лишней, потому что, минуту спустя, курьеръ и лакей внесли корзину съ утварью. Къ сожалѣнію, Стрекозину не пришлось удовлетворить своему любопытству; обязанность выказывать любезность всѣмъ входившимъ въ пріемную заставила его немедленно обратиться къ показавшемуся тутъ же архитектору Зиновьеву, старичку небольшаго роста, но еще плотному и живому. Старость выказывалась безчисленными мелкими морщинками, собранными вокругъ глазъ, оттѣненныхъ желтизною кожи, и тѣмъ еще, что, вмѣсто волосъ, на темени оставалось подобіе пуха, колеблемаго какъ ковыль на вѣтрѣ; признаки оживленія сохранились въ свѣтлыхъ голубоватыхъ глазахъ, смотрѣвшихъ умно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, скромно, откровенно и честно. Въ этомъ взглядѣ и вообще на всемъ лицѣ, не смотря на его морщины, преобладало выраженіе добродушія, можно даже сказать, чего-то дѣтскаго и невиннаго, еслибъ послѣднее не служило, по большей части, синонимомъ простоты. Широкій лобъ Зиновьева, его взглядъ и полныя губы, часто сжимаемыя горькой улыбкой, ясно показывали, что то, что казалось дѣтскимъ и простодушнымъ, ничего не имѣло общаго съ ограниченностью; то и другое проистекало

скорѣе изъ свойствъ чистой, прекрасной души; отъ всего его существа вѣяло чѣмъ-то прямымъ и честнымъ; свойства эти до такой степени были присущи его природѣ, что ихъ не могли ослабить ни лѣта, ни жизненный опытъ.

Раскланявшись съ дежурнымъ чиновникомъ, Зиновьевъ заботливо принялся разставлять принесенную утварь. Она доставила ему въ послѣднее время не мало хлопотъ. Онъ не считалъ трудности при составленіи самыхъ рисунковъ, требовавшихъ кропотливаго изученія образцовъ отъ девятаго до двѣнадцатаго столѣтія; работа была ему по сердцу, увлекала его и онъ трудился съ усердіемъ. Главнымъ образомъ нестерпимо было возиться послѣ того, какъ рисунки были уже окончательно утверждены и самые предметы стали постепенно изготовляться. Ихъ то и дѣло требовали для просмотра, и каждый изъ участниковъ считалъ непремѣннымъ своимъ долгомъ сдѣлать какое нибудь замѣчаніе. Иванъ Ивановичъ говорилъ: „Прекрасно“, но тутъ же прибавлялъ, прикасаясь всегда къ каждой вещи: „Тутъ вотъ какъ будто... что-то такое...“ Графъ то одобрялъ, то находилъ также, „что тутъ... какъ будто что-то такое...“ и, не договаривая, желалъ исправленія. Графиня, въ общемъ, была довольна, но въ послѣднее время стала находить, что стиль слишкомъ кудрявъ и мало „какъ будто“ отвѣтствуетъ строгости назначенія. Хуже всего было то, что всякій разъ волей-неволей приходилось передѣлывать и, чаще всего, портить то, что давно было утверждено при представленіи рисунковъ. Теперь, кажется, все было сдѣлано; но нѣтъ,— Воскресенскій снова предувѣдомлялъ о желаніи графа взглянуть еще разъ на утварь; дѣлать нечего,— надо было исполнить приказаніе.

Въ то время, какъ старый архитекторъ хлопоталъ у стола, въ пріемную вошелъ, оглядываясь на всѣ стороны и какъ бы чего-то отыскивая, рослый купецъ съ медалью на лентѣ; за нимъ робко выступила тощая дама въ траурномъ платьѣ такого вида, какъ будто его заодно съ владѣлицей вытащили изъ воды, не успѣвъ еще хорошенько просушить. Спустя нѣсколько времени, показалась группа изъ восьми лицъ мужскаго пола; тутъ были рослые и маленькіе, старые и среднихъ лѣтъ, лысые и приглаженные и такіе, у которыхъ волосы торчали, какъ иглы у ежа; всѣ были во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ; нѣкоторые выказывали на видныхъ мѣстахъ орденскіе знаки.

Стрекозинъ, перевертываясь волчкомъ на каблукахъ, любезно

## V.

Пріемная, между тѣмъ, начинала проявлять нѣкоторое оживленіе. Дверь графскаго кабинета была еще закрыта, но уже подлѣ нея стоялъ толстенькій курьеръ; другой курьеръ занялъ мѣсто у входа въ пріемную. Передъ однимъ изъ зеркалъ охорашивался дежурный чиновникъ Стрекозинъ, весь вылощенный, съ проборомъ, такъ старательно прохваченнымъ отъ лба до затылка, что гребень въ нѣкоторыхъ мѣстахъ задѣлъ даже кожу. При малѣйшемъ шорохѣ онъ ловко перевертывался на каблукѣ, придавая своему красному лицу выраженіе любезности и привѣтливости, обязательное для чиновниковъ, состоящихъ на дежурствѣ у начальника.

Вскорѣ появился третій курьеръ вмѣстѣ съ лакеемъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ; оба принялись устанавливать передъ окномъ ломберный столъ. Узнавъ, что сюда приказано поставить для осмотра его сіятельства церковную утварь, предназначаемую для церкви новаго центральнаго пріюта, Стрекозинъ торопливо вставилъ въ правый глазъ стеклышко; такая предусмотрительность не была лишней, потому что, минуту спустя, курьеръ и лакей внесли корзину съ утварью. Къ сожалѣнію, Стрекозину не пришлось удовлетворить своему любопытству; обязанность выказывать любезность всѣмъ входившимъ въ пріемную заставила его немедленно обратиться къ показавшемуся тутъ же архитектору Зиновьеву, старичку небольшаго роста, но еще плотному и живому. Старость выказывалась безчисленными мелкими морщинками, собранными вокругъ глазъ, оттѣненныхъ желтизною кожи, и тѣмъ еще, что, вмѣсто волосъ, на темени оставалось подобіе пуха, колеблемаго какъ ковыль на вѣтрѣ; признаки оживленія сохранились въ свѣтлыхъ голубоватыхъ глазахъ, смотрѣвшихъ умно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, скромно, откровенно и честно. Въ этомъ взглядѣ и вообще на всемъ лицѣ, не смотря на его морщины, преобладало выраженіе добродушія, можно даже сказать, чего-то дѣтскаго и невиннаго, еслибъ послѣднее не служило, по большей части, синонимомъ простоты. Широкій лобъ Зиновьева, его взглядъ и полныя губы, часто сжимаемыя горькой улыбкой, ясно показывали, что то, что казалось дѣтскимъ и простодушнымъ, ничего не имѣло общаго съ ограниченностью; то и другое проистекало

скорѣе изъ свойствъ чистой, прекрасной души; отъ всего его существа вѣяло чѣмъ-то прямымъ и честнымъ; свойства эти до такой степени были присущи его природѣ, что ихъ не могли ослабить ни лѣта, ни жизненный опытъ.

Раскланявшись съ дежурнымъ чиновникомъ, Зиновьевъ заботливо принялся разставлять принесенную утварь. Она доставила ему въ послѣднее время не мало хлопотъ. Онъ не считалъ трудности при составленіи самыхъ рисунковъ, требовавшихъ кропотливаго изученія образцовъ отъ девятаго до двѣнадцатаго столѣтія; работа была ему по сердцу, увлекала его и онъ трудился съ усердіемъ. Главнымъ образомъ нестерпимо было возиться послѣ того, какъ рисунки были уже окончательно утверждены и самые предметы стали постепенно изготовляться. Ихъ то и дѣло требовали для просмотра, и каждый изъ участниковъ считалъ непремѣннымъ своимъ долгомъ сдѣлать какое нибудь замѣчаніе. Иванъ Ивановичъ говорилъ: „Прекрасно“, но тутъ же прибавлялъ, прикасаясь всегда къ каждой вещи: „Тутъ вотъ какъ будто... что-то такое...“ Графъ то одобрялъ, то находилъ также, „что тутъ... какъ будто что-то такое...“ и, не договаривая, желалъ исправленія. Графиня, въ общемъ, была довольна, но въ послѣднее время стала находить, что стиль слишкомъ кудрявъ и мало „какъ будто“ отвѣтствуетъ строгости назначенія. Хуже всего было то, что всякій разъ волей-неволей приходилось передѣлывать и, чаще всего, портить то, что давно было утверждено при представленіи рисунковъ. Теперь, кажется, все было сдѣлано; но нѣтъ,— Воскресенскій снова предувѣдомлялъ о желаніи графа взглянуть еще разъ на утварь; дѣлать нечего,— надо было исполнить приказаніе.

Въ то время, какъ старый архитекторъ хлопоталъ у стола, въ пріемную вошелъ, оглядываясь на всѣ стороны и какъ бы чего-то отыскивая, рослый купецъ съ медалью на лентѣ; за нимъ робко выступила тощая дама въ траурномъ платьѣ такого вида, какъ будто его заодно съ владѣлицей вытащили изъ воды, не успѣвъ еще хорошенько просушить. Спустя нѣсколько времени, показалась группа изъ восьми лицъ мужскаго пола; тутъ были рослые и маленькіе, старые и среднихъ лѣтъ, лысые и приглаженные и такіе, у которыхъ волосы торчали, какъ иглы у ежа; всѣ были во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ; нѣкоторые выказывали на видныхъ мѣстахъ орденскіе знаки.

Стрекозинъ, перевертываясь волчкомъ на каблукахъ, любезно

отъ другаго, повинуясь только собственному нюху, пришли, тѣмъ не менѣе, къ одной цѣли. Оба незамѣтно подмостились къ Ивану Иванычу, и каждый лѣзъ изъ кожи, стараясь угодить ему, зная, что за нимъ усердіе не пропадаетъ. Бабковъ, искавшій, прежде всего, выгодныхъ казенныхъ построекъ, даромъ доставлялъ планы для подвѣдомственныхъ Ивану Иванычу богадѣленъ и душеспасительныхъ школъ, строилъ, воздвигалъ дымовыя трубы, проводилъ водосточныя канавы, подбивалъ молодежь безвозмездно рисовать и чертить; Лисичкинъ, болѣе самолюбивый, подбирался, какъ кошка къ сырому мясу, къ почетному званію и кресту на шею; съ этою цѣлью спѣшилъ онъ украшать стѣны пріютовъ и богадѣленъ портретами предсѣдателей и великодушныхъ жертвователей, самъ жертвовалъ образа своей работы, исполнялъ порученія, давалъ совѣты и хотя въ послѣднемъ часто выказывалъ рѣзкость и самоувѣренность, не отвѣчавшія его менѣе чѣмъ скромному значенію, какъ художника, но дѣлалъ это, убѣдившись изъ опыта, что смѣлость и дерзость иногда города берутъ.

Воскресенскій былъ поэтъ въ своемъ родѣ. Стиховъ онъ не писалъ, но склоненъ былъ къ увлеченіямъ и даже не лишенъ былъ творческой способности. Онъ постоянно находился подъ обаяніемъ какой нибудь личности или нѣсколькихъ лицъ, которыхъ самъ же выдумывалъ, снабжая ихъ вдругъ всѣми возможными качествами. Чѣмъ ничтожнѣе была личность, но чѣмъ болѣе усматривалось въ ней смиренія и преданности, тѣмъ вѣрнѣе могла она разсчитывать попасть въ число любимцевъ Ивана Иваныча. Любимца всюду выставляли впередъ, расхваливали на всѣхъ перекресткахъ, рекомендовали и опредѣляли, хотя бы для этого требовалось придраться къ другому лицу и спихнуть его съ мѣста. Иванъ Иванычъ не преслѣдовалъ при этомъ никакой корыстной цѣли; онъ дѣйствовалъ искренно: въ увлеченіяхъ его было что-то отеческое, вытекавшее изъ потребности выводить маленькихъ Воскресенскихъ и имъ покровительствовать. Такими любимцами въ послѣднее время были Бабковъ и Лисичкинъ. Мимо тѣхъ услугъ, какими можно было отъ нихъ пользоваться, Иванъ Иванычъ чувствовалъ къ нимъ какое-то внутреннее влеченіе.

Онъ любилъ обоихъ за то также, что съ ними не требовалось большихъ расходовъ краснорѣчія. Не смотря на внѣшнюю разность типовъ Бабкова и Лисичкина, у обоихъ были совершенно схожіе глаза сѣраго оттѣнка, такъ уже устроенные, что они пони-

Вотъ объ этомъ-то молодомъ человѣкѣ пришлось теперь вести рѣчь.

— Признаюсь, всякій разъ, какъ дѣло касается моего сына, я могу вамъ откровенно сказать: мною невольно овладѣваетъ безпокойство, — произнесъ графъ.

— Молодъ еще, ваше сіятельство, молодъ! Въ этомъ вся бѣда, смѣю васъ увѣрить. Молодому человѣку, прежде всего, слѣдуетъ дать занятіе, которое было бы ему сочувственно.

— Я самъ такъ думалъ. Вы прекрасно это сказали, Иванъ Иванычъ; именно: сочувственно!

— Я придумалъ назначеніе для молодаго графа...

— Ба! — радостно воскликнулъ графъ.

— Если вамъ угодно будетъ выслушать эту докладную записку...

— Оченъ радъ, мой милый, очень радъ.

Графъ скрестилъ свои бѣлые пальцы и уложилъ руки на грудь.

Иванъ Иванычъ кашлянулъ въ свою мокрую ладонь и прочелъ внушительнымъ голосомъ: „Съ присоединеніемъ кавказскихъ областей къ общему строю Россійскаго государства, ежедневно открываются въ этомъ краѣ новыя неисчислимыя природныя богатства. Въ числѣ таковыхъ нельзя упускать изъ вида обширныхъ лѣсовъ пробковаго дерева, драгоцѣннаго особенно въ томъ отношеніи, что оно произростаетъ въ странѣ винодѣлія, встрѣчающей главное препятствіе для перевоза вина въ Россію — въ недостаткѣ пробки. Развивая у себя дома эту полезную отрасль и тѣмъ способствуя кавказскимъ винодѣламъ сбывать вина во всѣ части государства, достигаются двѣ цѣли: 1) сокращается крайне убыточный расходъ мѣстныхъ производителей, вынужденныхъ затрачивать значительныя суммы для добыванія пробки изъ-за границы; 2) возможность наложить тогда усиленный тарифъ на ввозъ заграничной пробки и тѣмъ усилить государственные доходы. Посему полезно было бы, для начала, командировать довѣренное лицо, хотя бы на югъ Франціи, спеціально съ цѣлью изученія на мѣстѣ пробочнаго производства и, по доставленіи имъ необходимыхъ о томъ свѣдѣній, командировать его, снабдивъ надлежащими инструкціями, на Кавказъ, для водворенія уже въ этой части Россіи новой, столь полезной отрасли...“

Иванычъ, указывая на дверь пріемной,—не угодно ли вамъ будетъ на секунду пожаловать рядомъ, въ маленькую столовую; я привелъ туда архитектора Бабкова, который доставилъ планы конюшенъ и флигеля въ Синекуровѣ (такъ прозывалось главное имѣніе графа); желалось мнѣ также показать портретъ вашъ, прежде чѣмъ его поставятъ на мѣсто...

— Это куда же?

— Въ новый центральный пріютъ; портретъ писалъ художникъ нашъ Лисичкинъ.

— Какой Лисичкинъ?

— Тотъ самый, который пожертвовалъ иконостасъ своей работы для церкви новаго пріюта.

— А! знаю! Очень радъ буду его видѣть,—сказалъ графъ, направляясь къ маленькой столовой.

Иконостасъ, о которомъ упоминалъ Воскресенскій, былъ однимъ изъ наказаній строителя церкви, Зиновьева. Онъ ахнулъ, когда увидалъ его. и чуть не заплакалъ, получивъ приказаніе поставить его. „Что же это такое? — твердилъ онъ упавшимъ голосомъ и жалобно скрещивая руки при видѣ рутинныхъ и дѣтски намалеванныхъ изображеній, вмѣсто тѣхъ строгихъ образовъ древне-греческаго характера, которыми мечталъ онъ украсить церковь, любимое свое дѣтище. — Боже мой, что же это такое?“ — повторялъ онъ, потирая въ недоумѣніи лобъ. Выраженія эти были, къ сожалѣнію, переданы Лисичкину, который съ тѣхъ поръ сталъ искоса поглядывать на стараго архитектора.

— Здравствуйте, господа!—привѣтливо воскликнулъ графъ, выходя къ художникамъ.

Бабковъ, державшій панку наготовѣ, вытянулся по-солдатски: Лисичкинъ, стоявшій подлѣ портрета, представлявшаго графа въ полномъ парадномъ мундирѣ, растаялъ, какъ кусокъ масла, опущенный въ горячую воду.

Графъ остался доволенъ сходствомъ, пожалѣлъ только, что всѣ портреты писаны заочно, съ фотографій, отличаются недостаткомъ чего-то сѣраго въ общемъ тонѣ и вообще страдаютъ отсутствіемъ чего-то живаго.

Такого замѣчанія именно и ждалъ Лисичкинъ.

— Я, ваше сіятельство, съ тѣмъ и взялъ на себя смѣлость представить вамъ портретъ, что надѣялся... надѣялся удостоиться хотя бы одного сеанса... всего на полчаса какіе нибудь!... Вотъ

тутъ бы и еще здѣсь слѣдовало пройти еще разъ,—подхватилъ онъ, прикасаясь пальцами къ полотну такъ нѣжно, какъ бы боясь что нибудь испортить. — Одинъ только сеансъ, ваше сіятельство! — добавилъ онъ робко-умоляющимъ голосомъ.

— Очень радъ! Я пришлю сказать, когда будетъ можно, — ласково возразилъ графъ. — У васъ что? — обратился онъ къ Бабкову.

— Планы конюшенъ и флигеля, которые вамъ угодно было приказать составить, — хрипло отвѣчалъ Бабковъ, принимаясь развертывать папку.

— Прекрасно; но, прежде чѣмъ рѣшить что-нибудь, надо было бы посовѣтоваться съ графиней...

— Ея сіятельство только что уѣхала, — замѣтилъ Иванъ Иванычъ.

— Тогда отложимъ лучше до завтра... къ тому же, мнѣ теперь недосугъ; меня ждутъ въ пріемной.

— Я пригласилъ этихъ господъ еще съ тѣмъ, ваше сіятельство, — вкрадчиво началъ Воскресенскій, — что такъ какъ вамъ угодно было приказать архитектору Зиновьеву представить сегодня церковную утварь, то г. Лисичкинъ и г. Бабковъ, оба, какъ опытные художники, могли бы дать полезныя указанія...

— Прекрасно сдѣлали! Очень радъ буду видѣть васъ еще разъ. Теперь прощайте! — заключилъ графъ, возвращаясь въ кабинетъ.

Свиданіе было непродолжительно, но привело къ тому, что было заранѣе разсчитано: Лисичкинъ добился сеанса, который доставлялъ ему случай видѣть графа съ глазу на глазъ; Бабковъ достигъ той же цѣли. Обоимъ открывалась возможность врѣзать лишній разъ ихъ черты въ памяти графа. Сознавая важность услуги, какъ тотъ, такъ и другой не переставали благодарить Воскресенскаго во все время, какъ онъ велъ ихъ въ пріемную.

Пока Иванъ Иванычъ занялся бесѣдой съ тѣми и другими лицами, Бабковъ и Лисичкинъ подошли къ Зиновьеву.

— Боже мой, кого я вижу! Здравствуйте, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, здравствуйте! — заговорилъ Лисичкинъ такимъ голосомъ, какъ будто не ожидалъ встрѣчи съ любимымъ человѣкомъ и былъ искренно ею обрадованъ.

Въ избыткѣ чувствъ онъ уже наклонился, выражая желаніе облобызать старика, но подумалъ о неудобствѣ мѣста и воздержался.

— Какъ здоровеньки, батенька? Давненько не видались!— сказалъ Бабковъ, протягивая руку.

Изъявленіе дружескихъ чувствъ нѣсколько удивило Зиновьева. Съ Лисичкинымъ онъ познакомился, когда пришлось ставить его иконостасъ, — обстоятельство это не способствовало ихъ сближенію; съ Бабковымъ онъ встрѣчался также весьма рѣдко. Все это не помѣшало ему любезно раскланяться и подвести ихъ къ столу съ утварью.

— Прелесть!... Ну, просто прелесть!—воскликнулъ Лисичкинъ, расплываясь отъ восхищенія прежде еще, чѣмъ успѣлъ осмотрѣть что нибудь;—откуда только, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, откуда взяли вы эти чудные типы?...

— Откуда? Вотъ откуда!—брякнулъ Бабковъ, хлопая себя по лбу. — Я правду говорю!...

— Конечно, — подхватилъ живописецъ, — но, Боже мой, сколько изслѣдованій... Одно это кадило: сласть просто! — восторгался Лисичкинъ, косясь, однакожъ, на дверь кабинета.

— Талантъ, голубчикъ! Я не люблю кривляться; прямо говорю: талантъ! Видѣлъ ли ты рисунки его реставрацій?

— Видѣлъ, — подхватилъ Лисичкинъ, — чудеса просто! А видѣлъ ли ты у Алексѣя Максимыча его рисунки итальянскихъ мозаикъ? Если не видалъ, попроси взглянуть! Истинное сокровище! Скажите, неужели они до сихъ поръ не изданы?

— Пока еще нѣтъ, — скромно отозвался Зиновьевъ. — Помилуйте, кому они нужны? Чѣмъ можно было, я воспользовался для церкви и пріюта; многое подходило къ стилю... Остальное до сихъ поръ такъ лежитъ.

— О чемъ это вы тутъ бесѣдуете? — тихо, какъ бы подкравшись, спросилъ Иванъ Иванычъ,

— Восхищаемся,—проговорилъ „лукавый блондинъ“ съ видомъ простодушія.

— Стоимъ да похваливаемъ! — сказалъ „хитрый мужикъ“, казавшійся въ эту минуту болѣе чѣмъ когда нибудь простымъ „добрымъ малымъ“.

Сѣрые зрачки его встрѣтились съ глазами Лисичкина; оба украдкой обмѣнялись взглядомъ, перевели глаза на Воскресенскаго и какъ бы случайно попали прямо въ его лучъ зрѣнія. Обмѣнъ этихъ взглядовъ прошелъ незамѣтно для Зиновьева,

который въ это время благодарилъ Ивана Иваныча, присоединившаго свои одобренія къ похваламъ художниковъ.

— Все это отлично, господа,—сказалъ Воскресенскій,—но были ли вы въ самой церкви, для которой предназначается эта утварь, — я разумѣю: видѣли ли вы ее теперь, въ послѣднее время?

— Къ сожалѣнію, съ тѣхъ поръ не былъ, какъ Алексѣй Максимычъ такъ обязательно ставилъ мой иконостасъ,—отозвался Лисичкинъ, изъ памяти котораго изгладилось, повидимому, неудовольствіе, возникшее тогда между нимъ и старымъ архитекторомъ.

— Я также давно не былъ!—подхватилъ добродушно Бабковъ. —Сто разъ собирался, да все дѣла, батенька! А вотъ что: благо всѣ здѣсь на-лицо, взяли бы, да и поѣхали!...

— Очень буду радъ, — пробормоталъ Зиновьевъ.

— Вы поѣдете съ нами, Иванъ Иванычъ?

— Съ удовольствіемъ, только сегодня и завтра мнѣ невозможно...

— Я попросилъ бы васъ, господа, повременить еще нѣсколько дней, — принужденно выговорилъ Зиновьевъ, — теперь снимаютъ внутри лѣса; самое неблагопріятное время! Ужъ показывать, такъ показывать товаръ лицомъ, какъ говорится. Позвольте: сегодня у насъ вторникъ; не угодно ли будетъ въ субботу?

— А, ну, въ субботу, такъ въ субботу! По рукамъ, значитъ! Вамъ можно, Иванъ Иванычъ?

— Можно.

— И мнѣ также, — радостно сказалъ Лисичкинъ.

Здѣсь, снова и опять незамѣтно для Зиновьева, произошелъ обмѣнъ взглядовъ между Воскресенскимъ и двумя его пріятелями.

Бабковъ и Лисичкинъ уже протягивали руки Зиновьеву, но въ эту минуту курьеръ отворилъ обѣ половинки двери въ кабинетъ и оба быстро откинулись въ сторону. Между присутствующими прошло жужжаніе, точно всполошился рой большихъ осеннихъ мухъ; шумъ этотъ тотчасъ же упалъ, какъ будто всѣ мухи разомъ вылетѣли въ окно. Наступило мертвое молчаніе.

Съ привѣтливой улыбкой на устахъ, въ глазахъ, на всемъ лицѣ показался графъ.

Все замерло. Слышалось только, какъ хлопала маркиза въ одномъ изъ оконъ.

Иванъ Иванычъ, скользя на своихъ мягкихъ подошвахъ, приблизился къ графу; съ другой стороны подлетѣлъ дежурный чиновникъ Стрекозинъ, весь превращаясь въ слухъ и зрѣніе.

Графъ подошелъ, прежде всего, къ депутаціи. Изъ группы выступилъ кудрявый съ просѣдью господинъ.

— Имѣемъ честь представиться,—началъ онъ колеблющимся голосомъ, — депутація изъ Москвы къ вашему сіятельству отъ... отъ... *общества призрѣнія сиротъ китолововъ, погибшихъ на Мурманскомъ берегу*... Просимъ ваше сіятельство сдѣлать честь обществу принять его подъ ваше покровительство...

— И предсѣдательство, — шепнули сзади, но такъ громко, что всѣ услышали.

— И предсѣдательство, — оторопѣвъ, добавилъ ораторъ.

— Прекрасная мысль! Очень радъ, господа; всегда сочувствую всякому доброму, полезному дѣлу,—съ любезностью сказалъ графъ. — Давно общество основано?

— Основывается только-что, ваше сіятельство...

— Прекрасно! Я только не понимаю, почему же именно въ Москвѣ? Не удобнѣе ли было бы гдѣ-нибудь у моря; напримѣръ, хоть въ Архангельскѣ?

— Въ Москвѣ, ваше сіятельство, предполагается только устройство центральной администраціи... Оттуда уже...

— Ну, это другое дѣло!... Поблагодарите отъ меня общество, господа; передайте, что я съ своей стороны готовъ... всегда готовъ содѣйствовать всякому доброму, полезному дѣлу...

Ораторъ сдѣлалъ шагъ впередъ и, согнувшись, подалъ уставъ общества. Графъ обратился къ Стрекозину, котораго, въ разсѣянности, назвалъ Ласточкинымъ, и приказалъ принять уставъ.

Члены депутаціи попятились назадъ съ поклонами.

Графъ приблизился къ купцу, который, издали еще, топтался на мѣстѣ, какъ гусакъ; по лицу его струились крупныя капли пота; глаза его, выпученные какъ у лягушки, умилительно моргали.

Иванъ Иванычъ слегка наклонился къ уху графа:

— Купецъ Жигулевъ... благодаритъ за награду...

— Поздравляю!—привѣтственно сказалъ графъ,—отъ души поздравляю!...

Глаза Жигулева неожиданно зажмурились, жирное лицо задрожало, и онъ проговорилъ, задыхаясь на каждомъ словѣ:

— Ваше сіятельство... осчастливьте!... Сегодня у меня жена именинница... Осчастливьте... позвольте поцѣловать вашу ручку...

— Полно, старикъ, полно! — ласково проговорилъ графъ, трепля его по плечу и всякій разъ быстро отдергивая руку, какъ только Жигулевъ порывался влѣпить въ нее поцѣлуй.

Послѣ этого онъ прошелъ къ траурной дамѣ. Но та отъ волненія рѣшительно не могла произнести слова и только утирала слезы и совала впередъ просьбу, дрожавшую въ ея рукѣ.

— Успокойтесь, сударыня, — сказалъ графъ, я сдѣлаю все, все, что будетъ только возможно... Ласточкинъ! — обозвалъ онъ снова Стрекозина,—возьмите у дамы просьбу и потомъ мнѣ передайте... Еще разъ прошу васъ, сударыня: успокойтесь!

При видѣ Зиновьева и разставленной на столѣ церковной утвари, улыбающееся лицо графа сдѣлалось нѣсколько строже.

— Здравствуйте, — проговорилъ онъ съ несвойственной ему сухостью.

Онъ медленно подошелъ къ столу, между тѣмъ какъ Лисичкинъ и Бабковъ, выступая за нимъ на цыпочкахъ, жались подлѣ Ивана Иваныча.

— Все ли, наконецъ, у васъ готово? Давно пора, мой милый!... Господа, — обратился графъ къ двумъ художникамъ, —вы здѣсь весьма кстати: интересно было бы знать ваше мнѣніе... Что вы на это скажете?

— Прекрасно! — съ нѣжностью, но нерѣшительно какъ-то сказалъ Лисичкинъ.

— Отлично! — глухо отозвался Бабковъ.

— Тонко... деликатно! —подхватилъ Лисичкинъ,—но тутъ же замялся, какъ бы стѣсняясь дальше выразить свое мнѣніе.

— Никакихъ, стало быть, замѣчаній? — спросилъ графъ.

— Гм...

— Никакихъ, ваше сіятельство... все здѣсь одинаково прекрасно. Конечно, во всемъ можно всегда найти недостатки... но зачѣмъ же это?

— Говорите, не стѣсняйтесь, прошу васъ! — сказалъ Зиновьевъ.

— Зачѣмъ же? помилуйте!... Все такъ прелестно!

мокрымъ лицомъ, облѣпленнымъ мухами. Съ разныхъ концовъ крышъ и въ разныхъ направленіяхъ висѣли веревки съ клѣтками для маляровъ; многіе дома стояли наполовину окрашенными; цѣлые участки тротуара были забрызганы мѣломъ. Елки, посаженныя въ кадки у входа въ ресторанъ Доминика, совсѣмъ уже успѣли пересохнуть; стоявшіе тутъ же маленькіе мраморные столики отдавали жаромъ; къ нимъ жутко было прикоснуться. Вообще говоря, Невскій проспектъ не имѣлъ въ это время ничего привлекательнаго; онъ возбуждалъ желаніе убѣжать отъ него какъ можно дальше.

То же самое, вѣроятно, думалъ и Алексѣй Максимычъ; онъ поминутно отиралъ лицо платкомъ и снималъ шляпу, чтобы ею опахнуться. Онъ радостно достигъ Михайловской улицы, радостно сѣлъ въ вагонъ конки и еще съ большею радостью освѣтилось доброе лицо старика, когда вагонъ, дребезжа своими стеклами, покатилъ къ Царицыну лугу.

„Желалъ бы я знать, отчего вдругъ такая немилость?— мысленно разсуждалъ онъ, возвращаясь къ предмету прерванныхъ размышленій.— Бывало, всегда такой обходительный, любезный... Никогда не видалъ его такимъ, какъ сегодня! Желалъ бы знать также, чего увиваются эти два господина? Ну, Воскресенскій,— тотъ ведетъ дѣло, всѣмъ ворочаетъ, видитъ здѣсь разсчетъ какой нибудь... Но эти-то что?... Эхъ-хе! Разъ въ жизни посчастливилось встрѣтить настоящую, милую работу... Мечталъ о ней, наконецъ добился; любилъ ее и лелѣялъ, какъ дѣтище; всю душу положилъ, какъ говорится... Хоть бы спокойно дали достроить,— нѣтъ! что ни день, ставятъ новыя рогатки; вмѣшиваются, портятъ, заставляя принимать, напримѣръ, такія работы, какъ тотъ иконостасъ. Охъ, ужъ мнѣ этотъ иконостасъ! Суетятъ, торопятъ... Въ концѣ-концовъ, больше горя, чѣмъ радости! Впрочемъ, нѣтъ худа безъ добра! Примѣръ пригодится моему Сережѣ; онъ же такой горячій! „Талантъ, говоритъ, талантъ и трудъ все, дѣдушка, побѣждаютъ!“ Твоими бы устами медъ пить, голубчикъ. Бѣдный мальчикъ! Пускай, однакожъ, остается, Христосъ съ нимъ, при такой вѣрѣ; она нужна въ молодости; жизнь въ свое время всему научитъ!“

На Карповскомъ мосту Алексѣй Максимычъ торопливо вылѣзъ изъ вагона, спустился съ моста и пошелъ правымъ берегомъ рѣчки. Съ этой стороны дачи тѣснятся только при самомъ на-

чалѣ; дальше онѣ рѣдѣютъ, замѣняясь мало-по-малу заборами и садами. Мѣстами, у самаго берега, почти изъ воды подымалась группа старыхъ ветелъ и ольхи, и тѣнь отъ нихъ, сливаясь съ тѣнью ближайшаго сада, покрывала дорогу. Старикъ снималъ тогда шляпу и съ видимымъ удовольствіемъ начиналъ вдыхать воздухъ. Онъ вообще казался теперь менѣе озабоченнымъ, чѣмъ былъ въ вагонѣ; впечатлѣнія утра, повидимому, сглаживались, давая мѣсто болѣе спокойнымъ, свѣтлымъ мыслямъ. Всякій разъ, какъ на пути встрѣчалась живописная группа деревъ или рѣчка дѣлала поворотъ, открывая неожиданно новый картинный эффектъ свѣта, Алексѣй Максимычъ замедлялъ шагъ и на лицѣ его проступало замѣтное оживленіе. Разъ даже, не удовольствовавшись нѣмымъ созерцаніемъ, онъ громко воскликнулъ:

— Эхъ, жаль, нѣтъ моей Марусеньки! Какую славную акварель она бы здѣсь написала!...

Онъ ускоренно зашагалъ по деревяннымъ мосткамъ, замѣнявшимъ тротуаръ, и, немного погодя, вышелъ въ дальній конецъ Песочнаго переулка, гдѣ нанималъ дачу.

Домъ стоялъ въ глубинѣ сада, отдѣлявшагося отъ переулка высокимъ заборомъ изъ барочныхъ досокъ, просверленныхъ дырьями. Подойдя ближе, Алексѣй Максимычъ сталъ прислушиваться къ голосамъ, раздававшимся изъ сада; голоса были ему хорошо знакомы; но съ первой минуты понялъ онъ, что въ домѣ происходитъ что-то особенное. Онъ убѣдился въ этомъ, какъ только открылъ калитку.

Посреди небольшаго дворика дачи стояла незнакомая ему оборванная, босоногая дѣвочка, лѣтъ шести, и подлѣ нея также незнакомый и оборванный мальчикъ, меньшаго возраста; лица ихъ были пухлы отъ слезъ; на щекѣ мальчика виднѣлись слѣды крови, которую старалась обмыть Маруся, дѣвушка лѣтъ девятнадцати, стройная, красивая, съ чудесными волосами каштановаго цвѣта; стоя на колѣнахъ передъ мальчикомъ, она обмывала ему лицо, между тѣмъ какъ чашку съ водою усердно поддерживали двѣ дѣвочки, лѣтъ по десяти, обѣ бѣлокурыя, въ ситцевыхъ цвѣтныхъ платьяхъ и бѣлыхъ передникахъ. Группу завершалъ юноша, лѣтъ двадцати, рослый, широкоплечій, кудрявый, съ пушкомъ вокругъ щекъ и на верхней губѣ. Онъ казался чѣмъ-то взволнованъ; щеки его пылали, брови судорожно передвигались, пальцы сжимались въ кулакъ. Всѣ присутствующіе

были чѣмъ-то сильно возбуждены; всѣ говорили и кричали въ одно время.

При видѣ старика, бѣлокурыя дѣвочки торопливо поставили чашку на песокъ и со всѣхъ ногъ бросились ему навстрѣчу; не успѣлъ онъ очнуться, какъ уже почувствовалъ себя въ ихъ рукахъ.

— Дѣдушка, я разскажу тебѣ... Это ужасно! ужасно! — едва переводя духъ отъ волненія, заговорила младшая изъ нихъ, Катя.

— Послушай только, дѣдушка, что я разскажу тебѣ! Ты только послушай; это ужасно! — кричала съ другой стороны вторая дѣвочка, Соня.

— Постойте же, дѣточки, пустите... нельзя же такъ, — отбивался Алексѣй Максимычъ, цѣлуя ихъ въ то же время. Начнете вмѣстѣ разсказывать, я ничего не пойму... я даже слушать не стану, если такъ... Вотъ смотрите: и шляпу, новую шляпу на землю сбросили... Шалуньи, право!... Спасибо, Маруся, — подхватилъ онъ, подставляя голову красивой дѣвушкѣ, которая надѣла ему шляпу, стараясь отстранить Катю и Соню. — Ничего не хочу знать. Буду слушать только Марусю... Слышите ли? Только Марусю... Разсказывай, душенька, что у васъ здѣсь такое... Только постой, не на солнцѣ... Подойдемте подъ навѣсъ; тамъ будетъ удобнѣе...

Онъ мимоходомъ взглянулъ на юношу; тотъ старался, видимо, овладѣть собою; но краска разливалась по лицу его, и чѣмъ больше онъ бодрился, тѣмъ больше выказывалъ неловкости.

Алексѣй Максимычъ усѣлся на соломенный стулъ, придвинутый Марусей; Катя и Соня мгновенно завладѣли его руками. Юноша подошелъ ближе, расправляя ладонью растрепавшіяся кудри на головѣ.

— Ну, Марусенька, разсказывай... Постой, впрочемъ, зачѣмъ же оставили вы этихъ ребятишекъ на солнцѣ? Катя, Соня, ведите ихъ скорѣе сюда!... Вотъ такъ!... Не плачь, дѣвочка, тебѣ ничего худаго не сдѣлаютъ; не плачь, душенька; ну, Маруся, разсказывай; во-первыхъ, что это за дѣти?

— Дѣти бѣднаго огородника, — торопливо вмѣшалась Соня.

— Они сегодня ничего не ѣли, — перебила Катя.

— Дѣточки, что-жъ это въ самомъ дѣлѣ? Такъ, право, нельзя, — съ упрекомъ въ голосѣ сказалъ старикъ.

Онъ хотѣлъ показать при этомъ строгое лицо, но это ему не удалось, и онъ засмѣялся.

— Дѣдушка! добрый, добрый дѣдушка! — закричали обѣ дѣвочки, бросаясь обнимать и цѣловать старика съ такою восторженностью, что шляпа его чуть было снова не слетѣла на-земь.

Наконецъ, онѣ успокоились.

— Видишь ли, дѣдушка, — начала Маруся, усаживаясь подлѣ и поправляя ему скосившійся галстухъ, — всѣ мы сидѣли здѣсь на дворѣ; я шила, Сережа давалъ сестрамъ урокъ изъ русской исторіи; вдругъ здѣсь, сейчасъ за калиткой, раздается дѣтскій пронзительный крикъ. Мы выбѣжали. На мосткахъ два ребенка, вотъ эти самые. Дѣвочка заливается, плачетъ, мальчикъ кричитъ; смотримъ, изъ носу его льетъ кровь, все лицо перепачкано кровью... Спрашиваемъ: что случилось? Дѣвочка тутъ же разсказала, что за минуту передъ тѣмъ проходилъ мимо какой-то мальчикъ; поровнявшись съ ея братомъ, онъ вдругъ размахнулся и ударилъ его по лицу, послѣ чего побѣжалъ въ лавочку въ концѣ переулка... мы привели дѣтей къ себѣ... Но... но Сережа ужасно разгорячился, — подхватила Маруся, замѣтно смущаясь на этомъ мѣстѣ своего разсказа.

— Короче сказать, дѣдушка, — вмѣшался Сережа, успѣвшій въ это время остыть и оправиться, — мнѣ захотѣлось наказать этого негодяя...

— Рыцарь! рыцарь, нечего сказать! — полушутливо, полусерьезно замѣтилъ старикъ.

— Рыцарь не рыцарь, но пропустить безнаказанно поступокъ болвана, который бьетъ ребенка по лицу, мнѣ не хотѣлось и я подождалъ у калитки, пока онъ не вернется назадъ... Я, дѣйствительно, думалъ увидѣть мальчишку и хотѣлъ надрать ему уши, но смотрю: передо мною вдругъ выступилъ съ салатникомъ, наполненнымъ огурцами, цѣлый верзила... Меня это окончательно взорвало. Тутъ дѣвочка закричала: это онъ, онъ! Я забылся, бросился впередъ... огурцы, конечно, полетѣли во всѣ стороны... Я уже потомъ не помню хорошенько... Знаю только, что ему славно досталось... Ручаюсь, онъ не станетъ впередъ потѣшаться на дѣтскихъ лицахъ!

— Какой Сережа храбрый, да, дѣдушка, да? — восторженно воскликнула Катя.

— И добрый, да, дѣдушка? добрый? да? — подхватила Соня.

— О, удивительно! Что и говорить! — возразилъ Алексѣй Максимычъ, разводя руками. — Ну, а что, еслибъ да этотъ самый дѣтина оказался вдругъ сильнѣе Сережи? Что, еслибъ началась свалка и вмѣшалась полиція? Тогда что? — прибавилъ онъ, посматривая на юношу. — Какъ бы все это красиво отозвалось на молодомъ человѣкѣ, который готовитъ программу на золотую медаль... Неправда ли, какъ это было бы красиво, Маруся?... Скажи сама. Ты у насъ одна здѣсь благоразумная...

Въ отвѣтъ на это Маруся окинула живымъ взглядомъ дѣдушку; встрѣтивъ знакомую добрую улыбку на лицѣ его, она сказала, что, будь она на мѣстѣ Сережи, она, по всей вѣроятности, сдѣлала бы то же самое.

— Заранѣе предвидѣлъ, что ты такъ отвѣтишь; непремѣнно заступится, ужъ это само собою, какъ водится! — проговорилъ старикъ, совсѣмъ уже развеселившись.

Еще въ началѣ прошлой зимы Зиновьевъ сталъ замѣчать, что молодые люди, выросшіе почти вмѣстѣ, начали обмѣниваться особенными взглядами, искали укромныхъ уголковъ и тамъ по цѣлымъ часамъ о чемъ-то съ жаромъ бесѣдовали; онъ не показалъ никакого виду, но въ ту же зиму, подъ предлогомъ усиленныхъ занятій Сережи въ Академіи Художествъ и отдаленности отъ нея своей квартиры, нанялъ ему на Васильевскомъ островѣ меблированную комнату. Сережа съ тѣхъ поръ приходилъ только къ обѣду и проводилъ у дѣдушки часть вечера.

Веселые возгласы знакомыхъ голосовъ ни на минуту не умолкали въ саду. Къ нимъ вскорѣ присоединилось звяканье посуды, возвѣстившее, что семья сѣла обѣдать. У Зиновьева немного было прислуги. Не считая кухарки, прислуга ограничивалась старой Марьей, или Марьянушкой, какъ ее обыкновенно всѣ звали. Лѣтъ двадцать тому назадъ поступила она къ старому архитектору простой прислужницей, потомъ мало-по-малу завладѣла хозяйствомъ, потомъ выходила и вынянчила одного за другимъ всѣхъ дѣтей и теперь уже была чѣмъ-то среднимъ между экономкой, членомъ семьи и старымъ другомъ дома. На вопросъ Алексѣя Максимыча, куда дѣвали бѣдныхъ дѣвочку и мальчика, Марьянушка объявила, что она въ точности исполнила желаніе Маруси: дѣти были умыты, накормлены, каждому дано, сверхъ того, по ватрушкѣ и оба играютъ теперь въ кухнѣ съ котятами.

— Ужъ какъ же и уплетали, мои голубчики! Посмотрѣли бы вы только! — присовокупила Марьянушка, весело на всѣхъ поглядывая. — Я спрашивала у дѣвочки: со вчерашняго дня, говоритъ, ничего не ѣли...

— Благо сыты теперь, давай ихъ сюда!—подхватилъ Алексѣй Максимычъ, освобождая себя отъ салфетки, которую обыкновенно закладывалъ концами за галстукъ.

Всѣ торопливо встали изъ-за стола.

Такая поспѣшность объяснилась превосходнымъ планомъ прогулки, которую придумалъ дѣдушка во время обѣда. Вмѣсто того, чтобы отправиться безъ цѣли, какъ это обыкновенно дѣлалось, онъ предложилъ идти всѣмъ вмѣстѣ отыскать огородника и „водворить“, какъ онъ выразился, мальчика и дѣвочку „на мѣсто жительства“. Предложеніе принято было съ восторгомъ. Въ первыя минуты рѣшительно не знали, что дѣлать съ Катей и Соней. Нужно было вмѣшательство Марьянушки, чтобы заставить ихъ терпѣливо досидѣть до конца обѣда.

Былъ уже пятый часъ, когда семья Зиновьева всей гурьбой высыпала за калитку сада. Шествіе было почти что торжественное: его открывали босые мальчикъ и дѣвочка подъ прикрытіемъ Кати и Сони; позади, рядомъ съ Марусей, выступалъ Алексѣй Максимычъ, замѣнившій фракъ холщевымъ пальто и цилиндръ широкополой соломенной шляпой; за ними шелъ Сережа, теперь уже успокоенный, съ бодрымъ и довольнымъ видомъ.

Путь предстоялъ не шуточный. Приходилось обогнуть чуть ли не половину Аптекарскаго острова, перейти малую Невку и выйти на ту часть Петербургской стороны, которая замыкается пустырями и огородами. Но всѣмъ было очень весело, не исключая дѣдушки, изъ памяти котораго окончательно, казалось, исчезли непріятныя впечатлѣнія утра. Увлекаясь воспоминаніями прошлаго, онъ въ сотый разъ и все съ тѣмъ же увлеченіемъ разсказывалъ Марусѣ и Сережѣ о путешествіи, совершенномъ когда-то пѣшкомъ по маленькимъ итальянскимъ городкамъ, расположеннымъ вдоль Адріатическаго моря. Онъ приступалъ уже къ описанію чудесъ Равеннскаго собора,—любимому его предмету,— когда Катя и Соня неожиданно остановились у забора и закричали:

— Здѣсь... здѣсь, дѣдушка!

Позади забора простирались во всѣ стороны нескончаемые

ряды зеленѣющихъ грядъ; слѣва только подымалась избушка съ перекосившимся шестомъ бывшей скворечницы; вокругъ грудами валялся навозъ, рогожи, битые черепки. Можно было бы думать, что Петербургъ находится отсюда за тридевять земель, еслибъ въ отдаленіи не показывался адмиралтейскій шпицъ, блистая на вечернемъ закатѣ.

Въ ту самую минуту, какъ семья Зиновьева входила въ огородъ, изъ избы показалась тощая, босоногая баба, поправлявшая платокъ на встрепанной головѣ.

— Мама, мама! — закричали мальчикъ и дѣвочка.

Баба остановилась; увидавъ дѣтей, она подняла съ земли хворостину и скорыми шагами пошла къ нимъ навстрѣчу, повторяя: „Постойте, я вамъ дамъ маму! Пострѣлы этакіе!..“

Маруся, Сережа и дѣдушка заслонили дѣтей; Катя и Соня съ испуганнымъ видомъ прижались къ старшимъ.

— Матушка, погоди! Зачѣмъ же такъ?—ласково заговорилъ Алексѣй Максимычъ, удерживая руку бабы.—Выслушай прежде... Дѣти далеко забѣжали, заблудились... ну, вотъ мы ихъ нашли, накормили и привели домой. Скорѣе мы виноваты, что долго ихъ у себя держали... другой разъ лучше присматривай, а то Богъ знаетъ что можетъ случиться...

Суровое выраженіе на лицѣ бабы неожиданно исчезло; хворостина выпала изъ рукъ; она ударилась въ слезы.

Изъ словъ ея выяснилось, что мужъ былъ только работникомъ на огородѣ и вотъ уже вторую недѣлю лежитъ больной; хозяинъ, между тѣмъ, грозитъ прогнать со двора; гроши, какіе были, всѣ ушли на леченіе; въ домѣ нѣтъ куска хлѣба и дѣти поневолѣ голодаютъ; сама она бросалась туда-сюда за помощью, но никто даже голоса не подалъ, никто не откликнулся; тутъ кто бы ни былъ — потеряетъ голову.

Во всемъ этомъ не было ничего преувеличеннаго. Когда Алексѣй Максимычъ, оставивъ Марусю съ младшими дѣвочками, вошелъ съ Сережей въ избу, оба ужаснулись окружавшей нищетѣ. Передъ низенькимъ окномъ съ выбитыми стеклами лежалъ больной, едва прикрытый шершавыми лохмотьями тулупа; на лицѣ его, землянистаго цвѣта, очетливо выступала неподвижная, заострившаяся профиль; обнаженная грудь съ темнымъ углубленнымъ пятномъ посерединѣ тяжело переводила духъ. Въ избѣ было невообразимо жарко; съ перваго шага захватывало духъ и бросало въ потъ.

Алексѣй Максимычъ переглянулся съ Сережей, позвалъ бабу и, остановивъ ее въ дверяхъ, скоро началъ что-то шептать ей, шаря у себя, въ то же время, въ карманѣ. Сережа подошелъ ближе и также украдкой сунулъ ей что-то въ руку. Послѣ того оба вернулись къ своимъ, стараясь на пути успокоить бабу, которая, переставъ уже плакать, порывалась цѣловать ихъ руки. Выбѣжавъ изъ избы, она принялась также цѣловать руки Марусѣ и двумъ дѣвочкамъ. Вопреки увѣщаніямъ Алексѣя Максимыча, настоятельно посылавшаго бабу къ мужу, она проводила семью за калитку, и долго еще слышался надорванный ея голосъ, произносившій всевозможныя благословенія.

Въ первое время обратнаго возвращенія домой всѣ члены семьи шли молча. Алексѣю Максимычу это не понравилось. Ему, во что бы то ни стало, хотѣлось возвратить присутствующимъ прежнюю веселость. Для Кати и Сони не требовалось дѣлать большихъ усилій. Съ первыхъ его словъ объ восторженно забили въ ладоши и принялись выдѣлывать прыжки. Выраженія радости вызваны были новой выдумкой дѣдушки; онъ сообщилъ, что если та и другая будутъ слушаться Марусю и хорошо учиться, онъ всякій разъ, послѣ обѣда, каждой даетъ нѣсколько денегъ, и объ каждый вечеръ, вмѣстѣ съ Марусей, могутъ посѣщать бѣдную огородницу.

— И ты, дѣдушка, будешь съ нами? — спросили дѣвочки, хватая его за руки.

— Нѣтъ, дѣточки, мнѣ будетъ невозможно. Я теперь буду очень, очень занятъ. И Сережа не пойдетъ съ вами; у него также большая работа и ему мѣшать не надо. Кстати, — прибавилъ онъ, какъ идетъ твой проектъ?

— Подвигается, дѣдушка.

— Когда же ты мнѣ его покажешь?

— Когда совсѣмъ окончу.

— Ты все еще упорствуешь?

— Упорствую, дѣдушка! — улыбаясь, возразилъ Сережа. — Самъ посуди: покажи я тебѣ проектъ, ты, конечно, начнешь совѣтовать, я, конечно, послушаю твоихъ совѣтовъ; проектъ, разумѣется, выиграетъ, но въ немъ окажется больше твоего, чѣмъ моего, а мнѣ этого не хочется. Каковъ бы онъ ни былъ, пусть лучше все мое будетъ: и мысль, и детали, и вся обработка.

— Ну, а какъ провалишься?

Сережа на минуту задумался, но тутъ же поднялъ голову. Онъ началъ увѣрять, что говоритъ такъ вовсе не изъ самоувѣренности, но видѣлъ, какъ болѣе или менѣе трудились его товарищи, видѣлъ ихъ работу и сравнивалъ ее съ своею; онъ не могъ также не замѣтить, что съ нѣкоторыхъ поръ профессора стали обращаться съ нимъ иначе, оказывали ему особенное вниманіе, чего прежде не дѣлали. Воодушевляясь, слово за словомъ, Сережа заговорилъ о возможности получить медаль, поѣхать въ Италію, набраться новыхъ силъ, потомъ вернуться скорѣй, какъ можно скорѣй домой, получить работу и тогда уже, тогда...

— И тогда жениться на Марусѣ!—вдругъ неожиданно докончилъ дѣдушка, лукаво, но добродушно поглядывая на юношу.

Основываясь на отрывистыхъ фразахъ, начатыхъ, но недосказанныхъ признаніяхъ Сережи, Алексѣй Максимычъ не сомнѣвался въ любви молодыхъ людей; не сомнѣвался въ томъ даже, что оба рѣшили уже вопросъ и дали другъ другу слово. Въ душѣ онъ этому радовался. Онъ пристальнѣе взглянулъ на племянника и повторилъ:

— Да, и женишься на Марусѣ?

— И женюсь на Марусѣ! — рѣшительно отвѣчалъ Сережа, отыскивая глазами дѣвушку, которая вдругъ вспыхнула и закрылась зонтикомъ.

Алексѣй Максимычъ обхватилъ рукою ея станъ, потрепалъ ее по плечу и на ходу поцѣловалъ въ щеку, при чемъ Катя и Соня снова запрыгали, какъ козы, и начала восторженно бить въ ладоши.

Сумерки уже сгущались и полный, румяный мѣсяцъ выплывалъ между темными деревьями, когда семья Зиновьева остановилась передъ калиткой дачи.

## VII.

Алексѣй Максимычъ Зиновьевъ вышелъ изъ Академіи Художествъ въ сороковыхъ годахъ. Удостоенный золотою медалью перваго достоинства, онъ шесть лѣтъ провелъ въ Италіи. Результатомъ поѣздки были: замѣчательная монографія въ рисункахъ палатинской капеллы въ Палермо и множество снимковъ различныхъ церквей и архитектурныхъ деталей. Все это служило вкла-

домъ для изученія искусства, но ему, собственно въ матеріальномъ отношеніи, ничего не принесло. Правда, для капеллы нашелся заграницей издатель; но потому ли, что молодой архитекторъ не умѣлъ заключить условій, потому ли, что печатаніе дѣйствительно обошлось дороже, чѣмъ предполагалось, выгода Зиновьева ограничилась однимъ экземпляромъ, посланнымъ ему издателемъ. Онъ поспѣшилъ продать экземпляръ за половинную цѣну, такъ какъ въ то время крайне нуждался въ деньгахъ. При всей готовности приняться за дѣло, въ теченіе года не могъ достать работы.

Случаи интересныхъ построекъ представлялись не одинъ разъ, но всегда какъ-то такъ выходило, что они проскользали мимо и попадали въ другія руки. Ему оставалось идти въ помощники и чаще всего къ товарищамъ, которые, сколько ему помнилось, не отличались въ академіи особенными способностями; въ свое время онъ даже многимъ изъ нихъ помогалъ оканчивать программы.

Но жизнь предъявляла свои требованія; онъ соглашался, и, надо прибавить, соглашался безъ раздраженія, потому что врожденное добродушіе и простота сердца не оставляли уголка для зависти и ѣдкаго самолюбія. Но и здѣсь даже рѣдко удавалось довести дѣло до конца и получить за свой трудъ полное вознагражденіе. Главнымъ препятствіемъ были по бо́льшей части подрядчики. Одни доставляли подмоченныя балки, прося принять ихъ за сухія; другіе выставляли двадцать тысячъ кирпичей, подсовывая къ подпискѣ счетъ на двадцать пять тысячъ, и т. д. Когда онъ передавалъ объ этомъ старшему архитектору, тотъ приходилъ обыкновенно въ негодованіе, но, въ концѣ концовъ, оставлялъ у себя подрядчика и выказывалъ полнѣйшее равнодушіе при желаніи помощника оставить должность.

Какъ ни былъ онъ терпѣливъ, ему, однакожъ, это надоѣло. Онъ принялся тогда дѣлать рисунки для мебельщиковъ и фабрикантовъ. Любимымъ предметомъ Зиновьева былъ греко-византійскій стиль, процвѣтавшій въ восточной Римской имперіи между шестымъ и двѣнадцатымъ столѣтіями; онъ всегда чувствовалъ къ нему склонность; побывавъ въ Италіи, онъ до того имъ увлекся, что, не смотря на скудныя средства, сдѣлалъ поѣздку въ Константинополь, единственно съ цѣлью осмотрѣть храмъ святой Софіи. Вернувшись въ Россію съ запасомъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, онъ

постоянно мечталъ воспользоваться ими для украшенія предметовъ церковнаго и гражданскаго употребленія.

Онъ горячо принялся за работу.

Но и здѣсь пришлось вскорѣ разочароваться. Фабриканты и мебельщики исключительно требовали стиля Лудовика XVI и рококо. Рисунки Зиновьева, — плодъ долгаго, страстнаго изученія и труда, — оставались у него по бо́льшей части въ папкѣ.

Практическій человѣкъ не сталъ бы, конечно, идти противъ теченія, понялъ бы безполезность борьбы и, вмѣсто того, чтобы убѣждать и спорить, поспѣшилъ бы удовлетворить требованіямъ современнаго вкуса; но практичность не дана была въ удѣлъ Зиновьеву. Византія, вмѣсто того, чтобы его вывезти, посадила его на мель.

Нужна была случайная выставка въ академіи, нуженъ былъ особый знатокъ и любитель византійскаго искусства, чтобы выручить молодаго архитектора.

Рисунки его на академической выставкѣ не только имѣли успѣхъ, но получили значеніе какого-то новаго откровенія. Онъ точно не жилъ до сихъ поръ въ Петербургѣ и вдругъ упалъ съ неба на Васильевскій островъ. О немъ заговорили, вспомнили и просмотрѣли его прежнія работы; въ цѣломъ его направленіи найдена была общая мысль, послѣдовательность, новое стремленіе, которое, при болѣе обширной разработкѣ, должно было привести къ замѣчательнымъ послѣдствіямъ.

Ему предложена была на казенный счетъ новая поѣздка въ Италію, но уже съ цѣлью спеціальнаго изученія того рода искусства, который онъ такъ любилъ и которому такъ фанатически поклонялся. Зиновьевъ, начинавшій уже падать духомъ, воскресъ окончательно. Въ концѣ года онъ уѣхалъ, отмѣтивъ себѣ заранѣе два пункта: Равенну и Венецію, Онъ поселился въ послѣднемъ городѣ.

Въ первые годы академія не могла нарадоваться. Труды Зиновьева получались аккуратно и всякій разъ служили предметомъ величайшихъ похвалъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ удивлялись также, что онъ не возвращается. Прошло еще два года; давно кончился срокъ казеннаго порученія: Зиновьевъ продолжалъ посылать въ Петербургъ работы даже послѣ того, какъ остановлено было ему казенное содержаніе, но самъ не трогался съ мѣста. Время отъ времени ему писали изъ Россіи, дѣлали различныя выгодныя

предложенія; онъ всякій разъ благодарилъ, обѣщалъ пріѣхать, но, все-таки, оставался; то надо было кончить рисунки для сочиненія, заказаннаго иностраннымъ издателемъ, то случайно открывались незнакомыя сокровища византійскаго искусства, которыми необходимо было пополнить накопившіеся матеріалы. Въ увлеченіи онъ все забывалъ тогда: и неудачи, испытанныя въ Петербургѣ, и выгодныя предложенія, которыя оттуда посылались. Справедливость требуетъ также сказать, что Италія успѣла уже произвести на Зиновьева свое засасывающее, притягательное дѣйствіе.

Послѣднее было не трудно, такъ какъ однимъ изъ свойствъ его природы была способность сильно привязываться; любящее его сердце не только привыкало къ людямъ, но крѣпко сживалось съ неодушевленными предметами, его окружавшими. При одной мысли не видать больше Венеціи онъ опускалъ голову и начиналъ отмахиваться, какъ бы желая скорѣе отогнать отъ себя такую возможность.

Такъ годъ за годомъ протянулось безъ малаго девять лѣтъ.

Зиновьеву было уже тогда подъ сорокъ; сѣдина начинала мѣстами пробиваться на вискахъ и въ бородѣ. Онъ рѣшился, наконецъ, возвратиться въ отечество. Намѣреніе на этотъ разъ было бы, безъ сомнѣнія, исполнено, еслибъ снова не задержалъ непредвидѣнный случай. Но на этотъ разъ препятствіемъ были не рисунки и увлеченія красотами византійскаго искусства; дѣло было серьезнѣе: Алексѣй Максимычъ влюбился.

До настоящаго времени у него были только привязанности; ни разу не прекращаясь по его винѣ, онѣ оставляли всегда послѣ себя горечь разочарованія. Онъ всякій разъ давалъ себѣ слово не увлекаться больше, никогда не выдерживалъ и всегда бранилъ себя, когда снова приходилось терпѣть неудачу. Съ любовью произошло другое. Онъ испытывалъ это чувство въ первый разъ, испытывалъ въ такіе годы, когда оно захватываетъ уже не шутя, въ самую глубь сердца.

Предметомъ Алексѣя Максимыча была хорошенькая двадцатилѣтняя нѣмочка, завезенная въ Венецію дюссельдорфскимъ художникомъ. Она жила одиноко, едва перебиваясь на средства, оставленныя любовникомъ, который вскорѣ долженъ былъ вернуться на родину. Его призывало туда,—такъ говорилъ онъ, по крайней мѣрѣ,—наслѣдство; вмѣстѣ съ тѣмъ, у него оставались тамъ

картины и представлялся неожиданный случай продать ихъ. Время отъ времени изъ Дюссельдорфа приходили письма; въ нихъ подтверждалось обѣщаніе художника жениться на дѣвушкѣ; но для этого надо было одно изъ двухъ: или получить наслѣдство, или продать картины; то и другое, къ сожалѣнію, замедлялось. Проходили недѣли, стали, наконецъ, проходить мѣсяцы, — художникъ не только не возвращался, но самыя письма его сдѣлались рѣдки.

Зиновьевъ уже не сомнѣвался, что дѣвушка была обманута. Онъ не открывалъ ей, однакожъ, своихъ подозрѣній; его удерживала жалость, а также неувѣренность въ чувствахъ дѣвушки къ покинувшему ее художнику. Зиновьевъ добивался только ея довѣрія; имъ руководило сначала чувство глубокаго состраданія къ покинутой; такъ, по крайней мѣрѣ, ему казалось; онъ не подозрѣвалъ, что состраданіе, которое онъ испытывалъ, живетъ бокъ-о-бокъ въ одномъ источникѣ съ любовью, и первое чаще всего служитъ проводникомъ второму. Онъ утромъ вставалъ съ одною лишь мыслью: увидѣть ее какъ можно скорѣе, а вечеромъ, ложась въ постель, думалъ пережить скорѣе ночь, чтобы скорѣе дождаться слѣдующаго утра. Быть съ ней и видѣть ее сдѣлалось его насущной потребностью; онъ безпокоился и волновался, когда ея не было, и волновался еще больше, когда былъ съ нею. Такъ прошелъ еще мѣсяцъ.

Зиновьевъ предложилъ ей однажды сдѣлать прогулку на Лидо. Пріѣхавъ туда, они усѣлись дальше отъ того мѣста, гдѣ устроены купальни, — тамъ, гдѣ начинается зелень надъ плоскимъ песчанымъ берегомъ, по которому тихо, точно ласкаясь, накатываются зеленопрозрачныя волны. День былъ чудный; все вокругъ млѣло въ ровномъ серебристомъ сіяніи; въ немъ берегъ сливался съ моремъ и море сливалось съ небомъ; воздухъ не двигался; чувствовалось въ немъ что-то влажное, нѣжущее, какъ бархатъ.

Въ то утро сердце Алексѣя Максимыча было особенно полно, онъ весь былъ настроенъ и нервы до того возбуждены, что еслибъ въ эту минуту раздалась гдѣ-нибудь музыка, онъ не могъ бы удержаться и заплакалъ. Онъ приблизился къ дѣвушкѣ и сначала тихо, потомъ съ возраставшей восторженностью передалъ ей все, что давно собирался высказать. Не останавливаясь передъ соображеніями о прошломъ, видя передъ собою только ея несчастіе и увлеченный мыслью о ея спасеніи, не соображая о томъ,

что самъ перебивался, самому трудно было бороться съ жизнью, онъ предложилъ на ней жениться.

Дѣвушка слушала его съ возраставшимъ смущеніемъ; при послѣднихъ словахъ она закрыла лицо руками и принялась такъ горько рыдать, что въ первыя двѣ, три минуты Зиновьевъ положительно потерялъ голову; онъ бросился къ ея ногамъ, началъ успокоивать, просилъ простить его. Придя нѣсколько въ себя, дѣвушка обратила къ нему заплаканное лицо и сказала, что не ему просить у нея прощенія, но ему надо простить ее, потому что въ отвѣтъ на его любовь и великодушіе она до сихъ поръ скрывала отъ него главную тайну своего горя. Обливаясь слезами, она открыла ему, что у нея былъ ребенокъ.

— Что-жъ такое? — воскликнулъ Алексѣй Максимычъ, горячо схватывая ея руку, — ну... ну, что-жъ?... Я буду ему отцомъ! — добавилъ онъ, показывая ей улыбающееся лицо, между тѣмъ какъ изъ глазъ его ручьями текли слезы.

Но чувства, волновавшія его, тутъ же должны были уступить горю,—горю, котораго онъ впослѣдствіи никогда уже больше не испытывалъ въ такой силѣ. Изъ дальнѣйшихъ объясненій открылось, что дѣвушка цѣнила вполнѣ его чувства, считала его самымъ честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, но при всемъ томъ отказывалась принять его предложеніе, отказывалась отъ счастія. Онъ долженъ былъ самъ понять, могла ли она согласиться, пока оставалась еще надежда возвратить отца ребенку?

Уговаривать, убѣждать было безполезно; Зиновьевъ самъ это почувствовалъ. Призывая на помощь всѣ силы благоразумія, онъ рѣшился тогда же вернуться въ Россію, какъ можно скорѣе. Но что съ ней тогда будетъ? Какъ оставить ее одну на произволъ судьбы? Вопросы эти на минуту поколебали его рѣшимость. Любовь глубоко прошла въ его сердце; кромѣ любви, его постоянно еще влекло къ дѣвушкѣ другое чувство — чувство особенной заботливости и отеческой нѣжности. Послѣднее внушало ему выходъ изъ его положенія. Онъ собралъ всѣ накопленныя деньги, около тысячи рублей, отправился къ знакомому ювелиру и на всю сумму купилъ драгоцѣнный перстень. Въ этомъ видѣ, думалъ онъ, легче будетъ достигнуть цѣли; отъ денегъ она бы отказалась, но въ принятіи перстня, особенно когда онъ дается на память... и только на память!... не можетъ быть повода къ отказу. Онъ, тѣмъ не менѣе, придумывалъ различныя хитрыя

сплетенія и лукавые убѣдительные доводы. Въ критическую минуту онъ рѣшился даже солгать, что перстень достался ему отъ дальней родственницы и онъ рѣшительно не знаетъ, что съ нимъ дѣлать.

Покончивъ благополучно съ этимъ дѣломъ, онъ почувствовалъ значительное облегченіе; онъ могъ теперь ѣхать спокойнѣе и началъ укладываться.

Алексѣй Максимычъ стоялъ въ раздумьѣ передъ кипами разбросанныхъ рисунковъ, когда неожиданно постучали въ дверь. Въ комнату вошла любимая дѣвушка. Лицо ея было крайне взволновано. Тяжело переводя духъ, она подала Зиновьеву письмо, прося прочесть его. Художникъ извѣщалъ, что продалъ, наконецъ, картины, подтверждалъ обѣщаніе жениться и просилъ ее немедленно ѣхать въ Дюссельдорфъ, на что и посылалъ при письмѣ деньги.

Два дня послѣ этого, рано утромъ, лица, находившіяся на платформѣ передъ поѣздомъ, готовымъ отправиться изъ Венеціи, поглядывали съ любопытствомъ на окно одного изъ вагоновъ втораго класса. Въ этомъ окнѣ, точно въ рамѣ картины, обрисовалось миловидное лицо молодой женщины; примѣтивъ, что на нее обращали вниманіе, она дѣлала очевидныя усилія, чтобы удержаться отъ слезъ; но старанія ея были напрасны: какъ только платокъ, который она поминутно прикладывала къ лицу, опускался, слезы снова струились по щекамъ. Откидываясь за край окна, она поспѣшно тогда протягивала руку стоявшему передъ окномъ на платформѣ господину небольшаго роста съ сѣдиною въ бородѣ и бакенбардахъ; лицо его было блѣдно; на немъ, подъ бровями, рѣзко выдѣлялись красныя, опухшія вѣки. Онъ всякій разъ судорожно какъ-то схватывалъ протянутую ему руку, жадно впивался въ лицо женщины, начиналъ шептать какія-то непонятныя слова и, въ то же время, принимался скоро осѣнять ее крестнымъ знаменіемъ.

Когда раздался свистокъ и тронулся вагонъ, онъ пробѣжалъ нѣсколько шаговъ, съ отчаяніемъ простирая руки къ платку, которымъ махали изъ окна. Одинъ изъ служителей бросился было за нимъ; но онъ уже возвращался къ выходной двери, тяжело склонивъ голову и опустивъ руки.

День спустя, Зиновьевъ покинулъ Венецію.

Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, какъ въ чужой городъ. Его

почти забыли. Была у него сестра замужемъ за живописцемъ, онъ зять принадлежалъ къ группѣ дикихъ и необузданныхъ художниковъ. Зиновьевъ и прежде всегда тщательно избѣгалъ его. Жалѣя сестру, онъ помогалъ ей, когда могъ, и этимъ ограничивались ихъ отношенія.

Алексѣй Максимычъ начиналъ уже понемногу устраиваться. Неожиданное извѣстіе въ одинъ мигъ потрясло его до глубины души. Извѣстіе пришло изъ Ростока, маленькаго прусскаго городка, на берегу Балтійскаго моря. Зиновьевъ узналъ изъ письма, что любимая дѣвушка была безжалостно обманута и брошена съ ребенкомъ; едва живая, она доѣхала до Ростока, гдѣ пріютилась у бѣдной родственницы. Въ настоящее время она лежала безнадежно больная. Припоминая прошлое Зиновьеву, благодаря его за все то, что онъ для нея сдѣлалъ, она теперь обращалась къ нему, какъ къ единственному существу, которому вѣрила; она просила за ребенка, умоляла не оставить его и быть ему отцомъ, какъ самъ онъ обѣщалъ когда-то.

Алексѣй Максимычъ не принадлежалъ къ числу людей рѣшительныхъ; но здѣсь онъ показалъ себя другимъ человѣкомъ. Собравъ всѣ деньги, какія могъ, и взявъ паспортъ, онъ отправился, не теряя минуты. Онъ не смыкалъ глазъ во всю дорогу; передъ нимъ остріемъ стояла одна мысль, онъ боялся одного только: не застать ее больше въ живыхъ. Предчувствія не обманули его; онъ пріѣхалъ въ Ростокъ на второй день послѣ того, какъ ее похоронили. Исполнивъ всѣ формальности касательно ребенка (это была дѣвочка и большихъ затрудненій не встрѣтилось), Зиновьевъ привезъ дѣвочку въ Петербургъ.

## VIII.

Ребенку было всего нѣсколько мѣсяцевъ. Съ помощью Марьянушки, нанимавшейся у него въ кухаркахъ и оказавшейся прекрасной женщиной, Зиновьевъ вышелъ, однакожъ, изъ затрудненій. Не обошлось, конечно, безъ намековъ и болѣе или менѣе фантастическихъ предположеній на его счетъ; но онъ не обратилъ на нихъ вниманія. Съ такимъ же равнодушіемъ отнесся онъ къ окончательному разрыву съ зятемъ; послѣдній бранилъ его теперь на всѣхъ углахъ, выставляя на видъ безсердечность

человѣка, который разводитъ незаконныхъ дѣтей и прикармливаетъ ихъ, тогда какъ ближайшимъ родственникамъ часто ѣсть нечего. Декламируя такимъ образомъ, живописецъ не подозрѣвалъ, что часто хлѣбъ, который онъ ѣлъ дома, былъ купленъ на деньги шурина; не подозрѣвалъ онъ также, что для того, чтобы доставать деньги, шуринъ трудился, не зная отдыха, между тѣмъ какъ самъ онъ сидѣлъ въ это время въ погребкѣ или лежалъ на проткнутомъ диванѣ, предаваясь сладчайшему отдыху.

Еще менѣе, конечно, приходило ему въ голову, что будетъ время, когда его собственныхъ дѣтей придется прикармливать и воспитывать тому же шурину. Все это случилось, правда, не скоро, но случилось однакожъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, скоропостижно умеръ живописецъ; за нимъ скончалась его жена. Послѣ нихъ остались мальчикъ и двѣ дѣвочки. Пользуясь знакомствами, Алексѣй Максимычъ могъ бы, конечно, распредѣлить дѣтей сестры въ разныя благотворительныя учрежденія. Но такая комбинація не пришла ему какъ-то въ голову. Онъ пожалѣлъ дѣтей и взялъ ихъ на свое попеченіе. Сережѣ было тогда девять лѣтъ, Катѣ два года, Соня только что родилась. Наслѣдство послѣ сестры, нечего сказать, было обременительно; тѣмъ не менѣе, если бы, годъ спустя, кто-нибудь предложилъ Зиновьеву облегчить его участь и взять дѣтей, онъ, кажется, въ первый разъ въ жизни вышелъ бы изъ себя и показалъ дверь такому человѣку. Привязчивость его успѣла уже сдѣлать свое дѣло. Одно иногда безпокоило: шумъ и крикъ, когда дѣти разыграются; но являлась Марьянушка, и все снова улаживалось.

Положеніе Зиновьева, какъ архитектора, нельзя было назвать блестящимъ. Онъ, попрежнему, больше рисовалъ, чѣмъ строилъ; но теперь извѣстность его, какъ отличнаго рисовальщика, настолько уже распространилась, что въ этой работѣ не было недостатка. Надо также прибавить, что греко-византійскій стиль, которому онъ такъ горячо поклонялся, начиналъ встрѣчать сочувствіе, мало-по-малу примѣняться, особенно въ предметахъ для церковнаго употребленія. Въ одной изъ главныхъ газетъ явилась даже статья, въ которой прямо указывали на Зиновьева, какъ на главнаго проводника такого вкуса. Заказы стали чаще являться.

Работая по бо́льшей части дома, онъ рѣдко встрѣчался съ собратами по архитектурѣ, но даже и при другихъ условіяхъ

между ними и Зиновьевымъ не могло произойти тѣснаго сближенія. Ими, главнымъ образомъ, руководили интересъ и практическія соображенія; мало озабочиваясь вопросами искусства, они брались строить безразлично какое угодно зданіе, въ какомъ угодно стилѣ, уподобляясь, впрочемъ, въ этомъ случаѣ большинству соотечественниковъ, которые, часто ни къ чему неподготовленные, берутся, тѣмъ не менѣе, за какую угодно должность и, не смотря на отсутствіе всякихъ способностей, всегда ухитряются извлечь для себя выгоду; дайте имъ чугунный котелъ, резеду, сушеную муху, они и тутъ съумѣютъ выдавить сокъ; дайте имъ затѣмъ рѣшето, яйцо и осиновое полѣно, они и здѣсь непремѣнно что-нибудь для себя выгадаютъ.

Зиновьевъ въ этомъ отношеніи никуда не годился; товарищи совершенно справедливо называли его *блаженнымъ византійцемъ*. Для него художество стояло на первомъ планѣ; вопросы искусства увлекали его и ими замыкался его горизонтъ. Не смотря на огромную начитанность и художественное образованіе, пополненное долгими работами въ Италіи, онъ сталъ бы втупикъ, еслибъ ему предложили строить казармы; съ свойственною ему скромностью, онъ поспѣшилъ бы отказаться. Лѣта убѣлили его волосы, но чудомъ какимъ-то сохранили въ немъ юношескую теплоту сердца, чувствительность ко всему прекрасному, способность увлекаться иногда такъ сильно, что Сережа, его юный племянникъ, посматривалъ на него съ удивленіемъ. Такъ бывало особенно, когда старикъ начиналъ развивать свою любимую тему о томъ, что бы онъ сдѣлалъ, еслибъ на его долю выпалъ когда-нибудь случай строить церковь въ греко-византійскомъ стилѣ. Боже мой, сколько было накоплено матеріала! Сокровища лежали въ папкѣ! Все бы пошло тогда въ дѣло, нашло бы себѣ мѣсто, увидѣло бы свѣтъ! Тутъ одно за другимъ выступали всегда описанія чудныхъ равеннскихъ мозаикъ, красотъ орнаментаціи въ храмѣ св. Софіи, величаваго характера св. Марка въ Венеціи. Разгорячаясь болѣе и болѣе, Алексѣй Максимычъ кончалъ все тѣмъ, что готовъ былъ даромъ,—да, даромъ строить, былъ бы только случай исполнить любимую, завѣтную мечту цѣлой жизни.

Виноватъ ли былъ племянникъ, который, бывъ давно ученикомъ академіи, разболталъ о желаніи дяди; виноватъ ли былъ самъ Алексѣй Максимычъ, не стѣснявшійся передавать мечты свои постороннимъ лицамъ, но мечты эти мало-по-малу распро-

странились. Въ то время, какъ Зиновьевъ меньше всего ожидалъ, желаніе его осуществилось.

За три года до настоящаго времени онъ получилъ любезное приглашеніе пожаловать для переговоровъ къ Ивану Иванычу Воскресенскому. Имя Воскресенскаго въ то время было уже всѣмъ извѣстно. Зиновьевъ не сомнѣвался, что его будутъ просить, — какъ это уже не разъ случалось, — принять даровое участіе къ какой-нибудь работѣ съ благотворительной цѣлью. Догадки его отчасти только оправдались; дѣло дѣйствительно шло о благотворительномъ учрежденіи, но заключалось въ сооруженіи при немъ церкви на пожертвованныя деньги. Пока рѣчи еще не могло быть о характерѣ архитектуры; требовались только проектъ, планы и смѣта.

Алексѣй Максимычъ не удовольствовался такимъ требованіемъ; такъ какъ матеріала было у него заготовлено хоть на пять церквей, — стоило только подобрать рисунки и привести ихъ въ извѣстный масштабъ, — онъ присоединилъ къ назначенной работѣ цѣлую коллекцію раскрашенныхъ детальныхъ частей и разрѣзовъ.

Хотя Воскресенскій ровно ничего не понималъ въ искусствѣ, онъ ахнулъ, однакожъ, когда Зиновьевъ раскрылъ передъ нимъ свою папку. Его особенно поразило здѣсь не столько знаніе и воодушевленная, мастерская работа художника, сколько быстрота, съ какою все это было изготовлено.

Всякій разъ, какъ Иванъ Иванычъ встрѣчался съ предметомъ, о которомъ не имѣлъ понятія, — а это случалось весьма часто, — онъ никогда не высказывалъ своего мнѣнія, но выжидалъ всегда, чтобы кто нибудь другой прежде высказался. Онъ незамѣтно наводилъ разговоръ на незнакомый предметъ, давалъ возможность исчерпать его до дна и тогда уже возвышалъ голосъ. Такъ было и теперь. Узнавъ, что стиль церкви „греко-византійскій“, онъ поощрилъ Зиновьева къ дальнѣйшимъ объясненіямъ. Прислушиваясь къ разсказамъ о красотахъ св. Софіи и величіи Равеннскаго собора, Иванъ Иванычъ старался запомнить самыя характерныя выраженія; они были необходимы ему, такъ какъ, прежде всего, онъ думалъ представить рисунки съ глазу на глазъ графу и графинѣ. Онъ просилъ архитектора оставить ему его работы на одинъ день для „соображеній“, какъ онъ выразился.

Нѣсколько дней спустя рѣшено было, за подписью графа и членовъ совѣта, передать постройку Зиновьеву.

Когда слухъ о томъ распространился между архитекторами, многіе изъ нихъ пришли въ негодованіе; по ихъ мнѣнію, надо было назначить конкурсъ, выбравъ жюри изъ лицъ ихъ же кружка. Другіе, лукаво подмигивая другъ другу, положительно утверждали, что въ такомъ рѣшеніи греко-византійскій стиль былъ рѣшительно не причемъ; что даже самый фактъ дешевой смѣты Зиновьева противъ смѣты, поданной для той же постройки архитекторами, не игралъ здѣсь рѣшительно никакой роли; все это были мелочи, передъ которыми (примѣры были передъ глазами) не остановился бы практическій Иванъ Иванычъ. Все дѣло, — такъ они утверждали, — было гораздо проще: оно заключалось въ наивности *блаженнаго византійца*, — наивности, которую Иванъ Иванычъ могъ эксплоатировать сколько угодно, пока не явится другой, еще болѣе наивный, или такой, который ловко подъѣдетъ къ Ивану Иванычу и самъ проведетъ его. Надо полагать, все это больше говорилось изъ зависти.

Какъ бы тамъ ни было, съ наступленіемъ весны Алексѣю Максимычу открытъ былъ кредитъ и онъ приступилъ къ постройкѣ.

## IX.

Въ субботу утромъ Алексѣй Максимычъ отправился на постройку раньше обыкновеннаго. Онъ торопился вовсе не потому, что въ этотъ день обѣщали пріѣхать Воскресенскій и его ассистенты Бабковъ и Лисичкинъ. Посѣщеніе этихъ лицъ не безпокоило его, но и не радовало. Художниковъ онъ мало зналъ; они, притомъ, не будучи ему сочувственны, не внушали ему уваженія своими работами и мнѣнія ихъ не имѣли въ глазахъ его значенія. Иванъ Иванычъ ничего не понималъ въ искусствѣ; онъ былъ въ немъ, какъ лососина на цвѣточной выставкѣ.

Другая причина привлекала Зиновьева на постройку: внутренность церкви только наканунѣ совсѣмъ освободилась отъ лѣсовъ; онъ успѣлъ уже вчера выяснить себѣ въ общихъ чертахъ, насколько исполненіе отвѣчало задачѣ; но работы кончились поздно; все-таки не было возможности дать себѣ, какъ бы хотѣ-

лось, полнаго, сознательнаго отчета въ художественномъ впечатлѣніи цѣлаго; въ придачу, день наканунѣ былъ пасмурный. Онъ спѣшилъ сегодня, разсчитывая воспользоваться яснымъ солнечнымъ утромъ.

Церковь была пуста, когда вошелъ въ нее Алексѣй Максимычъ; маленькую дубовую дверь въ главномъ порталѣ отворилъ ему сторожъ, старый солдатъ, помѣщавшійся съ женою и дѣтьми въ подвальномъ этажѣ, предназначенномъ для служителей и ихъ семействъ, въ главномъ корпусѣ будущаго центральнаго благотворительнаго учрежденія. Зиновьевъ отпустилъ его, сказавъ, что присутствіе его у двери потребуется не раньше двѣнадцати часовъ, такъ какъ только къ этому времени прибудутъ гости.

Алексѣй Максимычъ остался очень доволенъ тишиною, его окружавшей; она позволяла сосредоточиться и ясно опредѣлить впечатлѣнія.

Занявъ мѣсто у главной входной арки, откуда глазъ свободно обнималъ всю внутренность церкви, старый архитекторъ нѣсколько минутъ простоялъ въ нѣмомъ неподвижномъ оцѣпенѣніи, стараясь призвать свое вниманіе. Сердце его билось; онъ почувствовалъ на лицѣ жаръ отъ охватившаго волненія. Мало-по-малу черты его успокоились, дыханіе стало свободнѣе. Онъ не хотѣлъ себя обманывать: часъ дня и выгодное освѣщеніе, конечно, прибавляли къ хорошему впечатлѣнію; лицо его, тѣмъ не менѣе, оживилось улыбкой; въ груди его встрепенулось давно неиспытанное чувство и подступило ему къ сердцу; ноздри его задвигались, рѣсницы прищурились и что-то ѣдко защекотало его въ углахъ глазъ; не успѣлъ онъ прикоснуться къ нимъ пальцами, какъ двѣ слезинки побѣжали вдоль щекъ, быстро расплываясь въ мелкихъ морщинкахъ.

Было всего девять часовъ утра; косые лучи солнца, перехваченные тонкими колоннами галлереи втораго этажа, обдавали внутри зданія всю лѣвую его часть, оставляя другую половину въ полусвѣтѣ, смягченномъ отраженіемъ свѣтлыхъ стѣнъ и пола, собраннаго въ клѣтку изъ бѣлаго и сѣраго камня. Въ этомъ тепломъ отраженіи,—но только темнѣе его тономъ,—круглились боковыя арки и своды, усыпанные золотыми звѣздами по синему полю. Внизу, вокругъ всей церкви, обходилъ поясъ, гладко оштукатуренный подъ порфиръ, красно-бураго цвѣта; отсюда начиналась живопись; стѣны сплошь были ею покрыты; Алексѣй

Максимычъ собралъ здѣсь все, что было лучшаго и характернаго въ древне-греческомъ искусствѣ; отдѣльные лики святыхъ, цѣльныя изображенія, сцены изъ св. писанія рядами наполняли зданіе, выдѣляя свои очертанія и краски на золотомъ фонѣ, раздѣланномъ подъ мозаическій наборъ; въ верхнихъ рядахъ живопись казалась уже совсѣмъ темною; золото, наоборотъ, свѣтлѣе выказывалось, приближаясь къ потолку, выведенному плоско, съ поперечными балками, расписанными красками и золотомъ, какъ въ древнихъ базиликахъ. Внутренній видъ церкви особенно оживлялся цвѣтнымъ орнаментомъ, писаннымъ также на золотѣ; онъ служилъ рамкой для стѣнной живописи, огибалъ всѣ фризы, арки и ребра сводовъ, упиравшихся на золоченыхъ капителяхъ съ расписасными колоннами.

Въ этомъ блескѣ красокъ и мерцаніи позолоты ничего не было поражающаго пестротою; Алексѣй Максимычъ больше всего этимъ тревожился; онъ могъ теперь успокоиться: мастерское распредѣленіе красокъ и золота нигдѣ не нарушало гармоніи цѣлаго; все соединялось какъ нельзя удачнѣе и производило тотъ свѣтлый, торжественный, но спокойный аккордъ, котораго такъ добивался художникъ.

Вниманіе его перешло тогда къ алтарю — предмету особенной заботливости и попеченія; но тамъ, повидимому, также все отвѣчало мысли строителя; тамъ, въ углубленномъ полукругломъ пространствѣ, нарочно такъ разсчитанномъ, чтобы онъ оставался въ полусвѣтѣ во всякое время дня, величественно выступали строгія изображенія апостоловъ и Спасителя, возсѣдающаго на тронѣ; изображенія эти, колоссальнаго размѣра, писаны были во всю вышину стѣны, какъ въ палатинской капеллѣ въ Палермо, и также на золотомъ фонѣ подъ мозаику; мѣстами, въ глубинѣ, золото принимало цвѣтъ густаго янтаря, за которымъ какъ бы поставили свѣчку; мѣстами отраженіе сосѣднихъ стѣнъ выдвигало тотъ или другой ликъ, сообщая углубленнымъ частямъ алтаря тотъ таинственный оттѣнокъ, который еще въ рисункахъ мерещился художнику.

Лицо Алексѣя Максимыча омрачилось тогда только, когда глаза его встрѣтились съ иконостасомъ. Послѣдній дѣйствительно не удался. Но крикливая позолота и живопись слишкомъ уже рѣзко били въ глаза и противорѣчили характеру другихъ частей зданія, чтобы можно было приписать такую ошибку архитектору;

такъ, по крайней мѣрѣ, долженъ былъ подумать каждый благомыслящій человѣкъ. Алексѣй Максимычъ мало, однакожъ, этимъ утѣшался; иконостасъ былъ для него тѣмъ же, чѣмъ было бы для матери бѣльмо или кривая нога у любимаго дѣтища. Но что было ему дѣлать? Въ первоначальномъ проектѣ онъ хотѣлъ его оставить рѣзнымъ въ натуральномъ цвѣтѣ дерева; попечительный совѣтъ не допустилъ до этого, настоятельно требуя позолоты; Иванъ Иванычъ, передавая волю совѣта, сказалъ, что таково было желаніе купца, пожертвовавшаго деньги; неисполненіе такого желанія легко могло охладить рвеніе другихъ жертвователей. То же самое произошло съ образами. Напрасно, чуть не со слезами на глазахъ, убѣждалъ Зиновьевъ, что этимъ все дѣло будетъ испорчено, что образа эти, своими рутинными формами и кондитерской живописью, нарушатъ гармонію цѣлаго, — попечительный совѣтъ, черезъ посредство Ивана Иваныча, снова поставилъ вопросъ ребромъ: образа Лисичкина были имъ пожертвованы и, во что бы ни стало, необходимо было ихъ принять, чтобы поощрить жертвователя; образа, кромѣ того, какъ жертвованные, въ значительной степени сокращали расходъ; архитектору было, конечно, все равно; имѣя въ виду только красоту и гармонію, онъ готовъ былъ эгоистически принести имъ въ жертву денежные интересы; попечительнымъ совѣтомъ, наоборотъ, управляла широкая общественная задача, заставлявшая каждаго изъ его членовъ смотрѣть на пожертвованныя деньги, какъ на свои собственныя. Алексѣй Максимычъ поневолѣ долженъ былъ покориться. Но не одинъ попечительный совѣтъ отравлялъ ему сладость труда; чего стоила ему эта постоянная борьба противъ Ивана Иваныча, который, хотя мягко и вкрадчиво, но всегда назойливо старался примазать къ постройкѣ разныхъ лицъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ архитектурой и художествомъ. Цѣль Воскресенскаго была весьма понятна: ему хотѣлось доставить этимъ лицамъ случай получить награду впослѣдствіи; но архитектору было не легче отъ этого. Зиновьевъ для своей цѣли горячо желалъ призыва суздальскихъ живописцевъ; Воскресенскій возставалъ противъ такого желанія; согласіе пришло послѣ того, какъ Зиновьеву удалось успокоить Ивана Иваныча, нравственное чувство котораго возмущалось тѣмъ, что всѣ иконописцы горькіе пьяницы и непристойно допускать ихъ къ дѣлу благочестія. Суздальцы дѣйствительно пили мертвую; хлопотъ съ ними было не мало; но они,

по крайней мѣрѣ, безусловно повиновались указаніямъ и живопись ихъ отвѣчала характеру церковной архитектуры. Сколько разъ, въ самое кипучее время, приходилось отрываться отъ дѣла, чтобы исполнять частныя даровыя работы, дѣлать рисунки для ковровъ, окладовъ, хоругвей и т. д.,—и все это только для того, чтобы поладить съ Воскресенскимъ, желавшимъ угодить разнымъ благотворительницамъ, попечительницамъ и предсѣдательницамъ, которыя страстно хотѣли жертвовать, но такъ, однакожъ, чтобы жертвы обходились какъ можно дешевле.

Въ прошломъ году Алексѣя Максимыча постигло горе, которое чуть было совсѣмъ его не сокрушило. Вдова бывшаго товарища по академіи упросила его взять въ число помощниковъ сына; молодой человѣкъ прекрасно учился, отлично зналъ бухгалтерскую часть и, бывъ ея единственной поддержкой, находился теперь безъ мѣста. Зиновьевъ сжалился, обласкалъ молодого человѣка и, примѣтивъ въ немъ стараніе и дѣятельность, мало-помалу, съ свойственной ему довѣрчивостью, поручилъ ему вести приходо-расходныя книги и разсчитываться съ рабочими. Кончилось тѣмъ, что молодой человѣкъ обобралъ его, какъ липку; въ одинъ прекрасный день въ кассѣ не достало,—шутка сказать!—цѣлыхъ двухъ тысячъ. Алексѣй Максимычъ былъ близокъ къ отчаянью. Что было дѣлать? Подать жалобу въ судъ? Довести до свѣдѣнія совѣта? Результатомъ была бы огласка; его довѣрчивость объяснили бы небреженіемъ, нерадѣніемъ къ дѣлу; какъ строитель церкви, онъ рисковалъ возбудить подозрѣнія еще худшаго сорта. Его могли лишить постройки, потому что лица, покровительствуемыя Иваномъ Иванычемъ, конечно, не попустили бы воспользоваться удобнымъ случаемъ.

Движимый такими мыслями, Зиновьевъ рѣшился оставить дѣло втайнѣ; какъ ни горько было, онъ поспѣшилъ пополнить украденную сумму изъ скопленныхъ трудовыхъ денегъ. Никто ничего не узналъ, кромѣ вдовы и самого вора, который, впрочемъ, перенесъ катастрофу не только равнодушно, но даже съ нѣкоторымъ достоинствомъ; Алексѣй Максимычъ не разъ потомъ встрѣчалъ его гуляющимъ съ папироской и безпечно помахивающимъ тросточкой.

Зиновьевъ не вспомнилъ о врагахъ своихъ, подрядчикахъ, не переставшихъ ему насаливать въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ. Боже мой, что значили эти непріятности передъ тѣми, какія

пришлось испытать, особенно въ послѣднее время, когда между нимъ и Воскресенскимъ начались какія-то лицемѣрныя отношенія и, наконецъ, пошло явное недоброжелательство, сопровождавшееся, что ни шагъ, новыми придирками; когда всякая мелочь должна была представляться попечительному совѣту и членамъ на обсужденіе, отъ нихъ переходить къ Воскресенскому, отъ Воскресенскаго переходить на утвержденіе графа, причемъ каждое изъ этихъ лицъ, не отвѣчая ни на что точно и опредѣлительно, считало долгомъ замѣтить: „Что тутъ... какъ будто... было что-то... не совсѣмъ такъ и лучше бы прибавить: а здѣсь, хотя и было ладно, но... казалось какъ будто... надо было что-то убавить..,“

Но всѣ эти воспоминанія, случайно вызванныя въ памяти стараго архитектора, промелькнули мимо, не возбуждая въ немъ ни желчи, ни раздраженія. Онъ находилъ себя достаточно вознагражденнымъ уже тѣмъ, что завѣтная мечта стольких лѣтъ не осталась праздною мечтою; она осуществилась, получила осязательную, желанную форму, дала удовлетворительный художественный результатъ; Алексѣй Максимычъ недаромъ, стало быть, прожилъ; труды его не пропали; имя его останется...

Зиновьевъ былъ слишкомъ скроменъ, чтобы придавать своей работѣ преувеличенное значеніе. Онъ трудился много, трудился отъ всего сердца, съ любовью, съ увлеченіемъ, но относился къ своему труду просто, не священнодѣйствуя или не кутаясь въ плащъ глубокомыслія, какъ теперь часто дѣлаютъ художники, приступая къ портрету чиновника или изображенію мужичка, тупо созерцающаго древесный пень.

Не страдая излишкомъ самолюбія, онъ не поддавался самообольщенію. Онъ зналъ очень хорошо, насколько въ построенной имъ церкви неумѣстно было гордиться самобытнымъ творчествомъ. Все здѣсь было не имъ выдумано, давно создавалось вѣками и встрѣчалось на множествѣ памятниковъ греко-византійской эпохи. На долю его выпало только собрать и соединить матеріалы.

Но, рядомъ съ этимъ, они представляли совершеннѣйшіе образцы, и выборомъ ихъ несомнѣнно должны были управлять вкусъ и знаніе; простой смыслъ говорилъ здѣсь о трудностяхъ, которыя надо было превозмочь, чтобы распредѣлить разрозненныя части, связать ихъ общимъ смысломъ, приспособить ихъ къ настоящей задачѣ; здравый разсудокъ указывалъ, что тутъ трудомъ однимъ ничего не возьмешь: нужно было художественное

дарованіе, нуженъ былъ талантъ, чтобы слить эти части въ одно цѣлое и привести ихъ въ полное, гармоническое сочетаніе.

Алексѣй Максимычъ могъ бы повторить себѣ то же самое и гордо приподнять голову; онъ ограничивался тѣмъ, что потиралъ руки и мягко, добродушно улыбался; но и того чувства, которое наполняло теперь согрѣтое сердце, довольно было, чтобы вытѣснить тяжелыя воспоминанія всѣхъ нѣудачъ, разочарованій, обидъ и горькихъ испытаній. Все это прошло, слава Богу; оставалось утѣшаться и радоваться, именно радоваться, потому что передъ глазами сіяло во всемъ блескѣ произведеніе, — плодъ собственной мысли и труда, — а на душѣ было также свѣтло, благодаря чистой совѣсти и честнымъ побужденіямъ.

Въ такомъ счастливомъ настроеніи духа находился старый архитекторъ, когда въ глубинѣ церкви зашумѣла дверь и въ свѣтломъ ея пятнѣ показались сначала Иванъ Иванычъ, а вслѣдъ за нимъ Бабковъ и Лисичкинъ.

Алексѣй Максимычъ пошелъ имъ навстрѣчу.

## X.

Не успѣлъ онъ сдѣлать трехъ шаговъ, какъ уже издали послышался разнѣженно-умиленный голосъ живописца:

— Здравствуйте, дорогой, — дорогой и многоуважаемый Алексѣй Максимычъ. Честь вамъ и слава! Честь и слава... Ахъ, какая прелесть!...

Зиновьевъ привѣтливо раскланялся съ гостями и всѣмъ пожалъ руки; обратясь затѣмъ къ живописцу, онъ только прибавилъ:

— Погодите хвалить; дальше, можетъ быть, еще и не понравится...

— Нѣтъ, ужъ извините: отсюда уже вижу, какое наслажденіе насъ дальше ожидаетъ! — съ сіяющимъ видомъ заговорилъ Лисичкинъ, придвигаясь вмѣстѣ съ другими къ серединѣ церкви. — Что я говорилъ? Какъ есть — праздникъ для глазъ; сласть просто!

При этомъ онъ даже зачмокалъ губами, какъ бы дѣйствительно ощутилъ сладость во рту.

— Какой блескъ! Сколько характера и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какая вездѣ гармонія! — продолжалъ Лисичкинъ, останавливаясь

въ восторженномъ экстазѣ, но на самомъ дѣлѣ поглядывая сбоку на свои образа въ иконостасѣ.

Удовлетворивъ себя съ этой стороны, онъ неожиданно принялъ намѣреніе расцѣловать Зиновьева, но сѣрые его глазки встрѣтились съ прищуренными глазами Бабкова и онъ остановился; восторгъ долженъ былъ, однакожъ, чѣмъ нибудь выразиться; онъ поспѣшно завладѣлъ рукою старика и, нѣжно пожимая ее между мягкими своими ладонями, снова сталъ обдавать его медомъ и елеемъ.

Бабковъ, между тѣмъ, продолжалъ молчать. Онъ всегда завидовалъ „находчивости лукаваго блондина“, умѣвшаго приноровиться къ случаю, пригнать къ нему подходящія слова, лицо и даже голосъ; Бабковъ, какъ извѣстно, былъ человѣкъ прямой, основательный; прежде чѣмъ что нибудь сказать, ему надо было осмотрѣться, взвѣсить, обсудить дѣло. Онъ ограничивался пока тѣмъ, что осклаблялся во весь ротъ, когда встрѣчался глазами съ лицомъ Зиновьева, причемъ показывалъ рядъ крѣпкихъ зубовъ, которые хотя никогда не чистились, но бѣлѣли между его толстыми губами.

Ивану Иванычу нечего было высказывать своихъ впечатлѣній. Слѣдя за постройкой и наѣзжая сюда время отъ времени, онъ давно успѣлъ вывести свои заключенія. Онъ былъ, притомъ, умственно и нравственно озабоченъ: въ три часа надо было ѣхать въ засѣданіе, временно предсѣдательствовать и провести весьма сложный вопросъ. Кромѣ того, ему сегодня какъ-то нездоровилось; а тутъ еще эти сырыя стѣны новой, только-что отстроенной церкви, сжатый воздухъ, пропитанный запахомъ извести и красокъ! Не смотря на резиновыя калоши, онъ почувствовалъ холодъ въ ногахъ, едва переступилъ порогъ паперти. Все это, естественно, не могло способствовать хорошему расположенію духа. Брезгливо кутаясь въ теплое пальто съ приподнятымъ воротникомъ, углубляя подбородокъ въ шерстяное кашне, онъ съ нахмуреннымъ видомъ слѣдовалъ за художниками, упрашивая ихъ идти впередъ и не стѣсняться его присутствіемъ.

Бесѣда ихъ, повидимому, мало его занимала; уловляя на лету восторженныя восклицанія Лисичкина, онъ направлялъ въ его сторону бѣлые зрачки свои, смотрѣвшіе выше очковъ, и что-то похожее на улыбку появлялось тогда на губахъ его. Остальное время черты Ивана Иваныча сохраняли унылую неподвижность;

на вытянутомъ, болѣзненно-золотушномъ лицѣ ничего нельзя было прочесть, кромѣ скуки и того брезгливаго выраженія, какое встрѣчается чаще всего на лицахъ людей, засѣдающихъ въ комитетахъ и вынужденныхъ возвращаться къ вопросамъ, давно разрѣшеннымъ и подписаннымъ.

Осмотръ постройки продолжался около часу.

Воскресенскій присоединился къ общей группѣ, когда художники возвратились къ прежнему мѣсту, на середину церкви.

Въ эту минуту голоса присутствующихъ неожиданно смолкли. Всѣми овладѣла вдругъ не то неловкость, но скорѣе какое-то колебаніе, точно каждый хотѣлъ сказать что-то, но не рѣшался начать. Воскресенскій, державшійся похвальнаго обычая выслушивать чужія мнѣнія, прежде чѣмъ высказать собственныя, вопросительно посматривалъ на Лисичкина и Бабкова; тѣ, въ свою очередь, поглядывали на Воскресенскаго, выразительно показывая глазами, что прежде желали бы услышать его слово.

Молчаливый, но полный телеграфнаго значенія обмѣнъ этихъ взглядовъ, хотя и прошелъ незамѣтнымъ для Зиновьева, но молчаніе присутствующихъ, видимо, его стѣсняло.

— Прекрасно-съ... Очень хорошо-съ,— разрѣшился, наконецъ, Иванъ Иванычъ, произнося слова носовымъ голосомъ и умышленно ихъ растягивая, съ тѣмъ, чтобы успѣть обдумать то, что хотѣлъ сказать. — Мнѣ остается присоединиться къ гг. художникамъ, коллегамъ вашимъ, и повторить вмѣстѣ съ ними: прекрасно-съ...

— Мнѣ остается только радоваться, — весело возразилъ Зиновьевъ.

Иванъ Иванычъ медленно снялъ замшевую перчатку съ правой руки и подалъ ее старому архитектору.

— Объ одномъ развѣ пожалѣть можно, прибавилъ онъ, отводя глаза въ другую сторону. — Я, впрочемъ, уже прежде сколько разъ упоминалъ вамъ объ этомъ, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ!...

— Скажите, живо подхватилъ Зиновьевъ, — вы знаете, я всегда исполнялъ ваши желанія и совѣты; время еще есть: можно исправить.

— Нѣтъ, то, что я хотѣлъ сказать, не касается вовсе искусства; я выражаю только сожалѣніе, что все это раньше не поспѣло... Освященіе церкви, вы знаете, назначено было къ Святой; мы теперь въ іюнѣ... и... и все еще не готово!... Посмотрите-ка, сколько еще остается работы...

Работы оставалось совсѣмъ не много: надо было, при входѣ въ церковь, достлать полъ, который пока забранъ былъ досками; оставалось положить ступени для соединенія алтаря съ церковью и украсить ихъ балюстрадой; послѣдняя была, впрочемъ, совершенно готова и частями сложена по угламъ; на одной изъ нижнихъ боковыхъ арокъ недоставало также расписнаго орнамента. Но все это не стоило даже упоминаній и если кого нибудь надо было винить въ этомъ, во всякомъ случаѣ не архитектора, а скорѣе Воскресенскаго, который, въ послѣдніе три мѣсяца, всячески старался задерживать окончаніе постройки. Кредитъ Алексѣя Максимыча настолько былъ вдругъ сокращенъ, что онъ едва могъ разсчитаться съ поставщиками матеріала и рабочими.

Какъ ни прискорбно было старому архитектору, онъ терпѣлъ, —терпѣлъ, ободряя себя надеждой, что совѣтъ (Иванъ Иванычъ всегда на него ссылался) и самъ Воскресенскій поймутъ, наконецъ, всю несообразность останавливать работы передъ самымъ ихъ окончаніемъ. Старанія его извѣдать настоящія причины такого распоряженія остались безплодны. Ему постоянно повторяли: „денегъ нѣтъ, подождите!“ И, между тѣмъ, его же теперь обвиняли!

Слова Воскресенскаго задѣли его за самое больное мѣсто. Онъ на этотъ разъ уже не выдержалъ. Сначала сдержанно, но потомъ вдругъ разгорячась, такъ что краска выступила на щекахъ, онъ высказалъ Иванъ Иванычу все то, что давно накипѣло въ его душѣ.

Какъ только начались эти объясненія, Бабковъ и Лисичкинъ осторожно отошли въ сторону. Показывая видъ, что осматриваютъ детали украшеній, оба начали производить въ воздухѣ фантастическіе пояснительные жесты; они продолжали упражняться пантомимой до тѣхъ поръ, пока не разсудили, что пора поспѣшить на выручку Ивану Иванычу.

Онъ поблагодарилъ ихъ взглядомъ; но глаза его тутъ же опустились и выраженіе смиренія, съ какимъ истинному христіанину подобаетъ выслушивать горечь несправедливыхъ обвиненій, изобразилось въ чертахъ его.

— Вотъ, господа, упавшимъ голосомъ проговорилъ онъ, обращаясь къ подошедшимъ художникамъ, — оказывается, меня теперь винятъ въ томъ, что церковь не поспѣла къ сроку...

— Я не говорю, что вы собственно виноваты, подхватилъ

Зиновьевъ, замѣтно смягчаясь, — я повторяю, что такъ какъ все отъ васъ зависѣло и зависитъ, вы могли бы больше содѣйствовать....

— Позвольте, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, продолжалъ Иванъ Иванычъ тихимъ голосомъ, отвѣчавшимъ кроткому выраженію его лица, — вамъ не угодно вникнуть въ одно обстоятельство; скажу болѣе: вы его совсѣмъ забываете; если мнѣ было поручено завѣдываніе постройкой, то это потому собственно, что такъ было угодно совѣту... Здѣсь совѣтъ хозяинъ... Власть моя ограничена... На каждомъ шагу встрѣчаются обстоятельства, которымъ я, скорбя душевно, — именно душевно, — долженъ покоряться... Въ дѣлѣ этой постройки (Иванъ Иванычъ печально обвелъ глазами стѣны церкви и подавилъ вздохъ) мною, какъ всегда, впрочемъ, руководило одно чувство: желаніе добра и пользы!... Хотя мы знакомы не со вчерашняго дня, Алексѣй Максимычъ, но, повидимому, вы меня еще не знаете, подхватилъ онъ, какъ бы растроганно и съ сожалѣніемъ. — Я вамъ помѣшалъ! Я не содѣйствовалъ! И въ чемъ же? Въ достиженіи богоугодной, благочестивой цѣли?!... Позволю себѣ сказать: я бы желалъ видѣть васъ болѣе справедливымъ! Если я позволялъ себѣ иногда торопить васъ; если сегодня еще высказалъ сожалѣніе, что церковь не готова, то и здѣсь, повѣрьте, скорѣе дѣйствовалъ въ видахъ вашего же собственнаго интереса... Графъ чуть ли не каждый день спрашиваетъ и всякій разъ сердится...

— Желалъ бы я посадить его на мое мѣсто; посмотрѣлъ, что бы онъ тутъ сдѣлалъ! воскликнулъ Зиновьевъ, снова начинавшій горячиться.

— Успокойтесь, успокойтесь, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, вмѣшался Лисичкинъ, — вы должны, вы можете быть спокойны! Вы поставили себѣ памятникъ! Мы сейчасъ говорили объ этомъ: прелесть! Честь вамъ и слава! Честь и слава! — подхватилъ онъ, овладѣвая рукою старика и нѣжно пожимая ее между ладонями.

— Полноте, батенька, уговаривалъ со своей стороны Бабковъ, — я человѣкъ простой, никакихъ этихъ закрутасовъ не знаю; прямо скажу: отмѣнно, отмѣнно отличились! Соорудили, такъ сказать, въ честь свою... Какой тутъ графъ? Тутъ вы, батенька!

Иванъ Иванычъ, желавшій прекратить какъ можно скорѣе объясненія, вынулъ часы и прибавилъ, стараясь придать своимъ чертамъ смиренно-грустное выраженіе:

— Именно сожалѣю, что вамъ угодно было объяснить себѣ такимъ образомъ слова мои... Единственнымъ желаніемъ моимъ всегда было... и будетъ — угождать вамъ... Я постарался бы окончательно оправдать себя въ глазахъ вашихъ, но, къ сожалѣнію, долженъ теперь торопиться; у меня сегодня засѣданіе въ три часа... Остается искренно поблагодарить васъ за удовольствіе, которое вы намъ доставили; говорю намъ потому, что гг. художники такого же мнѣнія...

— Еще бы! Повторяю: честь и слава Алексѣю Максимычу! Отмѣнно, батенька, спасибо! заговорили въ одно время Бабковъ и Лисичкинъ, подступая къ Зиновьеву, который провожалъ Воскресенскаго.

На паперти Иванъ Иванычъ снова взглянулъ на часы и остановился.

— Передъ уходомъ позвольте мнѣ еще разъ повторить вамъ, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ: вы, я вижу, меня еще не знаете... не знаете! промолвилъ онъ, какъ бы глубоко сожалѣя объ этомъ. — Если бы вы меня лучше знали, повѣрьте, вы были бы ко мнѣ справедливѣе... Онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но опять вздохнулъ и, пожелавъ присутствующимъ всего хорошаго, началъ осторожно спускаться по ступенькамъ паперти. Бабковъ и Лисичкинъ хотѣли было поддержать его, но онъ смиренно поблагодарилъ ихъ, прибавивъ: „У меня есть свободное мѣсто, господа; не угодно ли кому нибудь?“

Какъ живописцу, такъ и Бабкову желательно было воспользоваться предложеніемъ; но они переглянулись и поняли, что тотъ, кто займетъ мѣсто, легко можетъ увлечься случаемъ и измѣнить другому. Не желая, вѣроятно, нарушать прямоты взаимныхъ отношеній, они предпочли отказаться; поблагодаривъ Ивана Иваныча, оба сѣли рядомъ на дрожки и, подхвативъ другъ друга за талію, покатили вслѣдъ за коляской.

## XI.

Засѣданіе, назначенное въ три часа и ожидавшее Воскресенскаго, не переставало его озабочивать во все продолженіе

дороги. Онъ привыкъ предсѣдательствовать; но дѣло было не въ этомъ: ему предстояло сегодня провести вопросъ, принадлежащій къ числу такъ называемыхъ *деликатныхъ* и поэтому самому весьма затруднительный.

Въ дѣлахъ общества *Спасительнаго вліянія труда для преждевременно погибшихъ* обнаружились надняхъ большіе безпорядки; требовалось, во что бы то ни стало, принять скорѣе энергическія мѣры и придти ему на помощь. Участіе здѣсь Ивана Иваныча было частью противъ его воли, вынужденно, частью обязательно, — обязательно въ томъ отношеніи, что помянутое общество было ему не совсѣмъ чужое. Онъ изобрѣлъ его года полтора тому назадъ по просьбѣ княгини Любичъ, двоюродной сестры графини Можайской.

Мысль княгини была прекрасная: ей хотѣлось дать какое нибудь занятіе и сколько нибудь развлечь старшую дочь, тосковавшую послѣ потери любимаго мужа. Но вдова скоро утѣшилась, выйдя вторично замужъ, и обязанность предсѣдательницы взяла на себя вторая дочь княгини, госпожа Турманова.

Сначала Воскресенскій принялъ было живое участіе въ судьбѣ возникшаго общества: старался руководить свѣтской неопытной предсѣдательницей, сдѣлалъ нѣсколько полезныхъ предложеній, попробовалъ помѣстить двухъ своихъ знакомыхъ — одного въ качествѣ секретаря, другаго въ качествѣ кассира; но предсѣдательница слушала его разсѣянно, къ предложеніямъ его отнеслись невнимательно, знакомымъ его отказали, избравъ вмѣсто нихъ какихъ-то вѣтрогоновъ. При самомъ началѣ общество такъ уже складывалось, что, на опытный глазъ Воскресенскаго, не предвѣщало въ будущемъ ничего прочнаго. Его составляли въ большинствѣ свѣтскіе молодые люди и молоденькія дамы, — *diables roses*, *diables bleus*, какъ онѣ сами себя прозвали послѣ перваго замаскированнаго бала, даннаго въ пользу общества: на этомъ балѣ одна половина дамъ условилась быть въ розовыхъ платьяхъ, другая половина въ голубыхъ. Въ числѣ женскаго пола находилось также нѣсколько богатыхъ купчихъ и банкирскихъ женъ, давно горѣвшихъ желаніемъ втереться въ кругъ большаго свѣта и искавшихъ для этого удобнаго случая; ихъ принимали и терпѣли потому, что онѣ давали много денегъ. Въ цѣломъ своемъ составѣ общество представляло скорѣе свѣтскій кружокъ, въ которомъ сущность дѣла служила только предлогомъ для увеселеній,

маскарадовъ, домашнихъ спектаклей, баловъ и базаровъ; главные дѣятели держали себя такъ исключительно, что когда въ число членовъ попадало лицо, не принадлежавшее свѣтскому кругу, оно уподоблялось тяжеловѣсному индюку, случайно забѣжавшему въ клѣтки прыгающихъ и щебечущихъ птичекъ.

Серьезному человѣку, очевидно, не могло быть тутъ мѣста; Иванъ Иванычъ искалъ уже благовиднаго предлога, чтобы отказаться отъ званія члена, когда въ первыхъ числахъ іюня предсѣдательница, госпожа Турманова, неожиданно собралась заграницу; ближайшіе ея помощники, секретарь и казначей, уѣхали уже прежде, оставивъ ей на руки кассу и книги. Не зная рѣшительно, что дѣлать съ этимъ добромъ, г-жа Турманова передала его княгинѣ-матери и, ничего не объяснивъ ей основательно, уѣхала въ Баденъ-Баденъ, куда настоятельно призывали ее письма друзей.

Княгиня-мать, не зная также, что дѣлать съ добромъ общества, обратилась за совѣтомъ къ двоюроднымъ сестрѣ и брату, графу и графинѣ Можайскимъ.

Извѣстіе о неожиданномъ отъѣздѣ двоюродной племянницы и ближайшихъ ея помощниковъ, такъ легкомысленно бросившихъ ввѣренное имъ общество на произволъ судьбы, привело графа въ сильное негодованіе. Онъ объявилъ, что такой поступокъ неизбѣжно навлечетъ нареканіе со стороны членовъ общества, — нареканіе тѣмъ менѣе желательное, что коснется лицъ высшаго круга, — и когда же? — когда именно слѣдуетъ поддерживать этотъ кругъ въ видахъ извѣстнаго принципа. „Если къ этому, — строго прибавила графиня, — милые друзья Зизи (такъ звали г-жу Турманову) и сама она что нибудь напутали въ дѣлахъ этого общества, — предположеніе болѣе чѣмъ вѣроятное, — и если кому нибудь случайно попадется на глаза эта путаница...“, — но графиня не докончила при видѣ испуга на лицѣ двоюродной сестры; ей не хотѣлось также окончательно разстраивать брата, начинавшаго съ первыхъ ея словъ выказывать знаки возраставшаго неудовольствія.

Рѣшено было тутъ же послать курьера за Воскресенскимъ. *„C'est l'homme!“* — воскликнулъ графъ, мгновенно ободряясь. По его мнѣнію, одинъ Иванъ Иванычъ могъ дать совѣтъ, могъ выручить, еслибъ въ самомъ дѣлѣ эти вѣтрогоны что нибудь напутали. Стоило передать Воскресенскому оставленныя бу-

маги, попросить его просмотрѣть ихъ, взять на себя во время отсутствія Зизи роль предсѣдателя,—не о чемъ было бы больше безпокоиться. Преданность его графу и графинѣ извѣстна; на знаніе дѣла и скромность также можно положиться.

Какъ только пріѣхалъ Воскресенскій и узналъ, въ чемъ дѣло, лицо его приняло печальное выраженіе; ему предлагали то именно, чему онъ давно не сочувствовалъ, отъ чего скромно желалъ удалиться; при видѣ его лица предчувствіе чего-то недобраго невольно закралось въ душу графа и онъ не шутя встревожился. Просьба его стала еще настоятельнѣе; къ нему присоединились графиня и двоюродная ея сестра, графиня Любичъ. Всѣ трое принялись уговаривать, придавая просьбѣ характеръ личнаго одолженія. Рѣшимость Ивана Иваныча поколебалась; онъ согласился. Ему тотчасъ же переданы были дѣла и деньги общества.

Первымъ его распоряженіемъ было пригласить двухъ довѣренныхъ лицъ — одного для временнаго исполненія должности бухгалтера, другаго временно въ должность секретаря; затѣмъ имъ было поручено ознакомиться подробно съ дѣлами.

Въ тотъ самый день, когда Иванъ Иванычъ возвратился домой на дачу послѣ пріемнаго утра графа, онъ засталъ у себя этихъ двухъ лицъ. Они сообщили, что въ кассѣ общества открылся значительный недочетъ. Тутъ, очевидно, не было никакого злаго умысла, никто деньгами, конечно, не воспользовался; всему былъ виноватъ безпорядокъ въ веденіи дѣлъ, потому что такого сумбура, какъ тутъ, имъ никогда еще не приводилось видѣть: казначей, какой-то г. Авенировъ, выдавая деньги, часто забывалъ ихъ вписывать въ расходъ; въ книгахъ секретаря, барона Фукъ,—тамъ, гдѣ требовалось вписывать журналъ засѣданій, — попадались пробѣлы на цѣлыхъ страницахъ; росписки,— тамъ, гдѣ онѣ встрѣчались,— были большею частью безъ числа и номера; на многихъ значился расходъ, но не надписано было, за что были выданы деньги,—словомъ, путаница была совершеннѣйшая; въ ней участвовали всѣ рѣшительно, начиная съ самой предсѣдательницы и кончая послѣднимъ членомъ комитета, г. Чиндаласовымъ, тѣмъ самымъ, который, не далѣе какъ нынѣшнею весною, сломалъ себѣ два ребра на царскосельскихъ скачкахъ. Въ концѣ концовъ, обнаружился тотъ фактъ, что въ кассѣ невозможно было досчитаться трехъ тысячъ.

Иванъ Иванычъ ожидалъ этого; предчувствія его не обманули.

Дѣло главнымъ образомъ непріятно было въ томъ отношеніи, что оно могло огласиться, могло бросить тѣнь, возбудить недовѣріе къ веденію дѣлъ въ другихъ благотворительныхъ обществахъ, находившихся подъ его управленіемъ и покровительствуемыхъ графомъ. Онъ рѣшился ничего не говорить до поры до времени графу и графинѣ, зная впередъ, что оба поднимутъ тревогу: немедленно напишутъ двоюродной племянницѣ; та отвѣтитъ, напишетъ своимъ пріятельницамъ; тѣ разнесутъ вѣсть и кончится все неблаговидной исторіей, къ которой, пожалуй, приплетутъ и его имя. Онъ предпочелъ исправить дѣло домашнимъ образомъ.

Когда, нѣсколько дней спустя, графъ освѣдомился о томъ, въ какомъ положеніи дѣло, Иванъ Иванычъ спокойно возразилъ, что пока ничего не нашелъ особеннаго, кромѣ нѣкоторой путаницы.

— Убѣдительно прошу васъ, Иванъ Иванычъ, не выпускать дѣла изъ рукъ вашихъ, пока оно не будетъ приведено въ строжайшій порядокъ, — сказалъ графъ торопливо и озабоченно. — Прошу васъ сдѣлать это въ личное для меня одолженіе... Всѣ мы будемъ вамъ благодарны!

Воскресенскій, успѣвшій уже составить себѣ планъ дѣйствій, поспѣшилъ успокоить графа.

Въ числѣ различныхъ предположеній и проектовъ, сочиняемыхъ Иваномъ Иванычемъ для пользы страждущаго человѣчества, находился одинъ, которому придавалъ онъ особенное значеніе. Многолѣтняя практика привела его къ убѣжденію, что лучшимъ способомъ пріобрѣтать богатыхъ жертвователей и щедрыхъ членовъ для благотворительныхъ обществъ было бы дозволить этимъ обществамъ раздавать красивые серебряные и золотые значки или жетоны въ видѣ кружковъ, или еще лучше звѣздочекъ съ эмалевою надписью на одной сторонѣ, а на другой — какой нибудь интересной аллегоріей, напримѣръ, фигурой милосердія, держащей въ правой рукѣ рогъ изобилія, между тѣмъ какъ лѣвая рука, не желая знать, что творитъ правая, усиленно прячется за спину. О ношеніи такого знака въ петлицѣ нечего было думать. Достаточно было бы прицѣплять его къ часовой цѣпочкѣ или носить при себѣ въ жилетномъ карманѣ и показы-

вать при встрѣчѣ знакомымъ: „Смотрите, дескать, что у меня есть, что я получилъ!...“

Лелѣя свою мысль и приберегая ее для важнаго случая, Иванъ Иванычъ рѣшился ею пожертвовать въ пользу общества *Спасительнаго вліянія труда для преждевременно погибшихъ*. Онъ дѣлалъ это скрѣпя сердце, движимый не столько врожденнымъ великодушіемъ, сколько желаніемъ лишній разъ доказать свою преданность графу и членамъ его семейства.

Выхлопотать позволеніе издать жетоны было не трудно; несравненно труднѣе было воспользоваться позволеніемъ въ лѣтнее время, когда въ городѣ никого почти не было. Охотники до жетоновъ, конечно, не уйдутъ; придетъ зима,—они сами собою явятся; но пока все это въ будущемъ; въ настоящемъ требовалось сейчасъ же найти тѣ три тысячи, которыхъ недоставало въ кассѣ. Откуда взять эти деньги? Какъ помочь горю? „Можно“,—отвѣтилъ безъ замедленія находчивый умъ Воскресенскаго. По его мнѣнію, оставалось одно средство: заказать немедленно тысячу жетоновъ; каждый обойдется обществу, положимъ, въ пять рублей. Но стоитъ призвать извѣданнаго Блинова, переговорить съ нимъ съ глазу на глазъ,—и отыщется ювелиръ, который, за почетное вознагражденіе, согласится принять заказъ, подпишетъ счетъ въ пять тысячъ, но, въ сущности, исполнитъ его менѣе чѣмъ за половинную цѣну. Такіе примѣры уже неоднократно бывали. Въ результатѣ получатся, слѣдовательно, требуемыя три тысячи. Придетъ зима, жетоны пустятся въ оборотъ; общество не только возвратитъ себѣ истраченную сумму, но даже обогатится современемъ.

Оставалось еще одно затрудненіе: собрать въ іюлѣ мѣсяцѣ достоточное число членовъ общества, чтобы могло состояться засѣданіе. Относительно того, чтобы получить согласіе членовъ, Иванъ Иванычъ не очень безпокоился; онъ считалъ всегда іюль мѣсяцъ самымъ удобнымъ для проведенія трудныхъ вопросовъ; уже одно то, что члены собираются въ небольшомъ количествѣ, въ общемъ ихъ настроеніи чувствуется всегда больше расположенія къ буколикѣ и даже лѣни; споровъ, препирательствъ никогда почти не бываетъ; многіе, обдаваемые потомъ, засыпаютъ при началѣ дебатовъ; другихъ соединяетъ одна общая мысль: какъ бы только скорѣе отдѣлаться. Случалось иногда, что никто не пріѣдетъ, и засѣданіе не могло состояться; но въ настоящемъ

случаѣ врядъ ли можно было этого ожидать; всѣ мѣры были заблаговременно приняты. Иванъ Иванычъ, тѣмъ не менѣе, чувствовалъ томленіе подъ ложечкой и лицо его выражало озабоченность. Онъ ободрился, увидѣвъ нѣсколько каретъ и дрожекъ у подъѣзда дома, гдѣ должно было происходить засѣданіе. У входа въ первую комнату онъ встрѣтился съ поджидавшимъ его Блиновымъ, протянулъ ему руку и, въ то же время, бросилъ взглядъ въ сосѣднюю комнату, двери которой были открыты. Десятка полтора дамъ и мужчинъ, раздѣлившись на группы, сидѣли и прогуливались по обѣимъ сторонамъ длиннаго стола, покрытаго синимъ сукномъ, съ правильно разложенными на немъ листами бумаги и карандашами; на дальнемъ концѣ довѣренныя лица Ивана Иваныча, исполнявшія должности секретаря и казначея, перебирали бумаги.

Иванъ Иванычъ отодвинулся въ сторону, такъ чтобы не могли его замѣтить, и обратился къ Блинову:

— Ну что? — спросилъ онъ, понижая голосъ.

— Посчастливилось! нашелъ! — возразилъ Блиновъ, представлявшій изъ себя рослаго, плотнаго бѣлокураго мужчину лѣтъ сорока, обстриженнаго *à la russe*, съ румянымъ лицомъ гостинодворскаго молодца; оно оживлялось небольшими глазками, такими же свѣтлыми и быстрыми, какъ у сокола; онъ былъ въ форменномъ вицмундирѣ; на отворотѣ красовалась цѣпочка, увѣшанная знаками отличія, между которыми виднѣлся персидскій орденъ, полученный за доставку въ Тегеранъ дароваго цыбика чая.

— Благодарю васъ, благодарю, — сказалъ Воскресенскій, продолжая говорить шопотомъ. — Вы съ нимъ основательно переговорили? Соглашается?

— Вполнѣ согласенъ-съ.

— Надо, однакожъ, знать, какія его условія?

— Проситъ выхлопотать гербъ на вывѣску...

Требованіе ювелира затруднило, повидимому, Ивана Иваныча; лобъ его нахмурился; бѣлые зрачки показались надъ краемъ очковъ и задумчиво поглядѣли въ бокъ.

— Можно ли на него вполнѣ положиться? — спросилъ онъ.

— Отвѣчаю какъ за себя собственно-съ...

Иванъ Иванычъ снова задумался, какъ бы соображая о

чемъ-то; но время не позволяло углубляться въ долгія размышленія.

— Хорошо, скажите ему: я согласенъ! — проговорилъ онъ рѣшительно. — Сегодня вечеромъ привезите его ко мнѣ для окончательныхъ переговоровъ; смотрите, сегодня же... дѣло не терпитъ отлагательства...

Въ эту минуту временный секретарь, завидя издали Ивана Иваныча, показался въ дверяхъ.

— Вы очень кстати, — сказалъ Воскресенскій, — сколько членовъ комитета?

— Всего пять...

— Ничего, я шестой; собраніе, по уставу, можетъ состояться... Все ли у васъ тамъ готово?

— Все-съ.

— Хорошо, ступайте туда; я сію минуту... Но тутъ Иванъ Иванычъ былъ неожиданно остановленъ членомъ комитета, госпожей Бальзаминовой, которая, какъ только его увидѣла, бросилась ему навстрѣчу и, томно склонивъ голову, съ мольбою въ глазахъ и на лицѣ, протянула ему обѣ руки.

Госпожа Бальзаминова, лишившаяся мужа десять лѣтъ тому назадъ, не снимала съ тѣхъ поръ траура, убѣдившись, что черный цвѣтъ необыкновенно шелъ къ ея круглому лицу, придавая ему интересную блѣдность; не производя, однакожъ, никакого впечатлѣнія, она поэтому, вѣроятно, казалась всегда чѣмъ-то обиженной и готовой расплакаться; плакать, собственно, было не о чемъ: мужъ оставилъ ей прекрасное состояніе и, не смотря на свои сорокъ лѣтъ, она пользовалась отличнымъ здоровьемъ; слезливость могла также происходить отъ избытка чувствительности ея сердца: она постоянно болѣла за всѣхъ, отзывалась на всѣ страданія, надрывалась отъ безсилія помочь всему страждущему человѣчеству. Сердце влекло ее разсыпать благодѣянія не только въ Россіи, но и въ Германіи, куда ежегодно отправляла она въ какое-то общество милосердія фунтъ сигарныхъ обрѣзковъ, выпрашиваемыхъ ею у всѣхъ, съ кѣмъ только встрѣчалась; щедротами ея пользовались круглый годъ безразлично всѣ благотворительныя учрежденія Петербурга: комитетъ „призрѣнія слѣпыхъ старухъ“ аккуратно получалъ отъ нея всѣ носовые платки, выходившіе изъ употребленія; въ больницу „Излечи мои недуги“ посылала она то корпію въ письменномъ конвертѣ, то стклянечку

клюквеннаго морса; въ „дѣтскій сиротскій пріютъ“ отправляла всегда къ Рождеству полфунта чаю и на каждаго ребенка по два сухаря и по куску сахара; домъ „трудолюбія“ пользовался отъ нея старыми гарусными подушками, изъ которыхъ можно было сдѣлать подобіе моха на кружкѣ, куда становятся лампы; базары съ благотворительной цѣлью не знали, куда дѣваться отъ ея пожертвованій. Она постоянно хлопотала о помѣщеніи въ то или другое заведеніе какого нибудь страждущаго или неимущаго; тамъ пристроила свою кухарку, неожиданно лишившуюся зрѣнія, здѣсь пріютила сына кучера въ награду за его усердіе еще при жизни покойнаго мужа.

Она спѣшила теперь къ Ивану Иванычу, имѣя настоятельную просьбу объ опредѣленіи двухъ дѣвочекъ-сиротокъ, оставшихся у нея на рукахъ послѣ смерти любимой прачки.

— Милый Иванъ Иванычъ, милый, вы не откажете... — проворковала она, пожимая ему руки.

— Все устрою, все... Только вотъ что, Любовь Николаевна: я дѣлаю сегодня одно предложеніе; поддержите его...

— О, еще бы! еще бы! Можете ли вы предложить что нибудь, на что бы нельзя было согласиться!

— Очень любезно съ вашей стороны... Но, Любовь Николаевна, мы поговоримъ о вашемъ дѣлѣ послѣ засѣданія... Теперь намъ пора...

— Пойдемте, пойдемте!

Они вмѣстѣ вошли въ залу.

Ивана Иваныча тотчасъ же окружили. Раскланиваясь и пожимая руки, онъ, почти не останавливаясь, направился къ высокой худощавой дамѣ съ восточнымъ орлинымъ носомъ и энергическимъ взглядомъ. Это была княгиня Чирикова, также членъ комитета и, кромѣ того, предсѣдательница общества *Снабженія даровыми кормилицами служащихъ семейныхъ лицъ, получающихъ не свыше полуторы тысячи годоваго оклада.* Она извѣстна была всему Петербургу тѣмъ еще, что каждый, кто ей представлялся, получалъ, по три раза въ теченіе зимы, конвертъ со вложеніемъ приглашенія на ея базаръ и билета съ надписью: *цѣна пять рублей.* При ея большомъ состояніи она могла бы дѣйствовать гораздо проще, именно: удѣлять на свое общество двѣ-три тысячи изъ собственнаго кармана; но княгиня почему-то избѣгала этого способа, предпочитая ему тотъ, которымъ руководствовалась.

— Получила ваше приглашеніе и видите: пріѣхала! — съ достоинствомъ промолвила княгиня, дѣлая глазами знакъ, приглашавшій собесѣдника отойти нѣсколько въ сторону.—Но... но за это вы, надѣюсь, не откажете въ моей просьбѣ, — добавила она, понижая голосъ.

— Приказывайте, княгиня...

— Вы поможете мнѣ устроить одно дѣло...

— Душевно буду радъ...

— Душевно или нѣтъ, но дайте слово...

— Вы, въ свою очередь, не откажете поддержать въ засѣданіи мое предложеніе?

— Заранѣе согласна; только слово, дайте слово.

— Извольте, даю слово! Не угодно ли будетъ занять мѣсто, княгиня? Мы сейчасъ начнемъ... Милостивыя государыни, господа, не угодно ли будетъ занять мѣста? возвысивъ голосъ, проговорилъ Иванъ Иванычъ, любезно указывая присутствующимъ на ряды стульевъ.

Княгиня, г-жа Бальзаминова, знакомый уже намъ Стрекозинъ, его товарищъ, красивый камеръ-юнкеръ, которому отецъ отказалъ въ деньгахъ на поѣздку за границу, и еще нѣкто баронъ Шлиссельбургъ, непремѣнный членъ всѣхъ возможныхъ обществъ, никогда ничего не говорившій, но пріѣзжавшій всегда первымъ и уѣзжавшій послѣднимъ, заняли ближайшія мѣста, какъ члены комитета. Дальше размѣстились остальные члены; между ними, рельефно выдвигалась толстая г-жа Шилохвостова, которая уже теперь тяжело дышала отъ жары и также отъ безпокойства, чтобы потъ, струившійся по ея лицу, не причинилъ поврежденій ея румянамъ и пудрѣ.

— Милостивыя государыни, милостивые государи, засѣданіе открыто! проговорилъ Иванъ Иванычъ, придавая лицу скромное выраженіе человѣка, который тяготится видною ролью, но, въ то же время, незамѣтно спряталъ подъ столъ лѣвую руку и выразительно прижалъ указательнымъ пальцемъ колѣно временнаго секретаря, сидѣвшаго подлѣ на углу стола рядомъ съ казначеемъ.

Секретарь всталъ и приступилъ къ чтенію отчета о дѣятельности общества за послѣднее полугодіе. Не отступая отъ данной ему инструкціи, секретарь умышленно растягивалъ каждую фразу и останавливался, покашливая, на каждомъ періодѣ. Инструкція, внушенная заблаговременно секретарю и казначею, имѣла цѣлью

продлить засѣданіе до послѣдней возможности. Вопросъ о жетонахъ долженъ былъ явиться къ концу, когда уже не останется сомнѣнія, что члены изнемогаютъ отъ жары и усталости, осовѣютъ отъ тоски и готовы на что угодно, лишь бы только ихъ отпустили.

Чтеніе отчета успѣло уже отчасти произвести свое дѣйствіе; дѣйствіе это примѣтно усилилось при чтеніи казначейскаго отчета. Послѣдній сдѣлалъ извѣстнымъ, между прочимъ, что, хотя въ кассѣ общества, не смотря на излитыя благодѣянія въ теченіе шести мѣсяцевъ, состоитъ на лицо двадцать одна тысяча (о недостающихъ деньгахъ не было упомянуто), но вообще дѣла общества нельзя назвать вполнѣ блестящими и желательно было бы изыскать средства для ихъ улучшенія.

На этомъ можно бы остановиться и приступить къ дѣлу: большая часть членовъ сидѣла, какъ опущенная въ воду; у всѣхъ почти лица багровѣли и лоснились; на однихъ изображалось томленіе, на другихъ проступали явные знаки нетерпѣнія; но Иванъ Иванычъ этимъ, повидимому, еще не удовольствовался.

— Милостивыя государыни, милостивые государи! — провозгласилъ онъ, привставая и упираясь ладонями на край стола, — позвольте мнѣ сдѣлать одно предложеніе: такъ какъ теперь самое жаркое время, всѣ, кромѣ того, живутъ за городомъ и собираться очень трудно...

— Да... да!... правда!... Весьма трудно! — раздалось въ разныхъ концахъ.

— Поэтому самому не угодно ли будетъ воспользоваться минутнымъ перерывомъ, чтобы теперь же сообщить ваши замѣчанія?... Обсудивъ ихъ, мы могли бы ограничиться сегодняшнимъ засѣданіемъ и не собираться больше до пріѣзда многоуважаемой предсѣдательницы, т. е. до осени... И такъ, не угодно ли будетъ?... Вы, кажется, имѣете что-то сказать? — обратился онъ, почтительно наклоняясь, къ княгинѣ, которая выказывала знаки нетерпѣнія.

— Да, Иванъ Иванычъ; но можно мнѣ воспользоваться случаемъ, чтобы спросить объ одномъ дѣлѣ, касающемся моего общества?

— Хотя это будетъ не совсѣмъ правильно, такъ какъ мы здѣсь по дѣламъ другаго общества, но я надѣюсь, присутствую-

щіе гг. члены не будутъ противъ этого... тѣмъ болѣе, что у насъ теперь перерывъ... Къ услугамъ вашимъ, княгиня...

— Я хотѣла просить васъ прислать на праздникъ, который я даю въ Лѣтнемъ саду, дѣтей изъ вашего сиротскаго пріюта; они мнѣ нужны для томболы и для продажи...

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, княгиня; надо только знать, въ какой именно день назначенъ вашъ праздникъ?

— Онъ будетъ двадцать-восьмаго іюля.

Въ эту минуту съ той стороны, гдѣ сидѣла г-жа Шилохвостова, послышался шорохъ платья и, вслѣдъ затѣмъ, изъ-за ближайшихъ головъ выдвинулось ея лицо, такое же почти красное, какъ цвѣты мака на ея пастушеской шляпкѣ.

— Я не понимаю, что это значитъ,—произнесла она кисло-сладкимъ голосомъ, — тутъ какое-то недоразумѣніе... Не ошибаетесь ли вы, княгиня?

— Въ чемъ? — сухо спросила княгиня, едва поворачивая голову.

Присутствующіе, изъ которыхъ многіе начинали уже чувствовать тяжесть въ глазахъ, приподняли головы; послышался шопотъ, одни отыскивали глазами княгиню, глаза другихъ съ любопытствомъ останавливались на г-жѣ Шилохвостовой.

— Въ томъ, что вашъ праздникъ назначенъ двадцать-восьмаго числа!— бойко и рѣшительно отвѣтила г-жа Шилохвостова.

— Нѣтъ, не ошибаюсь! — еще рѣшительнѣе возразила княгиня, удостоивая, наконецъ, взглянуть на собесѣдницу, но такъ, однакожъ, какъ бы сама сидѣла на верхушкѣ башни, а собесѣдница копошилась гдѣ-то тамъ внизу.

До сихъ поръ г-жа Шилохвостова старалась сдерживать свои чувства; взглядъ княгини произвелъ дѣйствіе искры, попавшей въ пороховой погребъ.

— Позвольте! — воскликнула она визгливымъ, дребезжащимъ голосомъ, — этотъ день мой и также въ Лѣтнемъ саду.

— Не знаю, вашъ ли это день, только онъ мой, и я никому не уступлю его! — промолвила княгиня, у которой при этомъ заострилась профиль и судорожно задвигались брови.

— У меня есть разрѣшеніе! — крикнула г-жа Шилохвостова.

— У меня также!

— Протекціей, вѣроятно...

— А вы, вѣроятно, интригой! — встрепенулась княгиня, какъ птица, заслышавшая выстрѣлъ.

Г-жа Шилохвостова быстро поднялась съ мѣста; она хотѣла что-то возразить, но, вмѣсто словъ, начала отъ волненія икать и захлебываться; грудь ея колыхалась; губы побѣлѣли и странно какъ-то вздрагивали; шляпка ея также вздрагивала, а цвѣты на ней ходили изъ стороны въ сторону, точно ихъ тормошила буря.

Княгиня также встала, но она лучше владѣла собою; никто никогда не видалъ ее болѣе величественной; она точно выросла, точно съ облаковъ смотрѣла на все окружающее.

Иванъ Иванычъ, сидѣвшій съ видомъ глубоко опечаленнаго человѣка, также поднялся съ мѣста. Онъ обратился къ княгинѣ, но не зная, что ей сказать, развелъ только руками и подошелъ къ г-жѣ Шилохвостовой.

— Анна Матвѣевна, успокойтесь... Бога ради!—заговорилъ онъ, уныло наклоняя къ ней голову,—умоляю васъ, успокойтесь! Возьмите Таврическій садъ; я вамъ все устрою, только успокойтесь,—подхватилъ онъ, стараясь удержать ее,—соберу вамъ всѣ пріюты для аллегри... выхлопочу даровые хоры военной музыки...

— Благодарю васъ... не желаю вашего Таврическаго сада!—повторяла г-жа Шилохвостова, бросая вокругъ вызывающіе взгляды и продолжая направляться къ двери,—здѣсь, я вижу, одна несправедливость и гадости...

— Анна Матвѣевна, Бога ради! Не грѣшно ли вамъ?... Таврическій садъ еще лучше Лѣтняго... все вамъ устрою! — убѣждалъ Иванъ Иванычъ, преслѣдуя ее шагъ за шагомъ.

— Да, гадости... гадости!... послышался голосъ г-жи Шилохвостовой уже за дверью.

Неожиданное столкновеніе между двумя благотворительницами замѣтно оживило собраніе; большинство членовъ поднялось съ своихъ мѣстъ и взялось за шляпы.

— Господа, прошу у васъ всего нѣсколько минутъ... Предстоитъ еще одинъ вопросъ, заговорилъ Иванъ Иванычъ, возвращаясь къ княгинѣ, подлѣ которой, съ одной стороны, ворковала г-жа Бальзаминова, съ другой—егозили въ перебивку красивый камеръ-юнкеръ и Стрекозинъ. — Прошу васъ подождать еще минуту, минуту только! подхватилъ онъ, возвышая голосъ и занимая свое предсѣдательское мѣсто. — Милостивыя государыни, милостивые государи, прошу садиться... Засѣданіе продолжается!

заключилъ онъ, звоня въ колокольчикъ и, въ то же время, обязательно придвигая лѣвой рукой стулъ княгинѣ.

Всѣ снова усѣлись, но уже нѣхотя, кто со шляпой въ рукѣ, кто бокомъ, какъ бы выжидая случая улизнуть при первой возможности.

Въ короткихъ, но выразительныхъ словахъ Иванъ Иваничъ изложилъ мысль о жетонахъ и пользѣ, которую такая операція могла бы принести обществу. Все дѣло заключалось въ томъ, чтобы присутствующіе здѣсь гг. члены согласились для перваго опыта выпустить хотя бы тысячу такихъ знаковъ и израсходовать на этотъ предметъ извѣстную сумму.

— Прекрасно! Браво! Согласны! Согласны! послышалось со всѣхъ концовъ стола и всѣ, въ то же время, стали подниматься съ мѣстъ.

— Еще одну секунду... прошу васъ, одну только! оживленно произнесъ Иванъ Иваничъ, принимая отъ секретаря бумагу и выкладывая ее на столъ подлѣ чернильницы. — Предложеніе, съ которымъ вамъ угодно было согласиться, включено въ журналъ сегодняшняго засѣданія... Остается вамъ только подписать его... Не угодно ли, господа?... Княгиня, не угодно ли начать? добавилъ онъ, подавая ей перо и выворачивая при этомъ съ особенною какою-то граціей кисть правой руки.

Княгиня подписалась, за нею бросились подписываться другіе. Когда Иванъ Иваничъ, проводивъ княгиню до самой лѣстницы, возвратился въ залу, журналъ былъ уже подписанъ, и члены, торопливо пожимая ему руку, спѣшили къ выходу.

Имъ было очень хорошо: этимъ засѣданіемъ начинался и оканчивался ихъ трудовой день. Но каково было Ивану Иванычу? И безъ того уже утомленный умственно и физически, онъ не могъ даже разсчитывать на спокойствіе у себя: вечеромъ, когда весь чиновный людъ, живущій на дачѣ, наслаждается природой, сидя у открытаго окна и играя въ карты, ему предстояло еще имѣть совѣщаніе съ ювелиромъ, котораго долженъ былъ привезти расторопный Блиновъ.

## XII.

Послѣ отъѣзда изъ церкви Воскресенскаго, Лисичкина и Бабкова, Алексѣй Максимычъ Зиновьевъ, противъ ожиданія,

остался доволенъ ихъ посѣщеніемъ. Онъ мало думалъ о двухъ художникахъ; ихъ похвалы могли быть искренни,—онъ былъ благодаренъ; оба, правда, слишкомъ восторгались, слишкомъ горячо и часто пожимали ему руки и черезчуръ увивались подлѣ Воскресенскаго,—и это не совсѣмъ ему понравилось. Всѣ мысли его сосредоточивались на Иванѣ Иванычѣ. Онъ не сомнѣвался, что тронулъ въ немъ, наконецъ, чувство справедливости; его старанія оправдаться, кроткій видъ, съ какимъ выслушивалъ онъ обвиненія, служатъ тому вѣрнымъ доказательствомъ. И чѣмъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, могъ лично досадить Ивану Иванычу? Въ чемъ собственно, говоря по совѣсти, провинился онъ, какъ строитель церкви? Поводомъ преслѣдованій, очевидно, были какія-нибудь недоразумѣнія; всего вѣроятнѣе, встрѣтились недоброжелатели и завистники, которые наговаривали и сплетничали. Чѣмъ больше думалъ объ этомъ Зиновьевъ, тѣмъ больше утѣшалъ себя мыслью, что объясненіе съ Воскресенскимъ усовѣстило послѣдняго, возстановило снова ихъ прежнія отношенія, положило конецъ придиркамъ и преслѣдованіямъ.

На обратномъ пути домой, Алексѣй Максимычъ сталъ даже упрекать себя въ томъ, не далеко ли зашелъ, выражая такъ рѣзко свои неудовольствія Ивану Иванычу, и мысленно побранилъ себя за излишнюю горячность и раздражительность. Подъ вліяніемъ такого чувства онъ собирался даже написать Воскресенскому, но тутъ же отложилъ намѣреніе, подумавъ, что непріятныя впечатлѣнія всего лучше изглаживаются при объясненіяхъ съ глазу на глазъ; лучшимъ доказательствомъ служитъ ихъ разговоръ въ церкви.

Два дня спустя, Алексѣй Максимычъ поѣхалъ къ нему, но не засталъ его дома и вдвойнѣ пожалѣлъ объ этомъ: онъ думалъ, кстати, обрадовать его пріятнымъ извѣстіемъ: въ теченіе этихъ двухъ дней ему удалось случайно напасть на подрядчика, который, послѣ осмотра остающихся работъ въ церкви, брался ихъ окончить за весьма умѣренную плату, съ тѣмъ даже, чтобы получить разсчетъ послѣ того, какъ все будетъ готово. Онъ поспѣшилъ сообщить объ этомъ письменно Ивану Иванычу. На другой день курьеръ привезъ отвѣтъ, удивившій Зиновьева странностью своего содержанія. Въ немъ слова не упоминалось о радостной находкѣ подрядчика; онъ въ короткихъ словахъ передавалъ только чувства человѣка, котораго, вообще говоря, мало озабочиваетъ

мірская суетность; коснувшись вскользь объясненія въ церкви, Иванъ Иванычъ убѣдительно просилъ Зиновьева, какъ добраго христіанина, изгладить изъ своей памяти все, что могло показаться ему тогда обиднымъ.

— Вотъ славно! А я уже и забылъ объ этомъ, воскликнулъ Алексѣй Максимычъ, — не помнишь ли ты, Сережа? подхватилъ онъ, шутливо обращаясь къ племяннику.

— Не знаю, дѣдушка, меня тамъ не было. Я думаю, было что-нибудь очень пріятное, потому что съ того дня ты сталъ какъ-то особенно веселъ.

До того дня старикъ дѣйствительно больше старался казаться веселымъ; Сережа и Маруся очень хорошо знали причину затаенной грусти, проступавшей въ чертахъ дѣдушки, вопреки его усиліямъ показывать имъ довольное расположеніе духа; они не понимали только повода, заставившаго внезапно остановить работы въ церкви въ то самое время, когда она совсѣмъ уже приближалась къ концу. Бесѣдуя между собою, оба дѣлали всевозможныя предположенія и, не стѣсняясь, бранили на чемъ свѣтъ стоитъ членовъ совѣта, распорядителей, графа, — словомъ, всѣхъ тѣхъ, отъ кого зависѣла постройка. Теперь надо думать, что дѣло опять пошло на ладъ: дѣдушка уже не довольствовался казаться веселымъ, — онъ былъ веселъ въ самомъ дѣлѣ.

Къ концу недѣли открылся новый поводъ радости. Алексѣю Максимычу посчастливилось отыскать живописца, который соглашался докончить орнаментъ на нижней аркѣ почти на тѣхъ же условіяхъ, какъ подрядчикъ брался кончить каменныя работы. Живописецъ былъ только человѣкъ крайне бѣдный и просилъ впередъ нѣсколько денегъ; но это была такая бездѣлица, о которой говорить не стоило. Иванъ Иванычъ и за нимъ члены совѣта, конечно, не остановятся передъ выдачей ничтожной суммы, когда имъ будутъ представлены новыя, исключительно-выгодныя условія подрядчика и живописца. Всѣ, безъ сомнѣнія, поспѣшатъ ими воспользоваться. Слава Богу, никто здѣсь не врагъ общественному интересу; напротивъ, онъ служитъ цѣлью совѣта и одинаково воодушевляетъ всѣхъ его членовъ.

Зиновьевъ не могъ только добиться, когда соберется совѣтъ и въ какой именно день можно будетъ представить ему докладъ. Онъ писалъ объ этомъ Воскресенскому, но тотъ отвѣчалъ, что самъ этого не знаетъ, прибавляя, что въ лѣтнее время совѣтъ

собирается вообще рѣже и въ тѣхъ только случаяхъ, когда много дѣлъ.

Алексѣй Максимычъ, — терпѣливый по природѣ и сдѣлавшійся въ послѣдніе три года еще терпѣливѣе, благодаря Ивану Иванычу и совѣту, — рѣшился ждать, но, чтобы не терять дорогаго времени, продолжалъ хлопотать и работать: ѣздилъ по биржамъ прикидываться къ цѣнѣ матеріаловъ, придумывалъ различныя удешевленія, приспособленія, составлялъ чертежи, исправлялъ и переписывалъ свою докладную записку, — словомъ, подготовлялъ дѣло такимъ образомъ, чтобы послѣ доклада немедленно приступить къ окончанію постройки.

Простодушная довѣрчивость Зиновьева можетъ казаться преувеличенною для тѣхъ, кому не случалось встрѣчаться съ истинными художественными натурами. Въ нихъ всегда преобладаетъ что-то дѣтское, и свойство это сохраняется независимо отъ лѣтъ и жизненнаго опыта. Впечатлительныя, какъ ртуть, онѣ такъ же скоро остываютъ и съеживаются, такъ же быстро согрѣваются и, не находя простора, стремятся къ верхнимъ градусамъ; лица этого рода живутъ по преимуществу нервами и всѣ ихъ дѣйствія руководятся воображеніемъ. Самое ничтожное обстоятельство: мелкая непріятность, встрѣча, видъ непріязненнаго лица, слово, сказанное на вѣтеръ, способны не только обдать ихъ холодомъ, но сдѣлать ихъ раздражительными, расположить къ мрачному настроенію ихъ чувства, и наоборотъ: встрѣча, мысль, слово, едва примѣтный лучъ надежды, но при сочувственныхъ условіяхъ, производятъ одушевляющее, какъ бы электрическое дѣйствіе: они мгновенно оживаютъ, глаза радостно блестятъ, рѣчь льется сама собою; на это нѣтъ возраста: молодые и старики, — разумѣя здѣсь, конечно, только настоящихъ артистовъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и Алексѣй Максимычъ, — всѣ дѣти одной семьи, у всѣхъ та же воспріимчивая закваска на дрожжахъ, всѣ состряпаны изъ одного тѣста.

Въ тотъ день, когда отыскался живописецъ, радость Зиновьева выказывалась не только на лицѣ, но и во всѣхъ его движеніяхъ. Возвращаясь на дачу къ обѣду, онъ издали еще принялся махать шляпой надъ головою, какъ только показались бѣлыя платья двухъ бѣжавшихъ навстрѣчу дѣвочекъ; онѣ также махали ему платками и весело вскрикивали; за ними мелькалъ синій зонтикъ Маруси и знакомая шляпа Сережи.

Дѣдушку встрѣчали такимъ образомъ каждый день, и встрѣча сопровождалась всегда такими изъявленіями радости, что посторонній могъ подумать, будто старикъ возвращался послѣ долгой отлучки.

— Обѣдать! обѣдать!—повторялъ Алексѣй Максимычъ, посылая поцѣлуи направо и налѣво.—Я, дѣточки, сегодня жестоко проголодался; утромъ, въ суетѣ, я не взялъ съ собою сыра и хлѣба и теперь голоденъ, какъ собака...

— Какъ? Неужели? — воскликнула Маруся. — Боже мой, я никогда себѣ не прощу этого...

— Ты нисколько не виновата,— поспѣшилъ успокоить Алексѣй Максимычъ, — я сегодня тихонечко утекъ изъ дому; было рано, вы всѣ еще тогда спали...

Услышавъ на дворѣ голосъ Алексѣя Максимыча, Марьянушка засуетилась; Маруся побѣжала въ кухню. Вскорѣ вся семья сѣла за столъ, накрытый въ бесѣдкѣ.

Давно не было такого веселаго обѣда. Больше всѣхъ способствовалъ этому дѣдушка. Подъ конецъ онъ явился съ новой выдумкой; она случайно пришла ему на умъ во время дороги. Дѣло заключалось въ слѣдующемъ: послѣ обѣда всѣ, огуломъ, должны были отправиться на Малую Невку къ ближайшей пристани; здѣсь всѣ садились въ лодку; Сережѣ поручался руль. Лодка выѣзжала на возморье и останавливалась у тоней противъ Крестовскаго острова.

Дѣдушка вступалъ въ переговоры съ рыбаками, послѣ чего начиналось бросаніе невода, по одному разу на счастье каждаго члена семейства. Дѣдушка не дѣлалъ никакихъ предположеній насчетъ Маруси и Сережи. „Счастливые въ любви...“ — началъ онъ, посмѣиваясь, но тутъ же, оборотясь къ Катѣ и Сонѣ, выразилъ увѣренность, что на долю каждой выпадаетъ неводъ, полный лососокъ, изъ которыхъ въ самой маленькой будетъ, по крайней мѣрѣ, аршинъ длины и двадцать фунтовъ вѣсу.

Алексѣй Максимычъ прекрасно сдѣлалъ, что поберегъ сообщеніе своей выдумки къ концу обѣда, иначе Катя и Соня никому бы не дали покоя и сами, въ нетерпѣніи своемъ, навѣрное, остались бы голодными.

Только-что кончился обѣдъ, старикъ послалъ всѣхъ одѣваться, самъ остался въ бесѣдкѣ и закурилъ сигарку.

Услышавъ на дворѣ чужой голосъ, онъ послалъ туда Марья-

нушку: минуту спустя, она возвратилась, сказавъ, что голосъ принадлежалъ курьеру, и подала ему большой конвертъ, припечатанный крупной красной печатью.

Въ домѣ, между тѣмъ, все суетливо готовилось къ прогулкѣ; Маруся была уже въ шляпкѣ. Застегивая пуговицы на ботинкахъ Сони, она, въ то же время, перекидывалась словами съ Сережей, который смотрѣлъ въ комнату изъ растворенаго окна, положивъ локти на подоконникъ. Очередь была теперь за Катей, но Катя опять куда-то исчезла.

— Катя! Катя, гдѣ ты? — крикнула Маруся.

Но въ ту же секунду голосъ Кати послышался со двора, почти за спиною Сережи. Странный звукъ этого голоса заставилъ его обернуться; при видѣ дѣвочки онъ тотчасъ же понялъ, что въ домѣ что-нибудь случилось: на дѣвочкѣ лица не было; брови ея усиленно подымались, черты изображали испугъ.

— Сережа... тамъ въ бесѣдкѣ... дѣдушка...— едва могла произнести она отъ волненія,—съ дѣдушкой что-то сдѣлалось... съ дѣдушкой!...

При послѣднихъ словахъ Сережа бросился къ бесѣдкѣ; онъ прибѣжалъ туда почти въ одно время съ Марусей и двумя дѣвочками.

Съ ужасомъ увидѣли они старика, распростертаго на диванѣ; лицо его было блѣдно, какъ известка; рѣсницы закрытыхъ глазъ судорожно вздрагивали, такое же движеніе проходило, какъ будто, подъ кожей лица; Марусѣ показалось, однакожъ, что движеніе это останавливалось на лѣвой щекѣ и у лѣваго глаза; старикъ, очевидно, не былъ въ обморокѣ; онъ тяжело дышалъ, не переставая водить правой ладонью по лѣвой рукѣ, которая лежала въ какомъ-то оцѣпенѣніи. Сознаніе, по всему было видно, не оставляло его. Услыша подлѣ себя знакомые голоса, онъ открылъ глаза и сдѣлалъ движеніе, какъ бы желая приподняться; но лѣвая нога измѣнила ему и онъ снова безсильно опустился, но теперь опустился на руки Сережи, который успѣлъ подхватить его.

Маруся стояла уже передъ нимъ на колѣняхъ, утирая платкомъ его мучительно стянутый лобъ. Онъ хотѣлъ ей улыбнуться, но, вмѣсто улыбки, на губахъ его проскользнуло что-то столь горькое и безотрадное, что Маруся не могла уже удержаться и заплакала.

— Милыя мои... дѣточки, —проговорилъ, наконецъ, Алексѣй Максимычъ, оглядывая каждаго своими добрыми глазами.

Несвязность, съ какою произносилъ онъ слова, и самый звукъ его голоса окончательно подрѣзали сердце Маруси; удерживаясь отъ рыданій, подступавшихъ ей къ горлу, она прижала его руку къ груди и горячо начала цѣловать ее.

— Дѣдушка! скажи, что съ тобой?... Что случилось? — заговорила она, наклоняясь испуганно къ его лицу.

— Мнѣ легче... Дурно было сдѣлалось... Теперь гораздо легче, — произнесъ онъ, стараясь говорить яснѣе, — пройдетъ, я чувствую. Такъ вдругъ случилось... неожиданно... Не бойтесь... Главное, мнѣ надо успокоиться... успокоиться надо... это главное...

Встревоженное лицо Марьянушки, которую поспѣшила увѣдомить Катя, показалось въ бесѣдкѣ. Общими силами старика подняли на ноги, перевели въ домъ и уложили въ постель.

Сережа съ лицомъ, покраснѣвшимъ до корня волосъ, суетился, спѣша въ городъ за докторомъ.

У выходной двери онъ встрѣтился съ Марусей.

— Дѣдушкѣ отказали; онъ не будетъ больше строить церковь, — торопливо проговорилъ онъ шопотомъ.

— Неужели?

— Да; на столѣ, въ бесѣдкѣ, лежала бумага, и я успѣлъ просмотрѣть ее... Дѣло рѣшеное: ему отказали!

— Бѣдный, бѣдный дѣдушка! — сказала Маруся, закрывая лицо руками.

— Большое несчастье для него... да и для всѣхъ насъ также, можетъ быть!...

Съ послѣднимъ словомъ онъ надѣлъ шляпу и побѣжалъ къ калиткѣ.

Къ вечеру только удалось ему отыскать и привести доктора.

Пока докторъ былъ у больнаго, Сережа и Маруся сошлись въ сосѣдней комнатѣ. Она старалась его успокоить, увѣряя, что во время его отсутствія дѣдушка замѣтно оправился. На лѣвой щекѣ было уже меньше онѣмѣнія; онъ не владѣлъ еще вполнѣ лѣвою рукою, но она потеряла свой зловѣщій синеватый цвѣтъ и была несравненно теплѣе; но главное, по ея мнѣнію, заключалось не въ этомъ; ее пугало совсѣмъ другое, — пугало нравственное состояніе больнаго. Какъ ни старался онъ скрыть передъ ней свое горе, оно высказалось вопреки его усилій. Онъ нѣ-

сколько разъ уговаривалъ ее пойти въ свою комнату: голосъ его и лицо казались совсѣмъ спокойными; она дѣлала видъ, что удалялась, но не успѣвала сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ, какъ онъ поворачивался лицомъ къ стѣнѣ и уже слышались его рыданія.

— Я не тревожила его въ такія минуты, — прибавила Маруся. — Мнѣ говорили: плакать лучше, когда большое горе; оно тогда облегчается... Но вѣришь ли, Сережа, всякій разъ, какъ онъ такъ заплачетъ, у меня точно сердце обрывалось... Мнѣ казалось, точно ребенокъ плачетъ... Бѣдный, бѣдный дѣдушка!

Съ каждымъ словомъ лицо Сережи дѣлалось мрачнѣе. Плотно сжатыя губы, нахмуренные лобъ и брови, судорожное движеніе ноздрей показывали, что въ немъ происходила сильная внутренняя работа.

Сообщенія доктора возвратили обоимъ надежду. Не предвидѣлось пока никакой опасности. До настоящаго дня старикъ слишкомъ много волновался и мало-по-малу подготовилъ себя къ тому, что случилось; но и этого бы не было, вѣроятно, еслибъ нравственное потрясеніе не произошло тотчасъ же послѣ обѣда; параличъ, къ счастью, едва коснулся верхнихъ оболочекъ; организмъ совершенно въ нормальномъ порядкѣ. Два-три дня спокойствія, — слѣдовъ не останется.

Какъ ни успокоительны были слова жреца науки, Сережа не рѣшился разстаться съ больнымъ и оставался ночевать въ его комнатѣ. Онъ прилегъ на диванѣ, не раздѣваясь, нарочно съ тѣмъ, чтобы быть готовымъ на всякій случай.

Предусмотрительность его была лишней, но онъ не сомкнулъ глазъ во всю ночь. Поступокъ съ дѣдушкой, который былъ для него воплощеніемъ всего добраго и честнаго на свѣтѣ, возмущалъ его до глубины души; кровь подымалась ему въ голову и въ ушахъ звенѣло. Тутъ не только была несправедливость, но чувствовалось что-то злобное и жестокое. Что могъ имъ сдѣлать этотъ простодушный старикъ? Какъ архитекторъ, онъ также не могъ навлечь нареканій: знаніе, опытъ, талантъ, — все было на его сторонѣ. Кто, — не считая его преклонныхъ лѣтъ, — кто больше него трудился, положилъ столько любви въ дѣло, отдалъ ему всего себя съ такимъ увлеченіемъ?! И отнять у него дѣло, — когда же? — когда все уже почти готово! Желаніе воспользоваться чужимъ трудомъ было здѣсь слишкомъ очевидно! И нельзя

помѣшать этому! „Нельзя ухватить ихъ всѣхъ за горло и раздавить, какъ клоповъ!“ — мысленно восклицалъ онъ и хотя тутъ же сознавалъ всю нелѣпость такихъ желаній, но, тѣмъ не менѣе, сокрушался своимъ безсиліемъ и ничтожествомъ.

Незнакомая до того горечь подымалась съ самаго дна его души. Безсонная эта ночь прошла для него не безъ пользы. Сердце его ожесточилось противъ неправды; умъ яснѣе сталъ видѣть между тѣмъ, что̀ должно быть и что̀ происходитъ въ дѣйствительности. Ночь эта осуществила для него цѣлую школу жизни.

Онъ заснулъ тогда уже, какъ начиналось утро.

## XIII.

Проснувшись довольно поздно, Сережа крайне былъ изумленъ, увидѣвъ дѣдушку въ бѣломъ галстухѣ и черныхъ панталонахъ.

— Дѣдушка, что съ тобой?... Куда ты? — проговорилъ онъ, вскакивая съ дивана.

— Необходимо сейчасъ же ѣхать... Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо, — отвѣчалъ старикъ, надѣвая жилетъ и суетливо принимаясь за фракъ.

Сережа побѣжалъ къ Марусѣ и оба начали его уговаривать; но все, что они говорили, было напрасно; Алексѣй Максимычъ стоялъ на своемъ, упрямился, выказывалъ даже явные знаки неудовольствія, чего съ нимъ прежде никогда не было. Сережа съ трудомъ могъ достичь того только, что поѣдетъ съ нимъ, будетъ всюду его сопровождать и ждать вездѣ, гдѣ будетъ ему угодно. Пока старикъ прощался съ дѣтьми и Марусей, увѣряя всѣхъ, что чувствуетъ себя теперь какъ нельзя лучше, Сережа побѣжалъ умыться и причесаться, шепнувъ мимоходомъ Марьянушкѣ, чтобы она скорѣе послала кухарку за извозчикомъ.

Алексѣй Максимычъ велѣлъ везти себя, прежде всего, къ графу.

Когда дрожки остановились передъ подъѣздомъ знакомаго дома, швейцаръ объявилъ, что графъ только-что изволилъ выѣхать. Графъ и графиня отправились провожать молодаго графа, который уѣзжалъ заграницу; оба возвратятся только къ вечеру, потому что кушать поѣдутъ въ Петергофъ, и карету приказано прислать къ послѣднему поѣзду.

Зиновьевъ не показалъ только виду, но извѣстіе это примѣтно его взволновало. Не торгуясь съ извозчикомъ, противъ своего обыкновенія, онъ усѣлся на дрожки рядомъ съ племянникомъ и велѣлъ немедленно ѣхать на Парголовскую дорогу. Сережа догадался, что они отправляются теперь на дачу къ Воскресенскому.

Разстройство дѣдушки было слишкомъ очевидно, чтобы не пугаться дальности дороги, въ такую жару особенно, но племянникъ воздержался, однакожъ, отъ всякаго замѣчанія. Развлекать дѣдушку посторонними разговорами ему также не хотѣлось; онъ сначала было попробовалъ; старикъ дѣлалъ только видъ, что слушаетъ; выраженіе его лица и взглядъ ясно показывали, что мысли блуждали гдѣ-то далеко отъ предмета бесѣды... Коснуться причинъ настоящей поѣздки значило только растревожить окончательно старика; Сережа предпочелъ молчать, ограничиваясь тѣмъ, что подкладывалъ руку за спину сосѣда всякій разъ, какъ на дорогѣ встрѣчался ухабъ или камень.

Дача, занимаемая Воскресенскимъ, имѣла свою исторію. Она состояла изъ большаго каменнаго дома и обширнаго стариннаго сада. То и другое подарено было когда-то одной знатной старушкой сиротскому пріюту, который процвѣталъ здѣсь болѣе тридцати лѣтъ. Внезапно кѣмъ-то найдено было, что мѣсто здѣсь низменно и сырой воздухъ отражается крайне вреднымъ образомъ на здоровьѣ сиротъ; за симъ явились болѣе положительныя данныя, сопровождаемыя вѣскими цифровыми выводами о злокачественныхъ свойствахъ мѣста. Выводы эти, весьма красиво означенные на бумагѣ и скрѣпленные подписями, представлены были на разсмотрѣніе комиссіи, которая была *временная*, какъ бо́льшая часть комиссій. Возникъ вопросъ о необходимости отвести другое мѣсто и выстроить на немъ новое зданіе; тутъ же приложена была и смѣта. Цифры выходили крупныя, но человѣколюбивая мысль взяла верхъ надъ экономическими соображеніями. Зданіе было воздвигнуто, сироты водворены, а бывшее ихъ жилище перешло *временно* въ то вѣдомство, гдѣ служилъ Иванъ Иванычъ, и *временно* также, т. е. во время лѣта, имъ стали пользоваться семейные чиновники. Одинъ изъ нихъ, болѣе предпріимчивый, устроилъ даже въ бывшей столовой гимнастику для дѣтей и катокъ для коньковъ съ рулетками, имѣя въ виду доставить развлеченіе взрослымъ своимъ товарищамъ, ихъ женамъ и

знакомымъ, наѣзжавшимъ сюда по праздникамъ. Иногда бывало здѣсь очень весело.

Алексѣю Максимычу больше здѣсь посчастливилось, чѣмъ у графа. Узнавъ, что Иванъ Иванычъ дома, онъ проявилъ вдругъ столько живости, что краска мгновенно выступила на лицѣ его; даже на ушахъ и шеѣ показался какой-то лиловый облескъ.

— Дѣдушка, успокойся Бога ради!... Самъ докторъ, помнишь, сказалъ, что вредно тебѣ волноваться, — успѣлъ только проговорить племянникъ, слѣзая съ дрожекъ вмѣстѣ со старикомъ.

Алексѣй Максимычъ осторожно отстранилъ его рукою. Сережа остановился, но съ безпокойствомъ сталъ слѣдить за дѣдушкой, который, замѣтно припадая на лѣвую ногу, торопливо зашагалъ къ подъѣзду.

Черты старика снова покрылись блѣдностью, когда онъ вошелъ въ кабинетъ Воскресенскаго.

При видѣ Зиновьева Иванъ Иванычъ поспѣшно всталъ съ мѣста и пошелъ къ нему навстрѣчу съ распростертыми руками; всмотрѣвшись въ лицо вошедшаго, онъ, однакожъ, остановился. Въ первую минуту Зиновьевъ отъ волненія не могъ проговорить слова. Воскресенскій этимъ воспользовался; онъ оглянулся назадъ къ столу, убѣдился, что колокольчикъ на своемъ мѣстѣ, и поспѣшилъ принять печально-разстроенный видъ.

— Понимаю ваше горе, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, понимаю его вполнѣ и... и раздѣляю его,— произнесъ онъ удрученнымъ голосомъ.— Обвиненія ваши, если таковыя суждено мнѣ выслушать, будутъ несправедливы... Я не заслужилъ ихъ... Противъ васъ я никогда ничего не имѣлъ и не имѣю, кромѣ истиннаго уваженія... Я тутъ не причемъ.

— Кто же, наконецъ, это... это сдѣлалъ? Кто отнялъ у меня... — началъ было Зиновьевъ, но не могъ докончить; онъ едва переводилъ дыханіе; нижняя челюсть его и губы дрожали, какъ въ лихорадкѣ.

— Успокойтесь... Прежде всего, прошу васъ успокоиться...

Иванъ Иванычъ указалъ на сосѣдній стулъ и даже придвинулъ его. Но Зиновьевъ какъ будто не замѣтилъ этого.

— Я пришелъ спросить, какія причины заставили поступить со мною такимъ образомъ? — подхватилъ онъ, оправляясь.— Въ чемъ меня обвиняютъ?... Такъ вдругъ нельзя же безъ всякаго повода!...

Зиновьевъ не показалъ только виду, но извѣстіе это примѣтно его взволновало. Не торгуясь съ извозчикомъ, противъ своего обыкновенія, онъ усѣлся на дрожки рядомъ съ племянникомъ и велѣлъ немедленно ѣхать на Парголовскую дорогу. Сережа догадался, что они отправляются теперь на дачу къ Воскресенскому.

Разстройство дѣдушки было слишкомъ очевидно, чтобы не пугаться дальности дороги, въ такую жару особенно, но племянникъ воздержался, однакожъ, отъ всякаго замѣчанія. Развлекать дѣдушку посторонними разговорами ему также не хотѣлось; онъ сначала было попробовалъ; старикъ дѣлалъ только видъ, что слушаетъ; выраженіе его лица и взглядъ ясно показывали, что мысли блуждали гдѣ-то далеко отъ предмета бесѣды... Коснуться причинъ настоящей поѣздки значило только растревожить окончательно старика; Сережа предпочелъ молчать, ограничиваясь тѣмъ, что подкладывалъ руку за спину сосѣда всякій разъ, какъ на дорогѣ встрѣчался ухабъ или камень.

Дача, занимаемая Воскресенскимъ, имѣла свою исторію. Она состояла изъ большаго каменнаго дома и обширнаго стариннаго сада. То и другое подарено было когда-то одной знатной старушкой сиротскому пріюту, который процвѣталъ здѣсь болѣе тридцати лѣтъ. Внезапно кѣмъ-то найдено было, что мѣсто здѣсь низменно и сырой воздухъ отражается крайне вреднымъ образомъ на здоровьѣ сиротъ; за симъ явились болѣе положительныя данныя, сопровождаемыя вѣскими цифровыми выводами о злокачественныхъ свойствахъ мѣста. Выводы эти, весьма красиво означенные на бумагѣ и скрѣпленные подписями, представлены были на разсмотрѣніе комиссіи, которая была *временная*, какъ бо́льшая часть комиссій. Возникъ вопросъ о необходимости отвести другое мѣсто и выстроить на немъ новое зданіе; тутъ же приложена была и смѣта. Цифры выходили крупныя, но человѣколюбивая мысль взяла верхъ надъ экономическими соображеніями. Зданіе было воздвигнуто, сироты водворены, а бывшее ихъ жилище перешло *временно* въ то вѣдомство, гдѣ служилъ Иванъ Иванычъ, и *временно* также, т. е. во время лѣта, имъ стали пользоваться семейные чиновники. Одинъ изъ нихъ, болѣе предпріимчивый, устроилъ даже въ бывшей столовой гимнастику для дѣтей и катокъ для коньковъ съ рулетками, имѣя въ виду доставить развлеченіе взрослымъ своимъ товарищамъ, ихъ женамъ и

знакомымъ, наѣзжавшимъ сюда по праздникамъ. Иногда бывало здѣсь очень весело.

Алексѣю Максимычу больше здѣсь посчастливилось, чѣмъ у графа. Узнавъ, что Иванъ Иванычъ дома, онъ проявилъ вдругъ столько живости, что краска мгновенно выступила на лицѣ его; даже на ушахъ и шеѣ показался какой-то лиловый облескъ.

— Дѣдушка, успокойся Бога ради!... Самъ докторъ, помнишь, сказалъ, что вредно тебѣ волноваться, — успѣлъ только проговорить племянникъ, слѣзая съ дрожекъ вмѣстѣ со старикомъ.

Алексѣй Максимычъ осторожно отстранилъ его рукою. Сережа остановился, но съ безпокойствомъ сталъ слѣдить за дѣдушкой, который, замѣтно припадая на лѣвую ногу, торопливо зашагалъ къ подъѣзду.

Черты старика снова покрылись блѣдностью, когда онъ вошелъ въ кабинетъ Воскресенскаго.

При видѣ Зиновьева Иванъ Иванычъ поспѣшно всталъ съ мѣста и пошелъ къ нему навстрѣчу съ распростертыми руками; всмотрѣвшись въ лицо вошедшаго, онъ, однакожъ, остановился. Въ первую минуту Зиновьевъ отъ волненія не могъ проговорить слова. Воскресенскій этимъ воспользовался; онъ оглянулся назадъ къ столу, убѣдился, что колокольчикъ на своемъ мѣстѣ, и поспѣшилъ принять печально-разстроенный видъ.

— Понимаю ваше горе, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, понимаю его вполнѣ и... и раздѣляю его,— произнесъ онъ удрученнымъ голосомъ.— Обвиненія ваши, если таковыя суждено мнѣ выслушать, будутъ несправедливы... Я не заслужилъ ихъ... Противъ васъ я никогда ничего не имѣлъ и не имѣю, кромѣ истиннаго уваженія... Я тутъ не причемъ.

— Кто же, наконецъ, это... это сдѣлалъ? Кто отнялъ у меня... — началъ было Зиновьевъ, но не могъ докончить; онъ едва переводилъ дыханіе; нижняя челюсть его и губы дрожали, какъ въ лихорадкѣ.

— Успокойтесь... Прежде всего, прошу васъ успокоиться...

Иванъ Иванычъ указалъ на сосѣдній стулъ и даже придвинулъ его. Но Зиновьевъ какъ будто не замѣтилъ этого.

— Я пришелъ спросить, какія причины заставили поступить со мною такимъ образомъ? — подхватилъ онъ, оправляясь. — Въ чемъ меня обвиняютъ?... Такъ вдругъ нельзя же безъ всякаго повода!...

— Совершенно основательно; но, повторяю вамъ, дорогой Алексѣй Максимычъ, я тутъ не причемъ... Я имѣлъ уже честь вамъ докладывать, — даже писалъ вамъ надняхъ объ этомъ, — что если я въ этомъ дѣлѣ принимаю участіе, меня занимаетъ въ немъ не столько матеріальная его сторона, сколько собственно нравственная; меня привлекала человѣколюбивая мысль, сопряженная съ постройкой этого зданія... Причины, о которыхъ вы изволите упоминать, мнѣ неизвѣстны; рѣшеніе вышло изъ совѣта; къ сожалѣнію, въ эти послѣдніе дни мнѣ нездоровилось и я въ немъ не участвовалъ... Когда я сталъ разспрашивать, мнѣ намекали на какія-то, будто бы, злоупотребленія...

— Злоупотребленія! — воскликнулъ Алексѣй Максимычъ, котораго при этомъ обдало холодомъ отъ затылка до самыхъ пятокъ.

— Но никто этому, конечно, не вѣритъ, — поспѣшилъ успокоить Воскресенскій.

— Все равно, все равно, я желаю знать, въ чемъ заключаются эти злоупотребленія...

Иванъ Иванычъ и самъ не радъ былъ, что коснулся этого вопроса; но дѣлать было нечего, — слово вырвалось, не вернешь назадъ; искоса взглянувъ на столъ, тутъ ли колокольчикъ, онъ какъ бы пріободрился и прибавилъ:

— Въ прошломъ году... у васъ, говорятъ... вышелъ тамъ какой-то недочетъ... какихъ-то денегъ недостало въ кассѣ...

Неожиданность такого сообщенія сразила, казалось, старика.

— Правда, — произнесъ онъ, смѣло глядя въ глаза собесѣднику, — правда, но это мое личное дѣло, оно никого не касается; деньги были сполна тотчасъ же внесены... Какое же кому до этого теперь дѣло?

— Никто же на это и не претендуетъ. Помилуйте! Всѣмъ слишкомъ хорошо извѣстна ваша честность... Я полагаю, тутъ однѣ только сплетни... и причина вовсе не въ этомъ... Она, всего вѣроятнѣе, заключается въ промедленіи постройки...

— Въ промедленіи! — на этотъ разъ уже просто вскричалъ Алексѣй Максимычъ, — въ промедленіи! Но кто же, какъ не вы, милостивый государь, задерживалъ работу? Въ эти послѣдніе три мѣсяца я гроша отъ васъ не могъ добиться... Просилъ, умолялъ, наконецъ, поневолѣ долженъ былъ остановить постройку...

— Боже мой! Боже мой! — заговорилъ Иванъ Иванычъ, отступая еще шагъ и печально качая головою, — подумайте только,

въ чемъ вы меня упрекаете... меня, который только и думалъ, какъ бы угодить вамъ!... Вникните спокойнѣе: развѣ деньги мои и я могу выдавать ихъ когда заблагоразсудится? Точно не знаете вы, что церковь строится на пожертвованныя суммы, точно не знаете, что можно располагать ими тогда только, когда онѣ есть въ кассѣ...

— Если это такъ, то тѣмъ несправедливѣе упрекъ, который мнѣ дѣлаютъ! Вы, стало быть, не объясняли совѣту...

— Я уже имѣлъ честь докладывать вамъ, что меня тогда,— прибавлю: къ сожалѣнію,— не было въ совѣтѣ...

— Но опредѣленія совѣта разсматриваются графомъ... Вы... ваша обязанность была предупредить его насчетъ причины задержки... Онъ могъ, наконецъ, послать за мною, разспросить меня... Рѣшеніемъ управлялъ, слѣдовательно, одинъ произволъ, а можетъ быть, что нибудь еще хуже: была подведена какая нибудь гнусная интрига...

Иванъ Иванычъ всплеснулъ руками и склонилъ голову на бокъ съ видомъ изнеможенія.

— Не понимаю только, что графъ тутъ дѣлалъ?—продолжалъ Зиновьевъ съ возраставшимъ жаромъ.—Я считалъ его всегда человѣкомъ честнымъ и благороднымъ... Онъ всегда былъ прежде такъ расположенъ ко мнѣ... Его, вѣрно, подвели, обманулъ кто нибудь... или онъ потерялъ, наконецъ, всякій смыслъ, всякое сознаніе!...

— Графъ такъ мало потерялъ сознанія,—робко вступился Иванъ Иванычъ,—что первою его мыслью, когда все... все это вышло... было представить васъ къ наградѣ...

— Что мнѣ награда! Моя награда — мой трудъ! Я о другомъ никогда не думалъ и ничего не искалъ. Я желаю только, чтобы со мной поступали такъ же честно, ка я всегда поступалъ съ другими; къ сожалѣнію, я ошибся, ясь на людскую честность; старость ничему меня не вижу, что здѣсь, прежде всего, надо быть кулакомъ и пройдохой... Я всю жизнь слышалъ объ этомъ, но отказывался всегда вѣрить; теперь, на старости, пришлось убѣдиться: хорошо здѣсь только кулакамъ и пройдохамъ!...

— Я не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, позволю вамъ замѣтить,—проговорилъ обиженнымъ тономъ Воскресенскій,—но не раскаиваюсь въ этомъ, нѣтъ, не раскаиваюсь; мною управляли

всегда одни чувства: долгъ, желаніе добра ближнему... религія...

— Я, можетъ быть, не такъ религіозенъ, какъ вы, но не сдѣлаю, милостивый государь, того, что вы сдѣлали,—да, вы! вы!... потому что все дѣло было въ рукахъ вашихъ, и вы бы никогда не допустили того, что произошло, еслибъ только захотѣли! Я съ тѣмъ пріѣхалъ, чтобы сказать вамъ это прямо въ глаза! Да! Я и другимъ буду то же разсказывать...

— Вы не можете оскорбить меня, господинъ Зиновьевъ,— проговорилъ тихо, но не безъ достоинства Иванъ Иванычъ,—мои дѣйствія и цѣли, слава Богу, извѣстны... Если кто и повѣритъ, предоставлю каждому на его совѣсть... Придетъ время, наконецъ, когда разъяснится, кто тутъ правъ, кто виноватъ... Исторія безпристрастна; она насъ разсудитъ...

— „Вонъ куда хватилъ! Исторія! Будетъ ей до тебя дѣло, какъ же!“—мелькнуло въ головѣ Зиновьева, не смотря на все его разстройство.—Не знаю, что исторія скажетъ,—продолжалъ онъ громко,—но я скажу вамъ, что я не на столько еще ослабъ отъ старости и выжилъ изъ ума, чтобы такъ оставить это дѣло; я пойду къ графу, обращусь къ совѣту, обращусь къ каждому, кто принималъ участіе въ этомъ несправедливомъ поступкѣ... Пока... пока оставлю его на вашей совѣсти... Затѣмъ, милостивый государь мой, прощайте!...

Иванъ Иванычъ молча поклонился; устремляя выше очковъ бѣлые зрачки свои на удалявшагося Зиновьева, онъ слегка улыбнулся, какъ улыбаются взрослые бѣснованію спеленатаго ребенка.

До настоящей минуты Алексѣя Максимыча поддерживали нервный подъемъ и сильное нравственное возбужденіе. Когда онъ вернулся къ племяннику, тотъ поспѣшилъ поддержать его: до такой степени старикъ показался ему вдругъ опустившимся и ослабѣвшимъ. Черты его осунулись, глаза вращались безпокойно и смотрѣли смутно. Племянникъ съ трудомъ усадилъ его въ дрожки и велѣлъ извозчику ѣхать скорѣе домой на дачу. Дорогой онъ долженъ былъ разъ остановиться, чтобы достать воды, потому что дѣдушка внезапно почувствовалъ дурноту.

Пріѣхавъ домой, Сережа распорядился, чтобы старика скорѣе уложили въ постель, а самъ поскакалъ за докторомъ.

Докторскія предсказанія сбылись только на другой день къ вечеру. У Алексѣя Максимыча открылась нервная горячка; къ ней (послѣдняго докторъ не предсказалъ) присоединилось разли-

тіе желчи. Старшіе члены семьи, — въ томъ числѣ и Марьянушка, — превратились въ тотъ же день въ сидѣлокъ; каждый по нѣсколько часовъ дежурилъ по очереди у постели больнаго. Въ общемъ раздѣлѣ, на долю Кати и Сони досталась едва ли не самая трудная обязанность: онѣ должны были молчать и тихо, только на цыпочкахъ, переходить изъ комнаты въ другую. Главнымъ образомъ, обѣимъ было предписано не касаться въ разговорахъ при дѣдушкѣ постройки церкви, не напоминать даже объ этомъ, хотя бы словомъ однимъ.

Сережа, строго наблюдавшій за этимъ, самъ, между тѣмъ, едва удерживался. Узнавъ случайно въ академіи, что достроивать церковь поручили какому-то Бабкову вмѣстѣ съ другимъ, — имени послѣдняго онъ не помнилъ, — онъ такъ горячился и часто выходилъ изъ себя, что каждую минуту можно было ожидать отъ него какой нибудь неосторожности. Дѣло спасалось только Марусей, которая, какъ только Сережа начиналъ возвышать голосъ, спѣшила прижать ему ладонь къ губамъ. Онъ тогда выбѣгалъ въ садъ; Маруся приближалась къ окну и глазамъ ея представлялся Сережа, ходящій быстрыми шагами и махающій въ воздухѣ кулаками. Такой моціонъ всегда, впрочемъ, хорошо на него дѣйствовалъ: онъ послѣ этого замѣтно успокоивался и возвращался смирнѣе прежняго къ постели больнаго.

Въ концѣ августа болѣзнь Алексѣя Максимыча настолько уже уступила, что его можно было перевезти на городскую квартиру; въ одномъ лишь не могъ онъ оправиться: къ нему не возвращалась его прежняя веселость.

Чего только ни дѣлали, чтобы развлечь его! Въ день его рожденія (ему минуло шестьдесятъ-три года) Катя и Соня сочинили живыя картины, въ которыхъ явились въ бумажныхъ костюмахъ, ими же сочиненныхъ и раскрашенныхъ; въ одной изъ этихъ картинъ приняла даже участіе Маруся: стоя на тубаретѣ, прикрытомъ бумажнымъ облакомъ, она изображала благодѣтельную волшебницу, кротко улыбающуюся Катѣ и Сонѣ, одѣтымъ пастухомъ и пастушкой, между тѣмъ какъ Сережа, сидя за ширмами, бралъ въ это время торжественные аккорды на фортепіано. Въ тотъ же вечеръ Маруся поднесла дѣдушкѣ абажуръ съ изображеніемъ Большаго канала въ Венеціи во время карнавала; луна, ряды освѣщенныхъ оконъ, отраженія въ водѣ огоньковъ на гондолахъ, — все это, искусно выскобленное на бумагѣ и подкрашен-

ное красной и желтой краской, придавало живость акварели, которая сама по себѣ была очень мило написана Марусей; но и подарокъ этотъ не достигъ своей цѣли; дѣдушка, правда, долго не отрывалъ отъ него глазъ, но, слѣдя за выраженіемъ его лица, можно было думать, что подарокъ производитъ на него скорѣе даже грустное впечатлѣніе.

Иногда Сережа выкладывалъ на большой столъ къ окну папку съ рисунками Алексѣя Максимыча. Старикъ начиналъ ихъ просматривать, вспоминалъ о чемъ-то, но на лицѣ появлялась вскорѣ равнодушная усталость; онъ снова укладывалъ рисунки и закрывалъ папку, какъ бы говоря самому себѣ: „къ чему все это?“

Замѣтная перемѣна его духа къ лучшему произошла послѣ того только, какъ Сережа, рѣшившись, наконецъ, показать ему свою программу, принесъ ее на домъ. Алексѣй Максимычъ въ первый разъ оживился и напомнилъ въ тотъ день прежняго дѣдушку.

И всѣмъ въ этотъ день какъ будто стало веселѣе.

## XIV.

Постройка церкви, между тѣмъ, приближалась къ концу.

— Слава Богу!—говорилъ графъ, улыбаясь своей пріятной улыбкой всякій разъ, какъ Иванъ Иванычъ докладывалъ ему о новыхъ успѣхахъ работы.

— Слава Богу, ваше сіятельство,—повторялъ за нимъ Иванъ Иванычъ, съ выраженіемъ благочестія во взглядѣ.

— Зиновьевъ — прекрасный человѣкъ, но съ нимъ мы бы никогда не кончили,—говорилъ графъ.

— Никогда бы не кончили! — утверждалъ съ убѣжденіемъ Иванъ Иванычъ.

Графъ никогда больше не разспрашивалъ о старомъ архитекторѣ; онъ искренно пожалѣлъ о немъ въ первое время и даже вздохнулъ, когда Воскресенскій, въ разговорѣ о немъ, молча, но выразительно пошевелилъ влажными своими пальцами по лбу, показывая, что тутъ какъ будто у старика что-то было не совсѣмъ въ порядкѣ; узнавъ отъ того же Воскресенскаго, что Зиновьевъ теперь, кажется, поправился и считаетъ себя вполнѣ вознагражденнымъ за труды тѣмъ, что представленъ къ знаку

отличія, графъ окончательно успокоился и пересталъ о немъ разспрашивать. И гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, было ему думать о Зиновьевѣ, когда поневолѣ всякій вечеръ приходилось забывать множество лицъ, являвшихся съ просьбами въ теченіе дня; когда едва было возможно придти въ себя, среди многочисленныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, ежедневно предлагаемыхъ на обсужденіе въ различныхъ комиссіяхъ и засѣданіяхъ?

Хорошо еще, что у графа была сестра, одаренная большой энергіей. Она неожиданно являлась въ кабинетъ, усаживалась противъ брата и не говорила ему, какъ дѣлала большая часть родственниковъ: „*Mon cousin* или *cher Pierre*, вы рѣшительно себя убиваете!“ — что, мимоходомъ сказать, доставляло всегда графу большое удовольствіе, — но прямо отрѣзывала: „Довольно! *Assez, mon frère!*“ — и какъ только братъ начиналъ возражать, прибавляла: „Россія не погибнетъ, если ты оставишь ее на нѣсколько часовъ въ покоѣ“, послѣ чего насильственно увозила его куда нибудь за городъ, предупредивъ заранѣе, что пріѣдетъ сегодня съ графомъ обѣдать.

Къ многочисленнымъ заботамъ графа прибавились съ нѣкоторыхъ поръ семейныя непріятности. Его снова начиналъ безпокоить сынъ. На пути въ южную Францію, куда отправили молодаго человѣка для ознакомленія съ отраслью, обѣщавшей въ будущемъ столь важныя послѣдствія для Кавказскаго края, молодой человѣкъ застрялъ въ Парижѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ оставилъ Петербургъ, — назадъ тому два мѣсяца, — отецъ и тётка не получали никакихъ извѣстій; знали только, что онъ въ Парижѣ.

Графъ и графиня обратились тогда къ родственницѣ, княгинѣ Завадской, жившей большую часть года въ столицѣ Франціи, прося ее отыскать молодаго графа и дать о немъ какое нибудь свѣдѣніе. Княгиня, никогда прежде не писавшая петербургскимъ родственникамъ, пожелала какъ бы за одинъ разъ исправить свою ошибку; отвѣтъ ея, на многихъ страницахъ, могъ бы быть короче, если принять во вниманіе впечатлѣніе, сдѣланное имъ на графиню и особенно на графа.

Прежде всего, княгиня жаловалась, что Флу-Флу (такъ звали въ обществѣ молодаго графа за его развязную наружность и неясное произношеніе, происходившее отъ несоразмѣрной толщины языка, неловко какъ-то шлепавшаго во рту) ни разу къ ней не показался, „не плюнулъ даже“. Дальнѣйшія строки увѣдомляли

родителей, что Флу-Флу каждый день встрѣчаютъ проѣзжающимъ въ колескѣ по Елисейскимъ полямъ съ знаменитой *Berthe la Blonde*, едва ли не опаснѣйшей изъ парижскихъ актрисъ-кокотокъ. Она, говорятъ, совсѣмъ имъ завладѣла; онъ былъ съ ней неразлученъ и всюду являлся: утромъ — на скачкахъ, передъ обѣдомъ — въ *tir aux pigeons*, вечеромъ — въ театрѣ и всегда на видныхъ мѣстахъ; въ послѣдніе дни онъ окончательно себя компрометировалъ, войдя съ ней подъ руку на благотворительный концертъ, куда допускались только дамы извѣстнаго круга...

— Мальчикъ этотъ истинно посланъ мнѣ въ наказаніе! За что только, не знаю! — воскликнулъ графъ, опрокидываясь на спинку креселъ.

— Я полагаю, вздыхать и охать теперь напрасно: ни къ чему не послужитъ, — произнесла графина, сдвигая брови.

— Что дѣлать, право, не знаю!... Знаю только, что онъ всѣхъ насъ разоритъ и самъ погибнетъ! Прямо идетъ къ этому... Боже мой, Боже мой, за что мнѣ все это?!...

Графиня поднялась на ноги, нѣсколько разъ прошлась по кабинету и тутъ же рѣшила немедленно ѣхать за племянникомъ. Она посмотритъ, какая тамъ такая *Berthe la Blonde* могла окрутить племянника настолько, чтобы заставить его забыть отца, тётку, приличія и, наконецъ, заставить дѣлать долги! Посмотритъ она, какъ Флу-Флу, — эта тряпица, а не человѣкъ, — не послушаетъ ея, когда она обрѣжетъ ему всѣ рессурсы и принудитъ его возвратиться домой!

Отъѣздъ графини весьма обрадовалъ Ивана Иваныча. Онъ думалъ и такъ, и этакъ, и рѣшительно не зналъ, какъ выпутаться въ глазахъ графа, которому внушилъ поѣздку сына заграницу. Графъ нисколько на него не сердился, убѣжденный въ его добромъ намѣреніи, но положеніе, все-таки, было не совсѣмъ ловкое.

Воскресенскій писалъ молодому графу, прося его захватить въ Парижѣ такую-то брошюрку, спеціально трактующую о пробочномъ производствѣ въ Алжирѣ, и прибавляя, что въ этомъ заключается, главнымъ образомъ, суть его поѣздки заграницу, но не получилъ никакого отвѣта. Зная энергическій, рѣшительный нравъ графини, онъ не сомнѣвался въ скоромъ возвращеніи ея племянника.

Въ ожиданіи этого, онъ распорядился выпиской помянутой

брошюры и поручилъ перевести ее, какъ можно скорѣе, на русскій языкъ: сдѣлавъ въ рукописи кое-какія выправки и измѣненія, онъ замѣтно успокоился. Иванъ Иванычъ не обманывалъ себя въ трудности будущей задачи; онъ предвидѣлъ, сколько будетъ хлопотъ, чтобы поймать молодаго графа въ Петербургѣ, залучить его часа на два къ себѣ въ кабинетъ и заставить его прочесть при себѣ переводъ. Составить потомъ докладную записку о полезномъ трудѣ молодаго человѣка... Боже мой! да это была такая бездѣлица, о которой не стоило даже думать...

Какъ только графъ выражалъ безпокойство насчетъ сына, Иванъ Иванычъ всякій разъ спѣшилъ его утѣшить; но уже теперь въ голосѣ его замѣтно было больше увѣренности. Онъ придерживался того убѣжденія, что въ этихъ слухахъ изъ Парижа было много преувеличеннаго; похожденія молодаго графа были ничто иное, какъ мимолетное и совершенно естественное увлеченіе молодости. Очень жаль, конечно, что молодой графъ не воспользовался поѣздкой въ южную Францію; но собственно практическая сторона дѣла, для котораго онъ былъ посланъ, не имѣетъ большой важности; она предписывалась больше для соблюденія одной лишь формальности; суть дѣла заключается въ теоретическихъ данныхъ. Все, что касалось этого предмета, находилось въ рукахъ Ивана Иваныча; онъ ни на минуту не сомнѣвался, что молодой человѣкъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, съ примѣрнымъ усердіемъ примется за работу. Вопросъ будетъ подготовленъ, Иванъ Иванычъ лично съ нимъ займется; графу-отцу, — Воскресенскій ручался за это, — останется только, въ концѣ концовъ, радоваться за сына.

— И вы думаете, Иванъ Иванычъ, онъ будетъ въ самомъ дѣлѣ на это способенъ? — недовѣрчиво качая головою, спрашивалъ графъ.

— Убѣжденъ, ваше сіятельство! съ твердостью во взглядѣ и голосѣ возражалъ Воскресенскій.

— Благодарю васъ, благодарю!

Графъ протягивалъ руку, но, прикоснувшись къ влажнымъ пальцамъ Ивана Иваныча, напоминавшимъ ему всегда лягушку, не могъ побѣдить себя и, несмотря на растроганныя чувства, тутъ же спѣшно, запрятавъ руку въ карманъ, украдкой утиралъ ее о носовой платокъ.

Въ частныхъ бесѣдахъ своихъ съ г

упускалъ случая также убѣждать его съѣздить осмотрѣть зданіе новаго *центральнаго пріюта;* мысль эта всегда встрѣчала живое сочувствіе; графъ обѣщалъ, назначалъ даже день, но всякій разъ по какому нибудь непредвидѣнному обстоятельству, — больше по недостатку времени, — не могъ исполнить обѣщанія. Воскресенскій приступилъ тогда настоятельнѣе, какъ говорится: сильнѣе нажалъ клапанъ. Все въ *центральномъ пріютѣ* было готово; открытіе назначено черезъ мѣсяцъ самимъ графомъ; необходимо было показаться, хотя бы съ тѣмъ, чтобы произнести свое послѣднее слово, поощрить участниковъ, которые столько разъ уже собирались и ждали только, какъ бы увидѣть высокаго своего покровителя.

День былъ, наконецъ, безотлагательно назначенъ. Графъ, пригласивъ заблаговременно Ивана Иваныча ѣхать вмѣстѣ, находился въ прекрасномъ расположеніи духа. Примѣтивъ, что Иванъ Иванычъ ежится въ углу кареты, графъ поспѣшилъ закрыть окно, извиняясь, что раньше не подумалъ объ этомъ.

День былъ дѣйствительно сырой и холодный. Убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ могли служить скорченныя фигуры и синіе носы на лицахъ персонала *центральнаго пріюта*, собравшагося у входа главнаго зданія въ ожиданіи пріѣзда ихъ покровителя. Ожидали, однакожъ, недолго; всѣ, повидимому, тотчасъ же оживились и согрѣлись, какъ только карета графа остановилась у подъѣзда. Тутъ во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ находились будущіе наставники, докторъ, фельдшера, сидѣлки, двѣ кормилицы въ голубыхъ кокошникахъ и красныхъ сарафанахъ, нѣсколько сестеръ милосердія и значительная группа служителей, бо́льшею частью съ шевронами на рукавахъ и въ форменной одеждѣ.

У графа былъ всегда достаточный запасъ привѣтливости для тѣхъ, кто заставалъ его въ хорошемъ расположеніи духа. Онъ здѣсь очаровывалъ всѣхъ безъ исключенія: кому весело кивнулъ, кому сказалъ нѣсколько словъ, кому пожалъ руку.

Онъ шелъ впереди; подлѣ него, сбоку, едва слышными шагами подвигался Иванъ Иванычъ, изрѣдка оборачиваясь, когда шумъ слѣдовавшей толпы становился слышнѣе.

Больше часу продолжался обходъ зданія. Ничего не было пропущено. Графъ остался всѣмъ очень доволенъ. Особенной похвалы удостоился, впрочемъ, дворъ, крытый стекломъ и заклю-

чавшій въ себѣ дѣтскій садъ и гимнастику. Графъ внимательно осматривалъ каждый предметъ, разспрашивалъ обо всемъ. Съ большимъ одобреніемъ встрѣчено было также осуществленіе мысли оклейки стѣнъ нравственно-назидательными картинками, сценами изъ отечественной исторіи, долженствовавшими „поднять духъ“, какъ говорилось въ программѣ, и душеспасительными печатными изреченіями; передъ нѣкоторыми изъ нихъ графъ такъ долго останавливался, что уже подъ конецъ у Ивана Иваныча начали горѣть пятки и подкашиваться ноги.

— Теперь, ваше сіятельство, не угодно ли будетъ въ церковь пожаловать? — проговорилъ Воскресенскій, дѣлая за спиною знаки, чтобы скорѣе отворили дверь, сообщавшую церковь со столовой.

Но дверь оказалась уже отворенною. Ивана Иваныча сначала непріятно поразило, что въ дверяхъ никто не встрѣтилъ почетнаго посѣтителя, но неудовольствіе его продолжалось всего секунду. Одобрительная улыбка показалась на лицѣ его при видѣ Лисичкина и Бабкова, стоявшихъ на мѣстахъ своихъ. Послѣдніе только, казалось, ничего не видѣли, ничего не замѣчали: до такой степени каждый увлеченъ былъ своей работой. Стоя на табуретѣ подлѣ одной изъ арокъ съ палитрой и кистями въ лѣвой рукѣ и поддерживая правую руку муштабелемъ, Лисичкинъ усердно водилъ кистью и, сколько можно было замѣтить, все по одному и тому же мѣсту; на щекѣ, рукахъ и передней части сюртука видиѣлись слѣды красокъ. Бабковъ, пригнувшись къ одной изъ каменныхъ балясинъ надъ ступеньками, соединявшими полъ съ алтаремъ, какъ бы усиливался добиться, насколько все это твердо было установлено; онъ былъ въ холщевой блузѣ, надѣтой сверхъ сюртука, и весь также испачканъ известкой, хотя вокругъ было совершенно чисто и трудно было запачкаться.

Тихо ступая на плоскихъ своихъ подошвахъ, Воскресенскій наклонился къ графу и, улыбаясь, указалъ ему глазами на художниковъ; графъ остановился, приложилъ палецъ къ губамъ и неожиданно кашлянулъ.

— Ахъ! — вскричалъ Лисичкинъ, чуть не сваливаясь съ табурета отъ неожиданности; онъ не упалъ, однакожъ: съ палитрой въ одной рукѣ, съ муштабелемъ въ другой, онъ приблизился къ именитому посѣтителю, выказывая на лицѣ смущеніе человѣка, застигнутаго врасплохъ.

— Простите великодушно, ваше сіятельство... Я передъ вами въ такомъ видѣ...

— И меня также... Ужъ не взыщите,—прогоговорилъ Бабковъ, подходя, въ свою очередь, и растопыривая пальцы перепачканныхъ рукъ.

— Напротивъ, вы извините, что прервалъ васъ такъ неожиданно,—сказалъ графъ, любезно улыбаясь,—у васъ, какъ я вижу, прекрасно идетъ дѣло... подвигается...

— Работаемъ, ваше сіятельство, трудимся, — съ нѣжностью во всѣхъ чертахъ сказалъ Лисичкинъ.

— Пачкаемся, ваше сіятельство! Надо прямо сказать: пачкаемся!

— Давай Богъ каждому пачкаться такъ, какъ вы, господа, это дѣлаете ради общественной пользы,—замѣтилъ графъ, посылая каждому привѣтливый знакъ рукою,—и искренно благодарю васъ! Съ своей стороны, я также постараюсь... И давно уже вы здѣсь занимаетесь?...

— Третій мѣсяцъ...

— Какъ? Развѣ такъ много оставалось работы?

— Довольно-таки, ваше сіятельство! Много было сдѣлано, но многое пришлось переписать заново... Въ одномъ мѣстѣ требовалось смягчить... въ другомъ усилить, тутъ придать вкусу, здѣсь придать теплоты тону,—началъ Лисичкинъ, выводя палитрой и мушгабелемъ по воздуху нѣжныя, округленныя линіи.

Бабковъ неожиданно перебилъ его.

— Что говорить, ваше сіятельство, — приступилъ онъ къ графу, который любознательно осматривалъ стѣны,—надо правду сказать: были такіе здѣсь грѣшки да прорѣшки... Вы меня великодушно извините; я человѣкъ простой, какъ есть ломоть ржаного хлѣба, но я всегда правду скажу: пришлось-таки здѣсь повозиться... Вотъ теперь извольте сами посмотрѣть: прорѣшекъ-то и нѣтъ; сладили, значитъ!...

— Считаю долгомъ предупредить ваше сіятельство, что здѣсь очень сыро... и легко, очень легко простудиться... Гг. художники привыкли къ этому, но вамъ... считаю долгомъ предупредить васъ,—произнесъ Иванъ Иванычъ, желавшій сократить посѣщеніе церкви, такъ какъ, съ одной стороны, цѣль была достигнута, съ другой — онъ начиналъ чувствовать холодъ въ но-

гахъ, несмотря на то, что просилъ у графа позволенія остаться въ резиновыхъ калошахъ.

Поблагодаривъ еще разъ художниковъ, графъ вышелъ изъ церкви. Толпа, ожидавшая его въ столовой, снова сомкнувшись за его спиною, сопровождала его до той минуты, пока онъ не сѣлъ въ карету.

Графъ былъ очень доволенъ. Во время пути онъ нѣсколько разъ признательно жалъ руку Ивану Иванычу, который всякій разъ, отъ избытка чувствъ, моргалъ увлаженными глазами.

## XV.

Въ серединѣ ноября Алексѣй Максимычъ получилъ оффиціальное печатное приглашеніе на освященіе церкви и открытіе *центральнаго образцоваго пріюта*, имѣвшаго цѣлью „всеобщее, всестороннее распространеніе благотворительности въ Россійскомъ государствѣ“. Приглашеніе получено было во время вечерняго чая; вся семья находилась въ полномъ составѣ.

Алексѣй Максимычъ аккуратно вложилъ приглашеніе въ конвертъ, снялъ очки и произнесъ съ разстановкой:

— Скоро же это они состряпали!... Молодцы!... Посмотримъ... посмотримъ!—подхватилъ онъ, стараясь казаться веселымъ; онъ попробовалъ даже улыбнуться, но улыбка вышла менѣе удачна.

Сережа и Маруся переглянулись.

— Ты, дѣдушка, такъ говоришь, какъ будто собираешься туда ѣхать,—сказалъ племянникъ.

— Поѣду, конечно... благо приглашаютъ... Неучтиво было бы отказаться,—прибавилъ онъ съ добродушной ироніей.

Племянникъ поднялся съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ, нетерпѣливо проводя ладонью по волосамъ.

— Нѣтъ, ты не шутишь?... Ты въ самомъ дѣлѣ собираешься ѣхать?—спросилъ онъ, неожиданно останавливаясь.

— Въ самомъ дѣлѣ поѣду,—спокойно отозвался дѣдушка.

Племянникъ вспыхнулъ.

— Тебѣ, вѣроятно, снова хочется встрѣтиться съ этими прекрасными господами... которые... которые такъ благородно съ тобою поступили! — заговорилъ онъ рѣзкимъ голосомъ. — Рѣши-

тельно не понимаю тебя!... Скажи намилость, что влечетъ тебя туда? Что ты будешь тамъ дѣлать? Зачѣмъ? Съ тѣмъ, развѣ, чтобы, какъ я говорю, полюбоваться лишній разъ на милаго г. Воскресенскаго?... Кстати, одинъ знакомый архитекторъ, имѣвшій съ нимъ дѣло, прозвалъ его „Тартюфомъ изъ Средней Мѣщанской улицы“. Чего тебѣ отъ нихъ надобно? Что ты тамъ потерялъ?

— На твоемъ мѣстѣ, я бы ни за что не поѣхала, дѣдушка, — сказала Маруся.

— Ну, сговорились... Какъ и слѣдуетъ, впрочемъ, быть,— перебилъ Алексѣй Максимычъ.—Ты, мой дружокъ, полно волноваться; сядь-ка лучше и не горячись... Очень понимаю, что заставляетъ васъ обоихъ такъ говорить. Людей, которыхъ я тамъ встрѣчу, уважаю я не больше вашего; знаю, что они, по большей части, не... нег... нехорошіе люди... (онъ хотѣлъ сказать другое слово, но удержался; рѣзко выражаться было вообще не въ его характерѣ). Скажу вамъ, съ своей стороны: оба вы превратно понимаете причину, которая — не то чтобы заставляла меня туда ѣхать, но располагаетъ къ этому; не ѣхать значило бы прямо показать имъ: какъ, дескать, вы меня глубоко обидѣли, и смотрѣть-то на васъ не хочу! Мнѣ, напротивъ, пріятно показать имъ мое полное равнодушіе къ ихъ поступку; смотрите, дескать: и живъ, и здоровъ, и пришелъ на васъ полюбоваться...

Сережа и Маруся не вѣрили какъ будто въ искренность такого довода. Дѣдушка былъ теперь совершенно здоровъ и, повидимому, окончательно успокоился; но имъ было извѣстно также искусство его скрывать передъ ними свои тяжелыя ощущенія и показывать улыбающееся лицо, когда на душѣ скребли кошки. Кто поручится въ томъ, что горе изгладилось окончательно и не живетъ гдѣ нибудь въ тайномъ углу его сердца?

Оба всѣми силами старались уговорить его; внутреннее чувство подсказывало имъ, что эта поѣздка не обойдется безъ вредныхъ послѣдствій, безъ новаго потрясенія.

Опасенія ихъ могли быть весьма основательны. Оскорбленное чувство не столько самолюбія, сколько справедливости слишкомъ глубоко проникло въ самую глубь существа стараго архитектора, чтобы успѣть такъ скоро вымереть; больное мѣсто еще оставалось. Алексѣй Максимычъ самъ себя обманывалъ, объясняя пле-

мянинку поводъ, располагавшій его къ такой поѣздкѣ; больное мѣсто еще не зажило; оно-то собственно и влекло его...

Въ нравственной и физической природѣ человѣка существуетъ большое сходство ощущеній; къ больному мѣсту тянетъ прикоснуться; есть даже удовольствіе бередить рану. То же самое бываетъ съ горемъ, съ минувшимъ нравственнымъ потрясеніемъ; вопреки разсудку, больное чувство не хочетъ успокоиться: оно рвется къ предмету своего раздраженія. Могила закрыта, все кончено, ничѣмъ уже не вернешь къ жизни, — нѣтъ, надо бѣжать къ этой могилѣ, надо растравлять воспоминанія, надо прибавить себѣ терзаній: въ этомъ есть также своя отрада...

Когда наступилъ день освященія церкви и открытія *центральнаго образцоваго пріюта*, Алексѣй Максимычъ, не смотря на всѣ свои старанія казаться равнодушнымъ, не могъ ввести въ заблужденіе племянника и Марусю, которые внимательно за нимъ слѣдили. Онъ, очевидно, провелъ ночь безъ сна, суетился какъ-то особенно, выказывалъ нетерпѣніе и былъ разсѣяннѣе обыкновеннаго. Сережа и Маруся, каждый съ своей стороны, снова было коснулись вопроса поѣздки; старикъ окончательно заупрямился. Онъ послушалъ ихъ только въ томъ, что теплѣе закутался; въ остальномъ не было никакой возможности уговорить его.

О чемъ онъ думалъ во всю дорогу, рѣшить трудно; во всякомъ случаѣ мысли его не были веселы. Да и все вокругъ не располагало къ веселью. День былъ холодный и пасмурный; тучи стояли неподвижно и низменно; ихъ цвѣтъ предвѣщалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ закружатся въ воздухѣ первые хлопья снѣга. По городскимъ улицамъ все еще было сносно: ходили и ѣхали люди; но тамъ, въ глухихъ мѣстахъ, гдѣ нибудь на концѣ Петровскаго острова, по берегу залива... Боже мой, какъ тамъ теперь должно было быть уныло и безотрадно на Петербургской сторонѣ!...

Алексѣя Максимыча опередило нѣсколько экипажей съ разряженными дамами и кавалерами въ мундирахъ; въ открытой колясскѣ, но плотно закутанный въ шубу, проѣхалъ въ трехугольной шляпѣ съ бѣлымъ плюмажемъ господинъ, поразившій Зиновьева сходствомъ съ птицей пеликаномъ: такой же длинный и плоскій, прижатый къ подбородку носъ и крошечные глазки, близко поставленные одинъ къ другому... Все это, очевидно, устремлялось туда же, куда направлялся самъ Зиновьевъ.

Подъѣхавъ къ воротамъ громаднаго зданія *центральнаго*

*образцоваго пріюта*, на одномъ концѣ котораго высоко подымалась крыша церкви, Алексѣй Максимычъ долженъ былъ отпустить извозчика: до такой степени дворъ былъ заставленъ экипажами; одни подъѣзжали, другіе устанавливались кричавшими жандармами.

Прихожая, не смотря на ея вышину и размѣры оконъ, показалась Зиновьеву нѣсколько темною. Правда, день былъ такой, да и стѣны вокругъ казались совсѣмъ черными отъ повѣшенныхъ шубъ и шинелей. Много также шубъ и всякой верхней одежды виднѣлось на рукахъ многочисленныхъ лакеевъ, бо́льшею частью ливрейныхъ; многіе изъ нихъ укладывали свою ношу на скамьи и усаживались на ней съ большимъ комфортомъ; нѣкоторые успѣли уже задремать и клевали носомъ; одинъ у печки, такъ тотъ совсѣмъ уже, какъ говорится, *закатился* и пускалъ такой храпъ, что надо было удивляться, какъ никто не будилъ его. Между лакеями виднѣлись городовые, которые также, казалось, сильно скучали.

Изъ прихожей вела во второй этажъ широкая парадная лѣстница; перилы ея, еще не конченныя, покрывались коврами, отчасти присланными графомъ, отчасти взятыми на прокатъ.

Служба въ церкви давно уже началась, но Алексѣй Максимычъ не старался даже войти; густая толпа заслоняла дверь; проходя мимо, можно только было видѣть надъ головами блескъ свѣчей, тускло горѣвшихъ въ воздухѣ, насыщенномъ ладономъ и человѣческимъ дыханіемъ, къ которому примѣшивался запахъ духовъ; изъ дверей несло жаромъ какъ изъ жерла раскаленной печки; вмѣстѣ съ нимъ приносилось пѣніе, то умолкавшее и какъ бы заглушаемое густотою атмосферы, то снова поражавшее слухъ и какъ бы подымавшееся въ высоту, когда подхватывали дисканты. Въ столовой, передъ церковью, происходила также порядочная суета; цѣлая половина ея заставлена была сдвинутыми накрытыми столами, вокругъ которыхъ суетились оффиціанты. Къ нимъ поминутно выскакивали откуда-то и одновременно два маленькіе чиновника, совершенно похожіе одинъ на другаго, точно ихъ выбили по одному штампу; у каждаго на лѣвомъ отворотѣ вицмундира красовался бантъ изъ лентъ одинаковаго цвѣта; они хлопотливо осматривались во всѣ стороны, отдавали какія-то приказанія, наскоро шептались и снова разбѣгались въ разныя стороны, какъ дробинки, внезапно брошенныя на каменный полъ.

Алексѣй Максимычъ прошелъ мимо и сталъ бродить по всѣмъ комнатамъ, двери которыхъ были теперь настежъ отворены. Лицо его было скорѣе задумчиво, чѣмъ встревожено печалью. Разъ только оно какъ будто нѣсколько омрачилось, когда глаза его случайно встрѣтили портретъ графа, висѣвшій въ роскошной золотой рамкѣ на стѣнѣ въ залѣ совѣта. Онъ прочелъ на фонѣ портрета, внизу, имя Лисичкина; имя это напомнило ему то, о чемъ онъ прежде старался не думать.

Онъ собирался уже перейти въ сосѣднюю комнату, когда неожиданно увидѣлъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя господина небольшаго роста, нѣсколько кривобокаго, нѣсколько прихрамывающаго, который любознательно къ нему присматривался, нетерпѣливо моргалъ маленькими, живыми глазками, заострялъ носикъ и вообще показывалъ непреодолимое желаніе вступить въ разговоръ, но не рѣшался начать безъ явнаго поощренія. Онъ былъ во фракѣ и единственнымъ его украшеніемъ былъ кисейный галстукъ сомнительной бѣлизны. Наконецъ, онъ уже не могъ совладать съ собою и, забрасывая впередъ лѣвую ногу, ковыляя, подошелъ къ Зиновьеву.

— Извините меня, м. г., — заговорилъ онъ въ ту самую минуту, какъ Алексѣй Максимычъ готовился пройти дальше, — если не ошибаюсь... я, кажется, имѣю честь говорить съ архитекторомъ г. Зиновьевымъ...

— Точно такъ...

— Вы, вѣроятно, меня не помните, но я уже имѣлъ честь встрѣчать васъ... Разъ даже мы сидѣли рядомъ на лекціи о спиритизмѣ въ Соляномъ городкѣ... Моя фамилія Бериксонъ... Андрей Андреевичъ... Хотя окончаніе на *сонъ*, но я не еврей, смѣю увѣрить! Дѣдъ изъ Курляндіи, отецъ петербуржецъ, мать москвичка!... Очень, очень радъ встрѣтить васъ, м. г.; вдвойнѣ радъ, чтобы высказать вамъ... Знаю, м. г., знаю, я все знаю! Знаю, какъ съ вами здѣсь поступили... и вполнѣ выражаю вамъ свое сочувствіе... Позвольте пожать вашу руку... Всѣ они, я вамъ скажу...

Тутъ Бериксонъ схватилъ обѣ руки Зиновьева и, пригнувшись къ его уху, шепнулъ какое-то слово.

— Помилуйте, я совсѣмъ не такъ о нихъ думаю, — промолвилъ, краснѣя, Зиновьевъ.

— Думайте, какъ хотите, но это такъ!... Повѣрьте, я ихъ

всѣхъ знаю! Этотъ Воскресенскій, это, помилуйте - скажите, просто...

Онъ снова быстро пригнулся къ уху собесѣдника и снова ввернулъ какое-то крѣпкое слово.

— Намъ надо бы, однакожъ, направиться ближе къ церкви, иначе мы опоздаемъ къ выходу изъ нея, — замѣтилъ Алексѣй Максимычъ, которому начинали казаться странными выходки незнакомца.

— Пойдемте, пойдемте! — съ живостью воскликнулъ Бериксонъ, захватывая въ поспѣшности одною ногою больше пространства, чѣмъ слѣдовало,—я разскажу вамъ, между тѣмъ, что сдѣлалъ со мною этотъ самый Воскресенскій. Было, знаете, такое предпріятіе: нашли въ одномъ мѣстѣ руду; составилась компанія; меня послали къ нему, какъ довѣрителя; подалъ ему докладную записку. Прекрасно. Проходитъ мѣсяцъ, — нѣтъ отвѣта, другой мѣсяцъ, третій, — помилуйте-скажите, — все ничего! Что-жъ бы вы думали онъ сдѣлалъ? Воспользовался нашимъ проектомъ! Кое-что въ немъ поправилъ, да и подай отъ себя въ тѣхъ видахъ, изволите ли видѣть, чтобы казна этимъ дѣломъ воспользовалась... Казна, понимаете, ему наплевать; шутка вся въ томъ, чтобы выказать усердіе, — да-съ! Ему, конечно, за это сюда (тутъ онъ далъ щелчокъ по отвороту фрака), а намъ шишъ! Шишъ, м. г., и ничего больше!... Но вѣдь, кажется, служба кончилась и начали выходить изъ церкви...

Прежде всего выскочили изъ толпы два маленькіе чиновника, которыхъ Бериксонъ тотчасъ же указалъ Зиновьеву, назвавъ ихъ *попугайчиками;* онъ объяснилъ, что хлопотливость ихъ особенно возбуждалась въ этотъ день опаснымъ соперничествомъ одного красиваго камеръ-юнкера и чиновника по особымъ порученіямъ, нѣкоего Стрекозина, которымъ тоже хотѣлось выказать свое усердіе въ качествѣ распорядителей. За *попугайчиками* потянулись ряды дѣтей—питомцевъ *центральнаго образцоваго пріюта;* они, по всему было видно, не успѣли еще вкусить отъ благодѣяній новаго учрежденія; лица ихъ были тощи и зеленовато-блѣднаго отлива; обстриженныя гладко подъ гребенку, въ длинныхъ сѣрыхъ кафтанчикахъ, они казались точно наскоро набранными изъ больницъ; въ суетѣ, предшествовавшей торжеству настоящаго дня, многимъ изъ нихъ вѣроятно перемѣшали обувь, потому что нѣкоторыя изъ маленькихъ, очевидно, путались въ огромныхъ сапогахъ, тогда какъ другія поджимали ноги отъ боли въ узкой

обуви. Ихъ наскоро устанавливали по обѣимъ сторонамъ выхода; больше другихъ суетились *попугайчики* и регентъ, громадный человѣкъ съ пучкомъ черныхъ волосъ на головѣ и такимъ лицомъ, какъ будто онъ только-что кого-то зарѣзалъ.

Изъ дверей церкви вышелъ дьяконъ со святой водой и священникъ; дальше повалили пѣвчіе въ казачьихъ кунтушахъ съ перекинутыми за спину рукавами. За ними вышло нѣсколько лицъ изъ духовенства и выставились штатскіе мундиры, фраки и разноцвѣтныя дамскія шляпки; впередъ выдвинулся красивый камеръ-юнкеръ также съ бантомъ на груди; къ нему мгновенно подскочилъ Стрекозинъ; оба поспѣшно начали упрашивать всѣхъ выходившихъ становиться крыльями по сторонамъ выхода.

Наконецъ, дальше показался графъ; его привѣтливая улыбка на устахъ, въ глазахъ, во всѣхъ чертахъ какъ бы свѣтилась надъ головами, которыя наклонялись по мѣрѣ его приближенія.

Графъ велъ подъ руку княгиню Зинзивееву, предсѣдательницу комиссіи *для предварительныхъ мѣръ противъ распространенія золотухи и родимчика между дѣтьми сельскаго населенія;* за нимъ шла графиня подъ руку съ дряхлымъ старикомъ, который едва передвигалъ ноги, изнемогая подъ бременемъ орденскихъ знаковъ. Рядомъ съ графиней,—и нѣсколько пригибаясь къ ней, — шелъ Воскресенскій, державшій въ рукѣ ея шаль. „Взгляните, у него опять новая звѣзда... Помилуйте-скажите, за что же?“—шепнулъ Бериксонъ на ухо Зиновьеву. Иванъ Иванычъ на ходу любезно разговаривалъ съ баронессой Букъ, предсѣдательницей *общества для снабженія дешевыми игрушками дѣтей болгарскаго населенія* и т. д.; тутъ же подлѣ выступали величественная княгиня Чирикова и рядомъ съ нею томная благотворительница г-жа Вальзаминова. Дальше тѣснились другія пары, между которыми, играя локтями, старалась выскочить впередъ госпожа Шилохвостова; неподалеку выставилась блѣдная тоскующая голова молодаго графа, недавно привезеннаго тѣткой изъ Парижа; онъ былъ въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ.

— Ужъ испекли, готовъ! Съ которыхъ это поръ?—шепнулъ опять кривобокій Бериксонъ. — Впрочемъ, прибавилъ онъ какъ бы мимоходомъ,—истинные, подобные ему, таланты не нуждаются въ покровительствѣ!...

Еще дальше, какъ волны, надвигались члены совѣта, попечители, наставники, купцы, среди которыхъ, на аршинъ выше

другихъ головою, выставлялся Блиновъ, воспитанникъ Воскресенскаго по части умѣнья возбуждать великодушіе жертвователей. У всѣхъ рѣшительно лица и шеи были красны и влажны, какъ у выходящихъ изъ бани; всѣмъ пріятно было освѣжиться; удовольствіе это выражалось пріятными улыбками, поклонами, пожатіемъ рукъ, привѣтствіями.

Выйдя на средину столовой, графъ остановился. Въ ту же секунду Иванъ Иванычъ отдѣлился отъ графини и сдѣлалъ головою выразительный знакъ; регентъ сдвинулъ брови, взмахнулъ руками, какъ бы хотѣлъ взлетѣть на воздухъ, и сотня тоненькихъ голосовъ пропѣла кантату, нарочно сочиненную для этого торжественнаго случая.

— *Très bien!* — проговорила княгиня Зинзивеева.

— *Ils sont pourtant bien laids*, — замѣтила графиня.

— Прекрасно, мои милые... прекрасно! — поспѣшилъ заградить графъ, кивая головою и дѣтямъ, и регенту.

Послѣ этого шествіе опять тронулось въ обходъ по всѣмъ залamъ учрежденія.

Алексѣй Максимычъ отошелъ въ сторону, но случилось такъ, что графъ его замѣтилъ и прямо подошелъ къ нему.

— Очень радъ васъ видѣть, г. Зиновьевъ, — сказалъ онъ, останавливаясь, между тѣмъ какъ слѣдовавшія за нимъ лица обступали его вокругъ. Вотъ,—продолжалъ онъ, обводя ласковыми глазами присутствующихъ,—вотъ кому мы обязаны прекрасной церковью, которою сейчасъ восхищались; онъ ее выстроилъ, онъ же такъ прекрасно ее и украсилъ! Еще разъ благодарю васъ, благодарю и поздравляю! — прибавилъ онъ, намекая на знакъ отличія, къ которому представилъ Зиновьева.

Шествіе пошло дальше. Зиновьевъ увидѣлъ въ толпѣ бѣлокурую голову Лисичкина, но замѣтилъ также, что онъ тщательно старался избѣгать его взгляда; какъ только глаза ихъ случайно встрѣчались, Лисичкинъ изгибался, какъ вьюнъ, и пропадалъ за сосѣдними спинами. Предъ Алексѣемъ Максимычемъ разъ-другой промелькнула также волосатая голова Бабкова и сверкнули его крупные зубы; но и тотъ также старательно избѣгалъ встрѣчи. Отъ вниманія старика не ускользнуло, однакожъ, что многіе останавливали *лукаваго блондина* и *хитраго мужика* и начинали съ чѣмъ-то поздравлять ихъ; одинъ изъ поздравляющихъ подсунулъ даже пальцы подъ орденъ Лисичкина и нѣсколько разъ при-

поднялъ его на ладони, какъ бы желая узнать, сколько было въ немъ вѣсу.

Но заднія пары надвигали на переднія и всѣ снова двигались за графомъ по дорогѣ, расчищаемой передъ нимъ двумя маленькими близнецами и старавшимися сбить ихъ съ выгодной позиціи красивымъ камеръ-юнкеромъ и Стрекозинымъ, которымъ также хотѣлось попасть въ лучъ зрѣнія графа. Онъ уже исчезъ вдали, но въ заднихъ рядахъ все еще напирали; шествію, казалось, конца не было; только съ того мѣста, гдѣ стоялъ Зиновьевъ, показывались теперь уже однѣ спины, шитые воротники и затылки; изрѣдка развѣ выставлялась изъ-за бакенбардъ профиль головы, любезно наклонявшаяся къ сосѣду.

Время отъ времени изъ двигавшейся впередъ толпы отдѣлялось нѣсколько человѣкъ и составлялись у оконъ отдѣльныя группы. Одна изъ такихъ группъ образовалась невдалекѣ отъ Алексѣя Максимыча; въ ней,—какъ объяснилъ ему всевѣдущій Бериксонъ,—больше всѣхъ заслуживалъ вниманія Блиновъ. Изъ того, что говорилъ теперь Блиновъ, слѣдовало заключить, что покровитель его, Иванъ Иванычъ, на этотъ разъ обманулъ его ожиданія.

— Помилуйте, — твердилъ Блиновъ, напирая то на одного изъ своихъ слушателей, то на другаго и нисколько не скрывая своего негодованія, только понижая голосъ изъ предосторожности,—помилуйте, я ли не хлопоталъ для этого заведенія? Обѣщано было и то, и сё,—что-жъ вышло? Всѣ получили,—я ничего!... Главное, что обидно? Труды и время потеряны! То, что здѣсь было мнѣ обѣщано, я могъ получить изъ другаго вѣдомства...

Онъ умолкъ, услышавъ шумъ возвращавшагося шествія.

Столы, между тѣмъ, были уже разставлены по всей столовой; на одномъ изъ нихъ, предназначавшемся для именитыхъ лицъ и дамъ, передъ каждымъ кувертомъ красовался пышный букетъ цвѣтовъ. Два купца,—изъ коихъ одинъ извѣстный уже Жигулевъ,—которыхъ Иванъ Иванычъ уговорилъ устроить завтракъ, съ видимымъ удовольствіемъ глядѣли на приготовленія и поглаживали бороды.

Пробѣжали опять *попугайчики*, шепнули что-то другъ другу и разбѣжались; одинъ устремился къ главному оффиціанту, другой къ Ивану Иванычу предупредить, что все готово.

Но теперь уже торжественное шествіе двигалось какъ-то вяло; на всѣхъ лицахъ проступало утомленіе; многія выражали смертельную скуку. Хотя графъ все еще продолжалъ улыбаться, но видно было, что и онъ также уходился.

Красивый камеръ-юнкеръ, въ перебивку съ однимъ изъ *попугайчиковъ*, шепнулъ что-то Воскресенскому, тотъ наклонился къ графу, графъ кивнулъ головою и повелъ свою даму къ столу, украшенному букетами. Послѣдовалъ новый знакъ со стороны Ивана Иваныча. Регентъ распростеръ руки и мальчики, выстроенные рядами, хоромъ подхватили предъобѣденную молитву. Съ окончаніемъ пѣнія, мѣсто регента заступили два гувернера; одинъ сталъ во главѣ мальчиковъ, другой въ концѣ послѣдняго ряда и оба повели ихъ куда-то; но дѣти безпрестанно сбивались и никакъ не могли попасть въ ногу, вѣроятно, еще по непривычкѣ ходить по паркету, а, можетъ, и потому также, что мысли ихъ путались при видѣ чудныхъ лососинъ, обложенныхъ раками, которыхъ оффиціанты поддерживали въ отдаленіи на серебряныхъ блюдахъ.

Священникъ, между тѣмъ, успѣлъ благословить трапезу. Графъ опустился въ кресло, и все вокругъ зашумѣло, усаживаясь по мѣстамъ.

— Сядемте-ка рядомъ, — шепнулъ Бериксонъ Зиновьеву.

— Я завтракать не стану...

— Я также... только, знаете, теперь какъ-то неловко уйти... Сядемте для проформы...

Алексѣй Максимычъ согласился, и они усѣлись на дальнемъ концѣ стола.

Въ первое время все какъ бы успокоилось. Внезапно, со стороны почетнаго стола, все разомъ зашумѣло и всѣ встали. Послышался голосъ графа. Невозможно было издали разобрать его словъ; но въ тотъ же мигъ мужскіе и женскіе голоса слились въ одинъ звукъ; со всѣхъ сторонъ поднялись руки и замахали платки; за первымъ залпомъ послѣдовалъ второй и третій и снова все на минуту успокоилось. Нежданно поднялся Иванъ Иванычъ. Бокалъ дрожалъ въ его рукѣ; большія мясистыя уши его были блѣдны, какъ у мертвеца; бѣлые зрачки его безпокойно задвигались по направленію къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ графъ. Наступило молчаніе.

— Милостивыя государыни, милостивые государи! — прого-

ворилъ онъ глухимъ взволнованнымъ голосомъ,—всѣхъ насъ-нынѣ ило здѣсь одно чувство,—чувство благодарности, чувство сердечной признательности къ тому, кто поспѣшилъ отвѣтить на душевныя желанія наши, прибавивъ къ существующимъ уже благотворительнымъ учрежденіямъ любезнаго нашего отечества новое убѣжище для неимущихъ и страждущихъ... Новое учрежденіе есть ничто иное, какъ выраженіе высокой души его учредителя... Онъ положилъ въ него свою мысль, свой трудъ, свое сердце!... Здоровье его сіятельства графа! Ура!.. уррра!!. а!.. а!..

Стѣны *центральнаго образцоваго пріюта* дрогнули отъ напора криковъ. Со всѣхъ концовъ снова замахали платками и поднялись руки съ бокалами. Въ одно мгновеніе графъ былъ окруженъ толпою. Изъ-подъ протянутыхъ къ нему рукъ безпрестанно выскакивали головы, часто стукавшіяся другъ о дружку. Купецъ Жигулевъ нечаянно такъ сильно двинулъ подбородкомъ въ глазъ одному изъ попугайчиковъ, что тотъ вскрикнулъ и чуть не выронилъ бокала на сапогъ графа.

Алексѣй Максимычъ не видалъ этого, но ему потомъ говорили, что въ эту торжественную минуту графъ прослезился; онъ дѣйствительно казался растроганнымъ, когда благодарилъ за сдѣланную ему честь, и затѣмъ предложилъ тостъ за здоровье Ивана Иваныча, назвавъ его своимъ усерднымъ помощникомъ.

Тутъ уже пошли одинъ за другимъ разные тосты. Предлагали здоровье предсѣдательницъ и предсѣдателей, членовъ совѣта, великодушныхъ жертвователей, попечителей, наставниковъ и подъ конецъ всѣхъ сочувствующихъ дѣлу благотворительности. Графъ всякій разъ вставалъ и, слегка приподнявъ бокалъ, посылалъ привѣтливый знакъ рукою.

— Графъ, я вамъ скажу, самъ по себѣ добрякъ,—шепталъ, между тѣмъ, Бериксонъ своему сосѣду, — одно жаль: далъ себя оплести Воскресенскому! И хороша, знаете, говядина, а сядетъ на нее скверная муха — все испортитъ!... Тутъ уже не муха, а цѣлый шмель! Я, вѣдь, его насквозь знаю!... Да и всѣ остальные мнѣ хорошо извѣстны... Вотъ, напримѣръ, эту толстуху, которая тамъ пыжется (онъ указалъ глазами на Шилохвостову), также знаю... Когда начиналась война, она вездѣ съ кружкой ко всѣмъ приставала... Разъ даже въ Лѣтнемъ саду видѣлъ ее въ раскрашенной бесѣдкѣ,—знаете, гдѣ разыгрывали томболу для какихъ-то сиротъ... Сама, знаете, вертитъ одной рукой колесомъ

возвращался не съ пустыми руками. Въ Италіи онъ познакомился съ русскимъ богачомъ и по его заказу исполнилъ ему проектъ дома; проектъ понравился, и молодому архитектору поручено было его исполненіе, какъ только онъ вернется въ Петербургъ.

Сережу также ожидала дома пріятная новость: академія купила у дѣдушки весь запасъ его рисунковъ, обязавшись ежегодно выплачивать ему извѣстную сумму.

Но радости и горе никогда по свѣту не ходятъ одиноко. Если ужъ то или другое повернулось лицомъ, такъ ужъ валитъ безо всякаго удержу.

Мѣсяцъ спустя, новая радость посѣтила домъ Алексѣя Максимыча: праздновалась свадьба давно, можно сказать, съ самаго дѣтства полюбившихъ другъ друга Маруси и Сережи. Посторонних никого почти не было, но отъ этого не было скучнѣе. Алексѣй Максимычъ такъ расходился подъ вечеръ, что не удовольствовался танцовать съ молодой, но протанцовалъ, выдѣлывая по-старинному маленькіе вычурные па и балансе, двѣ кадрили, — одну съ Катей, другую съ Соней.

Если въ теченіе этихъ послѣднихъ дней ни разу не говорилось о непріятностяхъ, испытанныхъ когда-то дѣдушкой при постройкѣ церкви *центральнаго образцоваго пріюта*, на этомъ вечерѣ подавно никто объ этомъ не вспомнилъ. Въ случаѣ, еслибъ кто нибудь и вздумалъ коснуться этого предмета, онъ встрѣтилъ бы со стороны дѣдушки полнѣйшее равнодушіе. Онъ и прежде, въ трудные дни, не помнилъ зла, — до такихъ ли чувствъ было ему теперь, когда сердце переполнялось столькими радостями?

Ему рѣдко даже приходили на умъ лица, съ которыми имѣлъ онъ дѣло при постройкѣ церкви. Ни съ кѣмъ изъ нихъ онъ никогда не встрѣчался. Живя постоянно въ семьѣ и окруженный художественными интересами, онъ, безъ всякаго сомнѣнія, совсѣмъ бы забылъ о нихъ, еслибъ, проходя однажды по Невскому проспекту мимо Милютиныхъ лавокъ, не встрѣтилъ случайно кривобокаго Бериксона.

— Помилуйте-скажите,— воскликнулъ Бериксонъ, обрадовавшись ему, какъ будто они не только вмѣстѣ дѣтей крестили, но родились отъ одной матери, — куда вы тогда пропали?

— Когда? — спросилъ удивленный Зиновьевъ.

— Да тогда, послѣ этого обѣда!—съ такой живостью подхватилъ Бериксонъ, что можно было думать, будто обѣдъ, о которомъ онъ говорилъ, происходилъ наканунѣ. — Очень радъ встрѣтиться... Сейчасъ узналъ новость... Но, можетъ быть, вы уже слышали?...

— Нѣтъ...

— Тѣмъ лучше! Вообразите: Воскресенскій получилъ новую награду! Представленъ былъ къ ней обществомъ *Распространенія нравственныхъ правилъ въ низменныхъ классахъ петербургскаго населенія и преимущественно между ломовыми извощиками*... Что вы на это скажете?

Ни мало не смущаясь тѣмъ, что собесѣдникъ ничего не возразилъ, Бериксонъ продолжалъ съ возраставшимъ воодушевленіемъ:

— А графъ-то, бѣдный графъ! Представьте: лишился сына! Въ какомъ-то ресторанѣ, въ четыре часа ночи, — хлопъ — и не стало! Памятникъ порученъ архитектору Бабкову... Разумѣется, Воскресенскій подвернулъ его графу. Онъ теперь выводитъ Бабкова; у нихъ общее дѣло: строятъ новый пріютъ для общества *Призрѣнія дѣтей штукатуровъ и кровельщиковъ, лишившихся жизни во время производства работъ*... Тутъ, понимаете, опять сюда попадетъ! (Бериксонъ выразительно щелкнулъ себя по лѣвому отвороту пальто). Ну, а съ живописцемъ, которому тогда протежировалъ, разошелся. Живописцу хотѣлось, — вынь да положь, — сдѣлаться главнымъ преподавателемъ рисованія въ *образцовомъ пріютѣ;* разумѣется, съ тѣмъ опять, чтобы что нибудь сюда зацѣпить (тутъ Бериксонъ снова пустилъ выразительный щелчокъ въ лѣвый отворотъ пальто). Воскресенскій сначала было опредѣлилъ его, но тутъ же оказалось, что живописецъ совсѣмъ рисовать не умѣетъ! Ну, ему и отказали; онъ принялъ это въ обидную для себя сторону, разсердился и теперь ищетъ другую лазейку... Съ этой толстой... какъ бишь ее?... да, Шилохвостовой... также случилась исторія; я не успѣлъ еще точно разслѣдовать, въ чемъ дѣло, въ чемъ собственно ее уличили, — знаю только, что уличили!... Но она дама юркая, вывернется! Какъ нибудь свои же выручатъ; общій интересъ, знаете! „Благотвори сколько хочешь, забирай сколько можешь, но не доводи до скандала“, — вотъ и вся задача... И они правы, м. г., правы! Примѣръ передъ вами, живой примѣръ, — заговорилъ, воодушевляясь, Бериксонъ, — не имѣвъ возможности дѣйствовать по благотворительной части, я, м. г., какъ

родился, такъ и остался; мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ, — удостойте меня взглядомъ: у меня ничего нѣтъ; даже медалишки какой-нибудь, и той не имѣю! Будь я благотворитель, не то бы было! Благотворительность, скорбь о народѣ, общественная польза, забота о ближнемъ для иныхъ, доложу вамъ, тотъ же банкъ; клади въ него все, что имѣешь,—получишь самые крупные проценты!...

— Вы, кажется, слишкомъ ужъ строги,—произнесъ Алексѣй Максимычъ, съ тѣмъ, чтобы сказать что нибудь, — не всѣ же такъ... есть исключенія; по-моему, благотворительность...

— Вы какъ ее понимаете, осмѣлюсь спросить?

— Право, не знаю, какъ объяснить вамъ... Дѣлать добро просто...

— Просто!—не далъ опять договорить Бериксонъ.—Просто! Это значитъ по христіанскому: помогай такъ, чтобы правая твоя рука не знала, что совершаетъ лѣвая! Я противъ этого ничего не имѣю; да и кто-жъ противъ этого что нибудь скажетъ? Я говорю о той благотворительности, которая мечется въ глаза и оскорбляетъ въ насъ и нравственное, и религіозное чувство! Помилуйте-скажите, какая тутъ благотворительность, когда одни *жертвуютъ* деньги съ тѣмъ, чтобы получить что нибудь, а другіе на эти деньги *благотворятъ съ тѣмъ, чтобы также получить*... но уже не что нибудь, а гораздо больше первыхъ: пролѣзть въ люди, сдѣлать себѣ карьеру, нахватать всякихъ земныхъ благъ, и все это, сударь мой, на счетъ сиротъ, вдовъ и калѣкъ всякаго рода, насчетъ того, изволите ли видѣть, что ихъ очень ужъ глубоко затрогиваетъ общественная польза и народныя скорби? Ну, что же это, помилуйте-скажите, если не фиглярство, не шарлатанство, — хуже этого: не пройдошество и не надувательство? И есть же, помилуйте-скажите, люди, которые имъ вѣрятъ! И все сходитъ имъ съ рукъ,—все рѣшительно! Въ древней Греціи, говорятъ, было такое племя: хіосцами называли; имъ по указу какихъ-то эфоровъ дозволялось пакостить всенародно, такъ же вотъ, какъ и этимъ благотворителямъ... Они пакостятъ, всѣмъ тошно, а имъ ничего, только процвѣтаютъ!...

Но на этомъ мѣстѣ пути Алексѣю Максимычу надо было поворотить влѣво къ Казанскому собору; онъ распрощался съ Бериксономъ и былъ радъ-радешенекъ, когда доплелся домой и очутился въ семьѣ своей.

# СОНЪ КАРЕЛИНА.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА «ПЕТЕРБУРГЪ ПРОШЛАГО ВРЕМЕНИ»).

---

## I.

.... Ни наканунѣ, ни даже за нѣсколько дней передъ тѣмъ, я вовсе не думалъ о Петербургѣ. Между тѣмъ, едва начинаю припоминать вчерашній сонъ, всѣ мои представленія ближайшимъ образомъ связываются съ этимъ городомъ.

Безъ всякаго предварительнаго перехода я увидѣлъ себя на Сенатской площади и первое мое впечатлѣніе соединяется съ ощущеніемъ нестерпимаго холода. Я стоялъ на самомъ углу сенатскаго зданія, подлѣ высокаго гранитнаго фундамента, который закругляется въ этомъ мѣстѣ къ Англійской набережной. Тутъ всегда бываетъ вѣтрено, даже въ тихую погоду; но теперь острый вѣтеръ, налетавшій порывами отъ Исаакія къ Невѣ, захватывалъ духъ и невольно заставлялъ ежиться. Лицо щемило отъ мороза.

Низко надвинувъ на глаза мѣховую шапку, стараясь какъ можно глубже уйти въ приподнятый воротникъ шубы, оттаявшій тамъ, гдѣ проходило дыханіе, — я смотрѣлъ на все окружающее съ любопытствомъ, къ которому неотвязчиво примѣшивалось грустное чувство.

По плитамъ тротуара перебѣгали, скользя и пересыпаясь, острыя струи сухаго снѣга; набиваясь въ углубленныя части сенатскаго зданія и закручиваясь тамъ воронкой, снѣгъ стремился

Помню, — очень хорошо помню, — мнѣ особенно стало жалко лицъ, слѣдовавшихъ за духовенствомъ: ихъ было шесть или семь; они шли одинъ за другимъ, какъ утки ходятъ на воду; хотя головы ихъ и были покрыты, но они, видимо, коченѣли отъ холода. На рукахъ каждаго красовалась подушка, туго набитая сѣномъ, обтянутая краснымъ трипомъ и обшитая позументомъ, точно жеванымъ; иней, покрывавшій подушки, обивался только посерединѣ, тамъ, гдѣ вздрагивали крестъ или медаль, приколотые булавкой. Наконецъ, показался и катафалкъ, везомый четырьмя лошадьми, покрытыми чернымъ суконнымъ чехломъ съ картонными, неровно, — очевидно, наскоро, — вырѣзанными и ярко размалеванными гербами. Лошади шли, мотая головами и пуская изъ ноздрей густыя струи пара; колеса надавливали визжавшій снѣгъ; пучки обдерганныхъ страусовыхъ перьевъ на верхнихъ углахъ катафалка судорожно вздрагивали и вздрагивалъ также гробъ на своихъ посеребренныхъ ножкахъ, также наскоро обточенныхъ и также криво стоявшихъ на платформѣ. Гробъ былъ обитъ чернымъ сукномъ съ серебрянымъ галуномъ; на крышкѣ красовалась трехугольная шляпа съ золотымъ жгутомъ и бѣлымъ плюмажемъ, казавшимся снѣжною бахромой; между крышкой и краемъ гроба выглядывала коленкоровая сплойка, вырѣзанная фестонами; вздрагивая, какъ рюшь на чепцѣ старухи, она сбрасывала иней, сыпавшійся на платформу.

Внутри гроба должно было быть теперь страшно холодно; покойникъ, провезенный отъ дома до Сенатской площади, долженъ былъ постепенно остывать и замерзать; на площади, гдѣ морозъ и вѣтеръ были еще сильнѣе, покойникъ, безъ всякаго сомнѣнія, успѣлъ уже совсѣмъ замерзнуть, такъ что въ гробу везли уже собственно мерзлаго генерала, одѣтаго въ парадный мундиръ съ лаковыми сапогами на окоченѣвшихъ ногахъ.

За гробомъ шло нѣсколько человѣкъ до такой степени уже закутанныхъ, что не было возможности разсмотрѣть ихъ лицъ; шествіе замыкалось каретами съ поднятыми до верху стеклами, разукрашенными причудливыми снѣжными узорами.

Пѣвчіе заворачивали уже за уголъ Сената, на Англійскую набережную, когда мнѣ пришло въ голову спросить имя штатскаго генерала, котораго хоронили. Оказалось, я зналъ его. Къ удивленію моему, извѣстіе о его кончинѣ не сдѣлало на меня никакого впечатлѣнія. Знакомство наше ограничивалось, впрочемъ,

поклонами и улыбками при встрѣчѣ на Невскомъ проспектѣ. Покойникъ, между тѣмъ, сколько помнится и сколько я о немъ слышалъ, былъ человѣкъ весьма любезный, съ мягкими глазами, какъ у сетера, искавшими какъ бы постоянно случая сдѣлать вамъ одолженіе. Его очень любило начальство въ силу именно этихъ мягкихъ свойствъ его природы. Онъ занималъ поочередно нѣсколько видныхъ мѣстъ самаго разнообразнаго, противуположнаго характера, и хотя шелъ тихо, безъ треску, — шелъ, какъ говорится, на замшевыхъ подошвахъ, — но подвигался вѣрною, твердою стопой къ повышеніямъ. Въ послѣднее время говорилось даже о какомъ-то новомъ назначеніи, о какой-то комиссіи, гдѣ обходительность и мягкость нрава составляли главное условіе.

„Вотъ тебѣ и комиссія! — подумалъ я невольно. И точно: еще версты полторы по морозу мимо Васильевскаго острова, а тамъ — мерзлая яма, вокругъ которой два-три могильщика топчутся теперь въ снѣгу съ заступами, бьютъ рукавицами и, вѣроятно, бранятся отъ нетерпѣнія скорѣе покончить дѣло и получить на водку.—Вотъ тебѣ и комиссія!... Но это еще что́!— продолжалъ я разсуждать самъ съ собою, — это что̀! А вотъ потомъ, когда обрядъ похоронъ совершится и всѣ разойдутся и разъѣдутся, когда быстро набѣжавшія зимнія петербургскія сумерки превратятся въ глухую ночь; когда человѣкъ этотъ, еще нѣсколько дней тому назадъ такъ мягко говорившій и такъ ласково улыбавшійся въ кругу друзей и знакомыхъ, останется вдругъ одинъ въ гробу и въ этой мерзлой могилѣ — одинъ въ углу Смоленскаго кладбища, — одинъ, далеко ото всѣхъ, среди ночной тьмы и снѣжной пустыни съ гуляющею вокругъ метелью...“

## III.

Проводивъ глазами послѣднюю карету, я машинально, безъ всякой цѣли, направился къ собору Исаакія Далматскаго, снова застроеннаго лѣсами, показывающими неусыпную заботливость и дѣятельность комиссіи публичныхъ зданій. Тутъ я замѣтилъ уже нѣкоторое оживленіе. Мимо проѣзжали извощики съ отмороженными, обвязанными лицами; торопливо проходили, скрипя по снѣгу, скорченные, укутанные люди. Громадныя колонны собора такъ настыли на своихъ бронзовыхъ постаментахъ, между

и всѣмъ умильно улыбается, а другая-то рука,—смотрю: шлепъ за спиною какую-то дѣвочку изъ самыхъ этихъ дежурныхъ сиротъ... Также, знаете, благотворительница!...

Стукъ ножами и вилками о тарелки и стаканы неожиданно прервалъ Бериксона. За однимъ изъ столовъ поднялся лысый господинъ съ распушенными рыжеватыми бакенами; давъ тишинѣ установиться, онъ обратился лицомъ къ графу и началъ говорить рѣчь.

— Все вретъ, не слушайте! — принялся снова нашептывать Бериксонъ.—Я его также хорошо знаю; сегодня говоритъ о милосердіи, вчера распространялся о пользѣ общественныхъ клозетовъ... Говоритъ обо всемъ съ одинаковымъ чувствомъ, и рѣчь всегда одна и та же: только слова переставляетъ... Также, знаете, дѣятель и благотворитель! Кого онъ облаготворилъ — неизвѣстно, но себя облаготворилъ наилучшимъ манеромъ; смотрите-ка, какъ украсился! Ну, и чинъ также... и другимъ также кое-чѣмъ округлилъ себя... Съ послѣднимъ чиномъ случилась даже исторія: получилъ онъ его за балъ.

— Какъ за балъ? — невольно вырвалось у Зиновьева.

— Да, за костюмированный балъ, который устроилъ онъ съ француженками для общества *полярной звѣзды;* говорятъ даже, одну изъ этихъ француженокъ возили почти раздѣтую въ какой-то колесницѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, изволите ли видѣть: Флору, богиню цвѣтовъ, изображала... Представленъ былъ къ слѣдующему чину; въ тотъ годъ это была уже третья награда; первую получилъ изъ тюремнаго вѣдомства, вторую за особенныя заслуги, какъ членъ совѣта попечительства о слѣпыхъ вдовахъ, третью черезъ посредство *полярной звѣзды;* многіе изъ нихъ такъ дѣлаютъ; у каждаго по нѣскольку такихъ лазеекъ: здѣсь не выгорѣло, тутъ цапнетъ! Я ихъ всѣхъ знаю, этихъ благотворителей, или, вѣрнѣе, акробатовъ благотворительности... И между ними какъ какой нибудь Чинизелли...

— Чинизелли?—спросилъ удивленный Зиновьевъ.

— А Воскресенскій-то! Развѣ онъ не директоръ благотворительнаго цирка?... А тотъ-то, смотрите, все еще не кончилъ своей рѣчи; все тянетъ свою канитель, не замѣчая, что всѣхъ уже начинаетъ тошнить отъ скуки...

Бериксонъ былъ правъ. Всюду, куда ни обращался взоръ, головы принимали наклоненное положеніе; на лицахъ, смотрѣв-

шихъ прямо, изображались тоска и унынiе; нѣкоторые изъ присутствующихъ, не церемонясь, разговаривали. Другiе начинали выказывать явные знаки нетерпѣнiя. Въ залѣ становилось нестерпимо душно: къ тому же, сумерки замѣтно надвигались. Голосъ оратора едва ужъ слышался; наконецъ, онъ замолкъ; кое-гдѣ слабо захлопали въ ладоши; но звуки эти мгновенно пропали среди внезапнаго гама голосовъ, шарканья ногъ и шума передвигаемыхъ стульевъ. Все вдругъ задвигалось и заколыхалось.

Случайно ли, или умышленно, но въ общей суетѣ Алексѣй Максимычъ потерялъ всеосвѣдущаго Вериксона. Онъ думалъ о томъ только, какъ бы скорѣе выбраться въ выходной двери, заблаговременно поспѣть въ прихожую и отыскать свое пальто. Въ прихожей такъ уже стемнѣло, что едва можно было различать лица. Зиновьевъ разсмотрѣлъ Блинова потому только, что тотъ стоялъ неподалеку отъ него и у самаго окна. Черты Блинова были, попрежнему, напряжены и выражали разстройство; надѣвая медвѣжью шубу, онъ, въ то же время, горячо о чемъ-то толковалъ двумъ господамъ, стоявшимъ передъ нимъ въ шляпахъ. Зиновьевъ, проходя мимо, разслышалъ только слѣдующiя слова:

— Надулъ, надулъ!... Я бы пальцемъ о палецъ не ударилъ, кабы зналъ прежде... Помилуйте, потерялъ здѣсь то, что могъ получить изъ другаго вѣдомства...

Зиновьевъ очень обрадовался, когда успѣлъ, наконецъ, выбраться на свѣжiй воздухъ.

Предположенiя племянника и Маруси нисколько не оправдались: дѣдушка вернулся домой дѣйствительно не совсѣмъ веселымъ, но затѣмъ не послѣдовало ничего особенно неблагопрiятнаго...

## XVI.

Два года спустя послѣ освященiя церкви и открытiя *центральнаго образцоваго пріюта*, подъ осень, въ квартирѣ Зиновьева было необыкновенно весело. Не считая, что это былъ день его рожденiя, въ этотъ день праздновалось также возвращенiе Сережи изъ Италiи, гдѣ провелъ онъ годъ послѣ полученiя въ академiи, за свою программу, первой золотой медали. Не мало прибавляло къ радости еще то обстоятельство, что Сережа

возвращался не съ пустыми руками. Въ Италіи онъ познакомился съ русскимъ богачомъ и по его заказу исполнилъ ему проектъ дома; проектъ понравился, и молодому архитектору поручено было его исполненіе, какъ только онъ вернется въ Петербургъ.

Сережу также ожидала дома пріятная новость: академія купила у дѣдушки весь запасъ его рисунковъ, обязавшись ежегодно выплачивать ему извѣстную сумму.

Но радости и горе никогда по свѣту не ходятъ одиноко. Если ужъ то или другое повернулось лицомъ, такъ ужъ валитъ безо всякаго удержу.

Мѣсяцъ спустя, новая радость посѣтила домъ Алексѣя Максимыча: праздновалась свадьба давно, можно сказать, съ самаго дѣтства полюбившихъ другъ друга Маруси и Сережи. Посторонникъ никого почти не было, но отъ этого не было скучнѣе. Алексѣй Максимычъ такъ расходился подъ вечеръ, что не удовольствовался танцовать съ молодой, но протанцовалъ, выдѣлывая по-старинному маленькіе вычурные па и балансе, двѣ кадрили, — одну съ Катей, другую съ Соней.

Если въ теченіе этихъ послѣднихъ дней ни разу не говорилось о непріятностяхъ, испытанныхъ когда-то дѣдушкой при постройкѣ церкви *центральнаго образцоваго пріюта*, на этомъ вечерѣ подавно никто объ этомъ не вспомнилъ. Въ случаѣ, еслибъ кто нибудь и вздумалъ коснуться этого предмета, онъ встрѣтилъ бы со стороны дѣдушки полнѣйшее равнодушіе. Онъ и прежде, въ трудные дни, не помнилъ зла, — до такихъ ли чувствъ было ему теперь, когда сердце переполнялось столькими радостями?

Ему рѣдко даже приходили на умъ лица, съ которыми имѣлъ онъ дѣло при постройкѣ церкви. Ни съ кѣмъ изъ нихъ онъ никогда не встрѣчался. Живя постоянно въ семьѣ и окруженный художественными интересами, онъ, безъ всякаго сомнѣнія, совсѣмъ бы забылъ о нихъ, еслибъ, проходя однажды по Невскому проспекту мимо Милютиныхъ лавокъ, не встрѣтилъ случайно кривобокаго Бериксона.

— Помилуйте-скажите,— воскликнулъ Бериксонъ, обрадовавшись ему, какъ будто они не только вмѣстѣ дѣтей крестили, но родились отъ одной матери, — куда вы тогда пропали?

— Когда? — спросилъ удивленный Зиновьевъ.

— Да тогда, послѣ этого обѣда!—съ такой живостью подхватилъ Бериксонъ, что можно было думать, будто обѣдъ, о которомъ онъ говорилъ, происходилъ наканунѣ. — Очень радъ встрѣтиться... Сейчасъ узналъ новость... Но, можетъ быть, вы уже слышали?...

— Нѣтъ...

— Тѣмъ лучше! Вообразите: Воскресенскій получилъ новую награду! Представленъ былъ къ ней обществомъ *Распространенія нравственныхъ правилъ въ низменныхъ классахъ петербургскаго населенія и преимущественно между ломовыми извозчиками*... Что вы на это скажете?

Ни мало не смущаясь тѣмъ, что собесѣдникъ ничего не возразилъ, Бериксонъ продолжалъ съ возраставшимъ воодушевленіемъ:

— А графъ-то, бѣдный графъ! Представьте: лишился сына! Въ какомъ-то ресторанѣ, въ четыре часа ночи,—хлопъ—и не стало! Памятникъ порученъ архитектору Бабкову... Разумѣется, Воскресенскій подвернулъ его графу. Онъ теперь выводитъ Бабкова; у нихъ общее дѣло: строятъ новый пріютъ для общества *Призрѣнія дѣтей штукатуровъ и кровельщиковъ, лишившихся жизни во время производства работъ*... Тутъ, понимаете, опять сюда попадетъ! (Бериксонъ выразительно щелкнулъ себя по лѣвому отвороту пальто). Ну, а съ живописцемъ, которому тогда протежировалъ, разошелся. Живописцу хотѣлось,—вынь да положь,—сдѣлаться главнымъ преподавателемъ рисованія въ *образцовомъ пріютѣ;* разумѣется, съ тѣмъ опять, чтобы что нибудь сюда зацѣпить (тутъ Бериксонъ снова пустилъ выразительный щелчокъ въ лѣвый отворотъ пальто). Воскресенскій сначала было опредѣлилъ его, но тутъ же оказалось, что живописецъ совсѣмъ рисовать не умѣетъ! Ну, ему и отказали; онъ принялъ это въ обидную для себя сторону, разсердился и теперь ищетъ другую лазейку... Съ этой толстой... какъ бишь ее?... да, Шилохвостовой... также случилась исторія; я не успѣлъ еще точно разслѣдовать, въ чемъ дѣло, въ чемъ собственно ее уличили, — знаю только, что уличили!... Но она дама юркая, вывернется! Какъ нибудь свои же выручатъ; общій интересъ, знаете! „Благотвори сколько хочешь, забирай сколько можешь, но не доводи до скандала“,—вотъ и вся задача... И они правы, м. г., правы! Примѣръ передъ вами, живой примѣръ,—заговорилъ, воодушевляясь, Бериксонъ,—не имѣвъ возможности дѣйствовать по благотворительной части, я, м. г., какъ

родился, такъ и остался; мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ, — удостойте меня взглядомъ: у меня ничего нѣтъ; даже медалишки какой-нибудь, и той не имѣю! Будь я благотворитель, не то бы было! Благотворительность, скорбь о народѣ, общественная польза, забота о ближнемъ для иныхъ, доложу вамъ, тотъ же банкъ; клади въ него все, что имѣешь,—получишь самые крупные проценты!...

— Вы, кажется, слишкомъ ужъ строги,—произнесъ Алексѣй Максимычъ, съ тѣмъ, чтобы сказать что нибудь, — не всѣ же такъ... есть исключенія; по-моему, благотворительность...

— Вы какъ ее понимаете, осмѣлюсь спросить?

— Право, не знаю, какъ объяснить вамъ... Дѣлать добро просто...

— Просто!—не далъ опять договорить Бериксонъ.—Просто! Это значитъ по христіанскому: помогай такъ, чтобы правая твоя рука не знала, что совершаетъ лѣвая! Я противъ этого ничего не имѣю; да и кто-жъ противъ этого что нибудь скажетъ? Я говорю о той благотворительности, которая мечется въ глаза и оскорбляетъ въ насъ и нравственное, и религіозное чувство! Помилуйте-скажите, какая тутъ благотворительность, когда одни *жертвуютъ* деньги съ тѣмъ, чтобы получить что нибудь, а другіе на эти деньги *благотворятъ съ тѣмъ, чтобы также получить*... но уже не что нибудь, а гораздо больше первыхъ: пролѣзть въ люди, сдѣлать себѣ карьеру, нахватать всякихъ земныхъ благъ, и все это, сударь мой, на счетъ сиротъ, вдовъ и калѣкъ всякаго рода, насчетъ того, изволите ли видѣть, что ихъ очень ужъ глубоко затрогиваетъ общественная польза и народныя скорби? Ну, что же это, помилуйте-скажите, если не фиглярство, не шарлатанство, — хуже этого: не пройдошество и не надувательство? И есть же, помилуйте-скажите, люди, которые имъ вѣрятъ! И все сходитъ имъ съ рукъ,—все рѣшительно! Въ древней Греціи, говорятъ, было такое племя: хіосцами называли; имъ по указу какихъ-то эфоровъ дозволялось пакостить всенародно, такъ же вотъ, какъ и этимъ благотворителямъ... Они пакостятъ, всѣмъ тошно, а имъ ничего, только процвѣтаютъ!...

Но на этомъ мѣстѣ пути Алексѣю Максимычу надо было поворотить влѣво къ Казанскому собору; онъ распрощался съ Бериксономъ и былъ радъ-радешенекъ, когда доплелся домой и очутился въ семьѣ своей.

# СОНЪ КАРЕЛИНА.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА «ПЕТЕРБУРГЪ ПРОШЛАГО ВРЕМЕНИ»).

---

## I.

.... Ни наканунѣ, ни даже за нѣсколько дней передъ тѣмъ, я вовсе не думалъ о Петербургѣ. Между тѣмъ, едва начинаю припоминать вчерашній сонъ, всѣ мои представленія ближайшимъ образомъ связываются съ этимъ городомъ.

Безъ всякаго предварительнаго перехода я увидѣлъ себя на Сенатской площади и первое мое впечатлѣніе соединяется съ ощущеніемъ нестерпимаго холода. Я стоялъ на самомъ углу сенатскаго зданія, подлѣ высокаго гранитнаго фундамента, который закругляется въ этомъ мѣстѣ къ Англійской набережной. Тутъ всегда бываетъ вѣтрено, даже въ тихую погоду; но теперь острый вѣтеръ, налетавшій порывами отъ Исаакія къ Невѣ, захватывалъ духъ и невольно заставлялъ ежиться. Лицо щемило отъ мороза.

Низко надвинувъ на глаза мѣховую шапку, стараясь какъ можно глубже уйти въ приподнятый воротникъ шубы, оттаявшій тамъ, гдѣ проходило дыханіе, — я смотрѣлъ на все окружающее съ любопытствомъ, къ которому неотвязчиво примѣшивалось грустное чувство.

По плитамъ тротуара перебѣгали, скользя и пересыпаясь, острыя струи сухаго снѣга; набиваясь въ углубленныя части сенатскаго зданія и закручиваясь тамъ воронкой, снѣгъ стремился

дальше по вывѣтренной мостовой съ голыми сѣрыми булыжниками, казавшимися мнѣ холоднѣе самаго мороза. Все вокругъ было тусклаго, сѣроватаго цвѣта; снѣгъ отвердѣлъ, какъ алебастръ, хрустѣлъ и визжалъ отъ прикосновенія. Никто мимо не проходилъ и не ѣхалъ. Я заключилъ, что было еще рано. Въ такіе зимніе дни никогда, впрочемъ, не свѣтаетъ раньше восьмаго часа утра.

Передо мной, въ нѣсколькихъ шагахъ, тянулась гранитная набережная; надъ ней прямо возвышался рыбный садокъ съ большими стеклянными окнами, въ которыя должно было продувать какъ сквозь рѣшето; еще дальше разстилалась снѣжная равнина Невы, освѣщенная небомъ такого же унылаго, непривѣтливаго цвѣта, какъ и все остальное. На отдаленномъ берегу едва-едва обрисовывалось блѣдно-розовымъ длиннымъ пятномъ зданіе Перваго кадетскаго корпуса. Слѣва, но гораздо уже дальше, сквозь морозную мглу, обозначались арки Николаевскаго моста. За этими арками, за этимъ мостомъ рѣшительно уже ничего не было видно.

Меня мысленно почему-то перенесло вдругъ въ ту сторону, за этотъ мостъ, за эти арки, въ пространство снѣжныхъ равнинъ, по которымъ свободно ходила теперь метель. Тамъ, вдалекѣ, мутнымъ пятномъ промелькнулъ Кронштадтъ, затертый вокругъ льдомъ и засыпанный снѣгомъ; далѣе — опять снѣгъ, опять пустыня съ вихрями и суровыми порывами вѣтра; еще дальше—тамъ, въ какой-то безконечности, далеко-далеко—сверкнуло неожиданно открытое море, съ катящимися холодными волнами. Дальше море уже не прерывалось, но оно становилось все свѣтлѣй и свѣтлѣй; надъ моремъ въ небѣ мѣстами открывались голубые просвѣты. Еще дальше—солнечный лучъ скользилъ уже по волнамъ и все тамъ — и небо, и воды, и дальніе берега — дышало тепломъ и свѣтомъ.

Помню, радостное,—до слезъ радостное,—чувство овладѣло вдругъ мною; какъ птица, хотѣлъ я взмахнуть крыльями и съ крикомъ броситься впередъ. Но солнечная, улыбающаяся даль мгновенно исчезла, и снова очутился я на Сенатской площади, снова съ болѣзненнымъ замираніемъ сердца увидѣлъ передъ собою сѣрый, вывѣтренный булыжникъ мостовой и тусклую, промерзлую набережную Невы, съ садкомъ надъ нею.

Вѣтеръ усиливался и нестерпимо начиналъ рѣзать лицо. Было такъ холодно, такъ нестерпимо было холодно, что, казалось, весь

Ледовитый океанъ тронулся съ мѣста, надвинулся и остановился тамъ, гдѣ-то за Васильевскимъ островомъ. Я окончательно ушелъ въ воротникъ шубы. Минуту спустя, приподнявъ рѣсницы, увидѣлъ я справа памятникъ Петра. Всадникъ и подъ нимъ конь, такъ быстро взбѣжавшій на скалу, казалось, примерзли къ граниту; самая скала показалась мнѣ промерзшею насквозь до глубины своей сердцевины. Внутри памятника, въ пустомъ пространствѣ, прикрытомъ бронзовою оболочкой коня и всадника, долженъ былъ нарости густой слой игловатаго инея; снаружи, на выступающихъ частяхъ памятника, бронза отливала холоднымъ глянцемъ, отъ котораго озноб проходилъ по членамъ, и только на простертой рукѣ Петра, да еще на лаврахъ, покрывающихъ его голову, бѣлѣлъ снѣгъ, обозначавшійся бѣловатыми пятнами въ сѣромъ, обледенѣломъ воздухѣ.

## II.

Не помню, сколько времени простоялъ я на одномъ мѣстѣ (быть можетъ, всѣ эти впечатлѣнія потребовали только одной секунды), когда вниманіе мое неожиданно было обращено къ Исаакіевской площади. Тамъ что-то двигалось. Въ первую минуту я ничего не могъ различить изъ-за морозной мглы, въ которой тушевались и тонули всѣ предметы; спустя нѣсколько времени, увидѣлъ я толпу, медленно приближавшуюся въ мою сторону.

Сначала все шли мальчики, разставленные попарно, такимъ образомъ, что задняя пара постепенно была выше передней; головы ихъ, безъ шапокъ, туго были перевязаны платками; они, повидимому, ежились въ плохихъ шубенкахъ и неровно передвигали ногами, стараясь при каждомъ шагѣ шевелить пальцами ногъ въ глубинѣ неуклюжихъ сапоговъ. Далѣе, также попарно и также съ перевязанными головами, шли совершенно уже зрѣлые люди, иные — съ рѣзкими, угловатыми чертами, другіе — съ опухшими, багровыми и крайне нахмуренными лицами. За ними выступала группа священниковъ и дьяконовъ, бо́льшею частью плотныхъ, хорошо выкормленныхъ, закутанныхъ въ лисьи шубы съ приподнятыми воротниками; двое были въ камилавкахъ и одинъ изъ нихъ, согбенный старичокъ, шелъ дробнымъ шажкомъ, скрестивъ руки, глубоко запрятанныя въ лиловую муфту.

Помню, — очень хорошо помню, — мнѣ особенно стало жалко лицъ, слѣдовавшихъ за духовенствомъ: ихъ было шесть или семь; они шли одинъ за другимъ, какъ утки ходятъ на воду; хотя головы ихъ и были покрыты, но они, видимо, коченѣли отъ холода. На рукахъ каждаго красовалась подушка, туго набитая сѣномъ, обтянутая краснымъ трипомъ и обшитая позументомъ, точно жеванымъ; иней, покрывавшій подушки, обивался только посерединѣ, тамъ, гдѣ вздрагивали крестъ или медаль, приши-ленные булавкой. Наконецъ, показался и катафалкъ, везомый четырьмя лошадьми, покрытыми чернымъ суконнымъ чехломъ съ картонными, неровно, — очевидно, наскоро, — вырѣзанными и ярко размалеванными гербами. Лошади шли, мотая головами и пуская изъ ноздрей густыя струи пара; колеса надавливали визжавшій снѣгъ; пучки обдерганныхъ страусовыхъ перьевъ на верхнихъ углахъ катафалка судорожно вздрагивали и вздрагивалъ также гробъ на своихъ посеребренныхъ ножкахъ, также наскоро обточенныхъ и также криво стоявшихъ на платформѣ. Гробъ былъ обитъ чернымъ сукномъ съ серебрянымъ галуномъ; на крышкѣ красовалась трехугольная шляпа съ золотымъ жгутомъ и бѣлымъ плюмажемъ, казавшимся снѣжною бахромой; между крышкой и краемъ гроба выглядывала коленкоровая сплойка, вырѣзанная фестонами; вздрагивая, какъ рюшь на чепцѣ старухи, она сбрасывала иней, сыпавшійся на платформу.

Внутри гроба должно было быть теперь страшно холодно; покойникъ, провезенный отъ дома до Сенатской площади, долженъ былъ постепенно остывать и замерзать; на площади, гдѣ морозъ и вѣтеръ были еще сильнѣе, покойникъ, безъ всякаго сомнѣнія, успѣлъ уже совсѣмъ замерзнуть, такъ что въ гробу везли уже собственно мералаго генерала, одѣтаго въ парадный мундиръ съ лаковыми сапогами на окоченѣвшихъ ногахъ.

За гробомъ шло нѣсколько человѣкъ до такой степени уже закутанныхъ, что не было возможности разсмотрѣть ихъ лицъ; шествіе замыкалось каретами съ поднятыми до верху стеклами, разукрашенными причудливыми снѣжными узорами.

Пѣвчіе заворачивали уже за уголъ Сената, на Англійскую набережную, когда мнѣ пришло въ голову спросить имя штатскаго генерала, котораго хоронили. Оказалось, я зналъ его. Къ удивленію моему, извѣстіе о его кончинѣ не сдѣлало на меня никакого впечатлѣнія. Знакомство наше ограничивалось, впрочемъ,

поклонами и улыбками при встрѣчѣ на Невскомъ проспектѣ. Покойникъ, между тѣмъ, сколько помнится и сколько я о немъ слышалъ, былъ человѣкъ весьма любезный, съ мягкими глазами, какъ у сетера, искавшими какъ бы постоянно случая сдѣлать вамъ одолженіе. Его очень любило начальство въ силу именно этихъ мягкихъ свойствъ его природы. Онъ занималъ поочередно нѣсколько видныхъ мѣстъ самаго разнообразнаго, противуположнаго характера, и хотя шелъ тихо, безъ треску, — шелъ, какъ говорится, на замшевыхъ подошвахъ, — но подвигался вѣрною, твердою стопой къ повышеніямъ. Въ послѣднее время говорилось даже о какомъ-то новомъ назначеніи, о какой-то комиссіи, гдѣ обходительность и мягкость нрава составляли главное условіе.

„Вотъ тебѣ и комиссія! — подумалъ я невольно. И точно: еще версты полторы по морозу мимо Васильевскаго острова, а тамъ — мерзлая яма, вокругъ которой два-три могильщика топчутся теперь въ снѣгу съ заступами, бьютъ рукавицами и, вѣроятно, бранятся отъ нетерпѣнія скорѣе покончить дѣло и получить на водку.—Вотъ тебѣ и комиссія!... Но это еще что́!— продолжалъ я разсуждать самъ съ собою, — это что́! А вотъ потомъ, когда обрядъ похоронъ совершится и всѣ разойдутся и разъѣдутся, когда быстро набѣжавшія зимнія петербургскія сумерки превратятся въ глухую ночь; когда человѣкъ этотъ, еще нѣсколько дней тому назадъ такъ мягко говорившій и такъ ласково улыбавшійся въ кругу друзей и знакомыхъ, останется вдругъ одинъ въ гробу и въ этой мерзлой могилѣ — одинъ въ углу Смоленскаго кладбища, — одинъ, далеко ото всѣхъ, среди ночной тьмы и снѣжной пустыни съ гуляющею вокругъ метелью...“

## III.

Проводивъ глазами послѣднюю карету, я машинально, безъ всякой цѣли, направился къ собору Исаакія Далматскаго, снова застроеннаго лѣсами, показывающими неусыпную заботливость и дѣятельность комиссіи публичныхъ зданій. Тутъ я замѣтилъ уже нѣкоторое оживленіе. Мимо проѣзжали извощики съ отмороженными, обвязанными лицами; торопливо проходили, скрипя по снѣгу, скорченные, укутанные люди. Громадныя колонны собора такъ настыли на своихъ бронзовыхъ постаментахъ, между

ними ходилъ и гудѣлъ такой нестерпимый вѣтеръ, что, помнится, мною руководила одна только мысль: пройти, пройти мимо, какъ можно скорѣе.

Приближаясь къ Малой Морской, при самомъ входѣ въ нее, я увидѣлъ нѣсколькихъ человѣкъ, стоявшихъ почти посереднѣ улицы. На этомъ мѣстѣ въ мостовой только-что образовался провалъ; это обстоятельство приводило въ суету двухъ городовыхъ, изъ которыхъ одинъ, отличавшійся особенною расторопностью, принадлежалъ, очевидно, къ еврейскому племени. „Господа, господа! Начальство приказываетъ, начальство!“ — повторялъ онъ, дѣлая усилія, чтобъ умягчить свой голосъ, между тѣмъ какъ кулаки его сжимались и глаза пожирали двухъ дворниковъ, флегматически стоявшихъ въ овчинныхъ тулупахъ. Дѣло, изволите видѣть, состояло въ томъ, что блюстители общественнаго порядка, опасаясь появленія начальства, должны были какъ можно скорѣе поставить надъ проваломъ какой-нибудь предостерегательный значокъ; съ этою цѣлью каждый изъ нихъ по очереди успѣлъ уже обѣгать сосѣдніе дома, выпрашивая у дворниковъ негодную кадку, обломокъ доски, метлу, ящикъ и т. д. Встрѣчая повсюду неудачу, городовые приходили уже въ совершенное недоумѣніе, когда неожиданно изъ ближайшаго дома показался дворникъ, неохотно тащившій сколоченный кое-какъ изъ досокъ ящикъ; на крышкѣ написано было: *Шитъ*, сбоку красовались буквы: „К“ и „Ф“, окруженныя лавровымъ вѣнкомъ, криво и косо выведеннымъ сажей по трафарету. Провалъ мостовой былъ, такимъ образомъ, немедленно покрытъ, и тогда начались споры о фонарѣ, долженствовавшемъ украсить ящикъ, для охраны жителей въ ночное время. „Какъ! даже здѣсь щепочки, мочала и лукошки! — подумалъ я, уходя съ головой въ шубу и мысленно уходя въ самого себя, — здѣсь, чуть ли не на самомъ видномъ мѣстѣ столицы, гдѣ ежедневно собирается столько комитетовъ...“ При этомъ я невольно оглянулся, но подлѣ меня никого не было; испугавшись, тѣмъ не менѣе, направленія моихъ мыслей, я поспѣшилъ повернуть въ Большую Морскую.

Надо думать, былъ большой праздникъ: всѣ дома Большой Морской украшались шестами съ висѣвшими цвѣтными флагами; самыми яркими и большими показались мнѣ флаги надъ домомъ ламповаго магазина Штанге и передъ фасадомъ другаго ламповаго магазина — Кумберга. Съ перваго взгляда могло казаться,

что гг. Штанге и Кумбергъ праздновали день своей серебряной свадьбы и Морская сочувственно отзывалась ихъ семейной радости. Одумавшись, я вспомнилъ, однакожъ, что флаги гг. Штанге и Кумберга всегда спѣшили выставляться съ тѣмъ же великолѣпіемъ при первомъ намекѣ полиціи объ усердіи обывателей въ дѣлѣ украшенія торжественныхъ дней „Сѣверной Пальмиры“, какъ говорилъ когда-то столь преждевременно скончавшійся Булгаринъ.

Но потому ли, что бо́льшая часть этихъ флаговъ успѣла уже полинять отъ частаго употребленія, потому ли, что дома Морской заслоняли вѣтеръ и флаги, вынесенные нѣсколько сырыми, успѣли застыть на морозѣ и висѣли недвижно, потому ли, наконецъ, что пестрота и краски, хотя и полиявшія, рѣзко нарушали гармонію тускло-бѣлесоватаго морознаго утра, — во всей этой торжественности, при двадцатиградусномъ морозѣ, чувствовалась какая-то натяжка, что-то заказное, неестественное, насильственное, напоминавшее улыбку человѣка, которому на самомъ дѣлѣ хочется заплакать.

Искуственно-праздничный видъ домовъ, стѣнныя архитектурныя украшенія, осыпающіяся ежегодно, ежегодно подновляемыя и теперь забитыя снѣгомъ, обмерзлые водосточные желоба, пѣшеходы, кутавшіеся съ усиліемъ въ шубы съ поднятымъ воротникомъ, окруженнымъ инеемъ подлѣ рта, шершавыя клячи, пускавшія паръ изъ ноздрей, сухой снѣгъ и метель, сурово проносившаяся поперегъ Морской изъ Гороховой улицы, — все это невольно переносило мысль къ той части Невы, гдѣ, къ этому времени, пріѣзжіе мезенскіе рыбаки ставятъ обыкновенно свою юрту и гдѣ подлѣ нея можно тогда видѣть нѣсколько тощихъ оленей, такихъ же почти бѣлыхъ, какъ снѣгъ, на которомъ они стоятъ съ понурыми головами.

Вотъ тамъ, въ этой части города, все какъ будто на своемъ мѣстѣ, на своей почвѣ, ничто не нарушаетъ гармоніи и все кажется совершенно естественнымъ и нормальнымъ.

## IV.

Старанія придать торжественный видъ Невскому проспекту были еще менѣе удачны. Ширина улицы и вышина домовъ скрадывали размѣры флаговъ; послѣдніе, кромѣ того, поминутно

обвертывались вокругъ шестовъ, повинуясь вѣтру, который, налетая прямо отъ московскаго вокзала, гналъ передъ собою тучи снѣгу и наполнялъ воздухъ снѣжною пылью, засыпавшею глаза.

У Полицейскаго моста я долженъ былъ остановиться. Мнѣ пересѣкъ дорогу туго-набитый общественный экипажъ, состоявшій изъ просторныхъ открытыхъ саней, сколоченныхъ безъ затѣй, сколоченныхъ топоромъ, выкрашенныхъ помеломъ и запряженныхъ тремя клячами разной масти и различнаго возраста, съ торчавшею шерстью, какъ будто ее сначала намочили, потомъ взбудоражили и, наконецъ, заморозили; сбруя и постромки были также сборныя, случайныя; случайными были также шубенка и шляпа кучера: первая, очевидно, сшитая не по росту, не сходилась на груди и лопнула на плечѣ, выказывая пеструю ситцевую рубашку; вторая, украшенная кончикомъ общипаннаго павлиньяго пера, падала на глаза. Вѣроятно, она была куплена содержателемъ общественнаго экипажа сначала для кучера съ небольшою головой, но такъ какъ онъ тутъ же запилъ и затѣмъ такою же слабостью поперемѣнно одержимы были и другіе кучера, то шляпа стала безразлично переходить къ тому, кто нанимался наканунѣ.

Лицо кучера, сидѣвшаго самымъ невозможнымъ образомъ на провалившихся козлахъ, было, тѣмъ не менѣе, первое веселое лицо, которое встрѣтилось мнѣ въ это утро; выглядывая изъ-подъ неуклюжей шапки, оно ухмылялось навстрѣчу морозу и метели. Подергивая возжами, но думая, очевидно, о чемъ-то другомъ, кучеръ, казалось, былъ нечувствителенъ къ прорѣхѣ, которая пропекала ему плечо, и не тревожился снѣгомъ, сыпавшимся ему за шею, похожую на древесную кору. Равнодушіе его къ случайностямъ дороги и настоящему предмету его занятій простиралось еще больше къ публикѣ, сидѣвшей за его спиною.

Публика была, однакожъ, многочисленна и заслуживала вниманія. Прежде всего бросался въ глаза положительно замерзшій, сѣдой штурманскій офицеръ; подлѣ въ теплой фуражкѣ съ наушниками и кокардой ежился плохо выкормленный чиновникъ золотушнаго вида, съ лицомъ, туго перевязаннымъ косынкой по случаю флюса, и державшій на рукахъ мальчика съ конфедераткой на головѣ. Рядомъ, въ рыжеватомъ напомаженномъ шиньонѣ, засыпанномъ снѣжною пылью, сидѣла, вѣроятно, его жена, потому что она поминутно и съ самымъ нетерпѣливымъ видомъ обдергивала наушники на конфедераткѣ ребенка. Телеграфистъ, двѣ

закутанныя съ головою старушки, господинъ въ енотовой шубѣ, на половину съѣденной молью, и багровый лабазникъ, подъ сидѣньемъ котораго общественныя сани скрипѣли болѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ, — довершали сѣдоковъ.

На подножкѣ задней части экипажа топалъ ногами обутый въ валенки кондукторъ, человѣкъ съ опухлымъ синеватымъ лицомъ, отъ головы до ногъ совершенно оборванный. Кожаная перевязь его сумки, съ настывшими въ ея глубинѣ пятаками, давно лопнула и замѣнена веревочкою, перевязанною узлами. Махая по воздуху рукавицей съ высунутымъ большимъ пальцемъ, онъ охрипшимъ голосомъ обращался къ проходящимъ, приглашая ихъ садиться въ сани.

Слѣдя за ними глазами, я вспомнилъ замѣчаніе одного иностранца, удивлявшагося у насъ въ Россіи смѣси какой-то естественной, но простодушной нищеты и рядомъ съ нею — искусственной, но холодной, какъ бы натянутой роскоши. И дѣйствительно, посмотрѣть въ одну сторону: перспектива великолѣпныхъ домовъ, блестящіе экипажи, уносимые стремглавъ дорогими рысаками, зеркальныя окна магазиновъ, ряды газовыхъ фонарей; посмотрѣть въ другую: въ непроглядную глубокую даль разсыпаны повсюду косыя бревенчатыя избы, бросаются въ глаза тощіе, кривые столбики, обдерганныя рогожи, веревочки, перевязанныя узлами, щепочки, мочалки, линялый ситецъ, общипанная овчина и проткнутыя лукошки...

— Здравствуйте! — неожиданно произнесъ въ эту минуту подъ самымъ моимъ ухомъ звонкій, металлическій голосъ.

Обернувшись, я увидалъ сначала поднятый бобровый воротникъ; секунду спустя, показался маленькій, какъ пуговица, раскраснѣвшійся и вздернутый носъ и забѣгали быстрые глазки. Это былъ давнишній мой знакомый, нѣкто Иванъ Ивановичъ Пузыревъ.

— Каковъ холодокъ для праздника! Брррр!... — сказалъ онъ, отрѣзывая, по обыкновенію, каждое слово съ непостижимою отчетливостью, — но это, надѣюсь, не помѣшаетъ намъ быть сегодня у княгини Астраханской?

— А что такое?

— Развѣ васъ не звали? Быть не можетъ! Я знаю, что звали. Сегодня у нея собирается весь обычный кругъ интересныхъ лю-

дей; самъ видѣлъ, какъ вамъ писали приглашеніе! Прощайте, однакожъ... Этакъ и носъ отморозишь. Мнѣ надо сюда...

И Пузыревъ быстро юркнулъ налѣво и такъ же быстро зашагалъ по набережной Мойки.

## V.

Иванъ Ивановичъ Пузыревъ не ошибся, причисляя себя къ интереснымъ лицамъ Петербурга. Начавъ служебную карьеру безъ связей, безъ средствъ, не отличаясь при этомъ особенными талантами и даже трудолюбіемъ, онъ къ зрѣлому возрасту успѣлъ, какъ говорится, сдѣлать себѣ положеніе, т.-е. заручился крупнымъ чиномъ, виднымъ мѣстомъ и проскочилъ въ такъ называемое „общество“. Тутъ нѣтъ еще ничего особеннаго. Мы переживаемъ время, когда достаточно быть хитренькимъ чиновникомъ или лукавымъ офицеромъ, чтобы неожиданно сдѣлаться великимъ человѣкомъ. Путеводною нитью Пузырева служили другія, также дѣйствительныя, но болѣе рѣдкія свойства. Обиженный со стороны талантовъ, онъ съ избыткомъ былъ надѣленъ дерзостью и нахальствомъ, которыми, какъ ловкій человѣкъ, пользовался искусно, разсчитывая свои ходы. Всѣмъ очень хорошо извѣстно, что за дерзость всего рѣже достается по носу въ русскомъ обществѣ, унаслѣдовавшемъ робость отъ исторіи и не получившемъ находчивости отъ природы. Нѣсколько часовъ спустя, особенно на другой день, вставши утромъ и накушавшись чаю, русскій человѣкъ всегда найдется, какъ отвѣтить на дерзость; придумаетъ, пожалуй, такую штуку, отъ которой у слона подкосятся заднія ноги; но въ первую минуту, въ критическій моментъ, русскій человѣкъ всегда почти опѣшиваетъ. Дѣло, между тѣмъ, сдѣлано: нахалъ вышелъ побѣдителемъ и беззаботно прогуливается по Невскому, засунувъ руки въ карманы и самодовольно поднявъ голову. Такъ какъ никто даже передъ самимъ собою не согласенъ быть жертвой дурака, дерзость незамѣтно устанавливаетъ за человѣкомъ репутацію умника. Такъ было и съ Пузыревымъ.

Въ его умѣ не было ничего педантическаго; онъ не стѣснялъ, а, напротивъ, какъ бы старался всегда облегчать тѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался. На лицѣ его постоянно играла улыбка; въ

сѣрыхъ, смѣло устремленныхъ глазахъ всегда свѣтилась готовность раздѣлить забаву богатой молодежи и сочувственно отнестись къ любовнымъ похожденіямъ именитыхъ стариковъ, важныхъ и недоступныхъ на видъ, но втайнѣ питающихъ нѣжность къ французской кокоткѣ. Разъ даже, когда одинъ изъ такихъ старичковъ былъ временно очень нуженъ Пузыреву, онъ, чтобъ окончательно внушить ему довѣріе, самъ содержалъ француженку въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. „Помилуйте, зачѣмъ стѣсняться? — говорили, казалось, сѣрые глаза Пузырева, увѣренно посматривая на старичка, — зачѣмъ? Всѣ въ томъ же положеніи, — всѣ, рѣшительно всѣ!... Видите, и я также... безъ этого даже невозможно!...“ Онъ, какъ видите, былъ на всѣ руки: гдѣ прыжкомъ, гдѣ бокомъ, а гдѣ и на карачкахъ.

Такимъ зналъ я всегда Ивана Ивановича до той самой минуты, когда встрѣтилъ его у Полицейскаго моста.

Но здѣсь память измѣняетъ мнѣ: что дальше грезилось мнѣ на Невскомъ проспектѣ, рѣшительно ничего не помню...

## VI.

По мѣрѣ того, какъ память начинаетъ снова овладѣвать впечатлѣніями вчерашняго сна, я вижу себя на освѣщенной парадной лѣстницѣ въ домѣ Астраханскихъ. Сладостное ощущеніе тепла охватываетъ меня всего; я погружаюсь въ него, какъ въ пуховую перину, и слегка вздрагиваю, пока тепло не успѣло еще перейти въ кости.

Помню очень хорошо, въ первую минуту я чувствовалъ себя въ томъ неясномъ, безотчетномъ состояніи, которое предшествуетъ полному пробужденію; помню передъ собою ступени, устланныя доверху мягкимъ краснымъ ковромъ; помню, какъ пріятно было ставить на него ногу, не производя никакого шуму. На поворотахъ лѣстницы стѣны были установлены растеніями и цвѣтами; ихъ запахъ чувствительно распускался въ нагрѣтомъ воздухѣ. Наверху, изъ растворенныхъ дверей, свѣтъ ослѣплялъ глаза; издали слышался говоръ, проходило какъ будто трепетное шуршанье женскихъ платьевъ. Съ каждою ступенькой выше я болѣе и болѣе возвращался къ сознанію, и представленія дѣйствительности дѣлались яснѣе. Я точно до-сихъ-поръ сидѣлъ съ

зажмуренными глазами въ темной холодной глубинѣ и тихо выплывалъ кверху, постепенно обогрѣваемый и ослѣпляемый свѣтомъ.

Въ бѣлой прихожей стояла группа лакеевъ съ завитыми головами, въ туго накрахмаленныхъ галстухахъ; одинъ изъ нихъ, быстро двигая длинными ногами, но съ важностью на лицѣ, прошелъ мимо, придерживая руками шипѣвшую курительницу. Тутъ же, вдоль стѣнъ, выставлялся рядъ рѣзныхъ стульевъ со сложенными дамскими бурнусами, пуховыми капорами и мантильями, отъ которыхъ даже издали хорошо пахло.

Дверь вела въ комнату малиноваго цвѣта, увѣшанную картинами въ золотыхъ рамахъ и освѣщенную рефракторами; въ мягкомъ полусвѣтѣ выдѣлялась на свѣтломъ коврѣ мебель, разставленная живописными группами.

— Всѣ въ голубой гостиной,— мягко произнесъ лакей, котораго можно было бы принять за члена англійскаго парламента, если бы не выдавали его подносъ въ рукахъ и толстыя, круглыя икры, обтянутыя черными чулками.

Прежде чѣмъ войти въ голубую гостиную, шумѣвшую, какъ растревоженный пчелиный улей, я остановился въ дверяхъ. Блескъ снова ослѣпилъ меня. Зажженная бронзовая люстра, съ фестонами и подвѣсками изъ граненыхъ стеколъ, цѣликомъ повторялась въ зеркалѣ надъ каминомъ; свѣтъ изъ карселей, прикрытыхъ цвѣтными абажурами, разставленныхъ на высокихъ золоченыхъ подставкахъ по угламъ, на столахъ и въ зелени, скользилъ радужными оттѣнками по голубымъ штофнымъ обоямъ и лучами разбѣгался по позолотѣ на стѣнахъ и на мебели.

Хотя вечеръ былъ только для избранныхъ, какъ обѣщали, гостиная была почти полна. Черные фраки со звѣздами, обнаженныя женскія плечи, лоснящіяся, какъ атласъ, бѣлые галстухи, цвѣты въ прическахъ, серьги и брошки, шелковые разноцвѣтные шлейфы, черезъ которые отчаянно шагали или въ которыхъ путались ноги мужчинъ, — все это, показываясь бокомъ или фасомъ, рисовалось на диванахъ и въ креслахъ или передвигалось въ разныя стороны.

Помню, на меня особенно пріятно подѣйствовало то обстоятельство, что въ первую минуту никто не замѣтилъ моего прихода.

Я началъ присматриваться и прислушиваться.

Прежде всего мнѣ бросился въ глаза Иванъ Ивановичъ Пузыревъ, сидѣвшій хотя и далеко, но прямо противъ двери, такъ

что входившій не могъ его не увидѣть. Расположившись на диванѣ, онъ почтительно что-то сообщалъ двумъ старушкамъ, изъ которыхъ одна, — княгиня Зюзина, — совсѣмъ уже почти умерла; обѣ ноги ея давно уже свѣсились въ могилу и только кончикомъ мизинца цѣплялась она еще за жизнь, чтобы хоть нѣсколько лишнихъ минутъ поболтаться въ придворномъ воздухѣ. Другую старушку видѣлъ я въ прошломъ году слушавшею, какъ и теперь, съ видомъ напряженнаго тупоумія, иностраннаго проповѣдника, пріѣзжавшаго въ Петербургъ съ похвальною цѣлью объяснить русскимъ дамамъ значеніе Христа и поразившаго меня особенно тѣмъ, что во время проповѣди онъ постоянно держалъ въ рукахъ то сапогъ лѣвой своей ноги, то сапогъ правой.

Замѣчательно, хотя и не ново было для меня еще то обстоятельство, что Пузыревъ, такъ почтительно бесѣдуя со старушками, смотрѣлъ, въ то же время, совершенно въ другую сторону. Слѣдя за его взглядомъ, я остановился на величественной наружности государственнаго мужа высшей пробы. Онъ возсѣдалъ въ креслахъ подлѣ стола съ серебрянымъ самоваромъ въ русскомъ, — не то дачномъ, не то банномъ стилѣ, нѣчто среднее между вкусомъ казанскаго интерлакена, — и, красиво выгибая локоть, держалъ въ рукѣ чашку; его окружала, сидя и стоя, толпа мужчинъ и женщинъ; тутъ же находилась и хозяйка дома.

Самого князя Астраханскаго увидѣлъ я на другомъ концѣ гостиной.

Никогда я не встрѣчалъ его безъ того, чтобы не полюбоваться его осанкой, его прекраснымъ лицомъ, сохранившимся во всей свѣжести, несмотря на просѣдь волосъ и совершенно бѣлыя бакенбарды, спускавшіяся *à l'anglaise* вдоль его блѣдныхъ, хотя и полныхъ щекъ. Молоденькія дѣвушки охотно влюбляются въ такихъ сѣдовласыхъ красавцевъ; они дѣйствительно какъ бы созданы для лобызанія въ ихъ свѣжія щеки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для представительной роли посланниковъ или министровъ.

Князь Астраханскій не былъ, однакожъ, ни тѣмъ, ни другимъ. Въ Петербургѣ, — и замѣтьте, только въ немъ одномъ, — существуетъ особый родъ высокаго и страннаго служебнаго положенія. Оно замыкается какимъ-то магическимъ кругомъ; достигнувъ такого положенія, нельзя изъ него выйти, какъ изъ дантовскаго ада; его можно бы назвать: *отложи всякое попеченіе*, если бы не было другаго названія, болѣе опредѣлительнаго: *почти министръ*.

Министръ и „почти министръ“ стоятъ, повидимому, рядомъ, локоть къ локтю; посмотрѣть: два сросшіеся близнеца. А на самомъ дѣлѣ ихъ раздѣляетъ цѣлый Атлантическій океанъ. Съ одной стороны, рисуется во всей величавой красѣ (иногда вовсе безъ красы) высокая чиновная особа, уполномоченная самостоятельною властью; съ другой—также высокая чиновная особа, но только... только, — какъ бы деликатнѣе выразиться? — лицо безъ всякой власти. То же самое случается съ нулемъ: поставленный налѣво, онъ—ничто; передвинутый направо, за цифру, онъ вдругъ пріобрѣтаетъ значеніе и иногда дѣлается милліономъ.

Личности этого рода съ юныхъ лѣтъ подаютъ обыкновенно самыя блестящія надежды; онѣ возносятся, летятъ, стремятся кверху съ одуряющею быстротой, но вдругъ, вдругъ неожиданно останавливаются, точно надъ головой встрѣтился плотный каменный сводъ, точно вдругъ лопнула толкавшая снизу пружина. И уже съ этой минуты никакая подмазка, никакое подвинчиванье пружины не въ силахъ возстановить прежняго дѣйствія.

Каждый разъ къ Святой и къ Новому году родственники „почти министра“ впадаютъ въ томительное, тоскливое ожиданіе, всѣ ждутъ: „вотъ-вотъ... сейчасъ, сію минуту...“ Ничуть не бывало! Черта заколдованнаго круга не подается, таинственная сила, задержавшая стремительный полетъ, продолжаетъ быть немолимой. „Почти министру“ остается одно утѣшеніе: въ близкомъ кружкѣ шопотомъ, на ухо называютъ его „правою рукой“...

„Почти министръ“ отличается всегда, подобно князю Астраханскому, представительною наружностью, съ присовокупленіемъ очаровательной любезности и чрезмѣрной кротости нрава. Въ его чертахъ наблюдатель всегда, однакожъ, усмотритъ оттѣнокъ легкой меланхоліи, тихой, задумчивой грусти,—ясно: его не поняли или не хотятъ понять. Послѣднее происходило у князя Астраханскаго не столько, впрочемъ, отъ неудовлетворенности собственнаго тщеславнаго чувства, сколько отъ неудовлетворенныхъ чувствъ его жены и тещи, которыя не переставали раздражаться.

Служебныя обязательства Астраханскаго были, тѣмъ не менѣе, весьма обременительны; ихъ можно было даже раздѣлить на два сезона: лѣтній и зимній. Зимою онъ посѣщалъ, вмѣсто министра, всевозможные комитеты, засѣданія, совѣщанія и т. д.; когда не было важнаго дѣла, собирались собственно больше для виду, но для виду требовался представитель министра. Министръ часто

отсутствовалъ, и бѣдный Астраханскій не имѣлъ почти дня свободнаго. Лѣтомъ онъ совсѣмъ уже заступалъ министра.

Какъ только наступалъ май, — этотъ милый май, такъ нетерпѣливо ожидаемый всѣми начальниками, успѣвшими, очень понятно, соскучиться зимою въ своихъ казенныхъ квартирахъ и жаждущихъ обновить свои силы на водахъ, — весь городъ узнавалъ изъ газетъ, что князь Астраханскій вступаетъ временно въ должность министра. Должностью та заключалась преимущественно въ пребываніи на казенной дачѣ; другаго дѣла и быть, впрочемъ, не могло. Въ то время, какъ извѣстно, Россія, изъ любви къ начальству и по человѣколюбивому желанію продлить его отпускъ, прячетъ свои работы въ карманъ и откладываетъ вдругъ всѣ свои дѣла на цѣлые пять мѣсяцевъ.

Лѣтній этотъ сезонъ особенно всегда нравился княгинѣ Астраханской и ея матушкѣ; онъ нѣкоторымъ образомъ вознаграждалъ ихъ за неудовлетворенность чувствъ въ остальные мѣсяцы года.

Княгиня вполнѣ, впрочемъ, заслуживала вознагражденія, такъ какъ она собственно была главнымъ двигателемъ въ карьерѣ мужа; съ энергіею, достойною лучшей участи, лучшихъ результатовъ, она болѣе двадцати лѣтъ тащила его на буксирѣ и притащила къ настоящему мѣсту. Далѣе, несмотря на всѣ старанія, она ничего уже не могла сдѣлать. Старанія эти, разсказывали, вели къ тому, что когда княгиня приступала къ мужу съ одной стороны, а ея маменька приступала съ другой, отъ „почти министра“ только пухъ летѣлъ во всѣ стороны и ничего больше.

Но я коснулся здѣсь впечатлѣній дѣйствительности; возвращаюсь къ впечатлѣніямъ вчерашняго сна.

Въ той части гостиной, гдѣ сидѣлъ хозяинъ дома, гости были также многочисленны; они состояли преимущественно изъ мужчинъ, и здѣсь точно также всѣ обступали мужа высокой пробы, но только маленькаго роста, желчнаго, съеженнаго вида и какъ бы одержимаго собачьей старостью.

Въ гостиной была еще третья группа; она занимала дальній уголъ, отдѣлившійся роялемъ, поставленнымъ наискось, и большою рѣзною жардиньеркой, наполненной цвѣтами и зеленью.

Тамъ, въ яркомъ свѣтѣ, на голубомъ шелковомъ фонѣ стѣнъ, красовались больше молодые люди и барышни. У Астраханскихъ были взрослыя дочери и потому на вечера приглашалась всегда молодежь. На первомъ планѣ рисовался бѣлокурый юноша съ про-

боромъ по серединѣ головы и мелкими облачками изъ волосъ на сдавленномъ лбу; онъ разсказывалъ что-то группѣ барышень, между тѣмъ какъ сосѣдъ его, офицеръ, откормленный точно къ Рождеству, таращилъ глаза, не открывая рта, и весь сіялъ какою-то безсмысленною веселостью.

Между этими тремя главными группами, занимавшими углы гостиной, проходило множество лицъ обоего пола, не успѣвшихъ еще рѣшить, къ которому изъ двухъ первыхъ кружковъ выгоднѣе было бы присоединиться; нѣкоторымъ смертельно хотѣлось быть и тутъ, и тамъ въ одно и то же время; одно мѣшало: невозможность разорваться.

## VII.

Въ числѣ такихъ лицъ, шагахъ въ пяти отъ меня и нѣсколько въ сторонѣ, увидѣлъ я князя Годунова и г. Филомоѳенскаго, только-что произведеннаго въ тайные совѣтники. Первый стоялъ ко мнѣ лицомъ, второй затылкомъ, который былъ у него чрезвычайно широкъ и четырехугольной формы съ расходящимися ушами, закрученными кверху, какъ у античныхъ сатировъ.

Возвышеніе новаго тайнаго совѣтника имѣло довольно оригинальное основаніе. Оно совершилось въ силу его сравнительной грамотности или, если хотите, въ силу относительной безграмотности тѣхъ лицъ служебнаго кружка, куда судьба бросила г. Филомоѳенскаго. Онъ былъ сначала гдѣ-то учителемъ словесности и, вѣроятно, тогда еще навострился, поправляя сочиненія своихъ учениковъ.

Въ то время, какъ его сослуживцы исписывали десятки листовъ, покрывая ихъ неудобоваримыми періодами, и тщетно выбивались изъ силъ, пригоняя на всевозможные лады слова: который, котораго, которому, о которомъ и т. д., г. Филомоѳенскому требовалось всего часъ времени, чтобы сочинить оффиціальную бумагу какого угодно содержанія. Трудность состояла иногда въ томъ, чтобы написать нѣсколько страницъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ничего не сказать, или изложить дѣло въ такомъ порядкѣ, чтобы совершенно затушевать его оборотами условнаго краснорѣчія. Г. Филомоѳенскій былъ также большой мастеръ сочинять уставы желѣзнодорожныхъ обществъ, улаживать концессіи, проводить

одновременно нѣсколько трудныхъ дѣлъ, которыя до него цѣлыми годами разсматривались въ разныхъ комитетахъ и завязали безнадежно въ разныхъ инстанціяхъ. Но это принадлежитъ уже, такъ сказать, къ его частнымъ занятіямъ.

— Штукарь! — говорили о немъ завистливые сослуживцы.

— Плутъ-архъ! — острили молодые, начинающіе чиновники.

— Чортъ его знаетъ, что онъ такое! Грубъ, какъ сапожникъ, но перо — мастерское перо! — замѣчали про-себя начальники.

Находчивость г. Филомоѳенскаго, доходившая до степени Божьяго дара, не мало также способствовала его карьерѣ.

Случалось, начальникъ пріѣзжалъ въ нервномъ разстройствѣ отъ неожиданно заданнаго ему вопроса: „Астрахань... много соли... множество комаровъ... Надо узнать... справиться...“

— Какая Астрахань?... Какіе комары?... Гдѣ соль? — повторялъ озадаченный начальникъ, возвращаясь, смущенный, въ кабинетъ. — Боже мой, къ кому обратиться? Никто ничего не знаетъ! Всѣ только врутъ и путаютъ... Одинъ развѣ Филомоѳенскій... Попросить ко мнѣ скорѣе г. Филомоѳенскаго!

Являлся г. Филомоѳенскій.

— Гм... гм... Астрахань... соль... много комаровъ... Надо справиться, непремѣнно справиться! — произносилъ начальникъ, стараясь не смотрѣть въ глаза собесѣднику и произнося каждое слово отягченнымъ голосомъ человѣка, подавленнаго въ эту минуту соображеніями высшаго свойства, не подходящими къ настоящему вопросу.

На другое утро г. Филомоѳенскій возвращался съ готовымъ, каллиграфически написаннымъ докладомъ, въ которомъ Астрахань, соль и даже комары группировались въ стройной гармонической картинѣ; и не было еще примѣра, чтобы дѣло такимъ образомъ не спасалось.

У него, говорили, такъ ужъ были навострены два писца, что пока одинъ писалъ, оканчивая на первомъ листѣ: „кото...“, другой листъ съ окончаніемъ „рый“ былъ уже написанъ вторымъ писаремъ. Доклады поспѣвали, такимъ образомъ, какъ бы по волшебству.

Собесѣдникъ Филомоѳенскаго, князь Годуновъ, былъ еще сравнительно молодой, но уже посѣдѣвшій на вискахъ генералъ. Зная его еще корнетомъ, страстнымъ любителемъ Излеровскаго сада,

балета и другихъ увеселительныхъ мѣстъ Петербурга, я въ послѣднее время съ особеннымъ любопытствомъ наблюдалъ при встрѣчахъ его лицо, проникнувшееся вдругъ, безъ всякаго приготовленія, выраженіемъ глубокомыслія, сложныхъ государственныхъ комбинацій и внутренней сосредоточенности. О чемъ онъ думалъ, что онъ соображалъ, этого никто не зналъ. Князь Годуновъ бо́льшею частью отмалчивался или отвѣчалъ общими мѣстами. Сколько было извѣстно его товарищамъ-сослуживцамъ, главными преобладающими чертами его характера были всегда лукавство и настойчивость; конечно, свойства эти, соединяясь въ извѣстной пропорціи, могутъ осуществлять нѣкоторую силу; но это, все-таки, не объясняло того положенія, которое такъ неожиданно для всѣхъ выдвинуло его на первый планъ. Силу князя Годунова начинали чувствовать не только обыкновенные смертные, но даже такія лица, какъ величавая особа, сидѣвшая подлѣ русскаго самовара, и вліятельный господинъ, одержимый собачьей старостью.

Прислонясь рукою къ спинкѣ кресла, князь Годуновъ слушалъ г. Филомосенскаго, повидимому, безъ любопытства, а скорѣе съ видомъ снисхожденія; сѣрые глаза его разсѣянно смотрѣли по сторонамъ и прищуривались. Въ эту минуту, — помню очень хорошо, — меня особенно поразилъ бѣловатый хрящикъ на концѣ его заостреннаго носа; этотъ хрящикъ постоянно двигался, юлилъ, заострялся и какъ бы самъ собою винтилъ воздухъ.

Годуновъ готовился уже оставить собесѣдника, когда неожиданно къ обоимъ подошелъ Стамбуловъ, извѣстный, впрочемъ, больше подъ именемъ: *человѣкъ анекдота*. Онъ со всѣми былъ на *ты*, вѣчно носился съ какимъ-нибудь разсказомъ, выслушаннымъ наканунѣ, любилъ завтракать, еще больше любилъ ужинать въ веселой компаніи, и потому слылъ издавна за добраго, отличнаго малаго.

— Знаете, что случилось вчера съ Линскимъ?— проговорилъ онъ, нѣсколько понижая голосъ, такъ только, чтобы не дошло до угла, гдѣ сидѣли барышни, — не знаете? Слушайте: сидитъ онъ, часовъ въ одиннадцать вечера, въ квартирѣ Фифи и ждетъ ея возвращенія изъ цирка. Брр!... — подъѣзжаетъ карета; Фифи является, прихрамывая на правую ногу... „Что съ тобой?“ — „Chèri, я свихнула ногу... Ай-ай, свихнула ногу!...“ — „Ватюшки!“ Кладетъ ее скорѣе въ постель, летитъ стремглавъ за докторомъ, отъ доктора заѣзжаетъ въ кварталъ — выпросить разрѣшеніе подо-

стлать соломы подъ окна. Возвращается и, заставъ Фифи въ самомъ разслабленномъ состояніи, нѣжно цѣлуетъ ей руку и, едва переводя духъ, удаляется на цыпочкахъ. Сегодня рано утромъ скачетъ узнать о состояніи ея здоровья... Что-жь бы вы думали, а? Узнаетъ: Фифи не ночевала дома!... Благодарю, не ожидалъ! — довернилъ Стамбуловъ, вращая своими глазами на выкатѣ; затѣмъ такъ же неожиданно повернулся онъ къ нимъ спиною и началъ пробираться дальше, разсказывая на пути свой анекдотъ.

Меня, между тѣмъ, давно привлекалъ голосъ величественной особы, сидѣвшей у самовара. Не имѣя возможности разслышать его словъ, я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ ту сторону, но долженъ былъ остановиться, чтобы пропустить хозяина дома, суетливо пробиравшагося къ женѣ. Мнѣ уже не въ первый разъ бросалось въ глаза тревожное выраженіе на лицѣ Астраханскаго; ему не сидѣлось на мѣстѣ, онъ безпрестанно подымался, искалъ глазами жену и, встрѣтивъ ея взглядъ и выразительно приподнятыя брови, снова усаживался. Я наблюдалъ, въ то же время, лицо хозяйки; оно точно также не было спокойно. Я отчасти догадывался о причинѣ ея тревоги: въ тѣ самые часы, какъ у нея былъ вечеръ, съ минуты на минуту ожидали кончины одного изъ близкихъ родственниковъ мужа; она боялась, чтобы извѣстіе о его смерти не пришло неожиданно и не разстроило ея собранія; она занята была мыслью, что если ужъ умирать родственнику, то чтобъ умеръ онъ, по крайней мѣрѣ, послѣ того, какъ всѣ гости разъѣдутся. Но, кромѣ того, очевидно, должны были быть еще и другіе поводы къ безпокойству. „Что съ ней? — пришло мнѣ тогда же въ голову. — Все, кажется, хорошо: вечеръ удался сверхъ ожиданій; не считая полнаго комплекта интересныхъ людей, въ гостиной находились еще двѣ особы первой величины, — чего же еще?“

Но присутствіе этихъ двухъ особъ, какъ оказалось, и было, главнымъ образомъ, причиной волненія; оно выражалось особенно всякій разъ, какъ величественный гость начиналъ говорить. Гость говорилъ прекрасно, — такъ хорошо, что ему самому, повидимому, пріятно было прислушиваться къ собственнымъ словамъ; и было отъ чего: стройность и правильность рѣчи могли бы удовлетворить самого Греча, составителя россійской грамматики; въ ней явственно можно было разобрать точку, двоеточіе, тире и даже скобки. Къ сожалѣнію, припоминаю и могу заме-

сать одну только фразу: „Когда человѣкъ устремляется мысленно въ область невѣдомаго, нравственная природа его невольно, такъ сказать, отдѣляется отъ суетности настоящаго...“ Я могъ бы записать, вѣроятно, еще больше, но всякій разъ мѣшала хозяйка дома. Едва величественная особа начинала говорить, на лицѣ княгинѣ Астраханской появлялось то выраженіе тревоги, которое съ самаго начало возбуждало мое любопытство: брови ея приходили въ движеніе, мускулы лица напрягались, глаза строго посматривали вокругъ и, сколько казалось, преимущественно направлялись на лица интересныхъ людей; въ этихъ взглядахъ, какъ въ книжкѣ, можно было прочесть: „Молчите, дураки интересные люди! Смѣйте только открыть вашъ глупый ротъ! Слушайте! Васъ для этого только сегодня и звали!“

Разъ одинъ изъ интересныхъ людей, ученый юристъ, сдѣлалъ было движеніе губами, желая вставить свое замѣчаніе въ рѣчь величавой особы, — хозяйка дома пригвоздила его такимъ взглядомъ, что онъ такъ и замеръ съ открытымъ ртомъ до конца вечера.

Не успѣвала величественная особа закруглить красивый періодъ и остановиться, княгиня Астраханская быстро направляла взглядъ въ другой конецъ гостиной, гдѣ сидѣлъ мужъ, и, приподнявшись съ мѣста, летѣла туда на всѣхъ парусахъ.

Тамъ, смотрѣлъ я, опять происходила исторія другаго рода: значительная особа, одержимая собачьей старостью, принадлежала болѣе къ числу мыслителей и не любила говорить; она появлялась въ свѣтъ съ тѣмъ, чтобы найти разсѣяніе и дать отдыхъ мозговой работѣ, которая, говорили, съѣдала его.

Занявъ мѣсто въ группѣ лицъ, окружавшихъ особу, г-жа Астраханская немедленно вмѣшивалась въ разговоръ и на одушевленномъ ея лицѣ, обращавшемся одобрительно къ присутствующимъ, особенно къ интереснымъ субъектамъ, уже читалось слѣдующее: „Говорите же, дураки! Разсказывайте! Ну, живѣе! Какъ, право, глупы иногда эти интересные люди! Разсказывайте! Васъ для этого только сегодня и звали!“

Къ счастью, въ самую критическую минуту подвертывался иногда „человѣкъ анекдота“ и выручалъ хозяйку.

— Знаете что? — произнесъ онъ, появляясь неожиданно. — Юркевичъ сдѣлалъ сейчасъ забавное замѣчаніе: онъ дѣлитъ русскихъ людей нашего столѣтія на три категоріи: въ началѣ сто-

лѣтія — ловкіе военные щеголи, въ тридцатыхъ годахъ — прррелестные люди, теперь пошли все добрые люди...

— Правда, — проговорилъ почти шопотомъ подлѣ меня чей-то голосъ, — правда; скажешь: онъ идіотъ совершеннѣйшій, никуда негоденъ, а занимаетъ такое видное, такое отвѣтственное мѣсто; вамъ сейчасъ же на это отвѣтятъ: „Вотъ вы всегда такъ, всегда рѣзко; положимъ, онъ не орелъ, но онъ человѣкъ добрѣйшей души, кроткой, никому зла не дѣлаетъ, прекрасный семьянинъ, нѣжно любитъ жену и дѣтей...“

— Особенно любитъ хорошій окладъ жалованья, майоратъ въ западныхъ губерніяхъ и теплую казенную квартиру, — неожиданно прибавилъ кто-то также шопотомъ.

## VIII.

Помню, уже въ то время что-то похожее на утомленіе начинало овладѣвать мною; я чувствовалъ тяжесть и боль въ головѣ. Любопытство переставало дѣйствовать и возбуждать меня; проходила охота наблюдать и слушать. Вялость, сонливость присоединялись къ утомленію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на меня находила смертельная скука и, — помню очень хорошо, — сколько я ни усиливался привести себя въ прежнее состояніе, скука неотразимая, неотвязчивая скука подступала къ сердцу и давила меня въ этой голубой гостиной.

Свѣчи и лампы ярко горѣли, повторяясь въ зеркалахъ; голубой атласъ лоснился на стѣнахъ съ золотыми багетами, утомлявшими зрѣніе; въ воздухѣ, разогрѣтомъ и сжатомъ, ходили, стояли и сидѣли многочисленныя группы; говоръ, смѣхъ и восклицанія не умолкали ни на минуту; но все это прибавляло только головной боли и усиливало скуку. Во всемъ, во всемъ рѣшительно: въ голосѣ этихъ сановниковъ, скорѣе произведенныхъ, чѣмъ сами себя заявившихъ своими заслугами, во взглядахъ, которые смотрѣли разсѣянно, а, между тѣмъ, постоянно чего-то юрко ожидали и искали, въ смыслѣ того, что говорилось, въ чертахъ лицъ, выражавшихъ благонамѣренность и благодушіе, прикрывающихъ или апатію, или мелкое лукавство, въ движеніяхъ, даже въ самомъ смѣхѣ чувствовалась тяжеловѣсная, удручающая скука.

Здѣсь, очевидно, никто не былъ увѣренъ, зачѣмъ пришелъ,

и каждый готовъ былъ уйти хоть сейчасъ же безъ малѣйшаго сожалѣнія. Нигдѣ не говорилось о чемъ-нибудь, вездѣ рѣчь шла о комъ-нибудь и каждый старался болѣе или менѣе выказать при томъ свой умъ насчетъ ближняго. Каждый, казалось, былъ чѣмъ-нибудь недоволенъ, желалъ чего-то, и, что всего удивительнѣе, самыми недовольными были тѣ, которые болѣе другихъ воспользовались земными благами. Каждый слушалъ съ улыбкой, тогда какъ зрачки отражали полное, мертвое равнодушіе и къ собесѣднику, и къ предмету бесѣды. Сколько насъ здѣсь ни было, каждый на самомъ дѣлѣ былъ совершенно чужой другъ другу; ни общая мысль, ни общее чувство никого здѣсь не связывали. Нѣсколько разъ пытался я заговорить то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ проходившихъ мимо знакомыхъ, но тоска отъ этого не утихала; ее, напротивъ, какъ бы усиливало внутреннее признаніе, что я безстыдно солгалъ сію минуту, потому что, въ самомъ дѣлѣ, никакого не было желанія обращаться къ тому или другому и, наконецъ, я сказалъ вовсе не то, что думалъ.

Часто приходилось мнѣ испытывать то же самое, но никогда еще, никогда не тяготился я такимъ ощущеніемъ пустоты: пустоты въ самомъ себѣ, пустоты вокругъ меня, пустоты повсюду...

Улыбаясь направо и налѣво съ искуственною натяжкой, помню, я думалъ объ одномъ только: выбраться какъ можно скорѣе отсюда, уйти дальше, какъ можно дальше отъ толпы и шума. Помню, какъ чувство ноющей тоски на минуту смѣнилось досадой, даже злобой, когда шагахъ въ десяти „человѣкъ анекдота“ загородилъ неожиданно выходную дверь и началъ что-то, смѣясь, громко разсказывать слушателямъ. Я рѣшился остановиться и выждать.

Мнѣ особенно не хотѣлось тамъ встрѣтиться съ графомъ Пы́щинымъ; съ меня довольно было видѣть его тучную, крутую спину и голый, лоснящійся затылокъ съ двумя жирными красными складками, подпертыми воротникомъ мундира и утыканными коротенькими сѣрыми волосами. „Человѣкъ анекдота“ разсказывалъ, должно быть, что-то весьма забавное: его сѣрые выпученные глаза самодовольно, въ упоръ поглядывали на слушателей; всѣ смѣялись и болѣе другихъ смѣялся графъ Пы́щинъ; при всякомъ порывѣ веселости онъ какъ бы собирался чихнуть, но не могъ одолѣть, и начиналъ усиленно и мелко прыскать, причемъ страшно багровѣла его шея, приходило въ движеніе его

жирное туловище и вздрагивали разсыпчатыя эполеты на его плечахъ. Пы́щинъ былъ лучшій другъ „человѣка анекдота“, постоянный его собутыльникъ, извѣстный игрокъ, нѣсколько разъ потерявшій и нажившій состояніе, извѣстный покровитель корде-балета и предсѣдатель всѣхъ отчаянныхъ пирушекъ и попоекъ.

Я чувствовалъ къ нему болѣе чѣмъ отвращеніе и всегда старался избѣгать его встрѣчъ. Это началось лѣтъ восемь назадъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, когда я узналъ, что онъ женился на прелестной молодой дѣвушкѣ, которую я встрѣчалъ въ отдаленной степной деревнѣ у ея матери, давно уже теперь скончавшейся. Какимъ образомъ могла она согласиться выйти замужъ за такого человѣка? Кто уговорилъ ее? Какъ случилось, что судьба чистой и свѣтлой дѣвушки могла соединиться съ судьбою такого существа, какъ Пы́щинъ? Все это было для меня загадкой, и помню, какъ тогда еще тяжело поразило меня извѣстіе о такомъ бракѣ. Съ тѣхъ поръ я не встрѣчалъ ее.

Мысли мои невольно обратились къ прошлому, къ воспоминаніямъ о ней. Но не успѣлъ я собрать ихъ, когда, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ сторону, увидѣлъ неожиданно знакомыя черты.

Меня удивило, какъ прежде я ее не примѣтилъ. Она сидѣла особнякомъ, полузаслоненная роялемъ; но съ того мѣста, гдѣ я стоялъ, милый, знакомый образъ весь обрисовывался въ профилѣ съ головы до ногъ. Да, это была она, — она, та самая стройная Мери, встрѣченная когда-то въ далекой степной деревнѣ!... Тѣ же пряди сухихъ шелковистыхъ волосъ пепельнаго цвѣта спускались по обѣимъ сторонамъ ея лица и легкимъ пухомъ завивались надъ шеей. Но только куда дѣвались веселость и блистающая свѣжесть молодости! Она была, все также, очень красива, быть можетъ, еще красивѣе, чѣмъ зналъ я ее прежде; по крайней мѣрѣ, такою показалась она мнѣ въ настоящую минуту.

На ней было свѣтло-розовое платье съ открытымъ лифомъ; она глубоко сидѣла въ мягкихъ креслахъ, вытянувъ ноги и слегка наклонивъ небольшую голову; обнаженныя ея руки, потерявшія свою дѣтскую худобу и круглившіяся теперь какъ выточенныя изъ слоновой кости, неподвижно спускались на колѣна, придерживая кончиками пальцевъ полураскрытый черный вѣеръ. Казалось, она мало принимала участія въ томъ, что̀ вокругъ

нея происходило. Слегка приподнявъ голову, она раза два сказала нѣсколько словъ мужчинамъ, пробиравшимся бокомъ мимо нея съ извиненіями, но тѣмъ все и ограничивалось; въ эти два-три мгновенія, какъ приходилось ей говорить, глаза ея едва только приподнялись; опуская ихъ снова, она какъ бы продолжала смотрѣть внутрь себя, въ какую-то таинственную глубину, гдѣ скрывалась душа ея; ей, очевидно, охотнѣе было молчать и отдаваться теченію собственныхъ мыслей...

О чемъ она думала? Преждевременная душевная усталость обозначалась въ едва уловимыхъ продольныхъ складкахъ лба; добрыя губы улыбались, но углы рта оставались безучастными къ улыбкѣ; тоскливое утомленіе выражалось даже въ ея опущенныхъ обнаженныхъ плечахъ, сверкавшихъ молочною бѣлизной и слегка зарумяненныхъ тамъ только, гдѣ плечо прижималось къ спинкѣ кресла.

Были ли то внезапно пробудившіяся во мнѣ воспоминанія счастливой,—увы!—давно утраченной жизни; были ли такъ чувства и нервы настроены, чтобы живо откликаться всему, что не было похоже на окружающее; наболѣло ли, наконецъ, сердце отъ неудовлетворенной когда-то потребности отдать всего себя этой самой женщинѣ, но при встрѣчѣ съ нею теперь сердце дрогнуло во мнѣ и радостно колыхнулось. Имъ овладѣла вдругъ нѣжность, — да, сладкая, томительная нѣжность, нѣжность прежнихъ лѣтъ,—и вмѣстѣ съ нею сожалѣніе, глубокое, ѣдкое, мучительное сожалѣніе. Менѣе чѣмъ когда-нибудь понималъ я теперь возможность ея замужества. Жгучее горе и лучшія движенія души путались во мнѣ и поперемѣнно смѣнялись одно другимъ. Проклиная судьбу, я упивался видомъ этой женщины и въ то время, какъ глаза мои жадно ее осматривали, душа какъ бы сама собою отдѣлялась отъ меня и робко, покорно опускалась къ ногамъ ея...

Въ самую эту минуту насъ раздѣлила толпа; туманъ прошелъ мимо глазъ моихъ; все завертѣлось и закружилось, страшно путаясь передо мною; дыханіе стѣснилось; я чувствовалъ духоту нестерпимую, чувствовалъ потребность освѣжить голову. Смутно различая выходную дверь гостиной, я замѣтилъ, однакожъ, что она была совершенно свободна и бросился къ ней прямо черезъ толпу.

Очутившись въ сосѣдней, почти пустой комнатѣ, я понялъ необходимость придти нѣсколько въ себя, прежде чѣмъ выбраться

на лѣстницу; голова моя горѣла; я подошелъ къ ближайшему окну и машинально прислонился лицомъ къ холодному стеклу.

Въ окнѣ, сквозь глухую ночь, увидѣлъ я снова Неву, покрытую снѣгомъ; въ глубинѣ, за нею, мрачнымъ, смутнымъ пятномъ чернѣли какія-то зданія. Куранты проиграли на колокольнѣ Петропавловскаго собора и вслѣдъ за тѣмъ глухимъ, протяжнымъ звукомъ пробило три часа ночи...

Я закрылъ глаза... Но тутъ же почувствовалъ я, что полъ началъ какъ будто колебаться подъ моими ногами, почувствовалъ, что снова началъ я уходить въ темный, холодный колодезь... Я сдѣлалъ невольное движеніе, чтобъ ухватиться руками, хотѣлъ вскрикнуть, вспомнилъ о моей шубѣ, которая оставалась въ швейцарской, но было уже поздно...

## IX.

Да, было поздно. Я уже сидѣлъ въ темномъ, тѣсномъ возкѣ, гдѣ, казалось, было еще холоднѣе, чѣмъ на улицѣ. По правую и по лѣвую руку сидѣли два человѣка; лица ихъ были запрятаны въ мѣховые воротники; при свѣтѣ мелькнувшаго газоваго фонаря я оглянулъ ихъ испуганнымъ взглядомъ, но они ушли еще глубже въ шубы.

Возокъ, между тѣмъ, загремѣлъ по какимъ-то мосткамъ; вдругъ стало еще темнѣе; я чувствовалъ, что мы спустились на Неву и поѣхали быстрѣе. Спутники мои не произносили ни слова; ихъ молчаніе окончательно меня смутило; душа наполнялась предчувствіемъ, чего? — я самъ не зналъ, но оно превращалось почему-то въ мучительное, тоскливое ожиданіе. Я обернулся сначала къ одному, потомъ къ другому, проговорилъ нѣсколько несвязныхъ, торопливыхъ словъ, но они продолжали упорно молчать.

Ужасъ выросталъ во мнѣ постепенно и охватилъ меня, наконецъ, всего, какъ желѣзными обручами. Внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что я нахожусь во власти моихъ спутниковъ; съ каждою секундой я почему-то убѣждался, что нѣтъ даже теперь такой силы, которая могла бы меня у нихъ вырвать.

Помню, мнѣ пришла вдругъ мысль, что будь у меня теперь въ карманѣ состояніе всѣхъ Ротшильдовъ вмѣстѣ, я, не думая

секунды, немедленно бы все отдалъ, съ тѣмъ только, чтобъ они меня выпустили изъ этого возка; пускай у меня все возьмутъ, оставятъ въ рубищѣ, обрекутъ на всю жизнь мостить мостовую, — я на все готовъ, лишь бы вырваться изъ возка и получить свободу! Но я тутъ же понялъ всю несообразность такой мысли; у меня ничего не было, кромѣ оробѣвшаго сердца, которое то обрывалось и холодѣло, то звонко начинало стучать въ груди и стѣсняло дыханіе въ пересохнувшемъ горлѣ.

Я собирался крикнуть — и не могъ; но это ни къ чему бы не повело: звукъ моего голоса не могъ быть услышанъ; онъ не могъ проникнуть сквозь стѣны возка, не могъ заглушить визга снѣга и топота лошадей. Да, наконецъ, еслибъ и услышали мой голосъ, все равно изъ этого ничего бы не вышло.

„Вотъ, — думалъ я, — когда лошади привезутъ меня, — куда привезутъ, не зналъ я, но, тѣмъ не менѣе, замиралъ отъ ужаса, — когда лошади привезутъ, ихъ, вѣроятно, отправятъ назадъ съ возкомъ, который будетъ пустъ тогда... Потомъ лошадей отпрягутъ, поставятъ въ стойла, а завтра выведутъ ихъ на воздухъ и дадутъ имъ гулять по солнцу... Онѣ будутъ стоять — и не убѣгутъ... Какія глупыя!... А я... гдѣ я тогда буду?...“ Воображеніе пугливо рисовало передо мною тѣсное пространство между каменными стѣнами; кругомъ тишина, мертвая, какъ въ могильномъ склепѣ, и я одинъ, — одинъ, затерянный въ глубинѣ таинственныхъ корридоровъ, въ глубинѣ каменнаго лабиринта, и нѣтъ человѣка, который бы могъ спасти меня, который бы вступился и подалъ за меня голосъ... Забыли, забыли, какъ будто меня никогда не было, какъ будто я никогда не рождался.

Ужасъ овладѣлъ мною окончательно.

— Куда вы меня везете? — крикнулъ я голосомъ отчаянія, — за что?... Я ничего не сдѣлалъ дурнаго ни людямъ, ни противъ собственной совѣсти!... Я высказывалъ свои личныя впечатлѣнія; я откровенно говорилъ о томъ, что мнѣ не нравилось, что казалось мнѣ ложью, неправдой, лицемѣріемъ...

— Вы могли это думать сколько вамъ было угодно, — проговорилъ неожиданно одинъ изъ спутниковъ учтивымъ, ровнымъ голосомъ, отъ котораго похолодѣлъ мозгъ костей моихъ.

— Чувствовать правду и молчать?... Помилуйте, вѣдь, это... это...

— Ужъ это ваше дѣло, милостивый государь! — перебилъ

второй собесѣдникъ такимъ тономъ, который показывалъ, что онъ не желаетъ продолжать разговора.

Онъ закутался въ шубу и прижался въ уголъ возка.

Среди страшной путаницы мыслей и образовъ, которые меня осаждали, мелькнуло вдругъ въ моемъ встревоженномъ воображеніи поле, обширное русское поле, пересѣченное глянцовитыми рельсами желѣзной дороги, блиставшими на солнцѣ; по рельсамъ глухо и потрясая почву надвигалась паровая машина. Въ ту самую минуту, подлѣ самыхъ рельсъ, замѣтилъ я суетливо бѣжавшаго муравья; я быстро нагнулся, чтобъ отбросить его въ сторону, но муравей забрался уже на рельсы, и не успѣлъ я опомниться, какъ локомотивъ налетѣлъ, гремя и звеня, и маховое колесо прокатилось по рельсамъ... Гдѣ муравей?... Я поднялъ голову: за локомотивомъ нескончаемо бѣжалъ рядъ вагоновъ; въ открытыхъ окнахъ сидѣли князь Астраханскій, величественная особа, все еще державшая чайную чашку въ рукѣ, Пузыревъ, Пыщинъ, Филомоевскій, „человѣкъ анекдота“, Годуновъ, — словомъ, всѣ, съ кѣмъ я видѣлся сегодня на вечерѣ. Веселость была на всѣхъ лицахъ; они говорили и смѣялись.

— Чему вы смѣетесь?! — вырвалось у меня изъ груди, какъ будто въ этомъ смѣхѣ было для меня что-то оскорбительное. — Отчего вы всѣ такъ веселы?!... — подхватилъ я въ припадкѣ возраставшаго негодованія.

— Оттого, что мы — сила, а вы... вы — муравей! — отвѣчалъ чей-то голосъ, и сколько мнѣ показалось, голосъ Пузырева изъ послѣдняго вагона. Въ самомъ дѣлѣ, они правы. Дѣйствительно, они — сила, а я — я муравей, какъ тотъ муравей, который шелъ по рельсамъ... Маховое колесо черезъ меня точно такъ же прокатило... Я это чувствовалъ; я былъ смятъ, раздавленъ, уничтоженъ...

— Послушайте, — заговорилъ я вдругъ съ поспѣшностью, которая меня самого удивила, — послушайте, — прибавилъ я, касаясь шубы моихъ спутниковъ, — имѣли ли вы когда-нибудь передъ собой карту Европы?... Это только ничтожнѣйшая часть материка земнаго шара, не правда ли? На этой картѣ, съ лѣвой стороны, небольшой клочокъ земли: это — Великобританія; на ней, въ нижней ея части, точка съ булавочную головку: это — Лондонъ. Эта булавочная головка несравненно большаго размѣра, чѣмъ бы ей слѣдовало быть пропорціонально противъ размѣра всей Англіи;

она такъ велика для того только, чтобы на картѣ ясно видно было, что здѣсь Лондонъ. Вообразите же теперь, что въ этой точкѣ, едва примѣтной для глаза и обозначающей Лондонъ, живетъ четыре милліона людей! Это доказываетъ только, какой человѣкъ маленькій, какіе всѣ мы маленькіе, какіе всѣ мы ничтожные и какъ ничтожна та сила, которую мы въ себѣ воображаемъ. Мы ничего больше, какъ пыль, да, живая пыль, разсыпанная кое-гдѣ по землѣ... Пододвинутся льды Сѣвернаго океана, пройдетъ тифонъ, дунетъ вѣтеръ—и все это смететъ и снесетъ, какъ прахъ, и ничего не останется, кромѣ коры земной. Ну, стóитъ ли выказывать передъ этимъ свою собственную силу? Ксерксъ разорилъ страну, сооружая флотъ противъ враговъ; дунулъ вѣтеръ—и флотъ разлетѣлся въ щепки; благоразумно ли поступилъ Ксерксъ, приказавъ высѣчь море изъ желанія наказать его за неповиновеніе? Все это—прахъ и ничтожество; въ насъ сила только нами же сочиненная; настоящая сила не въ насъ, а въ чемъ-то другомъ, тамъ, гдѣ-то выше надъ нами. У насъ существенно и драгоцѣнно только одно: сознаніе жизни и чувство свободы, которой вы меня лишаете. Ну, что изъ того, что вы меня взяли и везете,—зачѣмъ, куда? — не знаю, но мнѣ страшно. Вы, конечно, въ эту минуту сильнѣе меня; но все это мелочь; и вы, и я — мы всѣ умремъ и, въ сущности, ничего не перемѣнится. Убудетъ ли что-нибудь изъ того, если вы меня отпустите на свободу? Листъ отъ этого на деревѣ не колыхнется, песчинка не тронется на всей землѣ.

Возокъ, между тѣмъ, продолжалъ скользить по снѣгу; мы начинали куда-то подыматься; кругомъ была тьма кромѣшная. Посреди тишины раздавался только скрипъ полозьевъ и глухой топотъ копытъ. Но вотъ послѣдній этотъ звукъ сталъ явственнѣе; подъ ногами лошадей послышалась мостовая; въ возкѣ стало какъ будто меньше воздуху; я ничего не видѣлъ, но понялъ, что мы въѣхали въ тѣсное пространство, тащимся подъ нескончаемыми длинными сводами.

Тутъ почувствовалъ я вдругъ, что силы окончательно меня оставили. Сознаніе полной безнадежности проникло въ мою душу; она какъ будто сжалась и помертвѣла; руки мои тяжело опустились; я безсильно склонилъ голову и закрылъ глаза.

Но впечатлѣніе, которое затѣмъ послѣдовало, слишкомъ сильно, чтобъ я могъ его высказать, не переведя духъ, не отдохнувъ минуту. Припоминая весь вчерашній сонъ, мнѣ даже теперь трудно передать всѣ оттѣнки этого впечатлѣнія.

## X.

Открывъ глаза, я въ первую минуту былъ совершенно ослѣпленъ свѣтомъ и невольнымъ движеніемъ закрылъ лицо. Отведя понемногу ладонь и приподнявъ вѣки, я увидѣлъ себя между деревьями молодой, только-что распустившейся березовой рощи, охваченной полуденнымъ солнцемъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ я стоялъ, легкая прозрачная тѣнь покрывала траву. Шагахъ въ двадцати передо мною, — тамъ, гдѣ рѣдѣли деревья и кончалась роща, солнце било всею своею силой и освѣщало между стволами небольшую рѣчку, омывавшую корни деревьевъ. За рѣкой начинался лугъ съ изгибавшимся далѣе плетнемъ; надъ нимъ, какъ облака, круглились яблочныя деревья, обсыпанныя бѣло-розовымъ цвѣтомъ. Вся эта отдаленная часть озарялась точно такъ же лучезарнымъ свѣтомъ, смягченнымъ сквознымъ паромъ, подымавшимся надъ лугомъ и надъ садомъ.

Въ тѣни, гдѣ я стоялъ, трава и мохъ были еще влажны; кругомъ носился еще сладкій, прѣсноватый запахъ прошлогодняго листа; мѣстами онъ темнѣлъ и слоился ворохомъ; но уже то тутъ, то тамъ пробивались надъ нимъ темно-зеленые, точно граненые, листки земляники и выбѣгалъ тонкій, бѣловатый стебель ландыша, наливавшійся свѣжимъ сокомъ, хлынувшимъ изъ подогрѣтаго корня. Сильнѣе всего, впрочемъ, разливался въ воздухѣ крѣпительный запахъ молодой распустившейся березы; нѣжнымъ цвѣтомъ, почти безъ оттѣнка, свѣтилась въ тѣни ея зелень, сквозившая и блиставшая на солнцѣ своимъ пахучимъ лакомъ.

Въ небѣ стояли неподвижно, бѣлѣя, облака съ глубокими голубыми просвѣтами; надъ лугомъ и рощей, въ небесной вышинѣ, немолчно заливались жаворонки; надъ рѣчкой сновали ласточки, а въ отдаленіи, по свѣтлому лугу, важно расхаживалъ сизый, лоснившійся на солнцѣ, грачъ, первый возвѣстникъ весны, первая „хлѣбная птица“, какъ говорятъ поселяне.

Все вокругъ меня и надо мной трепетало жизнью, все ликовало и улыбалось улыбкой кротости и мирнаго счастья. Я стоялъ, я смотрѣлъ, я прислушивался и весь — и духомъ, и тѣломъ отдавался новому впечатлѣнію. Тягостныя, испытанныя передъ тѣмъ ощущенія совершенно изгладились изъ моей памяти; ихъ вытѣсняло одно чувство — чувство жизни, чувство радости и безмѣрнаго счастья. Въ душѣ какъ будто также пробуждалась весна;

самыя свѣтлыя чувства раскрывались въ ней подобно молодой листвѣ; между тѣмъ, по щекамъ сами собою катились слезы, — да, слезы благодарности и нѣжнаго умиленія.

Не знаю, сколько времени простоялъ я на одномъ мѣстѣ, постоянно приходя въ себя и какъ бы умственно и сердечно оттаивая, — помню только, я былъ развлеченъ дѣтскимъ голосомъ, такимъ же свѣтлымъ и чистымъ, какъ все, что меня окружало. Обернувшись къ краю рощи, гдѣ была рѣчка, я увидѣлъ дѣвочку лѣтъ шести; распустивъ по воздуху золотистые свои волосы, перевязанные у темени голубою лентой, и вся сіяя веселостью, она бѣжала рѣзво, подпрыгивая, по тропинкѣ, изгибавшейся по берегу между деревьями. Минуту спустя, между стволами мелькнуло бѣлое платье; ближе, ближе, на тропинкѣ показалась женщина и, въ то же время, послышался мягкій, какъ будто давно знакомый, давно любимый голосъ. Я прислушался, всмотрѣлся и, какъ околдованный, приросъ къ землѣ.

Эта женщина была Мери, — та самая Мери, которая послѣ столькихъ лѣтъ и такъ неожиданно явилась мнѣ на вечерѣ у князя Астраханскаго.

Какъ я сказалъ, тяжелыя впечатлѣнія этого вечера совершенно изгладились изъ моей памяти; все, что тамъ было, ушло въ безконечную даль, путалось и смутно тушевалось; ясно выступалъ изъ нея только образъ Мери, задумчиво сидѣвшей тогда въ креслахъ. Ясно припоминалъ я также свои собственныя чувства, — чувства ѣдкаго сожалѣнія и глубокой нѣжности, пробуждаемыя когда-то ея видомъ. Но сожалѣнія во мнѣ уже теперь не было; я смотрѣлъ на нее съ нѣжностью, которая воскресала съ удвоенною силой; весь ея образъ проникалъ въ мою душу и наполнялъ ее неслыханнымъ восторгомъ.

Никогда не была она болѣе прелестна, какъ теперь, подъ этимъ сводомъ распускавшейся зелени, съ ея пепельными волосами, просто подобранными зубцами гребня, съ ея гибкимъ станомъ, перехваченнымъ широкимъ бѣлымъ платьемъ, по которому во время ея движеній скользили тѣни, перемежавшіяся съ пятнами солнца, освѣщавшими ей неожиданно то лицо, то руки, то плечи.

Ни въ одной чертѣ ея не строгаго, но ласковаго и добраго лица не было слѣда заботы; тягостныя испытанія жизни исчезли также какъ будто изъ ея памяти; она весело прислушивалась къ голосу дѣвочки, бѣжавшей впереди, и, казалось, всѣ ея мысли сосредоточивались на ней одной.

И казалось мнѣ также, чѣмъ сильнѣе сознавалъ я всю сладость настоящаго ощущенія, тѣмъ болѣе приближался я къ настоящей цѣли такъ давно волновавшихъ меня желаній; вся жизнь была какъ-будто цѣлью этой встрѣчи, — да, именно этой встрѣчи въ такое утро и при тѣхъ самыхъ условіяхъ!

Неудовлетворенныя мечты, раздраженіе чувствъ и мыслей, скорбныя разочарованія, тревога ожиданій, внутренняя тоска, — все это оставалось теперь назади, прошло, невозвратимо сгладилось. Я какъ будто жилъ до-сихъ-поръ, постоянно чего-то съ безпокойствомъ отыскивая, постоянно не находилъ желаемаго, тревожился, падалъ духомъ и вдругъ, вдругъ, самымъ неожиданнымъ образомъ, нашелъ все, чего душа такъ долго и такъ жадно просила, — нашелъ, наконецъ, счастье!

Такъ могло только быть съ человѣкомъ, который, никѣмъ не замѣченный, упалъ въ волны пространнаго моря; онъ сдѣлалъ все возможное для своего спасенія, но, наконецъ, обезсилѣлъ, и въ то время, какъ началъ онъ уже уходить въ бездну, волна раскрылась, другая счастливая волна его подхватила и вынесла на воздухъ; передъ нимъ вблизи мелькнулъ берегъ, освѣщенный солнцемъ; силы его вдругъ воскресли, онъ борется противъ волнъ и, весь истерзанный, жадно, наконецъ, хватается за край берега.

Этотъ берегъ былъ для меня Мери и весь тотъ свѣтлый уголокъ земли, ее окутавшій.

... Память на минуту измѣняетъ мнѣ... Помню, я былъ отъ нея уже въ двухъ шагахъ... Она неожиданно повернула ко мнѣ лицо свое; черты ея не выразили удивленія; она какъ будто сама ждала меня и, ласково улыбнувшись, протянула мнѣ обѣ руки.

Крикъ, заглушенный рыданіями, — рыданіями отъ избытка счастья, — вырвался изъ груди моей, я бросился къ ногамъ ея и... и проснулся.

Я лежалъ въ постели; сѣрыя стѣны моей комнаты тускло отражали свѣтъ осенняго начинающагося петербургскаго утра. За окномъ, выходившимъ на дворъ, сыпался мокрый снѣгъ, прилипавшій къ стекламъ; на дворѣ раздавался унылый, однообразный горловой голосъ: „Халаты... халаты хорошіе... халаты!“

Я въ мигъ осмыслилъ дѣйствительность, меня окружавшую, тяжело опустился на подушку, закрылъ глаза и произнесъ со вздохомъ: „Господи, зачѣмъ я проснулся?“

# НЕ ПО ХОРОШУ МИЛЪ,—ПО МИЛУ ХОРОШЪ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОКТОРУ Л. Б. БЕРТЕНСОНУ.

---

«Quisquis amat, valeat;
Pereat, qui nescit amare;
Bis tanto pereat,
Quisquis amare vetat».

*Casa Rufus. Pompeia.*

«Любящимъ—привѣтъ;
Неумѣющимъ любить—погибель;
Дважды погибель
Запрещающимъ любить».

*Античная надпись въ домѣ Руфа въ Помпеѣ.*

## I.

Уютный мужской кабинетъ освѣщался съ одной стороны большой лампой, прикрытой свѣтлымъ абажуромъ, съ другой,—тушевался въ красноватомъ полусвѣтѣ отъ камина съ горѣвшими угольями. Передъ каминомъ, на турецкомъ диванѣ и съ боку, въ широкихъ кожаныхъ креслахъ, сидѣло четверо мужчинъ. Всѣ четверо были школьные товарищи; у каждаго пробивала уже сѣдина; одинъ изъ нихъ, хозяинъ дома, былъ совершенно бѣлый.

Между ними издавна было такъ условлено: когда одинъ изъ нихъ, служившій на югѣ Россіи, пріѣзжалъ въ Петербургъ, всѣ четверо собирались обыкновенно у владѣльца кабинета, обѣдали у него и проводили вмѣстѣ вечеръ.

Владѣлецъ кабинета, человѣкъ съ достаткомъ, нигдѣ не слу-

жилъ; онъ, большею частью, проводилъ половину года заграницей. Изъ остальныхъ трехъ, одинъ занималъ мѣсто товарища прокурора и проживалъ въ одной изъ южныхъ губерній, другой былъ инженеръ, третій служилъ сначала въ министерствѣ просвѣщенія, но вскорѣ вышелъ въ отставку и занялся исключительно литературой.

Въ описываемый вечеръ всѣ были какъ-то особенно разговорчиво настроены; бесѣда отличалась рѣдкимъ воодушевленьемъ, хотя, надо сказать, не отличалась большою послѣдовательностью; по русскому обычаю, всѣ хотѣли говорить въ одно время, никто не давалъ другому докончить рѣчи, спѣша вставить свою мысль или замѣчаніе, отчего самый предметъ бесѣды часто разбѣгался, какъ дробь, брошенная на полъ, и рѣдко оставался исчерпаннымъ. Говорили о событіяхъ дня и года, разбирали по косточкамъ дѣйствія разныхъ лицъ, касались мимоходомъ спеціальныхъ вопросовъ, перескакивали къ отвлеченнымъ предметамъ, не обошлось, — конечно, безъ болгаръ и Бисмарка, — но кончилось все-таки тѣмъ, чѣмъ обыкновенно кончается между холостыми мужчинами: бесѣду свели на женщинъ.

— Господа! проговорилъ литераторъ, прошу слова! Минуту вниманія: вмѣсто того чтобъ обмѣниваться клочками мыслей и впечатлѣній, касаться часто интереснаго предмета и, помазавъ имъ по губамъ, какъ говорится, переходить къ другому, еслибъ мы разъ навсегда приняли добрый старый методъ серапіоновыхъ братьевъ, т. е. условились въ предметѣ бесѣды, и пускай сначала одинъ что-нибудь разскажетъ, потомъ поочереди другой и т. д. Мы заговорили теперь о женщинахъ, чего же лучше! Предметъ настолько интересенъ, что, кажется, на немъ можно было бы остановиться. Въ немъ — какъ и во всемъ, важны не отвлеченныя разсужденія, которыя обыкновенно не приводятъ ни къ какому результату, важны факты, и чѣмъ фактъ ближе къ разсказчику и пережитъ имъ, тѣмъ онъ, разумѣется, занимательнѣе.—Каждому изъ насъ, на вѣку своемъ, приходилось, конечно, слышать множество любовныхъ приключеній; кто слышалъ, — кто самъ былъ свидѣтелемъ интересныхъ случаевъ; наконецъ, положивъ руку на сердце, — кто изъ насъ можетъ сказать какъ Пилатъ: „умываю себѣ руки“, — неповиненъ въ увлеченіи женщиной, не переживалъ съ ней ни горя, ни радостей; не знаю, заслуживаетъ ли она въ самомъ дѣлѣ поклоненія и того, чтобъ для ея любви

стоило жертвовать своимъ спокойствіемъ и часто портить свою жизнь... Мы почему-то до сихъ поръ умалчивали объ этомъ, никогда не доходили до полной откровенности... Предлагаю: сдѣлаемъ сегодня первый опытъ. Уговоримся въ очереди, и пускай каждый разскажетъ свою сердечную исторію. Намъ нечего кокетничать годами; кто изъ насъ старше? хозяинъ дома! очередь за тобой... Мы слушаемъ!

Какъ ни близки были присутствующіе между собою, но застигнутый врасплохъ хозяинъ дома нѣсколько смутился...

Минуты двѣ сидѣлъ онъ молча съ опущенной головой, наконецъ сдѣлалъ рѣшительный жестъ и началъ:

## II.

— Заставая меня иногда въ черной хандрѣ или встрѣчая печальнымъ и разсѣяннымъ, вы давно догадывались, что я скрываю въ душѣ какое-нибудь горе. Изъ деликатности вы не разспрашивали; я молчалъ вовсе не потому, что не довѣрялъ вашей скромности. Какъ мы всѣ ни дружны и, кажется, нечего уже намъ церемониться, но бываютъ въ жизни случаи до того уже интимные, до такой степени близкіе, что прячешь ихъ въ самую глубину сердца и бережешь ихъ тамъ, какъ святыню; не говоришь о нихъ впослѣдствіи изъ чувства, быть можетъ, ложной стыдливости и, наконецъ, молчишь уже такъ себѣ — по привычкѣ.

Тѣ изъ васъ, которые благоразумны, которыми въ подобныхъ случаяхъ (если таковые были) управляли осторожность или эгоизмъ, — непремѣнно скажутъ въ концѣ моего разсказа: „ты самъ во всемъ виноватъ, самъ накликалъ себѣ горе; не надо было, очертя голову, поддаваться первому впечатлѣнію, давать волю воображенію; надобно было подумать о послѣдствіяхъ...“ и т. д. Все это совершенно вѣрно; но что же прикажете дѣлать! Во-первыхъ, я неблагоразуменъ, — вы всѣ это знаете, во-вторыхъ, я всю мою жизнь былъ рабомъ моего сердца; другаго начальства у меня никогда не было. Наконецъ, если ударъ, который поразилъ меня, былъ жестокъ, ему предшествовало столько счастья, что, натурально, оно не могло долго продолжаться; на свѣтѣ все уравновѣшено...

Все это произошло, надо вамъ сказать, очень давно. Это было

въ то время, когда помните? — онъ (разсказчикъ указалъ на юриста) уѣзжалъ первый разъ на службу, а я первый разъ отправлялся заграницу.

Странствуя безъ особенной цѣли, остановился я въ одномъ изъ главныхъ городовъ южной Германіи.

Проходя городскимъ садомъ съ цѣлью сократить путь къ гостинницѣ, я нисколько не удивился, не встрѣтивъ тамъ живой души; было около полудня, и жара стояла нестерпимая.

Почти у выхода, на послѣднемъ поворотѣ, увидѣлъ я женщину, одиноко сидѣвшую на скамейкѣ. Въ первую минуту я не имѣлъ возможности разсмотрѣть ея лица: оно было опущено, и край шляпки закрывалъ его верхнюю половину; одѣта она была не только скромно, но бѣдно: платье темнаго цвѣта, очевидно, давно уже служило; ботинки на вытянутыхъ скрещенныхъ ногахъ также не отличались свѣжестью; перчатки показались мнѣ изношенными. Она сидѣла такъ неподвижно, что можно было подумать, — она заснула.

Я умышленно надавилъ подошвой песокъ дорожки и кашлянулъ. Она подняла голову; по лицу ея промелькнуло выраженіе не то удивленія, не то испуга; но это продолжалось секунду; она тотчасъ же отвернула голову.

Я успѣлъ однакожъ осмотрѣть ея лицо; оно не отличалось особенной красотою, но съ перваго взгляда показалось мнѣ крайне симпатичнымъ. Внезапный поворотъ головы открывалъ передо мною часть тонкой бѣлой шеи, оттѣненной вьющимся пушкомъ, и выше закручивался роскошный пучокъ волосъ чуднаго пепельнаго цвѣта. Красота волосъ и такого именно оттѣнка всегда обаятельно на меня дѣйствовала; въ прежнее время мнѣ трудно было побѣдить соблазнъ; я готовъ былъ надѣлать множество глупостей, — и дѣлалъ ихъ, — чтобы только прикоснуться къ такимъ волосамъ губами.

Не долго думая, я подошелъ къ скамейкѣ, сѣлъ на противуположный конецъ и, обратясь къ незнакомкѣ, спросилъ, — не безпокоитъ ли ее моя сигара.

Она тотчасъ же поняла, что вопросъ мой былъ только предлогомъ вступить въ разговоръ. Не отвѣчая, она сдѣлала нетерпѣливое движеніе и привстала съ мѣста; я поспѣшилъ предупредить ее, — поклонился и вышелъ изъ сада.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, я остановился; мнѣ стало вдругъ

совѣстно передъ нею. Вамъ покажется это страннымъ; вы скажете: нужда была заботиться о томъ, что можетъ подумать незнакомая женщина, съ которой слова не было сказано, которая только молчала и отворачивалась; все это такъ; но тутъ примѣшивалось любопытство и кромѣ того, — признаюсь вамъ, — все въ той женщинѣ: обликъ ея лица, ея волосы, ея поза, въ которой проглядывала естественная женственная грація, — все невольно меня къ ней притягивало.

Я вернулся въ садъ, занялъ прежнее мѣсто, — и помню, — почувствовалъ вдругъ неловкость, не зналъ рѣшительно, съ чего начать.

Я просилъ ее извинить меня въ моей докучливости, просилъ не думать, чтобы меня побуждало къ этому дерзкое чувство, такъ часто заставляющее мужчинъ привязываться къ незнакомой женщинѣ; старался объяснить ей, что въ моемъ любопытствѣ не было ничего оскорбительнаго, что оно вызвано самымъ натуральнымъ образомъ, ея одиночествомъ въ этомъ саду и въ такой часъ, — наконецъ, печальнымъ выраженіемъ ея лица, явно говорившимъ о присутствіи въ ея душѣ тягостнаго чувства.

Во время этихъ объясненій незнакомка окинула меня нѣсколько разъ робкимъ недовѣрчивымъ взглядомъ. Мнѣ рѣдко приводилось встрѣчать глаза съ такимъ нѣжнымъ очертаніемъ вѣкъ, съ такимъ мягкимъ бархатнымъ оттѣнкомъ въ темныхъ зрачкахъ, смотрѣвшихъ такъ, что внизу оставалась всегда частичка голубоватаго бѣлка.

Что бы тамъ ни писалось и ни говорилось объ обманчивости женскихъ глазъ, все, что самъ я испыталъ по этой части, никогда не могло вразумить меня; отдавая долю женскому лукавству, притворству и хитрости (а развѣ мы, мужчины, не хитримъ, не лукавимъ и не притворяемся?), я безусловно больше вѣрю въ честность и прямодушіе женщинъ, чѣмъ мужчинъ.

Глаза незнакомки, ея нѣсколько пухлыя губы съ опущенными углами, какъ у огорченнаго ребенка, не могли принадлежать дурной женщинѣ... Дайте мнѣ договорить до конца; вы убѣдитесь, что внутреннее чувство меня не обманывало.

Старанія мои вызвать незнакомку на разговоръ не имѣли никакого успѣха; она молчала, продолжая задумчиво водить кончикомъ зонтика по песку. Я рѣшился на послѣднюю попытку: „была-не-была, подумалъ я, — положеніе мое слишкомъ глупо,

пора кончить; согласится — хорошо; не согласится — можетъ быть, еще лучше...“ Я подсѣлъ ближе и, сколько помнится, обратился къ ней приблизительно съ такими словами:

— Послушайте, сказалъ я, смягчая, на сколько возможно, голосъ и самую форму выраженій, — догадаться не трудно: у васъ на душѣ какая-то печаль... Мнѣ также почему-то сегодня не весело; я совершенно одинъ въ этомъ городѣ, знакомыхъ ни души, скука смертная... Предлагаю вамъ слѣдующее: предупреждаю васъ: въ моемъ предложеніи нѣтъ никакой дурной задней мысли... дѣлаю его вамъ потому только, что вамъ скучно и мнѣ также... Чѣмъ сидѣть здѣсь на жарѣ, пойдемте въ ближайшую улицу; я возьму фіакръ, отправимся куда-нибудь за городъ... Вамъ нечего бояться; даю вамъ слово исполнить малѣйшее ваше желаніе; захотите ѣхать назадъ, — мгновенно вернемся... Одно у меня желаніе: чтобы вы не обидѣлись моимъ предложеніемъ... Что жъ, согласны?...

— ...Хорошо... проговорила она, но такимъ подавленнымъ голосомъ, что я едва разслышалъ. Не оборачиваясь даже въ мою сторону, она встала и пошла прямо къ воротамъ сада. Я предложилъ ей руку, она отказалась взять ее.

Я посадилъ ее въ первый попавшійся фіакръ, назвавъ кучеру одно изъ лучшихъ загородныхъ мѣстъ, о которомъ слышалъ наканунѣ, и мы поѣхали. Я началъ ее благодарить и хотѣлъ пожать ей руку, но она быстро отодвинулась въ уголъ экипажа.

## III.

Положеніе мое стало еще глупѣе. Съ каждой минутой я чувствовалъ возраставшую неловкость и начиналъ на себя досадовать. На всѣ мои разспросы она отвѣчала какъ бы нехотя, полусловами и больше отмалчивалась. „Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ согласилась она ѣхать со мною?“ спрашивалъ я себя поминутно.

„И я также хорошъ! продолжалъ я разсуждать мысленно, — очень было нужно упрямиться и заходить такъ далеко! Вотъ я всегда такъ: всегда увлекусь, всегда отдаюсь первому впечатлѣнію“... Одно удерживало меня предложить ей вернуться назадъ: во время пути я нѣсколько разъ примѣтилъ, какъ губы ея судо-

рожно сжимались, тонкія ноздри приходили въ движеніе, грудь сильнѣе приподымалась и глаза дѣлались влажными. Она дѣйствительно была чѣмъ-то сильно удручена и всячески старалась овладѣть собою. Чувство состраданія взяло во мнѣ верхъ надъ досадой. Мнѣ приходило въ голову, что тамъ, на свободѣ, она наконецъ выскажется, и терпѣливо сталъ ждать выѣзда изъ города.

Передъ нами открылась довольно унылая мѣстность, пересѣченная шоссе, ослѣпительно сверкавшимъ на солнцѣ между тополями; съ правой стороны подымались холмы, покрытые лѣсомъ; внизу, подъ крутымъ берегомъ, изгибался ручей, который мы только-что переѣхали. Остановивъ фіакръ, я высадилъ мою спутницу, и мы машинально направились къ лѣсу. Миновавъ опушку, я пригласилъ ее сѣсть въ тѣни подлѣ берега, и самъ занялъ подлѣ мѣсто.

Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь въ такомъ положеніи, но могу васъ увѣрить, ничего не можетъ быть тягостнѣе. Несравненно было бы проще сказать ей: если такъ, если ужъ вы непремѣнно дали клятву молчанія, — сядемъ снова въ фіакръ, я довезу васъ до дому и прощайте! Но у меня недоставало на это рѣшимости; такой поступокъ казался мнѣ непростительно грубымъ противъ женщины, кто бы она ни была.

Съ другой стороны упорное молчаніе незнакомки начинало дѣйствовать на меня раздражительно. Подъ вліяніемъ ли такого чувства или, скорѣе, вслѣдствіе тоскливыхъ мыслей, которыя сами собою напрашивались,—я началъ говорить въ общихъ фразахъ о положеніи дѣвушки, брошенной на произволъ въ большомъ городѣ... Въ надеждѣ тронуть наконецъ мою незнакомку и вызвать въ ней хоть какое-нибудь оживленіе, я принялся дальше развивать мою мысль и, мало-по-малу увлекаясь, заговорилъ о дурныхъ примѣрахъ въ семьѣ и бѣдности, заставляющей молоденькую дѣвушку иногда противъ воли сдѣлать первый шагъ и потерять себя... Заговорилъ о соблазнахъ всякаго рода, испорченности нравовъ, эгоизмѣ мужчинъ—часто даже ихъ безчеловѣчной жестокости въ иныхъ случаяхъ...

Но тутъ произошло что-то странное, отчего я въ первую минуту едва могъ придти въ себя.

Все время какъ я говорилъ, она сидѣла ко мнѣ съ полуоборота, упираясь локтемъ въ траву.

При послѣднихъ моихъ словахъ она вдругъ упала лицомъ

въ траву и зарыдала, но зарыдала такимъ рыданьемъ, отъ котораго у меня полоснуло по сердцу.

Я бросился ее успокоивать, умолялъ простить меня, увѣрялъ и клялся въ добромъ намѣреніи моихъ словъ, умолялъ довѣрить мнѣ ея горе, — ничего не помогало; она продолжала такъ же горько рыдать. Но когда я всталъ передъ ней на колѣна, стараясь приподнять ее, она неожиданно упала мнѣ на руки и, не обращая ко мнѣ лица, вдругъ заговорила.

Сквозь всхлипыванья, которыя разрывали ей грудь,—я могъ только разслышать: — „Первый разъ... первый слышу такія слова... никто не говорилъ такъ со мною... Если вы добрый... спасите... спасите меня... не дайте мнѣ погибнуть!...“

Я былъ глубоко растроганъ и тутъ же обѣщалъ исполнить всѣ ея желанія. Послѣ того какъ она немного успокоилась, я подвелъ ее къ ручью, далъ ей напиться и повелъ подъ руку къ фіакру. Во все время пути тѣло ея судорожно вздрагивало; я чувствовалъ — у меня самого руки и ноги тряслись какъ въ лихорадкѣ.

Въ городѣ она не захотѣла, чтобы я подвезъ ее къ дому; когда я предложилъ ей руку, она снова отказалась взять ее и пошла рядомъ со мною.

Жила она въ отдаленномъ кварталѣ въ верхнемъ этажѣ большаго дома, гдѣ нанимала комнату въ семействѣ столяра; комната была крошечная, въ одно окно, смотрѣвшее на черепичныя кровли; вокругъ слышались дѣтскіе плачъ и крики, носился горько-кислый запахъ стирки; бѣдность обстановки била въ глаза: табуретъ вмѣсто стула, низкая узенькая желѣзная кровать, вѣшалка съ юбками и ситцевой кофтой; на комодѣ примѣтилъ я тарелку съ кускомъ ветчины и часть домашняго хлѣба. Сама она показалась мнѣ крайне смущенной, взволнованной, не знала положительно, что сказать. Чтобы скорѣе вывести ее изъ затрудненья,—я предложилъ отправиться обѣдать въ одинъ изъ загородныхъ ресторановъ и вмѣстѣ провести вечеръ.

Тамъ, послѣ обѣда, сидя въ глухой части сада, узналъ я ея исторію.

Исторія самая обыкновенная: отецъ пьяный мастеровой, мачиха, куча босыхъ дѣтей, нищета... Десяти лѣтъ отдали ее въ картонажное заведеніе съ уплатой въ мѣсяцъ по два талера, служившіе обыкновенно поводомъ къ потасовкамъ между отцомъ

и мачихой; каждому хотѣлось воспользоваться этими деньгами. Семнатцати лѣтъ она лишилась отца; вскорѣ послѣ того ее переманили на игрушечную фабрику въ тотъ большой городъ, гдѣ я ее встрѣтилъ. Жилось ей очень трудно,—но она была счастлива уже тѣмъ, что избавилась отъ мачихи.

Простодушная откровенность, съ которой она до-сихъ-поръ говорила, неожиданно измѣнила ей; старанія скрыть свою неловкость были очевидны, и я поспѣшилъ перевести разговоръ на самого себя. Съ умышленною веселостью сталъ я разсказывать разные случаи, встрѣтившіеся мнѣ во время путешествія. Она мгновенно оправилась, но намѣреніе мое остановить ее отъ дальнѣйшаго признанія и желаніе ее развлечь,—не ускользнули отъ ея вниманія. Слушая меня, она первый разъ, можно сказать,—стала внимательно прислушиваться къ моимъ словамъ, смотрѣть мнѣ прямо въ лицо и какъ бы успокоиваться въ моемъ присутствіи.

Въ ея чертахъ и взглядахъ изобразилось при этомъ столько простосердечія, столько хорошаго, добраго чувства, что у меня какъ рукой сняло набѣжавшія было дурныя мысли.

## IV.

Дальше кончилось вотъ чѣмъ: вмѣсто того, чтобы прожить въ этомъ городѣ нѣсколько дней, какъ прежде предполагалось,—я прожилъ въ немъ два съ половиной мѣсяца и съ каждымъ днемъ больше и больше привязывался къ этой дѣвушкѣ. Къ такому чувству, надо сказать, сильно также примѣшивалось чувство глубокаго состраданья; оно не давало мнѣ покоя. У меня положительно не хватало сердца оставить ее на произволъ судьбы; въ эти два съ половиной мѣсяца я убѣдился, насколько она въ этомъ дѣлѣ заслуживала сердечнаго участія. Все, что она видѣла и что испытала, какъ бы скользнуло по ней, не прикоснувшись къ ея уму и сердцу; къ удивленью моему, то и другое сохранило что-то дѣтское, простодушное въ связи съ прирожденной честностью.

Мысль о томъ, что ожидаетъ ее впереди, — что рано или поздно она должна будетъ погибнуть, — не оставляла меня на минуту.

Я по природѣ моей антиподъ Печорину и вообще ненавижу

ловеласовъ и Донъ-Жуановъ, у которыхъ вмѣсто сердца трепещетъ какая-то дикая кошка съ вѣчно выпущенными когтями. Съ другой стороны, привязанность моя начинала пугать меня. Чѣмъ дольше будетъ она продолжаться — думалъ я, — тѣмъ тяжелѣе будетъ разлука. Обезпечить ее настолько, чтобы спасти на всю жизнь отъ бѣдности, я не могъ; я тогда не владѣлъ еще моимъ состояньемъ; и наконецъ какъ ни былъ я увлеченъ, — я понималъ несообразность устроить судьбу женщины, случайно встрѣченной на пути; я началъ тогда самъ себя обманывать увѣреніями, что не устою противъ долгой разлуки; ее увѣрялъ, что скоро вернусь назадъ, скоро снова увидимся. Горьчѣе всего было мнѣ видѣть, какъ она, въ дѣтскомъ своемъ простодушіи, — всему искренно вѣрила.

Разлука у дверецъ вагона была тѣмъ не менѣе очень тяжела; сколько я ни крѣпился, я не могъ удержаться отъ слезъ, обнимая ее, — заплакалъ потому, можетъ быть, что она рыдала навзрыдъ, не стѣсняясь присутствующими.

Въ слѣдующемъ городѣ, при перемѣнѣ поѣзда, я случайно встрѣтился съ нашимъ общимъ товарищемъ Зарубинымъ; онъ также ѣхалъ въ Италію. Помните, что это былъ за славный малый: — и сердце хорошее, и умница большой! Мы другъ другу очень обрадовались и поспѣшили занять мѣсто рядомъ въ одномъ вагонѣ.

Подъ впечатлѣніемъ только-что испытанной разлуки, — я высказалъ ему обо всемъ случившемся, ничего не утаивая. Оглянувъ меня съ удивленьемъ, онъ слушалъ, сначала недовѣрчиво улыбаясь и пожимая плечами; вскорѣ однакожъ, убѣдясь, что то, что я высказываю, затрогивало меня глубже, чѣмъ ему прежде казалось, онъ сдѣлался внимательнѣе и серьезнѣе.

Мы пріѣхали въ Геную, остановились въ той же гостинницѣ и заняли общій номеръ.

Я не могъ сомкнуть глазъ во всю ночь; тоска невыразимая, капля за каплей, вливалась мнѣ въ душу. Разлука съ нею чувствовалась несравненно острѣе, чѣмъ наканунѣ; теперь только какъ бы вполнѣ сознавалъ я всю силу моей привязанности, сознавалъ весь ужасъ будущей судьбы покинутой дѣвушки. Къ утру безпокойство мое увеличилось до того, что Зарубинъ самъ встревожился и счелъ долгомъ приступить къ совѣтамъ и увѣщаніямъ. Но слова его, полныя дружескаго чувства и самыхъ

добрыхъ намѣреній, служили только какъ бы упрекомъ моему безсердечію. Онъ поспѣшилъ повести меня въ городъ. Къ общему нашему удивленію, городъ со всѣми его чудесами искусства, которыя мнѣ такъ давно хотѣлось видѣть, — не произвели на меня никакого впечатлѣнія. Я думалъ только о ней одной, напрягалъ память, стараясь припомнить только ея черты, глаза и волосы; мысленно слѣдилъ за ея движеніями и не могъ дать себѣ отчета, какъ достало у меня силы оставить ее, и ежеминутно проклиналъ свое благоразуміе.

На третій день я не выдержалъ: тайкомъ убѣжалъ отъ Зарубина, опасаясь его увѣщаній, явился на станцію желѣзной дороги и послалъ ей телеграмму съ извѣщеніемъ, что ѣду въ тотъ же вечеръ и завтра буду снова съ нею.

Возвратясь въ гостинницу, я тотчасъ же все разсказалъ Зарубину; онъ сначала широко развелъ руками, но вдругъ обнялъ меня и проговорилъ:

— „Ну... Ну Богъ съ тобой... Какъ знать! Быть можетъ, я сдѣлалъ бы то же самое!“

Во всю дорогу я находился въ лихорадочномъ состояніи. Оно усиливалось, по мѣрѣ того, какъ путь сокращался. Окрестные виды, разговоры сосѣдей, случайности пути, — на секунду не занимали моего любопытства. Я видѣлъ передъ собою только ея лицо и мысленно цѣловалъ съ жадностью ея пепельные волосы...

Приближаясь къ ожидаемому городу, поѣздъ сталъ замедлять ходъ и наконецъ въѣхалъ на станцію. Изъ открытаго вагона увидѣлъ я на платформѣ женщину, бѣгущую навстрѣчу и махающую платкомъ. Какъ я выскочилъ изъ вагона, не помню; помню только, я бросился обнимать ее съ бѣшеною горячностью; разсудокъ мой положительно помрачался отъ счастья. Видъ ея пробуждалъ во мнѣ такой внезапный порывъ страсти, какъ будто я любилъ ее и былъ любимъ ею не два мѣсяца, но цѣлые годы и встрѣчался съ нею послѣ долгой мучительной разлуки. Что она чувствовала, не знаю; передаю вамъ теперь мои собственныя ощущенія.

Съ этого дня мы уже не разставались.

## V.

Первою моею мыслью было увезти ее какъ можно скорѣе изъ этого города. Когда я сообщилъ ей объ этомъ, она вся просіяла отъ счастья и бросилась мнѣ на шею. Три дня спустя все было готово къ отъѣзду.

Мнѣ много разъ приводилось слышать разсказы о приморскихъ деревушкахъ въ Нормандіи; мы прямо туда отправились. Осенью рѣшено было ѣхать вмѣстѣ въ Петербургъ.

Въ Майнцѣ надо было однакожъ остановиться. Она начала вдругъ кашлять и неожиданно вся какъ-то ослабла. Но испугъ мой не былъ продолжителенъ. Докторъ объявилъ послѣ осмотра, что опасенія мои насчетъ простуды или предполагаемой грудной болѣзни неосновательны; онъ нашелъ однакожъ ея комплекцію вообще слабой, надорванной, требовавшей большой осторожности; внезапный упадокъ силъ объяснялъ онъ тѣмъ, что въ послѣднее время она перенесла, должно быть, сильное нравственное потрясеніе и, какъ натурѣ въ высшей степени нервной и впечатлительной, ей не прошло это даромъ.

Разсказы о нормандскихъ приходскихъ деревушкахъ превзошли мои ожиданія. Я нашелъ все то, что при тогдашнемъ душевномъ настроеніи было всего дороже: нашелъ полную тишину, почти безлюдье, дававшія возможность жить, какъ хотѣлось, не рискуя попасть на докучливыя встрѣчи и нескромные взгляды; нѣсколько буржуазныхъ семействъ, пріѣхавшихъ изъ окрестныхъ маленькихъ городковъ, составляли все общество. Я былъ въ восторгѣ.

Мы прожили такъ блаженствуя до половины сентября.

Къ концу этого срока я не могъ уже представить себѣ возможности жить безъ нея. Мимо физическаго обаянія, которое овладѣвало мною все сильнѣй и сильнѣй, не смотря на полное обладаніе, меня привязывали къ ней прекрасныя свойства характера. Рѣдкій день не радовала меня въ ней новая хорошая черта. Она положительно рождена была для мирной семейной жизни; наконецъ, самая ея природа, нѣжная, чуткая, деликатная, не выдержала бы другаго рода существованія.

Припоминая мрачную среду, окружавшую ея дѣтство и послѣдующую обстановку, я понять не могъ, какимъ образомъ могла

она сохранить столько хорошихъ качествъ? Извольте послѣ этого оспаривать могущество природныхъ инстинктовъ! Откуда они берутся, какъ сохраняются вопреки самыхъ неблагопріятныхъ жизненныхъ условій, — принадлежитъ къ неразгаданнымъ тайнамъ человѣческой природы.

До того времени, надо вамъ сказать, я не испытывалъ чувства любви, хотя, какъ говоритъ св. Августинъ: „любилъ любить...“ Между нами несравненно меньше людей, которые хотятъ и могутъ любить, чѣмъ такихъ, которые хотятъ только, чтобы ихъ любили. Вѣроятно, я принадлежу и къ тѣмъ, и къ другимъ потому, что самъ горячо любилъ и чувствовалъ на себѣ все блаженство быть искренно любимымъ. Я видѣлъ, какъ чувство это постепенно въ ней зарождалось и развивалось. Оба мы были какъ потерянные отъ счастья нашей встрѣчи, давшей намъ случай принадлежать другъ другу. Ни мнѣ, ни ей не приходила теперь, конечно, мысль возможности разлуки.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я нанялъ квартиру; я жилъ тогда съ отцомъ и иначе невозможно было устроиться. Время, конечно, я проводилъ съ нею. Надо было видѣть ея счастье, когда вдругъ очутилась она въ безбѣдной обстановкѣ, распорядительницей маленькаго хозяйства. Я уже говорилъ вамъ, она рождена была для семейной сферы. Любовь ея ко мнѣ просвѣчивала въ каждомъ ея движеніи, въ каждомъ словѣ; — говорю: просвѣчивала потому, что она не выражалась горячими порывами или страстными рѣчами. Между различными родами любви существуютъ, сколько я замѣтилъ, два главные рода; одинъ можно назвать горизонтальнымъ, другой—вертикальнымъ; ея чувство ко мнѣ принадлежало къ послѣднему, т. е. оно проходило въ глубину ея существа и оттуда уже распространялось, сообщая теплоту всему окружающему.

Кто знаетъ! быть можетъ, вмѣсто того, чтобы бесѣдовать, какъ мы теперь это дѣлаемъ, мы сидѣли бы точно также у меня, но съ нами была бы любимая мною женщина... Я тогда же думалъ открыть мою связь отцу и рѣшилъ соединить мою судьбу съ этой дѣвушкой. Предразсудковъ у меня никогда никакихъ не было, да и что за предразсудки, когда дѣло идетъ о счастіи жизни! Но всему этому, какъ видите, не суждено было осуществиться! Еще доказательство, какъ жалки мы, когда гордимся нашей волей и похваляемая нашимъ могуществомъ!

Разъ (это было въ серединѣ зимы), она цѣлый день жаловалась на головную боль; на слѣдующій день я замѣтилъ у нея какое-то угнетенное состояніе, боль усилилась, а къ вечеру она горѣла какъ въ огнѣ, лежала въ постели и бредила. Докторъ пока еще ничего не могъ опредѣлить съ точностью; но уже съ первыхъ его словъ мною овладѣло безпокойство. Предчувствіе меня не обмануло: на третій день у нея открылся тифъ.

## VI.

Съ этого дня я жилъ, точно одержимый тяжелымъ ударомъ. Мысль потерять ее положительно сводила меня съ ума. „За что? къ чему это?... зачѣмъ?... кому это нужно?...“ не переставалъ я повторять, глотая слезы, хотя зналъ, что Промыслу совершенно все равно, и человѣческія терзанія, горести и заботы встрѣчаютъ въ немъ полнѣйшее равнодушіе. Иногда мною овладѣвалъ паническій страхъ; я спѣшилъ выбѣжать на улицу, но всюду, куда ни уносили меня шаги, всюду встревоженное воображеніе рисовало передо мною отпечатокъ ея изнуреннаго лица, которое какъ бы уже не было ея прежнимъ лицомъ; похудѣвшія ея руки представлялись мнѣ вдругъ похолодѣвшими, и я бѣжалъ домой, задыхаясь отъ мысли, что, быть можетъ, не застану ее уже въ живыхъ. Всего ужаснѣе были ночи; имъ, казалось, конца не было; я спалъ не раздѣваясь подлѣ ея комнаты, прислушиваясь къ ея дыханію, теряя соображеніе о томъ, какъ протекало время. Разстроенные мои нервы пріобрѣли необыкновенную чуткость; неуловимое для слуха движеніе, звукъ въ сосѣдней комнатѣ, —наполняли меня тревогой, и я чувствовалъ, какъ ознобъ пробѣгалъ въ волосахъ моихъ; я быстро приподымался, подходилъ къ двери, прислушивался... Все было тихо, слышалось только ея слабое дыханье, и слезы сами собою капали изъ глазъ моихъ. Но возвращался ли я на прежнее мѣсто, прислушивался ли издали къ ея дыханью, или подходилъ къ ея изголовью, — во мнѣ жила одна только мысль: мысль, что, быть можетъ, не сегодня-завтра ея уже не будетъ у меня, она исчезнетъ, навсегда исчезнетъ; безъ возврата, *безъ возврата!* Какое страшное слово!!...

У меня не оставалось никакой надежды на ея спасеніе. Послѣ одного изъ консиліумовъ (это былъ послѣдній) одинъ изъ докто-

ровъ, котораго я прежде хорошо зналъ, подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за руку, и когда я вдругъ заплакалъ, проговорилъ мягкимъ голосомъ: „Все было испробовано... все... что жъ дѣлать!... вамъ надо успокоиться...“

Послѣдняя ночь особенно врѣзалась въ мою память. Ей стало какъ будто вдругъ легче. Надежда мгновенно возвратилась ко мнѣ. „Развѣ не часто случается докторамъ ошибаться!... быть можетъ, произошелъ переломъ болѣзни... они не предвидѣли этого...“ мелькнуло у меня въ головѣ, и я опрометью бросился за докторомъ.

Былъ седьмой часъ утра; свѣтъ едва начиналъ проникать морозную мглу, въ которой уныло открывались пустынныя петербургскія улицы. Какъ на зло, не было ни одного извощика; зову изо всѣхъ силъ,—никакого отклика... Тотъ только, кому приводилось переживать такія минуты, можетъ понять, въ какомъ я былъ тогда отчаяніи. Наконецъ, далеко уже отъ дома напалъ я на сани. Пріѣзжаю, взбѣгаю задыхаясь на лѣстницу, звоню; говорятъ: докторъ всю ночь провелъ у такого-то больного; беру адресъ (это было на другомъ концѣ города), вхожу; говорятъ: докторъ только-что уѣхалъ и прямо отправился въ клинику. Скачу на Петербургскую сторону; но меня, безъ умысла, конечно ложно, направили: доктора въ клиникѣ не было... Въ мучительной душевной тревогѣ возвращаюсь на минуту домой, чтобы узнать: что и какъ? но застаю ее... застаю ее уже мертвой!...

Избавлю васъ отъ дальнѣйшаго... проговорилъ разсказчикъ, махнувъ рукою и подавляя вздохъ.

## VII.

— Теперь, въ заключеніе моей исторіи, подхватилъ онъ послѣ минуты молчанія, — скажите мнѣ, въ свою очередь, что было бы лучше: послушаться тогда голоса благоразумія, не заходить такъ далеко, оставить эту дѣвушку проживать въ своемъ городѣ, думая, что рано или поздно она утѣшится, или поступить, какъ я сдѣлалъ, дать полную волю своему увлеченью?...

— Послѣднее, конечно, лучше! съ горячностью заговорилъ литераторъ, — въ тысячу разъ лучше!!.. Увлеченье твое накликало тебѣ много горя, но рядомъ также, благодаря ему, сколько

было пережито счастья! Не долгое время, правда, но ты жилъ полнымъ сердцемъ, любилъ и былъ любимъ, а это чего-нибудь да стоитъ! Ты лучше сдѣлалъ потому еще, что далъ пожить счастьемъ другому существу, обреченному судьбою никогда, можетъ быть, не знать счастья!... Прежде чѣмъ увлечься красивой симпатичной женщиной, тебя влекло къ ней чувство сожалѣнья, состраданья, глубокое человѣческое чувство! Довольно было бы одного этого для оправданья твоего увлеченья, даже въ томъ случаѣ, когда женщина, которую ты хотѣлъ спасти, оказалась бы недостойной всего того, что ты для нея сдѣлалъ!... Изъ твоей исторіи я вывожу также слѣдующее заключеніе: для отысканія истиннаго счастья съ женщиной, не существуетъ, какъ руководство, даже приблизительной теоріи вѣроятности; тутъ можно сказать безошибочно: не знаешь, гдѣ найдешь, — гдѣ потеряешь! Все основано на случайности. При встрѣчѣ съ женщиной, иногда остановишься, скажешь себѣ: какая у нея симпатичная наружность, и проходишь мимо, не подозрѣвая, что прошелъ, можетъ быть, именно мимо настоящаго своего счастья... Въ жизни все случай! И случай этотъ часто дальновидней и умнѣе нашихъ мудрствованій, предначертаній и обдуманныхъ плановъ...

— Замѣчаніе твое справедливо, вмѣшался инженеръ, — но чего я никогда не могъ понять въ исторіи любви, это—внезапнаго возбужденія страсти. Его увлеченіе (онъ указалъ на хозяина дома) было быстро, но тутъ все-таки чувствуется еще нѣкоторая постепенность: началось съ сожалѣнья, потомъ мало-по-малу втянулся, потомъ полюбилъ, все это понятно. Я говорю о тѣхъ случаяхъ, когда взглянулъ на женщину — и готово: завертѣлся турманомъ и хлопъ объ земь, какъ прострѣленный тетеревъ.

— Увлеченія этого рода однакожъ фактъ, — фактъ, не допускающій противорѣчія, сказалъ литераторъ; — примѣры внезапной страсти слишкомъ часто повторяются, чтобы можно было сомнѣваться въ ея возможности. Сколько помнится, въ литературѣ первый разъ изобразилъ ее Шекспиръ въ трагедіи „*Ромео и Юлія*“, — заставляя воскликнуть Ромео при первомъ взглядѣ на Юлію:

„Кто дама та, что подала сейчасъ
Синьору руку?!...
Такъ можетъ поразить
Лишь яхонтъ насъ, сверкающій на кожѣ
Нубіянки!... Нѣтъ на землѣ дороже
Сокровища!!...“

И когда, въ свою очередь, Юлія, увидавъ Ромео, спрашиваетъ у кормилицы: „кто этотъ кавалеръ?“ и узнавъ, что онъ изъ семейства Монтеки, говоритъ съ грустью:

„Какъ зло судьба сыграла
Со мной,—вселивъ къ врагу любовь въ меня!!...“

— Да, но это въ поэзіи...

— Въ поэзіи!!... Во-первыхъ, любезный другъ, поэзія Шекспира часто вѣрнѣе дѣйствительности, — и это нисколько не парадоксъ, подхватилъ литераторъ. Изображая то или другое душевное движеніе, онъ сосредоточиваетъ въ немъ такое множество однородныхъ чертъ, что ихъ совокупность составляетъ какъ бы квинтэссенцію изображаемаго чувства; вотъ почему, мнѣ кажется, иное душевное движеніе въ Шекспировской поэзіи сильнѣе насъ поражаетъ и на насъ дѣйствуетъ, чѣмъ еслибъ мы встрѣтились съ нимъ въ дѣйствительности; во-вторыхъ: желаешь историческихъ фактовъ? Изволь! Беру наобумъ первый, который приходитъ въ память: герцогиня Беррійская,—дочь регента Франціи,—самое балованное, капризное женское существо, когда-либо виданное; кромѣ того, женщина надменная до невозможности, искренно вѣрившая, что въ жилахъ ея течетъ голубая кровь, отличающая ее отъ остальныхъ смертныхъ; высота ея общественнаго положенія казалась ей недосягаемой; все, что ее окружало, преклонялось передъ ней, какъ передъ божествомъ, и обожало ее или притворялось обожающимъ... Вотъ однакожъ что̀ случилось: однажды во время прогулки застигла ее гроза; пошелъ ливень; она бросилась бѣжать, но на пути встрѣтилась лужа; ни направо, ни налѣво — обойти невозможно; перескочить было еще труднѣе. Въ числѣ сопровождавшихъ ее лицъ находился недавно поступившій къ ней въ свиту кавалеръ де-Ріомъ,— бѣдный офицерчикъ, весьма некрасивый собою: бѣлобрысый, съ красноватой кожей, коротенькаго роста и даже, по свидѣтельству лѣтописца герцога Сень-Симона, — съ прыщами на лицѣ! Не говоря дурнаго слова, Ріомъ стремительно бросается къ герцогинѣ и, прежде чѣмъ она успѣла опомниться, беретъ ее въ охапку немного ниже тальи и переноситъ черезъ лужу. Съ той минуты герцогиню точно опоили дурманомъ; она признавалась, — прикосновеніе Ріома огнемъ прошло во всемъ ея тѣлѣ; и днемъ и ночью она только имъ бредила; кончилось тѣмъ, что, забывъ гордость и величіе своего сана, она тайно съ нимъ обвѣнчалась,

терпѣливо переносила его капризы, покорялась ему, какъ послѣдняя раба. Другой такой же примѣръ разсказываетъ въ своихъ запискахъ Стендаль, писавшій въ двадцатыхъ—тридцатыхъ годахъ подъ псевдонимомъ *„Бейль“*. Катаясь однажды въ коляскѣ съ хорошенькой женщиной по улицамъ Берлина, — они встрѣтили красиваго молодаго лейтенанта, ѣхавшаго верхомъ. При первомъ взглядѣ на него, лицо спутницы Стендаля мгновенно разгорѣлось румянцемъ. Съ этой минуты ею овладѣла задумчивость и, вмѣстѣ съ нею, всѣ ея движенія выразили явное нервное безпокойство. Вечеромъ они поѣхали въ театръ. Тутъ, сидя въ ложѣ, она призналась Стендалю, что съ того времени, какъ произошла извѣстная ему встрѣча, она не знаетъ покоя, живетъ точно въ лихорадкѣ, а умъ ея занятъ постоянно однимъ лейтенантомъ. Она между тѣмъ никогда не имѣла случая обмѣняться съ нимъ словомъ. — „Еслибъ не робость, — говорила она, — я бы тогда же, какъ только вернулась домой, послала ему приглашенье“... Черты ея во время этихъ объясненій отражали всѣ признаки сильнаго страстнаго возбужденья. На другой день продолжалось то же самое. По прошествіи трехъ дней лейтенантъ, съ которымъ она успѣла познакомиться, выказалъ себя, вѣроятно, настолько глупымъ и ненаходчивымъ, что совершенно пересталъ занимать ее. Мѣсяцъ спустя, она не хотѣла о немъ слышать!...

— Послѣдніе два примѣра мнѣ понятны, сказалъ инженеръ, — дѣло объясняется здѣсь физическимъ влеченіемъ, какъ это было, напримѣръ, у другаго кавалера, — кавалера де-Гріе...

— Позволь, позволь... я снова долженъ остановить тебя, перебилъ литераторъ, — еслибъ у де-Гріе была къ Манонъ Леско только чувственность, какъ ты говоришь, книга аббата Прево не заслуживала бы большаго вниманья. Де-Гріе дѣйствительно находился подъ физическимъ обаяніемъ своей возлюбленной, но онъ присоединялъ къ этому любовь и прощеніе; прощенье! понимаешь! Оба эти чувства, такъ прекрасно выраженныя авторомъ, освѣщаютъ всю личность де-Гріе, заставляютъ прощать ему его слабости и ставятъ самую книгу въ число безсмертныхъ литературныхъ произведеній.

## VIII.

Припоминаю теперь другой случай, продолжалъ литераторъ, — онъ въ томъ же родѣ, но болѣе характерный, чѣмъ предыдущіе.

Его разсказываетъ свидѣтель, нѣкто Бодмеръ, нѣмецкій писатель конца восемнадцатаго и начала нынѣшняго столѣтія. Въ одномъ изъ германскихъ дворовъ и, кажется, чуть ли опять не въ Берлинѣ, находилась фрейлина — извѣстная въ то время красавица. Она соединяла съ красотой аристократическое имя, умъ, большое состоянье и блистала молодостью, ей было всего двадцать-три года. Во всей Германіи не было въ то время втораго экземпляра такой невѣсты. Въ ухаживателяхъ всякаго рода и настоящихъ влюбленныхъ недостатка не было; представлялись блестящія партіи; лица изъ высшей германской аристократіи добивались ея руки; она безразлично всѣмъ отказывала, говоря, что выйдетъ замужъ только по любви, но до сихъ поръ не понимаетъ этого чувства. Невозмутимость своего сердца приписывала она, не шутя, природному недостатку.

Однажды танцуетъ она на придворномъ балѣ съ какимъ-то кирасиромъ.

Съ этой минуты, разсказывала она потомъ, онъ овладѣлъ ею до такой степени, что все въ ней сосредоточилось въ тотъ вечеръ на одной цѣли: смотрѣть на него и наблюдать надъ тѣмъ, обращаетъ ли онъ на нее вниманіе; въ теченіе часа, онъ сталъ для нея дороже всего на свѣтѣ. Когда кончились танцы и король удалился въ свои комнаты, кирасиръ ушелъ изъ дворца вмѣстѣ съ другими офицерами. Смертная тоска овладѣла ею, какъ только онъ скрылся изъ ея глазъ. Ничто не могло ее утѣшить и, возвратясь домой, она призналась близкимъ лицамъ, что въ эту ночь дорого заплатила за свою гордость и холодность. Страсть, внезапно ею овладѣвшую, объясняла она дѣйствіемъ высшей какой-то власти. Она не находила словъ, чтобы приблизительно даже высказать, какимъ образомъ одинъ *его видъ* приводилъ въ безпорядокъ все ея существо какъ физическое, такъ и умственное. „Еслибъ, говорила она,— съ первыхъ словъ, какъ началось наше знакомство, онъ сдѣлалъ бы мнѣ вопросъ: обожаете ли вы меня?— я не въ силахъ была бы удержаться и отвѣтила бы немедленно: *да!* Въ помыслахъ моихъ не было, чтобъ страсть могла родиться такъ быстро; я серьезно начинала думать, что была опоена какимъ-нибудь зельемъ!“

Послѣдствія были такія, что вскорѣ весь дворъ, весь городъ узнали о ея связи; произошелъ ужаснѣйшій скандалъ. Исторія эта имѣла трагическій конецъ, о которомъ говорила тогда вся Гер-

нія. Сама ли она отравилась, или была отравлена любовникомъ, — осталось тайной.

Слѣдуетъ теперь спросить: въ чемъ же собственно заключались чары того кирасира? Чѣмъ могъ онъ вдругъ сокрушить такую невозмутимо-холодную красавицу? Сдѣлавъ себѣ, вѣроятно, тотъ же вопросъ, Бодмеръ, — свидѣтель всей этой исторіи, — прибавляетъ: „что жъ касается этого офицера, онъ отличался тѣмъ только, что ловко танцовалъ, былъ веселъ, самоувѣренъ, — едвали даже былъ благороднаго происхожденія и приглашался ко двору только по списку въ качествѣ танцора...“

## IX.

— Не менѣе интересный примѣръ такого рода увлеченья представляетъ Байронъ; это происходило, кажется, въ 1817 году, когда онъ проживалъ въ Венеціи. Знакома вамъ его исторія съ Маргаритой Коньй?

Нѣкоторые изъ присутствующихъ что-то припоминали, но не ясно, другимъ исторія была неизвѣстна.

— Трудно, кажется, предположить, продолжалъ литераторъ, — чтобы Байронъ, — этотъ праправнукъ Донъ-Жуана и чуть ли не родной дядя нашего Печорина, — способенъ былъ покориться женщинѣ до такой степени, чтобы быть у нея въ повиновеніи, заставить молчать свое чудовищное самолюбіе, — словомъ, быть подъ башмакомъ. Такъ однакожъ случилось, и самое курьезное въ томъ, что женщина эта была ни больше, ни меньше, какъ самая простая венеціанская мѣщанка-булочница по профессіи; звали ее: Маргарита Коньй. Байронъ встрѣтилъ ее случайно, затащилъ во дворецъ Мончѐниго, который нанималъ для себя и многочисленной своей прислуги — и съ этого дня сдѣлался совершенно ея рабомъ. Неуживчивость и строптивость нрава, надменность и деспотическое чувство, сколько разъ выказанное имъ къ другимъ прекраснѣйшимъ женщинамъ, — все это какъ-бы рукой сняло. Онъ исполнялъ безпрекословно малѣйшіе капризы венеціанки, терпѣливо сносилъ ея вспышки и часто грубыя оскорбительныя выходки. Такъ, отправился онъ какъ-то въ гондолѣ на Лидо; неожиданно налетѣла буря, и онъ чуть не погибъ въ лагунахъ. Маргарита оставалась дома. Предвидя опасность, она пришла въ

неописанное волненіе: не покидая ни на секунду лѣстницы дворца, спускавшейся въ большой каналъ, она бросала во всѣ стороны растерянные взгляды, то и дѣло посылала проклятія и небу, и самому Байрону. Увидавъ наконецъ ожидаемую гондолу съ сидѣвшимъ въ ней благополучно Байрономъ, она дала ему подойти къ лѣстницѣ; не успѣлъ онъ еще поставить ногу на ступень, она какъ тигрица вцѣпилась въ его плащъ и, не обращая вниманія на гондольеровъ и выбѣжавшую прислугу, прокричала бѣшенымъ голосомъ: „Ахъ ты, колчаногая собака св. Мадонны! Не нашелъ лучшаго времени, чтобы ѣхать на Лидо!?...“ Онъ смиренно смолчалъ; кромѣ того, былъ въ восторгѣ отъ ея встрепанныхъ волосъ и возбужденнаго выраженія на лицѣ. Въ одномъ изъ писемъ къ Томасу Медвину онъ такъ выражается, говоря о Маргаритѣ: „долгое время я былъ ею подавленъ; часто сопротивлялся я такому вліянію, но никогда не могъ побѣдить его!...“ Ясно, кажется!

Вы можете мнѣ замѣтить, я привожу слабыя доказательства, такъ какъ до-сихъ-поръ выставлялъ случаи, въ которыхъ главную роль играли эксцентрическія личности; но что же дѣлать, когда такія личности были всегда на виду, всегда всѣхъ занимали и о нихъ всегда больше говорилось. Нѣтъ никакого сомнѣнія, въ жизни самыхъ обыкновенныхъ, незамѣтныхъ смертныхъ встрѣчаются тѣ же примѣры. Какъ знать! Быть можетъ, на этой самой улицѣ, въ этомъ домѣ, подлѣ насъ, за этой стѣной, находится женщина или мужчина, подавленные въ настоящую минуту увлеченіемъ такого рода.

## X.

Порывы эти объясняются такимъ образомъ: въ то время, какъ въ одномъ изъ тайниковъ нашей природы начинаетъ зарождаться стремленіе одного пола къ другому, въ другомъ тайникѣ,— въ мозгу ли, въ душѣ ли, неизвѣстно,— происходитъ другая работа: туда налетаютъ и тамъ постепенно складываются мечтательные образы, иногда отдѣльныя черты, отвѣчающія инстинктивно нашимъ прирожденнымъ вкусамъ и симпатіямъ. Я не спиритъ, но охотно готовъ вѣрить, что симпатіи эти приходятъ къ намъ не съ вѣтра, но основаны на дальнемъ сродствѣ лицъ... При встрѣчѣ лица эти какъ словно гдѣ-то прежде видѣлись, были знакомы,

близки другъ другу... Встрѣчи двухъ симпатичныхъ натуръ, какъ бы созданныхъ одна для другой, — рѣдкость въ дѣйствительной жизни; чаще всего, одному изъ двухъ — мужчинѣ или женщинѣ — выпадаетъ на долю быть жертвой, — жертвой потому, что чѣмъ сильнѣе влеченье, тѣмъ, конечно, чувствительнѣе отсутствіе взаимности. Но все равно, стоило *ей* или *ему* случайно встрѣтить образъ, который самъ собою подготовлялся и назрѣвалъ въ душѣ, чтобы произошло то, насчетъ чего ты выразился: завертѣлся турманомъ и хлопъ объ земь... Красота, надо замѣтить, играетъ здѣсь второстепенную роль. „Не по-хорошу милъ — по-милу хорошъ!“ говоритъ глубокомысленная русская пословица. Можно признать за фактъ, что истинныя красавицы и красавцы меньше всего увлекали; отъ нихъ вѣетъ большею частью холодомъ. Можно думать, природѣ надо было придать имъ такое свойство съ цѣлью ослабить, уравновѣсить вліяніе красоты; и наоборотъ, она сообщаетъ нѣкоторымъ, какъ бы избраннымъ женщинамъ-дурнушкамъ и мужчинамъ въ родѣ Ріома чарующую притягательную силу. Ею объясняются множество случаевъ самыхъ безумныхъ увлеченій, которыя, на первый взглядъ, ставятъ въ тупикъ и совершенно непонятны. У женщинъ этой категоріи обыкновенная притягательная женственная сила какъ-бы удесятеряется; она проникаетъ каждый ихъ суставчикъ, каждый волосокъ и отдѣляетъ отъ нихъ какую-то магнетическую, сладко-одуряющую, чарующую атмосферу. Нѣкоторые мужчины одарены, надо полагать, такимъ же притягательнымъ свойствомъ относительно женщинъ.

Прибавьте теперь къ этому тайную симпатію, и ясно будетъ, какъ отъ одного взгляда можетъ произойти тотъ взрывъ чувствъ, который побѣждаетъ въ насъ иногда и разумъ, и волю.

Внезапность такихъ порывовъ такъ обыкновенна и естественна, что для нихъ существуетъ спеціальный терминъ у каждой почти націи; у французовъ они извѣстны подъ названіемъ: „пистолетнаго выстрѣла“; нѣмцы выражаютъ ихъ словомъ: „пафъ“; итальянцы словами: „amore subito“, и т. д. Одни объясняютъ ихъ дѣйствіе „мгновенной кристаллизаціей чувствъ“; другіе, какъ напримѣръ Бальзакъ, „цѣпкостью сродныхъ атомовъ“ и т. д.

## XI.

Кстати о Бальзакѣ! Извѣстно ли вамъ, какъ этотъ истинно замѣчательный наблюдатель надъ внутренними движеніями нашей

природы самъ сдѣлался жертвой тѣхъ „цѣпкихъ атомовъ“, о которыхъ такъ тонко и мѣтко говорилъ, описывая страсти своихъ героевъ? Вотъ эта исторія: путешествуя въ сороковыхъ годахъ по Швейцаріи, остановился онъ въ Невштателѣ и занялъ номеръ въ гостинницѣ. Окна его выходили на дворъ, окруженный флигелями той же гостинницы. Утромъ отворяетъ онъ окно въ ту самую минуту, какъ въ окнѣ противоположнаго фасада показывается молодая женщина. Мнѣ памятны выраженія его письма къ сестрѣ, г-жѣ Сюрвиль, которой описываетъ онъ этотъ эпизодъ. Собраніе его писемъ недавно вышло въ печати, и я надняхъ еще перечелъ ихъ; вотъ почти подстрочно, что онъ разсказывалъ сестрѣ: „Странное волненіе овладѣло мною при первомъ взглядѣ на эту даму; всю кровь мою какъ бы притянуло вдругъ къ сердцу; казалось мнѣ: умъ мой помрачается, и я теряю сознаніе...“ Дама эта, узнавъ о сосѣдствѣ Бальзака, захотѣла съ нимъ познакомиться. При свиданіи съ нею, онъ, несмотря на большую привычку къ женскому обществу, до того растерялся, что не могъ выговорить слова. Остатокъ дня провелъ онъ въ совершенномъ отчаяньи, поминутно повторяя: „что она должна теперь обо мнѣ думать?!..“

Дама эта была госпожа Гàнска, урожденная княжна Ржевуцкая, — сдѣлавшаяся восемнадцать лѣтъ спустя, послѣ кончины мужа, — женою великаго писателя. Въ теченіе восемнадцати лѣтъ, впечатлѣніе послѣ перваго взгляда не только не ослабло, но еще усилилось; это видно изъ его писемъ къ ней и къ роднымъ. Обвѣнчавшись съ нею, онъ болѣе чѣмъ когда-нибудь находился подъ ея обаяніемъ. Письмо, въ которомъ онъ извѣщаетъ мать о своей женитьбѣ, глубоко трогательно. Я помню его почти отъ слова до слова, потому что все, что касается Бальзака, всегда было близко моему сердцу. Онъ пишетъ: — „Наконецъ я соединенъ съ единственной женщиной, которую страстно любилъ, люблю и буду любить до конца моей жизни. Соединеніе это, — награда отъ Промысла за столько пережитыхъ горестей, мучительныхъ испытаній всякаго рода и мою трудовую жизнь. Женитьба моя доказываетъ вамъ, что долгія страданія не пропадаютъ даромъ у Промысла, и рано или поздно онъ ихъ вознаграждаетъ...“

Бальзакъ поспѣшилъ выхвалять заботу и справедливость Промысла; за восемнадцать лѣтъ постоянства и горячей любви Промыслъ далъ ему всего шесть мѣсяцевъ пользоваться счастьемъ.

Бальзакъ женился въ мартѣ 1850 года, а скончался въ августѣ того же года.

## XII.

Другой варіантъ дѣйствія „пистолетнаго выстрѣла“, или „цѣпкости родственныхъ атомовъ“ произошелъ съ однимъ моимъ знакомымъ, занимающимъ теперь мѣсто консула, но до того времени проводившимъ время въ путешествіяхъ.

Отправлялся онъ разъ моремъ изъ Чивитта-Веккіо въ Неаполь. Пароходъ отходилъ въ шесть часовъ послѣ обѣда. Вечеръ былъ одинъ изъ тѣхъ волшебныхъ вечеровъ, какіе бываютъ на берегахъ Средиземнаго моря въ маѣ мѣсяцѣ: лучезарное небо, легкія пушистыя облачка, гладкое серебристое море съ отраженіями густо-синяго цвѣта подъ лодками и скалами; вездѣ вокругъ блескъ, яркія краски и тепло... Подлѣ парохода продавцы цвѣтовъ и апельсиновъ, стоя въ лодкахъ, шумно и весело предлагали свой товаръ; на палубѣ также шумѣли и суетились; но и здѣсь солнце освѣщало веселыя и оживленныя лица. Было во всемъ этомъ, говорилъ мой знакомый,—что-то праздничное, располагавшее мысли и душу къ счастью и восторженности.

Въ такомъ настроеніи стоялъ онъ у борта, посматривая на море и гавань, когда вниманіе его привлекла лодка, приближавшаяся къ пароходу; въ ней, между чемоданами и саками, сидѣли мужчина и женщина. Онъ не могъ разсмотрѣть ихъ лицъ; они подплывали съ солнечной стороны, и блескъ моря ослѣплялъ глаза. Наконецъ лодка остановилась у парохода, и мой знакомый, движимый безсознательнымъ любопытствомъ, пошелъ навстрѣчу новымъ пассажирамъ.

На палубѣ показалась женщина. При видѣ ея,—разсказывалъ мой знакомый,—онъ весь вдругъ вспыхнулъ, какъ это бываетъ отъ неожиданнаго испуга. Впечатлѣніе было такъ сильно, что онъ нѣсколько секундъ стоялъ какъ ошеломленный, забывая посторониться, чтобы дать ей дорогу, забывая присутствіе ея спутника, показавшагося за ея спиною. Наружность ея была впрочемъ довольно своеобразна: волосы ея, темно-краснаго цвѣта съ золотистыми отливами, обременяли ея маленькую головку; она сняла шляпку, когда подымалась на трапъ парохода, и непокорныя пряди, распустившись на воздухѣ, принимали на солнцѣ видъ

ореола, въ которомъ сверкая играли золотыя нити; блѣдное, нѣсколько продолговатое лицо оживлялось свѣтлыми черными глазами; они щурились отъ свѣта, но весело мигали изъ-подъ черныхъ тонкихъ бровей. Все въ ней дышало жизнью и молодостью; ей не могло быть болѣе восемнадцати лѣтъ. Ощущенія беззаботнаго довольства и счастія, наполнявшія минуту передъ тѣмъ грудь моего знакомаго, разлетѣлись какъ дымъ. Ихъ замѣнило одно чувство: страстное, непреодолимое желаніе приблизиться къ ней, любоваться ею, слышать ея голосъ. Рядомъ съ этимъ и также внезапно, признавался онъ, пробуждалось въ немъ озлобленіе, даже ревность къ ея спутнику; вскорѣ оказалось—онъ былъ ея мужемъ. Они были женаты всего мѣсяцъ и совершали свадебную прогулку.

Знакомый мой судилъ, по всей вѣроятности, пристрастно, но, по его описанію, дѣйствительно нельзя было безъ досады видѣть сочетаніе милой молоденькой женщины съ такимъ мужемъ.

Онъ представлялъ квинтэссенцію типа нѣмца изъ сѣверныхъ провинцій, нѣмца, заквашеннаго на какой-то холодной кислотѣ съ примѣсью золотухи, рубцы которой виднѣлись на его длинной крученой шеѣ.—„Когда я увидѣлъ эти рубцы, говорилъ мой знакомый,—я готовъ былъ броситься на него и задушить его тутъ же на мѣстѣ.“ Къ этимъ физическимъ качествамъ мужъ присоединялъ сорокалѣтній возрастъ, маленькій ростъ, очки на больныхъ глазахъ и красноватое темя, кой-гдѣ прикрытое гладко прилизанными жиденькими волосами шафраннаго оттѣнка.

Комическая ненависть, внезапно овладѣвшая моимъ знакомымъ къ нѣмцу, была подавлена однакожъ настоятельнымъ желаніемъ вступить въ разговоръ съ его женою. Но дѣло плохо клеилось; на всѣ попытки завязать бесѣду нѣмецъ упорно отмалчивался; жена нерѣшительно поглядывала на мужа и какъ будто робѣла. Замѣтно было однакожъ по ея глазамъ, она иногда какъ бы оживлялась, слушая разсказы незнакомца, который, чѣмъ далѣе, тѣмъ больше одушевлялся и становился краснорѣчивѣе.

Прошло уже часа два или три, какъ пароходъ отвалилъ отъ берега; ночь обняла небо; въ темно-синемъ мракѣ серебрилась морская гладь; тишину нарушалъ только равномѣрный плескъ пароходнаго винта.

Мужъ, который прежде еще, какъ только сѣло солнце, поспѣшилъ надѣть теплое пальто и завернуть шею въ кашне, на-

чалъ теперь жаловаться на свѣжесть. Напрасно жена увѣряла, что ночь тепла и воздухъ мягокъ, какъ бархатъ; онъ объявилъ, что чувствуетъ ознобъ, боится лихорадки и находитъ благоразумнѣе провести ночь въ каютѣ; онъ приподнялся съ мѣста, церемонно раскланялся и направился къ трюму, давъ впередъ пройти женѣ.

Дѣйствительно ли такъ было, или такъ только показалось моему знакомому, но во взглядѣ, брошенномъ ею на прощанье, онъ прочелъ какъ бы сожалѣнье. Въ порывѣ какой-то безумной надежды, онъ воспользовался минутой и отвѣтилъ ей, прижавъ обѣ ладони къ сердцу. Она быстро отвернулась. Надежды мгновенно исчезли. Расхаживая по палубѣ, онъ предавался самымъ малодушнымъ несообразнымъ мечтамъ, чувствовалъ себя искренно несчастнымъ человѣкомъ, и вдругъ все въ немъ снова ожило и засіяло, когда на поворотѣ, неожиданно, встрѣтился съ нею. Онъ не сомнѣвался, что она вернулась на палубу, движимая любопытствомъ, кто знаетъ! быть можетъ сочувствіемъ... Легко можетъ быть, онъ не ошибался, къ чему иначе было бы ей возвращаться на палубу и искать съ нимъ встрѣчи! Не нужно быть вовсе кокеткой, чтобы желать нравиться; въ самой честной женщинѣ невольно пробуждается любопытство къ мужчинѣ, когда она замѣтила, что сдѣлала на него благопріятное впечатлѣніе; всѣ женщины въ этомъ случаѣ прозорливы и ясновидящія. Въ порывѣ благодарности, знакомый мой чуть было тутъ же не упалъ къ ея ногамъ.

Онъ не помнилъ рѣшительно, о чемъ говорилъ съ нею въ эти часы, проведенные ночью, сидя рядомъ на палубѣ; помнилъ только, что никогда ни прежде, ни послѣ не любилъ съ такой страстью; помнилъ также, что, кутая ее въ пледъ и почувствовавъ форму ея плечъ, его бросило въ жаръ и холодъ, точно онъ первый разъ въ жизни прикасался къ женщинѣ; онъ совершенно обезумѣлъ отъ страстнаго желанія обладать ею. Она во все время мало говорила, казалась больше удивленной, но ее, очевидно, что-то приковывало къ мѣсту. Она, безъ сомнѣнія, сама невольно покорялась обаянію новаго невѣдомаго для нея ощущенія; дрожь, пробѣгавшая время отъ времени въ ея тѣлѣ, измѣняла ей. Онъ между тѣмъ, въ разгоряченномъ воображеніи, нѣсколько разъ мысленно порывался въ каюту съ тѣмъ, чтобы убить мужа, тайкомъ выбросить его за бортъ, вѣрилъ совершенно

искренно, что рука его при этомъ не дрогнетъ; съ такою же искренностью, не справляясь даже съ ея согласіемъ, мечталъ о томъ, какъ, тотчасъ же по пріѣздѣ въ Неаполь, спрячетъ ее ото всѣхъ, увезетъ куда-нибудь далеко, далеко... Не шутя даже думалъ отправиться съ нею на какой-нибудь необитаемый островъ.

На этомъ застало ихъ восходящее солнце, и надо было разстаться. Вскорѣ показался Каири, за нимъ открылся Неаполь; началась на палубѣ обычная суета, предшествующая высадкѣ на берегъ; не успѣлъ пароходъ бросить якорь, какъ уже десятки лодокъ обступили его со всѣхъ сторонъ.

Но тутъ произошелъ случай, о которомъ, даже много лѣтъ спустя, мой знакомый не могъ говорить безъ негодованія; какъ это произошло, онъ не могъ растолковать себѣ. Пока онъ возился въ своей каютѣ, нѣмецъ и жена его словно въ воду канули; вѣроятно, у нихъ все уже было готово, они сѣли въ первую подъѣхавшую лодку и отправились на берегъ. Моему знакомому показалось даже, онъ видѣлъ, какъ они приближались къ пристани. Онъ стремглавъ бросился за ними, понукалъ гребца, обѣщалъ ему денегъ,—все было напрасно. Онъ вышелъ изъ гостинницы, не давъ себѣ времени оправиться, и побѣжалъ ихъ отыскивать. Къ сожалѣнію, въ пылу ночной бесѣды, онъ не подумалъ узнать ея фамилію, не спросилъ, гдѣ они остановятся въ Неаполѣ, куда ѣдутъ, не справился даже, гдѣ мѣсто постояннаго ихъ жительства. До поздняго вечера объѣхалъ онъ всѣ гостинницы, всѣ меблированныя квартиры, — нигдѣ ни слуху и духу. Въ теченіе нѣсколькихъ дней, съ утра до поздней ночи, не покидалъ онъ главныхъ улицъ, въ надеждѣ встрѣтиться съ ними— и встрѣчалъ только толпы незнакомыхъ лицъ. Словомъ, она мелькнула передъ нимъ, какъ въ волшебномъ снѣ,—и такъ же быстро исчезла,—не исчезла только въ его памяти. Онъ говорилъ:—ни одна женщина не произвела на него такого сильнаго впечатлѣнья; до-сихъ-поръ рѣдкій день, когда онъ не вспоминаетъ ее; стоитъ ему закрыть глаза, — она мгновенно является передъ нимъ какъ живая, съ ея свѣтлыми глазами и золотистымъ ореоломъ вокругъ головы...

Говоря это, онъ всякій разъ принимался расхаживать большими шагами, волновался, и краска выступала на лицѣ его.

## XIII.

Если вамъ не довольно этихъ исторій, могу разсказать вамъ еще одну, но уже коротенькую, въ которой главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ вашъ покорнѣйшій слуга.

— Какъ?!.. Что?! Можетъ ли быть! Ты намъ никогда ничего о себѣ не разсказывалъ... раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Не разсказывалъ, потому что къ случаю не приходилось; теперь, — благо мы на ходу, — извольте. Произошло это также довольно давно, въ молодости, вскорѣ послѣ того, какъ я вышелъ изъ университета, и мы въ первый разъ разъѣхались. Жилъ я тогда въ деревнѣ подъ Москвою, но часто пріѣзжалъ въ городъ повидаться съ однимъ семействомъ, которое считалъ все равно какъ своимъ. Оно доводилось мнѣ даже нѣсколько сродни по матери. Съ дѣтьми этого семейства, — двумя дочерьми и сыномъ, — я былъ связанъ съ самаго дѣтства. Мы продолжали говорить *ты*, — и называть другъ друга по имени, послѣ того даже, какъ дѣвушки выпущены были изъ института. Одна изъ нихъ, — Нина, вскорѣ вышла замужъ. Мужъ и жена пожили годъ и разъѣхались. Единогласно всѣ его обвиняли. Неожиданно получаю отъ Нины письмо; она извѣщала меня, что, послѣ исторіи съ мужемъ, ѣдетъ къ себѣ въ деревню съ тѣмъ, чтобы продать ее и на вырученныя деньги, думаетъ на нѣсколько лѣтъ по крайней мѣрѣ, переселиться заграницу. Въ концѣ письма была приписка; она просила, — если для меня не слишкомъ затруднительно, — пріѣхать въ Москву проститься съ нею. Проѣхать сорокъ верстъ бездѣлица; отправился утромъ, — въ полдень былъ въ Москвѣ и, сидя съ нею, бесѣдовалъ объ ея нѣсколько рискованныхъ планахъ; родные раздѣляли мое мнѣніе; но она никого не хотѣла слушать, выставляя на видъ свое теперешнее независимое положенье. Въ тотъ же день мы вмѣстѣ обѣдали въ ея семействѣ.

Вечеромъ, часовъ около восьми, она попросила меня проводить ее къ старой тёткѣ, съ которой также хотѣла проститься передъ отъѣздомъ. Тётка жила на другомъ концѣ города; чтобы попасть къ ней, надо было пройти чуть ли не всѣ бульвары.

Солнце уже скрылось, когда мы вышли на улицу; но въ воздухѣ было нестерпимо жарко и душно какъ въ банѣ. Я забылъ вамъ сказать, все это происходило въ серединѣ іюля. Къ духотѣ

присоединялась еще знаменитая московская пыль; ее, какъ вамъ извѣстно, въ теченіе дня приподымаютъ сотни тысячъ экипажей, а къ вечеру она снова садится рыжеватымъ облакомъ, сгущая сумерки и окончательно заслоняя глубину улицъ. Мы не сдѣлали ста шаговъ и принуждены были снять перчатки, прилипавшія къ рукамъ.

Перспектива просидѣть часъ со старой тёткой въ душной комнатѣ, въ которой, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, не отворялись окна и гдѣ теперь положительно должно было быть невыносимо, мало меня соблазняла. Подлѣ дома тётки я упросилъ мою спутницу войти, а самъ сказалъ, что буду ждать ея возвращенія противъ подъѣзда на первой бульварной скамейкѣ.

Замѣтьте, господа, здѣсь наступаетъ главный пунктъ моей исторіи. Имѣйте постоянно въ виду мои отношенія къ Нинѣ съ самаго дѣтскаго возраста и до настоящей минуты. Часто, правда, вмѣстѣ съ ея братомъ, сестрой и другими родными и близкими знакомыми, я любовался ея миловидностью и граціей, но мнѣ въ голову не приходило соблазняться тѣмъ и другимъ, какъ могъ бы это сдѣлать посторонній мужчина; привычка ее видѣть, привязанность моя къ ней, все равно, какъ къ сестрѣ, не имѣли никакого дѣйствія на мое воображеніе. Ожидая ея возвращенія такъ же спокойно, какъ еслибъ былъ ея роднымъ братомъ, я мысленно бранилъ ея мужа, который, обладая такой милой женщиной, могъ завести себѣ любовницу: думалъ о пользѣ развода, который давалъ ей возможность вторично выйти замужъ и быть счастливой, сожалѣлъ о ея рѣшимости продать деревню, уѣхать заграницу, разстаться со своими,—рѣшимости, очевидно, вызванной чувствомъ перенесеннаго оскорбленія, и т. д.

Часъ спустя, тѣ же самыя мысли служили темой нашей бесѣды, во время нашего возвращенія домой, по крайней мѣрѣ, на добрую половину пути. Она во многомъ соглашалась со мною, иногда спорила, но казалась такой же спокойной, какъ я самъ былъ въ то время. На второй половинѣ пути произошла перемѣна: мысли ея неожиданно приняли грустное направленіе; она сдѣлалась задумчивѣе, молчаливѣе; самый голосъ ея какъ бы упалъ, и дыханіе становилось тяжелѣе. Меня самого начинало тѣснить странное чувство, — не то тоски, не то странной неловкости; въ первый разъ началъ я при ней прiискивать слова и выраженія. Мы говорили теперь о предстоящей разлукѣ: завтра я долженъ былъ воз-

вратиться къ себѣ въ деревню; она уѣзжала также завтра или день спустя. „Когда-то Богъ приведетъ теперь свидѣться... Какъ, право, играетъ нами судьба! Соединитъ людей; привыкнешь, сроднишься, полюбишь... и вдругъ, возьметъ и такъ же равнодушно оторветъ близкихъ другъ отъ друга... Прости-прощай!... Быть можетъ, съ тѣмъ, чтобы никогда уже больше не встрѣтиться...“

Бесѣдуя такимъ образомъ и почему-то оба замедляя шагъ, мы незамѣтно подошли къ дому ея родителей.

На улицѣ и на бульварѣ было совершенно тихо; вокругъ ни души; въ пыльной туманной мглѣ дальняго горизонта выплывалъ передъ нами багровый шаръ полнаго мѣсяца...

Мы сдѣлали нѣсколько шаговъ, остановились и начали прощаться. Я взялъ ея обѣ руки и растроганный, при видѣ слезъ, которыя неожиданно закапали изъ ея глазъ, наклонился, чтобы поцѣловать ее и вдругъ... вдругъ, самъ не знаю, какъ это случилось, мы бросились другъ другу въ объятія и начали цѣловаться уже не какъ братъ съ сестрой, но горячо и сладко, какъ самые страстные любовники...

Два дня спустя, вечеромъ, она выѣхала изъ Москвы и на второй станціи, уже ночью, пересѣла въ тарантасъ, въ которомъ я ждалъ ее весь дрожа отъ нетерпѣнья обхватить ее руками и засыпать поцѣлуями... Мы прямо покатили на южный берегъ Крыма.

И странное дѣло! женщина, которую, повторяю вамъ, привыкъ я видѣть двадцать лѣтъ, съ которой равнодушно просиживалъ иногда наединѣ цѣлые вечера,—сдѣлалась теперь предметомъ ненасытной, бѣшеной страсти. Я любовался каждымъ ея пальчикомъ, какъ будто никогда прежде не видалъ ея руки, приходилъ въ неописанный восторгъ, когда она при мнѣ распускала свои волосы, не могъ представить себѣ родимаго пятнышка на правой сторонѣ ея плеча, безъ того, чтобы тотчасъ же не овладѣло мною желаніе прикоснуться къ нему губами; считалъ блаженствомъ цѣловать ея ноги... Мы не волновались, какъ прежде, смутнымъ желаніемъ обладанія; обладаніе было полное и безграничное; но и тутъ воображеніе не оставляло насъ обоихъ въ покоѣ; мы какъ будто еще чего-то ждали, чего-то отыскивали другъ въ другѣ... словомъ, совершенно безумствовали...

## XIV.

— Чѣмъ же все это кончилось? спросилъ хозяинъ дома.

— Увы! чѣмъ обыкновенно кончаются связи, основанныя только на физическомъ влеченьи, подогрѣтомъ юношескимъ воображеньемъ! Внутреннихъ, настоящихъ симпатій между нами не было... Этимъ, можетъ быть, и объясняется взаимное равнодушіе до той минуты, когда оба внезапно увлеклись другъ другомъ. Она вѣрила въ возможность постояннаго обожанія и деспотически отъ меня его требовала; на меня, какъ теперь, такъ и въ молодости, находили иногда, безъ всякой причины, минуты хандры и нервнаго раздраженія; при первомъ капризѣ съ моей или съ ея стороны,—хорошенько не помню, вышла сцена; оба не выдержали, и разстались, разстались не какъ любовники, которыхъ ссора крѣпче иногда связываетъ, но окончательно разстались. Тамъ, гдѣ главную роль играетъ воображеніе,—всегда непрочно: покажетъ чудеса въ рѣшетѣ, подойдешь ближе—и нѣтъ ничего!

— Нѣтъ, господа, если ужъ дѣло коснулось воображенія, или, вѣрнѣе, странностей, которыя происходятъ отъ дѣйствія разыгравшагося воображенія, у меня есть исторія... сказалъ инженеръ, причемъ лица присутствующихъ, сохранявшія до сихъ поръ болѣе или менѣе серьезное или внимательное выраженіе, вдругъ оживились, и глаза у всѣхъ повеселѣли.

Всѣмъ хорошо былъ извѣстенъ характеръ его разсказовъ, приправленныхъ всегда избыткомъ красокъ, парадоксами, размахомъ штриха и эксцентрическими выходками. Такимъ знали его въ юности, такимъ остался онъ въ зрѣломъ возрастѣ. Взгляды, которыми обмѣнялись присутствующіе, не ускользнули отъ разсказчика; но они какъ будто его самого расположили къ веселости. Примостившись ловчѣе между подушками дивана, онъ повелъ плечами, какъ-бы охорашиваясь, и началъ такимъ образомъ:

## XV.

Дѣло, изволите ли видѣть, происходило въ сороковыхъ годахъ. Въ глуши Саратовской губерніи, въ собственномъ имѣніи, проживалъ съ дочерью старецъ по фамиліи Шницель; ему было

восемьдесять-два года. Изъ этого вы можете уже отчасти заключить: дочь не могла быть первой молодости; говорю: „отчасти“, потому что и у старцевъ также рождаются молоденькія дочки, только въ послѣднемъ случаѣ всегда какъ-то невольно приходитъ въ голову... Впрочемъ, не стоитъ на этомъ останавливаться. Нѣсколько лѣтъ назадъ, отцу понравилась почему-то цифра двадцать-восемь, онъ уперся въ ней и ни за что не хотѣлъ спустить или прибавить; въ дѣйствительности, дочери было за тридцать. Упрямство старца было естественно; отъ старости онъ начиналъ терять память, чвакалъ и, видимо, размягчался.

Родомъ былъ онъ изъ Курляндіи, но для служебной карьеры предпочелъ ей, какъ водится, Россію, и въ молодыхъ годахъ удачно изображалъ типъ русскаго нѣмца; въ глазахъ несокрушимая преданность Россіи, въ душѣ—нѣжная любовь къ Митавѣ и Либавѣ.

Аккуратность, военная выправка, усердіе во всякій мигъ, повиновеніе, когда было угодно, не замедлили выдвинуть его на служебномъ поприщѣ; въ сорокъ лѣтъ онъ былъ полковникомъ, а протекція, въ которой у русскихъ нѣмцевъ никогда нѣтъ недостатка, доставила ему мѣсто полицеймейстера въ одномъ изъ южныхъ городовъ нашего гостепріимнаго отечества.

Высокій ростъ, мундиръ, бряцанье шпоръ, сѣро-голубые глаза, румянецъ и бѣлокурые, тщательно расчесанные и напомаженные, волосы творили чудеса въ началѣ столѣтія, не только въ провинціи, но и въ самой Москвѣ. Стоило щелкнуть шпорами, ловко перевернуться на каблукѣ и прищуриться, покручивая молодцовато усъ, чтобы произвести въ то время трепетъ въ женскомъ сердцѣ. Не прошло года, въ полковника влюбилась по уши тридцатипятилѣтняя вдовушка. Ее, главнымъ образомъ, прельстило бѣлое тѣло на шеѣ полицеймейстера. Бѣлизна и мягкость кожи, свойственная вообще людямъ германской расы, была въ самомъ дѣлѣ до того у него замѣчательна, что даже теперь въ глубокой старости не могли на ней изгладиться двѣ красныя полосы: одна вокругъ тальи, гдѣ стягивался когда-то мундиръ, другая на лбу отъ фуражки, которую носилъ онъ всегда тугою и плотно надвигалъ надъ бровями. Бѣлизна тѣла могла также прельстить вдову, въ силу контраста: она, въ свою очередь, какъ женщина восточнаго происхожденія (родомъ была она изъ Румыніи), отличалась смуглостью. Завистницы ея успѣховъ съ мужчинами нахо-

дили въ ней даже сходство съ придворнымъ арапомъ, который хотя и вышелъ въ отставку и получилъ пенсію, но по привычкѣ продолжалъ краситься. Кто изъ нихъ, онъ или она сдѣлалъ предложеніе, неизвѣстно, только они сочетались законнымъ браконъ. Изъ ревности къ мужу, она заставила его немедленно выйти въ отставку, и деспотически переселила въ деревню. Годъ спустя, у нихъ родилась дочь. Послѣ пятнадцатилѣтняго супружества, румынка въ знойный іюльскій день обкушалась окрошкой со льдомъ и отдала Богу душу.

Вдовецъ сначала занялся-было хозяйствомъ, но размягчающая атмосфера степной русской деревни не замедлила проявить свое дѣйствіе даже на курляндца; онъ сталъ мало-по-малу облѣниваться, закисать и, по прошествіи еще пятнадцати лѣтъ, т. е. въ то время, какъ начинается мой разсказъ, — имѣлъ видъ той дряхлой, тощей развалины, которую я вамъ описывалъ. Отъ стараго времени у него осталась только привычка носить военный сюртукъ вмѣсто халата; онъ сохранялся въ немъ точно въ футлярѣ.

Въ послѣдніе десять лѣтъ, старецъ, зимою и лѣтомъ, усаживался на то же самое мѣсто, въ то же самое кресло и проводилъ время, насасывая, или, вѣрнѣе, мусля кончикъ дешевой сигары и прищуривая подслѣповатые глаза, прикрытые зеленымъ тафтянымъ зонтикомъ, изъ-подъ котораго высовывалась беззубая челюсть, утыканная рѣдкой, но колючею сѣдиной. Днемъ куда еще ни шло, старецъ иногда даже какъ бы оживлялся; это происходило обыкновенно, когда въ его памяти, покрывавшейся пепломъ, — воскресала искра воспоминаній отдаленной военной карьеры. Въ нихъ главнымъ эпизодомъ являлся неизмѣнно всегда случай, когда разъ, на разводѣ, Императоръ Николай, проѣзжая мимо его роты, произнесъ: „здорово, Шницель!“ Этотъ: „здорово, Шницель!“ былъ единственнымъ живымъ воспоминаніемъ за всѣ восемьдесятъ-два года существованія. Разсказывая объ этомъ, старецъ всегда выпрямлялся, дергалъ плечомъ и начиналъ бодриться. Въ другое время, подымался онъ кряхтя съ кресла, выходилъ на середину комнаты, шаркая мягкими подошвами, и принимался, какъ онъ говорилъ: дѣлать гимнастику; она состояла въ томъ, что онъ усиленно сгибалъ колѣна и махалъ руками, какъ плетьми, скрещивая ихъ на груди, какъ дѣлаютъ извощики, когда хотятъ согрѣться. Къ вечеру старецъ

уже окончательно никуда не годился. Его приходилось по частямъ укладывать въ постель: сначала посадятъ, потомъ закинутъ на постель одну ногу, потомъ другую и наконецъ опустятъ на подушки, — причемъ во всемъ домѣ слышалось, какъ онъ жалобно стоналъ, вздыхалъ и охалъ.

Но о старцѣ довольно. Сущность дѣла въ дочери.

## XVI.

Я уже сказалъ: ей было за тридцать. Родившись цѣликомъ въ мать, она была не только брюнетка, но всѣмъ видомъ имѣла съ ней ближайшее сходство: коротенькая, круглая, но рыхлая, съ сильно развитою, — какъ говорится: арбузовидною грудью, стѣснявшею ее еще въ восемнадцать лѣтъ, а теперь, въ тридцать, окончательно превратившеюся въ тягостное бремя; смуглый неровный цвѣтъ лица отливалъ всегда глянцемъ, установившимся, должно быть, отъ усиленнаго употребленія тресковаго жира въ дѣтствѣ, а въ послѣдствіи отъ излишняго употребленія кольдъ-крема. Единственнымъ украшеніемъ ея круглаго лица могли быть черные глаза, но, къ сожалѣнію, въ нихъ было меньше блеску, чѣмъ уныния съ придачей какого-то меланхолическаго изнываніа; такой же безжизненный видъ имѣли ея волосы; они были обильны и черны, какъ крылья вóрона, — но это была какая-то глухая чернота: представьте себѣ волосы на головѣ мертваго армянина! Короче сказать: привлекательнаго было въ ней мало, какъ впрочемъ большею частью у продуктовъ не молодыхъ родителей; отцу было тогда уже за пятьдесятъ, а мать хотя и была нѣсколько помоложе, но въ послѣдній годъ до родовъ постоянно хворала и жила, можно сказать, почти на одномъ касторовомъ маслѣ. Тоскливое выраженіе на лицѣ матери отъ пріема этого непріятнаго медикамента и перешло, быть можетъ, по наслѣдству къ дочери. Это могло также происходить у послѣдней отъ горькаго сознанія неудавшейся жизни и также неудавшейся наружности; она въ ней обманывалась только до извѣстной степени. Но страсти, какъ вы знаете, не свой братъ; разсудительность говоритъ одно, — страсти чаще всего глухи, рвутъ и мечутъ зря въ свою сторону!

Страсти зрѣлой дѣвушки—унаслѣдованныя несомнѣнно также отъ матери,—постоянно поддерживались и разжигались чтеніемъ

книгъ и журналовъ, которые по привычкѣ продолжали выписывать въ деревню.

Въ то время литература наша была въ самомъ пылу романтизма. Поэты — или вѣрнѣе сказать, — стихотворцы особенно торжествовали; это былъ положительно ихъ золотой вѣкъ.

Провинціальныя барышни влюблялись въ нихъ не только по первому взгляду, но даже заочно: степень увлеченія опредѣлялась степенью страстности, выраженной въ стихахъ. Поэты представлялись воображенію съ глазами, мечтательно устремленными къ небу, съ лавромъ на вдохновленномъ челѣ, лирой при бедрѣ или въ рукахъ и въ плащѣ, едва прикрывающемъ формы, такія же красивыя, какъ у Аполлона Бельведерскаго. Посмертный портретъ Байрона съ открытой грудью на распашку, съ перомъ въ рукѣ и особенно надпись подъ нимъ: „увы! — онъ его (пера) больше не возьметъ!...“ — исторгали слезы. Первые романтическіе симптомы барышни, исторію которой я вамъ разсказываю, — выразились тѣмъ, что она влюбилась (заочно, конечно) въ Бенедиктова и долго не могла утѣшиться, узнавъ случайно, что онъ старый дѣйствительный статскій совѣтникъ и притомъ служитъ въ государственномъ банкѣ. Она постепенно прошла всѣ стадіи поэтическихъ экстазовъ. Недовольствуясь печатными книгами, — она отчетливо, каллиграфически переписывала любимые стихи и цѣлыя поэмы, наполняя ими тетради съ красивыми цвѣтными обертками.

## XVII.

Провинціальныя барышни того времени увлекались преимущественно двумя образами: однѣ, болѣе пылкія, или „экзальте“, какъ говорили тогда въ провинціи, — любили воображать себя подхваченными поперегъ таліи могучей рукой всадника (нѣчто среднее между Джіауромъ и Демономъ) или даже перекинутыми черезъ сѣдло лошади, бѣшено скачущей надъ бездной съ бушующимъ внизу потокомъ; кромѣшная ночь обнимаетъ небо и землю; вокругъ гремятъ громы и сверкаютъ молніи, вѣтеръ рветъ и крутитъ бѣлыя одежды несчастной жертвы, а всадникъ, прижимая ее къ груди своей, шепчетъ ей страстно: „Заира, я оторвалъ тебя отъ людей! Ты моя, — моя навѣки!...“ Вообще

надо замѣтить,—литература наша мало тогда занималась Россіей; запрещено что ли было или съ легкой руки Марлинскаго и нашихъ побѣдъ на Кавказѣ,—востокъ вошелъ въ моду и сталъ болѣе подходящимъ ко вкусу публики,—но фактъ тотъ, что литераторы любили тогда больше начинать свои повѣсти такимъ образомъ: —„Здравствуй, великая царица Тедмора!“ —„Здравствуй, великій Антаръ — сынъ Раббія! послышался голосъ за занавѣской...“,—чѣмъ обращаться къ отечественнымъ сюжетамъ, находя ихъ слишкомъ обыденными, вульгарными для вдохновеннаго поэта—словомъ, безусловно восторгались Малекъ-Аделемъ—и глубоко презирали Чичикова, который не появлялся еще на сценѣ,—но успѣлъ уже родиться и замышлялъ свои планы.

Другія барышни,—болѣе склонныя къ меланхоліи или мечтательности,—любили воображать себя Татьяной и проводили время, трепетно ожидая: вотъ-вотъ прозвенитъ въ отдаленіи колокольчикъ и явится Онѣгинъ...

Наша барышня принадлежала къ числу послѣднихъ. Въ ожиданіи Онѣгина, она влюбилась въ дьякона, пріѣзжавшаго съ архіереемъ святить церковь въ сосѣднемъ селѣ. Замѣчательнѣе всего, что наружность дьякона, весьма внушительная сама по себѣ, не была главнымъ поводомъ увлеченія. Подобно тому какъ покойная ея мать соблазнилась бѣлизною тѣла полицеймейстера,—дочь увлеклась волосами обожаемаго предмета; дьяконъ наканунѣ былъ въ банѣ и вымылъ ихъ щелокомъ, отчего они распушились во всѣ стороны и волнами ходили вокругъ его головы, когда онъ кланялся и вскидывалъ въ ту сторону кадиломъ; равнодушная къ остальнымъ красотамъ дьякона,—она унеслась воображеніемъ въ его кудри и долго билась въ нихъ, то замирая отъ упоенія, то изнывая отъ какого-то неудовлетвореннаго томительнаго чувства. Нѣтъ никакой возможности перечесть всѣхъ увлеченій барышни; достаточно сказать,—ихъ было, однакожъ, меньше безсонныхъ лѣтнихъ ночей, когда, горя внутреннимъ жаромъ и согрѣвая своимъ тѣломъ подушки и перину, бросалась она раздѣтая къ открытому окну; или когда, въ лунныя ночи, просиживала она на балконѣ и, млѣя и замирая, прислушивалась къ пѣнію соловья, увы! часто прерываемаго визгомъ влюбленныхъ кошекъ на сосѣдней крышѣ; или когда, ранней пахучей весною, испытывала она ощущенья, выраженныя впослѣдствіи такъ прекрасно Фетомъ:

Пропаду отъ тоски я и лѣни,
Одинокая жизнь не мила...
Въ каждый гвоздикъ душистой сирени
Распѣвая вползаетъ пчела...

Или, наконецъ, когда бродила она по цѣлымъ часамъ въ саду, распустивъ по плечамъ волосы на подобіе русалки и бросала вокругъ растерянные масляные глаза, трепетно, но тщетно призывая предметъ страстныхъ мечтаній...

## XVIII.

Вы, можетъ быть, придете къ заключенію, что въ барышнѣ, расположенной, такимъ образомъ, духомъ и тѣломъ,—вся эта неудовлетворенность законнаго отвѣта на ея чувства дѣйствовала разрушительно на ея организмъ, разстроивала нервы, увеличивала печень и расширяла коричневые круги вокругъ ея глазъ... Вы жестоко ошибетесь; не могу сказать: „все это способствовало ей къ украшенью“, но уже къ двадцати-шести годамъ стала она заплывать и закругляться, какъ молодая дыня, которая назрѣла и лоснилась на солнцѣ отъ избытка соку. Полнота, впрочемъ, не столько ее огорчала, сколько другая игра природы: едва зацвѣтали сирень и черемуха—на лицѣ барышни выступали также признаки весны въ видѣ маленькихъ почекъ...

Послѣднее это обстоятельство, съ упорствомъ повторявшееся каждую весну, не могло, конечно, не усилить печальнаго настроенія духа, которое безъ того уже замѣтно стало въ ней проявляться послѣ того, какъ она мало-по-малу охладѣла къ чистой поэзіи и съ пылкостью, ей свойственной, увлеклась чтеніемъ романовъ Ж. Зандъ, начинавшихъ тогда распространяться въ Россіи. Вмѣсто стиховъ она переписывала теперь цѣлыя главы изящной прозы. Лелія особенно ее поразила.—„Кто ты? И отчего душа твоя полна такой печали?!“ Слова эти служили какъ бы отголоскомъ ея собственныхъ чувствъ.

Съ этихъ поръ она стала причесываться, подворачивая волосы по-мужски почти до плечъ, и одѣвалась не иначе, какъ въ черное платье. Экзальтація ея приняла также другое направленіе. Поэтическія мечтанія казались ей теперь чѣмъ-то дѣтскимъ, праздным, неудовлетворительнымъ для развитаго ума и тоскую-

щей души. На первый планъ выступили теперь человѣчество, обязательства гражданина, долгъ, страстное желаніе общественной пользы. Не зная, съ чего начать, къ чему обратиться, она, въ порывѣ перваго увлеченья, набросилась на отца и принялась на немъ изощрять чувства долга. Порывы эти въ первое время такъ были сильны, что когда она судорожно подхватывала старика подъ руку и начинала водить его по саду,—ноги его только путались, болтаясь какъ разварныя макароны, и ему отъ слѣпоты казалось, будто его стремительно влекутъ подъ гору. Отъ отца она также стремительно перешла къ сельской аптекѣ и лѣченію и затѣмъ всѣмъ существомъ своимъ отдалась устройству сельской школы. Сначала дѣло пошло даже изрядно; мальчики и дѣвочки охотно учились. Одно во всемъ этомъ не отвѣчало настроенію ея мыслей, казалось ей даже какъ бы оскорбительнымъ: буквари, по которымъ учились крестьянскія дѣти, аспидныя доски, перья, бумага и проч.—все это покупалось на деньги, добываемыя трудомъ и потомъ крѣпостнаго мужика... Въ чемъ же состояла тогда ея собственная жертва?... Мысль эта на время охладила ея рвеніе; она рѣшилась продолжать дѣло не иначе, какъ на свои трудовыя денежныя средства. Съ того же дня, расхаживая ускоренными шагами по саду и поминутно откидывая назадъ волосы, она принялась сочинять повѣсть...

Сначала было очень трудно; выходило всегда какъ-то такъ, что все написанное напоминало ближайшимъ образомъ что-то гдѣ-то читанное. Мнѣ привелось читать въ рукописи это произведеніе. Оно въ числѣ другихъ рукописей было единственнымъ моимъ наслѣдствомъ послѣ тётки, а тёткѣ рукописи перешли, также въ видѣ единственнаго наслѣдства, отъ ея свояченицы, бывшей замужемъ за братомъ редактора одного толстаго журнала, пользовавшагося въ то время большой извѣстностью. Разсказъ мой, передаваясь отъ одного близкаго лица другому, связанъ, какъ видите, съ моими фамильными воспоминаніями...

Но перейдемъ къ рукописи.

## XIX.

Писанная рукою автора, она поражала каллиграфическими достоинствами; литературныя качества показались мнѣ нѣсколько

слабѣе. На первомъ планѣ выступала задумчивая поэтическая дѣвушка, окруженная многочисленной семьею — были даже, помню: семь сестеръ, три брата, дѣдъ, бабушка и двѣ тётки, — но считавшая себя почему-то круглой сиротой и никѣмъ не понятой. Затѣмъ описывалась, — слабо, надо сказать, — поѣздка въ Пятигорскъ и встрѣча съ кавказскимъ героемъ — офицеромъ, сосланнымъ за дуэль. Она въ первый разъ увидѣла его стоящимъ на вершинѣ неприступнаго утеса, съ руками, скрещенными на груди и мрачнымъ таинственнымъ взоромъ, устремленнымъ куда-то въ даль. Подъ ногами его клубились облака; надъ нимъ, въ необъятной вышинѣ, витали орлы, „возмущавшіе крикомъ дикую окрестность“. „Гдѣ-то въ сторонѣ прокричалъ филинъ; съ другаго конца сверкнула молнія, вышивая дивный узоръ на черномъ плащѣ неба“... *Онъ* и *она* случайно встрѣчаются у источника. Оказалось: онъ также считаетъ себя во всемъ мірѣ одинокимъ, круглымъ сиротою и непонятымъ... Съ этого мѣста, признаться сказать, я пропустилъ нѣсколько страницъ; тутъ, можетъ быть, была лучшая часть повѣсти; но строчки шли плотно одна къ другой безъ малѣйшаго пробѣла; къ тому же тутъ, сколько я замѣтилъ, вмѣсто дѣйствія подробно описывалась внутренняя душевная и сердечная борьба героевъ, изображался психическій процессъ зарождающейся и развивающейся страсти — а я всегда избѣгаю такія страницы такъ же тщательно, какъ избѣгаю описанія красотъ музыкальныхъ звуковъ. Въ первомъ случаѣ мнѣ больше нравится, когда дѣйствующія лица разговариваютъ, во второмъ — предпочитаю шарманку; то и другое мнѣ какъ-то доступнѣе, яснѣе... Остановившись на восклицаніи: „Царица души моей, я тебя недостоинъ!!..“ произнесенномъ героемъ, мелькнувшимъ на лошади, скакавшей „быстрѣе мысли всадника“, — я прямо перешелъ къ концу повѣсти. Изъ него узналъ я, что герой, раненый на смерть при взятіи какого-то аула и умирающій на колѣняхъ героини, переодѣтой почему-то въ мужское платье, — открываетъ ей тайну своего существованія: онъ былъ ничто иное, какъ каторжникъ, бѣжавшій изъ Сибири... Заключительныя строки переносили читателя въ скромную сельскую церковь, гдѣ, часто, въ вечерній часъ, когда „угасало дневное свѣтило“, можно было видѣть молодую прелестную женщину, одѣтую въ черномъ и прикрытую вмѣсто шляпки густымъ вуалемъ, также чернаго цвѣта; тихими, едва слышными шагами проходила она въ дальній уголъ

къ образу Богоматери, едва освѣщаемому теплющейся лампадой — „падала ницъ, простирая руки и долго, долго молилась за себя и за несчастнаго“...

Какъ я вамъ сказалъ, повѣсть осталась въ рукописи. Почему постигла ее такая жалкая участь, тутъ кроется цѣлая драма. Она-то собственно и составляетъ суть разсказа.

## XX.

Въ то время, когда бывало сказать съ нѣкоторой смѣлостью: дважды два — четыре, считалось уже у насъ вольнодумствомъ, — толстые журналы были рѣдкость: одинъ, два, три — и обчелся. Барышня наша выписывала одинъ изъ нихъ, издававшійся въ Петербургѣ. Онъ пользовался особымъ успѣхомъ между провинціальными барышнями благодаря тому, что въ немъ преимущественно печатались лучшіе современные переводы, оригинальныя повѣсти, романы и стихотворенія; послѣднія занимали въ каждомъ номерѣ едва-ли не третью часть; редактору, во-первыхъ, приходилось удовлетворять вкусу публики къ поэзіи, во-вторыхъ, онъ самъ сочувствовалъ стихотворнымъ произведеніямъ, которыя тогда печатались даромъ. Впрочемъ, въ тотъ золотой вѣкъ печати и редакторовъ, прозаики не уступали въ этомъ отношеніи поэтамъ; они также не гнались за гонораромъ, считая себя вполнѣ счастливыми, когда видѣли свои труды напечатанными.

Повѣсть барышни сопровождалась письмомъ, въ которомъ авторъ, сознавая всю смѣлость своего поступка, оправдывался безвыходнымъ положеніемъ молодой дѣвушки, совершенно одинокой, занесенной въ деревенскую глушь, не имѣющей живаго существа, съ кѣмъ посовѣтоваться, лишенной всякаго сочувствія, предоставленной самой себѣ; къ кому же было ей обратиться, какъ не къ человѣку, имя котораго, столь извѣстное и любимое всей Россіей, прибавляла она, — было предметомъ ея всегдашняго поклоненія (какъ многіе читатели того времени, она думала, что большая часть того, что печатается въ журналахъ, сочинялась самимъ редакторомъ). Съ глубокой вѣрой въ его великодушіе, она смѣла надѣяться, что онъ не откажетъ ей въ участіи и снисходительно отнесется къ первому опыту начинаю-

щаго писателя. Въ письмѣ слова не упоминалось о благотворительной цѣли, съ какою сочинялась повѣсть, и также о гонорарѣ.

По прошествіи двухъ недѣль получился отвѣтъ. Редакторъ, скромно умалчивая объ удовольствіи, доставленномъ ему извѣстіемъ, что имя его пользовалось такой популярностью и любовью въ глухихъ мѣстахъ Россіи, — не могъ, какъ литераторъ, котораго, по его словамъ: „самъ Марлинскій благословилъ на литературное поприще“, не могъ горячо не сочувствовать юному начинающему собрату въ образѣ высоко развитой дѣвицы, одаренной къ тому же замѣчательнымъ поэтическимъ дарованіемъ. Онъ благодарилъ за присылку повѣсти, въ которой нашелъ много неподдѣльной теплоты въ связи съ тонкимъ чувствомъ, свойственнымъ въ такой степени только чуткому женскому сердцу; онъ обѣщалъ въ скоромъ времени помѣстить повѣсть въ своемъ журналѣ. О гонорарѣ въ его письмѣ также не упоминалось.

Можете сами судить, какое впечатлѣніе произвелъ такой отвѣтъ на барышню! При чтеніи его, у нея, отъ усиленнаго обращенія крови, завертѣлись въ глазахъ зеленые кружки; она едва могла придти въ себя отъ смущенія. Возможно ли въ самомъ дѣлѣ, чтобы человѣкъ, котораго представляла она себѣ сіяющимъ въ ореолѣ славы, окруженнымъ сонмомъ поэтовъ, ученыхъ и литераторовъ, поглощеннымъ занятіями самаго сложнаго свойства, — чтобы такой человѣкъ могъ найти время для отвѣта совершенно незнакомой дѣвушкѣ, — и какого отвѣта, — Боже мой, какого отвѣта! Наконецъ время было здѣсь послѣднимъ дѣломъ! Не въ тысячу ли разъ больше слѣдовало цѣнить отзывчивость души, теплоту сердца и эти милыя, милыя сочувственныя слова, вырвавшіяся какъ бы сами собою отъ избытка чувствъ... Дальше дѣло уже перешло въ область воображенія, которое, со свойственною ему пылкостью, не замедлило обрисовать редактора какимъ-то возвышеннымъ идеальнымъ существомъ и даже придало ему идеальныя формы, чуть ли не съ крыльями за плечами...

Въ ту же ночь перо барышни, горѣвшей какъ въ лихорадкѣ, судорожно заходило по бумагѣ. Рано утромъ второе это посланіе отправлено было съ нарочнымъ на почту. Содержаніе этого втораго письма мнѣ неизвѣстно; но братъ редактора, — мужъ свояченицы моей тётки, разсказывалъ, что послѣ этого втораго письма изъ Саратова, — редакторъ показался ему какъ бы не въ своей тарелкѣ; онъ былъ задумчивѣе обыкновеннаго и

настолько былъ разсѣянъ, что, принимая отъ какого-то литератора рукопись и намѣреваясь положить ее подлѣ себя для просмотра, — сунулъ ее тутъ же подъ столъ въ плетеную корзину, чѣмъ жестоко обидѣлъ автора, пожелавшаго тотчасъ же взять рукопись обратно.

## XXI.

Редакторъ, котораго я не только зналъ по разсказамъ родственниковъ, но котораго нѣсколько разъ встрѣчалъ у тётки,— принадлежалъ, надо сказать, къ числу сильныхъ романтиковъ. Въ то время между грамотными въ Россіи, одни военные генералы, откупщики и дѣйствительные статскіе совѣтники при должности — могли считаться людьми положительными; остальное человѣчество мирно занималось хлѣбопашествомъ, и меньшая его доля восхищалась Венедиктовымъ и захлебывалась, читая Альманахъ — Владиславлева.

Редакторъ, какъ человѣкъ труда, принужденный проводить большую часть существованія въ кабинетѣ, сидя въ креслахъ на гуттаперчевомъ кружкѣ, мало былъ знакомъ съ дѣйствительною живою жизнію; знакомясь съ нею почти исключительно по романамъ и повѣстямъ, которые приходилось читать съ утра до вечера въ рукописяхъ и по корректурамъ, — онъ, можно сказать, жилъ больше воображеніемъ. По натурѣ своей, онъ былъ однакожъ то, что называется: „сердечкинъ“, то-есть, повторяя выраженіе одного изъ его сотрудниковъ: „постоянно носилъ подъ селезенкой тоскующую горлицу“. И странное дѣло: онъ и журналъ его имѣли двѣ совершенно несхожія судьбы! Журналъ, какъ извѣстно, пользовался большимъ успѣхомъ у прекраснаго пола; онъ же тѣмъ именно и отличался, что, доживъ до сорока-пяти лѣтъ, не имѣлъ съ этой стороны никакого успѣха. Обстоятельство это подъ конецъ сообщило его наружности унылый оттѣнокъ, который, естественнымъ образомъ, усиливался отъ сознанія, что виною всему была его наружность. Дѣйствительно она не была привлекательна.

Глаза были еще туда-сюда, хотя, частью отъ близорукости, частью отъ усиленнаго напряженія при постоянномъ чтеніи корректуръ и рукописей,—они выкатывались впередъ, образуя что-то въ родѣ куриныхъ яицъ съ круглымъ, нѣсколько тупымъ зрач-

комъ, выведеннымъ тусклой сѣрой краской. Мутный, геморроидальный цвѣтъ лица—неизбѣжное слѣдствіе упорнаго сидѣнья на гуттаперчевомъ кружкѣ, да еще въ Петербургѣ, — также могъ быть допущенъ; главный предметъ неудачи заключался въ носѣ. Такіе носы встрѣчались прежде у засѣдателей и секретарей земскихъ судовъ и теперь встрѣчаются только иногда у архіерейскихъ пѣвчихъ; довольно обыкновеннаго вида при началѣ своемъ между бровями, носы этого рода, приближаясь къ оконечности, начинаютъ расширяться во всѣ стороны, припухаютъ и неожиданно закручиваются кверху, открывая по сторонамъ пару ноздрей, въ которыя свободно можно вставить по грецкому орѣху; о цвѣтѣ я уже не распространяюсь: такіе носы всегда болѣе или менѣе отливаютъ свинцовымъ матомъ, какъ на сливахъ. Ротъ былъ безспорно лучшимъ украшеніемъ редактора; но, по какому-то странному капризу, онъ менѣе всего обращалъ на него вниманія, — можно даже сказать: держалъ его въ черномъ тѣлѣ, вспоминалъ о немъ въ тѣхъ только случаяхъ, когда приходилось кушать и говорить, а въ остальное время употреблялъ его почти исключительно для плеванья въ мѣдную песочницу, находившуюся постоянно подлѣ письменнаго стола. Такія песочницы были тогда почему-то во всеобщемъ употребленіи.

Неудачи редактора въ отысканіи „подруги по душѣ и влеченію сердца“ — какъ онъ выражался ближайшимъ друзьямъ и родственникамъ — все сильнѣй и сильнѣй давали себя чувствовать; не смотря на успѣхъ журнала, сердце изнывало въ одиночествѣ и тосковало отъ недостатка питанія. Часто, въ часы печальнаго настроенія, воображеніе рисовало передъ нимъ молодое, кроткое и любящее существо, не испорченное жизнью столицы, сохранившее въ душѣ чистоту ландыша и невинность фіалки, скромно притаившейся въ тѣни своихъ листьевъ...

Послѣ чтенія втораго письма изъ Саратовской глуши, мечты его приняли неожиданно другой оборотъ... Онѣ стали какъ бы сближаться съ дѣйствительностью. „А что если... если это?...“ пришло ему невольно въ голову въ то время, какъ онъ задумчиво расхаживалъ по кабинету съ заложенными за спину руками. Онъ тутъ же отбросилъ такую мысль, но тѣмъ не менѣе, на слѣдующій день, написалъ длинное письмо съ адресомъ въ Саратовскую губернію.

Ровно на десятый день утромъ получилъ онъ отвѣтъ.

Съ этого времени (дѣло было въ началѣ зимы) между Петербургомъ и Саратовомъ установилась совершенно правильная, непрерываемая корреспонденція. Къ новому году она составляла уже изрядный томикъ.

## XXII.

Въ послѣднихъ письмахъ слова уже не упоминалось о повѣсти, писанной съ благотворительною цѣлью. Говорилось больше о сочувствіи душъ, объ обмѣнѣ мыслей, о неудовлетворенности чувствъ, тоскѣ по идеалу. Въ его письмахъ попадались такія строки: „Женское сердце неизмѣримо, какъ океанъ, въ таинственной глубинѣ котораго скрываются драгоцѣнные перлы“ и также: „...глотаю слезы, — эти горькія ягоды, растущія на развалинахъ разрушеннаго сердца...“

Съ каждымъ новымъ письмомъ, желаніе высказаться примѣтно расширяло свои предѣлы, обмѣнъ чувствъ требовалъ все больше и больше простора на бумагѣ, самый слогъ, какъ бы подогрѣваемый невидимымъ огнемъ, разливался теперь жгучимъ, пламеннымъ потокомъ. Во всемъ этомъ, воображеніе, какъ всегда впрочемъ, принимало самое лукавое, демонски лицемѣрное участіе; оно рисовало каждому изъ пишущихъ фантастическіе образы и картины, обольщало ихъ волшебнымъ миражемъ, купало въ голубомъ эфирѣ, возносило на неизмѣримыя вершины, гдѣ онъ — Манфредъ или Ромео, сіяя весь мужественной красою, простиралъ къ ней страстныя объятія; она — Лаура или Беатриче, олицетворенная нѣжность и грація, припадала къ нему на грудь и, обхвативъ его шею руками, лепетала ему слова вѣчной, неизмѣнной любви...

Къ концу марта, въ письмахъ того и другаго, выразилась настоятельная потребность въ обмѣнѣ дагеротипныхъ портретовъ. Къ сожалѣнію, ни тотъ, ни другой не могли исполнить желанія; редакторъ, какъ житель Петербурга, при первомъ дуновеніи весны, схватилъ неизбѣжный флюсъ и въ такомъ видѣ не рѣшился сниматься; барышня не снялась по той причинѣ, что въ деревнѣ не существовало дагеротипа, а въ губернскій городъ проѣзду не было по случаю разлива рѣкъ..

Въ первыхъ числахъ апрѣля переписка выяснила фактъ не-

сомнѣннаго сродства двухъ душъ, несообразность разлуки и настоятельно требовала ихъ сближенія; съ общаго согласія назначено было свиданіе: десятое мая, два часа пополудни, Москва, гостинница Шевалдышева.

Трудность исполненія задуманнаго плана была на сторонѣ барышни. Ѣхать одной въ такую даль, безъ видимаго повода, было немыслимо. Съ другой стороны, нечего было думать оставить восьмидесятилѣтняго отца одного на попеченіе прислуги. Надо было тѣмъ или другимъ способомъ уговорить старца ѣхать въ Москву. Но возбужденныя страсти внушаютъ иногда геніальныя соображенія. Ольга Карловна (я все забываю называть барышню настоящимъ ея именемъ) горячо принялась убѣждать отца въ томъ, что онъ страдаетъ завалами, и имъ необходимо отправиться въ Москву для совѣщанія съ докторами. „Что?... А?... Какъ??...“ спрашивалъ старецъ, прикладывая ладонь къ уху.—„У васъ, папенька, завалы!!...“ съ удвоенной энергіей подхватывала Ольга Карловна. Старикъ, начинавшій совсѣмъ уже слѣпнуть подъ зеленымъ своимъ зонтикомъ и въ послѣднее время совсѣмъ уже впавшій въ дѣтство, на все согласился. Въ концѣ апрѣля его перенесли на рукахъ въ тарантасъ, бережно уложили между двумя тюфяками; дочь суетливо сѣла подлѣ; дворовые прокричали: „съ Богомъ!!“ старецъ застоналъ и заохалъ, но звуки эти тотчасъ были заглушены тарантасомъ, который тронулся и покатилъ по двору.

Охотно пропускаю психологическій анализъ тѣхъ нравственныхъ ощущеній, которыя испытывала Ольга Карловна во все время переѣзда изъ Саратова въ Москву; я вообще до нихъ не охотникъ. Ограничусь тѣмъ, что взволнованное состояніе чувствъ и мыслей въ значительной степени усугублялось хотя и привычнымъ, но въ настоящее время совершенно неумѣстнымъ дѣйствіемъ весны на ея лицо, видимо украсившееся почками; способствовала ли тому внутренняя тревога, быстрѣе обращавшая кровь, но только почки эти росли и размножались съ такой ужасающей силой, что даже въ Москвѣ, послѣ неоднократнаго омовенія лица сывороткой, вытиранія его кольдъ-кремомъ и обсыпанія пудрой, даже послѣ принятія во внутрь пилюль изъ ревеню, ничто не могло остановить ихъ распространенія.

## XXIII.

Переѣздъ редактора въ Москву былъ далеко не такъ затруднителенъ (онъ ѣхалъ въ отдѣленіи первоначальнаго заведенія дилижансовъ), хотя, надо сказать, также не былъ избавленъ отъ непріятности своего рода. Флюсъ его уменьшился, но не настолько все-таки, чтобы позволить ему снять черную косынку; она туго обтягивала его щеки и оканчивалась на макушкѣ головы большимъ бантомъ, въ видѣ раскрытыхъ крыльевъ. Утѣшительной стороной могло служить, по крайней мѣрѣ, то обстоятельство. что въ послѣдніе два мѣсяца редакторъ первый разъ обратилъ должное вниманіе на свой ротъ; онъ то и дѣло полоскалъ его теперь какимъ-то крѣпкимъ элексиромъ изъ флакона, запрятаннаго въ дорожномъ мѣшкѣ.

Не могу вамъ сказать, въ какой гостинницѣ онъ остановился; наконецъ это вовсе не интересно. Знаю только, что десятаго мая, часу во второмъ пополудни, въ одномъ изъ номеровъ гостинницы Шевалдышева, Ольга Карловна сидѣла на диванѣ и, какъ трепетная лань, прислушивалась къ малѣйшему звуку. Какъ только въ корридорѣ раздавались шаги и голоса, лицо ея вспыхивало, оконечности пальцевъ холодѣли и сердце начинало биться, какъ внезапно пойманная птица; знаю — избитое сравненіе, но въ настоящую минуту не пріискиваю лучшаго.

Въ продолженіи послѣдняго этого часа, она сотню разъ вставала съ мѣста, бросала украдкой безпокойный взглядъ въ зеркало, причемъ всякій разъ начинала ускоренно дышать, опускалась снова на диванъ, судорожно вынимала носовой платокъ и тутъ же снова запрятывала его въ боковой карманъ платья.

Въ одну изъ такихъ минутъ кто-то постучалъ въ дверь.

Въ головѣ ея помутилось, и все пошло колесомъ. Она невольно закрыла глаза и съ передышкой произнесла:

— Войдите...

Дверь отворилась, кто-то шаркнулъ и слегка кашлянулъ.

Открывъ глаза, она увидѣла передъ собой маленькаго тощаго господина съ лицомъ, перевязаннымъ косынкой. Крайняя степень смущенія изображалась въ чертахъ его; высоко приподнявъ брови, раскрывъ глаза во весь свой сѣрый зрачокъ, раскрывъ даже нѣсколько ротъ, онъ стоялъ неподвижно на мѣстѣ, какъ бы ста-

раясь придти въ себя; наконецъ неувѣренно проговорилъ свою фамилію, прибавивъ:

— Я имѣю честь говорить съ Ольгой Карловной?...

— Да... произнесла она чуть слышно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія; судя по ихъ лицамъ, можно было думать, они только-что сообщили другъ другу самую печальную неожиданную новость. Оба были какъ бы въ недоумѣніи и готовы были заплакать.

Ольга Карловна первая овладѣла собою и сказала, указывая на стулъ:

— Очень рада... пожалуйста садитесь...

— Благодарю васъ, возразилъ редакторъ совершенно растерянным голосомъ.

Онъ сѣлъ на край стула, повертѣлъ шляпой и произнесъ, опуская глаза въ землю:

— Вы давно пріѣхали... сударыня?...

— Третьяго дня...

— Дороги въ поляхъ не совсѣмъ еще, должно быть, просохли... Въ рощахъ, вѣроятно, еще сыро... и зелень также... я думаю, не вездѣ еще распустилась...

— Трава вездѣ впрочемъ... проговорила-было Ольга Карловна, и вдругъ начала дышать ускореннымъ тактомъ и такъ тяжело, что редакторъ невольно привсталъ со стула; но она ничего уже не видѣла; голова ея кружилась, въ глазахъ зеленѣло, грудь спиралась отъ недостатка воздуха... Она судорожно прижала къ лицу платокъ и съ истерическимъ клокотаніемъ въ горлѣ упала на спинку дивана...

Редакторъ заметался по комнатѣ, бросая растерянные взгляды, и наконецъ выбѣжалъ въ корридоръ, призывая прислугу; объяснивъ на-скоро, что въ сосѣднемъ номерѣ барынѣ сдѣлалось дурно и потребовавъ, чтобы прислали ей горничную, — онъ быстро сбѣжалъ съ лѣстницы и такъ же быстро зашагалъ по улицѣ, продолжая сохранять на лицѣ недоумѣнье вмѣстѣ съ выраженіемъ испуга.

На слѣдующій день Ольга Карловна получила письмо почти такого содержанія:

„Позвольте выразить Вамъ, М. Г., мое искреннее сожалѣнье о внезапно постигшемъ Васъ вчера нездоровьѣ. Смѣю надѣяться, оно останется безъ послѣдствій. Возвратясь отъ Васъ, я получилъ депешу изъ Петербурга, требующую немедленно моего отъѣзда.

Сожалѣю, что вчера не удалось переговорить съ Вами насчетъ прекрасной Вашей повѣсти. Я разсчитываю напечатать ее въ іюльской книжкѣ. Примите и т. д.“.

Въ тотъ же день редакторъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Дней пять спустя, послѣ консиліума, на которомъ выяснилось, что у отца Ольги Карловны не было признака заваловъ и всего лучше было бы не тревожить его старыхъ костей, — изъ гостинницы Шевалдышева выѣхалъ знакомый тарантасъ; изъ-подъ кузова его виднѣлся съ одной стороны: зеленый зонтикъ на старческой головѣ съ картузомъ, украшеннымъ военнымъ околышкомъ, — съ другой: нѣсколько опухлое унылое женское лицо съ раскраснѣвшимися отъ недавныхъ слезъ глазами...

Ни въ іюлѣ, ни въ концѣ года, ни даже въ послѣдующее затѣмъ время, повѣсть Ольги Карловны не появилась въ печати; она умерла для свѣта, какъ умерли другъ для друга романтическій редакторъ и мечтательная Ольга Карловна, — двѣ жертвы увлеченья и пылкаго воображенья!...

На этомъ мѣстѣ разскащикъ остановился, привсталъ и закурилъ новую сигару.

## XXIV.

— Я думалъ, ты подъ конецъ смягчишься и хоть изъ состраданья выдашь замужъ свою барышню... смѣясь сказалъ хозяинъ дома.

— Выдать ее замужъ! Вотъ выдумалъ!!... полунасмѣшливо, полусерьезно воскликнулъ инженеръ; во-первыхъ — я не могъ бы этого сдѣлать по той простой причинѣ, что разсказанная сейчасъ исторія произошла въ дѣйствительности, и я не считаю себя въ правѣ измѣнять исторической вѣрности; во-вторыхъ, еслибъ разсказъ былъ даже сочиненъ мною и въ моей власти было бы располагать судьбой такой барышни, — я и тогда оставилъ бы ее доживать вѣкъ въ старыхъ дѣвахъ!...

Тонъ убѣжденія, съ какимъ сказаны были послѣднія слова, вызвалъ у присутствующихъ невольный хохотъ.

— За что же такая немилость?... спросили они въ одинъ голосъ, какъ бы сговорившись.

— Вы знаете, я матеріалистъ отъ природы и позитивистъ

по убѣжденію, возразилъ инженеръ тѣмъ же увѣреннымъ голосомъ; — мой женскій идеалъ цѣликомъ въ надписи на гробницѣ древней римской женщины: „Она занималась шитьемъ и охраняла домъ!“ Всѣ эти сантиментальные субъекты, вздыхающіе на луну, барышни *экзальтѐ*, романтическія дѣвицы съ истерической подкладкой, надломленныя мечтательныя натуры: дунешь — разлетится пухомъ, и начнетъ капризничать, въ чахотку вгонитъ бронзовую статую! А то, есть еще умницы и ученыя... Нѣтъ, благодарю покорно! „Надо попробовать пожить съ такой умницей, чтобы почувствовать всю сласть жизни съ глупой, но доброй женщиной“, говоритъ мнѣ всегда одинъ пріятель... Если я женюсь когда-нибудь, въ чемъ, впрочемъ, сомнѣваюсь, потому-то женитьба, говорятъ, гавань, пристань, а я люблю открытое море, и такъ, если я женюсь, я хочу, пріѣдя домой, встрѣтить нѣчто солидное въ нравственномъ смыслѣ... ну и въ другомъ также пожалуй; хочу встрѣтить нѣчто разсудительное, благоразумное... А то: придешь домой, вмѣсто жены на столѣ записочка: „Прости меня, душка, я увлеклась и полюбила нашего друга Ивана Иваныча...“ Я зналъ семейство, въ которомъ жена четыре раза такимъ образомъ увлекалась... Нѣтъ, *мерси-боку!!*... Это выходитъ очень красиво въ романахъ, но въ дѣйствительной жизни спаси насъ св. Сергій угодникъ и посохъ его святой, какъ говаривала моя бабушка... Нѣтъ, нѣтъ, спаси насъ самъ Господь отъ всѣхъ этихъ „пафовъ“, „пистолетныхъ выстрѣловъ“ и вообще отъ увлеченій. Съ ними, въ результатѣ, только безпокойство и горе. За доказательствами ходить не далеко, они на лицо: начиная съ тебя (онъ кивнулъ на хозяина дома) и кончая случаями, о которыхъ ты разсказывалъ (онъ обратился къ литератору), всѣ больше или меньше были жертвами своихъ увлеченій...

— Хорошо, по крайней мѣрѣ, что ты ограничиваешься отдѣльными примѣрами... замѣтилъ, улыбаясь, литераторъ.

— А что?

— А то, что иначе можно было думать, ты не признаешь въ нашей природѣ лучшаго ея свойства...

— Это какимъ образомъ?

— Такимъ образомъ, что свойство увлеченья всегда показываетъ въ душѣ человѣка присутствіе чего-то живаго, трепещущаго, присутствіе искры отъ священнаго огня, въ которомъ тайна мироваго воодушевленія! съ горячностью подхватилъ лите-

раторъ, — ты думаешь, я говорю фразы, шучу, — нисколько! Опять повторяю: лучшее! Безъ способности увлекаться, воспламеняться чувствомъ и мыслію, человѣкъ ничего больше какъ сухарь, тряпка, гнилушка!... Всѣ великія дѣла, къ какой бы сферѣ они ни принадлежали, всѣ замѣчательныя изобрѣтенія, все, что заставляетъ вѣрить въ успѣхъ человѣчества, одушевляетъ насъ, поднимаетъ нашъ духъ; все, чѣмъ можемъ мы гордиться; все, что видимъ мы вокругъ себя благороднаго, доблестнаго, высокаго, все, что когда-нибудь создавала, создаетъ и будетъ создавать творческая способность; — наконецъ, — самое это творчество, — все это продуктъ сильнаго душевнаго возбужденія, т. е. — увлеченья! Въ исторіи остались и знаменательны тѣ только факты, которые были результатомъ горячаго возбужденья и увлеченья! Блестящую сторону человѣческой исторіи создали только поэты и энтузіасты! Тайна успѣха въ томъ лишь, чтобы поводъ энтузіазма отвѣчалъ потребности дня и часа — иногда минуты! Самодовольное благоразуміе и такъ называемая разсудительность никогда ничего не производили; они, какъ конторщики, вписываютъ только въ счетъ и подводятъ итоги и цифры. Еслибъ свѣтъ ими управлялся, они давно бы заморозили человѣчество, и земля наша давно успѣла бы превратиться, какъ луна, въ мертвое тѣло!... „Молодой человѣкъ, вы увлекаетесь...“, или:— „Онъ прекрасный человѣкъ, — жаль, увлекается!“ Вотъ что споконъ вѣку самодовольно повторяетъ разсудительность, забывая, что сама она вѣчно жила и будетъ жить на счетъ энтузіастовъ, подбирая рождаемыя ими мысли и согрѣвая руки у костра священнаго огня, который во вѣки вѣковъ поддерживался этими увлекающимися и восторженными...

— Вполнѣ тебѣ сочувствую и во всемъ соглашаюсь съ тобой, вмѣшался юристъ,—но, признаться, мнѣ больше нравилось, когда, сначала, ты говорилъ объ увлеченьи вообще, какъ лучшемъ нашемъ свойствѣ, не входя въ подробности. Увлеченья великихъ людей, которыя дѣлали и будутъ додѣлывать исторію человѣчества,—достойны нашего удивленья и благодарности, но благородные душевные порывы свойственны не только лицамъ, которыхъ отмѣтила исторія; они совершаются точно также — и, можетъ быть, еще чаще,—въ скромномъ домашнемъ быту, втихомолку, такъ сказать, и дѣлаютъ такую же честь нашей природѣ, заслуживаютъ не менѣе нашего удивленья! Историческихъ дѣяте-

лей увлекала высокая общественная цѣль, убѣжденье поднимало ихъ духъ, впереди мерещилась слава, человѣкъ жертвовалъ собою въ минуты возбужденныхъ чувствъ и мозга... Легче было увлечься! Здѣсь дѣло проще: и люди смиренные, и сфера темная; здѣсь въ увлеченьи часто также жертвуютъ собою, но исключительнымъ двигателемъ служитъ высокій подъемъ личнаго нравственнаго чувства, избытокъ сердечной любви, милосердія, добродѣтели, и, надо прибавить къ чести человѣческой природы, такіе факты совершаются сплошь и рядомъ.

Мы до-сихъ-поръ говорили о женщинахъ. Будемъ держаться до конца этого предмета. У меня есть исторія, которую болѣе чѣмъ когда-нибудь кстати разсказать теперь; къ тому же я еще ничего не разсказывалъ, и очередь за мною.

## XXV.

Въ моей исторіи дѣйствуютъ двѣ женщины, но каждая увлечена по-своему, каждая дѣйствуетъ, повинуясь своему собственному нравственному или, если хотите, сердечному влеченію.

Лѣтъ десять тому назадъ (мы, господа, такъ стары, что по неволѣ должны уже считать десятками лѣтъ наши воспоминанія), я былъ временно назначенъ по важному служебному дѣлу въ одинъ изъ нашихъ главныхъ губернскихъ городовъ. Лица, съ которыми пришлось имѣть дѣло, смотрѣли мнѣ въ глаза, чуть ли не цѣловали рукъ, хотя, по заведенному у насъ порядку, надѣлали мнѣ впослѣдствіи и изподтишка, конечно, множество гадостей. Докладываютъ мнѣ однажды: спрашиваетъ меня какой-то человѣкъ и называетъ его фамилію; она была мнѣ знакома. Вошедшій дѣйствительно оказался сыномъ стараго учителя, приходившаго когда-то давать уроки моимъ младшимъ братьямъ. Сынъ нисколько однакожъ не напоминалъ отца... Боже, что это была за физіономія! Передо мной стоялъ человѣкъ еще молодой, лѣтъ двадцати-семи — восьми, но до такой степени истасканный, изможженный и гнилой, что противно было смотрѣть. Наружнымъ своимъ видомъ похожъ онъ былъ на тѣхъ попрошаекъ, которыхъ чаще всего можно встрѣтить въ Москвѣ подлѣ харчевень, въ обжорномъ ряду или на церковныхъ папертяхъ въ праздничные дни; словомъ, гадость совершенная! Онъ окончательно мнѣ опро-

тивѣлъ, когда, не сказавши еще слова, бросился со всѣхъ ногъ цѣловать мнѣ руку и, когда я ее отдернулъ, припалъ къ плечу, называя меня благодѣтелемъ. Онъ умолялъ меня дать ему какое-нибудь занятіе, опредѣлить его куда-нибудь, и когда я спросилъ: что онъ умѣетъ дѣлать? онъ, какъ истый русскій человѣкъ, готовъ былъ принять безразлично какую угодно должность — хоть ковры вышивать или плотины строить, лишь бы сѣсть на казенное мѣсто и получать жалованье. Подъ конецъ, Хохловъ (такъ его звали) вынулъ изъ-подъ полы оборваннаго сюртучишка засаленную тетрадку и подалъ мнѣ ее, какъ образецъ его почерка. Тетрадка была исписана, сколько мнѣ показалось съ бѣглаго взгляда, дрянными стишонками, но почеркъ былъ безукоризненный, бисеръ просто!

Я уже сказалъ вамъ, что лица, меня окружавшія, нуждаясь во мнѣ въ то время, смотрѣли мнѣ въ глаза. Они не отказали бы тогда, даже еслибъ я попросилъ у нихъ мѣсто для Стеньки Разина.

Хохлова опредѣлили писцомъ и дали ему комнату въ казенномъ домѣ. Дня два спустя, приходитъ Хохловъ, снова бросается цѣловать руки, усиленно щуритъ глаза, тщетно стараясь заплакать, вызываетъ на сцену память отца и какимъ-то фальшиво-расчувствованнымъ, приниженнымъ, лижущимъ голосомъ проситъ довершить благодѣяніе, проситъ сдѣлать ему „высокую честь“ посѣтить его обиталище, взглянуть, какъ онъ тамъ устроился и кстати взглянуть на жену.

— Вы женаты?!... невольно вырвалось у меня.

— Уже четвертый годъ-съ... возразилъ онъ съ нѣкоторымъ самодовольствіемъ.

— „Боже мой, кто же эта несчастная!?...“ подумалъ я въ ту же минуту. — „Кто бы ни была эта женщина, но что могло заставить ее сдѣлаться женой этой человѣческой гнилушки, этой гадины, къ которой, сказать по правдѣ, — нельзя было прикоснуться безъ отвращенія?!...“ Судите же о моемъ удивленіи, когда, зайдя къ Хохлову на другой день,—увидѣлъ я молоденькую — лѣтъ двадцати-пяти — женщину съ миловиднымъ дѣтскимъ лицомъ, бѣлокурой головкой, гладко причесанной и красивыми сѣро-голубыми глазами, съ пушистыми рѣсницами, придававшими взгляду необыкновенную мягкость. Она замѣтно была смущена моимъ посѣщеніемъ, но старалась поддержать достоинство и казаться спо-

койной. Бѣдная обстановка комнаты отличалась чистотою; даже подоконники и полъ были заново вымыты; такъ какъ прислуги у нихъ не было, это была, очевидно, ея работа. Въ то время, какъ мужъ всячески егозилъ передо мною, кланялся всѣмъ туловищемъ и холопствовалъ, порываясь неоднократно припасть къ рукѣ или плечу, она продолжала держать себя вполнѣ прилично; у нея смѣлости только не доставало, чтобы удержать его.

Поздравивъ ее съ новосельемъ и пожелавъ ей всякаго счастья, я вышелъ отъ нихъ, истинно сожалѣя бѣдную женщину.

Вскорѣ послѣ того возвратился я въ Петербургъ.

## XXVI.

Прошелъ съ небольшимъ годъ. Воспоминаніе о Хохловѣ совершенно изгладилось изъ моей памяти, когда разъ говорятъ мнѣ въ департаментѣ: васъ какой-то Хохловъ спрашиваетъ. Съ перваго взгляда я едва узналъ его; лицо мало измѣнилось, но одѣтъ онъ былъ совершеннымъ франтомъ: сапоги съ модными носками, пестрый галстухъ съ падающими концами, прическа съ проборомъ посереди головы, на лѣвой рукѣ перчатка кирпичнаго цвѣта... Онъ разсказалъ, что, пріѣхавъ въ Петербургъ, счелъ „священнымъ долгомъ“ выразить мнѣ свое почтеніе и благодарность за оказанныя ему прежде благодѣянія; изъ дальнѣйшихъ его объясненій я узналъ, что онъ отказался отъ прежней должности, такъ какъ ему предложено было весьма выгодное мѣсто конторщика въ одномъ изъ главныхъ банкирскихъ домовъ Одессы. Говорилъ онъ,—надо вамъ замѣтить,—безъ прежняго низкаго кривлянья—не лѣзъ цѣловать руку или плечо,—говорилъ увѣренно,—даже какъ-то разсудительно потряхивалъ головою. Разъ только голосъ его принялъ прежнюю приниженную интонацію, и самыя черты лица какъ бы размякли и жалостливо скорчились, именно, когда я освѣдомился о его женѣ. Онъ отвѣчалъ, что она, благодаря Бога, совершенно здорова и теперь въ ужаснѣйшихъ хлопотахъ,—укладывается, приготовляясь въ путь. О цѣли своего пріѣзда въ Петербургъ онъ слова не проговорилъ; я, впрочемъ, и не спрашивалъ.

Вскорѣ открылось, что все, что ни разсказывалъ Хохловъ,—было самой чистѣйшей, самой наглой ложью. Одинъ изъ чинов-

никовъ губернскаго города и того самаго вѣдомства, куда я когда-то былъ посланъ, зашелъ ко мнѣ проѣздомъ въ Петербургъ и передалъ слѣдующее: не задолго послѣ того, какъ Хохлова опредѣлили по моей просьбѣ, — онъ вдругъ запилъ мертвую и началъ выдѣлывать такія безобразія въ казенномъ домѣ, что принуждены были выгнать его вонъ и отказать ему отъ мѣста. Но пьянство ничего еще не значило передъ возмутительнымъ поступкомъ, который совершилъ онъ еще за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ и который обнаружился въ то самое время, какъ рѣшено было его выгнать.

У жены Хохлова была сестра, — молоденькая дѣвушка, жившая гдѣ-то въ услуженьи; Хохловъ обольстилъ ее. Въ домѣ у него ничего не подозрѣвали; болѣе чѣмъ когда-нибудь прикидывался онъ тогда смиречкомъ, ходилъ передъ женою на цыпочкахъ, былъ тише воды, ниже травы. Пьянство началось, когда не стало уже никакой возможности скрывать беременность, и обольщенная дѣвушка, потерявъ окончательно голову, объявила ему, что во всемъ откроется сестрѣ. Въ это самое время Хохлова выгнали изъ казеннаго дома; онъ запилъ еще хуже и, наконецъ, пропалъ куда-то безъ вѣсти.

Жена его осталась безъ крова и куска хлѣба. Къ ужасу ея положенія, она вскорѣ узнала о несчастіи сестры и, къ довершенію всего, объ участіи въ немъ мужа. Несчастіе сестры было, повидимому, главнымъ ея горемъ; оно пока заглушило въ ней всѣ остальныя чувства. Забывъ совершенно самоё себя, свое собственное оскорбленье, свой голодъ, она въ тотъ же день продала остатокъ жалкихъ пожитковъ, наняла въ отдаленной части города комнату у огородника и переселилась туда съ сестрою. Чтобы существовать и въ добавокъ кормить сестру, которую всячески старалась скрывать отъ постороннихъ взглядовъ,— она отъ зари до зари бѣгала по городу, отыскивая работу: гдѣ чинила платья, гдѣ стирала бѣлье, гдѣ мыла посуду и убирала комнаты; случалось ей даже копать гряды, какъ она мнѣ потомъ разсказывала. За сестрою ухаживала она все время, какъ нѣжная мать, не произнося упрека, не вымолвивъ слова, которое могло бы огорчить больную.

Но бѣдной этой женщинѣ опредѣлено было судьбою выпить до дна горькую чашу испытаній. Обольщенная дѣвушка не вынесла родовъ; разрѣшившись отъ бремени дѣвочкой, она въ ужасныхъ мукахъ скончалась на рукахъ сестры...

Я не мастеръ передавать внутреннія душевныя движенія; вы сами поймете, что̀ должна была выстрадать эта женщина, лишившись единственнаго любимаго существа и еще при такихъ скорбныхъ условіяхъ,— и кромѣ того, оставшись при своей бѣдности съ грудным ребенкомъ на рукахъ! Но она перенесла все это мужественно, никому ничего не говоря, безъ жалобъ, безъ ропота. Надо думать, сердце этой простой женщины — женщины безъ образованія и воспитанія,— такъ уже сотворено было, что одновременно съ тѣмъ, когда въ него входило горе съ одной стороны, — съ другой, — оно наполнялось двойной долей добра и великодушія.

Послѣднее выражалось, между прочимъ, тѣмъ, что ребенокъ этотъ, — живое напоминаніе всѣхъ ея несчастій, — сдѣлался предметомъ ея обожанія; она перенесла на него всю потребность любви и привязанности; съ нимъ она не только забыла, но какъ бы простила все прошлое. Разсказывая мнѣ потомъ объ этомъ періодѣ своей жизни, ей въ голову не пришло пожаловаться на судьбу, на испытанную тогда трудность въ добываніи средствъ къ существованію. Куда какъ тяжело было однакожъ перебиваться, живя однимъ шитьемъ и получая по сорока и тридцати копѣекъ въ день!

## XXVII.

Тѣмъ временемъ о Хохловѣ не было ни слуху, ни духу; разсказывали, онъ перетащился въ другой большой городъ и тамъ, падая все ниже и ниже, путаясь съ разными проходимцами и пропойцами, завалился подъ конецъ въ одну изъ тѣхъ ночлежныхъ трущобъ, откуда, какъ изъ дантовскаго ада, нѣтъ выхода.

Въ числѣ обывателей этого города проживалъ, между прочимъ, отставной генералъ съ семействомъ; вѣрнѣе было бы сказать, — генеральское семейство, — весьма многочисленное, не столько проживало, сколько перебивалось и колотилось, находя слабое утѣшеніе въ томъ, что помѣщалось въ собственномъ деревянномъ домикѣ съ покосившимся фронтономъ на мезонинѣ. Была также деревушка, отданная когда-то въ приданое за генеральшей, но ее все равно что не существовало: лѣсъ давно былъ вырубленъ, скотный дворъ проданъ на сносъ фабриканту, фруктовый садъ уступленъ за грошъ мѣдный мельнику; послѣ освобожденія крестьянъ она окончательно перестала давать доходъ. Существеннымъ подспорьемъ была пенсія

генерала и еще кой-какія деньжонки, перепадавшія отъ родственниковъ жены. Средства были жиденькія, особенно если принять во вниманіе, что генеральша проводила день, куря папироски, генералъ любилъ щеголять напомаженнымъ, круто завернутымъ, хохломъ и прогуливаться, выбирая преимущественно для прогулки мѣста, гдѣ бабы стирали бѣлье, копали гряды или купались, — а барышни большею частью занимались прической и смотрѣніемъ изъ оконъ на проходящихъ молодыхъ чиновниковъ и офицеровъ.

Одна изъ нихъ, — старшая, — рѣзко отличалась отъ сестеръ; она собственно только по рожденью принадлежала семейству. Взятая еще ребенкомъ тёткой и крестной матерью, бывшей начальницей какого-то сиротскаго дома въ Петербургѣ, она была ею выращена и воспитана. Возвратясь въ семью послѣ кончины крестной, которая оставила на имя племянницы въ банкѣ всѣ свои экономіи — тысячъ пять или шесть, — молодая дѣвушка, съ первыхъ дней, почувствовала себя отчужденной; отъ нея также какъ бы сторонились, называя ее насмѣшливо „графиней“; на самомъ дѣлѣ втихомолку завидовали ея красивой, нѣсколько строгой, наружности, завидовали ея деньгамъ и раздражались ея характеромъ, крайне сосредоточеннымъ и мало сообщительнымъ.

Единственное лицо, съ которымъ она нѣсколько сблизилась, была старая тётка, престарѣлая дѣва, ходившая вся въ черномъ, съ коротко обстриженными сѣдыми волосами — существо въ высшей степени своеобразное, не только по внѣшнему виду и нѣкоторымъ выдающимся чертамъ характера, но, главнымъ образомъ, по религіознымъ убѣжденіямъ, которыя привели ее къ полному самопожертвованію въ пользу страждущаго и неимущаго. Не имѣя гроша за душою, но пользуясь въ городѣ обширнѣйшимъ знакомствомъ и общею любовью, она умѣла всегда выманить старое платье, фунтъ сахару, говядины, картофелю и даже денегъ, и тутъ же раздавала все это разнымъ бѣднякамъ. Въ томъ проходила вся ея жизнь. Ей знакомы были въ городѣ всѣ нуждающіяся семейства, всѣ углы и закоулки, гдѣ гнѣздились нищета и болѣзни, отъ которыхъ она искусно лѣчила даровыми медикаментами.

Отъ скуки ли, изъ любопытства ли, или, наконецъ, отъ сочувствія къ дѣятельности тётки, старшая племянница, слушая ея разсказы, не разъ выражала желаніе ей сопутствовать.

— Трудно, милушка, тяжело... И бѣдно-то, и грязно подъ-часъ — куды грязно, не выдержишь...

— Ничего, тётушка, авось выдержу! возражала племянница.

Не говоря ничего дома, обѣ условились въ днѣ и отправились.

— Ну, что? спросила старуха послѣ первой такой прогулки.

— Не весело, тётушка, твоя правда, но вообще развѣ весело въ жизни... задумчиво возразила племянница.

Прогулки стали повторяться чаще и чаще. Въ семьѣ узнали объ этомъ, но никто не обратилъ вниманія.

## XXVIII.

Тётка съ племянницей, посѣщая однажды одну изъ отдаленныхъ трущобъ, набрели на человѣка еще молодаго, но до такой уже степени истощеннаго болѣзнями и нищетою, что оставалось удивляться, какимъ образомъ находился онъ здѣсь, а не въ больницѣ или не на кладбищѣ.

„Въ больницу его водили, но не приняли“, пояснила хозяйка угловъ; „сказали: дѣло отъ запоя, а тамъ отъ запоя не лѣчатъ...“ Она прибавила, что рѣшительно не знаетъ, какъ теперь быть: „на улицу выбросить жалостно какъ словно, да и полиція взыщетъ; съ другой стороны: даромъ кормить и держать также не приходится... самимъ подъ-часъ куда туго бываетъ!...“

Въ ожиданіи того, чѣмъ рѣшится судьба его, жилецъ, подобно Іову многострадальному, лежалъ чуть ли не на навозѣ, голодный и полураздѣтый. Пока тётка уговаривалась съ хозяйкой насчетъ уплаты за ночлегъ и харчи, племянница разговорилась съ больнымъ. Онъ не столько отвѣчалъ на ея вопросы, сколько жалостно плакалъ, билъ себя въ грудь, называлъ себя грѣшникомъ и все время пытался черезъ силы ухватиться дрожащими руками за край ея накидки и прижать его къ губамъ своимъ.

Человѣкъ этотъ былъ никто другой, какъ Хохловъ.

На другой день тётка и племянница снова посѣтили больнаго; на третій день тоже. Каждый разъ ему приносили булокъ, говядины, бульону въ бутылкѣ, бѣлья, ту или другую принадлежность одежды и т. д.

Больной замѣтно сталъ поправляться.

Какъ могло случиться, что Хохловъ переселился въ свѣтлую комнату и пересталъ въ чемъ-нибудь нуждаться — можно объяснить однимъ только: живымъ участіемъ барышни. Впослѣдствіи открылось, какъ она для этой цѣли — и, конечно, тайкомъ отъ родителей и тётки — постепенно продавала браслеты и серьги,

доставшіяся ей отъ крестной матери. Что вынудило ее къ такой жертвѣ, чѣмъ заслужилъ это Хохловъ, — это другой вопросъ, разрѣшить который труднѣе. Исторію эту узналъ я потомъ во всѣхъ подробностяхъ. Поступокъ этой дѣвушки можетъ казаться дикимъ, эксцентрическимъ, чѣмъ угодно, но могу васъ увѣрить, въ немъ ничего не было, что могло быть предосудительнымъ для ея чести, могло бросить на нее тѣнь неблаговиднаго подозрѣнья. Не касаясь уже личности Хохлова, довольно припомнить ея характеръ, въ высшей степени спокойный, ея серьезный и сосредоточенный умъ, чтобы убѣдиться, что въ ея увлеченіи было нѣчто совсѣмъ другое, чѣмъ извращенная наклонность или чувственный капризъ. По природѣ своей она всего скорѣе принадлежала къ типу тѣхъ женщинъ, которыя, по преимуществу, могутъ увлечься гуманной идеей или политическою цѣлью и которыя, увлекшись тѣмъ или другимъ, ни передъ чѣмъ уже не останавливаются, идутъ къ своей цѣли съ полной готовностью жертвовать собою.

Нѣтъ сомнѣнія, Хохловъ, какъ мужчина, игралъ здѣсь совершенно пассивную роль; главнымъ ея двигателемъ было экзальтированное желаніе спасти падшую душу, вызвать къ жизни погибающаго человѣка, — желаніе, быстро овладѣвшее ея умомъ, воображеніемъ, всѣми ея чувствами.

## XXIX.

Помните повѣсть Тургенева „Странная исторія“? Въ ней разсказывается, какъ прелестная дѣвушка — дочь губернатора — бѣжала изъ дому съ тѣмъ, чтобы слѣдовать за какимъ-то нищимъ; какъ потомъ встрѣчали ее съ нимъ въ зной на пыльныхъ дорогахъ, какъ, разъ ночью, видѣли ее на постояломъ дворѣ въ то время, когда она, опустившись на колѣна, обмываетъ ему раны... Исторія, разсказанная Тургеневымъ, произошла въ дѣйствительности точно такъ же, какъ та, которую я вамъ разсказываю, правдива отъ начала до конца.

Какъ тамъ, такъ и здѣсь, причина увлеченія выходила изъ родственнаго источника: удручающая тоска въ окружающей средѣ, потребность изъ нея вырваться во что бы ни стало, сильное возбужденіе душевныхъ и умственныхъ стремленій, обращенныхъ къ мысли быть полезной ближнему съ готовностью принести себя въ жертву для такой цѣли, не допуская даже соображенія о томъ, заслуживаетъ ли цѣль такой жертвы.

Чтобы избѣгнуть скандала, который рано или поздно неминуемо долженъ былъ обнаружиться или, вѣрнѣе, чтобы удобнѣе осуществить свой планъ, она рѣшилась бѣжать вмѣстѣ съ нимъ изъ губернскаго города и увезти его какъ можно дальше.

Вотъ въ это-то самое время Хохловъ и явился ко мнѣ въ Петербургъ; она ѣздила туда, вѣроятно, съ тѣмъ, чтобы получить изъ банка деньги, оставленныя ей крестной матерью.

Вскорѣ узналъ я, они переѣхали границу и поселились въ Лозаннѣ.

Мнѣ разсказывали потомъ, что три или четыре года спустя послѣ переѣзда ихъ заграницу, когда Хохлова разбило параличомъ, и у него отнялись ноги, она съ удвоенной преданностью продолжала ходить за нимъ, терпѣливѣе прежняго сносила его капризы и грубыя выходки, кормила его изъ рукъ своихъ, какъ ребенка, сама его укладывала и одѣвала, словомъ, была для него и матерью, и служанкой вмѣстѣ. Въ хорошую погоду, она усаживала его обыкновенно въ кресло, у открытаго окна, обернувъ его ноги пледомъ, а сама садилась подлѣ за работу. Деньги крестной матери давно были истрачены; жили они тѣмъ, что она съ утра до вечера, и часто по ночамъ, трудилась надъ починкой старыхъ кружевъ и раскрашивала абажуры для лампъ. Хохловъ умеръ. Не знаю, какая постигла ее судьба, не знаю даже, жива ли она теперь...

Не далѣе, какъ три года тому назадъ, привелось мнѣ видѣть жену Хохлова. Это было въ Петербургѣ. Выходитъ ко мнѣ женщина, держа за руку дѣвочку (дѣвочкѣ было лѣтъ семь — восемь); смотрю: какъ будто что-то знакомое, но, хоть убей, не могу припомнить.

— Вы меня не узнаете? робко проговорила она.

— Нѣтъ... извините, началъ было я, и вдругъ неожиданно вспомнилъ, вспомнилъ не только ее, но всю прежнюю ея обстановку.

Съ трудомъ вѣрилось однакожъ, чтобъ въ десять лѣтъ можно было до такой степени измѣниться! Вмѣсто миловидной, бѣлокурой головки во вкусѣ Гретхенъ, смотрѣло худощавое блѣдное лицо, покрытое сплошь тоненькими, какъ паутина и мелкими, какъ рубленый волосъ морщинками; меньше всего измѣнились глаза: еще секунда, и я навѣрное узналъ бы ее по ихъ кроткому, доброму выраженію, которое тогда, при первомъ свиданьи, врѣзалось мнѣ въ память. Она давно уже переселилась въ Пе-

тербургъ, занималась шитьемъ и теперь пришла просить опредѣлить куда-нибудь дѣвочку. (Она не упомянула ни о сестрѣ, ни о мужѣ). Заговоривъ о ребенкѣ, она какъ-то вдругъ оживилась и принялась съ необыкновеннымъ жаромъ разсказывать о замѣчательныхъ способностяхъ дѣвочки, о ея желаніи учиться, о ея прекрасномъ характерѣ; ея голосъ, движенія, глаза, которые во время разсказа сіяли счастьемъ, ясно говорили, что она вся охвачена самой горячей любовью къ дѣвочкѣ; ей, повидимому, недовольно было восхищаться ею на словахъ; она поминутно и съ какою-то лихорадочною восторженностью прикасалась къ ея волосамъ, поправляла ей косынку и трогала ея плечи.

Когда дѣвочка была опредѣлена, Хохлова снова явилась, но уже съ тѣмъ, чтобы благодарить меня. Въ жизнь не забуду этой сцены! Минутъ десять по крайней мѣрѣ собиралась она что-то мнѣ сказать и не могла; сердце ея было слишкомъ переполнено; голосъ ея спирался въ груди и въ горлѣ слышалось какое-то клокотанье; слезы ручьями текли по ея щекамъ. Я слышалъ только: „Дѣвочка моя... я... я... Благодарю васъ...“ Насилу могъ я ее успокоить.

## XXX.

Она съ-тѣхъ-поръ каждый годъ заходитъ сообщить объ успѣхахъ дѣвочки. Отъ нея узналъ я о кончинѣ мужа. Вспоминая о немъ и прежнемъ житьѣ, она говорила совершенно спокойно, безъ малѣйшаго оттѣнка раздраженія; у нея во все время не только не вырвалось упрека, но даже намека не было на пережитое съ нимъ горе и перенесенное оскорбленіе... Признаюсь, господа, заключилъ юристъ, сильно сомнѣваюсь, чтобы часто можно было встрѣтить столько великодушія въ связи съ такимъ самоотверженьемъ, такимъ запасомъ сердечныхъ чувствъ, прибавлю: такою добродѣтелью, сколько, каждая по-своему, выказали эти двѣ женщины, правдивую исторію которыхъ я вамъ передалъ.

— Меня, по крайней мѣрѣ, нисколько это не удивляетъ проговорилъ хозяинъ дома,—я никогда не сомнѣвался и не разъ высказывалъ вамъ, что тамъ, гдѣ дѣло идетъ о благородствѣ чувствъ и честности сердца, женщина несравненно честнѣе, благороднѣе и великодушнѣе нашего брата! Мы жалуемся на женскую хитрость, забывая, что сами въ ней кругомъ виноваты: не мы ли поставили женщину въ такое положеніе, что хитрость сдѣла-

лась, можно сказать, единственной ея защитой; безъ нея ей оставалось бы окончательно быть приниженной рабой и нѣмкой! По-моему: да здравствуетъ даже тотъ типъ романтическихъ и мечтательныхъ женщинъ, который такъ не по сердцу нашему другу инженеру! Да здравствуютъ даже тѣ, которыя заставляютъ насъ страдать, да,—страдать, потому что, страдая, все-таки живешь страстной живой жизнью... Но безусловно злыхъ женщинъ очень мало. Положительно хорошихъ женщинъ неисчислимое большинство противъ дурныхъ, и, въ общей сложности, если на свѣтѣ есть какое-нибудь совершенство, оно выражается честной и доброй женщиной!...

Наконецъ, кто лучше ихъ умѣетъ любить?...

— И въ этомъ ихъ главное преимущество! подхватилъ съ обычной горячностью литераторъ,—любовь! этотъ лучшій даръ, это высшее чувство человѣка! Обращено ли это чувство къ отечеству, къ общественной пользѣ, къ отдѣльной личности, оно далеко оставляетъ за собою все то, что обыкновенно служитъ двигателемъ въ нашей жизни. „Жизнь безъ любви—горькій сонъ“, говорятъ итальянцы. Я со своей стороны прибавлю слѣдующее: всѣ наши цѣли, мудрствованія, такъ называемыя „дѣла“, тщеславныя стремленія, карьеры и т. д. и т. д.—все это, если взять въ разсчетъ не вѣчность, но только нашу коротенькую жизнь, все это не стоитъ въ сущности того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, какъ мы это дѣлаемъ! На свѣтѣ есть одно настоящее дѣло, которымъ стоитъ серьезно заниматься,—это любовь! Ужъ на что, кажется, бывали на землѣ крѣпкіе люди, кремневыя натуры, и тѣ не выдерживали—покорялись! А остальная мелюзга только хорохорится; она только хвастаетъ своей несокрушимостью, безъ нужды,—потому что никто ей не вѣритъ. Для любви, для ней одной стоитъ рождаться на свѣтъ и прискорбно умирать потому только, что приходится разстаться съ нею и нѣтъ болѣе надежды испытывать ее снова...

На этомъ мѣстѣ увлеченный ораторъ былъ прерванъ звукомъ часовъ, которые пробили часъ ночи.

Товарищи пожали другъ другу руки и стали расходиться, пожелавъ каждому покойной ночи.

Того же и вамъ желаю, читатель.

# КАРТИНЫ
# АНГЛІЙСКИХЪ ЖИВОПИСЦЕВЪ
## НА ВЫСТАВКАХЪ 1862 ГОДА
## ВЪ ЛОНДОНѢ.

### I.

Когда я въ послѣдній разъ уѣзжалъ въ Лондонъ, вы просили меня имѣть васъ въ виду при возвращеніи и передать вамъ мои артистическія впечатлѣнія въ этомъ городѣ. Не ошибусь, кажется, если скажу, что, напутствуя меня такимъ порученіемъ, вы съ своей стороны имѣли также и меня «въ виду», зная мою слабость дѣлиться впечатлѣніями, особенно по части художествъ. Извѣстно вамъ лучше чѣмъ кому-нибудь, чего стоило мнѣ выбрасывать изъ моихъ путевыхъ писемъ по Европѣ все, что̀ касалось искусства; говорить о такомъ предметѣ легко и поверхностно не слѣдовало; говорить пространно было бы неумѣстно въ бѣгломъ очеркѣ личныхъ впечатлѣній; и вотъ, принявъ все это къ свѣдѣнію, вы ждали перваго удобнаго случая, чтобы дать мнѣ возможность наговориться всласть о томъ, что̀ всегда преимущественно занимало меня.

Я дѣйствительно поѣхалъ въ Лондонъ съ спеціальною цѣлію. Англійская школа живописи давно занимала мое воображеніе. Въ воспоминаніяхъ моихъ о безчисленномъ множествѣ видѣнныхъ мною картинъ всѣхъ школъ и временъ англійская живопись была чѣмъ-то въ родѣ пробѣла. За исключеніемъ нѣсколькихъ произведеній Рейнольдса, Лауренса, Доу, Морланда и Бонингтона, я почти ничего не видалъ; но и эти обращики (особенно эскизы Бонингтона) давали предчувствовать замѣчательныхъ самобытныхъ мастеровъ. Гравюры, литографіи, акватинты и фотографіи съ картинъ англійскихъ художниковъ постоянно поддерживали мое любо-

пытство. Все это дѣйствовало какъ недосказанное слово въ интересной новости, какъ знакомая всѣмъ фраза: «продолженіе слѣдуетъ», посреди занимательной журнальной статьи, какъ случайно подвернувшійся листъ изъ книги, который такъ вдругъ разожжетъ желаніе прочесть самую книгу, что, кажется, все бы отдалъ, чтобы только достать ее.

До настоящей моей поѣздки я два раза былъ въ Лондонѣ, и оба раза довольно неудачно для художественной цѣли. Въ первый разъ это было нѣсколько лѣтъ послѣ всемірной выставки; когда я пріѣхалъ во второй разъ, манчестерская выставка только-что кончилась. Послѣ выставокъ, картины тотчасъ же возвращаются въ галлереи владѣльцевъ, которые большею частію живутъ въ своихъ замкахъ, куда доступъ довольно труденъ. Познакомившись только съ нѣкоторыми англійскими мастерами, да и то по отдѣльнымъ произведеніямъ, разбросаннымъ въ разныхъ галлереяхъ, я не могъ, слѣдовательно, дать себѣ полный отчетъ въ общемъ характерѣ англійской школы, не могъ вполнѣ оцѣнить ее.

Въ настоящее время Лондонъ вознаградилъ меня за всѣ неудачи. Кромѣ художественнаго отдѣленія въ зданіи международной выставки, явилось еще нѣсколько другихъ выставокъ картинъ, преимущественно современныхъ. Можно сказать съ увѣренностью, никогда еще собственно англійская живопись не была представлена въ такой полнотѣ.

Теперь я видѣлъ почти все, что произвела англійская живопись; мнѣніе мое, какъ вы, я думаю, и ожидаете, вовсе не похоже на то, которое столько разъ навязывали намъ французскіе критики и художники. Мнѣніе ихъ было отчасти сходе съ тѣмъ, которое нѣсколько лѣтъ назадъ ходило у насъ по отношенію къ современной французской школѣ. Все, что производили французскіе художники, безразлично и съ одинаковымъ презрѣніемъ называлось *французятиной*. Съ самодовольствомъ и увѣренностью (которымъ, право, не пріищу основанія) многіе изъ нашихъ художниковъ, не бывавшіе въ чужихъ краяхъ, и даже рѣдко переступавшіе за предѣлы Васильевскаго острова, громко провозглашали, что французскіе живописцы давно сбились съ пути, проложеннаго Пуссеномъ, что они теперь дрянь совершенная, фокусники, фигляры и въ дабавокъ рисовать не умѣютъ. Рисунокъ служилъ главнымъ конькомъ, на которомъ особенно любили выѣзжать наивные Донъ-Кихоты Васильевскаго острова. Справедливо увѣренные, что академія Васильевскаго острова первая въ Европѣ... по величинѣ зданія (никто этого и не оспаривалъ), многіе изъ нашихъ художниковъ не давали и рта открыть, когда рѣчь касалась Французовъ; сейчасъ же начиналась брань, исполненная самыхъ живописныхъ и самыхъ пластическихъ выраженій, и сыпались удары кулака въ столъ. Все это было, надо сказать, въ давнопрошедшія, варварскія времена, то-есть лѣтъ пятнадцать назадъ. Въ позднѣйшее время, послѣ того, какъ многіе изъ нашихъ молодыхъ даровитыхъ живописцевъ, не видя въ Римѣ, со стороны товарищей, особенно поучительнаго примѣра, пустились странствовать по Европѣ и побывали въ Парижѣ, дѣло приняло другой оборотъ; нѣкоторые увидѣли, что здѣсь, въ этомъ растлѣнномъ Парижѣ, много такого, чему можетъ поучиться съ успѣхомъ даже русскій художникъ; они смиренно начали ходить за совѣтами къ французскимъ живописцамъ,

вопреки раскольникамъ Васильевскаго острова, которые, желая, вѣроятно, доказать правоту своего взгляда на искусство и приложеніе его къ дѣлу, бѣшено трепали себѣ волосы, яростно рвали лацканы форменной своей одежды и продолжали кричать во всеуслышаніе, что все, что не ими произведено на Васильевскомъ островѣ, все дрянь, фокусы, модныя штучки, оскорбляетъ глазъ и чувство недостаткомъ рисунка, стиля, благородства, вдохновенія,—словомъ, все *французятина!*

Мнѣніе французскихъ художниковъ объ англійскихъ было, конечно, скромнѣе и выражалось не такъ живописно, но всетаки въ немъ проглядывало явное недоброжелательство, пристрастіе и, слѣдовательно, оно могло только вводить въ заблужденіе всякаго, кто повѣрилъ бы на слово, не стараясь убѣдиться лично.

Первое впечатлѣніе, при видѣ большаго собранія картинъ англійской живописи, принадлежитъ уже само по себѣ къ разряду совершенно новыхъ, неожиданныхъ впечатлѣній; колоритъ, письмо, оригинальность общаго расположенія, невиданная нигдѣ прежде свобода и независимость пріемовъ, типы, полнѣйшее отсутствіе всего условнаго, — все отмѣчаетъ здѣшнія картины другими чертами и оттѣнками отъ произведеній остальныхъ школъ Европы. Послѣ перваго бѣглаго взгляда нельзя уже ошибаться въ ихъ происхожденіи. Прежде чѣмъ успѣешь познакомиться съ манерой и стилемъ художниковъ, уже безошибочно отличаешь картины англійской школы отъ всѣхъ другихъ. При всемъ безконечномъ разнообразіи талантовъ, англійская живопись отмѣчается чѣмъ-то общимъ, типически-характеристическимъ, какъ школы Италіи, Испаніи, Голландіи и Фландріи; словомъ, все сразу даетъ здѣсь чувствовать присутствіе искусства въ высшей степени оригинальнаго. Та же печать самобытнаго, которая бьетъ по глазамъ при въѣздѣ въ Англію, отличаетъ здѣсь и самое искусство. Картины французской школы поперемѣнно или напоминаютъ старыхъ итальянскихъ мастеровъ, или вступаютъ въ разрядъ извѣстныхъ временныхъ условныхъ направленій и стилей, или мѣшаются, по общему внѣшнему характеру, съ произведеніями современныхъ художниковъ Бельгіи. Бельгійская школа производитъ такое же впечатлѣніе. Современныя произведенія нѣмецкой живописи или приближаются къ французскимъ и бельгійскимъ, или снова переносятъ насъ, какъ, напримѣръ, картины Овербека, Шнора, Шадова и другихъ, къ первымъ эпохамъ возрожденія искусства въ Германіи и Италіи. Русская школа пока еще не имѣетъ самобытнаго характера; она подражаетъ то Италіи, то Франціи, то Бельгіи. Англійское искусство,—и въ этомъ отличительная черта его,—ни у кого не заимствовалось; оно родилось на своей почвѣ, и развивалось силою собственнаго національнаго генія. Эта самобытность распространяется не только на всю школу, но отмѣчаетъ почти каждую отдѣльную личность въ многочисленномъ кругу англійскихъ художниковъ. Здѣсь каждый свободно отдается влеченію своего таланта, руководствуется только собственнымъ своимъ взглядомъ, подчиняется личному характеру, вкусу, капризу. Каждый дѣлаетъ по своему, какъ знаетъ. Поэтому-то самому, здѣшнія картины такъ и поражаютъ отсутствіемъ всего условнаго, тождественнаго въ пріемахъ, во взглядѣ на искусство, въ способахъ изображенія при-

роды, то-есть всего того, что бросается въ глаза на картинахъ другихъ школъ и что очевидно можетъ объясняться у послѣднихъ только вліяніемъ школъ и академій.

Дѣло въ томъ, что только самобытные, дѣйствительно великіе природные таланты, которые, между прочимъ сказать, такъ рѣдки, выходили цѣлыми изъ академій и брали въ нихъ только то, что считали для себя полезнымъ. Большинство художниковъ, смиренно подчиняясь принятымъ формамъ и методѣ, утрачивали свою личность и давали въ результатѣ посредственность. Въ искусствѣ, какъ и на всѣхъ путяхъ, открытыхъ способностямъ человѣка, прежде всего надо быть самимъ собою. *Удовлетворительное*, которымъ часто восхищается толпа, не можетъ еще служить цѣлью художнику; во что бы ни стало, надо идти далѣе; эти полууспѣхи въ началѣ поприща испортили и погубили больше талантовъ, чѣмъ полная неудача. Легчайшій способъ скоро понравиться—это дѣлать какъ тотъ, который уже нравится, то-есть, подражать послѣднему. Подражаніе еще не бѣда, когда въ основаніи его цѣль усовершенствованія, какъ это было, напримѣръ, у Веласкеса и Мурильйо, которые начали съ того, что подражали Италіянцамъ и Вандейку. Академіи, конечно, должны существовать въ каждомъ образованномъ государствѣ; но цѣль ихъ должна ограничиваться исключительно тѣмъ, чтобъ открывать всевозможные способы для общаго образованія и сверхъ того давать матеріальныя средства для учащихся; все, что составляетъ собственно сущность искусства: композиція, колоритъ, воззрѣніе на природу, вкусъ, внутреннее чувство и самый рисунокъ—все это должно быть внѣ вліянія академіи. Какому правилу подчинить, напримѣръ, рисунокъ (средство, которое еще принимается за цѣль), рисунокъ, который такъ же неуловимъ, такъ же безконечно разнообразенъ и вѣчно новъ, какъ сама природа? Профессоръ, который говоритъ: «Рисуйте такъ, какъ я вамъ показываю, или какъ я рисую»,—такъ же нелогиченъ, какъ тотъ, который скажетъ: «Вы должны смотрѣть моими глазами», вмѣсто того, чтобы сказать: «У васъ свои глаза, передавайте природу такъ, какъ она вамъ представляется». Пропорціи и формы, при безконечномъ разнообразіи, остаются неизмѣнно тѣми же, какъ создала ихъ природа. Если онѣ не всегда прекрасны, то всегда вѣрны; изображая ихъ такъ, какъ онѣ есть, художникъ не рискуетъ быть неправильнымъ; кто съумѣетъ взять ихъ прекрасными и передастъ ихъ такими, тотъ достигнетъ истинной красоты. Но, слава Богу, пришелъ, кажется, конецъ *условно-прекраснаго и условно-правильнаго*. Академіи, въ томъ видѣ, какъ онѣ до настоящаго времени существовали въ Европѣ, принесли уже свои плоды. Мы видѣли, къ чему повело условно-прекрасное, созданное школою Давида и основанное на математическихъ сухихъ законахъ, какъ размѣръ фигуры по семи головамъ и т. д. Такое направленіе наводнило Европу картинами правильно-фальшивыми и скучно-правильными. Эти картины были ничего больше, какъ раскрашенные слѣпки съ античныхъ барельефовъ. Но и прежде не было ли то же самое? Гдѣ только была школа и академія, начиная съ римской и кончая болонской, художникъ неизбѣжно подчинялъ свое дарованіе и отдавался весь подъ вліяніе главы школы. Хорошо, когда главою былъ Рафаэль; но умиралъ мастеръ, умѣвшій

вдохновлять учениковъ, бывшій ихъ душою, — ученики оставались безличными, шли по указанному пути и скоро впадали въ рутину. Что сдѣлалось въ Римѣ послѣ Рафаэля? Что осталось во Фландріи послѣ Рубенса?

Во Фландріи и Голландіи не было академій, и здѣсь, въ произведеніяхъ художниковъ, мы видимъ гораздо больше разнообразія, свободы, индивидуальности. То же самое встрѣчаемъ мы и въ Англіи. Но, скажутъ, здѣсь есть академія, здѣсь она была прежде, чѣмъ во многихъ другихъ странахъ Европы. Совершенно справедливо, только вотъ въ чемъ дѣло: Королевская академія, основанная здѣсь въ видахъ поощренія художествъ, до-сихъ-поръ не имѣла, да и не могла имѣть никакого вліянія на художниковъ. Все равно, какъ-будто ея не было. Бо́льшая часть знаменитыхъ художниковъ Англіи никогда не переступали ея порога: Лауренсъ не былъ принятъ въ академію даже тогда, какъ выполнилъ въ своей программѣ все, что отъ него требовалось по академическому *уставу*; Тэрнеръ учился подъ непосредственнымъ надзоромъ Монро (Munro). Академія не можетъ также считать въ числѣ своихъ питомцевъ Мартина, Денби, Стенфильда, Бонингтона, Генсборо. Скульпторъ Флаксманъ, Чентрей и Гибсонъ также не пользовались наставленіями академіи. Флаксманъ учился у своего отца; Чентрей началъ съ того, что былъ рѣщикомъ на деревѣ въ Шеффильдѣ, а Гибсонъ вначалѣ занимался въ Ливерпулѣ лѣпными украшеніями на кормахъ судовъ. Королевскую академію въ Лондонѣ упрекаютъ въ духѣ исключительности и зависти, который образовалъ изъ нея особый кружокъ, доступный только *для своихъ;* дѣйствія ея, если вѣрить людямъ, близко знакомымъ съ кругомъ художниковъ, ограничиваются поощреніемъ и поддержкою посредственности.

Между живописцами Голландіи и Англіи существуетъ еще та аналогія, что какъ тѣ, такъ и другіе, развивались и шли самобытнымъ путемъ, оказывая одинаково мало сочувствія къ поученіямъ античнаго искусства, — преданіямъ, которыя, какъ извѣстно, служили вѣчною основой всѣмъ остальнымъ школамъ. Но равнодушіе къ античной красотѣ, конечно, нельзя приписать у Англичанъ недостатку изящнаго чувства; еще менѣе, конечно, можно видѣть въ этомъ слѣдствіе невѣжества. Англійскіе художники прошлаго столѣтія, какъ и теперешніе, могутъ безспорно считаться образованнѣйшими людьми между своими собратами въ Европѣ. Они много путешествовали и видѣли; въ ихъ кругу часто являлись люди, сочиненія которыхъ, полныя ясныхъ и глубокихъ взглядовъ на искусство, пользуются европейскою извѣстностью; со временъ Рейнольдса, Англія имѣла всегда достойнѣйшихъ профессоровъ и критиковъ въ дѣлѣ эстетики. Но ни книги, ни лекціи, ни картины высокаго стиля, которыми такъ богаты галлереи Англіи, ни даже драгоцѣнные мраморы Фидія, украшавшіе когда-то фронтонъ Парѳенона и сохраняющіеся теперь подъ сводами Британскаго Музеума, — ничто не произвело здѣсь того дѣйствія, какое производилось у другихъ народовъ. Англійскіе художники также мало подчинились античному стилю, какъ если бы не знали его вовсе; за рѣдкими исключеніями, съ каждымъ изъ нихъ произошло то же самое, что было съ Рембрандтомъ. Имѣя случай видѣть образцы древняго искусства

и отлично понимая красоту ихъ, онъ не подражалъ имъ потому только, что свойство его генія влекло его къ другому.

За доказательствами ходить не далеко.

Въ половинѣ прошлаго столѣтія человѣкъ, родившійся художникомъ, человѣкъ, который много учился, много видѣлъ и думалъ,—предпринялъ основать въ Англіи школу живописи. До той поры, въ Англіи, со времени Гольбейна, процвѣтали только иноземные живописцы; если между ними являлись Англичане, то это были только блѣдныя отраженія своихъ учителей. Человѣкъ этотъ былъ Рейнольдсъ. Съ высоты своей академической каѳедры онъ началъ преподавать общіе законы искусства, какъ понимали ихъ древніе и какъ потомъ примѣнило ихъ къ себѣ христіанство въ эпоху возрожденія: знаніе его было обширно. Краснорѣчіе ученаго художника не только встрѣтило равнодушіе слушателей, но, что всего замѣчательнѣе, самъ Рейнольдсъ никакъ не могъ примѣнить къ себѣ самому то, о чемъ такъ горячо проповѣдывалъ. Національное природное чувство шло наперекоръ умственному убѣжденію, и постоянно брало верхъ надъ послѣднимъ; каждое его произведеніе жестоко расходилось съ тѣмъ, что говорилось имъ на каѳедрѣ. Онъ восхищался антиками, проповѣдывалъ строгость рисунка и чистоту стиля, а между тѣмъ, въ картинахъ своихъ, старался только о ловкости письма и колоритѣ. Ничего не можетъ быть противоположнѣе его идеѣ объ абсолютномъ, какъ картины его, исполненныя личнаго типа и проникнутыя чисто англійскимъ характеромъ. Словомъ, англійская живопись, несмотря на всевозможныя усилія и попытки привить къ ней иноземные законы искусства, упорно сохранила всю независимость своего національнаго духа.

Вы не ошибетесь, если заключите изо всего сказаннаго, что на выставкахъ Англіи, сравнительно, мало должно встрѣчаться собственно историческихъ картинъ, понимая такое названіе не только въ узкомъ смыслѣ, который разумѣетъ подъ историческою картиной произведенія извѣстнаго масштаба, представляющія сюжетъ священный или историческій и выполненныя академическимъ образомъ; но особенно въ прямомъ, настоящемъ смыслѣ, то-есть, считая историческими картинами тѣ только, которыя по содержанію, формѣ и исполненію принимаютъ характеръ возвышенный, строговеличавый, монументальный.

Начать съ того: здѣсь не было даже возможности развиться религіозной живописи. Самая форма религіи исключаетъ образа и фрески. Кромѣ того, здѣсь не существуетъ того покровительства со стороны государства, которое во Франціи, Германіи, Бельгіи и у насъ предпринимаетъ огромныя работы, заказываетъ храмы, дворцы, публичныя зданія. Поощреніе здѣсь въ рукахъ частныхъ лицъ; оно, правда, весьма значительно; но только при такихъ данныхъ художество поневолѣ должно было подчиниться извѣстнымъ условіямъ. По бо́льшей части, эти частныя лица требовали такихъ произведеній, которыя бы удобно помѣщались въ комнатахъ и кабинетахъ тѣхъ загородныхъ за́мковъ и коттеджей, гдѣ Англичанинъ любитъ проводить свою жизнь. Англійскимъ художникамъ, лишеннымъ возможности покрывать живописью обширныя стѣны и холстины, стѣсненнымъ условіями частной жизни, не трудно, впрочемъ, было отказаться отъ бо́льшихъ работъ монументальнаго

характера. Онѣ не отвѣчали ихъ собственнымъ прирожденнымъ вкусамъ и наклонностямъ; художество Англіи, такъ недавно еще возникшее, постоянно шло съ вѣкомъ и согласовалось съ тою сферой, которую проходило. Сколько замѣтно, здѣшніе живописцы неохотно приступаютъ къ картинамъ историческимъ; если дѣло въ ихъ власти, они преимущественно обращаются къ недавнимъ событіямъ отечественной исторіи; имъ, очевидно, пріятнѣе имѣть дѣло съ генераломъ Вольфомъ, Нельсономъ, майоромъ Пирсономъ, чѣмъ съ героями древняго міра. Вестъ и Копли (Copley) особенно много писали такихъ картинъ; но оба, несмотря на несомнѣнный талантъ, никогда не выходили въ нихъ изъ характера чисто анекдотическаго, никогда не достигали въ своихъ произведеніяхъ до степени героической эпопеи. Какъ только Вестъ берется за такіе сюжеты, какъ: «Христосъ исцѣляющій прокаженнаго», «Тайная Вечеря»,—онъ становится ниже всякой критики. Въ этихъ картинахъ, не говоря уже о недостаткѣ стиля, сколько-нибудь отвѣчающаго сюжету, дѣйствующія лица исполнены чего-то аффектированнаго, театральнаго, и похожи на переодѣтыхъ Англичанъ. У Рембрандта Христосъ часто снисходитъ до степени простаго человѣка, но чрезъ это не охлаждаетъ нашего сочувствія; а Вестъ и Рейнольдсъ сдѣлали изъ Христа только Англичанина. Такъ было, по крайней мѣрѣ, до нашего времени; но въ послѣдніе годы происходитъ разительный переворотъ. Благодаря нѣсколькимъ даровитымъ художникамъ, искусство Англіи выступило на новую, еще невѣдомую дорогу. Во главѣ новаго направленія стоятъ художники Гонтъ, Миллесъ, Коллинсъ и другіе, которые краснорѣчиво доказываютъ, что англійскому генію точно также доступны высшія сферы искусства, и для достиженія этихъ сферъ не доставало только талантовъ своего рода.

Но тамъ, за то, гдѣ строгость и величавость стиля не считаются первою необходимостью, гдѣ главную роль играютъ остроуміе, наблюдательность, поэтическое чувство или сатира, Англичане выступаютъ на первый планъ. Съ самыхъ первыхъ своихъ попытокъ, они не знали соперниковъ; никакая школа не представляетъ болѣе глубокаго и ѣдкаго моралиста, какъ Гогартъ, болѣе тонкаго наблюдателя, какъ Вильки, болѣе правдиваго и вмѣстѣ съ тѣмъ поэтическаго художника домашнихъ сценъ, какъ Мюльреди. Избытокъ ума былъ бы здѣсь даже вреденъ, если бы не выкупался изяществомъ письма, граціей и прелестью композиціи, правдой и поэтическимъ пониманіемъ природы; словомъ, если бы было менѣе истинно художественныхъ достоинствъ. За этими художниками большинство обратилось къ чистому реализму, или, наоборотъ, принялось черпать содержаніе у Шекспира, въ національныхъ балладахъ и поэмахъ, стараясь открыть себѣ пространное поле для свободнаго фантазированія и идеализаціи. Послѣднее создало даже совершенно особый родъ, которымъ очень богата вообще и прежняя, и теперешняя школа Англіи.

Достойно также замѣчанія, что съ самаго начала англійской живописи, основаніе которой восходитъ не далѣе, какъ къ половинѣ прошлаго столѣтія и было дѣломъ Гогарта и Рейнольдса, англійская школа выступаетъ безъ всякихъ предуготовленій, не ощупываетъ себѣ дороги, но сразу, съ первыхъ своихъ дебютовъ, начинаетъ играть блестящую роль въ исторіи

современнаго европейскаго искусства. Съ первыхъ шаговъ ея являются здѣсь художники, какъ Рейнольдсъ, Генсборо и Лауренсъ; пейзажисты и живописцы животныхъ, какъ Тэрнеръ, Констебль, Бонингтонъ, Стенфильдъ и Ландсиръ; послѣ Гогарта, который, по времени, опережаетъ Рейнольдса, являются одинъ за другимъ живописцы домашнихъ сценъ, какъ Вильки, Вебстеръ, Мюльреди, Фростъ, Патонъ, Фритъ и другіе.

Все это можемъ мы легко провѣрить, гуляя по разнымъ художественнымъ выставкамъ Лондона. Ихъ здѣсь пять въ настоящее время, кромѣ международной. На послѣдней картины развѣшаны, по возможности, въ хронологическомъ порядкѣ, по времени дѣятельности каждаго художника. Не считаю нужнымъ держаться такого порядка; цѣль моя—не исторія развитія англійской живописи; она гораздо скромнѣе: мнѣ хочется попросту передать вамъ мои личныя впечатлѣнія и описать нѣсколько старыхъ и новыхъ картинъ, которыя особенно меня поразили; но такъ какъ подобныхъ произведеній наберется много, и сверхъ того, по своему характеру, они весьма разнообразны, то необходимо все-таки держаться нѣкотораго порядка; лучше всего, думаю, группировать картины по родамъ живописи. Этимъ способомъ характеристика каждаго художника и самыя произведенія легче удержатся памяти.

Не говоря о Гогартѣ, оригинальность котораго слишкомъ уже извѣстна, и который, въ добавокъ, принадлежитъ къ разряду *жанристовъ*, изъ историческихъ живописцевъ меня прежде всего поразила у Рейнольдса эта черта самобытности, о которой я говорилъ въ началѣ и которая такъ отличаетъ англійскихъ художниковъ. Къ сожалѣнію, мнѣ не удалось видѣть большія его картины, которыхъ числомъ до двадцати; онѣ украшаютъ замокъ лорда Эгрмонта въ Петвортѣ. Принимая въ соображеніе свойства таланта Рейнольдса, не думаю, чтобъ это были лучшія его произведенія и въ общей сложности заслуживали названія «Ложъ» и «Сикстинской капеллы» англійской живописи, какъ называютъ ихъ многіе. Картина его «Три Граціи» въ Національной Галлереѣ невольно возбуждаетъ даже улыбку во всемъ, что касается собственно стиля; это ничего больше, какъ три красивыя рослыя Англичанки, закутанныя съ пуританскимъ цѣломудріемъ, и даже съ кисейными шарфами вокругъ шеи. Его «Св. Семейство», въ той же галлереѣ, скорѣе похоже на сцену изъ семейной жизни, чѣмъ на картину религіознаго содержанія. Рейнольдсъ, очевидно, портретистъ по призванію, и здѣсь только надо искать особенностей его таланта.

До него въ Англіи были, одинъ послѣ другаго, Гольбейнъ и Вандейкъ, и оба оставили тамъ бездну произведеній: было, кажется, у кого поучиться и чѣмъ позаимствоваться! Рейнольдсъ, дѣйствительно, внимательно изучалъ обоихъ мастеровъ, но дѣлалъ все-таки свое. Если портреты его имѣютъ на первый взглядъ что-то общее съ портретами Вандейка, такъ это только въ типахъ лордовъ и лэди, которые служили моделями тому и другому. Рейнольдсъ живописецъ англійской аристократіи своего времени, точно также какъ Вандейкъ былъ живописцемъ аристократіи Карла I, а Лели—живописцемъ двора Карла II. Письмо Рейнольдса бойко и смѣло до невѣроятности: онъ массами бросаетъ краски и пишетъ густо, даже въ полусвѣтахъ. Колоритъ его не имѣетъ ничего общаго съ гармоническимъ сере-

бристымъ колоритомъ Вандейка; онъ часто рѣзокъ, неровенъ, но всегда блестящъ, свѣжъ и силенъ. Смѣю сказать, однакожъ, что при такомъ несходствѣ съ мастерами, каковы Вандейкъ и Гольбейнъ, нѣкоторые портреты Рейнольдса не уронятъ себя, даже при сличеніи съ лучшими портретами работы этихъ обоихъ мастеровъ; таковы напримѣръ: портретъ во весь ростъ мистриссъ Андерсенъ Пельамъ, актрисы Сидонсъ въ видѣ трагической музы, миссъ Кембль, лорда Гетфильда, мальчика съ книжкой, портретъ миссъ Боуль, болѣе извѣстный подъ именемъ: «Нелли Обрайнъ». Послѣдній изображаетъ хорошенькую дѣвушку, одѣтую въ широкое бѣлое атласное платье и черную кружевную мантилью, наброшенную на плеча; соломенная широкополая шляпа съ цвѣтами бросаетъ тѣнь на ея лицо, освѣщенное снизу отраженіемъ платья; изъ кружевныхъ рукавовъ, пышныхъ какъ морская пѣна, выходитъ кругленькая обнаженная ручка, которая разсѣянно придерживаетъ мохнатую собачонку, лежащую на колѣняхъ своей госпожи. Это одна изъ тѣхъ впечатлительныхъ, страстно-мечтательныхъ, дѣвушекъ, съ воображеніемъ, разгорѣвшимъ чтеніемъ поэтовъ и романовъ, тѣхъ дѣвушекъ, которымъ минутами, тѣсно бываетъ въ домашней прозаической средѣ; она убѣжала въ паркъ, отыскала самое затѣянное, глухое мѣсто въ зелени, усѣлась на скамью и вся отдалась своимъ мечтамъ. Нельзя сказать, чтобы эти мечты были мрачнаго свойства; совсѣмъ напротивъ: приподнявъ слегка брови, раскрывъ улыбающіяся губки, наклонивъ голову, она какъ-будто прислушивается къ теченію собственныхъ мыслей и вмѣстѣ съ тѣмъ не пропускаетъ таинственнаго говора природы и трепета осеннихъ листьевъ. Выраженіе ея лица прелестно; вся фигура потоплена золотистымъ полусвѣтомъ, и только кой-гдѣ, на обнаженной рукѣ, на шеѣ и по платью переливаются солнечныя пятна. Портретъ по всей вѣроятности вѣренъ оригиналу; сходство внутренно чувствуется, — такъ сильно здѣсь присутствіе жизни. Но кромѣ матеріальнаго сходства, картина проникнута поэзіей; выраженіе, поза, расположеніе, неожиданный эффектъ полусвѣта, общій мотивъ, — все очевидно принадлежитъ художнику, и придаетъ картинѣ характеръ поэтическаго сознанія. Письмо необыкновенно просто, безъ всякихъ фокусовъ; въ самыхъ легкихъ прозрачныхъ полусвѣтахъ тѣла краска наложена густо, и плотна какъ эмаль. Сильная могучая растительность, тронутая мѣстами желтизною осени, служитъ фономъ этому замѣчательному произведенію.

Въ томъ же поэтическомъ родѣ есть на выставкѣ другой портретъ, также молодой дѣвушки, но только художника Юинса (Uwins). Юинсъ только-что усадилъ свою модель, приготовилъ палитру и кисти, какъ вызванъ былъ изъ мастерской по какому-то дѣлу. Во время его отсутствія, модель, — бѣлокурая круглолицая дѣвушка съ большими голубыми глазами, — соскучась сидѣть въ одиночествѣ и желая развлечь себя, покрыла голову войлочною шляпой съ широкими полями, какую носятъ или носили итальянскіе бандиты, и которая висѣла въ мастерской; украсивъ ее съ боку двумя павлиными перьями, она окутала себѣ шею широкимъ накрахмаленнымъ кружевнымъ воротникомъ изъ какого-то средневѣковаго костюма, закутадась въ широкій темный камзолъ, взяла въ руки чётки стараго фасона, и въ такомъ одѣяніи подошла къ зеркалу. Художникъ вошелъ въ эту самую минуту. Контрастъ живописнаго, но мрачнаго, одѣянія съ наивнымъ ша-

ловливымъ лицомъ дѣвушки такъ поразилъ Юинса своею фантастическою стороною,—что онъ упросилъ дѣвушку дозволить ему перенести ее въ такомъ видѣ на полотно. Картина вышла безподобная, хотя, надо сказать, по мастерству полутоновъ и силѣ письма, уступаетъ портрету Нелли Обрайнъ.

Впрочемъ англійскіе художники владѣютъ такимъ мастерствомъ письма и вообще такіе блестящіе колористы, что скоро перестаешь удивляться этимъ свойствамъ и начинаешь смотрѣть на нихъ, какъ на что-то обыкновенное. Какъ бы ни были однакожъ избалованы глаза волшебствомъ кисти и фантасмагоріей красокъ, они все-таки всегда съ восхищеніемъ останавливаются на картинахъ Генсборо. Въ этомъ художникѣ, ученикѣ Рейнольдса,—чувствуется еще сверхъ означенныхъ достоинствъ присутствіе той обаятельной силы, которая достается въ удѣлъ только избраннымъ первокласснымъ талантамъ. Сравнивая Генсборо съ Рейнольдсомъ, ясно видишь, что первый зачался талантомъ уже во чревѣ матери, тогда какъ второму многое досталось трудомъ нешиовѣрныхъ, похвальнымъ упорствомъ, наукой, мышленіемъ, приложеннымъ къ предмету, его занимавшему. У Генсборо больше вдохновенія, чѣмъ у Рейнольдса, больше наивности и поэзіи. Уже первыя попытки Генсборо доказываютъ силу его призванія; онъ предается имъ наперекоръ страху, возбуждаемому строгимъ отцомъ; пренебрегая угрозами, онъ поминутно отрывается отъ школьной скамьи, бѣжитъ въ сосѣдній лѣсъ, и тамъ, безъ всякаго предварительнаго урока, рисуетъ заодно все, что попадается на глаза и поражаетъ его дѣтское воображеніе; старое дерево съ извилистыми сучьями, оборванный пастухъ, корова отражающаяся въ лужѣ, ручей падающій между камнями—все съ одинаковою жадностью набрасывается на бумагу; эти эскизы, лихо и энергически исполненные, заключаютъ въ зародышѣ весь будущій геній художника. Двадцать лѣтъ спустя, всѣ еще восхищались въ его мастерской группою старыхъ деревъ; это былъ первый этюдъ его дѣтскихъ лѣтъ.

Четырнадцати лѣтъ только началъ онъ пользоваться въ Лондонѣ уроками Гравелло и Гейнана, друга Гогарта; но если уроки облегчили ему нѣкоторые техническіе пріемы, то они не произвели никакого дѣйствія на его природныя свойства. Онъ продолжалъ смотрѣть на природу тѣми же поэтическими глазами, такъ же искренно, какъ прежде; передавалъ онъ свои впечатлѣнія съ тою же свободой и независимостью. Въ продолженіе всей своей жизни Генсборо остается тѣмъ же наивнымъ созерцателемъ природы, какъ былъ въ своемъ любимомъ лѣсу; впослѣдствіи, академическія лекціи, и даже произведенія великихъ мастеровъ ни на волосъ не нарушили его оригинальности. Пробывъ четыре года въ Лондонѣ, онъ возвращается домой и съ новою страстью принимается за этюды съ натуры. Въ 1761 г. началъ онъ посылать свои картины на выставки въ Лондонъ, и съ этого времени начинается его извѣстность. Въ 1774 г. онъ переѣзжаетъ въ Лондонъ и открываетъ мастерскую въ Пель-Мелѣ. Въ это время Рейнольдсъ достигъ вершины своей славы. Немного времени нужно было Генсборо, чтобы затмить своего учителя. Блескъ его колорита, жизнь, правда, которыми дышали его портреты, привлекали въ его мастерскую толпы богатыхъ и знатныхъ. Но какъ было въ отношеніи къ таланту, такъ было и въ отношеніи нрава художника; богатство и похвалы не имѣли на него

никакого вліянія; онъ остается такимъ же простымъ, скромнымъ, искреннимъ съ самимъ собою; онъ часто бываетъ недоволенъ своими произведеніями и стираетъ ихъ, хотя ими восхищаются заказчики. Герцогина Девонширская, слывшая въ то время первою красавицей Англіи, захотѣла имѣть свой портретъ, писанный Генсборо; послѣ первыхъ попытокъ, художникъ истребилъ картину, сказавъ, что не въ силахъ совладать съ такимъ сочетаніемъ красоты и граціи.

Изъ портретовъ его, на международной выставкѣ, портретъ молодаго Бурталя, извѣстный болѣе подъ именемъ: *The Blue Boy* (голубой мальчикъ), занимаетъ первое мѣсто не только между портретами англійской школы, но и всѣхъ остальныхъ школъ. По поводу этого «голубаго мальчика» разсказывается исторія, не лишенная поучительности; она доказываетъ всю несостоятельность теоріи, умственныхъ комбинацій и соображеній передъ внушеніями и силою истиннаго таланта. Рейнольдсъ высказалъ однажды съ высоты своей профессорской каѳедры мнѣніе, будто голубой цвѣтъ, принадлежа къ числу холодныхъ, допускаетъ лишь самое умѣренное употребленіе, особенно въ центрѣ картины, гдѣ должны сосредоточиваться самые горячіе, сильные тоны,—Генсборо возымѣлъ намѣреніе протестовать противъ такой аксіомы. Онъ написалъ во весь ростъ портретъ мальчика въ атласной голубой куртки, такомъ же жилетѣ, панталонахъ и далъ ему въ правую руку широкую шляпу, украшенную пышнымъ голубымъ перомъ,—и портретъ вышелъ совершенство въ своемъ родѣ. Трудно вообразить болѣе силу колорита, болѣе гармонію въ общемъ. Противопоставивъ главному цвѣту ландшафтъ красновато-бураго тона и давъ сѣрый влажный цвѣтъ тучамъ, которыя клубятся и несутся по волѣ вѣтра, пройдя въ основаніи картины горячею подмалевкой, художникъ уравновѣсилъ такимъ образомъ и привелъ въ гармонію все, что могло быть холоднаго въ голубой краскѣ. Письмо необыкновенно сочно и бойко; но натура передана съ такою поразительною вѣрностію и правдой, что передъ нею исчезаетъ техника. Передъ вами стоитъ совершенно живой мальчикъ: еще секунда,—онъ встряхнетъ кудрями, надѣнетъ шляпу и побѣжитъ изъ полотна. На выставкѣ нѣсколько тысячъ картинъ; не забудьте, что каждая нація выставила здѣсь все, что считала лучшимъ; при всемъ этомъ, впечатлѣніе, произведенное на меня этимъ портретомъ и еще двумя картинами Гонта, о которыхъ скажу ниже, не можетъ изгладиться; произведенія эти преслѣдовали меня потомъ по всѣмъ галлереямъ Бельгіи и Голландіи; даже теперь, въ моей глуши, они представляются воображенію такъ же живо, какъ будто бы стояли передо мною.

Въ числѣ замѣчательныхъ портретовъ Генсборо находится еще одинъ, изображающій молоденькую дѣвушку въ бѣломъ платьѣ, сидящую на дерновой скамьѣ посреди плоскаго пейзажа. Она также отдалась мечтамъ, какъ дѣвушка на портретѣ Рейнольдса; но только здѣсь характеръ мечтаній другаго рода; томные глаза ея полны выраженія горькой меланхоліи, и стоитъ взглянуть на медальонъ въ ея рукахъ, чтобы понять, что происходитъ въ ея душѣ; здѣсь интересъ выраженія снова уступаетъ очарованію письма и красокъ; нѣтъ силъ оторвать глазъ отъ мягкаго, бѣловато-серебристаго и нѣжно-сквознаго розоваго тона, который встрѣчается только

на цвѣткахъ персиковаго дерева и яблони, и который могъ быть уловленъ только великимъ колористомъ.

Но Генсборо такъ же силенъ и въ пейзажѣ, и въ жанрѣ. Такихъ картинъ здѣсь много.

Однако не пойдемъ дальше... Пропустимъ его «Пастуха въ дождливое время», «Цыганъ готовящихъ обѣдъ подъ деревомъ», «Маленькихъ нищихъ», «Телѣгу отправляющуюся на рынокъ» и проч. и проч. Генсборо (род. 1727 г. † 1788)—заслуживаетъ особой серьезной статьи, тогда какъ цѣль наша—передать въ общихъ чертахъ характеристику англійской живописи. Дѣла впереди еще много!

Картина Веньямина Веста (West род. 1738 † 1820) «Смертъ генерала Вольфа» подтверждаетъ только то, о чемъ говорилось въ началѣ этого письма. Большіе сюжеты историческаго содержанія не даются, или, по крайней мѣрѣ, не давались англійскимъ живописцамъ. Здѣсь все придумано, вездѣ заданная тема и слѣдовательно аффектація, изысканность. Картины Веста приводятъ на память классическія произведенія Ротари, Анжелики Кауфманъ и другихъ художниковъ въ томъ же сухомъ родѣ, столь прославленныхъ въ концѣ XVIII столѣтія. Если Веста знаютъ въ Европѣ болѣе другихъ художниковъ Англіи, то это потому, что въ его время въ Англіи процвѣтало гравировальное искусство; оно жадно ловило каждое вновь явившееся произведеніе и быстро распространяло его повсюду.

То же почти можно сказать и о художникѣ Джемсѣ Барри (1741 † 1806). Знаніе, ловкость кисти, самый колоритъ,—мѣстами чрезвычайно пріятный,—далеко не выкупаютъ условныхъ академическихъ формъ его аллегорическихъ полубоговъ и героевъ. Одна развѣ бѣшеная страстность кисти Рубенса и ослѣпительный блескъ Веронезовыхъ красокъ заставляютъ забывать анахронизмъ и натяжку аллегорій.

Къ тому же разряду принадлежатъ отчасти Гейльтонъ, Гейдонъ, Истлекъ, Гарвей, Говардъ и Дайсъ. Ученая, обдуманная, но холодная композиція даетъ имъ особое мѣсто между живописцами англійской школы, которые, въ общемъ, держатся совсѣмъ другой методы и другаго направленія.

Всѣхъ этихъ художниковъ далеко оставляетъ за собою Лауренсъ. Лауренсъ (р. 1769 † 1830 г.) писалъ однакожъ только портреты. Не ставя его на одну линію съ Вандейкомъ, можно сказать, что между ними много родственнаго: оба, почти въ равной степени, поэты человѣческой физіономіи; Лауренсъ, точно также, сохраняя поразительное сходство, не рабски копируетъ модель; онъ передаетъ жизнь, душу, внутреннія свойства, присущія оригиналу. Кромѣ того, какъ бы изображаемое лицо ни было обыкновенно, Лауренсъ съумѣетъ всегда придать ему благородство, щеголеватость, что-то привлекательно-художественное. Благородная, изящная природа художника какъ бы просвѣчиваетъ на лицахъ, имъ писанныхъ. Письмо его отвѣчаетъ характеру его произведеній; при всей своей бойкости, кисть Лауренса мягче, нѣжнѣе, чѣмъ у Рейнольдса; въ портретахъ «Двухъ сестеръ Кельмеди» и «сэръ-Гомфри Деви» планы лицъ выисканы до тончайшей подробности, между тѣмъ кисть какъ-будто не останавливалась и какъ-будто все сдѣлано совершенно случайно и мимоходомъ. Надо видѣть, съ какимъ чувствомъ, съ какою граціей и вкусомъ тронуты у него губки женщинъ,

ноздри и уши! Часто онъ обходится съ руками неряшливо, сосредоточивая все вниманіе свое на лицѣ; но лица эти всегда дышатъ жизнію и всегда прекрасны, если не по типу, то въ художественномъ отношеніи. Портреты Лаурсена рѣдко отличаются яркостью красокъ, какъ у Рейнольдса и Генсборо; у него свой колоритъ, полный свѣта и гармоніи, заключающійся въ искусномъ сочетаніи однородныхъ красокъ; въ немъ большею частію преобладаютъ розово-серебристые переливы, которые возвышаются сильною подмалевкой и темными, хотя совершенно сквозными, тонами фона и аксессуара.

Теперь только, но къ сожалѣнію слишкомъ поздно, приходитъ мнѣ въ голову, что взялся я за очень трудное,—чтобы не сказать, невозможное, дѣло, — обѣщавъ вамъ распредѣлить художниковъ по родамъ живописи. Начать съ того, что множество живописцевъ, въ продолженіе своего поприща, занимались всѣми возможными родами; но важность еще не въ этомъ; дѣло въ томъ, что самое это распредѣленіе живописи на классы и роды представляетъ что-то весьма смутное, неопредѣленное и крайне сбивчивое. Въ чемъ, въ самомъ дѣлѣ, заключается отличіе такъ-называемаго историческаго рода? Гдѣ положительная грань, по которой бы можно было сказать, что вотъ тутъ кончается этотъ родъ и прямо начинается другой? Утверждая, что отличіе исторической живописи составляетъ выборъ сюжета, и ставя ее только поэтому выше другихъ родовъ, мы придемъ къ заключенію, что Горацій Коклесъ, Муцій Сцевола и даже самъ Каинъ (ради его обнаженности) имѣютъ несомнѣнно больше правъ быть изображены кистью и рѣзцомъ, чѣмъ остальные смертные до нашего времени включительно, — что было бы весьма несправедливо. Въ чемъ же дѣло? Въ величавости стиля? Въ строгомъ, правильномъ рисункѣ? Но не часто ли встрѣчаемъ мы эти качества въ картинахъ фантастическаго содержанія, сценахъ изъ обыкновенной жизни, наконецъ въ пейзажахъ? И наоборотъ, не видимъ ли ихъ въ произведеніяхъ, изображающихъ эпизоды изъ священной и древней исторіи? Куда же дѣвать и къ какой категоріи причислить послѣднія? Какъ объяснить, что иногда простой портретъ Винчи или Рафаэля можно назвать историческою картиной, тогда какъ огромная картина историческаго содержанія будетъ все-таки *tableau de genre?* Не считая классическаго академическаго стиля, созданнаго Давидомъ, который, благодаря своей натяжкѣ, фальши и мертвой сухости, стоитъ совершенно особо и давно показалъ себя несостоятельнымъ, вопреки усиліямъ разныхъ академій поддержать его, сколько-нибудь логическое распредѣленіе живописи на роды уже потому невозможно, что всѣ эти роды поминутно мѣшаются между собою: сцена изъ домашней жизни принимаетъ масштабъ и характеръ величавости, глубоко потрясаетъ душу, и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ возможность наслаждаться всѣми качествами, которыми располагаетъ искусство. Сюжеты *возвышенные*, оставивъ стиль и строгость, имъ свойственные, превращаются въ хорошенькія картинки; портретъ получаетъ значеніе эпопеи; то, что должно бы составлять эпопею, заключаетъ въ себѣ только собраніе портретовъ, и т. д., словомъ, тамъ, гдѣ живопись имѣетъ главнымъ предметомъ человѣка и его страсти, всѣ подраздѣленія на роды и классы необходимо сливаются во что-то общее, связанное безконечною постепенностью, которая такъ же неуловима

и разнообразна, какъ личности самихъ художниковъ. Эта безконечность лучше всего выражается Рафаэлемъ и Рембрандтомъ; оба писали большія картины историческаго и библейскаго содержанія; оба геніи первой величины; разница, напримѣръ, между фрескою: «Пожаръ въ Борго» перваго и «Ночнымъ дозоромъ» послѣдняго опредѣляетъ именно эти безконечныя оттѣнки, эту постепенную градацію, о которой мы говорили. Которое изъ этихъ двухъ произведеній, столь знаменитыхъ въ искусствѣ и вмѣстѣ столь несхожихъ, заслуживаетъ названіе историческаго? Которое изъ нихъ заключаетъ въ себѣ больше художественныхъ достоинствъ и которое лучше? Придется дать извѣстный отвѣтъ ребенка: «Оба лучше!» Вотъ тутъ и рѣшайте, гдѣ конецъ исторической картины, и гдѣ начало жанра?

Если стѣсняться такими подраздѣленіями, я, право, не знаю, къ какой бы категоріи причислить картину Маклейза (Maclise) «Сцена пира изъ Шекспирова *Макбета*». Художникъ выбралъ тотъ моментъ изъ третьяго дѣйствія трагедіи, когда Макбетъ, готовясь сѣсть на свое кресло, видитъ его занятымъ тѣнью Банко, только-что зарѣзаннаго по его приказанію. Лэди Макбетъ и придворные ничего не замѣчаютъ; тѣнь видима только для одного короля.

— «Всѣ мѣста заняты...» говоритъ Макбетъ, отступая въ ужасѣ.

*Ленокс*: «Вотъ ваше мѣсто, ваше величество.»

*Макбетъ*: «Гдѣ?...»

*Ленокс*: «Здѣсь, государь... Но что съ вами?...»

*Макбетъ*: «Кто изъ васъ это сдѣлалъ?...»

*Вельможи*: «Что такое, ваше величество?»

*Макбетъ* (обращаясь къ тѣни): «Не обвиняй меня... Напрасно, глядя на меня, потрясаешь ты своими окровавленными волосами...»

*Россъ*: «Вельможи, встаньте! Его величеству дурно!...»

Тѣнь занимаетъ середину картины; прозрачная, какъ бы изъ пара созданная, она тѣмъ не менѣе останавливаетъ на себѣ вниманіе величавостью своего абриса и строгими линіями своей одежды. Поза короля, отступившаго назадъ и припавшаго рукою къ столу, выраженіе его лица, тревога въ лицѣ лэди Макбетъ, недоумѣніе въ чертахъ остальныхъ лицъ, показываютъ въ художникѣ глубокое чувство и вмѣстѣ съ тѣмъ умѣнье выразить его жестомъ и чертами физіономіи. Историческая вѣрность костюмовъ и даже мельчайшихъ аксессуаровъ всегда играетъ важную роль въ картинахъ англійскихъ живописцевъ; въ этомъ отношеніи они показываютъ себя не только добросовѣстными, но даже учеными, которымъ въ совершенствѣ знакома исторія и археологія. Что касается колорита въ картинѣ Маклейза, онъ блестящъ и ярокъ, но въ общемъ эффектѣ съ перваго взгляда поражаетъ пестротою. Тутъ проходитъ гамма всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и свѣтовъ, начиная отъ свѣта пламени и кончая тѣми фосфорическими отливами, которые встрѣчаются при бенгальскомъ огнѣ; въ тѣневыхъ частяхъ глазъ, съ непривычки, сбивается съ толку неожиданными отраженіями и рефлексіями; все играетъ и переливается, какъ стекло калейдоскопа; полусвѣты серебрятся точно при мѣсяцѣ, въ тѣняхъ играетъ фольга, яркій глянецъ бѣжитъ по волосамъ и кудрямъ, губы рдѣютъ какъ пурпуръ, тѣло лоснится какъ атласъ. Странность колорита отвѣчаетъ странности письма:

съ перваго взгляда можно, пожалуй, принять картину за акварель; краски наложены такъ тонко, что, при внимательномъ наблюденіи, вездѣ просвѣчиваетъ холстъ; кое-гдѣ развѣ, въ свѣтахъ, ткань исчезаетъ, чтобы дать мѣсто мазку. Мало-по-малу однакожъ, въ этой легкости письма начинаешь уловлять большой трудъ, большое вниманіе и наблюдательность; нѣтъ мазка на-авось; все обдумано и глубоко сознательно; каждый мельчайшій, едва примѣтный деталь вѣрно снятъ съ натуры, оконченъ до совершенства, выбранъ со вкусомъ и поставленъ съ толкомъ. Подъ конецъ, забываешь самую пестроту и отдаешься наслажденію частностями, которыя такъ умно обдуманы, такъ изящно переданы.

Множество картинъ англійской школы производятъ съ перваго взгляда то же впечатлѣніе, какъ картина Маклейза; на нихъ нельзя смотрѣть мимоходомъ. Чтобы оцѣнить ихъ добросовѣстно, надо вообще привыкнуть къ англійскому роду живописи, надо къ нему присмотрѣться; по поводу англійскихъ картинъ, ни въ какомъ случаѣ нельзя сразу рѣшать судьбу произведенія, какъ это часто у насъ дѣлается: подошелъ, прищурилъ глазъ: «скверно!»—и прошелъ мимо. Если не всѣ англійскія картины производятъ обаятельное дѣйствіе гармоніей общаго эффекта, то онѣ часто бываютъ драгоцѣнны по частностямъ, по манерѣ, выраженію, колориту, мысли, налѣреніямъ художника.

Другія произведенія Маклейза изъ поэмы *Лалла-Рукъ* и *Сна въ лѣтнюю ночь* находятся въ ближайшемъ сродствѣ съ Макбетомъ и служатъ дополненіемъ для оцѣнки таланта художника.

По внѣшнему впечатлѣнію, картины Лесли (Leslie) ближе всего подходятъ къ картинамъ Маклейза. Тѣ же атласные, фантасмогорическіе переливы свѣта и тѣни, тѣ же прозрачныя и какъ-будто растертыя съ перламутромъ краски. Что до меня, я несравненно выше ставлю, однакожъ, письмо Лесли: оно опредѣленнѣе, прочнѣе, гуще и прямо идетъ къ цѣли; оно даетъ любителю, сверхъ всѣхъ условій живописнаго искусства, еще лишній случай наслажденія посредствомъ сочнаго, вкуснаго письма.

Картинъ Лесли множество. Его «Веселыя Виндзорскія кумушки», «Донъ-Кихотъ, посвящаемый въ рыцари», «Майскій день во времена королевы Елисаветы», «Дядя Товій», и проч. и проч. займутъ всегда видное мѣсто въ любой галлереѣ современной живописи. Нигдѣ однакожъ такъ положительно не выразились драгоцѣнныя свойства кисти и колорита Лесли, какъ въ картинѣ его: «Коронованіе королевы Викторіи». Трудность офиціальнаго сюжета, гдѣ къ условному церемоніалу и этикету требовалось еще присоединить сходство лицъ, не остановила художника; онъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ. Несмотря на ту явную невыгоду, что большая часть фигуръ сохраняютъ вытянутое положеніе, почти параллельны другъ другу, и всѣ почти въ добавокъ въ бѣлыхъ платьяхъ, картина дробится на живописныя группы; въ колоритѣ, несмотря на обиліе однородныхъ цвѣтовъ и рефлексій, нѣтъ однообразія; бѣлыя атласныя платья, кружева, золотое и серебряное шитье, бриллианты и жемчугъ, бархатъ и пурпуръ—все это, точно облитое солнцемъ, не оскорбляетъ глаза, но сливается въ одно блестящее гармоническое цѣлое. Посмотрѣли бы вы, что здѣсь за плечи, шейки, ручки! Съ какимъ мастерствомъ и вкусомъ пройдены полу-

свѣты на нѣкоторыхъ щекахъ и спинкахъ, освѣщенныхъ съ боку, отливающихъ какъ жемчугъ, гладкихъ и полированныхъ, какъ агатъ и мраморъ! Породистое изящество женщинъ англійской аристократіи выказывается здѣсь во всей своей романтической поэзіи; оно видно въ граціозно изогнутомъ станѣ, длинныхъ лебединыхъ шейкахъ, глазахъ голубыхъ какъ сапфиръ, пунцовыхъ губкахъ, пышныхъ бѣлокурыхъ волосахъ, разсыпанныхъ локонами или подобранныхъ на затылкѣ тучнымъ пучкомъ, проколотымъ насквозь зубцами брилліантоваго гребня.

Въ умѣньи передать женскую красоту или по крайней мѣрѣ придать женщинѣ что-то особенно привлекателеное, поэтическое, Англичане не знаютъ себѣ соперниковъ. Этимъ отличаются даже второстепенные живописцы Британіи. Имѣя постоянно передъ глазами прелестныя модели, которыя въ такомъ изобиліи встрѣчаются только въ Англіи, они невольно выработали себѣ тотъ воздушный, полный граціи типъ, приводящій на память образы Дездемоны, Джюльеты, Миранды, Офеліи, лэди Мобрей и проч. и проч.

На сколько произведенія Лесли проникнуты чисто англійскимъ характеромъ, на столько удаляются отъ него картины г. Е. М. Варда (Ward). Г. Вардъ избираетъ преимущественно драматическіе, потрясающіе сюжеты; но не въ этомъ еще сходство двухъ художниковъ. Любимою темой Варда служитъ, сколько замѣтно изъ выставленныхъ имъ картинъ, первая французская революція. Кромѣ сюжета, даже въ самой манерѣ его есть что-то общее съ пріемами той современной французской школы, во главѣ которой стоитъ Поль Деларошъ. Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы манера его была дурна; вовсе нѣтъ! Онъ принадлежитъ къ разряду лучшихъ современныхъ художниковъ; мы замѣтили это съ тою единственною цѣлію, чтобъ охарактеризовать родъ его таланта. Изъ картинъ его на выставкѣ: «Шарлота Корде, идущая на казнь», «Паденіе Кларендона», Марія Антуанета, читающая свой смертный приговоръ въ тюрьмѣ», «Прихожая дворца въ послѣднія минуты Карла II», каждая заключаетъ въ себѣ большія достоинства. Несомнѣнно однакожъ, что онѣ во всѣхъ отношеніяхъ уступаютъ мѣсто послѣдней его картинѣ, выставленной особо въ *German Gallery* (New Bond Street, 168). Она изображаетъ Лудовика XVI и его семейство, въ Темплѣ, въ ноябрѣ 1792 года.

Художникъ выбралъ одинъ изъ тѣхъ спокойныхъ дней, которые такъ рѣдко выпадали на долю несчастному плѣннику. Дѣйствіе происходитъ въ томъ отдѣленіи башни, гдѣ находилась комната королевы. Время около полудня; справа, на ветхомъ диванѣ, лежитъ король: полное лицо его осунулось: оно отражаетъ душевное утомленіе и тревогу, не оставляющія его даже во снѣ; неподалеку, за круглымъ столомъ, сидитъ королева; она занимается починкою платья своего мужа; это историческій фактъ. Дофинъ прекратилъ свои дѣтскія игры; онъ расположился на колѣнахъ принцессы Елисаветы и съ любопытствомъ всматривается въ лицо короля. У края платья королевы покоится маленькая собачонка, привязавшаяся къ Маріи Антуанетѣ во время заключенія; Роше, самый жестокій изъ сторожей, приставленныхъ къ королевской фамиліи, стоитъ въ дверяхъ съ трубкою въ зубахъ и пускаетъ въ комнату длинную струю дыма; это, какъ

вѣдомо, было любимымъ его развлеченіемъ; онъ зналъ, что королева не могла выносить табачнаго запаха. За нимъ, въ сосѣдней комнатѣ, сидятъ за картами два человѣка изъ муниципальной стражи; одинъ якобинецъ въ одеждѣ, которую носили тогда такъ-называемые *les terribles;* другой санкюлотъ, въ курткѣ и красномъ колпакѣ съ трехцвѣтной кокардой; нѣсколько далѣе тощій муниципальный офицеръ равнодушно глядитъ въ окно. Каждый предметъ, находящійся въ этой печальной комнатѣ, возвышаетъ историческій интересъ; у изголовья короля, на маленькомъ пюпитрѣ, лежитъ исторія Англіи, развернутая на судебномъ слѣдствіи Карла I,— эпизодъ, который въ то время часто перечитывался Лудовикомъ XVI; выше дивана, надъ головой короля виситъ распятіе; въ глубинѣ виденъ глобусъ, по которому король училъ дофина географіи; на задней стѣнѣ вывѣшенъ большой печатный листъ, носящій такое заглавіе: «*les droits de l'homme!*»

По всему видно, художникъ исполненъ глубокаго сочувствія къ несчастнымъ узникамъ; трудно сильнѣе почувствовать внутреннюю драму въ чужой душѣ и выразить ее болѣе патетически. Письмо вездѣ внимательное, нѣстами, въ головахъ и рукахъ, очень деликатное, и отличается простотою. Вардъ не прибѣгаетъ ни къ какимъ фокусамъ, столь употребительнымъ въ теперешнее время, когда дѣло идетъ о достиженіи предполагаемыхъ эффектовъ; краски и тоны, заранѣе обдуманные на палитрѣ, прямо ложатся на холстъ; мазокъ вездѣ даетъ себя чувствовать. Если можно въ чемъ упрекнуть Варда, такъ развѣ только въ общемъ тонѣ картины, который отзывается чѣмъ-то бѣлесоватымъ, изжелта-сѣрымъ. Впрочемъ то, что кажется недостаткомъ, входило можетъ быть въ число намѣреній художника: бѣлесовато-желтый колоритъ не происходитъ ли отъ сѣраго ноябрьскаго дня, который освѣщаетъ унылую тюремную комнату?

Изъ живописцевъ, выставившихъ картины историческаго содержанія въ отдѣленіи международной выставки и прославившихъ также свои произведенія на выставку Королевской Академіи, особенное вниманіе обращаютъ на себя: Копъ: «Отелло во время предсмертнаго своего монолога» и «Король Лиръ съ Корделіей»; Е. Агнени: «Левъ X, разсматривающій портретъ Лютера»; и еще Галь, Вюкнеръ. Добсонъ, Фого и Кросъ.

Но такъ-какъ бо́льшая часть этихъ живописцевъ, по взгляду на искусство и по манерѣ, напоминаютъ болѣе или менѣе Уарда, Лесли или Маклейза, и, слѣдовательно, не отличаются рѣзкою оригинальностью,—упоминаю о нихъ только для памяти. Къ тому же, мнѣ хочется поскорѣе перейдти къ художнику, который, можно сказать, есть главный виновникъ моихъ длинныхъ писемъ. Совершенно новый, сильно самобытный и въ высшей степени поэтическій талантъ этого мастера такъ меня озадачилъ, впечатлѣніе было такъ сильно и неожиданно, что сначала мнѣ хотѣлось написать вамъ только о немъ одномъ; потомъ уже, при сравненіи его съ другими, въ памяти моей начали группироваться остальные англійскіе живописцы, старые и молодые, такъ что, мало-по-малу, чтобы не обидѣть одного и не пропустить другаго, я рѣшился набросать, хотя эскизно, общую характеристику всей англійской школы.

Имя художника, о которомъ я хочу говорить, — Вильямъ Гольманъ Гонтъ (Hunt).

Исторія изящныхъ художествъ доказываетъ, что въ періоды временнаго развитія или упадка искусства нѣтъ ничего случайнаго; что то и другое необходимо вяжется съ причинами историческими, политическими, религіозными, отъ которыхъ искусство всегда находится въ тѣсной зависимости; общій законъ, управляющій движеніями и всѣми человѣческими дѣйствіями,—законъ прилива и отлива, по которому возвышеніе смѣняется пониженіемъ, а пониженіе возвышеніемъ, точно также прилагается, конечно, и къ искусству. Гонтъ—явленіе не случайное; совершенно новый путь, проложенный имъ, имѣетъ свое основаніе.

Художники, выставленные мною до сихъ поръ, и тѣ еще, о которыхъ буду говорить далѣе, даютъ поводъ только къ тому заключенію, что Англія можетъ поспорить съ любой страной Европы числомъ и достоинствомъ своихъ талантовъ по части живописи. Не надо забывать, главное, что здѣсь рѣчь идетъ объ избранныхъ художникахъ Англіи, тѣхъ только, которые давно пользуются громкимъ именемъ въ своемъ отечествѣ, или произведенія которыхъ сдѣлали на меня самого особенно сильное впечатлѣніе; словомъ, здѣсь только представители, корифеи англійской школы. Общая масса живописцевъ Британіи превышаетъ числомъ даже живописцевъ Франціи; уже въ 1838 году, въ одномъ только Лондонѣ, выставлено было болѣе 3400 современныхъ картинъ; ежегодно въ Лондонѣ бываетъ пять художественныхъ выставокъ: три для картинъ, двѣ для акварелей. Выбросьте художниковъ, означенныхъ въ моихъ письмахъ,—останется болѣе полуторы тысячи, которые, по направленію и техникѣ, не выставляютъ національнаго искусства съ выгодной стороны. Спѣшность, фабрикація и механизмъ—отличительный характеръ ихъ произведеній.

Нѣкоторые критики, справедливо испуганные такимъ направленіемъ въ массѣ художниковъ, старались остановить его; имъ прежде всего хотѣлось доискаться источника зла; одни, какъ напримѣръ г. Шя, бывшій президентъ академіи, сваливалъ всю вину на правительство, обвиняя его въ равнодушіи къ успѣхамъ національнаго искусства; другіе объясняли причину упадка недостаткомъ поощренія со стороны общества. Сколько кажется, такія обвиненія несправедливы; правительство или, лучше сказать, лица его составляющія, дѣлаютъ все возможное, чтобы поощрять искусство; они заказываютъ и покупаютъ множество картинъ; стоитъ взглянуть на собраніе современныхъ картинъ королевы Викторіи и принца Альберта, чтобы убѣдиться въ этомъ. Дѣло въ томъ, что потребность поощренія, по множеству художниковъ, превышаетъ даже средства правительства. Что же касается частныхъ лицъ, то можно смѣло сказать, нѣтъ страны, гдѣ бы они столько, сколько въ Англіи, такъ охотно покупали картины и готовы были платить за нихъ такою щедрою рукою. Не даромъ, при такомъ обиліи живописцевъ, такъ рѣдко можно встрѣтить въ Европѣ англійскую картину.

Причину механическаго, ремесленнаго направленія въ массѣ художниковъ надо искать скорѣе въ общемъ промышленномъ направленіи; оно невольно увлекаетъ художниковъ и мало-по-малу превращаетъ ихъ въ ремесленниковъ. Не только здѣсь, но и вездѣ, большинство художниковъ смотритъ на искусство какъ на мастерство, которое, сравнительно съ дру-

гии, не такъ еще тяжело, а между-тѣмъ довольно выгодно, — хлѣбно, какъ говорится. Большинствомъ этимъ, имѣющимъ въ виду только прописелъ, конечно, долженъ управлять въ одинаковой степени вкусъ минуты. Который-нибудь изъ представителей выставилъ картину; она сдѣлала впечатлѣніе и была куплена за большія деньги;—всѣ хватаются за тотъ же мотивъ, стараются уловить тѣ же пріемы, каждый трактуетъ ихъ спѣшно, ощупью; картина покупается,—чего же больше? Люди, глубоко чувствующіе искусство, точно также вездѣ рѣдки; толпа по бо́льшей части видитъ въ произведеніи художества лишнюю красивую мебель, которая, бывъ вставлена въ золотую рамку и представляя игривый симпатическій сюжетъ, красиво изображенный, пріятно украшаетъ комнату. Бульверъ приводитъ случай, отлично характеризующій взглядъ толпы на живопись: богатый домовладѣлецъ, отдавая въ наемъ бель-этажъ и желая выгоднѣе кончить дѣло, сказалъ будущему своему жильцу: «но это еще не все... Когда въ гостиной, надъ дверьми, повѣсятся пунцовыя штофныя портьеры, а по стѣнамъ разивѣстится дюжина картинъ въ великолѣпныхъ рамахъ, — повѣрьте, подобную квартиру не скоро отыщете въ цѣлой Лондонѣ!»

Художники лѣзутъ изъ кожи, чтобы только попасть во вкусъ этой толпы, угождать ей и снабжать ее картинами въ извѣстный срокъ, какъ можно акуратнѣе и дешевле.

Какъ противодѣйствіе такому промышленному направленію, явилась новая школа, во главѣ которой находится Гонтъ.

Мысль произвести реформу въ искусствѣ, впрочемъ, нова только въ Англіи; она прежде всего родилась въ Германіи.

Лѣтъ тридцать назадъ, тамъ возникла школа пуристовъ, архаистовъ, такъ-называемыхъ *назарейцевъ*. Во главѣ ея былъ Овербекъ. Примѣръ, данный имъ въ Германіи, встрѣтилъ отголосокъ во Франціи; тамъ также явился между художниками кружокъ, назвавшій себя: «ново-христіанами,— *neo-chretiens*. Въ первомъ пылу увлеченія противъ стремленій современнаго искуства, какъ назарейцы, такъ и ново-христіане, начали съ того, что объявили Рафаэля *барокистомъ*. Они допускали только тѣ его картины, которыя писаны были до второй его поѣздки во Флоренцію, то-есть, когда еще онъ держался стиля и манеры Перуджино. Всѣ съ одинаковымъ жаромъ обратились къ сюжетамъ мистическимъ и религіознымъ, принимая за образецъ художниковъ XIV вѣка. Теоретически рѣшено было перенестись въ до-рафаэлевскую эпоху, и такимъ образомъ возвратить искусство къ его христіанскому источнику. Изъ этого не вышло ничего, по крайней мѣрѣ, до-сихъ-поръ. При всемъ своемъ увлеченіи, при всей искренности, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, не могли они перескочить четыре съ половиною вѣка назадъ, не могли проникнуться тѣмъ духомъ и жить тѣми идеями, которыя воодушевляли любимыхъ ихъ образцовъ въ XIV столѣтіи. Наивнымъ, искреннимъ, вѣрующимъ нельзя быть по заказу, точно также какъ нельзя сдѣлаться по заказу *византійцемъ*. — не въ обиду будь сказано кружку, возникшему съ недавняго времени въ нашей академіи. Изъ многочисленной фаланги архаистовъ по теоріи, одинъ только Овербекъ написалъ нѣсколько превосходныхъ картинъ. Но слѣдуетъ еще спросить: что могъ бы сдѣлать тотъ же Овербекъ, еслибъ онъ въ извѣст-

ной степени поладилъ съ вѣкомъ, воспользовался открытіями современнаго искусства и науки, а не отбросилъ ихъ съ перваго раза какъ языческую одежду, стараясь замѣнить ее готическою хламидой съ прямыми угловатыми складками и типомъ католическаго средневѣковаго аскетизма. Секретъ извѣстнаго успѣха Овербека заключается въ его талантѣ. Одинъ огромный талантъ могъ вынести его цѣлымъ изъ водоворота искусственнаго теоретическаго настроенія, въ которомъ, какъ въ морѣ, одинъ за другимъ, захлебнулись его послѣдователи.

Въ Англіи, точно также, нѣсколько художниковъ, въ негодованіи противъ существующаго направленія, сложились въ особое общество; назвавъ себя «до-рафаэлистами», они обратились къ «наивному и искреннему въ искусствѣ». Но здѣсь, сколько видно, дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ. Здѣсь художники не завлеклись теоріей; никому въ голову не пришла возможность насильственно воплотиться въ людей XIV столѣтія, дѣлать такъ, какъ они дѣлали, и отрѣшиться отъ всего существующаго. Они, напротивъ, имѣли въ виду воспользоваться всѣми существующими усовершенствованіями, но съ тѣмъ, чтобы дать серьозную, благородную цѣль искусству, низведенному на степень ремесла, съ тѣмъ, чтобы возвысить стиль, очистить рисунокъ, осмыслить содержаніе. Мастера до-рафаэлевскаго періода должны были только служить примѣромъ добросовѣстности, глубокаго уваженія и искренняго чувства, съ какимъ обращались они къ предметамъ, ими изображаемымъ.

Все это, можетъ-быть, и здѣсь не принесло бы результата и ограничилось бы одними намѣреніями, если бы во главѣ новаго кружка не было Гонта. Такой человѣкъ, конечно, долженъ былъ имѣть вѣсъ; имѣя его примѣръ постоянно передъ глазами, послѣдователи не рисковали запутаться въ теоріяхъ. Дорога, открытая имъ, была слишкомъ ясно обозначена.

Въ картинахъ Гонта, прежде всего, поражаетъ сильная поэтическая индивидуальность. Онѣ не имѣютъ ничего общаго ни съ старыми произведеніями XIV вѣка, ни съ новыми. Это, если можно выразиться, совершенно новое искусство, плодъ таланта глубокаго, ума возвышеннаго, человѣка искренно-религіознаго, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, высоко образованнаго, человѣка полнаго огня, жизни и поэзіи. Если онъ изучалъ Геммелинга и Ванъ-Эйка въ Германіи, Орканья, Гоццоли, Липпи, Перуджино, Фра-Анджелика и Рафаэля въ Италіи, преимущественно передъ другими, болѣе современными мастерами, то это потому, что они больше отвѣчали его личному вкусу, быть-можетъ также его религіозному настроенію; онъ любитъ ихъ, но ни одному не подражаетъ. Рисунокъ его также благороденъ и чистъ, какъ у лучшихъ изъ нихъ; но это потому, что самъ онъ превосходный рисовальщикъ. Письмо его также тонко до чрезвычайности; но кисть его утончается съ тою единственною цѣлію, чтобы передавать съ возможною правдой мельчайшіе детали природы, которую онъ изучаетъ нѣжно, съ любовію, можно сказать, съ религіозною страстію.

Опишу вамъ одну изъ его картинъ на международной выставкѣ: «Свѣтъ міра» (*Light of the World*), № 580 по каталогу.

Она занимаетъ въ вышину всего около полутора аршина, въ ширину

аршинъ. Мѣсто дѣйствія—заброшенный фруктовый садъ, открытый и не загороженный; на дворѣ стоитъ глухая осень; холодная утренняя заря едва пробивается; свѣтъ отъ нея позволяетъ однакожъ ясно различать слѣва старую каменную стѣну съ затворенною дверью, окованною желѣзомъ. Справа, старое дерево простираетъ къ небу причудливо изогнутыя вѣтви, на которыхъ кой-гдѣ дрожатъ запоздавшіе листья. Вся передняя часть густо заросла репейникомъ, колючимъ терномъ, вьющимися паразитами и длинною волокнистою травою, которую послѣдній вихрь страшно перепуталъ, а послѣдній ливень прибилъ къ землѣ и снѣшалъ съ грязью. Въ безкрайномъ горизонтѣ, сквозь иглу, медленно просвѣчиваетъ заря; въ вышинѣ пока еще царствуетъ ночь и мигаютъ послѣднія звѣзды. По серединѣ картины остановился Спаситель; въ лѣвой рукѣ Его зажженный фонарь; лучи свѣта, проходя въ нижней части фонаря и падая въ траву, мѣстами проливаютъ яркій свѣтъ въ гущу листьевъ, увлаженныхъ росою, и позволяютъ различать упавшіе съ деревъ плоды, успѣвшіе раскиснуть отъ порчи; мѣстами, лучи свѣта вовсе теряются и пропадаютъ. Правою рукой Христосъ стучитъ въ дверь: «Се стою у двери и стучу: если кто услышитъ голосъ Мой и отворитъ дверь: войду къ нему, и буду вечерять съ нимъ, и онъ со Мною.» (Откров. Св. Іоанна Богослова, глава III, 20).

По всему видно, путь Христа былъ длиненъ; нижняя часть одежды изсѣчена колючками; ноги устали ступать по холодной почвѣ, отвердѣлой отъ мороза; золотой вѣнецъ Его, опутанный терніемъ, тяготитъ Ему голову; но не отъ физической усталости сгибается станъ Его, не это разливаетъ такое утомленіе въ божественныхъ чертахъ. Въ ночномъ Его дозорѣ никто, видно, не отозвался на Его голосъ: всѣ спятъ непробудно или заглушаютъ свой слухъ звономъ стакановъ и дикими криками оргій. Христосъ прямо смотритъ на зрителя задумчивыми, вопрошающими глазами; въ нихъ столько тягостной, неотразимой грусти, что невольно подъ сердце подкатываютъ слезы.

Но картину Гонта можно скорѣе чувствовать, чѣмъ разсказывать словами. Глубокая, задушевная поэзія и чувство проникаютъ здѣсь не только главный мотивъ, но присутствуютъ во всемъ: въ самыхъ мелкихъ деталяхъ, въ моментѣ тусклой осенней зари, въ причудливомъ очертаніи древесныхъ вѣтвей, въ путаной чащѣ травъ и растеній, въ мигающихъ кое-гдѣ звѣздахъ, во всей разстановкѣ аксессуаровъ, которые всѣ настраиваютъ умъ и душу къ одному общему впечатлѣнію. Разсматривая картину ближе, изумляешься вниманію, отчетливости художника; каждая ничтожнѣйшая часть высмѣжена съ натуры, изучена до тонкости почти невѣроятной. Такъ можетъ писать только человѣкъ, который смотритъ на свое дѣло съ уваженіемъ, какъ на служеніе чему-то дѣйствительно высокому. О колоритѣ, рисункѣ и письмѣ Гонта мы скажемъ ниже. Картина писана въ 1854 году; Гонту, родившемуся въ 1827 году, было, слѣдовательно, тогда всего двадцать-семь лѣтъ.

Вскорѣ послѣ этого задумалъ онъ другую картину: «Христосъ въ храмѣ между книжниками и учителями». Долго вдумывался онъ и много работалъ, прежде чѣмъ приступилъ къ новому произведенію; долго рылся онъ въ священныхъ и ученыхъ книгахъ, стараясь обнять сюжетъ со всѣхъ сторонъ

и во всѣхъ его подробностяхъ; въ то же время онъ дѣлалъ этюды и эскизы, но то и другое истреблялось художникомъ; онъ ничѣмъ не былъ доволенъ. Наконецъ, собравъ скудную сумму трудовыхъ денегъ, отправился онъ на Востокъ. Болѣе двухъ лѣтъ скитался онъ по Египту и Палестинѣ, возвращаясь на зиму въ Іерусалимъ. Дня не проходило праздно. Изученіемъ мѣстныхъ типовъ и природы, въ примѣненіи къ задуманной картинѣ, не ограничивались его занятія; обладая большими археологическими познаніями, онъ старался еще, въ виду своей цѣли, воспользоваться существующими данными, чтобы возсоздать по нимъ минувшій Іерусалимъ со всѣмъ, что прежде окружало его. Послѣдствіемъ этого была картина, которую, по всей справедливости, можно назвать самымъ замѣчательнымъ живописнымъ произведеніемъ нашего вѣка.

Сюжетъ, выбранный Гонтомъ, исполнялся нѣсколько тысячъ разъ художниками всѣхъ возможныхъ направленій, временъ и странъ. Гонтъ взглянулъ на него совершенно съ иной, новой точки. Въ техническомъ отношеніи онъ внесъ точно также совершенно новый взглядъ, новые пріемы. Условные, освященные временемъ идеалы, которые, черезъ частое повтореніе, приняли характеръ чего-то рутиннаго, затверженнаго, избитаго, но существуютъ для Гонта; идеалъ его, какъ у Рафаэля, заключается въ немъ самомъ. Не ставя себѣ въ условіе даже идеальную общепринятую античную красоту формъ, онъ представляетъ всю сцену такъ, какъ она *должна была происходить въ дѣйствительности*, и этимъ самымъ достигаетъ того впечатлѣнія, котораго никогда не давали идеализированныя картины того же содержанія. Но въ искусствѣ мало еще одной жизненной правды; надо, чтобъ она была прочувствована сильною поэтическою душой и выражалась въ соотвѣтствующихъ ей формахъ. Реализмъ Гонта, какъ могутъ думать многіе, которые, при словѣ: реализмъ, безтолково презрительно отворачиваютъ голову, не только не исключаетъ идеала, вдохновенія, высокаго поэтическаго настроенія, а, напротивъ, весь ими проникнутъ. Лучше всего судить объ этомъ по самому произведенію.

Картина, выставленная въ *German Gallery*, *New Bond street*, 168, изображаетъ часть раззолоченнаго Іерусалимскаго храма. Мельчайшіе архитектурные детали воспроизведены здѣсь съ величайшею археологическою точностію; три полукруглыя рѣшетчатыя окна въ глубинѣ галлереи и дверь, чрезъ которую видна внизу часть города, и выше—горы, обдаютъ дѣйствующихъ лицъ яркимъ полуденнымъ свѣтомъ. Полъ устланъ драгоцѣнными коврами; слѣва, противъ Христа, который, недалеко отъ двери, возсѣдаютъ полукругомъ фарисеи; за ними стоятъ молоденькіе прислужники, левиты въ богатыхъ одеждахъ. Фарисеи замѣтно раздѣлились на три группы; каждая выражаетъ извѣстный взглядъ, извѣстное направленіе: впереди сидитъ маститый старецъ, фанатическій представитель старой вѣры; онъ ослѣпъ и отупѣлъ отъ лѣтъ; челюсти его ослабѣли, ротъ полураскрытъ, безцвѣтные зрачки тупо присматриваются. Онъ не удивляется мыслямъ и рѣчамъ дивнаго отрока; полупонявъ и полуразслышавъ ихъ, онъ явно уже возмущается и выражаетъ свое негодованіе сидящему рядомъ съ нимъ старику, который, сколько замѣтно, совершенно раздѣляетъ его чувства; на лицахъ ихъ какъ-будто начертано старовѣрство и закоснѣлость, а немощь

и дряхлость сами собою говорятъ, что вѣкъ ихъ кончился. Далѣе, сидитъ третій книжникъ; тонкія черты его смуглаго худощаваго лица, обрамленнаго черными смолистыми волосами, которые вырываются изъ-подъ пестрой шелковой чалмы,—открытый лобъ, черные блестящіе глаза,—все дышетъ жизнію, проникнуто умомъ проницательнымъ; онъ пытливо вслушивается въ слова необыкновеннаго отрока; каждое слово ему доступно, но каждое слово есть для него новая задача, новый предметъ изумленія. Глубокій смыслъ въ рѣчахъ отрока понятенъ ему; онъ будетъ ему противодѣйствовать, будетъ его преслѣдовать, быть-можетъ, современемъ, будетъ первымъ, который произнесетъ ему смертный приговоръ; но пока онъ весь отдался удивленію и любопытству; два-три человѣка, сидящіе рядомъ, очевидно, его адепты. За ними третья группа: здѣсь, за первою минутой любопытства, послѣдовало самое полное увлеченіе; эти, не успѣвая уловлять мыслей, которыя льются потокомъ изъ устъ отрока, жадно, съ лихорадочнымъ трепетомъ и вытянувъ шеи, вслушиваются въ каждое слово; передъ ними точно разверзлась неожиданно яркая пелена свѣта, которая освѣтила ихъ умъ, зажгла воображеніе и сердце.

Христу отъ двѣнадцати до тринадцати лѣтъ. Онъ представляетъ типъ нервнаго, сухощаваго, но крѣпко сложеннаго отрока; легкая одежда, родъ рубашки съ широкими рукавами, изъ матеріи, исполосованной яркими синими, бѣлыми и красными полосами, и перетянутая подъ ребрами кожанымъ кушакомъ, спускается немного ниже колѣнъ; босыя ноги Его, изъ которыхъ правая выдвинута нѣсколько впередъ, твердо упираются въ помостъ храма; темно-рыжеватые волосы, откинутые назадъ, открываютъ высокій, выпуклый лобъ, который какъ будто свѣтится внутреннимъ какимъ-то свѣтомъ. Черты Его не отличаются особенною красотою, за исключеніемъ рта и глазъ; но все лицо дышетъ воодушевленіемъ необыкновеннымъ; Онъ въ полномъ разгарѣ вдохновенія; каріе глаза Его свѣтятся, лицо пылаетъ, нѣжныя прозрачныя ноздри вздрагиваютъ и расширяются, — а губы?... Боже мой, что это за губы и сколько въ нихъ выраженія! Я въ жизнь не видалъ подобнаго рта ни на картинахъ, ни въ дѣйствительности. Первый разъ, какъ мнѣ случилось подойти къ картинѣ, я былъ съ товарищемъ; взглянувъ на голову Христа, мы въ одинъ голосъ сказали, что только такія губы могутъ произносить слова, которыя перейдутъ столѣтія и будутъ жить вѣчно! Да, Гонтъ великій художникъ! Но этимъ еще не ограничивается его картина. Въ то время, какъ Христосъ такимъ образомъ бесѣдуетъ, Пречистая Дѣва и Іосифъ, тревожно и напрасно искавшіе Его по городу, зашли въ храмъ. Богородица—идеалъ не красоты физической, но нравственной чистоты и женственной нѣжности; Іосифъ—типъ кроткаго, добраго старика. Увидавъ Сына, говорящаго съ такимъ жаромъ съ мудрецами, оба испугались. Мать бросилась къ Сыну и нѣжно обвила Его руками; рука Іосифа прижалась къ рукѣ Маріи. Она, очевидно, не понимаетъ, что дѣлается съ Сыномъ; не понимаетъ Она, отчего пылаютъ Его щеки, усиленно бьется пульсъ, голосъ прерывается... Она только испугана Его волненіемъ и хочетъ увести Его: —«Сынъ! Что ты сдѣлалъ съ нами? Вотъ отецъ Твой и я измучились, искавши Тебя!» Онъ припалъ къ Ея плечу, нѣжно отдался Ей въ руки, а между тѣмъ не можетъ еще

художники Англіи, какъ напримѣръ Миллесъ, Коллинсъ и другіе, которые пошли по слѣдамъ Гонта.

Но не стану говорить вамъ о ихъ произведеніяхъ, точно также какъ не стану болѣе описывать другихъ картинъ Гонта: «Клавдій и Изабелла», «Англійскій берегъ», и проч. и проч.; это значило бы повторять то, что хотѣлось мнѣ высказать вамъ о новой исторической школѣ Англіи и слѣдовательно понапрасну только утомлять васъ; наконецъ, всего не перескажешь, особенно въ печати.

Надѣюсь, вы простите также, что я пропущу цѣлый рядъ портретистовъ; между ними: Грантъ, Макне, Боксалъ, Уатсонъ, Брантъ, Гордонъ, Пикерсгилъ, Ричмондъ—художники съ замѣчательнымъ талантомъ, каждый въ своемъ родѣ. Но послѣ произведеній вдохновенія и высокой поэзіи, не хочется переходить даже къ талантливой прозѣ.

## II.

Постараюсь теперь познакомить васъ съ тѣми живописцами Англіи, которые преимущественно занимались или занимаются изображеніемъ сценъ изъ домашней жизни, и которыхъ правильно или неправильно, но принято уже называть *жанристами*. Въ этомъ родѣ Англичане безспорно занимаютъ первое мѣсто между современниками. Многіе изъ нихъ съ успѣхомъ выдержатъ сравненіе съ первокласснѣйшими представителями этого рода между старыми мастерами Голландіи; если нѣкоторые изъ первыхъ уступаютъ послѣднимъ въ техническомъ отношеніи, за то они стоятъ неизмѣримо выше по тонкой наблюдательности, по уму и смыслу, и внутреннему содержанію въ своихъ произведеніяхъ.

Начнемъ съ Гогарта, старшаго изъ нихъ (р. 1698, † 1764), перваго основателя, можно сказать, самостоятельной школы живописи въ своемъ отечествѣ. Все, что считается лучшимъ въ твореніяхъ этого замѣчательнаго человѣка, собрано здѣсь съ тою нѣжною заботливостію, которая прилагается Англичанами ко всему, что сколько-нибудь возвышаетъ ихъ національную славу. На международной выставкѣ находились тридцать-два его произведенія.

Гогартъ, лучше чѣмъ кто-нибудь, подверждаетъ то, что говорилъ я вамъ о самобытности, которая составляетъ отличительную особенность англійской школы. Съ самаго вступленія своего на поприще искусства, Гогартъ презрѣлъ знакомыми путями; никогда не шелъ онъ по слѣдамъ другихъ, никогда не вращался въ положенныхъ до него предѣлахъ, никогда не прибѣгалъ къ существовавшимъ до него пріемамъ. У него меньше условнаго, меньше мертваго матеріала, чѣмъ у кого-нибудь изъ художниковъ, имѣющихъ съ нимъ что-нибудь общее. Планы, группировка, характеръ лицъ, характеръ самаго сочиненія, стиль, рисунокъ — все носитъ печать рѣзкой оригинальности, все проистекаетъ прямо изъ собственной его натуры.

Что до меня касается, я нахожу очень натуральнымъ, что большин-

ство скорѣе всегда удивлялось Гогарту, чѣмъ находило въ его произведеніяхъ предметъ непосредственнаго изящнаго наслажденія. Гогартъ не поэтъ, или, по крайней мѣрѣ, поэзія его заключаетъ въ себѣ слишкомъ много мрачнаго, трагическаго, серьезнаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ ее слишкомъ часто надо отыскивать въ глубокомъ смыслѣ содержанія, а потому она не дѣйствуетъ непосредственно на зрителя. Кромѣ того, и это главная причина его неуспѣха въ массѣ публики, картины Гогарта не блещутъ внѣшними достоинствами; колоритъ его, сѣрый или желтоватый, по большей части тусклъ; въ немъ преобладаютъ далеко не привлекательные буро-коричневые тоны; письмо, за исключеніемъ головъ и нѣкоторыхъ деталей, въ общемъ грубо и жестко; рисунокъ, хотя всегда живъ, вѣренъ природѣ и всегда сразу передаетъ мысль художника, не отличается щегольствомъ и красотою.

Этимъ объясняется, почему съ самаго начала своей карьеры Гогартъ не имѣлъ успѣха. Онъ едва находилъ случай продавать картины свои по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Самъ Орасъ Вальполь, знатокъ тогдашняго времени и первый защитникъ Гогарта въ томъ кругу, который управляетъ общественнымъ мнѣніемъ, не признавалъ въ его произведеніяхъ художественнаго достоинства. Говоря о Гогартѣ, онъ настаиваетъ, что это скорѣе комическій писатель, употребляющій кисть вмѣсто пера, чѣмъ живописецъ; онъ иначе не называетъ его, какъ литераторомъ.

Въ этомъ замѣчаніи, конечно, много правды. Умъ, сатира, поучительная цѣль, дѣйствительно, выступаютъ какъ преобладающія черты въ бо́льшей части произведеній Гогарта; сравнительно съ ихъ значеніемъ, краски, письмо, живописность цѣлаго играютъ второстепенную роль. При всемъ томъ, несправедливо считать талантъ Гогарта только аналитическимъ и отрицать въ немъ художественныя стороны. Средства живописнаго искусства такъ многосторонни и разнообразны, что недостатокъ одного часто съ избыткомъ пополняется другимъ: не на каждомъ ли шагу встрѣчаемъ мы даже замѣчательныя произведенія, которыя отличаются однимъ какимъ-нибудь качествомъ? Иное произведеніе выступаетъ изъ ряда обыкновенныхъ, благодаря одному колориту; въ другомъ, удивляемся мы только стилю и рисунку; въ третьемъ пошлое содержаніе или полное его отсутствіе выкупается блескомъ кисти, и т. д. Гдѣ же искать полныхъ, совершеннѣйшихъ произведеній искусства, и будто ужъ ихъ такъ много?

Художественная сторона Гогартовскаго таланта заключается въ мастерствѣ композиціи, въ которой все, отъ главнаго лица до послѣдней мелочи, служитъ объясненіемъ основной мысли, а главное, въ необыкновенномъ искусствѣ придавать человѣческой физіономіи то выраженіе, которое съ разу безошибочно опредѣляетъ характеръ человѣка. По мастерству композиціи, умѣнью передавать чертами лица внутреннюю драму,— нѣтъ художника, который былъ бы сильнѣе Гогарта; не владѣй онъ тѣмъ и другимъ въ высшей степени, произведенія его, несмотря на весь ихъ умъ и глубину содержанія, дѣйствительно заслуживали бы названіе памфлетовъ или литературныхъ сочиненій; дѣло именно въ томъ, что изображенныя въ нихъ фигуры не бездушныя куклы, не фикціи, а одуше-

вленные, полные жизни люди; переносить дѣйствительную жизнь на полотно, въ мраморъ или на бумагу можетъ только художникъ.

Если мелкіе детали, разсыпанные съ такимъ изобиліемъ въ картинахъ Гогарта, часто требуютъ коментарій,—главная мысль всегда цѣликомъ вытекаетъ изъ выраженія лица его героевъ; сила выраженія не ограничивается у него игрою физіономіи; его дополняетъ еще мимика и движеніе. Никто не вникалъ такъ глубоко въ характеръ своихъ героевъ, никто не умѣлъ выдерживать ихъ такъ вѣрно и съ такою послѣдовательностью. Въ ряду картинъ его, часто служащихъ продолженіемъ одна другой и гдѣ дѣйствуютъ одни и тѣ же герои, взгляните на любое лицо при началѣ его поприща и потомъ при концѣ; это положительно тотъ же человѣкъ; нельзя достаточно надивиться умѣнью прослѣдить и выразить оттѣнки и всѣ измѣненія, которые проведены на одномъ и томъ же лицѣ временемъ и страстями. Каждая физіономія краснорѣчиво повѣствуетъ исторію страстей, волновавшихъ душу человѣка. Но этого еще мало; для достиженія такихъ эффектовъ Гогартъ не прибѣгаетъ къ утрировкѣ чертъ, что было бы очевидно легче, и что поставило бы его скорѣе въ разрядъ каррикатуристовъ, чѣмъ художниковъ. Многіе, не видавшіе его произведеній или знающіе о нихъ только по наслышкѣ, называютъ Гогарта каррикатуристомъ. Дать ему сознательно такое названіе, значило бы отказаться отъ пониманія неизмѣримой разницы между фарсеромъ и комикомъ. Жестоко ошибается тотъ, кто думаетъ встрѣтить въ его произведеніяхъ что-либо забавное. Они по большей части заключаютъ въ себѣ глубокую, потрясающую жизненную драму; комизмъ служитъ только оболочкой; онъ не столько проявляется во внѣшней формѣ, сколько вытекаетъ изъ смысла произведенія. Комическій и драматическій элементы взаимно сливаются и оттѣняются у Гогарта съ такою же вѣрностью природѣ, какъ у Шекспира. Выборъ сюжета и выборъ эпизодовъ, поясняющихъ главный мотивъ, показываютъ, что Гогартъ скорѣе даже драматургъ, чѣмъ комикъ; юмористическія и комическія черты очевидно служатъ только средствомъ для поясненія основной мысли; наконецъ, въ нихъ часто не столько комизма, сколько ядовитой безпощадной иронія и сарказма. Переведите любую картину Гогарта въ форму разсказа или драмы; возьмите его «Модный бракъ», «Жизнь распутнаго», «Жизнь погибшей женщины», «Джинъ», и т. д. Все это, конечно, болѣе потрясетъ васъ, чѣмъ дастъ случай посмѣяться.

Возьмемъ хоть ту сцену изъ «Жизни распутнаго», гдѣ изображено бракосочетаніе.

Герой, пройдя, какъ говорится, огонь и воду, промотавъ отцовское наслѣдство, ведетъ къ алтарю старую, но богатую невѣсту; картина представляетъ внутренность старой Мерилебонской церкви: она находилась тогда въ предмѣстьи Лондона, и потому преимущественно избиралась для тайныхъ браковъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда одно изъ сочетающихся лицъ стыдилось своего брака; церковь страшно запущена; другой живописецъ нашелъ бы въ этомъ запущеніи цѣлый кладъ; оно открыло бы ему случай придать картинѣ ту живописность, которую такъ жадно ловятъ художники. Для Гогарта этого мало; онъ ищетъ эффек-

товъ другаго рода; самое важное для него—внутренняя, нравственная сторона того эпизода, который онъ изображаетъ; ему, главное, хочется показать всю безнравственность своего героя, все уродство такого брака и все, чего можно ждать отъ него впослѣдствіи. Въ глубинѣ церкви молоденькая дѣвушка, обольщенная распутнымъ, тщетно борется съ прислужниками, которые, заранѣе предупрежденные и подкупленные, толкаютъ ее вонъ, не трогаясь даже ея беременнымъ положеніемъ. Не довольствуясь выраженіемъ досады въ лицѣ героя, его насмѣшливою, презрительною улыбкой и глазами, которые щурятся по направленію къ хорошенькой прислужницѣ будущей жены, Гогартъ разбиваетъ скрижаль закона вложенную въ стѣну, проводитъ по ней трещину на томъ мѣстѣ, которое предписываетъ супружескую вѣрность; желая въ той же картинѣ выставить эгоизмъ и холодность въ дѣлѣ милосердія, онъ покрываетъ паутиной отверстіе кружки для бѣдныхъ. Въ послѣдней картинѣ «Модный бракъ» у ногъ умирающей жены лежитъ пустая стклянка съ ярлыкомъ: «лауданумъ»; Гогартъ положилъ еще подлѣ нея «предсмертную рѣчь юрисконсульта Сильверстоига, только-что казненнаго»; изъ этого можно видѣть, что не смерть мужа, а смерть Сильверстоига, который былъ ея возлюбленнымъ, побудила ее отравиться. Какъ видите, самые детали не имѣютъ здѣсь ничего комическаго; напротивъ, каждый изъ нихъ—трагическая черта.

Эффекты у Гогарта часто основываются на контрастахъ. Въ картинѣ «Долговая тюрьма Флита», изъ «Жизни распутнаго», всѣ группы перваго плана выражаютъ бѣдствіе и горесть. Старая, разоренная жена, отрезвленная отъ безобразной любви къ мужу, въ ярости поднимаетъ на него руку; дѣвушка, которую онъ обольстилъ и которая послѣдовала за нимъ въ тюрьму и столкнулась съ законною супругой, лежитъ въ судорогахъ. Бѣдный ученый старается привести ее въ чувство; его, очевидно, не столько занимаетъ положеніе несчастной, сколько результатъ его опыта надъ нею; онъ страшно суетится, не замѣчая, что изъ кармана его вывалился проэктъ «объ уплатѣ государственнаго долга»—трудъ, который, отнявъ у него время заняться собственными дѣлами, привелъ его въ долговую тюрьму. Вдали отъ этихъ группъ, сидитъ ученый алхимикъ, окруженный своими апаратами: ихъ не приняли даже кредиторы въ уплату долга; онъ весь погруженъ въ свои занятія, и такъ же спокоенъ, какъ у себя въ лабораторіи.

Собственно веселость не встрѣчается у Гогарта даже въ тѣхъ сюжетахъ, которые, повидимому, не даютъ повода къ драматическому мотиву. Какой живописецъ или писатель, начиная съ Калло и Скарона и кончая Поль-де-Кокомъ, рисуя нравы странствующихъ актеровъ, не старался выставить забавную, комическую сторону быта этихъ людей? Избирая тотъ же сюжетъ, Гогартъ смотритъ на него съ другой точки зрѣнія. Въ картинѣ его «Странствующіе комедіанты» (strolling players) сквозь комическіе детали проглядываетъ вся нищета, всѣ горькія нужды, которыя такъ часто скрываются за внѣшнимъ блескомъ и видимою веселостью. Онъ выставляетъ фойе театра, расположеннаго въ жалкомъ сараѣ; богиня ночи (Негритянка) штопаетъ чулки Юноны, которая возсѣдаетъ подлѣ, на

тачкѣ, и, поднявъ глаза къ потолку, восторженно декламируетъ роль; неподалеку Флора смотрится въ обломокъ зеркальца и маслитъ волосы остаткомъ сальнаго огарка; Аполлонъ усиливается снять кончикомъ золотаго лука пару прорванныхъ носковъ, висящихъ для просушки на облакѣ; ему подсобляетъ крылатый Амуръ; онъ точно также не можетъ достать облака, даромъ что взлѣзъ на верхнюю перекладину лѣстницы. Въ правомъ углу, человѣкъ, въ костюмѣ Юпитерова орла, кормитъ кашей своего ребенка; послѣдній, при видѣ страшной наружности своего родителя, испускаетъ пронзительные крики; чашка съ кашей поставлена на корону, въ сосѣдствѣ съ извѣстною вазой и сальными свѣчами, воткнутыми въ комъ мокрой глины.

По мастерству выраженій и по впечатлѣнію, я ничего не знаю сильнѣе его картины «Джинъ» (Gin-Lane, собственно: «водочный переулокъ»). Въ ней выражены дѣйствія и результаты пристрастія къ этому напитку. Картина изображаетъ улицу въ одномъ изъ тѣхъ кварталовъ, который не безъ причины называютъ «Развалины Сентъ-Джильза». Тутъ преимущественно гнѣздится нищета; украшеніемъ улицы служатъ только вывѣски таверенъ. На дворѣ холодно; небо облачно; перекосившіяся вывѣски и флаги свидѣтельствуютъ о сильномъ вѣтрѣ. На второмъ планѣ группы оборванныхъ людей жмутся въ кучу, чтобы какъ-нибудь обогрѣться; двое нищихъ, на костыляхъ, дерутся за право, кто первый войдетъ въ кабакъ; тутъ же нѣсколько лицъ, въ сопровожденіи полицейскаго, укладываютъ въ гробъ трупъ женщины, подлѣ котораго плачетъ рѣбенокъ; на вывѣскѣ таверны, гдѣ складъ водки обозначается рядами бочекъ,—надпись: «Killerman» (Душегубъ). Справа входъ къ ростовщику; надъ дверью начертано: «Gripe-Pawn-Broker» (дающій подъ закладъ); здѣсь работникъ закладываетъ свой инструментъ и женщина кухонную посуду. Ближе, каменная крутая лѣсница, подъ сводомъ которой погребъ; входъ въ него обозначается узаконенною казенною мѣрой для измѣренія крѣпкихъ напитковъ; на ней надпись: «Gin-Royal»; надъ самою дверью этого убѣжища отчаянія другая надпись: «Drunk for a penny, dead drunk for two pence, clean straw for nothing.» (Пьянъ на копѣйку, до смерти пьянъ за двѣ копѣйки;—свѣжая солома даромъ!) Джинъ въ простонародьи называютъ: «strip me naked» (обери меня до гола). По срединѣ лѣстницы сидитъ пьяная женщина; отброшенная въ сторону, и желая по инстинктивному чувству самосохраненія удержать равновѣсіе, она выпустила изъ рукъ грудного ребенка, который падаетъ на мостовую внизъ головою; она такъ пьяна, что едва осмысливаетъ свой поступокъ. Въ углу, въ самомъ глухомъ мѣстѣ лѣстницы, на первомъ планѣ картины, жмется человѣкъ, представляющій крайнюю степень, до которой можетъ довести пьянство. Живопись не производила образа страшнѣе. По силѣ впечатлѣнія, но только совсѣмъ другаго рода, фигура эта можетъ идти въ параллель развѣ только съ фигурой «Меланхоліи», въ гравюрѣ того же названія, Альбрехта Дюрера. Но у Дюрера нѣтъ ничего отталкивающаго; напротивъ, красота лица выбрана нарочно съ тѣмъ, чтобы усилить въ зрителѣ чувство безотрадной грусти, разлитой во всей фигурѣ. Цѣль Гогарта совсѣмъ другаго рода; у него каждая черта производитъ отталкивающее дѣйствіе; пьяница,

которому не достаетъ уже силъ двигаться и который притащился сюда какъ бы съ тѣмъ, чтобъ умереть, едва прикрытъ; изъ безобразныхъ лохмотій высовываются во всѣ стороны старческіе, чахлые, костлявые члены; черты его служатъ олицетвореніемъ всѣхъ порочныхъ наклонностей человѣка, неизбѣжныхъ спутниковъ пьянства; джинъ все взялъ: силу, здоровье, умъ, душу; передъ вами почти бездушный трупъ; потухшіе глаза безсмысленно смотрятъ изъ своихъ впадинъ; волосы вылѣзли, ротъ провалился; испитое лицо свинцоваго цвѣта такъ исхудало и осунулось, что на первый взглядъ кажется какъ бы мертвою головой; только при нѣкоторомъ вниманіи открываются въ немъ признаки жизни, но отъ этого оно дѣлается еще страшнѣе...

Въ этой картинѣ, если хотите, нѣтъ ничего изящнаго; колоритъ, письмо, живописность — все, что заставляетъ насъ не только забывать далеко некрасивыя формы пьяницъ Остада, Теньера и другихъ, а даже восхищаться ими, несравненно слабѣе у Гогарта. Но за то здѣсь, не говоря уже о внутреннемъ содержаніи произведенія, нельзя довольно надивиться мастерству, съ какимъ передано выраженіе лицъ; оно съ перваго взгляда оставляетъ такое впечатлѣніе, такъ приковываетъ вниманіе, что по неволѣ забываешь о техническихъ красотахъ. Весьма можетъ быть справедливо, что Гогартъ отдавалъ черезчуръ много вниманія моральной сторонѣ своихъ произведеній, что кистью его слишкомъ часто водило исключительное желаніе срывать личину порока и пробуждать совѣсть въ порочныхъ; исправительная цѣль, конечно, менѣе всего идетъ къ предмету живописнаго искусства. Но надо также сказать, что въ этихъ обвиненіяхъ много преувеличеннаго; задняя мысль и цѣль не всегда обращаются у Гогарта неизбѣжно во вредъ чисто-художественнымъ достоинствамъ. Въ доказательство можно привести рядъ картинъ подъ общимъ названіемъ: «Модный бракъ»; онѣ отличаются большею тонкостію письма; первыя двѣ замѣчательны даже по колориту. Тѣ же качества бросаются въ глаза въ картинѣ, представляющей домашній театръ. Послѣдняя — во всѣхъ отношеніяхъ прелестное произведеніе. Здѣсь дѣти играютъ главную роль; три дѣвочки и одинъ мальчикъ стоятъ на сценѣ и съ комическою, миловидною важностью силятся проговорить свои роли какъ можно лучше; тутъ же, въ первомъ ряду зрителей, сидитъ еще дѣвочка; выраженіе ея лица — верхъ совершенства. Она выпрямилась, вытянулась, и такъ увлечена представленіемъ, что, кажется, вся душа ея переселилась на сцену; восторгъ блещетъ въ каждой чертѣ ея свѣженькаго личика; онъ тѣмъ сильнѣе и живѣе, что на сценѣ такія же дѣти, какъ она сама. Рѣдкая картина Гогарта не представляетъ дѣтей, и всѣ они, по большей части, прелестны. Что можетъ быть милѣе, напримѣръ, дѣвочки въ «Обѣдѣ на выборахъ», которая такъ внимательно разсматриваетъ перстень на мизинцѣ важнаго господина, или группы дѣтей въ картинѣ «Негодующій музыкантъ», которыя сажаютъ обломанныя вѣтви въ кучки песку и дѣлаютъ себѣ садикъ, или двухъ дѣвочекъ въ картинѣ «Утро», которыя такъ тихо, такъ чинно идутъ въ школу, и которыхъ слѣдъ рисуется по снѣгу? Трудно сыскать также что-нибудь прелестнѣе мальчика, одѣтаго въ трауръ и участвующаго въ «Похоронахъ потерян-

ной женщины»: онъ въ томъ возрастѣ, когда не сознаютъ еще всего ужаса смерти; онъ играетъ трещоткой, и во всемъ шествіи одинъ не лицемѣритъ.

Положимъ, Гогартъ ничего не дѣлаетъ случайно, по вдохновенію, какъ обвиняютъ его многіе; положимъ, самыя эти дѣти въ его картинахъ нарочно такъ хороши, чтобъ ярче выставились порочныя лица взрослыхъ людей, ихъ окружающихъ; но развѣ отъ того изображеніе дѣтей теряетъ въ художественномъ отношеніи? Удивляться одному внутреннему содержанію въ произведеніяхъ Гогарта, и отрицать въ нихъ всякое художественное достоинство, отрицать въ Гогартѣ всякое сочувствіе къ красотѣ и природѣ, такъ же несправедливо, какъ обвинять его безусловно въ суровомъ скептицизмѣ и озлобленіи по принципу противъ всего рода человѣческаго.

Въ первомъ случаѣ, кромѣ дѣтей, можно привести тѣ кроткіе, симпатическіе и вполнѣ художественные женскіе образы, которые такъ часто производитъ кисть его; такова обольщенная дѣвушка, лицо которой проходитъ во всѣхъ картинахъ «Жизни распутнаго»; другая женщина, подруга героини въ картинѣ «Смерть погибшей женщины» и т. д. Наконецъ, самые эти женскіе образы не поставлены ли здѣсь нарочно съ тѣмъ, чтобы насмѣшка и желчная сатира, такъ часто возбуждаемыя главнымъ сюжетомъ, не переходили въ душѣ зрителя въ ядовитое, безотрадное чувство презрѣнія и ненависти? Эти женскія фигуры поставлены здѣсь очевидно не для контраста, не изъ художественнаго разсчета; онѣ здѣсь для того, чтобы распространить на все остальное духъ примиренія и любви, сообщить его зрителю.

Очень сожалѣю, что долженъ здѣсь остановиться. Картины Гогарта, хотя и отлично поддаются описанію, представляютъ однакожъ то неудобство, что онѣ рѣдко выставляютъ отдѣльный эпизодъ; сюжетомъ ихъ бываетъ по большей части цѣлая драма или жизнь человѣка, высказанная цѣлымъ рядомъ картинъ. Кромѣ богатства внутренняго содержанія, драмы эти представляютъ также полную картину англійскихъ нравовъ извѣстнаго времени; въ этомъ отношеніи Гогартъ не уступаетъ Смоллету и Фильдингу. У него ничтожная черта говоритъ иногда болѣе, чѣмъ цѣлыя страницы нравоописательнаго сатирическаго романа. Подробное описаніе картинъ Гогарта, даже только тѣхъ, которыя находились на выставкѣ, едва ли бы умѣстилось въ цѣломъ томѣ. Я уже тѣмъ доволенъ, что хоть сколько-нибудь познакомилъ васъ съ общимъ характеромъ произведеній этого замѣчательнаго художника.

Гогартъ не оставилъ послѣ себя учениковъ; характеръ его таланта слишкомъ индивидуаленъ. Чтобъ идти по стопамъ Гогарта, не довольно было имѣть художественное дарованіе,—надо было имѣть глубину и складъ его ума. Къ тому же, самый этотъ родъ живописи возбуждалъ въ то время мало сочувствія; его считали низкимъ. Художники исключительно посвящали свою кисть миѳологіи, греческимъ и римскимъ героямъ. Не забудьте, что даже много лѣтъ спустя, въ концѣ XVIII столѣтія, во Франціи рѣшено было общимъ голосомъ выключить Грёза изъ академіи, какъ

живописца, употребляющаго кисть на изображеніе предметовъ низкихъ и несовмѣстныхъ съ достоинствомъ искусства.

Между 1768 г. (годъ смерти Гогарта) и концомъ XVIII столѣтія, въ Англіи начинаютъ однакожъ появляться *жанристы*. На международной выставкѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ произведеній Гогарта, находится картина: «Слѣпой нищій и его дочь»; имя художника—Опи (Opie). Тутъ же, неподалеку, выставлено нѣсколько картинъ Райта (Wright): «Дѣвочка и мальчикъ, пускающіе мыльные пузыри», «Дѣти, играющіе мячикомъ», «Кузница», и прелестная картина Оуэна (Owen): «Дѣти съ кошкой». Въ этихъ произведеніяхъ, особенно въ «Слѣпомъ нищемъ», несмотря на явное желаніе подойти ближе къ природѣ, къ дѣйствительности, замѣтна еще нѣкоторая робость; художника все еще какъ-будто пугаютъ лохмотья во всей ихъ правдивости; онъ смягчаетъ грубость ткани и умышленно облагораживаетъ складки. Еще немножко, нищій и его дочь превратились бы въ классическаго Эдипа, ведомаго Антигоной. Путь къ самому полному реализму былъ уже давно однакожъ проложенъ Гогартомъ, Генсборо въ его пейзажахъ, Констеблемъ, Морландомъ и другими пейзажистами прошлаго столѣтія. Но, какъ я уже замѣтилъ, одна изъ отличительныхъ чертъ англійской школы заключается въ томъ, что развитіе и успѣхъ живописи не представляютъ въ ней послѣдовательности; здѣсь самые оригинальные, самые яркіе таланты возникаютъ вдругъ, независимо одинъ отъ другаго, совершенно сами собою. Такъ неожиданно за Опи, Райтомъ и Оуэномъ является вдругъ Давидъ Вильки (р. 1785, † 1841).

Собственно какъ живописецъ домашнихъ сценъ, Вильки стоитъ совершенно особо; ни по взгляду на искусство, ни по манерѣ и пріемамъ, онъ не имѣетъ ничего общаго съ предшественниками. Даромъ что картины его ограничиваются по бо́льшей части изображеніемъ народныхъ сценъ, представленныхъ со всевозможною *натуральною* правдивостью, онѣ не причисляются уже къ низкому роду; напротивъ, Вильки скоро дѣлается любимцемъ, баловнемъ публики; аристократія гордится имъ, какъ первымъ своимъ художникомъ; появленіе каждой его картины считается національнымъ событіемъ; о ней кричитъ заранѣе весь Лондонъ, и всѣ газеты ею заняты.

Вильки по преимуществу живописецъ домашняго очага, столь дорогаго каждому Англичанину. Поэзія скромнаго семейнаго быта съ его радостями и горемъ знакома ему въ совершенствѣ; переданная имъ на полотнѣ, она невольно увлекаетъ и трогаетъ зрителя, пробуждаетъ въ немъ самое теплое, сердечное чувство. Вильки точно также юмористъ; но юморъ у него веселый, исполненный наивности и неисчерпаемаго добродушія. Между творцомъ «Погибшей женщины», «Джина», «Жизни распутнаго» и Вильки—такая же разница, какъ между Гольдсмитомъ или Борнсомъ и Шекспиромъ, между Свифтомъ и мрачнымъ Мильтономъ. Комизмъ Вильки, если только онъ проявляется въ картинѣ, никогда не обращается во вредъ его героямъ. Стоитъ взглянуть на нихъ, чтобы сразу почувствовать къ нимъ сердечное влеченіе; точно вступаешь въ кругъ людей добродушно-веселыхъ и привѣтливыхъ. Сюжеты многихъ его картинъ невольно вызываютъ изъ памяти дорогія воспоминанія, испытанныя въ семьѣ родной или чужой, но, все равно, близкой къ сердцу.

На дворѣ густѣютъ сумерки; продрогнувъ на холодномъ вѣтрѣ, нетерпѣливо подъѣзжаешь къ знакомому дому; яркій свѣтъ разгорѣвшейся печки освѣщаетъ прихожую; за ближайшею дверью раздаются знакомые голоса и дѣтскія восклицанія; тамъ происходитъ страшная суматоха; вся молодежь многочисленнаго семейства, включая маленькихъ дѣтей, многіе изъ молодыхъ близкихъ сосѣдей и сосѣдокъ, которыхъ, частію, привела сюда сердечная зазноба—все это поднялось на ноги; пока дѣдушка и бабушка отдыхаютъ и пока не подали еще свѣчекъ, всѣ сговорились воспользоваться дорогимъ временемъ и повеселиться; жмурки въ полномъ разгарѣ. Очередь завязать себѣ глаза выпала на долю самому бойкому изъ молодыхъ людей; приподнявъ слегка голову, протянувъ руки, онъ то осторожно пробирается впередъ, то вдругъ стремительно бросается въ отдаленные углы пространной залы; всѣ бѣгутъ отъ него съ крикомъ и прячутся. Кто, застигнутый врасплохъ, вскочилъ на скамью и бережно крадется, придерживаясь руками за стѣну; кто жмется въ уголъ; мѣстами всѣ сбились въ кучку,—и, конечно, не обходится безъ того, чтобы кто-нибудь не пожалъ украдкой чью-нибудь хорошенькую ручку; мѣстами, все несется вразсыпную; дѣти, испуская пронзительные крики, катятся по полу или прячутъ голову въ юбки старшихъ сестеръ; стулъ валится; кошка, дремавшая подъ нимъ, летитъ со всѣхъ ногъ, распушивъ хвостъ; все скачетъ, тискается, несется, опрокидывая одинъ другаго, — и надъ всѣмъ этимъ стоитъ неумолкаемый шумъ восклицаній и веселаго смѣха... Такова картина Вильки «Жмурки». Прелесть подобныхъ сценъ, выраженныхъ умною граціозною композиціей и оживленныхъ красками, не ограничиваетъ собою таланта Вильки; не этимъ однимъ заслужилъ онъ такую любовь и популярность; поэзія и задушевное чувство, заключенныя въ его произведеніяхъ, идутъ параллельно высокимъ художественнымъ достоинствамъ; какъ техникъ, какъ живописецъ, онъ такъ же высокъ, какъ и поэтъ. Превосходныя гравюры Рембаха, очень вѣрно передающія произведенія Вильки, все-таки далеко недостаточны для оцѣнки этого мастера; насколько картины Гогарта выигрываютъ въ гравюрѣ, настолько же гравюра невыгодна для картинъ Вильки, отличающихся высокими качествами письма и колорита. Манера Вильки необыкновенно разнообразна; не изучивъ основательно его произведеній, рискуешь на каждомъ шагу ошибиться.

Нѣкоторыя картины, по колориту, близко напоминаютъ Исаака Остада: тотъ же густой янтарный тонъ, который возвышается сильными тѣнями; письмо, между тѣмъ, такъ же смачно и отчетливо, какъ въ лучшихъ произведеніяхъ Адріана Остада. Въ легчайшемъ прикосновеніи кисти нѣтъ ничего случайнаго; мельчайшая блестка свѣта на лицахъ, рукахъ или аксессуарѣ показываетъ умъ, и сдѣлана не ради эффекта, но чтобы подойти ближе къ натурѣ, чтобы придать тѣлу или физіономіи еще больше жизненной правды и выраженія. Такъ написаны картины «Жмурки» и «Сельскій праздникъ»—одно изъ лучшихъ его произведеній. Неподалеку, подъ № 276, небольшая картинка: «Общинный сторожъ»; на ней представленъ старый, но еще крѣпкій, коренастый служитель общины, ревностный исполнитель своего долга, гроза всѣхъ браконьеровъ околотка; онъ привелъ къ дверямъ сельскаго правленія бѣдное цыганское семейство,

захваченное въ сосѣднемъ лѣсу съ охапками валежника; этотъ сторожъ— второй экземпляръ мистера Бумбля, изъ романа *Оливеръ Твистъ* Диккенса. Стоитъ взглянуть на полное, откормленное лицо его, раскраснѣвшееся отъ скорой ходьбы, внутренняго самодовольствія и частаго употребленія джина и портера, чтобы понять, что отъ такого человѣка нечего ждать пощады; просьбы оборваннаго цыгана, стоящаго тутъ съ блѣднымъ перепуганнымъ лицомъ, слезы его жены и дѣтей не тронутъ блюстителя порядка: онъ вцѣпился въ своихъ жертвъ какъ ястребъ, и не выпуститъ ихъ изъ когтей. Эта небольшая картина, въ которой каждое движеніе, каждая черта трепещетъ жизнію, исполнена опять другимъ образомъ, чѣмъ предыдущія. Свѣтлыя части отливаютъ серебромъ, какъ у Тербурга; краски наложены густо; несмотря на небольшой масштабъ фигуръ, головы и ручки выбраны планами, какъ у Метцю. По манерѣ письма, «Деревенскіе политики» представляютъ опять другое; точно Теньеръ приложилъ тутъ руку въ лучшія свои минуты; та же быстрая, легкая кисть, и между тѣмъ нѣтъ такой крапинки, которая не оправдывалась бы необходимостью и казалась бы неоконченною.

При всемъ уваженіи моемъ и любви къ старымъ мастерамъ Голландіи, долженъ сказать однакожъ, что если бы дали мнѣ выбирать между любою таверной Теньера и «Деревенскими политиками» Вильки, я не задумываясь взялъ бы эту послѣднюю картину. Не уступая тавернамъ Теньера ни по письму, ни по живописности, картина Вильки (дѣйствіе происходитъ здѣсь также въ тавернѣ) беретъ перевѣсъ надъ первыми своею умственною и жизненною стороной. Нельзя не согласиться, что Теньера мало занимаетъ личность его героевъ; въ обширныхъ композиціяхъ они играютъ, большею частію, пассивную роль; поставленныя ли отдѣльно, или связанными группами, фигуры его, несмотря на всю ихъ правдивость, приняты художникомъ скорѣе какъ единицы, чѣмъ какъ дѣйствующія лица, одушевленныя каждое своимъ характеромъ и темпераментомъ. Глядя на картины Теньера, можно только собирательно говорить о лицахъ. Скажешь: какъ здѣсь люди веселятся, какъ лихо они пьютъ и курятъ! Любая фигура, оторванная отъ общаго дѣйствія, сама по себѣ ничего не скажетъ въ пользу или во вредъ своей личности; это статисты, разставленные въ картинѣ ради общаго живописнаго эффекта. Въ картинахъ своихъ Теньеръ изображаетъ только внѣшность; въ человѣческой драмѣ онъ видитъ только картинный эффектъ. Изображаетъ ли онъ борьбу,— его болѣе занимаетъ случай поставить интересную комическую группу, чѣмъ самые люди; выставляетъ ли онъ уединенную лабораторію ученаго алхимика или келью философа, его очевидно болѣе увлекаетъ счастливое сочетаніе стклянокъ и фоліантовъ, лучъ свѣта, чѣмъ самое лицо, составляющее собственно предметъ картины. У Вильки не такъ; у него фигуры не аксессуаръ, не пятно; оторвите любую фигуру изъ общаго дѣйствія — оно будетъ интересно какъ живая личность.

Изъ того, что я сказалъ о сходствѣ пріемовъ и колорита Вильки съ пріемами и колоритомъ Остадовъ, Теньера, Тербурга и Метцю,—не слѣдуетъ заключать, чтобъ онъ подражалъ имъ; нѣтъ такого произведенія Вильки, глядя на которое вы могли бы сказать: «Это напоминаетъ Теньера,

Метцю» и пр. При всемъ разнообразіи своей манеры, Вильки прежде всего похожъ на самого себя. Нѣтъ сомнѣнія, онъ много изучалъ старыхъ мастеровъ Голландіи; но сила природнаго таланта переработала все по-своему и ни на волосъ не утратила своей самобытности. Глядя на его произведенія, нельзя ошибиться въ ихъ англійскомъ происхожденіи; они насквозь проникнуты духомъ національности; перенесите въ картину любой школы послѣднее незамѣтное лицо картины Вильки,—оно будетъ рѣзко отдѣляться своимъ типомъ отъ всего остальнаго; вы безошибочно скажете, что сюда затесался Англичанинъ.

Вильки произвелъ очень много. Онъ пробовалъ себя въ разныхъ родахъ. Нельзя не удивляться и внутренно не досадовать, видя такую неувѣренность художника въ своемъ призваніи. Зачѣмъ было ему писать такъ много итальянскихъ и испанскихъ сценъ? Что могло заставить его употребить кисть хоть бы напримѣръ на изображеніе этихъ двухъ нимфъ, срывающихъ виноградъ (№ 256)? Припоминая обаятельное дѣйствіе его національныхъ произведеній, поневолѣ скажешь, что онъ тутъ попусту тратилъ время. Всѣ эти картины, если хотите, прекрасно написаны, отличаются мастерскимъ рисункомъ, блещутъ колоритомъ; многія такъ драгоцѣнны, что владѣльцы рѣшились выставить ихъ только подъ прикрытіемъ стекла; при всемъ томъ, разсматривая ихъ, невольно ищешь глазами, нѣтъ ли еще по близости чего-нибудь въ родѣ «Жмурокъ», или «Общиннаго сторожа», или «Деревенскихъ политиковъ». Не странно ли, что иногда нѣсколько фигуръ, не отличающихся красотою типа,—фигуръ, ежеминутно встрѣчаемыхъ на улицѣ и занимающихся самымъ прозаическимъ ремесломъ или хозяйственнымъ дѣломъ,—пробуждаютъ въ высшей степени любопытство и заставляютъ сладко задумываться, тогда какъ, повидимому, интереснѣйшій эпизодъ и героическія личности,—даже искусно выполненныя,—оставляютъ зрителя совершенно равнодушнымъ?

Впечатлѣніе этого рода приходится испытывать передъ тѣми или другими картинами Вильки. Все дѣло въ томъ, сколько мнѣ кажется, что въ первомъ случаѣ, то-есть въ картинахъ національнаго содержанія, между Вильки и самимъ предметомъ картины существуетъ близкая внутренняя связь, чего не было, когда онъ бралъ иноземные или героическіе сюжеты. Послѣдніе поражали воображеніе только своею внѣшнею стороной; только эта внѣшняя сторона и вышла въ картинахъ этого рода. Напрасно старается онъ пополнить ее, придумывая интересныя положенія своимъ лицамъ: они все-таки отзываются сочиненіемъ и никого не трогаютъ. Во второмъ случаѣ, онъ приступаетъ къ своимъ героямъ безо всякой напряженности и насилія воображенія; онъ словно пишетъ портреты близкихъ любимыхъ родственниковъ; съ ними онъ какъ посреди родной семьи; онъ живо сочувствуетъ ихъ интересамъ и обычаю. Не только лица, но ихъ жилища, самые предметы, ихъ окружающіе, вся домашняя обстановка въ совершенствѣ знакомы ему и близки его сердцу. Воодушевляемый любовью къ своимъ героямъ, онъ относится къ нимъ искренно, сердечно; невольно вноситъ онъ въ произведеніе часть самого себя, свое сердце и душу. Только присутствіе того и другаго объясняетъ, почему иногда картина, часто лишенная внѣшнихъ блестящихъ красотъ, имѣетъ

тѣмъ не менѣе силу приковывать къ себѣ зрителя. Искренность внутренняго чувства, положеннаго художникомъ въ произведеніе, всегда инстинктивно чувствуется и выше всего цѣнится въ произведеніи живописнаго искусства; его не замѣняетъ ни умъ, ни даже красота внѣшнихъ формъ. На выставкѣ легче всего было судить о впечатлѣніи того или другаго произведенія на публику. Толпа часто показываетъ себя невѣждою во всемъ, что касается оцѣнки частностей художественнаго произведенія; но ею управляетъ почти всегда вѣрное чутье. Такъ на международной выставкѣ можно было безъ всякаго затрудненія любоваться картинами Вильки: «Пилигримы и Пифферари, поющіе гимнъ передъ Мадонной», «Католическая исповѣдная», «Принцесса Дорія, обмывающая ноги пилигримовъ» и проч., и не было почти никакой возможности пробраться къ картинамъ, изображающимъ сцены изъ домашняго англійскаго быта. Приходя на выставку спеціально для англійской школы и всегда стараясь заглянуть на работы Вильки, мнѣ, помнится, только на второй день удалось взглянуть на его картину: «Рекомендательное письмо». Молодой деревенской парень пришелъ наниматься въ батраки къ старому фермеру. Старикъ, прочитавъ письмо, погрузился въ кресло, поднялъ очки на лобъ и внимательно разсматриваетъ вошедшаго. Страшная минута! Судьба молодаго дѣтины зависитъ отъ этого перваго впечатлѣнія; онъ ясно чувствуетъ это; стараясь выказать себя какъ можно болѣе съ выгодной стороны, онъ пучитъ грудь, хочетъ похвастать своею ловкостью, силою и проворствомъ; но вотъ бѣда: домашняя собака, свирѣпаго вида, словно раздѣляя недовѣріе и заботливость хозяина, подошла къ незнакомцу и пытливо обнюхиваетъ его; неувѣренный въ ея гостепріимныхъ свойствахъ, парень поневолѣ теряетъ присутствіе духа; онъ пятится, опускаетъ голову, отодвигаетъ ногу, жмется — и увы! — самъ видитъ, какъ много теряетъ своей молодцоватости въ глазахъ будущаго хозяина. Какъ видите, ничего нѣтъ особенно замысловатаго; но все дышетъ здѣсь такою жизнью, такою правдой, что, кажется, видишь передъ собою живыхъ людей; такъ и тянетъ крикнуть старому фермеру: «Наймите же его скорѣе, не томите его больше; онъ, право, славный малый и добрый батракъ!»

Не могу вамъ сказать, кто были ученики Вильки; не знаю даже, были ли они у него. Во всякомъ случаѣ, разсматривая со всевозможнымъ вниманіемъ многочисленныя картины *жанра* на выставкахъ Лондона, я не замѣтилъ ни одной, которая бы въ какомъ-нибудь отношеніи близко напоминала вліяніе этого мастера.

Такое несходство, конечно, приводится мною не въ укоръ современнымъ художникамъ Англіи; совсѣмъ напротивъ: нѣкоторые изъ нихъ такъ высоко стоятъ въ искусствѣ и такъ оригинальны, что имъ нечего подражать и завидовать кому бы то ни было. Изъ этого слѣдуетъ только заключить о страшномъ богатствѣ здѣшнихъ талантовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ о ихъ безконечномъ разнообразіи. Не говорю уже о двухъ современныхъ живописцахъ, Мюльреди и Фритѣ, теперь первыхъ представителяхъ этого рода: находясь въ художественномъ отношеніи почти на одной высотѣ съ Вильки, они не имѣютъ съ нимъ ничего общаго, точно такъ же какъ

не похожи другъ на друга; но даже въ произведеніяхъ остальныхъ живописцевъ, занимающихъ болѣе скромное мѣсто или не успѣвшихъ еще прославиться, явно проглядываетъ то же стремленіе дѣлать свое, никому не подражая.

Англійскіе художники привлекаютъ вниманіе еще другою особенностью, повидимому, имъ только свойственною. Стоитъ увидать два-три произведенія извѣстнаго мастера любой европейской школы, чтобъ ознакомиться съ его манерой и потомъ безошибочно отличать его картины между другими; выработавъ себѣ извѣстный типъ и пріемы, почти каждый художникъ считаетъ себя уже достигшимъ крайняго предѣла,—если не искусства, то своей цѣли; при всемъ разнообразіи мотивовъ композиціи, которые у иныхъ точно также укладываются иногда въ извѣстную форму,—манера, стиль, пріемы остаются неизмѣнно тѣ же; одна картина служитъ повтореніемъ другой. Англійскіе живописцы не такъ легко удовлетворяются сами собою. Я уже замѣтилъ эту черту у Вильки; но она бросается въ глаза въ произведеніяхъ всей школы. Часто, остановившись передъ нѣсколькими картинами, вы, при всей вашей опытности, припишете ихъ разнымъ мастерамъ, между тѣмъ какъ онѣ исполнены однимъ и тѣмъ же художникомъ. Отсюда-то и выходитъ это страшное разнообразіе, которое такъ поражаетъ въ собраніи картинъ британской школы.

Такъ напримѣръ «Сцены изъ Декамерона» Пуля (P. F. Poole) положительно не имѣютъ ничего общаго съ его «Царицей цыганокъ», находящейся на выставкѣ Королевской академіи. Первая представляетъ нѣсколько мужчинъ и женщинъ, сидящихъ группами посреди роскошнаго лѣсистаго пейзажа, на берегу озера; здѣсь краски наложены густо и смѣло; цвѣта и тоны, составленные какъ бы заранѣе на палитрѣ, прямо перешли на полотно; нигдѣ не замѣтно присутствія столь употребительныхъ фокусовъ; колоритъ такъ же блестящъ и свѣжъ, какъ если бы на полотно высыпанъ былъ цѣлый ларецъ драгоцѣнныхъ камней. Вторая картина изображаетъ сидящую молоденькую цыганку, съ веселымъ лицомъ, сверкающими зубами, придерживающую на мизинцѣ сороку и одѣтую въ восточный фантастическій костюмъ; здѣсь художникъ хотѣлъ, кажется, поспорить, тонкостію кисти, съ Тербургомъ: тѣло, выполированное какъ слоновая кость, показываетъ трудъ неимовѣрный; на всемъ присутствіе бережной тщательной лесировки; контуръ главной фигуры и аксессуаръ рѣзко выдѣляются на свѣтломъ фонѣ нѣжнаго янтарнаго тона. Третья картина его, «Переходъ въ бродъ»,—опять другое. Тутъ дѣвочка переходитъ ручей съ мальчикомъ, который вскарабкался на ея спину и обхватилъ ручонками ея шею. Контуръ повсюду обвѣянъ словно паромъ; все писано какъ-будто пушистою кистью и вдобавокъ сухими красками безъ капли масла. Краски слиты, спутаны; одинъ цвѣтъ притертъ другимъ. Вся эта путаница сливается однакожъ въ общій чрезвычайно гармоническій серебристый тонъ, какой встрѣчается иногда на днѣ морскихъ раковинъ. Головки дѣвочки и мальчика, съ волосами, развѣвающимися по вѣтру, съ щеками, разрумяненными свѣжестію воздуха, тронуты съ необыкновеннымъ вкусомъ. Тонъ влажнаго, сѣро-голубоватаго

неба такъ вѣренъ природѣ, такъ далеко уходитъ въ неизмѣримую глубь, что обѣ фигуры совершенно выдѣляются изъ полотна и кажутся живыми.

Одна изъ особенностей англійскихъ жанристовъ,—особенность, которая точно также бросается въ глаза, состоитъ въ томъ, что въ картинахъ ихъ чуть ли не главную роль играютъ всегда дѣти. Въ этомъ случаѣ, живопись идетъ объ руку съ тою литературой Англіи, предметъ которой—описаніе нравовъ. Здѣсь точно также дѣти почти всегда выступаютъ на сцену, нерѣдко даже являются главными героями романа; вспомните только Диккенса вспомните его Оливера Твиста, маленькаго Павла въ Домби, крошку Доррить, Копперфильда, его Святочные разсказы и проч. Если литература представляетъ болѣе или менѣе вѣрный сколокъ жизни, стремленій, характеровъ и вкусовъ страны, живопись «жанръ» въ Англіи идетъ въ этомъ отношеніи наперебой съ литературой. Здѣсь точно также любимымъ предметомъ служитъ изображеніе семейнаго быта; отсюда въ картинахъ такое множество дѣтей, которыя изображаются англійскими художниками съ особенною любовью. Иначе впрочемъ и быть не можетъ. Недаромъ только въ Англіи встрѣчаешь на афишахъ народныхъ театровъ заключительную строку, которая какъ бы служитъ лучшею приманкой для публики; въ заключеніе пьесы будетъ представлено, говоритъ афиша: «*Magical and distant view of the Happy Family!!!...*» то-есть: волшебная картина, изображающая счастливое семейство. Недавно еще въ Лондонѣ, на театрѣ Адельфи, французская труппа давала пантомиму; въ одной сценѣ Пьеро пришлось исполнять роль заботливой матери и кормить ребенка; парижскій актеръ, игравшій Пьеро, думая посмѣшить публику, нѣсколько разъ подносилъ ложку съ кашей ребенку, но съ тѣмъ, чтобъ отправить ее въ собственный ротъ; въ партерѣ тотчасъ же послышалось ворчанье; одинъ матросъ всталъ и прокричалъ громовымъ голосомъ: «Damn son of a ditch!» (Чортъ тебя побери, собачій сынъ!). «Вонъ, вонъ!» закричали другіе. Пьеро, справедливо опасаясь града картофелю, побѣжалъ за кулисы. «Что вы дѣлаете? сказалъ ему директоръ: развѣ вы не видите, публика не хочетъ, чтобы вы смѣялись надъ ребенкомъ и обижали его? Ступайте скорѣе на сцену и показывайте видъ, что кормите его до-сыта!» Пьеро въ точности исполнилъ совѣтъ, и это мгновенно вызвало страшные аплодисменты.

Этому чувству домашняго очага, которое раздѣляетъ вся нація, а не матеріализму и недостатку чувства изящнаго, какъ думаютъ иные, надо приписать въ Англіи такое множество живописцевъ домашнихъ сценъ и, сравнительно, такое незначительное число историческихъ живописцевъ. На сто картинъ британской школы, по крайней мѣрѣ восемдесятъ будутъ изображать сцены изъ домашней жизни; изъ ихъ числа вѣрно наберется шестьдесятъ, гдѣ главными дѣйствующими лицами будутъ дѣти. Въ доказательство этого, мимо картинъ Мюльреди, о которыхъ скажу ниже, приведу наобумъ нѣсколько произведеній самыхъ замѣчательныхъ здѣшнихъ жанристовъ. Уже самое названіе картинъ достаточно покажетъ, въ чемъ дѣло. Смита: «Дѣтскій завтракъ»; Кларка: «Больной ребенокъ»; Смирка: «Играющія дѣти»; Гудала: «Первенецъ-новорожденный»; Гала: «Маленькая бабушка»; Востока: «Молитва дѣдушки передъ обѣдомъ»;

Каррика: «Домъ и его сокровища» (отецъ и дѣдъ только-что воротились съ работы; каминъ топится; столъ накрытъ; куча маленькихъ дѣтей бросается на встрѣчу вошедшимъ): Добсона: «Дѣти на ярмаркѣ»; Горолея: «Возвращеніе няни»; Мочельза: «Мамаши нѣтъ дома»; Феда (Faed): «Катерина Никльби» и «Новая война для стараго солдата» (на послѣдней, старый инвалидъ усѣлся за столъ, окруженный дѣтьми, и играетъ съ ними въ оловянные солдаты); Гука: «Прибой» (группа дѣтей на носу рыбацкой лодки; они выбиваются изъ силъ, чтобы забросить веревку и пристать къ берегу), и т. д.

Несмотря на то, что я назвалъ здѣсь только тѣ произведенія, которыя отмѣчены истинными художественными достоинствами, между ними все-таки ярко выступаютъ картины Вильяма Коллинса и Вебстера. Мимо прелести исполненія, талантъ обоихъ этихъ художниковъ возвышается еще необыкновенною граціей композиціи и присутствіемъ чего-то особенно поэтическаго.

Вильямъ Коллинсъ (р. 1788, † 1847) — такой же превосходный маринистъ и пейзажистъ, какъ живописецъ домашнихъ сценъ. Его картины часто представляютъ соединеніе всѣхъ этихъ трехъ родовъ. Его нельзя назвать чистымъ реалистомъ; ища правды, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ старается отыскать въ природѣ только то, что благородно и что оправдывается самымъ тонкимъ вкусомъ; онъ врагъ всякой искусственности и преувеличенія. Какъ колористъ, онъ скорѣе ищетъ гармоніи въ общемъ, чѣмъ желаетъ удивить эффектами или блескомъ красокъ. Какъ поэтъ, онъ преимущественно обращается къ мирнымъ сельскимъ сценамъ; любимый предметъ его — дѣти и природа въ ея спокойствіи. «Морозное утро послѣ бури», «Уженье», «Утреннее купанье», «Игра въ кегли», «Дѣти съ птичьимъ гнѣздомъ», «Продажа любимаго ягненка» (гравирована два раза, и каждый разъ отпечатана въ числѣ 15000 экземпляровъ, которые были раскуплены немедленно по изданіи въ свѣтъ), «Деревенская учтивость»,— вотъ обычные его сюжеты. Послѣдняя представляетъ дорогу посреди тучнаго зеленѣющаго пейзажа, облитаго полуденнымъ солнцемъ; кое-гдѣ, въ глубинѣ, показываются черепичныя кровли фермъ; дорога запирается околицей, подлѣ которой играли дѣти; увидавъ всадника (его нѣтъ на картинѣ, но тѣнь его и лошади отпечатываются на дорогѣ), дѣти бросились къ околицѣ и отворили ее настежь; мальчикъ лѣтъ восьми, старшій изъ группы, прислонился къ околицѣ, приставилъ ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза отъ солнца, и, улыбаясь, смотритъ на подъѣзжающаго, между тѣмъ какъ маленькіе братья и сестры, попрятавшись за его спиной, лукаво выглядываютъ изъ-за своей засады. Трудно представить себѣ что-нибудь милѣе, наивнѣе этихъ дѣтскихъ головокъ. Пейзажъ самъ по себѣ — верхъ совершенства.

Талантъ Т. Вебстера не такъ разностороненъ. Онъ слабѣе Коллинса въ пейзажѣ и не пишетъ морскихъ видовъ; но недостатокъ этотъ выкупается у него тѣмъ, что картины его, между произведеніями многихъ, весьма даровитыхъ художниковъ, невольно останавливаютъ вниманіе своимъ интимно-національнымъ характеромъ. У Вебстера, кромѣ того, больше движенія, чѣмъ у Коллинса. Насколько послѣдній любитъ задумчивость и

спокойствіе въ маленькихъ своихъ герояхъ, настолько первый заставляетъ своихъ дѣтей прыгать, скакать и рѣзвиться. Какъ бы сознавая безсиліе свое въ пейзажѣ, онъ обращаетъ большую наблюдательность на мелкіе домашніе аксессуары, которые придаютъ всегда столько живописности самой неказистой избушкѣ. Бочки, посуда, плошки, бутылки, мѣдные тазы, кастрюли, вылуженныя оловомъ, исполнены у него съ такимъ же тщаніемъ, какъ у тончайшихъ голландскихъ мастеровъ. Это можно видѣть въ картинахъ его: «Маленькая продавщица вишень» и «Противные вѣтры». Послѣдняя удивительно мила: передъ вами внутренность бѣдной рыбацкой лачуги съ окномъ, у котораго старушка вяжетъ чулокъ; посреди старый столъ; на немъ мѣдный тазъ съ водою; его окружаетъ цѣлая гирлянда ребятишекъ; тискаясь одинъ на другаго, они дуютъ изо всѣхъ силъ на маленькую деревянную лодочку съ бумажнымъ парусомъ.

Картина «Хоры сельской церкви» ставитъ Вебстера на ряду съ первоклассиѣйшими жанристами Европы — Кнаусомъ, Деканомъ, Жерономъ и Лейсомъ. Крестьяне всѣхъ возрастовъ, мужчины и женщины, расположились на темныхъ дубовыхъ хорахъ, кто съ флейтой, кто съ віолончелемъ, кто просто съ нотами въ рукахъ; они поютъ псалмы подъ звукъ органа. Но дѣло здѣсь, какъ увидите, не въ сюжетѣ.

Раза три или четыре привелось мнѣ встрѣтить тотъ же сюжетъ, исполненный хорошими живописцами Франціи и Бельгіи. Эти картины, помнится, всегда производили на меня одинаковое впечатлѣніе; изображенныя на нихъ фигуры и лица, силящіяся выводить высокія ноты или выражающія наивное смущеніе, когда голосъ неожиданно обрывается на самомъ патетическомъ мѣстѣ, казались очень забавными—и только. У Вебстера выходитъ иначе: держась натуры, не отступая ни на волосъ отъ правды, не идеализируя ни чертъ лица, ни характера головъ, онъ между тѣмъ придалъ всѣмъ своимъ лицамъ выраженіе такого искренняго, серьезно-религіознаго чувства, что въ голову не придетъ посмѣяться надъ ними. Въ его картинѣ, чѣмъ менѣе иногда интересна наружность, тѣмъ она симпатичнѣе по чувству, на ней выраженному. Беззубый, дряхлый старикъ, у котораго сорвалась нота отъ чрезмѣрнаго усердія, выражаетъ столько смущенія и внутренняго недовольства собою, что его искренно жаль; чувство это раздѣляютъ, повидимому, его сосѣди; только одна молоденькая дѣвушка украдкой повела глаза въ его сторону и едва замѣтно улыбнулась. Нужно много таланта, чтобы заставить, такимъ образомъ, душевное чувство такъ сильно торжествовать надъ внѣшнею формой.

Изъ огромнаго числа англійскихъ жанристовъ особенною извѣстностью пользуются Фритъ и Мюльреди.

Произведенія того и другаго, разсыпанныя по разнымъ выставкамъ Лондона, оправдываютъ, какъ нельзя болѣе, такую популярность; вообще говоря, она никогда даромъ не достается. Несмотря на то, что Фритъ и Мюльреди занимаются однимъ и тѣмъ же родомъ и, сверхъ того, оба могутъ быть причислены къ реалистамъ, — въ ихъ произведеніяхъ нѣтъ ничего общаго. Не говоря о разницѣ въ техническомъ отношеніи, Мюльреди больше поэтъ, тогда какъ Фритъ чисто матеріалистъ, съ легкимъ оттѣнкомъ юмориста. Оба въ одинаковой степени обращаютъ вниманіе на

ту сторону искусства, которая, сколько кажется, составляетъ одну изъ главныхъ задачъ современныхъ художниковъ Англіи. Задача эта, какъ вы, я думаю, уже замѣтили, состоитъ въ изученіи человѣческой физіономіи и передачѣ на ней страстей и внутреннихъ душевныхъ движеній. У Фрита и Мюльреди очень часто встрѣчаются самыя простыя, незамысловатыя фигуры, несвязанныя ни съ какимъ драматическимъ дѣйствіемъ; достаточно однакожъ всмотрѣться въ нихъ, чтобы тотчасъ же ознакомиться съ нравственнымъ характеромъ этихъ лицъ, сказать, приблизительно, о чемъ можетъ думать такое-то лицо, чего одно ищетъ и чего желаетъ. Такая поразительная сила индивидуальности встрѣчается развѣ только въ портретахъ Рембрандта. Замѣтьте однакожъ, здѣсь дѣло не въ портретахъ; здѣсь лица принимаютъ то выраженіе, которое преднамѣренно хотѣлъ дать имъ художникъ; здѣсь, слѣдовательно, являются они уже какъ созданія, а не какъ копія, оживленная талантомъ живописца. Характеръ обоихъ художниковъ всего лучше будетъ виденъ изъ ихъ произведеній.

Небольшая картина Мюльреди «Воспитаніе ребенка» представляетъ аллею въ отдаленной части парка. Двѣ лэди и хорошенькая, бѣлокурая дѣвочка лѣтъ семи случайно встрѣтились съ группою цыганъ, старухой и двумя мужчинами, которые расположились отдохнуть на краю дороги. Неожиданность этой встрѣчи испугала ребенка. Старая цыганка, со всклокченными сѣдыми волосами и покрытая лохмотьями—совершеннѣйшій типъ вѣдьмы; ея оборванные товарищи также не внушаютъ большаго довѣрія. Старшая дама, мать дѣвочки, желая прежде всего побѣдить страхъ въ ней, дала ей монету и велѣла пойдти къ цыганамъ и подать имъ милостыню. Дѣвочка повинуется, хотя ей, очевидно, куда какъ жутко оторваться въ эту минуту отъ юбки матери! Раскрывъ глаза, въ которыхъ навертываются слезы, поджавъ нижнюю губку, она робко, какъ-то бочкомъ, выступаетъ впередъ, и боязливо, кончиками тоненькихъ дрожащихъ пальчиковъ, кладетъ монету въ морщинистую ладонь старой цыганки. Борьба между желаніемъ угодить матери и страхомъ выражена на этомъ маленькомъ личикѣ съ такимъ талантомъ, такъ явно выказывается въ самыхъ неуловимыхъ движеніяхъ ребенка, что дальше, кажется, не можетъ идти мимическое чувство въ живописи. Прибавьте къ этому прелесть остальныхъ головъ, дикую энергичность цыганской группы, живописность которой усиливается отъ контраста съ граціозными нѣжными дамами; прибавьте поэтическое расположеніе ландшафта, силу колорита и необычайную тонкость кисти.

Въ послѣднемъ отношеніи трудно впрочемъ вообразить что-нибудь совершеннѣе другой картины того же художника: «Купающіяся». Молоденькая женщина съ роскошными волосами, которые разсыпаются по плечамъ и груди, какъ золотой шелкъ, сидитъ, подогнувъ одну ногу подъ другую, въ глухой чащѣ лѣса, на берегу ручья, окаймленнаго высокимъ берегомъ; мохъ, трава и цвѣты спускаются къ водѣ, сквозь которую просвѣчиваетъ обнаженная розовая ножка и песчаное дно, усыпанное мелкими раковинами. Женщина только-что вышла изъ воды; мѣстами, на ея тѣлѣ, нѣжномъ какъ лилія, проступаютъ розовые тоны свѣжести; мѣстами на немъ серебрится влага, какъ на листьяхъ цвѣтка послѣ росы; сквозь тонкую

ткань кожи, неуловимыми оттѣнками, сквозятъ кое-гдѣ голубоватыя вены. Нужно много вниманія, чтобъ удостовѣриться, что передъ вами не тончайшая миніатюрная работа на кости, но картина, писанная точно такъ же, какъ и другія, масляными красками, и вдобавокъ, писанная необыкновенно просто, безъ всякихъ притираній, лесировокъ и другихъ фокусовъ: За первою фигурой молоденькая дѣвушка выскакиваетъ изъ воды, съ видомъ испуганной газели; еще дальше, третья принимаетъ одежду отъ женщины, стоящей на уступѣ, съ ребенкомъ на рукахъ. Въ глубинѣ чащи, позолоченной солнцемъ, пасутся ослы; лучезарное небо, слегка умягченное пушистыми облачками, кротко улыбается этой граціозной композиціи, исполненной той простоты и спокойствія, которыя передаются душѣ, оставляя въ ней только мирное эстетическое чувство.

Не могу утерпѣть, чтобы не описать вамъ еще одной картины Мюльреди. Хотя ея нѣтъ на выставкѣ (она составляетъ собственность королевы), но она служитъ самымъ полнымъ выраженіемъ таланта мастера. Картина названа: «Волкъ и ягненокъ». Роль ягненка исполняетъ здѣсь бѣлокурый, робкій и слабый мальчуганъ, одинъ изъ тѣхъ типовъ, которые обречены въ школѣ, со стороны товарищей, всѣмъ возможнымъ преслѣдованіямъ, толчкамъ и щелчкамъ; сумка съ аспидною доской и тетрадями, войлочная сѣрая шляпа, опутанная чернымъ крепомъ, бѣдная одежда, протертая отъ долгаго употребленія, дорисовываютъ его фигуру. Передъ нимъ, въ торжествующей, наступательной позѣ, остановился его товарищъ, коренастый, приземистый мальчишка, съ грубыми бойкими чертами лица, низенькимъ лбомъ, вздернутымъ носомъ и вихрами на смуглой головѣ. Это одинъ изъ тѣхъ неукротимыхъ мальчишекъ, которыхъ безпощадно колотятъ дома и сѣкутъ въ школѣ и которымъ все ни по чемъ. Глядя на него, невольно тянетъ предречь ему худой конецъ. Онъ бросилъ на земь свою мѣховую шапку и классные доспѣхи, чтобъ они не стѣсняли его движеній. Что подало поводъ къ его негодованію? Не жаловался ли на него учителю его противникъ, или не уличилъ ли его въ какой-нибудь плутнѣ? Онъ, впрочемъ, объ этомъ, кажется, мало заботится; онъ радъ только встрѣчѣ, радъ случаю расправить кулаки и испытать силу надъ рохлей и кислякомъ-товарищемъ. Нижняя губа его презрительно выдвинулась впередъ, брови скрещиваются у переносицы, ноздри дрожатъ, зрачки смотрятъ съ угрозой; желтый жилетъ, съ котораго соскочили пуговицы, и встрепанная рубашонка открываютъ коротенькую грудь, выпученную какъ у боксера. Еще секунда—и поднятые кулаки его посыплются на бѣлокураго мальчика. Этотъ послѣдній окончательно растерялся, поджалъ ногу, сталъ бокомъ и боязливо защищается локтемъ. Свидѣтелями этой сцены шершавая собаченка, которая силится своимъ лаемъ призвать кого-нибудь на помощь, и еще четырехлѣтній ребенокъ, который совсѣмъ замеръ отъ страха: онъ, безъ сомнѣнія, пустился бы въ бѣгство, если бы не мѣшали ему длинный фартукъ и огромная старая женская шляпа, которая въ Англіи часто служитъ покрышкой дѣтямъ простыхъ классовъ. Крикъ ребенка и лай собаки раздались однакожъ не даромъ; старушка, спускающаяся съ лѣстницы, спѣшитъ, кажется, на выручку. Эти два мальчика въ картинѣ осуществляютъ два характера; никакой анализъ не могъ бы опре-

дѣлить съ такою полнотой ихъ типичность, какъ сдѣлали это нѣсколько ударовъ кисти. Картина, кромѣ того, такъ локальна, такъ проникнута духомъ національности, что знакомитъ зрителя съ извѣстною стороной англійскаго быта не хуже Диккенсова романа. Аксессуары безподобны; они такъ же характерны, какъ и самыя лица; они дополняютъ впечатлѣніе: дверь загородки, украшенная мѣдною дощечкой, кусты бузины, покрытые цвѣтомъ и выглядывающіе черезъ заборъ; стѣны, выложенныя тонкимъ кирпичомъ съ голубоватою лазурью, клѣтка съ птицей надъ наружнымъ косякомъ двери, розовыя черепичныя кровли въ отдаленіи, блѣдная зелень тополей, которые рисуются частію на закоптѣлой стѣнѣ, частію на сѣромъ небѣ, туманномъ и влажномъ—все это до такой степени вѣрно характеризуетъ страну, что мельчайшій деталь, выброшенный отсюда, разрушилъ бы, кажется, общую гармонію впечатлѣнія.

Теперь перейдемъ къ Фриту. Онъ уступаетъ Мюльреди только развѣ въ этой изящной окончености письма. Онъ такъ же, какъ Мюльреди, владѣетъ чувствомъ мимики и силою выраженія; каждое лицо въ его картинахъ точно также типъ и говоритъ само за себя. Послѣднее произведеніе Фрита: «Derby day» считается лучшею его картиной; выставленная въ German Gallery, она въ мое время привлекала весь Лондонъ. Вы знаете, конечно, какое значеніе имѣетъ «Дербіевъ день» (Эпсомскія скачки) не только для жителей Лондона, но чуть ли не для всѣхъ Англичанъ. Въ этотъ день (который, не мѣшаетъ замѣтить, продолжается двое-трое сутокъ), въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Лондона происходятъ знаменитыя скачки. Derby day—національный праздникъ. Не только магазины, но и бѣднѣйшія лавчонки заперты; люди, живущіе изо дня въ день, бросаютъ прилавокъ, нанимаютъ на послѣдніе пенсы телѣжки или мѣста въ омнибисахъ и спозаранку несутся въ Эпсомъ. Кто не позаботился заблаговременно объ экипажѣ, тотъ уже ни за какія деньги не достанетъ мѣста въ самый день скачки; билеты на имперіалахъ омнибусовъ продаются въ три-дорога; все занято; гривы лошадей, шляпы кучеровъ и многихъ джентльменовъ увиты лентами; нищій мальчишка, и тотъ въ знакъ торжества навязываетъ себѣ на рукавъ или шляпу какой-нибудь яркій лоскутокъ. Уже въ десятомъ часу утра тысячи экипажей несутся изъ Лондона, сопровождаемые многочисленными кавалькадами. Въ полдень Лондонъ почти опустѣлъ.

Не думайте, однакожъ, чтобы картина Фрита была обязана своимъ успѣхомъ сюжету, столь симпатичному и близкому для каждаго Англичанина. Въ Лондонѣ появляются сотни картинъ, изображающихъ скачки, а объ нихъ никто не говоритъ. Фритъ потому воспользовался Эпсомскими скачками, что онѣ открывали широкое поле его наблюдательности, давали возможность выставить множество типовъ и комическихъ нравоописательныхъ сценъ. Наконецъ въ картинѣ его скачка собственно не играетъ никакой роли; онъ выбралъ минуту, когда лошади только-что проскакали, наступилъ антрактъ, и вся масса публики, спѣша воспользоваться минутами свободы, приходитъ въ страшное движеніе.

Въ экипажахъ и на травѣ суетливо развязываютъ узлы и корзины съ провизіей и напитками; бѣдняки, ждавшіе только этой минуты, про-

тискиваются впередъ въ надеждѣ попользоваться остатками отъ завтрака богача. Слѣва, надъ толпою развѣваются пестрые флаги безчисленныхъ баракъ и палатокъ: это временные игорные дома и рестораны, куда валятъ джентльмены всѣхъ возрастовъ и состояній; нѣсколько ближе, группа спортсменовъ торопливо сводитъ свои счеты; груды гиней и банкнотъ быстро переходятъ изъ кармановъ проигравшихъ пари; кто флегматически покоряется своей судьбѣ, кто выходитъ изъ себя, удваиваетъ ставки и возобновляетъ закладъ; на первомъ планѣ стоитъ, растопыря руки и представляя недоумѣвающую комическую мину, юноша лѣтъ девятнадцати. Ограниченность его умственныхъ способностей бросается въ глаза; увлекаемый тупоумнымъ тщеславіемъ, онъ сунулся-было въ кружокъ извѣстнаго рода джентльменовъ, которые окружаютъ себя внѣшнимъ аристократическимъ блескомъ съ цѣлію приманивать богатыхъ глупцовъ; по всему видно, юноша, подстрекаемый новыми друзьями, кутилъ все утро очертя голову: игралъ въ банкъ, въ рулетку, держалъ заклады, пилъ вино сколько хотѣлось его партнерамъ; отуманенный хмѣлемъ, оглушенный криками, онъ все еще не можетъ взять въ толкъ, какъ люди, часъ еще назадъ бывшіе лучшими друзьями, знать его теперь не хотятъ, и вдобавокъ, какъ это случилось, что въ карманахъ его, набитыхъ утромъ золотомъ и банковыми билетами,—не остается теперь ни полшиллинга! Посреди картины, красивый гаеръ въ трико, обшитомъ блестками, спѣшитъ воспользоваться удобною минутой, чтобы дать свое представленіе; онъ разосталъ по травѣ коверъ, бросился на одно колѣно и нетерпѣливо бьетъ въ ладоши, призывая маленькаго гаера, своего товарища, который между тѣмъ никакъ не можетъ оторвать глазъ отъ вкуснаго завтрака, соблазнительно разложеннаго въ двухъ шагахъ. Вокругъ завтрака расположилась многочисленная семья скромнаго, но честнаго купца; круглыя лица его и его супруги дышатъ веселостью; они пожираютъ пироги съ ветчиной, яблоки, сандвичи и пьютъ портеръ, не замѣчая высокомѣрно насмѣшливыхъ улыбокъ двухъ подозрительныхъ дамъ, одѣтыхъ съ неимовѣрною роскошью и развалившихся въ богатой коляскѣ; экипажъ, какъ видно, принадлежитъ молодому денди, фамильярно съ ними бесѣдующему. Но всѣхъ группъ, отдѣльныхъ типовъ и чертъ, подмѣченныхъ художникомъ, описать невозможно.

Замѣчательно, между прочимъ, что въ этой обширной картинѣ нѣтъ признака тѣхъ рутинныхъ пріемовъ въ композиціи, которые всегда даютъ произведенію отпечатокъ чего-то преднамѣреннаго, напряженнаго, натянутаго. Фритъ какъ-будто вовсе не *сочинялъ* своей картины; самыя разнородныя лица и группы вяжутся между собою такъ же натурально, какъ въ самой дѣйствительности; картина какъ-будто цѣликомъ выхвачена прямо съ натуры и перенесена на полотно. Дальнѣйшіе планы представляютъ безкрайную панораму плоской мѣстности, по которой, въ перспективѣ, движется нѣсколько сотенъ тысячъ людей и экипажей. Тамъ точно также, и въ отдѣльныхъ частяхъ, и въ общей массѣ народа, происходитъ страшное движеніе. Надъ всѣмъ этимъ, мѣстами скользятъ тѣни облаковъ, мѣстами проходятъ лучи свѣта; дальніе планы, постепенно затушевываясь пространствомъ, наконецъ незамѣтно сливаются съ горизонтомъ.

Воздушная перспектива въ этой картинѣ, прозрачность неба, кое-гдѣ

тронутаго легкими серебристыми облаками,—сдѣлала бы честь первокласс-ному пейзажисту. Влажнымъ морскимъ воздухомъ вѣетъ на васъ какъ словно изъ безконечной глубины: воздухъ свободно проходитъ между груп-пами, колышетъ флаги, вуали, заворачиваетъ фалды и мантильи. Кромѣ того, что Фритъ блестящій колористъ, онъ еще и превосходный рисовальщикъ. Вы положительно не найдете у него самаго ничтожнаго деталя, который бы не былъ тщательно изученъ и выслѣженъ съ натуры.

Все это, вмѣстѣ взятое, ставитъ Фрита въ рядъ тѣхъ немногихъ худож-никовъ, которые смотрятъ на свое дѣло съ глубокимъ уваженіемъ, для которыхъ цѣль художественной дѣятельности не спекуляція, а постоянное стремленіе къ усовершенствованію въ любимомъ выше всего искусствѣ. Другія картины Фрита: «Время морскаго купанья», «Берегъ подлѣ Рамс-гета», «Увеселенія стараго времени», отличаются тѣми же достоинствами, какъ и «Скачка». Я выбралъ для описанія послѣднюю, какъ самую новую изъ его картинъ и, кромѣ того, лучше другихъ поддающуюся описанію.

Эта картина пріобрѣтена частнымъ лицомъ за *восемдесятъ семь тысячъ франковъ*. Выставленная въ German Gallery въ особой комнатѣ, куда входъ полагается по шиллингу, она выручила своему владѣльцу огром-ный капиталъ. Я забылъ вамъ сказать, что за картину Вильяма Гонта: «Христосъ въ храмѣ» заплачено художнику также частнымъ лицомъ четыре съ половиною тысячи фунтовъ стерлинговъ (112.000 франковъ). Она выставлена особо, и также принесла состояніе своему владѣльцу.

При такихъ условіяхъ, художнику, конечно, можно работать con amore и не торопиться. Но, съ другой стороны, надобно также сказать, что такія баснословныя суммы не даромъ даются. Нужно имѣть много таланта, надо много трудиться, чтобы возбуждать своимъ произведеніемъ любо-пытство сотенъ тысячъ людей и сдѣлаться популярнымъ въ Англіи, гдѣ болѣе пяти тысячъ живописцевъ, изъ которыхъ нѣсколько сотъ отлича-ются болѣе или менѣе значительнымъ дарованіемъ.

Въ числѣ художниковъ, которые, какъ Вильки, Мюльреди и Фритъ, выбираютъ преимущественно національные сюжеты, нельзя не упомянуть А. Саломона. Онъ выставилъ двѣ картины: «Ожиданіе суда присяжныхъ» и *pendant* къ ней: «Не виновенъ!» (Въ этой послѣдней присяжные оправ-дываютъ обвиненнаго.) Изъ названія ихъ уже видно, въ чемъ дѣло. Са-ломонъ точно также избралъ себѣ главнымъ предметомъ человѣка, — его физіономію и отраженіе на ней внутреннихъ душевныхъ движеній. Кар-тины его очень умно сочинены и производятъ для глаза пріятное впе-чатлѣніе.

Затѣмъ, выставляется цѣлый строй произведеній, которыя, не отступ-ная отъ національнаго характера, представляютъ что-то среднее между наивно-поэтическимъ жанромъ во вкусѣ Мюльреди и собственно анекдо-тическимъ или историческимъ. Особенно хороша въ этомъ родѣ картина Этта: «Отвергнутая любовь герцога Бокингема». Она представляетъ внут-ренность роскошной гостиной; вокругъ стола съ золочеными скульптур-ными ножками, въ креслахъ, обитыхъ драгоцѣннымъ штофомъ, располо-жилось нѣсколько молоденькихъ лэди. Хорошенькая женщина въ разо-вомъ атласномъ корсажѣ, кружевныхъ робронахъ, обшитыхъ лентами, въ

пудреномъ парикѣ, украшенномъ перьями и жемчугомъ, воздвигаетъ посреди стола башню изъ картъ; она съ лукавымъ видомъ прикидывается, будто вовсе не замѣчаетъ знаменитаго герцога; тотъ, между тѣмъ, сдвинувъ брови и сжавъ судорожно кулакъ, едва скрываетъ свою досаду. Сосѣдки его шепчутся и втихомолку посмѣиваются. Въ глубинѣ, въ дверяхъ сосѣдней комнаты, группа вельможъ, играющихъ въ карты. Къ тому же классу надо причислить картины: «Монастырка» Эльмора; «Дождливый день» Попа; «Джонъ Бюрьянъ и его слѣпая дочь у воротъ Бедфордской тюрьмы» Герви; «Письмо эмигранта» Гемслея; «Сестры милосердія» Ганаха.

Этотъ послѣдній пишетъ маленькія картины, которыя, по тонкости письма, превышаютъ все, что дѣлается въ этомъ родѣ современными живописцами, не выключая даже знаменитаго Мессонье. Чтобы сдѣлать интересными свои микроскопическія произведенія, Ганахъ не прибѣгаетъ, какъ Мессонье, къ живописнымъ костюмамъ и роскошной обстановкѣ прошлаго столѣтія; онъ беретъ сюжеты свои гдѣ попало, лишь бы они были современны. Такова его картина: «Ложа въ театрѣ». Молодой джентльменъ и лэди облокотились на перекладину ложи, обитую малиновымъ бархатомъ: первый смотритъ въ бинокль, вторая читаетъ газету. Группа облита яркимъ свѣтомъ, который проникаетъ сквознымъ полусвѣтомъ въ самую отдаленную часть ложи. Съ помощію увеличительнаго стекла, можно было бы, кажется, прочесть статью газеты и различить декорацію сцены, отражающуюся на стеклѣ бинокля. Оконченность достигаетъ здѣсь крайнихъ своихъ предѣловъ, и поклонники Міерисовской живописи могутъ признать въ Ганахѣ новаго идола.

Такъ какъ мнѣ хочется прежде всего ознакомить васъ съ общимъ характеромъ англійской школы и выставить тѣ изъ ея особенностей, которыя составляютъ ея отличіе отъ другихъ школъ Европы, я пропущу безъ вниманія всѣ картины, представляющія восточныя, итальянскія и испанскія сцены. Такихъ произведеній очень много; англійскіе художники много путешествуютъ. По поводу этихъ произведеній можно сказать то же, что говорено было о картинахъ Вильки, взятыхъ изъ итальянской жизни. Нельзя не замѣтить однакожъ, что многія изъ нихъ, какъ напримѣръ испанскія сцены Филипа: «Жена контрабандиста», «Милостыня», «Окно темницы», а также итальянскія сцены Гурльстона, невольно обращаютъ на себя вниманіе блескомъ южнаго колорита и добросовѣстнымъ изученіемъ мѣстныхъ типовъ и природы.

Пробѣгая для памяти листки моихъ замѣтокъ, сдѣланныхъ на разныхъ выставкахъ Лондона, я пропускаю теперь сряду десятки именъ. Англія такъ богата живописцами, причисленными къ разряду жанристовъ, что одни ихъ имена и названія картинъ заняли бы втрое больше мѣста, чѣмъ эти и безъ того уже длинныя письма. Къ тому же, повторяю, я пишу здѣсь не исторію англійской живописи, но передаю только личныя впечатлѣнія. Я, слѣдовательно, имѣю полное право дѣлать какія мнѣ угодно отступленія, лишь бы въ общемъ цѣль была достигнута; а она состоитъ въ томъ, чтобъ оставить въ вашей памяти тѣ картины, которыя особенно характеризуютъ роды талантовъ и направленіе, господствующее въ живописи Англіи.

Основываясь на этомъ, мнѣ остается еще обратить ваше вниманіе на картину Патона (J. N. Paton): «Ссора Оберона и Титаніи» (№ 389).

Въ этомъ произведеніи такъ сильно отражается духъ Шекспировской поэзіи и юморъ Британіи; оно до такой степени пропитано англійскимъ элементомъ, что слѣдуетъ подолѣе надъ нимъ остановиться. Кромѣ достоинствъ своихъ, какъ художественное произведеніе, картина Патона важна потому еще, что характеризуетъ совершенно особый родъ, который, сколько мнѣ извѣстно, процвѣтаетъ теперь въ живописи только въ Англіи.

Вы, конечно, хорошо знаете содержаніе драматической поэмы Шекспира: *Сонъ въ лѣтнюю ночь*. Художникъ выбралъ второе дѣйстіе; оно совершается въ глухой чащѣ волшебнаго лѣса, куда поочередно являются влюбленные: Елена, Гермія и Тезей, гдѣ совершается репетиція Пирама и Тизбы, гдѣ Оберонъ, царь духовъ, и супруга его, волшебница Титанія, ревнуя другъ друга, такъ горячо спорятъ и ссорятся, что «маленькіе сильфы спѣшатъ отъ страха спрятаться въ чашечки, отставшія отъ желудей; гдѣ, наконецъ, изощряется вся ловкость и все пронырство лукаваго домашняго духа, потѣшника Оберона, который сбиваетъ съ дороги запоздалаго путника, приводитъ въ отчаяніе хозяйку дома, снимая у ней по ночамъ сливки, который, по собственному сознанію, «заставляетъ своротить съ дороги борзаго коня, подражая въ отдаленіи ржанію кобылицы; пробирается въ пивную кружку кумушки въ видѣ печенаго яблока, и когда она подноситъ пиво къ губамъ, обливаетъ ея грудь шипящею цѣной, или оборачивается скамейкой, даетъ время старушкѣ усѣсться, чтобы въ ту же минуту выскочить изъ-подъ нея...»

Если смотрѣть на картину Патона издали, глазу представляется только густая чаща лѣса и посреди ея фигуры Оберона и Титаніи, посеребренныя лучомъ мѣсяца. По мѣрѣ приближенія, предметы начинаютъ мало-по-малу выдѣляться и принимаютъ одинъ за другимъ странные фантастическіе образы. Вѣтви превращаются въ руки дріадъ, отягченныя листьями, плодами и цвѣтами; складки и трещины древесной коры, мохъ на старыхъ пняхъ, гуща травъ, чаща листьевъ—все это, какъ въ волшебномъ видѣніи, растетъ и переплетается, образуя длинные, темные и свѣтлые переходы, гроты, своды, глубокія перспективы, арки и углубленія. Не успѣваешь дать себѣ отчета во всемъ этомъ, какъ уже глазъ открываетъ повсюду жизнь и самое кипучее одушевленіе. Еще ближе.— и переносишься словно въ волшебное царство сновъ, въ дремучій боръ, гдѣ переживаешь тотъ таинственный часъ ночи, когда природа, не обезпокоенная человѣкомъ, открываетъ тайну своего существованія...

Весь фантастическій, неосязаемый міръ духовъ, населяющихъ природу, повинуясь Оберону и Титаніи (которыя, какъ я замѣтилъ, занимаютъ середину картины), является здѣсь въ полномъ своемъ составѣ. Все это вмѣстѣ, шумя какъ улей, ползаетъ въ травѣ, цвѣтахъ и листьяхъ, снуетъ и лѣзетъ во всѣ стороны, вертится и кувыркается, сверкая въ воздухѣ, какъ пыль въ лучѣ солнца.

Тутъ воздушный хороводъ виллисъ, въ одеждѣ, сотканной изъ лунаго свѣта, бѣшено кружится съ саламандрами на глянцовитомъ листѣ

водянаго кувшинчика, распластанномъ надъ водою; тутъ же группа эльфовъ силится окунуть въ воду маленькаго уродливаго гнома, который изнемогаетъ въ борьбѣ и дѣлаетъ самыя уморительныя гримасы, стараясь избавить себя отъ купанья. Нѣсколько далѣе, блудящій огонекъ воздвигся вмѣсто фонаря надъ цвѣткомъ водяной лиліи и освѣщаетъ въ глубинѣ его балъ насѣкомыхъ, пляшущихъ ярую сарабанду, между тѣмъ какъ ландышъ потрясаетъ надъ ними своими бѣлыми колокольчиками, засохшій стволъ травки играетъ роль кларнета, а сверчокъ яростно трещитъ звонкими крылышками, какъ мѣдными тарелками, и будто управляетъ здѣсь оркестромъ. Старый гномъ, лоснящійся отъ металлической пыли, какъ бы испуганный всею этою кутерьмой и музыкой, боязливо прячется подъ тяжелый листъ лопуха; присѣвъ на корточки, онъ бережно пробуетъ на камнѣ твердость золотой монеты, но и здѣсь ему нѣтъ покоя: десятки крошечныхъ ручонокъ судорожно тянутся къ нему со всѣхъ сторонъ, силясь вырвать у него сокровище. Далѣе, нѣсколько маленькихъ фей, смиренно усѣвшись въ кружокъ и пользуясь лучомъ мѣсяца, который проникъ въ скважину, проѣденную червячкомъ въ цвѣткѣ, занимаются рукодѣльемъ: кто нижетъ ожерелье изъ капель росы, кто усердно развертываетъ почку розана, какъ какой-нибудь кусокъ матеріи, и выкраиваетъ себѣ одѣянье. Крошечная индѣйская пери таинственно шепчется съ сѣвернымъ шаманомъ: карликъ, заботливо укутывая голову бѣлымъ колокольчикомъ павилики и ворчливо укладываясь спать, дуетъ изо всей мочи на пушистый шаръ одуванчика, принимая его, вѣроятно, за свѣчку и боясь, чтобы безъ этой предосторожности не произошло пожара; товарищъ его, взобравшись между тѣмъ на гибкую верхушку длинной травки, яростно борется противъ божьей коровки, червячка и нѣсколькихъ насѣкомыхъ, и, повидимому, заботится болѣе всего о томъ, чтобы въ этой трудной битвѣ не потерять равновѣсія. Сборище какихъ-то странныхъ личностей съ золотыми кольцами въ ноздряхъ, перьями на головѣ и узорами на желтомъ тѣлѣ, укрывшись въ дупло стараго пня, простираются ницъ передъ чудовищнымъ истуканомъ съ бычачьею головой и множествомъ рукъ, распростертыхъ въ разныя стороны. Лучи мѣсяца, изламываясь между вѣтвями и лепестками цвѣтовъ, проникаютъ въ глубокую разсѣлину дерева, гдѣ добрая, миніатюрная волшебница подсобляетъ пауку исправить его паутину, испорченную двумя шаловливыми пухами, которые, принявъ ее за эластическую сѣтку, прорвали ее, дѣлая свои бѣшеныя эволюціи; неподалеку двѣ хорошенькія нимфы, вытянувшись во всю длину на листѣ лиліи, предаются такому сладкому отдыху, что не замѣчаютъ подкравшихся къ нимъ уродцевъ, которые, нарываясь со смѣху, пачкаютъ имъ лица золотистою пылью какого-то цвѣтка.

Надъ головой Оберона и Титаніи (размѣрами своими она вчетверо больше остальныхъ фигуръ) роится, какъ въ ореолѣ, цѣлый міръ воздушныхъ духовъ ночи, проницанныхъ насквозь мѣсяцемъ; выше, между вѣтвями, летитъ сова, сверкая въ темнотѣ фосфорическими зрачками и увѣшанная причудливыми созданіями самаго живаго поэтическаго воображенія.

Кромѣ мистическаго круга духовъ, подвластныхъ Оберону и Титаніи,

въ этомъ лѣсу кишитъ еще цѣлый міръ мѣстныхъ обитателей, которыхъ поэтъ-художникъ вызвалъ изъ античной греческой миѳологіи, и которые, повидимому, совершенно враждебны первымъ. Обнаженныя дріады, застигнутыя врасплохъ, пугливо прячутся, завертываются въ листья или взбираются на вѣтки, стараясь укрыться отъ преслѣдованій незванныхъ гостей; фавны, сатиры, сильваны — въ страшной суматохѣ; они выбѣгаютъ изо всѣхъ угловъ и, какъ бы пылая мщеніемъ, вездѣ схватываются съ врагами, ставятъ имъ препятствія, борются, ожесточенно преслѣдуютъ маленькихъ обероновскихъ нимфъ, бросаютъ ихъ въ траву, топчутъ козлиными ногами, или бросаютъ въ цвѣты, жадно обнимаютъ и пламенно цѣлуютъ ихъ.

Голова стараго фавна, оживленная какимъ-то чудомъ, между тѣмъ какъ торсъ и ноги закованы въ мраморный столбъ, лукаво поглядываетъ вокругъ и весело, снисходительно, какъ греческое божество, улыбается волшебной вакханаліи, созданной воображеніемъ англійскаго художника.

Написавъ такъ много, я ничего еще почти не сказалъ, сравнительно съ тѣми неисчерпаемыми богатствами вымысла и фантазіи, которыми Патонъ населилъ свою картину. Едва ли описалъ я вамъ даже то, что совершается на первомъ планѣ этого замѣчательнаго произведенія, осуществившаго, какъ нельзя лучше, поэтическую мечту Шекспира. Невозможно глубже проникнуть въ тайны сверхъестественнаго; воображеніе, въ минуты самаго пламеннаго поэтическаго настроенія къ фантастическому, едва ли можетъ уловить то, что Патонъ умѣлъ облечь въ форму и перенести на полотно.

Онъ показалъ себя здѣсь, между прочимъ, удивительнымъ рисовальщикомъ. Нельзя себѣ представить болѣе безконечнаго разнообразія положеній, поворотовъ, движеній и ракурсовъ; фигуры представляются перспективно сверху, снизу, летятъ на зрителя головой впередъ, въ три четверти, вертятся въ воздухѣ, словомъ, являются во всѣхъ позахъ, возможныхъ только существамъ, созданнымъ изъ пара, свѣта, аромата, и для которыхъ не существуетъ законовъ равновѣсія и тяготѣнія; при всемъ томъ, нѣтъ однакожъ линіи, которая бы оскорбляла анатомическую правду.

Не менѣе удивительна картина по своему письму и колориту; съ перваго взгляда, она производитъ странное впечатлѣніе: безчисленное множество отдѣльныхъ группъ и фигуръ, путаясь въ хаотическомъ безпорядкѣ, представляютъ столько же пятенъ; но стоитъ присмотрѣться ближе и внимательнѣе — и вся эта пестрота незамѣтно, сама собою, исчезнетъ; все войдетъ и сольется въ одинъ общій голубовато-серебристый тонъ, посреди котораго рѣзко выставляются только фигуры Оберона и Титаніи. Когда, мало-по-малу, глазъ успокоится и свыкнется съ непривычными свѣтомъ и тѣнью, составленными изъ лучей мѣсяца, фосфорическаго блеска, безчисленныхъ переливовъ, мерцаній и отраженій, тогда уже съ трудомъ оторвешься отъ картины. Съ каждою секундой, то тутъ, то тамъ, открываешь новыя радужныя и глубокія перспективы, которыя невольно заманиваютъ любопытство, воображеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ чувство эстетическое. Всѣ эти маленькіе эпизоды, о которыхъ старался я дать вамъ приблизительное понятіе; мельчайшіе детали, ихъ окружающіе; цвѣты, зелень, трàвы, насѣкомыя, предметы одушевленные и мертвые, при умѣ, съ какимъ они сочинены и сгруппированны, исполнены такъ изящно, такъ

изумительно тонко, что, право, не знаешь, чему больше удивляться: мастерству ли кисти или поэтической фантазіи художника.

Картины этого рода вообще цѣнятся въ Англіи и всегда вызываютъ большое сочувствіе публики. Быть-можетъ это происходитъ отъ того, что художники по большей части черпаютъ свои сюжеты изъ твореній любимыхъ народныхъ поэтовъ, каковы Шекспиръ, Мильтонъ, Спенсеръ и проч., или заимствуютъ содержаніе въ наиболѣе популярныхъ, старыхъ балладахъ и поэмахъ. Во всякомъ случаѣ, какъ въ старой, такъ и въ новой школѣ, является множество произведеній въ этомъ родѣ. Въ прежнюю пору отличался въ немъ Фюзелли (1742—1825), родомъ Швейцарецъ и ученикъ Рейнольдса. Не считая Патона, который теперь представитель фантастическаго жанра, изъ современныхъ художниковъ болѣе другихъ пользуются извѣстностію: Севернъ, Антони и Фростъ. Картина послѣдняго «Уна» такъ прекрасна, что грѣхъ пропустить ее безъ вниманія... Но дѣлать нечего, надо принять такой грѣхъ на душу, а то, право, не знаю, когда бы пришлось остановиться.

## III.

Каждый, сколько-нибудь внимательно занимавшійся исторіей живописи, необходимо долженъ былъ замѣтить, что пейзажный родъ процвѣталъ преимущественно тамъ, гдѣ, казалось бы, всего менѣе можно было ожидать этого. Фактъ тотъ, что гдѣ роскошнѣе природа и теплѣе климатъ, тамъ всего менѣе было замѣчательныхъ пейзажистовъ.

Пейзажная живопись, показавшись въ первый разъ на югѣ въ миніатюрахъ и на фрескахъ, около трехъ столѣтій не дѣлаетъ никакого успѣха; она неизмѣнно остается на степени знака или символа: тоненькій стебелекъ съ нѣсколькими симметрично расположенными листьями представляетъ лѣсъ и замѣняетъ ландшафтъ. Но даже потомъ, въ самое блестящее время для художествъ, когда въ Италіи всѣ роды искусства достигли высшаго своего развитія, никто спеціально не разрабатываетъ пейзажа. Только въ половинѣ XVI столѣтія, въ Венеціи, въ картинахъ Джіорджоне, Скіавоне, Кампаньйолы и особенно Тиціана являются первыя серьозныя попытки. Послѣдній, въ картинѣ: «Убіеніе Св. Петра мученика», показалъ себя, можно сказать, настоящимъ творцомъ этого рода въ Италіи. Послѣ него пейзажную живопись поддерживаютъ: Доменикино, Альбано и братья Каррачи. Всѣ эти художники занимаются ею однакожъ случайно, мимоходомъ; ландшафтъ у нихъ не болѣе, какъ аксессуаръ.

Пейзажная живопись получаетъ въ Италіи полное свое значеніе тогда только, какъ являются сюда иностранцы: Пуссенъ, Клодъ-Лорренъ (Желе), Дюгѣ (Гаспаръ Пуссенъ) изъ Франціи, и братья Бриль, Ельцгеймеръ, Ботъ, Бергемъ, Винантсъ и другіе мастера изъ Фландріи и Голландіи. Собственно изъ итальянскихъ художниковъ, писавшихъ пейзажъ, можно назвать только Сальватора Розу, Муцціано, Лукателли и Каналето; послѣдній, впрочемъ, болѣе извѣстенъ, какъ живописецъ развалинъ и видовъ Венеціи. Въ Испаніи то же самое; здѣсь можно привести одного Мурильйо;

но и у него ландшафтъ имѣетъ второстепенное значеніе; онъ служитъ только фономъ въ его картинахъ. Принимая во вниманіе свидѣтельство старыхъ и новыхъ писателей, говорившихъ о художествѣ древнихъ,—въ Греціи встрѣчается тотъ же фактъ; тамъ разрабатывались въ совершенствѣ всѣ роды искусства, даже каррикатура, несмотря на законъ Ѳивъ, требовавшій только подражанія прекрасному и строго взыскивавшій за всякое извращеніе формъ природы; никто, между тѣмъ, не упоминаетъ о существованіи пейзажа, какъ особенной отрасли изящнаго.

Совсѣмъ противоположное этому встрѣчается, между тѣмъ, на сѣверѣ. Стоитъ взглянуть на эстампы Альбрехта Дюрера, какъ напримѣръ: «Св. Губертъ на охотѣ», чтобы замѣтить, что пейзажный родъ обратилъ на себя и прежде и больше вниманія въ Германіи, чѣмъ въ Италіи. Чѣмъ ближе подвигаешься къ сѣверу, тѣмъ очевиднѣе становится эта особенность. Елва во Фландріи и Голландіи возникаетъ искусство, пейзажная живопись тотчасъ же становится серьозною отраслью; ею занимаются съ любовью, со страстью; она уважается наравнѣ съ другими родами живописи; ей исключительно посвящаютъ себя многіе мелкіе мастера. Въ туманной, плоской Голландіи она пускаетъ такія могучія вѣтви, что скоро дробится на спеціальности: одни пишутъ деревья, другіе—воду, третьи—животныхъ, четвертые — цвѣты, плоды и т. д.

Странный съ перваго взгляда фактъ, что пейзажная живопись принялась сравнительно слабо тамъ, гдѣ природа раскрывается во всей красѣ своей, и наоборотъ, проявляется во всей силѣ своей посреди тумановъ и унылой мѣстности, объясняется, мнѣ кажется, столько же внѣшними климатическими условіями, сколько свойствами темперамента южнаго и сѣвернаго племени.

У южныхъ народовъ, живущихъ, благодаря климату, всегда на воздухѣ, глазъ на глазъ съ природой, не могло быть такой сильной потребности искусственнаго воспроизведенія ея; какими бы средствами ни владѣла живопись, она никогда не могла бы вполнѣ передать лучезарное сіяніе южнаго голубаго неба, прозрачность воздуха, мягкую яркость отдаленныхъ горъ, блескъ красокъ въ соединеніи съ тѣми красотами линій, которыя составляютъ принадлежность южнаго ландшафта; какъ бы ни была хороша картина, она, при сравненіи съ дѣйствительностью, всегда проигрывала бы слишкомъ явно; она всегда была бы неудовлетворительнымъ, жалкимъ подражаніемъ того волшебнаго оригинала, которымъ круглый годъ можно безпрепятственно любоваться. Въ позднѣйшее время, пейзажъ не сдѣлался на югѣ отраслью искусства потому также, можетъ быть, что ему мѣшала отчасти и религія; она слишкомъ исключительно направляла умъ и воображеніе художниковъ къ изображенію духовнаго міра; живость воображенія и пылкость темперамента охотно поддавались такому увлеченію. Природа въ томъ естественномъ видѣ, какъ она представлялась, никого не удовлетворяла; она казалась слишкомъ обыкновенною, матеріальною. Не даромъ считали ее недостойною занять серьозное мѣсто въ искусствѣ, не даромъ низводили ее на степень аксессуара и фона картины.

На сѣверѣ, напротивъ, все способствовало къ процвѣтанію ландшафта въ живописи.

Тамъ климатъ поневолѣ заставляетъ человѣка вести замкнутую жизнь; человѣку дается такой короткій срокъ пользоваться даже тѣми сравнительно бѣдными красотами природы, которыя его окружаютъ, что онъ, весьма естественно, долженъ желать продлить такое наслажденіе. Сидя дома и видя изъ окна столько мѣсяцевъ въ году туманы, снѣгъ или дождикъ, онъ радъ встрѣтить хоть напоминаніе того, чѣмъ такъ скудно и на такое короткое время надѣлила его природа. Какъ же не обрадоваться ему той формѣ искусства, которая идетъ навстрѣчу его желанію, вноситъ въ его жизнь лишнюю радость, вознаграждаетъ за лишеніе, которое ему такъ чувствительно. Пейзажная живопись привилась на сѣверѣ такъ скоро, благодаря, вѣроятно, тому также, что человѣкъ здѣсь, будучи по натурѣ болѣе положительнымъ и созерцательнымъ, охотнѣе всматривался въ предметы внѣшней, вещественной природы и скорѣе удовлетворялся ими, чѣмъ житель юга.

Разница нравственныхъ свойствъ и климатическихъ условій, весьма натурально, должна была ярко отразиться въ пейзажной живописи юга и сѣвера. Стоитъ взглянуть на пейзажъ Итальянца и Голландца, чтобъ убѣдиться, какъ мало въ нихъ общаго; самое несходство природы сѣвера и юга не бросается такъ рѣзко въ глаза, какъ разница въ чувствѣ, во взглядѣ, въ способахъ художественнаго воспроизведенія природы. Тогда какъ въ Италіи исключительно почти процвѣтаетъ такъ-называемый историческій, идеальный пейзажъ, въ которомъ изображаются избранныя красоты природы, находятъ мѣсто только облагороженныя ея формы, — пейзажъ, въ которомъ не столько выражается дѣйствительность, сколько ея поэтическое идеальное представленіе; во Фландріи и Голландіи художники, наоборотъ, стремятся передавать природу въ ея повседневной дѣйствительности. Художниками Голландіи руководятъ въ пейзажѣ тѣ же самыя свойства, которыя отражаются у нихъ въ картинахъ религіознаго содержанія, гдѣ матеріальное чувство беретъ перевѣсъ надъ духовнымъ, гдѣ идеальная красота приносится въ жертву натуральнымъ формамъ. Но матеріальныя свойства Голландца приносятъ однакожъ въ пейзажѣ совсѣмъ другіе результаты; то, что мѣшало голландскимъ художникамъ достигнуть въ картинахъ религіознаго содержанія, идеала духовной красоты, которая такъ высоко ставитъ Италіянца;—то, что заставило сказать о Рубенсѣ, что онъ улетѣлъ бы на небо, еслибы не придерживала его къ землѣ тяжесть голландскаго сыра:—то самое въ пейзажной живописи обращается прямо въ пользу голландскаго живописца и ставитъ его выше всякаго другаго. Его реализмъ и положительность не исключаютъ въ его душѣ присутствія тонкаго поэтическаго чувства; прикрѣпляя его къ вещественному міру, они сблизили его, сроднили съ природой, развили въ немъ любовь къ ней, помогли короче съ нею ознакомиться, и такимъ образомъ дали ему возможность передавать ее во всей ея поэтической правдѣ.

Чтобы разрѣшить, чей взглядъ на природу вѣрнѣе въ приложеніи его къ пейзажной живописи, и какой пейзажъ, голландскій или итальянскій, ближе достигаетъ своей цѣли, надо прежде всего обратиться къ собственному чувству; вообще говоря, нельзя сказать, чтобы ландшафтъ Пуссена,

Дюге, или Лоррена, сильнѣе дѣйствовалъ на душу и пробуждалъ въ ней такое поэтическое чувство, какъ пейзажи Рюйздаля и Гоббемы.

Все сказанное мною о пейзажной живописи Голландіи и Фландріи совпадаетъ какъ нельзя лучше съ исторіей этого рода искусства въ Англіи. Здѣсь точно также, съ первыхъ шаговъ живописи, пейзажный родъ дѣлается одною изъ самыхъ важнѣйшихъ и любимыхъ отраслей художества; реализмъ точно также проявляется во всей своей силѣ съ самыхъ первыхъ попытокъ.

Такое направленіе тѣмъ удивительнѣе въ Англіи, что тамъ, долго до появленія перваго національнаго пейзажиста, находилось множество знаменитѣйшихъ ландшафтовъ Пуссена и Лоррена; не было художника, который бы, въ свое время, сотни разъ не имѣлъ ихъ передъ глазами; кромѣ того, въ то самое время, вездѣ, гдѣ только процвѣтала живопись, и преимущественно во Франціи, господствовалъ еще во всей своей силѣ жанръ пейзажа, который былъ въ самомъ крайнемъ противорѣчіи съ реализмомъ.

Художники исключительно держались двухъ методъ. Одни, рабски подражая Пуссену и Лоррену, *сочиняли* свои картины, составляя ихъ, подобно этимъ двумъ мастерамъ, изъ отдѣльныхъ этюдовъ, снятыхъ впрочемъ съ натуры; этюды эти дѣлались по большей части не красками, а карандашомъ или сепіей; въ этомъ легко удостовѣриться по рисункамъ Пуссена и Лоррена, сохраняющимся въ музеяхъ Европы и частныхъ коллекціяхъ; въ Англіи, между прочимъ, у герцога Девонширскаго существуетъ знаменитое собраніе этюдовъ и рисунковъ Лоррена; всѣ они сдѣланы сепіей. Для составленія ландшафта выбирались только тѣ деревья, скалы, водопады, облака и зданія, которыя казались наиболѣе красивыми и подходящими къ характеру сочиняемаго ландшафта; за тѣмъ все разставлялось какъ декораціи въ театрѣ; оставалось привести эти отдѣльныя части въ общую гармонію, дать имъ характеръ времени года или освѣтить ихъ такимъ образомъ, чтобъ обозначался часъ дня; все это, то-есть, собственно уже картина, писалось *на-память*. Ландшафты такого рода, получившіе названіе классическихъ или историческихъ, потому, вѣроятно, что фигуры на нихъ представляли большею частію эпизодъ изъ древней языческой или священной исторіи, могли быть хороши только у такихъ мастеровъ, какъ Лорренъ или Пуссенъ; высокія художественныя достоинства этихъ живописцевъ отражались въ ихъ произведеніяхъ; они придавали имъ какую-то особенную поэтическую величавость. Нельзя не сознаться однакожъ, что метода сама по себѣ была крайне ложная. Это доказывается тѣмъ, что какъ только стали ею руководствоваться послѣдователи Пуссена и Лоррена, она привела ихъ къ самому жалкому результату; избавляя художниковъ отъ труда строго изучать природу и писать прямо съ натуры, она скоро обратила искусство въ механизмъ и рутинерство. Пейзажная живопись сдѣлалась ремесломъ, весьма схожимъ съ трафаретнымъ. Стоило набить руку и заучить извѣстныя формы деревъ, скалъ и мѣстности,—они неизмѣнно являлись у художника во всѣхъ его картинахъ; въ извѣстномъ случаѣ писались такія-то деревья, въ другомъ такія-то. Все это оправдывалось тѣмъ, что такъ требовали законы строгой эстетики. «Живописецъ, который подражаетъ другому, какъ бы великъ

ни былъ послѣдній, — говоритъ Леонардо да-Винчи, — перестанетъ быть сыномъ природы; онъ превращается въ ея внука.» Другая метода, — слѣдствіе первой и установившаяся позже, — состояла въ томъ, чтобы выдумывать ландшафтъ прямо изъ головы, не заботясь даже присматриваться къ дѣйствительности, — словомъ, выдумывать природу. Эта метода привела къ тѣмъ фальшиво-пріорнымъ пастушескимъ видамъ и миѳологическимъ садамъ съ голубыми деревьями, которые процвѣтали сначала во Франціи, потомъ во всей Европѣ въ эпоху Лудовика XV и XVI.

Ни одинъ изъ этихъ способовъ не принялся въ Англіи. Совѣтъ Стерна: «Не заботьтесь о предписаніяхъ и догматахъ школъ; дѣйствуйте какъ знаете, по собственному побужденію, но только дѣйствуйте прямо на сердце!» какъ-будто взятъ былъ за девизъ англійскими пейзажистами. Ландшафты Пуссена и Лоррена, даромъ что всегда высоко цѣнились въ Англіи и жадно пріобрѣтались охотниками, не имѣли здѣсь, какъ я замѣтилъ, никакого вліянія; они такъ же мало подѣйствовали на здѣшнихъ историческихъ живописцевъ, какъ итальянскія картины высокаго стиля; въ обоихъ случаяхъ національное чувство не даетъ побѣдить себя чужеземному вліянію. Классическій пейзажъ производитъ только двухъ послѣдователей: Томсона и Уильсона.—отчасти также Фильдинга. На выставкѣ, гдѣ старались представить всю школу во всей ея полнотѣ, находятся образчики ихъ кисти; одно названіе ихъ произведеній: «Развалины въ окрестностяхъ Тиволи», «Истребленіе дѣтей Ніобеи» (фигуры Мортимера), «Аполлонъ и времена года», — достаточно доказываютъ, что тутъ нѣтъ ничего національнаго. Но ими и оканчивается этотъ родъ. Генсборо (1727 — 1788), основатель національнаго пейзажа въ Англіи, наноситъ классическому ландшафту первый и послѣдній смертный ударъ.

Благодаря ли внутреннему сходству во вкусахъ и стремленіяхъ Англичанъ и Голландцевъ, благодаря ли чувству той врожденной независимости, составляющей черту Англичанъ, но только начиная съ Генсборо — англійскіе пейзажисты, точно такъ же, какъ Рюйздаль и Гоббема, признаютъ одного только профессора — природу. Они съ перваго шагу становятся на настоящую дорогу, вокругъ которой, со времени Голландцевъ, болѣе ста лѣтъ бродили остальные пейзажисты Европы. Замѣчательно, что здѣсь съ ландшафтною живописью было то же, что̀ съ исторической: она не проходитъ періоды постепеннаго возрастанія, но сразу, безъ пріуготовленій и колебаній, становится на ту высокую степень полнаго развитія, до которой развѣ только теперь, въ позднѣйшее время, доросла она въ Германіи, Бельгіи, Швейцаріи и Франціи. Сравните любой ландшафтъ Генсборо съ картинами любаго современнаго первокласснаго художника Европы: вы увидите, что въ послѣднихъ не сказано ничего новаго, не сдѣлано никакого усовершествованія ни въ какомъ отношеніи. Правда и поэзія соединяются у Генсборо съ тою страшною свободой исполненія, которую и теперь еще ищутъ многіе художники, которая и теперь въ иныхъ школахъ кажется новостью. Въ то время, какъ во Франціи условный классическій пейзажъ былъ во всей своей силѣ, и первымъ пейзажистомъ считался давно забытый Мишалонъ (Michalon), Англія имѣла уже пейзажистовъ, имена которыхъ навсегда останутся въ исторіи искусства.

Этихъ художниковъ слѣдуетъ считать настоящими основателями той школы, той манеры въ пейзажѣ, которыя усвоились теперь въ Европѣ. «При видѣ англійскихъ пейзажей на Манчестерской выставкѣ, говоритъ Бланъ въ книгѣ своей *Les Trésors de l'art à Manchester*, я убѣдился окончательно, кому обязаны наши теперешніе художники переворотомъ, сдѣланнымъ ими въ пейзажѣ; кто первый содѣйствовалъ тому, чтобы выгнать у насъ со сцены сентиментальные виды и ультра-миѳологическіе сады; одинъ Констебль сдѣлалъ въ этомъ отношеніи цѣлую революцію. Отъ него собственно происходятъ Дюпре и Тройнъ; не менѣе обязаны мы Тэрнеру, Стенфильду, Бонингтону» и пр. То же самое говорятъ Планшъ, Бюргеръ, Вилло и другіе иностранные критики, касавшіеся живописи въ Англіи.

Переворотъ, сдѣланный англійскими пейзажистами, въ самомъ дѣлѣ очень важенъ. Не ухитряясь сортировать природу или отыскивать въ ней только красивѣйшія явленія, но считая въ ней все достойнымъ изученія, они первые научили смотрѣть на нее настоящими глазами. Въ ихъ картинахъ, въ первый разъ, знакомишься съ тою широкою, свободною манерой исполненія, которая ближе всего подходитъ къ истинѣ. Они нисколько не виноваты, что реализмъ, основанный ими и привившійся такъ скоро, принялъ въ послѣдствіи грубую, узкую форму, которая справедливо подвергается гоненіямъ отъ пуристовъ. Англійскіе художники, тѣ по крайней мѣрѣ, которые во главѣ школы, проповѣдуя реализмъ, не думали посягать на эстетическій принципъ. Картины Гонта, какъ послѣднее выраженіе господствующаго реальнаго направленія, служатъ, кажется, яснымъ тому доказательствомъ; пейзажисты всегда держались того же направленія. Изображая природу во всей ея истинѣ, они прежде всего старались передать *впечатлѣніе*, которое оставляетъ въ душѣ такая-то мѣстность, предметъ или моментальное явленіе природы. Достигнуть такой цѣли можно тогда только, когда художникъ сильно почувствуетъ то, что должно перейдти на полотно; ничтожнѣйшій предметъ, пройдя такимъ образомъ сквозь личное задушевное чувство художника и обогрѣтый имъ, уже лишается своей грубой матеріальной наготы; онъ получаетъ смыслъ, просвѣчиваетъ чѣмъ-то жизненнымъ и дѣлается интереснымъ. Что особеннаго, напримѣръ, въ картинѣ Генсборо: «*Gottage Door*» (дверь котеджа)? Она представляетъ бѣдную хижину, запрятанную въ зелени; на ея порогѣ семейство; оно вышло подышать вечернимъ воздухомъ и полюбоваться яснымъ закатомъ, который блещетъ между старыми пнями и вѣтвями деревъ; а нельзя между тѣмъ оторваться отъ картины. Поэтическое чувство, вложенное въ нее художникомъ, мгновенно передается душѣ зрителя и дѣйствуетъ сильнѣе красотъ природы, разсыпанныхъ въ другихъ картинахъ, но не согрѣтыхъ душою художника.

Не считая картинъ въ Національной Галлереѣ и въ другихъ собраніяхъ Лондона, на одной международной выставкѣ въ отдѣленіи англійскаго художества можно встрѣтить нѣсколько десятковъ такихъ ландшафтовъ, которыхъ, увидавъ разъ, никогда уже потомъ не забудешь. Большая часть подписана чаще всего одними и тѣми же именами: Констебль, Тэрнеръ, Кромъ, Стенфильдъ, Бонингтонъ, Мореландъ. Художники эти такъ же популярны въ своемъ родѣ и занимаютъ въ національномъ искус-

ствѣ такое же почетное мѣсто, какъ Вильки, Коллинсъ, Гонтъ, Вебстеръ, Мюльреди, Фритъ.

Къ сожалѣнію, пейзажный родъ всего труднѣе поддается описанію. Что сказать о картинахъ, которыя разнятся одна отъ другой оттѣнками свѣта, едва уловимыми для глазъ, и характеръ которыхъ опредѣляется болѣе или менѣе схожими деревьями, скалами, водою, изгибами мѣстности, такъ или иначе расположенными? То, что сразу объясняется и дѣлается понятнымъ для глаза, невольно ускользаетъ при описаніи. Ничего болѣе нельзя сдѣлать, какъ только выказать особенности, отличающія одинъ талантъ передъ другимъ. Этимъ способомъ выскажется само собою направленіе и выступитъ общій характеръ англійской школы по пейзажной части.

Если попрежнему держаться хронологическаго порядка, то непосредственно за Генсборо надо назвать Мореланда (1764—1804). Картины его: «Морской берегъ», «Цыгане въ лѣсу» и другія, которыя привелось мнѣ видѣть, пользуются въ Англіи большою извѣстностью. Популярность Мореланда основывается прежде всего на томъ, мнѣ кажется, что, въ свое время, онъ дѣятельнѣе другихъ началъ писать во вкусѣ, созданномъ Генсборо и вошедшемъ тогда въ моду. Онъ не перенялъ у великаго мастера только внѣшнюю сторону его таланта. Генсборо писалъ широко и бойко; Мореландъ довелъ бойкость до такой степени, гдѣ она переходитъ за извѣстную черту и дѣлается уже недостаткомъ. Картины его похожи скорѣе на эскизы, писанные съ натуры, чѣмъ на строго выполненныя произведенія; но это еще не бѣда; мало ли эскизовъ, которые въ художественномъ отношеніи стоятъ неизмѣримо выше картинъ совершенно оконченныхъ! Съ бойкостью Мореланда можно еще примириться; она выкупается необыкновенною свѣжестью колорита и чѣмъ-то огненнымъ, страстнымъ въ пріемѣ. Дѣло въ томъ, что картины его представляютъ всегда такіе мотивы, которые, особенно въ ландшафтахъ, всего менѣе способны оставлять выгодное впечатлѣніе на зрителя. Природа у него постоянно въ напряженномъ состояніи: деревья крутятся и гнутся подъ напоромъ вѣтра; вихрь вьется по полянѣ, поднимая цѣлую тучу листьевъ; все въ тревогѣ, въ безпокойствѣ, даже самыя фигуры; передъ картинами Мореланда всегда ждешь чего-то: ждешь, не сломится ли то дерево, не сорветъ ли шапку съ этого всадника, не унесетъ ли вихремъ соломы съ кровли; отходишь отъ нихъ съ неудовлетвореннымъ чувствомъ, и въ этомъ ихъ главный недостатокъ; цѣль живописнаго искусства, и тѣмъ болѣе въ пейзажѣ, тогда только вполнѣ достигнута, когда, дѣйствуя эзтетически, оно пробуждаетъ въ душѣ спокойное созерцательное ощущеніе.

Рядомъ съ произведеніями Мореланда висятъ ландшафты Кромa. Съ этимъ художникомъ англійская публика познакомилась только въ настоящее время; даже любители говорили о немъ по наслышкѣ. Кромъ, между тѣмъ, засталъ еще въ живыхъ Генсборо и былъ современникомъ Мореланда. Старый Кромъ (Old Chrome), какъ его теперь прозвали, по всей вѣроятности, даже не подозрѣвалъ въ себѣ присутствія огромнаго таланта. Человѣкъ смиренный, отецъ многочисленнаго семейства, онъ проживалъ въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей Англіи, не помышляя о славѣ и

Лондонѣ, и довольствуясь продажей своихъ картинъ мѣстнымъ фермерамъ и мелкимъ домовладѣльцамъ. Жизнь и нравъ его какъ нельзя болѣе отражаются въ его произведеніяхъ. Представляя самую простую неэффектную мѣстность: «Опушка лѣса», «Группа деревьевъ», «Большой дубъ», «Старая пристань въ Ярмутѣ», картины его проникнуты сильнымъ чувствомъ природы. Мотивъ освѣщенія всегда одинъ и тотъ же: яркій блескъ зари тихаго лѣтняго вечера. Картины Кромa тѣмъ именно останавливаютъ на себѣ вниманіе, что сразу дѣйствуютъ на душу, пробуждая въ ней цѣлый міръ сладчайшихъ воспоминаній. Тихіе, свѣтлые лѣтніе вечера, которые болѣе или менѣе заставали каждаго изъ насъ въ мечтательномъ настроеніи, воскресаютъ въ памяти при видѣ ландшафтовъ Кромa; они какъ бы сосредоточены въ этихъ ландшафтахъ: такъ вѣрно передано и схвачено общее впечатлѣніе мотива. Письмо его бойкое, доходящее иногда даже до дерзости, какъ у Мореланда, не вредитъ такому эффекту; напротивъ, не давая развлекаться деталями, оно еще сильнѣе сосредоточиваетъ вниманіе на общемъ ансамблѣ. Сочность кисти даже идетъ какъ-то къ широкимъ изгибамъ мѣстности въ его картинахъ; она согласуется съ большими массами раскидистыхъ деревъ, стоящихъ въ величайшемъ покоѣ и какъ бы нѣжащихся въ пурпурѣ заката. Съ первыхъ дней выставки, весь Лондонъ заговорилъ о Кромѣ, какъ о значительномъ художникѣ. Отнынѣ ему опредѣлено и отведено одно изъ почетныхъ мѣстъ въ національной школѣ.

Затѣмъ слѣдуютъ по порядку: Насмита «Ландшафтъ», Прудъ со шлюзами»; Гофланда «Ричмондскій холмъ»; Шалона «Гастингсъ», «Деревня»; Стенфильда «Старая Голландія», «Ричмондъ», и т. д. Имена этихъ живописцевъ отмѣчены въ моихъ замѣткахъ особымъ знакомъ,—лучшее доказательство, что произведенія ихъ произвели на меня самое пріятное впечатлѣніе. Изъ нихъ лучше всѣхъ, по-моему, Стенфильдъ. Онъ въ высшей степени обладаетъ способностью неизгладимо запечатлѣть въ памяти зрителя тѣ моменты природы, которые вздумаетъ набросать на полотнѣ кистью. Поэтическое чувство лежитъ въ основаніи всѣхъ его твореній; онъ не приноситъ ему въ жертву техники, даромъ что Стенфильду легче было бы извинить неряшество кисти, чѣмъ всякому другому Онъ началъ свое поприще съ того, что былъ декораторомъ. Поэзія въ его картинахъ скорѣе даетъ себя чувствовать въ прелести деталей, чѣмъ выходитъ изъ общаго состава картины. Талантъ Стенфильда обнимаетъ всѣ роды живописи, гдѣ только играетъ главную роль природа. Морскіе виды его не уступаютъ его ландшафтамъ. Картина: «Барка, уносимая бурей», по своей силѣ и поэтической правдѣ, можетъ стать на ряду только съ «Морскимъ видомъ» Калькота, который считается въ Англіи первымъ морскимъ живописцемъ, а это много значитъ, потому что изъ числа англійскихъ живописцевъ можно привести цѣлый десятокъ превосходнѣйшихъ маринистовъ.

Приходится однакожъ умолчать о нихъ, точно такъ же, какъ пришлось только мелкомъ упомянуть о Стенфильдѣ и Калькотѣ. Намъ еще предстоитъ поговорить о трехъ художникахъ: каждый изъ нихъ отдѣльно выражаетъ особое направленіе; взятые вмѣстѣ, они сосредоточиваютъ въ

себѣ общій характеръ пейзажной живописи Британіи. Художники эти: Констебль, Тэрнеръ и Вонингтонъ.

По крайнему моему разумѣнію, Констебль выше изъ всѣхъ. Какъ пейзажистъ, онъ во многихъ отношеніяхъ выше Генсборо. Сила его, какъ у всякаго геніальнаго художника, мгновенно охватываетъ зрителя и покоряетъ его въ свою пользу; она сразу сказывается въ его произведеніяхъ; она дѣйствуетъ особеннымъ какимъ-то обаяніемъ, чѣмъ-то влекущимъ къ произведенію, сначала даже мимо качествъ письма, колорита и красоты въ общемъ составѣ картины. На выставкѣ множество его произведеній: «Сализбюрійскіе луга», «Долина въ Генмингельскомъ паркѣ», «Телѣга съ сѣномъ», «Гемстедскій берегъ», «Просѣка», «Шлюзъ», «Ферма въ долинѣ»; но положительно не знаешь, какой изъ нихъ отдать преимущество. Каждая вызываетъ удивленіе. Остановишься передъ первой, — думаешь, что ничего ужъ не можетъ быть совершеннѣе; подходишь рядомъ къ другой,— думаешь то же самое.

Въ общемъ своемъ характерѣ, ландшафты Констебля не имѣютъ ничего сочиненнаго, придуманнаго, а между тѣмъ они, очевидно, не рабская копія съ натуры. Изъ всего видно, что художникъ выбиралъ мѣстность не потому только, что она красива и представляетъ выгодный мотивъ для картины, но потому, что прежде всего она отвѣчала личному его чувству, его внутреннимъ наклонностямъ, тронула его сердце. Производя свои пейзажи, Констебль какъ-будто смотритъ на природу глазами, увлажненными слезами нѣжнаго, умиленнаго чувства; въ нихъ душа художника какъ бы заодно работаетъ съ кистью; такова, напримѣръ, картина его: «Просѣка».

Между высокими деревьями, опутанными снизу кустарникомъ и плющомъ, проходитъ колеистая дорога, поперекъ исполосованная тѣнями и свѣтомъ. По ней поднимается стадо; собака остановилась и задумчиво смотритъ въ даль; пастухъ, между тѣмъ, плашмя улегшись на траву, пьетъ изъ ручья съ помощью ладони; въ глубинѣ хмѣлевой садъ, а дальше зеленѣющіе холмы, увѣнчанные розовыми черепичными крышами фермъ. Во всемъ этомъ столько тишины, столько наивнаго кроткаго чувства, что сердце невольно располагается къ мирной сельской жизни. Другой ландшафтъ: «Ферма въ долинѣ», по-моему, еще сильнѣе удовлетворяетъ этому чувству. При всей своей правдивости и простотѣ, это такой поэтическій уголокъ земли, который могъ бы, кажется, примирить самаго закоснѣлаго мизантропа съ жизнію. Одна изъ самыхъ удивительныхъ картинъ Констебля,— «Шлюзъ», № 320; она изображаетъ выложенную дерномъ канаву, наполненную водой и перехваченную на первомъ планѣ массивнымъ старымъ шлюзомъ. Темныя перекладины съ висящею желѣзною цѣпью рѣзко отдѣляются, вмѣстѣ съ стоящею на плотинѣ фигурою человѣка, на сѣромъ горизонтѣ; надъ ними одиноко возвышается столѣтній вязъ. Ничего, кажется, не можетъ быть проще, и однако картина эта справедливо считается однимъ изъ лучшихъ произведеній мастера. Сколько бы вы ни ѣздили по Англіи, она сразу приведетъ вамъ почему-то на память всѣ впечатлѣнія, когда-либо навѣянныя страною.

Въ общемъ своемъ дѣйствіи, картины Констебля пробуждаютъ мысль о тѣхъ блестящихъ серебристыхъ дняхъ ранней весны, когда, къ полудню,

небо неожиданно покрывается первыми дождевыми тучами, когда тѣни отъ нихъ, захватывая мѣстами поля, холмы и луга, рѣзко выдаютъ яркость зелени, свойственную этому времени года. Природа Англіи, ея влажная атмосфера, туманъ, сквозь который просвѣчиваетъ солнце, зелень, сверкающая послѣ дождя, сѣрыя тучи, несомыя порывами морскаго вѣтра,— все это находитъ себѣ въ Констеблѣ лучшаго переводчика. Бёнистеръ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ любителей живописи и современникъ Констебля, не даромъ говорилъ: «Глядя на картины Констебля, чувствую всегда свѣжесть воздуха на моемъ лицѣ»; не даромъ повторялъ за нимъ Фузели, съ свойственнымъ ему юморомъ: «Картины Констебля заставляютъ меня всегда спохватиться: со мной ли зонтикъ?» Картины его не всегда однакожъ изображаютъ дождливое ненастное время. Сколько у него и лучезарныхъ дней, и вечеровъ! Произведенія его поражаютъ чѣмъ-то новымъ, неожиданнымъ даже между ландшафтами его соотечественниковъ. Онъ былъ совершенно искрененъ, когда говорилъ въ своихъ письмахъ: «Садясь съ палитрою и кистью передъ природой, я прежде всего стараюсь забыть, что я когда-нибудь видѣлъ какое-нибудь произведеніе живописи». Въ изображеніи тучъ и вообще неба Констебль положительно оставляетъ за собою все, что было сдѣлано по этой части въ живописи. Небо играетъ у него важную роль; оно даетъ всегда главный тонъ, главный аккордъ въ картинѣ; оно всегда поддерживаетъ силу общаго впечатлѣнія; по тучамъ и цвѣту ихъ, вы сразу заключите о силѣ и направленіи вѣтра, о времени года; кромѣ того, облака какъ бы для того здѣсь, чтобъ еще больше расширить просторъ и дать еще больше глубины воздушной перспективѣ. «Я сдѣлалъ съ величайшимъ тщаніемъ пятьдесятъ большихъ этюдовъ неба», писалъ онъ въ 1822 г. другу своему Лесли. Эти этюды сохранены; они писаны масляными красками на листахъ масляной бумаги; на оборотѣ они исписаны замѣтками касательно направленія вѣтра, времени года, положенія солнца. Деревья, растительность, вода, земля, камни изучались имъ внимательно. Не было художника, который бы такъ любилъ природу, какъ Констебль. Біографы его приводятъ, какъ фактъ, что стоило написать изъ деревни: «Пріѣзжай, я открылъ вдоль рѣчки три великолѣпныя старыя дерева»,—Констебль бросалъ мгновенно мастерскую и стремглавъ бѣжалъ изъ Лондона. Констебль рѣдко, едва замѣтно, останавливается на деталяхъ; въ этомъ отношеніи манера его схожа съ манерой Генсборо и Крома. Нѣтъ однакожъ такого дерева и растенія, которыя не выказывали бы съ перваго взгляда своего характера. Все писано сочно, жирно, исполнено той точности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и той неотчетливости, которая замѣтна въ самой природѣ, гдѣ рѣзкость контура всегда пропадаетъ и какъ бы таетъ въ воздухѣ и блескѣ свѣта. Многимъ не нравится эта сочность письма, которою, сколько помню, особенно отличается между нашими художниками покойный Лебедевъ; много упрекали въ этомъ Констебля при его жизни; онъ отвѣчалъ всегда, что пишетъ такъ не изъ принципа, не по принятой методѣ, а потому, что способъ этотъ кажется ему самымъ удобнымъ передавать природу такъ, какъ онъ ее чувствуетъ.

Картины Констебля такъ несхожи характеромъ своимъ съ произведеніями Тэрнера, что переходъ отъ первыхъ къ послѣднимъ поражаетъ такъ

же неожиданно, какъ иногда въ театрѣ перемѣна декораціи: мирный сельскій видъ, представлявшійся сначала, величественныя деревья и пространные луга, отъ которыхъ вѣяло запахомъ скошеннаго сѣна и зелени, освѣженной дождемъ,—вдругъ исчезли, чтобы дать мѣсто волшебнымъ, фантастически неопредѣленнымъ перспективамъ, облитымъ яркимъ свѣтомъ, въ которомъ переливаются столбы сѣвернаго сіянія и играютъ радуги.

Первый разъ, какъ я увидалъ картины Тэрнера, онѣ не то чтобы мнѣ не понравились: сила таланта инстинктивно давала себя въ нихъ чувствовать и невольно влекла къ нимъ; но я не могъ дать себѣ яснаго отчета въ своемъ ощущеніи и внутренно раздражался, чувствуя, что тамъ есть что-то такое, что я не совершенно понимаю, что мнѣ недоступно. Припоминая все, что приводилось читать о Тэрнерѣ, я не могъ объяснить себѣ восторженныхъ похвалъ его соотечественниковъ. Мало-по-малу однакожъ, по мѣрѣ того, какъ я заживался въ Англіи, картины Тэрнера замѣтно производили на меня другое дѣйствіе, Неправдоподобность, которая съ перваго раза особенно поражала, перестала удивлять меня. Не скажу, чтобы время, давшее мнѣ возможность присмотрѣться къ произведеніямъ Тэрнера, сдѣлало меня его поклонникомъ; какъ прежде, такъ и теперь похвалы Англичанъ кажутся мнѣ преувеличенными; никакъ не могу согласиться, чтобы Тэрнеръ былъ «величайшимъ пейзажистомъ, когда-либо существовавшимъ», или, какъ называетъ его г. Роскинъ въ своихъ запискахъ, чтобъ онъ «былъ пророкомъ, посланнымъ отъ Бога, чтобъ открыть тайны вселенной...». Но съ другой стороны, еще менѣе можно согласиться съ мнѣніемъ Планша и Мерсé, которые называютъ его ни болѣе, ни менѣе, какъ пустымъ фантазеромъ. Несправедливость ихъ основывается на томъ, что они вѣроятно судили о картинахъ Тэрнера по эстампамъ; но главное: и тотъ, и другой не знакомы, вѣроятно, съ природой Англіи. Лица, не бывавшія на южныхъ моряхъ и на востокѣ, всегда какъ-то недовѣрчиво смотрятъ на картины, гдѣ вода ярко-голубаго или зеленаго цвѣта, гдѣ скалы и зданія, охваченныя закатомъ, горятъ какъ бы облѣпленныя фольгой. Чтобы вѣрно судить о произведеніи искусства, и тѣмъ болѣе пейзажа, необходимо всегда имѣть въ виду характеръ страны и природы, которыя служили ему моделью. Если принять это за общее правило, оно особенно можетъ быть примѣнено къ произведеніямъ англійской живописи: здѣсь художники болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь вдохновляются тѣмъ, что ихъ окружаетъ. Знакомство съ климатомъ Британіи объясняетъ отчасти ту сторону произведеній Тэрнера, тѣ ихъ эффекты, которые съ перваго взгляда кажутся такими странными, почти невозможными. Гдѣ, какъ не здѣсь, близость океана и частая перемѣна вѣтровъ подвергаетъ атмосферу такимъ быстрымъ, такимъ причудливымъ превращеніямъ?

То мѣстность облекается густымъ туманомъ, въ которомъ деревья и зданія, теряя свою опредѣленность, представляются островами, плавающими въ пространствѣ; немного погодя, туманъ, поднявшись выше, открываетъ ландшафтъ, разливая въ немъ мягкій серебристый тонъ, въ которомъ отчетливо рисуются очертанія, и особенно ярко блещетъ влажная зелень; еще минута—все снова помутилось: мелкій дождикъ сѣется съ неба, и все окуталось какъ дымкой; думаешь: конца ему не будетъ!

ничуть не бывало; откуда ни возьмись, скользнулъ вдругъ лучъ солнца, и въ то время, какъ съ одной стороны сгущается сизый мракъ и косыми полосами льетъ дождикъ,—съ другой играютъ блестящія радуги и ослѣпительно блещутъ колеи, налитыя водой; а выше клубятся облака, открывая лучезарно движущіяся перспективы съ голубымъ днемъ. Туманъ въ небѣ, когда оно свободно отъ тучъ, производитъ здѣсь одинъ изъ самыхъ сильныхъ эффектовъ: окрашенный солнцемъ и сквозя какъ янтарь, рѣдко разливается ровнымъ сводомъ; приводимый въ движеніе вѣтромъ, онъ медленно переливается, принимая самыя фантастическія, самыя причудливыя формы. Вѣтеръ здѣсь никогда не оставляетъ въ покоѣ облаковъ; онъ безпощадно гонитъ ихъ, рветъ, треплетъ и комкаетъ. Солнце сквозь дождь, радуга въ сумракѣ, влажный серебристый тонъ и блестящій неожиданный ударъ свѣта, смѣняясь безпрерывно, даютъ здѣсь тотъ странный видъ природѣ, который, для непривычнаго глаза, такъ рѣзко поражаетъ въ ландшафтахъ британской школы и болѣе всего у Тэрнера.

Упрекнуть его можно развѣ въ томъ, что онъ усиливалъ то, что и безъ этого уже кажется необыкновеннымъ. Быть-можетъ, онъ повиновался въ этомъ отчасти врожденному инстинкту, влекущему людей его націи къ фантастическому. Не даромъ выставляютъ въ Англіи, какъ величайшую черту его генія, способность приподнимать передъ зрителемъ завѣсу «таинственной, мистической природы». При всей разноголосицѣ мнѣній, при всей разности вкусовъ, нельзя не сойдтись въ одномъ относительно Тэрнера: именно, что въ талантѣ его присутствуетъ какой-то пламень, какая-то энергія, которыми въ такой мѣрѣ, какъ у него, такъ щедро надѣляются только избранныя, особо отмѣченныя личности. Все, къ чему ни прикасается кисть его, мгновенно выростаетъ и расширяется. Онъ мало заботится о томъ, что представляется простому глазу; повидимому, ему нѣтъ даже дѣла, какую природу онъ пишетъ: природу ли Италіи или сѣвера. Ему нуженъ прежде всего просторъ, въ которомъ бы въ безконечность неслись и клубились тучи, росли горы и убѣгали линіи, разстилалось море и яростно плескались и пѣнились волны. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ обойдти нѣсколько десятковъ его картинъ, выставленныхъ постоянно въ Національной Галлереѣ.

Между его многочисленными произведеніями на выставкѣ, два особенно характезируютъ его взглядъ и манеру исполненія: «Италія» и «Гастингсъ». Въ первой картинѣ ни одинъ туристъ и тѣмъ менѣе Итальянецъ не встрѣтитъ напоминанія о родинѣ Данта и Рафаэля; ее даже нельзя назвать идеальнымъ представленіемъ итальянской природы; такой пейзажъ можетъ возникнуть только въ воображеніи, возбужденномъ хашишемъ, представиться во снѣ, въ степномъ миражѣ, или существовать въ царствѣ воздушныхъ духовъ и волшебницъ; горы, какого-то страннаго, хотя величиваго очертанія, отливаютъ всѣми цвѣтами драгоцѣнныхъ камней; небо горитъ и кипитъ какъ плавленное золото; деревья и зелень сверкаютъ скорѣе какъ изумруды, чѣмъ какъ листья; все это между тѣмъ такъ широко и пространно, такъ заманиваетъ глазъ и воображеніе,—и вмѣстѣ съ тѣмъ, писано съ такимъ изумительнымъ

мастерствомъ, съ такимъ могуществомъ и силой, что невольно засматриваешься по часамъ. Второй пейзажъ характеризуетъ первую манеру мастера, когда онъ болѣе держался правды, когда искалъ поэзіи въ дѣйствительности. Въ Англіи каждый день встрѣчаешь эти облака сизо-перловаго цвѣта, несомыя вѣтромъ; сплошь и рядомъ открываются въ нихъ, какъ на картинѣ Тэрнера, эти провалы, въ которыхъ солнце, разливаясь полосою по дальнему морю, трогаетъ блестящими точками паруса; плоскій песчаный берегъ и городъ Гастингсъ пересѣчены радугой; на первомъ планѣ большія рыбачьи лодки съ трепещущими парусами,—все это такъ же полно жизни и вѣрно, какъ въ самой природѣ. Потомъ уже, во второй половинѣ своего поприща, Тэрнеръ началъ искать въ природѣ особенныхъ эффектовъ и обнаружилъ стремленіе къ сверхъестественному, фантастическому. Хотя въ твореніяхъ искусства надо прежде всего умѣть открыть хорошую сторону и насладиться ею прежде, чѣмъ требовать отъ художника того, чего бы хотѣлось, однако нельзя, глядя на картины Тэрнера, воздержаться отъ сожалѣнія: зачѣмъ принялъ онъ послѣднее направленіе! Сравнивая картины, написанныя подъ непосредственнымъ вліяніемъ природы, съ тѣми, въ которыхъ фантазія беретъ перевѣсъ надъ дѣйствительностью, нельзя не сознаться, что талантъ его принялъ впослѣдствіи ложное, какое-то лихорадочное направленіе. Онъ точно увлеченъ былъ къ концу своей жизни какимъ-то головокруженіемъ. Не довольствуясь красотою и поэзіей природы, но усиливаясь изображать безконечность, онъ какъ-будто былъ ослѣпленъ лучами ея свѣта и потерялся въ ней....

Вмѣстѣ съ Тэрнеромъ слѣдуетъ упомянуть о Робертсѣ, Голландѣ, Денби и Мартинѣ. Всѣ четверо писали и пишутъ картины, въ которыхъ фантазія точно также играетъ преимущественно первую роль. Съ именемъ Мартина (1789, † 1854) вы больше знакомы; гравюра и акватинта давно распространили по Европѣ его композиціи: «Пиръ Вальтазара», «Разрушеніе Ниневіи», «Послѣдній день Вавилона», «Потопъ», «Паденіе перваго человѣка», «Іисусъ Навинъ, останавливающій солнце», и пр. и пр. Я называю его картины композиціями, потому что Мартинъ, собственно какъ живописецъ, не заслуживаетъ никакого вниманія. Онъ прямой послѣдователь Тэрнера только въ фантастическомъ родѣ. Картина Тэрнера, помѣщенная на выставкѣ, подъ названіемъ: «Седьмая Египетская язва», какъ-будто опредѣлила призваніе Мартина. Одаренный пылкимъ поэтическимъ воображеніемъ, направленнымъ къ чудесному, къ громадному, онъ употребилъ свой талантъ на изображеніе сверхъестественнаго, небывалаго: дѣйствительность существуетъ для него еще менѣе, чѣмъ для Тэрнера въ послѣднее время. Картины его, средняго размѣра, представляютъ обыкновенно, какъ напримѣръ въ «Бальтазаровомъ пирѣ», безконечныя перспективы причудливыхъ зданій, колоннадъ, арокъ, лѣстницъ, переходовъ, террасъ. Посреди всего этого, при сверканіи молніи и сверхъестественныхъ лучахъ свѣта, прорывающихъ тучи, движутся какъ муравьи десятки тысячъ людей. Въ «Потопѣ» фантазія художника окончательно переноситъ зрителя за предѣлы возможнаго; глазъ и воображеніе теряются въ путаницѣ тучъ, разверстыхъ со всѣхъ сторонъ и объятыхъ фос-

фическимъ пламенемъ; внизу переливаются въ безконечность громадныя волны, въ которыхъ тонутъ цѣлые народы...

Къ сожалѣнію, все, что при такой обстановкѣ должно было бы составлять одно изъ главныхъ условій картинъ Мартина, то-есть колоритъ и мастерская техника, такъ у него неудовлетворительны, что весь эффектъ композиціи окончательно пропадаетъ; его картины во сто разъ больше выигрываютъ въ эстампахъ.

Какъ бы въ вознагражденіе за бурожелтый тонъ на композиціяхъ Мартина, по близости выставленъ цѣлый рядъ картинъ Бонингтона, одного изъ первѣйшихъ колористовъ Англіи. Бонингтонъ (1801, † 1828) принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ художниковъ, которые прокладываютъ новые пути въ искусствѣ. Болѣе невыгодной обстановки для развитія его таланта не могло быть. Шестнадцати лѣтъ отправили его въ Парижъ и опредѣлили въ мастерскую Гросса, ученика Давида. Съ первыхъ уроковъ чувствуетъ онъ непреодолимое отвращеніе къ классическимъ Римлянамъ, которыхъ заставляетъ его рисовать Гроссъ. Англійская *self-dependence*, чувство независимости, инстинктивныя побужденія врожденнаго таланта, не даютъ ему ужиться въ академической атмосферѣ. Онъ оставляетъ мастерскую Гросса; съ этого дня, единственнымъ его учителемъ дѣлается природа. Онъ началъ съ акварелей, и первый, можно сказать, распространилъ этотъ родъ живописи во Франціи. Первыя картины его, виды Нормандіи, въ 1822 году на выставкѣ Парижа, произвели революцію въ кругу художниковъ. Въ послѣднее время всѣ чувствовали пресыщеніе отъ классицизма; романтизмъ носился уже въ воздухѣ; его возбудилъ Жерико своею картиной: «Плотъ послѣ крушенія корабля Медуза». Но пейзажисты все еще какъ-будто робѣли; картины Бонингтона развязали всѣмъ руки.

Эти виды Нормандіи были первыми *натуральными* ландшафтами на почвѣ Франціи. Въ нихъ, въ первый разъ, открывалась правда и поэзія въ правдѣ. Пренебрегая академическими уставами, Бонингтонъ первый научилъ французскихъ художниковъ изображать природу безъ прикрасъ, во всей ея дѣйствительности, какъ понимали ее Гейнсборо и Констебль. Онъ первый отбросилъ условные пріемы письма и познакомилъ съ тою широкою, сочною манерой, которая, кромѣ того, что ближе подходитъ къ правдѣ, даетъ художнику полную возможность выказывать свою индивидуальность. Картины Констебля, выставленныя въ Парижѣ въ 1824 году, довершили переворотъ, начатый его молодымъ соотечественникомъ. Бонингтонъ умеръ двадцати-семи лѣтъ отъ роду. Онъ произвелъ однакожъ такъ много, что, не считая картинъ, находящихся во множествѣ въ частныхъ коллекціяхъ, на одной выставкѣ собрано ихъ болѣе десяти. Любой изъ нихъ довольно, чтобъ обезсмертить художника.

Послѣ колорита, отличительная черта его произведеній — правда, та правда, которая, какъ у Констебля, пробуждаетъ въ душѣ поэтическія ощущенія. Я не знаю ничего проще картинъ Бонингтона. То, что называютъ обыкновенно *сюжетомъ*, для него не существуетъ. Составить картину, расположить въ ней предметы такимъ образомъ, чтобъ они выражали какую-нибудь идею—это у него послѣдняя забота. Передъ его кар-

тинами мысль рождается сама собою, какъ передъ лицомъ природы. Сила его заключается въ таинственномъ дарѣ привлекать симпатію и пробуждать участіе къ предметамъ, мимо которыхъ, въ натурѣ, пройдешь безо всякаго вниманія. Онъ довольствуется первымъ встрѣчнымъ мотивомъ; старая лодка, вытащенная на песчаный берегъ, заросшій лопухомъ; топкій дворъ, покрытый дождевыми лужами, въ которыхъ отражается развѣшенное на веревкѣ тряпьё, и гдѣ барахтаются утки; узенькая улица съ перекосившимися старыми домами; полоска земли на краю моря, и надъ нею лучезарное воздушное пространство безъ облаковъ; сарай съ провалившеюся кровлей; скалистый обрывъ, въ который бьютъ волны и пѣна,— достаточны ему, чтобы написать картину, которую потомъ жадно будутъ вырывать другъ у друга охотники. Подъ кистью его, быстрою и какъ бы одушевленною, все получаетъ значеніе; камень, бочка, обломокъ крыши— принимаютъ печать чего-то жизненнаго, смотрятъ какъ-то умно и типично. Какъ колористъ, Бонингтонъ положительно не имѣетъ соперниковъ. По блеску и тонкой гармоніи красокъ, его «Турокъ», «Венеція», «Процессія монаховъ», — убиваютъ все, что сколько-нибудь приближается къ этому роду. Краска какъ-будто капаетъ съ его кисти; густо вездѣ наложенная и отливающая какъ серебро, она, при всей густотѣ своего слоя, какъ бы совершенно улетучивается; ея нигдѣ не видно; разсматривая небо въ картинахъ Бонингтона, глазъ встрѣчаетъ только пространство, мерцаніе свѣта, въ которомъ струями переливается паръ и ходитъ воздухъ. Какая прелесть его морскіе виды: «Видъ въ Нормандіи» и «Морской берегъ въ сѣверной Франціи»! Передъ ними такъ свободно дышется, что на минуту совершенно забываешься.

Произведенія Генсборо, Констебля, Тэрнера и Бонингтона знакомятъ васъ съ характеромъ и стремленіями остальныхъ пейзажистовъ и маринистовъ Англіи, во главѣ которыхъ находятся теперь Мюллеръ, Оксъ, Даніель, Дайсъ, Антони, Линель и другіе. Картина послѣдняго особенно осталась въ моей памяти: солнце только-что сѣло за холмы, разливая по небу багровое зарево; оно отсвѣчиваетъ на скатахъ и поляхъ, покрытыхъ жнивьемъ; въ этомъ золотисто-пурпуровомъ полусвѣтѣ нѣсколько женщинъ и мужчинъ убираютъ послѣдніе снопы; безъ темныхъ пятенъ и сильныхъ ударовъ свѣта, но только постепенными градаціями неуловимо-тонкихъ тоновъ полусвѣта и отраженій,—Линель успѣлъ придать фигурамъ такую рельефность, что онѣ кажутся Богъ знаетъ насколько отдаленными отъ послѣднихъ холмовъ въ глубинѣ картины; общее впечатлѣніе прелестно.

Но всѣхъ великолѣпныхъ ландшафтовъ здѣсь не пересчитаешь. Ихъ даже несравненно больше, чѣмъ картинъ жанра. Изъ этого я заключаю, что пейзажъ— самый любимый родъ живописи въ Англіи. Это объясняется тѣмъ, что вообще нѣтъ страны, гдѣ бы такъ любили природу, какъ въ Англіи. Надо видѣть, какимъ уваженіемъ пользуется здѣсь растительность; ничтожнѣйшее деревцо, брошенное случайно на лужайку, холится и бережется своимъ владѣльцемъ, будь онъ самый простой пахарь, съ отеческою нѣжностью; онъ ни за что не прикоснется топоромъ къ вѣткѣ, подъ предлогомъ, что она скосилась на сторону или лѣзетъ на его крышу; натуральная красота инстинктивно тѣшитъ его. Парки вельможъ, гдѣ все

точно также произрастаетъ на свободѣ, гдѣ ничего нѣтъ подстриженнаго, *исправленнаго*, какъ бываетъ въ паркахъ Франціи и Германіи, распространили мало-по-малу этотъ вкусъ и вмѣстѣ съ нимъ уваженіе къ естественнымъ прелестямъ растительности. Внутреннее влеченіе въ природѣ безъ вычуръ, но во всей ея первобытной наивной простотѣ, разумѣется, должно было холодно встрѣтить сочиненный, придуманный ландшафтъ классической школы и возбудить отвращеніе къ искусственнымъ ландшафтамъ во вкусѣ Буше, Ланкре и Патера; отъ національнаго искусства оно прежде всего требовало отвѣта національному чувству. Требованіе это имѣло своимъ послѣдствіемъ именно ту свободу, ту непринужденную естественность и правду, которыя даютъ такую оригинальную печать ландшафтамъ англійской школы.

Насколько національныя стремленія выразились въ пейзажѣ, настолько способствовали они здѣсь развитію той отрасли живописнаго искусства, которая, въ такой мѣрѣ, существуетъ только въ Англіи; я говорю о живописи животныхъ. Нигдѣ любовь къ нимъ не простирается такъ далеко, какъ въ Англіи. Не только улучшеніе породъ, но улучшеніе жизни животныхъ давно обратило на себя вниманіе общества. Конюшня, птичій и скотный дворъ—столько же здѣсь важные предметы хозяйства, сколько любимое развлеченіе и удовольствіе. Жизнь Англичанъ такъ уже сложилась, что все въ ней сближаетъ человѣка съ природой; бо́льшая часть года, проводимая внѣ городовъ, въ за́мкахъ, коттеджахъ, тѣсный семейный кругъ, сосредоточеніе у домашняго очага—все это, располагая искать развлеченій въ длинныхъ прогулкахъ, въ охотѣ по лѣсамъ и полямъ, сильно содѣйствуетъ такому сближенію; сочувствіе къ животнымъ необходимо вяжется съ любовью къ природѣ. Теперь Французы уже перестали сѣяться надъ страстью своихъ сосѣдей къ лошадямъ и собакамъ. Страсть эта, говорили они, доходитъ до того, что Британцы совершенно оправдываютъ поступокъ Магомета, который рѣшился скорѣе отрѣзать рукавъ своей одежды, чѣмъ разбудить заснувшую на немъ кошку. Французы сами стали теперь какъ-будто раздѣлять эту страсть Англичанъ. Неизвѣстно только, изъ какого источника выходитъ ихъ любовь къ животнымъ: изъ гуманнаго ли чувства или утилитарнаго.

Страсть къ животнымъ возбудила въ Англіи желаніе видѣть ихъ воспроизведенными искусствомъ. Нашлись живописцы, которые спеціально посвятили свой талантъ изображенію животныхъ. Между ними Ландсиръ довелъ этотъ родъ живописи до степени высокаго художества. Гравюра, литографія, акватинта, распространяя повсюду его произведенія, сдѣлали имя его извѣстнымъ въ Европѣ. Но гравюра даетъ слабое понятіе о талантѣ Ландсира; при всей своей отчетливости, она не уловляетъ всей тонкости выраженія; она не передаетъ, наконецъ, прелести письма и колорита, которыми такъ блещутъ его произведенія.

Художники, писавшіе до сихъ поръ животныхъ, не выключая Розы Бонеръ, Жадена, Тройона, смотрѣли на нихъ только съ точки зрѣнія живописнаго эффекта; они прежде всего заботятся о вѣрности внѣшняго матеріальнаго типа животныхъ; они превосходно передаютъ ихъ наружную форму, цвѣтъ рубашки, характеръ шерсти, отливъ кожи и т. д. Ланд-

сиръ, сверхъ того, даетъ своимъ героямъ душу, языкъ, страсти,—словомъ, личность. На картинахъ его, физіономія животнаго, даже взглядъ его, говоритъ иногда больше, чѣмъ его наружность. Онъ какъ-будто читаетъ въ ихъ задумчивыхъ зрачкахъ, вопросительно устремленныхъ на природу и на человѣка, проникаетъ ихъ помыслы, уловляетъ ихъ побужденія и желанія. Кто видѣлъ его картины, того не удивитъ разсказъ, будто бы какая-то женщина залилась слезами, разсматривая его картину: «Утка, у которой только-что зарѣзали селезня». Очень сожалѣю, что не было на выставкѣ картины его: «Отправка пастуховъ съ горъ въ нижнія долины»; это, говорятъ, лучшее его произведеніе. Впрочемъ, здѣсь было чѣмъ вознаградить себя за такую потерю. Картина, изображающая принца Альберта, который, прямо съ охоты, окруженный стаей собакъ, входитъ на террасу, гдѣ ожидаютъ его королева и дѣти, и другая — «Животныя на кузницѣ» — сами по себѣ два совершенства во всѣхъ отношеніяхъ: какая грація, какой колоритъ, сколько правды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какое искусное, мастерское письмо! Композиція послѣдней чрезвычайно проста: она представляетъ внутренность закопченой кузницы; на этомъ темномъ фонѣ стоитъ лошадь сѣро-молочнаго цвѣта съ могучими формами, на которыхъ тщательно вычищенная шерсть отливаетъ атласомъ: она повернула голову и довѣрчиво смотритъ на кузнеца, ухватившаго ея заднюю ногу; подлѣ стоитъ осленокъ самаго упрямаго, строптиваго вида; пунцовый цвѣтокъ, воткнутый ему за ухо какою-нибудь шаловливою деревенскою дѣвушкой, придаетъ его физіономіи невыразимо-комическое выраженіе; худощавая собака, изъ породы шавокъ, слѣдитъ за движеніями кузнеца и взглядомъ ловитъ отлетающія струпья отъ копыта, которое счищаетъ ея хозяинъ; надъ дверью въ клѣткѣ изъ хвороста щелкаетъ скворецъ; въ умныхъ глазахъ его едва замѣтнымъ бликомъ отражается небесная лазурь. Картина эта, исполненная самыхъ тонкихъ милыхъ деталей, показываетъ въ Ландсирѣ такого же великаго живописца, какъ и поэта. Здѣсь есть нѣсколько картинъ, которыя могли бы поставить Ландсира въ число превосходныхъ пейзажистовъ и жанристовъ.

Не считая Ансделя, Купера, Девида, Ланса, художниковъ съ замѣчательнымъ талантомъ, въ англійской школѣ множество еще другихъ болѣе или менѣе даровитыхъ живописцевъ, которые преимущественно пишутъ только животныхъ.

Мнѣ еще остается сказать вамъ объ акварелях. Вы знаете, что этотъ родъ играетъ въ Англіи почти такую же важную роль, какъ масляная живопись. Въ Лондонѣ ежегодно бываютъ двѣ большія выставки, состоящія спеціально изъ однѣхъ акварелей; въ зданіи международной выставки имъ посвящено большое отдѣленіе. Этотъ родъ называютъ здѣсь по всей справедливости національнымъ; онъ вошелъ въ употребленіе съ первыхъ годовъ, какъ началось здѣсь художество. Водяными красками писали Генсбора, Рейнольдсъ, Констебль, Тэрнеръ, Вонингтонъ—словомъ, всѣ великіе мастера Британіи. Число акварелистовъ такъ теперь значительно, что они составляютъ двѣ большія корпораціи, представляющія какъ бы двѣ отдѣльныя школы. Живопись водяными красками доведена здѣсь до такого высокаго совершенства, что многіе художники съ успѣхомъ примѣняютъ ее къ

изображенію большихъ сюжетовъ, требующихъ строгаго стиля. Сила свѣта и тѣни, блескъ колорита, энергія и густота тоновъ, строгость рисунка, широта письма, — все дѣлаетъ здѣсь изъ акварели не игрушку, не альбомное украшеніе, но серьезную отрасль искусства.

Акварели представляютъ здѣсь чуть ли еще не больше разнообразія, чѣмъ масляныя картины; вы переходите всѣ жанры, начиная отъ историческихъ библейскихъ сюжетовъ и кончая плодами и цвѣтами. Разнообразіе въ пріемахъ исполненія свидѣтельствуетъ, что акварелистами управляетъ принципъ совершенной независимости и личной свободы. Видно, что каждый дѣлаетъ посвоему, какъ знаетъ, не стѣсняясь никакими правилами, никакими соображеніями своихъ предшественниковъ или современниковъ; въ виду одно только: чтобъ у каждаго художника выходило такъ, какъ ему кажется удобнѣе и лучше. Одни, какъ Люисъ, Гагъ, Корбульдъ и Варренъ, — первый въ своихъ восточныхъ акварелях, послѣдніе три въ историческихъ сюжетахъ,—пишутъ тонко, отчетливо, почти миніатюрно, примѣшивая въ свѣтлыхъ частяхъ гуашъ. Другіе, какъ напримѣръ Катермоль и Гопгамъ, не только не употребляютъ бѣлилъ, но пишутъ какъ-будто одною чуть-чуть подкрашенною водою: до того легки и прозрачны ихъ картины. Третьи, какъ Фильдингъ въ своихъ морскихъ видахъ, весьма схожихъ съ такими же картинами Бонингтона, и Прàутъ (Prout) въ своихъ ландшафтахъ,—пишутъ сочно, но окончено, и только одними соковыми красками; словомъ, здѣсь все найдете, всѣ манеры, всѣ извѣстные и незнакомые способы, всѣ стили и жанры. Многія изъ этихъ акварелей поражаютъ громадностью своихъ размѣровъ.

Принимая въ соображеніе трудность акварельнаго искусства, гдѣ все должно быть сдѣлано сразу, гдѣ малѣйшій промахъ остается неизгладимымъ, неисправимымъ пятномъ, и сравнивая его съ масляною живописью, нельзя не пожалѣть, что такое множество блестящихъ талантовъ довѣряютъ свой трудъ бумагѣ и краскамъ, которыя такъ непрочны, такъ скоро истребляются временемъ.

Послѣ всего сказаннаго здѣсь объ англійской живописи, вы согласитесь, вѣроятно, что она заслуживаетъ больше вниманія противъ того, какъ вы думали прежде и какъ старались увѣрить васъ въ этомъ французскіе критики. Уже со времени Манчестерской выставки дѣло, какъ видно, приняло другой оборотъ; Планшъ, Бланъ, Мерсе и другіе сдѣлались гораздо снисходительнѣе; международная выставка окончательно перемѣнила ихъ мнѣніе. Жаль, что у насъ вообще мало читаютъ и пишутъ объ искусствѣ. Нѣмецкіе писатели, Бюргеръ и Вагенъ, давно отдали полную справедливость англійскому искусству. Но если бы вы даже не захотѣли принять къ свѣдѣнію всѣхъ этихъ критиковъ, и заподозрили меня въ пристрастіи къ англійскимъ живописцамъ,—вы все-таки должны будете заключить, что мнѣніе, будто англійское искусство маловажно и что сами Англичане скудно надѣлены артистическимъ чувствомъ,—не имѣетъ положительно никакого основанія. Дѣло выходитъ не изъ моихъ описаній и личнаго вкуса,—но изъ самихъ фактовъ. Рейнольдсъ, Гогартъ, Генсборо, Констебль, Вильки, изъ старыхъ, — Лауренсъ, Гонтъ, Мюльреди, Фритъ, Бонингтонъ и множество другихъ изъ молодаго поколѣнія — достаточно,

кажется, свидѣтельствуютъ, что ни въ одной школѣ, и въ такое короткое время, не было такого множества первоклассныхъ талантовъ.

Эти имена обличаютъ всю несостоятельность аргумента, который хватался обыкновенно за климатъ и темпераментъ, какъ главныя препятствія, мѣшающія будто бы развитію искусства на сѣверѣ; они доказываютъ, вмѣстѣ съ Голландцами и Фламандцами, что климатъ и темпераментъ, способствуя, конечно, болѣе или менѣе процвѣтанію преимущественно одного рода передъ другимъ,—нисколько не мѣшаютъ вообще успѣхамъ художества, — не мѣшаютъ даже высказываться той сторонѣ его, которая, въ туманахъ и снѣгахъ, всего менѣе, кажется, могла бы найдти мѣсто, — именно силѣ колорита и блеску красокъ.

Пройдя въ памяти все то, что уже сдѣлало здѣсь искусство, можно утвердительно сказать, что все ручается здѣсь за будущее преуспѣваніе искусства.

Жизненная обстановка, сосредоточенность и разумное спокойствіе ума и нравовъ, атлетическое сложеніе англо-саксонской расы, возбуждающее даже въ образованномъ кругу уваженіе къ породѣ и физической силѣ,— все доказываетъ, что въ настоящее время Англичане ближе къ природѣ, ближе къ идеалу красоты, чѣмъ другіе народы. Если, при красотѣ формъ, наружный типъ Британца блѣднѣе и не такъ выразителенъ, какъ у Италіанца,—въ замѣнъ этого на каждомъ шагу встрѣчаются здѣсь женщины, которыя своею величавою, энергическою или нѣжною красотою могли бы служить моделью для Фидія и Праксителя; на каждомъ шагу встрѣчаются юноши, приводящіе на память Антиноя и молодаго Бахуса. А дѣти!— дѣти такъ хороши, какъ ангелы на картинахъ Фра-Анджелико, Перуджино и Рафаэля. Соединеніе этой изящной красоты формъ, очертаній, свѣжести и блеска кожи, съ выраженіемъ поэтической задумчивости въ ихъ голубыхъ глазахъ, отѣненныхъ шелковистыми рѣсницами, производятъ ту идеально-поэтическую комбинацію, которую уловили отчасти Лауренсъ въ портретѣ молодаго Ламбтона, Рейнольдсъ въ лицѣ Нелли Обрайнъ, Генсборо въ молоденькой дѣвушкѣ съ бѣлымъ платьемъ, и т. п. Рѣдкое сочетаніе совершеннѣйшихъ формъ природы, безъ сомнѣнія, сильно должно способствовать англійскимъ художникамъ приблизиться къ тому высокому идеалу, къ которому уже многіе,—и Гонтъ между прочимъ,—начали прокладывать дорогу.

Твердость въ стремленіи къ своей цѣли, стойкость и послѣдовательность въ убѣжденіяхъ,—столь свойственныя національному характеру,— въ соединеніи у художниковъ съ врожденнымъ талантомъ и благородствомъ стремленій, очищенныхъ высокимъ просвѣщеніемъ,—все это поддерживаетъ увѣренность въ блестящемъ будущемъ, которое предстоитъ искусству въ Британіи.

# ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
# ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ КЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
## НА ВСЕМІРНОЙ ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКѢ
## 1867 ГОДА.

---

На всемірной Лондонской выставкѣ 1851 г. былъ первый разъ поднятъ вопросъ о необходимости художественнаго образованія между промышленными классами общества.

Вопросъ былъ поднятъ Англичанами. Главнымъ поводомъ служило слишкомъ явное преимущество тѣхъ отраслей французскаго производства, значеніе которыхъ возвышается отъ степени сближенія ихъ съ художествомъ.

На чемъ же основывались эти преимущества? Отчего столько времени пользовалась ими Франція, а не другое государство?

Никто не сомнѣвался, что генію каждой націи свойственны особые оттѣнки, и вкусъ есть уже, такъ сказать, патентованное свойство Французовъ; но каждый, даже незанимавшійся вопросомъ художества, зналъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что одного вкуса еще недостаточно для достиженія такихъ результатовъ; вкусъ есть только одна изъ многочисленныхъ сторонъ вообще художественнаго чувства.

Тутъ дѣло, очевидно, заключалось въ особомъ умѣньи Французовъ возбуждать природныя свойства націи, постоянно ихъ развивать и поддерживать.

Все это было совершенно справедливо; но справедливо было и то также, что изящныя отрасли французской промышленности, не встрѣтившія соперниковъ на выставкѣ 1851 г., были сами по себѣ далеко не безупречны; онѣ были лучше другихъ только сравнительно. Съ этимъ сознавались сами Французы, вообще мало расположенные произносить себѣ приговоры. Многіе выставочные отчеты за 1851 г., писанные французскими экспертами, указывали даже на признаки явнаго упадка. Они говорили,

что если не примутъ въ скоромъ времени существенныхъ мѣръ для улучшенія художественной промышленности, государство можетъ легко лишиться той части своей производительности, которая въ теченіе двухъ съ половиною столѣтій составляла одну изъ самыхъ важныхъ группъ въ ея исторіи труда и торговли.

Изъ этого само собою слѣдовало, что все, что могло служить къ усовершенствованію этихъ важныхъ отраслей, далеко еще не было такъ совершенно и во Франціи. Въ чемъ же заключались эти недостатки? Ихъ надобно, конечно, искать въ худомъ состояніи художественнаго образованія промышленнаго класса.

Во Франціи въ послѣднее полустолѣтіе оно дѣйствительно находилось въ томъ положеніи, что имъ не могли пользоваться настоящимъ образомъ даже тѣ классы общества, которые спеціально посвящали свой трудъ изящному производству. Ихъ знакомили не столько съ художествомъ, сколько съ какою-нибудь изъ его отраслей; узкая эта доля, передаваясь по наслѣдству отъ отца къ сыну, отъ мастера къ ученику, и ограничиваясь спеціальною частью, весьма натурально, ограничивала общія понятія производителя, стѣсняла просторъ творческой способности и мало-по-малу превращала его въ механическаго рутиннаго труженика. Система спеціальнаго обученія приводила къ усовершенствованію мелочныхъ частей, деталей, во вредъ цѣлому, общему созданію предмета; недостатокъ этотъ отражался даже на лучшихъ произведеніяхъ французскаго производства, украшавшихъ выставку 1851 года. Черта эта, между тѣмъ, не встрѣчается, не говоря уже въ древнемъ искусствѣ того же характера, но, напримѣръ, въ XV и XVI вѣкахъ, въ эпоху возрожденія и процвѣтанія всего художественнаго, когда лица, занимавшіяся производствомъ изящнаго, обнимали, болѣе или менѣе, всѣ стороны художественнаго образованія; она не встрѣчается даже во французскомъ изящномъ производствѣ XVII и XVIII-го столѣтій.

Всѣ эти доводы возбудили горячія пренія о томъ, какъ поправить дѣло. Вопросъ систематическаго художественнаго образованія явился уже какъ слѣдствіе этихъ преній; онъ не замедлилъ сгруппировать вокругъ себя множество лицъ всякаго рода; во главѣ ихъ сталъ принцъ Альбертъ и г. Коль, теперешній директоръ Кенсингтонскаго музеума.

Попавъ въ руки личностей въ высшей степени энергическихъ и дѣятельныхъ — личностей, одушевленныхъ, сверхъ того, высокою патріотическою мыслью, — вопросъ скоро разработался, окрѣпъ и принялъ самые обширные масштабы.

Собственно говоря, сознаніе основной мысли давно существовало; во Франціи въ разное время было даже сдѣлано много попытокъ практическаго приложенія; но все это, по тѣмъ или другимъ причинамъ, принимало видъ частнаго, случайнаго факта, касалось или отдѣльныхъ лицъ, или спеціальныхъ кружковъ, разъединенныхъ съ общей обширной семьей работающаго промышленнаго сословія.

Заслуга Англичанъ, поднявшихъ дѣло, состояла въ томъ, что они сдѣлали изъ частнаго вопроса, обращавшагося сначала только къ выгодамъ промышленности, вопросъ широкаго общественнаго значенія.

Новая программа не ограничивалась тѣмъ классомъ, который посвящаетъ себя отраслямъ художественнаго производства; она заключала въ себѣ цѣлую систему художественнаго воспитанія; оно должно было распространяться на всѣ сословія англійскаго общества, должно было проникать въ самыя глухія части Великобританскаго государства; мысль была при этомъ такая, что кто знаетъ?—этимъ способомъ можно будетъ вызвать къ дѣятельности такія личности, которыя, отъ недостатка случая, или отъ невозможности достать тутъ же, подъ рукою, способы къ развитію, — не подозрѣваютъ въ себѣ признака дарованія. Недостатокъ этихъ случаевъ лишаетъ, безъ сомнѣнія, общество многочисленныхъ полезныхъ дѣятелей!

Не касаясь глубокой человѣчности такой мысли, она была удивительно практична, потому что основывалась на свойствахъ человѣческой природы, которой вообще присуще чувство художества.

За доказательствами ходить недалеко; они краснорѣчиво подтверждаются, пожалуй, хоть самой исторіей промышленнаго производства; связь его съ художествомъ единовременна не только всякаго рода производительности въ томъ правильномъ видѣ, какъ она теперь является, но началу производства предметовъ, выражающихъ первѣйшія потребности человѣка.

Не прикасаясь къ драгоцѣннымъ остаткамъ разнаго рода издѣлій у древнихъ, стоитъ обратить вниманіе на образцы дикихъ племенъ, лишенныхъ первыхъ элементовъ цивилизаціи; не ясно ли они доказываютъ, какъ сильно человѣкомъ управляетъ потребность украшать издѣлія рукъ своихъ? Потребность эта есть именно то врожденное чувство къ художеству, которое, во что бы ни стало и на чемъ бы ни было, ищетъ только случая высказаться. На послѣдней выставкѣ, въ отдѣлѣ парка, въ коллекціи, устроенной миссіонерами, находилось множество издѣлій, принадлежащихъ дикимъ племенамъ Австраліи и жителямъ Тихаго океана; не только предметы религіознаго назначенія, предметы любви и поклоненія, исполненіе которыхъ требовало особеннаго усердія руки и усилія воображенія, но даже предметы самаго обиходнаго употребленія покрыты были тончайшими рѣзными или плетеными узорами самой прихотливой орнаментаціи. На той же выставкѣ, въ русскомъ отдѣлѣ, помѣщались костюмы Орочанъ, жителей Чукотскаго мыса, Якутовъ, обитателей тѣхъ полярныхъ странъ, гдѣ самая матеріальная обстановка поставляетъ величайшія препятствія для какого бы то ни было развитія, гдѣ солнце на нѣсколько недѣль замѣняется свѣтомъ жирника; одежда ихъ, между тѣмъ, покрыта была узорами часто такой счастливой комбинаціи, что ихъ съ жадностью срисовывали современные орнаментисты.

Естественная эта потребность не удовлетворяться предметомъ первой необходимости, перваго вида, но стараться придать ему форму, украсить его рисункомъ, сдѣлать его красивымъ по своему понятію—все это само собою положило начало связи художества съ промышленностью; развитіе послѣдней, которое идетъ всегда рядомъ съ развитіемъ общества, ясно уже указало на выгоды такой связи и сильнѣе ее упрочило.

Ткани, оружіе, гончарное дѣло, мебель, утварь всякаго рода — все

это у всѣхъ народовъ и во всѣ времена знаменательно подтверждаетъ силу прирожденнаго художественнаго чувства; все это имѣло успѣхъ, получало сбытъ, конечно, не столько въ силу матеріальнаго качества, сколько въ силу внѣшняго вида предметовъ, красоты рисунка, формы, сочетанія красокъ, изящества отдѣлки—словомъ, на сколько трогало художественное чувство.

Но вопросъ приложенія художества къ выгодамъ промышленности былъ въ первое время на второмъ планѣ. Задача состояла пока въ томъ какимъ образомъ воспользоваться этимъ врожденнымъ чувствомъ, какимъ образомъ развить его и направить.

Для этого однѣхъ школъ было недостаточно. Не считая, что школьное образованіе большею частью налагаетъ свою печать и часто дѣйствуетъ во вредъ развитію оригинальныхъ, самобытныхъ способностей, въ школѣ, какъ бы она ни была хороша, есть всегда что-то сухое, рутинное; школа, наконецъ, есть уже нѣкоторымъ образомъ вторая ступень; надо сначала тронуть чувство къ художеству и разбудить его. Съ такою цѣлью лучше всего поставить общество непосредственно лицомъ къ лицу съ художествомъ, дать ему живое представленіе изящнаго во всѣхъ его видахъ, формахъ, проявленіяхъ. Достигнуть этого можно только распространеніемъ въ государствѣ музеумовъ; ихъ слѣдовало такъ устроить, чтобы они служили самой популярной, самой любимой прогулкой для лицъ всѣхъ званій и положеній. Рисовальныя и техническія школы сами по себѣ; онѣ явятся по мѣрѣ надобности; но прежде всего—видъ изящнаго; этимъ способомъ дѣйствительнѣе можно будетъ коснуться художественнаго нерва, успѣшнѣе можно будетъ подѣйствовать въ пользу его побужденія, чѣмъ школьное систематическое обученіе.

Лучшее доказательство, какъ много было въ этой программѣ существенно живаго, заключается въ томъ, что оно возбудило всеобщее сочувствіе и получило вдругъ огромную популярность. Мимо ея очевидной практичности, она отвѣчала духу времени, отвѣчала самымъ живымъ стремленіямъ вѣка, одна изъ задачъ котораго въ томъ, чтобы обобщать знаніе, дѣлать его доступнымъ для всѣхъ и тѣмъ призвать къ жизни всѣхъ членовъ общества. Популярность программы способствовала къ ея быстрому распространенію и даже примѣненію. Многія государства Европы тогда же поспѣшили ею воспользоваться; въ Англіи значительныя суммы были составлены для приведенія ея въ дѣйствіе.

Каждая часть программы нашла своихъ горячихъ приверженцевъ. Частныя лица съ одной стороны, правительство съ другой, принялись наперерывъ распространять способы художественнаго воспитанія, учреждать школы, основывать спеціальныя образовательныя коллекціи по всѣмъ отраслямъ художественнаго и техническаго знанія, открывать курсы или чтенія для вольнослушателей, и т. д.

Все, что было до-сихъ-поръ сдѣлано Англіей для достиженія предпринятой цѣли, изложено будетъ ниже. Относительно результатовъ, имѣвшихъ вліяніе только на промышленность, достаточно сказать, что послѣдняя съ выставки 1851 года сдѣлала такой огромный шагъ въ томъ именно, чего ей недоставало, т. е. въ художествѣ, что в) многихъ своихъ отра-

сляхъ сравнялась съ французскою; успѣхъ былъ такъ быстръ, такъ очевиденъ, что началъ тревожить Французовъ еще на выставкѣ 1862 года.

Успѣхи, также весьма значительные, хотя и не столь явные, выказаны были затѣмъ, и благодаря той же заботливости распространять художественное образованіе, въ Германіи, Бельгіи, Швеціи, Норвегіи и Даніи. На послѣдней выставкѣ 1867 года успѣхъ Австріи былъ предметомъ всеобщаго удивленья; по отзыву всѣхъ экспертовъ, лицъ посвященныхъ въ дѣло, и наконецъ, самыхъ экспонентовъ, успѣху точно также обязаны спеціальнымъ музеумамъ и школамъ, такъ недавно еще учрежденнымъ въ Австріи.

Цѣль настоящей статьи заключается въ томъ, чтобы изложить главнѣйшіе способы художественнаго образованія, принятые во Франціи и Англіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ указать, на сколько отразились они въ промышленности и были ей полезны собственно въ артистическомъ отношеніи.

Выставка 1867 года во многомъ облегчила такой трудъ.

Половина одной изъ эллиптическихъ галлерей внутри зданія исключительно была посвящена предмету художественнаго образованія. Устройство этого отдѣла, столь важнаго по смыслу своему, принадлежитъ къ большимъ заслугамъ выставки 1867 года, и надо сказать, изученію его много способствовала система классификаціи, принятая императорскою коммиссіею; соединеніе предметовъ однороднаго характера по группамъ, или классамъ, и распредѣленіе послѣднихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, такъ что одинъ и тотъ же классъ каждой націи шелъ другъ подлѣ друга — все это давало возможность основательно сосредоточиться на предметѣ изученія, позволяло тутъ же, на мѣстѣ, сличать одно съ другимъ и дѣлать самые полные выводы сравнительно успѣха.

Система расположенія представляла еще другія выгоды для изученія предмета, который насъ теперь занимаетъ. Отдѣлъ художественнаго образованія въ каждомъ государствѣ шелъ параллельно третьей группѣ, заключавшей въ себѣ почти всѣ отрасли артистическаго производства.

Первая половина представляла въ рисункахъ, слѣпкахъ, моделяхъ всякаго рода всевозможныя методы преподаванія въ рисовальныхъ спеціальныхъ школахъ; тутъ вы проходили всю гамму чертежнаго дѣла отъ первыхъ элементарныхъ листовъ начинающаго ученика до мастерскихъ композицій, созданныхъ часто тѣмъ же ученикомъ въ послѣдующее время; не было такой пластической формы, такого стиля и орнамента, который бы не явился здѣсь тысячу разъ перечерченнымъ, тысячу разъ переработаннымъ заботливою рукою, искавшею новыхъ комбинацій, новыхъ примѣненій; вы присутствовали при первомъ зародышѣ мысли, выраженной карандашомъ, и находили далѣе ту же мысль, окончательно уже созрѣвшую, развитую, готовую служить для ткани, для отпечатка на бумагѣ, утвари, мебели и т. д. Изученіе искусства во всѣхъ его видахъ, распространеніе художественнаго знанія и приспособленіе его къ дѣлу промышленнаго производства, являлось здѣсь главною основною задачею. Тутъ находилась также цѣлая библіотека книгъ всякаго рода, спеціальныхъ альбомовъ, брошюръ, изданныхъ съ тѣмъ, чтобы дополнить знаніе и досказать ту пропаганду, которая начата рисунками и моделями.

Противоположная половина галлереи открывала, между тѣмъ, на огромное пространство глубокія перспективы, увѣшанныя роскошными коврами и тканями, уставленныя группами произведеній золотаго и серебрянаго дѣла, мозаикой, бронзой, ювелирными издѣліями, мебелью, эмалью — словомъ, всѣми тѣми предметами, усовершенствованіе которыхъ въ полной зависимости отъ степени художественнаго образованія производителя.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, вамъ представлялось начало: вы видѣли приготовленіе, процессъ постепеннаго развитія; съ другой, вы поставлены были лицомъ къ лицу съ приложеніемъ подготовки и ея прямымъ, конечнымъ результатомъ.

Между европейскими государствами, Франціи принадлежитъ, по всей справедливости, старшинство въ дѣлѣ *систематическаго* усовершенствованія художественныхъ отраслей промышленности. Мы начнемъ нашъ обзоръ съ ея отдѣла, который, къ тому же, и самый обширный.

## ФРАНЦІЯ.

Мы уже имѣли случай замѣтить всю неосновательность мысли, что многія отрасли французской промышленности обязаны артистическимъ своимъ достоинствомъ врожденному вкусу производителей. Такъ думаютъ особенно у насъ, гдѣ вообще дѣло художественнаго образованія пока еще въ зародышѣ, а большинству — надо правду сказать — даже и во снѣ не грезилось. Слово: вкусъ рѣшаетъ всѣ затрудненія; но легче, конечно, произнести его, чѣмъ разсудить, что вкусъ, какъ и всякое свойство человѣка, производительно тогда лишь, когда подвергается старательному развитію.

Много лѣтъ назадъ, когда дороги во Франціи были такъ же непроходимы, плохи, какъ теперь отъ Саратова до Арзамаса и отъ Арзамаса во многія еще стороны, отрасли изящной промышленности обращали уже такъ на себя заботливое вниманіе общества и правительства; вопросъ художественнаго образованія, разсматриваемый какъ средство, которое вноситъ новый элементъ силы въ промышленность, улучшаетъ вкусъ ея издѣлій и тѣмъ возвышаетъ ихъ значеніе, былъ уже тогда живымъ вопросомъ.

Кольберъ, министръ Лудовика XIV-го имѣлъ постоянно въ виду такую мысль; онъ не пропускалъ случая приводить ее въ дѣйствіе; зорко слѣдя въ своемъ отечествѣ за успѣхомъ, онъ являлся горячимъ покровителемъ вездѣ, гдѣ только замѣчалъ возникновенія полезной отрасли. Едва начинается въ Руанѣ фаянсовое производство, Кольберъ посылаетъ мѣстному губернатору предписаніе, отмѣченное 1663 годомъ: «оказать самое сильное покровительство фаянсовой фабрикаціи Руана, возбудить соревнованіе между фабрикантами, *снабдить ихъ лучшими рисунками* и пригласить ихъ работать для королевскаго дома» *). Мало того, все съ тою

*) Рѣчь Потье, при открытіи въ Руанѣ керамическаго музеума.

же мыслью возбужденія, Кольберъ пользуется особенно счастливой минутой и склоняетъ короля замѣнить на время золотую и серебряную посуду дворцоваго стола фаянсовой посудой руанскаго производства. «Le roy, пишетъ Сенъ-Симонъ, délibéra de se mettre en fayence». Съ этой минуты весь дворъ, вся аристократія принялись заказывать посуду въ Руанѣ; производство, принявъ самые обширные размѣры, само собою должно было улучшиться въ виду своихъ роскошныхъ потребителей. То же сдѣлалъ Кольберъ въ отношеніи къ производству кожаныхъ тисненыхъ обоевъ, которое возникло тогда во Франціи по примѣру Фландріи. Въ этихъ лаконическихъ предписаніяхъ великаго министра заключается вся тайна неожиданнаго развитія и быстраго усовершенствованія многихъ отраслей французской промышленности.

Въ томъ же духѣ, какъ Кольберъ, но уже независимо отъ правительства, дѣйствуютъ многія частныя лица. Въ томъ же XVII-мъ столѣтіи, любитель художествъ, г. де-Шарнуа, основываетъ въ Парижѣ «общество друзей искусства».

Цѣлью общества, принявшаго впослѣдствіи названіе академіи, было— собирать въ одинъ центръ лучшихъ художниковъ, возбуждать ихъ къ труду, потомъ общими силами распространять ихъ работы и такимъ образомъ приносить двоякую пользу: снабжать хорошими рисунками промышленниковъ, вносить вкусъ въ производство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, развивать вкусъ въ самихъ потребителяхъ.

Мысль г. де-Шарнуа не могла, конечно, не принести полезныхъ результатовъ. Частная ассоціація академіи положила во Франціи первое основаніе систематическаго художественнаго образованія. По ея примѣру, въ серединѣ XVII-го столѣтія возникаютъ, одно за другимъ, такія же общества въ главныхъ городахъ государства, въ Бордо (1676 г.), въ Нанси (1702 г.), въ Руанѣ (1741 г.), въ Реймсѣ (1748 г.), въ Тулузѣ (1750 г.). Марсель, Аньенъ. Ліонъ, Дижонъ соперничаютъ, устроивая у себя такія же учрежденія. Однимъ словомъ, уже въ 1770 г. считалось въ провинціальныхъ городахъ Франціи *десять* академій, въ которыхъ рисовальное искусство преподавалось совершенно свободно — сколько даже кажется, судя по отчетамъ, — еще полнѣе, еще практичнѣе, чѣмъ въ коммунальныхъ школахъ настоящаго времени. Чтобы усилить дѣйствіе академій, было тогда же придумано устроивать при нихъ ежегодно публичныя художественныя выставки. Провинціальныя эти учрежденія были въ высшей степени полезны, какъ самому искусству во Франціи, такъ и промышленности; они умножили хорошихъ рисовальщиковъ и самымъ незамѣтнымъ образомъ развивали оттѣнки мѣстнаго локальнаго художества; оттѣнки эти, съ умноженіемъ художниковъ, переходили также незамѣтно въ издѣлія фабричнаго производства.

Развитіе этихъ мѣстныхъ оттѣнковъ было весьма важно: оно образовало множество типовъ, которые отмѣчаютъ всѣ роды французскихъ произведеній и даютъ имъ столько разнообразія и художественнаго значенія. Такъ, напримѣръ, рѣзкій отпечатокъ въ характерѣ, рисункѣ, раскраскѣ, формѣ отличаетъ фаянсовое, фарфоровое и вообще гончарное производство Руана, Марселя, Невера. Мустье, Севра, Авиньона и т. д.;

ту же разницу встрѣчаешь въ тканяхъ и мебели; то, что производилось въ Парижѣ, отличается рѣзкими особенностями противъ того, что въ ту же эпоху исполнялось въ Нормандіи, и послѣднее не похоже на предметы, выходившіе изъ Лиможа и Ліона.

Частныя академіи исчезли во время первой французской революціи; дѣйствіе ихъ, между тѣмъ, было такъ осязательно-полезно, онѣ заявили себя такъ ярко, какъ двигатели къ развитію промышленности и, слѣдовательно, національнаго богатства, что вопросъ о ихъ возобновленіи возникъ, какъ только Франція пришла снова въ нормальный порядокъ.

Одною изъ первыхъ заботъ директоріи было учрежденіе въ разныхъ частяхъ государства рисовальныхъ школъ, спеціально предназначенныхъ для усовершенствованія промышленности; вскорѣ самыя эти школы найдены были недостаточными для образовательной цѣли; въ 1803 году рѣшено было образовать художественные музеумы во всѣхъ городахъ, гдѣ находились лицеи. «Дабы — сказано въ оффиціальной запискѣ министра внутреннихъ дѣлъ Бенезѣ (Bénézech), адрессованной въ центральную парижскую художественную администрацію — дабы открыть на всѣхъ пунктахъ государства центры просвѣщенія». Во время консульства рѣшено было умножить рисовальныя школы въ самыхъ населенныхъ и промышленныхъ центрахъ Франціи.

Заботливыя распоряженія правительства встрѣтили значительную поддержку со стороны самого общества; вездѣ возникали новыя общества любителей, подобныя тѣмъ, какія были прежде; открывались частныя школы, устроивались мастерскія, гдѣ часто художественный вопросъ былъ на первомъ планѣ.

Надо замѣтить, что всѣ эти старанія развивать вкусъ и чувство изящнаго обращались къ обществу, которое уже самой природой надѣлено вкусомъ и вообще большою воспріимчивостью; не считая этого, Франція принадлежитъ къ націямъ, въ памяти которыхъ никогда не изглаживались преданія искусства. Благодаря своей исторической жизни, страна представляетъ цѣлый музей великолѣпныхъ памятниковъ по всѣмъ родамъ художества; все это само собою уже способствовало къ развитію въ націи художественнаго инстинкта, пріучило ее смотрѣть на искусство какъ на необходимый, естественный элементъ въ жизни.

Не имѣя въ мысляхъ разсказывать здѣсь исторію художества во Франціи, мы должны, однакожъ, прибавить, для поясненія нашей мысли, что Франція уже въ XIII-мъ столѣтіи имѣла отрасли искусства, которыя стояли уже тогда на высокой степени развитія. Степень ранней художественной подготовки доказывается лучше всего тѣмъ, что уже въ 1245 г. могли находиться въ Парижѣ такіе художники, какъ, напримѣръ, Пьеръ Монтро, строитель Святой часовни въ Парижѣ. Высокое изящество зданія — само собою; главное дѣло въ томъ, что сюда вошли расписныя стёкла, ткани, утварь, поливныя кафли, рѣзьба изъ кости и дерева, и еще многія другія отрасли, которыя совершенствомъ своимъ доказываютъ, какъ уже обширно было во Франціи художественное развитіе въ то время, когда въ другихъ государствахъ едва складывалась гражданская жизнь. Въ XV-мъ столѣтіи въ Руанѣ существовало болѣе ста мастерскихъ золо-

таго и серебрянаго дѣла; онѣ еще тогда требовали особеннаго штемпеля для предохраненія своихъ произведеній отъ поддѣлки. На такой же степени стояла фабрикація гончарнаго дѣла, шелковыхъ тканей, протканныхъ серебромъ и золотомъ. Привиллегіи, которыми онѣ пользуются со стороны Франциска I, Генриха II и Генриха IV, свидѣтельствуютъ о ихъ значеніи.

Издѣлія французской промышленности, имѣющія теперь такой сбытъ, благодаря ихъ красотѣ и вкусу, пользовались уже большою репутаціею и разбирались на рынкахъ Европы еще до итальянскаго вліянія во Франціи; послѣднее дало французскому искусству болѣе обширное развитіе, но было вредно его самобытному характеру.

Художественное образованіе, возобновленное во время директоріи, не переставало усиливаться. Въ 1827 году г. Монфоконъ основываетъ въ Авиньонѣ «Общество друзей искусства»; въ городѣ существовала рисовальная школа; общество беретъ ее подъ свое покровительство, выписываетъ лучшихъ профессоровъ, орнаментистовъ и платитъ имъ отъ себя жалованье; оно учреждаетъ при школѣ ткацкую мастерскую, которая даетъ вскорѣ самые блистательные результаты.

Распространеніе художественнаго образованія получило новую силу послѣ переворота 1830 года. Множество частныхъ лицъ, проживавшихъ въ провинціи и занимавшихся собираніемъ коллекцій, пробужденныя новыми началами конституціи, дававшей имъ право прямаго участія въ интересахъ національныхъ, обратили свое знаніе и свои коллекціи на общественную пользу. Общества разнаго рода, имѣющія цѣлью поддержать чувство художества и распространенія вкуса, музеумы, частныя выставки, школы открываются одни за другими въ Страсбургѣ, Марсели, Нимѣ, Бордо и т. д. Имѣя одну общую цѣль, руководимыя болѣе или менѣе однимъ направленіемъ, провинціальныя эти общества весьма схожи между собою: всѣ имѣютъ характеръ совершенно частныхъ учрежденій, поддерживаются добровольными денежными взносами и сборами съ постоянныхъ выставокъ и входомъ въ музеумы; единственная ихъ точка соприкосновенія съ правительствомъ заключается въ томъ, что послѣднее ежегодно выдаетъ имъ на поддержку извѣстную денежную сумму.

Факты, здѣсь выставленные, ясно говорятъ, кажется, что если вкусъ и расположеніе къ искусству врождены Французамъ, то и другое попало, какъ говорится, на благодарную почву; способности не пропали даромъ; ихъ поняли и ими умѣли воспользоваться. Мы видѣли, сколько заботливости, сколько жертвъ и усердія приложено было, чтобы возбуждать и поддерживать то, что дано было природою.

Въ настоящее время вопросъ художественнаго образованія принялъ во Франціи еще болѣе обширные размѣры; онъ окончательно пришелъ въ ясность, установился и сталъ популярнымъ; къ такимъ результатамъ привелъ шагъ, сдѣланный вообще просвѣщеніемъ; много также помогла тому инціатива, взятая такъ энергически Англіей въ 1851 году. Теперь общество и правительство соперничаютъ другъ передъ другомъ, стараясь умножать и обогащать музеумы, распространяя вездѣ школы, открывая повсюду артистическія выставки. Въ этомъ направленіи, которому сочув-

ствуетъ все образованное общество, которому аплодируетъ вся пресса, чувствуется даже что-то лихорадочное, спѣшное, чувствуется какъ-будто опасеніе быть въ этомъ отношеніи опереженными другими націями. Успѣхи Англіи—успѣхи, которые дѣлаются очевиднѣе съ каждой новой выставкой, пугаютъ Францію. Тревога поднялась еще въ 1862 году. Вотъ, между прочимъ, замѣтки, встрѣчаемыя въ отчетахъ выставки 1862 года: «....съ выставки 1851 г., и даже той, которая была въ 1855 г., мало протекло времени, а между тѣмъ успѣхъ неисчислимый сдѣланъ Европой. Хотя собственно мы и не остановились въ этомъ движеніи впередъ, мы не можемъ, не должны скрывать, что намъ трудно уже сохранять наши прежнія преимущества; мало того, будемъ откровенны: преимущества эти замѣтно даже слабѣютъ. Несмотря на успѣхи нашихъ фабрикантовъ, мы считаемъ долгомъ сказать имъ, что пораженіе возможно, что оно уже предчувствуется въ неотдаленномъ будущемъ; имъ необходимо теперь же собрать всѣ свои силы и начать дѣйствовать энергически; преимущества, которыми пользовалась до-сихъ-поръ наша промышленность, сохраняются только въ силу постояннаго усовершенствованія. Промышленность Англіи особенно, столь еще слабая въ артистическомъ отношеніи на выставкѣ 1851 года, сдѣлала въ десять лѣтъ такіе невѣроятные успѣхи, что если она будетъ продолжать такъ развиваться, мы въ скоромъ времени легко можемъ быть опережены!...» *).

«Гдѣ способы, чтобы остановить начинающуюся борьбу? Центральная наша школа доставляетъ инженеровъ во всѣ большіе заводы; школы рисованія даютъ художниковъ всѣмъ нашимъ фабрикантамъ. Существуютъ въ Парижѣ консерваторія искусствъ и ремеслъ, консерваторія музыки и декламаціи; почему бы не устроить консерваторіи-музеума для развитія художественнаго знанія въ примѣненіи къ издѣліямъ промышленнаго производства? Рисовальныя школы существуютъ, конечно, во всѣхъ нашихъ большихъ городахъ; но сколько еще остается важныхъ промышленныхъ центровъ, лишенныхъ такихъ учрежденій! Въ самихъ школахъ, если взглянуть внимательно, какъ мало еще понимаютъ науку рисованія въ ея непосредственномъ примѣненіи къ издѣліямъ промышленности! Есть ли одна, напримѣръ, гдѣ бы преподавали гармонію красокъ, или теорію сочетанія цвѣтовъ?...» **).

Нельзя не отдать здѣсь справедливости національному чувству Французовъ и ихъ воспріимчивости; замѣчанія эти произвели зажигательное дѣйствіе; они тотчасъ же были подхвачены всѣми мыслящими лицами прессы и общество принялось исправлять дѣло съ свойственною ему горячностью.

Намъ нѣтъ никакой возможности перечислять здѣсь все, что сдѣлано было въ эти пять лѣтъ по части художественнаго образованія; такой трудъ былъ бы даже совершенно безполезенъ. Въ общихъ результатахъ

---

*) Отчетъ членовъ французской коммиссіи на выставкѣ 1862 г. Статья г. Проспера Меримé.

**) Отчетъ члена коммиссіи по выставкѣ 1862 года г. Феликса Обри.

мы ограничимся цифрами, а въ частностяхъ назовемъ только тѣ учрежденія, тѣ способы образованія, которые оказались особенно полезными.

Мы сказали, что однихъ провинціальныхъ музеумовъ находилось *двадцать* уже во время консульства. Въ 1864 году, декретомъ 15-го августа, Наполеонъ III, желая раздать провинціальнымъ музеумамъ картины изъ запасныхъ галлерей Лувра, принужденъ былъ сдѣлать *сто-десять* долей. Число музеумовъ съ каждымъ годомъ возрастаетъ; въ 1866 году открыто три: въ Нантѣ, Лиллѣ, Канѣ; въ 1867 году открыто два: въ С.-Жерменѣ и Версалѣ. Просвѣтительное дѣйствіе учрежденій этого рода подкрѣпляется въ каждомъ городѣ временными выставками не только живописныхъ произведеній, но также предметовъ стараго и новаго производства по всѣмъ родамъ художества въ приложеніи его къ промышленности. Каждый, владѣющій чѣмъ-нибудь изящнымъ, спѣшитъ украсить имъ выставку и увеличиваетъ такимъ образомъ сумму артистическихъ впечатлѣній посѣтителя. Выставки и музеумы стараются преимущественно обставить такими предметами, которые ближе отвѣчаютъ спеціальности мѣстнаго производства. Съ такою цѣлью, на сколько позволяетъ бюджетъ, общества, завѣдывающія музеумами, стараются пріобрѣтать всѣ тѣ образцы современнаго производства, которые отличаются изяществомъ, заключаютъ въ себѣ какое-нибудь новое усовершенствованіе. Покупки эти дѣлаются часто на счетъ частныхъ лицъ по складчинѣ. На выставкѣ 1867 года не было такого отдѣла, гдѣ бы не встрѣчались предметы, заботливо пріобрѣтенные такимъ образомъ для провинціальныхъ музеумовъ. Въ одинъ музей города Лилля куплено было на 30.000 франковъ. Какъ музеумы, такъ и выставки устроиваются большею частію обществами любителей; городъ и правительство ограничиваются тѣмъ обыкновенно, что даютъ или строятъ зданіе, или ежегодно вносятъ извѣстную сумму денегъ, или посылаютъ подарки. Многія изъ этихъ обществъ управляютъ мѣстными школами рисованія, когда школы основаны на суммы частныхъ лицъ.

На выставкѣ 1867 г. въ группѣ II, классѣ восьмомъ, исключительно посвященномъ вопросу художественнаго образованія, мимо матеріальныхъ образцовъ, выставленныхъ школами, находилось множество отчетовъ по министерству просвѣщенія и промышленности; множество документовъ, брошюръ, изданныхъ также частными лицами съ цѣлью показать, въ какомъ положеніи находятся рисовальныя школы во Франціи, какіе даютъ онѣ результаты и какимъ методамъ преподаванія слѣдуютъ.

Печатные эти матеріалы намъ показываютъ, что во Франціи рисованіе преподается безъ различія во всѣхъ школахъ государства, которыхъ числомъ *21,000*. *Двѣсти-тридцать-девять* школъ, столько же въ Парижѣ, сколько и въ провинціи, спеціально посвящены изученію искусства во всѣхъ его видахъ и приложеніяхъ. Независимо отъ этого, какъ въ провинціи, такъ и въ Парижѣ, открыто ежедневно множество курсовъ рисованія, гдѣ преподается черченіе, рисованіе съ живой модели, композиція орнаментовъ и лѣпленіе. Посѣщеніе этихъ курсовъ, предназначающихся собственно для рабочаго ремесленнаго класса —безвозмездно въ тѣхъ только случаяхъ, когда они основаны правительствомъ и нахо-

дятся подъ его управленіемъ; въ противномъ случаѣ, взимается плата отъ 2-хъ до 3-хъ франковъ въ мѣсяцъ съ человѣка. Смотря по результатамъ этихъ учрежденій, они пользуются поддержкой со стороны города и правительства. Такъ, вечерняя школа рисованія г. Лекенъ-сына (Lequin), посѣщаемая, среднимъ числомъ, двумя стами лицами, пользуется отъ города освѣщеніемъ; сверхъ-того, городъ выдаетъ ежегодно 3000 франковъ на поддержку.

Чтобы курсы дѣйствительно достигали своей цѣли, т. е. были вполнѣ доступны рабочимъ, они происходятъ только вечеромъ, отъ 7 час. до десяти.

«Школа спеціальнаго рисованья въ приложеніи къ искусствамъ и промышленности», основанная г. Беллокомъ въ Парижѣ, такъ называемая «de l'École de médicine» и посѣщаемая, среднимъ числомъ, тремя стами лицами ежедневно, располагаетъ бюджетомъ въ *50,000* фр. Школа на тѣхъ же основаніяхъ, но только для женщинъ, существуетъ въ Парижѣ, въ улицѣ Дюпюитренъ.

Въ Парижѣ собственно спеціальныхъ курсовъ и школъ, столько же частныхъ, сколько правительственныхъ, находится *сорокъ-четыре* *); изъ нихъ двѣнадцать безплатныхъ (шесть для мужчинъ, шесть для женщинъ); мы не считаемъ здѣсь академію художествъ, центральную школу для искусства и мануфактурнаго производства и консерваторію художествъ и ремеслъ. Первая исключительно касается чистаго искусства; вторая, основанная въ 1829 году, дѣйствуетъ только косвенно на развитіе ремесленнаго класса; она назначается для образованія руководителей въ разныхъ отрасляхъ промышленности, но преимущественно заводчиковъ, управляющихъ фабриками и т. д. Здѣсь скорѣе уже оканчиваютъ ученіе, начатое въ другихъ, болѣе элементарныхъ заведеніяхъ. Дѣйствіе третьей, вслѣдствіе постепенно измѣнявшейся программы, еще слабѣе относительно изученія искусства въ приложеніи его къ промышленности.

Лучшія школы, по близкому достиженію такой цѣли, находятся въ провинціи: двѣ въ Ліонѣ и одна въ департаментѣ Саоны-и-Луары, при нормальномъ училищѣ въ Клюни.

Ліонское «Училище искусствъ» имѣетъ цѣлью приготовлять рисовальщиковъ для тканей; несмотря на такую спеціальность, метода преподаванія самая обширная; она направлена къ тому, чтобы прежде всего ознакомить съ духомъ художества, развить вообще вкусъ и чувство изящнаго.

Надо замѣтить, многія техническія училища рисованія во Франціи держатся до сихъ поръ системы раздѣленія труда; курсъ оканчивается спеціальностью ученика; одинъ рисуетъ только цвѣты, другой — фигуры, третій — орнаменты, даже извѣстный родъ орнаментовъ и т. д. При такомъ началѣ спеціальность очевидно выработывается: но самое занятіе принимаетъ характеръ исключительности и сухости; взглядъ ученика невольно съуживается, трудъ дѣлается механическимъ и мелочнымъ. Общее художественное образованіе, принятое въ ліонскомъ «Училищѣ искусствъ», необходимо должно служить основой всякой артистической карьеры. Она

*) Catalogue des écoles de dessin à l'exposition de 1867, par N. Guichard.

расширяетъ кругозоръ ученика и также развиваетъ въ немъ способность свободнаго творчества; въ этой способности заключается вся тайна безконечнаго разнообразія художества, та одушевленная индивидуальная сторона, которая притягательно дѣйствуетъ въ произведеніяхъ искусства и выше всего въ нихъ цѣнится.

Ліонское «Училище искусствъ» посѣщается безвозмездно; но доступъ въ него особенно облегченъ для дѣтей только мѣстныхъ фабрикантовъ, которыя посвящаютъ себя ткацкимъ фабрикамъ; при школѣ находится музей—обширное собраніе образцовъ древняго и новаго искусства; находится также музей естественной исторіи и отлично составленная библіотека.

Вторая ліонская школа «De la Martinière», прозванная такъ въ память основателя ея, генералъ-майора Мартена, не уступаетъ первой ни въ разумной практической методѣ обученія, ни въ способахъ, доставляемыхъ воспитанникамъ. Здѣсь все направлено къ тому, чтобы въ самыхъ первыхъ урокахъ изученіе происходило съ предметовъ осязательныхъ, пластическихъ. Гипсовый слѣпокъ, геометрическая фигура, выточенная изъ дерева или составленная изъ проволоки, замѣняетъ плоскій оригиналъ; ученикъ такимъ образомъ не проводитъ штриха безотчетно и умъ его, постоянно направленный къ обсужденію модели, работаетъ заодно съ рукою. По прошествіи двухъ лѣтъ, ему предоставляется уже нѣкоторая свобода продолжать занятія сообразно съ его наклонностями; цѣль та, конечно, чтобы школьное ученіе не подѣйствовало во вредъ развитія индивидуальнаго чувства. Способы училища Ла-Мартиньеръ весьма значительные; при немъ находится замѣчательный музеумъ образцовъ по всѣмъ родамъ художества въ примѣненіи къ издѣліямъ промышленнаго производства; здѣсь также не потеряна изъ виду и мѣстная промышленность; при музеумѣ находится замѣчательное собраніе тканей, которое представляетъ въ хронологическомъ порядкѣ всю исторію ткацкаго дѣла.

Школу Мартиньеръ посѣщаетъ ежегодно до *500* человѣкъ.

Вечерніе курсы рисованія открыты также въ Ліонѣ при высшихъ двухъ училищахъ для мужчинъ и женщинъ.

Въ той постоянной заботливости поддерживать школы, открытыя для мѣстныхъ производителей, расширять способы художественнаго знанія посредствомъ музеумовъ, заключается весь секретъ столь давняго и всемірнаго успѣха ліонскаго производства; тутъ, само собою разумѣется, дѣло не въ матеріальномъ достоинствѣ тканей; другія фабрики ткутъ такъ же плотно и шелкъ такъ же хорошъ; красота рисунка, въ соединеніи съ разнообразіемъ вѣчно-новыхъ мотивовъ, выборъ красокъ и гармоническое ихъ сочетаніе, вкусъ композиціи въ частяхъ и цѣломъ объясняютъ здѣсь вопросъ успѣха. Разсматривая ниже отдѣлъ ліонскихъ тканей на выставкѣ 1867 г., мы яснѣе увидимъ тѣ результаты, которые приноситъ обширное артистическое образованіе въ приложеніи къ спеціальной отрасли.

Но обратимся снова къ школамъ.

Въ «нормальномъ училищѣ спеціальнаго образованія», учрежденномъ

въ Клюни и имѣющемъ цѣлью приготовлять учителей для лицеевъ, коллегій, нормальныхъ и коммунальныхъ школъ — все направлено къ тому, чтобы дать какъ можно больше развитія художественному образованію. Не далѣе какъ въ 1866 году, министромъ просвѣщенія собрана была комиссія для составленія описи новымъ коллекціямъ, моделямъ и слѣпкамъ, которыми слѣдовало бы пополнить существующія уже коллекціи музеума. Опись эта, составленная съ большимъ знаніемъ дѣла, у насъ передъ глазами; она заключаетъ въ себѣ болѣе тысячи предметовъ, обнимающихъ всѣ стили, всѣ типы, характеризующіе лучшія эпохи въ исторіи искусства. Въ томъ же году министръ просвѣщенія поручилъ другой комиссіи подвергнуть испытанію новую элементарную методу рисованія г. Генрикса, которая, утверждали, давала въ Брюсселѣ самые лучшіе результаты.

Какъ только испытаніе, продолжавшееся августъ и сентябрь и происходившее въ одно время въ четырехъ лицеяхъ Парижа, убѣдило, что метода Генрикса дѣйствительно полезна, она была тотчасъ же введена въ Клюни.

Метода Генрикса въ самомъ дѣлѣ весьма проста и практична. Механическая часть рисованія, съ которой обыкновенно начинаютъ, соединена здѣсь непосредственно съ умственной работой ученика. Метода такъ обдумана, что ученикъ поневолѣ долженъ отдавать себѣ самый строгій отчетъ въ каждомъ штрихѣ, въ каждой линіи, которую проводитъ.

Урокъ состоитъ въ томъ, что учитель чертитъ на грунтованной доскѣ, поставленной на высокомъ мольбертѣ, фигуры, которыя ученикъ за нимъ повторяетъ; начинается съ построенія квадрата, который постепенно разбивается на правильныя части прямыми и дугообразными линіями. Эта сѣтка кривыхъ и прямыхъ линій, которую ученикъ повторяетъ за учителемъ, но которую обязанъ не дѣлать въ томъ же масштабѣ, а необходимо долженъ по произволу уменьшать или увеличивать, служитъ главной основой первому курсу; въ ней рука учителя изображаетъ сначала самые несложные орнаменты; очеркъ орнамента, заключенный въ сѣткѣ правильно расположенныхъ линій, весьма естественно, легче уловляется ученикомъ; слѣдя глазомъ за всѣми точками, гдѣ орнаментъ на доскѣ учителя пересѣкается съ внутренними линіями квадрата, онъ устанавливаетъ эти точки на своемъ собственномъ чертежѣ, размѣряетъ глазомъ пространство между ними, соединяетъ ихъ линіей и такимъ образомъ выводитъ мало-по-малу весь орнаментъ. Ученику вмѣняется въ обязанность повторять дома каждый урокъ, перенося его на бумагу и соблюдая, чтобы каждый разъ масштабъ рисунка былъ не одинаковъ. Орнаменты постепенно усложняются; на второмъ курсѣ въ квадратѣ появляются вазы, акантовые листья, ордера колоннъ и т. д. На третьемъ курсѣ переходятъ уже къ человѣческой фигурѣ.

Метода Генрикса такъ существенно практична, что послѣ двадцати двухъ уроковъ большая часть учениковъ въ состояніи была исполнять отъ руки весьма сложные рисунки. Такъ видно изъ отчета г. Бенуа-Дюпорталя, назначеннаго министромъ для испытанія методы въ лицеѣ Бонапарта. Ученики эти, числомъ до пятидесяти, состояли большею частію

изъ ремесленниковъ, никогда прежде небравшихъ карандаша въ руки; изъ нихъ одинъ только учился рисовать. Отчеты другихъ лицъ по тому же предмету подтверждаютъ такой же точно успѣхъ *).

Мимо этихъ главныхъ училищъ, въ центрѣ самаго Парижа, существуетъ еще множество другихъ, направленныхъ все къ одной и той же цѣли: учить рисованію и распространять художественное знаніе.

Такъ, мы ничего не сказали о курсахъ рисованія политехнической ассоціаціи **), которые ежегодно посѣщаются среднимъ числомъ тысячью-шестьюстами рабочими; не упомянули о спеціальной школѣ рисованія для женскаго пола, которая находится подъ управленіемъ извѣстной художницы Роза Бонёръ, школѣ, гдѣ безвозмездно обучаются всѣмъ родамъ рисованія въ приложеніи къ промышленному производству; пропустили центральную архитектурную школу и еще многія и многія другія учрежденія того же назначенія.

Но лица, стоящія во главѣ прогрессивнаго движенія, находятъ, однакожъ, что по вопросу художественнаго образованія еще много остается сдѣлать во Франціи. Лица эти, пораженныя на Лондонской выставкѣ успѣхами, обнаруженными многими иностранными державами въ тѣхъ именно отрасляхъ, которыя до тѣхъ поръ составляли славу и богатство Франціи, напуганныя, съ другой стороны, тѣмъ, что многія отрасли французскаго производства выказали признаки упадка,—приняли твердую патріотическую рѣшимость поспѣшить предупредить такое положеніе дѣла. Въ 1864 году собранъ былъ совѣтъ; опредѣлено было положить основаніе учрежденію, прямая цѣль котораго была бы поддержкой артистическихъ издѣлій, живое возбужденіе художниковъ къ участію въ отрасляхъ фабричнаго производства, поощреніе всѣхъ тѣхъ, кто посвящаетъ свое дарованіе въ пользу успѣха промышленнаго труда.

Безъ всякаго содѣйствія со стороны правительства, только инициативой частныхъ лицъ, составилось такимъ образомъ въ Парижѣ «центральное общество искусствъ въ приложеніи къ промышленному производству». Благодаря воспріимчивости Французовъ — и надо сказать, патріотическому чувству, которое воодушевляло главныхъ двигателей — общество приняло вскорѣ размѣры, которые превзошли даже ожиданія. Въ теченіе года составилась одними пожертвованіями спеціальная художественная библіотека въ 5000 томовъ и музей, который наполнилъ цѣлую залу; то и другое открыто безвозмездно и ежедневно съ 10 часовъ утра до 10 часовъ вечера въ квартирѣ, нанимаемой обществомъ, на сумму, собираемую по подпискѣ; каждому предоставляется полная свобода срисовывать вещи, пользоваться книгами и эстампами. Въ 1865 году открыты были вечернія чтенія, въ которыхъ приняли участіе всѣ замѣчательные спеціалисты Франціи по части изящныхъ искусствъ. Въ томъ же году общество устроило обширную выставку предметовъ изящнаго, хранив-

*) Rapport sur les résultats des éxpériences auxquelles à été soumise la méthode Hendrickx par M. M. Benoit-Duportal, Sébastien Cornu, Armand Dumaresq-Rais. Ministère de l'instruction publique.

**) Центральное училище искусствъ и ремеслъ, въ улицѣ Ториньи.

шихся въ частныхъ собраніяхъ. Настойчиво преслѣдуя свою цѣль, общество воспользовалось выставкой, чтобы привести въ исполненіе одну изъ задачъ своихъ.

Извѣстно, что до сихъ поръ во Франціи, какъ, впрочемъ, и въ другихъ государствахъ, предметы современнаго производства — все равно къ какому бы роду они ни принадлежали — отмѣчались при поступленіи на выставки именемъ фабриканта и рѣдко именемъ тѣхъ, кто былъ настоящимъ ихъ исполнителемъ; часто цѣлая группа предметовъ самаго разнообразнаго содержанія, но по характеру своему принадлежащая къ извѣстному классу производства, отмѣчалась общимъ именемъ фирмы, между тѣмъ какъ участіе фирмы заключалось въ томъ лишь, что она давала только первый матеріалъ и деньги, требуя отъ настоящаго производителя полнаго отреченія отъ своего имени и даже права на него впослѣдствіи — словомъ, создатель предмета, настоящій его исполнитель оставался большею частію въ тѣни и вся честь, всѣ награды получались фирмой или заказчикомъ.

Общество первый разъ энергически протестовало противъ такой возмутительной несправедливости; въ каталогѣ выставки, на предметахъ современнаго производства, выставлено было не только имя художника, но имена всѣхъ тѣхъ, кто сколько-нибудь принималъ участіе въ исполненіи предмета.

Полезное это учрежденіе годъ отъ году распространяетъ свое дѣйствіе. Въ настоящее время «центральное общество искусствъ въ приложеніи къ промышленному производству» основываетъ «коллегію изящныхъ искусствъ въ ихъ примѣненіи къ промышленности». Послѣдняя имѣетъ предметомъ преподаваніе художества во всѣхъ его видахъ и приложеніяхъ, распространеніе классическаго воспитанія, возбужденіе умственнаго развитія художника рядомъ съ развитіемъ практическимъ и техническимъ. Коллегія будетъ заключать въ себѣ коллекцію всѣхъ родовъ искусства, разставленную въ научномъ строго-хронологическомъ порядкѣ, коллекцію растеній, физическій и химическій кабинеты, кабинетъ естественной исторіи, мастерскія скульптуры, рѣзьбы, изъ кости и дерева, эмали, гончарнаго дѣла и т. д.

Въ настоящее время, общество уже приступило къ постройкѣ зданія на углу улицы Монтрель; мѣсто подарено городомъ.

Умственно обнимая все, что сдѣлано было Франціей со времени Кольбера для развитія художественнаго чувства націи, припоминая, сверхъ того, что Франція, принадлежа къ націямъ, имѣющимъ художественныя преданія, была уже нѣкоторымъ образомъ подготовлена къ развитію; принимая въ соображеніе все, что дѣлается для этой цѣли въ настоящее время, припоминая всѣ школы, всѣ публичные музеумы въ Парижѣ и провинціальныхъ городахъ, всѣ лекціи, курсы, частныя художественныя общества и выставки, находишь весьма естественными тѣ оттѣнки вкуса и изящества, которыми отмѣчены издѣлія французскаго производства.

Много также, весьма много этому способствовалъ и теперь способствуетъ другой двигатель, это — мастерскія.

Артистическія отрасли промышленности во Франціи, вслѣдствіе ихъ давняго и постояннаго успѣха, играютъ въ общемъ мнѣніи такую же видную роль, какъ и отрасли чистаго искусства; роль эта завоевана въ теченіе вѣковъ рядомъ произведеній, которыя часто, несмотря на ихъ обиходное матеріальное назначеніе, отличались чертами высшаго художественнаго совершенства. Такъ посуда Генриха II, оловянныя издѣлія Франциска Бріо, шандалы и тарелки, расписанные эмальерами Лимузеномъ и Ремономъ, въ строго-художественномъ смыслѣ несравненно выше многихъ тысячъ картинъ и статуй. Величайшіе художники Италіи нисколько не считали несовмѣстнымъ съ ихъ достоинствомъ принимать участіе въ издѣліяхъ фабричнаго производства. Не распространяясь далеко, стоитъ упомянуть Рафаэля, который писалъ картоны для ковровъ и дѣлалъ рисунки орнаментовъ для скульптурныхъ деревянныхъ дверей и поливныхъ кафлей въ галлереѣ ложъ; драгоцѣнныя ткани, золотая серебряная утварь, посуда, оружіе, мебель, ювелирное дѣло—словомъ, всѣ тѣ отрасли артистическаго производства, которыя въ свое время не имѣли въ Италіи соперниковъ, обязаны были успѣху своему только въ силу дѣятельной поддержки со стороны великихъ мастеровъ искусства. Такой примѣръ благодѣтеленъ былъ для Франціи при столкновеніи ея съ Италіей; мѣстные художники всегда, впрочемъ, расположены были слѣдовать такому направленію. Здѣсь безпрестанно встрѣчаются скульпторы и живописцы, художники съ положительнымъ талантомъ, съ именемъ давно извѣстнымъ, которые посвящаютъ свое дарованіе предметамъ промышленнаго производства. Въ примѣръ можно взять мимоходомъ хоть вѣера, выставленные г. Александромъ; мы встрѣчаемъ тутъ имена всѣхъ знаменитыхъ современныхъ живописцевъ Франціи: Кутюръ, Бардонъ, Франсѣ, Жиро и даже—кто бы повѣрилъ?—классическій и строгій Энгръ расписалъ вѣеръ!

Сначала художникъ смотритъ на такой трудъ, какъ на развлеченіе; его занимаетъ мысль одушевить силою художества предметъ матеріальнаго назначенія, дать ему смыслъ, сдѣлать его привлекательнымъ. Кстати надо замѣтить, масса художниковъ во Франціи чрезвычайно развита; художественное чувство, благодаря развитости, распространяется не только на предметъ дѣятельности каждаго, но распространяется вообще на все, что носитъ печать художественности. Войдите въ Европѣ въ любую мастерскую—это цѣлый музей; причину этого вовсе не надо искать въ излишнихъ средствахъ, получаемыхъ будто бы французскими художниками; совсѣмъ нѣтъ; причина въ неодолимомъ влеченіи къ предметамъ искусства, въ потребности имѣть ихъ, жить съ ними — словомъ, въ высокой степени развитости артистическаго чувства. Начавъ заниматься ради развлеченія сочиненіемъ лѣпныхъ эскизовъ, или рисунковъ для промышленныхъ издѣлій, художникъ часто пристращается къ такой работѣ; его нерѣдко встрѣчаетъ успѣхъ неожиданный; предметъ, шутя имъ созданный, часто прибавляетъ къ его имени лишнюю славу, лишнія выгоды; онъ весь горячо отдается новому поприщу.

Весьма многіе изъ нихъ, избравъ себѣ какую-нибудь спеціальность, ограничиваются сочиненіемъ рисунковъ или лѣпленіемъ моделей; другіе, работавшіе точно также сначала для фабрикантовъ, идутъ далѣе; близко

ознакомясь съ практикой и овладѣвъ ея тайнами, они находятъ болѣе выгоднымъ оставить за собою все дѣло — какъ созданіе, такъ и самое исполненіе; тѣ и другіе мало-по-малу оставляютъ фабриканта, открываютъ собственныя мастерскія, которыя можно раздѣлить на столько же спеціальностей, на сколько существуетъ приложенія художества къ предметамъ промышленнаго производства.

Вотъ эти-то мастерскія, разсыпанныя по всей Франціи, управляемыя большею частію лицами образованными и даровитыми, отлично ознакомленными съ теоріей искусства и практическимъ исполненіемъ — и суть главные центры, гдѣ вырабатываются юные таланты, откуда выходятъ всѣ тѣ прелестные предметы, отмѣченные истинною печатью изящества, вкуса и оригинальности, которыми, надо правду сказать, такъ справедливо обольщается образованное европейское общество. Польза школъ рисованія несомнѣнна; но ученикъ, кончившій курсъ въ одной изъ нихъ и поступившій потомъ въ такую мастерскую, сдѣлаетъ здѣсь въ полгода больше успѣха, чѣмъ во всѣ годы пребыванія своего въ школѣ; въ мастерской онъ съ перваго дня вступаетъ уже въ сферу чисто-художественной дѣятельности; съ перваго дня онъ съ глазу на глазъ присутствуетъ при зарожденіи художественной мысли, видитъ, какъ она постепенно выясняется, принимаетъ форму и одушевляется; видитъ потомъ весь процессъ матеріальнаго ея выполненія въ бронзѣ, камнѣ, деревѣ, на ткацкомъ станкѣ, въ горнѣ, на кружалѣ и т. д. Не считая того, что образъ жизни въ такой художественной мастерской возбуждаетъ къ дѣятельности и соревнованью, самый кругъ товарищей, преданныхъ одному дѣлу, живущихъ для одной цѣли, дѣйствуетъ здѣсь несравненно сильнѣе въ пользу развитія, чѣмъ затверженные теоретическіе уроки школьнаго профессора.

Выставка 1867 года даетъ мѣру этихъ мастерскихъ, представляя цѣлый рядъ рисунковъ, моделей, предметовъ по всѣмъ возможнымъ родамъ искусства.

Одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ принадлежитъ, безспорно, мастерской серебряныхъ дѣлъ г. *Фаньера*.

Не далѣе, какъ пять лѣтъ назадъ, онъ исключительно работалъ для фабрикантовъ; произведенія его въ теченіе десяти лѣтъ, являясь не подъ его именемъ, заслуживали на всѣхъ выставкахъ высшія награды гг. Фроманъ-Мерису, Одіо и т. д. Теперь г. Фаньеръ выставилъ уже самъ отъ себя, и прекрасно сдѣлалъ; высшія награды по серебряному дѣлу, какъ и слѣдовало ожидать, получены имъ къ великому сокрушенію лицъ, пожинавшихъ столько лѣтъ чужіе лавры. Онъ, его братъ и нѣсколько учениковъ составляютъ всю мастерскую; они сами сочиняютъ свои вещи, сами ихъ лѣпятъ, формуютъ, отливаютъ и чеканятъ.

Отличительная особенность произведеній г. Фаньера заключается въ полномъ отсутствіи какого-нибудь признака фабричности; послѣдняя эта черта проявляется, къ сожалѣнью, слишкомъ часто въ современныхъ произведеніяхъ даже чистаго художества. Витрина г. Фаньера, несмотря на свои скромные размѣры, несмотря на скромное совершенно обиходное назначеніе заключавшихся въ ней предметовъ, содержала въ себѣ выставку самыхъ изящныхъ, самыхъ тонкихъ предметовъ. Обставленные, съ одной

стороны, блестящими серебряными массами, выставленными гг. *Одіо* и *Кристофлемъ*, съ другой, декоративными издѣліями церковной утвари, вещи г. Фаньера останавливали вниманіе точно такъ же, какъ видъ благороднаго лица посреди топорныхъ напыщенныхъ физіономій, разрумяненныхъ красавицъ, украшенныхъ сомнительными каменьями. Произведенія г. Фаньера сочинены весьма просто; главная забота художника обращена на красоту формы, пропорціональность частей между собою и гармонію въ цѣломъ; въ такомъ духѣ сочинены, напримѣръ, часы; прямой цоколь изъ лаписа, убранный по угламъ и въ серединѣ серебряной гирляндой, перевязанной орнаментаціей во вкусѣ Жана-Гужонъ; съ боковъ мелкія фигуры изъ серебра; верхъ увѣнчанъ фигурою Амура съ факеломъ; въ посадкѣ Амура и двухъ женскихъ фигуръ, въ ихъ поворотѣ и драпировкахъ, присутствуетъ что-то мощное, солидное, что, вмѣстѣ съ изяществомъ и широтою исполненія, отнимаетъ у цѣлаго тотъ характеръ меркантильнаго игрушечнаго типа, который, къ сожалѣнію, встрѣчается слишкомъ часто въ произведеніяхъ такого рода.

То же отсутствіе мелочности и фабричности встрѣчается въ двухъ щитахъ обронной работы; одинъ исполненъ изъ стали, другой изъ желѣза; оба пройдены тѣмъ мастерскимъ, широкимъ, но опредѣленнымъ чеканомъ, которымъ владѣли только итальянскіе орфевры лучшаго времени возрожденія. Коснувшись чекана, мы должны сказать, что въ этомъ отношеніи г. Фаньеръ далеко оставляетъ за собою всѣхъ своихъ собратовъ не только во французскомъ отдѣлѣ, но и всѣхъ остальныхъ; чеканъ у него не есть что-то механическое, не есть только средство придать пріятность и игру металлическому предмету; повинуясь здѣсь рукѣ сознательно-образованнаго художника, чеканъ досказываетъ мысль и часто служитъ ей выраженіемъ; никогда не замельчаясь до сухости, до приторности, онъ переходитъ всю гамму чеканнаго зерна, смотря по тому, обращается ли онъ къ драпировкѣ, орнаменту, растенію, тѣлу мужественному или женскому; чеканъ у Фаньера играетъ роль краски, колорита; онъ одушевляетъ предметъ, даетъ ему фибръ, что-то животрепещущее. Замѣчательная черта въ талантѣ г. Фаньера заключается въ томъ, что фантазія его, при всей своей поэтической игривости, никогда не переходитъ линіи, за предѣломъ которой предметъ, ею созданный, переставъ быть практическимъ и годнымъ къ употребленію; онъ, какъ никто, постигаетъ мудреную задачу *художества въ приложеніи къ предмету промышленнаго производства;* подходя къ витринѣ г. Фаньера, почти каждый день въ теченіе семи мѣсяцевъ, — витринѣ, гдѣ къ вещамъ, выставленныхъ съ начала выставки, появлялись новыя, я на всемъ замѣчалъ свойства красоты въ приложеніи къ удобству при употребленіи предмета; одинокая женская фигура изъ серебра, съ волосами, разсыпанными по спинѣ, съ развѣвающеюся воздушною драпировкою надъ головою — фигура, которою всѣ любовались, какъ вещью въ высшей степени изящною—будетъ служить у г. Фаньера ручкой для крышки вазы; полный амурчикъ съ ямочками на мягкомъ тѣлѣ, взобравшійся, какъ бы случайно, въ завитокъ орнамента, посаженъ здѣсь очевидно съ тѣмъ, чтобы придать силу орнаменту, который служитъ рукояткой умывальнику; по бокамъ призовой вазы

выскакивают туловища бѣшеныхъ коней съ развѣвающимися гривами, въ которыя вцѣпились амуры, прикрѣпленные спиною къ боясу вазы; присутствіе этихъ прелестныхъ одушевленныхъ группъ служитъ здѣсь главнымъ украшеніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно оправдывается необходимостью; поднять такую тяжелую вазу было бы невозможно, не имѣя подъ руками крѣпкой поддержки и т. д.

Лучшее и самое полное произведеніе г. Фаньера и всей выставки по отдѣлу золотаго и серебрянаго дѣла есть столовый сервизъ, заказанный однимъ изъ нашихъ соотечественниковъ; онъ заключается изъ множества предметовъ, и каждый, въ своемъ родѣ, вполнѣ артистическое произведеніе: солонка въ видѣ двухъ раковинъ, поддерживаемыхъ тритонами съ крутящимися рыбьими хвостами, и прелестной фигурой миѳологическаго божества по серединѣ; супница и кубки, обвитые фризомъ изящнѣйшей орнаментаціи, съ красиво изогнутыми крышками, увѣнчанными фигурками дѣтей, изображающихъ типы разныхъ народностей; подставки для хрустальныхъ сосудовъ, переплетенныя всѣми возможными травами и плодами, между которыми, смотря по характеру растеній. рельефно вычеканены болотныя птицы, звѣри, рыбы, улитки; канделябры въ видѣ греческихъ термовъ, увитыхъ внизу плодами и поддерживающихъ надъ головою пышные букеты орнаментовъ для свѣчъ,—словомъ, положительно не знаешь, чему здѣсь отдать преимущество: искусству ли руки, вкусу, или разнообразію творческой способности. Тайна такого соединенія качествъ — мимо, конечно, врожденнаго таланта — очевидно заключается не только въ изученіи мастеровъ, сдѣлавшихъ себѣ громкое имя на поприщѣ золотаго и серебрянаго дѣла, но въ изученіи вообще искусства во всѣхъ его пластическихъ проявленіяхъ. Признакъ таланта въ томъ, что, изучая мастеровъ, г. Фаньеръ умѣлъ остаться все-таки самимъ собою, хотя произведенія его и носятъ общій отпечатокъ французскаго стиля, перенятаго Ж. Гужономъ у Итальянцевъ и потомъ имъ присвоеннаго: тонкая шея, длинные члены фонтенблоской нимфы, служащіе отпечаткомъ стиля Ж. Гужона, встрѣчаются у г. Фаньера; но въ цѣломъ ансамблѣ его произведеній, въ ихъ сочиненіи, въ поворотѣ фигуръ, орнаментаціи, техническихъ пріемахъ, приспособленіяхъ, оригинальность бросается въ глаза; тутъ виденъ талантъ серьезный, обдуманный, виденъ художникъ, который не довольствуется плавать въ тихой водѣ первыхъ успѣховъ, но постоянно борется, стараясь пробраться далѣе и далѣе, къ источнику высокой красоты.

Стремленіе къ изученію, къ черпанію новыхъ матеріаловъ въ древнемъ искусствѣ, разработка стилей всѣхъ эпохъ и народовъ, вообще отмѣчаютъ всю художественно-промышленную дѣятельность послѣднихъ годовъ; на выставкѣ черта эта останавливала каждаго, кто сколько-нибудь давалъ себѣ трудъ смотрѣть внимательно; черта эта такъ осязательно на всемъ присутствуетъ, что даетъ какъ-бы предчувствіе новой эпохи возрожденія искусства, основанной на подражаніи старыхъ типовъ; пока возрожденіе еще не вполнѣ высказалось; пока нѣтъ еще стиля и типа нашего вѣка; но общее это движеніе почти всѣхъ дѣятелей къ изученію минувшаго, общее обращеніе къ классическому и восточному художеству

уже несомнѣнно; подражаніе заставляетъ учиться и розыскивать; розыскиваніе очищаетъ вкусъ, открываетъ новыя комбинаціи, новыя формы и приводитъ постепенно къ новымъ выраженіямъ въ согласіи съ условіями современныхъ требованій.

Говоря о золотомъ и серебряномъ мастерствѣ французскаго отдѣла, мы не можемъ пропустить г. *Кристофля*.

Онъ болѣе другихъ служитъ яркимъ подтвержденіемъ, какъ, въ самомъ дѣлѣ, годъ отъ году сильнѣе развивается въ современномъ обществѣ художественная потребность, и какъ трудно идти противъ нея человѣку, который разсчитываетъ на имя, на репутацію. Еще въ недавнее время серебряное производство г. Кристофля (мы не считаемъ здѣсь его издѣлій изъ рюольца, мельхіора, гальванопластики) состояло исключительно изъ предметовъ чисто декоративнаго значенія и самаго фабричнаго характера. Г. Кристофль не оставилъ своего прежняго производства; большая часть его выставки занята массами серебра, между которыми красуется парадный столовый приборъ, заказанный ему ратушей города Парижа; тутъ цѣнность металла играетъ главную роль; но рядомъ съ ними и на самомъ видномъ мѣстѣ тотъ же г. Кристофль выставляетъ самую разнообразную группу предметовъ самаго артистическаго содержанія: это собственно художественный отдѣлъ его выставки, отдѣлъ, который стоилъ ему много денегъ, много времени, много заботъ, и все это ради того только, что нельзя было сдѣлать иначе; такой значительный серебряникъ, какъ Кристофль, волей-неволей долженъ быть современнымъ, долженъ отдать дань артистическому направленію общества.

Въ послѣднія пять-шесть лѣтъ снова вошелъ въ большую моду вкусъ времени Лудовика XVI; г. Кристофль выставляетъ, между прочимъ, въ этомъ вкусѣ столъ и туалетъ изъ лаписа, обдѣланный гирляндами изъ серебра и золота и медальонами тончайшей работы и прекраснаго рисунка. Послѣ войны съ Китаемъ и разгрома лѣтней резиденціи китайскаго императора, распространился вкусъ къ вещамъ изъ эмали съ подвижными металлическими перегородками (émaux cloisonés), и вообще къ тонкимъ типическимъ издѣліямъ востока; г. Кристофль выставилъ цѣлый рядъ предметовъ, украшенныхъ эмалью съ перегородками, покрытыхъ инкрустаціей изъ серебра по черной бронзѣ, изъ золота по матовому серебру. Узоры востока и разнообразіе его техническихъ способовъ примѣнены здѣсь къ вещамъ, отвѣчающимъ требованіямъ европейской жизни; тутъ вы найдете чайные приборы, сервизы, флаконы, чернильницы, печати, въ которыхъ узоры, краски и техническіе пріемы востока соединены съ европейскими формами; результаты часто весьма удачны и дѣлаютъ величайшую честь рисовальщикамъ.

Мы видѣли также у него нѣсколько сервизовъ, кубковъ и вазъ въ стилѣ возрожденія. Мимо изящества рисунка, вкуса и матеріальнаго выполненія, тутъ останавливаютъ вниманіе совершенно новые техническіе пріемы весьма удачнаго примѣненія; такъ напримѣръ, чтобы придать больше мягкости, больше теплоты серебрянымъ произведеніямъ, покрытымъ избыткомъ рельефныхъ изображеній, которыя даютъ обыкновенно много отраженій и тѣмъ вредятъ красотѣ линій и цѣлому, г. Кристофль спа-

чала золотить предметъ, потомъ мало-по-малу снимаетъ позолоту пемзовымъ порошкомъ, оставляя отъ нея легкій матовый оттѣнокъ только тамъ, гдѣ встрѣчаются углубленныя части орнаментаціи; не считая, что этимъ способомъ сглаживается вся рѣзкость угловъ и контуровъ, выступающія части, оттѣняясь золотымъ матовымъ тономъ, выступаютъ рельефнѣе, весь предметъ получаетъ колеръ, дѣлается живописнѣе.

Къ предметамъ изящнымъ г. Кристофль присоединяетъ множество вещей, которыя также хороши по формѣ и рисунку, но въ которыхъ особенно важны новые способы производства. Такъ, напримѣръ, чайный сервизъ, въ которомъ гильошировка произведена электромагнитнымъ способомъ; бронзовыя вещи, на которыхъ узоры и цѣлые сюжеты изъ серебра исполнены гальванопластическимъ способомъ: узоръ вырѣзывается въ глубь или вытравливается въ бронзѣ крѣпкой водкой; предметъ затѣмъ опускается въ гальванопластическую ванну съ растворомъ серебра, которое осаживается въ углубленныя части и ихъ наполняетъ; неровности серебряной осадки потомъ шлифуются, такъ что узоръ оказывается въ одномъ горизонтѣ съ бронзовою поверхностью предмета; словомъ, здѣсь также виденъ производитель умный, дѣятельный, неудовлетворяющійся рутиной, но старающійся идти съ вѣкомъ, пользующійся всѣми новѣйшими открытіями науки, стремящійся изучать все, что можетъ сколько-нибудь внести улучшенія въ его производства и нещадящій для такой цѣли огромныхъ денежныхъ пожертвованій.

Мы ничего не скажемъ о гг. *Одіо* и *Фроманъ-Мёрисъ;* первый чисто только фабрикантъ; второй, лишившись Фаньера, который исполнялъ прежде лучшія его вещи и награждалъ его медалями на всѣхъ выставкахъ, не выдерживаетъ никакой параллели съ бывшимъ своимъ работникомъ. У Фроманъ-Мёрйса одна только изящная вещь, это — ваза изъ горнаго хрусталя, въ которой рисунокъ врѣзанъ въ глубь, обложенъ тонкимъ золотомъ и потомъ залитъ сквозною цвѣтною эмалью. Рисунокъ, впрочемъ, цѣликомъ взятъ съ одной луврской вазы времени Франциска I-го.

Цѣль нашей статьи, какъ мы замѣтили сначала, заключается въ томъ, чтобы выставлять на видъ только то, что̀ носитъ отпечатокъ таланта, своеобразности и новизны и въ общемъ отражаетъ направленіе того художественнаго возрожденія, приближеніе котораго явно чувствуется въ европейскомъ искусствѣ.

Разсматривая выставку съ этой стороны, мы не можемъ не обратить особеннаго вниманія на обширный отдѣлъ, заключавшій въ себѣ металлическіе предметы для церковнаго назначенія.

Давно ли предметы эти, производимые въ томъ же количествѣ, не имѣли никакого стиля, типа, характера; все, на чемъ въ теченіе многихъ вѣковъ сосредоточивались почти всѣ отрасли художества, что составляло любимый предметъ занятія цѣлыхъ поколѣній художниковъ, постепенно, годъ за годомъ, съ Лудовика XVI, начало падать и подъ конецъ, при Наполеонѣ I, пришло въ совершенно безцвѣтное состояніе; теперь неожиданно, въ какія нибудь послѣднія пять-шесть лѣтъ, та же отрасль принимаетъ совершенно другой видъ. Здѣсь, уже рѣшительно можно сказать, такой переворотъ сдѣлался, благодаря новому пути, на который

вступило современное направленіе. Изученіе археологіи, съ одной стороны, съ другой вкусъ къ художеству, развиваемый все болѣе и болѣе музеумами, школами, выставками, коллекціями, могли только содѣйствовать такому рѣзкому перевороту къ улучшенію въ артистическомъ смыслѣ. Одинъ изъ главныхъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ по части церковной утвари, г. *Пусьельгъ-Рюзáнъ* (Poussielgue-Rusand), ясно это высказываетъ въ своей запискѣ, поданной комитету экспертовъ *): «...промышленность этого рода находилась у насъ въ большомъ упадкѣ; но возрожденіе вкуса къ средневѣковому стилю въ предметахъ религіозныхъ дало ей неожиданно необыкновенное возбужденіе; удовлетворенію этого вкуса особенно помогло распространеніе музеумовъ и школъ, гдѣ мы, какъ только началась потребность, нашли готовые образцы для подражанія, нашли также художниковъ, достаточно приготовленныхъ для выполненія новой задачи».

Выставка г. Пусьельгъ-Рюзáнъ — цѣлый музей, въ которомъ встрѣчаются чуть ли не всѣ типы, которые въ теченіе XIII, XIV и XV вѣковъ разработывались въ Лиможѣ, центрѣ этого рода производства во Франціи въ средніе вѣка; типы эти, престолы, скиніи, реликваріумы, сосуды, оклады Евангелія, кадила, жезлы, не есть, однакожъ, рабскія копіи, всѣ эти предметы на выставкѣ г. Пусьельгъ-Рюзáнъ есть произведенія лучшихъ рисовальщиковъ-орнаментистовъ Франціи; тутъ встрѣчались имена лицъ, извѣстныхъ въ ученомъ мірѣ искусства, какъ-то: Віоле-ле-Дюка, Восвильвальда, Вальтара и т. д.

Отсутствіе рабскаго подражанія замѣтно также въ стремленіи воспользоваться всѣми новѣйшими техническими улучшеніями и внести ихъ въ производство; золоченіе и серебреніе посредствомъ гальванопластики, накладки на металлическій фонъ узора изъ другаго металла электромагнитнымъ способомъ, не могутъ, конечно, повредить ни красотѣ формъ, ни общему характеру.

Выставка другаго фабриканта, г. *Арманъ-Калья* (Armand-Caillat), заключала предметы—если возможно—еще болѣе тонкаго артистическаго достоинства. Между ними не встрѣчалось, какъ у перваго, большихъ, почти монументальныхъ вещей, какъ напримѣръ напрестольнаго свѣтильника, исполненнаго для аньенскаго собора, или престола, заказаннаго причтомъ авиньонскаго собора, — престола въ строго-романскомъ стилѣ, украшеннаго большими фигурами ангеловъ и рядомъ святыхъ въ нишахъ фасада и боковъ (рисунокъ г. Віоле-ле-Дюка); все здѣсь ограничивалось большею частію сосудами, крестами и мелкою церковною утварью; но предметы эти отличались удивительнымъ тщаніемъ въ обработкѣ и большимъ вкусомъ въ употребленіи эмали; большая часть выставленныхъ вещей украшена ею. Эмальеръ, г. *Жефруá*, выставившій отъ своего имени цѣлый рядъ эмальерныхъ образцовъ, удостоившихся золотой медали, въ послѣднія пять лѣтъ былъ постояннымъ сотрудникомъ г. Арманъ-Калья. Послѣдній въ брошюрѣ своей о церковномъ металлическомъ производствѣ въ Ліонѣ, служащей предисловіемъ къ каталогу его выставки, называетъ

*) Manufacture d'orfévrerie d'Eglise de Poussielgue-Rusand. Paris, chez le Clerc. 1867.

всѣхъ своихъ сотрудниковъ отъ первыхъ рисовальщиковъ до послѣднихъ чеканщиковъ, и это обстоятельство даетъ намъ лишній случай замѣтить, какъ высоко стоитъ художественное образованіе въ Ліонѣ, потому что всѣ эти лица—ліонцы, воспитанники мѣстныхъ школъ рисованья.

Другіе фабриканты той же отрасли, гг. *Тріульѣ, Крейшуеръ, Башслé* и другіе менѣе важные, хотя и слѣдуютъ тому же направленію, но уже производятъ то, что̀ называется ходовой товаръ. Здѣсь кстати, заканчивая о мастерствѣ золотаго и серебрянаго дѣла, нельзя пропустить г. *Руссе́ля;* онъ производитъ только самые общеупотребительные предметы: папиросочницы, табакерки, кольца, соломки и проч.; но спеціальность его въ томъ, чтобы украшать эти предметы узорами, наведенными чернью; издали — для русскаго особенно — точно родное производство; но надо правду сказать, отложивъ всякое патріотическое пристрастье, сходство обманываетъ только издали. Мы не знаемъ, на сколько собственно черни г. Руссе́ля прочнѣе нашей; дѣло здѣсь идетъ только о рисункѣ, и въ этомъ отношеніи онъ несравненно выше всего, что̀ у насъ производится по этой части въ настоящее время; у насъ чернь давно остановилась на копировкѣ мотивовъ, заимствованныхъ въ свое время съ голландскихъ гравюръ на деревѣ, также вычурныхъ орнаментовъ рококо̀, вошедшихъ въ употребленіе при Елисаветѣ Петровнѣ и съ тѣхъ поръ повторяющихся словно по трафарету; мы не видимъ важной заслуги въ томъ, что у насъ иногіе фабриканты замѣнили прежніе узоры вѣчнымъ видомъ каменнаго моста въ Москвѣ и церковью Василія Блаженнаго; и то, и другое вовсе нейдетъ къ папиросочницамъ и не вяжется съ назначеніемъ портъ-монэ. Рисунки чернью г. Руссе́ля отличаются большимъ разнообразіемъ и показываютъ участіе рисовальщика съ большимъ вкусомъ; если хотите, тутъ, какъ вообще въ современномъ искусствѣ, мало новаго; но важно уже то, что г. Руссе́ль, или его рисовальщикъ обратились къ лучшимъ образцамъ; имъ, очевидно, знакомы и орнаментные мотивы, разсыпанные въ такомъ изобиліи на оружіи востока, и гравюры на деревѣ, исполненныя во времена Дюрера для ювелировъ, а также итальянскія ньели XV и XVI столѣтій. Правда, впрочемъ, музеумы и способы художественнаго образованія во Франціи даютъ имъ полную возможность пользоваться всѣми этими матеріялами; мы же ничего подобнаго не имѣемъ; такъ, напримѣръ, во всей Тулѣ, центрѣ производства черни, напрасны были бы всѣ усилія отыскать самый бѣдный клочокъ какой-нибудь орнаментной гравюры; о хорошихъ стальныхъ образцахъ работы чернью, конечно, не можетъ быть тамъ и помину.

Хотя въ меньшей мѣрѣ противъ предметовъ церковной утвари и произведеній изъ драгоцѣнныхъ металловъ, но также замѣтно было большое участіе образованныхъ художниковъ въ сочиненіи ювелирныхъ вещей французскаго отдѣла. Онъ былъ представленъ весьма роскошно на Парижской выставкѣ. Здѣсь, благодаря спеціальности, избранной почти каждымъ ювелиромъ, выдавалось еще рельефнѣе артистическое направленіе современнаго французскаго производства. Одинъ какъ напр. *Рувена* (Rouvenat), — слѣдуетъ только образцамъ востока; другой, какъ напр. *Фонтене,*—заимствуетъ свои модели въ луврскомъ собраніи ювелирнаго

производства древняго Египта; задача третьяго — передавать съ возможно-бо́льшею точностью стиль помпеянскій и т. д.; вездѣ явная борьба художественнаго элемента противъ употребленія камня безъ оправы, — явное усиліе возвысить матерьяльную цѣнность вещи красотою фэрмы, изяществомъ работы.

Въ общемъ характерѣ, въ современномъ ювелирномъ дѣлѣ во Франціи, замѣтно большое употребленіе сквозной эмали, декоративнаго элемента, которымъ съ такимъ непостижимымъ искусствомъ владѣли въ XVI столѣтіи ювелиры Флоренціи и также сѣверной Италіи.

Истиннымъ художникомъ во французскомъ отдѣлѣ показалъ себя г. *Боґранъ*, выставившій, между прочимъ, небольшіе, кабинетные столовые часы изъ золота. Произведеніе это, покрытое сверху до низу мѣстами матовою эмалью, мѣстами сквозною, украшено миніатюрными аллегорическими фигурками, также эмальированными; общій рисунокъ, детали, узоры принадлежатъ замѣчательно-даровитому художнику; къ этому надо присоединить техническую отдѣлку; она напоминаетъ пріемы, встрѣчаемые развѣ только на фигуркахъ миніатюрной золотой скульптуры лучшей греческой эпохи; такія фигурки можно встрѣтить, между прочимъ, въ керченскомъ отдѣлѣ Императорскаго Эрмитажа; работа тонка до невозможности, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, вездѣ чувствуется прикосновеніе руки художника,—оттѣнокъ, сохраняющій предмету что-то живое, воодушевленное, въ высшей степени артистическое. Небольшое это произведеніе г. Богрaна, скромно стоящее между грудами сокровищъ всякаго рода, удостоилось первой золотой медали; она была высшею наградою, данною ювелирному отдѣлу.

Такое же точно художественное направленіе встрѣчается въ галлереѣ, опредѣленной для французскихъ шелковыхъ тканей.

Намъ часто приводилось слышать на самой выставкѣ отзывы о томъ, напримѣръ, что въ ліонскомъ отдѣлѣ туалетныя матеріи несравненно слабѣе обойныхъ и вообще декоративныхъ, что онѣ годъ отъ году замѣтно теряютъ свое артистическое значеніе; мнѣніе это дѣйствительно подтверждалось на выставкѣ. Но винить въ этомъ слѣдуетъ только капризную прихотливость современной моды; какъ извѣстно, ею управляютъ не фабриканты, и еще менѣе рисовальщики; тѣ и другіе, по неволѣ, должны подчиняться требованіямъ вкуса, или, вѣрнѣе, безвкусія современнаго туалета. Разсматривая ткани ліонскаго отдѣла, опытный глазъ, привыкшій къ трудностямъ рисовальнаго дѣла, ясно видитъ однакожъ, какихъ неимовѣрныхъ стараній стоило рисовальщику, чтобы держаться заданной темѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ обойти сколько возможно безвкусіе и придать ткани характеръ и привлекательный видъ. Задача, исполнѣнная буквально, механически, привела бы только къ уродству; здѣсь все въ тонкихъ, едва уловимыхъ оттѣнкахъ; болѣе или менѣе выгнутая линія узора, едва замѣтное облегченіе тона въ общемъ фонѣ, или деталѣ, рѣшаютъ все дѣло. Артистическое образованіе рисовальщика даетъ себя чувствовать вездѣ, гдѣ только художнику представлялась свобода дѣйствія. Часто мотивомъ ткани бываетъ одинъ какой-нибудь цвѣтокъ, листъ или орнаментъ; надо видѣть, съ какою точностью изучены тогда эти мелочи; сколько знанія,

сколько художественной подготовки надо было, чтобы извлечь изъ скромнаго матеріала такую выгоду для цѣлаго живописнаго эффекта!

Артистическое образованіе ліонскихъ рисовальщиковъ выражается вполнѣ въ тканяхъ обойныхъ, декоративныхъ, а также предназначающихся для облаченія священнослужителей—словомъ, тамъ, гдѣ художникъ связанъ только назначеніемъ ткани и, слѣдовательно, общимъ его характеромъ, но гдѣ предоставляется ему полная независимость во всемъ, что касается созданія детальнаго рисунка. Въ этомъ отдѣлѣ встрѣчаются цѣлыя витрины образцовъ, которые такъ же краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о характерѣ, современнаго художественнаго направленія, какъ и другія отрасли изящной промышленности.

Нѣкоторые экспоненты, какъ напримѣръ, гг. *Жиро́, Генри́* и *Тассинàри*, цѣликомъ берутъ мотивы изъ древней орнаментаціи—все равно, какому бы стилю они ни принадлежали; забота ихъ въ томъ только, чтобы мотивъ отвѣчалъ назначенію ткани, и надо сказать, выборъ ихъ большею частью выказываетъ образованный вкусъ. Такъ, въ тканяхъ для церковнаго облаченія, исполненныхъ этими экспонентами, вы проходите чуть ли не всю исторію матерій этого рода, употреблявшихся во Франціи въ средніе вѣка и въ эпоху возрожденія въ Италіи. Гг. *Ламѝ* и *Жиро́* выставили, напримѣръ, ризу матоваго малиноваго цвѣта, протканную мелкимъ золотымъ узоромъ, обведенную широкой каймой съ изображеніемъ апостоловъ; послѣдніе вытканы цвѣтнымъ шелкомъ: произведеніе это одно изъ совершеннѣйшихъ созданій ткацкаго дѣла въ артистическомъ смыслѣ. Во время обхода экспертовъ, экспоненты эти, осыпанные похвалами, объявили, что вся заслуга принадлежитъ ліонскому музеуму; тамъ, въ коллекціи тканей, встрѣтили они образецъ, которому буквально послѣдовали; тамъ же нашли они и эстампы апостоловъ, гравированные Антоніемъ Раймонди съ рисунковъ Рафаэля. Къ той же группѣ экспонентовъ слѣдуетъ причислить гг. *Рондлѐ* и *Менàжо;* ткани ихъ, если можно. отличаются еще бо́льшею строгостью выбора; оба занимаются также золотошвейнымъ дѣломъ; какъ тутъ, такъ и въ тканяхъ собственно, они преимущественно держатся стилей византійскаго и романскаго.

Другіе, какъ напримѣръ г. *Гранъ*, ушли еще далѣе; въ издѣліяхъ его, наполнявшихъ цѣлую витрину и представлявшихъ блистательную выставку, не находилось ни одного рабскаго подражанія. Вы могли опредѣлить съ перваго взгляда стиль той или другой ткани: здѣсь ренессансъ, тутъ Венеція XV-го столѣтія съ индо-персидскими травами по чешуйчатому золотому полю; подлѣ Генуя XVII-го вѣка съ ея роскошной декоративной орнаментаціей, выведенной пунцовымъ бархатомъ по серебру; но вмѣстѣ съ тѣмъ, на всемъ этомъ явный слѣдъ новыхъ комбинацій, слѣдъ изысканій и художественнаго труда, стараніе воспользоваться существующимъ, чтобы сказать что-нибудь новое, индивидуальное. Въ такомъ духѣ сочинены оконныя занавѣсы и портьеры гостиной и столовой для дома г. Паивѣ; первыя въ японскомъ стилѣ, красно-бураго цвѣта съ черною каймою, украшенною орнаментными цвѣтами, птицами и бабочками съ золотымъ обводомъ; вторыя во вкусѣ возрожденія: матоваго лиловаго отлива съ орнаментаціей, вытканной поперемѣнно серебромъ и

бѣлымъ шелкомъ; къ той же категоріи принадлежатъ оконныя занавѣсы въ стилѣ Лудовика XVI-го, вытканныя цвѣтнымъ шелкомъ и заказанныя императрицею Французовъ; ткани эти принадлежатъ, безспорно, къ лучшимъ произведеніямъ артистическихъ шелковыхъ издѣлій всей выставки.

Параллельно галлереѣ, заключавшей принадлежности одежды, шла галлерея, отведенная для мебели и вообще декоративнаго дѣла. Тутъ, между прочимъ, помѣщались и эмальеры.

Встрѣчая эмальерное дѣло все чаще и чаще примѣненнымъ къ предметамъ разнаго рода современнаго артистическаго производства, мы говорили, что искусство это, заброшенное почти два вѣка въ Европѣ, снова начинаетъ входить въ большое употребленіе. Отдѣлъ, посвященный эмальерамъ, приводитъ къ убѣжденію, что для искусства этого настало совершенное возрожденіе. Въ самый короткій промежутокъ времени, въ какія-нибудь послѣднія шесть-семь лѣтъ, когда двинулись вдругъ всѣ роды художества въ примѣненіи къ промышленности, эмальерное дѣло успѣло пройти всѣ періоды своей разработки, успѣло снова усвоить себѣ всѣ способы и формы и дать самые блистательные результаты. Успѣхи этого дѣла тѣмъ очевиднѣе, что въ немъ эмаль является уже не только какъ элементъ украшенія для золота, бронзы, ювелирнаго дѣла и т. д.— словомъ, не какъ деталь, но выступаетъ какъ искусство самобытное, оригинальное. Въ послѣднемъ отношеніи особенно важны произведенія, украшенныя такъ-называемою эмалью писанною, эмалью живописцевъ. Этотъ родъ самый художественный, потому что здѣсь эмаль принимается, ни болѣе ни менѣе, какъ краска, и художникъ располагаетъ ею по волѣ своей фантазіи, исполняя мотивы, узоры, цѣлыя композиціи своего собственнаго или чужаго сочиненія. Здѣсь не мѣсто распространяться о всѣхъ примѣненіяхъ, способахъ, оттѣнкахъ, которые прибавляютъ къ разнообразію эффектовъ живописной эмали; достаточно сказать, что произведенія художниковъ, каковы гг. *Поплѣнъ*, *Мейеръ* и г-жа *Ануаль* (послѣдняя работаетъ почти исключительно для севрской фабрики, открывшей отдѣленіе эмалеваго производства), соединяютъ въ себѣ всѣ пріемы и усовершенствованія, внесенные въ искусство мастерами, каковы Лиузенъ, Куртъ, Ремонъ и другими знаменитыми французскими эмальерами XVI-го столѣтія.

Портреты и фигуры г. Поплѣна, отличающіеся строгимъ рисункомъ, писанные обыкновенно сѣрымъ или блѣдно-тѣльнымъ тономъ, покрытые блестящими одеждами изъ цвѣтной прозрачной эмали, сквозь которую играетъ золотая или серебряная подслойка,—часто гравированная, окруженные роскошными аксессуарами, расписанными золотомъ сверхъ эмали; чаши, кубки и медальоны съ сюжетами, писанные г. Мейеромъ и г-жею Ануаль всѣми родами эмали, свидѣтельствуютъ, что художники эти глубоко изучили всѣ тайны искусства и владѣютъ имъ уже какъ мастера самостоятельные.

*Г. Лепекъ* также ни у кого не заимствуетъ своихъ рисунковъ; его флаконы, кубки, шкатулки для драгоцѣнныхъ камней покрыты сюжетами его собственнаго сочиненія; но произведенія его, хотя и писанныя опытною и даровитою рукою, не производятъ, однакожъ, вполнѣ удовлетворительнаго впечатлѣнія. Дѣло въ томъ, что г. Лепекъ не умѣлъ оста-

новиться на той границѣ, которую поставляетъ всякое искусство; прелесть письма эмалью, какъ искусства самобытнаго, но имѣющаго, однакожъ, назначеніе декоративное, заключается въ извѣстной широтѣ пріема, которая прямо должна опредѣлять его назначеніе. Г. Лепекъ пишетъ такъ тонко, что типъ эмали собственно у него исчезаетъ; она имѣетъ видъ миньятюрной живописи, исполненной металлическими красками по фарфору. Ошибка эта — не остановиться во-время, перейти за черту одного искусства и войти въ область другаго — часто встрѣчается въ современномъ производствѣ, и это, можно сказать, его отличительная черта, какъ искусства, начинающаго снова возрождаться и приподыматься на ноги.

Въ эпохи сильнаго художественнаго возбужденія, когда во главѣ художественнаго движенія были великіе зрѣлые мастера, никогда, напримѣръ, ткань не усиливалась изображать картину (она подчинялась условнымъ краскамъ и не переходила декоративнаго назначенія), деревянная скульптура не подражала бронзѣ, какъ мы видѣли здѣсь въ мебельномъ отдѣлѣ; бронзовая рѣшетка не изображала рустическаго сплетенія изъ древесныхъ вѣтвей и т. д. — словомъ, не было такого стремленія къ фокусному, фальшивому производству; каждый матеріалъ говорилъ самъ за себя, потому что нѣтъ такого матеріала, который бы не былъ пригоденъ для выполненія великаго произведенія; все дѣло въ умѣньи имъ распорядиться и воспользоваться соотвѣтственно его назначенію.

О г. *Жефруа* мы уже упоминали, какъ о сотрудникѣ г. Армана-Калья, говоря о церковной утвари. Онъ спеціально занимается работами по способамъ эмальеровъ востока и Лиможа, т. е. украшаетъ (заливаетъ) эмалью узоры и фигуры, выведенные на металлической доскѣ, или подвижными перегородками, припаянными на ребро (émaux cloisonés), или постоянными перегородками, выдолбленными въ металлѣ, или отлитыми заодно съ доскою (émaux champlevés). Произведенія его отличаются большою гармоніей красокъ; онъ употребляетъ, по примѣру старыхъ эмальеровъ Кёльна и Лиможа, обыкновенно три или четыре краски, не болѣе. Къ концу выставки онъ исполнилъ сосудъ, украшенный эмалью другаго рода: сосудъ серебряный, съ узоромъ, прорѣзаннымъ à jour, какъ кружево; все, что вырѣзано, плотно залито цвѣтною прозрачною эмалью, которая потомъ отшлифована, такъ что контуръ металлическаго узора и эмаль, залитая въ промежуткахъ, находятся на одной плоскости. Трудно представить себѣ, какого обаянія достигаетъ по колориту и гармоніи это маленькое произведеніе.

Остальные эмальеры, гг. *Дотенъ*, *Шарло* и *Робильяръ* занимаются всѣми родами эмальернаго дѣла, но произведенія ихъ уже значительною степенью ниже первыхъ; въ нихъ слишкомъ уже явно проглядываетъ подражательная сторона въ соединеніи съ фабричностью. Такъ г. Робильяръ производитъ почти исключительно одни пастиши, т. е. рабскія поддѣлки подъ старыхъ мастеровъ, преимущественно въ характерѣ П. Ремона.

Бронзовый французскій отдѣлъ одинъ изъ самыхъ обширныхъ и бле-

стящихъ на выставкѣ. Отливка изъ бронзы, особенно тамъ, гдѣ касается предметовъ меблировки и мелкихъ художественныхъ произведеній, всегда играла важную роль въ отрасляхъ французской изящной промышленности; она, какъ живопись, какъ скульптура, имѣла въ разныя эпохи своихъ великихъ мастеровъ, имена которыхъ пользуются европейскою извѣстностью. Но здѣсь, на выставкѣ 1867 года, встрѣчалась та же особенность, которая отличала всѣ остальныя отрасли Франціи и многихъ другихъ государствъ: творческая способность какъ-будто пріостановилась на время; она какъ-словно собирается съ новыми силами и пока пріуготовляетъ себя изученіемъ того, что создалось во времена прошедшія. Бронзовое производство связано непосредственно во всѣхъ частяхъ своихъ съ творчествомъ. Здѣсь все, отъ первой модели до второстепенныхъ работъ, какъ-то: чекана, соединенія частей, отливки въ цѣлое, бронзировки и позолоты, требуетъ полнаго художественнаго сознанія; тутъ вездѣ нужны талантъ, большая спеціальная подготовка, знаніе, вкусъ.

Французская выставка занимала длинную галлерею, гдѣ, въ обѣ стороны и по серединѣ, возвышались безконечные ряды предметовъ отливнаго и чеканнаго искусства; тутъ бронза, мѣдь, желѣзо, чугунъ, цинкъ, металлическія сочетанія всякаго рода; тысячи и тысячи предметовъ самыхъ разнообразныхъ формъ и назначеній, и между тѣмъ, куда ни обратишься, всюду встрѣчаешь одни лишь повторенія, копіи, одни компиляціи мотивовъ, давно исполнившихъ свою карьеру, давно знакомыхъ всему просвѣщенному обществу.

Но эта черта, бросающая, повидимому, тѣнь на воспріимчивость творческой способности, составляетъ именно оригинальную особенность современнаго производства, которое все, цѣликомъ, во всѣхъ своихъ отрасляхъ, жадно вдругъ обратилось къ давно забытымъ образцамъ стараго искусства.

Откуда, напримѣръ, неожиданно взялась цѣлая группа произведеній изъ желѣза, отлитыхъ и выкованныхъ до художественной тонкости г. *Морáномъ?* Изящная работа изъ желѣза, такъ высоко цѣнимая въ средніе вѣка въ Италіи, въ Испаніи и потомъ во Франціи, не появлялась уже болѣе со времени Лудовика XIII-го; она была въ такой модѣ, что самъ король, какъ извѣстно, былъ отличнымъ художникомъ по слесарной части.

Что заставило г. *Барбедьéна* начать въ обширныхъ размѣрахъ и для самаго обиходнаго употребленія производство бронзовыхъ вещей, украшенныхъ эмалью, крытыхъ различными составами въ подражаніе тону или, какъ говорится, патинѣ бронзы античной и флорентинской? Г. Барбедьенъ, одинъ изъ главныхъ бронзовщиковъ во Франціи, недавно еще былъ издателемъ книгъ; онъ попалъ на новое свое поприще, купивъ случайно открытіе г. Колá (Colas), заключающееся въ томъ, чтобы механическимъ способомъ воспроизводить въ уменьшенномъ видѣ всякое скульптурное произведеніе; онъ примѣнилъ его къ бронзѣ и, понявъ духъ современнаго направленія, принялся исключительно отливать небольшія античныя статуи, вазы, свѣтильники, бюсты, шандалы, находящіеся въ

собраніяхъ Лувра, Пурталеса, музея Бербонико въ Неаполѣ и т. д.; понявъ, какъ говорится, въ жилу общественной потребности, онъ нажилъ себѣ большое состояніе, но, надо сказать, много способствовалъ къ распространенію вкуса къ бронзовымъ издѣліямъ художественнаго характера, хотя и обиходнаго назначенія. Другой, весьма также замѣчательный бронзовщикъ, г. *Леро́ль*, производившій до настоящаго времени самые ходовые торговые предметы, неожиданно измѣнилъ своему направленію. Онъ явился на выставкѣ 1867 года съ произведеніями, отформованными и отлитыми съ бронзъ, сочиненныхъ лучшими рисовальщиками-орнаментистами временъ Лудовика XIII, XIV и XV-го, каковы Ле-По́тръ, Берѣнъ, Дюсерсо́ и т. д.; отливая ихъ изъ чистой желтой мѣди, онъ въ то же время оставляетъ ихъ безъ позолоты, что́ окончательно приближаетъ произведенія его къ подлинникамъ и сохраняетъ имъ печать художественности.

За г. Леро́лемъ слѣдуетъ цѣлый рядъ производителей бронзовыхъ издѣлій, о которыхъ упоминать было бы слишкомъ долго; всѣ они, большею частью, держатся или стараются держаться того же направленія, какъ вышеупомянутые ихъ собраты по производству. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что бронзовая отрасль, принявшая во Франціи такіе обширные размѣры, ограничивается почти исключительно мелкимъ производствомъ. Въ настоящее время только г. *Тьебо́* и еще гг. *Брокенъ* и *Ленѐ* занимаются отливкою колоссальныхъ монументальныхъ произведеній. Но фактъ этотъ вовсе не служитъ подтвержденіемъ упадка производства; напротивъ, онъ есть доказательство его распространенія; колоссальныя произведенія могло заказывать только правительство, имѣющее въ своемъ распоряженіи площади и публичныя зданія. Гг. Тьебо́, Брокенъ и Ленѐ удовлетворяютъ вполнѣ заказамъ такого рода; иначе, конечно, ихъ было бы больше. Страшное размноженіе такихъ производителей, которые обратили свою дѣятельность на болѣе мелкое, текучее производство, объясняетъ увеличеніе потребителей со стороны общества, т. е. частныхъ лицъ, у которыхъ рождается потребность на бронзу.

Замѣтимъ также мимоходомъ, что, несмотря на видимый успѣхъ бронзоваго производства, оно, собственно какъ торговая отрасль, начинаетъ все-таки въ послѣдніе годы, сравнительно, ослабѣвать во Франціи: вывозъ бронзовыхъ издѣлій, который въ 1862 году простирался на 50,000,000 фр., въ 1866 году понизился менѣе, чѣмъ на 30 000,000 фр. Причина этого, какъ объясняютъ спеціалисты, заключается частью въ плохомъ состояніи торговыхъ дѣлъ вообще, но главное въ томъ, что многія государства, покупавшія еще такъ недавно во Франціи бронзовыя издѣлія, въ эти послѣдніе годы не только развили у себя это производство, но стали даже сами ввозить во Францію; сами Французы жестоко жалуются на ввозъ издѣлій этого рода изъ Пруссіи, Бельгіи и особенно Австріи; въ Австріи, въ самый короткій промежутокъ времени, развились двадцать одна фабрика, гдѣ исключительно работаютъ мелкіе бронзовые предметы артистическаго достоинства.

Несмотря на такое положеніе дѣла, бронзовому производству Франціи все-таки можно еще позавидовать. Въ одномъ Парижѣ насчитываютъ

болѣе 15,000 лицъ, занимающихся бронзовымъ дѣломъ; изъ нихъ, конечно, только три или четыре тысячи лицъ, на которыхъ можетъ разсчитывать художественное производство и нѣсколько сотъ лицъ даровитыхъ и настоящихъ артистовъ; но самыя эти дарованія были, по всей вѣроятности, первыми возбудителями общественнаго вкуса къ образцамъ, имѣющимъ изящное значеніе; они первые способствовали ихъ распространенію; движеніе, начатое размноженіемъ повсюду музеумовъ, принято было художниками съ воодушевленіемъ; оно передалось обществу, такъ что первымъ осталось только на время удовлетворить общей потребности. Оно такъ сильно, что выражается на выставкѣ даже въ чугунной отливкѣ. Выставка г. *Дюрéна*, главнаго производителя по этой части, наполнена только вещами, отформованными на образцахъ художественныхъ; большія фигуры произведены большею частью лучшими современными французскими скульпторами; мелкія, состоящія изъ барельефовъ, блюдъ, чашъ и т. д., взяты съ моделей Челлини, Бріо и т. д.

Новизну въ этомъ отдѣлѣ надо искать не столько въ формахъ, сколько въ матеріальныхъ успѣхахъ. Въ послѣднемъ отношеніи видны неимовѣрныя усилія промышленности удешевить предметы, сохраняя имъ въ то же время, однакожъ, по возможности, привлекательный, изящный видъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что всѣ эти новыя металлическія комбинаціи, всѣ эти сплавы съ примѣсью цинка и олова, стремящіеся подражать бронзѣ, уступаютъ послѣдней въ значеніи какъ матеріалу, особенно способному воспроизводить во всей чистотѣ строго-художественные типы. Тутъ, очевидно, главнымъ руководителемъ служитъ скорѣе торговая спекуляція, чѣмъ дѣло искусства; но, съ другой стороны, удешевленіе предмета, все-таки изящнаго по формѣ, съ точки зрѣнія распространенія красоты, есть немаловажная услуга.

Въ этой категоріи встрѣчаются произведенія, достойныя вниманія во всѣхъ отношеніяхъ; таковы у экспонентовъ гг. *Бло́*, *Друа́ра*, *Лефевра* и *Робенъ*. Модели выбраны большею частію со вкусомъ; самыя вещи часто носятъ слѣды внимательной обработки, тонкой позолоты или раскраски, передающей подлинный образецъ въ совершенствѣ.

Отливка изъ цинка началась весьма недавно. Литейный заводъ «*de la vieille montagne*», желая распространить кругъ своихъ коммерческихъ дѣйствій, соединился, лѣтъ двадцать назадъ, съ другимъ весьма даровитымъ бронзовымъ фабрикантомъ г. *Бро́ д'Амьюръ*, основавшимъ, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, въ центрѣ Парижа литейную для цинка. Новая эта промышленность, благодаря своей дешевизнѣ, принялась весьма успѣшно; теперь она такъ распространилась, что осуществляетъ весьма значительную отрасль спеціальнаго производства во Франціи.

Но гдѣ особенно выразилось современное настроеніе къ художеству, такъ это въ отдѣлахъ мебели и керамики, или гончарнаго дѣла. И то, и другое, какъ отрасли, въ которыхъ главную роль играютъ рисунокъ и форма, уже по существу своему находятся въ тѣснѣйшемъ сродствѣ съ художествомъ. Франція въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій сохраняла монополію производства артистической мебели; еще до итальянскаго вліянія, въ разныя эпохи развитія готики, мебельное мастерство достигаетъ

во Франціи высокой степени художественнаго значенія. Судя по образцамъ, уцѣлѣвшимъ до сихъ поръ въ церквахъ и монастыряхъ и хранящимся въ музеяхъ и частныхъ собраніяхъ, видно, что дѣломъ этимъ часто занимались величайшіе мастера-рисовальщики и мастера-скульпторы. Италія въ XVI столѣтіи внесла свои элементы; они вошли, но не изгладили мѣстныхъ типовъ; такова, напримѣръ, мебель, производившаяся во всей южной Франціи въ XVI и XVII столѣтіяхъ; центромъ производства былъ Ліонъ; мебель на сѣверѣ сохраняла въ то же время характеръ романскій въ соединеніи съ готическимъ. Съ XVII вѣка является цѣлое поколѣніе замѣчательныхъ рисовальщиковъ по мебельной части, каковы: Жанъ-ле-Потръ, Дюсерсо, Берёнъ, Буль и т. д. Одинъ изъ величайшихъ скульпторовъ Франціи, Жанъ-Гужонъ, отмѣтилъ цѣлый періодъ мебельнаго производства. Нигдѣ типы мебели не представляютъ столько разнообразія, какъ во Франціи; тутъ всѣ виды готики, всѣ оттѣнки и варіанты стиля возрожденія, образцы, украшенные рѣзьбою времени Лудовика XVI-го, со включеніемъ роскошной металлической инкрустаціи по искуственной черепахѣ, внесенной въ меблировку Булемъ; затѣмъ идутъ рококо и рокайль, тощій, но граціозный вкусъ Лудовика XVI; потомъ неожиданное возвращеніе греческаго и помпейскаго вкуса во время консульства; наконецъ, все успокоивается, дѣлается гладкимъ, плоскимъ, лакированнымъ и такъ продолжается до настоящаго времени.

Мебельный отдѣлъ, какъ мы замѣтили выше, свидѣтельствуетъ самымъ знаменательнымъ образомъ о томъ движеніи, которое въ послѣдніе годы возбуждено въ промышленности распространеніемъ музеумовъ. Въ отдѣлѣ болѣе шести сотъ предметовъ мебельнаго производства; изъ нихъ трудно указать на одинъ экземпляръ, который бы напоминалъ типъ послѣднихъ тридцати годовъ. Весь отдѣлъ состоитъ изъ подстрочныхъ коній, поддѣлокъ или образцовъ, приближающихся болѣе или менѣе къ типамъ извѣстныхъ эпохъ процвѣтанія искусства. Встрѣчались также попытки внести новыя приспособленія; но, надо сказать, попытки эти большею частью не совсѣмъ удачны.

Такъ, напримѣръ, г. *Мазарозъ-Рибалье* выставилъ большой орѣховый буфетъ, въ которомъ не только мелкая орнаментація, но самый карнизъ и главные фризы выполнены изъ зеленоватой бронзы; украшенія эти, уже по рисунку довольно тяжелыя для глаза, вышли въ металлѣ еще тяжелѣе; они придали мебели совершенно безполезную существенную тяжесть, не прибавляя ровно ничего къ ея красотѣ; въ цѣломъ, буфетъ представлялъ ту безпокойную дисгармонію, которая всегда бываетъ при сочетаніи не въ мѣру на одномъ предметѣ разнородныхъ матеріаловъ; металлъ, въ такой пропорціи, очевидно не вяжется съ деревомъ; не служа ему нисколько украшеніемъ, подобно фигурной, узорчатой или плоской оковкѣ, или инкрустаціи, металлъ только давитъ дерево и совершенно его поглощаетъ. Въ этомъ отношеніи, вирочемъ, еще неудачнѣе попытка г. *Дилля* (Diehl), покрывшаго всю переднюю часть своего шкафа огромнымъ литымъ бронзовымъ рельефомъ, изображающимъ побѣжденнаго Аттилу.

Къ тому же разряду слѣдуетъ причислить библіотеку г. *Белё*, украшенную фаянсовыми расписными рельефами фабрики г. Варбизѣ, и мо-

нументальный шкапъ г. *Депóра*, въ которомъ обрамка только изъ дуба, а все остальное,—дверцы, передніе части ящиковъ, верхній фризъ,—изъ бѣлаго массивнаго скульптурнаго камня; такое неудачное примѣненіе особенно жаль видѣть въ послѣдней мебели, потому что скульптурная работа, въ чистѣйшемъ вкусѣ итальянскаго возрожденія, исполнена съ замѣчательнымъ совершенствомъ.

Въ нѣньшей мѣрѣ и въ другомъ родѣ упрека заслуживаетъ также и знаменитый шкапъ г. *Фурдинуа*, купленный кенсингтонскимъ музеумомъ за 75,000 франковъ. Здѣсь дѣло не въ употребленіи разнородныхъ, неудобно вяжущихся матеріаловъ; ошибка въ мелочности, можно даже сказать, въ миніатюрности рѣзнаго и скульптурнаго исполненія; и то, и другое, относительно величины шкапа, далеко переходитъ за предѣлы, опредѣленные назначеніемъ предмета. Мебель, какъ бы она ни была артистична, прежде всего должна оставаться мебелью, должна отвѣчать своей прямой цѣли; въ этомъ именно и заключается смыслъ каждаго артистическаго промышленнаго произведенія; шкапъ г. Фурдинуа, отличный по формѣ и рисунку, покрытъ скульптурными украшеніями, до того утонченно выполненными, что такъ и кажется, они обломаются отъ перваго прикосновенія; здѣсь рѣзьба перешла уже въ ювелирную работу изъ дерева; употреблять такую мебель невозможно; ее слѣдуетъ заключить подъ стеклянный футляръ и хранить какъ экземпляръ человѣческаго труда и терпѣнія; кенсингтонскій музей купилъ ее, какъ образецъ особеннаго способа врѣзыванія одного дерева въ другое, или инкрустаціи; вся скульптурная часть состоитъ изъ орѣховаго и пальмоваго дерева, врѣзаннаго въ доски чернаго дерева, и потомъ, уже на мѣстѣ, послѣ скрѣпленія частей мебели,—выполненная рѣзцомъ и оконченная до тонкости кружевной работы.

Изъ новыхъ примѣненій, самое счастливое встрѣчается у гг. *Лемуáнъ*, *Варнемюнде* и *Сормани;* первые украшаютъ свою мебель (большею частію изъ чернаго дерева въ стилѣ Лудовика XIII) медальонами, писанными на мѣди эмалью, или въ сѣромъ тонѣ, или цвѣтною съ золотою и серебряною подслойкою во вкусѣ Поплена; г. Сормани, вмѣсто эмали, употребляетъ иногда вставки изъ фарфора, писанныя одноцвѣтнымъ тономъ (en camaieu).

Мебель г. *Мунцъ*, обыкновенно дубовая, отличается весьма изящной орнаментаціей, рѣзанной большею частію въ плоскомъ деревѣ и потомъ, въ углубленныхъ частяхъ рисунка, пройденной слегка матовымъ золотомъ.

За нимъ слѣдуетъ г. *Гуссингеръ* со своими столами, стульями и шкапчиками изъ крашеного чернаго грушеваго дерева, покрытыми инкрустаціей изъ слоновой кости во вкусѣ мебели миланской и флорентинской XVII столѣтія. Здѣсь невольно приходится удивляться дешевизнѣ, соединяющейся такъ рѣдко съ изяществомъ и прочностью работы; шкапчикъ двѣнадцати вершковъ вышины и восьми вершковъ ширины, самой красивой формы и рисунка, стоитъ всего двѣсти франковъ,—дешевле, чѣмъ самая простая этажерка или табуретъ у г. Тура въ Петербургѣ.

Въ общей сложности, французскій мебельный отдѣлъ показываетъ особенный успѣхъ въ скульптурномъ отношеніи; отдавая полную справед-

ливость рисовальщикамъ-орнаментистамъ, нельзя не сказать, что они мало внесли новаго въ произведенія, отмѣченныя ихъ именемъ; все, что входитъ въ составъ ихъ дѣятельности, болѣе или менѣе заимствовано, или цѣликомъ взято съ образцовъ уже существующихъ; скульпторы и рѣзчики, между тѣмъ, на каждомъ шагу останавливаютъ вниманіе искусствомъ лѣпленія и мастерствомъ рѣзца. Въ самыя блистательныя эпохи процвѣтанія художества, лучше не лѣпили и не рѣзали изъ дерева. Осматривая предметы, выставленные гг. *Лемй*, *Герé*, *Кнехтомъ*, *Шармуà* и *Рогó* отличающіеся особенно по скульптурной части, проходишь всѣ пріемы, всѣ оттѣнки рѣзьбы на деревѣ, отъ декоративной манеры, гдѣ дерево, широко захваченное рѣзцомъ, закручивается въ волюту, ниспадаетъ гроздьями плодовъ, выступаетъ мощными мускулами фигуръ, до тончайшаго прикосновенія рѣзца въ листѣ цвѣтка, крыльяхъ птицы, изгибахъ самой прихотливой, самой фантастической орнаментаціи.

Согласно общему мнѣнію экспертовъ, гончарное дѣло сдѣлало, даже безъ сравненія, еще больше успѣховъ, чѣмъ мебельное. Въ главныхъ чертахъ своихъ, оно точно также обратилось къ подражанію старыхъ образцовъ; но здѣсь подражаніе привело къ существенно важнымъ результатамъ; современное керамическое искусство, въ усиліяхъ своихъ приблизиться къ минувшимъ образцамъ, обновило не только формы и вообще внѣшній видъ своихъ произведеній, но мало-по-малу дослѣдилось до употребленія всѣхъ тѣхъ техническихъ способовъ производства, которые считались еще такъ недавно тайнами востока и давнопрошедшаго времени. Въ этомъ отношеніи, какъ увидимъ ниже, особенныя заслуги оказало фаянсовое производство. Производство фарфоровыхъ издѣлій во французскомъ отдѣлѣ осталось за Севромъ; но надо сказать, фабрикѣ этой день ото дня труднѣе бороться противъ многихъ частныхъ заводовъ. Севръ, покровительствуемый императоромъ, располагая значительными средствами, имѣетъ возможность приглашать лучшихъ артистовъ; но какъ всѣ учрежденія официальныя, государственныя, — Севръ выказываетъ меньше существенныхъ успѣховъ, чѣмъ можно и слѣдуетъ, по всей справедливости, отъ него требовать; причину отчасти объяснить возможно; какъ только артисты, кто бы они ни были, вступаютъ въ кругъ обязательный, служебный, опредѣляются на казенную квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ,—словомъ, устроиваются, они уже, такъ сказать, подписываютъ свою разводную съ служеніемъ искусству; послѣднее прежде всего требуетъ совершенной независимости и свободной иниціативы. Художественная воспріимчивость, постоянно возбуждаемая соревнованіемъ въ кругу собратовъ, невольно умаляется и ослабѣваетъ тамъ, гдѣ личность должна исчезать, стушевываться въ пользу проявленія высшаго начальства и прославленія самаго учрежденія.

Севрская фабрика прислала на выставку много прекрасныхъ произведеній; но произведенія эти не новы, по-крайней-мѣрѣ относительно формы, и положительно слабѣе старыхъ образцовъ той же фабрики во всемъ, что касается собственно живописи. Тутъ находились вазы съ букетами цвѣтовъ и плодами, такъ замѣчательно исполненными, что могли бы быть подписанными именами фанъ-Гюзума и де-Геема; встрѣчались миніатюрно исполненныя

копіи съ картинъ Лувра и т. д.; но самая эта утонченность письма и вѣрность воспроизведенія и есть именно совершенно ложное пониманіе живописнаго искусства въ примѣненіи къ гончарному производству. То же самое, точь-въ-точь встрѣчается и на нашемъ фарфоровомъ императорскомъ заводѣ въ С.-Петербургѣ. Вѣрное воспроизведеніе природы составляетъ неотъемлемую принадлежность живописнаго искусства; любуясь картиной, нанъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ придти въ голову превратить ее въ подносъ или столъ; подносъ и столъ въ такомъ случаѣ были бы нелѣпость, безсмыслица, потому что не могли бы исполнять своего прямаго назначенія; живопись на предметѣ артистическаго промышленнаго производства имѣетъ смыслъ тогда лишь, когда служитъ къ украшенію предмета въ декоративномъ смыслѣ, не мѣшая ему оставаться самимъ собою.

Въ пониманіи этого дѣла несравненно дальше Севра ушли многіе частные производители, каковы, напримѣръ, гг. *Ломѣ*, *Декъ*, *фабрика въ Бурь-ла-рень* и другіе.

Произведенія ихъ точно также украшены цвѣтами, животными, растеніями; но здѣсь цвѣтокъ, бабочка, растеніе и т. д. не есть рабская копія съ натуры, а цвѣтокъ—имѣетъ орнаментный характеръ; цвѣтокъ — орнаментъ, бабочка — орнаментъ, листъ — орнаментъ и т. д.; словомъ, здѣсь цѣль не произвести картину, а достигнуть только живописнаго декоративнаго эффекта. Все это, сверхъ того, писано не тѣмъ копотливымъ пунктиромъ, который скученъ даже въ живописи, но писано той свободной широкой манерой, которая такъ хорошо вяжется съ предметомъ общеупотребительнаго назначенія.

Послѣдніе фабриканты, впрочемъ, съ замѣтнымъ усердіемъ изучали образцы восточнаго производства, которое было и будетъ лучшимъ руководителемъ въ пониманіи орнаментнаго, декоративнаго искусства.

Между новостями на Севрской выставкѣ слѣдуетъ упомянуть объ особомъ способѣ окраски фарфора, который, сколько кажется, принадлежитъ къ числу послѣднихъ изобрѣтеній: мы видѣли нѣсколько вещей, окрашенныхъ такимъ образомъ, что одинъ слой краски, обожженный въ огнѣ, покрывается вторымъ другаго колера, такъ что первый, просвѣчивая сквозь второй, даетъ въ общемъ при дневномъ свѣтѣ буро-коричневый тонъ, но при вечернемъ освѣщеніи нижняя краска беретъ перевѣсъ, и предметъ окрашивается пурпуровымъ отблескомъ Изобрѣтеніе это принадлежитъ болѣе къ техническимъ усовершенствованіямъ, чѣмъ касается художества. Въ числѣ художественныхъ улучшеній слѣдуетъ упомянуть о способѣ украшать фарфоръ,—способѣ, встрѣчаемомъ впрочемъ на вазахъ и чашахъ стариннаго китайскаго и японскаго производства; фарфоровая масса, неокрашенная или окрашенная въ одноцвѣтный тонъ и приведенная въ жидкое состояніе, употребляется какъ густая краска для изображенія на фарфоровыхъ вещахъ орнаментовъ, гирляндъ, фигуръ, обрамокъ для медальоновъ и т. д.; рисунокъ, выходя такимъ образомъ нѣсколько рельефно, мѣстами зацѣпляетъ блестки свѣта, мѣстами бросаетъ тѣнь и даетъ предмету большую игру, когда послѣдній покрывается глазурью. Не знаю, принадлежитъ ли этотъ новый способъ украшенія

Севрской фабрикѣ, но приложеніе встрѣчалось въ столь же совершенномъ видѣ на многочисленныхъ произведеніяхъ г. *Руссо* и г. *Жибюса;* оба эти фабриканта весьма замѣчательны.

Задача г. Руссо въ томъ, чтобы производить только тонкія артистическія вещи по образцамъ лучшихъ итальянскихъ моделей XVI вѣка и также фаянсовыхъ издѣлій, извѣстныхъ подъ названіемъ: Генриха II (faiences d'Oiron); каждая его вещь дѣйствительно носитъ отпечатокъ мысли и представляетъ почтенный результатъ неутомимаго изученія; ему знакомы всѣ способы какъ древняго производства на востокѣ и западѣ, такъ и новѣйшаго времени. Весьма замѣчательны у него, между прочимъ, медальоны съ изображеніемъ сюжетовъ, взятыхъ большею частью съ помпеянскихъ фрескъ, античныхъ камей и столь характерныхъ итальянскихъ медалей XV вѣка; изображенія эти, писанныя густымъ одноцвѣтнымъ фарфоромъ по фарфоровой, уже обожженной доскѣ другаго тона, обыкновенно матоваго, синяго, коричневаго, голубоватаго и т. д., замѣчательны по рисунку и мастерству давать большой рельефъ на плоской поверхности; многіе медальоны такъ мелки и вмѣстѣ съ тѣмъ изящны, что могли бы съ успѣхомъ замѣнить камеи. Г. Руссо производитъ также сервизы изъ бѣлаго фаянса, съ рисунками самаго оригинальнаго, живописнаго характера; тутъ въ безпорядкѣ разбросаны плоды, овощи, цвѣты, бабочки и т. д.; очеркъ этихъ изображеній произведенъ отпечаткомъ; остальное все писано красками отъ руки и съ замѣчательнымъ декоративнымъ вкусомъ; такой сервизъ на двѣнадцать человѣкъ стоитъ, сообразно съ его артистическимъ достоинствомъ, баснословно дешево: двѣсти франковъ; но разсчетъ г. Руссо вѣренъ: онъ разсчитываетъ на массу сбыта; во время выставки онъ получилъ столько заказовъ, что на много лѣтъ обезпечена дѣятельность его фабрики.

Отличительная черта произведеній г. Жибюса заключается въ совершенствѣ фигуръ, которыми они украшены; фигуры состоятъ большею частію изъ дѣтей, маленькихъ фавновъ и сатировъ; онѣ отформованы обыкновенно изъ фарфора одноцвѣтной массы, но другаго цвѣта, чѣмъ туловище вазы, и украшаютъ ея бока; ваза всегда бѣлаго цвѣта, покрыта легкою, но блестящею, маслистою глазурью, дающею ей видъ pâte tendre; форма вазъ самаго простаго рисунка, но всегда изящная по линіямъ и пропорціямъ.

Выставка фарфоровыхъ издѣлій гг. *Ренó* и *Бойѐ* была истиннымъ благодѣяніемъ для множества лицъ, которыя, имѣя больше денегъ, чѣмъ знанія въ керамическомъ дѣлѣ, пріобрѣтали ихъ прежде за самый несовершенный фарфоръ севрскаго производства. Бирюзовый цвѣтъ и синій, такъ называемый «bleu de roy»—секретъ которыхъ, говорили, и дѣйствительно одно время былъ утраченъ, удается гг. Бойé и Ренгò такъ совершенно, что при сличеніи образцовъ ихъ производства со старыми, положительно не усматривается различія; для бóльшаго сходства и марки поставлены тѣ же, что на старыхъ экземплярахъ. Тарелки съ медальонами, изображающими портреты дамъ временъ Лудовика XV и регентства, окруженныя обрамкою изъ матоваго золота съ узорами въ видѣ жемчуга, чашки

pâte tendre съ тонкими арабесками, расписанными сквозною эмалью—все это встрѣчается здѣсь въ изобилiи.

Изъ экспонентовъ, производство которыхъ было лучше другихъ по мастерству дѣлать печатные оттиски по фарфору и фаянсу, болѣе всѣхъ отличился г. *Превó* (Prévost); произведенiя г. *Бріаншóнъ* не щеголяютъ изящной формой, но замѣчательны они по блестящей глазури съ металлическимъ отливомъ; г. Бріаншóнъ не достигъ еще пурпуроваго отлива, отличавшаго сицилiйско-арабскiя блюда XV вѣка и также произведенiя знаменитаго итальянскаго керамиста Орацiа Фонтана; онъ даетъ своимъ вещамъ только розовый тонъ, отливающiй золотомъ, серебромъ и перламутромъ; но и это уже заслуга немаловажная.

Металлическiй отливъ встрѣчается также на двухъ блюдахъ г. *Лонгé*; но мы переходимъ съ этимъ экспонентомъ уже въ отдѣлъ фаянса; онъ былъ такъ замѣчателенъ, что пользовался чуть ли не самою большею популярностью на выставкѣ.

Благодаря возрастающему вкусу къ старинѣ въ эти послѣднiя двадцать лѣтъ, фаянсовое производство, вытѣсненное на дальнiй планъ фарфоромъ, снова вошло въ большую моду; здѣсь, разумѣется, говорится только о произведенiяхъ, имѣющихъ стиль и рисунокъ; мода играетъ здѣсь, конечно, свою роль; но ей далеко не все принадлежитъ; въ настоящемъ случаѣ, главную долю надо отдать художественному чувству, которое предпочитаетъ фаянсъ потому, что произведенiя этого рода, по свойству своей массы, всегда на видъ мягче тономъ, очертанiя на нихъ выходятъ не такъ рѣзко и наконецъ, главное, благодаря тому же свойству фаянса, краски, поглощаясь несравненно больше, чѣмъ на фарфорѣ, получаютъ при выходѣ изъ огня матовый тонъ самаго прiятнаго гармоническаго свойства; даже худо расписанный фаянсъ не деретъ глаза; фарфоръ требуетъ мастерскаго письма; иначе онъ производитъ всегда крикливый, яркiй и грубый эффектъ. Повторяемъ, мы касаемся здѣсь только производства артистическаго, а не обиходнаго.

Отдѣлъ фаянса такъ обширенъ, что нѣтъ возможности перечислить всѣхъ экспонентовъ; мы ограничимся тѣми только, которые выходятъ изъ ряда и стоятъ на первомъ планѣ.

Имя г. *Пуля* (Pull) извѣстно уже двадцать лѣтъ; онъ, можно сказать, первый предугадалъ направленiе настоящаго вкуса и началъ съ формовки въ Луврѣ самыхъ замѣчательныхъ образцовъ Палисси. Кромѣ того, что г. Пуль достигаетъ въ подражанiи такого совершенства, что приводитъ часто въ затрудненiе знатоковъ, онъ ввелъ въ свое производство большiя усовершенствованiя; такъ, напримѣръ, синяя эмаль г. Пуля содержитъ въ себѣ больше густоты колера и блеска, чѣмъ даже у Палисси и всѣхъ остальныхъ гончаровъ; многiя вещи его, какъ напр. большой каминъ во вкусѣ возрожденiя, рельефъ съ Рафаэля: La belle jardinière, большой канделябръ во флорентинскомъ стилѣ, показываютъ высокое мастерство въ управленiи горномъ, въ формовкѣ большихъ фаянсовыхъ вещей и эмальировкѣ. Надо замѣтить, г. Пуль и его жена составляютъ вдвоемъ весь персоналъ фабрики; мужъ формуетъ и обжигаетъ, жена эмальируетъ. Г. Пуль, работая только для музеевъ и любителей,

производитъ весьма мало, и этимъ объясняется высокая цѣна его произведеній.

Совершенно тому же направленію слѣдуетъ г. *Барбизе*, но съ тою разницею, что произведенія послѣдняго исполняются въ большомъ масштабѣ и носятъ болѣе фабричный отпечатокъ; слѣдуетъ прибавить также, что и въ цѣнѣ вещей огромная разница: онѣ вдвое дешевле, чѣмъ у г. Пуля.

Г. *Ависсо* (Avisseau) тоже подражаетъ Палисси, но только не подстрочно, какъ Пуль и Барбизе; подобно Палисси, онъ формуетъ съ натуры рыбъ, насѣкомыхъ, растенія, переноситъ отформованные предметы на блюда и потомъ расписываетъ ихъ цвѣтною эмалью самаго блестящаго свойства. Выставленная имъ плетеная изъ хвороста корзина съ рыбой, угремъ и овощами—верхъ совершенства эмальернаго дѣла по фаянсу; никогда самъ Палисси не доходитъ до такой утонченной правдивости.

Г. *Жанъ* тоже керамистъ съ большимъ талантомъ; задача его—воскресить старое фаянсовое производство Мустье, Руана, Авиньона и т. д.; онъ прибавляетъ къ нимъ все, что можетъ улучшить производство относительно живописи. Онъ выставилъ также множество оригинальныхъ вещей, между которыми колоссальные расписные бюсты, фонтаны, сервизы, въ которыхъ морскія божества, нимфы и тритоны поддерживаютъ раковины, дѣлаютъ величайшую честь производителю.

Другой экспонентъ, г. *Декъ*, идетъ тѣмъ же путемъ; онъ, если возможно, еще достойнѣе вниманія, потому что выставленныя имъ произведенія представляютъ больше разнообразія, больше заботливости къ усовершенствованію.

Говоря о копированіи съ натуры красками на произведеніяхъ Севра, мы должны бы были упомянуть о томъ, какъ понимаютъ этотъ родъ письма живописцы-орнаментисты, употребляемые г. Декомъ; такіе мастерскіе пріемы письма встрѣчаются только на произведеніяхъ лучшихъ эпохъ восточнаго производства; здѣсь краски, смѣло наложенныя, какъ бы текутъ съ кисти, заливаютъ одна въ другую, запекаются на выступѣ листа или ребрѣ узора, и все это, между тѣмъ, художественно разсчитано; все способствуетъ къ тому, чтобы въ цѣломъ произвести тотъ сочный, вкусный живописный эффектъ, который, одинъ, отличаетъ руку художественную, руку незнакомую съ рутиной и свободно повинующуюся волѣ образованнаго чувства. Цвѣтная эмаль г. Дека удивительна; въ этомъ отношеніи никто не можетъ съ нимъ соперничать; на старыхъ китайскихъ и японскихъ вазахъ существовали цвѣта, которыхъ до сихъ поръ никто не могъ произвести кромѣ г. Дека; изразцы его, бо́льшаго размѣра, по блеску красокъ, могутъ только стать на ряду съ персидскими старыми произведеніями того же назначенія. Формы произведеній г. Дека заимствованы большею частію у востока; такъ у него множество моделей, снятыхъ цѣликомъ съ металлическихъ арабскихъ чашъ и кубковъ, украшенныхъ изреченіями изъ Корана и мелкой орнаментаціей; г. Декъ покрываетъ ихъ обыкновенно легкою цвѣтною глазурью, въ огнѣ она удобнѣе затекаетъ въ углубленныя части узора и при выходѣ изъ горна производитъ въ цѣломъ удивительно живописный эффектъ.

Въ техническомъ отношеніи Декъ пошелъ также дальше другихъ; онъ

выставилъ, между прочимъ, въ персидскомъ вкусѣ, чашу, величина которой разрѣшила вопросъ о возможности обжигать колоссальныя фаянсовыя вещи, такъ чтобы онѣ въ горнѣ не распадались и не теряли своей формы.

Было бы недобросовѣстно не упомянуть о гг. *де-Бомонѣ* и *Парвильѣ*. Каждый, независимо одинъ отъ другаго, весьма много способствовалъ къ тому, чтобы поддержать артистическій вкусъ во Франціи; оба, въ разное время, долго странствовали по востоку, собирая на мѣстѣ матеріалы, самыя формы съ замѣчательныхъ памятниковъ, рисуя все, что могло служить для ихъ цѣли. Г. де-Бомонъ обратился преимущественно къ производству фаянсовой артистической посуды; благодаря мастерской своей раскраскѣ и формамъ, она получила высшую награду на выставкѣ 1862 года; на послѣдней выставкѣ онъ прибавилъ къ прежнимъ своимъ издѣліямъ плиты, жардиньерки, образцы балконныхъ рѣшотокъ изъ искуственнаго камня, который превосходно поддается самому прихотливому рѣзцу и держитъ цвѣтную глазурь, обожженную въ огнѣ.

Спеціальность г. Парвильѣ состоитъ въ производствѣ изразцовъ, узоръ которыхъ рельефно вытѣсняется въ формѣ, потомъ раскрашивается эмалью и обжигается въ огнѣ. Рисунки г. Парвильѣ превосходны; они цѣликомъ сняты съ арабскихъ и персидскихъ памятниковъ лучшаго періода. Г. Парвильѣ производитъ также большія монументальныя части зданій, фризы, капители, колонны и т. д. Онъ отливаетъ ихъ изъ твердой бетоновой массы въ формы, привезенныя имъ съ востока; расписанные блестящею цвѣтною эмалью, образцы эти — драгоцѣнная находка для архитектуры нашего времени, которая жадно ищетъ обновленія.

Мы еще ничего не сказали о замѣчательныхъ производителяхъ гг. *Жефруà* и *Герренъ*, но, пора остановиться.

Вообще, довольно, кажется, было сказано о французскомъ отдѣленіи выставки, чтобы сдѣлать себѣ приблизительно вѣрное понятіе о состояніи во Франціи художественной промышленности, о направленіи послѣдней и также о степени образованія, къ которому пришелъ работающій классъ французскаго современнаго общества.

Намъ, по крайней мѣрѣ, невольно и часто приходилось удивляться этой обширной массѣ лицъ, такъ хорошо приготовленной для всякаго художественнаго труда,—лицъ, проникнутыхъ чувствомъ изящнаго, развитыхъ по вкусу, развитыхъ, наконецъ, умственно на столько, чтобы, часто при талантѣ несомнѣнномъ, такъ охотно, такъ ревностно отдавать свой трудъ, свое знаніе издѣліямъ промышленнаго производства.

Но тутъ снова повторить слѣдуетъ: присутствіе сознанія, встрѣчаемое здѣсь въ трудѣ художника и даже ремесленника, чувство вкуса и артистическаго отпечатка на произведеніяхъ, не есть знакъ особенно одаренной природы француза; у него есть воспріимчивость, есть дѣятельность и склонность къ искуству, вызванная художественными преданіями,— это правда; но главное дѣло заключается въ тѣхъ способахъ развитія, которые встрѣчаетъ здѣсь человѣкъ при вступленіи на поприще; дѣло въ тѣхъ безчисленныхъ школахъ, въ тѣхъ музеумахъ, которыми Франція

такъ заботливо запасалась еще въ давнее время и о размноженіи которыхъ такъ еще теперь заботливо старается.

## АНГЛІЯ.

Мы видѣли въ началѣ этой статьи, какое участіе приняла Англія въ вопросѣ общенароднаго художественнаго образованія; мы видѣли также, съ какой энергіей приступила она къ осуществленію такой мысли.

Но кенсингтонскій музей составлялъ только часть той обширной программы, которая разработывалась въ совѣтѣ подъ предсѣдательствомъ принца Альберта.

Справедливость требуетъ сказать, что цѣль программы, въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ, совпадала съ цѣлями такъ называемаго: «воспитательнаго комитета», давно существовавшаго въ Англіи; разница заключалась въ обширности новаго плана, съ присоединеніемъ къ нему нѣкоторыхъ правъ и разработки деталей; но и этого уже было много, если принять въ вниманіе запасъ энергіи членовъ новаго комитета; едва только дѣло подготовилось на столько, чтобы начать свои дѣйствія,—яснымъ оказалось, что оно не можетъ удовлетвориться прежней рамкой; сюда входило слишкомъ много новыхъ элементовъ, возникшихъ при разработкѣ деталей. Общій составъ плана невольно также вызвалъ необходимость самостоятельнаго образа дѣйствій.

Такимъ образомъ, въ 1853 г. образовалось, можно сказать, само собою, совершенно спеціальное учрежденіе; оно получило названіе «департамента искусствъ» (*art departement*); государство приняло его подъ свое покровительство, а парламентъ, съ своей стороны, обязался ежегодно выдавать ему значительную денежную сумму.

Главныя основныя пружины дѣйствія департамента заключаются: во-1-хъ, въ раздачѣ вспомогательныхъ денежныхъ пособій, премій, субсидій всякаго рода, во всѣ школы, которыя, преподавая рисовальное искусство, согласны подчиняться извѣстному наблюденію со стороны департамента; въ чемъ заключаются эти наблюденія, объяснено будетъ ниже; во-2-хъ, въ управленіи, по особой программѣ, центральною школою, основанною департаментомъ при кенсингтонскомъ музеумѣ,—школою, преимущественное назначеніе которой въ томъ, чтобы приготовлять спеціальныхъ учителей по всѣмъ родамъ художества; въ-3-хъ, въ правѣ выдавать дипломы разныхъ степеней на званіе учителя тѣмъ изъ питомцевъ своей школы, которые, во-время курса и при выпускномъ экзаменѣ, обнаружили особенныя способности какъ рисовальщики-преподаватели.

Благодаря отлично-обдуманной системѣ, въ которую приведенъ былъ каждый изъ этихъ способовъ дѣйствій,—департаментъ искусствъ имѣлъ возможность обнять всѣ стороны художественнаго образованія въ государствѣ.

Средства денежнаго вознагражденія открывали ему самый вѣрный, самый дѣйствительный способъ поощренія; воспитывая спеціальныхъ учителей, департаментъ способствовалъ ежегодно къ умноженію числа хоро-

шихъ преподавателей и, слѣдовательно, содѣйствовалъ распространенію изученія изящнаго; право выдавать дипломы было также весьма важнымъ преимуществомъ: въ глазахъ каждаго учащагося, дипломъ опредѣлялъ будущую его карьеру; онъ зналъ, что если будетъ трудиться, — трудъ его не пропадетъ даромъ и дастъ ему вѣрное положеніе; съ другой стороны, дипломъ въ рукахъ учителя служилъ вѣрной гарантіей для школы, которая нуждалась въ руководителѣ по части рисованья. Наконецъ, въ вѣдѣніи департамента находился еще кенсингтонскій музей,—самое обширное художественное образовательное учрежденіе въ Европѣ; дѣйствія музеума распространялись столько же на классъ учителей и рабочихъ, сколько вообще на все общество; къ этому слѣдуетъ еще причислить множество другихъ музеумовъ или выставокъ, постоянныхъ и передвижныхъ, также лекцій для вольнослушателей, популярныхъ чтеній, курсовъ и т. д.

Сущность стремленій департамента лучше всего выразилась въ нѣсколькихъ словахъ, произнесенныхъ при открытіи кенсингтонскаго музеума секретаремъ комитета г. Колемъ: «...Если бъ, для усовершенствованія въ артистическомъ смыслѣ фабричнаго производства Англіи,— предстояло выбирать два пути: развивать вообще художественное чувство въ цѣломъ обществѣ, или заботиться преимущественно объ образованіи ремесленнаго класса, — я убѣжденъ, цѣль была бы скорѣе достигнута въ первомъ случаѣ; масса общества, т. е. число потребителей, неисчислимо значительнѣе производительнаго класса; предположите, что главная масса общества, — не скажу образована художественно, — но на столько подготовлена, чтобы сочувствовать изящному; такое условіе уже невольно будетъ имѣть самое сильное вліяніе на усовершенствованіе производства; промышленность страны всегда повинуется извѣстной логикѣ: она стремится удовлетворить потребности массы: главный вопросъ заключается, слѣдовательно, въ образованіи послѣдней...»

Эти слова содержатъ въ себѣ главную мысль, главныя стремленія департамента искусствъ.

Разсмотримъ теперь, какъ выполняется такая многосложная и трудная задача.

Чтобы соприкасаться съ общимъ движеніемъ художественнаго образованія въ государствѣ и войти въ тѣсныя сношенія съ учрежденіями, идущими къ такой же цѣли, департаментъ предлагаетъ денежныя пособія и учителей своихъ всюду, гдѣ только возникаетъ новая школа искусства, или высказывается желаніе учредить классъ рисованія.

Мы сказали выше,— такое участіе департамента не безусловно; условія эти слѣдующія: 1) Въ городѣ, или округѣ, гдѣ предполагается основать рисовальную школу, должно существовать не менѣе пяти училищъ, свидѣтельствующихъ о желаніи пользоваться рисовальными классами; каждое училище должно быть въ состояніи вносить за такое пользованіе пять фунтовъ стерлинговъ ежегодно (около 35 р. с.). 2) Учителя этихъ школъ,— все равно, какой бы предметъ они ни преподавали,— обязуются слѣдить за курсомъ рисованья наравнѣ съ учениками (послѣднее обусловлено мыслію распространять во что бы ни стало художественное образованіе).

3) Спеціальное помѣщеніе должно быть предназначено для рисовальныхъ классовъ. 4) Въ случаѣ, если денежные взносы школъ по пяти фунтовъ, и сверхъ того сборъ съ вольнослушателей, недостаточно обезпечиваютъ учителя рисованья, мѣстный комитетъ обязуется сообщить департаменту о средствахъ, которыя можетъ найти учитель въ частныхъ урокахъ.

Условія эти ясно свидѣтельствуютъ, что департаментъ распространяетъ свое покровительство не иначе, какъ на самыхъ прочныхъ основаніяхъ; онъ хочетъ быть увѣренъ, что новая школа рисованья заключаетъ въ себѣ всѣ элементы для существованія и развитія, что учитель, высланный имъ, будетъ вполнѣ обезпеченъ.

Если мѣстный учебный комитетъ принимаетъ условія департамента и можетъ доказать самымъ несомнѣннымъ образомъ возможность ихъ исполненія, департаментъ признаетъ тогда официально существованіе новой школы; онъ выбираетъ учителя, кончившаго полный курсъ въ кенсингтонскомъ училищѣ; онъ не приневоливаетъ взять именно этого учителя, но только предлагаетъ его мѣстному комитету.

Потребовавъ, какъ мы видѣли, вѣрное обезпеченіе учителя, департаментъ считаетъ справедливымъ подчинить послѣдняго условной программѣ, съ тѣмъ, конечно, чтобы дать въ свою очередь гарантію мѣстному комитету.

Программа эта весьма обширна. Курсъ элементарный заключаетъ въ себѣ: линейную перспективу, геометрическое черченіе, рисовку несложныхъ орнаментовъ съ гипсовыхъ моделей, рисовку фигуры съ литографированныхъ образцовъ, первыя основныя правила акварельной живописи; курсъ высшій: рисованье съ рельэфныхъ гипсовыхъ образцовъ, живопись, орнаментацію во всѣхъ ея приложеніяхъ, цвѣты, ландшафтъ; затѣмъ слѣдуетъ еще дополнительный классъ, въ немъ проходятъ: анатомію, сочиненіе живописныхъ и скульптурныхъ мотивовъ, лѣпленіе, архитектуру и черченіе машинъ. Сверхъ курсовъ, учитель обязывается давать три раза въ недѣлю, по вечерамъ, уроки ремесленникамъ съ платою въ недѣлю по шести пенсовъ (около 15 к. с.) съ человѣка.

Учитель, въ общей сложности, получаетъ: 1) половину дохода художественнаго класса; 2) по десяти фунт. ст. въ годъ за каждый дипломъ, выданный ему какъ свидѣтельство его дѣятельности и прилежанія; 3) денежныя преміи, выдаваемыя ему департаментомъ, пропорціонально числу наградъ, полученныхъ его учениками на конкурсахъ.

Главнымъ двигателемъ рвенія учителей и учениковъ служатъ экзамены и конкурсы, назначаемые департаментомъ; экзамены повторяются какъ можно чаще нарочно съ тѣмъ, чтобы рвеніе тѣхъ и другихъ постоянно возбуждалось и поддерживалось; цѣль достигается тѣмъ дѣйствительнѣе, что съ экзаменами соединяются существенныя выгоды учителя, ученика и самой школы.

Инспекторъ и экзаменаторы являются всегда неожиданно; подвергнувъ учениковъ экзамену, они осматриваютъ ихъ рисунки и назначаютъ премію лучшимъ изъ нихъ; каждая премія приноситъ собственно учителю два или три фунта ст. награжденія. Конкурсы назначаются между экзаменами; въ каждую школу посылается изъ департамента списокъ задачъ художественнаго содержанія, которыя предлагаются на конкурсъ. Послѣ окон-

чанія тѣхъ экзаменовъ, о которыхъ говорено выше, инспекторы приступаютъ къ осмотру конкурсныхъ задачъ. Отличившіеся ученики награждаются медалью; каждая медаль доставляетъ школѣ премію въ десять шиллинговъ. Она выдается не деньгами, но художественнымъ предметомъ приблизительно той же цѣнности, какъ напр.: гравюрой, книгой, моделью, гипсовымъ слѣпкомъ и т. д. Этимъ способомъ школа ежегодно увеличиваетъ составъ своихъ художественныхъ коллекцій и обогащаетъ свою библіотеку. Каждый ученикъ, награжденный медалью, получаетъ названіе «*prize student*» (ученикъ съ медалью); — но главная награда заключается въ освобожденіи его отъ годичной платы за ученье.

Дѣйствіе конкурсовъ на этомъ не останавливается: рисунки, за которые присуждены награды, препровождаются въ департаментъ; тамъ они подвергаются новому осмотру. Лучшимъ ученикамъ присуждается вторая медаль высшаго достоинства, а школа, давшая образованіе такому ученику, пользуется преміей уже въ десять фунтовъ стерлинговъ.

Сумма эта снова идетъ на пополненіе художественныхъ коллекцій заведенія.

Мѣстными этими школами, разсыпанными въ государствѣ, и центральнымъ кессингтонскимъ училищемъ еще не ограничивается кругъ дѣйствій департамента; къ нимъ надо присоединить множество другихъ учрежденій, дѣйствіе которыхъ также весьма важно. Они направлены къ тому, чтобы осуществить мысль, высказанную г. Колемъ въ его вступительной рѣчи; здѣсь дѣло уже въ распространеніи художественнаго чувства и вкуса между всѣми классами англійскаго общества.

Предмѣстье Лондона, извѣстное подъ названіемъ: «*South Kensington*», содержитъ въ себѣ цѣлую группу художественно-образовательныхъ учрежденій, которыя служатъ центромъ и какъ бы типомъ всему тому, что предполагается сдѣлать въ Англіи. Тутъ находятся: администрація департамента, нормальное кенсингтонское училище, кенсингтонскій музей, консерваторія ремеслъ и искусствъ, библіотека, лавки всѣхъ возможныхъ рисовальныхъ принадлежностей, которыя продаются департаментомъ по возможно дешевымъ цѣнамъ всѣмъ школамъ и учащимся въ государствѣ; здѣсь также устроены обширныя залы для публичныхъ лекцій и конференцій.

Что особенно характеризуетъ учрежденія Англіи, — это, что при всей своей сложности, при всей видимой точности и систематичности административнаго устройства, — въ нихъ нѣтъ ничего мертвеннаго и, такъ сказать, машиннаго; здѣсь все, напротивъ, проникнуто воодушевленіемъ; все движется и приноситъ непосредственно самые живые результаты. Дѣло, сколько кажется, можетъ только объясниться живымъ участіемъ каждаго лица къ предмету его занятій; способность такого участія заключается столько же въ степени общаго образованія, сколько въ патріотическомъ чувствѣ, которое такъ сильно въ Англіи и служитъ ей всегда могучимъ рычагомъ въ дѣлѣ успѣха.

Самый кенсингтонскій музей не есть, напримѣръ, болѣе или менѣе мертвое соединеніе коллекцій, составленныхъ годъ за годъ, согласно установленной однажды программѣ; коллекціи музея пополняются еже-

днемъ; онѣ составлены и расположены такъ умно, такъ практично, что служатъ полезной школой учащимся и, вмѣстѣ съ тѣмъ, постоянно поддерживаютъ любопытство въ массѣ зрителей. Принимая въ соображеніе годъ основанія музеума, — онъ моложе всѣхъ главныхъ музеумовъ на западѣ; но для исторіи искусства и его изученія онъ, между тѣмъ, безспорно, теперь самый полный и драгоцѣнный.

Къ сокровищамъ, составляющимъ собственность музея, слѣдуетъ еще присоединить все, что временно поступаетъ въ него отъ частныхъ лицъ; онъ до такой степени популяренъ въ Англіи, цѣль его такъ очевидно благотворна, что успѣху его дѣйствій сочувствуютъ всѣ классы государства; каждое лицо, обладающее художественными предметами, считаетъ долгомъ своимъ предложить временно музеуму все, что можетъ прибавить къ его богатствамъ и способствовать его цѣлямъ. Что цѣли эти съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе достигаются, доказывается, между прочимъ, постепенно возрастающимъ числомъ посѣтителей изъ простаго класса; желая окончательно уничтожить всѣ препятствія, мѣшавшія народу ходить въ музей, администрація уже нѣсколько лѣтъ освѣщаетъ его вечеромъ; это происходитъ въ тѣ именно часы, когда кончаются въ городѣ работы. Въ 1861 г. вечернихъ посѣтителей, принадлежащихъ, собственно, къ рабочему сословію Лондона, было 604,650 человѣкъ; цифра эта постепенно возрастаетъ въ значительной пропорціи.

Мысль развить въ государствѣ артистическій вкусъ приводится въ исполненіе мимо музеума, еще другими учрежденіями; но и здѣсь, точно также, главнымъ центромъ служитъ департаментъ искусствъ. Прежде всего слѣдуетъ упомянуть о подвижныхъ художественныхъ выставкахъ. Время отъ времени, отдѣльные художественные предметы, которые могутъ быть взяты изъ коллекцій Кенсингтона, не нарушая ихъ гармоніи, соединяются группами, укладываются и отправляются въ болѣе глухія части Британіи, лишенныя средствъ къ образованію въ томъ духѣ, какъ этого желаетъ департаментъ. Въ составленіи этихъ коллекцій принимаютъ точно также участіе частные любители; они дополняютъ ихъ предметами изъ своихъ собраній. Выставки эти, обогащенныя иногда множествомъ замѣчательныхъ произведеній по всѣмъ родамъ искусства, начинаютъ переходить изъ города въ городъ, и такимъ образомъ, въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, дѣлаются достояніемъ цѣлаго округа.

Первая путешествующая выставка, въ первую свою поѣздку, имѣла болѣе 200,000 посѣтителей. Мѣстныя школы, какъ заключающія въ себѣ персоналъ, болѣе ознакомленный съ предметомъ художества, извлекаютъ, конечно, больше всего пользы изъ такихъ выставокъ; но мимо своего существеннаго результата для класса учащагося, выставки имѣютъ также отличное нравственное вліяніе на духъ мѣстнаго общества; невольно распространяя вокругъ себя артистическую атмосферу, онѣ располагаютъ мысль къ искусству, возбуждаютъ къ нему сочувствіе, рождаютъ къ нему уваженіе.

Другой, весьма дѣйствительный двигатель для распространенія художественнаго образованія заключается въ способѣ изустнаго преподаванья, которое, какъ извѣстно, такъ общеупотребительно въ Англіи. Съ

перваго года своего существованія, департаментъ открылъ въ залахъ кенсингтонскаго музея цѣлый рядъ публичныхъ чтеній, курсовъ, лекцій, конференцій; они исключительно имѣли предметомъ изящное во всѣхъ его видахъ и приложеніяхъ. Эти курсы или *lectures*, какъ ихъ называютъ въ Англіи, имѣютъ по преимуществу характеръ популярный; они нарочно такъ составляются, чтобы быть вполнѣ доступными ремесленному классу.

Общество и здѣсь явилось однимъ изъ главныхъ помощниковъ департамента; его примѣромъ не замедлили воспользоваться всѣ провинціальныя учрежденія, цѣлью которыхъ была пропаганда искусства. Каждое лицо, знакомое съ предметомъ искусства, поспѣшило предложить свои услуги; къ нимъ (особенно въ отдаленныхъ провинціальныхъ кружкахъ) присоединилось множество дамъ и дѣвушекъ. Онѣ ревностно начали изучать искусство съ тѣмъ, чтобы имѣть возможность принять дѣятельное участіе въ общемъ дѣлѣ.

Художественное образованіе встрѣтило также большую поддержку со стороны прессы. Въ Англіи она также задорна, какъ и вездѣ, но въ настоящемъ случаѣ она не замедлила присоединиться къ другимъ умственнымъ силамъ Англіи. Печатая постоянно всѣ новости, касающіяся области художества, давая мѣсто на своихъ страницахъ отчетамъ о музеумахъ и школахъ, перепечатывая замѣчательныя лекціи, издавая съ поясннтельными рисунками и въ самой популярной формѣ извлеченія изъ художественныхъ сочиненій,—пресса сдѣлала даже быть можетъ больше для поддержки дѣйствій департамента, чѣмъ могло бы быть сдѣлано безъ ея участія соединенными силами государства и частныхъ лицъ.

Намъ остается теперь указать на послѣдствія этихъ совокупныхъ усилій, стремившихся такъ единодушно къ общей цѣли.

Послѣдствія всего лучше могутъ быть выражены слѣдующими цифрами:

Изъ отчетовъ департамента за 1865 годъ видно, что уже въ этомъ году находилось на лицо *158* школъ, которыя прибавили къ своей программѣ спеціальные классы для преподаванія искусства; число учениковъ доходило до *6,835*. Собственно спеціальныхъ художественныхъ школъ было въ томъ же году: *92*; постоянныхъ воспитанниковъ, изучавшихъ весь полный курсъ, было: *16,621*. Сверхъ своихъ постоянныхъ учениковъ, спеціальныя школы посѣщались вольноприходящими, которымъ преподавался элементарный курсъ рисованья; послѣднихъ было: *89.967*.

Прибавивъ къ этому число учениковъ нормальной кенсингтонской школы, лицъ свободно обучавшихся въ залахъ разныхъ музеумовъ и на выставкахъ, почерпавшихъ художественное знаніе на лекціяхъ, курсахъ и чтеніяхъ, мы можемъ составить себѣ приблизительно понятіе о числѣ лицъ, пользующихся въ Англіи изученіемъ художества. И все это сдѣлалось въ какихъ-нибудь 16—17 лѣтъ.

Постоянно увеличивающееся число ремесленниковъ при посѣщеніи школъ, ихъ усердіе, явные результаты успѣха, мало-по-малу обратили направленіе каждой школы къ болѣе тщательной обработкѣ той части искусства, которая ближе касается къ предмету мѣстной производительности. Такъ, въ школахъ Лидса и Манчестера преимущественно обра-

щаютъ вниманіе на композицію рисунковъ для тканей всякаго рода; въ Шеффильдѣ преподается орнаментація въ приложеніи къ издѣліямъ изъ серебра и ювелирному производству; въ Бирмингамѣ съ особенною заботливостью изучаютъ все, что можетъ служить къ улучшенію формъ въ механическомъ и оружейномъ дѣлѣ, въ Стафордширѣ, — центрѣ гончарнаго производства, рисунокъ особенно изучается въ его примѣненіи къ изящному улучшенію керамики; въ Нью-кестлѣ рисованье преимущественно направлено къ усовершенствованію литейнаго дѣла и т. д. Въ каждомъ изъ этихъ городовъ, благодаря заботливой поддержкѣ общества, комитета департамента и частію правительства, можно такимъ образомъ прослѣдить, годъ за годъ, за успѣхомъ промышленности въ дѣлѣ вкуса и артистическаго улучшенія.

Всѣ роды поощренія, данные рисовальному искусству, и постепенно возрастающее значеніе художества въ приложеніи къ издѣліямъ промышленности, развили въ Англіи особый классъ лицъ, полу-ремесленниковъ, полу-художниковъ, о которыхъ еще нѣсколько лѣтъ назадъ не было тамъ и помину; мы говоримъ о рисовальщикахъ и лѣпщикахъ, составляющихъ образцы и модели для фабрикъ. Въ послѣднее время, они болѣе и болѣе замѣтно начинаютъ вытѣснять рисовальщиковъ Франціи, которые держали своего рода монополію въ англійскомъ производствѣ.

Переходить послѣ всего сказаннаго къ матеріальнымъ результатамъ всѣхъ этихъ усилій, т. е. доказывать успѣхъ англійскихъ произведеній, — было бы здѣсь совершенно излишне. Успѣхъ этотъ слишкомъ ярко выразился на выставкѣ 1867 г.; говорить о немъ послѣ всѣхъ безчисленныхъ заявленій европейской прессы, значило бы только повторять общія мѣста.

Замѣтимъ, однакожъ, мимоходомъ, что преобладающая черта артистической промышленности въ Англіи — мимо ея усовершенствованія, — заключается, такъ же, какъ и во Франціи, въ разработкѣ типовъ времени возрожденія и среднихъ вѣковъ. Гончарное дѣло, мебель, ткани, хрусталь, расписныя стёкла—словомъ, все, что носитъ отпечатокъ художества, выказываетъ явное стремленіе къ неутомимому изученію образцовъ стараго искусства.

Этому, какъ мы уже выше замѣтили, способствовало особенно распространеніе музеумовъ и вообще усиленное изученіе художества.

Тѣ же причины и тѣ же слѣдствія отмѣчаютъ вообще болѣе или менѣе всю современную промышленность на западѣ. Отдѣлы артистическаго производства въ Пруссіи, Бельгіи, Австріи и Даніи свидѣтельствуютъ, что въ этихъ государствахъ точно также начинаютъ дѣятельно заботиться о распространеніи художественнаго образованія между ремесленными классами. Способы, принимаемые для осуществленія такой цѣли, не представляютъ никакой разницы противъ тѣхъ, которые введены во Франціи и въ Англіи.

Справедливость требуетъ сказать, что Австрія въ этомъ отношеніи ушла однакожъ далеко впередъ. Художественно-промышленный музей, основанный въ Вѣнѣ въ 1864 г. подъ покровительствомъ императора, можетъ по составу своему считаться однимъ изъ лучшихъ въ Европѣ; третьяго года

въ Пештѣ основанъ также музей и нормальная рисовальная школа по образцу кенсингтонской. На выставкѣ 1867 г., въ австрійскомъ отдѣлѣ, экспоненты, какъ напр. г. *Гаасъ* (по ткацкому дѣлу), г. *Клейнъ* (по мелкимъ бронзовымъ издѣліямъ) и еще многіе другіе, получившіе высшія награды, заявили коммиссіи экспертовъ, что успѣхомъ своимъ они положительно обязаны только музеуму; ему обязаны они множествомъ новыхъ образцовъ и моделей, которыя неожиданно указали имъ новый путь къ усовершенствованію.

Въ заключеніе намъ остается пожелать, чтобы и у насъ началось существенное дѣйствіе въ пользу того же движенія къ успѣху. Московскій художественно-промышленный музей уже основанъ; существуютъ также двѣ рисовальныя школы: Строгановская въ Москвѣ и рисовальная въ Петербургѣ; но это только начало дѣла и такъ сказать — первыя попытки, первые шаги... Очевидно, нельзя этимъ довольствоваться; во что бы ни стало, намъ слѣдуетъ идти впередъ.

КОНЕЦЪ ДЕСЯТАГО ТОМА.

*Полное собраніе сочиненій*

# Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

*Н. Г. Мартыновъ.*

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

# СОЧИНЕНІЙ

## Дм. Вас. Григоровича.

## ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1889.

# ПОВѢСТИ, РОМАНЫ
# И
# ОЧЕРКИ.

## 1884—1889 гг.

Д. В. Григоровича.

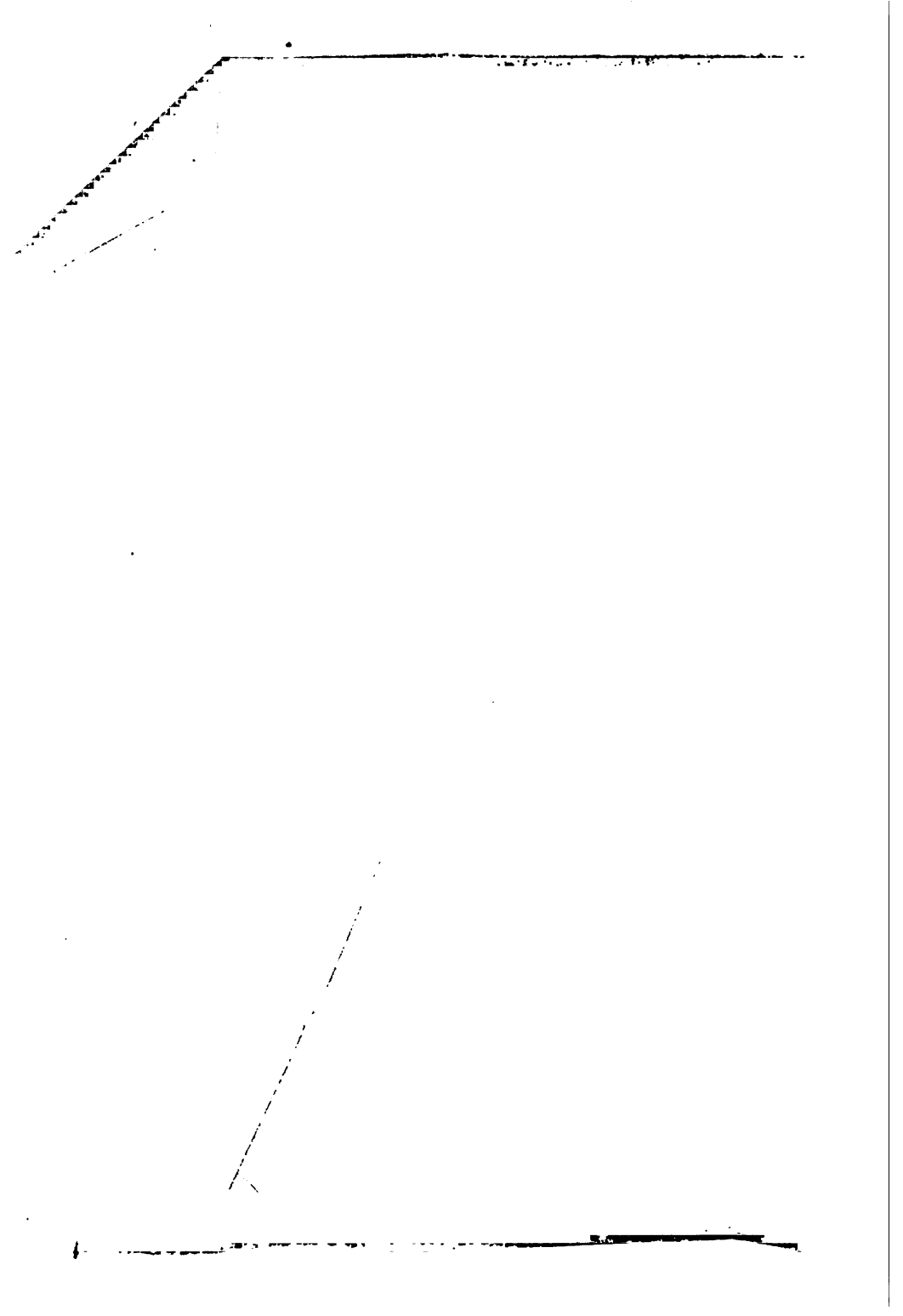
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА,
РѢЗАННЫМЪ НА ДЕРЕВѢ ХУДОЖНИКОМЪ В. В. МАТЭ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА И. Г. МАРТЫНОВА.
1889.

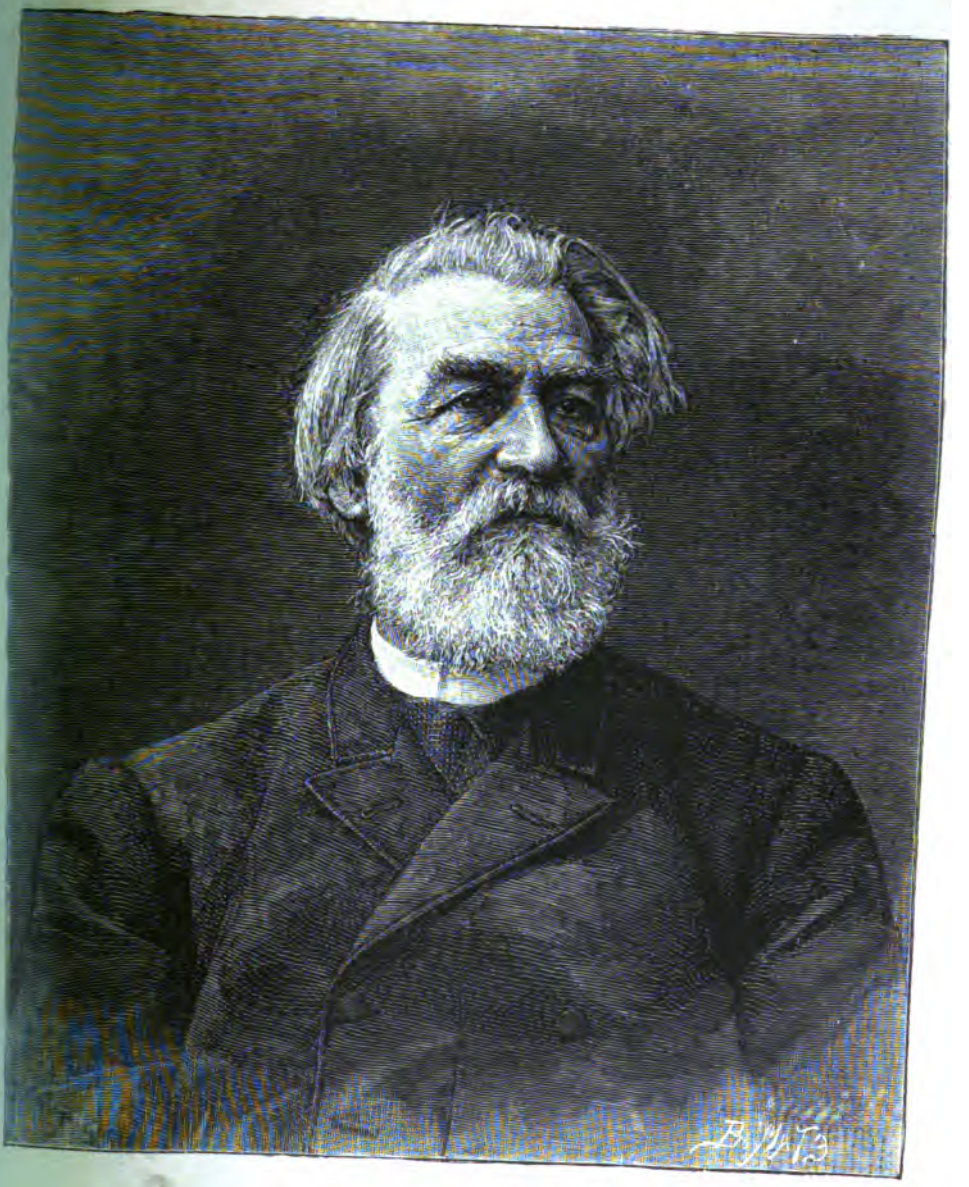
Въ типографіи В. Безобразова и Комп. (Вас. Остр., 8 л., д. № 45).

Мартынова.

27 АПРЕЛЯ 1889 г. (В. О., 8 л., д. № 45).

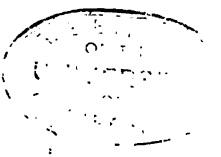


Изд. Н. Г. Мартынова.



Дозволено цензурою. СПБ.
21 Апрѣля 1889 г.

Типографія В. Безобразова и К°.
(В. О., 8 л., д. № 45.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

Портретъ автора, рѣз. худ. В. Матэ.

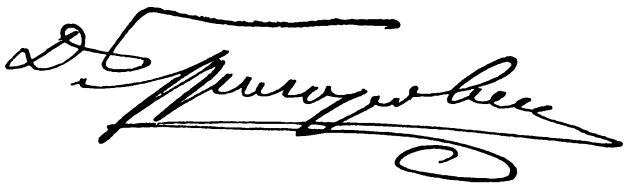
1884. Алексѣй Чемезовъ (Недолгое счастье). Повѣсть . . . 1

1885. Карьеристъ. Очеркъ . . . . . 81

1885. Акробаты благотворительности. Повѣсть . . . . . 93

1887. Сонъ Карелина. (Отрывокъ изъ романа «Петербургъ прошлаго времени»). . . . . 243

1889. Не по̀ хорошу милъ,—по̀ милу хорошъ . . . . . 283



# АЛЕКСѢЙ ЧЕМЕЗОВЪ

## (НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ).

(ПОВѢСТЬ).

1884 г.

# АЛЕКСѢЙ ЧЕМЕЗОВЪ

## (НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ).

---

### I.

Въ первой половинѣ сентября, два чиновника,—Ефремовъ и Сципѣровъ, возвращаясь домой изъ департамента, проходили по средней, главной аллеѣ Лѣтняго сада.

Садъ казался совершенно пустымъ. Чиновники, не стѣсняясь, громко разговаривали, разсѣянно поглядывая на деревья; ихъ мало, повидимому, занимало дѣйствіе осени, которая между тѣмъ на всемъ уже сильно чувствовалась.

Деревья стояли наполовину обнаженными; верхушки ихъ, совсѣмъ голыя, уныло чернѣли на сѣромъ небѣ съ двигающимися дождевыми тучами. Въ нижней части оставалась еще кое-гдѣ зелень; но и ее повсюду донималъ желтый листъ, смотрѣвшій, въ свою очередь, сморщеннымъ, раскислымъ, мѣстами тронутымъ точно ржавчиной; онъ отпадалъ безжизненно при малѣйшемъ колебаніи воздуха. Вокругъ все было тускло, сыро, непривѣтливо. Единственнымъ свѣтлымъ пятномъ выставлялось со стороны Царицына луга мокрое шоссе; выдѣляясь бѣловатой, грязно-серебристой полосой, оно рѣзко било въ глаза между стволами старыхъ липъ, почернѣвшихъ отъ дождей; по шоссе тащился, сильно надавливая щебенку, возъ, навьюченный домашнимъ скарбомъ запоздавшаго дачника. Дальнѣйшіе предметы принимали неопредѣленный обликъ, уходили въ сырую, липкую мглу, не-

пріятно проникавшую въ бакенбарды и осыпавшую одежду влажной пылью.

Словомъ, наступала та пора, когда жизнь снова переливаетъ въ городъ, когда окрестность глохнетъ и вымираетъ, дачи уныло посматриваютъ своими заколоченными ставнями на клумбы съ повалившимися и почернѣвшими георгинами,—когда коренной житель Петербургской стороны, вставъ утромъ и взглянувъ въ окно, дребезжащее отъ мелкаго дождя и вѣтра, обращается къ женѣ и говоритъ ей: „Ну, душенька, дождались: пошла теперь эта кислота!...“

Но возвратимся къ Ефремову и Соципе́рову, продолжающимъ отпечатывать подошвы на сырой дорогѣ Лѣтняго сада.

— Скажи мнѣ намилость, что же дешево въ Петербургѣ?— Все дорого! говорилъ Ефремовъ, очевидно, продолжая начатый разговоръ, — видишь: хожу до сихъ поръ въ какой покрышкѣ! прибавилъ онъ, сымая плетенную изъ цвѣтной соломы шляпу, причемъ на головѣ его дыбомъ поднялась туча сухихъ волосъ цвѣта перца съ солью,— собирался вчера купить картузъ:—семь рублей! Приступу ни къ чему нѣтъ! Все дорого! Что у насъ дешево?...

— Ну, теперь пошелъ!.. Пошелъ,—благо попалъ опять на любимую точку, перебилъ Соципе́ровъ,—человѣкъ также съ просѣдью, но завистливаго, сухощаво-желчнаго вида и постоянно кусавшій ногти, даже когда стоялъ во время доклада за стуломъ директора.

Наружность Ефремова представляла совершенно противоположный типъ, и внѣшность вполнѣ отвѣчала характеру.

Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, рослый, тучный, съ лицомъ круглымъ какъ полный мѣсяцъ, но, вопреки сходству, отражавшимъ не меланхолію, а веселость, свѣжесть и здоровье. Ребенкомъ онъ былъ, безъ сомнѣнія, то, что называютъ: кровь съ молокомъ. Къ выраженію веселости прибавляли въ значительной степени: вздернутый коротенькій носъ, разсѣченный на кончикѣ, большіе сѣрые глаза на выкатѣ какъ у лягушки и без-

печная, размашистая походка, сообщавшая его животу безпокойное колебаніе изъ стороны въ сторону. Двигая на ходу толстыми руками, Ефремовъ никогда, повидимому, не довольствовался числомъ пріятныхъ собесѣдниковъ, но всегда какъ бы порывался впередъ и выпучивалъ глаза, стараясь пріискать новаго весельчака. Когда таковой показывался, лицо Ефремова вдвойнѣ начинало сіять отъ удовольствія, одышка усиливалась отъ нетерпѣнія, голосъ хрипѣлъ, какъ труба старой шарманки передъ началомъ аріи, и толстыя его губы заблаговременно складывались подушечкой, приготовляясь къ сочнымъ поцѣлуямъ; онъ цѣловалъ обыкновенно въ засосъ, крѣпко нажимая въ обѣ щеки, неизбѣжно влѣплялъ всегда три поцѣлуя,—мало озабочиваясь тѣмъ, нравилось иль нѣтъ такое выразительное изъявленіе радостныхъ чувствъ.

— Толкуй, потѣшайся! продолжалъ Соципе́ровъ,—какъ ни дешевы, по твоему, эти статскіе и дѣйствительные, нѣтъ однакожъ города въ цѣломъ свѣтѣ, гдѣ бы они имѣли столько значенія!.. Да, любезнѣйшій, сколько ни вертись, сила въ нихъ и ни въ комъ другомъ;—сила такъ сказать: роевая, стихійная! За что ни возьмись, куда ни сунься, вездѣ ихъ найдешь: сверху, снизу, съ боковъ...

— Даже носомъ тянешь вмѣстѣ съ воздухомъ! слышишь: гарью пахнетъ! смѣясь перебилъ Ефремовъ, опахивая шляпой лицо, раскраснѣвшееся какъ въ іюлѣ.

Онъ самодовольно тряхнулъ крутыми плечами, вынулъ изъ бокового кармана лопнувшую кожаную сигарочницу съ вылѣзающими отовсюду толстыми папиросами и, подавая одну изъ нихъ товарищу, спросилъ:

— Хочешь исходящую?...

— Спасибо; только что курилъ, отвѣчалъ тотъ, раздраженно кусая ногти.

Ефремовъ втянулъ въ себя цѣлое облако дыма, подержалъ его между выпученными щеками, плотно сжавъ губы, и продолжалъ, выпуская дымъ подъ носъ маленькими струйками:

— На всѣ твои доводы скажу, братецъ, слѣдующее: кому какъ! Для меня, напримѣръ, чинъ дѣйствительнаго—то же, что петля на шею... Постой, Семенъ Семеновичъ, не перебивай, дай сказать:—именно петля! Надняхъ еще директоръ говоритъ мнѣ: „Воля ваша, Петръ Никаноровичъ, такъ невозможно; вы, говоритъ, одиннадцать лѣтъ сидите безъ производства; что-жъ, наконецъ, другіе скажутъ?...“ — „Христомъ Богомъ, говорю, оставьте меня, ваше превосходительство, на прежнемъ положеніи; отъ этого, говорю, зависитъ судьба семейства!“ — „Съ вами, говоритъ, ничего, видно, не подѣлаешь, — оставайтесь, коли такая охота!...“ И въ самомъ дѣлѣ, вникни: теперь я секретарь; мѣсто штатное; кромѣ жалованья по окладу, получаю изъ остаточныхъ суммъ добавочныя, квартирныя, выдаютъ на воспитаніе дѣтей. Произведутъ въ дѣйствительные, съ того дня: тю-тю секретарство! Скажутъ: „Нѣтъ, братъ, шутишь, не по чину; ступай къ тётенькѣ!“—Куда, спросятъ, дѣвать новаго генерала?“ — „Валяй его въ заштатные!“ Съ протекціей причислятъ тебя къ какой нибудь комиссіи... для сокращенія комиссій... Простись тогда, душка Петръ Никаноровичъ, съ окладомъ и другими блезирами изъ остаточныхъ!—„Нѣтъ, скажутъ, здѣсь не полагается!“ Вотъ тебѣ и выгода вся отъ вашего превосходительства!

— Я касался не только по служебнымъ отношеніямъ; я главнымъ образомъ говорилъ о значеніи чина въ общественномъ смыслѣ...

— Въ общественномъ! Скажите, какая невидаль!

— Глумись! Глумись!... Фактъ тотъ однакожъ, что дѣйствительный представляетъ нѣчто въ самомъ дѣлѣ дѣйствительно-существующее, тогда какъ безъ этого предоставляется развѣ только право на существованіе...

— Существую однакожъ, видишь!.. произнесъ Ефремовъ, выпучиваясь на ходу и похлопывая по животу, который загудѣлъ при этомъ, какъ пустая бочка,—съ однимъ развѣ можно согласиться; очень ужъ лестно: до дѣйствительнаго живешь такъ себѣ, хлѣбъ жуешь, какъ мы теперь грѣшные;—ну, а какъ про-

изведутъ,—съ того самаго дня начнешь считать себя умнѣе другихъ! „Мелюзга, значитъ, всѣ остальные!...“ Что-жъ, наконецъ, скажи наивность: неужто въ самомъ дѣлѣ тебѣ такъ ужъ этого хочется? спросилъ онъ, насмѣшливо поглядывая на товарища. Знаешь что? подхватилъ онъ, не дождавшись отвѣта, прибѣгни къ извѣстному способу, вѣрнѣе нѣтъ: насаливай всѣмъ и каждому!

— Хорошъ способъ, нечего сказать...

— А что-жъ—дуренъ? Повторяю: нѣтъ его вѣрнѣе! Когда надоѣшь до тошноты,—такъ надоѣшь, что не будутъ знать, что съ тобою дѣлать,—непремѣнно произведутъ... чтобы скорѣе отдѣлаться; безъ особой протекціи позаботятся даже перевести въ другое вѣдомство... Такъ сдѣлалъ Худосокинъ; такъ сдѣлали Чирковъ и Вафлинъ: всѣ теперь дѣйствительные!

Соципе́ровъ не обижался выходками Ефремова, потому что никто этого не дѣлалъ въ департаментѣ, по привычкѣ считать Ефремова малымъ хотя и распущеннымъ, но въ сущности добрякомъ и забавникомъ. Глядя, однакожъ, съ какимъ увлеченіемъ кусалъ онъ ногти, можно было думать, разговоръ съ сослуживцемъ задѣвалъ чувствительное мѣсто его тайныхъ побужденій. Грызть ногти было потребностью, выражавшей внутреннее состояніе его духа, безпокойно и постоянно съѣдаемаго завистью. Виною всему былъ младшій братъ Соципе́рова, сдѣлавшій неожиданно видную карьеру. Послѣднее произошло слѣдующимъ образомъ: тогдашній министръ, подписывая бумаги, имѣлъ привычку оканчивать подпись красивымъ завиткомъ. Сдѣлавъ, однажды, такой завитокъ и какъ бы полюбовавшись имъ, министръ обратился съ пріятной улыбкой къ директору и сказалъ: „quelle belle plume!..“ Перо въ тотъ разъ чинилъ регистраторъ Соципе́ровъ младшій. Его немедленно приставили спеціально къ такой должности. Когда министръ поѣхалъ дѣлать обзоръ по Россіи, — Соципе́ровъ находился уже въ числѣ сопровождающихъ. Зимою, послѣ того какъ онъ у камердинера министра окрестилъ сына, — его еще замѣтнѣе выдвинули; вскорѣ онъ сдѣлался необходимымъ лицомъ; ему

давали разныя домашнія порученія; жена министра посылала его въ кондитерскую за буль-де-гомами для дѣтей. Два года спустя, министръ поручилъ ему осмотрѣть и обревизовать контору собственнаго имѣнія. Съ тѣхъ поръ и пошло, и пошло—чѣмъ дальше, тѣмъ успѣшнѣе. Теперь Соципе́ровъ младшій былъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и дѣятельно хлопоталъ о придворномъ званіи, которое, по его мнѣнію, должно было окончательно установить его въ избранномъ обществѣ. Соципе́ровъ старшій, испытавъ безполезность прибѣгать къ протекціи брата, ненасытность котораго сравнивалъ всегда съ аравійскимъ пескомъ: „сколько въ него не лей,—все мало“,—пускался летать на собственныхъ крыльяхъ; онъ пробовалъ втираться въ разныя благотворительныя общества, имѣя передъ глазами разительные примѣры скораго выдвиганія на этомъ выгодномъ поприщѣ; пробовалъ даже сдѣлаться членомъ комитета сиротскаго училища, учрежденнаго спеціально съ цѣлью доставлять членамъ случай ходить съ докладомъ къ вліятельнымъ сановникамъ и черезъ нихъ пробиваться къ высшимъ должностямъ, — ничего не помогало. Онъ, очевидно, или не нравился дамамъ-попечительницамъ, или просто не умѣлъ, какъ слѣдуетъ, угождать и поддѣлываться, что — мимоходомъ сказать — совсѣмъ происходило противъ его воли.

Его вообще не долюбливали въ департаментѣ. Одинъ Ефремовъ сходился съ нимъ чаще другихъ и то потому больше, что рѣшительно не понималъ, чтобы можно было кого нибудь особенно любить или не любить.

Въ глазахъ Ефремова, — какъ самъ онъ выражался: „всѣ одинаково не стоили кошачьяго хвоста передъ добрымъ кускомъ кулебяки съ сижкомъ и визигой, благородной бутылкой вина и честной сигаркой!“ Ефремовъ принадлежалъ къ числу чиновниковъ случайныхъ, попавшихъ на службу потому, что въ данную минуту не оказалось другаго поприща къ существованію, и оставшихся на мѣстѣ частью по привычливости нрава, частью по лѣни. Сѣлъ, такъ ужъ скучно какъ-то передвигаться. Онъ опредѣлился

въ департаментъ по выходѣ изъ университета, вскорѣ женился,— женился, какъ самъ говорилъ: „не зная для какого лысаго бѣса“,— и прижилъ, тѣмъ не менѣе, цѣлую ораву дѣтей. Но семья и департаментъ никогда собственно не были прямою цѣлью его жизни; то и другое осуществляло горькую необходимость. Цѣлью жизни Ефремова были: закуска, трактиръ, веселая компанія.

Всѣмъ возможнымъ статскимъ и другимъ совѣтникамъ предпочиталъ онъ кружокъ мелкихъ актеровъ, художниковъ и другихъ незатѣйливыхъ, но безцеремонныхъ и разбитныхъ, веселыхъ малыхъ. Онъ никогда не колебался между необходимостью заказать новое пальто или отдать послѣднія деньги за членскій билетъ въ купеческій клубъ—гдѣ по его словамъ: „готовили осетрину съ оливками и грибной подливкой, какъ нигдѣ во всей вселенной!“ Отправляя въ департаментѣ служебныя обязанности, онъ неожиданно подходилъ то къ тому, то къ другому изъ товарищей и, чмокая сластолюбивыми губами, сообщалъ, таинственно припадая къ уху: „Приходи-ка, батенька, сегодня въ Малый Ярославецъ; сегодня борщъ съ потрохами и ватрушки!!...“ Или вдругъ отрывался отъ дѣловой бумаги, дѣлая такое замѣчаніе: „Вчера, господа, мнѣ подали у Палкина бифштексъ; повѣрите ли, вотъ: подушка! страсть просто!...“ Онъ обижался, когда въ такихъ случаяхъ начинали надъ нимъ подшучивать, — хотя, надо сказать, никогда ни на комъ не срывалъ сердца; онъ отходилъ только съ разочарованнымъ видомъ и задумчиво принимался читать какой нибудь докладъ.

Къ нему, впрочемъ, всѣ относились снисходительно; многіе даже любили его за всегдашнюю податливость и веселость. Безъ него не обходилась ни одна пирушка, ни одна свадьба, ни даже похороны, если только послѣднія оканчивались поминкой. Въ трактирахъ онъ состоялъ на пріятельской ногѣ не только съ хозяевами, но зналъ всѣхъ конторщиковъ и половыхъ и называлъ послѣднихъ обыкновенно уменьшительными именами:

„Васенька, Петрушечка, Калистратушка... отрѣжьте-ка, голубчикъ, вотъ отсюда съ жиркомъ, пожалуйста...“

Само начальство снисходительно на него смотрѣло, „человѣкъ семейный, не умѣвшій сдѣлать себѣ никакого положенія; дѣтей куча. По службѣ исправенъ. Внѣшній видъ могъ бы быть, конечно, благопріятнѣе; но семья! тѣсныя обстоятельства;—трудно требовать!“ — разсуждало начальство, не столько, конечно, руководясь въ этомъ случаѣ сердобольнымъ увлеченіемъ, сколько взглядомъ, почерпнутымъ изъ привычки заботливо и постоянно оберегать собственные интересы. Внѣ должности Ефремовъ терпѣть не могъ говорить о службѣ и департаментѣ. Онъ отзывался о послѣднемъ даже непочтительно.

— Ну ужъ, Петръ Никаноровичъ, сказалъ, встрѣтясь съ нимъ въ ресторанѣ, заѣзжій господинъ, приходившій по дѣламъ въ департаментъ, — три дня сряду прихожу къ вамъ въ два часа,—ни души; во всемъ департаментѣ только одни сторожа...

— Напрасно жалуетесь; теперь очень хорошо, возразилъ Ефремовъ.

— Ну ужъ хорошо, — нечего сказать!...

— Вы бы лучше лѣтомъ пришли...

— А что?

— Тогда совсѣмъ никого не бываетъ.

Господинъ пожалъ плечами, искоса поглядывая на Петра Никаноровича, но Петръ Никаноровичъ, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ съ увлеченіемъ уплетать ветчину, заливая ее дри-мадерой, захваченной по дорогѣ въ погребѣ Шитта. Онъ жалѣлъ только, что въ эту минуту не находилось добраго товарища, чтобы разсказать скоромный анекдотъ, отъ котораго чесался языкъ, и затѣмъ увлечь его къ нѣмцамъ въ общество *„Пальма“*, гдѣ въ этотъ вечеръ должны были играть двѣ цитристки, только что пріѣхавшія изъ Риги. Плевать хотѣлъ онъ на тѣхъ, кто совался говорить „по дружбѣ“, что съ его способностями онъ могъ бы сдѣлать карьеру и пойти куда какъ

далеко, вмѣсто того, — что-жъ? — „весь пошелъ только въ животъ!“

— Ну и пошелъ въ животъ, за то видишь: круглый! не чета твоему! заключалъ Ефремовъ, раздувая щеки, выбритыя всегда какъ у актера.

Продолжая бесѣдовать, Ефремовъ и Сопипе́ровъ незамѣтно подходили къ той части аллеи, гдѣ начинаются бюсты и статуи, когда послѣдній, неожиданно остановивъ товарища, указалъ ему на одну изъ боковыхъ аллей сада.

— Ба! да это никакъ нашъ Чемезовъ? сказалъ Ефремовъ, пристально всматриваясь,—три дня въ департаментъ не ходитъ, больнымъ сказывается, а самъ, голубчикъ, изволитъ прогуливаться въ Лѣтнемъ саду... Гм! Пришелъ должно быть тоску разогнать. Еще въ апрѣлѣ жена умерла, теперь сентябрь, — и все, сдается мнѣ, забыть не можетъ! Чудеса, право! Сто разъ говорилъ ему: оставьте, пренебрегите, воротить назадъ невозможно, — не беретъ! Даже похудѣлъ... ей Богу! Надо пойти поговорить съ нимъ...

— Оставь его. Пожалуй на пароходъ опоздаемъ...

— Еще перваго свистка не было. Нѣтъ, надо пойти, поговорить; хотя и не нашего прихода,—все же, братецъ, товарищъ... заключилъ Ефремовъ, увлекая Сопипе́рова въ боковую аллею, по которой, шагахъ въ двадцати и спиною къ нимъ, медленно выступалъ человѣкъ маленькаго роста.

Услышавъ за собою шаги, онъ обернулся и, казалось, очень непріятно былъ пораженъ неожиданной встрѣчей. Онъ овладѣлъ однако-жъ собой; въ углахъ рта оставалось только подергиванье, свойственное нервнымъ людямъ, когда они чѣмъ нибудь недовольны.

Какъ всѣ мужчины мелкаго сложенія, Чемезовъ казался гораздо моложе своихъ лѣтъ. Стоя за его спиной, можно было биться объ закладъ, что передъ вами молодой человѣкъ, еслибъ не выдавала сильная просѣдь на коротко обстриженномъ затылкѣ. Лицо не оставляло уже сомнѣнія, что передъ вами человѣкъ,

перевалившій за сорокъ и, кромѣ того, болѣзненный, нуждающійся въ нравственномъ спокойствіи. Подтвержденіемъ этому служили сѣроватый цвѣтъ кожи, коричневый обводъ вокругъ глазъ, множество преждевременныхъ морщинокъ на вискахъ и на щекахъ. Нѣкоторые внѣшніе признаки прибавляли къ такому впечатлѣнію: судорожное движеніе въ коротенькихъ, какъ бы съеженныхъ чертахъ, низкій, упрямый, настойчивый лобъ, маленькія уши, крѣпко прижатыя къ головѣ, черные глаза съ желтизною въ зрачкахъ, замѣтно старавшіеся избѣгать прямаго взгляда, — все это съ перваго разу отдаляло мысль отъ характера открытаго, готоваго иногда распахнуться и проявить веселость. Выраженіе внутренняго, сосредоточеннаго чувства казалось застывшимъ на лицѣ его. Въ самой походкѣ его было что-то сдержанное; склоняя на ходу лѣвое плечо нѣсколько на бокъ, онъ постоянно какъ бы отъ чего-то отстранялся. Одни считали Чемезова гордецомъ, другіе человѣкомъ крайне щепетильнымъ, обидчивымъ, старавшимся избѣгать возможности непріятныхъ столкновеній. Вѣрнѣе всего было то, что наружность его почему-то менѣе напоминала чиновника, чѣмъ въ Ефремовѣ и Соципе́ровѣ, — даромъ что первый былъ похожъ на отставнаго стараго актера, второй — на человѣка неопредѣленнаго званія, — всего скорѣе служащаго по сыскной части.

— Батенька, какими судьбами! Мы думали, вы больны, Алексѣй Иванычъ! воскликнулъ Ефремовъ, протягивая руку.

Чемезовъ неторопливо подалъ руку обоимъ сослуживцамъ.

— Мнѣ дѣйствительно нездоровилось; сегодня вышелъ въ первый разъ, произнесъ онъ; мнѣ на домъ не приносили никакихъ бумагъ; у насъ нѣтъ ничего новаго? добавилъ онъ, очевидно, съ тѣмъ, чтобы сказать что нибудь.

— Какія, батенька, новости, все та же канитель!

— Баклановъ умеръ! проговорилъ Соципе́ровъ.

— Ахъ, да, я и забылъ: умеръ; — завтра хоронятъ! подтвердилъ Ефремовъ.

— Вѣроятно это очень огорчило директора, равнодушно сказалъ Чемезовъ,—онъ и Баклановъ были друзьями съ дѣтства...

— Отмѣнно огорчился! смѣясь, возразилъ Ефремовъ; — вчера приходитъ экзекуторъ, докладываетъ ему: „генералъ Баклановъ, говоритъ, скоропостижно скончался сегодня ночью, ваше превосходительство“. Онъ, душка, глазкомъ не мигнулъ; сказалъ только: „Распорядитесь скорѣе, чтобы заняли его квартиру; она какъ разъ, говоритъ, подъ моимъ кабинетомъ; скоро зима; квартира останется нетопленною,—въ кабинетѣ совсѣмъ замерзнешь!“ Да, эти душки директоры оберегаютъ-таки себя, нечего сказать!... Не то, что вы, напримѣръ, Алексѣй Иванычъ, заключилъ Ефремовъ, перемѣняя шутливый тонъ на сердобольный. — Эхъ, голубчикъ, перестаньте! На себя только посмотрите...

— Да, Алексѣй Иванычъ; съ весны, вы, дѣйствительно, очень перемѣнились... счелъ долгомъ вставить Соципе́ровъ.

Чемезовъ не стѣсняясь начиналъ уже выказывать знаки нетерпѣнія. Но Ефремовъ принадлежалъ къ числу говоруновъ и трудно было удержать его, когда языкъ приходилъ въ движеніе. Онъ продолжалъ утѣшать, совѣтовалъ о необходимости забыть, пренебречь, развлечься.

— Книжки, Алексѣй Иванычъ, которыя вы сочиняете,—это, повѣрьте, теперь для васъ всего хуже! — только мысль сосредоточиваетъ; именно сосредоточиваетъ! Департаментъ подбавляетъ также не мало унынія... Прежде всего, вѣрьте мнѣ: развлеченіе! Дома, напримѣръ, ни за что не обѣдайте: больше какъ-то напоминаетъ! — ходите въ рестораны, въ трактиры; запишитесь въ клубъ, вечеромъ идите въ театръ, благо есть у васъ на что покупать билеты... Не всякій ли день, наконецъ, видимъ мы людей въ вашемъ положеніи! Быть вдовцемъ! подхватилъ Ефремовъ, неожиданно развеселясь,—быть вдовцомъ! Помилуйте, да это самое милое, любезное положеніе; для такой цѣли можно, пожалуй, второй разъ жениться, ей Богу!...

Въ эту минуту со стороны Невы послышался пароходный свистокъ. Ефремовъ поднялъ носъ, потянулъ воздухъ какъ лягавая собака и,

торопливо пожавъ руку Чемезову, зашагалъ къ рѣшеткѣ. Увидѣвъ подоспѣвшаго Соципе́рова, кусающаго ногти, онъ спросилъ только: „Вкусно ли?“ и когда тотъ фыркнулъ что-то подъ носъ, разразился смѣхомъ, отъ котораго запрыгалъ его животъ и побагровѣли щеки.

Встрѣча съ сослуживцами непріятно подѣйствовала на Чемезова. Онъ находился въ томъ, болѣе или менѣе всѣмъ знакомомъ, состояніи духа, когда вдругъ отпадаетъ охота говорить и думаешь о томъ только, какъ бы избавиться отъ докучливости. Съ такой цѣлью сказывался онъ три дня больнымъ и, какъ только наступалъ вечеръ, отправлялся въ Лѣтній садъ. Тамъ рѣдко теперь можно было кого нибудь встрѣтить.

Чемезовъ былъ большой домосѣдъ; но послѣ кончины жены, домашняя жизнь ему опостыла. Бывали дни,—какъ сегодня, напримѣръ,—когда одинъ видъ квартиры дѣлался невыносимымъ, хотѣлось уйти куда нибудь подальше. Съ мыслію о потерѣ жены онъ мало-по-малу начиналъ свыкаться; но вмѣстѣ съ нею неизбѣжно всегда соединялись воспоминанія всего лучшаго, всего свѣтлаго, пережитаго въ жизни. Когда они приходили на умъ, онъ ничего не дѣлалъ, чтобы отстранить ихъ,—хотя самъ каждый разъ чувствовалъ себя подъ гнетомъ мучительной тоски. Страдая больше всего одиночествомъ, Чемезовъ, въ такіе дни, нетерпѣливо всегда желалъ уединенія.

Такъ и теперь было. Отдѣлавшись отъ докучливой встрѣчи, онъ отошелъ въ глухую часть сада и сѣлъ на скамью. Горечь воспоминаній, казалось, еще сильнѣе имъ овладѣла. Выраженіе ѣдкой грусти пробѣгало иногда по лицу его; грудь подымалась, подавляя вздохи.

Недавно еще просидѣлъ онъ такимъ образомъ до поздней ночи. На этотъ разъ, вѣроятно, произошло бы то же самое, еслибъ не помѣшалъ дождикъ. Чемезовъ приподнялся съ мѣста и медленно направился къ выходу.

Начинало смеркаться. Сумерки ускорялись наволокомъ тучъ, набѣгавшихъ отъ взморья. Въ воздухѣ замѣтно стало больше движенія;

садъ глухо шумѣлъ, двигая обезлиственными вершинами. Густой туманъ наполнялъ аллеи; стволы деревьевъ показывались въ немъ мѣстами какъ бы стоявшими въ воздухѣ; мѣстами стволы смутно представлялись углубленными, темными пятнами. Дорожки и лужайки между ними пропадали въ десяти шагахъ; во всю глубину сада просвѣчивала только сквозь туманъ продольная, болѣе свѣтлая, волнистая полоса, обозначавшая главную аллею. Дождь усиливался, и слышно было, какъ капли били въ сухіе листья, летѣвшіе во всѣ стороны.

---

## II.

Еслибъ Ефремовъ и Сципе́ровъ, вмѣсто того чтобы встрѣтить Чемезова гуляющимъ въ саду, могли застать его сидящимъ на скамьѣ и узнать о настоящихъ его чувствахъ, — оба, безъ сомнѣнья, поспѣшили бы сообщить объ этомъ какъ курьезную новость. Всякое извѣстіе о Чемезовѣ было находкой въ департаментѣ. Любопытство главнымъ образомъ возбуждалось исключительностью положенія, въ которое Чемезовъ поставилъ себя между товарищами. Прослуживъ съ ними восемнадцать лѣтъ, онъ, въ теченіе этого времени, ни съ кѣмъ рѣшительно не сошелся, держалъ себя постоянно въ сторонѣ, особнякомъ, никогда шагу даже не сдѣлалъ, чтобы съ кѣмъ нибудь сблизиться. Когда въ его присутствіи затѣвалась веселая компанія, онъ особенно всегда какъ-то съеживался, — точно улизнуть хотѣлъ, и кончалъ всегда тѣмъ, что отказывался участвовать. На пирушкахъ, руководимыхъ Ефремовымъ, онъ ни разу не былъ. Вышло какъ-то такъ, что всѣ говорили ему: „вы“, между тѣмъ какъ это противорѣчило общей привычкѣ; ужъ это одно было чѣмъ-то охлаждающимъ при ежедневныхъ отношеніяхъ. Онъ былъ одинаково учтивъ, даже услужливъ, но въ обращеніи его чувствовалась всегда сдержанность, отбивавшая охоту къ панибратству. Въ департаментѣ онъ

никогда ни о чемъ не разговаривалъ, какъ о дѣлахъ службы. „Съеженный человѣкъ! Фуфыра! весь на пуговкахъ! никогда не распахнется, — точно нѣмка родила!“ часто повѣствовалъ Ефремовъ. Въ послѣднемъ онъ не ошибался. Мать Чемезова, дѣйствительно, была нѣмка.

По адресной книгѣ департамента хорошо было извѣстно мѣстожительство Чемезова: никто однако-жъ никогда къ нему не заглядывалъ; да и нельзя было: онъ никого никогда не звалъ къ себѣ. О женитьбѣ его, происходившей пятнадцать лѣтъ тому назадъ, узнали случайно отъ Ефремова, прикладывавшаго печать къ форменному разрѣшенію. Никого даже не позвалъ онъ тогда на свадьбу, никого не угостилъ.

— „Свинтусъ! — ничего больше!!“ — повторялъ Ефремовъ нѣсколько дней сряду. Съ тѣхъ самыхъ поръ прозвалъ онъ его „таинственнымъ монахомъ“ и, какъ бы не удовлетворившись этимъ, назвалъ еще „Фотіемъ“; оба эти прозвища до сихъ поръ шопотомъ произносились иногда въ департаментѣ. Никогда также никто на видалъ жены Чемезова, не встрѣчалъ его гуляющимъ съ ней подъ руку; когда шелъ, то всегда въ одиночку. Съ похоронами жены было то же самое: ни приглашенія, ни угощенія! Узнали объ этомъ послѣ того, какъ онъ три недѣли носу не показывалъ въ департаментѣ.

Такое постоянство въ отчужденіи и упорная несообщительность придали Чемезову въ глазахъ товарищей таинственность, которая, болѣе или менѣе, подстрекала общее любопытство. Стоило заговорить о немъ, — у всѣхъ были ушки на макушкѣ.

Таинственность Чемезова дѣйствительно трудно было проникнуть, потому что все въ ней основывалось на свойствахъ довольно своеобразнаго, сложнаго характера. Въ немъ заключались какъ бы два отдѣльныя существа, противоположныя другъ другу по духу, хотя жившія, повидимому, въ ладу между собою. Одному принадлежало горячее, любящее сердце, нервный темпераментъ, тѣсно всегда связанный со способностью сильно принимать впечатлѣнія; въ удѣлъ другому достались по большей части мизантропическія

свойства: скрытность, замкнутость, крайняя несообщительность, самолюбивая щекотливость, — рѣдко впрочемъ выказываемая потому, что ее удерживалъ умъ, хотя можетъ быть и неспособный изобрѣсти порохъ, — но, во всякомъ случаѣ, разсудительный и спокойный. Одна изъ этихъ долей характера дана была природой, — другую образовали обстоятельства жизни.

Чемезову было семь лѣтъ, когда скончался отецъ, — мелкій уѣздный чиновникъ, женатый на прусской колонисткѣ. Бывъ единственнымъ ребенкомъ у матери и страстно къ ней привязанный, онъ былъ свидѣтелемъ, какъ, годъ спустя, мать вступила во второй бракъ; второй отецъ былъ тотъ самый человѣкъ, котораго онъ, сколько себя помнилъ, всегда не любилъ и боялся. Поселившись съ нимъ подъ одной кровлей, онъ возненавидѣлъ его окончательно, и вмѣстѣ съ тѣмъ, подъ вліяніемъ страха, принужденъ былъ постоянно скрывать передъ всѣми настоящія свои чувства.

У матери пошли дѣти; быть можетъ онъ преувеличивалъ ея охлажденіе къ себѣ, но ясно однакожъ чувствовалъ, какъ, мало-по-малу, лишался ея прежней привязанности. Но и здѣсь надо было думать про-себя и не высказываться. Всѣ эти впечатлѣнія, начавшія его дѣтство и болѣзненно отразившіяся на характерѣ въ моментъ его развитія, были однако-жъ слабы передъ тѣми, когда, по прошествіи четырехъ лѣтъ, скончалась мать и онъ увидѣлъ себя круглымъ сиротою въ рукахъ вотчима; послѣдній еще при жизни покойницы не стѣснялся выказывать ему непріязненныя чувства. Участь мальчика облегчалась тѣмъ только, что онъ былъ въ гимназіи и цѣлую недѣлю не находился дома.

Около этого времени съ вотчимомъ произвошелъ, какъ говорится: „казусъ“. Замѣшанный въ какую-то темную исторію, онъ лишился мѣста и отказался платить за пасынка.

Докончивъ курсъ на казенный счетъ, благодаря участію директора, Чемезовъ, восемнадцати лѣтъ, безъ всякихъ средствъ, безъ пристанища, потому что вотчимъ вскорѣ послѣ „казуса“

уѣхалъ въ отдаленную губернію, — предоставленъ былъ самому себѣ. Онъ положительно не зналъ, что̀ съ собою дѣлать. Врожденная несообщительность удерживала его отъ сближенія съ товарищами, горечь и недовѣрчивость, успѣвшія основаться въ его сердцѣ, мѣшали выйти изъ тяжелаго положенія.

Чтобы не умереть съ голоду, онъ началъ давать уроки дѣтямъ лавочника, который согласился снабжать его въ обмѣнъ угломъ и харчами. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Чемезовъ давалъ уроки въ семействахъ разныхъ мѣщанъ и купцовъ. Занятіе было не по душѣ; школа была суровая. Она, правда, пріучила его къ терпѣнію, къ выносливости, — но вмѣстѣ съ тѣмъ развила желчь и прибавила замкнутости. Утѣшительная сторона была та, что онъ увидѣлъ возможность существовать своими средствами. Это обстоятельство ободрило его; онъ рѣшился провести еще годъ такимъ образомъ, скопить нѣсколько денегъ, уѣхать въ Петербургъ и поступить въ университетъ. Онъ мечталъ объ этомъ еще въ гимназіи.

Двадцати лѣтъ Чемезовъ пріѣхалъ въ Петербургъ, съ шестьюдесятью рублями въ карманѣ, и принялся усердно ходить на лекціи.

Все, что пришлось испытать ему, какъ бѣдному студенту, брошенному на собственный произволъ, лишенному всякой матеріальной и нравственной поддержки,—не могло, конечно, внести примиренія въ его взглядахъ на жизнь. Одно къ одному, пришло вскорѣ и разочарованіе. Въ лекціяхъ не нашелъ онъ того одушевленія, какого ожидалъ; къ удивленію, онѣ показались ему холодными, неувлекательными. Онъ продолжалъ, однако-жъ, аккуратно посѣщать ихъ; но уже цѣлью его была не наука, о которой такъ горячо мечталъ онъ прежде; цѣль ограничилась тѣмъ, чтобы не оставаться лишняго года на курсѣ и, по выходѣ, отыскать какое нибудь поприще и основаться на немъ. Невыносимая тягость матеріальныхъ условій понуждала его къ этому.

Тотъ, кто не испытывалъ питаться по цѣлымъ мѣсяцамъ

однимъ ячменнымъ кофеемъ съ сухарями, не посѣщалъ извѣстнаго рода кухмистерскихъ, гдѣ каждый кусокъ становится поперегъ горла и принуждаешь себя ѣсть потому, что желудокъ корчитъ отъ голоду, кто не жилъ въ грязныхъ углахъ, подкидывая вмѣсто тюфяка собственное платье, кто, вмѣсто шубы, не ограничивался въ сильные морозы пледомъ, служившимъ ночью одѣяломъ, кто не чинилъ заплатъ на своемъ пальто, не зналъ часто, какъ вымыть бѣлье, потому что все, что было по этой части, покрывало тѣло, кто не пережилъ все это годами, не имѣя передъ собою вѣрной, опредѣленной цѣли,—тотъ никогда не пойметъ, какими запасами прекрасныхъ силъ владѣетъ молодость,—никогда не пойметъ, сколько нужно энергіи, силы воли, высокой нравственной подкладки, чтобы, при такихъ условіяхъ, не сбиться съ пути, не упасть духомъ и, вопреки всему, продолжать учиться, посѣщать лекціи, составлять записки и т. д.

Уроки по полтиннику, иногда по рублю, продолжали и здѣсь выручать Чемезова. Два лѣта сряду приглашали его въ качествѣ репетитора въ отъѣзъ съ семействомъ. Этотъ періодъ его существованія былъ очень знаменателенъ. Тутъ въ первый разъ, болѣе чѣмъ когда нибудь, выказалось его влеченіе къ литературѣ; чтеніе всегда было любимымъ его занятіемъ; оно превратилось теперь въ запой своего рода. Быть литераторомъ!... Онъ не смѣлъ мечтать объ этомъ, хотя такая мысль начинала мерещиться ему еще въ гимназіи. Доказательствомъ могла служить тщательно сберегаемая тетрадка стихотвореній, написанныхъ за годъ до пріѣзда въ Петербургъ; были еще: драма изъ итальянской жизни *„Замокъ Морвено“* и повѣсть *„Отверженный“*; но послѣднія представляли скорѣе наброски, чѣмъ оконченныя произведенія.

Литературныя занятія, казалось ему, вполнѣ отвѣчали его вкусамъ, его характеру, склонному къ уединенію и мечтательности. Настроивъ себя такимъ образомъ, другой, на его мѣстѣ, тутъ же бросилъ бы лекціи и, въ пылу возбужденія, послушался бы своего влеченія; но у Чемезова, при всей горячности сердца,

былъ умъ спокойный и разсудительный, напуганный обстоятельствами жизни, привыкшій сдерживать внутренніе порывы. Прежде чѣмъ пуститься очертя голову, — ему хотѣлось добиться пристанища, опредѣлиться куда нибудь на мѣсто, которое дало бы возможность осуществить любимую мечту. Мысль обезпеченья, независимости была прямымъ слѣдствіемъ горькихъ испытаній въ жизни.

Хлопоты, забѣганье впередъ, просьбы, ягозливость, умѣнье поддѣлываться и трогать сердца вліятельныхъ особъ, — все это, если бы даже и было въ характерѣ Чемезова,—не привело бы, можетъ быть, къ желанному результату. Случай лучше выручилъ. Старый сенаторъ, которому онъ четыре мѣсяца переписывалъ бумаги, опредѣлилъ его въ одно изъ министерствъ. Тамъ приписали его чиновникомъ четырнадцатаго класса въ одинъ изъ департаментовъ и, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, — вѣрнѣе безъ всякихъ соображеній, причислили къ комитету, спеціально предназначенному для ученыхъ цѣлей.

---

## III.

Въ департаментѣ, равно какъ и въ подвѣдомственномъ ему комитетѣ для ученыхъ занятій, свободнаго времени дѣвать было некуда. Большая часть чиновниковъ занималась преимущественно гуляньемъ попарно въ залахъ и корридорахъ и курила папиросы съ такимъ остервенѣніемъ, что у всѣхъ почти указательный палецъ желтѣлъ какъ янтарь.

Первымъ дѣломъ Чемезова было заняться пересмотромъ повѣсти „*Отверженный*“. Ему помнилось, въ ней, не смотря на очевидно слабыя стороны, были мѣста, писанныя когда-то съ увлеченіемъ. Онъ прилежно сѣлъ за работу. Тутъ убѣдился онъ, что пришлось все передѣлать отъ начала до конца. Но, странное дѣло, никакъ не предполагалъ онъ, чтобы такъ трудно давалась

работа. Все, кажется, ясно представляется воображенію, такъ вотъ передъ собою и видишь,—рукой схватить хочется; начнешь писать — выходитъ совсѣмъ не то, иногда даже совсѣмъ ничего не выходитъ! Онъ одновременно обдумывалъ сюжетъ, или, какъ говорится, „мотивъ“ другой повѣсти: „*Разбитая жизнь*“, но стѣснялся начинать, не зная рѣшительно какъ приступить къ женскому характеру. Ему невольно приходилъ на память анекдотъ, разсказанный Ефремовымъ, съ которымъ онъ тогда только что познакомился: начальникъ, распекая подчиненнаго, замѣшавшагося въ исторію съ женщинами, сказалъ ему: „Вы, милостивый государь, слава Богу, не ребенокъ; вамъ пора бы знать женщинъ! Вы развѣ женщинъ не знаете?...“ — „Помилуйте, ваше превосходительство, смиренно возразилъ подчиненный, — получая всего триста рублей въ годъ жалованья, могу ли я знать ихъ!...“

Чемезовъ могъ бы то же отвѣтить: у него былъ только другой поводъ; не столько стѣсняли его матерьяльныя средства въ этомъ отношеніи, сколько недостатокъ общественности, враждебная робость и, главное, наконецъ, — мѣшала привычка внутренно съеживаться, уходить въ себя, какъ улита, отъ малѣйшаго прикосновенія къ ея раковинѣ.

Начитавшись романовъ, гдѣ преимущественно описывались женщины, и трудолюбиво дѣлая отмѣтки тамъ, гдѣ черты женскаго характера отвѣчали характеру его героини (мѣстами черты и душевныя движенія были такъ близки въ тому, что онъ желалъ выразить, что, казалось ему, онъ самъ сочинилъ ихъ),—Чемезовъ наконецъ побѣдилъ трудность.

Повѣсть „*Разбитая жизнь*“, переписанная бисернымъ почеркомъ, которымъ отличался Чемезовъ, лежала на столѣ. Все это прекрасно; но предстояло теперь дѣло также не послѣдней важности; оставалось — шутка сказать! — устроить рукопись, помѣстить ее въ одномъ изъ журналовъ. Чемезовъ никого не зналъ изъ лицъ литературнаго круга. Послѣ долгихъ колебаній рѣшился онъ наконецъ отправиться въ редакцію ближайшаго журнала. Онъ, къ тому же, казался ему почему-то скромнѣе другихъ.

Прикоснувшись къ звонку редакціи, Чемезовымъ овладѣло ощущеніе, совершенно обратное тому, какое испытываютъ лица, одержимыя зубною болью, при входѣ къ дантисту; зубная боль, говорятъ, мгновенно проходитъ. Чемезовъ почувствовалъ усиленное волненіе; даже пальцы похолодѣли и защемило подъ ложечкой.

— Мнѣ хотѣлось бы видѣть господина редактора...

— Дома нѣтъ! отрѣзалъ лакей.

Въ эту самую минуту изъ боковой двери показался толстый господинъ, надѣвавшій перчатку.

— Что вамъ угодно? обратился онъ къ Чемезову.

— Вы господинъ редакторъ?...

— Да, но извините, пожалуйста, мнѣ теперь некогда; я сейчасъ долженъ уйти...

— Я принесъ рукопись... Мнѣ бы хотѣлось...

— Очень хорошо-съ, оставьте ее здѣсь. Зайдите недѣли черезъ три... или нѣтъ, лучше черезъ мѣсяцъ.

— Черезъ мѣсяцъ?! невольно вырвалось у Чемезова.

— Васъ, кажется, это удивляетъ?... проговорилъ редакторъ, надѣвая шляпу,—нельзя же такъ: взять да и напечатать! Согласитесь сами... Надо сначала прочесть, посмотрѣть... Мое почтенье! заключилъ онъ, торопливо выходя на лѣстницу.

Чемезовъ оставилъ рукопись, надписавъ на ней свой адресъ.

Но прошелъ мѣсяцъ и не было отвѣта.

Думая, что рукопись не успѣли еще прочесть, находя также неловкимъ налегать и торопить для перваго раза, Чемезовъ принялся съ новымъ усердіемъ за окончательную обдѣлку и переписку первой своей повѣсти: „*Отверженный*“.

Онъ понесъ въ другую редакцію.

На этотъ разъ встрѣтилъ его господинъ, коротко обстриженный подъ гребенку, съ тощимъ лицомъ, усыпаннымъ веснушками, и носикомъ съ пуговку, украшеннымъ pince-nez; послѣдній никакъ не хотѣлъ держаться, поминутно соскакивалъ и снова нетерпѣливо насаживался своимъ владѣльцемъ.

— Вы — господинъ редакторъ? спросилъ онъ.

— Нѣтъ... я секретарь редакціи, — но это совершенно все равно-съ, поспѣшилъ онъ прибавить.

Чемезовъ смиренно подалъ рукопись. Названіе повѣсти, повидимому, не понравилось секретарю; онъ кисло улыбнулся.

— Прекрасно переписано, сказалъ онъ, перевертывая листы,— сами переписывали?...

— Самъ-съ.

— Прелестно! Легко будетъ читать. Раньше недѣли невозможно... Заходите черезъ недѣлю, въ будущую субботу около этого часа, вы получите отвѣтъ.

Въ назначенный день и часъ Чемезовъ отправился къ секретарю редакціи.

— Здравствуйте, сухо проговорилъ секретарь и, порывшись въ грудѣ взъерошеныхъ бумагъ, подалъ ему рукопись, прибавивъ:

— Редакторъ поручилъ передать обратно... Извините пожалуйста, я теперь очень занятъ...

— Я желалъ бы знать, однако-жъ... оторопѣвшимъ голосомъ началъ Чемезовъ.

— Ахъ Боже мой! чего же вы хотите? Повѣсть ваша не годится!—Редакторъ говоритъ: въ ней нѣтъ тѣни наблюдательности съ живой жизни, раздраженно перебилъ секретарь, — это мнѣніе редактора, а не мое; я вашей повѣсти не читалъ. Редакторъ утверждаетъ, что въ цѣломъ повѣсть отзывается чѣмъ-то мертвымъ, сочиненнымъ...

— Помилуйте, я тутъ почти ничего не сочинялъ, писалъ прямо съ натуры... воскликнулъ Чемезовъ, задѣтый за живое.

— Можетъ быть; только,—какъ видите,—ничего изъ этого не вышло, рѣзко отвѣтилъ секретарь.

Чемезовъ вышелъ на улицу, крѣпко сжимая челюсти. На лицѣ его, всегда мутно-блѣднаго цвѣта, показалось нѣсколько красныхъ пятенъ. Онъ меньше чувствовалъ раздраженія, чѣмъ какого-то пристыженнаго чувства. Самолюбіе было сильно задѣто, но, главнымъ образомъ, его огорчали зарождавшееся сомнѣніе въ

самомъ себѣ, обманутыя надежды, безполезность труда, потребовавшаго столькихъ напряженныхъ усилій. „Быть не можетъ, чтобы была тутъ одна „мертвечина“, какъ онъ выразился; я писалъ припоминая собственныя впечатлѣнія; все это было пережито и перечувствовано!“... разсуждалъ онъ самъ съ собою.

Немного успокоившись, онъ на другой день понесъ „*Отверженнаго*“ въ редакцію журнала: „*Созерцатель*“.

Спустя мѣсяцъ, тамъ также отказались печатать повѣсть. Поводомъ служили тѣ же причины: „Нѣтъ живаго лица; натяжка отъ начала до конца, вездѣ сочиненіе, риторика!“...

О другой повѣсти: „*Разбитая жизнь*“ до сихъ поръ между тѣмъ не было ни слуху, ни духу. Дни проходили за днями, недѣли за недѣлями, — повѣсть не появлялась въ печати. Чемезовъ послалъ письмо, но не получилъ отвѣта. Онъ снова написалъ, — результатъ былъ тотъ же. Онъ рѣшился, наконецъ, самъ отправиться.

Его встрѣтилъ тотъ же лакей и, не давъ проговорить слова объявилъ, что редактора не было дома.

— Я пришелъ узнать насчетъ моей рукописи; я нѣсколько разъ писалъ, но не получалъ отвѣта; мнѣ непремѣнно надо знать... началъ Чемезовъ, возвышая голосъ.

— Кто тамъ?.. отозвался кто-то изъ сосѣдней комнаты и на порогѣ распахнувшейся двери показалась знакомая толстая фигура редактора.

— А, это вы?... Сейчасъ! произнесъ онъ, также быстро исчезая за дверью. „Ефимъ! Ефимъ!!“... подхватилъ его голосъ изъ глубины сосѣдней комнаты.

Лакей побѣжалъ, оставивъ въ передней недоумѣвающаго Чемезова. Минуту спустя лакей вернулся съ толстой тетрадью въ рукахъ.

— Ваша?

— Моя...

— Извольте взять... возвратить приказано.

— Но мнѣ хотѣлось бы поговорить съ господиномъ редакторомъ, спросить у него...

— Заняты; никого сегодня не принимаютъ, лаконически возразилъ лакей, отворяя дверь на лѣстницу.

Не смотря на то, что Чемезовъ былъ сильно озадаченъ, онъ не упалъ однако-жъ духомъ, какъ въ тотъ разъ, когда получилъ отказъ въ печатаніи повѣсти: *„Отверженный“*.

Первое произведеніе дѣйствительно могло быть неудачно: опытности недоставало! Вторая повѣсть, безспорно, была основательнѣе задумана и лучше обработана; въ нее, — мимо соблюденія литературныхъ условій, пріобрѣтенныхъ нѣкоторымъ опытомъ, положены были, наконецъ, всѣ чувства, — и тѣ, которыя тревожили его дѣтство, и тѣ, которыя волновали въ Петербургѣ. Работая по ночамъ надъ повѣстью: *„Разбитая жизнь“*, недаромъ отрывался онъ отъ рукописи, чтобы успокоиться отъ волненія и утирать щеки, увлажненныя слезами. Внутренній голосъ поддерживалъ въ немъ вѣру въ этотъ послѣдній трудъ. Толстый редакторъ, безъ сомнѣнія, завладѣлъ только рукописью и не заглянулъ въ нее, — а если и далъ себѣ трудъ читать, то такъ, зря, черезъ страницу. Мнѣніе его, наконецъ, не можетъ еще считаться конечнымъ приговоромъ.

Успокоивъ себя такимъ образомъ, Чемезовъ подумалъ прибѣгнуть къ новому журналу, издававшемуся подъ редакціей литераторовъ болѣе или менѣе извѣстныхъ. Главнымъ редакторомъ былъ писатель съ громкимъ именемъ; каждое произведеніе его встрѣчалось съ восторгомъ и Чемезовъ былъ въ числѣ самыхъ горячихъ его почитателей.

„Здѣсь, по крайней мѣрѣ, будешь имѣть дѣло съ авторитетомъ; узнаешь правду, получишь настоящую оцѣнку...“ думалъ Чемезовъ.

Въ редакціи его встрѣтили очень привѣтливо; рукопись принялъ молодой человѣкъ и просилъ прійти за отвѣтомъ черезъ два дня въ два часа.

Въ этотъ день въ министерствѣ происходило какое-то экстрен-

ное засѣданіе; въ немъ участвовало все начальство департамента и учебнаго комитета, такъ что Чемезову ничего не стоило урваться на полчаса; большая часть чиновниковъ и безъ того разбѣжалась.

Молодой человѣкъ, принявшій рукопись, ввелъ Чемезова въ просторный кабинетъ, уставленный кожаною мебелью, обвѣшанный по стѣнамъ фотографіями разныхъ знаменитостей; столы и этажерки завалены были газетами и книгами. За большимъ столомъ стоялъ, прислонившись къ спинкѣ кресла, высокій, бѣлый какъ лунь господинъ, въ которомъ, по многочисленнымъ портретамъ, Чемезовъ тотчасъ же узналъ знаменитаго писателя; онъ живо объяснялся съ другимъ господиномъ, маленькаго роста и толстымъ.

— Извините, пожалуйста, сказалъ писатель, указывая Чемезову на стулъ,—я сейчасъ, сію минуту къ вашимъ услугамъ.

Чемезовъ сѣлъ на край стула, поглядывая на редактора:

— „Такъ вотъ онъ! вотъ эта знаменитая личность, сдѣлавшая себѣ такое славное имя! И какая прелестная, симпатичная наружность!...“ повторялъ онъ, ощущая внутренно приливъ сладостнаго волненія.

Простившись съ собесѣдникомъ, писатель-редакторъ обратилъ къ посѣтителю добродушное лицо и сказалъ, очевидно стараясь придать голосу какъ можно больше мягкости:

— Вы пришли... узнать насчетъ вашей рукописи... вотъ она... Къ сожалѣнію, мы не можемъ ее напечатать...

Чемезовъ открылъ ротъ, желая сдѣлать вопросъ, но точно кость стала поперегъ горла и онъ не могъ выговорить слова.

— Не можемъ напечатать, продолжалъ редакторъ, видимо чувствуя неловкость,—у васъ, по всему видно,—много воображенія... Пишете вы очень правильно,—правильнѣе, чѣмъ многіе изъ насъ... Но... но этого еще недостаточно. Надо, чтобы произведеніе удовлетворяло прежде всего въ художественномъ отношеніи... Товарищи мои и я, мы не нашли этихъ условій въ вашей повѣсти...

— Я старался изобразить то, что самъ испыталъ...

— Да, но этого недостаточно, проговорилъ редакторъ, отыскивая мягкія выраженія,—надо прочувствовать...

— Прочувствовалъ! невольно вырвалось у Чемезова, причемъ онъ приложилъ убѣдительнымъ жестомъ руку къ груди. На глазахъ его навертывались слезы.

Редакторъ едва могъ скрыть улыбку и продолжалъ:

— Да, но и этого недостаточно; надо, чтобы чувства и впечатлѣнія сообщались дѣйствующимъ лицамъ, складывались въ живые образы. Въ вашей повѣсти, къ сожалѣнію, нѣтъ этого... въ ней, странно сказать: чувствуется на всемъ отпечатокъ чего-то старческаго...

— Мнѣ самому всего двацать четыре года, съ грустью проговорилъ Чемезовъ.

— Вотъ въ этомъ-то и странность! подхватилъ редакторъ, добродушно улыбаясь,—сами вы такъ еще молоды, а пишете, между тѣмъ, какъ... старичокъ... Вы, кромѣ этой повѣсти, писали еще что нибудь?

— Писалъ...

— Печатали?

— Нѣтъ...

— Почему-жъ?

— Отказывали въ редакціяхъ...

— Сами теперь видите...

— Я думалъ совсѣмъ посвятить себя литературѣ; такое занятіе всегда меня увлекало, проговорилъ сквозь слезы Чемезовъ, я такъ надѣялся, такъ трудился...

— И продолжайте трудиться, только... неужели нѣтъ другого выхода кромѣ литературы?.. Нельзя развѣ употребить вашъ трудъ на другое...

При этомъ Чемезовъ поднялся съ мѣста, молча принялъ рукопись, поклонился, вышелъ изъ кабинета и направился обратно въ ученый комитетъ своего департамента.

Въ департаментѣ никто не замѣтилъ убитаго выраженія на лицѣ Чемезова, никогда, впрочемъ, не отличавшагося особенною веселостью. Давно успѣли всѣ привыкнуть къ его неразговорчивости, склонности забираться въ дальніе углы, упорно держаться особнякомъ, какъ „Иванъ Феклистовичъ Бука“, по выраженію Ефремова. Съ окончаніемъ служебнаго часа, онъ пошелъ прямо домой, — въ маленькую комнату, нанимаемую въ семействѣ театральнаго музыканта, въ Офицерской улицѣ, и весь остатокъ дня ничего не ѣлъ и никуда не выходилъ. Ночь провелъ онъ безъ сна, лежа на кровати съ заложенными за шею руками. На другое утро было воскресенье. Съ головною болью, въ припадкѣ нервнаго возбужденія, сѣлъ онъ за письменный столъ, и подъ вліяніемъ всего передуманнаго и перечувствованнаго ночью, набросалъ, самъ не зная для чего, но въ одинъ присѣстъ, очеркъ своего дѣтства, всю исторію, какъ его мать вторично вышла замужъ, какъ остался онъ круглымъ сиротой, какъ попалъ подъ опеку вотчима и остановился на поступленіи своемъ въ гимназію. Онъ писалъ на этотъ разъ, вовсе не думая о литературныхъ условіяхъ, но единственно желая удовлетворить внутренней потребности высказать подавлявшія чувства.

Нѣсколько дней спустя, обратился къ нему случайно въ комитетѣ редакторъ дѣтскаго журнала: „*Незабудочка*“, желавшій навести справку о томъ, въ какомъ положеніи его дѣло и есть-ли надежда на принятіе для народныхъ школъ послѣдней его книжки: *Соха и плугъ. — Разсказы для молодыхъ крестьянъ*“. Редакторъ сильно жаловался на стѣсненія цензуры вообще и въ особенности на трудность пріобрѣтать статьи, спеціально предназначаемыя для дѣтскаго возраста. Крупные литераторы ничего для дѣтей не пишутъ, средніе дороги, мелкіе такъ неброжны, что Боже упаси! Просто хоть отказывайся отъ издательства „*Незабудочки*“.

Возвратясь домой, Чемезовъ переписалъ обычнымъ бисернымъ почеркомъ разсказъ о своемъ дѣтствѣ и послалъ его къ редактору

*„Незабудочки“*, надписавъ на рукописи только адресъ, но скрывъ свое имя.

Предоставляю вамъ судить, какъ онъ изумился и вмѣстѣ съ тѣмъ обрадовался, когда неожиданно получилъ книжку *„Незабудочки“* и нашелъ въ ней свой разсказъ, цѣликомъ напечатанный! Редакторъ прибавилъ отъ себя только названіе *„Сироточка“* и ничего больше. Книжка сопровождалась письмомъ. Редакторъ благодарилъ, ото всего сердца, неизвѣстнаго автора, убѣждалъ не скрывать своего имени,—спрашивалъ о гонорарѣ и горячо убѣждалъ „не отказать впередъ въ просвѣщенномъ сотрудничествѣ“. У Чемезова точно крылья вдругъ выросли; мудренаго нѣтъ: ему только минуло тогда двадцать четыре года и это была первая его радость, первая удача въ жизни.

Восторженная встрѣча редактора *„Незабудочки“* окончательно его ободрила. Радостно взволнованный, онъ высвободился изъ его объятій, чтобы испытать горячее пожатіе руки жены его и затѣмъ существенное пожатіе руки свояченицы,—главной заправительницы *„Незабудочки“*. Редакція исключительно состояла здѣсь изъ женщинъ и, сколько можно было замѣтить, преимущественно изъ тоскующихъ вдовицъ и дѣвушекъ, напоминавшихъ цвѣты, которые забываются на клумбахъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Единственнымъ представителемъ мужскаго пола былъ только самъ редакторъ,—маленькій человѣкъ, крайне суетливаго, озабоченнаго вида, но впрочемъ привѣтливый и добродушный. Онъ тутъ же предложилъ Чемезову по двадцати рублей съ листа и поручилъ сдѣлать къ слѣдующей книжкѣ *„Маленькое сокращеніе Робинзона Крузо“*.

— Гонораръ останется обязательно тотъ же, заключилъ маленькій редакторъ, — оригинальное-ли произведеніе, передѣлки-ли, — все равно; какъ тутъ, такъ и тамъ, ваше перо будетъ у насъ одинаково цѣниться...

За сокращеніемъ Робинзона Крузо послѣдовалъ сокращенный *„Переходъ Суворова черезъ Чортовъ мостъ“*, для ремесленныхъ

училищъ перваго возраста, и затѣмъ „сокращеніе“ того же предмета для дѣтей втораго возраста.

За сокращеніями слѣдовали иногда „передѣлки“. Разнообразіе главнымъ образомъ состояло въ пригонкѣ одного и того же сюжета къ разнымъ возрастамъ. Маленькій редакторъ былъ въ восторгѣ отъ новаго сотрудника. Сотрудникъ, съ своей стороны, былъ также очень доволенъ. Трудолюбіе было въ его природѣ; родъ занятій отвѣчалъ его вкусамъ, скромному, невзыскательному характеру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, улучшалъ его матеріальныя средства; послѣднее было весьма важно для Чемезова, постоянно мечтавшаго о независимости, о возможности быть всѣмъ самому себѣ обязаннымъ. Мечта эта зародилась въ немъ еще при выходѣ изъ гимназіи, подъ гнетомъ тогдашнихъ невыносимо-тяжелыхъ условій.

Чемезовъ получалъ триста рублей жалованья; благодаря „*Незабудочкѣ*“, ему теперь на худой конецъ приходилось въ мѣсяцъ до шестидесяти рублей, иногда даже до восьмидесяти. Такъ прошло два года. Въ концѣ этого времени у Чемезова образовалась даже маленькая экономія. — „*Незабудочка*“ существовала положительно его трудами; подписка на нее улучшалась. Время отъ времени изъ провинціи получались въ редакцію письма, выражавшія благодарность за ту или другую статью. Восторженно читая эти письма сотруднику, маленькій, добродушный редакторъ не могъ равнодушно смотрѣть на холодность, съ какою Чемезовъ выслушивалъ обыкновенно эти посланія; отъ него часто слова нельзя было добиться; онъ ограничивался тѣмъ только, что стыдливо краснѣлъ. При всемъ своемъ желаніи, редакторъ до сихъ поръ не могъ свести его съ семействомъ, не могъ сойтись съ нимъ по душѣ, какъ бы хотѣлось. Дамы редакціи также на это жаловались.

— Милый, но дикій молодой человѣкъ! говорили онѣ.

Въ ученомъ комитетѣ пронюхали между тѣмъ насчетъ „приватныхъ“ занятій сослуживца; слухъ пошелъ дальше и вскорѣ стало извѣстно во всемъ департаментѣ, что въ стѣнахъ его скромно процвѣтаетъ сочинитель. Ефремовъ началъ было подтрунивать и

приглашать Сопипѣрова послѣдовать его примѣру, но оба сочли вскорѣ болѣе благоразумнымъ оставить Чемезова въ покоѣ.

Директоръ выписывалъ для дѣтей *„Незабудочку“* и жена его нѣсколько разъ отзывалась съ величайшей похвалой мужу о нравственномъ направленіи этого почтеннаго изданія. Онъ не зналъ, что Чемезовъ, подписывавшій подъ статьями (таково было настоятельное требованіе редактора, увѣрившаго сотрудника, что въ сферѣ педагогики имя его начинало дѣлаться извѣстнымъ), былъ тотъ самый маленькій, невидный Чемезовъ, служившій подъ его начальствомъ. Онъ призвалъ его въ кабинетъ, похвалилъ и при первомъ случаѣ представилъ къ слѣдующему чину.

Дѣйствительно-ли повѣрилъ Чемезовъ въ нѣкоторую извѣстность своего имени въ сферѣ педагогики, или просто захотѣлось ему попробовать самостоятельности,—но только онъ вскорѣ предпринялъ новый трудъ, не разсчитывая уже помѣстить его въ *„Незабудочкѣ“*. Напрасно, чуть не со слезами на глазахъ уговаривалъ маленькій редакторъ,—Чемезовъ настоялъ на своемъ и, отчасти благодаря скопленнымъ деньгамъ, отчасти кредиту въ типографіи, издалъ *„Сокращенное путешествіе по святымъ мѣстамъ, для дѣтей отъ десяти до четырнадцатилѣтняго возраста“*.

Директоръ позвалъ однажды Чемезова въ кабинетъ.

— Скажите, Чемезовъ, — это ваша книга? спросилъ онъ, указывая на „Сокращенное путешествіе“.

— Моя, ваше превосходительство, робко отвѣчалъ Чемезовъ, оторопѣвъ отъ неожиданности.

Скромность, отличавшая подчиненнаго, всегда нравилась директору; онъ всегда любилъ видѣть въ немъ молодаго человѣка аккуратнаго, приличнаго; качества эти, особенно достойныя похвалы со стороны сочинителя, обратили на себя особенное вниманіе начальника.

— Отчего же не представите вы книгу вашу въ комитетъ? спросилъ онъ.

— Думалъ, ваше превосходительство... но какъ-то не рѣшался...

— Прекрасно; будьте всегда такъ скромны, молодой человѣкъ; скромность служитъ... гм! лучшимъ украшеніемъ... Хорошо-съ, я за васъ представлю вашу книжку.

Въ тотъ же мѣсяцъ книжка была единогласно одобрена комитетомъ и принята для учебныхъ заведеній.

Успѣхъ неожиданный! Чемезовъ не успѣлъ очнуться, какъ уже потребовалось второе изданіе, за которымъ послѣдовало третье. Онъ рѣшительно терялъ голову. Чувство не то смущенія, не то радости попеременно овладѣвали имъ при видѣ столькихъ денегъ. Но уже въ головѣ его зарождались планы новыхъ изданій. Онъ мало-по-малу пришелъ въ себя и успокоился.

Онъ нанялъ въ Средней Подъяческой квартиру изъ трехъ комнатъ, взялъ старуху-кухарку и дѣятельно принялся за работу.

Единственнымъ развлеченіемъ было угловое окно квартиры, выходившее на дворъ, отгороженный со стороны улицы старой деревянной рѣшеткой. Въ лѣвой части двора, подъ самымъ окномъ Чемезова, находился садикъ изъ трехъ акацій, куста бузины и полуобвалившейся бесѣдки; за ними скрывалась сырая стѣна сосѣдняго дома съ черепками битой посуды у фундамента. Зимою, когда все это заваливало снѣгомъ, смотрѣть, конечно, было не на что; но въ лѣтнюю пору дворъ съ садикомъ имѣлъ свою пріятность. Чемезовъ, по крайней мѣрѣ, когда уставалъ, охотно усаживался подъ вечеръ у окна со стаканомъ чая. Обдумывая новыя книжки по части педагогики и мечтая о будущемъ, онъ иногда просиживалъ здѣсь до поздней ночи.

---

## IV.

Противъ дома, гдѣ жилъ Чемезовъ, по ту сторону улицы, наискосокъ отъ сада, находился большой домъ, вмѣщавшій въ

нижней его части красильное заведеніе, мелочную лавочку и модный магазинъ. На вывѣскѣ послѣдняго обозначалось золотыми буквами: „Madame Vera. *Моды и платья*“. По вечерамъ, когда магазинъ запирался и оставались тѣ изъ работницъ, которыя въ немъ постоянно жили и ночевали,—онѣ обыкновенно перебѣгали улицу и входили въ садикъ. Такихъ дѣвушекъ было четыре: три большія, одна подростокъ.

При всей своей скромности, Чемезовъ успѣлъ однако-жъ замѣтить одну изъ нихъ. Предметомъ его любопытства была блондинка лѣтъ семнадцати, съ круглымъ, миловиднымъ лицомъ и большими сѣрыми глазами; она была маленькаго роста, не худощавая и не толстая, и безъ признака румянца,—какъ это часто встрѣчается на лицахъ работницъ, просиживающихъ по двѣнадцати часовъ въ тѣсныхъ комнатахъ безъ воздуха.

Чемезовъ сталъ самъ себѣ удивляться. До сихъ поръ женщины, какъ уже сказано, — мало его занимали. Неожиданный успѣхъ его книжки и затѣмъ усиленная работа окончательно отвлекли его въ послѣднее время отъ соблазновъ и развлеченій. Теперь неожиданно повѣяло на него чѣмъ-то совершенно новымъ. Его невольно притягивало къ окну, какъ только раздавались въ саду знакомые голоса; ему непремѣнно хотѣлось лишній разъ взглянуть на эту миловидную дѣвушку. Она, — надо сказать въ ея оправданіе, — не прибѣгала для этого ни къ какимъ ухищреніямъ; нельзя было, конечно, не замѣтить господина, такъ часто подходившаго къ окну; но, повидимому, она не была любопытна; всего вѣрнѣе, онъ не дѣлалъ на нее никакого впечатлѣнія. По праздникамъ, вечеромъ, Чемезовъ пересталъ вдругъ совершать обычную прогулку въ скверъ подлѣ церкви Николы Морскаго. Въ такіе дни подруги дѣвушки отпускались къ роднымъ; она оставалась одна и всегда приходила въ садъ съ какой нибудь работой. Чемезовъ, трудившійся тогда надъ руководствомъ: *„для первоначальнаго ознакомленія съ географіей“*, тотчасъ же бросалъ перо и подходилъ къ окну. Блондинка замѣтила его наконецъ, но продолжала не давать повода къ ближайшему зна-

комству. Разъ они встрѣтились на улицѣ; Чемезовъ остановился, хотѣлъ что-то сказать; но встрѣча была слишкомъ неожиданна, онъ не нашелся и, покраснѣвъ, прошелъ мимо. Въ другой разъ они столкнулись у калитки сада.

— Вы, кажется, часто прогуливаетесь здѣсь въ саду... проговорилъ онъ, глотая слова.

Дѣвушка посмотрѣла на него своими сѣрыми глазами, улыбнулась, сказала: „да“ и вошла въ садъ.

Первымъ движеніемъ Чемезова было послѣдовать за нею,— но робость оказалась сильнѣе желанія; онъ прошелъ дальше, обогнулъ двѣ улицы — послѣ чего вернулся домой, крайне недовольный собою.

Увидавъ однажды старую свою кухарку, сидѣвшую подлѣ бесѣдки рядомъ съ блондинкой и долго о чемъ-то съ нею бесѣдующую, — онъ, какъ только кухарка вернулась, принялся разспрашивать ее о новой знакомкѣ. Кухарка сообщила, что не впервые разговариваетъ съ этой дѣвушкой, что она круглая сирота, отданная въ ученье теткой, — шлиссельбургской мѣщанкой, давно пропавшей безъ вѣсти, что дѣвушка ласковая такая, словоохотливая и что жаль ее — жаль, потому что какъ только кончится ученье и выйдетъ изъ магазана на свою волю, — такъ тутъ и пропадетъ.

— Пропадетъ, какъ всѣ пропадаютъ, батюшка Алексѣй Иванычъ, заключила старуха, — подвернется эта какой ни-на-есть шалыганъ, прости Господи, — много ихъ въ Петербургѣ! — ну и пропадетъ, отецъ мой!..

Слова старухи сильно подѣйствовали на Чемезова. Онъ спалъ ночь безпокойнѣе обыкновеннаго. Дѣйствительно, не трудно было пропасть въ Петербургѣ! Чувство сожалѣнія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, что-то похожее на испугъ и ревность волновало его. Онъ припоминалъ миловидное лицо дѣвушки, доброе выраженіе ея глазъ и съ ужасомъ рисовалъ въ воображеніи возможность ея паденія, возможность для нея трагической судьбы, такъ часто выпадающей на

долю молодымъ, хорошенькимъ дѣвушкамъ, одиноко брошеннымъ въ водоворотъ столичной жизни.

— Знаешь что, Марѳа, сказалъ онъ на другое утро, ты бы когда нибудь позвала ее къ себѣ чай пить...

— Извольте, батюшка, хоть сегодня; сегодня какъ разъ праздникъ; она придетъ въ садъ одна; сами увидите, какая она, право, хорошая; только, скажу вамъ, она насчетъ этого баловства... вы не думайте...

— Что ты! что ты! воскликнулъ Чемезовъ, отмахиваясь обѣими руками.

Онъ никогда не помнилъ себя такимъ веселымъ, какъ въ этотъ день. Онъ немного только оторопѣлъ къ вечеру, когда увидѣлъ блондинку, выходившую изъ сада и направлявшуюся къ дверямъ его черной лѣстницы. Еще нѣсколько минутъ, — онъ зналъ, — она уже сидѣла за сосѣдней стѣной. Робко отворивъ дверь кухни и сдѣлавъ какъ бы удивленный видъ, Чемезовъ вошелъ. Дѣвушка сначала очень удивилась; она никакъ не ожидала, чтобы Марѳа была въ услуженіи у того самаго господина, котораго часто встрѣчала въ саду и видѣла иногда гуляющимъ на улицѣ, мимо оконъ магазина. Но скромный видъ молодаго человѣка тутъ же ее успокоилъ. Не зная рѣшительно съ чего начать, Чемезовъ ограничился нѣсколькими общими словами, сказалъ, что знаетъ ее давно и радъ съ нею познакомиться, спросилъ, любитъ ли она читать, — и ободренный своей находчивостью, — поспѣшно отправился въ кабинетъ и вынесъ нѣсколько книгъ; въ числѣ ихъ пестрѣли два розовые нумера *„Незабудочки“*.

Этимъ вечеромъ положено было начало другимъ такимъ же вечерамъ.

Машенька (такъ звали блондинку) и Чемезовъ, мало-по-малу, перестали дичиться другъ друга. Однажды онъ такъ одушевился, что пригласилъ ее съ Марѳой въ кабинетъ и тамъ взялъ съ нея слово провести цѣлый вечеръ слѣдующаго праздника въ Александровскомъ паркѣ.

— И Марѳу возьмемъ съ собою, поспѣшилъ онъ прибавить.

Но на слѣдующій праздникъ Марѳа, какъ на зло, хлебнула лишнее и у нея сильно болѣла голова. Какъ быть? Машенька долго не соглашалась идти вдвоемъ; наконецъ рѣшилась и они отправились. Сначала разговоръ не клеился; оба чувствовали неловкость и не находили словъ. Обстоятельство это крайне удивило Чемезова; приготовляясь къ прогулкѣ съ дѣвушкой, онъ не только наканунѣ, но въ самый день не могъ понять, откуда вдругъ бралось у него столько краснорѣчія. Тутъ, какъ нарочно, слова не вязались и мысли разбѣгались, какъ испуганные зайцы.

Шагъ за шагомъ, они незамѣтно отдалились отъ шумной части парка и усѣлись на скамейкѣ. Начался понемногу тотъ первый разговоръ, безъ свидѣтелей, котораго онъ ждалъ съ такимъ нетерпѣніемъ. Въ первыя минуты она казалась очень смущенной; что-то даже похожее на испугъ промелькнуло въ ея чертахъ; мало-по-малу все это прошло; она перестала стыдиться и посмотрѣла ему прямо въ лицо своими большими, добрыми глазами. Небывалая передъ тѣмъ сладость ощущенья овладѣла Чемезовымъ. Онъ во всю жизнь не испытывалъ ничего подобнаго.

Не смотря на то, что воображеніе его было возбуждено, оно и теперь не уносило его за тридевять земель, за предѣлы дѣйствительности; разсудокъ говорилъ ему, что передъ нимъ не идеальное какое нибудь существо, но простая, молоденькая работница, съ грѣхомъ пополамъ знакомая съ грамотой; онъ успѣлъ узнать только, что она не глупа и тихаго, кроткаго нрава. Но онъ знакомился въ первый разъ съ прелестью находиться близко и наединѣ съ женщиной, которая сильно нравится; онъ чувствовалъ къ ней влеченье, вопреки всему, что могъ говорить разсудокъ. Не каждый ли день встрѣчалъ онъ на улицѣ множество женскихъ лицъ; почему же ни одно изъ нихъ не дѣйствовало на него такъ притягательно, не было ему такъ сочувственно, какъ лицо этой дѣвушки? Ея миловидныя черты, ея сѣрые, добрые глаза врѣзались въ его памяти съ перваго дня, какъ увидалъ ихъ. Отъ ихъ взгляда, какъ бы сами собою, размягчались черствыя, нелюдимыя черты, заслужившія ему прозвище „*буки*“ въ кругу его

товарищей. Съ ними онъ дичился; съ нею его влекло къ откровенности. И прежде приходили минуты, когда потребность привязаться къ женскому сердцу, любить и быть любимымъ давали себя внутренно чувствовать; но это были только намеки, отдаленные, чуть слышные голоса передъ тѣмъ, что теперь наполняло его душу. Одушевляясь постепенно, онъ передалъ ей всю исторію своей жизни, всѣ огорченія дѣтства, всѣ испытанія юности. Теперь, благодаря Богу, все измѣнилось къ лучшему; въ теперешнемъ его положеніи не было ничего общаго съ пережитымъ; онъ освободился отъ горя и бѣдности; но счастья, настоящаго счастья все-таки у него не было. Оно видно, не далось ему, потому что такъ жить, какъ онъ, безъ привязанности, безъ любви, — нельзя считать себя счастливымъ!...

Онъ это впрочемъ такъ только, въ увлеченіи, разсказывалъ. На самомъ дѣлѣ онъ уже теперь былъ счастливъ, — счастливъ тѣмъ, что любилъ и... онъ не смѣлъ сказать объ этомъ утвердительно, — но такъ казалось ему, — встрѣчалъ отвѣтное чувство. Иначе къ чему было ей соглашаться на отдаленныя прогулки вдвоемъ, къ чему было бы такъ терпѣливо выслушивать его длинныя объясненія и разсказы?

Съ того вечера они замѣтно уже искали случая встрѣчаться.

Разъ осенью, въ праздникъ, Марѳа отпросилась на Митрофаніевское кладбище. Давно смеркалось, но она все не возвращалась. Чемезовъ, поджидавшій ее съ тѣмъ, чтобы напиться чаю и сѣсть за работу, часто подходилъ къ окну. Выраженіе удивленья и радости показалось вдругъ на лицѣ его; онъ никакъ не ожидалъ увидѣть сегодня Машеньку: весь день не переставая лилъ дождикъ. Закрывшись платкомъ, она скоро, скоро пробѣжала мимо садика и, не подозрѣвая отсутствія Марѳы, прямо направилась къ знакомой двери па черную лѣстницу. Чемезовъ сломя голову бросился въ кухню, отомкнулъ дверной крючекъ и, притаившись за половинкой двери, сталъ прислушиваться къ частымъ шагамъ, поднимавшимся по лѣстницѣ. Сердце его билось такъ громко, что

слышались его удары. Машенька вошла въ кухню, увидѣла Чемезова, узнала, что онъ одинъ въ квартирѣ, и не убѣжала...

Съ того вечера они стали видѣться каждый день. Свиданья ихъ скрывались самымъ тщательнымъ образомъ; всѣ мѣры предосторожности были приняты. Машенька являлась не иначе, какъ въ сумерки; она всегда куталась и внимательно осматривалась, прежде чѣмъ перейти улицу и вступить во дворъ. Даже Марѳа ничего не подозрѣвала. Чемезовъ обыкновенно уговаривалъ ее лечь спать, послѣ чего запиралъ на ключъ кухню. Машенька приходила теперь всегда по парадной лѣстницѣ, зная очень хорошо, что тамъ за дверью стоитъ Алексѣй Ивановичъ и нетерпѣливо ее поджидаетъ.

Думая окончательно уберечь Машу отъ возможности встрѣчъ съ знакомыми лицами, отчасти самъ желая избавиться отъ глазъ любопытныхъ, Чемезовъ поспѣшилъ перемѣнить квартиру; онъ нанялъ неподалеку на Екатерининскомъ каналѣ. Переѣздъ представлялъ также удобный случай отказать Марѳѣ; въ послѣднее время лишнія рюмочки смѣнились совершенно уже лишнимъ штофикомъ и держать ее стало положительно невыносимо.

Къ тому же времени подошелъ срокъ концу обученья для Машеньки.

„*Madame Vera*“, хозяйка магазина, сначала никакъ не хотѣла разстаться съ нею; она теряла въ ней самую прилежную работницу. Но съ другой стороны не было возможности держать ее противъ воли. При прощаніи, въ досадѣ, она не разспрашивала даже ее, зачѣмъ? куда? зная по опыту, что если ужъ дѣвушка такъ настоятельно оставляетъ насиженное мѣсто, — значитъ, гдѣ нибудь ужъ завелся „*обже*“, какъ она выражалась.

Машенька связала свой узелокъ и поселилась у Чемезова.

Ему пришлось перейти одно неловкое испытаніе: пришлось передать дворнику паспортъ Маши для прописки и тѣмъ, слѣдовательно, заявить всему дому о своей связи, подвергнуть ее и себя любопытству жильцовъ; онъ прежде не подумалъ объ этомъ. Но опасенія оказались вскорѣ лишними; никто особенно не пя-

лиъ глазъ и не обращалъ на нихъ вниманія. Машенька, къ тому же, была большая домосѣдка.

Житье ихъ вдвоемъ началось съ того, что она сильно возстала противъ найма новой кухарки; напрасно увѣщевалъ ее Чемезовъ, — она утверждала, что кухарка лишнее только стѣсненіе, лишній расходъ, что она отлично сама справится и выучилась у „мадамы“ варить супъ, какого онъ вѣрно никогда не пробовалъ. Машенька просила дать ей всего три дня на испытаніе.

— Зачѣмъ же? Слава Богу, у насъ есть чѣмъ нанять прислужницу, доказывалъ Чемезовъ, не открывая глазъ отъ ея оживленнаго, миловиднаго лица, — и охота же тебѣ, въ самомъ дѣлѣ, пачкаться? Можешь, если есть желаніе, найти себѣ другое занятіе.

— Нѣтъ, ужъ ты только не мѣшай мнѣ; дай сдѣлать... увидишь, какъ все будетъ хорошо! повторяла она, ласкаясь какъ котенокъ.

По прошествіи нѣсколькихъ дней нельзя было узнать квартиры Чемезова; вездѣ показались чистота и порядокъ. Особенная заботливость приложена была къ кабинету; нигдѣ слѣда пылинки-книжки аккуратно были вездѣ разставлены, даже вымыта чернильница и перья уложены рядышкомъ, въ пріятной симметріи. Кухня была также неузнаваема; принадлежности маленькаго хозяйства, вымытыя, вылощенныя, выставлялись по стѣнамъ правильно уложенными въ рядъ.

Дни испытанія вытягивались въ цѣлыя недѣли. Когда онъ заикался о наймѣ кухарки,—она подскакивала и зажимала ему ротъ. Дѣятельность ея была изумительна; съ утра отправлялась она на рынокъ, потомъ начиналась уборка квартиры; одновременно съ этимъ разводился огонь, готовилось кушанье, стирались и гладились разныя тряпочки; она день-деньской суетилась, полоскалась и при всемъ томъ находила время приводить въ порядокъ бѣлье Чемезова и приступить, для себя собственно, къ шитью платья изъ сѣраго мериноса, который ухитрилась купить за полцѣны.

— Такъ будетъ лучше, какъ сама сошью, говорила она, радостно улыбаясь,—будутъ стоить только мериносъ, подкладка и пуговицы!... прибавляла она восторженно.

И все это, надо замѣтить, дѣлалось у нея какъ-то безъ всякой трескотни и погрома и всегда весело. Самую эту веселость слѣдовало приписать особому роду: она никогда не выражалась восклицаніями или громкимъ смѣхомъ; ихъ замѣняли ямочки, появившіяся на щекахъ, улыбка и радостный блескъ, свѣтившійся въ ея большихъ, добрыхъ глазахъ. Чемезовъ не могъ ею налюбоваться. Даже въ мечтахъ никогда не грезилось ему столько счастья. Встрѣчая ее часто съ раскраснѣвшимся лицомъ, вокругъ котораго отъ суеты разлетались пухомъ ея прекрасные бѣлокурые волосы, онъ, въ первое время, снова приступалъ, упрашивая нанять прислугу, увѣряя, что безъ этого она тѣмъ, наконецъ, кончитъ, что совсѣмъ замучается; но вскорѣ убѣдился, что чѣмъ больше надумывала она себѣ хлопотъ, чѣмъ больше было у нея на рукахъ дѣла, тѣмъ становилась она всегда веселѣе, — словомъ, тѣмъ казалась счастливѣе.

Время отъ времени, ложное положеніе, въ которомъ оба они находились, вызывало задумчивость на лицѣ Чемезова; оно, видимо, его безпокоило. Но онъ припоминалъ свою прежнюю жизнь, сравнивалъ ее съ теперешней и говорилъ себѣ, что надо же чѣмъ нибудь жертвовать въ обмѣнъ на чувства, соединявшія его съ любимой дѣвушкой. Привязанность ихъ другъ къ другу укрѣплялась тѣмъ сильнѣе, что ничто ее не развлекало. Стѣсняясь мыслію о сожительствѣ, Чемезовъ хранилъ свою связь въ величайшей тайнѣ отъ сослуживцевъ. Живя своей особой замкнутой жизнью и никогда не приглашая ихъ къ себѣ, онъ теперь подавно не дѣлалъ этого. Она, съ своей стороны, не хотѣла даже слышать о знакомствѣ съ кѣмъ бы то ни было. Она утверждала, что некогда ей возиться съ гостями, и, наконецъ, рѣшительно не будетъ умѣть, какъ разговаривать со всѣми этими господами.

— Тебѣ можетъ быть хочется... Мнѣ ихъ не нужно; мнѣ и безъ нихъ хорошо! заключала она обыкновенно.

Съ каждымъ днемъ Чемезовъ открывалъ въ ней новыя качества. Въ умѣ его опрокидывались навзничь всѣ читанныя и слышанныя имъ педагогическія теоріи и взгляды по вопросу о женскомъ развитіи и воспитаніи. Говорятъ, яблочко отъ яблони недалеко падаетъ; ничего не могло быть несправедливѣе такой поговорки. Маша была у него передъ глазами. Что видѣла она съ дѣтства? По большей части грубость и дурные примѣры. И все это, тѣмъ не менѣе, не имѣло на нее и тѣни вліянія, нисколько не привилось къ ней, не пустило хотя бы самаго слабаго ростка. Она осталась съ чистой дѣтской душой, отзывавшейся на все честное и доброе. Ничего не было для нея милѣе ея угла съ его мелочными хозяйственными заботами; лишь бы только ее не трогали, не мѣшали ей, — она тутъ только чувствовала себя на своей почвѣ, всегда была весела и вполнѣ довольна.

Простодушныя, наивныя натуры, способныя сохраниться во всей умственной и душевной чистотѣ, вопреки самымъ неблагопріятнымъ условіямъ жизни, — встрѣчаются чаще, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Ихъ можно сравнить съ тѣми растеніями, которыя прячутся отъ солнца, не тянутся въ высоту, но уходятъ въ глубь, и тамъ, встрѣтивъ сродный имъ грунтъ, развиваются и даютъ плоды свои.

Улицы съ ихъ шумомъ и городскія увеселенія не нравились Машѣ; но благополучіе ея не знало мѣры, когда въ праздникъ отправлялась она вмѣстѣ съ Чемезовымъ за городъ. Въ такихъ случаяхъ она обыкновенно всегда запаздывала. Алексѣй Иванычъ давно былъ готовъ, давно дожидался стоя въ шляпѣ; но она тутъ-то именно вдругъ и припоминала о необходимости запереть такой-то ящикъ, припрятать такую-то вещь и выходила не прежде, когда убѣждалась, что все въ порядкѣ.

Садясь въ вагонъ, она принимала вдругъ строгій, степенный видъ, опускала глаза и церемонно молчала. Очутившись на свободѣ съ своимъ Алешей, — она также скоро оживлялась и не было конца ея разспросамъ и веселости.

Въ началѣ первой весны, Чемезовъ, находясь въ департаментѣ, уловилъ удобную минуту, незамѣтно прошелъ въ кабинетъ директора и попросилъ у него разрѣшенія жениться.

— Раненько задумали!... сказалъ директоръ.

Зная Чемезова за молодаго человѣка трудолюбиваго и солиднаго,—онъ дальше не разспрашивалъ и тутъ же прибавилъ:

— А, впрочемъ, — благословляю!...

Ефремовъ, который долженъ былъ приложить печать къ разрѣшенію, привязался было съ разспросами, напрашиваясь на свадьбу: но Чемезовъ отвѣтилъ, что свадьба будетъ происходить въ Ропшѣ, гдѣ проживетъ онъ послѣ вѣнчанія нѣсколько дней,— и такимъ образомъ отдѣлался.

Съ женитьбой не произошло никакихъ особенныхъ перемѣнъ въ образѣ жизни Чемезовыхъ. Возвратясь изъ церкви, Маша неожиданно только зарыдала, упавъ на грудь мужа,—послѣ чего также весело и дѣятельно принялась за свои хозяйственныя хлопоты.

Единственная перемѣна, которую можно было замѣтить, состояла въ томъ, что благосостояніе ихъ видимо улучшилось.

*„Руководство для первоначальнаго ознакомленія съ географіей“* принесло неожиданные результаты. Другія *„сокращенія“* и *„руководства“*, постепенно выпускаемыя въ свѣтъ,—разбирались нарасхватъ.

Такъ проходили годы. Счастье ихъ не только не прерывалось, но упрочивалось отъ времени. Лѣтомъ Чемезовы перебирались теперь обыкновенно на дачу на Черную рѣчку или на Карповку. Не смотря на то, что хозяйственныхъ хлопотъ было здѣсь больше чѣмъ въ городѣ, а съ другой стороны, въ денежномъ положеніи Чемезова не могло быть вопроса о расходѣ на прислугу,—жена его всетаки противилась нанимать кухарку. Вмѣсто нея она взяла двѣнадцатилѣтнюю дѣвочку,—дочь прачки; Чемезова думала пріучить ее къ хозяйству и со временемъ найти въ ней усердную помощницу. Зная въ совершенствѣ жену, Алексѣй Иванычъ ничего не говорилъ, хотя предвидѣлъ, что дѣвочка эта

послужить только источникомъ новыхъ заботъ и хлопотъ. Дѣйствительно, такъ и вышло. Началось съ того, что Марья Ивановна привезла изъ города кусокъ полотна и въ тотъ же вечеръ принялась кроить и рѣзать, приготовляя бѣлье для дѣвочки.

Глядя, какъ она съ ней возилась, обмывала, чесала, обучала тому и другому и постепенно къ ней привязывалась, Чемезовъ убѣждался больше и больше, что Марьѣ Ивановнѣ на роду было написано сдѣлаться можетъ быть лучшей еще матерью, чѣмъ была она хозяйкой. Но проходили годы,—дѣтей у нихъ не являлось.

Лѣта мало измѣнили Марью Ивановну; она нѣсколько пополнѣла, но казалась вообще даже свѣжѣе, чѣмъ была въ первой молодости. На характеръ лѣта не произвели никакого дѣйствія. Живя разъ на дачѣ, она купила цыплятъ; въ числѣ ихъ находился одинъ съ перешибленной ногой; онъ сдѣлался ея любимцемъ. Она держала его особо отъ другихъ, кормила на убой и звала всегда мужа посмотрѣть, какъ цыпленокъ бросается со всѣхъ ногъ, когда она его подзываетъ. Къ осени цыпленокъ превратился въ толстую курицу, бѣгавшую за Марьей Ивановной какъ собачонка. Пришлось переѣзжать съ дачи. Все уже было уложено и подводы стояли готовыя на дворѣ. Алексѣй Иванычъ, расхаживая въ пальто и шляпѣ, не могъ понять, что дѣлаетъ жена, стоя у окна и барабаня пальцами по стекламъ; онъ нѣсколько разъ позвалъ ее, но она не откликнулась. Подойдя къ ней, онъ только всплеснулъ руками: прислонивъ лицо къ оконному стеклу, Марья Ивановна разливалась-плакала! Ей жаль было разстаться съ курицей. Но птичникъ немыслимъ былъ въ городѣ и, скрѣпя сердце, надо было разстаться.

Она утѣшилась тогда только, когда Алексѣй Иванычъ купилъ ей собачку.

Благосостояніе ихъ продолжало между тѣмъ расти съ каждымъ годомъ. Чемезовы могли считать себя теперь вполнѣ обезпеченными. По службѣ также шло довольно удачно. Чемезовъ былъ теперь старшимъ столоначальникомъ и при первой вакансіи долженъ былъ занять должность начальника отдѣленія. Мрач-

ный взглядъ на жизнь, горечь прежнихъ испытаній, мизантропическія побужденія,—все это въ немъ постепенно улеглось, сгладилось подъ вліяніемъ счастливой жизни, любви и преданности. Если онъ продолжалъ держать себя попрежнему, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ сослуживцевъ, то это происходило скорѣе отъ привычки согласоваться съ природными наклонностями. Его и въ молодости склоняло всегда къ тихой, трудолюбивой жизни. Наконецъ онъ попросту боялся нарушить строй домашняго очага, подъ защитой котораго прожилъ столько лѣтъ въ постоянномъ счастіи.

Привязанность нѣжно-любимой женщины, ея чувства къ нему, заботливость, не охлаждавшіяся, но развивавшіяся съ годами,— достаточно наполняли его существованіе. Обаятельная доброта сердца, врожденныя честныя побужденія Марьи Ивановны сдѣлали то, чего, быть можетъ, не могло бы сдѣлать самое внимательное, изысканное образованіе.

Иногда Алексѣй Иванычъ приступалъ къ ней съ какой нибудь книжкой, совѣтовалъ почитать то и другое; Марья Ивановна не отказывалась, но за хлопотами книжка большею частью оставалась открытою на второй страницѣ. Чемезовъ начиналъ упрекать.

— Много будешь знать, скоро состарѣешься, смѣясь возражала Марья Ивановна,—я тебя знаю; съ меня этого довольно!...

Алексѣй Иванычъ, тѣмъ не менѣе,—по привычкѣ, вѣроятно, заниматься постоянно учебниками и сидѣть по уши въ педагогикѣ, — не разставался съ мыслію объ ея образованіи. Упорно преслѣдуя свою цѣль, онъ не пропускалъ удобнаго случая: водилъ ее по всѣмъ выставкамъ, концертамъ, театрамъ. Марью Ивановну часто клонило ко сну, но Боже упаси, чтобы она показала это мужу; въ угоду ему, она охотно на все соглашалась и всегда казалась очень довольной. Обманутый этимъ, Алексѣй Иванычъ увеличивалъ свое стараніе. Зная ея экономность, но вмѣстѣ съ тѣмъ желая сдѣлать ей сюрпризъ, онъ тайкомъ або-

нировался на два стула въ итальянской оперѣ, какъ только узналъ объ открытіи новой подписки.

Заботливость Алексѣя Иваныча отплачивалась ему всегда сторицей.

Въ теченіе пятнадцати лѣтъ, прожитыхъ вмѣстѣ, ни разу не испыталъ онъ ссоры, разладицы, даже повода къ чему нибудь подобному. Весь ея міръ начинался и оканчивался ея Алексѣемъ Иванычемъ; внѣ этого, для нея ничего не существовало; когда ему было хорошо и покойно,—добрые ея глаза сіяли радостью и ничего не желала она больше. Онъ былъ для нея постояннымъ предметомъ любви и удивленія. Лучше, умнѣе, честнѣе Алексѣя Иваныча — ничего не могло быть на свѣтѣ.

Такая любовь и преданность, надо сказать, были вполнѣ взаимны. Сердце Чемезова ни разу не измѣнило. Онъ никогда не думалъ о ней иначе, какъ съ чувствомъ глубокой нѣжности и признательности. Часто, сидя подлѣ нея, онъ бралъ ея руки и горячо начиналъ цѣловать ихъ.

— Э, полно, Алексѣй Иванычъ, говорила она, удивленно глядя на него своими добрыми глазами, — какое счастье я тебѣ принесла!... Ты такой ученый! такой умный! Что я передъ тобою?... Такъ, простая, незначущая бабёночка!...

И вдругъ — вдругъ этой бабёночки не стало!...

Она вернулась домой, чувствуя сильный ознобъ. На другой день открылся тифъ. Три дня спустя добрые глаза ея навсегда закрылись... Она лежала въ гробу такая бѣленькая, съ вытянутыми ножками, обутыми въ бѣлые башмаки; бѣлокурые ея волосы, гладко причесанные, вокругъ осыпаны были цвѣтами. На губахъ все еще оставалась улыбка; но она горько противорѣчила остальной части лица, совершенно неподвижной,—точно отлитой изъ воску.

Чемезовъ ничего этого не видѣлъ. Онъ или сидѣлъ въ дальней комнатѣ, какъ громомъ пораженный, или начиналъ бросаться въ безпамятствѣ, наполняя квартиру криками отчаянья. На минуту очнулся онъ и какъ бы пришелъ въ себя на кладбищѣ,

когда уже гробъ опустили и могилу стали засыпать землею, смѣшанною со снѣгомъ; но тутъ же упалъ онъ лицомъ въ снѣгъ и сталъ опять биться какъ помѣшанный.

Близъ стоявшіе подумали, что онъ окончательно лишится разсудка.

Первые дни директоръ нѣсколько разъ присылалъ курьера справиться объ его здоровьѣ.

---

## V.

Недѣли черезъ три онъ появился, однакожъ, въ департаментѣ. Прошелъ еще мѣсяцъ и уже насчетъ Чемезова установилось мнѣніе, что онъ взглянулъ, наконецъ, на свое положеніе „окомъ благоразумнаго человѣка“. Одинъ Ефремовъ подвертывался съ утѣшеніями, и то потому больше, что хотѣлъ показать себя въ глазахъ несообщительнаго товарища человѣкомъ, способнымъ не на однѣ пирушки и балагурство. Чемезовъ отдѣлывался обыкновенно пожатіемъ руки, но чаще всего отмалчивался. Онъ вообще слова ни съ кѣмъ не сказалъ о понесенной имъ утратѣ. Никто этому не удивлялся, зная его всегдашнюю сдержанность. Въ лицѣ его также никто не замѣтилъ особенной перемѣны; осунулось только немножко и какъ бы постарѣло; нельзя же безъ этого: человѣку стукнуло наконецъ сорокъ два года!

Прошло лѣто; наступила осень. При встрѣчѣ съ Алексѣемъ Иванычемъ рѣдкій могъ уже усумниться, чтобы горе окончательно въ немъ не изгладилось.

Иногда даже Чемезову казалось, какъ будто стало понемногу отлегать отъ сердца. Припоминая прошлое, онъ начиналъ чувствовать себя спокойнѣе. Воспоминанія мало-по-малу утрачивали свою ѣдкость. Ихъ точно заволакивало туманомъ; они, казалось, смягчались въ немъ и ослабѣвали. Онъ приводилъ въ порядокъ бумаги, приступалъ къ брошенной работѣ и, одновременно съ

этимъ, думалъ непремѣнно переѣхать на другую квартиру; сомнѣнія не было, что съ перемѣной мѣста спокойствіе окончательно возстановится.

Такъ проходили дни, иногда цѣлыя недѣли.

Вдругъ,— точно изъ-за угла вѣтромъ приносило,—обхватывало его опять чувствомъ смертельной грусти. Вмѣстѣ съ нею мгновенно отлетало спокойствіе, давая мѣсто мрачнымъ, тревожнымъ мыслямъ. Онъ неожиданно впадалъ въ то состояніе духа, какъ тогда въ Лѣтнемъ саду, при встрѣчѣ съ двумя сослуживцами. Чемезовъ сказывался больнымъ и не ходилъ на службу. Мысль кого нибудь видѣть, съ кѣмъ нибудь встрѣтиться, была ему невыносима. Въ такія минуты потеря жены казалась ему чувствительнѣе даже, чѣмъ въ первые дни послѣ ея кончины. Онъ не понималъ, какъ могъ на минуту думать объ облегченіи своего горя. Квартира дѣлалась ему тогда особенно дорога; онъ возмущался, думая, что въ ней могли поселиться чужіе люди.

Безъ всякаго насилія воображенія, воспоминанія приходили сами собою, наплывали одно за другимъ. Они принимали иногда поразительную ясность. Онъ часто какъ бы прислушивался къ голосу жены, слѣдилъ за его звукомъ, вызывая въ памяти каждую черту лица покойницы. Губы его судорожно двигались, когда передъ нимъ, точно живые, начинали свѣтиться ея добрые глаза. Припоминая ея кротость, ея ровный, безотвѣтный нравъ, ея заботливость, такъ нѣжно сосредоточенную на немъ одномъ,— онъ жадно хватался за самыя мелкія воспоминанія, сближавшія его съ нею. Такъ неожиданно пришло ему на память, какъ въ его отсутствіе она опрокинула чернильницу на бумаги и, желая скрыть оплошность, вымыла въ замѣшательствѣ листъ и тѣмъ окончательно стерла все написанное. Столько лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ! — но онъ вспомнилъ выраженіе смущенія на ея миловидномъ лицѣ, вспомнилъ, какъ тогда разсердился, какъ она вдругъ заплакала — и горько сталъ упрекать себя. Забывая, что теперь ничего уже не вернешь, ничего не поправишь,—онъ продолжалъ каяться, припоминая, какъ былъ иногда грубъ, при-

дирался, выказывалъ передъ ней дурное расположеніе духа, въ отвѣтъ на добрые, ласковые взгляды, на кроткую улыбку.

Въ такія черныя минуты потеря жены представлялась ему такимъ ужасающимъ фактомъ, сердце наполнялось такою невыносимою скорбью, что не разъ приходило ему въ голову покончить съ собою. Онъ не сомнѣвался въ томъ, что рано или поздно — не переживетъ своего горя.

Такъ многіе думаютъ,—даже искренно думаютъ; но всѣ почти обманываются!

Подъ впечатлѣніемъ душевно-тревожнаго чувства, мысленно переносишь себя, иногда одиноко, на берегъ необъятнаго моря и тамъ говоришь себѣ: „Что, если это случится со мною? Что, если вдругъ постигнетъ меня такое несчастье?... Я тутъ же въ прахъ разсыплюсь, на мѣстѣ умру, исчезну“... Но подымается волна горя, во сто разъ болѣе могучаго противъ того, какого ожидаешь, прокатывается она съ грохотомъ надъ головою... „Ну, думаешь, все кончено! Все!!...“ Осматриваешься вокругъ, ощупываешься—и съ удивленіемъ видишь себя сидящимъ на томъ берегу, совершенно невредимымъ и цѣлымъ!...

Нѣтъ, человѣкъ живучъ! Не менѣе, надо думать, былъ живучъ и Чемезовъ, даромъ что казался на видъ такимъ маленькимъ и тщедушнымъ.

Черные дни не переставали посѣщать его; но уже въ нихъ начиналъ открываться новый оттѣнокъ; ихъ возбуждали теперь не столько воспоминанія, сколько новое чувство, передъ которымъ безсильно было время. Одиночество давило Чемезова. Дома, на службѣ, на улицѣ,— оно неотступно его преслѣдовало. Занятія, начинавшія въ первое время развлекать его,— совсѣмъ ему опостыли; за что онъ ни брался, все изъ рукъ вываливалось. Привычка, говорятъ, вторая натура. Въ Чемезовѣ она сильнѣе должна была высказаться. Не считая, что тихая домашняя жизнь согласовалась съ его характеромъ, отвѣчала его природнымъ вкусамъ и наклонностямъ,—рѣдкому выпало на долю такъ счастливо ею пользоваться. Она развила въ немъ потребности и привычки,

лишеніе которыхъ тягостно чувствовалось каждую минуту. Онъ точно былъ выброшенъ въ пустыню, на необитаемый глухой островъ, вокругъ котораго жизнь вдругъ умолкла, отошла въ сторону, какъ море отходитъ отъ берега. Иногда онъ радъ былъ очутиться въ департаментѣ, услышать живые голоса, увидѣть людей.

Время отъ времени ему приходило даже на умъ, не послушаться ли въ самомъ дѣлѣ совѣта сослуживцевъ, не благоразумнѣе ли будетъ стараться развлечь себя; но онъ тутъ же отворачивался, пугаясь смѣлости своихъ замысловъ. Единственно, что могъ онъ, — это снова развѣ начать ходить въ театръ, какъ бывало при покойницѣ. Тутъ вспомнилъ онъ о двухъ билетахъ, взятыхъ имъ на итальянскую оперу и лежавшихъ запертыми въ столовомъ ящикѣ. Не весело было, конечно, но что же дѣлать! Надо же было, наконецъ, побѣдить чѣмъ нибудь эту мучительную тоску, не дававшую покоя. Узнавъ изъ афишъ, что даютъ „Фауста“, онъ отправился. Но какъ ни привлекательна была музыка, какъ ни хорошо она на него дѣйствовала, онъ не могъ дослушать конца представленія. Видъ пустаго мѣста рядомъ съ его стуломъ, того самаго мѣста, гдѣ должна была сидѣть Марья Ивановна, пробуждалъ въ немъ слишкомъ тяжелыя воспоминанія. Въ той сценѣ, когда Маргарита является въ саду при лунномъ свѣтѣ, когда чистая ея душа такъ простосердечно отдается въ обманъ коварству и въ то же время раздаются звуки вальса, напоминающіе равнодушную, смѣющуюся и веселящуюся толпу,— Чемезовъ не могъ досидѣть и поспѣшно вышелъ изъ кресель.

Проходя мимо кассы, вспомнилъ онъ, что изъ двухъ билетовъ одинъ былъ лишній; онъ остановился и, передавъ его кассиру, просилъ продать при первой возможности. Свой билетъ онъ у себя оставилъ, подумавъ, что, какъ ни тягостно чувство, испытанное въ театрѣ, оно всетаки легче тоски, приступавшей особенно сильно, когда онъ по вечерамъ оставался одинъ дома.

Пропустивъ два представленія, онъ снова отправился въ оперу.

Подходя къ своему стулу, увидѣлъ онъ, что сосѣднее мѣсто занято; на немъ сидѣла дама. Обстоятельство это въ первую минуту непріятно на него подѣйствовало! Онъ торопливо взялъ бинокль и началъ смотрѣть на сцену. Но любопытство взяло свое; онъ искоса взглянулъ на сосѣдку. Чемезовъ, какъ извѣстно, не былъ знатокъ въ женщинахъ; насколько могъ онъ судить по бѣглому взгляду, — сосѣдка принадлежала скорѣе къ числу привлекательныхъ. Она была очень скромно одѣта: черная атласная шляпка, съ чернымъ перомъ, скромно уложеннымъ по борту; такого же цвѣта и той же матеріи платье обтягивало ея плечи; оно застегивалось вплоть до воротничка, отъ котораго спускалась на плоскую грудь цѣпочка часовъ, запрятанныхъ за пуговицы лифа. Въ антрактѣ представился случай разсмотрѣть ее ближе; и надо сказать, второй этотъ осмотръ сдѣлался самъ собою, безъ всякаго старанія со стороны Чемезова.

Сосѣдка показалась ему не первой молодости, лѣтъ двадцати-двухъ — двадцати-трехъ, — можетъ быть нѣсколько даже старше. На продолговатомъ, нѣсколько заостренномъ лицѣ выступалъ узенькій носъ съ горбочкомъ по серединѣ и подвижными ноздрями: онъ отдѣлялъ два черные глаза, быстрота которыхъ безпокоила должно быть самую владѣлицу, потому что, вопреки стараніямъ опускать ихъ, они слишкомъ часто выказывали неповиновеніе и бѣгали какъ мышенки. Надъ глазами выгибались черныя брови, почти сроставшіяся у переносицы; верхняя губа оттѣнялась пушкомъ, какъ у большей части сильныхъ брюнетокъ. Могло статься, что брови были преувеличенно широки и черны, губы краснѣе, чѣмъ бываетъ обыкновенно, и кожа на лицѣ, тусклой своей бѣлизной, напоминала употребленіе кольдъ-крема и пудры, — но Чемезовъ ничего этого не примѣтилъ. Столько лѣтъ занимаясь, между другими работами, женскимъ вопросомъ, — онъ въ практическомъ смыслѣ былъ менѣе опытенъ въ женскихъ дѣлахъ, чѣмъ теперешній пятнадцатилѣтній гимназистъ; покойница въ этомъ отношеніи ничему его не научила; для поддержки своего миловид-

наго лица она обыкновенно никогда ничего не употребляла кромѣ воды и мыла.

Чемезовъ не могъ не примѣтить, что всѣ движенія сосѣдки отличались необычайной скромностью: въ нихъ присутствовала даже какая-то стыдливость. Обращая случайно глаза на проходящихъ, она мгновенно ихъ потупляла; когда кто нибудь изъ зрителей пробирался къ ней, проходя по ряду стульевъ, — она спѣшила скромно подобрать нижнія складки платья, какъ бы оберегаясь отъ мужскаго прикосновенія.

Выходя изъ театра, Чемезовъ мало о ней думалъ; но когда думалъ, то говорилъ себѣ, что присутствіе такой скромной особы на стулѣ, предназначенномъ для жены, — было всетаки менѣе непріятно, чѣмъ еслибъ занялъ его другой кто нибудь. Онъ, вѣроятно, забылъ бы о ней, но въ слѣдующее представленіе снова встрѣтилъ ее на томъ же мѣстѣ. Скромность сосѣдки остановила его вниманіе точно такъ же, какъ при первой встрѣчѣ. Въ антрактѣ она привстала, желая дать пройти какому-то господину, и зацѣпила кружевомъ рукава за гвоздикъ, случайно высунувшійся изъ обивки стула; господинъ прошелъ мимо, ничего не замѣтивъ. Видя ея долгія и безполезныя старанія высвободить кружево, Чемезовъ рѣшился наконецъ прійти ей на помощь.

Она замѣтила, какъ онъ при этомъ покраснѣлъ, церемонно поблагодарила и, тотчасъ же опустивъ глаза, продолжала сидѣть на своемъ стулѣ.

Въ концѣ втораго дѣйствія она, однако-жъ, побѣдила себя и, неожиданно обратясь къ Чемезову, спросила, не можетъ ли онъ разъяснить ей значеніе тѣхъ послѣднихъ словъ, которыя сейчасъ, въ финальной аріи, произнесъ Мазини; ей, по всему замѣтно, очень было стыдно обращаться къ незнакомому мужчинѣ; но любознательность, повидимому, превозмогала застѣнчивость.

Чемезовъ отвѣчалъ, что, къ сожалѣнію, также незнакомъ съ итальянскимъ языкомъ и довольствуется тѣмъ, что слушаетъ музыку и можетъ ею наслаждаться.

— Для меня музыка также первое удовольствіе!... сказала сосѣдка дѣтски-наивнымъ голосомъ, не отвѣчавшимъ ея быстрому взгляду, тотчасъ же впрочемъ скрывшемуся подъ опущенными рѣсницами.

— Сколько я замѣчаю, вы часто бываете въ оперѣ... проговорилъ Чемезовъ и, самъ не зная отчего, снова вдругъ покраснѣлъ.

— Да, я бываю всякій разъ, какъ только возможно... когда позволяетъ время...

— Вы развѣ спеціально чѣмъ нибудь заняты?...

— Да, отвѣчала она съ замѣтнымъ принужденіемъ и замолкла.

Чемезовъ стѣснялся продолжать разговоръ. Оба, поклонившись церемонно другъ другу, покинули театръ и разошлись въ разныя стороны.

Всякій разъ, какъ приходилъ день абонемента, Чемезовъ увѣренъ былъ, что вечеромъ найдетъ подлѣ себя скромную сосѣдку. Они встрѣчались теперь уже какъ знакомые.

Начавъ, мало-по-малу, обмѣниваться впечатлѣніями о достоинствѣ музыки, объ искусствѣ исполнителей, они попеременно переходили къ другимъ интересамъ, коснулись жизненныхъ вопросовъ и подъ конецъ, всякій разъ, когда занавѣсъ опускалась въ послѣдній разъ, оба выражали сожалѣніе о необходимости прервать интересную бесѣду.

Не смотря на поверхностный обмѣнъ мыслей и скромность сосѣдки, — она не могла скрыть своего ума; Чемезову по крайней мѣрѣ никогда не случалось встрѣчать такой умной собесѣдницы; его удивляло также, какъ, сравнительно съ ея молодостью, успѣла она пріобрѣсти столько знанія, столько практичности во взглядѣ на нѣкоторые жизненные вопросы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, умѣла сохранить такую простоту и скромность. Охотно употребляя въ своихъ книжкахъ слово: *„культурность“*, онъ въ первый разъ объяснялъ себѣ настоящимъ образомъ его значеніе, когда думалъ о собесѣдницѣ. То, что она разсказывала о себѣ самой, окончательно располагало Чемезова въ ея пользу.

Подобно ему, — она была круглою сиротой; было даже сходство въ ихъ происхожденіи; но только ея отецъ былъ нѣмецъ, а мать русская. Оставался у нея дяденька въ Ригѣ, но уже многіе годы не было о немъ никакихъ извѣстій: умеръ должно быть! Три года тому назадъ, вышла она изъ консерваторіи и существовала уроками музыки; если она позволяла себѣ часто бывать въ театрѣ, то это потому, во-первыхъ, что была необыкновенно экономна, а во-вторыхъ, выше всего на свѣтѣ обожала музыку, предпочитала ее всѣмъ другимъ удовольствіямъ, увлекающимъ обыкновенно молодыхъ дѣвушекъ. Узнавъ объ образѣ занятій Чемезова и спросивъ его имя, — она выразила вдругъ необыкновенную радость. Какъ! это было то самое имя, которое встрѣчалось такъ часто на дѣтскихъ книжкахъ, на разныхъ руководствахъ для образованія юношества?... Боже мой, кто же изъ лицъ, сколько нибудь соприкосновенныхъ дѣтямъ, не знакомъ съ этимъ именемъ!!. Она вдвойнѣ благодарила случай, который ихъ познакомилъ. Она давно искала работы въ свободное время; зная порядочно французскій и нѣмецкій языки, ей легко было заняться переводами; она нѣсколько разъ даже приступала; но къ кому обратиться за совѣтомъ? Кому отдать результатъ трудовъ? Положеніе бѣдной дѣвушки въ такихъ случаяхъ, дѣйствительно, достойно всякаго сожалѣнія!

Прислушиваясь къ разсказамъ Аналіи Карловны (такъ звали сосѣдку), Чемезовъ иногда даже какъ будто задумывался; можно было предполагать, мысли его отвлекались посторонними соображеніями; но это не было продолжительно; онъ снова начиналъ прислушиваться съ удвоеннымъ вниманіемъ.

Сочувствуя положенію бѣдной дѣвушки, жившей трудомъ, онъ предложилъ ей свои услуги. Ему ничего не стоило присылать ей работу и онъ спросилъ ея адресъ.

Глаза ея, оживившіеся въ началѣ разговора, тотчасъ же опустились. Послѣ минутнаго молчанія, и очевидно стѣсняясь, она сообщила, что занимаетъ скромную меблированную комнату въ отдаленномъ кварталѣ и тутъ же, неожиданно опять оживившись,

объявила о невозможности допустить Алексѣя Ивановича отправляться въ такую даль, отыскивать ее, подниматься по лѣстницамъ... Нѣтъ, — она ни за что этого не хотѣла! Не ему, нѣтъ, — скорѣй ей, да, ей скорѣе слѣдовало являться къ нему, — человѣку столь извѣстному и такъ сердечно ей сочувствующему!

Два дня спустя, — въ квартирѣ Чемезова раздался звонокъ. Онъ сидѣлъ въ халатѣ и работалъ. При мысли, что звонитъ Амалія Карловна, — кровь бросилась ему въ голову; онъ стремительно выбѣжалъ въ сосѣднюю комнату и суетливо началъ одѣваться. Въ прихожей между тѣмъ явственно слышался знакомый женскій голосъ, освѣдомлявшійся о томъ, дома ли Алексѣй Иваныч. Чемезовъ при этомъ совсѣмъ засуетился и, какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, не находилъ подъ рукою самыхъ необходимыхъ принадлежностей туалета; оправившись, наконецъ, онъ вышелъ въ кабинетъ и сталъ извиняться, что такъ долго заставилъ ждать себя. Онъ переминался и неловкость проглядывала въ каждомъ его словѣ. Она первая ободрилась.

На заостренномъ лицѣ ея показалось даже выраженіе восторга при взглядѣ на кабинетъ „извѣстнаго ученаго“, какъ она выразилась. Въ этомъ восторгѣ проглядывало что-то дѣтское. Чемезовъ нашелъ ее моложе противъ того, какою представлялась она ему въ театрѣ. Розовый бантикъ подъ бѣлымъ воротничкомъ, гладко причесанные волосы вмѣсто падавшихъ на лобъ завитковъ, которыми украшала она себя по вечерамъ, гладко обтянутый корсажъ, — придавали ей наружность институтки. Молодость и простодушіе еще замѣтнѣе выказались на восхищенномъ лицѣ, когда узнала она, что Чемезовъ былъ настолько добръ, что не забылъ ея просьбы и, не смотря на многосложныя ученыя занятія, приготовилъ для нея работу.

Работа заключалась въ переводѣ съ французскаго языка на русскій очерка „*млекопитающихъ*“, которымъ должна была заключиться: „*Сокращенная исторія царства животныхъ*“, приготовляемая Чемезовымъ для втораго гимназическаго курса.

— Благодарю васъ, — отъ всего сердца благодарю!... вос-

торженно проговорила Амалія Карловна, пожимая его руку и пристально устремляя на него глаза, одушевленные признательностью, — но тутъ много спеціальныхъ словъ, прибавила она, — вы позволите мнѣ иногда безпокоить васъ... приходить къ вамъ за совѣтомъ?...

— Помилуйте, — очень радъ!... отозвался Чемезовъ, провожая ее до лѣстницы.

Заперевъ за собою дверь, онъ долго ходилъ взадъ и впередъ по кабинету, наконецъ, позвалъ кухарку, велѣлъ подавать чай и, раздѣвшись, сѣлъ за работу.

Не смотря на многолѣтній опытъ въ занятіяхъ такого рода, не смотря на привычку приводить перо въ повиновеніе воли, — Чемезовъ въ этотъ вечеръ написалъ очень мало. Тоска, оставившая его на время, — стала овладѣвать имъ съ удвоенной силой. Онъ легъ и заснулъ; но на другое утро и весь слѣдующій день не могъ отвязаться отъ ноющаго чувства. Онъ снова ходилъ какъ въ туманѣ. Въ департаментѣ ему трудно было даже составить и написать нѣсколько простыхъ отношеній. Куда уйти? Гдѣ спрятаться отъ тоски?... Волей-неволей надо было возвращаться домой.

Часъ спустя, въ квартирѣ раздался звонокъ. Звукъ этотъ въ первую секунду лихорадочно прошелъ по нервамъ Чемезова; онъ обрадовался, однако-жъ, увидавъ Амалію Карловну. Она очень извинялась. Но бѣда въ томъ: у нея не было лексикона! Въ иныхъ мѣстахъ перевода она рѣшительно не находилась; зная снисходительность Алексѣя Иваныча, разсчитывая на безконечную доброту его сердца, она рѣшилась снова его безпокоить.

Чемезовъ готовъ былъ помочь ей съ величайшей охотой. Они усѣлись къ столу. Въ это время кухарка подала чай. Амалія Карловна вызвалась хозяйничать.

Чемезовъ припомнилъ покойную жену и задумался; но воспоминаніе это только промелькнуло; онъ снова обратился къ Амаліи Карловнѣ, которая, ничего, казалось, не замѣчая, заботливо разспрашивала о его вкусахъ и, граціозно изгибая станъ, привѣт-

ливо улыбаясь, накладывала сахаръ и рѣзала тоненькіе ломтики лимона.

Чай былъ только перерывомъ занятій; они снова приступили къ переводу и просидѣли довольно поздно.

Изобиліе спеціальныхъ терминовъ въ очеркѣ „*О млекопитающихъ*“, съ одной стороны, неимѣніе лексикона у Амаліи Карловны, съ другой,— заставляли ее часто посѣщать квартиру Чемезова.

Оба не стѣснялись теперь другъ передъ другомъ. Онъ успѣлъ совсѣмъ освоиться; она скоро успѣла изучить всѣ его привычки.

— Отчего, скажите, Алексѣй Иванычъ, бываете вы иной разъ такой грустный? спросила она какъ-то совершенно неожиданно,— я часто гляжу на васъ и сама съ собой разсуждаю: что бы такое придумать, чтобъ разсѣять ваши мрачныя мысли...

— Не разъ уже разсказывалъ я вамъ мою исторію, проговорилъ вздыхая Чемезовъ,— мало въ ней радостнаго, какъ сами знаете! подхватилъ онъ глухимъ голосомъ, принимаясь расхаживать по комнатѣ съ опущенною головою,— я скучаю, Амалія Карловна, жестоко скучаю! Иной разъ нападаетъ такая тоска, что, право, умереть бы, кажется, легче!...

— Вы бы женились...

— Э! помилуйте, кто пойдетъ за меня! И состарѣлся я... да и вообще ничего во мнѣ нѣтъ такого...

— А я такъ думаю,— всякая пойдетъ за васъ... да еще какъ: за счастье почтетъ...

При этомъ, голова Чемезова опустилась еще ниже и шаги его замѣтно ускорились. Минуты двѣ прошли въ молчаніи. Лицо его и всѣ движенія изображали сильное внутреннее волненіе. Амалія Карловна сидѣла въ то время на диванѣ; черные ея глаза нетерпѣливо слѣдили за Чемезовымъ. Онъ неожиданно остановился передъ нею и, не смѣя поднять глазъ, произнесъ голосомъ, прерывавшимся на каждомъ словѣ:

— Вы... напримѣръ... пошли бы вы... за меня...

— Съ величайшимъ удовольствіемъ!!... отвѣчала она, быстро вставая и протягивая ему обѣ руки.

На другой день послѣ этого объясненія, многимъ изъ сослуживцевъ Чемезова бросилась въ глаза рѣзкая перемѣна не только въ его лицѣ, но во всей его наружности, — даже въ способѣ ходить и держать себя съ товарищами. Такое превращеніе могло объясняться производствомъ въ слѣдующій чинъ или полученіемъ новаго знака отличія, — но сколько извѣстно, ничего этого не случилось. Фактъ тотъ, что между прежнимъ Алексѣемъ Иванычемъ и теперешнимъ не было ничего общаго. Лицо его смотрѣло оживленно, сдержанно, щепетильная походка смягчалась небывалой развязностью движеній; онъ ходилъ скоро и глядѣлъ прямо передъ собою, точно спѣшилъ къ цѣли, — словомъ, весь казался какимъ-то возбужденнымъ, наэлектризованнымъ.

— Смотри пожалуйста — нашъ таинственный монахъ; — а, каковъ нынче?! нашептывалъ Ефремовъ, подмигивая то тому, то другому. Этакъ, пожалуй, и свѣта-преставленіе скоро будетъ!!...

Зная нелюдимость и несообщительность Чемезова и не желая наскочить на неблагопріятный отвѣтъ, никто однако не рѣшился сунуться къ нему съ разспросами. Каждый наблюдалъ втихомолку небывалую суетливость его движеній, нетерпѣніе, съ какимъ перевертывалъ онъ листы и тутъ же принимался за другое дѣло, поспѣшность, съ какою ухватился онъ за шляпу и почти бѣгомъ пустился въ швейцарскую, какъ только пробило четыре часа.

Въ эти дни Чемезовымъ дѣйствительно овладѣла точно лихорадка.

Съ непрактичностью, которая его отличала, непрактичностью, успѣвшей развиться отъ многолѣтней, почти замкнутой жизни съ Марьей Ивановной, ему приходилось теперь бѣгать съ утра до вечера за разными покупками, хлопотать у священниковъ насчетъ вѣнчальныхъ документовъ, устроивать квартиру. Онъ думалъ нанять новую, но отказался отъ такой мысли, такъ какъ это отняло бы слишкомъ много времени. Главнымъ, настоятельнымъ желаніемъ его было, чтобы все это только кончилось, прошло

какъ можно скорѣе. Усиленная озабоченность предметами совершенно новыми, неожиданными, отымала у него возможность привести въ порядокъ собственныя мысли. Чемозовъ не былъ влюбленъ, — онъ это чувствовалъ; онъ чувствовалъ даже, что между нимъ и Амаліей Карловной не было еще настоящаго, внутренняго, нравственнаго сліянія; кое-что ему даже не совсѣмъ нравилось, — было по крайней мѣрѣ не по сердцу; но онъ отклонялъ такія мысли, старался не думать объ этомъ, старался, напротивъ, убѣждать себя, что съ нею все-таки придетъ конецъ тоски, жизнь вступитъ въ свою колею, наступитъ спокойствіе, образуется наконецъ домашній очагъ, который, если и не будетъ тѣмъ, чѣмъ былъ прежде, — то во всякомъ случаѣ оживитъ, осмыслитъ его существованіе. Онъ хлопоталъ изо всѣхъ силъ, чтобы только скорѣе, скорѣе достигнуть цѣли. Онъ желалъ также этого для Амаліи Карловны. Она со своей стороны не менѣе также суетилась и торопила день свадьбы.

Встрѣтивъ крайнюю необходимость видѣть невѣсту, — Чемезовъ разъ вечеромъ отправился къ ней по адресу. Но дома ея не было. Прислужница объявила, что Амалія Карловна ушла въ театръ. Такое извѣстіе удивило его; наканунѣ она подтверждала, что весь слѣдующій вечеръ займется приготовленіемъ свадебнаго платья и не тронется съ мѣста. Осматриваясь кругомъ, онъ пораженъ былъ самымъ непріятнымъ образомъ неряшливымъ видомъ, въ какомъ содержались меблированныя комнаты. Онѣ раздѣлялись темнымъ, нескончаемымъ корридоромъ, освѣщеннымъ вонючей керосиновой лампой; копоть отъ нея распространялась чернымъ пятномъ по стѣнѣ съ грязными обоями. По серединѣ корридора прогуливался, какъ у себя дома, какой-то небритый усатый господинъ въ туфляхъ и халатѣ. „Невѣжа! И бѣдная Амалія Карловна должна была все это выносить и видѣть!!...“ подумалъ Чемезовъ, спускаясь по лѣстницѣ.

На другой день онъ разсказалъ ей о своемъ неудачномъ посѣщеніи. Она вспыхнула, торопливо заговорила, назвавъ прислужницу безтолковой бабой, постоянно все путавшей. Ей въ

голову не приходило выходить куда нибудь — и тѣмъ менѣе въ театръ; до театра ли теперь? Она отправилась всего на четверть часа съ тѣмъ, чтобы купить иголокъ и бѣлаго шелку, которыхъ недоставало для окончанія платья...

Вопросъ о шаферахъ начиналъ также безпокоить Чемезова. Когда онъ вѣнчался съ Марьей Ивановной, свидѣтелями были: управляющій домомъ, гдѣ нанималъ онъ квартиру, два писаря и еще неизвѣстное какое-то лицо, подставленное услужливымъ дьякономъ; теперь, очевидно, нельзя было такъ; требовалось другое. На Амалію Карловну нельзя было разсчитывать; у нея никого рѣшительно не было, т. е. были знакомые, но она ихъ не желала. Онъ подумалъ о маленькомъ суетливомъ редакторѣ *„Незабудочки“*, — но вспомнилъ, что не видалъ его очень давно, и счелъ неловкимъ обратиться къ нему съ такой просьбой. Оставались сослуживцы. Также не совсѣмъ было ловко: онъ держалъ себя съ ними такъ отдаленно, такъ старательно избѣгалъ всегда тѣснаго сближенія съ ихъ обществомъ. Но они всетаки были ближе; большая часть состояла даже несомнѣнно скорѣе изъ добрыхъ людей. Онъ рѣшился наконецъ прямо обратиться къ Ефремову, какъ ближайшему изъ нихъ, и просить его взять на себя и устроить дѣло.

Войдя въ департаментъ, Чемезовъ крайне удивился, когда Ефремовъ встрѣтилъ его такими словами:

— Вы женитесь, Алексѣй Иванычъ, — отъ души поздравляю!...

— Какъ вы объ этомъ узнали?...

— Соципѣровъ передалъ; ему сказалъ фотографъ Хохловъ; онъ доводится, кажется, двоюроднымъ братомъ вашей невѣстѣ...

— У нея нѣтъ никакихъ двоюродныхъ братьевъ... возразилъ Чемезовъ.

— Такъ говорили. Но впрочемъ все равно, — радъ, душевно радъ! подхватилъ Ефремовъ, узнавъ причину обращенія къ нему Чемезова, — когда такъ, позвольте же, батенька, какъ слѣдуетъ, по христіанскому нашему русскому обычаю, начать съ того, чтобы расцѣловать васъ... Разъ... два... три... Не говорилъ ли я вамъ:

надо развлечься! — Ну и прекрасно!... Все, батенька, устрою вамъ, все! дражайшій Алексѣй Иванычъ! И шаферовъ пригласимъ, и все такое... Сегодня же зайду въ „Малый Ярославецъ", переговорю насчетъ особой комнаты; тамъ есть одна красная: видъ чудный! Впереди Большая Морская, справа арка главнаго штаба,— словомъ: ве-ли-ко-лѣпно!... Закуска, обѣдъ, все будетъ какъ слѣдуетъ; предупредите только заблаговременно насчетъ дня свадьбы; дальше вамъ, дорогой другъ, нечего безпокоиться; такъ, батенька, накормимъ, что всѣ перелопаются!...

— Пожалуйста, нельзя ли только, чтобы все это было какъ можно скромнѣе... замѣтилъ Чемезовъ.

— Вы говорите насчетъ расходовъ?

— Вовсе нѣтъ; насчетъ того, чтобы не было слишкомъ большой компаніи... я не привыкъ къ этому; да вообще это не въ моемъ характерѣ...

— Знаю, знаю... Никого кромѣ своихъ! Будьте только благонадежны, не думайте объ этомъ; у меня такъ: сказано — сдѣлано!...

На этомъ они разстались.

— Послушай, Петръ Никифоровичъ, замѣтилъ столоначальникъ Сельдереевъ послѣ того, какъ Ефремовъ передалъ нѣкоторымъ изъ товарищей разговоръ свой съ Чемезовымъ,— воля твоя, тутъ что-то не такъ... Съ его стороны, по крайней мѣрѣ, согласись самъ, есть чему удивиться...

— Удивиться нечему, возразилъ Соципѣровъ; стоило взглянуть десять дней тому назадъ, когда онъ вошелъ въ департаментъ; мнѣ тогда же бросилось въ глаза и я сказалъ себѣ...

— Думаешь, тутъ что нибудь того... не ладно? перебилъ Ефремовъ, пробарабанивъ по лбу.

— Думаю...

— Ну и думай, Богъ съ тобой! А мы пока честнымъ пиркомъ да и за свадебку, или вѣрнѣе такъ: справимъ сначала свадьбу, а потомъ приступимъ, благословясь, къ честному пирку! заключилъ Ефремовъ, похлопывая ладонями по животу.

## VI.

Насталъ наконецъ торжественный день. Чемезовъ, въ бѣломъ галстукѣ, во фракѣ съ двумя орденами въ петлицѣ, ходилъ скорыми шагами по комнатамъ въ ожиданіи невѣсты. Онъ былъ въ кабинетѣ, когда она неожиданно явилась въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ померанца, въ бѣломъ платьѣ съ длиннымъ шумѣвшимъ шлейфомъ. Запахъ тончайшихъ духовъ мгновенно распространился по всей комнатѣ.

Поздоровавшись съ Алексѣемъ Иванычемъ, она съ первыхъ словъ положила ему ладони на плеча, прищурила черные глаза и произнесла, заманчиво улыбаясь:

— Алексѣй Иванычъ, вы на меня не разсердитесь?... скажите, что нѣтъ...

— Нѣтъ.

— Я пригласила въ церковь и на обѣдъ одного моего знакомаго...

— Вы говорили: не хотите вашихъ знакомыхъ...

— Да; но этотъ очень хорошій... Онъ даже мнѣ нѣсколько съ родни... по маменькѣ...

Амалія Карловна неожиданно поцѣловала жениха въ щеку.

— Представьте: я совсѣмъ объ немъ забыла! подхватила она оживленно, — три года не видались... Иду вчера по Гостиному двору,— вдругъ онъ! я тутъ же ему все разсказала и пригласила...

— Кто же онъ?

— Ахъ, очень хорошій... онъ занимается фотографіей... Хохловъ его фамилія... маменькина фамилія... Но я вижу, вы не веселы, Алексѣй Иванычъ... Я замѣчаю, вы какъ будто чѣмъ-то недовольны?... продолжала она слезливо, хотя губы ея не переставали улыбаться, — подумаютъ, право, вы женитесь противъ воли... по принужденію... Въ эти послѣдніе два дня я просто не узнаю васъ; никогда не видала васъ такимъ мрачнымъ, разстроеннымъ... Что съ вами?... Да улыбнитесь же!...

Чемезовъ сдѣлалъ усиліе, чтобы улыбнуться, но вмѣсто улыбки вышла кислая фигура.

Амалія Карловна отвернулась, хотѣла удержаться, но не могла и засмѣялась.

Алексѣй Иванычъ ничего не сказалъ, но по лицу его замѣтно пробѣжала тѣнь неудовольствія. Смѣхъ этотъ не столько обижалъ его самого, сколько казался ему неумѣстнымъ въ тѣ минуты, когда надо было думать ѣхать къ вѣнцу.

Замѣчаніе Амаліи Карловны было, тѣмъ не менѣе, совершенно справедливо: въ послѣдніе дни Чемезовъ казался дѣйствительно задумчивѣе, мрачнѣе обыкновеннаго. Ему самому трудно было опредѣлить настоящее состояніе своихъ чувствъ. Надежда на счастье и сомнѣнія, смертельная тоска и радость отъ нея освободиться смѣнялись поперемѣнно. — „Не увлекся ли я? повторялъ онъ себѣ время отъ времени; найду ли то, чего ожидаю?... Ея ревность къ труду очевидно не больше, какъ вспышка. Не по характеру... Можетъ быть молодость также мѣшаетъ... Но та... та была еще моложе и было всетаки счастіе!... Возвращу ли себѣ привязанность, безъ которой жить такъ тягостно... И, наконецъ, есть ли въ ней настоящее чувство?... Связываетъ, однако-жъ, свою судьбу съ моею,— недаромъ стало быть!... И всетаки спрашиваю себя: не поторопился ли я?...“

Мысли эти, начинавшія тревожить его, никогда не приходили одиноко; онѣ неизбѣжно всегда связывались съ воспоминаніями о покойницѣ. Не то сожалѣніе, не то раскаяніе овладѣвали имъ въ такія минуты. Но все опять уступало мѣсто внутренней борьбѣ между сомнѣніями и надеждой на счастіе, смертельной тоской и радостью отъ нея избавиться.

Смѣхъ едва успѣлъ умолкнуть на губахъ Амаліи Карловны, когда въ передней раздался звонокъ. Лакей, присланный Ефремовымъ, побѣжалъ отворять; минуту спустя онъ подалъ Чемезову записку.

Амалія Карловна поспѣшно встала съ дивана.

— Не мнѣ ли? спросила она.

— Нѣтъ, отвѣтилъ онъ, срывая конвертъ.

Въ запискѣ четкимъ почеркомъ было обозначено: „Остерегайтесь. Васъ обманываютъ“. И только.

— Это ложь! Клевета! Гнусная клевета! вскричала Амалія Карловна, бѣгло взглянувъ на записку.

Лицо ея неожиданно измѣнилось; губы ея и брови искривились; носъ побѣлѣлъ и заострился; глаза сверкнули такимъ блескомъ, что Чемезовъ невольно попятился.

— Это враги мои! подхватила она, придавая также неожиданно слезливое выраженіе лицу и голосу,—чего хотятъ они отъ меня?... Что я имъ сдѣлала? Я даже знаю, кто тотъ негодяй, который послалъ это анонимное письмо... Сейчасъ же все объясню вамъ...

Но объясненію не суждено было осуществиться. Въ прихожей раздался новый звонокъ, и одинъ за другимъ вошли расшаркиваясь Ефремовъ, Соципѣровъ и еще два чиновника: надворный совѣтникъ Бабковъ и губернскій секретарь Сельдереевъ.

— Я кое-кого еще пригласилъ, суетливо заговорилъ Ефремовъ, едва переводя духъ отъ одышки, — но они будутъ ждать въ церкви; оттуда уже всѣ вмѣстѣ,—огуломъ, такъ сказать,— отправимся въ „Малый Ярославецъ“. Тамъ все готово!.. Позвольте, сударыня, имѣть честь представиться...

Тутъ онъ остановился передъ Амаліей Карловной, успѣвшей совершенно оправиться, развелъ руками, какъ актеръ, вызванный на сцену, отвѣсилъ низкій поклонъ и началъ поочередно представлять сослуживцевъ, которымъ Чемезовъ успѣлъ уже разсѣянно пожать руки.

Роль распорядителя очевидно увлекала Ефремова; озабоченное выраженіе на его кругломъ лицѣ приводило на память церемоніймейстера, представляющаго пословъ; его толстая, осанистая фигура могла бы дополнить впечатлѣніе, еслибъ окончательное сходство не нарушалось, къ сожалѣнію, небрежностью туалетной обстановки; бѣлый галстухъ былъ далеко не первой свѣжести, на обшлагахъ затрепаннаго фрака виднѣлись слѣды пятенъ отъ

разныхъ соусовъ, старыя панталоны, приподнятыя разросшимся животомъ, открывали выше щиколки плохо вичищенные сапоги, прическа была „au naturel“ — изъ сѣрыхъ сухихъ и взъерошенныхъ завитковъ, разлетавшихся во всѣ стороны. Въ этомъ видѣ онъ представлялъ совершенную противоположность съ надворнымъ совѣтникомъ Бабковымъ, — кругленькимъ и гладенькимъ, какъ огурчикъ, человѣкомъ, съ крестомъ на шеѣ, вылощенной накладкой на черепѣ, гладкомъ какъ чайникъ, крашеными бакенбардами и съ головы до ногъ опрысканнымъ о-де-колонью. Сельдереевъ не былъ такъ надушенъ и не имѣлъ креста на шеѣ,—но бралъ ростомъ и молодостью; ростъ впрочемъ придавалъ ему чахоточный видъ, а молодость выражалась менѣе чертами лица, чѣмъ узенькими лаковыми ботинками, которыя такъ стѣсняли ноги, что, казалось, выжимали слезы изъ глазъ владѣльца, прикрытыхъ золотыми очками. Съеженная, завистливая наружность Соципе́рова уже извѣстна; прибавить можно только, что онъ не грызъ ногтей потому, что мѣшали перчатки.

Каждый разъ, какъ Ефремовъ подводилъ Амаліи Карловнѣ котораго нибудь изъ шаферовъ,—она окидывала его пытливымъ взглядомъ, застѣнчиво потомъ опускала рѣсницы и церемонно кланялась.

— Пора однако-жъ, господа; все готово: шафера на лицо, священникъ у амвона, кареты у подъѣзда! заговорилъ Ефремовъ, пробуя надѣть перчатку, которая никакъ не влѣзала, — полноте же вамъ смущаться, дражайшій Алексѣй Ивановичъ! чувства ваши я понимаю... вполнѣ! но теперь не до философскихъ размышленій, — надо дѣйствовать!...

Онъ припалъ правымъ плечомъ и согнулъ калачикомъ руку, чтобы подать ее невѣстѣ, но опомнился и поспѣшилъ выставить впередъ Бабкова, который повелъ Амалію Карловну къ выходной двери. Ефремовъ, желая вѣроятно ободрить Чемезова, подхватилъ его за талію, но тотъ осторожно отвелъ его руку, взялъ шляпу и въ сопровожденіи остальныхъ лицъ вышелъ изъ кабинета. Но Ефремовъ слишкомъ занятъ былъ своей ролью, чтобы

останавливаться передъ такими мелочами. Онъ торопливо протискался впередъ, ворвался въ прихожую и, увидавъ невѣсту въ шубѣ, настоятельно сталъ требовать, чтобы она прикрыла голову оренбургскимъ платкомъ и надѣла мѣховые сапожки.

— Не выпущу безъ этого, говорилъ онъ, обматывая себѣ шею шерстянымъ шарфомъ, сильно подточеннымъ молью,—ни за что не выпущу; помилосердуйте: двадцать градусовъ и вѣтеръ въ придачу; такъ прямо изъ Шлиссельбурга и поджариваетъ!... брр!...

Морозило дѣйствительно сильно; но небо было покрыто и обѣщало къ вечеру оттепель.

Въ церкви Чемезова непріятно поразило скопище любопытныхъ. Ефремовъ увѣрялъ, никого не будетъ кромѣ шаферовъ и двухъ-трехъ близкихъ знакомыхъ; вмѣсто того встрѣтилось множество сослуживцевъ и еще больше совершенно незнакомыхъ лицъ. Изъ числа послѣднихъ Ефремовъ представилъ жениху пріятеля своего Фукса, молодаго человѣка, рябаго какъ кукушка, съ рыжими волосами, и тутъ же мимоходомъ подвелъ другаго пріятеля, Фанфарова, рослаго, кудряваго господина съ черными бакенбардами въ видѣ котлетокъ. Амалія Карловна, со своей стороны, робко подвела фотографа Хохлова,—писанаго красавца съ подточенными усиками, спаньолкой, прической à la „чортъ меня побери“ и пестрымъ галстучнымъ бантомъ такого же эффектнаго характера.

Чемезовъ ограничился поклонами. Ему было не до любезностей. Видя себя предметомъ всеобщаго любопытства, онъ въ первыя минуты совсѣмъ растерялся.

Къ счастью, обрядъ вѣнчанія произошелъ очень скоро.

Начались поздравленія. Чемезовъ былъ такъ взволнованъ, что не находилъ словъ въ отвѣтъ на привѣтствія. Въ то время, какъ Амалія Карловна пожимала всѣмъ руки, казалась такою веселой и всѣмъ улыбалась,—онъ готовъ былъ убѣжать и скрыться куда нибудь подальше. Передъ нимъ, какъ точка свѣта въ темнотѣ, ясно мелькала одна мысль: „Скорѣе бы все это только кон-

чилось... скорѣе бы освободиться!...“ Но дѣлать было нечего, надо было овладѣть собою; предстоялъ еще обѣдъ въ Маломъ Ярославцѣ!

Тутъ, надо сказать, Ефремовъ въ самомъ дѣлѣ отличился. Комната оказалась та самая, которую онъ такъ краснорѣчиво расхваливалъ. Столъ былъ сервированъ на славу. Свѣтъ двухъ большихъ канделябръ и средней люстры ослѣпительно игралъ на граняхъ стекла, разливался по серебру, бутылкамъ и салфеткамъ, сложеннымъ калачемъ на тарелкахъ. Съ боку у стѣны находился другой столъ, покрытый всевозможными водками и закусками. Подлѣ открывалась дверь въ комнату, также освѣщенную.

Ефремовъ стоялъ у входной двери и съ торжествующимъ видомъ вводилъ гостей.

Убѣдившись, что всѣ на лицо, онъ сдѣлалъ самодовольный, выразительный жестъ по направленію къ большому столу и произнесъ: „Ну, что, дражайшій Алексѣй Иванычъ, какова механика!..“ и тотчасъ же приступилъ къ распредѣленію молодыхъ и гостей:

— На почетномъ мѣстѣ, здѣсь, садится Амалія Карловна, лицомъ къ ней — молодой! подлѣ молодой, съ правой руки — ея шаферъ Бабковъ; съ лѣвой — Сельдереевъ; подлѣ молодаго, справа — Соципѣровъ, слѣва — я!... Пожалуйте!... заключилъ онъ, подавая руку Амаліи Карловнѣ и подводя ее къ закускѣ; онъ тутъ же, однако-жъ, ловко уступилъ свою даму фотографу Хохлову и приступилъ къ водкѣ.

Столъ былъ тотчасъ же окруженъ.

Чемезовъ напрямикъ отказался отъ закуски; у него началась жестокая головная боль.

— Что-жъ ты, Сельдереевъ? такой тоненькой, а пролѣзть не можешь! кричалъ Ефремовъ, набивая ротъ, — Фанфаровъ, рекомендую; селедки — просто сахаръ, икра — медъ, фаршированные раки — конфекты, осетрина — мое почтенье!!.. Такой осетрины, замѣть себѣ, Бабковъ, ты нигдѣ не найдешь, поѣзжай хоть въ самую Астрахань!

— Вамъ свѣжей икры, Амалія Карловна? внимательно освѣдомился Хохловъ.

— Да, но я больше люблю эту сухую икру... не знаю только, какъ ее назвать...

— Паюсная, сударыня!... Паюсная!!... воскликнулъ Ефремовъ съ выраженіемъ упрека въ голосѣ.

Но супъ былъ поданъ и всѣ поспѣшили къ своимъ мѣстамъ.

Обѣдъ обѣщалъ большое веселье. Ефремовъ, глотая пирожки какъ пилюли и заливая ихъ раковымъ супомъ, немедленно приступилъ къ своимъ шуточкамъ; Фанфàровъ и рыженькій Фуксъ усердно его поддерживали. Амалія Карловна не переставала смѣяться, прислушиваясь къ шептанью Хохлова и Сельдереева, которые въ перегонку сообщали ей, вѣроятно, очень забавныя вещи. Бабковъ и Сципѐровъ пока мало говорили, но, все равно, сердце радовалось при видѣ, какъ они ѣли. Здѣсь, очевидно, не было мѣста для унынія,— и съ этой стороны Чемезовъ могъ считаться лишнимъ. Онъ самъ, повидимому, хорошо это чувствовалъ. Къ счастью еще, мало къ нему обращались. Зная его угрюмую несообщительность, сослуживцы оставляли его „разводить меланхолію“, какъ выразился Ефремовъ. Сципѐровъ, никогда особенно не сочувствовавшій Чемезову и взявшій на себя роль шафера только по настоятельной просьбѣ Ефремова, едва перекинулся съ нимъ двумя-тремя словами. Остальные, кромѣ Амаліи Карловны,— еще меньше о немъ заботились; вниманіе ея больше, впрочемъ, ограничивалось взглядами. Встрѣчая всякій разъ его нахмуренное, мрачное лицо, глаза ея теряли свою пріятность и брови соединялись у переносицы, но это продолжалось нѣсколько секундъ. Увлекаемая любезностью сосѣдей, она снова смѣялась и кокетливо прищуривала глазки. Вообще, надо сказать, она менѣе напоминала теперь институтку, но скорѣе даму бойкаго свойства. Каждый разъ какъ кто нибудь говорилъ съ нею, она возражала съ увѣренностью, рѣсницы ея не опускались, глаза смѣло смотрѣли впередъ или заманчиво прищуривались въ отвѣтъ на любезности.

Обѣдъ между тѣмъ шелъ своимъ чередомъ. Блюда и вина смѣнялись, разговоры оживлялись, веселье возрастало. У Фанфàрова, послѣ второй рюмки хереса, открылся безподобный басъ и онъ гремѣлъ неумолкаемо; ему вторилъ пискливый дискантъ рыженькаго Фукса, вступавшаго въ споръ съ Хохловымъ. Ефремовъ успѣлъ уже разсказать свой знаменитый анекдотъ о чиновникѣ съ разслабленнымъ желудкомъ, который вдругъ испугался козла, и спохватился прервать его, когда уже было поздно. Фуксъ и Хохловъ все больше и больше горячились. Фанфàровъ, очевидно начинавшій придираться къ Бабкову, непочтительно заговорилъ вдругъ о чиновникахъ, назвавъ ихъ „канцелярскими крысами“. Бабкову, конечно, не въ первый разъ приходилось слышать такое выраженіе, но тутъ онъ почему-то вдругъ обидѣлся. По всей вѣроятности онъ обидѣлся бы еще больше, еслибъ могъ замѣтить, что всякій разъ, какъ наклонялъ раскраснѣвшееся лицо, Амалія Карловна, сидѣвшая рядомъ, указывала Хохлову глазами на его паричокъ, расходившійся звѣздой на макушкѣ; но Фанфàровъ неожиданно какъ-то перешелъ къ ресторану Доминика и началъ его расхваливать, — чѣмъ, съ другой стороны, задѣлъ за живое Ефремова.

— Дудки! вскричалъ Ефремовъ, чепуха!... Чѣмъ вздоръ говорить, лучше лей! лей, да сосѣдямъ подливай!... Сципѣровъ, налей еще себѣ дрей-мадерки и передавай дальше... Дорогая наша красавица молодая, вы совсѣмъ околдовали вашихъ сосѣдей; они только любуются на ваши глазки и ничего въ ротъ не берутъ!... Хохловъ, Фуксъ, — вы опять заспорили!... А, наконецъ-то, вотъ она, вотъ наша голубушка! восторженно провозгласилъ онъ при видѣ блюда съ индѣйкой, которое вносилъ половой, — давай его сюда, Ефимушка, сюда ставь, передо мной, я самъ ее разрѣжу... Хотѣлъ заказать парочку фазановъ, но ихъ не нашлось, шепнулъ онъ мимоходомъ подъ ухо Чемезову, который даже не поблагодарилъ его за такое намѣреніе, — ну-тка, Фанфàровъ, закричалъ онъ, поди-ка къ своему Доминику, посмотри, съумѣетъ-ли онъ такъ зажарить!... Нѣтъ: — тю-тю, молода еще, въ Саксоніи не

была! Кожица-то сама отстаетъ... даже, смотри, пузырики по ней бѣгаютъ... Господа, кому что угодно: съ одного бока яблоки,— съ другаго каштаны...

На минуту всѣ занялись индѣйкой.

Но подали еще вина, наконецъ полилось шампанское и въ поднявшемся шумѣ раздались голоса Ефремова и Фанфа̀рова, провозглашавшіе тосты.

— За здоровье молодыхъ! кричалъ Ефремовъ, выкатывая глаза и подымаясь со стула.

— За здровье молодыхъ! ревѣлъ Фанфа̀ровъ, потрясая бокаломъ.

— За здоровье молодыхъ! кричали не менѣе усердно остальные, подходя поочередно къ Амаліи Карловнѣ и Чемезову, который, какъ волкъ, окруженный собаками, бросалъ во всѣ стороны растерянные взгляды.

Соципе́ровъ воспользовался минутой, когда поздравленія были въ полномъ разгарѣ, мигнулъ Ефремову и отвелъ его къ окну.

— Помнишь, что я говорилъ насчетъ... шепнулъ онъ, указывая глазами на Чемезова.

— Ну...

— Теперь я въ этомъ не сомнѣваюсь...

— Въ чемъ?...

Соципе́ровъ приложилъ палецъ ко лбу и хотѣлъ продолжать, но Ефремовъ не дослушалъ; въ эту минуту подавали дутый малиновый пирогъ, прозванный почему-то Ефремовымъ „пустой надеждой“, — и онъ снова поспѣшилъ къ столу.

Фанфа̀ровъ, у котораго одна бакенбарда скосилась на сторону, приставалъ между тѣмъ теперь къ молодому; онъ убѣждалъ Чемезова покинуть мрачный видъ, увѣряя, что веселость, съ его стороны, — въ нѣкоторомъ родѣ теперь даже обязательна.

— Справедливо! заголосилъ Ефремовъ. Вы, дражайшій Алексѣй Иванычъ, должны теперь сіять, блаженствовать! И вмѣсто того, что же мы видимъ? Видимъ печальное, разстроенное лицо!... На всѣхъ сошлюсь: похожъ ли, господа, нашъ дорогой Алексѣй Ива-

ничъ на молодаго?... Глядя на нее, сердце: тукъ-тукъ — такъ и подпрыгиваетъ... Вы, между тѣмъ, хоть бы улыбнулись, словцомъ подарили... Но погодите, почтеннѣйшій, это вамъ даромъ не пройдетъ! Амалія Карловна расторгошитъ васъ... Самъ начну теперь къ вамъ навѣдываться, самъ наблюдать стану... всѣ мы наблюдать будемъ... Не такъ ли, господа? Фу Боже мой! да оживитесь же, оживитесь!... заключилъ онъ, похлопывая Чемезова ладонью по спинѣ.

Чемезовъ отодвинулъ стулъ и поднялся съ мѣста. Ефремовъ объявилъ, что обѣдъ конченъ, всталъ вмѣстѣ съ Чемезовымъ и велѣлъ подавать кофе и ликеры.

Амалія Карловна поспѣшно подошла къ мужу.

— Что съ вами?... спросила она, стараясь вызвать на лицѣ выраженіе участія и безпокойства.

Но усилія ея были совершенно лишнія. Уже въ послѣдніе дни сомнѣнія начинали въ немъ устанавливаться. То, что произошло утромъ: неожиданное родство съ Хохловымъ, путаница ея объясненій, анонимное предостереженіе, какіе-то враги, о которыхъ прежде помину не было, раскрыли ему глаза. Но въ это утро его чувства и мысли были слишкомъ взволнованы; онъ ходилъ какъ въ туманѣ, терялся, готовъ былъ, казалось, рѣшиться на смѣлый шагъ, — но тутъ же откладывалъ такое намѣреніе, падалъ духомъ и въ послѣднюю минуту отступилъ въ страхѣ передъ неминуемыми трагическими сценами и скандаломъ. Теперь онъ вполнѣ очнулся, понялъ, куда завлекла его тоска и безумное желаніе отъ нея освободиться, понялъ вполнѣ глубину своего несчастья. Горечь обманутыхъ чувствъ и надеждъ смѣнилась въ его сердцѣ негодованіемъ. Онъ не могъ выносить теперь вида этой женщины. Какъ только она подошла, онъ отвелъ глаза въ сторону и, не отвѣтивъ на ея вопросъ, скорѣе отошелъ къ окну.

Амалія Карловна хотѣла объясниться, — но въ это время загородили ей путь Фуксъ, Хохловъ и Сельдереевъ, — одинъ съ чашкою кофе, другой съ коробкой конфектъ, третій съ перчатками, которыя она забыла на столѣ.

Амалія Карловна, не мѣшаетъ замѣтить, въ продолженіе обѣда стыдилась за своего мужа; онъ могъ молчать и быть разстроеннымъ сколько угодно, но не теперь, когда то и другое ставило ее въ такое неловкое положеніе передъ чужими. Съ ея стороны сдѣлана была, кажется, достаточная уступка тѣмъ, что она подошла къ нему, хотѣла дальше за нимъ послѣдовать, вопреки его грубому обращенію; — но дальше, послѣ того, какъ онъ отвернулся и отошелъ къ окну, что же оставалось ей дѣлать? Оставалось показать видъ, что она нисколько не обижается его дикими выходками. „Это послужитъ ему урокомъ“, подумала она, принимая снова веселый видъ.

— Сюда, красавица, сюда, на диванчикъ, милости просимъ! Тутъ, драгоцѣнная, вамъ будетъ удобнѣе, кричалъ между тѣмъ Ефремовъ изъ ближайшаго угла.

Амалія Карловна приняла чашку изъ рукъ Фукса и, улыбаясь направо и налѣво своимъ кавалерамъ, направилась къ дивану.

— Сюда, золотая... сюда... подхватилъ съ увлеченіемъ Ефремовъ, между тѣмъ какъ Фуксъ услужливо подкладывалъ подушку, Хохловъ высматривалъ для себя удобное мѣсто, Фанфа̀ровъ раскрывалъ фортепіано, Бабко̀въ дѣлалъ усилія, чтобы встать изъза стола, и глупо улыбался, а Сопине́ровъ смотрѣлъ задумчиво на остатокъ пирожнаго. Чемезовъ воспользовался этой минутой и незамѣтно прошелъ въ сосѣднюю комнату.

— Вотъ такъ, золотая, — я говорилъ, здѣсь будетъ удобнѣе, хлопоталъ Ефремовъ, окончательно разнѣживаясь, — и ножки ваши сахарныя вытянуть можете... а гдѣ же Розенкранцъ? (такъ звалъ онъ въ минуты увлеченья Прохора, другаго полового) — знаю, должно быть также гдѣ нибудь на свадьбѣ...

Амалія Карловна расположилась на диванѣ, принявъ граціозную позу, Хохловъ улегся Гамлетомъ у ея ногъ, Фуксъ усѣлся въ головахъ, Бабковъ и Сопине́ровъ, — одинъ сантиментально, но другой настоятельно, потребовали себѣ мѣста подлѣ молодой. Ефремовъ собирался къ нимъ присоединиться, но въ эту самую

минуту Фанфàровъ брякнулъ по клавишамъ и заигралъ „камаринскую“.

— Не могу, драгоцѣнная Амалія Карловна, — это выше силъ моихъ!... Играй громче! воскликнулъ Ефремовъ, бросаясь раздвигать стулья между столомъ и входной дверью...

Онъ закинулъ назадъ голову, подобралъ фалды и, колыхаясь какъ бочка, пущенная на воду, принялся выплясывать „русскую“, мелко семеня ногами и приговаривая:

— Вотъ какъ мы съ нашей сѣдинкой!... Вотъ какъ!... Смотрите, Алексѣй Иванычъ, какъ надо веселиться! Произведутъ въ дѣйствительные, — нельзя будетъ... не по чину!... Громче, Фанфàровъ!!... Надо же, наконецъ, развеселить молодаго!.. Это просто ни на что не похоже!! вотъ какъ мы, Алексѣй Иванычъ!... Но гдѣ же онъ?... проговорилъ Ефремовъ, оглядываясь вокругъ и неожиданно останавливаясь.

— Гдѣ же въ самомъ дѣлѣ Алексѣй Иванычъ?... освѣдомилась Амалія Карловна, отталкивая Фукса, который начиналъ цѣловать ей руки, не замѣчая раздраженныхъ взглядовъ Хохлова.

— Гдѣ онъ?... спросили остальные.

— Эй, люди!... Ефимъ! Кто тамъ?... засуетился Ефремовъ, подходя къ двери.

Вошедшій половой объяснилъ, что господинъ, о которомъ спрашиваютъ, изволили уйти.

При этомъ извѣстіи всѣ встали со своихъ мѣстъ.

— Ушли, подтверждалъ половой; вскорѣ какъ изъ-за стола встали, уйти изволили; вышли вѣроятно въ эту комнату, оттуда въ корридоръ, спросили шубу и ушли...

— Вотъ такъ штука! проговорилъ Ефремовъ, обводя присутствующихъ недоумѣвающими глазами, — что-жъ это значитъ?... Какъ объяснить?... Все могло случиться, но этого... этого, признаюсь...

— Боже мой!... Боже мой!!... воскликнула Амалія Карловна, закрывая лицо руками и снова опускаясь на диванъ.

Всѣ бросились къ ней и начали ее успокоивать.

Одинъ Ефремовъ не трогался съ мѣста; выпучивъ глаза, онъ стоялъ какъ громомъ пораженный.

---

## VII.

Чемезовъ, между тѣмъ, направлялся скорыми шагами по Большой Морской.

Сумрачное небо, обѣщавшее утромъ оттепель, отчасти только оправдало ожиданія. Морозъ дѣйствительно убавился, но холодное утро смѣнилось туманнымъ вечеромъ; къ ночи туманъ такъ сгустился, что фонари просвѣчивали какъ сквозь сѣрую, мокрую тафту. Усиленный шумъ каретъ, движеніе на улицахъ — показывали, что представленіе въ театрахъ только что кончилось. Въ ресторанѣ Бореля окна бель-этажа горѣли огнями; насколько позволялъ туманъ, можно было различать зажженныя люстры; тамъ, вѣроятно, не успѣли кончить большаго обѣда или приготовлялись къ заказному ужину. Толпа зѣвакъ тѣснилась на тротуарѣ. Въ другихъ мѣстахъ тротуаръ былъ почти свободенъ. Торопливо проходили пѣшеходы съ поднятымъ воротникомъ, опущеннымъ подлѣ рта изморозью. Проходили иногда женщины, замедлявшія шагъ передъ фонарями: мелькала эксцентрическая шляпка, изъ-подъ которой смотрѣло набѣленное лицо и выглядывали два бойкіе глаза.

Чѣмъ дальше оставалась за спиною Большая Морская, — тѣмъ замѣтнѣе умолкалъ шумъ и рѣже встрѣчались пѣшеходы.

Улицы, наполненныя туманомъ, уходили въ непроглядную ночь и кромѣ тусклыхъ фонарей рѣдко гдѣ встрѣчались освѣщенныя окна.

Чемезовъ продолжалъ идти, не замѣчая, что многіе, при встрѣчѣ съ нимъ, сторонились, иногда останавливались и смотрѣли

ему вслѣдъ. Каждый, болѣе или менѣе, выводилъ заключеніе, что встрѣтилъ пьянаго или скорѣе несчастнаго игрока, готоваго броситься въ ближайшую прорубь; во всякомъ случаѣ, никто не думалъ видѣть въ немъ господина, спокойно возвращающагося съ вечеринки въ бѣломъ жилетѣ и галстухѣ.

Онъ шелъ съ распахнутой шубой, низко опущенной головой, открывавшей сзади голую шею, и руки его дрожали. Но дрожь происходила менѣе отъ мороза, чѣмъ отъ внутренняго лихорадочнаго озноба, который прошелъ въ него еще на лѣстницѣ „Малаго Ярославца“. При всемъ томъ, онъ казался менѣе взволнованнымъ, чѣмъ видѣли его въ концѣ обѣда. Судорожныя подергиванія въ лицѣ прекратились; глаза не бросали растерянныхъ взглядовъ; они, напротивъ, скорѣе пристально куда-то всматривались. Чемезовымъ точно постепенно овладѣвала преимущественно одна мысль, отклонявшая всѣ остальныя. Сосредоточиваясь на ней болѣе и болѣе, онъ почти безсознательно повернулъ на Екатерининскій каналъ и остановился передъ воротами дома, гдѣ нанималъ квартиру во второмъ этажѣ, окнами прямо противъ фонаря.

Заспанный дворникъ, тяжело переваливаясь въ лохматой шубѣ и валенкахъ, отворилъ ему калитку. Чемезовъ шагнулъ черезъ порогъ подъ ворота. Темнота была страшная. Огни на дворѣ были погашены; жильцы, — по большей части люди мирные, — давно спали. Чемезовъ машинально вынулъ изъ кармана шубы ключъ отъ квартиры и съ тѣмъ же напряженнымъ, неподвижнымъ взглядомъ, устремленнымъ въ темноту, началъ подыматься по лѣстницѣ.

Достигнувъ втораго поворота, онъ неожиданно остановился и быстро откинулся назадъ; ему, очевидно, хотѣлось ухватиться за что нибудь руками; но пальцы судорожно ощупывали позади спины иней, покрывавшій гладкую стѣну. Шуба его скосилась съ плеча, шляпа чуть не упала къ ногамъ. Но онъ неподвижно стоялъ на прежнемъ мѣстѣ; у него не хватало силы оторвать глаза отъ бѣловатаго туманнаго пятна, которое какъ бы вдругъ выступило изъ мрака лѣстницы... Съ каждой секундой пятно это увеличивалось

и свѣтлѣло... Туманъ слегка вытягивался и начиналъ тихо колебаться, отдѣляя отъ себя словно складки бѣлаго платья... Нѣсколько выше стало выясняться лицо... Оно пока едва примѣтно складывалось, заслоняясь проходившими мимо тонкими волнами тумана... Но волны эти отходили, точно сдуваемыя вѣтеркомъ, и лицо каждый разъ дѣлалось яснѣе... Въ немъ, — почудилось Чемезову, — обрисовались знакомыя, когда-то нѣжно-любимыя черты...

Въ одинъ мигъ все исчезло; мракъ и тишина снова окутали лѣстницу.

Чемезовъ не помнилъ, какъ отворилъ дверь квартиры, какъ вошелъ въ нее; не отдавая себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ,— онъ заперъ дверь и заложилъ ее на желѣзный крюкъ. При первомъ шагѣ, — онъ замеръ на мѣстѣ.

Бѣлое туманное пятно снова показалось... Не успѣлъ онъ опомниться, какъ оно разрослось, заколебалось и въ немъ, сначала смутно, потомъ все яснѣе и яснѣе проступили тѣ же знакомыя черты... Ближе... ближе... Чемезовъ почувствовалъ на лицѣ своемъ чье-то дыханіе... мимо слуха прошелъ шелестъ... точно далеко кто-то проходилъ легкими стопами по сухимъ листьямъ...

Холодъ пробѣжалъ по его волосамъ; онъ хотѣлъ крикнуть, но дыханіе остановилось въ его груди. Онъ бросился въ уголъ, плотно прижался лицомъ къ стѣнѣ и закрылъ глаза; но сквозь сомкнутыя вѣки знакомыя черты просвѣчивали еще явственнѣе; онъ видѣлъ ихъ выраженіе, видѣлъ кроткій взглядъ, чувствовалъ, какъ онъ проникалъ ему прямо въ душу...

Объятый ужасомъ, Чемезовъ бросился въ сосѣднюю комнату.

Она была свѣтлѣе другихъ; въ нижней части опущенныхъ оконныхъ занавѣсъ проходилъ огонь отъ уличнаго фонаря. Въ полумракѣ блистало зеркало, опутанное вокругъ лентами, отдѣлялся столъ съ туалетными принадлежностями, обрисовывались нижняя часть висѣвшихъ женскихъ капотовъ и женскія новыя туфли; ближе къ свѣту бѣлѣла большая кровать съ высокимъ кисейнымъ пологомъ, верхняя часть котораго пропадала подъ потол-

комъ. Чемезовъ отвернулся, — но въ ту же секунду изъ противоположнаго угла отдѣлилось туманное пятно... и въ немъ снова показался образъ покойницы... Теперь онъ былъ совершенно уже ясенъ; вокругъ распространялся голубоватый фосфорическій свѣтъ, сообщавшійся ближайшимъ предметамъ... Она смотрѣла теперь сверху, — склонивъ къ нему голову; но на этотъ разъ, почудилось ему, — въ неподвижныхъ ея глазахъ было уже другое выраженіе... Она смотрѣла на него какъ бы съ укоромъ и глубокой печалью... И взглядъ этотъ какъ холодное лезвіе прошелъ въ его сердце...

Онъ отчаянно схватилъ себя за голову, бросился къ двери, но никакъ не могъ найти ручки. Онъ бѣшено началъ тогда метаться по комнатѣ, опрокидывая стулья, хватая въ забытьи предметы, попадавшіеся подъ руки, сорвалъ пологъ надъ кроватью, сорвалъ капоты, началъ топтать ихъ ногами, наконецъ, остановился, крикнулъ: „Прости меня! Прости!!...“ и, зарыдавъ, упалъ лицомъ на полъ.

Нѣсколько времени спустя, на лѣстницѣ, которая вела въ квартиру Чемезова, послышались голоса и шаги, торопливо стучавшіе по ступенькамъ. Посреди шума явственно раздавался хриплый голосъ дворника, увѣрявшаго, что баринъ давно вернулся домой и нельзя же не знать ему этого, когда онъ самъ отворялъ ему калитку. Дворникъ зналъ также, что баринъ, передъ тѣмъ какъ ѣхать къ вѣнцу, отпустилъ кухарку, сказавъ ей, вѣроятно, что вернется поздно домой, и кухарка до сихъ поръ не возвращалась; кухарки не было дома, — это точно, — но баринъ, — баринъ давно возвратился.

Амалія Карловна, бѣжавшая скорѣе другихъ, остановилась наконецъ передъ дверью и позвонила.

Прошла минута, — никто не отзывался.

Старанія дворника и за нимъ Фанфарова, Хохлова и Фукса (Соципѣровъ и Бабковъ, предвидя скандалъ, поспѣшили скрыться, какъ только всѣ вышли изъ трактира), — привели къ тому же результату.

Ефремовъ, едва переводя духъ отъ одышки, хрипѣвшей въ его горлѣ, — принялся звонить въ свою очередь; за дверью никто даже не пошевелился.

Амалія Карловна, производя отчаянные жесты, сѣла на подоконникъ и заплакала.

Тогда присутствующіе бросились къ двери и общими силами принялись колотить въ нее кулаками; но дворникъ поспѣшилъ остановить такое усердіе.

— Позвольте, господа, вы этакъ, помилуйте, всѣхъ жильцовъ разбудите!... сказалъ онъ, становясь передъ дверью съ распахнутой шубой, — у насъ никогда такого шуму въ домѣ не бывало... Что за притча? прибавилъ онъ, снова наклоняясь къ замочной скважинѣ, въ надеждѣ увидать хоть что нибудь.

— Нельзя-ли, братецъ, по черной лѣстницѣ какъ нибудь?... проговорили въ одинъ голосъ Ефремовъ и Фанфаровъ, сходившіеся, какъ видно, не только въ пирушкахъ, но и въ мысляхъ.

— Никакъ невозможно, — тамъ дверь заперта, возразилъ дворникъ, кухарка взяла ключъ съ собой; сказала: придетъ, сама отворитъ; но онъ зналъ: — кухарки до сихъ поръ не было... Дѣлать нечего, надо, стало быть, позвать городоваго.

— Какъ, полицію?... вскричала Амалія Карловна, вскакивая опять на ноги.

— А то какъ же?...

Въ то время какъ дворникъ, ворча и бранясь, отправлялся за полиціей, — мужчины, оставшіеся на лѣстницѣ, снова усадили Амалію Карловну на подоконникъ и начали утѣшать ее. Она не знала, куда дѣваться отъ сраму, обливалась слезами, бросалась то къ тому, то къ другому, не обращая уже вниманія на шляпку, которая совсѣмъ съѣхала на сторону.

Съ появленіямъ двухъ городовыхъ и дежурнаго полицейскаго офицера, всѣ тотчасъ же притихли. Ефремовъ назвалъ по имени каждаго изъ присутствующихъ и послѣдовательно разсказалъ все дѣло, какъ оно было.

Дворникъ не замедлилъ появиться съ фонаремъ и ломомъ.

Когда дверь была открыта, Амалія Карловна ворвалась первая, но тутъ же отступила, испуганная темнотою. Въ прихожей отыскали свѣчки. Въ то время какъ вошедшіе сымали шубы, Амалія Карловна бойко выхватила одну изъ зажженныхъ свѣчей и, поправляя на ходу шляпку, поспѣшила войти въ квартиру. Никто не успѣлъ еще разоблачиться какъ слѣдуетъ, когда изъ дальней комнаты послышался раздирающій крикъ.

Всѣ туда бросились.

Войдя въ спальню, присутствующіе увидѣли прежде всего Амалію Карловну, распростертую на кушеткѣ и бившуюся въ истерическомъ припадкѣ. Нѣсколько дальше, на полу, лицомъ къ потолку, лежалъ Чемезовъ съ перерѣзаннымъ горломъ.

. . . . . .

Извѣстіе о трагической смерти Чемезова быстро разнеслось, на другой день, не только по департаменту, но и по министерству. Предположеніямъ конца не было. Какъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ, каждый дѣлалъ свой выводъ, выражая неудовольствіе, когда не соглашались съ его мнѣніемъ.

Одни приписывали самоубійство огорченіямъ по службѣ, находя, что Чемезову, прослужившему безпорочно восемнадцать лѣтъ, давно бы слѣдовало быть статскимъ совѣтникомъ; другіе находили такой родъ смерти неизбѣжнымъ для мизантропа, — человѣка характера крайне угрюмаго и несообщительнаго; третьи руководились больше романтическими соображеніями, и, хитро прищуривая лѣвымъ глазомъ, повторяли на каждомъ шагу: — „Où est la femme?“ — какъ бы радуясь тому, что напали на счастливое слово; четвертые смѣло и рѣшительно, не терпя даже возраженій, утверждали, что тутъ дѣло совсѣмъ не такъ просто, какъ кажется; всѣмъ извѣстныя теперь нелюдимость и мизантропія этого чиновника служили, по ихъ мнѣнію, только маской, скрывавшей участіе его въ тайномъ обществѣ; вышла неудача, попали на слѣдъ; выхода другаго не было; одно оставалось: наложить на себя руки!...

Надо сказать, однакожъ,— лица, присутствовавшія на свадебномъ обѣдѣ, менѣе всего принимали участіе въ этихъ разговорахъ. Всѣ они замѣтно даже какъ бы притихли противъ обыкновеннаго. Въ первое время видно было даже стараніе избѣгать другъ друга. Встрѣчаясь на службѣ или на улицѣ, они молча пожимали руку, изрѣдка развѣ позволяя себѣ намекнуть о случившемся. Такъ, напримѣръ, не раньше какъ спустя два мѣсяца, Фуксъ рѣшился шепнуть Сельдерееву, что встрѣтилъ въ пассажѣ Амалію Карловну,—всю въ черномъ, правда,—но идущую подъ руку съ фотографомъ Хохловымъ. Сельдереевъ, съ своей стороны, счелъ надобнымъ принять нѣкоторыя предосторожности, — оглянулся направо и налѣво, — прежде чѣмъ сообщилъ объ этомъ Ефремову, котораго встрѣтилъ въ трактирѣ Палкина, доѣдающаго одиноко порцію кулебяки. Выслушавъ сообщеніе, Ефремовъ только отвернулся и плюнулъ. Онъ точно взялъ зарокъ отмалчиваться каждый разъ, какъ рѣчь касалась Чемезова. Веселость его мгновенно пропадала; круто выступающіе сѣрые зрачки притупленно смотрѣли въ бокъ, кончикъ раздвоеннаго носа не приходилъ въ движеніе. Въ рѣдкихъ развѣ случаяхъ, когда не было уже никакой возможности отдѣлаться, онъ говорилъ, значительно шевеля густыми сѣрыми бровями:

— Да, батенька,— исторія, скажу вамъ!... Ги! и на этомъ обыкновенно останавливался.

Болѣе другихъ, впрочемъ, сторонились и избѣгали встрѣчъ Бабковъ и Соципе́ровъ.

Бабковъ до сихъ поръ сидѣлъ какъ пристыженный въ своемъ отдѣленіи. Онъ простить себѣ не могъ, какимъ образомъ, при солидности его лѣтъ, при семьѣ изъ восьмерыхъ дѣтей, въ числѣ которыхъ три мальчика посѣщали гимназію и старшій за отличіе переведенъ въ высшій классъ,—какимъ образомъ, наконецъ, при его чинѣ и Владимірѣ въ петлицѣ,—могъ онъ согласиться на просьбы этого шута Ефремова и сдѣлаться участникомъ въ такой исторіи.

Соципе́рова бо́льше всего пугала огласка. Онъ кусалъ ногти до крови при мысли, что скандалъ, въ которомъ случайно былъ замѣшанъ,—можетъ бросить на него тѣнь въ глазахъ начальства и повредить ему при производствѣ.

Съ наступленіемъ новаго года онъ совершенно, однакожъ, успокоился. Его произвели, и уже къ Рождеству успѣлъ онъ отпустить себѣ тѣ пушистыя, впередъ зачесанныя бакенбарды, какими преимущественно любятъ украшать себя въ Петербургѣ — статскіе совѣтники и въ Берлинѣ — бельнеры.

# КАРЬЕРИСТЪ.

(ОЧЕРКЪ).

ПОСВЯЩЕНО В. П. ГАЕВСКОМУ.

1885 г.

# КАРЬЕРИСТЪ.

(ОЧЕРКЪ).

---

Я познакомился съ нимъ въ гимназіи, гдѣ мы вмѣстѣ учились. Тогда еще сталъ онъ обращать на себя вниманіе товарищей. Ничѣмъ не отличаясь, повидимому, отъ другихъ мальчиковъ, маленькій Ягозинъ (такъ его звали) всегда, между тѣмъ, былъ отличаемъ начальниками. Въ концѣ перваго года онъ такъ подружился съ сыномъ директора, что былъ принятъ у послѣдняго наравнѣ съ сыномъ,—ставился даже въ примѣръ ему. Директорша была безъ памяти отъ маленькаго Ягозина.

Помню, разъ, въ началѣ лѣта, нѣсколькихъ воспитанниковъ взяли на дачу. Мы разбѣжались немедленно по лѣсу и начали объѣдаться земляникой. Ягозинъ не съѣлъ ягодки; тщательно выбирая кусточки съ лучшими ягодами, онъ составилъ изъ нихъ маленькій букетъ, перевязалъ его красиво ниточкой и, тайно ускользнувъ отъ насъ, вернулся на дачу и преподнесъ свой букетъ директоршѣ; мы узнали объ этомъ послѣ, во время обѣда, отъ самой начальницы.

Шестнадцати лѣтъ можно было его видѣть, въ день именинъ директора, сидящимъ за роялемъ рядомъ съ его дочерью и разыгрывающимъ въ четыре руки какую-то сонату, нарочно сочиненную для этого торжественнаго случая.

Откуда взялись вдругъ музыкальныя способности? Гдѣ выучился онъ играть? Гдѣ, наконецъ, нашелъ для этого время?... все это оставалось совершенно покрыто мракомъ.

Вечеромъ, въ тотъ же день, во время бала, онъ танцовалъ съ такою ловкостью, съ такимъ юношескимъ увлеченіемъ вскрикивалъ: — „*Les dames en avant, s'il vous plait*“, — что рѣшительно обворожилъ всѣхъ присутствовавшихъ.

Мы перешли затѣмъ въ университетъ и провели тамъ съ грѣхомъ пополамъ четыре года. Учились мы посредственно.

Послѣ выпуснаго экзамена всѣ разбрелись въ разныя стороны; Ягозинъ остался въ Петербургѣ и былъ немедленно кѣмъ-то опредѣленъ на дѣйствительную службу.

Тутъ на нѣкоторое время я потерялъ его изъ виду. Но прошло три-четыре года, я узналъ, — онъ сдѣлался необходимымъ лицомъ у новой своей начальницы: состоялъ, должно быть, по особымъ порученіямъ. Мимо службы онъ занималъ еще мѣсто секретаря двухъ дамскихъ благотворительныхъ комитетовъ; одного, — „имѣющаго цѣлью снабженіе даровымъ мыломъ бѣдныхъ трубочистовъ“, другаго „по снабженію нюхательнымъ табакомъ бѣдныхъ слѣпыхъ старухъ“; сверхъ того, онъ управлялъ танцами чуть ли не на всѣхъ балахъ столицы.

Встрѣтясь съ нимъ въ этотъ періодъ его жизни, я выразилъ наивно удивленіе: какимъ образомъ ухитрился онъ, чтобы проникнуть такъ скоро въ большой свѣтъ.

— Любезный другъ! возразилъ онъ, прищуриваясь и посматривая куда-то своими сѣрыми глазками (что доказывало, что въ эту минуту онъ вовсе обо мнѣ не думалъ), любезный другъ! надо провинчиваться въ люди, *il faut se pousser au monde!*... прибавилъ онъ и быстро пустился догонять какого-то важнаго сановника, проходившаго по другой сторонѣ улицы.

Не знаю, въ чемъ собственно заключались служебныя обязанности Ягозина; я встрѣчалъ его всюду, на всѣхъ пунктахъ, гдѣ только въ урочный часъ показывается „высшее дворянство“, какъ печаталось когда-то въ афишахъ увеселительныхъ садовъ:

на Дворцовой набережной, на мосткахъ Лѣтняго сада, въ соборахъ при торжественныхъ молебствіяхъ (больше впрочемъ на виду при выходѣ изъ церкви), въ ложахъ театра во время антрактовъ, въ креслахъ во время представленія, на вечерахъ играющимъ вмѣстѣ со старушками, на балахъ танцующимъ всегда въ видной парѣ. Тамъ имѣлъ онъ почтительный, какой-то наклоненный видъ; здѣсь, во время танцевъ, лицо его отражало юношескую восторженность... Подпрыгивая и перевертываясь съ замѣчательною ловкостью, онъ и здѣсь впрочемъ, въ танцахъ, находилъ возможность придавать лицу что-то солидное, сдержанное и почтительное, когда проносился мимо особъ существеннаго вѣса; словомъ, онъ былъ вездѣ, поспѣвалъ всюду, являлся во всѣхъ видахъ, такъ что меня нимало бы не удивило, если-бъ сказали, что, подобно знаменитому Пинетти, онъ въ одну и ту же минуту выѣхалъ изъ всѣхъ заставъ Петербурга.

Его физическая подвижность, сама по себѣ уже весьма замѣчательная, была ничтожна передъ способностью передвигаться нравственно.

Дѣйствуетъ ли такъ сырой климатъ Петербурга, или скрываются другія болѣе сложныя причины, но вы замѣтили, вѣроятно, что въ большинствѣ петербургскихъ жителей присутствуетъ что-то разварное и раскислое, преобладаетъ какая-то разслабленность и черносливность, хотя тутъ же надо сказать — и вы вѣроятно также это замѣтили — свойства эти нисколько не мѣшаютъ служить съ успѣхомъ и приносить пользу себѣ и отечеству.

Не смотря на то, что Ягозинъ былъ кровнымъ дѣтищемъ Петербурга, дышалъ со дня рожденія воздухомъ Невскаго проспекта и сосалъ молоко охтенской кормилицы, онъ весь тѣмъ не менѣе состоялъ изъ одной быстроты и прыткости. Встрѣчаются иногда нѣмцы такого темперамента,—особенно часто между берлинскими маклерами, комиссіонерами всякаго рода и старшими кельнерами: приземистые, бѣлокурые съ бѣловатыми рѣсницами на красной кожѣ, а между тѣмъ такъ вотъ и прыгаютъ, какъ

стрекоза, готовые, кажется, вскочить въ зрачки, прежде чѣмъ вскочутъ вамъ въ карманъ.

Противъ такихъ нѣмцевъ Ягозинъ тѣмъ отличался, что могъ сдерживать свою быстроту по желанію; въ крайнихъ случаяхъ могъ даже сосредоточить ее въ своихъ сѣрыхъ,—чисто уже славянскихъ глазахъ; они выражали тогда попеременно все, что подходило къ случаю: юношескую, почти дѣтскую откровенность, пониманіе самаго тонкаго, неуловимаго намека, безпредѣльное повиновеніе, преданность, восторженное благоговѣніе передъ старшими, стремительное желаніе исполнить трудное порученіе... Но всего не перечесть, что могли выражать глаза Ягозина. Онъ, конечно, много надъ собою работалъ, чтобы пріобрѣсти такія способности; но надо быть справедливымъ: много также дано было ему самой природой.

Быстрое повышеніе Ягозина удивляло многихъ; меня удивляло другое: я не понималъ, когда находилъ онъ время для исполненія служебныхъ обязанностей. Оставивъ скоро за собою всѣхъ своихъ товарищей по службѣ, онъ, помнится, тогда еще составилъ себѣ репутацію молодаго человѣка съ большимъ тактомъ и замѣчательными практическими способностями. Лица, которыя приписывали его успѣхи одной юркости, которыя называли его „Петербургскимъ Леотаромъ, съ тою разницей, что Леотаръ упражнялся въ циркѣ и надо было тратить деньги, чтобы его видѣть, тогда какъ Ягозинымъ можно было любоваться всюду и притомъ даромъ“—такія лица, я увѣренъ, говорили только изъ зависти.

Прошло еще три-четыре года. Ягозинъ занималъ уже видное мѣсто при одной высокопоставленной особѣ. Форма службы Ягозина нисколько не измѣнилась; онъ и прежде, замѣтьте, не столько служилъ собственно, какъ это дѣлали его товарищи, сколько всегда состоялъ при комъ нибудь и всегда скорѣе въ качествѣ приближеннаго, домашняго человѣка, чѣмъ чиновника.

Но здѣсь, главнымъ образомъ, отражалось на Ягозинѣ высокое вліятельное положеніе его начальника.

— И вотъ, говорилъ Ягозинъ при каждомъ новомъ повышеніи,—и говорилъ всегда голосомъ невинности съ оттѣнкомъ чего-то скорбнаго противъ людскаго недоброжелательства,—вотъ непремѣнно скажутъ, что я тутъ интриговалъ, добивался!... А я... я и не зналъ даже! Все это вышло совершенно случайно; я тутъ столько же виноватъ, сколько... сколько какой нибудь Воскресенскій мостъ...

Разъ какъ-то, въ этотъ самый періодъ его карьеры, отправилъ я къ нему общаго нашего товарища по университету, — человѣка въ высшей степени смиреннаго, хотя и вышедшаго изъ университета первымъ кандидатомъ съ золотой медалью; но протекціи у него не было, онъ попалъ съ перваго шага на службу въ провинцію, и тамъ, какъ это нерѣдко случается, завязъ и засорился. Обстоятельства заставили его искать мѣста въ Петербургѣ. Опредѣленіе зависѣло отъ начальника Ягозина, т. е. какъ зависѣло? — сказать слово—и дѣло сдѣлано. Я совѣтовалъ ему обратиться прежде къ Ягозину:—и товарищъ дѣтства, и человѣкъ вліятельный.

— Ну что? спросилъ я, когда онъ вернулся ко мнѣ на другой день.

— Сомнѣваюсь въ успѣхѣ! отвѣчалъ онъ, тяжело опускаясь въ кресло.

— Какъ? отчего?...

— Начать съ того, я, кажется, попалъ не вовремя. Хотя Ягозинъ принялъ меня ласково, но я не могъ не замѣтить въ его пріемѣ присутствіе чего-то... Точно его обезпокоили... Его, вѣроятно, ждали, или онъ ждалъ кого нибудь, или просто былъ очень занятъ, какъ всѣ здѣсь у васъ въ Петербургѣ, и я помѣшалъ ему... Онъ обѣщалъ однако-жъ. Но все это вообще было какъ-то странно... очень странно!... прибавилъ товарищъ, заботливо пожимая губами.

— Что-жъ онъ сказалъ?

— Стали мы уже прощаться, онъ и говоритъ мнѣ. „Я, любезный другъ, скажу тебѣ откровенно, какъ старому товарищу;

ты пожалуйста не сердись... Но есть такое обстоятельство... Оно, если хочешь, ничтожно, но всетаки оно не совсѣмъ ладно... Оно можетъ, при твоемъ представленіи, неблагопріятно повліять на начальника...

„— Что-жъ такое?... спрашиваю.

„— Ты знаешь, говоритъ онъ, въ этихъ случаяхъ весьма важно первое впечатлѣніе... Откровенно скажу тебѣ: боюсь за твой ростъ...

„Я удивился.

„— Какъ, ростъ? спрашиваю.

„— Да, любезный другъ, долженъ предупредить тебя: онъ, т. е. начальникъ, имѣетъ предубѣжденіе противъ людей высокаго роста... Что-жъ дѣлать! у этихъ лицъ есть также свои слабости. Потомъ, говоритъ, есть еще другое обстоятельство...

„— Что? спрашиваю.

„— Да вотъ, говоритъ, этотъ басъ...

„— Какой басъ? спрашиваю, ничего уже не понимая.

„— У тебя, говоритъ, такой густой басъ;—этого онъ также не выноситъ; громкій голосъ дѣйствуетъ на него раздражительно. Оно, если хочешь, весьма понятно; самъ посуди: съ утра до вечера комитеты, аудіенціи, засѣданія, совѣщанія, доклады, представленія... поневолѣ нервы раздражатся!... Но, пожалуй, и это бы еще ничего, если бы...

„— Развѣ еще что? Боже мой!... спрашиваю.

„— Извини, прошу тебя, говоритъ онъ,—но надо смотрѣть на вещи настоящимъ образомъ; у всякаго человѣка есть свои слабости... ну, а этимъ лицамъ онѣ и подавно извинительны. Я желаю тебѣ добра, и потому только рѣшаюсь предупредить тебя: я замѣтилъ, когда ты начинаешь объясняться, ты поминутно дѣлаешь нервныя движенія, дергаешь головою и даже махаешь руками...

„— Да, говорю, правда... ну, такъ что-жъ?...

„— Ничего, рѣшительно ничего, поспѣшно возразилъ Ягозинъ:—только вотъ этого-то онъ особенно не выноситъ... Состоя,

понимаешь, темперамента сыраго, онъ любитъ прежде всего спокойствіе. Предупреждаю тебя: когда будешь ему представляться, — войди тихо; не начинай говорить, прежде чѣмъ тебя не спросятъ; спросятъ—отвѣчай, понижая голосъ насколько возможно; — отвѣчай коротко, сжато; словомъ, говори какъ можно меньше; больше слушай и старайся стоять спокойнѣе, даже, если можешь, съ опущенными глазами... Что-жъ дѣлать! говоритъ, и тутъ началъ похлопывать меня по плечу.—Что-жъ дѣлать, не намъ, говоритъ, передѣлывать свѣтъ; надо, братецъ, говоритъ, — жить со свѣтомъ!!..“

— Сомнѣваюсь въ успѣхѣ! заключилъ товарищъ.

И дѣйствительно, онъ былъ правъ. Ему не удалось даже представиться; съ того самаго дня не было даже возможности добиться вторичнаго свиданія съ Ягозинымъ.

Вскорѣ весь служебный людъ столицы заговорилъ о новомъ назначеніи Ягозина.

Разсматривая это назначеніе съ точки зрѣнія обыкновенной логики, — оно, по своей спеціальности, не имѣло ничего общаго съ прежней служебной дѣятельностью Ягозина, діаметрально даже съ нею расходилось. Но здѣсь руководствомъ служили другія, болѣе основательныя соображенія: прежде всего здѣсь нуженъ былъ человѣкъ надежный, вѣрный и преданный. Къ тому же, лицо, занимавшее прежде мѣсто, давно надоѣло, прискучило; въ его управленіи найдены были нѣкоторыя запущенія; говорилось даже о злоупотребленіяхъ. Лицо это, конечно, было немедленно повышено, ему дали аренду, оставили полный окладъ прежняго содержанія и перевели въ другое вѣдомство. Ягозинъ занялъ его мѣсто.

Со свойственною ему ловкостью, онъ окружилъ себя спеціалистами, и здѣсь точно также, — благодаря своимъ помощникамъ, — не замедлилъ обратить на себя вниманіе начальства.

Два года спустя, вспомнивъ обо мнѣ случайно, онъ пригласилъ меня къ себѣ на свадьбу: онъ женился на свояченицѣ новаго своего начальника, дѣвицѣ красивой и богатой, но имѣв-

шей несчастье обставить себя въ глазахъ свѣта какой-то таинственной, романической исторіей.

Ягозинъ, переѣхавъ въ домъ жены, отдѣлалъ его съ большимъ вкусомъ и началъ давать обѣды, получившіе въ скоромъ времени извѣстность.

Мимо гастрономическихъ качествъ и рѣдкости винъ, обѣды эти отличались еще внимательнымъ подборомъ гостей, въ силу тѣхъ пріятныхъ или полезныхъ отношеній, которыя могли послѣдовать какъ для гостей, такъ и для хозяина дома.

Если вы были нужны Ягозину, вы непремѣнно встрѣтили бы у него за обѣдомъ только тѣхъ лицъ, которыя, по его соображеніямъ, были вамъ нужны или пріятны особеннымъ образомъ. Если вы вовсе не были нужны хозяину или даже были ему непріятны, но, по соображеніямъ его, могли доставить удовольствіе лицу, которое было ему нужно, вы также непремѣнно приглашались.

Въ Петербургѣ, гдѣ каждому болѣе или менѣе всегда что-нибудь очень нужно, — всѣ ѣздили на обѣды Ягозина съ большимъ увлеченіемъ. Выходя отъ него, часто бранили его съ такимъ же увлеченіемъ, находя, напримѣръ, что онъ ничего больше, какъ выскочка, и спаржа его несравненно тоньше, чѣмъ вчера у княгини Зинзивѣевой; но Ягозинъ пріобрѣлъ съ лѣтами философскую складку ума и мало обращалъ вниманія на такія мелкія пересуды. Замѣтивъ успѣхъ своихъ обѣдовъ, онъ сдѣлался строже въ выборѣ своихъ гостей; разумѣется, это только прибавило къ числу желающихъ получать приглашеніе.

Въ этотъ періодъ времени Ягозинъ уже давно пересталъ танцовать; быстрота была въ немъ все та же, не смотря на нѣкоторую округленность живота; но она скорѣе перешла и установилась въ его нравственной природѣ. Къ тому же танцы не шли уже къ звѣздѣ, камергерскому ключу и лентѣ, которую, со свойственнымъ ему тактомъ, носилъ онъ скромно подъ жилетомъ. Въ свѣтѣ отдавался онъ висту; на балахъ предпочиталъ бесѣду, умѣя ее разнообразить до виртуозности; онъ могъ начать съ

игриваго скабрезнаго анекдота, перейти къ глубокому въ практическомъ смыслѣ замѣчанію и кончить даже поэтическою мыслью. Все зависѣло отъ собесѣдника.

— М-г Ягозинъ, сказала ему на балѣ подлѣ меня графиня Ливенская, указывая на вальсирующую молодежь, — что вы на это скажете?...

— Да, графиня, возразилъ онъ, подавляя вздохъ и съ чувствомъ разслабленной нѣжности въ голосѣ, — да, и мы когда-то съ вами такъ танцовали; теперь смотрю и восхищаюсь этой маленькой волшебницей, которую зовутъ вашей дочкой...

— Vous êtes toujours charmant! проговорила старая графиня, думая сейчасъ же пригласить Ягозина присѣсть на видное мѣсто и приступить съ умнымъ человѣкомъ къ пріятной бесѣдѣ. Но умный человѣкъ быстро юркнулъ въ толпу, гибко, какъ вьюнъ, скользнулъ между тѣсными рядами, зрителей, — и вдругъ... вдругъ остановился, придавъ своему лицу выраженіе смиренной кротости и глубокаго благоговѣнія... Я посмотрѣлъ въ ту сторону: изъ дверей выступала сановитая вліятельная особа...

Такимъ видѣлъ я Ягозина въ послѣдній разъ передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга.

# АКРОБАТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

(ПОВѢСТЬ).

ПОСВЯЩАЕТСЯ И. П. БАЛАШЕВУ.

1885 г.

# АКРОБАТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

(ПОВѢСТЬ).

...«Служеніе общественной пользѣ! Благотворительность! То и другое святое дѣло, если только руководятъ имъ искреннее чувство и убѣжденіе...»

Аббатъ Ламенэ.

«Глядишь, сѣютъ рожь, а выходитъ ложь».

Русская поговорка.

## I.

Въ одной изъ улицъ Петербурга находится большое каменное зданіе, сооруженное въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія; вы отсюда уже видите характеръ архитектуры: наверху неизбѣжный треугольный фронтонъ; ниже рядъ толстыхъ колоннъ, заслоняющихъ свѣтъ въ средней части бель-этажа; еще ниже — совсѣмъ уже ни на что ненужный выступъ съ пятью арками; въ средней аркѣ помѣщается подъѣздъ. Къ нему, въ послѣднее время, придѣлали крытый желѣзомъ намётъ на чугунныхъ столбахъ.

Многіе годы домъ окрашивался краской цвѣта крутаго желтка; цвѣтъ былъ тогда въ модѣ. Но съ тѣхъ поръ произошли значительныя перемѣны: нравы умягчились, вмѣстѣ съ ними умягчился вкусъ и домъ перекрасили въ одноцвѣтный жидко-сѣромолочный цвѣтъ, не выключая колоннъ и фронтона. Не измѣнилось одно только: мостовая. Извѣстно, что въ нашихъ городахъ вообще экипажи не столько катятся, сколько подскакиваютъ, и возницы не столько правятъ возжами, сколько дергаютъ; но здѣсь уже просто, какъ говорится, вышибало изъ сидѣнья и часто ломались оси.

При домѣ находился однакоже экзекуторъ; но жалованье получалъ онъ маленькое, дѣтей имѣлъ кучу и по необходимости посвящалъ бо́льшую часть времени собственнымъ двумъ дачамъ на Черной рѣчкѣ; къ дачамъ прилегалъ хозяйственно устроенный огородъ, снабжавшій окрестныхъ жителей прекрасной и даже недорогой клубникой. Служебныя его обязанности, главнымъ образомъ, сосредоточивались на квартирѣ начальника, который помѣщался въ бель-этажѣ,— и съ этой стороны, надо отдать справедливость экзекутору, онъ былъ безупреченъ: камины и печи никогда́ не дымили, полы натирались до зеркальности, мебель и ковры всегда тщательно выбивались, дверныя ручки и ключи поворачивались какъ въ маслѣ,— все блистало чистотою и показывало примѣрное усердіе. Послѣднее качество заслуживало тѣмъ больше вниманія, что экзекуторъ никогда почти не встрѣчалъ начальника, ни разу не удостоился отъ него похвалы.

Начальникъ былъ человѣкъ превосходный, съ мягкой душой и великодушнымъ сердцемъ; но онъ стоялъ на такой высотѣ, откуда можно было видѣть только крупные предметы. Постоянно озабоченный самыми сложными и разнообразными вопросами, постоянно устремляя взоръ на дальніе горизонты, онъ проходилъ обыкновенно мимо, изрѣдка кивая головою, часто даже не отдавая себѣ отчета въ томъ, кому кивалъ и кто ему кланялся. Онъ врядъ ли даже подозрѣвалъ о существованіи экзекутора. Еще труднѣе было ему замѣтить неисправность мостовой, такъ какъ на всѣхъ его экипажахъ шины постоянно перетягивались толстымъ обводомъ изъ гуттаперчи.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ, часу въ десятомъ утра, парадная дверь описаннаго зданія внезапно отворилась; на порогѣ ея показался швейцаръ. Онъ былъ пока запросто: парадная форма и перевязь замѣнялись длинополымъ синимъ сюртукомъ и бѣлымъ галстухомъ; но галунъ на фуражкѣ и гербовыя пуговицы на сюртукѣ достаточно указывали его званіе. Изъ-за швейцара просунулся бочкомъ румяный, какъ амуръ, курьеръ, съ бляхой на груди, крутыми завитками на головѣ и толстымъ туловищемъ на коротких ножкахъ.

Курьеръ закурилъ папироску; швейцаръ попросилъ у него огня; но, въ ту же минуту, изъ-за угла показалась крытая коляска и прямо покатила къ подъѣзду.

— Воскресенскій! — шепнулъ курьеръ, поспѣшно бросая папиросу и затаптывая ее подошвой.

— Вижу! — отозвался швейцаръ, повторяя то же движеніе.

Не давъ экипажу окончательно остановиться, оба съ озабоченными лицами ринулись впередъ, отстегнули фартукъ коляски и принялись бережно, почтительно высаживать длиннаго согбеннаго господина, который, какъ только сталъ на ноги и выпрямился, оказался совсѣмъ еще не дряхлымъ человѣкомъ, — лѣтъ пятидесяти, не больше,—но уже значительно посѣдѣвшимъ. Волосы его не столько, впрочемъ, были бѣлы, сколько отличались мутно-зеленоватымъ отливомъ; золотыя очки, низко сидѣвшія на переносицѣ, открывали пару выпуклыхъ близорукихъ бѣловатыхъ зрачковъ, которые мигали и щурились, какъ глаза совы, неожиданно выставленной на солнце. Не смотря на іюль мѣсяцъ, онъ былъ въ тепломъ ватномъ пальто и резиновыхъ калошахъ, надѣтыхъ на огромныя плоскія ступни съ наростами подлѣ большаго пальца въ видѣ луковицъ. Малокровіе, заставлявшее его зябнуть въ то время, какъ другіе не знали куда дѣваться отъ жары, достаточно, впрочемъ, подтверждалось мутно-золотушнымъ цвѣтомъ худощаваго лица, обтянутаго дряблой, разслабленной кожей. Въ цѣломъ, пріѣзжій имѣлъ видъ чего-то мягкаго, разварнаго, замшеваго и унылаго, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, было въ немъ также что-то вкрадчивое, подползающее, невольно, со стороны, внушавшее чувство осторожности.

— Афанасьевъ, — медленно проговорилъ онъ, обратясь къ курьеру, — возьми портфель изъ коляски; возьмешь также заодно ящикъ, завернутый въ бумагу; но только осторожнѣй; не толкни какъ нибудь; то и другое снесешь въ пріемную...

— Слушаю, ваше превосходительство!

Пока курьеръ хлопоталъ въ колескѣ, пріѣзжій, сопровождаемый швейцаромъ, продолжавшимъ бережливо поддерживать его

подъ локоть, успѣлъ пройти въ прихожую, — просторную, высокую комнату на сводахъ; вся нижняя часть стѣнъ въ промежуткахъ, остававшихся свободными отъ дверей и оконъ, была обита лакированнымъ деревомъ съ безчисленнымъ множествомъ вѣшалокъ; подъ выступающимъ карнизомъ выдвигался рядъ стульевъ съ прямыми спинками; передъ однимъ изъ оконъ находился столъ съ чернильницей и толстыми книгами, гдѣ расписывались пріѣзжающіе и отмѣчались адресы. Прихожая освѣщалась, съ одной стороны, окнами на улицу, съ другой — широкой парадной лѣстницей.

— Позвольте васъ почистить, ваше превосходительство. Вы изволили запылиться, озабоченно произнесъ швейцаръ, подбѣгая со щеткой, которая какъ бы скрывалась наготовѣ въ его рукавѣ и вдругъ оттуда выскочила. — Теперь сухо, ваше превосходительство; изволили съ дачи пріѣхать — мудрено ли запылиться?— добавилъ онъ съ подобострастной фамильярностью служителей, обращающихся къ важнымъ лицамъ, давно знакомымъ и близко стоящимъ къ высшему начальству.

Отдавая себя въ руки швейцара, г. Воскресенскій ограничился тѣмъ, что поправилъ очки и снялъ шляпу, которую живо подхватилъ другой курьеръ, выскочившій изъ боковой двери.

Въ вицмундирѣ, изъ-подъ борта котораго скромно выглядывалъ уголъ звѣзды, г. Воскресенскій показался еще худощавѣе и тщедушнѣе; унылое лицо его замѣтно однакоже выказало здѣсь больше живости, самыя движенія стали бодрѣе; даже кончики фалдъ на вицмундирѣ какъ бы сами собой затрепетали, напоминая перо рыбы, неожиданно опущенной въ воду. Онъ, очевидно, чувствовалъ себя здѣсь на своей почвѣ.

Лицо г. Воскресенскаго, освобожденное отъ шляпы, близко напомнило старую лисицу. Всѣ черты стягивались къ заостренному холодному хрящику носа, который, казалось, не столько вдыхалъ воздухъ, сколько постоянно что-то обнюхивалъ; къ сходству прибавляли также большія уши, торчавшія навылетъ и кончавшіяся остряками на верхней части. Впечатлѣніе смягчалось нѣсколько

сѣдиною волосъ, спускавшихся вдоль щекъ жидкими плоскими прядями; въ нихъ точно также было что-то разслабленное, какъ бы страдавшее отъ недостатка питанія на ихъ почвѣ. То же самое можно было сказать о глазахъ съ ихъ бѣловатыми выпуклыми зрачками, окаймленными красными опухшими вѣками; они также казались утомленными и разслабленными, также смотрѣли внизъ, отвѣчая на видъ тихому голосу и мягкимъ движеніямъ ихъ владѣльца.

— Никого еще нѣтъ?— спросилъ онъ, указывая глазами на парадную лѣстницу.

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство! — отвѣчали въ одно время и съ одинаковой поспѣшностью швейцаръ и курьеръ.

— Кто сегодня дежурный?

— Господинъ Стрекозинъ.

Г. Воскресенскій направился къ парадной лѣстницѣ, открывавшейся свѣтлымъ пятномъ между двумя колоннами, отполированными подъ мраморъ; освѣщаясь справа окнами втораго этажа, лѣстница послѣ первой площадки дѣлилась на двѣ части, поднимавшіяся параллельно одна другой; онѣ проводили на верхнюю площадку, украшенную такими же колоннами, какъ при входѣ; ковровая полоса краснаго цвѣта, перехваченная у каждой ступени мѣднымъ вылощеннымъ прутомъ, занимала середину лѣстницы и прекращалась у входа въ большую свѣтлую залу, украшенную лѣпной работой.

Войдя въ нее, г. Воскресенскій тотчасъ же взялъ влѣво, отыскалъ ручку незамѣтной двери и отворилъ ее такъ же спокойно, какъ у себя дома; миновавъ большую столовую, онъ перешелъ въ буфетную, обставленную высокими шкапами; сквозь стѣкла виднѣлись серебро и всякаго рода посуда.

Боковая часть стѣны забрана была изразцами и тутъ же выставлялась плита, подлѣ которой стоялъ кухонный мужикъ въ красной рубашкѣ и бѣломъ передникѣ; противъ плиты, передъ окномъ, раскидывался длинный липовый столъ; на немъ красовался серебряный подносъ, уснащенный чайнымъ приборомъ, кор-

зиной съ хлѣбомъ, масломъ и яйцами, глядѣвшими изъ-подъ салфетки съ вытканнымъ гербомъ на углу. Передъ подносомъ хлопоталъ величественнаго вида буфетчикъ во фракѣ, бѣломъ галстухѣ и вязанныхъ перчаткахъ; обстриженъ онъ былъ подъ гребенку; лицо его, круглое, какъ пузырь, и выбритое подъ атласъ, сіяло важностью и довольствомъ.

Оно проявило всѣ признаки радостнаго оживленія, какъ только въ дверяхъ показался г. Воскресенскій.

— Ахъ, ваше превосходительство, какъ рано изволили пожаловать! — воскликнулъ онъ, раскланиваясь.

— Что, какъ его сіятельство, всталъ? — проговорилъ г. Воскресенскій, снисходительно кивая головою.

— Только что перешли въ уборную; не прикажете ли чаю, ваше превосходительство?

— Нѣтъ, спасибо... А что подѣлываетъ мой крестникъ, какъ учится? — освѣдомился неожиданно г. Воскресенскій, выказывая участіе, котораго, впрочемъ, не чувствовалъ.

— Благодарю васъ покорно; перешелъ во второй классъ гимназіи... Все васъ надо благодарить, ваше превосходительство...

— Ну, полно, полно...

— Помилуйте, какъ же! Не вы ли изволили опредѣлить его на казенный счетъ? Намъ никогда бы этого не добиться, потому, какъ вамъ извѣстно, его сіятельство въ это не входятъ...

— Очень радъ, очень радъ, перебилъ г. Воскресенскій, — я всегда радъ, когда могу сдѣлать доброе дѣло...

— Всѣмъ намъ это очень хорошо извѣстно... Мы это чувствуемъ, — произнесъ буфетчикъ, перемѣняя нѣсколько свободный тонъ на почтительный и даже расчувствованный.

Въ эту минуту изъ отдаленныхъ комнатъ послышался звонокъ.

Буфетчикъ ухватился обѣими руками за подносъ и съ торопливой заботливостью спросилъ, проходя мимо:

— Прикажете сейчасъ доложить?

— Пожалуй... впрочемъ, я не тороплюсь... Во всякомъ случаѣ,

я буду тамъ въ пріемной, заключилъ г. Воскресенскій, выходя изъ буфетной.

Минуту спустя онъ снова очутился у входа въ бѣлую залу. Отсюда открывалась цѣлая перспектива парадныхъ комнатъ, которыя оканчивались пріемной. Войдя въ нее, онъ подошелъ къ столу, на которомъ уже лежалъ его портфель и свертокъ, обернутый бумагой и припечатанный сургучомъ. Сорвавъ печати, г. Воскресенскій выложилъ на столъ деревянный рѣзной сигарный ящикъ съ застежками изъ кованнаго желѣза и еще дамскій несессеръ, украшенный инкрустаціями изъ цвѣтнаго дерева. Не отдавая большаго вниманія этимъ предметамъ, онъ равнодушнымъ взглядомъ окинулъ стѣны пріемной и, заложивъ руку за фалды вицмундира, принялся медленно расхаживать по всей амфиладѣ парадныхъ комнатъ, обставленныхъ тяжеловѣсною мебелью тридцатыхъ годовъ; она была обита штофомъ разнаго цвѣта, согласно съ цвѣтомъ стѣнъ. Тамъ, гдѣ не было ковровъ, паркетъ вездѣ лоснился, отражая блескъ оконъ и зеркалъ, расположенныхъ въ простѣнкахъ.

Не смотря на смертную скуку, распространяемую этими комнатами,—скуку, которую не только не выкупали, но еще усиливали размѣры архитектурныхъ линій, вышина стѣнъ и оконъ, пестрота большихъ казенныхъ фарфоровыхъ вазъ въ углахъ, массивные канделябры и часы на каминахъ,—онѣ, тѣмъ не менѣе, производили внушительное дѣйствіе; невольное чувство заставляло осматриваться, понижать голосъ и не стучать каблуками.

По привычкѣ, вѣроятно, проходить эти залы, г. Воскресенскій не ощущалъ, повидимому, ничего подобнаго. Онъ, правда, не столько шагалъ, сколько скользилъ на мягкихъ своихъ подошвахъ, но плоскія его ступни съ выдающимися луковицами у большаго пальца двигались смѣло, упирались въ ковры и паркетъ съ примѣтной самоувѣренностью. Постарѣлый видъ сапоговъ, вицмундиръ съ истертымъ бархатнымъ воротникомъ, галстухъ, небрежно повязанный, подтверждали также его безцеремонное отношеніе ко всему окружающему.

Если улыбка самодовольствія показывалась иногда на блѣдныхъ губахъ его, если самый взглядъ измѣнялъ обычному тусклому выраженію, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Онъ былъ здѣсь наединѣ съ самимъ собою; ему, наконецъ, не къ чему было стѣсняться, не зачѣмъ было себя насиловать: смиренный взглядъ, мягкія движенія, тихій голосъ давно уже сдѣлали свое дѣло, давно упрочили ему извѣстность человѣка въ высшей степени благомѣреннаго, снисходительнаго, услужливаго, не считая репутаціи человѣка высокой нравственности и глубокаго благочестія, пріобрѣтенной имъ въ кругу знатныхъ благотворительныхъ старухъ, гдѣ онъ преимущественно вращался.

Общественное положеніе г. Воскресенскаго было дѣломъ рукъ его; онъ могъ имъ гордиться. Твердая поступь, равнодушіе къ окружающей обстановкѣ, самодовольная улыбка выражали здѣсь сознаніе удовлетвореннаго тщеславія, увѣренность достигнутой цѣли.

Приговоръ тщеславнымъ людямъ такъ же вообще несправедливъ, какъ приговоръ самому тщеславію, считающемуся предосудительнымъ чувствомъ. Здѣсь, какъ и вездѣ, все основано на оттѣнкахъ; отличіе оттѣнковъ основывается, въ свою очередь, на руководящемъ двигателѣ, на поводѣ или мотивѣ, какъ теперь выражаются. Однимъ тщеславіе помогаетъ исполнять великія общественныя задачи; другимъ служитъ орудіемъ для достиженія личныхъ цѣлей. Тамъ, гдѣ первые прорываются ядромъ, вылетѣвшимъ изъ пушки, и пролетаютъ со свистомъ большое пространство, другіе тихо, незамѣтно проскользаютъ и, какъ холера, дѣйствуютъ въ болѣе тѣсномъ горизонтѣ. Но, во всякомъ случаѣ, какъ тамъ, такъ и здѣсь, требуется расходъ извѣстной силы, требуется присутствіе внутренняго подъема, излишекъ чего-то такого, что вообще не сплошь и рядомъ встрѣчается въ людяхъ; нуженъ особый темпераментъ, нужно больше фосфора въ костяхъ, больше желѣза въ крови. Противъ даровъ природы ничего не подѣлаешь. Они такъ могущественны, что, доставшись случайно посредственности, выдвигаютъ ее часто скорѣе истинныхъ способностей и даже таланта. Въ данномъ случаѣ, посредственные люди дѣйствуютъ почти оди-

наково. Намѣтивъ себѣ извѣстную цѣль, они сначала бываютъ осмотрительны, какъ кошки, выносливы, какъ ломовая лошадь, терпѣливы, какъ башмакъ, готовы подставлять спину подъ удары. Сила воли, направленная на одну точку, тѣмъ не менѣе, продолжаетъ дѣлать свое дѣло: она долбитъ и просверливаетъ, не останавливаясь ни передъ какими препятствіями. Пробиваясь постепенно въ глубь съ тѣмъ же упорствомъ, какъ червь точитъ дубъ, они, чѣмъ дальше, тѣмъ меньше стѣсняются въ способахъ дѣйствій, — въ случаѣ надобности, готовы вырѣзать бирюльки изъ костей родной матери. Наконецъ, дубъ просверленъ во всю длину, свѣтъ показался, — цѣль достигнута! Постоянная борьба противъ препятствій, необходимость пролѣзать сквозь гнилушки, встрѣча съ другими червяками, которыхъ надо было загрызть, чтобы прочистить себѣ дорогу, — все это, конечно, не прошло имъ даромъ, уходило ихъ физически, часто износило до ворса; но, взамѣнъ этого, все это настолько же помогло имъ укрѣпиться духомъ, закалило въ нихъ настойчивость и усилило жадность, развило смѣлость и, вмѣстѣ съ нею, непреодолимое желаніе вымостить на плечахъ другихъ пройденныя испытанія. Дальнѣйшія дѣйствія зависятъ уже отъ личнаго характера. Одни, вооружившись внезапно дерзостью и нахальствомъ, плотно врѣзываютъ свои каблуки на ступенькахъ, по мѣрѣ того, какъ выше восходятъ; другіе продолжаютъ подвигаться на замшевыхъ подошвахъ, тщательно скрывая, подъ видомъ кротости, преданности и смиренія, настоящія свои чувства. У первыхъ самодовольство выражается явно, сіяетъ въ глазахъ и румянитъ щеки; у вторыхъ оно проявляется едва замѣтно, въ смиренной улыбкѣ, мягкихъ движеніяхъ, тихомъ, вкрадчивомъ голосѣ. Послѣдніе всегда опаснѣе; это тѣ самыя лица, о которыхъ говорятъ обыкновенно: „не клади пальца въ ротъ — откуситъ!“

## II.

Такъ какъ представился теперь удобный случай, не лишнимъ было бы короче познакомить читателя съ г. Воскресенскимъ.

Онъ былъ изъ духовнаго званія. Благодаря сердобольной помѣщицѣ того села, гдѣ жилъ его отецъ, онъ миновалъ семинарію и поступилъ въ уѣздное училище. Учился онъ плохо; его, безъ сомнѣнія, клали бы на скамью и сѣкли каждую субботу, еслибъ не выручали, съ одной стороны, крайне тщедушный видъ, но, главнымъ образомъ, хорошія отмѣтки въ благонравіи. Этимъ почти и ограничиваются свѣдѣнія о его дѣтствѣ. Неизвѣстно даже, кончилъ ли онъ или нѣтъ курсъ ученья. Несомнѣнно только, что девятнадцати лѣтъ онъ находился въ провинціи и пробивался своими средствами, переписывая по найму бумаги въ канцеляріи гражданскаго губернатора.

Губернаторъ былъ старъ и брюзгливъ, дѣтей не было, — супруга его тосковала. Подобно бо́льшей части тоскующихъ женъ, губернаторша сначала ѣздила по монастырямъ, но вскорѣ утомилась и предпочла искать удовлетворенія на почвѣ благотворительности; послѣднее, къ тому же, выставляло ее на видъ независимо отъ положенія мужа, — чего страстно добиваются многія, даже счастливыя жены, — и способствовало распространенію ея популярности въ губерніи.

Въ рвеніи своемъ она рѣдко обращала вниманіе на то, что безпрестанно отымала у мужа полезныхъ дѣятелей его канцеляріи; стоило опредѣлить кого-нибудь, — смотришь, онъ уже бѣгаетъ по дѣламъ губернаторши. „Ты, душенька, опять лишила насъ чуть ли не лучшаго писца!... Не помню, какъ его зовутъ, но только у него прекрасный почеркъ и правитель канцеляріи весьма имъ дорожилъ“... — А, знаю, — Воскресенскій, блѣдный такой... Найдешь себѣ другаго!... Онъ мнѣ очень нуженъ“, — возразила, не стѣсняясь, губернаторша.

Воскресенскій оказался дѣйствительно полезнымъ. Не считая хорошаго почерка, онъ отличался примѣрнымъ усердіемъ и аккуратностью. Куда бы ни шла губернаторша, онъ всегда былъ у нея на глазахъ; когда давались ему порученія, они исполнялись съ точностью и быстротою, которыя могли бы обратить на него вниманіе самого Аракчеева. Вскорѣ открылись еще другія качества. Благодаря ему, губернаторша стала вдругъ яснѣе видѣть въ дѣлахъ благотворительности, руководимыхъ ею; она узнала, гдѣ кроются злоупотребленія, провѣдала о томъ, кто болѣе или менѣе надеженъ, кого слѣдовало удалить, кого оставить пока подъ присмотромъ. Воскресенскій никогда, собственно, не наговаривалъ; смиренно держась въ сторонѣ, онъ ждалъ всегда настоятельныхъ вопросовъ, видимо стѣснялся тѣмъ, что долженъ былъ высказать; чаще всего онъ сожалѣлъ, старался даже оправдывать; въ концѣ концовъ выходило такъ, однакожъ, что лицо, о которомъ говорилось, всегда было кругомъ виновато. Онъ не замедлилъ выказать такую же дѣятельность при исполненіи личныхъ порученій по дому губернаторши и ея хозяйству: покупалъ, заказывалъ, чинилъ, подкрашивалъ и подклеивалъ, — словомъ, гораздъ былъ на всѣ руки. Послѣднее невольно приблизило его къ губернатору. Желая вознаградить чѣмъ-нибудь усердіе молодаго человѣка, онъ далъ ему одно изъ тѣхъ мѣстъ, которое, обезпечивая его въ матеріальномъ отношеніи, не мѣшало ему, вмѣстѣ съ тѣмъ, заниматься женины ми порученіями.

Мало-по-малу Воскресенскій,—котораго больше звали теперь Иваномъ Иванычемъ,—сдѣлался у губернатора чѣмъ-то въ родѣ „домашняго человѣка“. Способъ этотъ переходить къ частнымъ порученіямъ начальника и здѣсь преимущественно выказывать преданность и усердіе сдѣлался для Воскресенскаго правиломъ всей его жизни. Онъ съ первыхъ шаговъ понялъ, что такимъ способомъ всего успѣшнѣе проходятъ въ люди. Откуда взялось вдругъ тщеславіе у бѣднаго провинціальнаго писаря? Гдѣ заразился онъ желаніемъ выскочить изъ скромнаго своего положенія? Отвѣчать на это такъ же трудно, какъ указать вообще на источникъ чело-

вѣческихъ свойствъ и способностей; фактъ тотъ, что чѣмъ больше они прирождены у человѣка, тѣмъ всегда надежнѣе ихъ развитіе и, впослѣдствіи, упорнѣе ихъ дѣйствіе.

„Дорогой другъ,— неоднократно писала губернаторша брату, занимавшему въ Петербургѣ важный административный постъ,— мы только и слышимъ отъ васъ жалобы: людей нѣтъ! *Une vraie disette!*... Охотно вѣримъ. Въ Петербургѣ ихъ точно труднѣе найти; всему виною, конечно, испорченность нравовъ; но люди есть! Ихъ только надо искать въ глуши, въ нашей доброй провинціи, сохранившей пока еще—*Dieu merci!*—свои чистыя патріархальныя преданія. Мы уже не разъ писали тебѣ, что на этотъ счетъ не можемъ жаловаться; между прочимъ, мы нашли истинно драгоцѣннаго человѣка, — *une perle!* Способности, усердіе, честность, преданность—*rien n'y manque!*“

Бывая въ Петербургѣ, губернаторша расхваливала всякій разъ своего *protegé* съ такимъ увлеченіемъ, что братъ полюбопытствовалъ, наконецъ, взглянуть на „сокровище“. Особеннаго желанія у него не было; оно вырвалось вскользь, мимоходомъ, скорѣе чтобы сдѣлать удовольствіе сестрѣ. Но этого уже было достаточно. Мѣсяцъ спустя, Воскресенскій явился въ Петербургъ къ сановнику съ письмомъ отъ сестры и зятя.

Сановникъ былъ нѣсколько озадаченъ неожиданнымъ появленіемъ „сокровища“. Онъ совершенно забылъ о его существованіи и въ первое время рѣшительно не зналъ, что съ нимъ дѣлать и куда его дѣть.

На каждое открывшееся мѣсто были десятки кандидатовъ, не считая тѣхъ, о комъ настоятельно просили лица, которымъ отказать не только было трудно, но самому не было разсчета. Въ Петербургѣ оставалось тогда одно свободное мѣсто: исаакіевская площадь, но и ту уже думали занять садомъ. Въ желаніи скорѣе угодить сестрѣ, сановникъ поспѣшилъ отрекомендовать „сокровище“ одной знатной дамѣ, игравшей въ Петербургѣ ту же роль по части благотворительности, какою сестра его забавлялась въ провинціи.

Ивану Иванычу на роду, видно, было написано испытывать покровительство прекраснаго пола. Онъ самъ, впрочемъ, охотнѣе склонялся въ эту сторону; здѣсь почва была мягче и легче было ее обрабатывать.

Онъ и здѣсь точно также успѣлъ вскорѣ показать себя и сдѣлаться необходимымъ. Подходы были все тѣ же: смиреніе и преданность; къ нимъ присоединилась еще практичность, бывшая у него въ зародышѣ; но Петербургъ ее спрыснулъ и она развилась съ замѣчательной быстротою.

До появленія Воскресенскаго, пріюты, дешевыя столовыя, благотворительныя лотереи, богадѣльни и комитеты, находившіеся подъ покровительствомъ знатной дамы, шли изъ рукъ вонъ плохо. Горе заключалось не въ недостаткѣ дѣятелей: ихъ было сколько угодно; всѣ дамы, имѣвшія поводъ быть недовольными мужьями, осиротѣвшія вдовы, застарѣлыя тоскующія дѣвицы, всѣ наперерывъ стремились помогать общеполезному и благотворительному дѣлу; къ нимъ примыкалъ цѣлый легіонъ живой, воспріимчивой молодежи: но, сколько могъ замѣтить Иванъ Иванычъ, женскій полъ больше суетился и путалъ, молодые люди больше искали случая зацѣпить крестикъ или украситься камеръ-юнкерскимъ мундиромъ. „*C'est désespérant!!*“ — повторяла знатная дама, признаваясь, что начинаетъ уже, наконецъ, падать духомъ.

Духъ этотъ возстановилъ Воскресенскій, указавъ ей, смиренно и безъ шуму, на злоупотребленія и способы ихъ исправить. Безъ малѣйшаго намека съ его стороны, но по самому ходу дѣла и для выгоды послѣдняго, знатная дама нашла необходимымъ сдѣлать, какъ говорится, положеніе своему помощнику, т. е. опредѣлила его на службу и выхлопотала ему теплое мѣсто. Она не ошиблась въ разсчетѣ. Желая доказать свою признательность, Воскресенскій явился къ ней съ проектомъ о дозволеніи носить красныя панталоны лицамъ купеческаго званія въ обмѣнъ за пособія (въ проектѣ сказано было: посильныя пособія) въ пользу общества, имѣвшаго цѣлью *распространеніе нравственныхъ правилъ въ*

*низменныхъ классахъ петербургскаго населенія и преимущественно между ломовыми извозчиками.*

Проектъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Онъ давалъ дѣйствительно такія выгоды и преимущества, которыя легко могли подорвать существованіе множества другихъ благотворительныхъ и общеполезныхъ учрежденій. Предсѣдательницы самыхъ враждебныхъ лагерей, на этотъ разъ, соединились и единодушно возстали. Каждая, тѣмъ не менѣе, какъ только прошла буря, поспѣшила сблизиться съ составителемъ знаменитаго проекта. Онъ сдѣлался вскорѣ между дамами предметомъ зависти; каждая старалась притянуть его на свою сторону. Угождая всѣмъ, по мѣрѣ возможности, онъ, въ то же время, старался быть полезнымъ на службѣ. Чины и кресты шли своимъ чередомъ; онъ добивался того и другаго, но служба собственно не составляла прямой его цѣли: она была только средствомъ для пріобрѣтенія извѣстнаго положенія; послѣднее было необходимо, потому что давало возможность существеннѣе приносить пользу вліятельнымъ благотворительницамъ, которыя, въ свою очередь, существеннѣе помогали дѣлать карьеру. Въ дамскихъ кружкахъ популярность Ивана Иваныча росла съ каждымъ годомъ. Никакое новое общество, — если только оно возникало подъ знаменемъ милосердія, пользы и добра ближнему, — не могло обойтись безъ Воскресенскаго; участіе его служило гарантіей процвѣтанію. Многія общества возникли потому только, что основная мысль, проектъ и, наконецъ, самый уставъ принадлежали Ивану Иванычу.

Всѣмъ было, напримѣръ, очень хорошо извѣстно, что баронессѣ Букъ, трудившейся спеціально надъ устройствомъ карьеры безчисленныхъ ея родственниковъ и занимавшейся благотворительностью только для удобства свѣтскихъ сношеній, никогда не удалось бы устроить *общество для снабженія дешевыми игрушками дѣтей болгарскихъ семействъ, лишившихся родителей во время послѣдней войны*, еслибъ такой мысли не внушилъ ей Иванъ Иванычъ и не нашелъ денегъ для приведенія ея въ исполненіе. Никогда княгинѣ Зинзивѣевой не устроить бы *комиссіи для*

*предварительныхъ мѣръ противъ распространенія золотухи и родимчика между дѣтьми бѣднаго сельскаго населенія*, еслибъ не придумалъ этого Воскресенскій и также не нашелъ для этого денегъ.

Деньги доставлялись жертвователями; но жертвователей доставлялъ Иванъ Иванычъ, и, въ этомъ отношеніи, ему уже положительно цѣны не было. Всѣмъ извѣстно, съ какой трудностью достаются деньги; легче, кажется, взять пучокъ пуху и перекинуть его черезъ большую рѣку, чѣмъ заставить кого-нибудь добровольно вынуть бумажникъ и — здорово живешь — предложить крупный кушъ. Въ этомъ Иванъ Иванычъ не встрѣчалъ, повидимому, большаго затрудненія. Жертвователи какъ бы сами собою къ нему напрашивались.

Нельзя сказать, чтобы онъ обладалъ выдающимся краснорѣчіемъ. Когда онъ говорилъ въ комитетахъ, половины его рѣчи обыкновенно не было слышно; другая половина не представляла ничего особенно цицероновскаго; чаще всего было смертельно скучно. Когда же онъ говорилъ съ кѣмъ нибудь изъ нужныхъ ему людей съ глазу на глазъ, выходили совсѣмъ другіе результаты; онъ точно владѣлъ тогда чарующей силой убѣдительности. По мѣрѣ того, какъ онъ подвигался на служебномъ поприщѣ и, съ другой стороны, росло его вліяніе въ дамскихъ комитетахъ и на поприщѣ благотворительности, число жертвователей замѣтно возрастало. Къ нему постепенно стали являться купцы всѣхъ разрядовъ, промышленники, дѣятели всякаго рода, даже банкиры, — словомъ, всѣ тѣ, кто, не довольствуясь имѣть деньги, искалъ еще чего нибудь изъ благъ земныхъ.

Здѣсь, кстати, надо замѣтить, что Иванъ Иванычъ самъ по себѣ былъ безкорыстенъ. Руководителемъ его сближеній съ богатыми людьми, безцеремоннымъ обираніемъ у нихъ денегъ служила только тщеславная цѣль возвышенія и проникновенія путемъ благотворительности, общественной пользы, добрыхъ намѣреній, любви къ человѣчеству. У него, какъ у всякаго истиннаго мастера, вскорѣ образовались ученики; изъ нихъ возникла цѣлая школа

новыхъ дѣятелей, нерѣдко злоупотреблявшихъ своимъ положеніемъ. Самъ же Иванъ Иванычъ оставался съ этой стороны безупречнымъ. Онъ довольствовался своимъ жалованьемъ и жилъ весьма скромно. Но самое это безкорыстіе незамѣтно помогало ему приближаться къ намѣченной цѣли; оно трогало женскія сердца, увеличивало число поклонниковъ и всѣмъ имъ служило оружіемъ для защиты Ивана Иваныча противъ враговъ и завистниковъ.

Начальство Воскресенскаго посматривало иногда недоброжелательно на его успѣхи.

— Воля ваша, Воскресенскій слишкомъ уже, кажется, злоупотребляетъ вашей снисходительностью! — говорили начальнику, — день-деньской трется между юбками и не выходитъ изъ дамскихъ благотворительныхъ засѣданій и комитетовъ...

— Что-жъ дѣлать?

— Какъ что? Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, служить и, въ то же время, заниматься десятками дѣлъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ служебнымъ обязанностямъ; положимъ, ему тамъ выгоднѣе; его гложетъ тщеславіе, онъ ищетъ популярности и находитъ ее... но это не резонъ. Вопросъ такъ ставится: „Любишь, душенька, получать жалованье и казенную квартиру?“ — „Люблю!“ — „Въ такомъ случаѣ одно изъ двухъ: выбирай службу или благотворительность!...“

— Но онъ мнѣ нуженъ, — возражалъ начальникъ.

— Въ чемъ же?

— Находчивъ! — ворчливо заключалъ начальникъ, вертясь на своемъ креслѣ и какъ бы желая отъ него оторваться, но не имѣя на это силы.

И онъ былъ правъ. Въ критическіе моменты не разъ выручала его находчивость Воскресенскаго. Въ цѣломъ министерствѣ не было человѣка, болѣе способнаго отыскать съ такою быстротою какую угодно справку, сочинить за одинъ присѣстъ докладную записку о чемъ угодно и кому угодно.

И, наконецъ, еслибъ вздумалось кому нибудь существенно

придраться къ Ивану Иванычу и пожелать сдвинуть его съ мѣста, теперь не такъ уже легко было это сдѣлать.

Съ одной стороны, пришлось бы поднять на ноги чуть ли не половину женскаго населенія столицы, съ другой — пришлось бы воевать съ графиней Можайской, которая, сама по себѣ, опаснѣе была всѣхъ остальныхъ. Съ нѣкоторыхъ поръ она явно покровительствовала Ивану Иванычу. Покровительство выразилось тѣмъ, что Воскресенскій вскорѣ оставилъ занимаемое имъ мѣсто и нашелъ другое, болѣе видное, подъ начальствомъ брата графини.

Онъ былъ представленъ графинѣ въ началѣ своей благотворительной дѣятельности, вскорѣ послѣ шума, надѣланнаго проектомъ *о красныхъ панталонахъ*. Графиня остановила на немъ проницательные глаза и сказала: „Прекрасно; смотрите, только не пересаливайте!“... Слова эти врѣзались ему въ память; онъ, въ самомъ дѣлѣ, сталъ съ тѣхъ поръ осторожнѣе. Ближайшему знакомству помогли,—какъ было въ его молодости при губернаторшѣ,—услуги, доказавшія графинѣ его преданность.

Графиня осталась въ дѣвушкахъ и пережила свою шестидесятилѣтнюю весну. Въ женскомъ персоналѣ знатнаго общества не было существа болѣе своеобразнаго; избѣгая лицъ своего пола, она исключительно почти вращалась въ кругу мужчинъ, выбирая тѣхъ, кто былъ умнѣе и сильнѣе. Не стѣсняясь никакимъ положеніемъ, она каждому рѣзко и смѣло высказывала въ глаза всю правду; ее слушали, потому что каждый за себя опасался. Къ рѣзкости ума присоединялась проницательность, часто приносившая пользу тому, кто умѣлъ ей понравиться. Крайне деспотическая и тщеславная, она, въ то же время, презирала интригу, и, въ общей сложности, въ ней было больше склонности къ добру, чѣмъ могло казаться съ перваго взгляда. Но добро, которое она могла дѣлать съ ея состояніемъ, мало-по-малу стало ограничиваться совѣтами и пожеланіями; съ лѣтами въ ней развилась скупость и страсть къ деньгамъ. Слыша неоднократно отъ баронессы Букъ, насколько Воскресенскій распространенъ былъ

въ кругу денежныхъ людей и самъ былъ свѣдущъ въ финансовыхъ операціяхъ, графиня пожелала короче съ нимъ познакомиться. Двѣ-три удачныя покупки и перепродажи цѣнныхъ бумагъ пріобрѣли ему ея расположеніе. Со свойственной ему осторожностью, онъ, надо замѣтить, никогда лично не дѣйствовалъ; онъ обращался къ тѣмъ, кто былъ надежнѣе и ловчѣе, шепталъ только на ухо, для кого предстояло дѣйствовать, и дѣло всегда увѣнчивалось успѣхомъ. Такъ постепенно вошелъ онъ въ довѣріе графини и подъ конецъ сдѣлался ея совѣтчикомъ.

Случай окончательно помогъ ему въ этомъ.

Графиня уѣзжала за границу заказывать приданное для племянницы. Наканунѣ отъѣзда она пригласила Ивана Иваныча.

— У меня къ вамъ просьба...

— Приказывайте, ваше сіятельство, — наклоняя голову и смиренно опуская глаза, проговорилъ Иванъ Иванычъ.

— Вы знаете, я завтра уѣзжаю; у меня накопилось двадцать восемъ тысячъ; я не хотѣла бы брать ихъ съ собою: опасно и, притомъ, если возьму, непремѣнно истрачу... Мы, женщины, только это и умѣемъ дѣлать...

„Знаю, голубушка, какъ ты это умѣешь; меня еще, пожалуй, научишь“...—подумалъ Воскресенскій, продолжая сохранять почтительную позу.

— Прошу васъ, Иванъ Иванычъ, возьмите отъ меня эти деньги и сберегите ихъ до моего возвращенія... или сдѣлайте изъ нихъ что-нибудь...

— До глубины души тронутъ довѣріемъ вашего сіятельства, но не скрою отъ васъ: вы изволите возлагать на меня трудную обязанность... Чужія деньги... это... это... И вообще...—продолжалъ Воскресенскій, принимая строго-озабоченный видъ,—вообще денежныя дѣла у насъ теперь такъ шатки, такъ невѣрны... биржа въ постоянномъ колебаніи...

— Все это можетъ быть, только, вы знаете, я не люблю отказовъ...

— Если вы непремѣнно этого желаете... не смѣю противиться...

Воскресенскій принялъ пакетъ, сосчиталъ деньги и, уложивъ ихъ въ карманъ, явился на другой день провожать графиню.

Но графиня передъ отъѣздомъ разсчитала расходныя свои деньги до такой степени въ обрѣзъ, что, спустя двѣ недѣли, принуждена была написать Воскресенскому о высылкѣ еще трехъ тысячъ. За этимъ письмомъ Воскресенскій получилъ другое съ такимъ же требованіемъ.

Возвратясь въ Петербургъ уже къ осени, графиня немедленно попросила къ себѣ Воскресенскаго.

— Мнѣ совѣстно смотрѣть на васъ, Иванъ Иванычъ, сказала она, пристально, тѣмъ не менѣе, глазами авгура посматривая на собесѣдника, казавшагося печальнымъ и разстроеннымъ,— право, совѣстно... Я, впрочемъ, говорила вамъ: мы, женщины, умѣемъ только мотать... И ужъ этотъ Парижъ! Это просто ужасно!...

— Да, графиня, да... это ужасно,—произнесъ Иванъ Иванычъ съ выраженіемъ сосредоточенной грусти.

— Не тяните, пожалуйста, говорите прямо: что вы сдѣлали?

— Немного, графиня... я едва...

— Я это предчувствовала! — перебила графиня, сдвигая брови.

— Я имѣлъ честь докладывать вамъ передъ отъѣздомъ о томъ, какъ вообще шатки наши денежныя дѣла, какъ мало можно теперь полагаться на биржу...

— Ахъ какъ тянетъ, какъ тянетъ!—воскликнула графиня, судорожно перебирая сухими пальцами,—ну!...

Воскресенскій поднялъ глаза, едва примѣтно улыбнулся и произнесъ, подавая пакетъ:

— Здѣсь все, что удалось мнѣ сохранить и сдѣлать изъ вашихъ денегъ...

Въ пакетѣ оказалась тридцать одна тысяча.

Съ этого дня къ Воскресенскому перешло управленіе по всѣмъ дѣламъ не только графини, но и графа.

Послѣднее было легче, такъ какъ графъ, въ противоположность сестрѣ, меньше жилъ на землѣ, чѣмъ витали на высотахъ, куда занесли его отчасти особенныя обстоятельства, отчасти куда онъ самъ себя вознесъ, искренно вѣруя въ величіе своего призванія. Чѣмъ очевиднѣе доказывала служебная карьера, что графъ, получивъ въ наслѣдство отъ матери ея доброе сердце и мягкій нравъ, не унаслѣдовалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ отца его блестящихъ способностей, тѣмъ упорнѣе было его стремленіе къ разрѣшенію высшихъ вопросовъ, клонившихся ко благу отечества и преуспѣванію его силъ извнѣ и во внутреннемъ строѣ.

Не проходило года безъ того, чтобъ графъ не подавалъ какого нибудь проекта, имѣвшаго ближайшею цѣлью спасти ту или другую часть государства. Но потому ли, что въ проектахъ приводились по большей части идеальныя мысли, не отвѣчавшія сухимъ условіямъ практическаго вѣка, потому ли, что въ самомъ способѣ изложенія мыслей заключалось меньше ясности, чѣмъ красоты слога, проекты графа оставались безъ всякаго примѣненія и всегда складывались въ архивъ.

Ошибочно было бы думать, что лица, пользующіяся высокимъ почетомъ въ свѣтѣ, пользуются тѣмъ же почетомъ въ кругу служебныхъ дѣятелей; имъ здѣсь точно также кланяются и выказываютъ знаки вниманія, но только до той минуты, пока они не начнутъ излагать своихъ соображеній; какъ только дѣло доходитъ до соображеній, почтительное выраженіе на лицахъ мгновенно смѣняется тоскою и унынiемъ, взглядъ слушателя становится разсѣяннымъ и начинаетъ какъ бы искать чего-то на сторонѣ, на губахъ появляется та же снисходительная улыбка, съ какою прислушиваются обыкновенно къ невинному дѣтскому лепету. Словомъ, положеніе здѣсь совсѣмъ не то, что въ свѣтѣ.

Странно было то также, что умственный взоръ графа, задумчиво всегда устремлявшійся къ дальнимъ горизонтамъ, приводилъ его чаще всего къ самымъ мелочнымъ вопросамъ жизни.

Умъ у него былъ изобрѣтательный, но свойства ума приводили къ изобрѣтеніямъ, которыя начинались всегда какъ-то съ хвоста, доходили до туловища и никогда не кончались головою; они никогда не стояли плотно на ногахъ, но больше ходили на рукахъ, а ноги были кверху; въ основѣ преобладала всегда добрая мысль, но ее всегда портилъ оттѣнокъ чего-то недодѣланнаго и дѣтскаго. Вдругъ неожиданно возникла мысль: облегчить тяжесть ломовыхъ лошадей или содѣйствовать къ уничтоженію таракановъ и клоповъ въ избахъ бѣдныхъ поселянъ. Онъ самъ очень хорошо сознавалъ, что все это была мелочь; но серьезныя его предложенія не встрѣчали сочувствія и не принимались; умъ, между тѣмъ, постоянно возбуждавшійся желаніемъ добра и пользы отечеству, настоятельно требовалъ дѣятельности.

Въ этотъ самый періодъ разочарованія, Воскресенскій особенно пришелся по вкусу графа. Не прошло года, графъ сидѣлъ въ благотворительности, какъ птица сидитъ въ клѣткѣ. Онъ нашелъ въ ней утѣшенія, которыхъ тщетно искалъ въ государственной службѣ; она открыла передъ нимъ новые горизонты, давала новую пищу не только головѣ, но и сердцу. Въ тотъ же годъ основано было нѣсколько новыхъ комиссій для различнаго рода содѣйствій и развитія. Покровительство графа вскорѣ распространилось и на другія общеполезныя благотворительныя учрежденія, школы, училища, богадѣльни. Дамы покровительницы и предсѣдательницы, подстрекаемыя Иваномъ Ивановичемъ, всюду встрѣчали графа съ распростертыми объятіями. Портретъ его, изданный по подпискѣ между служащими, которымъ Воскресенскій шепнулъ на ухо, не замедлилъ украсить на видномъ мѣстѣ стѣны множества заведеній. Графъ былъ, наконецъ, оцѣненъ и, главное, понятъ. Въ усердіи своемъ онъ, прежде всего, обратилъ зоркій взоръ на экономовъ; имъ въ первое время житья не стало. Графъ неожиданно налеталъ во время обѣда, и Боже сохрани, если сиротская каша отзывалась тухлымъ! „Вонъ, сейчасъ вонъ! Вонъ безъ разсужденій!“ Взамѣнъ этого онъ не зналъ, какъ обласкать и куда посадить великодушныхъ людей, являвшихся къ нему съ пожертвова-

ніями на общественную пользу. Онъ награждалъ ихъ широкою рукой, охотно всегда удовлетворяя ихъ просьбамъ, которыя подносились обыкновенно Воскресенскимъ при докладѣ.

Увлеченіе графа въ пользу благотворительности не приносило малѣйшаго вреда административной машинѣ, находившейся подъ его управленіемъ. Дѣла шли своимъ чередомъ. Машина, заведенная его предшественникомъ, продолжала неустанно работать, выпуская ежедневно сотни нумеровъ бумаги, исписанной самымъ отборнымъ почеркомъ. Съ этой стороны графъ былъ совершенно покоенъ. Его несравненно больше озабочивалъ новый проектъ. Инициатива проекта принадлежала Ивану Ивановичу, но обработка деталей всецѣло принадлежала графу. Уже само названіе: *О всеобщемъ, всестороннемъ распространеніи благотворительности въ Россійскомъ государствѣ*, достаточно указывало на важность проекта.

Суть его заключалась въ устройствѣ обширнаго *центральнаго образцоваго учрежденія*, управленію котораго должны были подчиниться всѣ общеполезныя и благотворительныя общества не только обѣихъ столицъ, но самыхъ отдаленныхъ угловъ провинціи. Центромъ учрежденія былъ образцовый пріютъ для взрослыхъ и малолѣтнихъ неимущаго населенія. Вокругъ группировались три разряда школъ и мастерскихъ по степенямъ возраста, музеумъ для образованія изящнаго вкуса, складъ и магазины для сбыта предметовъ производства, но съ тѣмъ, чтобы выручаемыя деньги шли частью на покрытіе расходовъ, частью служили основаніемъ эмеритальной кассы для тѣхъ изъ воспитанниковъ, которые выкажутъ особое благонравіе. Въ нижнемъ этажѣ помѣщались службы, кухня, столовая и складъ для бѣлья и одежды; одинъ изъ флигелей втораго этажа на солнечной сторонѣ предназначался для пріема грудныхъ дѣтей и кормилицъ, другой для классныхъ комнатъ и спаленъ мужскаго дѣтскаго отдѣленія. Средній дворъ предполагалось покрыть стекляннымъ куполомъ для защиты дѣтей и ихъ воспитателей отъ дурной погоды во всякое время года. Здѣсь устроивался дѣтскій садъ, имѣвшій двоякую цѣль: въ серединѣ помѣщались всѣ новѣйшія приспособленія, игры, гимнастика, содѣй-

ствующія физическому развитію; по стѣнамъ развѣшивались картины и печатныя правила такого содержанія, которое непосредственно должно было улучшать нравственныя чувства питомцевъ. Уголъ зданія оканчивался церковью и помѣщеніемъ для причта; противоположный уголъ отдавался канцеляріи; рядомъ была зала совѣта. Отсюда уже „живительными благотворительными лучами“,—такъ сказано было въ проектѣ,—должны были расходиться во всѣ стороны распоряженія и предписанія, которыми предполагалось руководить дѣйствіями всѣхъ остальныхъ благотворительныхъ обществъ имперіи.

Расходъ по исполненію проекта отвѣчалъ величавости его размѣровъ. Но деньги стали являться какъ бы по волшебству. Особенно великодушно выказали себя въ настоящемъ случаѣ купцы хлѣбородныхъ губерній, сибиряки и евреи. Между послѣдними нашлись такіе, которые не удовольствовались единовременнымъ вкладомъ, но обязались еще поддерживать новое учрежденіе ежегодными взносами. Одинъ купецъ, обращавшійся письменно къ Ивану Ивановичу по какому-то дѣлу, сразу пожертвовалъ пятьдесятъ тысячъ.

Иванъ Ивановичъ, знавшій по опыту, что всякое чувство,— не включая великодушія, — требуетъ для своего проявленія извѣстной степени возбужденія, исподволь подготовлялъ для такихъ случаевъ особыхъ спеціалистовъ. Въ числѣ ихъ, какъ самый способный, считался нѣкто Блиновъ, человѣкъ мелкаго купеческаго состоянія, но съ юности одержимый страстью къ вицмундирной формѣ, чинамъ и знакамъ отличія. Поощряя Блинова, выводя его въ люди, Иванъ Ивановичъ не столько вознаграждалъ его заслуги, сколько воодушевлялся желаніемъ выставить Блинова, какъ живой примѣръ того, куда можетъ привести истинное усердіе человѣка простаго званія. Появленіе Блинова въ кругу купечества производило магическое дѣйствіе. Стоило ему, по методѣ Ивана Ивановича, отвести въ сторону любаго, шепнуть нѣсколько словъ, смотришь: тамъ, гдѣ ничѣмъ въ мірѣ нельзя было выманить алтына, тысячи вылетали, какъ стая испуганныхъ воробьевъ. Искусство Блинова

часто приводило къ тому, что купецъ пожертвуетъ, да еще въ придачу задастъ на свой счетъ роскошный завтракъ или обѣдъ при открытіи учрежденія, или соберетъ подписку для поднесенія ему же, Блинову, цѣннаго подарка или жетона съ его шифромъ, выведеннымъ брилліантами. Разъ даже жертвователями предложена была стипендія имени Блинова. Словомъ, денегъ нашлось въ достаточномъ количествѣ. Городъ, — великодушный, какъ всегда, когда умѣютъ подойти къ нему близко, начавъ издалека, на что Иванъ Иванычъ былъ такой мастеръ, — пожертвовалъ съ своей стороны землю на Выборгской.

Затѣмъ образовались два совѣта: одинъ — *строительный*, другой — *наблюдательно-административный*, уже подъ предсѣдательствомъ графа.

Въ скоромъ времени послѣдовала закладка, сопровождавшаяся, какъ водится, завтракомъ, на которомъ сказано было нѣсколько короткихъ, но глубоко-прочувствованныхъ рѣчей.

Благодаря неусыпной дѣятельности Ивана Иваныча, которому, во всемъ этомъ, какъ самъ онъ говорилъ, ничего не нужно было, „кромѣ того, чтобы удостоиться быть выбраннымъ въ церковные старосты“, зданіе черезъ годъ стояло уже подъ крышей. Спустя еще годъ, оно было совершенно готово. Оставалось только покончить съ украшеніями церкви; они, главнымъ образомъ, и задерживали открытіе. Но въ этомъ нельзя было винить Воскресенскаго. Вина всецѣло падала на архитектора, человѣка прекраснаго во всѣхъ отношеніяхъ, но, къ сожалѣнію, стараго и, притомъ, задавшагося несчастной мыслью выстроить церковь въ греко-византійскомъ стилѣ, требовавшемъ весьма кропотливой детальной раскраски.

Переговорить объ этомъ обстоятельствѣ имѣлось, между прочимъ, въ виду у Ивана Иваныча, когда онъ утромъ ѣхалъ къ графу съ докладомъ.

## III.

— Ваше превосходительство, его сіятельство просятъ васъ пожаловать въ уборную! почтительно проговорилъ камердинеръ, отворяя обѣ половинки двери въ кабинетъ графа.

Воскресенскій взялъ безъ торопливости со стола портфель и сигарный ящикъ и направился черезъ кабинетъ къ маленькой лакированной двери; она провела его въ просторную комнату, обитую ситцемъ, на образецъ палатки; мягкій синій коверъ покрывалъ полъ; свѣтъ въ нижней части оконъ смягчался голубою тафтою; большія складныя ширмы, обитыя тѣмъ же ситцемъ, какъ стѣны и потолокъ, заслоняли кровать и туалетныя принадлежности, распускавшія запахъ одеколона.

Въ большихъ стеганныхъ креслахъ, передъ столомъ съ знакомымъ чайнымъ приборомъ, сидѣлъ графъ. Ему было шестьдесятъ лѣтъ, но онъ прекрасно еще сохранился; статный, свѣжій, въ высшей степени представительный, онъ въ молодости осуществлялъ типъ красавца-мужчины. Лучшимъ украшеніемъ его круглаго, гладко выбритаго лица была однакоже, безспорно, его добрая, сіяющая улыбка; она справедливо заслужила ему прозвище *именинника*. Графъ не могъ только сохранить волосъ; они замѣнялись чернымъ парикомъ, приправленнымъ на старый фасонъ съ завитками у висковъ и хохликомъ на маковкѣ. Графъ былъ въ бѣломъ галстухѣ, едва отдѣлявшемся на его бѣлой полной шеѣ, и въ длинномъ до пятъ коричневомъ сюртукѣ, представлявшемъ нѣчто среднее между пальто и халатомъ.

— Здравствуйте, Иванъ Иванычъ! Какая сегодня погода?

Въ прежнее время Иванъ Иванычъ непремѣнно бы отвѣтилъ: „Какая будетъ угодна вашему сіятельству“, но теперь сказалъ только, что погода прекрасная.

— Садитесь, проговорилъ графъ, пожимая кончикъ руки Воскресенскаго двумя полными бѣлыми пальцами съ короткими квадратными ногтями.

При всемъ довѣріи и уваженіи къ вошедшему, графъ никогда не могъ предолѣть себя и жать полною ладонью руку Воскресенскаго; влажная и холодная во всякое время, она дѣйствительно дѣлала такое впечатлѣніе, какъ будто въ ладонь вскакивала лягушка.

— Что это у васъ? спросилъ графъ, указывая глазами на сигарный ящикъ.

— Дѣти старшаго отдѣленія сиротскаго пріюта просятъ ваше сіятельство осчастливить ихъ принятіемъ ихъ посильнаго труда, произнесъ Воскресенскій, улыбаясь невинности дѣтской затѣи.— Представить себѣ нельзя, съ какимъ усердіемъ, съ какимъ увлеченіемъ они работали!

— Неужели они сами это сдѣлали? сказалъ графъ, разсматривая ящикъ.

— Сами, ваше сіятельство; сами составили рисунокъ, сами рѣзали, сами выпиливали шарньеры, сами дѣлали замокъ...

— Искусно! проговорилъ графъ, — даже стиль есть...

— Самая затѣя, самая мысль преподнести ихъ трудъ вашему сіятельству принадлежитъ имъ...

— Ну, ужъ признайтесь, мысль вы подали...

— Могу увѣрить васъ...

— Не отказывайтесь, знаю, что вы!...

Несмотря на мягкость нрава, графъ, надо замѣтить, былъ сильно упрямъ, — свойство, которому онъ присвоилъ значеніе твердости характера, — въ чемъ не отличался, впрочемъ, отъ множества смертныхъ, обманывающихъ себя точно также, принимая синицу за ястреба.

Увидѣвъ толстый портфель въ рукахъ Воскресенскаго, графъ произнесъ съ испуганнымъ видомъ: „уфъ!“ — и погрузился въ глубину кресла. Иванъ Иванычъ поспѣшилъ его успокоить, сказавъ, что такъ какъ сегодня пріемный день, онъ ни за что бы не рѣшился обременять графа особенно труднымъ докладомъ; онъ умышленно явился рано, съ тѣмъ, чтобы облегчить графу, насколько возможно, хлопотливое утро. Ему необходимо было,

однакоже, воспользоваться свободнымъ временемъ, чтобы поговорить насчетъ постройки *образцоваго центральнаго пріюта.*

— Да, да. Ну, что, какъ тамъ у насъ идетъ? Двигается ли, наконецъ? спросилъ графъ, снова оживляясь и озабоченно надвигая брови.

— Все идетъ прекрасно, ваше сіятельство, одно задерживаетъ: церковь! Зиновьевъ вполнѣ достойный, вполнѣ прекрасный человѣкъ... даже съ талантомъ... Одна бѣда съ нимъ: крайне копотливъ! Затѣялъ тогда этотъ византійскій стилъ...

— Не говорите; стиль этотъ прекрасенъ для православнаго храма!

— Чего же лучше, ваше сіятельство! воскликнулъ Иванъ Иванычъ, — только съ нимъ соединяется множество украшеній. Позолота и раскраска требуютъ много времени... Къ тому же, прибавилъ онъ вкрадчиво, — надо взять въ разсчетъ лѣта Зиновьева...

— Лѣта не мѣшаютъ дѣлу, перебилъ графъ. — Скажите ему, чтобъ онъ ко мнѣ явился.

— Я уже предупредилъ его; онъ сегодня будетъ у вашего сіятельства.

— Надо, однакоже, почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ... надо объ этомъ серьезно подумать... Такъ невозможно!...

— Очень затруднительно, ваше сіятельство, — сказалъ Воскресенскій, дѣлая безнадежный жестъ.

— Затрудненій не должно быть въ такомъ важномъ дѣлѣ! оживляясь, заговорилъ графъ. — Я очень цѣню Зиновьева; жаль было бы его лишиться: почтенный человѣкъ! Много трудился, много работалъ! Надо будетъ какъ нибудь его урезонить, уговорить... Можно будетъ, наконецъ, дать ему помощниковъ... Это лучше всего!... Есть ли у васъ кто-нибудь на примѣтѣ, Иванъ Иванычъ?

При такомъ вопросѣ Воскресенскій только улыбнулся.

— Стоитъ только пожелать вашему сіятельству... — проговорилъ онъ съ видомъ покорности.

Графъ покачалъ головою.

— У васъ есть еще что-нибудь? спросилъ онъ, какъ только Иванъ Иванычъ снова взялся за портфель.

— Да; я хотѣлъ представить вамъ небольшую докладную записку насчетъ молодаго графа...

— Ахъ, да, ну что, какъ онъ теперь? Занимается ли у васъ сколько нибудь?

Дѣло шло о единственномъ сынѣ графа, девятнадцатилѣтнемъ юношѣ, посланномъ отцу въ наказаніе за невѣдомыя прегрѣшенія.

Со дня его рожденія, причинившаго кончину матери, до десятилѣтняго возраста, ребенокъ безпокоилъ отца нескончаемыми болѣзнями, не смотря на тщательный уходъ швейцарскихъ и англійскихъ боннъ и нянюшекъ. Съ десятилѣтняго возраста, когда пришлось отдать графчика въ мужскія руки, гувернеры не переставали надоѣдать графу сообщеніями о томъ, что сынъ его имѣетъ положительное отвращеніе къ занятіямъ; виною всему, по ихъ мнѣнію, было болѣзненное дѣтство, остановившее нормальное развитіе умственныхъ способностей. Пріисканъ былъ нѣмецъ, патентованный педагогъ. Мальчику минулъ тогда пятнадцатый годъ и онъ началъ какъ будто подавать надежды. Разъ какъ-то, проспавъ позже обыкновеннаго, педагогъ нигдѣ не могъ найти своего воспитанника. Онъ былъ остороженъ и не поднялъ тревоги; испугъ его превратился въ негодованіе, когда воспитанникъ, возвратясь уже къ обѣду, спокойно объявилъ, что возпользовался его сномъ, чтобы съѣздить на скачки вмѣстѣ съ двоюродными братьями. Графчикъ прибавилъ, что если педагогъ пожалуется отцу, пѣсня его будетъ спѣта — ему откажутъ; если же онъ согласится дать ему полную свободу дѣйствій, молодой человѣкъ обѣщалъ показать такія чудеса прилежанія, послѣ которыхъ для отца и тётки сдѣлается обязательнымъ устроить карьеру педагога. Наставникъ вспыхнулъ и на другой же день отказался отъ должности.

Графъ-отецъ, поглощенный своими проектами, принужденный проводить дни въ комитетахъ, комиссіяхъ и совѣщаніяхъ, положительно не имѣлъ времени заниматься сыномъ. Ему не разъ

случалось подниматься въ спальную молодаго графа и крестить рядъ подушекъ, прикрытыхъ одѣяломъ, въ то время, какъ тотъ, который долженъ былъ лежать въ постели, находился за тридевять земель отъ своего ложа. Графъ-отецъ очнулся настоящимъ образомъ тогда только, когда пришлось платить за сына первый долгъ. Слѣдуя совѣту сестры, онъ опредѣлилъ его на службу; но и здѣсь опять ничего не вышло. Графчикъ успѣлъ уже попасть въ тотъ заколдованный кругъ золотой молодежи, географія котораго извѣстна: къ сѣверу ресторанъ Дюссо; къ югу ресторанъ Бореля; къ западу Большой театръ и балетъ; къ востоку загородный ресторанъ Дорота съ кокотками и цыганками. Служба была здѣсь другаго рода, также, повидимому, не легкая. Доказательствомъ могла служить заблаговременно истощенная фигурка графчика; когда онъ стоялъ на ногахъ, казалось всегда, что онъ держится только на однихъ панталонахъ; особенно поражало лицо его, состоявшее изъ мелкихъ незамѣтныхъ чертъ, покрытыхъ зеленоватой блѣдностью и морщинками, какъ у ребенка, одержимаго собачьей старостью. Лицо это окончательно принимало жалкій видъ, когда графчикъ входилъ здороваться съ тётушкой, встрѣчавшей его всегда однимъ и тѣмъ же вопросомъ: „Здоровы ли твои кокотки?“ Слова эти повергали всегда юношу въ крайнее смущеніе.

Рѣшительно уже на зная, что дѣлать съ сыномъ, графъ-отецъ рѣшился переговорить съ Воскресенскимъ, какъ человѣкомъ вполнѣ преданнымъ, вѣрнымъ и притомъ практическимъ. Иванъ Иванычъ предложилъ перевести молодаго человѣка на службу въ другой департаментъ и подъ личное его наблюденіе. Онъ ни въ чемъ не ручался, но обѣщалъ приложить стараніе и надѣялся.

Вотъ объ этомъ-то молодомъ человѣкѣ пришлось теперь вести рѣчь.

— Признаюсь, всякій разъ, какъ дѣло касается моего сына, я могу вамъ откровенно сказать: мною невольно овладѣваетъ безпокойство, — произнесъ графъ.

— Молодъ еще, ваше сіятельство, молодъ! Въ этомъ вся бѣда, смѣю васъ увѣрить. Молодому человѣку, прежде всего, слѣдуетъ дать занятіе, которое было бы ему сочувственно.

— Я самъ такъ думалъ. Вы прекрасно это сказали, Иванъ Иванычъ; именно: сочувственно!

— Я придумалъ назначеніе для молодаго графа...

— Ба! — радостно воскликнулъ графъ.

— Если вамъ угодно будетъ выслушать эту докладную записку...

— Оченъ радъ, мой милый, очень радъ.

Графъ скрестилъ свои бѣлые пальцы и уложилъ руки на грудь.

Иванъ Иванычъ кашлянулъ въ свою мокрую ладонь и прочелъ внушительнымъ голосомъ: „Съ присоединеніемъ кавказскихъ областей къ общему строю Россійскаго государства, ежедневно открываются въ этомъ краѣ новыя неисчислимыя природныя богатства. Въ числѣ таковыхъ нельзя упускать изъ вида обширныхъ лѣсовъ пробковаго дерева, драгоцѣннаго особенно въ томъ отношеніи, что оно произростаетъ въ странѣ винодѣлія, встрѣчающей главное препятствіе для перевоза вина въ Россію — въ недостаткѣ пробки. Развивая у себя дома эту полезную отрасль и тѣмъ способствуя кавказскимъ винодѣламъ сбывать вина во всѣ части государства, достигаются двѣ цѣли: 1) сокращается крайне убыточный расходъ мѣстныхъ производителей, вынужденныхъ затрачивать значительныя суммы для добыванія пробки изъ-за границы; 2) возможность наложить тогда усиленный тарифъ на ввозъ заграничной пробки и тѣмъ усилить государственные доходы. Посему полезно было бы, для начала, командировать довѣренное лицо, хотя бы на югъ Франціи, спеціально съ цѣлью изученія на мѣстѣ пробочнаго производства и, по доставленіи имъ необходимыхъ о томъ свѣдѣній, командировать его, снабдивъ надлежащими инструкціями, на Кавказъ, для водворенія уже въ этой части Россіи новой, столь полезной отрасли..."

— И вы думаете послать сына? — спросилъ удивленный графъ.

— Всенепремѣнно, ваше сіятельство, если только вамъ угодно будетъ на это согласиться, прибавилъ скромно Иванъ Иванычъ.

— И вы полагаете, онъ будетъ способенъ?

— Не сомнѣваюсь. Молодому графу будутъ даны всевозможныя инструкціи и указанія. Ручаюсь вамъ, такая поѣздка будетъ ему столько же полезна въ нравственномъ, сколько въ умственномъ отношеніи; молодой человѣкъ освѣжится, провѣтрится; она разовьетъ въ немъ сознаніе труда и пользы...

— Мысль прекрасная, — разсѣянно проговорилъ графъ. — Дѣйствительно, куда ни посмотришь, у насъ вездѣ непочатый край! Тотъ грекъ... какъ бишь его?... забылъ его имя... правду сказалъ: стоитъ только у насъ плюнуть на землю, чтобы выросла пальма... Что же касается сына, подхватилъ онъ, — мнѣ приходитъ такая мысль: не повредитъ ли эта поѣздка, — если только она состоится, — не повредитъ ли она другому кому-нибудь? Обдумайте это хорошенько: другой, можетъ быть, былъ бы полезнѣе...

— Другаго мы можемъ потомъ послать на Кавказъ уже для водворенія производства, возразилъ, всегда находчивый, Иванъ Иванычъ. — Наконецъ, ваше сіятельство, у меня все это уже обдумано... У меня нѣтъ праздныхъ молодыхъ людей: каждый при своемъ дѣлѣ.

— Хорошо, мы объ этомъ еще поговоримъ; надо подумать. Куда же вы, Иванъ Иванычъ? подхватилъ онъ, увидя, что собесѣдникъ приподымается съ мѣста. — Развѣ у васъ есть еще какое-нибудь дѣло?

— Ничего особеннаго, ваше сіятельство, въ настоящую минуту. До пріема я хотѣлъ только зайти къ графинѣ. Послѣ сейчасъ же надо будетъ отправиться къ купцу Галкину; огромное состояніе: надо захватить, пока еще не скончался...

— Какъ такъ?

— Говорятъ, умираетъ; лучшее время для пожертвованія; невозможно упустить случая...

Графъ не возражалъ, зная, насколько практичность Ивана Иваныча была плодотворна для цѣлей добра и пользы.

Послѣ его ухода онъ долго еще сидѣлъ въ креслѣ и попеременно то задумывался, когда вспоминалъ о сынѣ, то снова начиналъ улыбаться, когда припоминалъ о новыхъ природныхъ богатствахъ, открывавшихся на почвѣ отечества.

---

## IV.

Иванъ Иванычъ, между тѣмъ, направлялся на половину графини. Онъ на секунду остановился только въ пріемной, чтобы захватить мозаическій рабочій несессеръ.

Лакей, дежурившій у двери графини, сказалъ ему, что графиня не одна; къ ней только что пріѣхала г-жа Шилохвостова.

Сдѣлавъ нетерпѣливый жестъ, Иванъ Иванычъ передалъ несессеръ лакею, прося сохранить до отъѣзда гостьи, и велѣлъ доложить о себѣ. Минуту спустя, его просили войти.

Наружность графини невольно останавливала вниманіе. Лицо ея, смуглое, какъ у цыганки, освѣщалось блескомъ маленькихъ черныхъ глазъ, бросавшихъ искры изъ-подъ густыхъ, черныхъ, какъ смоль, бровей. Ни одной сѣдинки не было въ ея волосахъ, круто зачесанныхъ и прикрытыхъ оренбургской косынкой; длинная, какъ доска, и такая же почти плоская, какъ доска, со стороны спины и груди, она держалась прямо, какъ стрѣла, готовая тотчасъ сорваться съ тетивы и вылетѣть. Маленькая ея головка гордо поворачивалась на длинной крученой шеѣ, по которой проходили синеватыя вены. Ея смѣлый, энергическій видъ не даромъ внушалъ безпокойство тѣмъ, кто къ ней приближался.

Иванъ Иванычъ засталъ ее сидѣвшею на диванѣ съ вязаньемъ въ рукахъ; спицы судорожно двигались между ея пальцами, такими же сухими, какъ у отшельника.

Безпорядокъ на большомъ столѣ, передъ диваномъ, свидѣтельствовалъ, что здѣсь точно также всѣмъ управляли нетерпѣливыя, судорожныя движенія. Ворохи бумагъ съ надписью: *отчетъ и докладъ*, клубки съ шерстью, брошюры и книжки духовнаго содержанія, свертки разной величины, просфоры, планы часовенъ, нумера газеты: *Душеспасительный Вѣстникъ*, *Правила нравственности*, издаваемыя съ нѣкоторыхъ поръ для народа подъ руководствомъ Воскресенскаго, — все это хаотически перепутывалось, оставляя только въ серединѣ небольшое мѣсто для чернильницы и письменныхъ принадлежностей.

Наискосокъ, въ креслахъ, сидѣлъ дама коротенькаго вида, но такого объема въ ширину, что одна только часть ея тѣла умѣщалась на стулѣ; другая часть поневолѣ должна была оставаться на отвѣсѣ. Госпожа Шилохвостова была въ лиловомъ платьѣ и шляпкѣ такого же цвѣта, украшеніой расплюснутой птицей. Подъ шляпкой выставлялись крутыя калмыцкія щеки, коротенькое остріе раздвоеннаго на концѣ носа и выше выскакивали два зрачка, въ которыхъ подвижность усиливалась какимъ-то пожирающимъ выраженіемъ. Лицо было сильно набѣлено, щеки и губы подкрашены, брови подведены, отъ шеи и ушей сыпалась пудра.

При видѣ Ивана Иваныча графиня кивнула головою и указала на стулъ. Госпожа Шилохвостова ограничилась легкимъ наклоненіемъ шляпки.

— Мое почтеніе-съ, холодно проговорилъ онъ, умышленно дѣлая удареніе на послѣднемъ звукѣ.

Воскресенскій основательно не долюбливалъ г-жу Шилохвостову и справедливо называлъ ее *занозой*. Она поминутно становилась ему поперегъ дороги; одержимая бѣсомъ юркости, она просовывала кончикъ носа всюду, гдѣ ее не спрашивали, пролѣзала во всѣ благотворительные комитеты, сплетничала, интриговала, отбивала жертвователей, вербовала въ свой кружокъ подчиненныхъ мужа, заставляла ихъ ѣздить къ купцамъ и явно протежировала тѣмъ изъ нихъ, кто чаще доставлялъ ей случай

хвастать собранными ею деньгами въ пользу вдовъ и сиротъ. Неизвѣстно, какая мысль руководила госпожей Шилохвостовой, но въ послѣднее время графиня сдѣлалась цѣлью ея ухищреній. Иванъ Иванычъ насторожилъ вниманіе; онъ зналъ, что къ графинѣ не такъ-то легко было подойти; но, съ другой стороны, графиня имѣла также свои причуды; не смотря на ея умъ, она была чувствительна къ лести, тщеславна, способна къ увлеченіямъ всякаго рода. Наблюдая ходы своей соперницы, онъ не безъ основанія къ ней присматривался.

Такъ, напримѣръ, зимою графиня подошла какъ-то къ окну и сказала: „Какъ холодно сегодня, и посмотрите, однако-жъ, сколько воробьевъ на улицѣ!“ Госпожа Шилохвостова, стоявшая подлѣ, вдругъ жадно ухватила руку графини, глаза ея прищурились отъ накопившихся слезъ и тутъ же, обратясь къ присутствующимъ, она громко и восторженно стала увѣрять, что графиня сейчасъ высказала сожалѣніе о бѣдныхъ беззащитныхъ воробьяхъ, вынужденныхъ искать пищи въ такой ужасный холодъ; она никого не пропускала безъ того, чтобы не повторить разсказа и всякій разъ съ новымъ варіантомъ. „Скажите, повторяла она,—скажите, чье сердце, кромѣ ея, можетъ совмѣстить въ себѣ столько добра и милосердія? Ее даже сокрушаютъ бѣдствія несчастныхъ птичекъ!“ Сутки спустя, по городу ходила уже цѣлая поэма, въ которой главными лицами были стаи замерзающихъ воробьевъ и графиня, старавшаяся обогрѣть ихъ на груди своей.

Вскорѣ послѣ воробьиной исторіи графиня лишилась сестры; она вышла въ глубокомъ траурѣ поклониться праху покойницы. Госпожа Шилохвоства, присутствовавшая на церемоніи и стоявшая какъ можно ближе къ гробу съ заплаканными глазами, не пропускала ни одного движенія графини; едва окончилась служба, она поспѣшила передать свои впечатлѣнія. „Я стояла противъ графини, повѣствовала она, прикладывая платокъ къ глазамъ,— одно глубокое религіозное чувство можетъ такъ поддерживать духъ и энергію!... Она подошла къ гробу: на лицѣ ни одной слезинки, ни одного движенія! Вся она была тамъ! тамъ!“... и

вдругъ, какъ бы передумавъ, тутъ же прибавила, обратясь къ двоюродной сестрѣ графини: „Я стояла подлѣ, она подошла... Я въ жизни не видала ничего подобнаго: вся она была одна слеза, одно рыданіе!“...

Всѣ эти разсказы доходили, разными путями, куда слѣдуетъ, возбуждая, съ одной стороны, смѣхъ, но, съ другой стороны, вселяя нѣкоторое безпокойство въ душу Ивана Иваныча.

Въ настоящее утро госпожа Шилохвостова явилась съ новой выдумкой: рисункомъ для ковра, который, какъ увѣряла она, страстно рвался вышить пріютъ молодыхъ арестантокъ; движимыя единодушнымъ трогательнымъ чувствомъ признательности къ графинѣ, онѣ желали покрыть этимъ ковромъ полъ часовни, гдѣ была погребена ея сестрица. Г-жа Шилохвостова являлась уже четвертый разъ съ тѣмъ же предметомъ; въ первый разъ требовалось узнать, нравится ли вообще рисунокъ ковра въ цѣломъ и деталяхъ; во второй разъ надо было освѣдомиться, какой цвѣтъ лучше подходитъ къ фону главной средней розассѣ; въ третій—узнать, что помѣстить въ розассѣ: гербъ графовъ Можайскихъ, или же ограничиться только вензелемъ. Показывая рисунокъ въ четвертый разъ, г-жа Шилохвостова желала окончательно выяснить и утвердить цвѣтъ бордюра: сдѣлать ли его синимъ,—преобладающимъ цвѣтомъ въ гербѣ,—или же оставить черными, какъ прежде предполагалось.

— Иванъ Иванычъ вошелъ весьма кстати, сказала графиня,—онъ скажетъ намъ свое мнѣніе.

— Къ сожалѣнію, я не свѣдущъ въ дѣлахъ такого рода, скромно возразилъ Воскресенскій.

— Ну, такъ остановитесь окончательно на синемъ бортѣ, продолжала графиня,—черный бортъ ужъ что-то слишкомъ мраченъ. Смерть призываетъ насъ къ другой, лучшей жизни; не знаю, откуда взяли окружать ее тратуромъ... И такъ, до свиданія, *chère* Анна Матвѣвна, завершила она неожиданно и протянула собесѣдницѣ руку.

Госпожа Шилохвостова страстно обхватила протянутые къ ней пальцы обѣими ладонями и поднялась съ мѣста, причемъ кресло крякнуло, какъ бы радуясь освобожденію отъ удручающаго давленія. Кивнувъ головою Ивану Иванычу, она прошла три шага, снова повернулась лицомъ къ графинѣ, произвела новый расплывчатый реверансъ и вышла.

Иванъ Иванычъ надѣялся, что ему скажутъ: „Фу, какая несносная! Какъ надоѣла!“ — но надежды его не оправдались. Обратясь къ нему, графиня спросила только:

— Что новаго?

— Ничего рѣшительно, ваше сіятельство, отвѣтилъ тономъ сожалѣнія Иванъ Иванычъ,—застой совершенный; я былъ сейчасъ у графа и явился къ вамъ единственно съ тѣмъ, чтобы освѣдомиться о вашемъ здоровьѣ... Позволилъ себѣ также принести вамъ маленькую бездѣлицу.

— Что такое?

— Старшее отдѣленіе сиротскаго пріюта проситъ васъ осчастливить его принятіемъ знака усердія и высокой признательности... Дѣти сложились,—даже трогательно было видѣть ихъ единодушіе!—и сдѣлали вамъ баульчикъ для укладки шерсти.

— Гдѣ же онъ? Это очень интересно...

Иванъ Иванычъ бросился къ двери и, минуту спустя, поднесъ ящикъ, деликатно поддерживая его обѣими ладонями.

— Очень мило, сказала она,—очень благодарна! Эти дѣти меня рѣшительно балуютъ; надо мнѣ также побаловать ихъ чѣмъ нибудь. Я пошлю имъ конфектъ.

— Бога ради, ваше сіятельство, не посылайте! оживленно заговорилъ Воскресенскій. — Простите мнѣ великодушно, но этого ни подъ какимъ видомъ не надо дѣлать; послѣдствія были бы самыя вредныя. Всѣ старанія мои направлены къ тому именно, чтобы держать дѣтей въ обстановкѣ той среды, изъ которой они вышли; единственною ихъ роскошью должны быть религіозное и нравственное питаніе; конфекты — произведеніе роскоши; они ее

напоминаютъ; они разовьютъ въ дѣтяхъ желанія и вкусы, несоотвѣтствующіе ихъ положенію...

— Опасность, мнѣ кажется, преувеличена... Но, съ извѣстной точки зрѣнія, вы, можетъ быть, правы! Дѣтямъ людей низшихъ классовъ, дѣйствительно, опасно развивать вкусы; мы видимъ, къ сожалѣнію, къ чему приводитъ насъ баловство въ низменныхъ слояхъ общества!... Мнѣ, всетаки, хотѣлось бы чѣмъ нибудь поблагодарить дѣтей за ихъ подарокъ.

— Я велю раздать имъ книжечки нашихъ *правилъ о благонравіи;* увѣряю васъ, они будутъ очень довольны.

— Нѣтъ, книжечки эти ужъ много разъ имъ давали...

— Дѣйствительно... Тогда, если позволите, я прикажу раздать имъ булочекъ...

— Прекрасно, сказала графиня. — Смотрите только, чтобы всѣмъ досталось; никто бы обдѣленъ не былъ.

— Самъ буду наблюдать, ваше сіятельство; каждому будетъ по булочкѣ.

— Благодарю васъ; вы добрый и хорошій человѣкъ, Иванъ Иванычъ!

При этихъ словахъ, высказанныхъ въ первый разъ съ такимъ убѣжденіемъ, Воскресенскій приподнялся съ мѣста, устремилъ на собесѣдницу бѣловатые зрачки, стараясь придать имъ растроганный видъ, и произнесъ колеблющимся голосомъ:

— Мнѣ... мнѣ надо благодарить васъ... Вся цѣль моя заслужить благорасположеніе ваше! Мнѣ, собственно, какъ вамъ хорошо извѣстно, ничего не надо... Я ничего не ищу; задача моей жизни — дѣлать добро по мѣрѣ силъ моихъ и приносить пользу...

— Знаю, знаю... начала было графиня, но взглянула украдкой на часы, бросила на столъ вязанье и прибавила, поспѣшно вставая съ дивана: — я съ вами заговорилась!... Мнѣ надо еще переодѣться и поспѣть на станцію петергофской дороги... Прощайте! Надѣюсь, до скораго свиданія!...

Склонивъ голову и опустивъ глаза къ полу, Воскресенскій сохранилъ такое положеніе до той минуты, пока графиня не вышла изъ комнаты.

---

## V.

Пріемная, между тѣмъ, начинала проявлять нѣкоторое оживленіе. Дверь графскаго кабинета была еще закрыта, но уже подлѣ нея стоялъ толстенькій курьеръ; другой курьеръ занялъ мѣсто у входа въ пріемную. Передъ однимъ изъ зеркалъ охорашивался дежурный чиновникъ Стрекозинъ, весь вылощенный, съ проборомъ, такъ старательно прохваченнымъ отъ лба до затылка, что гребень въ нѣкоторыхъ мѣстахъ задѣлъ даже кожу. При малѣйшемъ шорохѣ онъ ловко перевертывался на каблукѣ, придавая своему красному лицу выраженіе любезности и привѣтливости, обязательное для чиновниковъ, состоящихъ на дежурствѣ у начальника.

Вскорѣ появился третій курьеръ вмѣстѣ съ лакеемъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ; оба принялись устанавливать передъ окномъ ломберный столъ. Узнавъ, что сюда приказано поставить для осмотра его сіятельства церковную утварь, предназначаемую для церкви новаго центральнаго пріюта, Стрекозинъ торопливо вставилъ въ правый глазъ стеклышко; такая предусмотрительность не была лишней, потому что, минуту спустя, курьеръ и лакей внесли корзину съ утварью. Къ сожалѣнію, Стрекозину не пришлось удовлетворить своему любопытству; обязанность выказывать любезность всѣмъ входившимъ въ пріемную заставила его немедленно обратиться къ показавшемуся тутъ же архитектору Зиновьеву, старичку небольшаго роста, но еще плотному и живому. Старость выказывалась безчисленными мелкими морщинками, собранными вокругъ глазъ, оттѣненныхъ желтизною кожи, и тѣмъ еще, что, вмѣсто волосъ, на темени оставалось подобіе пуха,

колеблемаго какъ ковыль на вѣтрѣ; признаки оживленія сохранились въ свѣтлыхъ голубоватыхъ глазахъ, смотрѣвшихъ умно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, скромно, откровенно и честно. Въ этомъ взглядѣ и вообще на всемъ лицѣ, не смотря на его морщины, преобладало выраженіе добродушія, можно даже сказать, чего-то дѣтскаго и невиннаго, еслибъ послѣднее не служило, по большей части, синонимомъ простоты. Широкій лобъ Зиновьева, его взглядъ и полныя губы, часто сжимаемыя горькой улыбкой, ясно показывали, что то, что казалось дѣтскимъ и простодушнымъ, ничего не имѣло общаго съ ограниченностью; то и другое проистекало скорѣе изъ свойствъ чистой, прекрасной души; отъ всего его существа вѣяло чѣмъ-то прямымъ и честнымъ; свойства эти до такой степени были присущи его природѣ, что ихъ не могли ослабить ни лѣта, ни жизненный опытъ.

Раскланявшись съ дежурнымъ чиновникомъ, Зиновьевъ заботливо принялся разставлять принесенную утварь. Она доставила ему въ послѣднее время не мало хлопотъ. Онъ не считалъ трудности при составленіи самыхъ рисунковъ, требовавшихъ кропотливаго изученія образцовъ отъ девятаго до двѣнадцатаго столѣтія; работа была ему по сердцу, увлекала его и онъ трудился съ усердіемъ. Главнымъ образомъ нестерпимо было возиться послѣ того, какъ рисунки были уже окончательно утверждены и самые предметы стали постепенно изготовляться. Ихъ то и дѣло требовали для просмотра, и каждый изъ участниковъ считалъ непремѣннымъ своимъ долгомъ сдѣлать какое нибудь замѣчаніе. Иванъ Ивановичъ говорилъ: „Прекрасно“, но тутъ же прибавлялъ, прикасаясь всегда къ каждой вещи: „Тутъ вотъ какъ будто... что-то такое...“ Графъ то одобрялъ, то находилъ также, „что тутъ... какъ будто что-то такое...“ и, не договаривая, желалъ исправленія. Графиня, въ общемъ, была довольна, но въ послѣднее время стала находить, что стиль слишкомъ кудрявъ и мало „какъ будто“ отвѣтствуетъ строгости назначенія. Хуже всего было то, что всякій разъ волей-неволей приходилось передѣлывать и, чаще всего, портить то, что давно было утверждено при представленіи

рисунковъ. Теперь, кажется, все было сдѣлано; но нѣтъ,— Воскресенскій снова предувѣдомлялъ о желаніи графа взглянуть еще разъ на утварь; дѣлать нечего,— надо было исполнить приказаніе.

Въ то время, какъ старый архитекторъ хлопоталъ у стола, въ пріемную вошелъ, оглядываясь на всѣ стороны и какъ бы чего-то отыскивая, рослый купецъ съ медалью на лентѣ; за нимъ робко выступила тощая дама въ траурномъ платьѣ такого вида, какъ будто его заодно съ владѣлицей вытащили изъ воды, не успѣвъ еще хорошенько просушить. Спустя нѣсколько времени, показалась группа изъ восьми лицъ мужскаго пола; тутъ были рослые и маленькіе, старые и среднихъ лѣтъ, лысые и приглаженные и такіе, у которыхъ волосы торчали, какъ иглы у ежа; всѣ были во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ; нѣкоторые выказывали на видныхъ мѣстахъ орденскіе знаки.

Стрекозинъ, перевертываясь волчкомъ на каблукахъ, любезно подходилъ къ каждому, записывая карандашомъ на бумагѣ фамилію.

— Какъ прикажете записать? — освѣдомился онъ, подходя къ мужской группѣ.

— Депутація изъ Москвы, проговорилъ лысый господинъ, наклоняясь такъ близко, что уже не слышно было послѣднихъ словъ.

— Васъ, сударыня, какъ прикажете? обратился онъ къ траурной дамѣ.

— Сюсюкова...

— Какъ-съ?

— Сю-сю-кова... Я насчетъ мужа...

— Васъ, сударь? спросилъ онъ, подходя къ купцу.

— Купецъ первой гильдіи Жигулѣвъ... я отъ Ивана Иваныча...

Это послѣднее сообщеніе было уже, казалось, слишкомъ достаточно для Стрекозина; онъ привѣтливо улыбнулся и отошелъ въ сторону.

Въ ту же минуту показался самъ Иванъ Иванычъ. Стрекo-

зинъ мгновенно выпустилъ стеклышко изъ глаза и, отступая на цыпочкахъ, какъ актеръ во время вызова, далъ ему почтительно дорогу.

Отвѣтивъ ему мимоходомъ ласковымъ поклономъ, Воскресенскій подошелъ къ купцу, пожалъ ему руку, сказалъ въ упоръ тихимъ голосомъ нѣсколько словъ, послѣ чего направился было къ Зиновьеву, но былъ остановленъ подбѣжавшимъ курьеромъ, который шепнулъ ему что-то подъ самое ухо.

— Скажи имъ: сейчасъ,—проговорилъ Иванъ Иванычъ.

Медленнымъ шагомъ послѣдовалъ онъ за курьеромъ и вышелъ изъ пріемной.

Иванъ Иванычъ остановился у спуска парадной лѣстницы, на которой торопливо шагали два господина, — одинъ тощій, бѣлокурый и приглаженный; другой коротенькій, коренастый и черный, какъ армянинъ; оба были въ бѣлыхъ галстукахъ и во фракахъ, украшенныхъ крестиками въ петлицѣ. Первый былъ живописецъ Лисичкинъ, второй архитекторъ Бабковъ. Слѣдомъ два лакея вносили картину, тщательно обернутую простынею, а ниже выступалъ курьеръ, державшій въ рукахъ огромную папку.

— Хорошо! хорошо! съ ласковымъ укоромъ обратился къ нимъ Воскресенскій.

— Никакимъ образомъ не было возможно... Задержалъ позолотчикъ, проговорилъ Лисичкинъ сладенькимъ. масляннымъ голосомъ.

— Меня извозчикъ задержалъ, чортъ бы его побралъ! отозвался, какъ изъ бочки, коренастый Бабковъ.

Успокоивъ ихъ извѣстіемъ, что графъ еще не выходилъ и будетъ время сдѣлать все какъ слѣдуетъ, Иванъ Иванычъ отдалъ приказаніе нести картину и папку боковыми переходами, минуя парадныя комнаты, до маленькой столовой, примыкавшей къ задней части кабинета. Онъ пошелъ тѣмъ же путемъ живописца и архитектора. Путь этотъ давно былъ имъ избранъ для тѣхъ, кому онъ особенно покровительствовалъ.

Бабковъ и Лисичкинъ, каждый въ своемъ родѣ, могли служить образчиками въ той категоріи художниковъ, которыхъ называютъ *практиками*, но не въ рабочемъ смыслѣ, а въ смыслѣ ловкихъ, практическихъ свойствъ ихъ характера. Пронырливыя отъ природы и, кромѣ того, съ самолюбивой закваской, лица этого рода, еще въ юныхъ годахъ, не примиряются съ положеніемъ товарищей, которые,—при той же бездарности и отсутствіи истиннаго призванія,—упрямо продолжаютъ работать, обрекая себя добровольно скромной карьерѣ. Они не уживаются съ сознаніемъ своего ничтожества. Оно терзаетъ ихъ и растравляетъ въ нихъ чувство мѣщанскаго самолюбія. Художество не далось, — нечего себя дольше обманывать; сколько тутъ ни бейся, ни до чего, очевидно, не дойдешь, ничего не возьмешь. Между тѣмъ дойти, взять, выйти въ свѣтъ смертельно хочется! Какъ тутъ быть? Нельзя ли, по крайней мѣрѣ, хоть воспользоваться художественной профессіей? Можно. Не перечесть, сколько уже разъ служила эта профессія для добыванія видныхъ мѣстъ, чиновъ и знаковъ отличія. На это, пожалуй, могутъ возражать: „Къ чему художнику видное мѣсто? Какое мѣсто лучше мастерской, гдѣ представляется полная свобода благороднаго труда и творчества? Къ чему ему чины и орденскіе знаки? Его знаки отличія—его произведенія; его чины—ихъ прогрессивное совершенство!“... Все это справедливо, но только для художниковъ съ истиннымъ призваніемъ и талантомъ. Но сами скажите, развѣ много такихъ?

Бабковъ и Лисичкинъ, дѣйствуя независимо, отдѣльно одинъ отъ другаго, повинуясь только собственному нюху, пришли, тѣмъ не менѣе, къ одной цѣли. Оба незамѣтно подмостились къ Ивану Иванычу, и каждый лѣзъ изъ кожи, стараясь угодить ему, зная, что за нимъ усердіе не пропадаетъ. Бабковъ, искавшій, прежде всего, выгодныхъ казенныхъ построекъ, даромъ доставлялъ планы для подвѣдомственныхъ Ивану Иванычу богадѣленъ и душеспасительныхъ школъ, строилъ, воздвигалъ дымовыя трубы, проводилъ водосточныя канавы, подбивалъ молодежь безвозмездно рисовать и чертить; Лисичкинъ, болѣе самолюбивый, подбирался, какъ

кошка къ сырому мясу, къ почетному званію и кресту на шею; съ этою цѣлью спѣшилъ онъ украшать стѣны пріютовъ и богадѣленъ портретами предсѣдателей и великодушныхъ жертвователей, самъ жертвовалъ образа своей работы, исполнялъ порученія, давалъ совѣты и хотя въ послѣднемъ часто выказывалъ рѣзкость и самоувѣренность, не отвѣчавшія его менѣе чѣмъ скромному значенію, какъ художника, но дѣлалъ это, убѣдившись изъ опыта, что смѣлость и дерзость иногда города берутъ.

Воскресенскій былъ поэтъ въ своемъ родѣ. Стиховъ онъ не писалъ, но склоненъ былъ къ увлеченіямъ и даже не лишенъ былъ творческой способности. Онъ постоянно находился подъ обаяніемъ какой нибудь личности или нѣсколькихъ лицъ, которыхъ самъ же выдумывалъ, снабжая ихъ вдругъ всѣми возможными качествами. Чѣмъ ничтожнѣе была личность, но чѣмъ болѣе усматривалось въ ней смиренія и преданности, тѣмъ вѣрнѣе могла она разсчитывать попасть въ число любимцевъ Ивана Иваныча. Любимца всюду выставляли впередъ, расхваливали на всѣхъ перекресткахъ, рекомендовали и опредѣляли, хотя бы для этого требовалось придраться къ другому лицу и спихнуть его съ мѣста. Иванъ Иванычъ не преслѣдовалъ при этомъ никакой корыстной цѣли; онъ дѣйствовалъ искренно: въ увлеченіяхъ его было что-то отеческое, вытекавшее изъ потребности выводить маленькихъ Воскресенскихъ и имъ покровительствовать. Такими любимцами въ послѣднее время были Бабковъ и Лисичкинъ. Мимо тѣхъ услугъ, какими можно было отъ нихъ пользоваться, Иванъ Иванычъ чувствовалъ къ нимъ какое-то внутреннее влеченіе.

Онъ любилъ обоихъ за то также, что съ ними не требовалось большихъ расходовъ краснорѣчія. Не смотря на внѣшнюю разность типовъ Бабкова и Лисичкина, у обоихъ были совершенно схожіе глаза сѣраго оттѣнка, такъ уже устроенные, что они понимали съ полуслова, читали на лицахъ едва уловимые знаки, хватали на лету намеки. Въ усердіи они старались опередить одинъ другаго. Отсюда между ними происходило маленькое соперничество, заставлявшее архитектора называть живописца „лукавымъ блон-

диномъ“ и живописца называть архитектора „хитрымъ мужикомъ“, что, впрочемъ, не мѣшало имъ быть почти неразлучными. Когда работа доставалась одному, онъ непремѣнно старался привлечь къ ней другаго.

Связь ихъ не нарушалась даже несходствомъ характеровъ. Бабковъ отличался грубостью, которой ловко пользовался, придавая ей видъ простоты и беззаботности русской прямой натуры. „Вы меня великодушно простите, — любилъ онъ повторять при разговорѣ съ вліятельными особами, — я человѣкъ не придворный; никакихъ этихъ тонкостей не вѣдаю; я простой русскій мужикъ, простой ломоть ржанаго хлѣба... да! Но правду за то, правду всегда скажу!“ Никто, конечно, не справлялся, въ какомъ колодезѣ скрывалась эта правда; тѣмъ не менѣе, множество лицъ попадало на удочку. Когда касалось сомнительнаго вопроса, не разъ приходилось слышать сожалѣніе, что нѣтъ при этомъ Бабкова: „Жаль, онъ человѣкъ простой, но прямъ, и сказалъ бы намъ правду!“ Лисичкинъ бралъ на другой крючокъ; онъ весь былъ елей, медъ и сахаръ; мягко говорилъ, нѣжно пожималъ руки, цѣловался въ засосъ, скромно сторонился, попадая, однако-жъ, какъ разъ въ лучъ зрѣнія тѣхъ, въ комъ нуждался, и, подобравшись украдкой, подмасливъ и подсластивъ какъ слѣдуетъ, вдругъ неожиданно врѣзывался винтомъ и уже тогда проявлялъ ту дерзость и самоувѣренность, о которыхъ говорилось выше.

Роль Бабкова и Лисичкина была незавидна въ кругу настоящихъ художниковъ. Всѣ очень хорошо знали, что, какъ художники, они ровно ничего не стоили, рисовали хуже школьниковъ и были бездарны, какъ кукушки. О первомъ говорили, что онъ „скорѣе плотно набиваетъ карманъ, чѣмъ плотно строитъ“; втораго окрестили „гнилымъ яйцомъ, снесеннымъ случайно въ подолъ русскаго искусства“. Обоихъ одинаково приписывали къ разряду штукарей и пройдохъ.

Устроивъ двухъ пріятелей въ маленькой столовой, Воскресенскій прошелъ въ кабинетъ, гдѣ уже засталъ графа готовящимся выйти въ пріемную.

— Пока тамъ собираются, ваше сіятельство,—сказалъ Иванъ Иванычъ, указывая на дверь пріемной,—не угодно ли вамъ будетъ на секунду пожаловать рядомъ, въ маленькую столовую; я привелъ туда архитектора Бабкова, который доставилъ планы конюшенъ и флигеля въ Синекуровѣ (такъ прозывалось главное имѣніе графа); желалось мнѣ также показать портретъ вашъ, прежде чѣмъ его поставятъ на мѣсто...

— Это куда же?

— Въ новый центральный пріютъ; портретъ писалъ художникъ нашъ Лисичкинъ.

— Какой Лисичкинъ?

— Тотъ самый, который пожертвовалъ иконостасъ своей работы для церкви новаго пріюта.

— А! знаю! Очень радъ буду его видѣть,—сказалъ графъ, направляясь къ маленькой столовой.

Иконостасъ, о которомъ упоминалъ Воскресенскій, былъ однимъ изъ наказаній строителя церкви, Зиновьева. Онъ ахнулъ, когда увидалъ его, и чуть не заплакалъ, получивъ приказаніе поставить его. „Что же это такое?—твердилъ онъ упавшимъ голосомъ и жалобно скрещивая руки при видѣ рутинныхъ и дѣтски намалеванныхъ изображеній, вмѣсто тѣхъ строгихъ образовъ древне-греческаго характера, которыми мечталъ онъ украсить церковь, любимое свое дѣтище.—Боже мой, что же это такое?“—повторялъ онъ, потирая въ недоумѣніи лобъ. Выраженія эти были, къ сожалѣнію, переданы Лисичкину, который съ тѣхъ поръ сталъ искоса поглядывать на стараго архитектора.

— Здравствуйте, господа!—привѣтливо воскликнулъ графъ, выходя къ художникамъ.

Бабковъ, державшій папку наготовѣ, вытянулся по-солдатски; Лисичкинъ, стоявшій подлѣ портрета, представлявшаго графа въ полномъ парадномъ мундирѣ, растаялъ, какъ кусокъ масла, опущенный въ горячую воду.

Графъ остался доволенъ сходствомъ, пожалѣлъ только, что всѣ портреты писаны заочно, съ фотографій, отличаются недо-

статкомъ чего-то сѣраго въ общемъ тонѣ и вообще страдаютъ отсутствіемъ чего-то живаго.

Такого замѣчанія именно и ждалъ Лисичкинъ.

— Я, ваше сіятельство, съ тѣмъ и взялъ на себя смѣлость представить вамъ портретъ, что надѣялся... надѣялся удостоиться хотя бы одного сеанса... всего на полчаса какіе нибудь!... Вотъ тутъ бы и еще здѣсь слѣдовало пройти еще разъ,— подхватилъ онъ, прикасаясь пальцами къ полотну такъ нѣжно, какъ бы боясь что нибудь испортить. — Одинъ только сеансъ, ваше сіятельство! — добавилъ онъ робко-умоляющимъ голосомъ.

— Очень радъ! Я пришлю сказать, когда будетъ можно,— ласково возразилъ графъ. — У васъ что? — обратился онъ къ Бабкову.

— Планы конюшенъ и флигеля, которые вамъ угодно было приказать составить, — хрипло отвѣчалъ Бабковъ, принимаясь развертывать папку.

— Прекрасно; но, прежде чѣмъ рѣшить что-нибудь, надо было бы посовѣтоваться съ графиней...

— Ея сіятельство только что уѣхала, — замѣтилъ Иванъ Иванычъ.

— Тогда отложимъ лучше до завтра... къ тому же, мнѣ теперь недосугъ; меня ждутъ въ пріемной.

— Я пригласилъ этихъ господъ еще съ тѣмъ, ваше сіятельство, — вкрадчиво началъ Воскресенскій, — что такъ какъ вамъ угодно было приказать архитектору Зиновьеву представить сегодня церковную утварь, то г. Лисичкинъ и г. Бабковъ, оба, какъ опытные художники, могли бы дать полезныя указанія...

— Прекрасно сдѣлали! Очень радъ буду видѣть васъ еще разъ. Теперь прощайте! — заключилъ графъ, возвращаясь въ кабинетъ.

Свиданіе было непродолжительно, но привело къ тому, что было заранѣе разсчитано: Лисичкинъ добился сеанса, который доставлялъ ему случай видѣть графа съ глазу на глазъ; Бабковъ достигъ той же цѣли. Обоимъ открывалась возможность врѣзать

лишній разъ ихъ черты въ памяти графа. Сознавая важность услуги, какъ тотъ, такъ и другой не переставали благодарить Воскресенскаго во все время, какъ онъ велъ ихъ въ пріемную.

Пока Иванъ Иванычъ занялся бесѣдой съ тѣми и другими лицами, Бабковъ и Лисичкинъ подошли къ Зиновьеву.

— Боже мой, кого я вижу! Здравствуйте, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, здравствуйте! — заговорилъ Лисичкинъ такимъ голосомъ, какъ будто не ожидалъ встрѣчи съ любимымъ человѣкомъ и былъ искренно ею обрадованъ.

Въ избыткѣ чувствъ онъ уже наклонился, выражая желаніе облобызать старика, но подумалъ о неудобствѣ мѣста и воздержался.

— Какъ здоровеньки, батенька? Давненько не видались! — сказалъ Бабковъ, протягивая руку.

Изъявленіе дружескихъ чувствъ нѣсколько удивило Зиновьева. Съ Лисичкинымъ онъ познакомился, когда пришлось ставить его иконостасъ, — обстоятельство это не способствовало ихъ сближенію; съ Бабковымъ онъ встрѣчался также весьма рѣдко. Все это не помѣшало ему любезно раскланяться и подвести ихъ къ столу съ утварью.

— Прелесть!... Ну, просто прелесть! — воскликнулъ Лисичкинъ, расплываясь отъ восхищенія прежде еще, чѣмъ успѣлъ осмотрѣть что нибудь; — откуда только, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, откуда взяли вы эти чудные типы?...

— Откуда? Вотъ откуда! — брякнулъ Бабковъ, хлопая себя по лбу. — Я правду говорю!...

— Конечно, — подхватилъ живописецъ, — но, Боже мой, сколько изслѣдованій... Одно это кадило: сласть просто! — восторгался Лисичкинъ, косясь, однакожъ, на дверь кабинета.

— Талантъ, голубчикъ! Я не люблю кривляться; прямо говорю: талантъ! Видѣлъ ли ты рисунки его реставрацій?

— Видѣлъ, — подхватилъ Лисичкинъ, — чудеса просто! А видѣлъ ли ты у Алексѣя Максимыча его рисунки итальянскихъ

мозаикъ? Если не видалъ, попроси взглянуть! Истинное сокровище! Скажите, неужели они до сихъ поръ не изданы?

— Пока еще нѣтъ, — скромно отозвался Зиновьевъ. — Помилуйте, кому они нужны? Чѣмъ можно было, я воспользовался для церкви и пріюта; многое подходило къ стилю... Остальное до сихъ поръ такъ лежитъ.

— О чемъ это вы тутъ бесѣдуете? — тихо, какъ бы подкравшись, спросилъ Иванъ Иванычъ,

— Восхищаемся, — проговорилъ „лукавый блондинъ“ съ видомъ простодушія.

— Стоимъ да похваливаемъ! — сказалъ „хитрый мужикъ“, казавшійся въ эту минуту болѣе чѣмъ когда нибудь простымъ „добрымъ малымъ“.

Сѣрые зрачки его встрѣтились съ глазами Лисичкина; оба украдкой обмѣнялись взглядомъ, перевели глаза на Воскресенскаго и какъ бы случайно попали прямо въ его лучъ зрѣнія. Обмѣнъ этихъ взглядовъ прошелъ незамѣтно для Зиновьева, который въ это время благодарилъ Ивана Иваныча, присоединившаго свои одобренія къ похваламъ художниковъ.

— Все это отлично, господа, — сказалъ Воскресенскій, — но были ли вы въ самой церкви, для которой предназначается эта утварь, — я разумѣю: видѣли ли вы ее теперь, въ послѣднее время?

— Къ сожалѣнію, съ тѣхъ поръ не былъ, какъ Алексѣй Максимычъ такъ обязательно ставилъ мой иконостасъ, — отозвался Лисичкинъ, изъ памяти котораго изгладилось, повидимому, неудовольствіе, возникшее тогда между нимъ и старымъ архитекторомъ.

— Я также давно не былъ! — подхватилъ добродушно Бабковъ. — Сто разъ собирался, да все дѣла, батенька! А вотъ что: благо всѣ здѣсь на-лицо, взяли бы, да и поѣхали!...

— Очень буду радъ, — пробормоталъ Зиновьевъ.

— Вы поѣдете съ нами, Иванъ Иванычъ?

— Съ удовольствіемъ, только сегодня и завтра мнѣ невозможно...

— Я попросилъ бы васъ, господа, повременить еще нѣсколько дней, — принужденно выговорилъ Зиновьевъ, — теперь снимаютъ внутри лѣса; самое неблагопріятное время! Ужъ показывать, такъ показывать товаръ лицомъ, какъ говорится. Позвольте: сегодня у насъ вторникъ; не угодно ли будетъ въ субботу?

— А, ну, въ субботу, такъ въ субботу! По рукамъ, значитъ! Вамъ можно, Иванъ Иванычъ?

— Можно.

— И мнѣ также, — радостно сказалъ Лисичкинъ.

Здѣсь, снова и опять незамѣтно для Зиновьева, произошелъ обмѣнъ взглядовъ между Воскресенскимъ и двумя его пріятелями.

Бабковъ и Лисичкинъ уже протягивали руки Зиновьеву, но въ эту минуту курьеръ отворилъ обѣ половинки двери въ кабинетъ и оба быстро откинулись въ сторону. Между присутствующими прошло жужжаніе, точно всполошился рой большихъ осенних мухъ; шумъ этотъ тотчасъ же упалъ, какъ будто всѣ мухи разомъ вылетѣли въ окно. Наступило мертвое молчаніе.

Съ привѣтливой улыбкой на устахъ, въ глазахъ, на всемъ лицѣ показался графъ.

Все замерло. Слышалось только, какъ хлопала маркиза въ одномъ изъ оконъ.

Иванъ Иванычъ, скользя на своихъ мягкихъ подошвахъ, приблизился къ графу; съ другой стороны подлетѣлъ дежурный чиновникъ Стрекозинъ, весь превращаясь въ слухъ и зрѣніе.

Графъ подошелъ, прежде всего, къ депутаціи. Изъ группы выступилъ кудрявый съ просѣдью господинъ.

— Имѣемъ честь представиться, — началъ онъ колеблющимся голосомъ, — депутація изъ Москвы къ вашему сіятельству отъ... отъ... *общества призрѣнія сиротъ китолововъ, погибшихъ на Мурманскомъ берегу*... Просимъ ваше сіятельство сдѣлать честь обществу принять его подъ ваше покровительство...

— И предсѣдательство, — шепнули сзади, но такъ громко, что всѣ услышали.

— И предсѣдательство, — оторопѣвъ, добавилъ ораторъ.

— Прекрасная мысль! Очень радъ, господа; всегда сочувствую всякому доброму, полезному дѣлу, — съ любезностью сказалъ графъ. — Давно общество основано?

— Основывается только-что, ваше сіятельство...

— Прекрасно! Я только не понимаю, почему же именно въ Москвѣ? Не удобнѣе ли было бы гдѣ-нибудь у моря; напримѣръ, хоть въ Архангельскѣ?

— Въ Москвѣ, ваше сіятельство, предполагается только устройство центральной администраціи... Оттуда уже...

— Ну, это другое дѣло!... Поблагодарите отъ меня общество, господа; передайте, что я съ своей стороны готовъ... всегда готовъ содѣйствовать всякому доброму, полезному дѣлу...

Ораторъ сдѣлалъ шагъ впередъ и, согнувшись, подалъ уставъ общества. Графъ обратился къ Стрекозину, котораго, въ разсѣянности, назвалъ Ласточкинымъ, и приказалъ принять уставъ.

Члены депутаціи попятились назадъ съ поклонами.

Графъ приблизился къ купцу, который, издали еще, топтался на мѣстѣ, какъ гусакъ; по лицу его струились крупныя капли пота; глаза его, выпученные какъ у лягушки, умилительно моргали.

Иванъ Иванычъ слегка наклонился къ уху графа:

— Купецъ Жигулевъ... благодаритъ за награду...

— Поздравляю! — привѣтственно сказалъ графъ, — отъ души поздравляю!...

Глаза Жигулева неожиданно зажмурились, жирное лицо задрожало, и онъ проговорилъ, задыхаясь на каждомъ словѣ:

— Ваше сіятельство... осчастливьте!... Сегодня у меня жена именинница... Осчастливьте... позвольте поцѣловать вашу ручку...

— Полно, старикъ, полно! — ласково проговорилъ графъ, трепля его по плечу и всякій разъ быстро отдергивая руку, какъ только Жигулевъ порывался влѣпить въ нее поцѣлуй.

Послѣ этого онъ прошелъ къ траурной дамѣ. Но та отъ

волненія рѣшительно не могла произнести слова и только утирала слезы и совала впередъ просьбу, дрожавшую въ ея рукѣ.

— Успокойтесь, сударыня, — сказалъ графъ, я сдѣлаю все, все, что будетъ только возможно... Ласточкинъ! — обозвалъ онъ снова Стрекозина,— возьмите у дамы просьбу и потомъ мнѣ передайте... Еще разъ прошу васъ, сударыня: успокойтесь!

При видѣ Зиновьева и разставленной на столѣ церковной утвари, улыбающееся лицо графа сдѣлалось нѣсколько строже.

— Здравствуйте, — проговорилъ онъ съ несвойственной ему сухостью.

Онъ медленно подошелъ къ столу, между тѣмъ какъ Лисичкинъ и Бабковъ, выступая за нимъ на цыпочкахъ, жались подлѣ Ивана Иваныча.

— Все ли, наконецъ, у васъ готово? Давно пора, мой милый!... Господа,— обратился графъ къ двумъ художникамъ,— вы здѣсь весьма кстати: интересно было бы знать ваше мнѣніе... Что вы на это скажете?

— Прекрасно! — съ нѣжностью, но нерѣшительно какъ-то сказалъ Лисичкинъ.

— Отлично!— глухо отозвался Бабковъ.

— Тонко... деликатно!— подхватилъ Лисичкинъ,— но тутъ же замялся, какъ бы стѣсняясь дальше выразить свое мнѣніе.

— Никакихъ, стало быть, замѣчаній?— спросилъ графъ.

— Гм...

— Никакихъ, ваше сіятельство... все здѣсь одинаково прекрасно. Конечно, во всемъ можно всегда найти недостатки... но зачѣмъ же это?

— Говорите, не стѣсняйтесь, прошу васъ! — сказалъ Зиновьевъ.

— Зачѣмъ же? помилуйте!... Все такъ прелестно!

— Коли пошло на правду, одно скажу: все хорошо; позолота только, сдается мнѣ, не совсѣмъ того...

— О, нѣтъ! я не скажу этого, — вмѣшался Лисичкинъ, украдкой переглядываясь съ Иваномъ Иванычемъ.—Позолота пре-

красная... Возьмемъ, напримѣръ, хоть это кадило: чудо! Тутъ только... вотъ... какъ будто... мнѣ кажется...

— Что-жъ вы тутъ находите?—спросилъ Зиновьевъ, краснѣя.

— О, ничего рѣшительно! Прелесть!... Вотъ развѣ можно было бы... чуть-чуть... такъ, едва примѣтно... выгнуть эту линію... закруглить, такъ сказать... замѣтилъ Лисичкинъ, производя надъ кадиломъ неопредѣленныя движенія пальцами.

— Теперь уже поздно передѣлывать! — прервалъ графъ,— мы и безъ того запоздали?... Вы знаете, мой почтеннѣйшій, я всегда отдавалъ справедливость вашимъ трудамъ и таланту,— обратился онъ къ Зиновьеву,—но долженъ сказать, однакожъ: вы затягиваете окончаніе дѣла до невозможности! Шутка: цѣлыхъ три года тянется постройка церкви, и теперь еще конца нѣтъ! Вы сами обѣщали мнѣ быть готовымъ къ веснѣ; теперь средина лѣта... Такъ, право, невозможно! И добро бы задерживало что нибудь существенное! Въ деньгахъ никогда, кажется, не было недостатка...

— Я только что хотѣлъ просить васъ о новомъ кредитѣ,— началъ было Зиновьевъ, но графъ перебилъ его опять съ такою рѣзкостью, какую рѣдко выказывалъ.

— Это дѣло не мое, а Ивана Иваныча; обратитесь къ нему. Иванъ Иванычъ, переговорите съ господиномъ Зиновьевымъ!— заключилъ графъ, раскачиваясь на всѣ стороны и проходя въ кабинетъ въ сопровожденіи дежурнаго чиновника, который несъ за нимъ просьбу и уставъ.

Лицо графа, на минуту нахмуренное, приняло снова свое сіяющее, привѣтливое выраженіе; взявъ бумаги отъ Стрекозина, онъ любезно объявилъ ему, что на весь день освобождаетъ его отъ дежурства, но видя, что Стрекозинъ не трогался съ мѣста и странно какъ-то моргалъ глазами и ухмылялся, графъ спросилъ съ улыбкой:

— Что съ вами, мой милый?

— Я потому, графъ... застѣнчиво возразилъ Стрекозинъ.— Вамъ угодно было два раза назвать меня Ласточкинымъ...

— Какъ такъ?

— Моя фамилія: Стрекозинъ...

— Знаю.

— А вы изволите все время называть меня Ласточкинымъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Извините меня, пожалуйста; это я въ разсѣянности,— смѣясь сказалъ графъ.—Отчего вы тогда же меня не предупредили?

— Въ данный моментъ не смѣлъ противорѣчить вашему сіятельству! промолвилъ Стрекозинъ, посматривая заискивающими глазами на графа, который неожиданно разразился добродушнымъ смѣхомъ.

Не желая прервать его, Стрекозинъ попятился къ двери. Когда онъ вернулся въ пріемную, тамъ никого уже не было.

---

## VI.

— Боже мой, какая жара! Ужъ не въ Африкѣ ли мы? почти въ слухъ сказалъ Алексѣй Максимычъ Зиновьевъ, выходя на Невскій проспектъ.

До настоящей минуты онъ шелъ тѣневой стороной улицъ и, кромѣ того, мало на что обращалъ вниманіе, находясь подъ впечатлѣніемъ графскаго пріема; онъ былъ имъ совершенно озадаченъ.

Здѣсь, на Невскомъ, солнце уже такъ припекало, что нельзя было оставаться къ нему нечувствительнымъ. Къ жарѣ, усиливающейся отъ раскаленныхъ плитъ, примѣшивался пряный, банный запахъ согрѣтой Мойки; съ другой стороны тянуло запахомъ газа, исходившимъ изъ канавы, въ которой чинили трубы; нѣсколько дальше несло смолою отъ новой торцовой настилки; словомъ, охватывало той удушливой атмосферой, которая, въ жаркое время, носится облакомъ надъ городомъ, виднѣется еще издали, вызывая всегда радостное восклицаніе дачника: „Вотъ, однакожъ, отъ чего мы освободились!“

Если не считать дворниковъ, баловавшихся поливкой мостовой, и рѣдкихъ пѣшеходовъ, Невскій проспектъ, заслонявшійся въ глубинѣ пыльной рыжеватой мглою, былъ почти пустъ. Этому способствовалъ отчасти полдень и отдыхъ рабочихъ. Мѣстами цѣлая артель мостовщиковъ хранѣла, развалясь на солнцѣ; мѣстами попадались извозчичьи лошади, стоявшія съ понуренными головами и шевелившія ушами, между тѣмъ какъ ихъ возницы, раскинувъ на дрожкахъ, крѣпко спали съ открытымъ ртомъ и багровымъ, мокрымъ лицомъ, облѣпленнымъ мухами. Съ разныхъ концовъ крышъ и въ разныхъ направленіяхъ висѣли веревки съ клѣтками для маляровъ; многіе дома стояли наполовину окрашенными; цѣлые участки тротуара были забрызганы мѣломъ. Елки, посаженныя въ кадки у входа въ ресторанъ Доминика, совсѣмъ уже успѣли пересохнуть; стоявшіе тутъ же маленькіе мраморные столики отдавали жаромъ; къ нимъ жутко было прикоснуться. Вообще говоря, Невскій проспектъ не имѣлъ въ это время ничего привлекательнаго; онъ возбуждалъ желаніе убѣжать отъ него какъ можно дальше.

То же самое, вѣроятно, думалъ и Алексѣй Максимычъ; онъ поминутно отиралъ лицо платкомъ и снималъ шляпу, чтобы ею опахнуться. Онъ радостно достигъ Михайловской улицы, радостно сѣлъ въ вагонъ конки и еще съ большею радостью освѣтилось доброе лицо старика, когда вагонъ, дребезжа своими стеклами, покатилъ къ Царицыну лугу.

„Желалъ бы я знать, отчего вдругъ такая немилость?— мысленно разсуждалъ онъ, возвращаясь къ предмету прерванныхъ размышленій.— Бывало, всегда такой обходительный, любезный... Никогда не видалъ его такимъ, какъ сегодня! Желалъ бы знать также, чего увиваются эти два господина? Ну, Воскресенскій,— тотъ ведетъ дѣло, всѣмъ ворочаетъ, видитъ здѣсь разсчетъ какой нибудь... Но эти-то что?... Эхъ-хе! Разъ въ жизни посчастливилось встрѣтить настоящую, милую работу... Мечталъ о ней, наконецъ добился; любилъ ее и лелѣялъ, какъ дѣтище; всю душу положилъ, какъ говорится... Хоть бы спокойно дали достроить,—

нѣтъ! что ни день, ставятъ новыя рогатки; вмѣшиваются, портятъ, заставляя принимать, напримѣръ, такія работы, какъ тотъ иконостасъ. Охъ, ужъ мнѣ этотъ иконостасъ! Суетятъ, торопятъ... Въ концѣ-концовъ, больше горя, чѣмъ радости! Впрочемъ, нѣтъ худа безъ добра! Примѣръ пригодится моему Сережѣ; онъ же такой горячій! „Талантъ, говоритъ, талантъ и трудъ все, дѣдушка, побѣждаютъ!“ Твоими бы устами медъ пить, голубчикъ. Бѣдный мальчикъ! Пускай, однакожъ, остается, Христосъ съ нимъ, при такой вѣрѣ; она нужна въ молодости; жизнь въ свое время всему научитъ!“

На Карповскомъ мосту Алексѣй Максимычъ торопливо вылѣзъ изъ вагона, спустился съ моста и пошелъ правымъ берегомъ рѣчки. Съ этой стороны дачи тѣснятся только при самомъ началѣ; дальше онѣ рѣдѣютъ, замѣняясь мало-по-малу заборами и садами. Мѣстами, у самаго берега, почти изъ воды подымалась группа старыхъ ветелъ и ольхи, и тѣнь отъ нихъ, сливаясь съ тѣнью ближайшаго сада, покрывала дорогу. Старикъ снималъ тогда шляпу и съ видимымъ удовольствіемъ начиналъ вдыхать воздухъ. Онъ вообще казался теперь менѣе озабоченнымъ, чѣмъ былъ въ вагонѣ; впечатлѣнія утра, повидимому, сглаживались, давая мѣсто болѣе спокойнымъ, свѣтлымъ мыслямъ. Всякій разъ, какъ на пути встрѣчалась живописная группа деревъ или рѣчка дѣлала поворотъ, открывая неожиданно новый картинный эффектъ свѣта, Алексѣй Максимычъ замедлялъ шагъ и на лицѣ его проступало замѣтное оживленіе. Разъ даже, не удовольствовавшись нѣмымъ созерцаніемъ, онъ громко воскликнулъ:

— Эхъ, жаль, нѣтъ моей Марусеньки! Какую славную акварель она бы здѣсь написала!...

Онъ ускоренно зашагалъ по деревяннымъ мосткамъ, замѣнявшимъ тротуаръ, и, немного погодя, вышелъ въ дальній конецъ Песочнаго переулка, гдѣ нанималъ дачу.

Домъ стоялъ въ глубинѣ сада, отдѣлявшагося отъ переулка высокимъ заборомъ изъ барочныхъ досокъ, просверленныхъ дырьями. Подойдя ближе, Алексѣй Максимычъ сталъ прислуши-

ваться къ голосамъ, раздававшимся изъ сада; голоса были ему хорошо знакомы; но съ первой минуты понялъ онъ, что въ домѣ происходитъ что-то особенное. Онъ убѣдился въ этомъ, какъ только открылъ калитку.

Посреди небольшаго дворика дачи стояла незнакомая ему оборванная, босоногая дѣвочка, лѣтъ шести, и подлѣ нея также незнакомый и оборванный мальчикъ, меньшаго возраста; лица ихъ были пухлы отъ слезъ; на щекѣ мальчика виднѣлись слѣды крови, которую старалась обмыть Маруся, дѣвушка лѣтъ девятнадцати, стройная, красивая, съ чудесными волосами каштановаго цвѣта; стоя на колѣнахъ передъ мальчикомъ, она обмывала ему лицо, между тѣмъ какъ чашку съ водою усердно поддерживали двѣ дѣвочки, лѣтъ по десяти, обѣ бѣлокурыя, въ ситцевыхъ цвѣтныхъ платьяхъ и бѣлыхъ передникахъ. Группу завершалъ юноша, лѣтъ двадцати, рослый, широкоплечій, кудрявый, съ пушкомъ вокругъ щекъ и на верхней губѣ. Онъ казался чѣмъ-то взволнованъ; щеки его пылали, брови судорожно передвигались, пальцы сжимались въ кулакъ. Всѣ присутствующіе были чѣмъ-то сильно возбуждены; всѣ говорили и кричали въ одно время.

При видѣ старика, бѣлокурыя дѣвочки торопливо поставили чашку на песокъ и со всѣхъ ногъ бросились ему навстрѣчу; не успѣлъ онъ очнуться, какъ уже почувствовалъ себя въ ихъ рукахъ.

— Дѣдушка, я разскажу тебѣ... Это ужасно! ужасно! — едва переводя духъ отъ волненія, заговорила младшая изъ нихъ, Катя.

— Послушай только, дѣдушка, что я разскажу тебѣ! Ты только послушай; это ужасно! — кричала съ другой стороны вторая дѣвочка, Соня.

— Постойте же, дѣточки, пустите... нельзя же такъ, — отбивался Алексѣй Максимычъ, цѣлуя ихъ въ то же время. Начнете вмѣстѣ разсказывать, я ничего не пойму... я даже слушать не стану, если такъ... Вотъ смотрите: и шляпу, новую шляпу на землю сбросили... Шалуньи, право!... Спасибо, Ма-

руся, — подхватилъ онъ, подставляя голову красивой дѣвушкѣ, которая надѣла ему шляпу, стараясь отстранить Катю и Соню. — Ничего не хочу знать. Буду слушать только Марусю... Слышите ли? Только Марусю... Разсказывай, душенька, что у васъ здѣсь такое... Только постой, не на солнцѣ... Подойдемте подъ навѣсъ; тамъ будетъ удобнѣе...

Онъ мимоходомъ взглянулъ на юношу; тотъ старался, видимо, овладѣть собою; но краска разливалась по лицу его, и чѣмъ больше онъ бодрился, тѣмъ больше выказывалъ неловкости.

Алексѣй Максимычъ усѣлся на соломенный стулъ, придвинутый Марусей; Катя и Соня мгновенно завладѣли его руками. Юноша подошелъ ближе, расправляя ладонью растрепавшіяся кудри на головѣ.

— Ну, Марусенька, разсказывай... Постой, впрочемъ, зачѣмъ же оставили вы этихъ ребятишекъ на солнцѣ? Катя, Соня, ведите ихъ скорѣе сюда!... Вотъ такъ!... Не плачь, дѣвочка, тебѣ ничего худаго не сдѣлаютъ; не плачь, душенька; ну, Маруся, разсказывай; во-первыхъ, что это за дѣти?

— Дѣти бѣднаго огородника, — торопливо вмѣшалась Соня.

— Они сегодня ничего не ѣли, — перебила Катя.

— Дѣточки, что-жъ это въ самомъ дѣлѣ? Такъ, право, нельзя, — съ упрекомъ въ голосѣ сказалъ старикъ.

Онъ хотѣлъ показать при этомъ строгое лицо, но это ему не удалось, и онъ засмѣялся.

— Дѣдушка! добрый, добрый дѣдушка! — закричали обѣ дѣвочки, бросаясь обнимать и цѣловать старика съ такою восторженностью, что шляпа его чуть было снова не слетѣла на-земь.

Наконецъ, онѣ успокоились.

— Видишь ли, дѣдушка, — начала Маруся, усаживаясь подлѣ и поправляя ему скосившійся галстухъ, — всѣ мы сидѣли здѣсь на дворѣ; я шила, Сережа давалъ сестрамъ урокъ изъ русской исторіи; вдругъ здѣсь, сейчасъ за калиткой, раздается дѣтскій пронзительный крикъ. Мы выбѣжали. На мосткахъ два ребенка, вотъ эти самые. Дѣвочка заливается, плачетъ, мальчикъ кри-

читъ; смотримъ, изъ носу его льетъ кровь, все лицо перепачкано кровью... Спрашиваемъ: что случилось? Дѣвочка тутъ же разсказала, что за минуту передъ тѣмъ проходилъ мимо какой-то мальчикъ; поровнявшись съ ея братомъ, онъ вдругъ размахнулся и ударилъ его по лицу, послѣ чего побѣжалъ въ лавочку въ концѣ переулка... мы привели дѣтей къ себѣ... Но... но Сережа ужасно разгорячился,— подхватила Маруся, замѣтно смущаясь на этомъ мѣстѣ своего разсказа.

— Короче сказать, дѣдушка,— вмѣшался Сережа, успѣвшій въ это время остыть и оправиться,— мнѣ захотѣлось наказать этого негодяя...

— Рыцарь! рыцарь, нечего сказать!— полушутливо, полусерьезно замѣтилъ старикъ.

— Рыцарь не рыцарь, но пропустить безнаказанно поступокъ болвана, который бьетъ ребенка по лицу, мнѣ не хотѣлось и я подождалъ у калитки, пока онъ не вернется назадъ... Я, дѣйствительно, думалъ увидѣть мальчишку и хотѣлъ надрать ему уши, но смотрю: передо мною вдругъ выступилъ съ салатникомъ, наполненнымъ огурцами, цѣлый верзила... Меня это окончательно взорвало. Тутъ дѣвочка закричала: это онъ, онъ! Я забылся, бросился впередъ... огурцы, конечно, полетѣли во всѣ стороны... Я уже потомъ не помню хорошенько... Знаю только, что ему славно досталось... Ручаюсь, онъ не станетъ впередъ потѣшаться на дѣтскихъ лицахъ!

— Какой Сережа храбрый, да, дѣдушка, да?— восторженно воскликнула Катя.

— И добрый, да, дѣдушка? добрый? да?— подхватила Соня.

— О, удивительно! Что и говорить!— возразилъ Алексѣй Максимычъ, разводя руками.— Ну, а что, еслибъ да этотъ самый дѣтина оказался вдругъ сильнѣе Сережи? Что, еслибъ началась свалка и вмѣшалась полиція? Тогда что?— прибавилъ онъ, посматривая на юношу.— Какъ бы все это красиво отозвалось на молодомъ человѣкѣ, который готовитъ программу на

золотую медаль... Неправда ли, какъ это было бы красиво, Маруся?... Скажи сама. Ты у насъ одна здѣсь благоразумная...

Въ отвѣтъ на это Маруся окинула живымъ взглядомъ дѣдушку; встрѣтивъ знакомую добрую улыбку на лицѣ его, она сказала, что, будь она на мѣстѣ Сережи, она, по всей вѣроятности, сдѣлала бы то же самое.

— Заранѣе предвидѣлъ, что ты такъ отвѣтишь; непремѣнно заступится, ужъ это само собою, какъ водится! — проговорилъ старикъ, совсѣмъ уже развеселившись.

Еще въ началѣ прошлой зимы Зиноньевъ сталъ замѣчать, что молодые люди, выросшіе почти вмѣстѣ, начали обмѣниваться особенными взглядами, искали укромныхъ уголковъ и тамъ по цѣлымъ часамъ о чемъ-то съ жаромъ бесѣдовали; онъ не показалъ никакого виду, но въ ту же зиму, подъ предлогомъ усиленныхъ занятій Сережи въ Академіи Художествъ и отдаленности отъ нея своей квартиры, нанялъ ему на Васильевскомъ островѣ меблированную комнату. Сережа съ тѣхъ поръ приходилъ только къ обѣду и проводилъ у дѣдушки часть вечера.

Веселые возгласы знакомыхъ голосовъ ни на минуту не умолкали въ саду. Къ нимъ вскорѣ присоединилось звяканье посуды, возвѣстившее, что семья сѣла обѣдать. У Зиновьева немного было прислуги. Не считая кухарки, прислуга ограничивалась старой Марьей, или Марьянушкой, какъ ее обыкновенно всѣ звали. Лѣтъ двадцать тому назадъ поступила она къ старому архитектору простой прислужницей, потомъ мало-по-малу завладѣла хозяйствомъ, потомъ выходила и выпянчила одного за другимъ всѣхъ дѣтей и теперь уже была чѣмъ-то среднимъ между экономкой, членомъ семьи и старымъ другомъ дома. На вопросъ Алексѣя Максимыча, куда дѣвали бѣдныхъ дѣвочку и мальчика, Марьянушка объявила, что она въ точности исполнила желаніе Маруси: дѣти были умыты, накормлены, каждому дано, сверхъ того, по ватрушкѣ и оба играютъ теперь въ кухнѣ съ котятами.

— Ужъ какъ же и уплетали, мои голубчики! Посмотрѣли

бы вы только! — присовокупила Марьянушка, весело на всѣхъ поглядывая. — Я спрашивала у дѣвочки: со вчерашняго дня, говоритъ, ничего не ѣли...

— Благо сыты теперь, давай ихъ сюда!—подхватилъ Алексѣй Максимычъ, освобождая себя отъ салфетки, которую обыкновенно закладывалъ концами за галстукъ.

Всѣ торопливо встали изъ-за стола.

Такая поспѣшность объяснилась превосходнымъ планомъ прогулки, которую придумалъ дѣдушка во время обѣда. Вмѣсто того, чтобы отправиться безъ цѣли, какъ это обыкновенно дѣлалось, онъ предложилъ идти всѣмъ вмѣстѣ отыскать огородника и „водворить“, какъ онъ выразился, мальчика и дѣвочку „на мѣсто жительства“. Предложеніе принято было съ восторгомъ. Въ первыя минуты рѣшительно не знали, что дѣлать съ Катей и Соней. Нужно было вмѣшательство Марьянушки, чтобы заставить ихъ терпѣливо досидѣть до конца обѣда.

Былъ уже пятый часъ, когда семья Зиновьева всей гурьбой высыпала за калитку сада. Шествіе было почти что торжественное: его открывали босые мальчикъ и дѣвочка подъ прикрытіемъ Кати и Сони; позади, рядомъ съ Марусей, выступалъ Алексѣй Максимычъ, замѣнившій фракъ холщевымъ пальто и цилиндръ широкополой соломенной шляпой; за ними шелъ Сережа, теперь уже успокоенный, съ бодрымъ и довольнымъ видомъ.

Путь предстоялъ не шуточный. Приходилось обогнуть чуть ли не половину Аптекарскаго острова, перейти малую Невку и выйти на ту часть Петербургской стороны, которая замыкается пустырями и огородами. Но всѣмъ было очень весело, не выключая дѣдушки, изъ памяти котораго окончательно, казалось, исчезли непріятныя впечатлѣнія утра. Увлекаясь воспоминаніями прошлаго, онъ въ сотый разъ и все съ тѣмъ же увлеченіемъ разсказывалъ Марусѣ и Сережѣ о путешествіи, совершенномъ когда-то пѣшкомъ по маленькимъ итальянскимъ городкамъ, расположеннымъ вдоль Адріатическаго моря. Онъ приступалъ уже къ описанію чудесъ Равеннскаго собора,—любимому его предмету,—

когда Катя и Соня неожиданно остановились у забора и закричали:

— Здѣсь... здѣсь, дѣдушка!

Позади забора простирались во всѣ стороны нескончаемые ряды зеленѣющихъ грядъ; слѣва только подымалась избушка съ перекосившимся шестомъ бывшей скворечницы; вокругъ грудами валялся навозъ, рогожи, битые черепки. Можно было бы думать, что Петербургъ находится отсюда за тридевять земель, еслибъ въ отдаленіи не показывался адмиралтейскій шпицъ, блистая на вечернемъ закатѣ.

Въ ту самую минуту, какъ семья Зиновьева входила въ огородъ, изъ избы показалась тощая, босоногая баба, поправлявшая платокъ на встрепанной головѣ.

— Мама, мама! — закричали мальчикъ и дѣвочка.

Баба остановилась; увидавъ дѣтей, она подняла съ земли хворостину и скорыми шагами пошла къ нимъ навстрѣчу, повторяя: „Постойте, я вамъ дамъ маму! Пострѣлы этакіе!..“

Маруся, Сережа и дѣдушка заслонили дѣтей; Катя и Соня съ испуганнымъ видомъ прижались къ старшимъ.

— Матушка, погоди! Зачѣмъ же такъ?—ласково заговорилъ Алексѣй Максимычъ, удерживая руку бабы.—Выслушай прежде... Дѣти далеко забѣжали, заблудились... ну, вотъ мы ихъ нашли, накормили и привели домой. Скорѣе мы виноваты, что долго ихъ у себя держали... другой разъ лучше присматривай, а то Богъ знаетъ что можетъ случиться...

Суровое выраженіе на лицѣ бабы неожиданно исчезло; хворостина выпала изъ рукъ; она ударилась въ слезы.

Изъ словъ ея выяснилось, что мужъ былъ только работникомъ на огородѣ и вотъ уже вторую недѣлю лежитъ больной; хозяинъ, между тѣмъ, грозитъ прогнать со двора; гроши, какіе были, всѣ ушли на леченіе; въ домѣ нѣтъ куска хлѣба и дѣти поневолѣ голодаютъ; сама она бросалась туда-сюда за помощью, но никто даже голоса не подалъ, никто не откликнулся; тутъ кто бы ни былъ — потеряетъ голову.

Во всемъ этомъ не было ничего преувеличеннаго. Когда Алексѣй Максимычъ, оставивъ Марусю съ младшими дѣвочками, вошелъ съ Сережей въ избу, оба ужаснулись окружавшей нищетѣ. Передъ низенькимъ окномъ съ выбитыми стеклами лежалъ больной, едва прикрытый шершавыми лохмотьями тулупа; на лицѣ его, землянистаго цвѣта, очетливо выступала неподвижная, заострившаяся профиль; обнаженная грудь съ темнымъ углубленнымъ пятномъ посерединѣ тяжело переводила духъ. Въ избѣ было невообразимо жарко; съ перваго шага захватывало духъ и бросало въ потъ.

Алексѣй Максимычъ переглянулся съ Сережей, позвалъ бабу и, остановивъ ее въ дверяхъ, скоро началъ что-то шептать ей, шаря у себя, въ то же время, въ карманѣ. Сережа подошелъ ближе и также украдкой сунулъ ей что-то въ руку. Послѣ того оба вернулись къ своимъ, стараясь на пути успокоить бабу, которая, переставъ уже плакать, порывалась цѣловать ихъ руки. Выбѣжавъ изъ избы, она принялась также цѣловать руки Марусѣ и двумъ дѣвочкамъ. Вопреки увѣщаніямъ Алексѣя Максимыча, настоятельно посылавшаго бабу къ мужу, она проводила семью за калитку, и долго еще слышался надорванный ея голосъ, произносившій всевозможныя благословенія.

Въ первое время обратнаго возвращенія домой всѣ члены семьи шли молча. Алексѣю Максимычу это не понравилось. Ему, во что бы то ни стало, хотѣлось возвратить присутствующимъ прежнюю веселость. Для Кати и Сони не требовалось дѣлать большихъ усилій. Съ первыхъ его словъ обѣ восторженно забили въ ладоши и принялись выдѣлывать прыжки. Выраженія радости вызваны были новой выдумкой дѣдушки; онъ сообщилъ, что если та и другая будутъ слушаться Марусю и хорошо учиться, онъ всякій разъ, послѣ обѣда, каждой даетъ нѣсколько денегъ, и обѣ каждый вечеръ, вмѣстѣ съ Марусей, могутъ посѣщать бѣдную огородницу.

— И ты, дѣдушка, будешь съ нами? — спросили дѣвочки, хватая его за руки.

— Нѣтъ, дѣточки, мнѣ будетъ невозможно. Я теперь буду очень, очень занятъ. И Сережа не пойдетъ съ вами; у него также большая работа и ему мѣшать не надо. Кстати,—прибавилъ онъ, какъ идетъ твой проектъ?

— Подвигается, дѣдушка.

— Когда же ты мнѣ его покажешь?

— Когда совсѣмъ окончу.

— Ты все еще упорствуешь?

— Упорствую, дѣдушка! — улыбаясь, возразилъ Сережа. — Самъ посуди: покажи я тебѣ проектъ, ты, конечно, начнешь совѣтовать, я, конечно, послушаю твоихъ совѣтовъ; проектъ, разумѣется, выиграетъ, но въ немъ окажется больше твоего, чѣмъ моего, а мнѣ этого не хочется. Каковъ бы онъ ни былъ, пусть лучше все мое будетъ: и мысль, и детали, и вся обработка.

— Ну, а какъ провалишься?

Сережа на минуту задумался, но тутъ же поднялъ голову. Онъ началъ увѣрять, что говоритъ такъ вовсе не изъ самоувѣренности, но видѣлъ, какъ болѣе или менѣе трудились его товарищи, видѣлъ ихъ работу и сравнивалъ ее съ своею; онъ не могъ также не замѣтить, что съ нѣкоторыхъ поръ профессора стали обращаться съ нимъ иначе, оказывали ему особенное вниманіе, чего прежде не дѣлали. Воодушевляясь, слово за словомъ, Сережа заговорилъ о возможности получить медаль, поѣхать въ Италію, набраться новыхъ силъ, потомъ вернуться скорѣй, какъ можно скорѣй домой, получить работу и тогда уже, тогда...

— И тогда жениться на Марусѣ!—вдругъ неожиданно докончилъ дѣдушка, лукаво, но добродушно поглядывая на юношу.

Основываясь на отрывистыхъ фразахъ, начатыхъ, но недосказанныхъ признаніяхъ Сережи, Алексѣй Максимычъ не сомнѣвался въ любви молодыхъ людей; не сомнѣвался въ томъ даже, что оба рѣшили уже вопросъ и дали другъ другу слово. Въ душѣ онъ этому радовался. Онъ пристальнѣе взглянулъ на племянника и повторилъ:

— Да, и женишься на Марусѣ?

— И женюсь на Марусѣ! — рѣшительно отвѣчалъ Сережа, отыскивая глазами дѣвушку, которая вдругъ вспыхнула и закрылась зонтикомъ.

Алексѣй Максимычъ обхватилъ рукою ея станъ, потрепалъ ее по плечу и на ходу поцѣловалъ въ щеку, при чемъ Катя и Соня снова запрыгали, какъ козы, и начала восторженно бить въ ладоши.

Сумерки уже сгущались и полный, румяный мѣсяцъ выплывалъ между темными деревьями, когда семья Зиновьева остановилась передъ калиткой дачи.

---

## VII.

Алексѣй Максимычъ Зиновьевъ вышелъ изъ Академіи Художествъ въ сороковыхъ годахъ. Удостоенный золотою медалью перваго достоинства, онъ шесть лѣтъ провелъ въ Италіи. Результатомъ поѣздки были: замѣчательная монографія въ рисункахъ палатинской капеллы въ Палермо и множество снимковъ различныхъ церквей и архитектурныхъ деталей. Все это служило вкладомъ для изученія искусства, но ему, собственно въ матеріальномъ отношеніи, ничего не принесло. Правда, для капеллы нашелся заграницей издатель; но потому ли, что молодой архитекторъ не умѣлъ заключить условій, потому ли, что печатаніе дѣйствительно обошлось дороже, чѣмъ предполагалось, выгода Зиновьева ограничилась однимъ экземпляромъ, посланнымъ ему издателемъ. Онъ поспѣшилъ продать экземпляръ за половинную цѣну, такъ какъ въ то время крайне нуждался въ деньгахъ. При всей готовности приняться за дѣло, въ теченіе года не могъ достать работы.

Случаи интересныхъ построекъ представлялись не одинъ разъ, но всегда какъ-то такъ выходило, что они проскользали мимо и попадали въ другія руки. Ему оставалось идти въ помощники и

чаще всего къ товарищамъ, которые, сколько ему помнилось, не отличались въ академіи особенными способностями; въ свое время онъ даже многимъ изъ нихъ помогалъ оканчивать программы.

Но жизнь предъявляла свои требованія; онъ соглашался, и, надо прибавить, соглашался безъ раздраженія, потому что врожденное добродушіе и простота сердца не оставляли уголка для зависти и ѣдкаго самолюбія. Но и здѣсь даже рѣдко удавалось довести дѣло до конца и получить за свой трудъ полное вознагражденіе. Главнымъ препятствіемъ были по бо́льшей части подрядчики. Одни доставляли подмоченныя балки, прося принять ихъ за сухія; другіе выставляли двадцать тысячъ кирпичей, подсовывая къ подпискѣ счетъ на двадцать пять тысячъ, и т. д. Когда онъ передавалъ объ этомъ старшему архитектору, тотъ приходилъ обыкновенно въ негодованіе, но, въ концѣ концовъ, оставлялъ у себя подрядчика и выказывалъ полнѣйшее равнодушіе при желаніи помощника оставить должность.

Какъ ни былъ онъ терпѣливъ, ему, однакожъ, это надоѣло. Онъ принялся тогда дѣлать рисунки для мебельщиковъ и фабрикантовъ. Любимымъ предметомъ Зиновьева былъ греко-византійскій стиль, процвѣтавшій въ восточной Римской имперіи между шестымъ и двѣнадцатымъ столѣтіями; онъ всегда чувствовалъ къ нему склонность; побывавъ въ Италіи, онъ до того имъ увлекся, что, не смотря на скудныя средства, сдѣлалъ поѣздку въ Константинополь, единственно съ цѣлью осмотрѣть храмъ святой Софіи. Вернувшись въ Россію съ запасомъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, онъ постоянно мечталъ воспользоваться ими для украшенія предметовъ церковнаго и гражданскаго употребленія.

Онъ горячо принялся за работу.

Но и здѣсь пришлось вскорѣ разочароваться. Фабриканты и мебельщики исключительно требовали стиля Лудовика XVI и рококо. Рисунки Зиновьева, — плодъ долгаго, страстнаго изученія и труда, — оставались у него по бо́льшей части въ папкѣ.

Практическій человѣкъ не сталъ бы, конечно, идти противъ теченія, понялъ бы безполезность борьбы и, вмѣсто того, чтобы

убѣждать и спорить, поспѣшилъ бы удовлетворить требованіямъ современнаго вкуса; но практичность не дана была въ удѣлъ Зиновьеву. Византія, вмѣсто того, чтобы его вывезти, посадила его на мель.

Нужна была случайная выставка въ академіи, нуженъ былъ особый знатокъ и любитель византійскаго искусства, чтобы выручить молодаго архитектора.

Рисунки его на академической выставкѣ не только имѣли успѣхъ, но получили значеніе какого-то новаго откровенія. Онъ точно не жилъ до сихъ поръ въ Петербургѣ и вдругъ упалъ съ неба на Васильевскій островъ. О немъ заговорили, вспомнили и просмотрѣли его прежнія работы; въ цѣломъ его направленіи найдена была общая мысль, послѣдовательность, новое стремленіе, которое, при болѣе обширной разработкѣ, должно было привести къ замѣчательнымъ послѣдствіямъ.

Ему предложена была на казенный счетъ новая поѣздка въ Италію, но уже съ цѣлью спеціальнаго изученія того рода искусства, который онъ такъ любилъ и которому такъ фанатически поклонялся. Зиновьевъ, начинавшій уже падать духомъ, воскресъ окончательно. Въ концѣ года онъ уѣхалъ, отмѣтивъ себѣ заранѣе два пункта: Равенну и Венецію, Онъ поселился въ послѣднемъ городѣ.

Въ первые годы академія не могла нарадоваться. Труды Зиновьева получались аккуратно и всякій разъ служили предметомъ величайшихъ похвалъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ удивлялись также, что онъ не возвращается. Прошло еще два года; давно кончился срокъ казеннаго порученія: Зиновьевъ продолжалъ посылать въ Петербургъ работы даже послѣ того, какъ остановлено было ему казенное содержаніе, но самъ не трогался съ мѣста. Время отъ времени ему писали изъ Россіи, дѣлали различныя выгодныя предложенія; онъ всякій разъ благодарилъ, обѣщалъ пріѣхать, но, все-таки, оставался; то надо было кончить рисунки для сочиненія, заказаннаго иностраннымъ издателемъ, то случайно открывались незнакомыя сокровища византійскаго искусства, которыми

необходимо было пополнить накопившіеся матеріалы. Въ увлеченіи онъ все забывалъ тогда: и неудачи, испытанныя въ Петербургѣ, и выгодныя предложенія, которыя оттуда посылались. Справедливость требуетъ также сказать, что Италія успѣла уже произвести на Зиновьева свое засасывающее, притягательное дѣйствіе.

Послѣднее было не трудно, такъ какъ однимъ изъ свойствъ его природы была способность сильно привязываться; любящее его сердце не только привыкало къ людямъ, но крѣпко сживалось съ неодушевленными предметами, его окружавшими. При одной мысли не видать больше Венеціи онъ опускалъ голову и начиналъ отмахиваться, какъ бы желая скорѣе отогнать отъ себя такую возможность.

Такъ годъ за годомъ протянулось безъ малаго девять лѣтъ.

Зиновьеву было уже тогда подъ сорокъ; сѣдина начинала мѣстами пробиваться на вискахъ и въ бородѣ. Онъ рѣшился, наконецъ, возвратиться въ отечество. Намѣреніе на этотъ разъ было бы, безъ сомнѣнія, исполнено, еслибъ снова не задержалъ непредвидѣнный случай. Но на этотъ разъ препятствіемъ были не рисунки и увлеченія красотами византійскаго искусства; дѣло было серьезнѣе: Алексѣй Максимычъ влюбился.

До настоящаго времени у него были только привязанности; ни разу не прекращаясь по его винѣ, онѣ оставляли всегда послѣ себя горечь разочарованія. Онъ всякій разъ давалъ себѣ слово не увлекаться больше, никогда не выдерживалъ и всегда бранилъ себя, когда снова приходилось терпѣть неудачу. Съ любовью произошло другое. Онъ испытывалъ это чувство въ первый разъ, испытывалъ въ такіе годы, когда оно захватываетъ уже не шутя, въ самую глубь сердца.

Предметомъ Алексѣя Максимыча была хорошенькая двадцатилѣтняя нѣмочка, завезенная въ Венецію дюссельдорфскимъ художникомъ. Она жила одиноко, едва перебиваясь на средства, оставленныя любовникомъ, который вскорѣ долженъ былъ вернуться на родину. Его призывало туда,—такъ говорилъ онъ, по край-

ней мѣрѣ,—наслѣдство; вмѣстѣ съ тѣмъ, у него оставались тамъ картины и представлялся неожиданный случай продать ихъ. Время отъ времени изъ Дюссельдорфа приходили письма; въ нихъ подтверждалось обѣщаніе хухожника жениться на дѣвушкѣ; но для этого надо было одно изъ двухъ: или получить наслѣдство, или продать картины; то и другое, къ сожалѣнію, замедлялось. Проходили недѣли, стали, наконецъ, проходить мѣсяцы, — художникъ не только не возвращался, но самыя письма его сдѣлались рѣдки.

Зиновьевъ уже не сомнѣвался, что дѣвушка была обманута. Онъ не открывалъ ей, однакожъ, своихъ подозрѣній; его удерживала жалость, а также неувѣренность въ чувствахъ дѣвушки къ покинувшему ее художнику. Зиновьевъ добивался только ея довѣрія; имъ руководило сначала чувство глубокаго состраданія къ покинутой; такъ, по крайней мѣрѣ, ему казалось; онъ не подозрѣвалъ, что состраданіе, которое онъ испытывалъ, живетъ бокъ-о-бокъ въ одномъ источникѣ съ любовью, и первое чаще всего служитъ проводникомъ второму. Онъ утромъ вставалъ съ одною лишь мыслью: увидѣть ее какъ можно скорѣе, а вечеромъ, ложась въ постель, думалъ пережить скорѣе ночь, чтобы скорѣе дождаться слѣдующаго утра. Быть съ ней и видѣть ее сдѣлалось его насущной потребностью; онъ безпокоился и волновался, когда ея не было, и волновался еще больше, когда былъ съ нею. Такъ прошелъ еще мѣсяцъ.

Зиновьевъ предложилъ ей однажды сдѣлать прогулку на Лидо. Пріѣхавъ туда, они усѣлись дальше отъ того мѣста, гдѣ устроены купальни, — тамъ, гдѣ начинается зелень надъ плоскимъ песчанымъ берегомъ, по которому тихо, точно ласкаясь, накатываются зеленопрозрачныя волны. День былъ чудный; все вокругъ млѣло въ ровномъ серебристомъ сіяніи; въ немъ берегъ сливался съ моремъ и море сливалось съ небомъ; воздухъ не двигался; чувствовалось въ немъ что-то влажное, нѣжущее, какъ бархатъ.

Въ то утро сердце Алексѣя Максимыча было особенно полно, онъ весь былъ настроенъ и нервы до того возбуждены, что

еслибъ въ эту минуту раздалась гдѣ-нибудь музыка, онъ не могъ бы удержаться и заплакалъ. Онъ приблизился къ дѣвушкѣ и сначала тихо, потомъ съ возраставшей восторженностью передалъ ей все, что давно собирался высказать. Не останавливаясь передъ соображеніями о прошломъ, видя передъ собою только ея несчастіе и увлеченный мыслью о ея спасеніи, не соображая о томъ, что самъ перебивался, самому трудно было бороться съ жизнью, онъ предложилъ на ней жениться.

Дѣвушка слушала его съ возраставшимъ смущеніемъ; при послѣднихъ словахъ она закрыла лицо руками и принялась такъ горько рыдать, что въ первыя двѣ, три минуты Зиновьевъ положительно потерялъ голову; онъ бросился къ ея ногамъ, началъ успокоивать, просилъ простить его. Придя нѣсколько въ себя, дѣвушка обратила къ нему заплаканное лицо и сказала, что не ему просить у нея прощенія, но ему надо простить ее, потому что въ отвѣтъ на его любовь и великодушіе она до сихъ поръ скрывала отъ него главную тайну своего горя. Обливаясь слезами, она открыла ему, что у нея былъ ребенокъ.

— Что-жъ такое? — воскликнулъ Алексѣй Максимычъ, горячо схватывая ея руку, — ну... ну, что-жъ?... Я буду ему отцомъ! — добавилъ онъ, показывая ей улыбающееся лицо, между тѣмъ какъ изъ глазъ его ручьями текли слезы.

Но чувства, волновавшія его, тутъ же должны были уступить горю,—горю, котораго онъ впослѣдствіи никогда уже больше не испытывалъ въ такой силѣ. Изъ дальнѣйшихъ объясненій открылось, что дѣвушка цѣнила вполнѣ его чувства, считала его самымъ честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, но при всемъ томъ отказывалась принять его предложеніе, отказывалась отъ счастія. Онъ долженъ былъ самъ понять, могла ли она согласиться, пока оставалась еще надежда возвратить отца ребенку?

Уговаривать, убѣждать было безполезно; Зиновьевъ самъ это почувствовалъ. Призывая на помощь всѣ силы благоразумія, онъ рѣшился тогда же вернуться въ Россію, какъ можно скорѣе. Но что съ ней тогда будетъ? Какъ оставить ее одну на произ-

волъ судьбы? Вопросы эти на минуту поколебали его рѣшимость. Любовь глубоко прошла въ его сердце; кромѣ любви, его постоянно еще влекло къ дѣвушкѣ другое чувство — чувство особенной заботливости и отеческой нѣжности. Послѣднее внушало ему выходъ изъ его положенія. Онъ собралъ всѣ накопленныя деньги, около тысячи рублей, отправился къ знакомому ювелиру и на всю сумму купилъ драгоцѣнный перстень. Въ этомъ видѣ, думалъ онъ, легче будетъ достигнуть цѣли; отъ денегъ она бы отказалась, но въ принятіи перстня, особенно когда онъ дается на память... и только на память!... не можетъ быть повода къ отказу. Онъ, тѣмъ не менѣе, придумывалъ различныя хитрыя сплетенія и лукавые убѣдительные доводы. Въ критическую минуту онъ рѣшился даже солгать, что перстень достался ему отъ дальней родственницы и онъ рѣшительно не знаетъ, что съ нимъ дѣлать.

Покончивъ благополучно съ этимъ дѣломъ, онъ почувствовалъ значительное облегченіе; онъ могъ теперь ѣхать спокойнѣе и началъ укладываться.

Алексѣй Максимычъ стоялъ въ раздумьѣ передъ кипами разбросанныхъ рисунковъ, когда неожиданно постучали въ дверь. Въ комнату вошла любимая дѣвушка. Лицо ея было крайне взволновано. Тяжело переводя духъ, она подала Зиновьеву письмо, прося прочесть его. Художникъ извѣщалъ, что продалъ, наконецъ, картины, подтверждалъ обѣщаніе жениться и просилъ ее немедленно ѣхать въ Дюссельдорфъ, на что и посылалъ при письмѣ деньги.

Два дня послѣ этого, рано утромъ, лица, находившіяся на платформѣ передъ поѣздомъ, готовымъ отправиться изъ Венеціи, поглядывали съ любопытствомъ на окно одного изъ вагоновъ втораго класса. Въ этомъ окнѣ, точно въ рамѣ картины, обрисовалось миловидное лицо молодой женщины; примѣтивъ, что на нее обращали вниманіе, она дѣлала очевидныя усилія, чтобы удержаться отъ слезъ; но старанія ея были напрасны: какъ только платокъ, который она поминутно прикладывала къ лицу,

опускался, слезы снова струились по щекамъ. Откидываясь за край окна, она поспѣшно тогда протягивала руку стоявшему передъ окномъ на платформѣ господину небольшаго роста съ сѣдиною въ бородѣ и бакенбардахъ; лицо его было блѣдно; на немъ, подъ бровями, рѣзко выдѣлялись красныя, опухшія вѣки. Онъ всякій разъ судорожно какъ-то схватывалъ протянутую ему руку, жадно впивался въ лицо женщины, начиналъ шептать какія-то непонятныя слова и, въ то же время, принимался скоро осѣнять ее крестнымъ знаменіемъ.

Когда раздался свистокъ и тронулся вагонъ, онъ пробѣжалъ нѣсколько шаговъ, съ отчаяніемъ простирая руки къ платку, которымъ махали изъ окна. Одинъ изъ служителей бросился было за нимъ; но онъ уже возвращался къ выходной двери, тяжело склонивъ голову и опустивъ руки.

День спустя, Зиновьевъ покинулъ Венецію.

Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, какъ въ чужой городъ. Его почти забыли. Была у него сестра замужемъ за живописцемъ, онъ зять принадлежалъ къ группѣ дикихъ и необузданныхъ художниковъ. Зиновьевъ и прежде всегда тщательно избѣгалъ его. Жалѣя сестру, онъ помогалъ ей, когда могъ, и этимъ ограничивались ихъ отношенія.

Алексѣй Максимычъ начиналъ уже понемногу устраиваться. Неожиданное извѣстіе въ одинъ мигъ потрясло его до глубины души. Извѣстіе пришло изъ Ростока, маленькаго прусскаго городка, на берегу Балтійскаго моря. Зиновьевъ узналъ изъ письма, что любимая дѣвушка была безжалостно обманута и брошена съ ребенкомъ; едва живая, она доѣхала до Ростока, гдѣ пріютилась у бѣдной родственницы. Въ настоящее время она лежала безнадежно больная. Припоминая прошлое Зиновьеву, благодаря его за все то, что онъ для нея сдѣлалъ, она теперь обращалась къ нему, какъ къ единственному существу, которому вѣрила; она просила за ребенка, умоляла не оставить его и быть ему отцомъ, какъ самъ онъ обѣщалъ когда-то.

Алексѣй Максимычъ не принадлежалъ къ числу людей рѣшительныхъ; но здѣсь онъ показалъ себя другимъ человѣкомъ. Собравъ всѣ деньги, какія могъ, и взявъ паспортъ, онъ отправился, не теряя минуты. Онъ не смыкалъ глазъ во всю дорогу; передъ нимъ остріемъ стояла одна мысль, онъ боялся одного только: не застать ее больше въ живыхъ. Предчувствія не обманули его; онъ пріѣхалъ въ Ростокъ на второй день послѣ того, какъ ее похоронили. Исполнивъ всѣ формальности касательно ребенка (это была дѣвочка и большихъ затрудненій не встрѣтилось), Зиновьевъ привезъ дѣвочку въ Петербургъ.

---

## VIII.

Ребенку было всего нѣсколько мѣсяцевъ. Съ помощью Марьянушки, нанимавшейся у него въ кухаркахъ и оказавшейся прекрасной женщиной, Зиновьевъ вышелъ, однакожъ, изъ затрудненій. Не обошлось, конечно, безъ намековъ и болѣе или менѣе фантастическихъ предположеній на его счетъ; но онъ не обратилъ на нихъ вниманія. Съ такимъ же равнодушіемъ отнесся онъ къ окончательному разрыву съ зятемъ; послѣдній бранилъ его теперь на всѣхъ углахъ, выставляя на видъ безсердечность человѣка, который разводитъ незаконныхъ дѣтей и прикармливаетъ ихъ, тогда какъ ближайшимъ родственникамъ часто ѣсть нечего. Декламируя такимъ образомъ, живописецъ не подозрѣвалъ, что часто хлѣбъ, который онъ ѣлъ дома, былъ купленъ на деньги шурина; не подозрѣвалъ онъ также, что для того, чтобы доставать деньги, шуринъ трудился, не зная отдыха, между тѣмъ какъ самъ онъ сидѣлъ въ это время въ погребкѣ или лежалъ на проткнутомъ диванѣ, предаваясь сладчайшему отдыху.

Еще менѣе, конечно, приходило ему въ голову, что будетъ время, когда его собственныхъ дѣтей придется прикармливать и

воспитывать тому же шурину. Все это случилось, правда, не скоро, но случилось однакожъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, скоропостижно умеръ живописецъ; за нимъ скончалась его жена. Послѣ нихъ остались мальчикъ и двѣ дѣвочки. Пользуясь знакомствами, Алексѣй Максимычъ могъ бы, конечно, распредѣлить дѣтей сестры въ разныя благотворительныя учрежденія. Но такая комбинація не пришла ему какъ-то въ голову. Онъ пожалѣлъ дѣтей и взялъ ихъ на свое попеченіе. Сережѣ было тогда девять лѣтъ, Катѣ два года, Соня только что родилась. Наслѣдство послѣ сестры, нечего сказать, было обременительно; тѣмъ не менѣе, если бы, годъ спустя, кто-нибудь предложилъ Зиновьеву облегчить его участь и взять дѣтей, онъ, кажется, въ первый разъ въ жизни вышелъ бы изъ себя и показалъ дверь такому человѣку. Привязчивость его успѣла уже сдѣлать свое дѣло. Одно иногда безпокоило: шумъ и крикъ, когда дѣти разыграются; но являлась Марьянушка, и все снова улаживалось.

Положеніе Зиновьева, какъ архитектора, нельзя было назвать блестящимъ. Онъ, попрежнему, больше рисовалъ, чѣмъ строилъ; но теперь извѣстность его, какъ отличнаго рисовальщика, настолько уже распространилась, что въ этой работѣ не было недостатка. Надо также прибавить, что греко-византійскій стиль, которому онъ такъ горячо поклонялся, начиналъ встрѣчать сочувствіе, мало-по-малу примѣняться, особенно въ предметахъ для церковнаго употребленія. Въ одной изъ главныхъ газетъ явилась даже статья, въ которой прямо указывали на Зиновьева, какъ на главнаго проводника такого вкуса. Заказы стали чаще являться.

Работая по бо́льшей части дома, онъ рѣдко встрѣчался съ собратами по архитектурѣ, но даже и при другихъ условіяхъ между ними и Зиновьевымъ не могло произойти тѣснаго сближенія. Ими, главнымъ образомъ, руководили интересъ и практическія соображенія; мало озабочиваясь вопросами искусства, они брались строить безразлично какое угодно зданіе, въ какомъ угодно стилѣ, уподобляясь, впрочемъ, въ этомъ случаѣ большин-

ству соотечественниковъ, которые, часто ни къ чему неподготовленные, берутся, тѣмъ не менѣе, за какую угодно должность и, не смотря на отсутствіе всякихъ способностей, всегда ухитряются извлечь для себя выгоду; дайте имъ чугунный котелъ, резеду, сушеную муху, они и тутъ съумѣютъ выдавить сокъ; дайте имъ затѣмъ рѣшето, яйцо и осиновое полѣно, они и здѣсь непремѣнно что-нибудь для себя выгадаютъ.

Зиновьевъ въ этомъ отношеніи никуда не годился; товарищи совершенно справедливо называли его *блаженнымъ византійцемъ*. Для него художество стояло на первомъ планѣ; вопросы искусства увлекали его и ими замыкался его горизонтъ. Не смотря на огромную начитанность и художественное образованіе, пополненное долгими работами въ Италіи, онъ сталъ бы втупикъ, еслибъ ему предложили строить казармы; съ свойственною ему скромностью, онъ поспѣшилъ бы отказаться. Лѣта убѣлили его волосы, но чудомъ какимъ-то сохранили въ немъ юношескую теплоту сердца, чувствительность ко всему прекрасному, способность увлекаться иногда такъ сильно, что Сережа, его юный племянникъ, посматривалъ на него съ удивленіемъ. Такъ бывало особенно, когда старикъ начиналъ развивать свою любимую тему о томъ, что бы онъ сдѣлалъ, еслибъ на его долю выпалъ когда-нибудь случай строить церковь въ греко-византійскомъ стилѣ. Боже мой, сколько было накоплено матеріала! Сокровища лежали въ папкѣ! Все бы пошло тогда въ дѣло, нашло бы себѣ мѣсто, увидѣло бы свѣтъ! Тутъ одно за другимъ выступали всегда описанія чудныхъ равеннскихъ мозаикъ, красотъ орнаментаціи въ храмѣ св. Софіи, величаваго характера св. Марка въ Венеціи. Разгорячаясь болѣе и болѣе, Алексѣй Максимычъ кончалъ все тѣмъ, что готовъ былъ даромъ,—да, даромъ строить, былъ бы только случай исполнить любимую, завѣтную мечту цѣлой жизни.

Виноватъ ли былъ племянникъ, который, бывъ давно ученикомъ академіи, разболталъ о желаніи дяди; виноватъ ли былъ самъ Алексѣй Максимычъ, не стѣснявшійся передавать мечты свои постороннимъ лицамъ, но мечты эти мало-по-малу распро-

странились. Въ то время, какъ Зиновьевъ меньше всего ожидалъ, желаніе его осуществилось.

За три года до настоящаго времени онъ получилъ любезное приглашеніе пожаловать для переговоровъ къ Ивану Иванычу Воскресенскому. Имя Воскресенскаго въ то время было уже всѣмъ извѣстно. Зиновьевъ не сомнѣвался, что его будутъ просить, — какъ это уже не разъ случалось, — принять даровое участіе къ какой-нибудь работѣ съ благотворительной цѣлью. Догадки его отчасти только оправдались; дѣло дѣйствительно шло о благотворительномъ учрежденіи, но заключалось въ сооруженіи при немъ церкви на пожертвованныя деньги. Пока рѣчи еще не могло быть о характерѣ архитектуры; требовались только проектъ, планы и смѣта.

Алексѣй Максимычъ не удовольствовался такимъ требованіемъ; такъ какъ матеріала было у него заготовлено хоть на пять церквей, — стоило только подобрать рисунки и привести ихъ въ извѣстный масштабъ, — онъ присоединилъ къ назначенной работѣ цѣлую коллекцію раскрашенныхъ детальныхъ частей и разрѣзовъ.

Хотя Воскресенскій ровно ничего не понималъ въ искусствѣ, онъ ахнулъ, однакожъ, когда Зиновьевъ раскрылъ передъ нимъ свою папку. Его особенно поразило здѣсь не столько знаніе и воодушевленная, мастерская работа художника, сколько быстрота, съ какою все это было изготовлено.

Всякій разъ, какъ Иванъ Иванычъ встрѣчался съ предметомъ, о которомъ не имѣлъ понятія, — а это случалось весьма часто, — онъ никогда не высказывалъ своего мнѣнія, но выжидалъ всегда, чтобы кто нибудь другой прежде высказался. Онъ незамѣтно наводилъ разговоръ на незнакомый предметъ, давалъ возможность исчерпать его до дна и тогда уже возвышалъ голосъ. Такъ было и теперь. Узнавъ, что стиль церкви „греко-византійскій“, онъ поощрилъ Зиновьева къ дальнѣйшимъ объясненіямъ. Прислушиваясь къ разсказамъ о красотахъ св. Софіи и величіи Равеннскаго собора, Иванъ Иванычъ старался запомнить самыя

характерныя выраженія; они были необходимы ему, такъ какъ, прежде всего, онъ думалъ представить рисунки съ глазу на глазъ графу и графинѣ. Онъ просилъ архитектора оставить ему его работы на одинъ день для „соображеній“, какъ онъ выразился.

Нѣсколько дней спустя рѣшено было, за подписью графа и членовъ совѣта, передать постройку Зиновьеву.

Когда слухъ о томъ распространился между архитекторами, многіе изъ нихъ пришли въ негодованіе; по ихъ мнѣнію, надо было назначить конкурсъ, выбравъ жюри изъ лицъ ихъ же кружка. Другіе, лукаво подмигивая другъ другу, положительно утверждали, что въ такомъ рѣшеніи греко-византійскій стиль былъ рѣшительно не причемъ; что даже самый фактъ дешевой смѣты Зиновьева противъ смѣты, поданной для той же постройки архитекторами, не игралъ здѣсь рѣшительно никакой роли; все это были мелочи, передъ которыми (примѣры были передъ глазами) не остановился бы практическій Иванъ Иванычъ. Все дѣло, — такъ они утверждали, — было гораздо проще: оно заключалось въ наивности *блаженнаго византійца*, — наивности, которую Иванъ Иванычъ могъ эксплоатировать сколько угодно, пока не явится другой, еще болѣе наивный, или такой, который ловко подъѣдетъ къ Ивану Иванычу и самъ проведетъ его. Надо полагать, все это больше говорилось изъ зависти.

Какъ бы тамъ ни было, съ наступленіемъ весны Алексѣю Максимычу открытъ былъ кредитъ и онъ приступилъ къ постройкѣ.

---

## IX.

Въ субботу утромъ Алексѣй Максимычъ отправился на постройку раньше обыкновеннаго. Онъ торопился вовсе не потому, что въ этотъ день обѣщали пріѣхать Воскресенскій и его ассистенты Бабковъ и Лисичкинъ. Посѣщеніе этихъ лицъ не безпо-

коило его, но и не радовало. Художниковъ онъ мало зналъ; они, притомъ, не будучи ему сочувственны, не внушали ему уваженія своими работами и мнѣнія ихъ не имѣли въ глазахъ его значенія. Иванъ Иванычъ ничего не понималъ въ искусствѣ; онъ былъ въ немъ, какъ лососина на цвѣточной выставкѣ.

Другая причина привлекала Зиновьева на постройку: внутренность церкви только наканунѣ совсѣмъ освободилась отъ лѣсовъ; онъ успѣлъ уже вчера выяснить себѣ въ общихъ чертахъ, насколько исполненіе отвѣчало задачѣ; но работы кончились поздно; все-таки не было возможности дать себѣ, какъ бы хотѣлось, полнаго, сознательнаго отчета въ художественномъ впечатлѣніи цѣлаго; въ придачу, день наканунѣ былъ пасмурный. Онъ спѣшилъ сегодня, разсчитывая воспользоваться яснымъ солнечнымъ утромъ.

Церковь была пуста, когда вошелъ въ нее Алексѣй Максимычъ; маленькую дубовую дверь въ главномъ порталѣ отворилъ ему сторожъ, старый солдатъ, помѣщавшійся съ женою и дѣтьми въ подвальномъ этажѣ, предназначенномъ для служителей и ихъ семействъ, въ главномъ корпусѣ будущаго центральнаго благотворительнаго учрежденія. Зиновьевъ отпустилъ его, сказавъ, что присутствіе его у двери потребуется не раньше двѣнадцати часовъ, такъ какъ только къ этому времени прибудутъ гости.

Алексѣй Максимычъ остался очень доволенъ тишиною, его окружавшей; она позволяла сосредоточиться и ясно опредѣлить впечатлѣнія.

Занявъ мѣсто у главной входной арки, откуда глазъ свободно обнималъ всю внутренность церкви, старый архитекторъ нѣсколько минутъ простоялъ въ нѣмомъ неподвижномъ оцѣпенѣніи, стараясь призвать свое вниманіе. Сердце его билось; онъ почувствовалъ на лицѣ жаръ отъ охватившаго волненія. Мало-по-малу черты его успокоились, дыханіе стало свободнѣе. Онъ не хотѣлъ себя обманывать: часъ дня и выгодное освѣщеніе, конечно, прибавляли къ хорошему впечатлѣнію; лицо его, тѣмъ не менѣе, оживилось улыбкой; въ груди его встрепенулось давно неиспытанное чувство

и подступило ему къ сердцу; ноздри его задвигались, рѣсницы прищурились и что-то ѣдко защекотало его въ углахъ глазъ; не успѣлъ онъ прикоснуться къ нимъ пальцами, какъ двѣ слезинки побѣжали вдоль щекъ, быстро расплываясь въ мелкихъ морщинкахъ.

Было всего девять часовъ утра; косые лучи солнца, перехваченные тонкими колоннами галлереи втораго этажа, обдавали внутри зданія всю лѣвую его часть, оставляя другую половину въ полусвѣтѣ, смягченномъ отраженіемъ свѣтлыхъ стѣнъ и пола, собраннаго въ клѣтку изъ бѣлаго и сѣраго камня. Въ этомъ тепломъ отраженіи,—но только темнѣе его тономъ,—круглились боковыя арки и своды, усыпанные золотыми звѣздами по синему полю. Внизу, вокругъ всей церкви, обходилъ поясъ, гладко оштукатуренный подъ порфиръ, красно-бураго цвѣта; отсюда начиналась живопись; стѣны сплошь были ею покрыты; Алексѣй Максимычъ собралъ здѣсь все, что было лучшаго и характернаго въ древне-греческомъ искусствѣ; отдѣльные лики святыхъ, цѣльныя изображенія, сцены изъ св. писанія рядами наполняли зданіе, выдѣляя свои очертанія и краски на золотомъ фонѣ, раздѣланномъ подъ мозаическій наборъ; въ верхнихъ рядахъ живопись казалась уже совсѣмъ темною; золото, наоборотъ, свѣтлѣе выказывалось, приближаясь къ потолку, выведенному плоско, съ поперечными балками, расписанными красками и золотомъ, какъ въ древнихъ базиликахъ. Внутренній видъ церкви особенно оживлялся цвѣтнымъ орнаментомъ, писаннымъ также на золотѣ; онъ служилъ рамкой для стѣнной живописи, огибалъ всѣ фризы, арки и ребра сводовъ, упиравшихся на золоченыхъ капителяхъ съ расписасными колоннами.

Въ этомъ блескѣ красокъ и мерцаніи позолоты ничего не было поражающаго пестротою; Алексѣй Максимычъ больше всего этимъ тревожился; онъ могъ теперь успокоиться: мастерское распредѣленіе красокъ и золота нигдѣ не нарушало гармоніи цѣлаго; все соединялось какъ нельзя удачнѣе и производило

тотъ свѣтлый, торжественный, но спокойный аккордъ, котораго такъ добивался художникъ.

Вниманіе его перешло тогда къ алтарю — предмету особенной заботливости и попеченія; но тамъ, повидимому, также все отвѣчало мысли строителя; тамъ, въ углубленномъ полукругломъ пространствѣ, нарочно такъ разсчитанномъ, чтобы онъ оставался въ полусвѣтѣ во всякое время дня, величественно выступали строгія изображенія апостоловъ и Спасителя, возсѣдающаго на тронѣ; изображенія эти, колоссальнаго размѣра, писаны были во всю вышину стѣны, какъ въ палатинской капеллѣ въ Палермо, и также на золотомъ фонѣ подъ мозаику; мѣстами, въ глубинѣ, золото принимало цвѣтъ густаго янтаря, за которымъ какъ бы поставили свѣчку; мѣстами отраженіе сосѣднихъ стѣнъ выдвигало тотъ или другой ликъ, сообщая углубленнымъ частямъ алтаря тотъ таинственный оттѣнокъ, который еще въ рисункахъ мерещился художнику.

Лицо Алексѣя Максимыча омрачилось тогда только, когда глаза его встрѣтились съ иконостасомъ. Послѣдній дѣйствительно не удался. Но крикливая позолота и живопись слишкомъ уже рѣзко били въ глаза и противорѣчили характеру другихъ частей зданія, чтобы можно было приписать такую ошибку архитектору; такъ, по крайней мѣрѣ, долженъ былъ подумать каждый благомыслящій человѣкъ. Алексѣй Максимычъ мало, однакожъ, этимъ утѣшался; иконостасъ былъ для него тѣмъ же, чѣмъ было бы для матери бѣльмо или кривая нога у любимаго дѣтища. Но что было ему дѣлать? Въ первоначальномъ проектѣ онъ хотѣлъ его оставить рѣзнымъ въ натуральномъ цвѣтѣ дерева; попечительный совѣтъ не допустилъ до этого, настоятельно требуя позолоты; Иванъ Иванычъ, передавая волю совѣта, сказалъ, что таково было желаніе купца, пожертвовавшаго деньги; неисполненіе такого желанія легко могло охладить рвеніе другихъ жертвователей. То же самое произошло съ образами. Напрасно, чуть не со слезами на глазахъ, убѣждалъ Зиновьевъ, что этимъ все дѣло будетъ испорчено, что образа эти, своими рутинными формами и конди-

терской живописью, нарушать гармонію цѣлаго,— попечительный совѣтъ, черезъ посредство Ивана Иваныча, снова поставилъ вопросъ ребромъ: образа Лисичкина были имъ пожертвованы и, во что бы ни стало, необходимо было ихъ принять, чтобы поощрить жертвователя; образа, кромѣ того, какъ жертвованные, въ значительной степени сокращали расходъ; архитектору было, конечно, все равно; имѣя въ виду только красоту и гармонію, онъ готовъ былъ эгоистически принести имъ въ жертву денежные интересы; попечительнымъ совѣтомъ, наоборотъ, управляла широкая общественная задача, заставлявшая каждаго изъ его членовъ смотрѣть на пожертвованныя деньги, какъ на свои собственныя. Алексѣй Максимычъ поневолѣ долженъ былъ покориться. Но не одинъ попечительный совѣтъ отравлялъ ему сладость труда; чего стоила ему эта постоянная борьба противъ Ивана Иваныча, который, хотя мягко и вкрадчиво, но всегда назойливо старался приналзать къ постройкѣ разныхъ лицъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ архитектурой и художествомъ. Цѣль Воскресенскаго была весьма понятна: ему хотѣлось доставить этимъ лицамъ случай получить награду впослѣдствіи; но архитектору было не легче отъ этого. Зиновьевъ для своей цѣли горячо желалъ призыва суздальскихъ живописцевъ; Воскресенскій возставалъ противъ такого желанія; согласіе пришло послѣ того, какъ Зиновьеву удалось успокоить Ивана Иваныча, нравственное чувство котораго возмущалось тѣмъ, что всѣ иконописцы горькіе пьяницы и непристойно допускать ихъ къ дѣлу благочестія. Суздальцы дѣйствительно пили мертвую; хлопотъ съ ними было не мало; но они, по крайней мѣрѣ, безусловно повиновались указаніямъ и живопись ихъ отвѣчала характеру церковной архитектуры. Сколько разъ, въ самое кипучее время, приходилось отрываться отъ дѣла, чтобы исполнять частныя даровыя работы, дѣлать рисунки для ковровъ, окладовъ, хоругвей и т. д.,—и все это только для того, чтобы поладить съ Воскресенскимъ, желавшимъ угодить разнымъ благотворительницамъ, попечительницамъ и предсѣдательницамъ, которыя страстно хотѣли жертвовать, но такъ, однакожъ, чтобы жертвы обходились какъ можно дешевле.

Въ прошломъ году Алексѣя Максимыча постигло горе, которое чуть было совсѣмъ его не сокрушило. Вдова бывшаго товарища по академіи упросила его взять въ число помощниковъ сына; молодой человѣкъ прекрасно учился, отлично зналъ бухгалтерскую часть и, бывъ ея единственной поддержкой, находился теперь безъ мѣста. Зиновьевъ сжалился, обласкалъ молодого человѣка и, примѣтивъ въ немъ стараніе и дѣятельность, мало-помалу, съ свойственной ему довѣрчивостью, поручилъ ему вести приходо-расходныя книги и разсчитываться съ рабочими. Кончилось тѣмъ, что молодой человѣкъ обобралъ его, какъ липку; въ одинъ прекрасный день въ кассѣ не достало,—шутка сказать!—цѣлыхъ двухъ тысячъ. Алексѣй Максимычъ былъ близокъ къ отчаянью. Что было дѣлать? Подать жалобу въ судъ? Довести до свѣдѣнія совѣта? Результатомъ была бы огласка; его довѣрчивость объяснили бы небреженіемъ, нерадѣніемъ къ дѣлу; какъ строитель церкви, онъ рисковалъ возбудить подозрѣнія еще худшаго сорта. Его могли лишить постройки, потому что лица, покровительствуемыя Иваномъ Иванычемъ, конечно, не попустили бы воспользоваться удобнымъ случаемъ.

Движимый такими мыслями, Зиновьевъ рѣшился оставить дѣло втайнѣ; какъ ни горько было, онъ поспѣшилъ пополнить украденную сумму изъ скопленныхъ трудовыхъ денегъ. Никто ничего не узналъ, кромѣ вдовы и самого вора, который, впрочемъ, перенесъ катастрофу не только равнодушно, но даже съ нѣкоторымъ достоинствомъ; Алексѣй Максимычъ не разъ потомъ встрѣчалъ его гуляющимъ съ папироской и безпечно помахивающимъ тросточкой.

Зиновьевъ не вспомнилъ о врагахъ своихъ, подрядчикахъ, не переставшихъ ему насаливать въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ. Боже мой, что значили эти непріятности передъ тѣми, какія пришлось испытать, особенно въ послѣднее время, когда между нимъ и Воскресенскимъ начались какія-то лицемѣрныя отношенія и, наконецъ, пошло явное недоброжелательство, сопровождавшееся, что ни шагъ, новыми придирками; когда всякая мелочь должна

была представляться попечительному совѣту и членамъ на обсужденіе, отъ нихъ переходить къ Воскресенскому, отъ Воскресенскаго переходить на утвержденіе графа, причемъ каждое изъ этихъ лицъ, не отвѣчая ни на что точно и опредѣлительно, считало долгомъ замѣтить: „Что тутъ... какъ будто... было что-то... не совсѣмъ такъ и лучше бы прибавить: а здѣсь, хотя и было ладно, но... казалось какъ будто... надо было что-то убавить..,“

Но всѣ эти воспоминанія, случайно вызванныя въ памяти стараго архитектора, промелькнули мимо, не возбуждая въ немъ ни желчи, ни раздраженія. Онъ находилъ себя достаточно вознагражденнымъ уже тѣмъ, что завѣтная мечта стольких лѣтъ не осталась праздною мечтою; она осуществилась, получила осязательную, желанную форму, дала удовлетворительный художественный результатъ; Алексѣй Максимычъ недаромъ, стало быть, прожилъ; труды его не пропали; имя его останется...

Зиновьевъ былъ слишкомъ скроменъ, чтобы придавать своей работѣ преувеличенное значеніе. Онъ трудился много, трудился отъ всего сердца, съ любовью, съ увлеченіемъ, но относился къ своему труду просто, не священнодѣйствуя или не кутаясь въ плащъ глубокомыслія, какъ теперь часто дѣлаютъ художники, приступая къ портрету чиновника или изображенію мужичка, тупо созерцающаго древесный пень.

Не страдая излишкомъ самолюбія, онъ не поддавался самообольщенію. Онъ зналъ очень хорошо, насколько въ построенной имъ церкви неумѣстно было гордиться самобытнымъ творчествомъ. Все здѣсь было не имъ выдумано, давно создавалось вѣками и встрѣчалось на множествѣ памятниковъ греко-византійской эпохи. На долю его выпало только собрать и соединить матеріалы.

Но, рядомъ съ этимъ, они представляли совершеннѣйшіе образцы, и выборомъ ихъ несомнѣнно должны были управлять вкусъ и знаніе; простой смыслъ говорилъ здѣсь о трудностяхъ, которыя надо было превозмочь, чтобы распредѣлить разрозненныя части, связать ихъ общимъ смысломъ, приспособить ихъ къ настоящей задачѣ; здравый разсудокъ указывалъ, что тутъ тру-

домъ однимъ ничего не возьмешь: нужно было художественное дарованіе, нуженъ былъ талантъ, чтобы слить эти части въ одно цѣлое и привести ихъ въ полное, гармоническое сочетаніе.

Алексѣй Максимычъ могъ бы повторить себѣ то же самое и гордо приподнять голову; онъ ограничивался тѣмъ, что потиралъ руки и мягко, добродушно улыбался; но и того чувства, которое наполняло теперь согрѣтое сердце, довольно было, чтобы вытѣснить тяжелыя воспоминанія всѣхъ неудачъ, разочарованій, обидъ и горькихъ испытаній. Все это прошло, слава Богу; оставалось утѣшаться и радоваться, именно радоваться, потому что передъ глазами сіяло во всемъ блескѣ произведеніе, — плодъ собственной мысли и труда,—а на душѣ было также свѣтло, благодаря чистой совѣсти и честнымъ побужденіямъ.

Въ такомъ счастливомъ настроеніи духа находился старый архитекторъ, когда въ глубинѣ церкви зашумѣла дверь и въ свѣтломъ ея пятнѣ показались сначала Иванъ Иванычъ, а вслѣдъ за нимъ Бабковъ и Лисичкинъ.

Алексѣй Максимычъ пошелъ имъ навстрѣчу.

---

## X.

Не успѣлъ онъ сдѣлать трехъ шаговъ, какъ уже издали послышался разнѣженно-умиленный голосъ живописца:

— Здравствуйте, дорогой, — дорогой и многоуважаемый Алексѣй Максимычъ. Честь вамъ и слава! Честь и слава... Ахъ, какая прелесть!...

Зиновьевъ привѣтливо раскланялся съ гостями и всѣмъ пожалъ руки; обратясь затѣмъ къ живописцу, онъ только прибавилъ:

— Погодите хвалить; дальше, можетъ быть, еще и не понравится...

— Нѣтъ, ужъ извините: отсюда уже вижу, какое наслажденіе насъ дальше ожидаетъ! — съ сіяющимъ видомъ заговорилъ

Лисичкинъ, придвигаясь вмѣстѣ съ другими къ серединѣ церкви. — Что я говорилъ? Какъ есть—праздникъ для глазъ; сласть просто!

При этомъ онъ даже зачмокалъ губами, какъ бы дѣйствительно ощутилъ сладость во рту.

— Какой блескъ! Сколько характера и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какая вездѣ гармонія!—продолжалъ Лисичкинъ, останавливаясь въ восторженномъ экстазѣ, но на самомъ дѣлѣ поглядывая сбоку на свои образа въ иконостасѣ.

Удовлетворивъ себя съ этой стороны, онъ неожиданно принялъ намѣреніе расцѣловать Зиновьева, но сѣрые его глазки встрѣтились съ прищуренными глазами Бабкова и онъ остановился; восторгъ долженъ былъ, однакожъ, чѣмъ нибудь выразиться; онъ поспѣшно завладѣлъ рукою старика и, нѣжно пожимая ее между мягкими своими ладонями, снова сталъ обдавать его медомъ и елеемъ.

Бабковъ, между тѣмъ, продолжалъ молчать. Онъ всегда завидовалъ „находчивости лукаваго блондина“, умѣвшаго приноровиться къ случаю, пригнать къ нему подходящія слова, лицо и даже голосъ; Бабковъ, какъ извѣстно, былъ человѣкъ прямой, основательный; прежде чѣмъ что нибудь сказать, ему надо было осмотрѣться, взвѣсить, обсудить дѣло. Онъ ограничивался пока тѣмъ, что осклаблялся во весь ротъ, когда встрѣчался глазами съ лицомъ Зиновьева, причемъ показывалъ рядъ крѣпкихъ зубовъ, которые хотя никогда не чистились, но бѣлѣли между его толстыми губами.

Ивану Иванычу нечего было высказывать своихъ впечатлѣній. Слѣдя за постройкой и наѣзжая сюда время отъ времени, онъ давно успѣлъ вывести свои заключенія. Онъ былъ, притомъ, умственно и нравственно озабоченъ: въ три часа надо было ѣхать въ засѣданіе, временно предсѣдательствовать и провести весьма сложный вопросъ. Кромѣ того, ему сегодня какъ-то нездоровилось; а тутъ еще эти сырыя стѣны новой, только-что отстроенной церкви, сжатый воздухъ, пропитанный запахомъ извести и краскъ! Не смотря на резиновыя калоши, онъ почувствовалъ холодъ

въ ногахъ, едва переступилъ порогъ паперти. Все это, естественно, не могло способствовать хорошему расположенію духа. Бережливо кутаясь въ теплое пальто съ приподнятымъ воротникомъ, углубляя подбородокъ въ шерстяное кашне, онъ съ нахмуреннымъ видомъ слѣдовалъ за художниками, упрашивая ихъ идти впередъ и не стѣсняться его присутствіемъ.

Бесѣда ихъ, повидимому, мало его занимала; уловляя на лету восторженныя восклицанія Лисичкина, онъ направлялъ въ его сторону бѣлые зрачки свои, смотрѣвшіе выше очковъ, и что-то похожее на улыбку появлялось тогда на губахъ его. Остальное время черты Ивана Иваныча сохраняли унылую неподвижность; на вытянутомъ, болѣзненно-золотушномъ лицѣ ничего нельзя было прочесть, кромѣ скуки и того брезгливаго выраженія, какое встрѣчается чаще всего на лицахъ людей, засѣдающихъ въ комитетахъ и вынужденныхъ возвращаться къ вопросамъ, давно разрѣшеннымъ и подписаннымъ.

Осмотръ постройки продолжался около часу.

Воскресенскій присоединился къ общей группѣ, когда художники возвратились къ прежнему мѣсту, на середину церкви.

Въ эту минуту голоса присутствующихъ неожиданно смолкли. Всѣми овладѣла вдругъ не то неловкость, но скорѣе какое-то колебаніе, точно каждый хотѣлъ сказать что-то, но не рѣшался начать. Воскресенскій, державшійся похвальнаго обычая выслушивать чужія мнѣнія, прежде чѣмъ высказать собственныя, вопросительно посматривалъ на Лисичкина и Бабкова; тѣ, въ свою очередь, поглядывали на Воскресенскаго, выразительно показывая глазами, что прежде желали бы услышать его слово.

Молчаливый, но полный телеграфнаго значенія обмѣнъ этихъ взглядовъ, хотя и прошелъ незамѣтнымъ для Зиновьева, но молчаніе присутствующихъ, видимо, его стѣсняло.

— Прекрасно-съ... Очень хорошо-съ,— разрѣшился, наконецъ, Иванъ Иванычъ, произнося слова носовымъ голосомъ и умышленно ихъ растягивая, съ тѣмъ, чтобы успѣть обдумать то, что хотѣлъ

сказать. — Мнѣ остается присоединиться къ гг. художникамъ, коллегамъ вашимъ, и повторить вмѣстѣ съ ними: прекрасно-съ...

— Мнѣ остается только радоваться,—весело возразилъ Зиновьевъ.

Иванъ Иванычъ медленно снялъ замшевую перчатку съ правой руки и подалъ ее старому архитектору.

— Объ одномъ развѣ пожалѣть можно, прибавилъ онъ, отводя глаза въ другую сторону.—Я, впрочемъ, уже прежде сколько разъ упоминалъ вамъ объ этомъ, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ!...

— Скажите, живо подхватилъ Зиновьевъ, — вы знаете, я всегда исполнялъ ваши желанія и совѣты; время еще есть: можно исправить.

— Нѣтъ, то, что я хотѣлъ сказать, не касается вовсе искусства; я выражаю только сожалѣніе, что все это раньше не поспѣло... Освященіе церкви, вы знаете, назначено было къ Святой; мы теперь въ іюнѣ... и... и все еще не готово!... Посмотрите-ка, сколько еще остается работы...

Работы оставалось совсѣмъ не много: надо было, при входѣ въ церковь, достлать полъ, который пока забранъ былъ досками; оставалось положить ступени для соединенія алтаря съ церковью и украсить ихъ балюстрадой; послѣдняя была, впрочемъ, совершенно готова и частями сложена по угламъ; на одной изъ нижнихъ боковыхъ арокъ недоставало также расписнаго орнамента. Но все это не стоило даже упоминаній и если кого нибудь надо было винить въ этомъ, во всякомъ случаѣ не архитектора, а скорѣе Воскресенскаго, который, въ послѣдніе три мѣсяца, всячески старался задерживать окончаніе постройки. Кредитъ Алексѣя Максимыча настолько былъ вдругъ сокращенъ, что онъ едва могъ разсчитаться съ поставщиками матеріала и рабочими.

Какъ ни прискорбно было старому архитектору, онъ терпѣлъ, —терпѣлъ, ободряя себя надеждой, что совѣтъ (Иванъ Иванычъ всегда на него ссылался) и самъ Воскресенскій поймутъ, наконецъ, всю несообразность останавливать работы передъ самымъ ихъ окончаніемъ. Старанія его извѣдать настоящія причины такого

распоряженія остались безплодны. Ему постоянно повторяли: „денегъ нѣтъ, подождите!“ И, между тѣмъ, его же теперь обвиняли!

Слова Воскресенскаго задѣли его за самое больное мѣсто. Онъ на этотъ разъ уже не выдержалъ. Сначала сдержанно, но потомъ вдругъ разгорячаясь, такъ что краска выступила на щекахъ, онъ высказалъ Иванъ Иванычу все то, что давно накипѣло въ его душѣ.

Какъ только начались эти объясненія, Бабковъ и Лисичкинъ осторожно отошли въ сторону. Показывая видъ, что осматриваютъ детали украшеній, оба начали производить въ воздухѣ фантастическіе пояснительные жесты; они продолжали упражняться пантомимой до тѣхъ поръ, пока не разсудили, что пора поспѣшить на выручку Ивану Иванычу.

Онъ поблагодарилъ ихъ взглядомъ; но глаза его тутъ же опустились и выраженіе смиренія, съ какимъ истинному христіанину подобаетъ выслушивать горечь несправедливыхъ обвиненій, изобразилось въ чертахъ его.

— Вотъ, господа, упавшимъ голосомъ проговорилъ онъ, обращаясь къ подошедшимъ художникамъ, — оказывается, меня теперь винятъ въ томъ, что церковь не поспѣла къ сроку...

— Я не говорю, что вы собственно виноваты, подхватилъ Зиновьевъ, замѣтно смягчаясь, — я повторяю, что такъ какъ все отъ васъ зависѣло и зависитъ, вы могли бы больше содѣйствовать....

— Позвольте, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, продолжалъ Иванъ Иванычъ тихимъ голосомъ, отвѣчавшимъ кроткому выраженію его лица, — вамъ не угодно вникнуть въ одно обстоятельство; скажу болѣе: вы его совсѣмъ забываете; если мнѣ было поручено завѣдываніе постройкой, то это потому собственно, что такъ было угодно совѣту... Здѣсь совѣтъ хозяинъ... Власть моя ограничена... На каждомъ шагу встрѣчаются обстоятельства, которымъ я, скорбя душевно, — именно

душевно, — долженъ покориться... Въ дѣлѣ этой постройки (Иванъ Иванычъ печально обвелъ глазами стѣны церкви и подавилъ вздохъ) мною, какъ всегда, впрочемъ, руководило одно чувство: желаніе добра и пользы!... Хотя мы знакомы не со вчерашняго дня, Алексѣй Максимычъ, но, повидимому, вы меня еще не знаете, подхватилъ онъ, какъ бы растроганно и съ сожалѣніемъ. — Я вамъ помѣшалъ! Я не содѣйствовалъ! И въ чемъ же? Въ достиженіи богоугодной, благочестивой цѣли?!... Позволю себѣ сказать: я бы желалъ видѣть васъ болѣе справедливымъ! Если я позволялъ себѣ иногда торопить васъ; если сегодня еще высказалъ сожалѣніе, что церковь не готова, то и здѣсь, повѣрьте, скорѣе дѣйствовалъ въ видахъ вашего же собственнаго интереса... Графъ чуть ли не каждый день спрашиваетъ и всякій разъ сердится...

— Желалъ бы я посадить его на мое мѣсто; посмотрѣлъ, что бы онъ тутъ сдѣлалъ! воскликнулъ Зиновьевъ, снова начинавшій горячиться.

— Успокойтесь, успокойтесь, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, вмѣшался Лисичкинъ, — вы должны, вы можете быть спокойны! Вы поставили себѣ памятникъ! Мы сейчасъ говорили объ этомъ: прелесть! Честь вамъ и слава! Честь и слава! — подхватилъ онъ, овладѣвая рукою старика и нѣжно пожимая ее между ладонями.

— Полноте, батенька, уговаривалъ со своей стороны Бабковъ, — я человѣкъ простой, никакихъ этихъ закрутасовъ не знаю; прямо скажу: отмѣнно, отмѣнно отличились! Соорудили, такъ сказать, въ честь свою... Какой тутъ графъ? Тутъ вы, батенька!

Иванъ Иванычъ, желавшій прекратить какъ можно скорѣе объясненія, вынулъ часы и прибавилъ, стараясь придать своимъ чертамъ смиренно-грустное выраженіе:

— Именно сожалѣю, что вамъ угодно было объяснить себѣ такимъ образомъ слова мои... Единственнымъ желаніемъ моимъ

всегда было... и будетъ — угождать вамъ... Я постарался бы окончательно оправдать себя въ глазахъ вашихъ, но, къ сожалѣнію, долженъ теперь торопиться; у меня сегодня засѣданіе въ три часа... Остается искренно поблагодарить васъ за удовольствіе, которое вы намъ доставили; говорю намъ потому, что гг. художники такого же мнѣнія...

— Еще бы! Повторяю: честь и слава Алексѣю Максимычу! Отмѣнно, батенька, спасибо! заговорили въ одно время Бабковъ и Лисичкинъ, подступая къ Зиновьеву, который провожалъ Воскресенскаго.

На паперти Иванъ Иванычъ снова взглянулъ на часы и остановился.

— Передъ уходомъ позвольте мнѣ еще разъ повторить вамъ, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ: вы, я вижу, меня еще не знаете... не знаете! промолвилъ онъ, какъ бы глубоко сожалѣя объ этомъ. — Если бы вы меня лучше знали, повѣрьте, вы были бы ко мнѣ справедливѣе... Онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но опять вздохнулъ и, пожелавъ присутствующимъ всего хорошаго, началъ осторожно спускаться по ступенькамъ паперти. Бабковъ и Лисичкинъ хотѣли было поддержать его, но онъ смиренно поблагодарилъ ихъ, прибавивъ: „У меня есть свободное мѣсто, господа; не угодно ли кому нибудь?“

Какъ живописцу, такъ и Бабкову желательно было воспользоваться предложеніемъ; но они переглянулись и поняли, что тотъ, кто займетъ мѣсто, легко можетъ увлечься случаемъ и измѣнить другому. Не желая, вѣроятно, нарушать прямоты взаимныхъ отношеній, они предпочли отказаться; поблагодаривъ Ивана Иваныча, оба сѣли рядомъ на дрожки и, подхвативъ другъ друга за талію, покатили вслѣдъ за коляской.

## XI.

Засѣданіе, назначенное въ три часа и ожидавшее Воскресенскаго, не переставало его озабочивать во все продолженіе дороги. Онъ привыкъ предсѣдательствовать; но дѣло было не въ этомъ: ему предстояло сегодня провести вопросъ, принадлежащій къ числу такъ называемыхъ *деликатныхъ* и поэтому самому весьма затруднительный.

Въ дѣлахъ общества *Спасительнаго вліянія труда для преждевременно погибшихъ* обнаружились надняхъ большіе безпорядки; требовалось, во что бы то ни стало, принять скорѣе энергическія мѣры и придти ему на помощь. Участіе здѣсь Ивана Иваныча было частью противъ его воли, вынужденно, частью обязательно, — обязательно въ томъ отношеніи, что помянутое общество было ему не совсѣмъ чужое. Онъ изобрѣлъ его года полтора тому назадъ по просьбѣ княгини Любичъ, двоюродной сестры графини Можайской.

Мысль княгини была прекрасная: ей хотѣлось дать какое нибудь занятіе и сколько нибудь развлечь старшую дочь, тосковавшую послѣ потери любимаго мужа. Но вдова скоро утѣшилась, выйдя вторично замужъ, и сбязанность предсѣдательницы взяла на себя вторая дочь княгини, госпожа Турманова.

Сначала Воскресенскій принялъ было живое участіе въ судьбѣ возникшаго общества: старался руководить свѣтской неопытной предсѣдательницей, сдѣлалъ нѣсколько полезныхъ предложеній, попробовалъ помѣстить двухъ своихъ знакомыхъ — одного въ качествѣ секретаря, другаго въ качествѣ кассира; но предсѣдательница слушала его разсѣянно, къ предложеніямъ его отнеслись невнимательно, знакомыхъ его отказали, избравъ вмѣсто нихъ какихъ-то вѣтрогоновъ. При самомъ началѣ общество такъ уже складывалось, что, на опытный глазъ Воскресенскаго, не предвѣщало въ будущемъ ничего прочнаго. Его составляли въ большинствѣ свѣтскіе молодые люди и молоденькія дамы, — *diables*

*roses, diables bleus*, какъ онѣ сами себя прозвали послѣ перваго замаскированнаго бала, даннаго въ пользу общества: на этомъ балѣ одна половина дамъ условилась быть въ розовыхъ платьяхъ, другая половина въ голубыхъ. Въ числѣ женскаго пола находилось также нѣсколько богатыхъ купчихъ и банкирскихъ женъ, давно горѣвшихъ желаніемъ втереться въ кругъ большаго свѣта и исказшихъ для этого удобнаго случая; ихъ принимали и терпѣли потому, что онѣ давали много денегъ. Въ цѣломъ своемъ составѣ общество представляло скорѣе свѣтскій кружокъ, въ которомъ сущность дѣла служила только предлогомъ для увеселеній, маскарадовъ, домашнихъ спектаклей, баловъ и базаровъ; главные дѣятели держали себя такъ исключительно, что когда въ число членовъ попадало лицо, не принадлежавшее свѣтскому кругу, оно уподоблялось тяжеловѣсному индюку, случайно забѣжавшему въ клѣтки прыгающихъ и щебечущихъ птичекъ.

Серьезному человѣку, очевидно, не могло быть тутъ мѣста; Иванъ Иванычъ искалъ уже благовиднаго предлога, чтобы отказаться отъ званія члена, когда въ первыхъ числахъ іюня предсѣдательница, госпожа Турманова, неожиданно собралась заграницу; ближайшіе ея помощники, секретарь и казначей, уѣхали уже прежде, оставивъ ей на руки кассу и книги. Не зная рѣшительно, что дѣлать съ этимъ добромъ, г-жа Турманова передала его княгинѣ-матери и, ничего не объяснивъ ей основательно, уѣхала въ Баденъ-Баденъ, куда настоятельно призывали ее письма друзей.

Княгиня-мать, не зная также, что дѣлать съ добромъ общества, обратилась за совѣтомъ къ двоюроднымъ сестрѣ и брату, графу и графинѣ Можайскимъ.

Извѣстіе о неожиданномъ отъѣздѣ двоюродной племянницы и ближайшихъ ея помощниковъ, такъ легкомысленно бросившихъ ввѣренное имъ общество на произволъ судьбы, привело графа въ сильное негодованіе. Онъ объявилъ, что такой поступокъ неизбѣжно навлечетъ нареканіе со стороны членовъ общества,— нареканіе тѣмъ менѣе желательное, что коснется лицъ высшаго

круга, — и когда же? — когда именно слѣдуетъ поддерживать этотъ кругъ въ видахъ извѣстнаго принципа. „Если къ этому, — строго прибавила графиня, — милые друзья Зизи (такъ звали г-жу Турманову) и сама она что нибудь напутали въ дѣлахъ этого общества, — предположеніе болѣе чѣмъ вѣроятное, — и если кому нибудь случайно попадется на глаза эта путаница...", — но графиня не докончила при видѣ испуга на лицѣ двоюродной сестры; ей не хотѣлось также окончательно разстраивать брата, начинавшаго съ первыхъ ея словъ выказывать знаки возраставшаго неудовольствія.

Рѣшено было тутъ же послать курьера за Воскресенскимъ. „*C'est l'homme!*" — воскликнулъ графъ, мгновенно ободряясь. По его мнѣнію, одинъ Иванъ Иванычъ могъ дать совѣтъ, могъ выручить, еслибъ въ самомъ дѣлѣ эти вѣтрогоны что нибудь напутали. Стоило передать Воскресенскому оставленныя бумаги, попросить его просмотрѣть ихъ, взять на себя во время отсутствія Зизи роль предсѣдателя, — не о чемъ было бы больше безпокоиться. Преданность его графу и графинѣ извѣстна; на знаніе дѣла и скромность также можно положиться.

Какъ только пріѣхалъ Воскресенскій и узналъ, въ чемъ дѣло, лицо его приняло печальное выраженіе; ему предлагали то́ именно, чему онъ давно не сочувствовалъ, отъ чего скромно желалъ удалиться; при видѣ его лица предчувствіе чего-то недобраго невольно закралось въ душу графа и онъ не шутя встревожился. Просьба его стала еще настоятельнѣе; къ нему присоединились графиня и двоюродная ея сестра, графиня Любичъ. Всѣ трое принялись уговаривать, придавая просьбѣ характеръ личнаго одолженія. Рѣшимость Ивана Иваныча поколебалась; онъ согласился. Ему тотчасъ же переданы были дѣла и деньги общества.

Первымъ его распоряженіемъ было пригласить двухъ довѣренныхъ лицъ — одного для временнаго исполненія должности бухгалтера, другаго временно въ должность секретаря; затѣмъ имъ было поручено ознакомиться подробно съ дѣлами.

Въ тотъ самый день, когда Иванъ Иванычъ возвратился домой на дачу послѣ пріемнаго утра графа, онъ засталъ у себя этихъ двухъ лицъ. Они сообщили, что въ кассѣ общества открылся значительный недочетъ. Тутъ, очевидно, не было никакого злаго умысла, никто деньгами, конечно, не воспользовался; всему былъ виноватъ безпорядокъ въ веденіи дѣлъ, потому что такого сумбура, какъ тутъ, имъ никогда еще не приводилось видѣть: казначей, какой-то г. Авенировъ, выдавая деньги, часто забывалъ ихъ вписывать въ расходъ; въ книгахъ секретаря, барона Фукъ,—тамъ, гдѣ требовалось вписывать журналъ засѣданій, — попадались пробѣлы на цѣлыхъ страницахъ; росписки,— тамъ, гдѣ онѣ встрѣчались,— были большею частью безъ числа и номера; на многихъ значился расходъ, но не надписано было, за что были выданы деньги,—словомъ, путаница была совершеннѣйшая; въ ней участвовали всѣ рѣшительно, начиная съ самой предсѣдательницы и кончая послѣднимъ членомъ комитета, г. Чиндаласовымъ, тѣмъ самымъ, который, не далѣе какъ нынѣшнею весною, сломалъ себѣ два ребра на царскосельскихъ скачкахъ. Въ концѣ концовъ, обнаружился тотъ фактъ, что въ кассѣ невозможно было досчитаться трехъ тысячъ.

Иванъ Иванычъ ожидалъ этого; предчувствія его не обманули.

Дѣло главнымъ образомъ непріятно было въ томъ отношеніи, что оно могло огласиться, могло бросить тѣнь, возбудить недовѣріе къ веденію дѣлъ въ другихъ благотворительныхъ обществахъ, находившихся подъ его управленіемъ и покровительствуемыхъ графомъ. Онъ рѣшился ничего не говорить до поры до времени графу и графинѣ, зная впередъ, что оба подымутъ тревогу: немедленно напишутъ двоюродной племянницѣ; та отвѣтитъ, напишетъ своимъ пріятельницамъ; тѣ разнесутъ вѣсть и кончится все неблаговидной исторіей, къ которой, пожалуй, приплетутъ и его имя. Онъ предпочелъ исправить дѣло домашнимъ образомъ.

Когда, нѣсколько дней спустя, графъ освѣдомился о томъ, въ какомъ положеніи дѣло, Иванъ Иванычъ спокойно возразилъ,

что пока ничего не нашелъ особеннаго, кромѣ нѣкоторой путаницы.

— Убѣдительно прошу васъ, Иванъ Иванычъ, не выпускать дѣла изъ рукъ вашихъ, пока оно не будетъ приведено въ строжайшій порядокъ, — сказалъ графъ торопливо и озабоченно. — Прошу васъ сдѣлать это въ личное для меня одолженіе... Всѣ мы будемъ вамъ благодарны!

Воскресенскій, успѣвшій уже составить себѣ планъ дѣйствій, поспѣшилъ успокоить графа.

Въ числѣ различныхъ предположеній и проектовъ, сочиняемыхъ Иваномъ Иванычемъ для пользы страждущаго человѣчества, находился одинъ, которому придавалъ онъ особенное значеніе. Многолѣтняя практика привела его къ убѣжденію, что лучшимъ способомъ пріобрѣтать богатыхъ жертвователей и щедрыхъ членовъ для благотворительныхъ обществъ было бы дозволить этимъ обществамъ раздавать красивые серебряные и золотые значки или жетоны въ видѣ кружковъ, или еще лучше звѣздочекъ съ эмалевою надписью на одной сторонѣ, а на другой— какой нибудь интересной аллегоріей, напримѣръ, фигурой милосердія, держащей въ правой рукѣ рогъ изобилія, между тѣмъ какъ лѣвая рука, не желая знать, что творитъ правая, усиленно прячется за спину. О ношеніи такого знака въ петлицѣ нечего было думать. Достаточно было бы прицѣплять его къ часовой цѣпочкѣ или носить при себѣ въ жилетномъ карманѣ и показывать при встрѣчѣ знакомымъ: „Смотрите, дескать, что у меня есть, что я получилъ!...“

Лелѣя свою мысль и приберегая ее для важнаго случая, Иванъ Иванычъ рѣшился ею пожертвовать въ пользу общества *Спасительнаго вліянія труда для преждевременно погибшихъ*. Онъ дѣлалъ это скрѣпя сердце, движимый не столько врожденнымъ великодушіемъ, сколько желаніемъ лишній разъ доказать свою преданность графу и членамъ его семейства.

Выхлопотать позволеніе издать жетоны было не трудно; несравненно труднѣе было воспользоваться позволеніемъ въ лѣтнее

время, когда въ городѣ никого почти не было. Охотники до жетоновъ, конечно, не уйдутъ; придетъ зима,—они сами собою явятся; но пока все это въ будущемъ; въ настоящемъ требовалось сейчасъ же найти тѣ три тысячи, которыхъ недоставало въ кассѣ. Откуда взять эти деньги? Какъ помочь горю? „Можно“, — отвѣтилъ безъ замедленія находчивый умъ Воскресенскаго. По его мнѣнію, оставалось одно средство: заказать немедленно тысячу жетоновъ; каждый обойдется обществу, положимъ, въ пять рублей. Но стоитъ призвать извѣданнаго Блинова, переговорить съ нимъ съ глазу на глазъ, — и отыщется ювелиръ, который, за почетное вознагражденіе, согласится принять заказъ, подпишетъ счетъ въ пять тысячъ, но, въ сущности, исполнитъ его менѣе чѣмъ за половинную цѣну. Такіе примѣры уже неоднократно бывали. Въ результатѣ получатся, слѣдовательно, требуемыя три тысячи. Придетъ зима, жетоны пустятся въ оборотъ; общество не только возвратитъ себѣ истраченную сумму, но даже обогатится современемъ.

Оставалось еще одно затрудненіе: собрать въ іюлѣ мѣсяцѣ достоточное число членовъ общества, чтобы могло состояться засѣданіе. Относительно того, чтобы получить согласіе членовъ, Иванъ Иванычъ не очень безпокоился; онъ считалъ всегда іюль мѣсяцъ самымъ удобнымъ для проведенія трудныхъ вопросовъ; уже одно то, что члены собираются въ небольшомъ количествѣ, въ общемъ ихъ настроеніи чувствуется всегда больше расположенія къ буколикѣ и даже лѣни; споровъ, препирательствъ никогда почти не бываетъ; многіе, обдаваемые потомъ, засыпаютъ при началѣ дебатовъ; другихъ соединяетъ одна общая мысль: какъ бы только скорѣе отдѣлаться. Случалось иногда, что никто не пріѣдетъ, и засѣданіе не могло состояться; но въ настоящемъ случаѣ врядъ ли можно было этого ожидать; всѣ мѣры были заблаговременно приняты. Иванъ Иванычъ, тѣмъ не менѣе, чувствовалъ томленіе подъ ложечкой и лицо его выражало озабоченность. Онъ ободрился, увидѣвъ нѣсколько каретъ и дрожекъ у подъѣзда дома, гдѣ должно было происходить засѣданіе. У входа

въ первую комнату онъ встрѣтился съ поджидавшимъ его Блиновымъ, протянулъ ему руку и, въ то же время, бросилъ взглядъ въ сосѣднюю комнату, двери которой были открыты. Десятка полтора дамъ и мужчинъ, раздѣлившись на группы, сидѣли и прогуливались по обѣимъ сторонамъ длиннаго стола, покрытаго синимъ сукномъ, съ правильно разложенными на немъ листами бумаги и карандашами; на дальнемъ концѣ довѣренныя лица Ивана Иваныча, исполнявшія должности секретаря и казначея, перебирали бумаги.

Иванъ Иванычъ отодвинулся въ сторону, такъ чтобы не могли его замѣтить, и обратился къ Блинову:

— Ну что? — спросилъ онъ, понижая голосъ.

— Посчастливилось! нашелъ! — возразилъ Блиновъ, представлявшій изъ себя рослаго, плотнаго бѣлокураго мужчину лѣтъ сорока, обстриженнаго *à la russe*, съ румянымъ лицомъ гостинодворскаго молодца; оно оживлялось небольшими глазками, такими же свѣтлыми и быстрыми, какъ у сокола; онъ былъ въ форменномъ вицмундирѣ; на отворотѣ красовалась цѣпочка, увѣшанная знаками отличія, между которыми виднѣлся персидскій орденъ, полученный за доставку въ Тегеранъ дароваго цыбика чая.

— Благодарю васъ, благодарю, — сказалъ Воскресенскій, продолжая говорить шопотомъ. — Вы съ нимъ основательно переговорили? Соглашается?

— Вполнѣ согласенъ-съ.

— Надо, однакожъ, знать, какія его условія?

— Проситъ выхлопотать гербъ на вывѣску...

Требованіе ювелира затруднило, повидимому, Ивана Иваныча; лобъ его нахмурился; бѣлые зрачки показались надъ краемъ очковъ и задумчиво поглядѣли въ бокъ.

— Можно ли на него вполнѣ положиться? — спросилъ онъ.

— Отвѣчаю какъ за себя собственно-съ...

Иванъ Иванычъ снова задумался, какъ бы соображая о

чемъ-то; но время не позволяло углубляться въ долгія размышленія.

— Хорошо, скажите ему: я согласенъ! — проговорилъ онъ рѣшительно. — Сегодня вечеромъ привезите его ко мнѣ для окончательныхъ переговоровъ; смотрите, сегодня же... дѣло не терпитъ отлагательства...

Въ эту минуту временный секретарь, завидя издали Ивана Иваныча, показался въ дверяхъ.

— Вы очень кстати,—сказалъ Воскресенскій,—сколько членовъ комитета?

— Всего пять...

— Ничего, я шестой; собраніе, по уставу, можетъ состояться... Все ли у васъ тамъ готово?

— Все-съ.

— Хорошо, ступайте туда; я сію минуту... Но тутъ Иванъ Иванычъ былъ неожиданно остановленъ членомъ комитета, госпожей Бальзаминовой, которая, какъ только его увидѣла, бросилась ему навстрѣчу и, томно склонивъ голову, съ мольбою въ глазахъ и на лицѣ, протянула ему обѣ руки.

Госпожа Бальзаминова, лишившаяся мужа десять лѣтъ тому назадъ, не снимала съ тѣхъ поръ траура, убѣдившись, что черный цвѣтъ необыкновенно шелъ къ ея круглому лицу, придавая ему интересную блѣдность; не производя, однакожъ, никакого впечатлѣнія, она поэтому, вѣроятно, казалась всегда чѣмъ-то обиженной и готовой расплакаться; плакать, собственно, было не о чемъ: мужъ оставилъ ей прекрасное состояніе и, не смотря на свои сорокъ лѣтъ, она пользовалась отличнымъ здоровьемъ; слезливость могла также происходить отъ избытка чувствительности ея сердца: она постоянно болѣла за всѣхъ, отзывалась на всѣ страданія, надрывалась отъ безсилія помочь всему страждущему человѣчеству. Сердце влекло ее разсыпать благодѣянія не только въ Россіи, но и въ Германіи, куда ежегодно отправляла она въ какое-то общество милосердія фунтъ сигарныхъ обрѣзковъ, выпрашиваемыхъ ею у всѣхъ, съ кѣмъ только встрѣчалась;

щедротами ея пользовались круглый годъ безразлично всѣ благотворительныя учрежденія Петербурга: комитетъ „призрѣнія слѣпыхъ старухъ“ аккуратно получалъ отъ нея всѣ носовые платки, выходившіе изъ употребленія; въ больницу „Излечи мои недуги“ посылала она то корпію въ письменномъ конвертѣ, то стклянку клюквеннаго морса; въ „дѣтскій сиротскій пріютъ“ отправляла всегда къ Рождеству полфунта чаю и на каждаго ребенка по два сухаря и по куску сахара; домъ „трудолюбія“ пользовался отъ нея старыми гарусными подушками, изъ которыхъ можно было сдѣлать подобіе моха на кружки, куда становятся лампы; базары съ благотворительной цѣлью не знали, куда дѣваться отъ ея пожертвованій. Она постоянно хлопотала о помѣщеніи въ то или другое заведеніе какого нибудь страждущаго или неимущаго; тамъ пристроила свою кухарку, неожиданно лишившуюся зрѣнія, здѣсь пріютила сына кучера въ награду за его усердіе еще при жизни покойнаго мужа.

Она спѣшила теперь къ Ивану Иванычу, имѣя настоятельную просьбу объ опредѣленіи двухъ дѣвочекъ-сиротокъ, оставшихся у нея на рукахъ послѣ смерти любимой прачки.

— Милый Иванъ Иванычъ, милый, вы не откажете... — проворковала она, пожимая ему руки.

— Все устрою, все... Только вотъ что, Любовь Николаевна: я дѣлаю сегодня одно предложеніе; поддержите его...

— О, еще бы! еще бы! Можете ли вы предложить что нибудь, на что бы нельзя было согласиться!

— Очень любезно съ вашей стороны... Но, Любовь Николаевна, мы поговоримъ о вашемъ дѣлѣ послѣ засѣданія... Теперь намъ пора...

— Пойдемте, пойдемте!

Они вмѣстѣ вошли въ залу.

Ивана Иваныча тотчасъ же окружили. Раскланиваясь и пожимая руки, онъ, почти не останавливаясь, направился къ высокой худощавой дамѣ съ восточнымъ орлинымъ носомъ и энергическимъ взглядомъ. Это была княгиня Чирикова, также членъ

комитета и, кромѣ того, предсѣдательница общества *Снабженія даровыми кормилицами служащихъ семейныхъ лицъ, получающихъ не свыше полуторы тысячи годоваго оклада.* Она извѣстна была всему Петербургу тѣмъ еще, что каждый, кто ей представлялся, получалъ, по три раза въ теченіе зимы, конвертъ со вложеніемъ приглашенія на ея базаръ и билета съ надписью: *цѣна пять рублей.* При ея большомъ состояніи она могла бы дѣйствовать гораздо проще, именно: удѣлять на свое общество двѣ-три тысячи изъ собственнаго кармана; но княгиня почему-то избѣгала этого способа, предпочитая ему тотъ, которымъ руководствовалась.

— Получила ваше приглашеніе и видите: пріѣхала! — съ достоинствомъ промолвила княгиня, дѣлая глазами знакъ, приглашавшій собесѣдника отойти нѣсколько въ сторону.—Но... но за это вы, надѣюсь, не откажете въ моей просьбѣ, — добавила она, понижая голосъ.

— Приказывайте, княгиня...

— Вы поможете мнѣ устроить одно дѣло...

— Душевно буду радъ...

— Душевно или нѣтъ, но дайте слово...

— Вы, въ свою очередь, не откажете поддержать въ засѣданіи мое предложеніе?

— Заранѣе согласна; только слово, дайте слово.

— Извольте, даю слово! Не угодно ли будетъ занять мѣсто, княгиня? Мы сейчасъ начнемъ... Милостивыя государыни, господа, не угодно ли будетъ занять мѣста? возвысивъ голосъ, проговорилъ Иванъ Иванычъ, любезно указывая присутствующимъ на ряды стульевъ.

Княгиня, г-жа Бальзаминова, знакомый уже намъ Стрекозинъ, его товарищъ, красивый камеръ-юнкеръ, которому отецъ отказалъ въ деньгахъ на поѣздку заграницу, и еще нѣкто баронъ Шлиссельбургъ, непремѣнный членъ всѣхъ возможныхъ обществъ, никогда ничего не говорившій, но пріѣзжавшій всегда первымъ и уѣзжавшій послѣднимъ, заняли ближайшія мѣста, какъ члены

комитета. Дальше размѣстились остальные члены; между ними рельефно выдвигалась толстая г-жа Шилохвостова, которая уже теперь тяжело дышала отъ жары и также отъ безпокойства, чтобы потъ, струившійся по ея лицу, не причинилъ поврежденій ея румянамъ и пудрѣ.

— Милостивыя государыни, милостивые государи, засѣданіе открыто! проговорилъ Иванъ Иванычъ, придавая лицу скромное выраженіе человѣка, который тяготится видною ролью, но, въ то же время, незамѣтно спряталъ подъ столъ лѣвую руку и выразительно прижалъ указательнымъ пальцемъ колѣно временнаго секретаря, сидѣвшаго подлѣ на углу стола рядомъ съ казначеемъ.

Секретарь всталъ и приступилъ къ чтенію отчета о дѣятельности общества за послѣднее полугодіе. Не отступая отъ данной ему инструкціи, секретарь умышленно растягивалъ каждую фразу и останавливался, покашливая, на каждомъ періодѣ. Инструкція, внушенная заблаговременно секретарю и казначею, имѣла цѣлью продлить засѣданіе до послѣдней возможности. Вопросъ о жетонахъ долженъ былъ явиться къ концу, когда уже не останется сомнѣнія, что члены изнемогаютъ отъ жары и усталости, осовѣютъ отъ тоски и готовы на что угодно, лишь бы только ихъ отпустили.

Чтеніе отчета успѣло уже отчасти произвести свое дѣйствіе; дѣйствіе это примѣтно усилилось при чтеніи казначейскаго отчета. Послѣдній сдѣлалъ извѣстнымъ, между прочимъ, что, хотя въ кассѣ общества, не смотря на излитыя благодѣянія въ теченіе шести мѣсяцевъ, состоитъ на лицо двадцать одна тысяча (о недостающихъ деньгахъ не было упомянуто), но вообще дѣла общества нельзя назвать вполнѣ блестящими и желательно было бы изыскать средства для ихъ улучшенія.

На этомъ можно бы остановиться и приступить къ дѣлу: большая часть членовъ сидѣла, какъ опущенная въ воду; у всѣхъ почти лица багровѣли и лоснились; на однихъ изображалось томленіе, на другихъ проступали явные знаки нетерпѣнія; но Иванъ Иванычъ этимъ, повидимому, еще не удовольствовался.

— Милостивыя государыни, милостивые государи! — провозгласилъ онъ, привставая и упираясь ладонями на край стола, — позвольте мнѣ сдѣлать одно предложеніе: такъ какъ теперь самое жаркое время, всѣ, кромѣ того, живутъ за городомъ и собираться очень трудно...

— Да... да!... правда!... Весьма трудно!—раздалось въ разныхъ концахъ.

— Поэтому самому не угодно ли будетъ воспользоваться минутнымъ перерывомъ, чтобы теперь же сообщить ваши замѣчанія?... Обсудивъ ихъ, мы могли бы ограничиться сегодняшнимъ засѣданіемъ и не собираться больше до пріѣзда многоуважаемой предсѣдательницы, т. е. до осени... И такъ, не угодно ли будетъ?... Вы, кажется, имѣете что-то сказать? — обратился онъ, почтительно наклоняясь, къ княгинѣ, которая выказывала знаки нетерпѣнія.

— Да, Иванъ Иванычъ; но можно мнѣ воспользоваться случаемъ, чтобы спросить объ одномъ дѣлѣ, касающемся моего общества?

— Хотя это будетъ не совсѣмъ правильно, такъ какъ мы здѣсь по дѣламъ другаго общества, но я надѣюсь, присутствующіе гг. члены не будутъ противъ этого... тѣмъ болѣе, что у насъ теперь перерывъ... Къ услугамъ вашимъ, княгиня...

— Я хотѣла просить васъ прислать на праздникъ, который я даю въ Лѣтнемъ саду, дѣтей изъ вашего сиротскаго пріюта; они мнѣ нужны для томболы и для продажи...

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, княгиня; надо только знать, въ какой именно день назначенъ вашъ праздникъ?

— Онъ будетъ двадцать-восьмаго іюля.

Въ эту минуту съ той стороны, гдѣ сидѣла г-жа Шилохвостова, послышался шорохъ платья и, вслѣдъ затѣмъ, изъ-за ближайшихъ головъ выдвинулось ея лицо, такое же почти красное, какъ цвѣты мака на ея пастушеской шляпкѣ.

— Я не понимаю, что это значитъ,—произнесла она кисло-

сладкимъ голосомъ, — тутъ какое-то недоразумѣніе... Не ошибаетесь ли вы, княгиня?

— Въ чемъ? — сухо спросила княгиня, едва поворачивая голову.

Присутствующіе, изъ которыхъ многіе начинали уже чувствовать тяжесть въ глазахъ, приподняли головы; послышался шопотъ, одни отыскивали глазами княгиню, глаза другихъ съ любопытствомъ останавливались на г-жѣ Шилохвостовой.

— Въ томъ, что вашъ праздникъ назначенъ двадцать-восьмаго числа! — бойко и рѣшительно отвѣтила г-жа Шилохвостова.

— Нѣтъ, не ошибаюсь! — еще рѣшительнѣе возразила княгиня, удостоивая, наконецъ, взглянуть на собесѣдницу, но такъ, однакожъ, какъ бы сама сидѣла на верхушкѣ башни, а собесѣдница копошилась гдѣ-то тамъ внизу.

До сихъ поръ г-жа Шилохвостова старалась сдерживать свои чувства; взглядъ княгини произвелъ дѣйствіе искры, попавшей въ пороховой погребъ.

— Позвольте! — воскликнула она визгливымъ, дребезжащимъ голосомъ, — этотъ день мой и также въ Лѣтнемъ саду.

— Не знаю, вашъ ли это день, только онъ мой, и я никому не уступлю его! — промолвила княгиня, у которой при этомъ заострилась профиль и судорожно задвигались брови.

— У меня есть разрѣшеніе! — крикнула г-жа Шилохвостова.

— У меня также!

— Протекціей, вѣроятно...

— А вы, вѣроятно, интригой! — встрепенулась княгиня, какъ птица, заслышавшая выстрѣлъ.

Г-жа Шилохвостова быстро поднялась съ мѣста; она хотѣла что-то возразить, но, вмѣсто словъ, начала отъ волненія икать и захлебываться; грудь ея колыхалась; губы побѣлѣли и странно какъ-то вздрагивали; шляпка ея также вздрагивала, а цвѣты на ней ходили изъ стороны въ сторону, точно ихъ тормошила буря.

Княгиня также встала, но она лучше владѣла собою; никто

никогда не видалъ ее болѣе величественной; она точно выросла, точно съ облаковъ смотрѣла на все окружающее.

Иванъ Иванычъ, сидѣвшій съ видомъ глубоко опечаленнаго человѣка, также поднялся съ мѣста. Онъ обратился къ княгинѣ, но не зная, что ей сказать, развелъ только руками и подошелъ къ г-жѣ Шилохвостовой.

— Анна Матвѣевна, успокойтесь... Бога ради!—заговорилъ онъ, уныло наклоняя къ ней голову,—умоляю васъ, успокойтесь! Возьмите Таврическій садъ; я вамъ все устрою, только успокойтесь,—подхватилъ онъ, стараясь удержать ее,—соберу вамъ всѣ пріюты для аллегри... выхлопочу даровые хоры военной музыки...

— Благодарю васъ... не желаю вашего Таврическаго сада!—повторяла г-жа Шилохвостова, бросая вокругъ вызывающіе взгляды и продолжая направляться къ двери,—здѣсь, я вижу, одна несправедливость и гадости...

— Анна Матвѣевна, Бога ради! Не грѣшно ли вамъ?... Таврическій садъ еще лучше Лѣтняго... все вамъ устрою! — убѣждалъ Иванъ Иванычъ, преслѣдуя ее шагъ за шагомъ.

— Да, гадости... гадости!... послышался голосъ г-жи Шилохвостовой уже за дверью.

Неожиданное столкновеніе между двумя благотворительницами замѣтно оживило собраніе; большинство членовъ поднялось съ своихъ мѣстъ и взялось за шляпы.

— Господа, прошу у васъ всего нѣсколько минутъ... Предстоитъ еще одинъ вопросъ, заговорилъ Иванъ Иванычъ, возвращаясь къ княгинѣ, подлѣ которой, съ одной стороны, ворковала г-жа Бальзаминова, съ другой—егозили въ перебивку красивый камеръ-юнкеръ и Стрекозинъ. — Прошу васъ подождать еще минуту, минуту только! подхватилъ онъ, возвышая голосъ и занимая свое предсѣдательское мѣсто. — Милостивыя государыни, милостивые государи, прошу садиться... Засѣданіе продолжается! заключилъ онъ, звоня въ колокольчикъ и, въ то же время, обязательно придвигая лѣвой рукой стулъ княгинѣ.

Всѣ снова усѣлись, но уже нехотя, кто со шляпой въ рукѣ,

кто бокомъ, какъ бы выжидая случая улизнуть при первой возможности.

Въ короткихъ, но выразительныхъ словахъ Иванъ Иванычъ изложилъ мысль о жетонахъ и пользѣ, которую такая операція могла бы принести обществу. Все дѣло заключалось въ томъ, чтобы присутствующіе здѣсь гг. члены согласились для перваго опыта выпустить хотя бы тысячу такихъ знаковъ и израсходовать на этотъ предметъ извѣстную сумму.

— Прекрасно! Браво! Согласны! Согласны! послышалось со всѣхъ концовъ стола и всѣ, въ то же время, стали подыматься съ мѣстъ.

— Еще одну секунду... прошу васъ, одну только! оживленно произнесъ Иванъ Иванычъ, принимая отъ секретаря бумагу и выкладывая ее на столъ подлѣ чернильницы. — Предложеніе, съ которымъ вамъ угодно было согласиться, включено въ журналъ сегодняшняго засѣданія... Остается вамъ только подписать его... Не угодно ли, господа?... Княгиня, не угодно ли начать? добавилъ онъ, подавая ей перо и выворачивая при этомъ съ особенною какою-то граціей кисть правой руки.

Княгиня подписалась, за нею бросились подписываться другіе. Когда Иванъ Иванычъ, проводивъ княгиню до самой лѣстницы, возвратился въ залу, журналъ былъ уже подписанъ, и члены, торопливо пожимая ему руку, спѣшили къ выходу.

Имъ было очень хорошо: этимъ засѣданіемъ начинался и оканчивался ихъ трудовой день. Но каково было Ивану Иванычу? И безъ того уже утомленный умственно и физически, онъ не могъ даже разсчитывать на спокойствіе у себя: вечеромъ, когда весь чиновный людъ, живущій на дачѣ, наслаждается природой, сидя у открытаго окна и играя въ карты, ему предстояло еще имѣть совѣщаніе съ ювелиромъ, котораго долженъ былъ привезти расторопный Блиновъ.

## XII.

Послѣ отъѣзда изъ церкви Воскресенскаго, Лисичкина и Бабкова, Алексѣй Максимычъ Зиновьевъ, противъ ожиданія, остался доволенъ ихъ посѣщеніемъ. Онъ мало думалъ о двухъ художникахъ; ихъ похвалы могли быть искренни,—онъ былъ благодаренъ; оба, правда, слишкомъ восторгались, слишкомъ горячо и часто пожимали ему руки и черезчуръ увивались подлѣ Воскресенскаго,—и это не совсѣмъ ему понравилось. Всѣ мысли его сосредоточивались на Иванѣ Иванычѣ. Онъ не сомнѣвался, что тронулъ въ немъ, наконецъ, чувство справедливости; его старанія оправдаться, кроткій видъ, съ какимъ выслушивалъ онъ обвиненія, служатъ тому вѣрнымъ доказательствомъ. И чѣмъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, могъ лично досадить Ивану Иванычу? Въ чемъ собственно, говоря по совѣсти, провинился онъ, какъ строитель церкви? Поводомъ преслѣдованій, очевидно, были какія-нибудь недоразумѣнія; всего вѣроятнѣе, встрѣтились недоброжелатели и завистники, которые наговаривали и сплетничали. Чѣмъ больше думалъ объ этомъ Зиновьевъ, тѣмъ больше утѣшалъ себя мыслью, что объясненіе съ Воскресенскимъ усовѣстило послѣдняго, возстановило снова ихъ прежнія отношенія, положило конецъ придиркамъ и преслѣдованіямъ.

На обратномъ пути домой, Алексѣй Максимычъ сталъ даже упрекать себя въ томъ, не далеко ли зашелъ, выражая такъ рѣзко свои неудовольствія Ивану Иванычу, и мысленно побранилъ себя за излишнюю горячность и раздражительность. Подъ вліяніемъ такого чувства онъ собирался даже написать Воскресенскому, но тутъ же отложилъ намѣреніе, подумавъ, что непріятныя впечатлѣнія всего лучше изглаживаются при объясненіяхъ съ глазу на глазъ; лучшимъ доказательствомъ служитъ ихъ разговоръ въ церкви.

Два дня спустя, Алексѣй Максимычъ поѣхалъ къ нему, но не засталъ его дома и вдвойнѣ пожалѣлъ объ этомъ; онъ думалъ,

кстати, обрадовать его пріятнымъ извѣстіемъ: въ теченіе этихъ двухъ дней ему удалось случайно напасть на подрядчика, который, послѣ осмотра остающихся работъ въ церкви, брался ихъ окончить за весьма умѣренную плату, съ тѣмъ даже, чтобы получить разсчетъ послѣ того, какъ все будетъ готово. Онъ поспѣшилъ сообщить объ этомъ письменно Ивану Иванычу. На другой день курьеръ привезъ отвѣтъ, удивившій Зиновьева странностью своего содержанія. Въ немъ слова не упоминалось о радостной находкѣ подрядчика; онъ въ короткихъ словахъ передавалъ только чувства человѣка, котораго, вообще говоря, мало озабочиваетъ мірская суетность; коснувшись вскользь объясненія въ церкви, Иванъ Иванычъ убѣдительно просилъ Зиновьева, какъ добраго христіанина, изгладить изъ своей памяти все, что могло показаться ему тогда обиднымъ.

— Вотъ славно! А я уже и забылъ объ этомъ, воскликнулъ Алексѣй Максимычъ, — не помнишь ли ты, Сережа? подхватилъ онъ, шутливо обращаясь къ племяннику.

— Не знаю, дѣдушка, меня тамъ не было. Я думаю, было что-нибудь очень пріятное, потому что съ того дня ты сталъ какъ-то особенно веселъ.

До того дня старикъ дѣйствительно больше старался казаться веселымъ; Сережа и Маруся очень хорошо знали причину затаенной грусти, проступавшей въ чертахъ дѣдушки, вопреки его усиліямъ показывать имъ довольное расположеніе духа; они не понимали только повода, заставившаго внезапно остановить работы въ церкви въ то самое время, когда она совсѣмъ уже приближалась къ концу. Бесѣдуя между собою, оба дѣлали всевозможныя предположенія и, не стѣсняясь, бранили на чемъ свѣтъ стоитъ членовъ совѣта, распорядителей, графа, — словомъ, всѣхъ тѣхъ, отъ кого зависѣла постройка. Теперь надо думать, что дѣло опять пошло на ладъ: дѣдушка уже не довольствовался казаться веселымъ, — онъ былъ веселъ въ самомъ дѣлѣ.

Къ концу недѣли открылся новый поводъ радости. Алексѣю Максимычу посчастливилось отыскать живописца, который согла-

шался докончить орнаментъ на нижней аркѣ почти на тѣхъ же условіяхъ, какъ подрядчикъ брался кончить каменныя работы. Живописецъ былъ только человѣкъ крайне бѣдный и просилъ впередъ нѣсколько денегъ; но это была такая бездѣлица, о которой говорить не стоило. Иванъ Иванычъ и за нимъ члены совѣта, конечно, не остановятся передъ выдачей ничтожной суммы, когда имъ будутъ представлены новыя, исключительно-выгодныя условія подрядчика и живописца. Всѣ, безъ сомнѣнія, поспѣшатъ ими воспользоваться. Слава Богу, никто здѣсь не врагъ общественному интересу; напротивъ, онъ служитъ цѣлью совѣта и одинаково воодушевляетъ всѣхъ его членовъ.

Зиновьевъ не могъ только добиться, когда соберется совѣтъ и въ какой именно день можно будетъ представить ему докладъ. Онъ писалъ объ этомъ Воскресенскому, но тотъ отвѣчалъ, что самъ этого не знаетъ, прибавляя, что въ лѣтнее время совѣтъ собирается вообще рѣже и въ тѣхъ только случаяхъ, когда много дѣлъ.

Алексѣй Максимычъ, — терпѣливый по природѣ и сдѣлавшійся въ послѣдніе три года еще терпѣливѣе, благодаря Ивану Иванычу и совѣту, — рѣшился ждать, но, чтобы не терять дорогаго времени, продолжалъ хлопотать и работать: ѣздилъ по биржамъ прикидываться къ цѣнѣ матеріаловъ, придумывалъ различныя удешевленія, приспособленія, составлялъ чертежи, исправлялъ и переписывалъ свою докладную записку, — словомъ, подготовлялъ дѣло такимъ образомъ, чтобы послѣ доклада немедленно приступить къ окончанію постройки.

Простодушная довѣрчивость Зиновьева можетъ казаться преувеличенною для тѣхъ, кому не случалось встрѣчаться съ истинными художественными натурами. Въ нихъ всегда преобладаетъ что-то дѣтское, и свойство это сохраняется независимо отъ лѣтъ и жизненнаго опыта. Впечатлительныя, какъ ртуть, онѣ такъ же скоро остываютъ и съеживаются, такъ же быстро согрѣваются и, не находя простора, стремятся къ верхнимъ градусамъ; лица этого рода живутъ по преимуществу нервами и всѣ ихъ дѣй-

ствія руководятся воображеніемъ. Самое ничтожное обстоятельство: мелкая непріятность, встрѣча, видъ непріязненнаго лица, слово, сказанное на вѣтеръ, способны не только обдать ихъ холодомъ, но сдѣлать ихъ раздражительными, расположить къ мрачному настроенію ихъ чувства, и наоборотъ: встрѣча, мысль, слово, едва примѣтный лучъ надежды, но при сочувственныхъ условіяхъ, производятъ одушевляющее, какъ бы электрическое дѣйствіе: они мгновенно оживаютъ, глаза радостно блестятъ, рѣчь льется сама собою; на это нѣтъ возраста: молодые и старики, — разумѣя здѣсь, конечно, только настоящихъ артистовъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и Алексѣй Максимычъ,—всѣ дѣти одной семьи, у всѣхъ та же воспріимчивая закваска на дрожжахъ, всѣ состряпаны изъ одного тѣста.

Въ тотъ день, когда отыскался живописецъ, радость Зиновьева выказывалась не только на лицѣ, но и во всѣхъ его движеніяхъ. Возвращаясь на дачу къ обѣду, онъ издали еще принялся махать шляпой надъ головою, какъ только показались бѣлыя платья двухъ бѣжавшихъ навстрѣчу дѣвочекъ; онѣ также махали ему платками и весело вскрикивали; за ними мелькалъ синій зонтикъ Маруси и знакомая шляпа Сережи.

Дѣдушку встрѣчали такимъ образомъ каждый день, и встрѣча сопровождалась всегда такими изъявленіями радости, что посторонній могъ подумать, будто старикъ возвращался послѣ долгой отлучки.

— Обѣдать! обѣдать!—повторялъ Алексѣй Максимычъ, посылая поцѣлуи направо и налѣво.—Я, дѣточки, сегодня жестоко проголодался; утромъ, въ суетѣ, я не взялъ съ собою сыра и хлѣба и теперь голоденъ, какъ собака...

— Какъ? Неужели? — воскликнула Маруся. — Боже мой, я никогда себѣ не прощу этого...

— Ты нисколько не виновата,—поспѣшилъ успокоить Алексѣй Максимычъ, — я сегодня тихонечко утекъ изъ дому; было рано, вы всѣ еще тогда спали...

Услышавъ на дворѣ голосъ Алексѣя Максимыча, Марьянушка засуетилась; Маруся побѣжала въ кухню. Вскорѣ вся семья сѣла за столъ, накрытый въ бесѣдкѣ.

Давно не было такого веселаго обѣда. Больше всѣхъ способствовалъ этому дѣдушка. Подъ конецъ онъ явился съ новой выдумкой; она случайно пришла ему на умъ во время дороги. Дѣло заключалось въ слѣдующемъ: послѣ обѣда всѣ, огуломъ, должны были отправиться на Малую Невку къ ближайшей пристани; здѣсь всѣ садились въ лодку; Сережѣ поручался руль. Лодка выѣзжала на возморье и останавливалась у тоней противъ Крестовскаго острова.

Дѣдушка вступалъ въ переговоры съ рыбаками, послѣ чего начиналось бросаніе невода, по одному разу на счастье каждаго члена семейства. Дѣдушка не дѣлалъ никакихъ предположеній насчетъ Маруси и Сережи. „Счастливые въ любви...“ — началъ онъ, посмѣиваясь, но тутъ же, оборотясь къ Катѣ и Сонѣ, выразилъ увѣренность, что на долю каждой выпадаетъ неводъ, полный лососокъ, изъ которыхъ въ самой маленькой будетъ, по крайней мѣрѣ, аршинъ длины и двадцать фунтовъ вѣсу.

Алексѣй Максимычъ прекрасно сдѣлалъ, что поберегъ сообщеніе своей выдумки къ концу обѣда, иначе Катя и Соня никому бы не дали покоя и сами, въ нетерпѣніи своемъ, навѣрное, остались бы голодными.

Только-что кончился обѣдъ, старикъ послалъ всѣхъ одѣваться, самъ остался въ бесѣдкѣ и закурилъ сигарку.

Услышавъ на дворѣ чужой голосъ, онъ послалъ туда Марьянушку: минуту спустя, она возвратилась, сказавъ, что голосъ принадлежалъ курьеру, и подала ему большой конвертъ, припечатанный крупной красной печатью.

Въ домѣ, между тѣмъ, все суетливо готовилось къ прогулкѣ; Маруся была уже въ шляпкѣ. Застегивая пуговицы на ботинкахъ Сони, она, въ то же время, перекидывалась словами съ Сережей, который смотрѣлъ въ комнату изъ растворенаго

окна, положивъ локти на подоконникъ. Очередь была теперь за Катей, но Катя опять куда-то исчезла.

— Катя! Катя, гдѣ ты? — крикнула Маруся.

Но въ ту же секунду голосъ Кати послышался со двора, почти за спиною Сережи. Странный звукъ этого голоса заставилъ его обернуться; при видѣ дѣвочки онъ тотчасъ же понялъ, что въ домѣ что-нибудь случилось: на дѣвочкѣ лица не было; брови ея усиленно подымались, черты изображали испугъ.

— Сережа... тамъ въ бесѣдкѣ... дѣдушка...— едва могла произнести она отъ волненія,—съ дѣдушкой что-то сдѣлалось... съ дѣдушкой!...

При послѣднихъ словахъ Сережа бросился къ бесѣдкѣ; онъ прибѣжалъ туда почти въ одно время съ Марусей и двумя дѣвочками.

Съ ужасомъ увидѣли они старика, распростертаго на диванѣ; лицо его было блѣдно, какъ известка; рѣсницы закрытыхъ глазъ судорожно вздрагивали, такое же движеніе проходило, какъ будто, подъ кожей лица; Марусѣ показалось, однакожъ, что движеніе это останавливалось на лѣвой щекѣ и у лѣваго глаза; старикъ, очевидно, не былъ въ обморокѣ; онъ тяжело дышалъ, не переставая водить правой ладонью по лѣвой рукѣ, которая лежала въ какомъ-то оцѣпенѣніи. Сознаніе, по всему было видно, не оставляло его. Услыша подлѣ себя знакомые голоса, онъ открылъ глаза и сдѣлалъ движеніе, какъ бы желая приподняться; но лѣвая нога измѣнила ему и онъ снова безсильно опустился, но теперь опустился на руки Сережи, который успѣлъ подхватить его.

Маруся стояла уже передъ нимъ на колѣняхъ, утирая платкомъ его мучительно стянутый лобъ. Онъ хотѣлъ ей улыбнуться, но, вмѣсто улыбки, на губахъ его проскользнуло что-то столь горькое и безотрадное, что Маруся не могла уже удержаться и заплакала.

— Милыя мои... дѣточки, —проговорилъ, наконецъ, Алексѣй Максимычъ, оглядывая каждаго своими добрыми глазами.

Несвязность, съ какою произносилъ онъ слова, и самый звукъ его голоса окончательно подрѣзали сердце Маруси; удерживаясь отъ рыданій, подступавшихъ ей къ горлу, она прижала его руку къ груди и горячо начала цѣловать ее.

— Дѣдушка! скажи, что съ тобой?... Что случилось? — заговорила она, наклоняясь испуганно къ его лицу.

— Мнѣ легче... Дурно было сдѣлалось... Теперь гораздо легче, — произнесъ онъ, стараясь говорить яснѣе, — пройдетъ, я чувствую. Такъ вдругъ случилось... неожиданно... Не бойтесь... Главное, мнѣ надо успокоиться... успокоиться надо... это главное...

Встревоженное лицо Марьянушки, которую поспѣшила увѣдомить Катя, показалось въ бесѣдкѣ. Общими силами старика подняли на ноги, перевели въ домъ и уложили въ постель.

Сережа съ лицомъ, покраснѣвшимъ до корня волосъ, суетился, спѣша въ городъ за докторомъ.

У выходной двери онъ встрѣтился съ Марусей.

— Дѣдушкѣ отказали; онъ не будетъ больше строить церковь, — торопливо проговорилъ онъ шопотомъ.

— Неужели?

— Да; на столѣ, въ бесѣдкѣ, лежала бумага, и я успѣлъ просмотрѣть ее... Дѣло рѣшеное: ему отказали!

— Бѣдный, бѣдный дѣдушка! — сказала Маруся, закрывая лицо руками.

— Большое несчастье для него... да и для всѣхъ насъ также, можетъ быть!...

Съ послѣднимъ словомъ онъ надѣлъ шляпу и побѣжалъ къ калиткѣ.

Къ вечеру только удалось ему отыскать и привести доктора.

Пока докторъ былъ у больнаго, Сережа и Маруся сошлись въ сосѣдней комнатѣ. Она старалась его успокоить, увѣряя, что во время его отсутствія дѣдушка замѣтно оправился. На лѣвой щекѣ было уже меньше онѣмѣнія; онъ не владѣлъ еще вполнѣ лѣвою рукою, но она потеряла свой зловѣщій синеватый цвѣтъ и была несравнено теплѣе; но главное, по ея мнѣнію, заключа-

лось не въ этомъ; ее пугало совсѣмъ другое,— пугало нравственное состояніе больнаго. Какъ ни старался онъ скрыть передъ ней свое горе, оно высказалось вопреки его усилій. Онъ нѣсколько разъ уговаривалъ ее пойти въ свою комнату: голосъ его и лицо казались совсѣмъ спокойными; она дѣлала видъ, что удалялась, но не успѣвала сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ, какъ онъ поворачивался лицомъ къ стѣнѣ и уже слышались его рыданія.

— Я не тревожила его въ такія минуты, — прибавила Маруся.— Мнѣ говорили: плакать лучше, когда большое горе; оно тогда облегчается... Но вѣришь ли, Сережа, всякій разъ, какъ онъ такъ заплачетъ, у меня точно сердце обрывалось... Мнѣ казалось, точно ребенокъ плачетъ... Бѣдный, бѣдный дѣдушка!

Съ каждымъ словомъ лицо Сережи дѣлалось мрачнѣе. Плотно сжатыя губы, нахмуренные лобъ и брови, судорожное движеніе ноздрей показывали, что въ немъ происходила сильная внутренняя работа.

Сообщенія доктора возвратили обоимъ надежду. Не предвидѣлось пока никакой опасности. До настоящаго дня старикъ слишкомъ много волновался и мало-по-малу подготовилъ себя къ тому, что случилось; но и этого бы не было, вѣроятно, еслибъ нравственное потрясеніе не произошло тотчасъ же послѣ обѣда; параличъ, къ счастью, едва коснулся верхнихъ оболочекъ; организмъ совершенно въ нормальномъ порядкѣ. Два-три дня спокойствія, — слѣдовъ не останется.

Какъ ни успокоительны были слова жреца науки, Сережа не рѣшился разстаться съ больнымъ и оставался ночевать въ его комнатѣ. Онъ прилегъ на диванѣ, не раздѣваясь, нарочно съ тѣмъ, чтобы быть готовымъ на всякій случай.

Предусмотрительность его была лишней, но онъ не сомкнулъ глазъ во всю ночь. Поступокъ съ дѣдушкой, который былъ для него воплощеніемъ всего добраго и честнаго на свѣтѣ, возмущалъ его до глубины души; кровь подымалась ему въ голову и въ ушахъ звенѣло. Тутъ не только была несправедливость, но чув-

ствовалось что-то злобное и жестокое. Что могъ имъ сдѣлать этотъ простодушный старикъ? Какъ архитекторъ, онъ также не могъ навлечь нареканій: знаніе, опытъ, талантъ, — все было на его сторонѣ. Кто, — не считая его преклонныхъ лѣтъ, — кто больше него трудился, положилъ столько любви въ дѣло, отдалъ ему всего себя съ такимъ увлеченіемъ?! И отнять у него дѣло, — когда же? — когда все уже почти готово! Желаніе воспользоваться чужимъ трудомъ было здѣсь слишкомъ очевидно! И нельзя помѣшать этому! „Нельзя ухватить ихъ всѣхъ за горло и раздавить, какъ клоповъ!“ — мысленно воскликалъ онъ и хотя тутъ же сознавалъ всю нелѣпость такихъ желаній, но, тѣмъ не менѣе, сокрушался своимъ безсиліемъ и ничтожествомъ.

Незнакомая до того горечь подымалась съ самаго дна его души. Безсонная эта ночь прошла для него не безъ пользы. Сердце его ожесточилось противъ неправды; умъ яснѣе сталъ видѣть между тѣмъ, что должно быть и что происходитъ въ дѣйствительности. Ночь эта осуществила для него цѣлую школу жизни.

Онъ заснулъ тогда уже, какъ начиналось утро.

---

## XIII.

Проснувшись довольно поздно, Сережа крайне былъ изумленъ, увидѣвъ дѣдушку въ бѣломъ галстухѣ и черныхъ панталонахъ.

— Дѣдушка, что съ тобой?... Куда ты? — проговорилъ онъ, вскакивая съ дивана.

— Необходимо сейчасъ же ѣхать... Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо, — отвѣчалъ старикъ, надѣвая жилетъ и суетливо принимаясь за фракъ.

Сережа побѣжалъ къ Марусѣ и оба начали его уговаривать; но все, что они говорили, было напрасно; Алексѣй Максимычъ

стоялъ на своемъ, упрямился, выказывалъ даже явные знаки неудовольствія, чего съ нимъ прежде никогда не было. Сережа съ трудомъ могъ достичь того только, что поѣдетъ съ нимъ, будетъ всюду его сопровождать и ждать вездѣ, гдѣ будетъ ему угодно. Пока старикъ прощался съ дѣтьми и Марусей, увѣряя всѣхъ, что чувствуетъ себя теперь какъ нельзя лучше, Сережа побѣжалъ умыться и причесаться, шепнувъ мимоходомъ Марьянушкѣ, чтобы она скорѣе послала кухарку за извозчикомъ.

Алексѣй Максимычъ велѣлъ везти себя, прежде всего, къ графу.

Когда дрожки остановились передъ подъѣздомъ знакомаго дома, швейцаръ объявилъ, что графъ только что изволилъ выѣхать. Графъ и графиня отправились провожать молодаго графа, который уѣзжалъ заграницу; оба возвратятся только къ вечеру, потому что кушать поѣдутъ въ Петергофъ, и карету приказано прислать къ послѣднему поѣзду.

Зиновьевъ не показалъ только виду, но извѣстіе это примѣтно его взволновало. Не торгуясь съ извозчикомъ, противъ своего обыкновенія, онъ усѣлся на дрожки рядомъ съ племянникомъ и велѣлъ немедленно ѣхать на Парголовскую дорогу. Сережа догадался, что они отправляются теперь на дачу къ Воскресенскому.

Разстройство дѣдушки было слишкомъ очевидно, чтобы не пугаться дальности дороги, въ такую жару особенно, но племянникъ воздержался, однакожъ, отъ всякаго замѣчанія. Развлекать дѣдушку посторонними разговорами ему также не хотѣлось; онъ сначала было попробовалъ; старикъ дѣлалъ только видъ, что слушаетъ; выраженіе его лица и взглядъ ясно показывали, что мысли блуждали гдѣ-то далеко отъ предмета бесѣды... Коснуться причинъ настоящей поѣздки значило только растревожить окончательно старика; Сережа предпочелъ молчать, ограничиваясь тѣмъ, что подкладывалъ руку за спину сосѣда всякій разъ, какъ на дорогѣ встрѣчался ухабъ или камень.

Дача, занимаемая Воскресенскимъ, имѣла свою исторію. Она состояла изъ большаго каменнаго дома и обширнаго старинаго

сада. То и другое подарено было когда-то одной знатной старушкой сиротскому пріюту, который процвѣталъ здѣсь болѣе тридцати лѣтъ. Внезапно кѣмъ-то найдено было, что мѣсто здѣсь низменно и сырой воздухъ отражается крайне вреднымъ образомъ на здоровьѣ сиротъ; за симъ явились болѣе положительныя данныя, сопровождаемыя вѣскими цифровыми выводами о злокачественныхъ свойствахъ мѣста. Выводы эти, весьма красиво означенные на бумагѣ и скрѣпленные подписями, представлены были на разсмотрѣніе комиссіи, которая была *временная*, какъ бо́льшая часть комиссій. Возникъ вопросъ о необходимости отвести другое мѣсто и выстроить на немъ новое зданіе; тутъ же приложена была и смѣта. Цифры выходили крупныя, но человѣколюбивая мысль взяла верхъ надъ экономическими соображеніями. Зданіе было воздвигнуто, сироты водворены, а бывшее ихъ жилище перешло *временно* въ то вѣдомство, гдѣ служилъ Иванъ Иванычъ, и *временно* также, т. е. во время лѣта, имъ стали пользоваться семейные чиновники. Одинъ изъ нихъ, болѣе предпріимчивый, устроилъ даже въ бывшей столовой гимнастику для дѣтей и катокъ для коньковъ съ рулетками, имѣя въ виду доставить развлеченіе взрослымъ своимъ товарищамъ, ихъ женамъ и знакомымъ, наѣзжавшимъ сюда по праздникамъ. Иногда бывало здѣсь очень весело.

Алексѣю Максимычу больше здѣсь посчастливилось, чѣмъ у графа. Узнавъ, что Иванъ Иванычъ дома, онъ проявилъ вдругъ столько живости, что краска мгновенно выступила на лицѣ его; даже на ушахъ и шеѣ показался какой-то лиловый о́блескъ.

— Дѣдушка, успокойся Бога ради!... Самъ докторъ, помнишь, сказалъ, что вредно тебѣ волноваться, — успѣлъ только проговорить племянникъ, слѣзая съ дрожекъ вмѣстѣ со старикомъ.

Алексѣй Максимычъ осторожно отстранилъ его рукою. Сережа остановился, но съ безпокойствомъ сталъ слѣдить за дѣдушкой, который, замѣтно припадая на лѣвую ногу, торопливо зашагалъ къ подъѣзду.

Черты старика снова покрылись блѣдностью, когда онъ вошелъ въ кабинетъ Воскресенскаго.

При видѣ Зиновьева Иванъ Иванычъ поспѣшно всталъ съ мѣста и пошелъ къ нему навстрѣчу съ распростертыми руками; всмотрѣвшись въ лицо вошедшаго, онъ, однакожъ, остановился. Въ первую минуту Зиновьевъ отъ волненія не могъ проговорить слова. Воскресенскій этимъ воспользовался; онъ оглянулся назадъ къ столу, убѣдился, что колокольчикъ на своемъ мѣстѣ, и поспѣшилъ принять печально-разстроенный видъ.

— Понимаю ваше горе, многоуважаемый Алексѣй Максимычъ, понимаю его вполнѣ и... и раздѣляю его,— произнесъ онъ удрученнымъ голосомъ.— Обвиненія ваши, если таковыя суждено мнѣ выслушать, будутъ несправедливы... Я не заслужилъ ихъ... Противъ васъ я никогда ничего не имѣлъ и не имѣю, кромѣ истиннаго уваженія... Я тутъ не причемъ.

— Кто же, наконецъ, это... это сдѣлалъ? Кто отнялъ у меня... — началъ было Зиновьевъ, но не могъ докончить; онъ едва переводилъ дыханіе; нижняя челюсть его и губы дрожали, какъ въ лихорадкѣ.

— Успокойтесь... Прежде всего, прошу васъ успокоиться...

Иванъ Иванычъ указалъ на сосѣдній стулъ и даже придвинулъ его. Но Зиновьевъ какъ будто не замѣтилъ этого.

— Я пришелъ спросить, какія причины заставили поступить со мною такимъ образомъ? — подхватилъ онъ, оправляясь. — Въ чемъ меня обвиняютъ?... Такъ вдругъ нельзя же безъ всякаго повода!...

— Совершенно основательно; но, повторяю вамъ, дорогой Алексѣй Максимычъ, я тутъ не причемъ... Я имѣлъ уже честь вамъ докладывать, — даже писалъ вамъ надняхъ объ этомъ, — что если я въ этомъ дѣлѣ принимаю участіе, меня занимаетъ въ немъ не столько матеріальная его сторона, сколько собственно нравственная; меня привлекала человѣколюбивая мысль, сопряженная съ постройкой этого зданія... Причины, о которыхъ вы изволите упоминать, мнѣ неизвѣстны; рѣшеніе вышло изъ совѣта;

къ сожалѣнію, въ эти послѣдніе дни мнѣ нездоровилось и я въ немъ не участвовалъ... Когда я сталъ разспрашивать, мнѣ намекали на какія-то, будто бы, злоупотребленія...

— Злоупотребленія! — воскликнулъ Алексѣй Максимычъ, котораго при этомъ обдало холодомъ отъ затылка до самыхъ пятокъ.

— Но никто этому, конечно, не вѣритъ, — поспѣшилъ успокоить Воскресенскій.

— Все равно, все равно, я желаю знать, въ чемъ заключаются эти злоупотребленія...

Иванъ Иванычъ и самъ не радъ былъ, что коснулся этого вопроса; но дѣлать было нечего,— слово вырвалось, не вернешь назадъ; искоса взглянувъ на столъ, тутъ ли колокольчикъ, онъ какъ бы пріободрился и прибавилъ:

— Въ прошломъ году... у васъ, говорятъ... вышелъ тамъ какой-то недочетъ... какихъ-то денегъ недостало въ кассѣ...

Неожиданность такого сообщенія сразила, казалось, старика.

— Правда,— произнесъ онъ, смѣло глядя въ глаза собесѣднику,— правда, но это мое личное дѣло, оно никого не касается; деньги были сполна тотчасъ же внесены... Какое же кому до этого теперь дѣло?

— Никто же на это и не претендуетъ. Помилуйте! Всѣмъ слишкомъ хорошо извѣстна ваша честность... Я полагаю, тутъ однѣ только сплетни... и причина вовсе не въ этомъ... Она, всего вѣроятнѣе, заключается въ промедленіи постройки...

— Въ промедленіи!— на этотъ разъ уже просто вскричалъ Алексѣй Максимычъ,— въ промедленіи! Но кто же, какъ не вы, милостивый государь, задерживалъ работу? Въ эти послѣдніе три мѣсяца я гроша отъ васъ не могъ добиться... Просилъ, умолялъ, наконецъ, поневолѣ долженъ былъ остановить постройку...

— Боже мой! Боже мой! — заговорилъ Иванъ Иванычъ, отступая еще шагъ и печально качая головою,— подумайте только, въ чемъ вы меня упрекаете... меня, который только и думалъ, какъ бы угодить вамъ!... Вникните спокойнѣе: развѣ деньги мои и я могу выдавать ихъ когда заблагоразсудится? Точно не знаете

вы, что церковь строится на пожертвованныя суммы, точно не знаете, что можно располагать ими тогда только, когда онѣ есть въ кассѣ...

— Если это такъ, то тѣмъ несправедливѣе упрекъ, который мнѣ дѣлаютъ! Вы, стало быть, не объясняли совѣту...

— Я уже имѣлъ честь докладывать вамъ, что меня тогда,— прибавлю: къ сожалѣнію,— не было въ совѣтѣ...

— Но опредѣленія совѣта разсматриваются графомъ... Вы... ваша обязанность была предупредить его насчетъ причины задержки... Онъ могъ, наконецъ, послать за мною, разспросить меня... Рѣшеніемъ управлялъ, слѣдовательно, одинъ произволъ, а можетъ быть, что нибудь еще хуже: была подведена какая нибудь гнусная интрига...

Иванъ Иванычъ всплеснулъ руками и склонилъ голову на бокъ съ видомъ изнеможенія.

— Не понимаю только, что графъ тутъ дѣлалъ?—продолжалъ Зиновьевъ съ возраставшимъ жаромъ.—Я считалъ его всегда человѣкомъ честнымъ и благороднымъ... Онъ всегда былъ прежде такъ расположенъ ко мнѣ... Его, вѣрно, подвели, обманулъ кто нибудь... или онъ потерялъ, наконецъ, всякій смыслъ, всякое сознаніе!...

— Графъ такъ мало потерялъ сознанія,—робко вступился Иванъ Иванычъ,—что первою его мыслью, когда все... все это вышло... было представить васъ къ наградѣ...

— Что мнѣ награда! Моя награда — мой трудъ! Я о другомъ никогда не думалъ и ничего не искалъ... Я желаю только, чтобы со мной поступали такъ же честно, какъ я всегда поступалъ съ другими; къ сожалѣнію, я ошибся, полагаясь на людскую честность; старость ничему меня не выучила; вижу, что здѣсь, прежде всего, надо быть кулакомъ и пройдохой... Я всю жизнь слышалъ объ этомъ, но отказывался всегда вѣрить; теперь, на старости, пришлось убѣдиться: хорошо здѣсь только кулакамъ и пройдохамъ!...

— Я не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, позволю вамъ замѣтить,—проговорилъ обиженнымъ тономъ Воскресенскій,—но не раскаиваюсь въ этомъ, нѣтъ, не раскаиваюсь; мною управляли всегда одни чувства: долгъ, желаніе добра ближнему... религія...

— Я, можетъ быть, не такъ религіозенъ, какъ вы, но не сдѣлаю, милостивый государь, того, что вы сдѣлали,—да, вы! вы!... потому что все дѣло было въ рукахъ вашихъ, и вы бы никогда не допустили того, что произошло, еслибъ только захотѣли! Я съ тѣмъ пріѣхалъ, чтобы сказать вамъ это прямо въ глаза! Да! Я и другимъ буду то же разсказывать...

— Вы не можете оскорбить меня, господинъ Зиновьевъ,— проговорилъ тихо, но не безъ достоинства Иванъ Иванычъ,—мои дѣйствія и цѣли, слава Богу, извѣстны... Если кто и повѣритъ, предоставлю каждому на его совѣсть... Придетъ время, наконецъ, когда разъяснится, кто тутъ правъ, кто виноватъ... Исторія безпристрастна; она насъ разсудитъ...

— „Вонъ куда хватилъ! Исторія! Будетъ ей до тебя дѣло, какъ же!“—мелькнуло въ головѣ Зиновьева, не смотря на все его разстройство.—Не знаю, что исторія скажетъ,—продолжалъ онъ громко,—но я скажу вамъ, что я не настолько еще ослабъ отъ старости и выжилъ изъ ума, чтобы такъ оставить это дѣло; я пойду къ графу, обращусь къ совѣту, обращусь къ каждому, кто принималъ участіе въ этомъ несправедливомъ поступкѣ... Пока... пока оставлю его на вашей совѣсти... Затѣмъ, милостивый государь мой, прощайте!...

Иванъ Иванычъ молча поклонился; устремляя выше очковъ бѣлые зрачки свои на удалявшагося Зиновьева, онъ слегка улыбнулся, какъ улыбаются взрослые бѣснованію спеленатаго ребенка.

До настоящей минуты Алексѣя Максимыча поддерживали нервный подъемъ и сильное нравственное возбужденіе. Когда онъ вернулся къ племяннику, тотъ поспѣшилъ поддержать его: до такой степени старикъ показался ему вдругъ опустившимся и ослабѣвшимъ. Черты его осунулись, глаза вращались безпокойно и смотрѣли смутно. Племянникъ съ трудомъ усадилъ его въ дрожки

и велѣлъ извозчику ѣхать скорѣе домой на дачу. Дорогой онъ долженъ былъ разъ остановиться, чтобы достать воды, потому что дѣдушка внезапно почувствовалъ дурноту.

Пріѣхавъ домой, Сережа распорядился, чтобы старика скорѣе уложили въ постель, а самъ поскакалъ за докторомъ.

Докторскія предсказанія сбылись только на другой день къ вечеру. У Алексѣя Максимыча открылась нервная горячка; къ ней (послѣдняго докторъ не предсказалъ) присоединилось разлитіе желчи. Старшіе члены семьи, — въ томъ числѣ и Марьянушка, — превратились въ тотъ же день въ сидѣлокъ; каждый по нѣскольку часовъ дежурилъ по очереди у постели больнаго. Въ общемъ раздѣлѣ, на долю Кати и Сони досталась едва ли не самая трудная обязанность: онѣ должны были молчать и тихо, только на цыпочкахъ, переходить изъ комнаты въ другую. Главнымъ образомъ, обѣимъ было предписано не касаться въ разговорахъ при дѣдушкѣ постройки церкви, не напоминать даже объ этомъ, хотя бы словомъ однимъ.

Сережа, строго наблюдавшій за этимъ, самъ, между тѣмъ, едва удерживался. Узнавъ случайно въ академіи, что достроивать церковь поручили какому-то Бабкову вмѣстѣ съ другимъ, — имени послѣдняго онъ не помнилъ, — онъ такъ горячился и часто выходилъ изъ себя, что каждую минуту можно было ожидать отъ него какой нибудь неосторожности. Дѣло спасалось только Марусей, которая, какъ только Сережа начиналъ возвышать голосъ, спѣшила прижать ему ладонь къ губамъ. Онъ тогда выбѣгалъ въ садъ; Маруся приближалась къ окну и глазамъ ея представлялся Сережа, ходящій быстрыми шагами и махающій въ воздухѣ кулаками. Такой моціонъ всегда, впрочемъ, хорошо на него дѣйствовалъ: онъ послѣ этого замѣтно успокоивался и возвращался смирнѣе прежняго къ постели больнаго.

Въ концѣ августа болѣзнь Алексѣя Максимыча настолько уже уступила, что его можно было перевезти на городскую квартиру; въ одномъ лишь не могъ онъ оправиться: къ нему не возвращалась его прежняя веселость.

Чего только ни дѣлали, чтобы развлечь его! Въ день его рожденія (ему минуло шестьдесятъ-три года) Катя и Соня сочинили живыя картины, въ которыхъ явились въ бумажныхъ костюмахъ, ими же сочиненныхъ и раскрашенныхъ; въ одной изъ этихъ картинъ приняла даже участіе Маруся: стоя на тубаретѣ, прикрытомъ бумажнымъ облакомъ, она изображала благодѣтельную волшебницу, кротко улыбающуюся Катѣ и Сонѣ, одѣтымъ пастухомъ и пастушкой, между тѣмъ какъ Сережа, сидя за ширмами, бралъ въ это время торжественные аккорды на фортепіано. Въ тотъ же вечеръ Маруся поднесла дѣдушкѣ абажуръ съ изображеніемъ Большаго канала въ Венеціи во время карнавала; луна, ряды освѣщенныхъ оконъ, отраженія въ водѣ огоньковъ на гондолахъ,—все это, искусно выскобленное на бумагѣ и подкрашенное красной и желтой краской, придавало живость акварели, которая сама по себѣ была очень мило написана Марусей; но и подарокъ этотъ не достигъ своей цѣли; дѣдушка, правда, долго не отрывалъ отъ него глазъ, но, слѣдя за выраженіемъ его лица, можно было думать, что подарокъ производитъ на него скорѣе даже грустное впечатлѣніе.

Иногда Сережа выкладывалъ на большой столъ къ окну папку съ рисунками Алексѣя Максимыча. Старикъ начиналъ ихъ просматривать, вспоминалъ о чемъ-то, но на лицѣ появлялась вскорѣ равнодушная усталость; онъ снова укладывалъ рисунки и закрывалъ папку, какъ бы говоря самому себѣ: „къ чему все это?“

Замѣтная перемѣна его духа къ лучшему произошла послѣ того только, какъ Сережа, рѣшившись, наконецъ, показать ему свою программу, принесъ ее на домъ. Алексѣй Максимычъ въ первый разъ оживился и напомнилъ въ тотъ день прежняго дѣдушку.

И всѣмъ въ этотъ день какъ будто стало веселѣе.

## XIV.

Постройка церкви, между тѣмъ, приближалась къ концу.

— Слава Богу!—говорилъ графъ, улыбаясь своей пріятной улыбкой всякій разъ, какъ Иванъ Иванычъ докладывалъ ему о новыхъ успѣхахъ работы.

— Слава Богу, ваше сіятельство,—повторялъ за нимъ Иванъ Иванычъ, съ выраженіемъ благочестія во взглядѣ.

— Зиновьевъ — прекрасный человѣкъ, но съ нимъ мы бы никогда не кончили,—говорилъ графъ.

— Никогда бы не кончили! — утверждалъ съ убѣжденіемъ Иванъ Иванычъ.

Графъ никогда больше не разспрашивалъ о старомъ архитекторѣ; онъ искренно пожалѣлъ о немъ въ первое время и даже вздохнулъ, когда Воскресенскій, въ разговорѣ о немъ, молча, но выразительно пошевелилъ влажными своими пальцами по лбу, показывая, что тутъ какъ будто у старика что-то было не совсѣмъ въ порядкѣ; узнавъ отъ того же Воскресенскаго, что Зиновьевъ теперь, кажется, поправился и считаетъ себя вполнѣ вознагражденнымъ за труды тѣмъ, что представленъ къ знаку отличія, графъ окончательно успокоился и пересталъ о немъ разспрашивать. И гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, было ему думать о Зиновьевѣ, когда поневолѣ всякій вечеръ приходилось забывать множество лицъ, являвшихся съ просьбами въ теченіе дня; когда едва было возможно придти въ себя, среди многочисленныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, ежедневно предлагаемыхъ на обсужденіе въ различныхъ комиссіяхъ и засѣданіяхъ?

Хорошо еще, что у графа была сестра, одаренная большой энергіей. Она неожиданно являлась въ кабинетъ, усаживалась противъ брата и не говорила ему, какъ дѣлала большая часть родственниковъ: „*Mon cousin* или *cher Pierre*, вы рѣшительно себя убиваете!“ — что, мимоходомъ сказать, доставляло всегда графу большое удовольствіе, — но прямо отрѣзывала: „Довольно!

*Assez, mon frère!*“ — и какъ только братъ начиналъ возражать, прибавляла: „Россія не погибнетъ, если ты оставишь ее на нѣсколько часовъ въ покоѣ“, послѣ чего насильственно увозила его куда нибудь за городъ, предупредивъ заранѣе, что пріѣдетъ сегодня съ графомъ обѣдать.

Къ многочисленнымъ заботамъ графа прибавились съ нѣкоторыхъ поръ семейныя непріятности. Его снова начиналъ безпокоить сынъ. На пути въ южную Францію, куда отправили молодаго человѣка для ознакомленія съ отраслью, обѣщавшей въ будущемъ столь важныя послѣдствія для Кавказскаго края, молодой человѣкъ застрялъ въ Парижѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ оставилъ Петербургъ,—назадъ тому два мѣсяца,—отецъ и тётка не получали никакихъ извѣстій; знали только, что онъ въ Парижѣ.

Графъ и графиня обратились тогда къ родственницѣ, княгинѣ Завадской, жившей большую часть года въ столицѣ Франціи, прося ее отыскать молодаго графа и дать о немъ какое нибудь свѣдѣніе. Княгиня, никогда прежде не писавшая петербургскимъ родственникамъ, пожелала какъ бы за одинъ разъ исправить свою ошибку; отвѣтъ ея, на многихъ страницахъ, могъ бы быть короче, если принять во вниманіе впечатлѣніе, сдѣланное имъ на графиню и особенно на графа.

Прежде всего, княгиня жаловалась, что Флу-Флу (такъ звали въ обществѣ молодаго графа за его развязную наружность и неясное произношеніе, происходившее отъ несоразмѣрной толщины языка, неловко какъ-то шлепавшаго во рту) ни разу къ ней не показался, „не плюнулъ даже“. Дальнѣйшія строки увѣдомляли родителей, что Флу-Флу каждый день встрѣчаютъ проѣзжающимъ въ коляскѣ по Елисейскимъ полямъ съ знаменитой *Berthe la Blonde*, едва ли не опаснѣйшей изъ парижскихъ актрисъ-кокотокъ. Она, говорятъ, совсѣмъ имъ завладѣла; онъ былъ съ ней неразлученъ и всюду являлся: утромъ — на скачкахъ, передъ обѣдомъ—въ *tir aux pigeons*, вечеромъ—въ театрѣ и всегда на видныхъ мѣстахъ; въ послѣдніе дни онъ окончательно себя ком-

прометровалъ, войдя съ ней подъ руку на благотворительный концертъ, куда допускались только дамы извѣстнаго круга...

— Мальчикъ этотъ истинно посланъ мнѣ въ наказаніе! За что только, не знаю! — воскликнулъ графъ, опрокидываясь на спинку креселъ.

— Я полагаю, вздыхать и охать теперь напрасно: ни къ чему не послужитъ, — произнесла графина, сдвигая брови.

— Что дѣлать, право, не знаю!... Знаю только, что онъ всѣхъ насъ разоритъ и самъ погибнетъ! Прямо идетъ къ этому... Боже мой, Боже мой, за что мнѣ все это?!...

Графиня поднялась на ноги, нѣсколько разъ прошлась по кабинету и тутъ же рѣшила немедленно ѣхать за племянникомъ. Она посмотритъ, какая тамъ такая *Berthe la Blonde* могла окрутить племянника настолько, чтобы заставить его забыть отца, тётку, приличія и, наконецъ, заставить дѣлать долги! Посмотритъ она, какъ Флу-Флу, — эта тряпица, а не человѣкъ, — не послушаетъ ея, когда она обрѣжетъ ему всѣ рессурсы и принудитъ его возвратиться домой!

Отъѣздъ графини весьма обрадовалъ Ивана Иваныча. Онъ думалъ и такъ, и этакъ, и рѣшительно не зналъ, какъ выпутаться въ глазахъ графа, которому внушилъ поѣздку сына заграницу. Графъ нисколько на него не сердился, убѣжденный въ его добромъ намѣреніи, но положеніе, всетаки, было не совсѣмъ ловкое.

Воскресенскій писалъ молодому графу, прося его захватить въ Парижѣ такую-то брошюрку, спеціально трактующую о пробочномъ производствѣ въ Алжирѣ, и прибавляя, что въ этомъ заключается, главнымъ образомъ, суть его поѣздки заграницу, но не получилъ никакого отвѣта. Зная энергическій, рѣшительный нравъ графини, онъ не сомнѣвался въ скоромъ возвращеніи ея племянника.

Въ ожиданіи этого, онъ распорядился выпиской помянутой брошюры и поручилъ перевести ее, какъ можно скорѣе, на русскій языкъ: сдѣлавъ въ рукописи кое-какія выправки и изъ-

нія, онъ замѣтно успокоился. Иванъ Иванычъ не обманывалъ себя въ трудности будущей задачи; онъ предвидѣлъ, сколько будетъ хлопотъ, чтобы поймать молодаго графа въ Петербургѣ, залучить его часа на два къ себѣ въ кабинетъ и заставить его прочесть при себѣ переводъ. Составить потомъ докладную записку о полезномъ трудѣ молодаго человѣка... Боже мой! да это была такая бездѣлица, о которой не стоило даже думать...

Какъ только графъ выражалъ безпокойство насчетъ сына, Иванъ Иванычъ всякій разъ спѣшилъ его утѣшить; но уже теперь въ голосѣ его замѣтно было больше увѣренности. Онъ придерживался того убѣжденія, что въ этихъ слухахъ изъ Парижа было много преувеличеннаго; похожденія молодаго графа были ничто иное, какъ мимолетное и совершенно естественное увлеченіе молодости. Очень жаль, конечно, что молодой графъ не воспользовался поѣздкой въ южную Францію; но собственно практическая сторона дѣла, для котораго онъ былъ посланъ, не имѣетъ большой важности; она предписывалась больше для соблюденія одной лишь формальности; суть дѣла заключается въ теоретическихъ данныхъ. Все, что касалось этого предмета, находилось въ рукахъ Ивана Иваныча; онъ ни на минуту не сомнѣвался, что молодой человѣкъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, съ примѣрнымъ усердіемъ примется за работу. Вопросъ будетъ подготовленъ, Иванъ Иванычъ лично съ нимъ займется; графу-отцу, — Воскресенскій ручался за это, — останется только, въ концѣ концовъ, радоваться за сына.

— И вы думаете, Иванъ Иванычъ, онъ будетъ въ самомъ дѣлѣ на это способенъ? — недовѣрчиво качая головою, спрашивалъ графъ.

— Убѣжденъ, ваше сіятельство! съ твердостью во взглядѣ и голосѣ возражалъ Воскресенскій.

— Благодарю васъ, благодарю!

Графъ протягивалъ руку, но, прикоснувшись къ влажнымъ пальцамъ Ивана Иваныча, напоминавшимъ ему всегда лягушку, не могъ побѣдить себя и, несмотря на растроганныя чувства,

тутъ же спѣшно, запрятавъ руку въ карманъ, украдкой утиралъ ее о носовой платокъ.

Въ частныхъ бесѣдахъ своихъ съ графомъ Воскресенскій не упускалъ случая также убѣждать его съѣздить осмотрѣть зданіе новаго *центральнаго пріюта;* мысль эта всегда встрѣчала живое сочувствіе; графъ обѣщалъ, назначалъ даже день, но всякій разъ по какому нибудь непредвидѣнному обстоятельству, — больше по недостатку времени, — не могъ исполнить обѣщанія. Воскресенскій приступилъ тогда настоятельнѣе, какъ говорится: сильнѣе нажалъ клапанъ. Все въ *центральномъ пріютѣ* было готово; открытіе назначено черезъ мѣсяцъ самимъ графомъ; необходимо было показаться, хотя бы съ тѣмъ, чтобы произнести свое послѣднее слово, поощрить участниковъ, которые столько разъ уже собирались и ждали только, какъ бы увидѣть высокаго своего покровителя.

День былъ, наконецъ, безотлагательно назначенъ. Графъ, пригласивъ заблаговременно Ивана Иваныча ѣхать вмѣстѣ, находился въ прекрасномъ расположеніи духа. Примѣтивъ, что Иванъ Иванычъ ежится въ углу кареты, графъ поспѣшилъ закрыть окно, извиняясь, что раньше не подумалъ объ этомъ.

День былъ дѣйствительно сырой и холодный. Убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ могли служить скорченныя фигуры и синіе носы на лицахъ персонала *центральнаго пріюта,* собравшагося у входа главнаго зданія въ ожиданіи пріѣзда ихъ покровителя. Ожидали, однакожъ, недолго; всѣ, повидимому, тотчасъ же оживились и согрѣлись, какъ только карета графа остановилась у подъѣзда. Тутъ во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ находились будущіе настаѳники, докторъ, фельдшера, сидѣлки, двѣ кормилицы въ голубыхъ кокошникахъ и красныхъ сарафанахъ, нѣсколько сестеръ милосердія и значительная группа служителей, бо́льшею частью съ шевронами на рукавахъ и въ форменной одеждѣ.

У графа былъ всегда достаточный запасъ привѣтливости для тѣхъ, кто заставалъ его въ хорошемъ расположеніи духа. Онъ

здѣсь очаровывалъ всѣхъ безъ исключенія: кому весело кивнулъ, кому сказалъ нѣсколько словъ, кому пожалъ руку.

Онъ шелъ впереди; подлѣ него, сбоку, едва слышными шагами подвигался Иванъ Иванычъ, изрѣдка оборачиваясь, когда шумъ слѣдовавшей толпы становился слышнѣе.

Больше часу продолжался обходъ зданія. Ничего не было пропущено. Графъ остался всѣмъ очень доволенъ. Особенной похвалы удостоился, впрочемъ, дворъ, крытый стекломъ и заключавшій въ себѣ дѣтскій садъ и гимнастику. Графъ внимательно осматривалъ каждый предметъ, разспрашивалъ обо всемъ. Съ большимъ одобреніемъ встрѣчено было также осуществленіе мысли оклейки стѣнъ нравственно-назидательными картинками, сценами изъ отечественной исторіи, долженствовавшими „поднять духъ“, какъ говорилось въ программѣ, и душеспасительными печатными изреченіями; передъ нѣкоторыми изъ нихъ графъ такъ долго останавливался, что уже подъ конецъ у Ивана Иваныча начали горѣть пятки и подкашиваться ноги.

— Теперь, ваше сіятельство, не угодно ли будетъ въ церковь пожаловать?—проговорилъ Воскресенскій, дѣлая за спиною знаки, чтобы скорѣе отворили дверь, сообщавшую церковь со столовой.

Но дверь оказалась уже отворенною. Ивана Иваныча сначала непріятно поразило, что въ дверяхъ никто не встрѣтилъ почетнаго посѣтителя, но неудовольствіе его продолжалось всего секунду. Одобрительная улыбка показалась на лицѣ его при видѣ Лисичкина и Бабкова, стоявшихъ на мѣстахъ своихъ. Послѣдніе только, казалось, ничего не видѣли, ничего не замѣчали: до такой степени каждый увлеченъ былъ своей работой. Стоя на табуретѣ подлѣ одной изъ арокъ съ палитрой и кистями въ лѣвой рукѣ и поддерживая правую руку муштабелемъ, Лисичкинъ усердно водилъ кистью и, сколько можно было замѣтить, все по одному и тому же мѣсту; на щекѣ, рукахъ и передней части сюртука виднѣлись слѣды красокъ. Бабковъ, пригнувшись къ одной изъ каменныхъ балясинъ надъ ступеньками, соединявшими

полъ съ алтаремъ, какъ бы усиливался добиться, насколько все это твердо было установлено; онъ былъ въ холщевой блузѣ, надѣтой сверхъ сюртука, и весь также испачканъ известкой, хотя вокругъ было совершенно чисто и трудно было запачкаться.

Тихо ступая на плоскихъ своихъ подошвахъ, Воскресенскій наклонился къ графу и, улыбаясь, указалъ ему глазами на художниковъ; графъ остановился, приложилъ палецъ къ губамъ и неожиданно кашлянулъ.

— Ахъ!—вскричалъ Лисичкинъ, чуть не сваливаясь съ табурета отъ неожиданности; онъ не упалъ, однакожъ: съ палитрой въ одной рукѣ, съ муштабелемъ въ другой, онъ приблизился къ именитому посѣтителю, выказывая на лицѣ смущеніе человѣка, застигнутаго врасплохъ.

— Простите великодушно, ваше сіятельство... Я передъ вами въ такомъ видѣ...

— И меня также... Ужъ не взыщите,—прогоговорилъ Бабковъ, подходя, въ свою очередь, и растопыривая пальцы перепачканныхъ рукъ.

— Напротивъ, вы извините, что прервалъ васъ такъ неожиданно,—сказалъ графъ, любезно улыбаясь,—у васъ, какъ я вижу, прекрасно идетъ дѣло... подвигается...

— Работаемъ, ваше сіятельство, трудимся, — съ нѣжностью во всѣхъ чертахъ сказалъ Лисичкинъ.

— Пачкаемся, ваше сіятельство! Надо прямо сказать: пачкаемся!

— Давай Богъ каждому пачкаться такъ, какъ вы, господа, это дѣлаете ради общественной пользы,—замѣтилъ графъ, посылая каждому привѣтливый знакъ рукою,—и искренно благодарю васъ! Съ своей стороны, я также постараюсь... И давно уже вы здѣсь занимаетесь?...

— Третій мѣсяцъ...

— Какъ? Развѣ такъ много оставалось работы?

— Довольно-таки, ваше сіятельство! Много было сдѣлано, но многое пришлось переписать заново... Въ одномъ мѣстѣ тре-

бовалось смягчить... въ другомъ усилить, тутъ придать вкусу, здѣсь придать теплоты тону,—началъ Лисичкинъ, выводя палитрой и мушгабелемъ по воздуху нѣжныя, округленныя линіи.

Бабковъ неожиданно перебилъ его.

— Что говорить, ваше сіятельство, — приступилъ онъ къ графу, который любознательно осматривалъ стѣны,—надо правду сказать: были такіе здѣсь грѣшки да прорѣшки... Вы меня великодушно извините; я человѣкъ простой, какъ есть ломоть ржаного хлѣба, но я всегда правду скажу: пришлось-таки здѣсь повозиться... Вотъ теперь извольте сами посмотрѣть: прорѣшекъ-то и нѣтъ; сладили, значитъ!...

— Считаю долгомъ предупредить ваше сіятельство, что здѣсь очень сыро... и легко, очень легко простудиться... Гг. художники привыкли къ этому, но вамъ... считаю долгомъ предупредить васъ,—произнесъ Иванъ Иванычъ, желавшій сократить посѣщеніе церкви, такъ какъ, съ одной стороны, цѣль была достигнута, съ другой — онъ начиналъ чувствовать холодъ въ ногахъ, несмотря на то, что просилъ у графа позволенія остаться въ резиновыхъ калошахъ.

Поблагодаривъ еще разъ художниковъ, графъ вышелъ изъ церкви. Толпа, ожидавшая его въ столовой, снова сомкнувшись за его спиною, сопровождала его до той минуты, пока онъ не сѣлъ въ карету.

Графъ былъ очень доволенъ. Во время пути онъ нѣсколько разъ признательно жалъ руку Ивану Иванычу, который всякій разъ, отъ избытка чувствъ, моргалъ увлажненными глазами.

---

## XV.

Въ серединѣ ноября Алексѣй Максимычъ получилъ оффиціальное печатное приглашеніе на освященіе церкви и открытіе *центральнаго образцоваго пріюта*, имѣвшаго цѣлью „всеобщее,

всестороннее распространеніе благотворительности въ Россійскомъ государствѣ". Приглашеніе получено было во время вечерняго чая; вся семья находилась въ полномъ составѣ.

Алексѣй Максимычъ аккуратно вложилъ приглашеніе въ конвертъ, снялъ очки и произнесъ съ разстановкой:

— Скоро же это они состряпали!... Молодцы!... Посмотримъ... посмотримъ!—подхватилъ онъ, стараясь казаться веселымъ; онъ попробовалъ даже улыбнуться, но улыбка вышла менѣе удачна.

Сережа и Маруся переглянулись.

— Ты, дѣдушка, такъ говоришь, какъ будто собираешься туда ѣхать,—сказалъ племянникъ.

— Поѣду, конечно... благо приглашаютъ... Неучтиво было бы отказаться,—прибавилъ онъ съ добродушной ироніей.

Племянникъ поднялся съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ, нетерпѣливо проводя ладонью по волосамъ.

— Нѣтъ, ты не шутишь?... Ты въ самомъ дѣлѣ собираешься ѣхать?—спросилъ онъ, неожиданно останавливаясь.

— Въ самомъ дѣлѣ поѣду,—спокойно отозвался дѣдушка.

Племянникъ вспыхнулъ.

— Тебѣ, вѣроятно, снова хочется встрѣтиться съ этими прекрасными господами... которые... которые такъ благородно съ тобою поступили! — заговорилъ онъ рѣзкимъ голосомъ. — Рѣшительно не понимаю тебя!... Скажи намилость, что влечетъ тебя туда? Что ты будешь тамъ дѣлать? Зачѣмъ? Съ тѣмъ, развѣ, чтобы, какъ я говорю, полюбоваться лишній разъ на милаго г. Воскресенскаго?... Кстати, одинъ знакомый архитекторъ, имѣвшій съ нимъ дѣло, прозвалъ его „Тартюфомъ изъ Средней Мѣщанской улицы". Чего тебѣ отъ нихъ надобно? Что ты тамъ потерялъ?

— На твоемъ мѣстѣ, я бы ни за что не поѣхала, дѣдушка, — сказала Маруся.

— Ну, сговорились... Какъ и слѣдуетъ, впрочемъ, быть,— перебилъ Алексѣй Максимычъ.—Ты, мой дружокъ, полно волно-

ваться; сядь-ка лучше и не горячись... Очень понимаю, что заставляетъ васъ обоихъ такъ говорить. Людей, которыхъ я тамъ встрѣчу, уважаю я не больше вашего; знаю, что они, по большей части, не... нег... нехорошіе люди... (онъ хотѣлъ сказать другое слово, но удержался; рѣзко выражаться было вообще не въ его характерѣ). Скажу вамъ, съ своей стороны: оба вы превратно понимаете причину, которая — не то чтобы заставляла меня туда ѣхать, но располагаетъ къ этому; не ѣхать значило бы прямо показать имъ: какъ, дескать, вы меня глубоко обидѣли, и смотрѣть-то на васъ не хочу! Мнѣ, напротивъ, пріятно показать имъ мое полное равнодушіе къ ихъ поступку; смотрите, дескать: и живъ, и здоровъ, и пришелъ на васъ полюбоваться...

Сережа и Маруся не вѣрили какъ будто въ искренность такого довода. Дѣдушка былъ теперь совершенно здоровъ и, повидимому, окончательно успокоился; но имъ было извѣстно также искусство его скрывать передъ ними свои тяжелыя ощущенія и показывать улыбающееся лицо, когда на душѣ скребли кошки. Кто поручится въ томъ, что горе изгладилось окончательно и не живетъ гдѣ нибудь въ тайномъ углу его сердца?

Оба всѣми силами старались уговорить его; внутреннее чувство подсказывало имъ, что эта поѣздка не обойдется безъ вредныхъ послѣдствій, безъ новаго потрясенія.

Опасенія ихъ могли быть весьма основательны. Оскорбленное чувство не столько самолюбія, сколько справедливости слишкомъ глубоко проникло въ самую глубь существа стараго архитектора, чтобы успѣть такъ скоро вымереть; больное мѣсто еще оставалось. Алексѣй Максимычъ самъ себя обманывалъ, объясняя племяннику поводъ, располагавшій его къ такой поѣздкѣ; больное мѣсто еще не зажило; оно-то собственно и влекло его...

Въ нравственной и физической природѣ человѣка существуетъ большое сходство ощущеній; къ больному мѣсту тянетъ прикоснуться; есть даже удовольствіе бередить рану. То же самое бываетъ съ горемъ, съ минувшимъ нравственнымъ потрясеніемъ; вопреки разсудку, больное чувство не хочетъ успокоиться: оно

рвется къ предмету своего раздраженія. Могила закрыта, все кончено, ничѣмъ уже не вернешь къ жизни, — нѣтъ, надо бѣжать къ этой могилѣ, надо растравлять воспоминанія, надо прибавить себѣ терзаній: въ этомъ есть также своя отрада...

Когда наступилъ день освященія церкви и открытія *центральнаго образцоваго пріюта*, Алексѣй Максимычъ, не смотря на всѣ свои старанія казаться равнодушнымъ, не могъ ввести въ заблужденіе племянника и Марусю, которые внимательно за нимъ слѣдили. Онъ, очевидно, провелъ ночь безъ сна, суетился какъ-то особенно, выказывалъ нетерпѣніе и былъ разсѣяннѣе обыкновеннаго. Сережа и Маруся, каждый съ своей стороны, снова было коснулись вопроса поѣздки; старикъ окончательно заупрямился. Онъ послушалъ ихъ только въ томъ, что теплѣе закутался; въ остальномъ не было никакой возможности уговорить его.

О чемъ онъ думалъ во всю дорогу, рѣшить трудно; во всякомъ случаѣ мысли его не были веселы. Да и все вокругъ не располагало къ веселью. День былъ холодный и пасмурный; тучи стояли неподвижно и низменно; ихъ цвѣтъ предвѣщалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ закружатся въ воздухѣ первые хлопья снѣга. По городскимъ улицамъ все еще было сносно: ходили и ѣхали люди; но тамъ, въ глухихъ мѣстахъ, гдѣ нибудь на концѣ Петровскаго острова, по берегу залива... Боже мой, какъ тамъ теперь должно было быть уныло и безотрадно на Петербургской сторонѣ!...

Алексѣя Максимыча опередило нѣсколько экипажей съ разряженными дамами и кавалерами въ мундирахъ; въ открытой коляскѣ, но плотно закутанный въ шубу, проѣхалъ въ треугольной шляпѣ съ бѣлымъ плюмажемъ господинъ, поразившій Зиновьева сходствомъ съ птицей пеликаномъ: такой же длинный и плоскій, прижатый къ подбородку носъ и крошечные глазки, близко поставленные одинъ къ другому... Все это, очевидно, устремлялось туда же, куда направлялся самъ Зиновьевъ.

Подъѣхавъ къ воротамъ громаднаго зданія *центральнаго образцоваго пріюта*, на одномъ концѣ котораго высоко подымалась крыша церкви, Алексѣй Максимычъ долженъ былъ отпу-

стить извозчика: до такой степени дворъ былъ заставленъ экипажами; одни подъѣзжали, другіе устанавливались кричавшими жандармами.

Прихожая, не смотря на ея вышину и размѣры оконъ, показалась Зиновьеву нѣсколько темною. Правда, день былъ такой, да и стѣны вокругъ казались совсѣмъ черными отъ повѣшенныхъ шубъ и шинелей. Много также шубъ и всякой верхней одежды виднѣлось на рукахъ многочисленныхъ лакеевъ, бо́льшею частью ливрейныхъ; многіе изъ нихъ укладывали свою ношу на скамьи и усаживались на ней съ большимъ комфортомъ; нѣкоторые успѣли уже задремать и клевали носомъ; одинъ у печки, такъ тотъ совсѣмъ уже, какъ говорится, *закатился* и пускалъ такой храпъ, что надо было удивляться, какъ никто не будилъ его. Между лакеями виднѣлись городовые, которые также, казалось, сильно скучали.

Изъ прихожей вела во второй этажъ широкая парадная лѣстница; перилы ея, еще не конченныя, покрывались коврами, отчасти присланными графомъ, отчасти взятыми на прокатъ.

Служба въ церкви давно уже началась, но Алексѣй Максимычъ не старался даже войти; густая толпа заслоняла дверь; проходя мимо, можно только было видѣть надъ головами блескъ свѣчей, тускло горѣвшихъ въ воздухѣ, насыщенномъ ладономъ и человѣческимъ дыханіемъ, къ которому примѣшивался запахъ духовъ; изъ дверей несло жаромъ какъ изъ жерла раскаленной печки; вмѣстѣ съ нимъ приносилось пѣніе, то умолкавшее и какъ бы заглушаемое густотою атмосферы, то снова поражавшее слухъ и какъ бы подымавшееся въ высоту, когда подхватывали дисканты. Въ столовой, передъ церковью, происходила также порядочная суета; цѣлая половина ея заставлена была сдвинутыми накрытыми столами, вокругъ которыхъ суетились оффиціанты. Къ нимъ поминутно выскакивали откуда-то и одновременно два маленькіе чиновника, совершенно похожіе одинъ на другаго, точно ихъ выбили по одному штампу; у каждаго на лѣвомъ отворотѣ вицмундира красовался бантъ изъ лентъ одинаковаго цвѣта; они хлопотливо

осматривались во всѣ стороны, отдавали какія-то приказанія, наскоро шептались и снова разбѣгались въ разныя стороны, какъ дробинки, внезапно брошенныя на каменный полъ.

Алексѣй Максимычъ прошелъ мимо и сталъ бродить по всѣмъ комнатамъ, двери которыхъ были теперь настежъ отворены. Лицо его было скорѣе задумчиво, чѣмъ встревожено печалью. Разъ только оно какъ будто нѣсколько омрачилось, когда глаза его случайно встрѣтили портретъ графа, висѣвшій въ роскошной золотой рамкѣ на стѣнѣ въ залѣ совѣта. Онъ прочелъ на фонѣ портрета, внизу, имя Лисичкина; имя это напомнило ему то, о чемъ онъ прежде старался не думать.

Онъ собирался уже перейти въ сосѣднюю комнату, когда неожиданно увидѣлъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя господина небольшаго роста, нѣсколько кривобокаго, нѣсколько прихрамывающаго, который любознательно къ нему присматривался, нетерпѣливо моргалъ маленькими, живыми глазками, заострялъ носикъ и вообще показывалъ непреодолимое желаніе вступить въ разговоръ, но не рѣшался начать безъ яснаго поощренія. Онъ былъ во фракѣ и единственнымъ его украшеніемъ былъ кисейный галстукъ сомнительной бѣлизны. Наконецъ, онъ уже не могъ совладать съ собою и, забрасывая впередъ лѣвую ногу, ковыляя, подошелъ къ Зиновьеву.

— Извините меня, м. г., — заговорилъ онъ въ ту самую минуту, какъ Алексѣй Максимычъ готовился пройти дальше, — если не ошибаюсь... я, кажется, имѣю честь говорить съ архитекторомъ г. Зиновьевымъ...

— Точно такъ...

— Вы, вѣроятно, меня не помните, но я уже имѣлъ честь встрѣчать васъ... Разъ даже мы сидѣли рядомъ на лекціи о спиритизмѣ въ Соляномъ городкѣ... Моя фамилія Бериксонъ... Андрей Андреевичъ... Хотя окончаніе на *сонъ*, но я не еврей, смѣю увѣрить! Дѣдъ изъ Курляндіи, отецъ петербуржецъ, мать москвичка!... Очень, очень радъ встрѣтить васъ, м. г.; вдвойнѣ радъ, чтобы высказать вамъ... Знаю, м. г., знаю, я все знаю!

Знаю, какъ съ вами здѣсь поступили... и вполнѣ выражаю вамъ свое сочувствіе... Позвольте пожать вашу руку... Всѣ они, я вамъ скажу...

Тутъ Бериксонъ схватилъ обѣ руки Зиновьева и, пригнувшись къ его уху, шепнулъ какое-то слово.

— Помилуйте, я совсѣмъ не такъ о нихъ думаю, — промолвилъ, краснѣя, Зиновьевъ.

— Думайте, какъ хотите, но это такъ!... Повѣрьте, я ихъ всѣхъ знаю! Этотъ Воскресенскій, это, помилуйте-скажите, просто...

Онъ снова быстро пригнулся къ уху собесѣдника и снова ввернулъ какое-то крѣпкое слово.

— Намъ надо бы, однакожъ, направиться ближе къ церкви, иначе мы опоздаемъ къ выходу изъ нея, — замѣтилъ Алексѣй Максимычъ, которому начинали казаться странными выходки незнакомца.

— Пойдемте, пойдемте! — съ живостью воскликнулъ Бериксонъ, захватывая въ поспѣшности одною ногою больше пространства, чѣмъ слѣдовало,—я разскажу вамъ, между тѣмъ, что сдѣлалъ со мною этотъ самый Воскресенскій. Было, знаете, такое предпріятіе: нашли въ одномъ мѣстѣ руду; составилась компанія; меня послали къ нему, какъ довѣрителя; подалъ ему докладную записку. Прекрасно. Проходитъ мѣсяцъ, — нѣтъ отвѣта, другой мѣсяцъ, третій, — помилуйте-скажите, — все ничего! Что-жъ бы вы думали онъ сдѣлалъ? Воспользовался нашимъ проектомъ! Кое-что въ немъ поправилъ, да и подай отъ себя въ тѣхъ видахъ, изволите ли видѣть, чтобы казна этимъ дѣломъ воспользовалась... Казна, понимаете, ему наплевать; шутка вся въ томъ, чтобы выказать усердіе, — да-съ! Ему, конечно, за это сюда (тутъ онъ далъ щелчокъ по отвороту фрака), а намъ шишъ! Шишъ, м. г., и ничего больше!... Но вѣдь, кажется, служба кончилась и начали выходить изъ церкви...

Прежде всего выскочили изъ толпы два маленькіе чиновника, которыхъ Бериксонъ тотчасъ же указалъ Зиновьеву, назвавъ ихъ *попугайчиками;* онъ объяснилъ, что хлопотливость ихъ особенно

возбуждалась въ этотъ день опаснымъ соперничествомъ одного красиваго камеръ-юнкера и чиновника по особымъ порученіямъ, нѣкоего Стрекозина, которымъ тоже хотѣлось выказать свое усердіе въ качествѣ распорядителей. За *попугайчиками* потянулись ряды дѣтей—питомцевъ *центральнаго образцоваго пріюта;* они, по всему было видно, не успѣли еще вкусить отъ благодѣяній новаго учрежденія; лица ихъ были тощи и зеленовато-блѣднаго отлива; обстриженныя гладко подъ гребенку, въ длинныхъ сѣрыхъ кафтанчикахъ, они казались точно наскоро набранными изъ больницъ; въ суетѣ, предшествовавшей торжеству настоящаго дня, многимъ изъ нихъ вѣроятно перемѣшали обувь, потому что нѣкоторыя изъ маленькихъ, очевидно, путались въ огромныхъ сапогахъ, тогда какъ другія пожимали ноги отъ боли въ узкой обуви. Ихъ наскоро устанавливали по обѣимъ сторонамъ выхода; больше другихъ суетились *попугайчики* и регентъ, громадный человѣкъ съ пучкомъ черныхъ волосъ на головѣ и такимъ лицомъ, какъ будто онъ только-что кого-то зарѣзалъ.

Изъ дверей церкви вышелъ дьяконъ со святой водой и священникъ; дальше повалили пѣвчіе въ казачьихъ кунтушахъ съ перекинутыми за спину рукавами. За ними вышло нѣсколько лицъ изъ духовенства и выставились шитые мундиры, фраки и разноцвѣтныя дамскія шляпки; впередъ выдвинулся красивый камеръ-юнкеръ также съ бантомъ на груди; къ нему мгновенно подскочилъ Стрекозинъ; оба поспѣшно начали упрашивать всѣхъ выходившихъ становиться крыльями по сторонамъ выхода.

Наконецъ, дальше показался графъ; его привѣтливая улыбка на устахъ, въ глазахъ, во всѣхъ чертахъ какъ бы свѣтилась надъ головами, которыя наклонялись по мѣрѣ его приближенія.

Графъ велъ подъ руку княгиню Зинзивееву, предсѣдательницу комиссіи *для предварительныхъ мѣръ противъ распространенія золотухи и родимчика между дѣтьми сельскаго населенія;* за нимъ шла графиня подъ руку съ дряхлымъ старикомъ, который едва передвигалъ ноги, изнемогая подъ бременемъ орденскихъ знаковъ. Рядомъ съ графиней,—и нѣсколько приги-

баясь къ ней, — шелъ Воскресенскій, державшій въ рукѣ ея шаль. „Взгляните, у него опять новая звѣзда... Помилуйте-скажите, за что же?“ —шепнулъ Бериксонъ на ухо Зиновьеву. Иванъ Иванычъ на ходу любезно разговаривалъ съ баронессой Букъ, предсѣдательницей *общества для снабженія дешевыми игрушками дѣтей болгарскаго населенія* и т. д.; тутъ же подлѣ выступали величественная княгиня Чирикова и рядомъ съ нею томная благотворительница г-жа Бальзаминова. Дальше тѣснились другія пары, между которыми, играя локтями, старалась выскочить впередъ госпожа Шилохвостова; неподалеку выставилась блѣдная тоскующая голова молодаго графа, недавно привезеннаго тѣткой изъ Парижа; онъ былъ въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ.

— Ужъ испекли, готовъ! Съ которыхъ это поръ?—шепнулъ опять кривобокій Бериксонъ. — Впрочемъ, прибавилъ онъ какъ бы мимоходомъ, — истинные, подобные ему, таланты не нуждаются въ покровительствѣ!...

Еще дальше, какъ волны, надвигались члены совѣта, попечители, наставники, купцы, среди которыхъ, на аршинъ выше другихъ головою, выставлялся Блиновъ, воспитанникъ Воскресенскаго по части умѣнья возбуждать великодушіе жертвователей. У всѣхъ рѣшительно лица и шеи были красны и влажны, какъ у выходящихъ изъ бани; всѣмъ пріятно было освѣжиться; удовольствіе это выражалось пріятными улыбками, поклонами, пожатіемъ рукъ, привѣтствіями.

Выйдя на средину столовой, графъ остановился. Въ ту же секунду Иванъ Иванычъ отдѣлился отъ графини и сдѣлалъ головою выразительный знакъ; регентъ сдвинулъ брови, взмахнулъ руками, какъ бы хотѣлъ взлетѣть на воздухъ, и сотня тоненькихъ голосовъ пропѣла кантату, нарочно сочиненную для этого торжественнаго случая.

— *Très bien!* — проговорила княгиня Зинзивеева.

— *Ils sont pourtant bien laids,* — замѣтила графиня.

— Прекрасно, мои милые... прекрасно! — поспѣшилъ заградить графъ, кивая головою и дѣтямъ, и регенту.

Послѣ этого шествіе опять тронулось въ обходъ по всѣмъ заламъ учрежденія.

Алексѣй Максимычъ отошелъ въ сторону, но случилось такъ, что графъ его замѣтилъ и прямо подошелъ къ нему.

— Очень радъ васъ видѣть, г. Зиновьевъ, — сказалъ онъ, останавливаясь, между тѣмъ какъ слѣдовавшія за нимъ лица обступали его вокругъ. Вотъ,—продолжалъ онъ, обводя ласковыми глазами присутствующихъ,—вотъ кому мы обязаны прекрасной церковью, которою сейчасъ восхищались; онъ ее выстроилъ, онъ же такъ прекрасно ее и украсилъ! Еще разъ благодарю васъ, благодарю и поздравляю! — прибавилъ онъ, намекая на знакъ отличія, къ которому представилъ Зиновьева.

Шествіе пошло дальше. Зиновьевъ увидѣлъ въ толпѣ бѣлокурую голову Лисичкина, но замѣтилъ также, что онъ тщательно старался избѣгать его взгляда; какъ только глаза ихъ случайно встрѣчались, Лисичкинъ изгибался, какъ вьюнъ, и пропадалъ за сосѣдними спинами. Предъ Алексѣемъ Максимычемъ разъ-другой промелькнула также волосатая голова Бабкова и сверкнули его крупные зубы; но и тотъ также старательно избѣгалъ встрѣчи. Отъ вниманія старика не ускользнуло, однакожъ, что многіе останавливали *лукаваго блондина* и *хитраго мужика* и начинали съ чѣмъ-то поздравлять ихъ; одинъ изъ поздравляющихъ подсунулъ даже пальцы подъ орденъ Лисичкина и нѣсколько разъ приподнялъ его на ладони, какъ бы желая узнать, сколько было въ немъ вѣсу.

Но заднія пары надвигали на переднія и всѣ снова двигались за графомъ по дорогѣ, расчищаемой передъ нимъ двумя маленькими близнецами и старавшимися сбить ихъ съ выгодной позиціи красивымъ камеръ-юнкеромъ и Стрекозинымъ, которымъ также хотѣлось попасть въ лучъ зрѣнія графа. Онъ уже исчезъ вдали, но въ заднихъ рядахъ все еще напирали; шествію, казалось, конца не было; только съ того мѣста, гдѣ стоялъ Зиновьевъ, показывались теперь уже однѣ спины, шитые воротники и затылки;

изрѣдка развѣ выставлялась изъ-за бакенбардъ профиль головы, любезно наклонявшаяся къ сосѣду.

Время отъ времени изъ двигавшейся впередъ толпы отдѣлялось нѣсколько человѣкъ и составлялись у оконъ отдѣльныя группы. Одна изъ такихъ группъ образовалась невдалекѣ отъ Алексѣя Максимыча; въ ней,—какъ объяснилъ ему всевѣдущій Бериксонъ,—больше всѣхъ заслуживалъ вниманія Блиновъ. Изъ того, что говорилъ теперь Блиновъ, слѣдовало заключить, что покровитель его, Иванъ Иванычъ, на этотъ разъ обманулъ его ожиданія.

— Помилуйте, — твердилъ Блиновъ, напирая то на одного изъ своихъ слушателей, то на другаго и нисколько не скрывая своего негодованія, только понижая голосъ изъ предосторожности, — помилуйте, я ли не хлопоталъ для этого заведенія? Обѣщано было и то, и сё,—что-жъ вышло? Всѣ получили,—я ничего!... Главное, что обидно? Труды и время потеряны! То, что здѣсь было мнѣ обѣщано, я могъ получить изъ другаго вѣдомства...

Онъ умолкъ, услышавъ шумъ возвращавшагося шествія.

Столы, между тѣмъ, были уже разставлены по всей столовой; на одномъ изъ нихъ, предназначавшемся для именитыхъ лицъ и дамъ, передъ каждымъ кувертомъ красовался пышный букетъ цвѣтовъ. Два купца,—изъ коихъ одинъ извѣстный уже Жигулевъ,—которыхъ Иванъ Иванычъ уговорилъ устроить завтракъ, съ видимымъ удовольствіемъ глядѣли на приготовленія и поглаживали бороды.

Пробѣжали опять *попугайчики*, шепнули что-то другъ другу и разбѣжались; одинъ устремился къ главному оффиціанту, другой къ Ивану Иванычу предупредить, что все готово.

Но теперь уже торжественное шествіе двигалось какъ-то вяло; на всѣхъ лицахъ проступало утомленіе; многія выражали смертельную скуку. Хотя графъ все еще продолжалъ улыбаться, но видно было, что и онъ также уходился.

Красивый камеръ-юнкеръ, въ перебивку съ однимъ изъ

*попугайчиковъ*, шепнулъ что-то Воскресенскому, тотъ наклонился къ графу, графъ кивнулъ головою и повелъ свою даму къ столу, украшенному букетами. Послѣдовалъ новый знакъ со стороны Ивана Иваныча. Регентъ распростеръ руки и мальчики, выстроенные рядами, хоромъ подхватили предъобѣденную молитву. Съ окончаніемъ пѣнія, мѣсто регента заступили два гувернера; одинъ сталъ во главѣ мальчиковъ, другой въ концѣ послѣдняго ряда и оба повели ихъ куда-то; но дѣти безпрестанно сбивались и никакъ не могли попасть въ ногу, вѣроятно, еще по непривычкѣ ходить по паркету, а, можетъ, и потому также, что мысли ихъ путались при видѣ чудныхъ лососинъ, обложенныхъ раками, которыхъ оффиціанты поддерживали въ отдаленіи на серебряныхъ блюдахъ.

Священникъ, между тѣмъ, успѣлъ благословить трапезу. Графъ опустился въ кресло, и все вокругъ зашумѣло, усаживаясь по мѣстамъ.

— Сядемте-ка рядомъ, — шепнулъ Бериксонъ Зиновьеву.

— Я завтракать не стану...

— Я также... только, знаете, теперь какъ-то неловко уйти... Сядемте для проформы...

Алексѣй Максимычъ согласился, и они усѣлись на дальнемъ концѣ стола.

Въ первое время все какъ бы успокоилось. Внезапно, со стороны почетнаго стола, все разомъ зашумѣло и всѣ встали. Послышался голосъ графа. Невозможно было издали разобрать его словъ; но въ тотъ же мигъ мужскіе и женскіе голоса слились въ одинъ звукъ; со всѣхъ сторонъ поднялись руки и замахали платки; за первымъ залпомъ послѣдовалъ второй и третій и снова все на минуту успокоилось. Нежданно поднялся Иванъ Иванычъ. Бокалъ дрожалъ въ его рукѣ; большія мясистыя уши его были блѣдны, какъ у мертвеца; бѣлые зрачки его безпокойно задвигались по направленію къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ графъ. Наступило молчаніе.

— Милостивыя государыни, милостивые государи! — прого-

ворилъ онъ глухимъ взволнованнымъ голосомъ,—всѣхъ насъ соединило здѣсь одно чувство,—чувство благодарности, чувство сердечной признательности къ тому, кто поспѣшилъ отвѣтить на душевныя желанія наши, прибавивъ къ существующимъ уже благотворительнымъ учрежденіямъ любезнаго нашего отечества новое убѣжище для неимущихъ и страждущихъ... Новое учрежденіе есть ничто иное, какъ выраженіе высокой души его учредителя... Онъ положилъ въ него свою мысль, свой трудъ, свое сердце!... Здоровье его сіятельства графа! Ура!.. уррра!!. а!.. а!..

Стѣны *центральнаго образцоваго пріюта* дрогнули отъ напора криковъ. Со всѣхъ концовъ снова замахали платками и поднялись руки съ бокалами. Въ одно мгновеніе графъ былъ окруженъ толпою. Изъ-подъ протянутыхъ къ нему рукъ безпрестанно выскакивали головы, часто стукавшіяся другъ о дружку. Купецъ Жигулевъ нечаянно такъ сильно двинулъ подбородкомъ въ глазъ одному изъ попугайчиковъ, что тотъ вскрикнулъ и чуть не выронилъ бокала на сапогъ графа.

Алексѣй Максимычъ не видалъ этого, но ему потомъ говорили, что въ эту торжественную минуту графъ прослезился; онъ дѣйствительно казался растроганнымъ, когда благодарилъ за сдѣланную ему честь, и затѣмъ предложилъ тостъ за здоровье Ивана Иваныча, назвавъ его своимъ усерднымъ помощникомъ.

Тутъ уже пошли одинъ за другимъ разные тосты. Предлагали здоровье предсѣдательницъ и предсѣдателей, членовъ совѣта, великодушныхъ жертвователей, попечителей, наставниковъ и подъ конецъ всѣхъ сочувствующихъ дѣлу благотворительности. Графъ всякій разъ вставалъ и, слегка приподнявъ бокалъ, посылалъ привѣтливый знакъ рукою.

— Графъ, я вамъ скажу, самъ по себѣ добрякъ,—шепталъ, между тѣмъ, Бериксонъ своему сосѣду, — одно жаль: далъ себя оплести Воскресенскому! И хороша, знаете, говядина, а сядетъ на нее скверная муха — все испортитъ!... Тутъ уже не муха, а цѣлый шмель! Я, вѣдь, его насквозь знаю!... Да и всѣ остальные мнѣ хорошо извѣстны... Вотъ, напримѣръ, эту толстуху,

которая тамъ пыжется (онъ указалъ глазами на Шилохвостову), также знаю... Когда начиналась война, она вездѣ съ кружкой ко всѣмъ приставала... Разъ даже въ Лѣтнемъ саду видѣлъ ее въ раскрашенной бесѣдкѣ,—знаете, гдѣ разыгрывали томболу для какихъ-то сиротъ... Сама, знаете, вертитъ одной рукой колесомъ и всѣмъ умильно улыбается, а другая-то рука,—смотрю: шлепъ за спиною какую-то дѣвочку изъ самыхъ этихъ дежурныхъ сиротъ... Также, знаете, благотворительница!...

Стукъ ножами и вилками о тарелки и стаканы неожиданно прервалъ Бериксона. За однимъ изъ столовъ поднялся лысый господинъ съ распушенными рыжеватыми бакенами; давъ тишинѣ установиться, онъ обратился лицомъ къ графу и началъ говорить рѣчь.

— Все вретъ, не слушайте! — принялся снова нашептывать Бериксонъ.—Я его также хорошо знаю; сегодня говоритъ о милосердіи, вчера распространялся о пользѣ общественныхъ клозетовъ... Говоритъ обо всемъ съ одинаковымъ чувствомъ, и рѣчь всегда одна и та же: только слова переставляетъ... Также, знаете, дѣятель и благотворитель! Кого онъ облаготворилъ — неизвѣстно, но себя облаготворилъ наилучшимъ манеромъ; смотрите-ка, какъ украсился! Ну, и чинъ также... и другимъ также кое-чѣмъ округлилъ себя... Съ послѣднимъ чиномъ случилась даже исторія: получилъ онъ его за балъ.

— Какъ за балъ?— невольно вырвалось у Зиновьева.

— Да, за костюмированный балъ, который устроилъ онъ съ француженками для общества *полярной звѣзды;* говорятъ даже, одну изъ этихъ француженокъ возили почти раздѣтую въ какой-то колесницѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, изволите ли видѣть: Флору, богиню цвѣтовъ, изображала... Представленъ былъ къ слѣдующему чину; въ тотъ годъ это была уже третья награда; первую получилъ изъ тюремнаго вѣдомства, вторую за особенныя заслуги, какъ членъ совѣта попечительства о слѣпыхъ вдовахъ, третью черезъ посредство *полярной звѣзды;* многіе изъ нихъ такъ дѣлаютъ; у каждаго по нѣскольку такихъ лазеекъ: здѣсь не

выгорѣло, тутъ цапнетъ! Я ихъ всѣхъ знаю, этихъ благотворителей, или, вѣрнѣе, акробатовъ благотворительности... И между ними какъ какой нибудь Чинизелли...

— Чинизелли?—спросилъ удивленный Зиновьевъ.

— А Воскресенскій-то! Развѣ онъ не директоръ благотворительнаго цирка?... А тотъ-то, смотрите, все еще не кончилъ своей рѣчи; все тянетъ свою канитель, не замѣчая, что всѣхъ уже начинаетъ тошнить отъ скуки...

Бериксонъ былъ правъ. Всюду, куда ни обращался взоръ, головы принимали наклоненное положеніе; на лицахъ, смотрѣвшихъ прямо, изображались тоска и унынiе; нѣкоторые изъ присутствующихъ, не церемонясь, разговаривали. Другiе начинали выказывать явные знаки нетерпѣнiя. Въ залѣ становилось нестерпимо душно: къ тому же, сумерки замѣтно надвигались. Голосъ оратора едва ужъ слышался; наконецъ, онъ замолкъ; кое-гдѣ слабо захлопали въ ладоши; но звуки эти мгновенно пропали среди внезапнаго гама голосовъ, шарканья ногъ и шума передвигаемыхъ стульевъ. Все вдругъ задвигалось и заколыхалось.

Случайно ли, или умышленно, но въ общей суетѣ Алексѣй Максимычъ потерялъ всеевѣдущаго Бериксона. Онъ думалъ о томъ только, какъ бы скорѣе выбраться къ выходной двери, заблаговременно поспѣть въ прихожую и отыскать свое пальто. Въ прихожей такъ уже стемнѣло, что едва можно было различать лица. Зиновьевъ разсмотрѣлъ Блинова потому только, что тотъ стоялъ неподалеку отъ него и у самаго окна. Черты Блинова были, попрежнему, напряжены и выражали разстройство; надѣвая медвѣжью шубу, онъ, въ то же время, горячо о чемъ-то толковалъ двумъ господамъ, стоявшимъ передъ нимъ въ шляпахъ. Зиновьевъ, проходя мимо, разслышалъ только слѣдующiя слова:

— Надулъ, надулъ!... Я бы пальцемъ о палецъ не ударилъ, кабы зналъ прежде... Помилуйте, потерялъ здѣсь то, что могъ получить изъ другаго вѣдомства...

Зиновьевъ очень обрадовался, когда успѣлъ, наконецъ, выбраться на свѣжiй воздухъ.

Предположенія племянника и Маруси нисколько не оправдались: дѣдушка вернулся домой дѣйствительно не совсѣмъ веселымъ, но затѣмъ не послѣдовало ничего особенно неблагопріятнаго...

---

## XVI.

Два года спустя послѣ освященія церкви и открытія *центральнаго образцоваго пріюта*, подъ осень, въ квартирѣ Зиновьева было необыкновенно весело. Не считая, что это былъ день его рожденія, въ этотъ день праздновалось также возвращеніе Сережи изъ Италіи, гдѣ провелъ онъ годъ послѣ полученія въ академіи, за свою программу, первой золотой медали. Не мало прибавляло къ радости еще то обстоятельство, что Сережа возвращался не съ пустыми руками. Въ Италіи онъ познакомился съ русскимъ богачомъ и по его заказу исполнилъ ему проектъ дома; проектъ понравился, и молодому архитектору поручено было его исполненіе, какъ только онъ вернется въ Петербургъ.

Сережу также ожидала дома пріятная новость: академія купила у дѣдушки весь запасъ его рисунковъ, обязавшись ежегодно выплачивать ему извѣстную сумму.

Но радости и горе никогда по свѣту не ходятъ одиноко. Если ужъ то или другое повернулось лицомъ, такъ ужъ валитъ безо всякаго удержу.

Мѣсяцъ спустя, новая радость посѣтила домъ Алексѣя Максимыча: праздновалась свадьба давно, можно сказать, съ самаго дѣтства полюбившихъ другъ друга Маруси и Сережи. Посторонних никого почти не было, но отъ этого не было скучнѣе. Алексѣй Максимычъ такъ расходился подъ вечеръ, что не удовольствовался танцовать съ молодой, но протанцовалъ, выдѣлы-

вая по-старинному маленькіе вычурные па и балансе, двѣ кадрили, — одну съ Катей, другую съ Соней.

Если въ теченіе этихъ послѣднихъ дней ни разу не говорилось о непріятностяхъ, испытанныхъ когда-то дѣдушкой при постройкѣ церкви *центральнаго образцоваго пріюта,* на этомъ вечерѣ подавно никто объ этомъ не вспомнилъ. Въ случаѣ, еслибъ кто нибудь и вздумалъ коснуться этого предмета, онъ встрѣтилъ бы со стороны дѣдушки полнѣйшее равнодушіе. Онъ и прежде, въ трудные дни, не помнилъ зла, — до такихъ ли чувствъ было ему теперь, когда сердце переполнялось столькими радостями?

Ему рѣдко даже приходили на умъ лица, съ которыми имѣлъ онъ дѣло при постройкѣ церкви. Ни съ кѣмъ изъ нихъ онъ никогда не встрѣчался. Живя постоянно въ семьѣ и окруженный художественными интересами, онъ, безъ всякаго сомнѣнія, совсѣмъ бы забылъ о нихъ, еслибъ, проходя однажды по Невскому проспекту мимо Милютиныхъ лавокъ, не встрѣтилъ случайно кривобокаго Бериксона.

— Помилуйте-скажите,—воскликнулъ Бериксонъ, обрадовавшись ему, какъ будто они не только вмѣстѣ дѣтей крестили, но родились отъ одной матери, — куда вы тогда пропали?

— Когда? — спросилъ удивленный Зиновьевъ.

— Да тогда, послѣ этого обѣда!—съ такой живостью подхватилъ Бериксонъ, что можно было думать, будто обѣдъ, о которомъ онъ говорилъ, происходилъ наканунѣ. — Очень радъ встрѣтиться... Сейчасъ узналъ новость... Но, можетъ быть, вы уже слышали?...

— Нѣтъ...

— Тѣмъ лучше! Вообразите: Воскресенскій получилъ новую награду! Представленъ былъ къ ней обществомъ *Распространенія нравственныхъ правилъ въ низменныхъ классахъ петербургскаго населенія и преимущественно между ломовыми извощиками...* Что вы на это скажете?

Ни мало не смущаясь тѣмъ, что собесѣдникъ ничего не возразилъ, Бериксонъ продолжалъ съ возраставшимъ воодушевленіемъ:

— А графъ-то, бѣдный графъ! Представьте: лишился сына! Въ какомъ-то ресторанѣ, въ четыре часа ночи, — хлопъ — и не стало! Памятникъ порученъ архитектору Бабкову... Разумѣется, Воскресенскій подвернулъ его графу. Онъ теперь выводитъ Бабкова; у нихъ общее дѣло: строятъ новый пріютъ для общества *Призрѣнія дѣтей штукатуровъ и кровельщиковъ, лишившихся жизни во время производства работъ*... Тутъ, понимаете, опять сюда попадетъ! (Бериксонъ выразительно щелкнулъ себя по лѣвому отвороту пальто). Ну, а съ живописцемъ, которому тогда протежировалъ, разошелся. Живописцу хотѣлось, — вынь да положь, — сдѣлаться главнымъ преподавателемъ рисованія въ *образцовомъ пріютѣ;* разумѣется, съ тѣмъ опять, чтобы что нибудь сюда зацѣпить (тутъ Бериксонъ снова пустилъ выразительный щелчокъ въ лѣвый отворотъ пальто). Воскресенскій сначала было опредѣлилъ его, но тутъ же оказалось, что живописецъ совсѣмъ рисовать не умѣетъ! Ну, ему и отказали; онъ принялъ это въ обидную для себя сторону, разсердился и теперь ищетъ другую лазейку... Съ этой толстой... какъ бишь ее?... да, Шилохвостовой... также случилась исторія; я не успѣлъ еще точно разслѣдовать, въ чемъ дѣло, въ чемъ собственно ее уличили, — знаю только, что уличили!... Но она дама юркая, вывернется! Какъ нибудь свои же выручатъ; общій интересъ, знаете! „Благотвори сколько хочешь, забирай сколько можешь, но не доводи до скандала“, — вотъ и вся задача... И они правы, м. г., правы! Примѣръ передъ вами, живой примѣръ, — заговорилъ, воодушевляясь, Бериксонъ, — не имѣвъ возможности дѣйствовать по благотворительной части, я, м. г., какъ родился, такъ и остался; мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ, — удостойте меня взглядомъ: у меня ничего нѣтъ; даже медалишки какой-нибудь, и той не имѣю! Будь я благотворитель, не то бы было! Благотворительность, скорбь о народѣ, общественная польза, забота о ближнемъ для иныхъ, доложу вамъ, тотъ же банкъ; клади въ него все, что имѣешь, — получишь самые крупные проценты!...

— Вы, кажется, слишкомъ ужъ строги,—произнесъ Алексѣй Максимычъ, съ тѣмъ, чтобы сказать что нибудь, — не всѣ же такъ... есть исключенія; по-моему, благотворительность...

— Вы какъ ее понимаете, осмѣлюсь спросить?

— Право, не знаю, какъ объяснить вамъ... Дѣлать добро просто...

— Просто!—не далъ опять договорить Бериксонъ.—Просто! Это значитъ по христіанскому: помогай такъ, чтобы правая твоя рука не знала, что совершаетъ лѣвая! Я противъ этого ничего не имѣю; да и кто-жъ противъ этого что нибудь скажетъ? Я говорю о той благотворительности, которая мечется въ глаза и оскорбляетъ въ насъ и нравственное, и религіозное чувство! Помилуйте-скажите, какая тутъ благотворительность, когда одни *жертвуютъ* деньги съ тѣмъ, чтобы получить что нибудь, а другіе на эти деньги *благотворятъ съ тѣмъ, чтобы также получить*... но уже не что нибудь, а гораздо больше первыхъ: пролѣзть въ люди, сдѣлать себѣ карьеру, нахватать всякихъ земныхъ благъ, и все это, сударь мой, на счетъ сиротъ, вдовъ и калѣкъ всякаго рода, насчетъ того, изволите ли видѣть, что ихъ очень ужъ глубоко затрогиваетъ общественная польза и народныя скорби? Ну, что же это, помилуйте-скажите, если не фиглярство, не шарлатанство, — хуже этого: не пройдошество и не надувательство? И есть же, помилуйте-скажите, люди, которые имъ вѣрятъ! И все сходитъ имъ съ рукъ,—все рѣшительно! Въ древней Греціи, говорятъ, было такое племя: хіосцами называли; имъ по указу какихъ-то эфоровъ дозволялось пакостить всенародно, такъ же вотъ, какъ и этимъ благотворителямъ... Они пакостятъ, всѣмъ тошно, а имъ ничего, только процвѣтаютъ!...

Но на этомъ мѣстѣ пути Алексѣю Максимычу надо было поворотить влѣво къ Казанскому собору; онъ распрощался съ Бериксономъ и былъ радъ-радешенекъ, когда доплелся домой и очутился въ семьѣ своей.

---

# СОНЪ КАРЕЛИНА.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА «ПЕТЕРБУРГЪ ПРОШЛАГО ВРЕМЕНИ»).

1887 г.

# СОНЪ КАРЕЛИНА.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА «ПЕТЕРБУРГЪ ПРОШЛАГО ВРЕМЕНИ»).

## I.

.... Ни наканунѣ, ни даже за нѣсколько дней передъ тѣмъ, я вовсе не думалъ о Петербургѣ. Между тѣмъ, едва начинаю припоминать вчерашній сонъ, всѣ мои представленія ближайшимъ образомъ связываются съ этимъ городомъ.

Безъ всякаго предварительнаго перехода я увидѣлъ себя на Сенатской площади и первое мое впечатлѣніе соединяется съ ощущеніемъ нестерпимаго холода. Я стоялъ на самомъ углу сенатскаго зданія, подлѣ высокаго гранитнаго фундамента, который закругляется въ этомъ мѣстѣ къ Англійской набережной. Тутъ всегда бываетъ вѣтрено, даже въ тихую погоду; но теперь острый вѣтеръ, налетавшій порывами отъ Исаакія къ Невѣ, захватывалъ духъ и невольно заставлялъ ежиться. Лицо щемило отъ мороза.

Низко надвинувъ на глаза мѣховую шапку, стараясь какъ можно глубже уйти въ приподнятый воротникъ шубы, оттаявшій тамъ, гдѣ проходило дыханіе, — я смотрѣлъ на все окружающее съ любопытствомъ, къ которому неотвязчиво примѣшивалось грустное чувство.

По плитамъ тротуара перебѣгали, скользя и пересыпаясь, острыя струи сухаго снѣга; набиваясь въ углубленныя части сенатскаго зданія и закручиваясь тамъ воронкой, снѣгъ стремился дальше по вывѣтренной мостовой съ голыми сѣрыми булыжниками, казавшимися мнѣ холоднѣе самаго мороза. Все вокругъ было тусклаго, сѣроватаго цвѣта; снѣгъ отвердѣлъ, какъ алебастръ, хрустѣлъ и визжалъ отъ прикосновенія. Никто мимо не проходилъ и не ѣхалъ. Я заключилъ, что было еще рано. Въ такіе зимніе дни никогда, впрочемъ, не свѣтаетъ раньше восьмаго часа утра.

Передо мной, въ нѣсколькихъ шагахъ, тянулась гранитная набережная; надъ ней прямо возвышался рыбный садокъ съ большими стеклянными окнами, въ которыя должно было продувать какъ сквозь рѣшето; еще дальше разстилалась снѣжная равнина Невы, освѣщенная небомъ такого же унылаго, непривѣтливаго цвѣта, какъ и все остальное. На отдаленномъ берегу едва-едва обрисовывалось блѣдно-розовымъ длиннымъ пятномъ зданіе Перваго кадетскаго корпуса. Слѣва, но гораздо уже дальше, сквозь морозную мглу, обозначались арки Николаевскаго моста. За этими арками, за этимъ мостомъ рѣшительно уже ничего не было видно.

Меня мысленно почему-то перенесло вдругъ въ ту сторону, за этотъ мостъ, за эти арки, въ пространство снѣжныхъ равнинъ, по которымъ свободно ходила теперь метель. Тамъ, вдалекѣ, мутнымъ пятномъ промелькнулъ Кронштадтъ, затертый вокругъ льдомъ и засыпанный снѣгомъ; далѣе — опять снѣгъ, опять пустыня съ вихрями и суровыми порывами вѣтра; еще дальше — тамъ, въ какой-то безконечности, далеко-далеко — сверкнуло неожиданно открытое море, съ катящимися холодными волнами. Дальше море уже не прерывалось, но оно становилось все свѣтлѣй и свѣтлѣй; надъ моремъ въ небѣ мѣстами открывались голубые просвѣты. Еще дальше — солнечный лучъ скользилъ уже по волнамъ и все тамъ — и небо, и воды, и дальніе берега — дышало тепломъ и свѣтомъ.

Помню, радостное, — до слезъ радостное, — чувство овладѣло

вдругъ мною; какъ птица, хотѣлъ я взмахнуть крыльями и съ крикомъ броситься впередъ. Но солнечная, улыбающаяся даль мгновенно исчезла, и снова очутился я на Сенатской площади, снова съ болѣзненнымъ замираніемъ сердца увидѣлъ передъ собою сѣрый, вывѣтренный булыжникъ мостовой и тусклую, промерзлую набережную Невы, съ садкомъ надъ нею.

Вѣтеръ усиливался и нестерпимо начиналъ рѣзать лицо. Было такъ холодно, такъ нестерпимо было холодно, что, казалось, весь Ледовитый океанъ тронулся съ мѣста, надвинулся и остановился тамъ, гдѣ-то за Васильевскимъ островомъ. Я окончательно ушелъ въ воротникъ шубы. Минуту спустя, приподнявъ рѣсницы, увидѣлъ я справа памятникъ Петра. Всадникъ и подъ нимъ конь, такъ быстро взбѣжавшій на скалу, казалось, примерзли къ граниту; самая скала показалась мнѣ промерзшею насквозь до глубины своей сердцевины. Внутри памятника, въ пустомъ пространствѣ, прикрытомъ бронзовою оболочкой коня и всадника, долженъ былъ нарости густой слой игловатаго инея; снаружи, на выступающихъ частяхъ памятника, бронза отливала холоднымъ глянцемъ, отъ котораго ознобъ проходилъ по членамъ, и только на простертой рукѣ Петра, да еще на лаврахъ, покрывающихъ его голову, бѣлѣлъ снѣгъ, обозначавшійся бѣловатыми пятнами въ сѣромъ, обледенѣломъ воздухѣ.

---

## II.

Не помню, сколько времени простоялъ я на одномъ мѣстѣ (быть можетъ, всѣ эти впечатлѣнія потребовали только одной секунды), когда вниманіе мое неожиданно было обращено къ Исаакіевской площади. Тамъ что-то двигалось. Въ первую минуту я ничего не могъ различить изъ-за морозной мглы, въ которой тушевались и тонули всѣ предметы; спустя нѣсколько времени, увидѣлъ я толпу, медленно приближавшуюся въ мою сторону.

Сначала все шли мальчики, разставленные попарно, такимъ образомъ, что задняя пара постепенно была выше передней; головы ихъ, безъ шапокъ, туго были перевязаны платками; они, повидимому, ежились въ плохихъ шубенкахъ и неровно передвигали ногами, стараясь при каждомъ шагѣ шевелить пальцами ногъ въ глубинѣ неуклюжихъ сапоговъ. Далѣе, также попарно и также съ перевязанными головами, шли совершенно уже зрѣлые люди, иные — съ рѣзкими, угловатыми чертами, другіе — съ опухшими, багровыми и крайно нахмуренными лицами. За ними выступала группа священниковъ и дьяконовъ, бо́льшею частью плотныхъ, хорошо выкормленныхъ, закутанныхъ въ лисьи шубы съ приподнятыми воротниками; двое были въ камилавкахъ и одинъ изъ нихъ, согбенный старичокъ, шелъ дробнымъ шажкомъ, скрестивъ руки, глубоко запрятанныя въ лиловую муфту.

Помню, — очень хорошо помню, — мнѣ особенно стало жалко лицъ, слѣдовавшихъ за духовенствомъ: ихъ было шесть или семь; они шли одинъ за другимъ, какъ утки ходятъ на воду; хотя головы ихъ и были покрыты, но они, видимо, коченѣли отъ холода. На рукахъ каждаго красовалась подушка, туго набитая сѣномъ, обтянутая краснымъ трипомъ и обшитая позументомъ, точно жеваннымъ; иней, покрывавшій подушки, обивался только посерединѣ, тамъ, гдѣ вздрагивали крестъ или медаль, пришпиленные булавкой. Наконецъ, показался и катафалкъ, везомый четырьмя лошадьми, покрытыми чернымъ суконнымъ чехломъ съ картонными, неровно, — очевидно, наскоро, — вырѣзанными и ярко размалеванными гербами. Лошади шли, мотая головами и пуская изъ ноздрей густыя струи пара; колеса надавливали визжавшій снѣгъ; пучки обдерганныхъ страусовыхъ перьевъ на верхнихъ углахъ катафалка судорожно вздрагивали и вздрагивалъ также гробъ на своихъ посеребренныхъ ножкахъ, также наскоро обточенныхъ и также криво стоявшихъ на платформѣ. Гробъ былъ обитъ чернымъ сукномъ съ серебрянымъ галуномъ; на крышкѣ красовалась трехугольная шляпа съ золотымъ жгутомъ и бѣлымъ плюмажемъ, казавшимся снѣжною бахромой; между крышкой и

краемъ гроба выглядывала коленкоровая сплойка, вырѣзанная фестонами; вздрагивая, какъ рюшь на чепцѣ старухи, она сбрасывала иней, сыпавшійся на платформу.

Внутри гроба должно было быть теперь страшно холодно; покойникъ, провезенный отъ дома до Сенатской площади, долженъ былъ постепенно остывать и замерзать; на площади, гдѣ морозъ и вѣтеръ были еще сильнѣе, покойникъ, безъ всякаго сомнѣнія, успѣлъ уже совсѣмъ замерзнуть, такъ что въ гробу везли уже собственно мерзлаго генерала, одѣтаго въ парадный мундиръ съ лаковыми сапогами на окоченѣвшихъ ногахъ.

За гробомъ шло нѣсколько человѣкъ до такой степени уже закутанныхъ, что не было возможности разсмотрѣть ихъ лицъ; шествіе замыкалось каретами съ поднятыми до верху стеклами, разукрашенными причудливыми снѣжными узорами.

Пѣвчіе заворачивали уже за уголъ Сената, на Англійскую набережную, когда мнѣ пришло въ голову спросить имя штатскаго генерала, котораго хоронили. Оказалось, я зналъ его. Къ удивленію моему, извѣстіе о его кончинѣ не сдѣлало на меня никакого впечатлѣнія. Знакомство наше ограничивалось, впрочемъ, поклонами и улыбками при встрѣчѣ на Невскомъ проспектѣ. Покойникъ, между тѣмъ, сколько помнится и сколько я о немъ слышалъ, былъ человѣкъ весьма любезный, съ мягкими глазами, какъ у сетера, искавшими какъ бы постоянно случая сдѣлать вамъ одолженіе. Его очень любило начальство въ силу именно этихъ мягкихъ свойствъ его природы. Онъ занималъ поочередно нѣсколько видныхъ мѣстъ самаго разнообразнаго, противуположнаго характера, и хотя шелъ тихо, безъ треску, — шелъ, какъ говорится, на замшевыхъ подошвахъ, — но подвигался вѣрною, твердою стопой къ повышеніямъ. Въ послѣднее время говорилось даже о какомъ-то новомъ назначеніи, о какой-то коммиссіи, гдѣ обходительность и мягкость нрава составляли главное условіе.

„Вотъ тебѣ и коммиссія! — подумалъ я невольно. И точно: еще версты полторы по морозу мимо Васильевскаго острова, а тамъ — мерзлая яма, вокругъ которой два-три могильщика топ-

чутся теперь въ снѣгу съ заступами, бьютъ рукавицами и, вѣроятно, бранятся отъ нетерпѣнія скорѣе покончить дѣло и получить на водку.—Вотъ тебѣ и коммиссія!... Но это еще что!— продолжалъ я разсуждать самъ съ собою, — это что! А вотъ потомъ, когда обрядъ похоронъ совершится и всѣ разойдутся и разъѣдутся, когда быстро набѣжавшія зимнія петербургскія сумерки превратятся въ глухую ночь; когда человѣкъ этотъ, еще нѣсколько дней тому назадъ такъ мягко говорившій и такъ ласково улыбавшійся въ кругу друзей и знакомыхъ, останется вдругъ одинъ въ гробу и въ этой мерзлой могилѣ — одинъ въ углу Смоленскаго кладбища, — одинъ, далеко ото всѣхъ, среди ночной тьмы и снѣжной пустыни съ гуляющею вокругъ метелью..."

---

## III.

Проводивъ глазами послѣднюю карету, я машинально, безъ всякой цѣли, направился къ собору Исаакія Далматскаго, снова застроеннаго лѣсами, показывающими неусыпную заботливость и дѣятельность коммиссіи публичныхъ зданій. Тутъ я замѣтилъ уже нѣкоторое оживленіе. Мимо проѣзжали извощики съ отмороженными, обвязанными лицами; торопливо проходили, скрипя по снѣгу, скорченные, укутанные люди. Громадныя колонны собора такъ настыли на своихъ бронзовыхъ постаментахъ, между ними ходилъ и гудѣлъ такой нестерпимый вѣтеръ, что, помнится, мною руководила одна только мысль: пройти, пройти мимо, какъ можно скорѣе.

Приближаясь къ Малой Морской, при самомъ входѣ въ нее, я увидѣлъ нѣсколькихъ человѣкъ, стоявшихъ почти посерединѣ улицы. На этомъ мѣстѣ въ мостовой только-что образовался провалъ; это обстоятельство приводило въ суету двухъ городовыхъ, изъ которыхъ одинъ, отличавшійся особенною расторопностью, принадлежалъ, очевидно, къ еврейскому племени. „Гос-

пода, господа! Начальство приказываетъ, начальство!“ — повторялъ онъ, дѣлая усилія, чтобъ умягчить свой голосъ, между тѣмъ какъ кулаки его сжимались и глаза пожирали двухъ дворниковъ, флегматически стоявшихъ въ овчинныхъ тулупахъ. Дѣло, изволите видѣть, состояло въ томъ, что блюстители общественнаго порядка, опасаясь появленія начальства, должны были какъ можно скорѣе поставить надъ проваломъ какой-нибудь предостерегательный значокъ; съ этою цѣлью каждый изъ нихъ по очереди успѣлъ уже обѣгать сосѣдніе дома, выпрашивая у дворниковъ негодную кадку, обломокъ доски, метлу, ящикъ и т. д. Встрѣчая повсюду неудачу, городовые приходили уже въ совершенное недоумѣніе, когда неожиданно изъ ближайшаго дома показался дворникъ, неохотно тащившій сколоченный кое-какъ изъ досокъ ящикъ; на крышкѣ написано было: *Штъ*, сбоку красовались буквы: „К“ и „Ф“, окруженныя лавровымъ вѣнкомъ, криво и косо выведеннымъ сажей по трафарету. Провалъ мостовой былъ, такимъ образомъ, немедленно покрытъ, и тогда начались споры о фонарѣ, долженствовавшемъ украсить ящикъ, для охраны жителей въ ночное время. „Какъ! даже здѣсь щепочки, мочала и лукошки! — подумалъ я, уходя съ головой въ шубу и мысленно уходя въ самого себя, — здѣсь, чуть ли не на самомъ видномъ мѣстѣ столицы, гдѣ ежедневно собирается столько комитетовъ...“ При этомъ я невольно оглянулся, но подлѣ меня никого не было; испугавшись, тѣмъ не менѣе, направленія моихъ мыслей, я поспѣшилъ повернуть въ Большую Морскую.

Надо думать, былъ большой праздникъ: всѣ дома Большой Морской украшались шестами съ висѣвшими цвѣтными флагами; самыми яркими и большими показались мнѣ флаги надъ домомъ ламповаго магазина Штанге и передъ фасадомъ другаго ламповаго магазина — Кумберга. Съ перваго взгляда могло казаться, что гг. Штанге и Кумбергъ праздновали день своей серебряной свадьбы и Морская сочувственно отзывалась ихъ семейной радости. Одумавшись, я вспомнилъ, однакожъ, что флаги гг. Штанге и Кумберга всегда спѣшили выставляться съ тѣмъ же велико-

лѣпіемъ при первомъ намекѣ полиціи объ усердіи обывателей въ дѣлѣ украшенія торжественныхъ дней „Сѣверной Пальмиры“, какъ говорилъ когда-то столь преждевременно скончавшійся Булгаринъ.

Но потому ли, что бо́льшая часть этихъ флаговъ успѣла уже полинять отъ частаго употребленія, потому ли, что дома Морской заслоняли вѣтеръ и флаги, вынесенные нѣсколько сырыми, успѣли застыть на морозѣ и висѣли недвижно, потому ли, наконецъ, что пестрота и краски, хотя и полинявшія, рѣзко нарушали гармонію тускло-бѣлесоватаго морознаго утра, — во всей этой торжественности, при двадцатиградусномъ морозѣ, чувствовалась какая-то натяжка, что-то заказное, неестественное, насильственное, напоминавшее улыбку человѣка, которому на самомъ дѣлѣ хочется заплакать.

Искуственно-праздничный видъ домовъ, стѣнныя архитектурныя украшенія, осыпающіяся ежегодно, ежегодно подновляемыя и теперь забитыя снѣгомъ, обмерзлые водосточные желоба, пѣшеходы, кутавшіеся съ усиліемъ въ шубы съ поднятымъ воротникомъ, окруженнымъ инеемъ подлѣ рта, шершавыя клячи, пускавшія паръ изъ ноздрей, сухой снѣгъ и метель, сурово проносившаяся поперегъ Морской изъ Гороховой улицы, — все это невольно переносило мысль къ той части Невы, гдѣ, къ этому времени, пріѣзжіе мезенскіе рыбаки ставятъ обыкновенно свою юрту и гдѣ подлѣ нея можно тогда видѣть нѣсколько тощихъ оленей, такихъ же почти бѣлыхъ, какъ снѣгъ, на которомъ они стоятъ съ понурыми головами.

Вотъ тамъ, въ этой части города, все какъ будто на своемъ мѣстѣ, на своей почвѣ, ничто не нарушаетъ гармоніи и все кажется совершенно естественнымъ и нормальнымъ.

## IV.

Старанія придать торжественный видъ Невскому проспекту были еще менѣе удачны. Ширина улицы и вышина домовъ скрадывали размѣры флаговъ; послѣдніе, кромѣ того, поминутно обвертывались вокругъ шестовъ, повинуясь вѣтру, который, налетая прямо отъ московскаго вокзала, гналъ передъ собою тучи снѣгу и наполнялъ воздухъ снѣжною пылью, засыпавшею глаза.

У Полицейскаго моста я долженъ былъ остановиться. Мнѣ пересѣкъ дорогу туго-набитый общественный экипажъ, состоявшій изъ просторныхъ открытыхъ саней, сколоченныхъ безъ затѣй, сколоченныхъ топоромъ, выкрашенныхъ помеломъ и запряженныхъ тремя клячами разной масти и различнаго возраста, съ торчавшею шерстью, какъ будто ее сначала намочили, потомъ взбудоражили и, наконецъ, заморозили; сбруя и постромки были также сборныя, случайныя; случайными были также шубенка и шляпа кучера: первая, очевидно, сшитая не по росту, не сходилась на груди и лопнула на плечѣ, выказывая пеструю ситцевую рубашку; вторая, украшенная кончикомъ общипаннаго павлиньяго пера, падала на глаза. Вѣроятно, она была куплена содержателемъ общественнаго экипажа сначала для кучера съ небольшою головой, но такъ какъ онъ тутъ же запилъ и затѣмъ такою же слабостью поперемѣнно одержимы были и другіе кучера, то шляпа стала безразлично переходить къ тому, кто нанимался наканунѣ.

Лицо кучера, сидѣвшаго самымъ невозможнымъ образомъ на провалившихся козлахъ, было, тѣмъ не менѣе, первое веселое лицо, которое встрѣтилось мнѣ въ это утро; выглядывая изъ-подъ неуклюжей шапки, оно ухмылялось навстрѣчу морозу и метели. Подергивая возжами, но думая, очевидно, о чемъ-то другомъ, кучеръ, казалось, былъ нечувствителенъ къ прорѣхѣ, которая пропекала ему плечо, и не тревожился снѣгомъ, сыпавшимся ему за шею, похожую на древесную кору. Равнодушіе его къ

случайностямъ дороги и настоящему предмету его занятій простиралось еще больше къ публикѣ, сидѣвшей за его спиною.

Публика была, однакожъ, многочисленна и заслуживала вниманія. Прежде всего бросался въ глаза положительно замерзшій, сѣдой штурманскій офицеръ; подлѣ въ теплой фуражкѣ съ наушниками и кокардой ежился плохо выкормленный чиновникъ золотушнаго вида, съ лицомъ, туго перевязаннымъ косынкой по случаю флюса, и державшій на рукахъ мальчика съ конфедераткой на головѣ. Рядомъ, въ рыжеватомъ напомаженномъ шиньонѣ, засыпанномъ снѣжною пылью, сидѣла, вѣроятно, его жена, потому что она поминутно и съ самымъ нетерпѣливымъ видомъ обдергивала наушники на конфедераткѣ ребенка. Телеграфистъ, двѣ закутанныя съ головою старушки, господинъ въ енотовой шубѣ, на половину съѣденной молью, и багровый лабазникъ, подъ сидѣньемъ котораго общественныя сани скрипѣли болѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ, — довершали сѣдоковъ.

На подножкѣ задней части экипажа топалъ ногами обутый въ валенки кондукторъ, человѣкъ съ опухлымъ синеватымъ лицомъ, отъ головы до ногъ совершенно оборванный. Кожаная перевязь его сумки, съ настывшими въ ея глубинѣ пятаками, давно лопнула и замѣнена веревочкою, перевязанною узлами. Махая по воздуху рукавицей съ высунутымъ большимъ пальцемъ, онъ охрипшимъ голосомъ обращался къ проходящимъ, приглашая ихъ садиться въ сани.

Слѣдя за ними глазами, я вспомнилъ замѣчаніе одного иностранца, удивлявшагося у насъ въ Россіи смѣси какой-то естественной, но простодушной нищеты и рядомъ съ нею — искусственной, но холодной, какъ бы натянутой роскоши. И дѣйствительно, посмотрѣть въ одну сторону: перспектива великолѣпныхъ домовъ, блестящіе экипажи, уносимые стремглавъ дорогими рысаками, зеркальныя окна магазиновъ, ряды газовыхъ фонарей; посмотрѣть въ другую: въ непроглядную глубокую даль разсыпаны повсюду косыя бревенчатыя избы, бросаются въ глаза тощіе, кривые столбики, обдерганныя рогожи, веревочки, перевязанныя

узлами, щепочки, мочалки, линялый ситецъ, общипанная овчина и проткнутыя лукошки...

— Здравствуйте! — неожиданно произнесъ въ эту минуту подъ самымъ моимъ ухомъ звонкій, металлическій голосъ.

Обернувшись, я увидалъ сначала поднятый бобровый воротникъ; секунду спустя, показался маленькій, какъ пуговица, раскраснѣвшійся и вздернутый носъ и забѣгали быстрые глазки. Это былъ давнишній мой знакомый, нѣкто Иванъ Ивановичъ Пузыревъ.

— Каковъ холодокъ для праздника! Брррr!... — сказалъ онъ, отрѣзывая, по обыкновенію, каждое слово съ непостижимою отчетливостью, — но это, надѣюсь, не помѣшаетъ намъ быть сегодня у княгини Астраханской?

— А что такое?

— Развѣ васъ не звали? Быть не можетъ! Я знаю, что звали. Сегодня у нея собирается весь обычный кругъ интересныхъ людей; самъ видѣлъ, какъ вамъ писали приглашеніе! Прощайте, однакожъ... Этакъ и носъ отморозишь. Мнѣ надо сюда...

И Пузыревъ быстро юркнулъ налѣво и такъ же быстро зашагалъ по набережной Мойки.

---

## V.

Иванъ Ивановичъ Пузыревъ не ошибся, причисляя себя къ интереснымъ лицамъ Петербурга. Начавъ служебную карьеру безъ связей, безъ средствъ, не отличаясь при этомъ особенными талантами и даже трудолюбіемъ, онъ въ зрѣлому возрасту успѣлъ, какъ говорится, сдѣлать себѣ положеніе, т.-е. заручился крупнымъ чиномъ, виднымъ мѣстомъ и проскочилъ въ такъ называемое „общество“. Тутъ нѣтъ еще ничего особеннаго. Мы переживаемъ время, когда достаточно быть хитренькимъ чиновникомъ или лукавымъ офицеромъ, чтобы неожиданно сдѣлаться великимъ

человѣкомъ. Путеводною нитью Пузырева служили другія, также дѣйствительныя, но болѣе рѣдкія свойства. Обиженный со стороны талантовъ, онъ съ избыткомъ былъ надѣленъ дерзостью и нахальствомъ, которыми, какъ ловкій человѣкъ, пользовался искусно, разсчитывая свои ходы. Всѣмъ очень хорошо извѣстно, что за дерзость всего рѣже достается по носу въ русскомъ обществѣ, унаслѣдовавшемъ робость отъ исторіи и не получившемъ находчивости отъ природы. Нѣсколько часовъ спустя, особенно на другой день, вставши утромъ и накушавшись чаю, русскій человѣкъ всегда найдется, какъ отвѣтить на дерзость; придумаетъ, пожалуй, такую штуку, отъ которой у слона подкосятся заднія ноги; но въ первую минуту, въ критическій моментъ, русскій человѣкъ всегда почти опѣшиваетъ. Дѣло, между тѣмъ, сдѣлано: нахалъ вышелъ побѣдителемъ и беззаботно прогуливается по Невскому, засунувъ руки въ карманы и самодовольно поднявъ голову. Такъ какъ никто даже передъ самимъ собою не согласенъ быть жертвой дурака, дерзость незамѣтно устанавливаетъ за человѣкомъ репутацію умника. Такъ было и съ Пузыревымъ.

Въ его умѣ не было ничего педантическаго; онъ не стѣснялъ, а, напротивъ, какъ бы старался всегда облегчать тѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался. На лицѣ его постоянно играла улыбка; въ сѣрыхъ, смѣло устремленныхъ глазахъ всегда свѣтилась готовность раздѣлить забаву богатой молодежи и сочувственно отнестись къ любовнымъ похожденіямъ именитыхъ стариковъ, важныхъ и недоступныхъ на видъ, но втайнѣ питающихъ нѣжность къ французской кокоткѣ. Разъ даже, когда одинъ изъ такихъ старичковъ былъ временно очень нуженъ Пузыреву, онъ, чтобъ окончательно внушить ему довѣріе, самъ содержалъ француженку въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. „Помилуйте, зачѣмъ стѣсняться? — говорили, казалось, сѣрые глаза Пузырева, увѣренно посматривая на старичка, — зачѣмъ? Всѣ въ томъ же положеніи, — всѣ, рѣшительно всѣ!... Видите, и я также... безъ этого даже невозможно!...“ Онъ, какъ видите, былъ на всѣ руки: гдѣ прыжкомъ, гдѣ бокомъ, а гдѣ и на карачкахъ.

Такимъ зналъ я всегда Ивана Ивановича до той самой минуты, когда встрѣтилъ его у Полицейскаго моста.

Но здѣсь память измѣняетъ мнѣ: что̀ дальше грезилось мнѣ на Невскомъ проспектѣ, рѣшительно ничего не помню...

---

## VI.

По мѣрѣ того, какъ память начинаетъ снова овладѣвать впечатлѣніями вчерашняго сна, я вижу себя на освѣщенной парадной лѣстницѣ въ домѣ Астраханскихъ. Сладостное ощущеніе тепла охватываетъ меня всего; я погружаюсь въ него, какъ въ пуховую перину, и слегка вздрагиваю, пока тепло не успѣло еще перейти въ кости.

Помню очень хорошо, въ первую минуту я чувствовалъ себя въ томъ неясномъ, безотчетномъ состояніи, которое предшествуетъ полному пробужденію; помню передъ собою ступени, устланныя доверху мягкимъ краснымъ ковромъ; помню, какъ пріятно было ставить на него ногу, не производя никакого шуму. На поворотахъ лѣстницы стѣны были установлены растеніями и цвѣтами; ихъ запахъ чувствительно распускался въ нагрѣтомъ воздухѣ. Наверху, изъ растворенныхъ дверей, свѣтъ ослѣплялъ глаза; издали слышался говоръ, проходило какъ будто трепетное шуршанье женскихъ платьевъ. Съ каждою ступенькой выше я болѣе и болѣе возвращался къ сознанію, и представленія дѣйствительности дѣлались яснѣе. Я точно до-сихъ-поръ сидѣлъ съ зажмуренными глазами въ темной холодной глубинѣ и тихо выплывалъ кверху, постепенно обогрѣваемый и ослѣпляемый свѣтомъ.

Въ бѣлой прихожей стояла группа лакеевъ съ завитыми головами, въ туго накрахмаленныхъ галстухахъ; одинъ изъ нихъ, быстро двигая длинными ногами, но съ важностью на лицѣ, прошелъ мимо, придерживая руками шипѣвшую курительницу. Тутъ же, вдоль стѣнъ, выставлялся рядъ рѣзныхъ стульевъ со сло-

женными дамскими бурнусами, пуховыми капорами и мантильями, отъ которыхъ даже издали хорошо пахло.

Дверь вела въ комнату малиноваго цвѣта, увѣшанную картинами въ золотыхъ рамахъ и освѣщенную рефракторами; въ мягкомъ полусвѣтѣ выдѣлялась на свѣтломъ коврѣ мебель, разставленная живописными группами.

— Всѣ въ голубой гостиной,— мягко произнесъ лакей, котораго можно было бы принять за члена англійскаго парламента, если бы не выдавали его подносъ въ рукахъ и толстыя, круглыя икры, обтянутыя черными чулками.

Прежде чѣмъ войти въ голубую гостиную, шумѣвшую, какъ растревоженный пчелиный улей, я остановился въ дверяхъ. Блескъ снова ослѣпилъ меня. Зажженная бронзовая люстра, съ фестонами и подвѣсками изъ граненыхъ стеколъ, цѣликомъ повторялась въ зеркалѣ надъ каминомъ; свѣтъ изъ карселей, прикрытыхъ цвѣтными абажурами, разставленныхъ на высокихъ золоченыхъ подставкахъ по угламъ, на столахъ и въ зелени, скользилъ радужными оттѣнками по голубымъ штофнымъ обоямъ и лучами разбѣгался по позолотѣ на стѣнахъ и на мебели.

Хотя вечеръ былъ только для избранныхъ, какъ обѣщали, гостиная была почти полна. Черные фраки со звѣздами, обнаженныя женскія плечи, лоснящіяся, какъ атласъ, бѣлые галстухи, цвѣты въ прическахъ, серьги и брошки, шелковые разноцвѣтные шлейфы, черезъ которые отчаянно шагали или въ которыхъ путались ноги мужчинъ, — все это, показываясь бокомъ или фасомъ, рисовалось на диванахъ и въ креслахъ или передвигалось въ разныя стороны.

Помню, на меня особенно пріятно подѣйствовало то обстоятельство, что въ первую минуту никто не замѣтилъ моего прихода.

Я началъ присматриваться и прислушиваться.

Прежде всего мнѣ бросился въ глаза Иванъ Ивановичъ Пузыревъ, сидѣвшій хотя и далеко, но прямо противъ двери, такъ что входившій не могъ его не увидѣть. Расположившись на диванѣ, онъ почтительно что-то сообщалъ двумъ старушкамъ, изъ кото-

рыхъ одна,— княгиня Зюзина,— совсѣмъ уже почти умерла; обѣ ноги ея давно уже свѣсились въ могилу и только кончикомъ мизинца цѣплялась она еще за жизнь, чтобы хоть нѣсколько лишнихъ минутъ поболтаться въ придворномъ воздухѣ. Другую старушку видѣлъ я въ прошломъ году слушавшею, какъ и теперь, съ видомъ напряженнаго тупоумія, иностраннаго проповѣдника, пріѣзжавшаго въ Петербургъ съ похвальною цѣлью объяснить русскимъ дамамъ значеніе Христа и поразившаго меня особенно тѣмъ, что во время проповѣди онъ постоянно держалъ въ рукахъ то сапогъ лѣвой своей ноги, то сапогъ правой.

Замѣчательно, хотя и не ново было для меня еще то обстоятельство, что Пузыревъ, такъ почтительно бесѣдуя со старушками, смотрѣлъ, въ то же время, совершенно въ другую сторону. Слѣдя за его взглядомъ, я остановился на величественной наружности государственнаго мужа высшей пробы. Онъ возсѣдалъ въ креслахъ подлѣ стола съ серебрянымъ самоваромъ въ русскомъ, — не то дачномъ, не то банномъ стилѣ, нѣчто среднее между вкусомъ казанскаго интерлакена, — и, красиво выгибая локоть, держалъ въ рукѣ чашку; его окружала, сидя и стоя, толпа мужчинъ и женщинъ; тутъ же находилась и хозяйка дома.

Самого князя Астраханскаго увидѣлъ я на другомъ концѣ гостиной.

Никогда я не встрѣчалъ его безъ того, чтобы не полюбоваться его осанкой, его прекраснымъ лицомъ, сохранившимся во всей свѣжести, несмотря на просѣдь волосъ и совершенно бѣлыя бакенбарды, спускавшіяся *à l'anglaise* вдоль его блѣдныхъ, хотя и полныхъ щекъ. Молоденькія дѣвушки охотно влюбляются въ такихъ сѣдовласыхъ красавцевъ; они дѣйствительно какъ бы созданы для лобызанія въ ихъ свѣжія щеки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для представительной роли посланниковъ или министровъ.

Князь Астраханскій не былъ, однакожъ, ни тѣмъ, ни другимъ. Въ Петербургѣ, — и замѣтьте, только въ немъ одномъ, — существуетъ особый родъ высокаго и страннаго служебнаго положенія. Оно замыкается какимъ-то магическимъ кругомъ; достигнувъ та-

кого положенія, нельзя изъ него выйти, какъ изъ дантовскаго ада; его можно бы назвать: *отложи всякое попеченіе*, если бы не было другаго названія, болѣе опредѣлительнаго: *почти министръ*.

Министръ и „почти министръ“ стоятъ, повидимому, рядомъ, локоть къ локтю; посмотрѣть: два сросшіеся близнеца. А на самомъ дѣлѣ ихъ раздѣляетъ цѣлый Атлантическій океанъ. Съ одной стороны, рисуется во всей величавой красѣ (иногда вовсе безъ красы) высокая чиновная особа, уполномоченная самостоятельною властью; съ другой—также высокая чиновная особа, но только... только, — какъ бы деликатнѣе выразиться? — лицо безъ всякой власти. То же самое случается съ нулемъ: поставленный налѣво, онъ—ничто; передвинутый направо, за цифру, онъ вдругъ пріобрѣтаетъ значеніе и иногда дѣлается милліономъ.

Личности этого рода съ юныхъ лѣтъ подаютъ обыкновенно самыя блестящія надежды; онѣ возносятся, летятъ, стремятся кверху съ одуряющею быстротой, но вдругъ, вдругъ неожиданно останавливаются, точно надъ головой встрѣтился плотный каменный сводъ, точно вдругъ лопнула толкавшая снизу пружина. И уже съ этой минуты никакая подмазка, никакое подвинчиванье пружины не въ силахъ возстановить прежняго дѣйствія.

Каждый разъ къ Святой и къ Новому году родственники „почти министра“ впадаютъ въ томительное, тоскливое ожиданіе, всѣ ждутъ: „вотъ-вотъ... сейчасъ, сію минуту...“ Ничуть не бывало! Черта заколдованнаго круга не подается, таинственная сила, задержавшая стремительный полетъ, продолжаетъ быть неумолимой. „Почти министру“ остается одно утѣшеніе: въ близкомъ кружкѣ шопотомъ, на ухо называютъ его „правою рукой“...

„Почти министръ“ отличается всегда, подобно князю Астраханскому, представительною наружностью, съ присовокупленіемъ очаровательной любезности и чрезмѣрной кротости нрава. Въ его чертахъ наблюдатель всегда, однакожъ, усмотритъ оттѣнокъ легкой меланхоліи, тихой, задумчивой грусти,—ясно: его не поняли или не хотятъ понять. Послѣднее происходило у князя Астраханскаго не столько, впрочемъ, отъ неудовлетворенности собственнаго тще-

славнаго чувства, сколько отъ неудовлетворенныхъ чувствъ его жены и тещи, которыя не переставали раздражаться.

Служебныя обязательства Астраханскаго были, тѣмъ не менѣе, весьма обременительны; ихъ можно было даже раздѣлить на два сезона: лѣтній и зимній. Зимою онъ посѣщалъ, вмѣсто министра, всевозможные комитеты, засѣданія, совѣщанія и т. д.; когда не было важнаго дѣла, собирались собственно больше для виду, но для виду требовался представитель министра. Министръ часто отсутствовалъ, и бѣдный Астраханскій не имѣлъ почти дня свободнаго. Лѣтомъ онъ совсѣмъ уже заступалъ министра.

Какъ только наступалъ май, — этотъ милый май, такъ нетерпѣливо ожидаемый всѣми начальниками, успѣвшими, очень понятно, соскучиться зимою въ своихъ казенныхъ квартирахъ и жаждущихъ обновить свои силы на водахъ, — весь городъ узнавалъ изъ газетъ, что князь Астраханскій вступаетъ временно въ должность министра. Должностью та заключалась преимущественно въ пребываніи на казенной дачѣ; другаго дѣла и быть, впрочемъ, не могло. Въ то время, какъ извѣстно, Россія, изъ любви къ начальству и по человѣколюбивому желанію продлить его отпускъ, прячетъ свои работы въ карманъ и откладываетъ вдругъ всѣ свои дѣла на цѣлые пять мѣсяцевъ.

Лѣтній этотъ сезонъ особенно всегда нравился княгинѣ Астраханской и ея матушкѣ; онъ нѣкоторымъ образомъ вознаграждалъ ихъ за неудовлетворенность чувствъ въ остальные мѣсяцы года.

Княгиня вполнѣ, впрочемъ, заслуживала вознагражденія, такъ какъ она собственно была главнымъ двигателемъ въ карьерѣ мужа; съ энергіею, достойною лучшей участи, лучшихъ результатовъ, она болѣе двадцати лѣтъ тащила его на буксирѣ и притащила къ настоящему мѣсту. Далѣе, несмотря на всѣ старанія, она ничего уже не могла сдѣлать. Старанія эти, разсказывали, вели къ тому, что когда княгиня приступала къ мужу съ одной стороны, а ея маменька приступала съ другой, отъ „почти министра“ только пухъ летѣлъ во всѣ стороны и ничего больше.

Но я коснулся здѣсь впечатлѣній дѣйствительности; возвращаюсь къ впечатлѣніямъ вчерашняго сна.

Въ той части гостиной, гдѣ сидѣлъ хозяинъ дома, гости были также многочисленны; они состояли преимущественно изъ мужчинъ, и здѣсь точно также всѣ обступали мужа высокой пробы, но только маленькаго роста, желчнаго, съеженнаго вида и какъ бы одержимаго собачьей старостью.

Въ гостиной была еще третья группа; она занимала дальній уголъ, отдѣлявшійся роялемъ, поставленнымъ наискось, и большою рѣзною жардиньеркой, наполненной цвѣтами и зеленью.

Тамъ, въ яркомъ свѣтѣ, на голубомъ шелковомъ фонѣ стѣнъ, красовались больше молодые люди и барышни. У Астраханскихъ были взрослыя дочери и потому на вечера приглашалась всегда молодежь. На первомъ планѣ рисовался бѣлокурый юноша съ проборомъ по серединѣ головы и мелкими облачками изъ волосъ на сдавленномъ лбу; онъ разсказывалъ что-то группѣ барышень, между тѣмъ какъ сосѣдъ его, офицеръ, откормленный точно къ Рождеству, таращилъ глаза, не открывая рта, и весь сіялъ какою-то безсмысленною веселостью.

Между этими тремя главными группами, занимавшими углы гостиной, проходило множество лицъ обоего пола, не успѣвшихъ еще рѣшить, къ которому изъ двухъ первыхъ кружковъ выгоднѣе было бы присоединиться; нѣкоторымъ смертельно хотѣлось быть и тутъ, и тамъ въ одно и то же время; одно мѣшало: невозможность разорваться.

---

## VII.

Въ числѣ такихъ лицъ, шагахъ въ пяти отъ меня и нѣсколько въ сторонѣ, увидѣлъ я князя Годунова и г. Филомосенскаго, только-что произведеннаго въ тайные совѣтники. Первый стоялъ ко мнѣ лицомъ, второй затылкомъ, который былъ у него

чрезвычайно широкъ и четырехугольной формы съ расходящимися ушами, закрученными кверху, какъ у античныхъ сатировъ.

Возвышеніе новаго тайнаго совѣтника имѣло довольно оригинальное основаніе. Оно совершилось въ силу его сравнительной грамотности или, если хотите, въ силу относительной безграмотности тѣхъ лицъ служебнаго кружка, куда судьба бросила г. Филомоѳенскаго. Онъ былъ сначала гдѣ-то учителемъ словесности и, вѣроятно, тогда еще навострился, поправляя сочиненія своихъ учениковъ.

Въ то время, какъ его сослуживцы исписывали десятки листовъ, покрывая ихъ неудобоваримыми періодами, и тщетно выбивались изъ силъ, пригоняя на всевозможные лады слова: который, котораго, которому, о которомъ и т. д., г. Филомоѳенскому требовалось всего часъ времени, чтобы сочинить оффиціальную бумагу какого угодно содержанія. Трудность состояла иногда въ томъ, чтобы написать нѣсколько страницъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ничего не сказать, или изложить дѣло въ такомъ порядкѣ, чтобы совершенно затушевать его оборотами условнаго краснорѣчія. Г. Филомоѳенскій былъ также большой мастеръ сочинять уставы желѣзнодорожныхъ обществъ, улаживать концессіи, проводить одновременно нѣсколько трудныхъ дѣлъ, которыя до него цѣлыми годами разсматривались въ разныхъ комитетахъ и завязали безнадежно въ разныхъ инстанціяхъ. Но это принадлежитъ уже, такъ сказать, къ его частнымъ занятіямъ.

— Штукарь! — говорили о немъ завистливые сослуживцы.

— Плутъ-архъ! — острили молодые, начинающіе чиновники.

— Чортъ его знаетъ, что онъ такое! Грубъ, какъ сапожникъ, но перо — мастерское перо! — замѣчали про-себя начальники.

Находчивость г. Филомоѳенскаго, доходившая до степени Божьяго дара, не мало также способствовала его карьерѣ.

Случалось, начальникъ пріѣзжалъ въ нервномъ разстройствѣ отъ неожиданно заданнаго ему вопроса: „Астрахань... много соли... множество комаровъ... Надо узнать... справиться...“

— Какая Астрахань?... Какіе комары?... Гдѣ соль? — повторялъ озадаченный начальникъ, возвращаясь, смущенный, въ кабинетъ. — Боже мой, къ кому обратиться? Никто ничего не знаетъ! Всѣ только врутъ и путаютъ... Одинъ развѣ Филомоѳенскій... Попросить ко мнѣ скорѣе г. Филомоѳенскаго!

Являлся г. Филомоѳенскій.

— Гм... гм... Астрахань... соль... много комаровъ... Надо справиться, непремѣнно справиться! — произносилъ начальникъ, стараясь не смотрѣть въ глаза собесѣднику и произнося каждое слово отягченнымъ голосомъ человѣка, подавленнаго въ эту минуту соображеніями высшаго свойства, не подходящими къ настоящему вопросу.

На другое утро г. Филомоѳенскій возвращался съ готовымъ, каллиграфически написаннымъ докладомъ, въ которомъ Астрахань, соль и даже комары группировались въ стройной гармонической картинѣ; и не было еще примѣра, чтобы дѣло такимъ образомъ не спасалось.

У него, говорили, такъ ужъ были навострены два писца, что пока одинъ писалъ, оканчивая на первомъ листѣ: „кото...“, другой листъ съ окончаніемъ „рый“ былъ уже написанъ вторымъ писаремъ. Доклады поспѣвали, такимъ образомъ, какъ бы по волшебству.

Собесѣдникъ Филомоѳенскаго, князь Годуновъ, былъ еще сравнительно молодой, но уже посѣдѣвшій на вискахъ генералъ. Зная его еще корнетомъ, страстнымъ любителемъ Излеровскаго сада, балета и другихъ увеселительныхъ мѣстъ Петербурга, я въ послѣднее время съ особеннымъ любопытствомъ наблюдалъ при встрѣчахъ его лицо, проникнувшееся вдругъ, безъ всякаго приготовленія, выраженіемъ глубокомыслія, сложныхъ государственныхъ комбинацій и внутренней сосредоточенности. О чемъ онъ думалъ, что онъ соображалъ, этого никто не зналъ. Князь Годуновъ большею частью отмалчивался или отвѣчалъ общими мѣстами. Сколько было извѣстно его товарищамъ-сослуживцамъ, главными преобладающими чертами его характера были всегда лукавство и настой-

чивость; конечно, свойства эти, соединяясь въ извѣстной пропорціи, могутъ осуществлять нѣкоторую силу; но это, все-таки, не объясняло того положенія, которое такъ неожиданно для всѣхъ выдвинуло его на первый планъ. Силу князя Годунова начинали чувствовать не только обыкновенные смертные, но даже такія лица, какъ величавая особа, сидѣвшая подлѣ русскаго самовара, и вліятельный господинъ, одержимый собачьей старостью.

Прислонясь рукою къ спинкѣ кресла, князь Годуновъ слушалъ г. Филомоѳенскаго, повидимому, безъ любопытства, а скорѣе съ видомъ снисхожденія; сѣрые глаза его разсѣянно смотрѣли по сторонамъ и прищуривались. Въ эту минуту, — помню очень хорошо, — меня особенно поразилъ бѣловатый хрящикъ на концѣ его заостреннаго носа; этотъ хрящикъ постоянно двигался, юлилъ, заострялся и какъ бы самъ собою винтилъ воздухъ.

Годуновъ готовился уже оставить собесѣдника, когда неожиданно къ обоимъ подошелъ Стамбуловъ, извѣстный, впрочемъ, больше подъ именемъ: *человѣкъ анекдота*. Онъ со всѣми былъ на *ты*, вѣчно носился съ какимъ-нибудь разсказомъ, выслушаннымъ наканунѣ, любилъ завтракать, еще больше любилъ ужинать въ веселой компаніи, и потому слылъ издавна за добраго, отличнаго малаго.

— Знаете, что случилось вчера съ Линскимъ?—проговорилъ онъ, нѣсколько понижая голосъ, такъ только, чтобы не дошло до угла, гдѣ сидѣли барышни, — не знаете? Слушайте: сидитъ онъ, часовъ въ одиннадцать вечера, въ квартирѣ Фифи и ждетъ ея возвращенія изъ цирка. Бррр!... — подъѣзжаетъ карета; Фифи является, прихрамывая на правую ногу... „Что съ тобой?“ — „Chèri, я свихнула ногу... Ай-ай, свихнула ногу!...“ — „Батюшки!“ Кладетъ ее скорѣе въ постель, летитъ стремглавъ за докторомъ, отъ доктора заѣзжаетъ въ кварталъ—выпросить разрѣшеніе подостлать соломы подъ окна. Возвращается и, заставъ Фифи въ самомъ разслабленномъ состояніи, нѣжно цѣлуетъ ей руку и, едва переводя духъ, удаляется на цыпочкахъ. Сегодня рано утромъ скачетъ узнать о состояніи ея здоровья... Что-жь бы вы думали,

а? Узнаетъ: Фифи не ночевала дома!... Благодарю, не ожидалъ! — довершилъ Станбуловъ, вращая своими глазами на выкатѣ; затѣмъ такъ же неожиданно повернулся онъ къ нимъ спиною и началъ пробираться дальше, разсказывая на пути свой анекдотъ.

Меня, между тѣмъ, давно привлекалъ голосъ величественной особы, сидѣвшей у самовара. Не имѣя возможности разслышать его словъ, я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ ту сторону, но долженъ былъ остановиться, чтобы пропустить хозяина дома, суетливо пробиравшагося къ женѣ. Мнѣ уже не въ первый разъ бросалось въ глаза тревожное выраженіе на лицѣ Астраханскаго; ему не сидѣлось на мѣстѣ, онъ безпрестанно поднимался, искалъ глазами жену и, встрѣтивъ ея взглядъ и выразительно приподнятыя брови, снова усаживался. Я наблюдалъ, въ то же время, лицо хозяйки; оно точно также не было спокойно. Я отчасти догадывался о причинѣ ея тревоги: въ тѣ самые часы, какъ у нея былъ вечеръ, съ минуты на минуту ожидали кончины одного изъ близкихъ родственниковъ мужа; она боялась, чтобы извѣстіе о его смерти не пришло неожиданно и не разстроило ея собранія; она занята была мыслью, что если ужъ умирать родственнику, то чтобъ умеръ онъ, по крайней мѣрѣ, послѣ того, какъ всѣ гости разъѣдутся. Но, кромѣ того, очевидно, должны были быть еще и другіе поводы къ безпокойству. „Что съ ней? — пришло мнѣ тогда же въ голову. — Все, кажется, хорошо: вечеръ удался сверхъ ожиданій; не считая полнаго комплекта интересныхъ людей, въ гостиной находились еще двѣ особы первой величины, — чего же еще?“

Но присутствіе этихъ двухъ особъ, какъ оказалось, и было, главнымъ образомъ, причиной волненія; оно выражалось особенно всякій разъ, какъ величественный гость начиналъ говорить. Гость говорилъ прекрасно, — такъ хорошо, что ему самому, повидимому, пріятно было прислушиваться къ собственнымъ словамъ; и было отъ чего: стройность и правильность рѣчи могли бы удовлетворить самого Греча, составителя россійской грамматики; въ ней явственно можно было разобрать точку, двоеточіе,

тире и даже скобки. Къ сожалѣнію, припоминаю и могу записать одну только фразу: „Когда человѣкъ устремляется мысленно въ область невѣдомаго, нравственная природа его невольно, такъ сказать, отдѣляется отъ суетности настоящаго...“ Я могъ бы записать, вѣроятно, еще больше, но всякій разъ мѣшала хозяйка дома. Едва величественная особа начинала говорить, на лицѣ княгинѣ Астраханской появлялось то выраженіе тревоги, которое съ самаго начало возбуждало мое любопытство: брови ея приходили въ движеніе, мускулы лица напрягались, глаза строго посматривали вокругъ и, сколько казалось, преимущественно направлялись на лица интересныхъ людей; въ этихъ взглядахъ, какъ въ книжкѣ, можно было прочесть: „Молчите, дураки интересные люди! Смѣйте только открыть вашъ глупый ротъ! Слушайте! Васъ для этого только сегодня и звали!“

Разъ одинъ изъ интересныхъ людей, ученый юристъ, сдѣлалъ было движеніе губами, желая вставить свое замѣчаніе въ рѣчь величавой особы, — хозяйка дома пригвоздила его такимъ взглядомъ, что онъ такъ и замеръ съ открытымъ ртомъ до конца вечера.

Не успѣвала величественная особа закруглить красивый періодъ и остановиться, княгиня Астраханская быстро направляла взглядъ въ другой конецъ гостиной, гдѣ сидѣлъ мужъ, и, приподнявшись съ мѣста, летѣла туда на всѣхъ парусахъ.

Тамъ, смотрѣлъ я, опять происходила исторія другаго рода: значительная особа, одержимая собачьей старостью, принадлежала болѣе къ числу мыслителей и не любила говорить; она появлялась въ свѣтъ съ тѣмъ, чтобы найти разсѣяніе и дать отдыхъ мозговой работѣ, которая, говорили, съѣдала его.

Занявъ мѣсто въ группѣ лицъ, окружавшихъ особу, г-жа Астраханская немедленно вмѣшивалась въ разговоръ и на одушевленномъ ея лицѣ, обращавшемся одобрительно къ присутствующимъ, особенно къ интереснымъ субъектамъ, уже читалось слѣдующее: „Говорите же, дураки! Разсказывайте! Ну, живѣе!

Какъ, право, глупы иногда эти интересные люди! Разсказывайте! Васъ для этого только сегодня и звали!“

Къ счастью, въ самую критическую минуту подвертывался иногда „человѣкъ анекдота“ и выручалъ хозяйку.

— Знаете что? — произнесъ онъ, появляясь неожиданно. — Юркевичъ сдѣлалъ сейчасъ забавное замѣчаніе: онъ дѣлитъ русскихъ людей нашего столѣтія на три категоріи: въ началѣ столѣтія — ловкіе военные щеголи, въ тридцатыхъ годахъ — прредданные люди, теперь пошли все добрые люди...

— Правда, — проговорилъ почти шопотомъ подлѣ меня чей-то голосъ, — правда; скажешь: онъ идіотъ совершеннѣйшій, никуда негоденъ, а занимаетъ такое видное, такое отвѣтственное мѣсто; вамъ сейчасъ же на это отвѣтятъ: „Вотъ вы всегда такъ, всегда рѣзко; положимъ, онъ не орелъ, но онъ человѣкъ добрѣйшей души, кроткой, никому зла не дѣлаетъ, прекрасный семьянинъ, нѣжно любитъ жену и дѣтей...“

— Особенно любитъ хорошій окладъ жалованья, майоратъ въ западныхъ губерніяхъ и теплую казенную квартиру, — неожиданно прибавилъ кто-то также шопотомъ.

---

## VIII.

Помню, уже въ то время что-то похожее на утомленіе начинало овладѣвать мною; я чувствовалъ тяжесть и боль въ головѣ. Любопытство переставало дѣйствовать и возбуждать меня; проходила охота наблюдать и слушать. Вялость, сонливость присоединялись къ утомленію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на меня находила смертельная скука и, — помню очень хорошо, — сколько я ни усиливался привести себя въ прежнее состояніе, скука неотразимая, неотвязчивая скука подступала къ сердцу и давила меня въ этой голубой гостиной.

Свѣчи и лампы ярко горѣли, повторяясь въ зеркалахъ; голубой атласъ лоснился на стѣнахъ съ золотыми багетами, утомлявшими зрѣніе; въ воздухѣ, разогрѣтомъ и сжатомъ, ходили, стояли и сидѣли многочисленныя группы; говоръ, смѣхъ и восклицанія не умолкали ни на минуту; но все это прибавляло только головной боли и усиливало скуку. Во всемъ, во всемъ рѣшительно: въ голосѣ этихъ сановниковъ, скорѣе произведенныхъ, чѣмъ сами себя заявившихъ своими заслугами, во взглядахъ, которые смотрѣли разсѣянно, а, между тѣмъ, постоянно чего-то юрко ожидали и искали, въ смыслѣ того, что говорилось, въ чертахъ лицъ, выражавшихъ благонамѣренность и благодушіе, прикрывающихъ или апатію, или мелкое лукавство, въ движеніяхъ, даже въ самомъ смѣхѣ чувствовалась тяжеловѣсная, удручающая скука.

Здѣсь, очевидно, никто не былъ увѣренъ, зачѣмъ пришелъ, и каждый готовъ былъ уйти хоть сейчасъ же безъ малѣйшаго сожалѣнія. Нигдѣ не говорилось о чемъ-нибудь, вездѣ рѣчь шла о комъ-нибудь и каждый старался болѣе или менѣе выказать при томъ свой умъ насчетъ ближняго. Каждый, казалось, былъ чѣмъ-нибудь недоволенъ, желалъ чего-то, и, что всего удивительнѣе, самыми недовольными были тѣ, которые болѣе другихъ воспользовались земными благами. Каждый слушалъ съ улыбкой, тогда какъ зрачки отражали полное, мертвое равнодушіе и къ собесѣднику, и къ предмету бесѣды. Сколько насъ здѣсь ни было, каждый на самомъ дѣлѣ былъ совершенно чужой другъ другу; ни общая мысль, ни общее чувство никого здѣсь не связывали. Нѣсколько разъ пытался я заговорить то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ проходившихъ мимо знакомыхъ, но тоска отъ этого не утихала; ее, напротивъ, какъ бы усиливало внутреннее признаніе, что я безстыдно солгалъ сію минуту, потому что, въ самомъ дѣлѣ, никакого не было желанія обращаться къ тому или другому и, наконецъ, я сказалъ вовсе не то, что думалъ.

Часто приходилось мнѣ испытывать то же самое, но никогда еще, никогда не тяготился я такимъ ощущеніемъ пустоты: пустоты въ самомъ себѣ, пустоты вокругъ меня, пустоты повсюду...

Улыбаясь направо и налѣво съ искуственною натяжкой, помню, я думалъ объ одномъ только: выбраться какъ можно скорѣе отсюда, уйти дальше, какъ можно дальше отъ толпы и шума. Помню, какъ чувство ноющей тоски на минуту смѣнилось досадой, даже злобой, когда шагахъ въ десяти „человѣкъ анекдота“ загородилъ неожиданно выходную дверь и началъ что-то, смѣясь, громко разсказывать слушателямъ. Я рѣшился остановиться и выждать.

Мнѣ особенно не хотѣлось тамъ встрѣтиться съ графомъ Пы́щинымъ; съ меня довольно было видѣть его тучную, крутую спину и голый, лоснящійся затылокъ съ двумя жирными красными складками, подпертыми воротникомъ мундира и утыканными коротенькими сѣрыми волосами. „Человѣкъ анекдота“ разсказывалъ, должно быть, что-то весьма забавное: его сѣрые выпученные глаза самодовольно, въ упоръ поглядывали на слушателей; всѣ смѣялись и болѣе другихъ смѣялся графъ Пы́щинъ; при всякомъ порывѣ веселости онъ какъ бы собирался чихнуть, но не могъ одолѣть, и начиналъ усиленно и мелко прыскать, причемъ страшно багровѣла его шея, приходило въ движеніе его жирное туловище и вздрагивали разсыпчатыя эполеты на его плечахъ. Пы́щинъ былъ лучшій другъ „человѣка анекдота“, постоянный его собутыльникъ, извѣстный игрокъ, нѣсколько разъ потерявшій и нажившій состояніе, извѣстный покровитель корде-балета и предсѣдатель всѣхъ отчаянныхъ пирушекъ и попоекъ.

Я чувствовалъ къ нему болѣе чѣмъ отвращеніе и всегда старался избѣгать его встрѣчъ. Это началось лѣтъ восемь назадъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, когда я узналъ, что онъ женился на прелестной молодой дѣвушкѣ, которую я встрѣчалъ въ отдаленной степной деревнѣ у ея матери, давно уже теперь скончавшейся. Какимъ образомъ могла она согласиться выйти замужъ за такого человѣка? Кто уговорилъ ее? Какъ случилось, что судьба чистой и свѣтлой дѣвушки могла соединиться съ судьбою такого существа, какъ Пы́щинъ? Все это было для меня загад-

кой, и помню, какъ тогда еще тяжело поразило меня извѣстіе о такомъ бракѣ. Съ тѣхъ поръ я не встрѣчалъ ее.

Мысли мои невольно обратились къ прошлому, къ воспоминаніямъ о ней. Но не успѣлъ я собрать ихъ, когда, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ сторону, увидѣлъ неожиданно знакомыя черты.

Меня удивило, какъ прежде я ее не примѣтилъ. Она сидѣла особнякомъ, полузаслоненная роялемъ; но съ того мѣста, гдѣ я стоялъ, милый, знакомый образъ весь обрисовывался въ профилѣ съ головы до ногъ. Да, это была она, — она, та самая стройная Мери, встрѣченная когда-то въ далекой степной деревнѣ!... Тѣ же пряди сухихъ шелковистыхъ волосъ пепельнаго цвѣта спускались по обѣимъ сторонамъ ея лица и легкимъ пухомъ завивались надъ шеей. Но только куда дѣвались веселость и блистающая свѣжесть молодости! Она была, все также, очень красива, быть можетъ, еще красивѣе, чѣмъ зналъ я ее прежде; по крайней мѣрѣ, такою показалась она мнѣ въ настоящую минуту.

На ней было свѣтло-розовое платье съ открытымъ лифомъ; она глубоко сидѣла въ мягкихъ креслахъ, вытянувъ ноги и слегка наклонивъ небольшую голову; обнаженныя ея руки, потерявшія свою дѣтскую худобу и круглившіяся теперь какъ выточенныя изъ слоновой кости, неподвижно спускались на колѣна, придерживая кончиками пальцевъ полураскрытый черный вѣеръ. Казалось, она мало принимала участія въ томъ, что вокругъ нея происходило. Слегка приподнявъ голову, она раза два сказала нѣсколько словъ мужчинамъ, пробиравшимся бокомъ мимо нея съ извиненіями, но тѣмъ все и ограничивалось; въ эти два-три мгновенія, какъ приходилось ей говорить, глаза ея едва только приподнялись; опуская ихъ снова, она какъ бы продолжала смотрѣть внутрь себя, въ какую-то таинственную глубину, гдѣ скрывалась душа ея; ей, очевидно, охотнѣе было молчать и отдаваться теченію собственныхъ мыслей...

О чемъ она думала? Преждевременная душевная усталость обозначалась въ едва уловимыхъ продольныхъ складкахъ лба;

добрыя губы улыбались, но углы рта оставались безучастными къ улыбкѣ; тоскливое утомленіе выражалось даже въ ея опущенныхъ обнаженныхъ плечахъ, сверкавшихъ молочною бѣлизной и слегка зарумяненныхъ тамъ только, гдѣ плечо прижималось къ спинкѣ кресла.

Были ли то внезапно пробудившіяся во мнѣ воспоминанія счастливой,—увы!—давно утраченной жизни; были ли такъ чувства и нервы настроены, чтобы живо откликаться всему, что не было похоже на окружающее; наболѣло ли, наконецъ, сердце отъ неудовлетворенной когда-то потребности отдать всего себя этой самой женщинѣ, но при встрѣчѣ съ нею теперь сердце дрогнуло во мнѣ и радостно колыхнулось. Имъ овладѣла вдругъ нѣжность, — да, сладкая, томительная нѣжность, нѣжность прежнихъ лѣтъ,—и вмѣстѣ съ нею сожалѣніе, глубокое, ѣдкое, мучительное сожалѣніе. Менѣе чѣмъ когда-нибудь понималъ я теперь возможность ея замужества. Жгучее горе и лучшія движенія души путались во мнѣ и поперемѣнно смѣнялись одно другимъ. Проклиная судьбу, я упивался видомъ этой женщины и въ то время, какъ глаза мои жадно ее осматривали, душа какъ бы сама собою отдѣлялась отъ меня и робко, покорно опускалась къ ногамъ ея...

Въ самую эту минуту насъ раздѣлила толпа; туманъ прошелъ мимо глазъ моихъ; все завертѣлось и закружилось, страшно путаясь передо мною; дыханіе стѣснилось; я чувствовалъ духоту нестерпимую, чувствовалъ потребность освѣжить голову. Смутно различая выходную дверь гостиной, я замѣтилъ, однакожъ, что она была совершенно свободна и бросился къ ней прямо черезъ толпу.

Очутившись въ сосѣдней, почти пустой комнатѣ, я понялъ необходимость придти нѣсколько въ себя, прежде чѣмъ выбраться на лѣстницу; голова моя горѣла; я подошелъ къ ближайшему окну и машинально прислонился лицомъ къ холодному стеклу.

Въ окнѣ, сквозь глухую ночь, увидѣлъ я снова Неву, покрытую снѣгомъ; въ глубинѣ, за нею, мрачнымъ, смутнымъ пятномъ чернѣли какія-то зданія. Куранты проиграли на колокольнѣ

Петропавловскаго собора и вслѣдъ за тѣмъ глухимъ, протяжнымъ звукомъ пробило три часа ночи...

Я закрылъ глаза... Но тутъ же почувствовалъ я, что полъ началъ какъ будто колебаться подъ моими ногами, почувствовалъ, что снова началъ я уходить въ темный, холодный колодезь... Я сдѣлалъ невольное движеніе, чтобъ ухватиться руками, хотѣлъ вскрикнуть, вспомнилъ о моей шубѣ, которая оставалась въ швейцарской, но было уже поздно...

---

## IX.

Да, было поздно. Я уже сидѣлъ въ темномъ, тѣсномъ возкѣ, гдѣ, казалось, было еще холоднѣе, чѣмъ на улицѣ. По правую и по лѣвую руку сидѣли два человѣка; лица ихъ были запрятаны въ мѣховые воротники; при свѣтѣ мелькнувшаго газоваго фонаря я оглянулъ ихъ испуганнымъ взглядомъ, но они ушли еще глубже въ шубы.

Возокъ, между тѣмъ, загремѣлъ по какимъ-то мосткамъ; вдругъ стало еще темнѣе; я чувствовалъ, что мы спустились на Неву и поѣхали быстрѣе. Спутники мои не произносили ни слова; ихъ молчаніе окончательно меня смутило; душа наполнялась предчувствіемъ, чего? — я самъ не зналъ, но оно превращалось почему-то въ мучительное, тоскливое ожиданіе. Я обернулся сначала къ одному, потомъ къ другому, проговорилъ нѣсколько несвязныхъ, торопливыхъ словъ, но они продолжали упорно молчать.

Ужасъ выросталъ во мнѣ постепенно и охватилъ меня, наконецъ, всего, какъ желѣзными обручами. Внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что я нахожусь во власти моихъ спутниковъ; съ каждою секундой я почему-то убѣждался, что нѣтъ даже теперь такой силы, которая могла бы меня у нихъ вырвать.

Помню, мнѣ пришла вдругъ мысль, что будь у меня теперь въ карманѣ состояніе всѣхъ Ротшильдовъ вмѣстѣ, я, не думая секунды, немедленно бы все отдалъ, съ тѣмъ только, чтобъ они меня выпустили изъ этого возка; пускай у меня все возьмутъ, оставятъ въ рубищѣ, обрекутъ на всю жизнь мостить мостовую, — я на все готовъ, лишь бы вырваться изъ возка и получить свободу! Но я тутъ же понялъ всю несообразность такой мысли; у меня ничего не было, кромѣ оробѣвшаго сердца, которое то обрывалось и холодѣло, то звонко начинало стучать въ груди и стѣсняло дыханіе въ пересохнувшемъ горлѣ.

Я собирался крикнуть — и не могъ; но это ни къ чему бы не повело: звукъ моего голоса не могъ быть услышанъ; онъ не могъ проникнуть сквозь стѣны возка, не могъ заглушить визга снѣга и топота лошадей. Да, наконецъ, еслибъ и услышали мой голосъ, все равно изъ этого ничего бы не вышло.

„Вотъ, — думалъ я, — когда лошади привезутъ меня, — куда привезутъ, не зналъ я, но, тѣмъ не менѣе, замиралъ отъ ужаса, — когда лошади привезутъ, ихъ, вѣроятно, отправятъ назадъ съ возкомъ, который будетъ пустъ тогда... Потомъ лошадей отпрягутъ, поставятъ въ стойла, а завтра выведутъ ихъ на воздухъ и дадутъ имъ гулять по солнцу... Онѣ будутъ стоять — и не убѣгутъ... Какія глупыя!... А я... гдѣ я тогда буду?...“ Воображеніе пугливо рисовало передо мною тѣсное пространство между каменными стѣнами; кругомъ тишина, мертвая, какъ въ могильномъ склепѣ, и я одинъ, — одинъ, затерянный въ глубинѣ таинственныхъ корридоровъ, въ глубинѣ каменнаго лабиринта, и нѣтъ человѣка, который бы могъ спасти меня, который бы вступился и подалъ за меня голосъ... Забыли, забыли, какъ будто меня никогда не было, какъ будто я никогда не рождался.

Ужасъ овладѣлъ мною окончательно.

— Куда вы меня везете? — крикнулъ я голосомъ отчаянія, — за что?... Я ничего не сдѣлалъ дурнаго ни людямъ, ни противъ собственной совѣсти!... Я высказывалъ свои личныя впечатлѣ-

нія; я откровенно говорилъ о томъ, что мнѣ не нравилось, что казалось мнѣ ложью, неправдой, лицемѣріемъ...

— Вы могли это думать сколько вамъ было угодно,— проговорилъ неожиданно одинъ изъ спутниковъ учтивымъ, ровнымъ голосомъ, отъ котораго похолодѣлъ мозгъ костей моихъ.

— Чувствовать правду и молчать?... Помилуйте, вѣдь, это... это...

— Ужъ это ваше дѣло, милостивый государь! — перебилъ второй собесѣдникъ такимъ тономъ, который показывалъ, что онъ не желаетъ продолжать разговора.

Онъ закутался въ шубу и прижался въ уголъ возка.

Среди страшной путаницы мыслей и образовъ, которые меня осаждали, мелькнуло вдругъ въ моемъ встревоженномъ воображеніи поле, обширное русское поле, пересѣченное глянцовитыми рельсами желѣзной дороги, блиставшими на солнцѣ; по рельсамъ глухо и потрясая почву надвигалась паровая машина. Въ ту самую минуту, подлѣ самыхъ рельсъ, замѣтилъ я суетливо бѣжавшаго муравья; я быстро нагнулся, чтобъ отбросить его въ сторону, но муравей забрался уже на рельсы, и не успѣлъ я опомниться, какъ локомотивъ налетѣлъ, гремя и звеня, и маховое колесо прокатилось по рельсамъ... Гдѣ муравей?... Я поднялъ голову: за локомотивомъ нескончаемо бѣжалъ рядъ вагоновъ; въ открытыхъ окнахъ сидѣли князь Астраханскій, величественная особа, все еще державшая чайную чашку въ рукѣ, Пузыревъ, Пыщинъ, Филомоѳенскій, „человѣкъ анекдота“, Годуновъ, — словомъ, всѣ, съ кѣмъ я видѣлся сегодня на вечерѣ. Веселость была на всѣхъ лицахъ; они говорили и смѣялись.

— Чему вы смѣетесь?!—вырвалось у меня изъ груди, какъ будто въ этомъ смѣхѣ было для меня что-то оскорбительное.— Отчего вы всѣ такъ веселы?!... — подхватилъ я въ припадкѣ возраставшаго негодованія.

— Оттого, что мы—сила, а вы... вы—муравей!—отвѣчалъ чей-то голосъ, и сколько мнѣ показалось, голосъ Пузырева изъ послѣдняго вагона. Въ самомъ дѣлѣ, они правы. Дѣйствительно,

они — сила, а я — я муравей, какъ тотъ муравей, который шелъ по рельсамъ... Маховое колесо черезъ меня точно такъ же прокатило... Я это чувствовалъ; я былъ смятъ, раздавленъ, уничтоженъ...

— Послушайте, — заговорилъ я вдругъ съ поспѣшностью, которая меня самого удивила, — послушайте, — прибавилъ я, касаясь шубы моихъ спутниковъ, — имѣли ли вы когда-нибудь передъ собой карту Европы?... Это только ничтожнѣйшая часть материка земнаго шара, не правда ли? На этой картѣ, съ лѣвой стороны, небольшой клочокъ земли: это — Великобританія; на ней, въ нижней ея части, точка съ булавочную головку: это — Лондонъ. Эта булавочная головка несравненно бо́льшаго размѣра, чѣмъ бы ей слѣдовало быть пропорціонально противъ размѣра всей Англіи; она такъ велика для того только, чтобы на картѣ ясно видно было, что здѣсь Лондонъ. Вообразите же теперь, что въ этой точкѣ, едва примѣтной для глаза и обозначающей Лондонъ, живетъ четыре милліона людей! Это доказываетъ только, какой человѣкъ маленькій, какіе всѣ мы маленькіе, какіе всѣ мы ничтожные и какъ ничтожна та сила, которую мы въ себѣ воображаемъ. Мы ничего больше, какъ пыль, да, живая пыль, разсыпанная кое-гдѣ по землѣ... Пододвинутся льды Сѣвернаго океана, пройдетъ тифонъ, дунетъ вѣтеръ — и все это смететъ и снесетъ, какъ прахъ, и ничего не останется, кромѣ коры земной. Ну, сто́итъ ли выказывать передъ этимъ свою собственную силу? Ксерксъ разорилъ страну, сооружая флотъ противъ враговъ; дунулъ вѣтеръ — и флотъ разлетѣлся въ щепки; благоразумно ли поступилъ Ксерксъ, приказавъ высѣчь море изъ желанія наказать его за неповиновеніе? Все это — прахъ и ничтожество; въ насъ сила только нами же сочиненная; настоящая сила не въ насъ, а въ чемъ-то другомъ, тамъ, гдѣ-то выше надъ нами. У насъ существенно и драгоцѣнно только одно: сознаніе жизни и чувство свободы, которой вы меня лишаете. Ну, что изъ того, что вы меня взяли и везете, — зачѣмъ, куда? — не знаю, но мнѣ страшно. Вы, конечно, въ эту минуту сильнѣе меня; но все это мелочь; и вы, и я — мы всѣ умремъ и, въ

сущности, ничего не перемѣнится. Убудетъ ли что-нибудь изъ того, если вы меня отпустите на свободу? Листъ отъ этого на деревѣ не колыхнется, песчинка не тронется на всей землѣ.

Возокъ, между тѣмъ, продолжалъ скользить по снѣгу; мы начинали куда-то подниматься; кругомъ была тьма кромѣшная. Посреди тишины раздавался только скрипъ полозьевъ и глухой топотъ копытъ. Но вотъ послѣдній этотъ звукъ сталъ явственнѣе; подъ ногами лошадей послышалась мостовая; въ возкѣ стало какъ будто меньше воздуху; я ничего не видѣлъ, но понялъ, что мы въѣхали въ тѣсное пространство, тащимся подъ нескончаемыми длинными сводами.

Тутъ почувствовалъ я вдругъ, что силы окончательно меня оставили. Сознаніе полной безнадежности проникло въ мою душу; она какъ будто сжалась и помертвѣла; руки мои тяжело опустились; я безсильно склонилъ голову и закрылъ глаза.

Но впечатлѣніе, которое затѣмъ послѣдовало, слишкомъ сильно, чтобъ я могъ его высказать, не переведя духъ, не отдохнувъ минуту. Припоминая весь вчерашній сонъ, мнѣ даже теперь трудно передать всѣ оттѣнки этого впечатлѣнія.

---

## X.

Открывъ глаза, я въ первую минуту былъ совершенно ослѣпленъ свѣтомъ и невольнымъ движеніемъ закрылъ лицо. Отведя понемногу ладонь и приподнявъ вѣки, я увидѣлъ себя между деревьями молодой, только-что распустившейся березовой рощи, охваченной полуденнымъ солнцемъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ я стоялъ, легкая прозрачная тѣнь покрывала траву. Шагахъ въ двадцати передо мною, — тамъ, гдѣ рѣдѣли деревья и кончалась роща, солнце било всею своею силой и освѣщало между стволами небольшую рѣчку, омывавшую корни деревьевъ. За рѣкой начи-

нался лугъ съ изгибавшимся далѣе плетнемъ; надъ нимъ, какъ облака, круглились яблочныя деревья, обсыпанныя бѣло-розовымъ цвѣтомъ. Вся эта отдаленная часть озарялась точно такъ же лучезарнымъ свѣтомъ, смягченнымъ сквознымъ паромъ, поднимавшимся надъ лугомъ и надъ садомъ.

Въ тѣни, гдѣ я стоялъ, трава и мохъ были еще влажны; кругомъ носился еще сладкій, прѣсноватый запахъ прошлогодняго листа; мѣстами онъ темнѣлъ и слоился ворохомъ; но уже то тутъ, то тамъ пробивались надъ нимъ темно-зеленые, точно граненые, листки земляники и выбѣгалъ тонкій, бѣловатый стебель ландыша, наливавшійся свѣжимъ сокомъ, хлынувшимъ изъ подогрѣтаго корня. Сильнѣе всего, впрочемъ, разливался въ воздухѣ крѣпительный запахъ молодой распустившейся березы; нѣжнымъ цвѣтомъ, почти безъ оттѣнка, свѣтилась въ тѣни ея зелень, сквозившая и блиставшая на солнцѣ своимъ пахучимъ лакомъ.

Въ небѣ стояли неподвижно, бѣлѣя, облака съ глубокими голубыми просвѣтами; надъ лугомъ и рощей, въ небесной вышинѣ, немолчно заливались жаворонки; надъ рѣчкой сновали ласточки, а въ отдаленіи, по свѣтлому лугу, важно расхаживалъ сизый, лоснившійся на солнцѣ, грачъ, первый возвѣстникъ весны, первая „хлѣбная птица“, какъ говорятъ поселяне.

Все вокругъ меня и надо мной трепетало жизнью, все ликовало и улыбалось улыбкой кротости и мирнаго счастья. Я стоялъ, я смотрѣлъ, я прислушивался и весь — и духомъ, и тѣломъ отдавался новому впечатлѣнію. Тягостныя, испытанныя передъ тѣмъ ощущенія совершенно изгладились изъ моей памяти; ихъ вытѣсняло одно чувство—чувство жизни, чувство радости и безмѣрнаго счастья. Въ душѣ какъ будто также пробуждалась весна; самыя свѣтлыя чувства раскрывались въ ней подобно молодой листвѣ; между тѣмъ, по щекамъ сами собою катились слезы, — да, слезы благодарности и нѣжнаго умиленія.

Не знаю, сколько времени простоялъ я на одномъ мѣстѣ, постоянно приходя въ себя и какъ бы умственно и сердечно

оттаивая, — помню только, я былъ развлеченъ дѣтскимъ голосомъ, такимъ же свѣтлымъ и чистымъ, какъ все, что меня окружало. Обернувшись къ краю рощи, гдѣ была рѣчка, я увидѣлъ дѣвочку лѣтъ шести; распустивъ по воздуху золотистые свои волосы, перевязанные у темени голубою лентой, и вся сіяя веселостью, она бѣжала рѣзво, подпрыгивая, по тропинкѣ, изгибавшейся по берегу между деревьями. Минуту спустя, между стволами мелькнуло бѣлое платье; ближе, ближе, на тропинкѣ показалась женщина и, въ то же время, послышался мягкій, какъ будто давно знакомый, давно любимый голосъ. Я прислушался, всмотрѣлся и, какъ околдованный, приросъ къ землѣ.

Эта женщина была Мери, — та самая Мери, которая послѣ стольких лѣтъ и такъ неожиданно явилась мнѣ на вечерѣ у князя Астраханскаго.

Какъ я сказалъ, тяжелыя впечатлѣнія этого вечера совершенно изгладились изъ моей памяти; все, что тамъ было, ушло въ безконечную даль, путалось и смутно тушевалось; ясно выступалъ изъ нея только образъ Мери, задумчиво сидѣвшей тогда въ креслахъ. Ясно припоминалъ я также свои собственныя чувства,—чувства ѣдкаго сожалѣнія и глубокой нѣжности, пробуждаемыя когда-то ея видомъ. Но сожалѣнія во мнѣ уже теперь не было; я смотрѣлъ на нее съ нѣжностью, которая воскресала съ удвоенною силой; весь ея образъ проникалъ въ мою душу и наполнялъ ее неслыханнымъ восторгомъ.

Никогда не была она болѣе прелестна, какъ теперь, подъ этимъ сводомъ распускавшейся зелени, съ ея пепельными волосами, просто подобранными зубцами гребня, съ ея гибкимъ станомъ, перехваченнымъ широкимъ бѣлымъ платьемъ, по которому во время ея движеній скользили тѣни, перемежавшіяся съ пятнами солнца, освѣщавшими ей неожиданно то лицо, то руки, то плечи.

Ни въ одной чертѣ ея не строгаго, но ласковаго и добраго лица не было слѣда заботы; тягостныя испытанія жизни исчезли

также какъ будто изъ ея памяти; она весело прислушивалась къ голосу дѣвочки, бѣжавшей впереди, и, казалось, всѣ ея мысли сосредоточивались на ней одной.

И казалось мнѣ также, чѣмъ сильнѣе сознавалъ я всю сладость настоящаго ощущенія, тѣмъ болѣе приближался я къ настоящей цѣли такъ давно волновавшихъ меня желаній; вся жизнь была какъ-будто цѣлью этой встрѣчи, — да, именно этой встрѣчи въ такое утро и при тѣхъ самыхъ условіяхъ!

Неудовлетворенныя мечты, раздраженіе чувствъ и мыслей, скорбныя разочарованія, тревога ожиданій, внутренняя тоска, — все это оставалось теперь назади, прошло, невозвратимо сгладилось. Я какъ будто жилъ до-сихъ-поръ, постоянно чего-то съ безпокойствомъ отыскивая, постоянно не находилъ желаемаго, тревожился, падалъ духомъ и вдругъ, вдругъ, самымъ неожиданнымъ образомъ, нашелъ все, чего душа такъ долго и такъ жадно просила, — нашелъ, наконецъ, счастье!

Такъ могло только быть съ человѣкомъ, который, никѣмъ не замѣченный, упалъ въ волны пространнаго моря; онъ сдѣлалъ все возможное для своего спасенія, но, наконецъ, обезсилѣлъ, и въ то время, какъ началъ онъ уже уходить въ бездну, волна раскрылась, другая счастливая волна его подхватила и вынесла на воздухъ; передъ нимъ вблизи мелькнулъ берегъ, освѣщенный солнцемъ; силы его вдругъ воскресли, онъ борется противъ волнъ и, весь истерзанный, жадно, наконецъ, хватается за край берега.

Этотъ берегъ былъ для меня Мери и весь тотъ свѣтлый уголокъ земли, ее окутавшій.

... Память на минуту измѣняетъ мнѣ... Помню, я былъ отъ нея уже въ двухъ шагахъ... Она неожиданно повернула ко мнѣ лицо свое; черты ея не выразили удивленія; она какъ будто сама ждала меня и, ласково улыбнувшись, протянула мнѣ обѣ руки.

Крикъ, заглушенный рыданіями, — рыданіями отъ избытка счастья, — вырвался изъ груди моей, я бросился къ ногамъ ея и... и проснулся.

Я лежалъ въ постели; сѣрыя стѣны моей комнаты тускло отражали свѣтъ осенняго начинающагося петербургскаго утра. За окномъ, выходившимъ на дворъ, сыпался мокрый снѣгъ, прилипавшій къ стекламъ; на дворѣ раздавался унылый, однообразный горловой голосъ: „Халаты... халаты хорошіе... халаты!“

Я въ мигъ осмыслилъ дѣйствительность, меня окружавшую, тяжело опустился на подушку, закрылъ глаза и произнесъ со вздохомъ: „Господи, зачѣмъ я проснулся?“

# НЕ ПО ХОРОШУ МИЛЪ,—ПО МИЛУ ХОРОШЪ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДОКТОРУ Л. Б. БЕРТЕНСОНУ.

# НЕ ПО ХОРОШУ МИЛЪ,—ПО МИЛУ ХОРОШЪ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОКТОРУ Л. Б. БЕРТЕНСОНУ.

---

«Quisquis amat, valeat;
Pereat, qui nescit amare;
Bis tanto pereat,
Quisquis amare vetat».

*Casa Rufus. Pompeia.*

«Любящимъ—привѣтъ;
Неумѣющимъ любить—погибель;
Дважды погибель
Запрещающимъ любить».

*Античная надпись въ домѣ Руфа въ Помпеѣ.*

## I.

Уютный мужской кабинетъ освѣщался съ одной стороны большой лампой, прикрытой свѣтлымъ абажуромъ, съ другой, — тушевался въ красноватомъ полусвѣтѣ отъ камина съ горѣвшими угольями. Передъ каминомъ, на турецкомъ диванѣ и съ боку, въ широкихъ кожаныхъ креслахъ, сидѣло четверо мужчинъ. Всѣ четверо были школьные товарищи; у каждаго пробивала уже сѣдина; одинъ изъ нихъ, хозяинъ дома, былъ совершенно бѣлый.

Между ними издавна было такъ условлено: когда одинъ изъ нихъ, служившій на югѣ Россіи, пріѣзжалъ въ Петербургъ, всѣ четверо собирались обыкновенно у владѣльца кабинета, обѣдали у него и проводили вмѣстѣ вечеръ.

Владѣлецъ кабинета, человѣкъ съ достаткомъ, нигдѣ не служилъ; онъ, большею частью, проводилъ половину года заграницей. Изъ остальныхъ трехъ, одинъ занималъ мѣсто товарища прокурора и проживалъ въ одной изъ южныхъ губерній, другой былъ инженеръ, третій служилъ сначала въ министерствѣ просвѣщенія, но вскорѣ вышелъ въ отставку и занялся исключительно литературой.

Въ описываемый вечеръ всѣ были какъ-то особенно разговорчиво настроены; бесѣда отличалась рѣдкимъ воодушевленьемъ, хотя, надо сказать, не отличалась большою послѣдовательностью; по русскому обычаю, всѣ хотѣли говорить въ одно время, никто не давалъ другому докончить рѣчи, спѣша вставить свою мысль или замѣчаніе, отчего самый предметъ бесѣды часто разбѣгался, какъ дробь, брошенная на полъ, и рѣдко оставался исчерпаннымъ. Говорили о событіяхъ дня и года, разбирали по косточкамъ дѣйствія разныхъ лицъ, касались мимоходомъ спеціальныхъ вопросовъ, перескакивали къ отвлеченнымъ предметамъ, не обошлось, — конечно, безъ болгаръ и Бисмарка, — но кончилось все-таки тѣмъ, чѣмъ обыкновенно кончается между холостыми мужчинами: бесѣду свели на женщинъ.

— Господа! проговорилъ литераторъ, прошу слова! Минуту вниманія: вмѣсто того чтобъ обмѣниваться клочками мыслей и впечатлѣній, касаться часто интереснаго предмета и, помазавъ имъ по губамъ, какъ говорится, переходить къ другому, еслибъ мы разъ навсегда приняли добрый старый методъ серапіоновыхъ братьевъ, т. е. условились въ предметѣ бесѣды, и пускай сначала одинъ что-нибудь разскажетъ, потомъ поочереди другой и т. д. Мы заговорили теперь о женщинахъ, чего же лучше! Предметъ настолько интересенъ, что, кажется, на немъ можно было бы остановиться. Въ немъ — какъ и во всемъ, важны не отвлеченныя разсужденія, которыя обыкновенно не приводятъ ни къ какому результату, важны факты, и чѣмъ фактъ ближе къ разсказчику и пережитъ имъ, тѣмъ онъ, разумѣется, занимательнѣе. — Каждому изъ насъ, на вѣку своемъ, приходилось, конечно, слышать мно-

жество любовныхъ приключеній; кто слышалъ, — кто самъ былъ свидѣтелемъ интересныхъ случаевъ; наконецъ, положивъ руку на сердце, — кто изъ насъ можетъ сказать какъ Пилатъ: „умываю себѣ руки“, — неповиненъ въ увлеченіи женщиной, не переживалъ съ ней ни горя, ни радостей; не знаю, заслуживаетъ ли она въ самомъ дѣлѣ поклоненія и того, чтобъ для ея любви стоило жертвовать своимъ спокойствіемъ и часто портить свою жизнь... Мы почему-то до сихъ поръ умалчивали объ этомъ, никогда не доходили до полной откровенности... Предлагаю: сдѣлаемъ сегодня первый опытъ. Уговоримся въ очереди, и пускай каждый разскажетъ свою сердечную исторію. Намъ нечего кокетничать годами; кто изъ насъ старше? хозяинъ дома! очередь за тобой... Мы слушаемъ!

Какъ ни близки были присутствующіе между собою, но застигнутый врасплохъ хозяинъ дома нѣсколько смутился...

Минуты двѣ сидѣлъ онъ молча съ опущенной головой, наконецъ сдѣлалъ рѣшительный жестъ и началъ:

---

## II.

— Заставая меня иногда въ черной хандрѣ или встрѣчая печальнымъ и разсѣяннымъ, вы давно догадывались, что я скрываю въ душѣ какое-нибудь горе. Изъ деликатности вы не разспрашивали; я молчалъ вовсе не потому, что не довѣрялъ вашей скромности. Какъ мы всѣ ни дружны и, кажется, нечего уже намъ церемониться, но бываютъ въ жизни случаи до того уже интимные, до такой степени близкіе, что прячешь ихъ въ самую глубину сердца и бережешь ихъ тамъ, какъ святыню; не говоришь о нихъ впослѣдствіи изъ чувства, быть можетъ, ложной стыдливости и, наконецъ, молчишь уже такъ себѣ — по привычкѣ.

Тѣ изъ васъ, которые благоразумны, которыми въ подобныхъ случаяхъ (если таковые были) управляли осторожность или

эгоизмъ, — непремѣнно скажутъ въ концѣ моего разсказа: „ты самъ во всемъ виноватъ, самъ накликалъ себѣ горе; не надо было, очертя голову, поддаваться первому впечатлѣнію, давать волю воображенію; надобно было подумать о послѣдствіяхъ...“ и т. д. Все это совершенно вѣрно; но что же прикажете дѣлать! Во-первыхъ, я неблагоразуменъ, — вы всѣ это знаете, во-вторыхъ, я всю мою жизнь былъ рабомъ моего сердца; другаго начальства у меня никогда не было. Наконецъ, если ударъ, который поразилъ меня, былъ жестокъ, ему предшествовало столько счастья, что, натурально, оно не могло долго продолжаться; на свѣтѣ все уравновѣшено...

Все это произошло, надо вамъ сказать, очень давно. Это было въ то время, когда помните? — онъ (разсказчикъ указалъ на юриста) уѣзжалъ первый разъ на службу, а я первый разъ отправлялся заграницу.

Странствуя безъ особенной цѣли, остановился я въ одномъ изъ главныхъ городовъ южной Германіи.

Проходя городскимъ садомъ съ цѣлью сократить путь къ гостинницѣ, я нисколько не удивился, не встрѣтивъ тамъ живой души; было около полудня, и жара стояла нестерпимая.

Почти у выхода, на послѣднемъ поворотѣ, увидѣлъ я женщину, одиноко сидѣвшую на скамейкѣ. Въ первую минуту я не имѣлъ возможности разсмотрѣть ея лица: оно было опущено, и край шляпки закрывалъ его верхнюю половину; одѣта она была не только скромно, но бѣдно: платье темнаго цвѣта, очевидно, давно уже служило; ботинки на вытянутыхъ скрещенныхъ ногахъ также не отличались свѣжестью; перчатки показались мнѣ изношенными. Она сидѣла такъ неподвижно, что можно было подумать, — она заснула.

Я умышленно надавилъ подошвой песокъ дорожки и кашлянулъ. Она подняла голову; по лицу ея промелькнуло выраженіе не то удивленія, не то испуга; но это продолжалось секунду; она тотчасъ же отвернула голову.

Я успѣлъ однакожъ осмотрѣть ея лицо; оно не отличалось

особенной красотою, но съ перваго взгляда показалось мнѣ крайне симпатичнымъ. Внезапный поворотъ головы открывалъ передо мною часть тонкой бѣлой шеи, оттѣненной вьющимся пушкомъ, и выше закручивался роскошный пучокъ волосъ чуднаго пепельнаго цвѣта. Красота волосъ и такого именно оттѣнка всегда обаятельно на меня дѣйствовала; въ прежнее время мнѣ трудно было побѣдить соблазнъ; я готовъ былъ надѣлать множество глупостей, — и дѣлалъ ихъ, — чтобы только прикоснуться къ такимъ волосамъ губами.

Не долго думая, я подошелъ къ скамейкѣ, сѣлъ на противуположный конецъ и, обратясь къ незнакомкѣ, спросилъ, — не безпокоитъ ли ее моя сигара.

Она тотчасъ же поняла, что вопросъ мой былъ только предлогомъ вступить въ разговоръ. Не отвѣчая, она сдѣлала нетерпѣливое движеніе и привстала съ мѣста; я поспѣшилъ предупредить ее, — поклонился и вышелъ изъ сада.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, я остановился; мнѣ стало вдругъ совѣстно передъ нею. Вамъ покажется это страннымъ; вы скажете: нужда была заботиться о томъ, что можетъ подумать незнакомая женщина, съ которой слова не было сказано, которая только молчала и отворачивалась; все это такъ; но тутъ примѣшивалось любопытство и кромѣ того, — признаюсь вамъ, — все въ той женщинѣ: обликъ ея лица, ея волосы, ея поза, въ которой проглядывала естественная женственная грація, — все невольно меня къ ней притягивало.

Я вернулся въ садъ, занялъ прежнее мѣсто, — и помню, — почувствовалъ вдругъ неловкость, не зналъ рѣшительно, съ чего начать.

Я просилъ ее извинить меня въ моей докучливости, просилъ не думать, чтобы меня побуждало къ этому дерзкое чувство, такъ часто заставляющее мужчинъ привязываться къ незнакомой женщинѣ; старался объяснить ей, что въ моемъ любопытствѣ не было ничего оскорбительнаго, что оно вызвано самымъ натуральнымъ образомъ, ея одиночествомъ въ этомъ саду и въ такой часъ, —

наконецъ, печальнымъ выраженіемъ ея лица, явно говорившимъ о присутствіи въ ея душѣ тягостнаго чувства.

Во время этихъ объясненій незнакомка окинула меня нѣсколько разъ робкимъ недовѣрчивымъ взглядомъ. Мнѣ рѣдко приводилось встрѣчать глаза съ такимъ нѣжнымъ очертаніемъ вѣкъ, съ такимъ мягкимъ бархатнымъ оттѣнкомъ въ темныхъ зрачкахъ, смотрѣвшихъ такъ, что внизу оставалась всегда частичка голубоватаго бѣлка.

Что бы тамъ ни писалось и ни говорилось объ обманчивости женскихъ глазъ, все, что самъ я испыталъ по этой части, никогда не могло вразумить меня; отдавая долю женскому лукавству, притворству и хитрости (а развѣ мы, мужчины, не хитримъ, не лукавимъ и не притворяемся?), я безусловно больше вѣрю въ честность и прямодушіе женщинъ, чѣмъ мужчинъ.

Глаза незнакомки, ея нѣсколько пухлыя губы съ опущенными углами, какъ у огорченнаго ребенка, не могли принадлежать дурной женщинѣ... Дайте мнѣ договорить до конца; вы убѣдитесь, что внутреннее чувство меня не обманывало.

Старанія мои вызвать незнакомку на разговоръ не имѣли никакого успѣха; она молчала, продолжая задумчиво водить кончикомъ зонтика по песку. Я рѣшился на послѣднюю попытку: „была-не-была, подумалъ я, — положеніе мое слишкомъ глупо, пора кончить; согласится — хорошо; не согласится — можетъ быть, еще лучше...“ Я подсѣлъ ближе и, сколько помнится, обратился къ ней приблизительно съ такими словами:

— Послушайте, сказалъ я, смягчая, на сколько возможно, голосъ и самую форму выраженій, — догадаться не трудно: у васъ на душѣ какая-то печаль... Мнѣ также почему-то сегодня не весело; я совершенно одинъ въ этомъ городѣ, знакомыхъ ни души, скука смертная... Предлагаю вамъ слѣдующее: предупреждаю васъ: въ моемъ предложеніи нѣтъ никакой дурной задней мысли... дѣлаю его вамъ потому только, что вамъ скучно и мнѣ также... Чѣмъ сидѣть здѣсь на жарѣ, пойдемте въ ближайшую улицу; я возьму фіакръ, отправимся куда-нибудь за городъ... Вамъ нечего

бояться; даю вамъ слово исполнить малѣйшее ваше желаніе; захотите ѣхать назадъ, — мгновенно вернемся... Одно у меня желаніе: чтобы вы не обидѣлись моимъ предложеніемъ... Что жъ, согласны?...

— ...Хорошо... проговорила она, но такимъ подавленнымъ голосомъ, что я едва разслышалъ. Не оборачиваясь даже въ мою сторону, она встала и пошла прямо къ воротамъ сада. Я предложилъ ей руку, она отказалась взять ее.

Я посадилъ ее въ первый попавшійся фіакръ, назвавъ кучеру одно изъ лучшихъ загородныхъ мѣстъ, о которомъ слышалъ наканунѣ, и мы поѣхали. Я началъ ее благодарить и хотѣлъ пожать ей руку, но она быстро отодвинулась въ уголъ экипажа.

---

## III.

Положеніе мое стало еще глупѣе. Съ каждой минутой я чувствовалъ возраставшую неловкость и начиналъ на себя досадовать. На всѣ мои разспросы она отвѣчала какъ бы нехотя, полусловами и больше отмалчивалась. „Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ согласилась она ѣхать со мною?“ спрашивалъ я себя поминутно.

„И я также хорошъ! продолжалъ я разсуждать мысленно,— очень было нужно упрямиться и заходить такъ далеко! Вотъ я всегда такъ: всегда увлекусь, всегда отдаюсь первому впечатлѣнію“... Одно удерживало меня предложить ей вернуться назадъ: во время пути я нѣсколько разъ примѣтилъ, какъ губы ея судорожно сжимались, тонкія ноздри приходили въ движеніе, грудь сильнѣе приподымалась и глаза дѣлались влажными. Она дѣйствительно была чѣмъ-то сильно удручена и всячески старалась овладѣть собою. Чувство состраданія взяло во мнѣ верхъ надъ досадой. Мнѣ приходило въ голову, что тамъ, на свободѣ, она наконецъ выскажется, и терпѣливо сталъ ждать выѣзда изъ города.

Передъ нами открылась довольно унылая мѣстность, пересѣченная шоссе, ослѣпительно сверкавшимъ на солнцѣ между тополями; съ правой стороны подымались холмы, покрытые лѣсомъ; внизу, подъ крутымъ берегомъ, изгибался ручей, который мы только-что переѣхали. Остановивъ фіакръ, я высадилъ мою спутницу, и мы машинально направились къ лѣсу. Миновавъ опушку, я пригласилъ ее сѣсть въ тѣни подлѣ берега, и самъ занялъ подлѣ мѣсто.

Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь въ такомъ положеніи, но могу васъ увѣрить, ничего не можетъ быть тягостнѣе. Несравненно было бы проще сказать ей: если такъ, если ужъ вы непремѣнно дали клятву молчанія, — сядемъ снова въ фіакръ, я довезу васъ до дому и прощайте! Но у меня недоставало на это рѣшимости; такой поступокъ казался мнѣ непростительно грубымъ противъ женщины, кто бы она ни была.

Съ другой стороны упорное молчаніе незнакомки начинало дѣйствовать на меня раздражительно. Подъ вліяніемъ ли такого чувства или, скорѣе, вслѣдствіе тоскливыхъ мыслей, которыя сами собою напрашивались,—я началъ говорить въ общихъ фразахъ о положеніи дѣвушки, брошенной на произволъ въ большомъ городѣ... Въ надеждѣ тронуть наконецъ мою незнакомку и вызвать въ ней хоть какое-нибудь оживленіе, я принялся дальше развивать мою мысль и, мало-по-малу увлекаясь, заговорилъ о дурныхъ примѣрахъ въ семьѣ и бѣдности, заставляющей молоденькую дѣвушку иногда противъ воли сдѣлать первый шагъ и потерять себя... Заговорилъ о соблазнахъ всякаго рода, испорченности нравовъ, эгоизмѣ мужчинъ—часто даже ихъ безчеловѣчной жестокости въ иныхъ случаяхъ...

Но тутъ произошло что-то странное, отчего я въ первую минуту едва могъ придти въ себя.

Все время какъ я говорилъ, она сидѣла ко мнѣ съ полуоборота, упираясь локтемъ въ траву.

При послѣднихъ моихъ словахъ она вдругъ упала лицомъ

въ траву и зарыдала, но зарыдала такимъ рыданьемъ, отъ котораго у меня полоснуло по сердцу.

Я бросился ее успокоивать, умолялъ простить меня, увѣрялъ и клялся въ добромъ намѣреніи моихъ словъ, умолялъ довѣрить мнѣ ея горе, — ничего не помогало; она продолжала такъ же горько рыдать. Но когда я всталъ передъ ней на колѣна, стараясь приподнять ее, она неожиданно упала мнѣ на руки и, не обращая ко мнѣ лица, вдругъ заговорила.

Сквозь всхлипыванья, которыя разрывали ей грудь,—я могъ только разслышать: — „Первый разъ... первый слышу такія слова... никто не говорилъ такъ со мною... Если вы добрый... спасите... спасите меня... не дайте мнѣ погибнуть!..“

Я былъ глубоко растроганъ и тутъ же обѣщалъ исполнить всѣ ея желанія. Послѣ того какъ она немного успокоилась, я подвелъ ее къ ручью, далъ ей напиться и повелъ подъ руку къ фіакру. Во все время пути тѣло ея судорожно вздрагивало; я чувствовалъ — у меня самого руки и ноги тряслись какъ въ лихорадкѣ.

Въ городѣ она не захотѣла, чтобы я подвезъ ее къ дому; когда я предложилъ ей руку, она снова отказалась взять ее и пошла рядомъ со мною.

Жила она въ отдаленномъ кварталѣ въ верхнемъ этажѣ большаго дома, гдѣ нанимала комнату въ семействѣ столяра; комната была крошечная, въ одно окно, смотрѣвшее на черепичныя кровли; вокругъ слышались дѣтскіе плачъ и крики, носился горько-кислый запахъ стирки; бѣдность обстановки била въ глаза: табуретъ вмѣсто стула, низкая узенькая желѣзная кровать, вѣшалка съ юбками и ситцевой кофтой; на комодѣ примѣтилъ я тарелку съ кускомъ ветчины и часть домашняго хлѣба. Сама она показалась мнѣ крайне смущенной, взволнованной, не знала положительно, что сказать. Чтобы скорѣе вывести ее изъ затрудненья,—я предложилъ отправиться обѣдать въ одинъ изъ загородныхъ ресторановъ и вмѣстѣ провести вечеръ.

Тамъ, послѣ обѣда, сидя въ глухой части сада, узналъ я ея исторію.

Исторія самая обыкновенная: отецъ пьяный мастеровой, мачиха, куча босыхъ дѣтей, нищета... Десяти лѣтъ отдали ее въ картонажное заведеніе съ уплатой въ мѣсяцъ по два талера, служившіе обыкновенно поводомъ къ потасовкамъ между отцомъ и мачихой; каждому хотѣлось воспользоваться этими деньгами. Семнатцати лѣтъ она лишилась отца; вскорѣ послѣ того ее переманили на игрушечную фабрику въ тотъ большой городъ, гдѣ я ее встрѣтилъ. Жилось ей очень трудно,—но она была счастлива уже тѣмъ, что избавилась отъ мачихи.

Простодушная откровенность, съ которой она до-сихъ-поръ говорила, неожиданно измѣнила ей; старанія скрыть свою неловкость были очевидны, и я поспѣшилъ перевести разговоръ на самого себя. Съ умышленною веселостью сталъ я разсказывать разные случаи, встрѣтившіеся мнѣ во время путешествія. Она мгновенно оправилась, но намѣреніе мое остановить ее отъ дальнѣйшаго признанія и желаніе ее развлечь,—не ускользнули отъ ея вниманія. Слушая меня, она первый разъ, можно сказать,—стала внимательно прислушиваться къ моимъ словамъ, смотрѣть мнѣ прямо въ лицо и какъ бы успокоиваться въ моемъ присутствіи.

Въ ея чертахъ и взглядахъ изобразилось при этомъ столько простосердечія, столько хорошаго, добраго чувства, что у меня какъ рукой сняло набѣжавшія было дурныя мысли.

---

## IV.

Дальше кончилось вотъ чѣмъ: вмѣсто того, чтобы прожить въ этомъ городѣ нѣсколько дней, какъ прежде предполагалось,—я прожилъ въ немъ два съ половиной мѣсяца и съ каждымъ днемъ больше и больше привязывался къ этой дѣвушкѣ. Къ такому чувству, надо сказать, сильно также примѣшивалось чув-

ство глубокаго состраданья; оно не давало мнѣ покоя. У меня положительно не хватало сердца оставить ее на произволъ судьбы; въ эти два съ половиной мѣсяца я убѣдился, насколько она въ этомъ дѣлѣ заслуживала сердечнаго участія. Все, что она видѣла и что испытала, какъ бы скользнуло по ней, не прикоснувшись къ ея уму и сердцу; къ удивленью моему, то и другое сохранило что-то дѣтское, простодушное въ связи съ прирожденной честностью.

Мысль о томъ, что ожидаетъ ее впереди, — что рано или поздно она должна будетъ погибнуть, — не оставляла меня на минуту.

Я по природѣ моей антиподъ Печорину и вообще ненавижу ловеласовъ и Донъ-Жуановъ, у которыхъ вмѣсто сердца трепещетъ какая-то дикая кошка съ вѣчно выпущенными когтями. Съ другой стороны, привязанность моя начинала пугать меня. Чѣмъ дольше будетъ она продолжаться—думалъ я,—тѣмъ тяжелѣе будетъ разлука. Обезпечить ее настолько, чтобы спасти на всю жизнь отъ бѣдности, я не могъ; я тогда не владѣлъ еще моимъ состояньемъ; и наконецъ какъ ни былъ я увлеченъ,—я понималъ несообразность устроить судьбу женщины, случайно встрѣченной на пути; я началъ тогда самъ себя обманывать увѣреніями, что не устою противъ долгой разлуки; ее увѣрялъ, что скоро вернусь назадъ, скоро снова увидимся. Горьчѣе всего было мнѣ видѣть, какъ она, въ дѣтскомъ своемъ простодушіи, — всему искренно вѣрила.

Разлука у дверецъ вагона была тѣмъ не менѣе очень тяжела; сколько я ни крѣпился, я не могъ удержаться отъ слезъ, обнимая ее, — заплакалъ потому, можетъ быть, что она рыдала навзрыдъ, не стѣсняясь присутствующими.

Въ слѣдующемъ городѣ, при перемѣнѣ поѣзда, я случайно встрѣтился съ нашимъ общимъ товарищемъ Зарубинымъ; онъ также ѣхалъ въ Италію. Помните, что это былъ за славный малый:—и сердце хорошее, и умница большой! Мы другъ другу очень обрадовались и поспѣшили занять мѣсто рядомъ въ одномъ вагонѣ.

Подъ впечатлѣніемъ только-что испытанной разлуки, — я высказалъ ему обо всемъ случившемся, ничего не утаивая. Оглянувъ меня съ удивленьемъ, онъ слушалъ, сначала недовѣрчиво улыбаясь и пожимая плечами; вскорѣ однакожъ, убѣдясь, что то, что я высказываю, затрогивало меня глубже, чѣмъ ему прежде казалось, онъ сдѣлался внимательнѣе и серьезнѣе.

Мы пріѣхали въ Геную, остановились въ той же гостинницѣ и заняли общій номеръ.

Я не могъ сомкнуть глазъ во всю ночь; тоска невыразимая, капля за каплей, вливалась мнѣ въ душу. Разлука съ нею чувствовалась несравненно острѣе, чѣмъ наканунѣ; теперь только какъ бы вполнѣ сознавалъ я всю силу моей привязанности, сознавалъ весь ужасъ будущей судьбы покинутой дѣвушки. Къ утру безпокойство мое увеличилось до того, что Зарубинъ самъ встревожился и счелъ долгомъ приступить къ совѣтамъ и увѣщаніямъ. Но слова его, полныя дружескаго чувства и самыхъ добрыхъ намѣреній, служили только какъ бы упрекомъ моему безсердечію. Онъ поспѣшилъ повести меня въ городъ. Къ общему нашему удивленію, городъ со всѣми его чудесами искусства, которыя мнѣ такъ давно хотѣлось видѣть, — не произвели на меня никакого впечатлѣнія. Я думалъ только о ней одной, напрягалъ память, стараясь припомнить только ея черты, глаза и волосы; мысленно слѣдилъ за ея движеніями и не могъ дать себѣ отчета, какъ достало у меня силы оставить ее, и ежеминутно проклиналъ свое благоразуміе.

На третій день я не выдержалъ: тайкомъ убѣжалъ отъ Зарубина, опасаясь его увѣщаній, явился на станцію желѣзной дороги и послалъ ей телеграмму съ извѣщеніемъ, что ѣду въ тотъ же вечеръ и завтра буду снова съ нею.

Возвратясь въ гостинницу, я тотчасъ же все разсказалъ Зарубину; онъ сначала широко развелъ руками, но вдругъ обнялъ меня и проговорилъ:

— „Ну... Ну Богъ съ тобой... Какъ знать! Быть можетъ, я сдѣлалъ бы то же самое!“

Во всю дорогу я находился въ лихорадочномъ состоянiи. Оно усиливалось, по мѣрѣ того, какъ путь сокращался. Окрестные виды, разговоры сосѣдей, случайности пути, — на секунду не занимали моего любопытства. Я видѣлъ передъ собою только ея лицо и мысленно цѣловалъ съ жадностью ея пепельные волосы...

Приближаясь къ ожидаемому городу, поѣздъ сталъ замедлять ходъ и наконецъ въѣхалъ на станцiю. Изъ открытаго вагона увидѣлъ я на платформѣ женщину, бѣгущую навстрѣчу и махающую платкомъ. Какъ я выскочилъ изъ вагона, не помню; помню только, я бросился обнимать ее съ бѣшеною горячностью; разсудокъ мой положительно помрачался отъ счастья. Видъ ея пробуждалъ во мнѣ такой внезапный порывъ страсти, какъ будто я любилъ ее и былъ любимъ ею не два мѣсяца, но цѣлые годы и встрѣчался съ нею послѣ долгой мучительной разлуки. Что она чувствовала, не знаю; передаю вамъ теперь мои собственныя ощущенiя.

Съ этого дня мы уже не разставались.

---

## V.

Первою моею мыслью было увезти ее какъ можно скорѣе изъ этого города. Когда я сообщилъ ей объ этомъ, она вся просiяла отъ счастья и бросилась мнѣ на шею. Три дня спустя все было готово къ отъѣзду.

Мнѣ много разъ приводилось слышать разсказы о приморскихъ деревушкахъ въ Нормандiи; мы прямо туда отправились. Осенью рѣшено было ѣхать вмѣстѣ въ Петербургъ.

Въ Майнцѣ надо было однакожъ остановиться. Она начала вдругъ кашлять и неожиданно вся какъ-то ослабла. Но испугъ мой не былъ продолжителенъ. Докторъ объявилъ послѣ осмотра, что опасенiя мои насчетъ простуды или предполагаемой грудной болѣзни неосновательны; онъ нашелъ однакожъ ея комплекцiю

вообще слабой, надорванной, требовавшей большой осторожности; внезапный упадокъ силъ объяснялъ онъ тѣмъ, что въ послѣднее время она перенесла, должно быть, сильное нравственное потрясеніе и, какъ натурѣ въ высшей степени нервной и впечатлительной, ей не прошло это даромъ.

Разсказы о нормандскихъ приходскихъ деревушкахъ превзошли мои ожиданія. Я нашелъ все то, что при тогдашнемъ душевномъ настроеніи было всего дороже: нашелъ полную тишину, почти безлюдье, дававшія возможность жить, какъ хотѣлось, не рискуя попасть на докучливыя встрѣчи и нескромные взгляды; нѣсколько буржуазныхъ семействъ, пріѣхавшихъ изъ окрестныхъ маленькихъ городковъ, составляли все общество. Я былъ въ восторгѣ.

Мы прожили такъ блаженствуя до половины сентября.

Къ концу этого срока я не могъ уже представить себѣ возможности жить безъ нея. Мимо физическаго обаянія, которое овладѣвало мною все сильнѣй и сильнѣй, не смотря на полное обладаніе, меня привязывали къ ней прекрасныя свойства характера. Рѣдкій день не радовала меня въ ней новая хорошая черта. Она положительно рождена была для мирной семейной жизни; наконецъ, самая ея природа, нѣжная, чуткая, деликатная, не выдержала бы другаго рода существованія.

Припоминая мрачную среду, окружавшую ея дѣтство и послѣдующую обстановку, я понять не могъ, какимъ образомъ могла она сохранить столько хорошихъ качествъ? Извольте послѣ этого оспаривать могущество природныхъ инстинктовъ! Откуда они берутся, какъ сохраняются вопреки самыхъ неблагопріятныхъ жизненныхъ условій, — принадлежитъ къ неразгаданнымъ тайнамъ человѣческой природы.

До того времени, надо вамъ сказать, я не испытывалъ чувства любви, хотя, какъ говоритъ св. Августинъ: „любилъ любить...“ Между нами несравненно меньше людей, которые хотятъ и могутъ любить, чѣмъ такихъ, которые хотятъ только, чтобы ихъ любили. Вѣроятно, я принадлежу и къ тѣмъ, и къ другимъ

потому, что самъ горячо любилъ и чувствовалъ на себѣ все блаженство быть искренно любимымъ. Я видѣлъ, какъ чувство это постепенно въ ней зарождалось и развивалось. Оба мы были какъ потерянные отъ счастья нашей встрѣчи, давшей намъ случай принадлежать другъ другу. Ни мнѣ, ни ей не приходила теперь, конечно, мысль возможности разлуки.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я нанялъ квартиру; я жилъ тогда съ отцомъ и иначе невозможно было устроиться. Время, конечно, я проводилъ съ нею. Надо было видѣть ея счастье, когда вдругъ очутилась она въ безбѣдной обстановкѣ, распорядительницей маленькаго хозяйства. Я уже говорилъ вамъ, она рождена была для семейной сферы. Любовь ея ко мнѣ просвѣчивала въ каждомъ ея движеніи, въ каждомъ словѣ; — говорю: просвѣчивала потому, что она не выражалась горячими порывами или страстными рѣчами. Между различными родами любви существуютъ, сколько я замѣтилъ, два главные рода; одинъ можно назвать горизонтальнымъ, другой — вертикальнымъ; ея чувство ко мнѣ принадлежало къ послѣднему, т. е. оно проходило въ глубину ея существа и оттуда уже распространялось, сообщая теплоту всему окружающему.

Кто знаетъ! быть можетъ, вмѣсто того, чтобы бесѣдовать, какъ мы теперь это дѣлаемъ, мы сидѣли бы точно также у меня, но съ нами была бы любимая мною женщина... Я тогда же думалъ открыть мою связь отцу и рѣшилъ соединить мою судьбу съ этой дѣвушкой. Предразсудковъ у меня никогда никакихъ не было, да и что за предразсудки, когда дѣло идетъ о счастіи жизни! Но всему этому, какъ видите, не суждено было осуществиться! Еще доказательство, какъ жалки мы, когда гордимся нашей волей и похваляемая нашимъ могуществомъ!

Разъ (это было въ серединѣ зимы), она цѣлый день жаловалась на головную боль; на слѣдующій день я замѣтилъ у нея какое-то угнетенное состояніе, боль усилилась, а къ вечеру она горѣла какъ въ огнѣ, лежала въ постели и бредила. Докторъ пока еще ничего не могъ опредѣлить съ точностью; но уже съ

первыхъ его словъ мною овладѣло безпокойство. Предчувствіе меня не обмануло: на третій день у нея открылся тифъ.

---

## VI.

Съ этого дня я жилъ, точно одержимый тяжелымъ ударомъ. Мысль потерять ее положительно сводила меня съ ума. „За что? къ чему это?... зачѣмъ?... кому это нужно?...“ не переставалъ я повторять, глотая слезы, хотя зналъ, что Промыслу совершенно все равно, и человѣческія терзанія, горести и заботы встрѣчаютъ въ немъ полнѣйшее равнодушіе. Иногда мною овладѣвалъ паническій страхъ; я спѣшилъ выбѣжать на улицу, но всюду, куда ни уносили меня шаги, всюду встревоженное воображеніе рисовало передо мною отпечатокъ ея изнуреннаго лица, которое какъ бы уже не было ея прежнимъ лицомъ; похудѣвшія ея руки представлялись мнѣ вдругъ похолодѣвшими, и я бѣжалъ домой, задыхаясь отъ мысли, что, быть можетъ, не застану ее уже въ живыхъ. Всего ужаснѣе были ночи; имъ, казалось, конца не было; я спалъ не раздѣваясь подлѣ ея комнаты, прислушиваясь къ ея дыханію, теряя соображеніе о томъ, какъ протекало время. Разстроенные мои нервы пріобрѣли необыкновенную чуткость; неуловимое для слуха движеніе, звукъ въ сосѣдней комнатѣ, — наполняли меня тревогой, и я чувствовалъ, какъ ознобъ пробѣгалъ въ волосахъ моихъ; я быстро приподымался, подходилъ къ двери, прислушивался... Все было тихо, слышалось только ея слабое дыханье, и слезы сами собою капали изъ глазъ моихъ. Но возвращался ли я на прежнее мѣсто, прислушивался ли издали къ ея дыханью, или подходилъ къ ея изголовью, — во мнѣ жила одна только мысль: мысль, что, быть можетъ, не сегодня-завтра ея уже не будетъ у меня, она исчезнетъ, навсегда исчезнетъ; безъ возврата, *безъ возврата!* Какое страшное слово!!...

У меня не оставалось никакой надежды на ея спасеніе. Послѣ

одного изъ консиліумовъ (это былъ послѣдній) одинъ изъ докторовъ, котораго я прежде хорошо зналъ, подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за руку, и когда я вдругъ заплакалъ, проговорилъ мягкимъ голосомъ: „Все было испробовано... все... что жъ дѣлать!... вамъ надо успокоиться...“

Послѣдняя ночь особенно врѣзалась въ мою память. Ей стало какъ будто вдругъ легче. Надежда мгновенно возвратилась ко мнѣ. „Развѣ не часто случается докторамъ ошибаться!... быть можетъ, произошелъ переломъ болѣзни... они не предвидѣли этого...“ мелькнуло у меня въ головѣ, и я опрометью бросился за докторомъ.

Былъ седьмой часъ утра; свѣтъ едва начиналъ проникать морозную мглу, въ которой уныло открывались пустынныя петербургскія улицы. Какъ на зло, не было ни одного извощика; зову изо всѣхъ силъ,—никакого отклика... Тотъ только, кому приводилось переживать такія минуты, можетъ понять, въ какомъ я былъ тогда отчаяніи. Наконецъ, далеко уже отъ дома напалъ я на сани. Пріѣзжаю, взбѣгаю задыхаясь на лѣстницу, звоню; говорятъ: докторъ всю ночь провелъ у такого-то больного; беру адресъ (это было на другомъ концѣ города), вхожу; говорятъ: докторъ только-что уѣхалъ и прямо отправился въ клинику. Скачу на Петербургскую сторону; но меня, безъ умысла, конечно, ложно направили: доктора въ клиникѣ не было... Въ мучительной душевной тревогѣ возвращаюсь на минуту домой, чтобы узнать: что и какъ? но застаю ее... застаю ее уже мертвой!...

Избавлю васъ отъ дальнѣйшаго... проговорилъ разсказчикъ, махнувъ рукою и подавляя вздохъ.

## VII.

— Теперь, въ заключеніе моей исторіи, подхватилъ онъ послѣ минуты молчанія, — скажите мнѣ, въ свою очередь, что было бы лучше: послушаться тогда голоса благоразумія, не заходить такъ далеко, оставить эту дѣвушку проживать въ своемъ городѣ, думая, что рано или поздно она утѣшится, или поступить, какъ я сдѣлалъ, дать полную волю своему увлеченью?...

— Послѣднее, конечно, лучше! съ горячностью заговорилъ литераторъ, — въ тысячу разъ лучше!!.. Увлеченье твое накликало тебѣ много горя, но рядомъ также, благодаря ему, сколько было пережито счастья! Не долгое время, правда, но ты жилъ полнымъ сердцемъ, любилъ и былъ любимъ, а это чего-нибудь да стоитъ! Ты лучше сдѣлалъ потому еще, что далъ пожить счастьемъ другому существу, обреченному судьбою никогда, можетъ быть, не знать счастья!... Прежде чѣмъ увлечься красивой симпатичной женщиной, тебя влекло къ ней чувство сожалѣнья, состраданья, глубокое человѣческое чувство! Довольно было бы одного этого для оправданья твоего увлеченья, даже въ томъ случаѣ, когда женщина, которую ты хотѣлъ спасти, оказалась бы недостойной всего того, что ты для нея сдѣлалъ!... Изъ твоей исторіи я вывожу также слѣдующее заключеніе: для отысканія истиннаго счастья съ женщиной, не существуетъ, какъ руководство, даже приблизительной теоріи вѣроятности; тутъ можно сказать безошибочно: не знаешь, гдѣ найдешь, — гдѣ потеряешь! Все основано на случайности. При встрѣчѣ съ женщиной, иногда остановишься, скажешь себѣ: какая у нея симпатичная наружность, и проходишь мимо, не подозрѣвая, что прошелъ, можетъ быть, именно мимо настоящаго своего счастья... Въ жизни все случай! И случай этотъ часто дальновидней и умнѣе нашихъ мудрствованій, предначертаній и обдуманныхъ плановъ...

— Замѣчаніе твое справедливо, вмѣшался инженеръ, — но чего я никогда не могъ понять въ исторіи любви, это—внезап-

наго возбужденія страсти. Его увлеченіе (онъ указалъ на хозяина дома) было быстро, но тутъ все-таки чувствуется еще нѣкоторая постепенность: началось съ сожалѣнья, потомъ мало-по-малу втянулся, потомъ полюбилъ, все это понятно. Я говорю о тѣхъ случаяхъ, когда взглянулъ на женщину—и готово: завертѣлся турманомъ и хлопъ объ земь, какъ прострѣленный тетеревъ.

— Увлеченія этого рода однакожъ фактъ, — фактъ, не допускающій противорѣчія, сказалъ литераторъ; — примѣры внезапной страсти слишкомъ часто повторяются, чтобы можно было сомнѣваться въ ея возможности. Сколько помнится, въ литературѣ первый разъ изобразилъ ее Шекспиръ въ трагедіи *„Ромео и Юлія“*, — заставляя воскликнуть Ромео при первомъ взглядѣ на Юлію:

„Кто дама та, что подала сейчасъ
Синьору руку?!...
Такъ можетъ поразить
Лишь яхонтъ насъ, сверкающій на кожѣ
Нубіянки!... Нѣтъ на землѣ дороже
Сокровища!!...“

И когда, въ свою очередь, Юлія, увидавъ Ромео, спрашиваетъ у кормилицы: „кто этотъ квареръ?“ и узнавъ, что онъ изъ семейства Монтеки, говоритъ съ грустью:

„Какъ зло судьба сыграла
Со мной,—вселивъ къ врагу любовь въ меня!!...“

— Да, но это въ поэзіи...

— Въ поэзіи!!... Во-первыхъ, любезный другъ, поэзія Шекспира часто вѣрнѣе дѣйствительности, — и это нисколько не парадоксъ, подхватилъ литераторъ. Изображая то или другое душевное движеніе, онъ сосредоточиваетъ въ немъ такое множество однородныхъ чертъ, что ихъ совокупность составляетъ какъ бы квинтэссенцію изображаемаго чувства; вотъ почему, мнѣ кажется, иное душевное движеніе въ Шекспировской поэзіи сильнѣе насъ поражаетъ и на насъ дѣйствуетъ, чѣмъ еслибъ мы встрѣтились съ нимъ въ дѣйствительности; во-вторыхъ: желаешь историческихъ фактовъ? Изволь! Беру наобумъ первый, кото-

рый приходитъ въ память: герцогиня Беррійская,—дочь регента Франціи,—самое балованное, капризное женское существо, когда-либо виданное; кромѣ того, женщина надменная до невозможности, искренно вѣрившая, что въ жилахъ ея течетъ голубая кровь, отличающая ее отъ остальныхъ смертныхъ; высота ея общественнаго положенія казалась ей недосягаемой; все, что ее окружало, преклонялось передъ ней, какъ передъ божествомъ, и обожало ее или притворялось обожающимъ... Вотъ однакожъ что̀ случилось: однажды во время прогулки застигла ее гроза; пошелъ ливень; она бросилась бѣжать, но на пути встрѣтилась лужа; ни направо, ни налѣво — обойти невозможно; перескочить было еще труднѣе. Въ числѣ сопровождавшихъ ее лицъ находился недавно поступившій къ ней въ свиту кавалеръ де-Ріомъ,— бѣдный офицерчикъ, весьма некрасивый собою: бѣлобрысый, съ красноватой кожей, коротенькаго роста и даже, по свидѣтельству лѣтописца герцога Сень-Симона, — съ прыщами на лицѣ! Не говоря дурнаго слова, Ріомъ стремительно бросается къ герцогинѣ и, прежде чѣмъ она успѣла опомниться, беретъ ее въ охапку немного ниже тальи и переноситъ черезъ лужу. Съ той минуты герцогиню точно опоили дурманомъ; она признавалась, — прикосновеніе Ріома огнемъ прошло во всемъ ея тѣлѣ; и днемъ и ночью она только имъ бредила; кончилось тѣмъ, что, забывъ гордость и величіе своего сана, она тайно съ нимъ обвѣнчалась, терпѣливо переносила его капризы, покорялась ему, какъ послѣдняя раба. Другой такой же примѣръ разсказываетъ въ своихъ запискахъ Стендаль, писавшій въ двадцатыхъ—тридцатыхъ годахъ подъ псевдонимомъ *„Бейль“*. Катаясь однажды въ коляскѣ съ хорошенькой женщиной по улицамъ Берлина, — они встрѣтили красиваго молодаго лейтенанта, ѣхавшаго верхомъ. При первомъ взглядѣ на него, лицо спутницы Стендаля мгновенно разгорѣлось румянцемъ. Съ этой минуты ею овладѣла задумчивость и, вмѣстѣ съ нею, всѣ ея движенія выразили явное нервное безпокойство. Вечеромъ они поѣхали въ театръ. Тутъ, сидя въ ложѣ, она призналась Стендалю, что съ того времени, какъ произошла извѣст-

ная ему встрѣча, она не знаетъ покоя, живетъ точно въ лихорадкѣ, а умъ ея занятъ постоянно однимъ лейтенантомъ. Она между тѣмъ никогда не имѣла случая обмѣняться съ нимъ словомъ. — „Еслибъ не робость, — говорила она, — я бы тогда же, какъ только вернулась домой, послала ему приглашенье“... Черты ея во время этихъ объясненій отражали всѣ признаки сильнаго страстнаго возбужденья. На другой день продолжалось то же самое. По прошествіи трехъ дней лейтенантъ, съ которымъ она успѣла познакомиться, выказалъ себя, вѣроятно, настолько глупымъ и ненаходчивымъ, что совершенно пересталъ занимать ее. Мѣсяцъ спустя, она не хотѣла о немъ слышать!...

— Послѣдніе два примѣра мнѣ понятны, сказалъ инженеръ, — дѣло объясняется здѣсь физическимъ влеченіемъ, какъ это было, напримѣръ, у другаго кавалера, — кавалера де-Гріе...

— Позволь, позволь... я снова долженъ остановить тебя, перебилъ литераторъ, — еслибъ у де-Гріе была къ Манонъ Леско только чувственность, какъ ты говоришь, книга аббата Прево не заслуживала бы большаго вниманья. Де-Гріе дѣйствительно находился подъ физическимъ обаяніемъ своей возлюбленной, но онъ присоединялъ къ этому любовь и прощеніе; прощенье! понимаешь! Оба эти чувства, такъ прекрасно выраженныя авторомъ, освѣщаютъ всю личность де-Гріе, заставляютъ прощать ему его слабости и ставятъ самую книгу въ число безсмертныхъ литературныхъ произведеній.

---

## VIII.

Припоминаю теперь другой случай, продолжалъ литераторъ, — онъ въ томъ же родѣ, но болѣе характерный, чѣмъ предыдущіе. Его разсказываетъ свидѣтель, нѣкто Бодмеръ, нѣмецкій писатель конца восемнадцатаго и начала нынѣшняго столѣтія. Въ одномъ изъ германскихъ дворовъ и, кажется, чуть ли опять не въ Бер-

линѣ, находилась фрейлина — извѣстная въ то время красавица. Она соединяла съ красотой аристократическое имя, умъ, большое состоянье и блистала молодостью, ей было всего двадцать-три года. Во всей Германіи не было въ то время втораго экземпляра такой невѣсты. Въ ухаживателяхъ всякаго рода и настоящихъ влюбленныхъ недостатка не было; представлялись блестящія партіи; лица изъ высшей германской аристократіи добивались ея руки; она безразлично всѣмъ отказывала, говоря, что выйдетъ замужъ только по любви, но до сихъ поръ не понимаетъ этого чувства. Невозмутимость своего сердца приписывала она, не шутя, природному недостатку.

Однажды танцуетъ она на придворномъ балѣ съ какимъ-то кирасиромъ.

Съ этой минуты, разсказывала она потомъ, онъ овладѣлъ ею до такой степени, что все въ ней сосредоточилось въ тотъ вечеръ на одной цѣли: смотрѣть на него и наблюдать надъ тѣмъ, обращаетъ ли онъ на нее вниманіе; въ теченіе часа, онъ сталъ для нея дороже всего на свѣтѣ. Когда кончились танцы и король удалился въ свои комнаты, кирасиръ ушелъ изъ дворца вмѣстѣ съ другими офицерами. Смертная тоска овладѣла ею, какъ только онъ скрылся изъ ея глазъ. Ничто не могло ее утѣшить и, возвратясь домой, она призналась близкимъ лицамъ, что въ эту ночь дорого заплатила за свою гордость и холодность. Страсть, внезапно ею овладѣвшую, объясняла она дѣйствіемъ высшей какой-то власти. Она не находила словъ, чтобы приблизительно даже высказать, какимъ образомъ одинъ *его видъ* приводилъ въ безпорядокъ все ея существо какъ физическое, такъ и умственное. „Еслибъ, говорила она, — съ первыхъ словъ, какъ началось наше знакомство, онъ сдѣлалъ бы мнѣ вопросъ: обожаете ли вы меня? — я не въ силахъ была бы удержаться и отвѣтила бы немедленно: *да!* Въ помыслахъ моихъ не было, чтобъ страсть могла родиться такъ быстро; я серьезно начинала думать, что была опоена какимъ-нибудь зельемъ!“

Послѣдствія были такія, что вскорѣ весь дворъ, весь городъ

узнали о ея связи; произошелъ ужаснѣйшій скандалъ. Исторія эта имѣла трагическій конецъ, о которомъ говорила тогда вся Германія. Сама ли она отравилась, или была отравлена любовникомъ, — осталось тайной.

Слѣдуетъ теперь спросить: въ чемъ же собственно заключались чары того кирасира? Чѣмъ могъ онъ вдругъ сокрушить такую невозмутимо-холодную красавицу? Сдѣлавъ себѣ, вѣроятно, тотъ же вопросъ, Бодмеръ, — свидѣтель всей этой исторіи, — прибавляетъ: „что жъ касается этого офицера, онъ отличался тѣмъ только, что ловко танцовалъ, былъ веселъ, самоувѣренъ, — едвали даже былъ благороднаго происхожденія и приглашался ко двору только по списку въ качествѣ танцора...“

---

## IX.

— Не менѣе интересный примѣръ такого рода увлеченья представляетъ Байронъ; это происходило, кажется, въ 1817 году, когда онъ проживалъ въ Венеціи. Знакома вамъ его исторія съ Маргаритой Коньй?

Нѣкоторые изъ присутствующихъ что-то припоминали, но не ясно, другимъ исторія была неизвѣстна.

— Трудно, кажется, предположить, продолжалъ литераторъ, — чтобы Байронъ, — этотъ праправнукъ Донъ-Жуана и чуть ли не родной дядя нашего Печорина, — способенъ былъ покориться женщинѣ до такой степени, чтобы быть у нея въ повиновеніи, заставить молчать свое чудовищное самолюбіе, — словомъ, быть подъ башмакомъ. Такъ однакожъ случилось, и самое курьезное въ томъ, что женщина эта была ни больше, ни меньше, какъ самая простая венеціанская мѣщанка-булочница по профессіи; звали ее: Маргарита Коньй. Байронъ встрѣтилъ ее случайно, затащилъ во дворецъ Мончѐниго, который нанималъ для себя и многочисленной своей прислуги — и съ этого дня сдѣлался совер-

шенно ея рабомъ. Неуживчивость и строптивость нрава, надменность и деспотическое чувство, сколько разъ выказанное имъ къ другимъ прекраснѣйшимъ женщинамъ, — все это какъ-бы рукой сняло. Онъ исполнялъ безпрекословно малѣйшіе капризы венеціанки, терпѣливо сносилъ ея вспышки и часто грубыя оскорбительныя выходки. Такъ, отправился онъ какъ-то въ гондолѣ на Лидо; неожиданно налетѣла буря, и онъ чуть не погибъ въ лагунахъ. Маргарита оставалась дома. Предвидя опасность, она пришла въ неописанное волненіе: не покидая ни на секунду лѣстницы дворца, спускавшейся въ большой каналъ, она бросала во всѣ стороны растерянные взгляды, то и дѣло посылала проклятія и небу, и самому Байрону. Увидавъ наконецъ ожидаемую гондолу съ сидѣвшимъ въ ней благополучно Байрономъ, она дала ему подойти къ лѣстницѣ; не успѣлъ онъ еще поставить ногу на ступень, она какъ тигрица вцѣпилась въ его плащъ и, не обращая вниманія на гондольеровъ и выбѣжавшую прислугу, прокричала бѣшенымъ голосомъ: „Ахъ ты, колчаногая собака св. Мадонны! Не нашелъ лучшаго времени, чтобы ѣхать на Лидо!?...“ Онъ смиренно смолчалъ; кромѣ того, былъ въ восторгѣ отъ ея встрепанныхъ волосъ и возбужденнаго выраженія на лицѣ. Въ одномъ изъ писемъ къ Томасу Медвину онъ такъ выражается, говоря о Маргаритѣ: „долгое время я былъ ею подавленъ; часто сопротивлялся я такому вліянію, но никогда не могъ побѣдить его!...“ Ясно, кажется!

Вы можете мнѣ замѣтить, я привожу слабыя доказательства, такъ какъ до-сихъ-поръ выставлялъ случаи, въ которыхъ главную роль играли эксцентрическія личности; но что же дѣлать, когда такія личности были всегда на виду, всегда всѣхъ занимали и о нихъ всегда больше говорилось. Нѣтъ никакого сомнѣнія, въ жизни самыхъ обыкновенныхъ, незамѣтныхъ смертныхъ встрѣчаются тѣ же примѣры. Какъ знать! Быть можетъ, на этой самой улицѣ, въ этомъ домѣ, подлѣ насъ, за этой стѣной, находится женщина или мужчина, подавленные въ настоящую минуту увлеченіемъ такого рода.

## X.

Порывы эти объясняются такимъ образомъ: въ то время, какъ въ одномъ изъ тайниковъ нашей природы начинаетъ зарождаться стремленіе одного пола къ другому, въ другомъ тайникѣ, — въ мозгу ли, въ душѣ ли, неизвѣстно; — происходитъ другая работа: туда налетаютъ и тамъ постепенно складываются мечтательные образы, иногда отдѣльныя черты, отвѣчающія инстинктивно нашимъ прирожденнымъ вкусамъ и симпатіямъ. Я не спиритъ, но охотно готовъ вѣрить, что симпатіи эти приходятъ къ намъ не съ вѣтра, но основаны на дальнемъ сродствѣ лицъ... При встрѣчѣ лица эти какъ словно гдѣ-то прежде видѣлись, были знакомы, близки другъ другу... Встрѣчи двухъ симпатичныхъ натуръ, какъ бы созданныхъ одна для другой, — рѣдкость въ дѣйствительной жизни; чаще всего, одному изъ двухъ — мужчинѣ или женщинѣ — выпадаетъ на долю быть жертвой, — жертвой потому, что чѣмъ сильнѣе влеченье, тѣмъ, конечно, чувствительнѣе отсутствіе взаимности. Но все равно, стоило *ей* или *ему* случайно встрѣтить образъ, который самъ собою подготовлялся и назрѣвалъ въ душѣ, чтобы произошло то, насчетъ чего ты выразился: завертѣлся турманомъ и хлопъ объ земь... Красота, надо замѣтить, играетъ здѣсь второстепенную роль. „Не по-хорошу милъ — по-милу хорошъ!“ говоритъ глубокомысленная русская пословица. Можно признать за фактъ, что истинныя красавицы и красавцы меньше всего увлекали; отъ нихъ вѣетъ большею частью холодомъ. Можно думать, природѣ надо было придать имъ такое свойство съ цѣлью ослабить, уравновѣсить вліяніе красоты; и наоборотъ, она сообщаетъ нѣкоторымъ, какъ бы избраннымъ женщинамъ-дурнушкамъ и мужчинамъ въ родѣ Ріома чарующую притягательную силу. Ею объясняются множество случаевъ самыхъ безумныхъ увлеченій, которыя, на первый взглядъ, ставятъ въ тупикъ и совершенно непонятны. У женщинъ этой категоріи обыкновенная притягатель-

ная женственная сила какъ-бы удесятеряется; она проникаетъ каждый ихъ суставчикъ, каждый волосокъ и отдѣляетъ отъ нихъ какую-то магнетическую, сладко-одуряющую, чарующую атмосферу. Нѣкоторые мужчины одарены, надо полагать, такимъ же притягательнымъ свойствомъ относительно женщинъ.

Прибавьте теперь къ этому тайную симпатію, и ясно будетъ, какъ отъ одного взгляда можетъ произойти тотъ взрывъ чувствъ, который побѣждаетъ въ насъ иногда и разумъ, и волю.

Внезапность такихъ порывовъ такъ обыкновенна и естественна, что для нихъ существуетъ спеціальный терминъ у каждой почти націи; у французовъ они извѣстны подъ названіемъ: „пистолетнаго выстрѣла“; нѣмцы выражаютъ ихъ словомъ: „пафъ“; итальянцы словами: „amore subito“, и т. д. Одни объясняютъ ихъ дѣйствіе „мгновенной кристаллизаціей чувствъ“; другіе, какъ напримѣръ Бальзакъ, „цѣпкостью сродныхъ атомовъ“ и т. д.

---

## XI.

Кстати о Бальзакѣ! Извѣстно ли вамъ, какъ этотъ истинно замѣчательный наблюдатель надъ внутренними движеніями нашей природы самъ сдѣлался жертвой тѣхъ „цѣпкихъ атомовъ“, о которыхъ такъ тонко и мѣтко говорилъ, описывая страсти своихъ героевъ? Вотъ эта исторія: путешествуя въ сороковыхъ годахъ по Швейцаріи, остановился онъ въ Невштателѣ и занялъ номеръ въ гостинницѣ. Окна его выходили на дворъ, окруженный флигелями той же гостинницы. Утромъ отворяетъ онъ окно въ ту самую минуту, какъ въ окнѣ противоположнаго фасада показывается молодая женщина. Мнѣ памятны выраженія его письма къ сестрѣ, г-жѣ Сюрвиль, которой описываетъ онъ этотъ эпизодъ. Собраніе его писемъ недавно вышло въ печати, и я на-дняхъ еще перечелъ ихъ; вотъ почти подстрочно, что онъ раз-

сказывалъ сестрѣ: „Странное волненіе овладѣло мною при первомъ взглядѣ на эту даму; всю кровь мою какъ бы притянуло вдругъ къ сердцу; казалось мнѣ: умъ мой помрачается, и я теряю сознаніе...“ Дама эта, узнавъ о сосѣдствѣ Бальзака, захотѣла съ нимъ познакомиться. При свиданіи съ нею, онъ, несмотря на большую привычку къ женскому обществу, до того растерялся, что не могъ выговорить слова. Остатокъ дня провелъ онъ въ совершенномъ отчаяньи, поминутно повторяя: „что она должна теперь обо мнѣ думать?!..“

Дама эта была госпожа Ганска, урожденная княжна Ржевуцкая, — сдѣлавшаяся восемнадцать лѣтъ спустя, послѣ кончины мужа, — женою великаго писателя. Въ теченіе восемнадцати лѣтъ, впечатлѣніе послѣ перваго взгляда не только не ослабло, но еще усилилось; это видно изъ его писемъ къ ней и къ роднымъ. Обвѣнчавшись съ нею, онъ болѣе чѣмъ когда-нибудь находился подъ ея обаяніемъ. Письмо, въ которомъ онъ извѣщаетъ мать о своей женитьбѣ, глубоко трогательно. Я помню его почти отъ слова до слова, потому что все, что касается Бальзака, всегда было близко моему сердцу. Онъ пишетъ: — „Наконецъ я соединенъ съ единственной женщиной, которую страстно любилъ, люблю и буду любить до конца моей жизни. Соединеніе это, — награда отъ Промысла за столько пережитыхъ горестей, мучительныхъ испытаній всякаго рода и мою трудовую жизнь. Женитьба моя доказываетъ вамъ, что долгія страданія не пропадаютъ даромъ у Промысла, и рано или поздно онъ ихъ вознаграждаетъ...“

Бальзакъ поспѣшилъ выхвалять заботу и справедливость Промысла; за восемнадцать лѣтъ постоянства и горячей любви Промыслъ далъ ему всего шесть мѣсяцевъ пользоваться счастьемъ. Бальзакъ женился въ мартѣ 1850 года, а скончался въ августѣ того же года.

## XII.

Другой варіантъ дѣйствія „пистолетнаго выстрѣла“, или „цѣпкости родственныхъ атомовъ“ произошелъ съ однимъ моимъ знакомымъ, занимающимъ теперь мѣсто консула, но до того времени проводившимъ время въ путешествіяхъ.

Отправлялся онъ разъ моремъ изъ Чивитта-Веккіо въ Неаполь. Пароходъ отходилъ въ шесть часовъ послѣ обѣда. Вечеръ былъ одинъ изъ тѣхъ волшебныхъ вечеровъ, какіе бываютъ на берегахъ Средиземнаго моря въ маѣ мѣсяцѣ: лучезарное небо, легкія пушистыя облачка, гладкое серебристое море съ отраженіями густо-синяго цвѣта подъ лодками и скалами; вездѣ вокругъ блескъ, яркія краски и тепло... Подлѣ парохода продавцы цвѣтовъ и апельсиновъ, стоя въ лодкахъ, шумно и весело предлагали свой товаръ; на палубѣ также шумѣли и суетились; но и здѣсь солнце освѣщало веселыя и оживленныя лица. Было во всемъ этомъ, говорилъ мой знакомый,—что-то праздничное, располагавшее мысли и душу къ счастью и восторженности.

Въ такомъ настроеніи стоялъ онъ у борта, посматривая на море и гавань, когда вниманіе его привлекла лодка, приближавшаяся къ пароходу; въ ней, между чемоданами и саками, сидѣли мужчина и женщина. Онъ не могъ разсмотрѣть ихъ лицъ; они подплывали съ солнечной стороны, и блескъ моря ослѣплялъ глаза. Наконецъ лодка остановилась у парохода, и мой знакомый, движимый безсознательнымъ любопытствомъ, пошелъ навстрѣчу новымъ пассажирамъ.

На палубѣ показалась женщина. При видѣ ея,— разсказывалъ мой знакомый,—онъ весь вдругъ вспыхнулъ, какъ это бываетъ отъ неожиданнаго испуга. Впечатлѣніе было такъ сильно, что онъ нѣсколько секундъ стоялъ какъ ошеломленный, забывая посторониться, чтобы дать ей дорогу, забывая присутствіе ея спутника, показавшагося за ея спиною. Наружность ея была впрочемъ довольно своеобразна: волосы ея, темно-краснаго цвѣта съ

золотистыми отливами, обременяли ея маленькую головку; она сняла шляпку, когда подымалась на трапъ парохода, и непокорныя пряди, распустившись на воздухѣ, принимали на солнцѣ видъ ореола, въ которомъ сверкая играли золотыя нити; блѣдное, нѣсколько продолговатое лицо оживлялось свѣтлыми черными глазами; они щурились отъ свѣта, но весело мигали изъ-подъ черныхъ тонкихъ бровей. Все въ ней дышало жизнью и молодостью; ей не могло быть болѣе восемнадцати лѣтъ. Ощущенія беззаботнаго довольства и счастія, наполнявшія минуту передъ тѣмъ грудь моего знакомаго, разлетѣлись какъ дымъ. Ихъ замѣнило одно чувство: страстное, непреодолимое желаніе приблизиться къ ней, любоваться ею, слышать ея голосъ. Рядомъ съ этимъ и также внезапно, признавался онъ, пробуждалось въ немъ озлобленіе, даже ревность къ ея спутнику; вскорѣ оказалось—онъ былъ ея мужемъ. Они были женаты всего мѣсяцъ и совершали свадебную прогулку.

Знакомый мой судилъ, по всей вѣроятности, пристрастно, но, по его описанію, дѣйствительно нельзя было безъ досады видѣть сочетаніе милой молоденькой женщины съ такимъ мужемъ.

Онъ представлялъ квинтэссенцію типа нѣмца изъ сѣверныхъ провинцій, нѣмца, заквашеннаго на какой-то холодной кислотѣ съ примѣсью золотухи, рубцы которой виднѣлись на его длинной крученой шеѣ.—„Когда я увидѣлъ эти рубцы, говорилъ мой знакомый,—я готовъ былъ броситься на него и задушить его тутъ же на мѣстѣ.“ Къ этимъ физическимъ качествамъ мужъ присоединялъ сорокалѣтній возрастъ, маленькій ростъ, очки на больныхъ глазахъ и красноватое темя, кой-гдѣ прикрытое гладко прилизанными жиденькими волосами шафраннаго оттѣнка.

Комическая ненависть, внезапно овладѣвшая моимъ знакомымъ къ нѣмцу, была подавлена однакожъ настоятельнымъ желаніемъ вступить въ разговоръ съ его женою. Но дѣло плохо клеилось; на всѣ попытки завязать бесѣду нѣмецъ упорно отмалчивался; жена нерѣшительно поглядывала на мужа и какъ будто робѣла. Замѣтно было однакожъ по ея глазамъ, она иногда какъ бы

оживлялась, слушая разсказы незнакомца, который, чѣмъ далѣе, тѣмъ больше одушевлялся и становился краснорѣчивѣе.

Прошло уже часа два или три, какъ пароходъ отвалилъ отъ берега; ночь обняла небо; въ темно-синемъ мракѣ серебрилась морская гладь; тишину нарушалъ только равномѣрный плескъ пароходнаго винта.

Мужъ, который прежде еще, какъ только сѣло солнце, поспѣшилъ надѣть теплое пальто и завернуть шею въ кашне, началъ теперь жаловаться на свѣжесть. Напрасно жена увѣряла, что ночь тепла и воздухъ мягокъ, какъ бархатъ; онъ объявилъ, что чувствуетъ ознобъ, боится лихорадки и находитъ благоразумнѣе провести ночь въ каютѣ; онъ приподнялся съ мѣста, церемонно раскланялся и направился къ трюму, давъ впередъ пройти женѣ.

Дѣйствительно ли такъ было, или такъ только показалось моему знакомому, но во взглядѣ, брошенномъ ею на прощанье, онъ прочелъ какъ бы сожалѣнье. Въ порывѣ какой-то безумной надежды, онъ воспользовался минутой и отвѣтилъ ей, прижавъ обѣ ладони къ сердцу. Она быстро отвернулась. Надежды мгновенно исчезли. Расхаживая по палубѣ, онъ предавался самымъ малодушнымъ несообразнымъ мечтамъ, чувствовалъ себя искренно несчастнымъ человѣкомъ, и вдругъ все въ немъ снова ожило и засіяло, когда на поворотѣ, неожиданно, встрѣтился съ нею. Онъ не сомнѣвался, что она вернулась на палубу, движимая любопытствомъ, кто знаетъ! быть можетъ сочувствіемъ... Легко можетъ быть, онъ не ошибался, къ чему иначе было бы ей возвращаться на палубу и искать съ нимъ встрѣчи! Не нужно быть вовсе кокеткой, чтобы желать нравиться; въ самой честной женщинѣ невольно пробуждается любопытство къ мужчинѣ, когда она замѣтила, что сдѣлала на него благопріятное впечатлѣніе; всѣ женщины въ этомъ случаѣ прозорливы и ясновидящія. Въ порывѣ благодарности, знакомый мой чуть было тутъ же не упалъ къ ея ногамъ.

Онъ не помнилъ рѣшительно, о чемъ говорилъ съ нею въ

эти часы, проведенные ночью, сидя рядомъ на палубѣ; помнилъ только, что никогда ни прежде, ни послѣ не любилъ съ такой страстью; помнилъ также, что, кутая ее въ плэдъ и почувствовавъ форму ея плечъ, его бросило въ жаръ и холодъ, точно онъ первый разъ въ жизни прикасался къ женщинѣ; онъ совершенно обезумѣлъ отъ страстнаго желанія обладать ею. Она во все время мало говорила, казалась больше удивленной, но ее, очевидно, что-то приковывало къ мѣсту. Она, безъ сомнѣнія, сама невольно покорялась обаянію новаго невѣдомаго для нея ощущенія; дрожь, пробѣгавшая время отъ времени въ ея тѣлѣ, измѣняла ей. Онъ между тѣмъ, въ разгоряченномъ воображеніи, нѣсколько разъ мысленно порывался въ каюту съ тѣмъ, чтобы убить мужа, тайкомъ выбросить его за бортъ, вѣрилъ совершенно искренно, что рука его при этомъ не дрогнетъ; съ такою же искренностью, не справляясь даже съ ея согласіемъ, мечталъ о томъ, какъ, тотчасъ же по пріѣздѣ въ Неаполь, спрячетъ ее ото всѣхъ, увезетъ куда-нибудь далеко, далеко... Не шутя даже думалъ отправиться съ нею на какой-нибудь необитаемый островъ.

На этомъ застало ихъ восходящее солнце, и надо было разстаться. Вскорѣ показался Каири, за нимъ открылся Неаполь; началась на палубѣ обычная суета, предшествующая высадкѣ на берегъ; не успѣлъ пароходъ бросить якорь, какъ уже десятки лодокъ обступили его со всѣхъ сторонъ.

Но тутъ произошелъ случай, о которомъ, даже много лѣтъ спустя, мой знакомый не могъ говорить безъ негодованія; какъ это произошло, онъ не могъ растолковать себѣ. Пока онъ возился въ своей каютѣ, нѣмецъ и жена его словно въ воду канули; вѣроятно, у нихъ все уже было готово, они сѣли въ первую подъѣхавшую лодку и отправились на берегъ. Моему знакомому показалось даже, онъ видѣлъ, какъ они приближались къ пристани. Онъ стремглавъ бросился за ними, понукалъ гребца, обѣщалъ ему денегъ,—все было напрасно. Онъ вышелъ изъ гостиницы, не давъ себѣ времени оправиться, и побѣжалъ ихъ отыскивать. Къ сожалѣнію, въ пылу ночной бесѣды, онъ не поду-

малъ узнать ея фамилію, не спросилъ, гдѣ они остановятся въ Неаполѣ, куда ѣдутъ, не справился даже, гдѣ мѣсто постояннаго ихъ жительства. До поздняго вечера объѣхалъ онъ всѣ гостинницы, всѣ меблированныя квартиры, — нигдѣ ни слуху и духу. Въ теченіе нѣсколькихъ дней, съ утра до поздней ночи, не покидалъ онъ главныхъ улицъ, въ надеждѣ встрѣтиться съ ними — и встрѣчалъ только толпы незнакомыхъ лицъ. Словомъ, она мелькнула передъ нимъ, какъ въ волшебномъ снѣ,—и такъ же быстро исчезла,—не исчезла только въ его памяти. Онъ говорилъ:—ни одна женщина не произвела на него такого сильнаго впечатлѣнья; до-сихъ-поръ рѣдкій день, когда онъ не вспоминаетъ ее; стоитъ ему закрыть глаза, — она мгновенно является передъ нимъ какъ живая, съ ея свѣтлыми глазами и золотистымъ ореоломъ вокругъ головы...

Говоря это, онъ всякій разъ принимался расхаживать большими шагами, волновался, и краска выступала на лицѣ его.

---

## XIII.

Если вамъ не довольно этихъ исторій, могу разсказать вамъ еще одну, но уже коротенькую, въ которой главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ вашъ покорнѣйшій слуга.

— Какъ?!.. Что?! Можетъ ли быть! Ты намъ никогда ничего о себѣ не разсказывалъ... раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Не разсказывалъ, потому что къ случаю не приходилось; теперь, — благо мы на ходу, — извольте. Произошло это также довольно давно, въ молодости, вскорѣ послѣ того, какъ я вышелъ изъ университета, и мы въ первый разъ разъѣхались. Жилъ я тогда въ деревнѣ подъ Москвою, но часто пріѣзжалъ въ городъ повидаться съ однимъ семействомъ, которое считалъ все равно какъ своимъ. Оно доводилось мнѣ даже нѣсколько сродни по матери. Съ дѣтьми этого семейства,—двумя дочерьми и сыномъ,—

я былъ связанъ съ самаго дѣтства. Мы продолжали говорить *ты*, — и называть другъ друга по имени, послѣ того даже, какъ дѣвушки выпущены были изъ института. Одна изъ нихъ, — Нина, вскорѣ вышла замужъ. Мужъ и жена пожили годъ и разъѣхались. Единогласно всѣ его обвиняли. Неожиданно получаю отъ Нины письмо; она извѣщала меня, что, послѣ исторіи съ мужемъ, ѣдетъ къ себѣ въ деревню съ тѣмъ, чтобы продать ее и на вырученныя деньги, думаетъ на нѣсколько лѣтъ по крайней мѣрѣ, переселиться заграницу. Въ концѣ письма была приписка; она просила, — если для меня не слишкомъ затруднительно, — пріѣхать въ Москву проститься съ нею. Проѣхать сорокъ верстъ бездѣлица; отправился утромъ, — въ полдень былъ въ Москвѣ и, сидя съ нею, бесѣдовалъ объ ея нѣсколько рискованныхъ планахъ; родные раздѣляли мое мнѣніе; но она никого не хотѣла слушать, выставляя на видъ свое теперешнее независимое положенье. Въ тотъ же день мы вмѣстѣ обѣдали въ ея семействѣ.

Вечеромъ, часовъ около восьми, она попросила меня проводить ее къ старой тёткѣ, съ которой также хотѣла проститься передъ отъѣздомъ. Тётка жила на другомъ концѣ города; чтобы попасть къ ней, надо было пройти чуть ли не всѣ бульвары.

Солнце уже скрылось, когда мы вышли на улицу; но въ воздухѣ было нестерпимо жарко и душно какъ въ банѣ. Я забылъ вамъ сказать, все это происходило въ серединѣ іюля. Къ духотѣ присоединялась еще знаменитая московская пыль; ее, какъ вамъ извѣстно, въ теченіе дня приподымаютъ сотни тысячъ экипажей, а къ вечеру она снова садится рыжеватымъ облакомъ, сгущая сумерки и окончательно заслоняя глубину улицъ. Мы не сдѣлали ста шаговъ и принуждены были снять перчатки, прилипавшія къ рукамъ.

Перспектива просидѣть часъ со старой тёткой въ душной комнатѣ, въ которой, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, не отворялись окна и гдѣ теперь положительно должно было быть невыносимо, мало меня соблазняла. Подлѣ дома тётки я упросилъ мою спут-

ницу войти, а самъ сказалъ, что буду ждать ея возвращенія противъ подъѣзда на первой бульварной скамейкѣ.

Замѣтьте, господа, здѣсь наступаетъ главный пунктъ моей исторіи. Имѣйте постоянно въ виду мои отношенія къ Нинѣ съ самаго дѣтскаго возраста и до настоящей минуты. Часто, правда, вмѣстѣ съ ея братомъ, сестрой и другими родными и близкими знакомыми, я любовался ея миловидностью и граціей, но мнѣ въ голову не приходило соблазняться тѣмъ и другимъ, какъ могъ бы это сдѣлать посторонній мужчина; привычка ее видѣть, привязанность моя къ ней, все равно, какъ къ сестрѣ, не имѣли никакого дѣйствія на мое воображеніе. Ожидая ея возвращенія такъ же спокойно, какъ еслибъ былъ ея роднымъ братомъ, я мысленно бранилъ ея мужа, который, обладая такой милой женщиной, могъ завести себѣ любовницу: думалъ о пользѣ развода, который давалъ ей возможность вторично выйти замужъ и быть счастливой, сожалѣлъ о ея рѣшимости продать деревню, уѣхать заграницу, разстаться со своими,—рѣшимости, очевидно, вызванной чувствомъ перенесеннаго оскорбленія, и т. д.

Часъ спустя, тѣ же самыя мысли служили темой нашей бесѣды, во время нашего возвращенія домой, по крайней мѣрѣ, на добрую половину пути. Она во многомъ соглашалась со мною, иногда спорила, но казалась такой же спокойной, какъ я самъ былъ въ то время. На второй половинѣ пути произошла перемѣна: мысли ея неожиданно приняли грустное направленіе; она сдѣлалась задумчивѣе, молчаливѣе; самый голосъ ея какъ бы упалъ, и дыханіе становилось тяжелѣе. Меня самого начинало тѣснить странное чувство, — не то тоски, не то странной неловкости; въ первый разъ началъ я при ней пріискивать слова и выраженія. Мы говорили теперь о предстоящей разлукѣ: завтра я долженъ былъ возвратиться къ себѣ въ деревню; она уѣзжала также завтра или день спустя. „Когда-то Богъ приведетъ теперь свидѣться... Какъ, право, играетъ нами судьба! Соединитъ людей; привыкнешь, сроднишься, полюбишь... и вдругъ, возьметъ и такъ же равнодушно оторветъ близкихъ другъ отъ друга... Прости-прощай!... Быть

можетъ, съ тѣмъ, чтобы никогда уже больше не встрѣтиться...“

Бесѣдуя такимъ образомъ и почему-то оба замедляя шагъ, мы незамѣтно подошли къ дому ея родителей.

На улицѣ и на бульварѣ было совершенно тихо; вокругъ ни души; въ пыльной туманной мглѣ дальняго горизонта выплывалъ передъ нами багровый шаръ полнаго мѣсяца...

Мы сдѣлали нѣсколько шаговъ, остановились и начали прощаться. Я взялъ ея обѣ руки и растроганный, при видѣ слезъ, которыя неожиданно закапали изъ ея глазъ, наклонился, чтобы поцѣловать ее и вдругъ... вдругъ, самъ не знаю, какъ это случилось, мы бросились другъ другу въ объятія и начали цѣловаться уже не какъ братъ съ сестрой, но горячо и сладко, какъ самые страстные любовники...

Два дня спустя, вечеромъ, она выѣхала изъ Москвы и на второй станціи, уже ночью, пересѣла въ тарантасъ, въ которомъ я ждалъ ее весь дрожа отъ нетерпѣнья обхватить ее руками и засыпать поцѣлуями... Мы прямо покатили на южный берегъ Крыма.

И странное дѣло! женщина, которую, повторяю вамъ, привыкъ я видѣть двадцать лѣтъ, съ которой равнодушно просиживалъ иногда наединѣ цѣлые вечера,—сдѣлалась теперь предметомъ ненасытной, бѣшеной страсти. Я любовался каждымъ ея пальчикомъ, какъ будто никогда прежде не видалъ ея руки, приходилъ въ неописанный восторгъ, когда она при мнѣ распускала свои волосы, не могъ представить себѣ родимаго пятнышка на правой сторонѣ ея плеча, безъ того, чтобы тотчасъ же не овладѣло мною желаніе прикоснуться къ нему губами; считалъ блаженствомъ цѣловать ея ноги... Мы не волновались, какъ прежде, смутнымъ желаніемъ обладанія; обладаніе было полное и безграничное; но и тутъ воображеніе не оставляло насъ обоихъ въ покоѣ; мы какъ будто еще чего-то ждали, чего-то отыскивали другъ въ другѣ... словомъ, совершенно безумствовали...

## XIV.

— Чѣмъ же все это кончилось? спросилъ хозяинъ дома.

— Увы! чѣмъ обыкновенно кончаются связи, основанныя только на физическомъ влеченьи, подогрѣтомъ юношескимъ воображеньемъ! Внутреннихъ, настоящихъ симпатій между нами не было... Этимъ, можетъ быть, и объясняется взаимное равнодушіе до той минуты, когда оба внезапно увлеклись другъ другомъ. Она вѣрила въ возможность постояннаго обожанія и деспотически отъ меня его требовала; на меня, какъ теперь, такъ и въ молодости, находили иногда, безъ всякой причины, минуты хандры и нервнаго раздраженія; при первомъ капризѣ съ моей или съ ея стороны,—хорошенько не помню, вышла сцена; оба не выдержали, и разстались, разстались не какъ любовники, которыхъ ссора крѣпче иногда связываетъ, но окончательно разстались. Тамъ, гдѣ главную роль играетъ воображеніе,—всегда непрочно: покажетъ чудеса въ рѣшетѣ, подойдешь ближе—и нѣтъ ничего!

— Нѣтъ, господа, если ужъ дѣло коснулось воображенія, или, вѣрнѣе, странностей, которыя происходятъ отъ дѣйствія разыгравшагося воображенія, у меня есть исторія... сказалъ инженеръ, причемъ лица присутствующихъ, сохранявшія до сихъ поръ болѣе или менѣе серьезное или внимательное выраженіе, вдругъ оживились, и глаза у всѣхъ повеселѣли.

Всѣмъ хорошо былъ извѣстенъ характеръ его разсказовъ, приправленныхъ всегда избыткомъ красокъ, парадоксами, размахомъ штриха и эксцентрическими выходками. Такимъ знали его въ юности, такимъ остался онъ въ зрѣломъ возрастѣ. Взгляды, которыми обмѣнялись присутствующіе, не ускользнули отъ разсказчика; но они какъ будто его самого расположили къ веселости. Примостившись ловчѣе между подушками дивана, онъ повелъ плечами, какъ-бы охорашиваясь, и началъ такимъ образомъ:

## XV.

Дѣло, изволите ли видѣть, происходило въ сороковыхъ годахъ. Въ глуши Саратовской губерніи, въ собственномъ имѣніи, проживалъ съ дочерью старецъ по фамиліи Шницель; ему было восемьдесятъ-два года. Изъ этого вы можете уже отчасти заключить: дочь не могла быть первой молодости; говорю: „отчасти“, потому что и у старцевъ также рождаются молоденькія дочки, только въ послѣднемъ случаѣ всегда какъ-то невольно приходитъ въ голову... Впрочемъ, не стоитъ на этомъ останавливаться. Нѣсколько лѣтъ назадъ, отцу понравилась почему-то цифра двадцать-восемь, онъ уперся въ ней и ни за что не хотѣлъ спустить или прибавить; въ дѣйствительности, дочери было за тридцать. Упрямство старца было естественно; отъ старости онъ начиналъ терять память, чвакалъ и, видимо, размягчался.

Родомъ былъ онъ изъ Курляндіи, но для служебной карьеры предпочелъ ей, какъ водится, Россію, и въ молодыхъ годахъ удачно изображалъ типъ русскаго нѣмца; въ глазахъ несокрушимая преданность Россіи, въ душѣ—нѣжная любовь къ Митавѣ и Либавѣ.

Аккуратность, военная выправка, усердіе во всякій мигъ, повиновеніе, когда было угодно, не замедлили выдвинуть его на служебномъ поприщѣ; въ сорокъ лѣтъ онъ былъ полковникомъ, а протекція, въ которой у русскихъ нѣмцевъ никогда нѣтъ недостатка, доставила ему мѣсто полицеймейстера въ одномъ изъ южныхъ городовъ нашего гостепріимнаго отечества.

Высокій ростъ, мундиръ, бряцанье шпоръ, сѣро-голубые глаза, румянецъ и бѣлокурые, тщательно расчесанные и напомаженные, волосы творили чудеса въ началѣ столѣтія, не только въ провинціи, но и въ самой Москвѣ. Стоило щелкнуть шпорами, ловко перевернуться на каблукѣ и прищуриться, покручивая молодцовато усъ, чтобы произвести въ то время трепетъ въ женскомъ сердцѣ. Не прошло года, въ полковника влюбилась по уши трид-

пятипятилѣтняя вдовушка. Ее, главнымъ образомъ, прельстило бѣлое тѣло на шеѣ полицеймейстера. Бѣлизна и мягкость кожи, свойственная вообще людямъ германской расы, была въ самомъ дѣлѣ до того у него замѣчательна, что даже теперь въ глубокой старости не могли на ней изгладиться двѣ красныя полосы: одна вокругъ тальи, гдѣ стягивался когда-то мундиръ, другая на лбу отъ фуражки, которую носилъ онъ всегда тугою и плотно надвигалъ надъ бровями. Бѣлизна тѣла могла также прельстить вдову, въ силу контраста: она, въ свою очередь, какъ женщина восточнаго происхожденія (родомъ была она изъ Румыніи), отличалась смуглостью. Завистницы ея успѣховъ съ мужчинами находили въ ней даже сходство съ придворнымъ арапомъ, который хотя и вышелъ въ отставку и получилъ пенсію, но по привычкѣ продолжалъ краситься. Кто изъ нихъ, онъ или она сдѣлалъ предложеніе, неизвѣстно, только они сочетались законнымъ бракомъ. Изъ ревности къ мужу, она заставила его немедленно выйти въ отставку, и деспотически переселила въ деревню. Годъ спустя, у нихъ родилась дочь. Послѣ пятнадцатилѣтняго супружества, румынка въ знойный іюльскій день обкушалась окрошкой со льдомъ и отдала Богу душу.

Вдовецъ сначала занялся-было хозяйствомъ, но размягчающая атмосфера степной русской деревни не замедлила проявить свое дѣйствіе даже на курляндца; онъ сталъ мало-по-малу облѣниваться, закисать и, по прошествіи еще пятнадцати лѣтъ, т. е. въ то время, какъ начинается мой разсказъ, — имѣлъ видъ той дряхлой, тощей развалины, которую я вамъ описывалъ. Отъ стараго времени у него осталась только привычка носить военный сюртукъ вмѣсто халата; онъ сохранялся въ немъ точно въ футлярѣ.

Въ послѣдніе десять лѣтъ, старецъ, зимою и лѣтомъ, усаживался на то же самое мѣсто, въ то же самое кресло и проводилъ время, насасывая, или, вѣрнѣе, мусля кончикъ дешевой сигары и прищуривая подслѣповатые глаза, прикрытые зеленымъ тафтянымъ зонтикомъ, изъ-подъ котораго высовывалась беззубая

челюсть, утыканная рѣдкой, но колючею сѣдиной. Днемъ куда еще ни шло, старецъ иногда даже какъ бы оживлялся; это происходило обыкновенно, когда въ его памяти, покрывавшейся пепломъ, — воскресала искра воспоминаній отдаленной военной карьеры. Въ нихъ главнымъ эпизодомъ являлся неизмѣнно всегда случай, когда разъ, на разводѣ, Императоръ Николай, проѣзжая мимо его роты, произнесъ: „здорово, Шницель!“ Этотъ: „здорово, Шницель!“ былъ единственнымъ живымъ воспоминаніемъ за всѣ восемьдесятъ-два года существованія. Разсказывая объ этомъ, старецъ всегда выпрямлялся, дергалъ плечомъ и начиналъ бодриться. Въ другое время, подымался онъ кряхтя съ кресла, выходилъ на середину комнаты, шаркая мягкими подошвами, и принимался, какъ онъ говорилъ: дѣлать гимнастику; она состояла въ томъ, что онъ усиленно сгибалъ колѣна и махалъ руками, какъ плетьми, скрещивая ихъ на груди, какъ дѣлаютъ извощики, когда хотятъ согрѣться. Къ вечеру старецъ уже окончательно никуда не годился. Его приходилось по частямъ укладывать въ постель: сначала посадятъ, потомъ закинутъ на постель одну ногу, потомъ другую и наконецъ опустятъ на подушки, — причемъ во всемъ домѣ слышалось, какъ онъ жалобно стоналъ, вздыхалъ и охалъ.

Но о старцѣ довольно. Сущность дѣла въ дочери.

---

## XVI.

Я уже сказалъ: ей было за тридцать. Родившись цѣликомъ въ мать, она была не только брюнетка, но всѣмъ видомъ имѣла съ ней ближайшее сходство: коротенькая, круглая, но рыхлая, съ сильно развитою, — какъ говорится: арбузовидною грудью, стѣснявшею ее еще въ восемнадцать лѣтъ, а теперь, въ тридцать, окончательно превратившеюся въ тягостное бремя; смуглый неровный цвѣтъ лица отливалъ всегда глянцемъ, установившимся

должно быть, отъ усиленнаго употребленія трескового жира въ дѣтствѣ, а въ послѣдствіи отъ излишняго употребленія кольдъ-крема. Единственнымъ украшеніемъ ея круглаго лица могли быть черные глаза, но, къ сожалѣнію, въ нихъ было меньше блеску, чѣмъ унынія съ придачей какого-то меланхолическаго изнываніе; такой же безжизненный видъ имѣли ея волосы; они были обильны и черны, какъ крылья ворона, — но это была какая-то глухая чернота: представьте себѣ волосы на головѣ мертваго армянина! Короче сказать: привлекательнаго было въ ней мало, какъ впрочемъ большею частью у продуктовъ не молодыхъ родителей; отцу было тогда уже за пятьдесятъ, а мать хотя и была нѣсколько помоложе, но въ послѣдній годъ до родовъ постоянно хворала и жила, можно сказать, почти на одномъ касторовомъ маслѣ. Тоскливое выраженіе на лицѣ матери отъ пріема этого непріятнаго медикамента и перешло, быть можетъ, по наслѣдству къ дочери. Это могло также происходить у послѣдней отъ горькаго сознанія неудавшейся жизни и также неудавшейся наружности; она въ ней обманывалась только до извѣстной степени. Но страсти, какъ вы знаете, не свой братъ; разсудительность говоритъ одно,— страсти чаще всего глухи, рвутъ и мечутъ зря въ свою сторону!

Страсти зрѣлой дѣвушки—унаслѣдованныя несомнѣнно также отъ матери,—постоянно поддерживались и разжигались чтеніемъ книгъ и журналовъ, которые по привычкѣ продолжали выписывать въ деревню.

Въ то время литература наша была въ самомъ пылу романтизма. Поэты — или вѣрнѣе сказать, — стихотворцы особенно торжествовали; это былъ положительно ихъ золотой вѣкъ.

Провинціальныя барышни влюблялись въ нихъ не только по первому взгляду, но даже заочно: степень увлеченія опредѣлялась степенью страстности, выраженной въ стихахъ. Поэты представлялись воображенію съ глазами, мечтательно устремленными къ небу, съ лавромъ на вдохновленномъ челѣ, лирой при бедрѣ или въ рукахъ и въ плащѣ, едва прикрывающемъ формы, такія же красивыя, какъ у Аполлона Бельведерскаго. Посмертный

портретъ Байрона съ открытой грудью на распашку, съ перомъ въ рукѣ и особенно надпись подъ нимъ: „увы!—онъ его (пера) больше не возьметъ!..“—исторгали слезы. Первые романтическіе симптомы барышни, исторію которой я вамъ разсказываю,—выразились тѣмъ, что она влюбилась (заочно, конечно) въ Бенедиктова и долго не могла утѣшиться, узнавъ случайно, что онъ старый дѣйствительный статскій совѣтникъ и притомъ служитъ въ государственномъ банкѣ. Она постепенно прошла всѣ стадіи поэтическихъ экстазовъ. Недовольствуясь печатными книгами,—она отчетливо, каллиграфически переписывала любимые стихи и цѣлыя поэмы, наполняя ими тетради съ красивыми цвѣтными обертками.

---

## XVII.

Провинціальныя барышни того времени увлекались преимущественно двумя образами: однѣ, болѣе пылкія, или „экзальтé“, какъ говорили тогда въ провинціи,—любили воображать себя подхваченными поперегъ таліи могучей рукой всадника (нѣчто среднее между Джіауромъ и Демономъ) или даже перекинутыми черезъ сѣдло лошади, бѣшено скачущей надъ бездной съ бушующимъ внизу потокомъ; кромѣшная ночь обнимаетъ небо и землю; вокругъ гремятъ громы и сверкаютъ молніи, вѣтеръ рветъ и крутитъ бѣлыя одежды несчастной жертвы, а всадникъ, прижимая ее къ груди своей, шепчетъ ей страстно: „Заира, я оторвалъ тебя отъ людей! Ты моя,—моя навѣки!...“ Вообще надо замѣтить,—литература наша мало тогда занималась Россіей; запрещено что ли было или съ легкой руки Марлинскаго и нашихъ побѣдъ на Кавказѣ,—востокъ вошелъ въ моду и сталъ болѣе подходящимъ ко вкусу публики,—но фактъ тотъ, что литераторы любили тогда больше начинать свои повѣсти такимъ образомъ:—„Здравствуй, великая царица Тедмора!“—„Здравствуй, великій Антаръ—сынъ Раббія! послышался голосъ за

занавѣской...“,—чѣмъ обращаться къ отечественнымъ сюжетамъ, находя ихъ слишкомъ обыденными, вульгарными для вдохновеннаго поэта—словомъ, безусловно восторгались Малекъ-Аделемъ—и глубоко презирали Чичикова, который не появлялся еще на сценѣ,—но успѣлъ уже родиться и замышлялъ свои планы.

Другія барышни,—болѣе склонныя къ меланхоліи или мечтательности,—любили воображать себя Татьяной и проводили время, трепетно ожидая: вотъ-вотъ прозвенитъ въ отдаленіи колокольчикъ и явится Онѣгинъ...

Наша барышня принадлежала къ числу послѣднихъ. Въ ожиданіи Онѣгина, она влюбилась въ дьякона, пріѣзжавшаго съ архіереемъ святить церковь въ сосѣднемъ селѣ. Замѣчательнѣе всего, что наружность дьякона, весьма внушительная сама по себѣ, не была главнымъ поводомъ увлеченія. Подобно тому какъ покойная ея мать соблазнилась бѣлизною тѣла полицеймейстера,—дочь увлеклась волосами обожаемаго предмета; дьяконъ наканунѣ былъ въ банѣ и вымылъ ихъ щелокомъ, отчего они распушились во всѣ стороны и волнами ходили вокругъ его головы, когда онъ кланялся и вскидывалъ въ ту сторону кадиломъ; равнодушная къ остальнымъ красотамъ дьякона,—она унеслась воображеніемъ въ его кудри и долго билась въ нихъ, то замирая отъ упоенія, то изнывая отъ какого-то неудовлетвореннаго томительнаго чувства. Нѣтъ никакой возможности перечесть всѣхъ увлеченій барышни; достаточно сказать,—ихъ было, однакожъ, меньше безсонныхъ лѣтнихъ ночей, когда, горя внутреннимъ жаромъ и согрѣвая своимъ тѣломъ подушки и перину, бросалась она раздѣтая къ открытому окну; или когда, въ лунныя ночи, просиживала она на балконѣ и, млѣя и замирая, прислушивалась къ пѣнію соловья, увы! часто прерываемаго визгомъ влюбленныхъ кошекъ на сосѣдней крышѣ; или когда, ранней пахучей весною, испытывала она ощущенья, выраженныя впослѣдствіи такъ прекрасно Фетомъ:

Пропаду отъ тоски я и лѣни,
Одинокая жизнь не мила...
Въ каждый гвоздикъ душистой сирени
Расцѣвая вползаетъ пчела...

Или, наконецъ, когда бродила она по цѣлымъ часамъ въ саду, распустивъ по плечамъ волосы на подобіе русалки и бросала вокругъ растерянные масляные глаза, трепетно, но тщетно призывая предметъ страстныхъ мечтаній...

---

## XVIII.

Вы, можетъ быть, придете къ заключенію, что въ барышнѣ, расположенной, такимъ образомъ, духомъ и тѣломъ,—вся эта неудовлетворенность законнаго отвѣта на ея чувства дѣйствовала разрушительно на ея организмъ, разстроивала нервы, увеличивала печень и расширяла коричневые круги вокругъ ея глазъ... Вы жестоко ошибетесь; не могу сказать: „все это способствовало ей къ украшенью“, но уже къ двадцати-шести годамъ стала она заплывать и закругляться, какъ молодая дыня, которая назрѣла и лоснилась на солнцѣ отъ избытка соку. Полнота, впрочемъ, не столько ее огорчала, сколько другая игра природы: едва зацвѣтали сирень и черемуха—на лицѣ барышни выступали также признаки весны въ видѣ маленькихъ почекъ...

Послѣднее это обстоятельство, съ упорствомъ повторявшееся каждую весну, не могло, конечно, не усилить печальнаго настроенія духа, которое безъ того уже замѣтно стало въ ней проявляться послѣ того, какъ она мало-по-малу охладѣла къ чистой поэзіи и съ пылкостью, ей свойственной, увлеклась чтеніемъ романовъ Ж. Зандъ, начинавшихъ тогда распространяться въ Россіи. Вмѣсто стиховъ она переписывала теперь цѣлыя главы изящной прозы. Лелія особенно ее поразила.—„Кто ты? И отчего душа твоя полна такой печали?!“ Слова эти служили какъ бы отголоскомъ ея собственныхъ чувствъ.

Съ этихъ поръ она стала причесываться, подворачивая волосы по-мужски почти до плечъ, и одѣвалась не иначе, какъ въ

черное платье. Экзальтація ея приняла также другое направленіе. Поэтическія мечтанія казались ей теперь чѣмъ-то дѣтскимъ, праздным, неудовлетворительнымъ для развитаго ума и тоскующей души. На первый планъ выступили теперь человѣчество, обязательства гражданина, долгъ, страстное желаніе общественной пользы. Не зная, съ чего начать, къ чему обратиться, она, въ порывѣ перваго увлеченья, набросилась на отца и принялась на немъ изощрять чувства долга. Порывы эти въ первое время такъ были сильны, что когда она судорожно подхватывала старика подъ руку и начинала водить его по саду,—ноги его только путались, болтаясь какъ разварныя макароны, и ему отъ слѣпоты казалось, будто его стремительно влекутъ подъ гору. Отъ отца она также стремительно перешла къ сельской аптекѣ и лѣченію и затѣмъ всѣмъ существомъ своимъ отдалась устройству сельской школы. Сначала дѣло пошло даже изрядно; мальчики и дѣвочки охотно учились. Одно во всемъ этомъ не отвѣчало настроенію ея мыслей, казалось ей даже какъ бы оскорбительнымъ: буквари, по которымъ учились крестьянскія дѣти, аспидныя доски, перья, бумага и проч.—все это покупалось на деньги, добываемыя трудомъ и потомъ крѣпостнаго мужика... Въ чемъ же состояла тогда ея собственная жертва?... Мысль эта на время охладила ея рвеніе; она рѣшилась продолжать дѣло не иначе, какъ на свои трудовыя денежныя средства. Съ того же дня, расхаживая ускоренными шагами по саду и поминутно откидывая назадъ волосы, она принялась сочинять повѣсть...

Сначала было очень трудно; выходило всегда какъ-то такъ, что все написанное напоминало ближайшимъ образомъ что-то гдѣ-то читанное. Мнѣ привелось читать въ рукописи это произведеніе. Оно въ числѣ другихъ рукописей было единственнымъ моимъ наслѣдствомъ послѣ тётки, а тёткѣ рукописи перешли, также въ видѣ единственнаго наслѣдства, отъ ея свояченицы, бывшей замужемъ за братомъ редактора одного толстаго журнала, пользовавшагося въ то время большой извѣстностью. Разсказъ

мой, передаваясь отъ одного близкаго лица другому, связанъ, какъ видите, съ моими фамильными воспоминаніями...

Но перейдемъ къ рукописи.

---

## XIX.

Писанная рукою автора, она поражала каллиграфическими достоинствами; литературныя качества показались мнѣ нѣсколько слабѣе. На первомъ планѣ выступала задумчивая поэтическая дѣвушка, окруженная многочисленной семьею — были даже, помню: семь сестеръ, три брата, дѣдъ, бабушка и двѣ тётки, — но считавшая себя почему-то круглой сиротой и никѣмъ не понятой. Затѣмъ описывалась, — слабо, надо сказать, — поѣздка въ Пятигорскъ и встрѣча съ кавказскимъ героемъ — офицеромъ, сосланнымъ за дуэль. Она въ первый разъ увидѣла его стоящимъ на вершинѣ неприступнаго утеса, съ руками, скрещенными на груди и мрачнымъ таинственнымъ взоромъ, устремленнымъ куда-то въ даль. Подъ ногами его клубились облака; надъ нимъ, въ необъятной вышинѣ, витали орлы, „возмущавшіе крикомъ дикую окрестность“. „Гдѣ-то въ сторонѣ прокричалъ филинъ; съ другаго конца сверкнула молнія, вышивая дивный узоръ на черномъ плащѣ неба“... *Онъ* и *она* случайно встрѣчаются у источника. Оказалось: онъ также считаетъ себя во всемъ мірѣ одинокимъ, круглымъ сиротою и непонятымъ... Съ этого мѣста, признаться сказать, я пропустилъ нѣсколько страницъ; тутъ, можетъ быть, была лучшая часть повѣсти; но строчки шли плотно одна къ другой безъ малѣйшаго пробѣла; къ тому же тутъ, сколько я замѣтилъ, вмѣсто дѣйствія подробно описывалась внутренняя душевная и сердечная борьба героевъ, изображался психическій процессъ зарождающейся и развивающейся страсти — а я всегда избѣгаю такія страницы такъ же тщательно, какъ избѣгаю описанія красотъ музыкальныхъ звуковъ. Въ первомъ случаѣ мнѣ

больше нравится, когда дѣйствующія лица разговариваютъ, во второмъ — предпочитаю шарманку; то и другое мнѣ какъ-то доступнѣе, яснѣе... Остановившись на восклицаніи: „Царица души моей, я тебя недостоинъ!!..“ произнесенномъ героемъ, мелькнувшимъ на лошади, скакавшей „быстрѣе мысли всадника“, — я прямо перешелъ къ концу повѣсти. Изъ него узналъ я, что герой, раненый на смерть при взятіи какого-то аула и умирающій на колѣняхъ героини, переодѣтой почему-то въ мужское платье,— открываетъ ей тайну своего существованія: онъ былъ ничто иное, какъ каторжникъ, бѣжавшій изъ Сибири... Заключительныя строки переносили читателя въ скромную сельскую церковь, гдѣ, часто, въ вечерній часъ, когда „угасало дневное свѣтило“, можно было видѣть молодую прелестную женщину, одѣтую въ черномъ и прикрытую вмѣсто шляпки густымъ вуалемъ, также чернаго цвѣта; тихими, едва слышными шагами проходила она въ дальній уголъ къ образу Богоматери, едва освѣщаемому теплющейся лампадой — „падала ницъ, простирая руки и долго, долго молилась за себя и за несчастнаго“...

Какъ я вамъ сказалъ, повѣсть осталась въ рукописи. Почему постигла ее такая жалкая участь, тутъ кроется цѣлая драма. Она-то собственно и составляетъ суть разсказа.

---

## XX.

Въ то время, когда бывало сказать съ нѣкоторой смѣлостью: дважды два — четыре, считалось уже у насъ вольнодумствомъ,— толстые журналы были рѣдкость: одинъ, два, три—и обчелся. Барышня наша выписывала одинъ изъ нихъ, издававшійся въ Петербургѣ. Онъ пользовался особымъ успѣхомъ между провинціальными барышнями благодаря тому, что въ немъ преимущественно печатались лучшіе современные переводы, оригинальныя повѣсти, романы и стихотворенія; послѣднія занимали въ каж-

домъ номерѣ едва-ли не третью часть; редактору, во-первыхъ, приходилось удовлетворять вкусу публики къ поэзіи, во-вторыхъ, онъ самъ сочувствовалъ стихотворнымъ произведеніямъ, которыя тогда печатались даромъ. Впрочемъ, въ тотъ золотой вѣкъ печати и редакторовъ, прозаики не уступали въ этомъ отношеніи поэтамъ; они также не гнались за гонораромъ, считая себя вполнѣ счастливыми, когда видѣли свои труды напечатанными.

Повѣсть барышни сопровождалась письмомъ, въ которомъ авторъ, сознавая всю смѣлость своего поступка, оправдывался безвыходнымъ положеніемъ молодой дѣвушки, совершенно одинокой, занесенной въ деревенскую глушь, не имѣющей живаго существа, съ кѣмъ посовѣтоваться, лишенной всякаго сочувствія, предоставленной самой себѣ; къ кому же было ей обратиться, какъ не къ человѣку, имя котораго, столь извѣстное и любимое всей Россіей, прибавляла она, — было предметомъ ея всегдашняго поклоненія (какъ многіе читатели того времени, она думала, что большая часть того, что печатается въ журналахъ, сочинялась самимъ редакторомъ). Съ глубокой вѣрой въ его великодушіе, она смѣла надѣяться, что онъ не откажетъ ей въ участіи и снисходительно отнесется къ первому опыту начинающаго писателя. Въ письмѣ слова не упоминалось о благотворительной цѣли, съ какою сочинялась повѣсть, и также о гонорарѣ.

По прошествіи двухъ недѣль получился отвѣтъ. Редакторъ, скромно умалчивая объ удовольствіи, доставленномъ ему извѣстіемъ, что имя его пользовалось такой популярностью и любовью въ глухихъ мѣстахъ Россіи, — не могъ, какъ литераторъ, котораго, по его словамъ: „самъ Марлинскій благословилъ на литературное поприще“, не могъ горячо не сочувствовать юному начинающему собрату въ образѣ высоко развитой дѣвицы, одаренной къ тому же замѣчательнымъ поэтическимъ дарованіемъ. Онъ благодарилъ за присылку повѣсти, въ которой нашелъ много неподдѣльной теплоты въ связи съ тонкимъ чувствомъ, свойственнымъ въ такой степени только чуткому женскому сердцу; онъ

обѣщалъ въ скоромъ времени помѣстить повѣсть въ своемъ журналѣ. О гонорарѣ въ его письмѣ также не упоминалось.

Можете сами судить, какое впечатлѣніе произвелъ такой отвѣтъ на барышню! При чтеніи его, у нея, отъ усиленнаго обращенія крови, завертѣлись въ глазахъ зеленые кружки; она едва могла придти въ себя отъ смущенія. Возможно ли въ самомъ дѣлѣ, чтобы человѣкъ, котораго представляла она себѣ сіяющимъ въ ореолѣ славы, окруженнымъ сонмомъ поэтовъ, ученыхъ и литераторовъ, поглощеннымъ занятіями самаго сложнаго свойства,— чтобы такой человѣкъ могъ найти время для отвѣта совершенно незнакомой дѣвушкѣ, — и какого отвѣта, — Боже мой, какого отвѣта! Наконецъ время было здѣсь послѣднимъ дѣломъ! Не въ тысячу ли разъ больше слѣдовало цѣнить отзывчивость души, теплоту сердца и эти милыя, милыя сочувственныя слова, вырвавшіяся какъ бы сами собою отъ избытка чувствъ... Дальше дѣло уже перешло въ область воображенія, которое, со свойственною ему пылкостью, не замедлило обрисовать редактора какимъ-то возвышеннымъ идеальнымъ существомъ и даже придало ему идеальныя формы, чуть ли не съ крыльями за плечами...

Въ ту же ночь перо барышни, горѣвшей какъ въ лихорадкѣ, судорожно заходило по бумагѣ. Рано утромъ второе это посланіе отправлено было съ нарочнымъ на почту. Содержаніе этого втораго письма мнѣ неизвѣстно; но братъ редактора, — мужъ свояченицы моей тётки, разсказывалъ, что послѣ этого втораго письма изъ Саратова, — редакторъ показался ему какъ бы не въ своей тарелкѣ; онъ былъ задумчивѣе обыкновеннаго и настолько былъ разсѣянъ, что, принимая отъ какого-то литератора рукопись и намѣреваясь положить ее подлѣ себя для просмотра, — сунулъ ее тутъ же подъ столъ въ плетеную корзину, чѣмъ жестоко обидѣлъ автора, пожелавшаго тотчасъ же взять рукопись обратно.

## XXI.

Редакторъ, котораго я не только зналъ по разсказамъ родственниковъ, но котораго нѣсколько разъ встрѣчалъ у тётки,— принадлежалъ, надо сказать, къ числу сильныхъ романтиковъ. Въ то время между грамотными въ Россіи, одни военные генералы, откупщики и дѣйствительные статскіе совѣтники при должности — могли считаться людьми положительными; остальное человѣчество мирно занималось хлѣбопашествомъ, и меньшая его доля восхищалась Бенедиктовымъ и захлебывалась, читая Альманахъ — Владиславлева.

Редакторъ, какъ человѣкъ труда, принужденный проводить большую часть существованія въ кабинетѣ, сидя въ креслахъ на гуттаперчевомъ кружкѣ, мало былъ знакомъ съ дѣйствительною живою жизнію; знакомясь съ нею, почти исключительно по романамъ и повѣстямъ, которые приходилось читать съ утра до вечера въ рукописяхъ и по корректурамъ, — онъ, можно сказать, жилъ больше воображеніемъ. По натурѣ своей, онъ былъ однакожъ то, что называется: „сердечкинъ“, то-есть, повторяя выраженіе одного изъ его сотрудниковъ: „постоянно носилъ подъ селезенкой тоскующую горлицу“. И странное дѣло: онъ и журналъ его имѣли двѣ совершенно несхожія судьбы! Журналъ, какъ извѣстно, пользовался большимъ успѣхомъ у прекраснаго пола; онъ же тѣмъ именно и отличался, что, доживъ до сорока-пяти лѣтъ, не имѣлъ съ этой стороны никакого успѣха. Обстоятельство это подъ конецъ сообщило его наружности унылый оттѣнокъ, который, естественнымъ образомъ, усиливался отъ сознанія, что виною всему была его наружность. Дѣйствительно она не была привлекательна.

Глаза были еще туда-сюда, хотя, частью отъ близорукости, частью отъ усиленнаго напряженія при постоянномъ чтеніи корректуръ и рукописей,—они выкатывались впередъ, образуя что-то въ родѣ куриныхъ яицъ съ круглымъ, нѣсколько тупымъ зрачкомъ, выведеннымъ тусклой сѣрой краской. Мутный, геморои-

дальный цвѣтъ лица — неизбѣжное слѣдствіе упорнаго сидѣнья на гуттаперчевомъ кружкѣ, да еще въ Петербургѣ, — также могъ быть допущенъ; главный предметъ неудачи заключался въ носѣ. Такіе носы встрѣчались прежде у засѣдателей и секретарей земскихъ судовъ и теперь встрѣчаются только иногда у архіерейскихъ пѣвчихъ; довольно обыкновеннаго вида при началѣ своемъ между бровями, носы этого рода, приближаясь къ оконечности, начинаютъ расширяться во всѣ стороны, припухаютъ и неожиданно закручиваются кверху, открывая по сторонамъ пару ноздрей, въ которыя свободно можно вставить по грецкому орѣху; о цвѣтѣ я уже не распространяюсь: такіе носы всегда болѣе или менѣе отливаютъ свинцовымъ матомъ, какъ на сливахъ. Ротъ былъ безспорно лучшимъ украшеніемъ редактора; но, по какому-то странному капризу, онъ менѣе всего обращалъ на него вниманія, — можно даже сказать: держалъ его въ черномъ тѣлѣ, вспоминалъ о немъ въ тѣхъ только случаяхъ, когда приходилось кушать и говорить, а въ остальное время употреблялъ его почти исключительно для плеванья въ мѣдную песочницу, находившуюся постоянно подлѣ письменнаго стола. Такія песочницы были тогда почему-то во всеобщемъ употребленіи.

Неудачи редактора въ отысканіи „подруги по душѣ и влеченію сердца“ — какъ онъ выражался ближайшимъ друзьямъ и родственникамъ — все сильнѣй и сильнѣй давали себя чувствовать; не смотря на успѣхъ журнала, сердце изнывало въ одиночествѣ и тосковало отъ недостатка питанія. Часто, въ часы печальнаго настроенія, воображеніе рисовало передъ нимъ молодое, кроткое и любящее существо, не испорченное жизнью столицы, сохранившее въ душѣ чистоту ландыша и невинность фіалки, скромно притаившейся въ тѣни своихъ листьевъ...

Послѣ чтенія втораго письма изъ Саратовской глуши, мечты его приняли неожиданно другой оборотъ... Онѣ стали какъ бы сближаться съ дѣйствительностью. „А что если... если это?...“ пришло ему невольно въ голову въ то время, какъ онъ задумчиво расхаживалъ по кабинету съ заложенными за спину руками.

Онъ тутъ же отбросилъ такую мысль, но тѣмъ не менѣе, на слѣдующій день, написалъ длинное письмо съ адресомъ въ Саратовскую губернію.

Ровно на десятый день утромъ получилъ онъ отвѣтъ.

Съ этого времени (дѣло было въ началѣ зимы) между Петербургомъ и Саратовомъ установилась совершенно правильная, непрерываемая корреспонденція. Къ новому году она составляла уже изрядный томикъ.

---

## XXII.

Въ послѣднихъ письмахъ слова уже не упоминалось о повѣсти, писанной съ благотворительною цѣлью. Говорилось больше о сочувствіи душъ, объ обмѣнѣ мыслей, о неудовлетворенности чувствъ, тоскѣ по идеалу. Въ его письмахъ попадались такія строки: „Женское сердце неизмѣримо, какъ океанъ, въ таинственной глубинѣ котораго скрываются драгоцѣнные перлы“ и также: „...глотаю слезы,— эти горькія ягоды, растущія на развалинахъ разрушеннаго сердца...“

Съ каждымъ новымъ письмомъ, желаніе высказаться примѣтно расширяло свои предѣлы, обмѣнъ чувствъ требовалъ все больше и больше простора на бумагѣ, самый слогъ, какъ бы подогрѣваемый невидимымъ огнемъ, разливался теперь жгучимъ, пламеннымъ потокомъ. Во всемъ этомъ, воображеніе, какъ всегда впрочемъ, принимало самое лукавое, демонски лицемѣрное участіе; оно рисовало каждому изъ пишущихъ фантастическіе образы и картины, обольщало ихъ волшебнымъ миражемъ, купало въ голубомъ эфирѣ, возносило на неизмѣримыя вершины, гдѣ онъ — Манфредъ или Ромео, сіяя весь мужественной красою, простиралъ къ ней страстныя объятія; она — Лаура или Беатриче, олицетворенная нѣжность и грація, припадала къ нему на грудь

и, обхвативъ его шею руками, лепетала ему слова вѣчной, неизмѣнной любви...

Къ концу марта, въ письмахъ того и другаго, выразилась настоятельная потребность въ обмѣнѣ дагеротипныхъ портретовъ. Къ сожалѣнію, ни тотъ, ни другой не могли исполнить желанія; редакторъ, какъ житель Петербурга, при первомъ дуновеніи весны, схватилъ неизбѣжный флюсъ и въ такомъ видѣ не рѣшился сниматься; барышня не снялась по той причинѣ, что въ деревнѣ не существовало дагеротипа, а въ губернскій городъ проѣзду не было по случаю разлива рѣкъ..

Въ первыхъ числахъ апрѣля переписка выяснила фактъ несомнѣннаго сродства двухъ душъ, несообразность разлуки и настоятельно требовала ихъ сближенія; съ общаго согласія назначено было свиданіе: десятое мая, два часа пополудни, Москва, гостинница Шевалдышева.

Трудность исполненія задуманнаго плана была на сторонѣ барышни. Ѣхать одной въ такую даль, безъ видимаго повода, было немыслимо. Съ другой стороны, нечего было думать оставить восьмидесятилѣтняго отца одного на попеченіе прислуги. Надо было тѣмъ или другимъ способомъ уговорить старца ѣхать въ Москву. Но возбужденныя страсти внушаютъ иногда геніальныя соображенія. Ольга Карловна (я все забываю называть барышню настоящимъ ея именемъ) горячо принялась убѣждать отца въ томъ, что онъ страдаетъ завалами, и имъ необходимо отправиться въ Москву для совѣщанія съ докторами. „Что?... А?... Какъ??...“ спрашивалъ старецъ, прикладывая ладонь къ уху.—„У васъ, папенька, завалы!!...“ съ удвоенной энергіей подхватывала Ольга Карловна. Старикъ, начинавшій совсѣмъ уже слѣпнуть подъ зеленымъ своимъ зонтикомъ и въ послѣднее время совсѣмъ уже впавшій въ дѣтство, на все согласился. Въ концѣ апрѣля его перенесли на рукахъ въ тарантасъ, бережно уложили между двумя тюфяками; дочь суетливо сѣла подлѣ; дворовые прокричали: „съ Богомъ!!“ старецъ застоналъ и заохалъ, но звуки эти тотчасъ

были заглушены тарантасомъ, который тронулся и покатилъ по двору.

Охотно пропускаю психологическій анализъ тѣхъ нравственныхъ ощущеній, которыя испытывала Ольга Карловна во все время переѣзда изъ Саратова въ Москву; я вообще до нихъ не охотникъ. Ограничусь тѣмъ, что взволнованное состояніе чувствъ и мыслей въ значительной степени усугублялось хотя и привычнымъ, но въ настоящее время, совершенно неумѣстнымъ дѣйствіемъ весны на ея лицо, видимо украсившееся почками; способствовала ли тому внутренняя тревога, быстрѣе обращавшая кровь, но только почки эти росли и размножались съ такой ужасающей силой, что даже въ Москвѣ, послѣ неоднократнаго омовенія лица сывороткой, вытиранія его кольдъ-кремомъ и обсыпанія пудрой, даже послѣ принятія во внутрь пилюль изъ ревеню, ничто не могло остановить ихъ распространенія.

---

## XXIII.

Переѣздъ редактора въ Москву былъ далеко не такъ затруднителенъ (онъ ѣхалъ въ отдѣленіи первоначальнаго заведенія дилижансовъ), хотя, надо сказать, также не былъ избавленъ отъ непріятности своего рода. Флюсъ его уменьшился, но не настолько все-таки, чтобы позволить ему снять черную косынку; она туго обтягивала его щеки и оканчивалась на макушкѣ головы большимъ бантомъ, въ видѣ раскрытыхъ крыльевъ. Утѣшительной стороной могло служить, по крайней мѣрѣ, то обстоятельство, что въ послѣдніе два мѣсяца редакторъ первый разъ обратилъ должное вниманіе на свой ротъ; онъ то и дѣло полоскалъ его теперь какимъ-то крѣпкимъ элексиромъ изъ флакона, запрятаннаго въ дорожномъ мѣшкѣ.

Не могу вамъ сказать, въ какой гостинницѣ онъ остановился; наконецъ это вовсе не интересно. Знаю только, что десятаго мая,

часу во второмъ пополудни, въ одномъ изъ номеровъ гостинницы Шевалдышева, Ольга Карловна сидѣла на диванѣ и, какъ трепетная лань, прислушивалась къ малѣйшему звуку. Какъ только въ корридорѣ раздавались шаги и голоса, лицо ея вспыхивало, оконечности пальцевъ холодѣли и сердце начинало биться, какъ внезапно пойманная птица; знаю — избитое сравненіе, но въ настоящую минуту не пріискиваю лучшаго.

Въ продолженіи послѣдняго этого часа, она сотню разъ вставала съ мѣста, бросала украдкой безпокойный взглядъ въ зеркало, причемъ всякій разъ начинала ускоренно дышать, опускалась снова на диванъ, судорожно вынимала носовой платокъ и тутъ же снова запрятывала его въ боковой карманъ платья.

Въ одну изъ такихъ минутъ кто-то постучалъ въ дверь.

Въ головѣ ея помутилось, и все пошло колесомъ. Она невольно закрыла глаза и съ передышкой произнесла:

— Войдите...

Дверь отворилась, кто-то шаркнулъ и слегка кашлянулъ.

Открывъ глаза, она увидѣла передъ собой маленькаго тощаго господина съ лицомъ, перевязаннымъ косынкой. Крайняя степень смущенія изображалась въ чертахъ его; высоко приподнявъ брови, раскрывъ глаза во весь свой сѣрый зрачокъ, раскрывъ даже нѣсколько ротъ, онъ стоялъ неподвижно на мѣстѣ, какъ бы стараясь придти въ себя; наконецъ неувѣренно проговорилъ свою фамилію, прибавивъ:

— Я имѣю честь говорить съ Ольгой Карловной?...

— Да... произнесла она чуть слышно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія; судя по ихъ лицамъ, можно было думать, они только-что сообщили другъ другу самую печальную неожиданную новость. Оба были какъ бы въ недоумѣніи и готовы были заплакать.

Ольга Карловна первая овладѣла собою и сказала, указывая на стулъ:

— Очень рада... пожалуйста садитесь...

— Благодарю васъ, возразилъ редакторъ совершенно растерянным голосомъ.

Онъ сѣлъ на край стула, повертѣлъ шляпой и произнесъ, опуская глаза въ землю.

— Вы давно пріѣхали... сударыня?...

— Третьяго дня...

— Дороги въ поляхъ не совсѣмъ еще, должно быть, просохли... Въ рощахъ, вѣроятно, еще сыро... и зелень также... я думаю, не вездѣ еще распустилась...

— Трава вездѣ впрочемъ... проговорила-было Ольга Карловна, и вдругъ начала дышать ускореннымъ тактомъ и такъ тяжело, что редакторъ невольно привсталъ со стула; но она ничего уже не видѣла; голова ея кружилась, въ глазахъ зеленѣло, грудь спиралась отъ недостатка воздуха... Она судорожно прижала къ лицу платокъ и съ истерическимъ клокотаніемъ въ горлѣ упала на спинку дивана...

Редакторъ заметался по комнатѣ, бросая растерянные взгляды, и наконецъ выбѣжалъ въ корридоръ, призывая прислугу; объяснивъ на-скоро, что въ сосѣднемъ номерѣ барынѣ сдѣлалось дурно и потребовавъ, чтобы прислали ей горничную, — онъ быстро сбѣжалъ съ лѣстницы и такъ же быстро зашагалъ по улицѣ, продолжая сохранять на лицѣ недоумѣнье вмѣстѣ съ выраженіемъ испуга.

На слѣдующій день Ольга Карловна получила письмо почти такого содержанія:

„Позвольте выразить Вамъ, М. Г., мое искреннее сожалѣнье о внезапно постигшемъ Васъ вчера нездоровьѣ. Смѣю надѣяться, оно останется безъ послѣдствій. Возвратясь отъ Васъ, я получилъ депешу изъ Петербурга, требующую немедленно моего отъѣзда. Сожалѣю, что вчера не удалось переговорить съ Вами насчетъ прекрасной Вашей повѣсти. Я разсчитываю напечатать ее въ іюльской книжкѣ. Примите и т. д.“.

Въ тотъ же день редакторъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Дней пять спустя, послѣ консиліума, на которомъ выяснилось, что у отца Ольги Карловны не было признака заваловъ и всего

лучше было бы не тревожить его старыхъ костей, — изъ гостинницы Шевалдышева выѣхалъ знакомый тарантасъ; изъ-подъ кузова его виднѣлся съ одной стороны: зеленый зонтикъ на старческой головѣ съ картузомъ, украшеннымъ военнымъ околышкомъ, — съ другой: нѣсколько опухлое унылое женское лицо съ раскраснѣвшимися отъ недавныхъ слезъ глазами...

Ни въ іюлѣ, ни въ концѣ года, ни даже въ послѣдующее затѣмъ время, повѣсть Ольги Карловны не появилась въ печати; она умерла для свѣта, какъ умерли другъ для друга романтическій редакторъ и мечтательная Ольга Карловна, — двѣ жертвы увлеченья и пылкаго воображенья!...

На этомъ мѣстѣ разскащикъ остановился, привсталъ и закурилъ новую сигару.

---

## XXIV.

— Я думалъ, ты подъ конецъ смягчишься и хоть изъ состраданья выдашь замужъ свою барышню... смѣясь сказалъ хозяинъ дома.

— Выдать ее замужъ! Вотъ выдумалъ!!... полунасмѣшливо, полусерьезно воскликнулъ инженеръ; во-первыхъ — я не могъ бы этого сдѣлать по той простой причинѣ, что разсказанная сейчасъ исторія произошла въ дѣйствительности, и я не считаю себя въ правѣ измѣнять исторической вѣрности; во-вторыхъ, еслибъ разсказъ былъ даже сочиненъ мною и въ моей власти было бы располагать судьбой такой барышни, — я и тогда оставилъ бы ее доживать вѣкъ въ старыхъ дѣвахъ!...

Тонъ убѣжденія, съ какимъ сказаны были послѣднія слова, вызвалъ у присутствующихъ невольный хохотъ.

— За что же такая немилость?... спросили они въ одинъ голосъ, какъ бы сговорившись.

— Вы знаете, я матеріалистъ отъ природы и позитивистъ

по убѣжденію, возразилъ инженеръ тѣмъ же увѣреннымъ голосомъ; — мой женскій идеалъ цѣликомъ въ надписи на гробницѣ древней римской женщины: „Она занималась шитьемъ и охраняла домъ!“ Всѣ эти сантиментальные субъекты, вздыхающіе на луну, барышни *экзальтѣ*, романтическія дѣвицы съ истерической подкладкой, надломленныя мечтательныя натуры: дунешь — разлетится пухомъ, и начнетъ капризничать, въ чахотку вгонитъ бронзовую статую! А то, есть еще умницы и ученыя... Нѣтъ, благодарю покорно! „Надо попробовать пожить съ такой умницей, чтобы почувствовать всю сласть жизни съ глупой, но доброй женщиной“, говоритъ мнѣ всегда одинъ пріятель... Если я женюсь когда-нибудь, въ чемъ, впрочемъ, сомнѣваюсь, потому-то женитьба, говорятъ, гавань, пристань, а я люблю открытое море, и такъ, если я женюсь, я хочу, пріѣдя домой, встрѣтить нѣчто солидное въ нравственномъ смыслѣ... ну и въ другомъ также пожалуй; хочу встрѣтить нѣчто разсудительное, благоразумное... А то: придешь домой, вмѣсто жены на столѣ записочка: „Прости меня, душка, я увлеклась и полюбила нашего друга Ивана Иваныча...“ Я зналъ семейство, въ которомъ жена четыре раза такимъ образомъ увлекалась... Нѣтъ, *мерси-боку!!*... Это выходитъ очень красиво въ романахъ, но въ дѣйствительной жизни спаси насъ св. Сергій угодникъ и посохъ его святой, какъ говаривала моя бабушка... Нѣтъ, нѣтъ, спаси насъ самъ Господь отъ всѣхъ этихъ „пафовъ“, „пистолетныхъ выстрѣловъ“ и вообще отъ увлеченій. Съ ними, въ результатѣ, только безпокойство и горе. За доказательствами ходить не далеко, они на лицо: начиная съ тебя (онъ кивнулъ на хозяина дома) и кончая случаями, о которыхъ ты разсказывалъ (онъ обратился къ литератору), всѣ больше или меньше были жертвами своихъ увлеченій...

— Хорошо, по крайней мѣрѣ, что ты ограничиваешься отдѣльными примѣрами... замѣтилъ, улыбаясь, литераторъ.

— А что?

— А то, что иначе можно было думать, ты не признаешь въ нашей природѣ лучшаго ея свойства...

— Это какимъ образомъ?

— Такимъ образомъ, что свойство увлеченья всегда показываетъ въ душѣ человѣка присутствіе чего-то живаго, трепещущаго, присутствіе искры отъ священнаго огня, въ которомъ тайна мироваго воодушевленія! съ горячностью подхватилъ литераторъ, — ты думаешь, я говорю фразы, шучу, — нисколько! Опять повторяю: лучшее! Безъ способности увлекаться, воспламеняться чувствомъ и мыслію, человѣкъ ничего больше какъ сухарь, тряпка, гнилушка!... Всѣ великія дѣла, къ какой бы сферѣ они ни принадлежали, всѣ замѣчательныя изобрѣтенія, все, что заставляетъ вѣрить въ успѣхъ человѣчества, одушевляетъ насъ, поднимаетъ нашъ духъ; все, чѣмъ можемъ мы гордиться; все, что видимъ мы вокругъ себя благороднаго, доблестнаго, высокаго все, что когда-нибудь создавала, создаетъ и будетъ создавать творческая способность; — наконецъ, — самое это творчество, — все это продуктъ сильнаго душевнаго возбужденія, т. е. — увлеченья! Въ исторіи остались и знаменательны тѣ только факты, которые были результатомъ горячаго возбужденья и увлеченья! Блестящую сторону человѣческой исторіи создали только поэты и энтузіасты! Тайна успѣха въ томъ лишь, чтобы поводъ энтузіазма отвѣчалъ потребности дня и часа — иногда минуты! Самодовольное благоразуміе и такъ называемая разсудительность никогда ничего не производили; они, какъ конторщики, вписываютъ только въ счетъ и подводятъ итоги и цифры. Еслибъ свѣтъ ими управлялся, они давно бы заморозили человѣчество, и земля наша давно успѣла бы превратиться, какъ луна, въ мертвое тѣло!... „Молодой человѣкъ, вы увлекаетесь...“, или: — „Онъ прекрасный человѣкъ, — жаль, увлекается!“ Вотъ что споконъ вѣку самодовольно повторяетъ разсудительность, забывая, что сама она вѣчно жила и будетъ жить на счетъ энтузіастовъ, подбирая рождаемыя ими мысли и согрѣвая руки у костра священнаго огня, который во вѣки вѣковъ поддерживался этими увлекающимися и восторженными...

— Вполнѣ тебѣ сочувствую и во всемъ соглашаюсь съ то-

бой, вмѣшался юристъ,—но, признаться, мнѣ больше нравилось, когда, сначала, ты говорилъ объ увлеченьи вообще, какъ лучшемъ нашемъ свойствѣ, не входя въ подробности. Увлеченья великихъ людей, которыя дѣлали и будутъ додѣлывать исторію человѣчества,—достойны нашего удивленья и благодарности, но благородные душевные порывы свойственны не только лицамъ, которыхъ отмѣтила исторія; они совершаются точно также — и, можетъ быть, еще чаще,—въ скромномъ домашнемъ быту, втихомолку, такъ сказать, и дѣлаютъ такую же честь нашей природѣ, заслуживаютъ не менѣе нашего удивленья! Историческихъ дѣятелей увлекала высокая общественная цѣль, убѣжденье подымало ихъ духъ, впереди мерещилась слава, человѣкъ жертвовалъ собою въ минуты возбужденныхъ чувствъ и мозга... Легче было увлечься! Здѣсь дѣло проще: и люди смиренные, и сфера темная; здѣсь въ увлеченьи часто также жертвуютъ собою, но исключительнымъ двигателемъ служитъ высокій подъемъ личнаго нравственнаго чувства, избытокъ сердечной любви, милосердія, добродѣтели, и, надо прибавить къ чести человѣческой природы, такіе факты совершаются сплошь и рядомъ.

Мы до-сихъ-поръ говорили о женщинахъ. Будемъ держаться до конца этого предмета. У меня есть исторія, которую болѣе чѣмъ когда-нибудь кстати разсказать теперь; къ тому же я еще ничего не разсказывалъ, и очередь за мною.

---

## XXV.

Въ моей исторіи дѣйствуютъ двѣ женщины, но каждая увлечена по-своему, каждая дѣйствуетъ, повинуясь своему собственному нравственному или, если хотите, сердечному влеченію.

Лѣтъ десять тому назадъ (мы, господа, такъ стары, что по неволѣ должны уже считать десятками лѣтъ наши воспоминанія), я былъ временно назначенъ по важному служебному дѣлу въ

одинъ изъ нашихъ главныхъ губернскихъ городовъ. Лица, съ которыми пришлось имѣть дѣло, смотрѣли мнѣ въ глаза, чуть ли не цѣловали рукъ, хотя, по заведенному у насъ порядку, надѣлали мнѣ впослѣдствіи и изподтишка, конечно, множество гадостей. Докладываютъ мнѣ однажды: спрашиваетъ меня какой-то человѣкъ и называютъ его фамилію; она была мнѣ знакома. Вошедшій дѣйствительно оказался сыномъ стараго учителя, приходившаго когда-то давать уроки моимъ младшимъ братьямъ. Сынъ нисколько однакожъ не напоминалъ отца... Боже, что это была за физіономія! Передо мной стоялъ человѣкъ еще молодой, лѣтъ двадцати семи-восьми, но до такой степени истасканный, измозженный и гнилой, что противно было смотрѣть. Наружнымъ своимъ видомъ похожъ онъ былъ на тѣхъ попрошаекъ, которыхъ чаще всего можно встрѣтить въ Москвѣ подлѣ харчевень, въ обжорномъ ряду или на церковныхъ папертяхъ въ праздничные дни; словомъ, гадость совершенная! Онъ окончательно мнѣ опротивѣлъ, когда, не сказавши еще слова, бросился со всѣхъ ногъ цѣловать мнѣ руку и, когда я ее отдернулъ, припалъ къ плечу, называя меня благодѣтелемъ. Онъ умолялъ меня дать ему какое-нибудь занятіе, опредѣлить его куда-нибудь, и когда я спросилъ: что онъ умѣетъ дѣлать? онъ, какъ истый русскій человѣкъ, готовъ былъ принять безразлично какую угодно должность — хоть ковры вышивать или плотины строить, лишь бы сѣсть на казенное мѣсто и получать жалованье. Подъ конецъ, Хохловъ (такъ его звали) вынулъ изъ-подъ полы оборваннаго сюртучишка засаленную тетрадку и подалъ мнѣ ее, какъ образецъ его почерка. Тетрадка была исписана, сколько мнѣ показалось съ бѣглаго взгляда, дрянными стишонками, но почеркъ былъ безукоризненный, бисеръ просто!

Я уже сказалъ вамъ, что лица, меня окружавшія, нуждаясь во мнѣ въ то время, смотрѣли мнѣ въ глаза. Они не отказали бы тогда, даже еслибъ я попросилъ у нихъ мѣсто для Стеньки Разина.

Хохлова опредѣлили писцомъ и дали ему комнату въ казен-

номъ домѣ. Дня два спустя, приходитъ Хохловъ, снова бросается цѣловать руки, усиленно щуритъ глаза, тщетно стараясь заплакать, вызываетъ на сцену память отца и какимъ-то фальшиво-расчувствованнымъ, приниженнымъ, лижущимъ голосомъ, проситъ довершить благодѣяніе, проситъ сдѣлать ему „высокую честь“ посѣтить его обиталище, взглянуть, какъ онъ тамъ устроился и кстати взглянуть на жену.

— Вы женаты?!... невольно вырвалось у меня.

— Уже четвертый годъ-съ... возразилъ онъ съ нѣкоторымъ самодовольствіемъ.

— „Боже мой, кто же эта несчастная!?...“ подумалъ я въ ту же минуту. — „Кто бы ни была эта женщина, но что могло заставить ее сдѣлаться женой этой человѣческой гнилушки, этой гадины, къ которой, сказать по правдѣ, — нельзя было прикоснуться безъ отвращенія?!...“ Судите же о моемъ удивленіи, когда, зайдя къ Хохлову на другой день,—увидѣлъ я молоденькую — лѣтъ двадцати-пяти — женщину съ миловиднымъ дѣтскимъ лицомъ, бѣлокурой головкой, гладко причесанной и красивыми сѣро голубыми глазами, съ пушистыми рѣсницами, придававшими взгляду необыкновенную мягкость. Она замѣтно была смущена моимъ посѣщеніемъ, но старалась поддержать достоинство и казаться спокойной. Бѣдная обстановка комнаты отличалась чистотою; даже подоконники и полъ были заново вымыты; такъ какъ прислуги у нихъ не было, это была, очевидно, ея работа. Въ то время, какъ мужъ всячески егозилъ передо мною, кланялся всѣмъ туловищемъ и холопствовалъ, порываясь неоднократно припасть къ рукѣ или плечу, она продолжала держать себя вполнѣ прилично; у нея смѣлости только не доставало, чтобы удержать его.

Поздравивъ ее съ новосельемъ и пожелавъ ей всякаго счастья, я вышелъ отъ нихъ, истинно сожалѣя бѣдную женщину.

Вскорѣ послѣ того возвратился я въ Петербургъ.

## XXVI.

Прошелъ съ небольшимъ годъ. Воспоминаніе о Хохловѣ совершенно изгладилось изъ моей памяти, когда разъ говорятъ мнѣ въ департаментѣ: васъ какой-то Хохловъ спрашиваетъ. Съ перваго взгляда я едва узналъ его; лицо мало измѣнилось, но одѣтъ онъ былъ совершеннымъ франтомъ: сапоги съ модными носками, пестрый галстухъ съ падающими концами, прическа съ проборомъ посереди головы, на лѣвой рукѣ перчатка кирпичнаго цвѣта... Онъ разсказалъ, что, пріѣхавъ въ Петербургъ, счелъ „священнымъ долгомъ“ выразить мнѣ свое почтеніе и благодарность за оказанныя ему прежде благодѣянія; изъ дальнѣйшихъ его объясненій я узналъ, что онъ отказался отъ прежней должности, такъ какъ ему предложено было весьма выгодное мѣсто конторщика въ одномъ изъ главныхъ банкирскихъ домовъ Одессы. Говорилъ онъ, — надо вамъ замѣтить, — безъ прежняго низкаго кривлянья — не лѣзъ цѣловать руку или плечо, — говорилъ увѣренно, — даже какъ-то разсудительно потряхивалъ головою. Разъ только голосъ его принялъ прежнюю приниженную интонацію, и самыя черты лица какъ бы размякли и жалостливо скорчились, именно, когда я освѣдомился о его женѣ. Онъ отвѣчалъ, что она, благодаря Бога, совершенно здорова и теперь въ ужасныхъ хлопотахъ! — укладывается, приготовляясь въ путь. О цѣли своего пріѣзда въ Петербургъ онъ слова не проговорилъ; я, впрочемъ, и не спрашивалъ.

Вскорѣ открылось, что все, что ни разсказывалъ Хохловъ, — было самой чистѣйшей, самой наглой ложью. Одинъ изъ чиновниковъ губернскаго города и того самаго вѣдомства, куда я когда-то былъ посланъ, зашелъ ко мнѣ проѣздомъ въ Петербургъ и передалъ слѣдующее: не задолго послѣ того, какъ Хохлова опредѣлили по моей просьбѣ, — онъ вдругъ запилъ мертвую и началъ выдѣлывать такія безобразія въ казенномъ домѣ, что принуждены были выгнать его вонъ и отказать ему отъ

мѣста. Но пьянство ничего еще не значило передъ возмутительнымъ поступкомъ, который совершилъ онъ еще за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ и который обнаружился въ то самое время, какъ рѣшено было его выгнать.

У жены Хохлова была сестра, — молоденькая дѣвушка, жившая гдѣ-то въ услуженьи; Хохловъ, обольстилъ ее. Въ домѣ у него ничего не подозрѣвали; болѣе чѣмъ когда-нибудь прикидывался онъ тогда смиречкомъ, ходилъ передъ женою на цыпочкахъ, былъ тише воды, ниже травы. Пьянство началось, когда не стало уже никакой возможности скрывать беременность, и обольщенная дѣвушка, потерявъ окончательно голову, объявила ему, что во всемъ откроется сестрѣ. Въ это самое время Хохлова выгнали изъ казеннаго дома; онъ запилъ еще хуже и, наконецъ, пропалъ куда-то безъ вѣсти.

Жена его осталась безъ крова и куска хлѣба. Къ ужасу ея положенія, она вскорѣ узнала о несчастіи сестры и, къ довершенію всего, объ участіи въ немъ мужа. Несчастіе сестры было, повидимому, главнымъ ея горемъ; оно пока заглушило въ ней всѣ остальныя чувства. Забывъ совершенно самоё себя, свое собственное оскорбленье, свой голодъ, она въ тотъ же день продала остатокъ жалкихъ пожитковъ, наняла въ отдаленной части города комнату у огородника и переселилась туда съ сестрою. Чтобы существовать и въ добавокъ кормить сестру, которую всячески старалась скрывать отъ постороннихъ взглядовъ, — она отъ зари до зари бѣгала по городу, отыскивая работу: гдѣ чинила платья, гдѣ стирала бѣлье, гдѣ мыла посуду и убирала комнаты; случалось ей даже копать гряды, какъ она мнѣ потомъ разсказывала. За сестрою ухаживала она все время, какъ нѣжная мать, не произнося упрека, не вымолвивъ слова, которое могло бы огорчить больную.

Но бѣдной этой женщинѣ опредѣлено было судьбою выпить до дна горькую чашу испытаній. Обольщенная дѣвушка не вынесла родовъ; разрѣшившись отъ бремени дѣвочкой, она въ ужасныхъ мукахъ скончалась на рукахъ сестры...

Я не мастеръ передавать внутреннія душевныя движенія; вы

сами поймете, что̀ должна была выстрадать эта женщина, лишившись единственнаго любимаго существа и еще при такихъ скорбныхъ условіяхъ,— и кромѣ того, оставшись при своей бѣдности съ грудным ребенкомъ на рукахъ! Но она перенесла все это мужественно, никому ничего не говоря, безъ жалобъ, безъ ропота. Надо думать, сердце этой простой женщины — женщины безъ образованія и воспитанія,— такъ уже сотворено было, что одновременно съ тѣмъ, когда въ него входило горе съ одной стороны, — съ другой, — оно наполнялось двойной долей добра и великодушія.

Послѣднее выражалось, между прочимъ, тѣмъ, что ребенокъ этотъ,— живое напоминаніе всѣхъ ея несчастій,— сдѣлался предметомъ ея обожанія; она перенесла на него всю потребность любви и привязанности; съ нимъ она не только забыла, но какъ бы простила все прошлое. Разсказывая мнѣ потомъ объ этомъ періодѣ своей жизни, ей въ голову не пришло пожаловаться на судьбу, на испытанную тогда трудность въ добываніи средствъ къ существованію. Куда какъ тяжело было однакожъ перебиваться, живя однимъ шитьемъ и получая по сорока и тридцати копѣекъ въ день!

---

## XXVII.

Тѣмъ временемъ о Хохловѣ не было ни слуху, ни духу; разсказывали, онъ перетащился въ другой большой городъ и тамъ, падая все ниже и ниже, путаясь съ разными проходимцами и пропойцами, завалился подъ конецъ въ одну изъ тѣхъ ночлежныхъ трущобъ, откуда, какъ изъ дантовскаго ада, нѣтъ выхода.

Въ числѣ обывателей этого города проживалъ, между прочимъ, отставной генералъ съ семействомъ; вѣрнѣе было бы сказать, — генеральское семейство, — весьма многочисленное, не столько проживало, сколько перебивалось и колотилось, находя слабое утѣшеніе въ томъ, что помѣщалось въ собственномъ деревянномъ домикѣ съ покосившимся фронтономъ на мезонинѣ. Была также деревушка,

отданная когда-то въ приданое за генеральшей, но ее все равно что не существовало: лѣсъ давно былъ вырубленъ, скотный дворъ проданъ на свозъ фабриканту, фруктовый садъ уступленъ за грошъ мѣдный мельнику; послѣ освобожденія крестьянъ она окончательно перестала давать доходъ. Существеннымъ подспорьемъ была пенсія генерала и еще кой-какія деньжонки, перепадавшія отъ родственниковъ жены. Средства были жиденькія, особенно если принять во вниманіе, что генеральша проводила день, куря папироски, генералъ любилъ щеголять напомаженнымъ, круто завернутымъ, хохломъ и прогуливаться, выбирая преимущественно для прогулки мѣста, гдѣ бабы стирали бѣлье, копали гряды или купались, — а барышни большею частью занимались прической и смотрѣніемъ изъ оконъ на проходящихъ молодыхъ чиновниковъ и офицеровъ.

Одна изъ нихъ, — старшая, — рѣзко отличалась отъ сестеръ; она собственно только по рожденью принадлежала семейству. Взятая еще ребенкомъ тѣткой и крестной матерью, бывшей начальницей какого-то сиротскаго дома въ Петербургѣ, она была ею выращена и воспитана. Возвратясь въ семью послѣ кончины крестной, которая оставила на имя племянницы въ банкѣ всѣ свои экономіи — тысячъ пять или шесть, — молодая дѣвушка, съ первыхъ дней, почувствовала себя отчужденной; отъ нея также какъ бы сторонились, называя ее насмѣшливо „графиней“; на самомъ дѣлѣ втихомолку завидовали ея красивой, нѣсколько строгой, наружности, завидовали ея деньгамъ и раздражались ея характеромъ, крайне сосредоточеннымъ и мало сообщительнымъ.

Единственное лицо, съ которымъ она нѣсколько сблизилась, была старая тѣтка, престарѣлая дѣва, ходившая вся въ черномъ, съ коротко обстриженными сѣдыми волосами — существо въ высшей степени своеобразное, не только по внѣшнему виду и нѣкоторымъ выдающимся чертамъ характера, но, главнымъ образомъ, по религіознымъ убѣжденіямъ, которыя привели ее къ полному самопожертвованію въ пользу страждущаго и неимущаго. Не имѣя гроша за душою, но пользуясь въ городѣ обширнѣйшимъ знакомствомъ и общею любовью, она умѣла всегда выманить старое платье, фунтъ

сахару, говядины, картофелю и даже денегъ, и тутъ же раздавала все это разнымъ бѣднякамъ. Въ томъ проходила вся ея жизнь. Ей знакомы были въ городѣ всѣ нуждающіяся семейства, всѣ углы и закоулки, гдѣ гнѣздились нищета и болѣзни, отъ которыхъ она искусно лѣчила даровыми медикаментами.

Отъ скуки ли, изъ любопытства ли, или, наконецъ, отъ сочувствія къ дѣятельности тётки, старшая племянница, слушая ея разсказы, не разъ выражала желаніе ей сопутствовать.

— Трудно, милушка, тяжело... И бѣдно-то, и грязно подъчасъ — куды грязно, не выдержишь...

— Ничего, тётушка, авось выдержу! возражала племянница.

Не говоря ничего дома, обѣ условились въ днѣ и отправились.

— Ну, что? спросила старуха послѣ первой такой прогулки.

— Не весело, тётушка, твоя правда, но вообще развѣ весело въ жизни... задумчиво возразила племянница.

Прогулки стали повторяться чаще и чаще. Въ семьѣ узнали объ этомъ, но никто не обратилъ вниманія.

---

## XXVIII.

Тётка съ племянницей, посѣщая однажды одну изъ отдаленныхъ трущобъ, набрели на человѣка еще молодаго, но до такой уже степени истощеннаго болѣзнями и нищетою, что оставалось удивляться, какимъ образомъ находился онъ здѣсь, а не въ больницѣ или не на кладбищѣ.

„Въ больницу его водили, но не приняли“, пояснила хозяйка угловъ; „сказали: дѣло отъ запоя, а тамъ отъ запоя не лѣчатъ...“ Она прибавила, что рѣшительно не знаетъ, какъ теперь быть: „на улицу выбросить жалостно какъ словно, да и полиція взыщетъ; съ другой стороны: даромъ кормить и держать также не приходится... самимъ подъ-часъ куда туго бываетъ!...“

Въ ожиданіи того, чѣмъ рѣшится судьба его, жилецъ, по-

добно Іову многострадальному, лежалъ чуть ли не на навозѣ, голодный и полураздѣтый. Пока тётка уговаривалась съ хозяйкой насчетъ уплаты за ночлегъ и харчи, племянница разговорилась съ больнымъ. Онъ не столько отвѣчалъ на ея вопросы, сколько жалостно плакалъ, билъ себя въ грудь, называлъ себя грѣшникомъ и все время пытался черезъ силы ухватиться дрожащими руками за край ея накидки и прижать его къ губамъ своимъ.

Человѣкъ этотъ былъ никто другой, какъ Хохловъ.

На другой день тётка и племянница снова посѣтили больнаго; на третій день тоже. Каждый разъ ему приносили булокъ, говядины, бульону въ бутылкѣ, бѣлья, ту или другую принадлежность одежды и т. д.

Больной замѣтно сталъ поправляться.

Какъ могло случиться, что Хохловъ переселился въ свѣтлую комнату и пересталъ въ чемъ-нибудь нуждаться — можно объяснить однимъ только: живымъ участіемъ барышни. Впослѣдствіи открылось, какъ она для этой цѣли — и, конечно, тайкомъ отъ родителей и тётки — постепенно продавала браслеты и серьги, доставшіяся ей отъ крестной матери. Что вынудило ее къ такой жертвѣ, чѣмъ заслужилъ это Хохловъ, — это другой вопросъ, разрѣшить который труднѣе. Исторію эту узналъ я потомъ во всѣхъ подробностяхъ. Поступокъ этой дѣвушки можетъ казаться дикимъ, эксцентрическимъ, чѣмъ угодно, но могу васъ увѣрить, въ немъ ничего не было, что могло быть предосудительнымъ для ея чести, могло бросить на нее тѣнь неблаговиднаго подозрѣнья. Не касаясь уже личности Хохлова, довольно припомнить ея характеръ, въ высшей степени спокойный, ея серьезный и сосредоточенный умъ, чтобы убѣдиться, что въ ея увлеченіи было нѣчто совсѣмъ другое, чѣмъ извращенная наклонность или чувственный капризъ. По природѣ своей она всего скорѣе принадлежала къ типу тѣхъ женщинъ, которыя, по преимуществу, могутъ увлечься гуманной идеей или политическою цѣлью и которыя, увлекшись тѣмъ или другимъ, ни передъ чѣмъ уже не останавливаются, идутъ къ своей цѣли съ полной готовностью жертвовать собою.

Нѣтъ сомнѣнія, Хохловъ, какъ мужчина, игралъ здѣсь совершенно пассивную роль; главнымъ ея двигателемъ было экзальтированное желаніе спасти падшую душу, вызвать къ жизни погибающаго человѣка, — желаніе, быстро овладѣвшее ея умомъ, воображеніемъ, всѣми ея чувствами.

---

## XXIX.

Помните повѣсть Тургенева „Странная исторія"? Въ ней разсказывается, какъ прелестная дѣвушка — дочь губернатора — бѣжала изъ дому съ тѣмъ, чтобы слѣдовать за какимъ-то нищимъ; какъ потомъ встрѣчали ее съ нимъ въ зной на пыльныхъ дорогахъ, какъ, разъ ночью, видѣли ее на постояломъ дворѣ въ то время, когда она, опустившись на колѣна, обмываетъ ему раны... Исторія, разсказанная Тургеневымъ, произошла въ дѣйствительности точно такъ же, какъ та, которую я вамъ разсказываю, правдива отъ начала до конца.

Какъ тамъ, такъ и здѣсь, причина увлеченія выходила изъ родственнаго источника: удручающая тоска въ окружающей средѣ, потребность изъ нея вырваться во что бы ни стало, сильное возбужденіе душевныхъ и умственныхъ стремленій, обращенныхъ къ мысли быть полезной ближнему съ готовностью принести себя въ жертву для такой цѣли, не допуская даже соображенія о томъ, заслуживаетъ ли цѣль такой жертвы.

Чтобы избѣгнуть скандала, который рано или поздно неминуемо долженъ былъ обнаружиться или, вѣрнѣе, чтобы удобнѣе осуществить свой планъ, она рѣшилась бѣжать вмѣстѣ съ нимъ изъ губернскаго города и увезти его какъ можно дальше.

Вотъ въ это-то самое время Хохловъ и явился ко мнѣ въ Петербургъ; она ѣздила туда, вѣроятно, съ тѣмъ, чтобы получить изъ банка деньги, оставленныя ей крестной матерью.

Вскорѣ узналъ я, они переѣхали границу и поселились въ Лозаннѣ.

Мнѣ разсказывали потомъ, что три или четыре года спустя послѣ переѣзда ихъ заграницу, когда Хохлова разбило параличомъ, и у него отнялись ноги, она съ удвоенной преданностью продолжала ходить за нимъ, терпѣливѣе прежняго сносила его капризы и грубыя выходки, кормила его изъ рукъ своихъ, какъ ребенка, сама его укладывала и одѣвала, словомъ, была для него и матерью, и служанкой вмѣстѣ. Въ хорошую погоду, она усаживала его обыкновенно въ кресло, у открытаго окна, обернувъ его ноги пледомъ, а сама садилась подлѣ за работу. Деньги крестной матери давно были истрачены; жили они тѣмъ, что она съ утра до вечера, и часто по ночамъ, трудилась надъ починкой старыхъ кружевъ и раскрашивала абажуры для лампъ. Хохловъ умеръ. Не знаю, какая постигла ее судьба, не знаю даже, жива ли она теперь...

Не далѣе, какъ три года тому назадъ, привелось мнѣ видѣть жену Хохлова. Это было въ Петербургѣ. Выходитъ ко мнѣ женщина, держа за руку дѣвочку (дѣвочкѣ было лѣтъ семь — восемь); смотрю: какъ будто что-то знакомое, но, хоть убей, не могу припомнить.

— Вы меня не узнаете? робко проговорила она.

— Нѣтъ... извините, началъ было я, и вдругъ неожиданно вспомнилъ, вспомнилъ не только ее, но всю прежнюю ея обстановку.

Съ трудомъ вѣрилось однакожъ, чтобъ въ десять лѣтъ можно было до такой степени измѣниться! Вмѣсто миловидной, бѣлокурой головки во вкусѣ Гретхенъ, смотрѣло худощавое блѣдное лицо, покрытое сплошь тоненькими, какъ паутина и мелкими, какъ рубленый волосъ морщинками; меньше всего измѣнились глаза: еще секунда, и я навѣрное узналъ бы ее по ихъ кроткому, доброму выраженію, которое тогда, при первомъ свиданьи, врѣзалось мнѣ въ память. Она давно уже переселилась въ Петербургъ, занималась шитьемъ и теперь пришла просить опредѣ-

лить куда-нибудь дѣвочку. (Она не упомянула ни о сестрѣ, ни о мужѣ). Заговоривъ о ребенкѣ, она какъ-то вдругъ оживилась и принялась съ необыкновеннымъ жаромъ разсказывать о замѣчательныхъ способностяхъ дѣвочки, о ея желаніи учиться, о ея прекрасномъ характерѣ; ея голосъ, движенія, глаза, которые во время разсказа сіяли счастьемъ, ясно говорили, что она вся охвачена самой горячей любовью къ дѣвочкѣ; ей, повидимому, недовольно было восхищаться ею на словахъ; она поминутно и съ какою-то лихорадочною восторженностью прикасалась къ ея волосамъ, поправляла ей косынку и трогала ея плечи.

Когда дѣвочка была опредѣлена, Хохлова снова явилась, но уже съ тѣмъ, чтобы благодарить меня. Въ жизнь не забуду этой сцены! Минутъ десять по крайней мѣрѣ собиралась она что-то мнѣ сказать и не могла; сердце ея было слишкомъ переполнено; голосъ ея спирался въ груди и въ горлѣ слышалось какое-то клокотанье; слезы ручьями текли по ея щекамъ. Я слышалъ только: „Дѣвочка моя... я... я... Благодарю васъ...“ Насилу могъ я ее успокоить.

---

## XXX.

Она съ-тѣхъ-поръ каждый годъ заходитъ сообщить объ успѣхахъ дѣвочки. Отъ нея узналъ я о кончинѣ мужа. Вспоминая о немъ и прежнемъ житьѣ, она говорила совершенно спокойно, безъ малѣйшаго оттѣнка раздраженія; у нея во все время не только не вырвалось упрека, но даже намека не было на пережитое съ нимъ горе и перенесенное оскорбленіе... Признаюсь, господа, заключилъ юристъ, сильно сомнѣваюсь, чтобы часто можно было встрѣтить столько великодушія въ связи съ такимъ самоотверженьемъ, такимъ запасомъ сердечныхъ чувствъ, прибавлю: такою добродѣтелью, сколько, каждая по-своему, выказали эти двѣ женщины, правдивую исторію которыхъ я вамъ передалъ.

— Меня, по крайней мѣрѣ, нисколько это не удивляетъ, проговорилъ хозяинъ дома,—я никогда не сомнѣвался и не разъ высказывалъ вамъ, что тамъ, гдѣ дѣло идетъ о благородствѣ чувствъ и честности сердца, женщина несравненно честнѣе, благороднѣе и великодушнѣе нашего брата! Мы жалуемся на женскую хитрость, забывая, что сами въ ней кругомъ виноваты: не мы ли поставили женщину въ такое положеніе, что хитрость сдѣлалась, можно сказать, единственной ея защитой; безъ нея ей оставалось бы окончательно быть приниженной рабой и пѣшкой! По-моему: да здравствуетъ даже тотъ типъ романтическихъ и мечтательныхъ женщинъ, который такъ не по сердцу нашему другу инженеру! Да здравствуютъ даже тѣ, которыя заставляютъ насъ страдать, да,—страдать, потому что, страдая, все-таки живешь страстной живой жизнью... Но безусловно злыхъ женщинъ очень мало. Положительно хорошихъ женщинъ неисчислимое большинство противъ дурныхъ, и, въ общей сложности, если на свѣтѣ есть какое-нибудь совершенство, оно выражается честной и доброй женщиной!...

Наконецъ, кто лучше ихъ умѣетъ любить?...

— И въ этомъ ихъ главное преимущество! подхватилъ съ обычной горячностью литераторъ,—любовь! этотъ лучшій даръ, это высшее чувство человѣка! Обращено ли это чувство къ отечеству, къ общественной пользѣ, къ отдѣльной личности, оно далеко оставляетъ за собою все то, что обыкновенно служитъ двигателемъ въ нашей жизни. „Жизнь безъ любви—горькій сонъ“, говорятъ итальянцы. Я со своей стороны прибавлю слѣдующее: всѣ наши цѣли, мудрствованія, такъ называемыя „дѣла“, тщеславныя стремленія, карьеры и т. д. и т. д.—все это, если взять въ разсчетъ не вѣчность, но только нашу коротенькую жизнь, все это не стоитъ въ сущности того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, какъ мы это дѣлаемъ! На свѣтѣ есть одно настоящее дѣло, которымъ стоитъ серьезно заниматься,—это любовь! Ужъ на что, кажется, бывали на землѣ крѣпкіе люди, кремневыя натуры, и тѣ не выдерживали—поко-

рялись! А остальная мелюзга только хорохорится; она только хвастаетъ своей несокрушимостью, безъ нужды, — потому что никто ей не вѣритъ. Для любви, для ней одной стоитъ рождаться на свѣтъ и прискорбно умирать потому только, что приходится разстаться съ нею и нѣтъ болѣе надежды испытывать ее снова...

На этомъ мѣстѣ увлеченный ораторъ былъ прерванъ звукомъ часовъ, которые пробили часъ ночи.

Товарищи пожали другъ другу руки и стали расходиться, пожелавъ каждому покойной ночи.

Того же и вамъ желаю, читатель.

КОНЕЦЪ ОДИННАДЦАТАГО ТОМА.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY,
BERKELEY

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to $1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

AUG 5 1922

OCT 22 1927

YC 71886

U. C. BERKELEY LIBRARIES

C043188268

170610